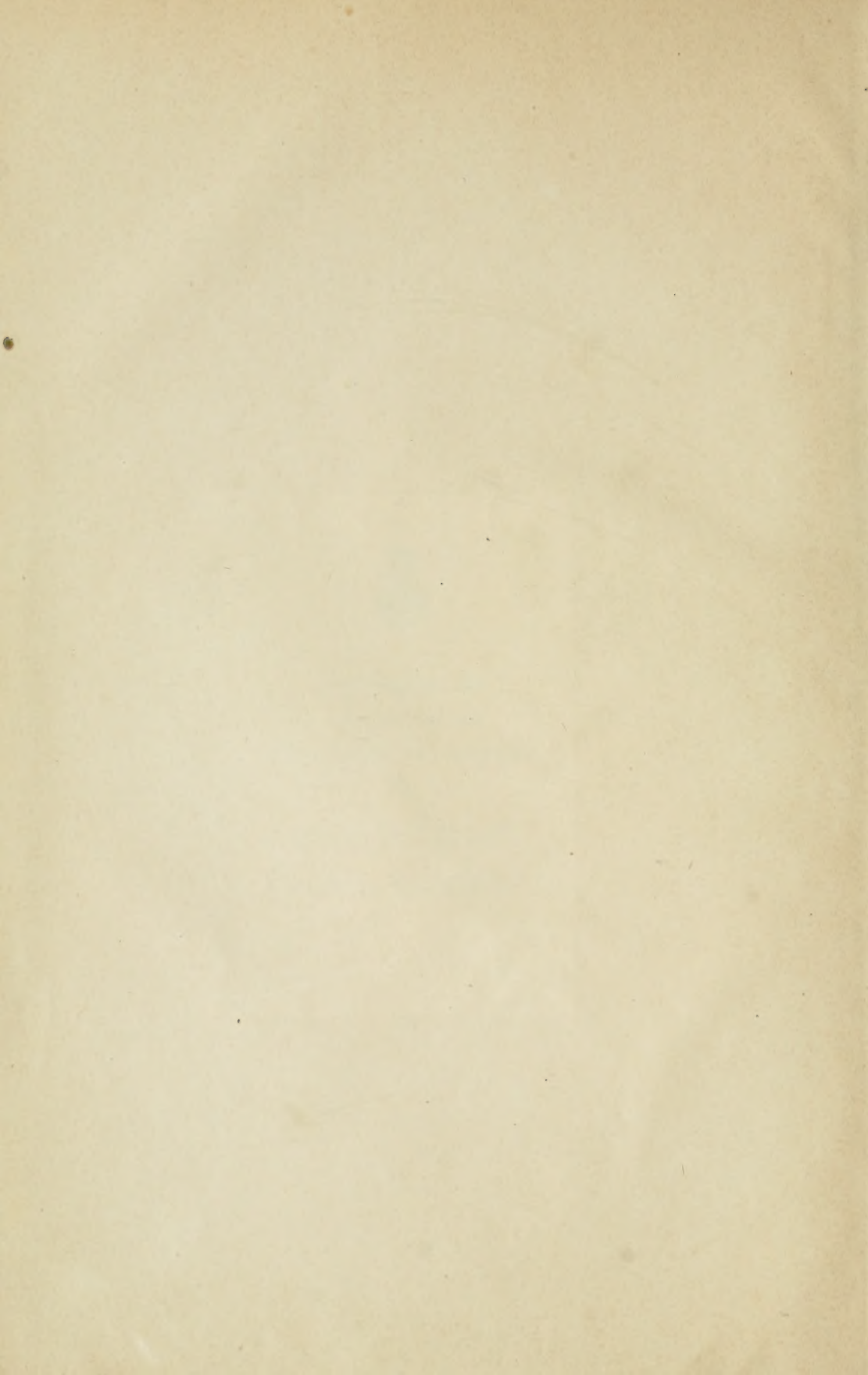


UNIVERSITY OF TORONTO



3 1761 00309458 8







М. Е. САЛТЫКОВЪ

[Н. ЩЕДРИНЪ]







# СОЧИНЕНІЯ

# М. Е. САЛТЫКОВА

[Н. ЩЕДРИНА]

---

ТОМЪ ШЕСТОЙ:

ЗА РУБЕЖЕМЪ.—ПИСЬМА КЪ ТЕТЕНЬКЪ.—СБОРНИКЪ.

---

ИЗДАНИЕ АВТОРА.



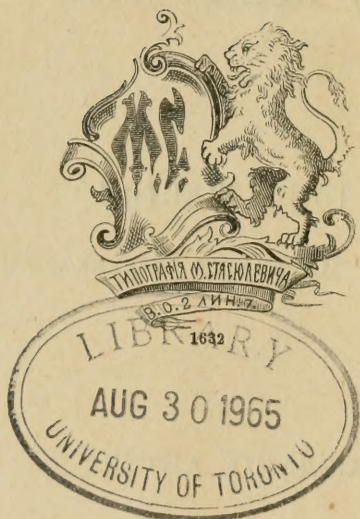
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 2 лив., 7.

—  
1889.



PG  
3361  
S3  
1889  
L.6



1003975

# СОДЕРЖАНІЕ

ШЕСТОГО ТОМА.

## ЗА РУБЕЖЕМЪ.

	СТРАН.
ГЛАВА I. . . . .	1
„ II. . . . .	31
„ III. . . . .	58
„ IV. . . . .	88
„ V. . . . .	128
„ VI. . . . .	152
„ VII. . . . .	176

## ПИСЬМА КЪ ТЕТЕНЬКЪ.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ . . . . .	199
„ ВТОРОЕ . . . . .	209
„ ТРЕТЬЕ . . . . .	222
„ ЧЕТВЕРТОЕ . . . . .	235
„ ПЯТОЕ . . . . .	246
„ ШЕСТОЕ . . . . .	258
„ СЕДЬМОЕ . . . . .	268
„ ВОСЬМОЕ . . . . .	276
„ ДЕВЯТОЕ . . . . .	293
„ ДЕСЯТОЕ . . . . .	301
„ ОДИННАДЦАТОЕ . . . . .	320
„ ДВѢНАДЦАТОЕ . . . . .	331
„ ТРИНАДЦАТОЕ . . . . .	343
„ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ . . . . .	357
„ ПЯТНАДЦАТОЕ . . . . .	363



## СБОРНИКЪ.

	СТРАВ.
Сонъ въ лѣтнюю ночь . . . . .	381
Дѣти Москвы . . . . .	410
Похороны . . . . .	435
Старческое горе . . . . .	459
Дворянская хандра . . . . .	493
Большое мѣсто . . . . .	515—544



ЗА РУБЕЖЕМЪ





## Глава I.

Есть множество средств сдѣлать человѣческое существованіе постыльнымъ, но едва-ли не самое вѣрное изъ всѣхъ—это заставить человѣка посвятить себя культу самосохраненія. Рѣшившись на такой подвигъ, надлежитъ побѣдить въ себѣ всякое буйство духа и признать свою жизнь низведенною на степень безцѣльнаго мельканія на все то время, покуда будетъ длиться искусъ животолубія.

Но, во-первыхъ, чтобъ выполнить такую задачу вполне добросовѣстно, необходимо прежде всего быть свободнымъ отъ какихъ бы то ни было обязательствъ. И не только отъ такихъ, которыя обусловливаются апелляціонными и кассационными сроками, но и отъ другихъ, болѣе деликатнаго свойства. Или, говоря короче, нужно сознать себя и безответственнымъ, и вдобавокъ совсѣмъ празднымъ человѣкомъ. Ибо, во время процесса самосохраненія всякая забота, всякое напоминовеніе о покинутомъ дѣлѣ и даже „мышленіе“ вообще—считаются не *kurgemaess* и препятствуютъ солямъ и щелочамъ успѣшно всасываться въ кровь.

Среди женщинъ, субъекты, способные всецѣло отдаваться праздности, встрѣчаются довольно часто (культурно-интернаціональныя дамочки, кокетки, бонапартистки и проч). Всякая дамочка самимъ Богомъ какъ бы цѣликомъ предназначена для заботъ о самосохраненіи. Въ прошломъ у нея—декольтѣ, въ будущемъ—тоже декольтѣ. Ни о какихъ обязательствахъ не можетъ быть тутъ рѣчи, кромѣ обязательства содержать въ чистотѣ бюстъ и шею. Поэтому всякая дамочка не только съ готовностью, но и съ наслажденіемъ устремляется къ курортамъ, зная, что тутъ дѣлю совсѣмъ не въ томъ, въ какомъ положеніи находятся легкія или почки, а въ томъ, чтобъ имѣть законный поводъ по пяти разъ въ день одѣваться и раздѣваться. Самая плохая дамочка, если Богъ наградила ее хоть какою-нибудь частью тѣла, на которой безъ ожесточенія можетъ остановиться взоръ мужчины,—и та заранѣе разочтетъ, какое положеніе ей слѣдуетъ принять во время питья *Kraepchen*, чтобъ именно эту часть тѣла отрекомендовать въ наиболѣе выгодномъ свѣтѣ. Я знаю даже старушекъ, у которыхъ, подобно старымъ ассигнаціямъ, оба



нумера давно потеряны, да и портретъ поврежденъ, но которыя тѣмъ не менѣе подчиняли себя всеѣмъ огорченіямъ курсового леченія, потому что нигдѣ, кромѣ курортовъ, нельзя встрѣтить такую массу мужскихъ панталонъ и, стало быть, нигдѣ нельзя такъ цѣлесообразно освѣжить потухающее воображеніе. Словомъ сказать, „дамочки“ — статья особая, которую вообще ни здѣсь, ни въ другомъ какомъ человѣческомъ дѣлѣ въ расчетъ принимать не надлежитъ.

Но въ средѣ мужчинъ подобныя оглашенныя личности встрѣчаются лишь какъ исключеніе. У всякаго мужчины (ежели онъ впрочемъ не бонапартистъ и не отставной русскій сановникъ, мечтающій въ виду Юнгфрау о коловратностяхъ міра подачекъ) есть родина, и въ этой родинѣ есть какой-нибудь кровный интересъ, въ соприкосновеніи съ которымъ онъ чувствуетъ себя семьяниномъ, гражданиномъ, человѣкомъ. Развязаться съ этимъ чувствомъ, даже временно, ужасно тяжело; и я положительно убѣжденъ, что самый культъ самосохраненія долженъ отъ этого пострадать. Легко сказать: позабудь, что въ Петербургѣ существуетъ цензурное вѣдомство, и затѣмъ возьми одръ твой и гряди; но выполнить этотъ совѣтъ на практикѣ, право, не легко.

Недавно, проѣзжая черезъ Берлинъ, я заѣхалъ въ зоологическій садъ и посѣтилъ заключеннаго тамъ чимпандзе. При случаѣ, совѣтую и вамъ, читатель, послѣдовать моему примѣру. Вы увидите бѣдное, дрожащее существо, до того угнетенное тоской по родинѣ, что даже предлагаемое въ изобиліи молоко не утѣшаетъ его. Скорчившись, сидитъ злосчастный плѣнникъ подъ теплымъ одѣяломъ на соломенномъ одрѣ и, закрывши глаза, дремлетъ предсмертною дремотой. Замѣчательно, что тутъ же, за рѣшеткой, у самаго изголовья стараго чимпандзе, заключенъ маленькій чимпандзе, родившійся нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, уже въ Берлинѣ. Этотъ ребенокъ стоитъ, ухватившись передними лапами за рѣшетку, и положительно глазъ не сводитъ съ умирающаго старика. Какіе сны снятся старику — этого, конечно, нельзя угадать, но, судя по тоскливымъ вздохамъ, ясно, что передъ умственнымъ его взоромъ мелькаетъ нѣчто необыкновенно заманчивое и дорогое. Быть можетъ, тамъ, въ родныхъ лѣсахъ, онъ былъ исправникомъ, а можетъ быть даже министромъ. Въ первомъ случаѣ онъ предупреждалъ и пресѣкалъ; во второмъ — принималъ въ назначенные часы доклады о предупрежденіи и пресѣченіи. Безъ сомнѣнія, это были доклады не особенно мудрые, но вѣдь для чимпандзе по части мудрости не особенно много и требуется. И вотъ теперь онъ умираетъ, не понимая, зачѣмъ понадобилось оторвать его отъ дорогихъ сердцу интересовъ родины и посадить за рѣшеткой въ берлинскомъ зоологическомъ саду. Умираетъ въ горькомъ сознаніи, что ему не позволили даже подать прошенія объ отставкѣ (просто поймали, посадили въ клѣтку и увезли), и влѣдствіе этого тамъ, на родинѣ, за нимъ числится тридцать тысячъ неисполненныхъ начальственныхъ предписаній и девяносто тысячъ (по числу населяющихъ его округъ чимпандзе) непроизведенныхъ обысковъ! Не знаю, какъ подѣйствуетъ это скорбное зрѣлище на васъ, читатель, но на меня оно произвело по истинѣ удручающее впечатлѣніе.

Во-вторыхъ, мнѣ кажется, что люди науки, осуждающіе своихъ кліен-

товъ выдерживать курсы леченія, упускають изъ вида, что эти курсы влекутъ за собой обязательное цыганское житье, среди безпорядка, въ тѣснотѣ, въ возможности отыскать хоть минуту укромнаго и самостоятельнаго существованія. Изъ привычной атмосферы, въ которой вы такъ или иначе обдержались, васъ насильственно переносятъ въ атмосферу чуждую, насыщенную иными правами, иными привычками, инымъ говоромъ и даже инымъ разумомъ. Передъ глазами у васъ снуетъ взадъ и впередъ пестрая толпа; въ ушахъ гудитъ разноязычный говоръ, и все это сопровождается такимъ однообразіемъ формъ (вѣчный праздникъ со стороны наѣзжихъ, и вѣчная лакейская бѣготня — со стороны туземцевъ), что подъ конецъ утрачивается даже ясное сознаніе времени дня. Это однообразіе маятнаго движенія досаждаеть, волнуетъ, вызываетъ ежеминутный рошотъ. Нѣтъ ничего изнурительнѣе, какъ не понимать и не быть понимаемымъ. Я говорю это не въ смыслѣ разности въ языкѣ — для культурнаго человѣка это неудобство легко устранимое — но трудно, почти невыносимо въ молчаніи снѣдать боль сердца, ту щемящую боль, которая зародилась гдѣ-нибудь на берегахъ Иловли и по пятамъ пришла за вами къ самой подошвѣ Мальберга \*). Тамъ, въ долину Иловли, эта боль напоминала вамъ о живучести въ васъ человѣческаго естества; здѣсь, въ долину Лана, она ровно ни о чемъ не напоминаетъ, ибо ее давно уже пережили (можетъ быть, за нѣсколько поколѣній назадъ), да и на бобахъ развели. Мало того, эта боль становится признакомъ неблаговоспитанности и съ вашей стороны, потому что неприлично вздыхать и ронять среди людей, которымъ, въ качествѣ восстанавливающаго средства, прописано непремѣнное душевное спокойствіе. Не ясно ли, что тѣ катарральныя улучшенія, которыя достигаются глотаніемъ и вздыханіемъ подлежащихъ щелочей, должны въ значительной мѣрѣ ослабляться полнымъ отсутствіемъ условій, составляющихъ обычную принадлежность той жизни, съ которою вы по крайней мѣрѣ лично привыкли соединять представленіе объ ослѣдлости.

Въ-третьихъ, наконецъ, культъ самосохраненія заключаетъ въ себѣ нѣчто, свидѣтельствующее не только о чрезмѣрномъ, но, быть можетъ, и о незаслуженномъ животолобіи. Русская пословица гласитъ такъ: „жить живи, однако и честь знай“. И замѣьте, что, какъ всѣ народныя пословицы, она имѣетъ въ виду не празднолюбца, а человѣка, до истощенія силъ тянувшаго выпавшее на его долю жизненное тягло. Если даже ему, истомленному человѣку тягла, надо „честь знать“, то что же сказать о празднолюбцѣ, о бонапартистѣ, у котораго ни назадъ, ни впереди нѣтъ ничего, кромѣ умственнаго и нравственнаго декольтѣ? Клянусь, надо знать честь, господа! Подумайте! миллионы людей изнемогають, прикованные къ землѣ и къ труду, не справляясь ни о почкахъ, ни о легкихъ и зная только одно: что они повинны работѣ, — и вдругъ, изъ этого безпредѣльнаго кабальнаго моря выдѣляется горсть празднолюбцевъ, которые самовластно декретируютъ, что для кого-то и для чего-то нужно, чтобъ почки дѣйствовали у нихъ въ исправности! Ахъ, господа, господа!

Все это я отлично понималъ, и всѣ эти возраженія были у меня на языкѣ прошлой весной, когда рѣшался вопросъ о доставленіи мнѣ возмож-

\*) Гора, командующая надъ Бад-Эмсомъ.



ности прожить „аридовы вѣки“. Но — странное дѣло! — когда люди науки высказались въ томъ смыслѣ, что я мѣсяца на три обязываюсь позабыть прошлое, настоящее и будущее, для того, чтобъ всецѣло посвятить себя нагуливанію животовъ, то я не только ничего не возразилъ, но сдѣлалъ видъ, что много доволенъ. Я зналъ, что ради возстановленія силъ я долженъ буду растратить свои послѣднія силы, — и промолчалъ. Я очень хорошо провидѣлъ, что процессъ самосохраненія окончательно разорить мой и безъ того разоренный организмъ, — и сказалъ: помилуйте! куда угодно, хоть въ тартарары! Я — человѣкъ дисциплины по преимуществу, и твердо вѣрую, что всякое „распоряженіе“ клонится къ моему благу.

Словомъ сказать, я сѣлъ въ вагонъ и поѣхалъ.

Но такъ какъ фактъ совершился и нелѣгкая принесла уже меня на берега вонючаго Лана, то я считаю себя выравъ подѣлиться съ читателями вынесенными мною впечатлѣніями. Пишу не для дамочекъ и не для бонапартистовъ, а для тѣхъ, кои, сидя на берегахъ Лопани, Ворны и Хопра, не ослабляючи вздыхаютъ надъ вопросами объ акклиматизаціи саранчи, колорадскаго жучка и гессенской мухи. Пусть дойдетъ до нихъ мой голосъ и скажетъ имъ, что даже здѣсь, въ виду башни, въ которой, по преданію, Карлъ Великій замуровалъ свою дочь (здѣсь всѣ башни таковы, что въ каждой кто-нибудь кого-нибудь замучилъ или убилъ, а у насъ башенъ нѣтъ), ни на минуту не покидало меня представленіе о саранчѣ, опустошавшей благословенныя чембарскія пажити. И пусть засвидѣтельствуютъ этотъ голосъ, что покуда человѣкъ не развяжется съ представленіемъ о саранчѣ и другихъ расхитителяхъ народнаго достоянія, до тѣхъ поръ никакіе Kraenchen и Kesselbrunnen „аридовыхъ вѣковъ“ ему не дадутъ.

Но еслибы и дѣйствительно глотаніе Kraenchen, въ соединеніи съ олиновымъ молокомъ, способно было дать безсмертіе, то и такая перспектива едва-ли бы соблазнила меня. Во-первыхъ, мнѣ кажется, что безсмертіе, посвященное непрерывному наблюденію, дабы въ организмъ не переставаячи совершался обмѣнъ веществъ, было бы отчасти дурацкое; а во-вторыхъ, я настолько совѣтливъ, что не могу воздержаться, чтобъ не спросить себя: ежели всѣ мы, культурные люди, сдѣлаемся безсмертными, то при чемъ же останутся попы и гробовщики?

Въ заключеніе настоящаго введенія, еще одно слово. Выраженіе „бонапартисты“, съ которымъ читателю не разъ придется встрѣтиться въ предлагающихъ эскизахъ, отнюдь не слѣдуетъ понимать буквально. Подъ „бонапартистомъ“ я разумѣю вообще всякаго, кто смѣшиваетъ выраженіе: „отечество“, съ выраженіемъ: „ваше превосходительство“, и даже отдаетъ предпочтеніе послѣднему передъ первымъ. Такихъ людей во всѣхъ странахъ множество, а у насъ до того довольно, что хоть лопатами огребай.

Въ одно прекрасное утро, часовъ около одиннадцати, всѣхъ насъ, „отпущенныхъ по пашпорту“, въ Вержболовѣ обыскали и, по сдѣланіи надлежащихъ отмѣтокъ, переправили, какъ въ старину нѣвалось, „въ гости къ братьямъ-пруссакѣмъ“. Но нынѣшніе братья-пруссакѣ уже не тѣ, что прежде

были, и приняли насъ не какъ „гостей“, а какъ данниковъ. Прежде всего они удостовѣрились, что у насъ нѣтъ ни чумы, ни иныхъ тѣлесныхъ озлобленій (за это удостовѣреніе насъ заставляютъ уплачивать въ петербургскомъ германскомъ консульствѣ по 75 копѣекъ съ паспорта, чѣмъ крайне оскорбляются вызывающіе изъ Россіи иностранцы, а намъ оскорбляться не предоставлено), а потомъ сказали милостивое слово: der Kurs 213 pf., т.-е. русскій рубль слишкомъ на марку стѣдитъ дешевле противъ нормальной цѣны. Въ заключеніе, обыскавъ наши багажи (весьма впрочемъ деликатно) и удостовѣрившись по нашимъ простодушнымъ фizioноміямъ, что отнынѣ всѣ марки и пфенниги, сколько бы таковыхъ у насъ ни оказалось, мы не только за страхъ, но и за совѣсть обязываемся сполна расходовать на пользу германскаго отечества, объявили насъ отъ митрогнозиі свободными.

Странное дѣло! покуда мы пробирались къ Вержболову (нѣмцы ужъ называютъ его Wirballen), никому изъ насъ не приходило въ голову выглядывать въ окна и любопытствовать, какой изъ нихъ открывается пейзажъ. Какъ-то само собой предполагалось, что все извѣстно и переизвѣстно. „Мокрое мѣсто, по которому растетъ ненастоящій лѣсъ“ — вотъ картина, которую ожидалъ встрѣтить взоръ и во избѣжаніе которой всякій старался убить время независимо отъ впечатлѣній родной природы. Одни не разгибая спины „винтили“. Другіе во всеуслышаніе роптали, что никакой „заграницы“ не нужно, и что всю эту „заграницу“ выдумали ихъ дамочки, которыя, подъ предлогомъ исправленія супружескихъ почекъ и легкихъ, собрались ловить по курзаламъ бонапартистовъ всѣхъ наименованій. Третьи всеминутно тосковали: „какимъ-то насъ курсомъ батюшка-Берлинъ наградить“.

— Кажется, мы нынче смирно сидимъ... Ни румыновъ, ни грековъ, ни сербовъ, ни болгаръ — ничего за нами нѣтъ! Пора бы ужъ и намъ милостивое слово сказать! — слышалось въ одномъ углу.

— Ну, батенька и за саранчу тоже не похвалятъ! — гдѣ-то по сосѣдству раздавалось въ отвѣтъ.

Даже два старца (съ претензіей на государственность), ѣхавшіе вмѣстѣ съ нами, — и тѣ не интересовались своимъ отечествомъ, но считали его лишь мѣстомъ для полученія присвоенныхъ по штатамъ окладовъ. Повидимому они ничего не ждали, ни на чтѣ не роптали и даже ничего не мыслили, но въ государственномъ безмолвіи сидѣли другъ противъ друга, сиѣсиво хлопая глазами на прочихъ пассажировъ и какъ бы говоря: мы насчетъ казны нагуливать животы ѣдемъ!

Живя въ Петербургѣ, я зналъ объ этихъ старцахъ по слухамъ; но эти слухи имѣли такой опредѣленный характеръ, что, признаюсь, до самаго Эйдткунена я съ величайшимъ безпокойствомъ взиралъ на нихъ. Я такъ и ждалъ, что они вынутъ казенныя подорожныя и скажутъ: а ну-те, предъявляйте свои сердца! И тогда прощай, Эмсъ! прощайте, Бадень-Бадень, Интерлакенъ, Парижъ! Одинъ былъ малаго роста, сложенъ кряжемъ и назывался по фамиліи Дыба; другой былъ длиненъ, сухощавъ, извивался и сокращался, словно змѣй, и назывался по фамиліи Удавъ. Оба состояли въ чинѣ безшабашнаго совѣтника, и у cadaго было по трещинѣ вдоль черепа. Одинъ прошелъ школу графа Михаила Николаевича въ качествѣ чиновника для ареступленій; дру-



гой прошелъ школу графа Алексѣя Андреевича, въ качествѣ чиновника для чтенія въ сердцахъ. Оба служатъ представителями новой департаментско-курьерской аристократіи. У одного въ гербѣ была изображена, въ червленомъ полѣ, рука, держащая серебряную урну, съ надписью: *не пролей!* у другого — на серебряномъ полѣ — рука, держащая золотую урну съ надписью: *содержи въ опрятности!* Изъ чего дозволялось заключать, что оба происходятъ не отъ Рюрика, оба въ юныхъ лѣтахъ думали скончать жизнь въ столоначальническихъ должностяхъ, но, благодаря беззавѣтной свирѣпости при исполненіи начальственныхъ предписаній, были замѣнены, понравились и удостоены повышенія въ чинахъ и должностяхъ. И въ довершеніе всего у обоихъ, по смерти, вмѣсто монументовъ, будетъ воткнуто на могилахъ по осиновому колу. Спрашивается: въ виду столь жестоковѣрныхъ идоловъ можно ли было не трепетать, пока Эйдткуненъ не предсталъ передъ нами въ качествѣ несомнѣнной дѣйствительности?

И въ самомъ дѣлѣ, въ Эйдткуненѣ картина измѣнилась какъ бы волшебствомъ. Винтившіе бросили русскія карты и на первыхъ порахъ какъ бы совѣстились продолжать винтъ въ нѣмецкомъ вагонѣ. Пассажиры, роптавшіе на женъ, смирились, а тѣ которые ожидали милости отъ „батьюшки-Берлина“, прочитавші: *der Kurs 213*, окончательно убѣдились, что за саранчу не похвалять. Что же касается до государственныхъ старцевъ, то я просто ихъ не узналъ. Какъ только съ нихъ сняли въ Эйдткуненѣ чины, такъ они тотчасъ же отлучились и, выпустивъ угнетавшую ихъ государственность, всѣмъ безъ разбора начали подмигивать. И шафнеру нѣмецкаго вагона, и французенкѣ, ѣхавшей въ Парижъ за товаромъ, и даже мнѣ... И всѣмъ, казалось, говорили: не таите помышленій вашихъ, ибо нынче у насъ въ Петербургѣ... вольно!

И вотъ, едва мы размѣстились въ новомъ вагонѣ (мнѣ пришлось сѣсть въ одномъ спальномъ отдѣленіи съ безшабашными совѣтниками), какъ тотчасъ же бросились къ окнамъ и начали смотрѣть.

Природа, которая открывалась передъ нами, мало чѣмъ отличалась отъ только-что оставленной мною природы русско-чухонскаго поморья, въ пескахъ котораго ютилось знакомое читателю Монрепд. Та же низменная равнина, тѣ же рудожелтые пески, въ перемежку съ торфяными низинками. Но ни кочкарника, ни мховъ, ни лѣзущаго отовсюду лозняка, ни еле дышущей, одиноко стоящей и во все стороны гнущейся березки — и въ поминѣ нѣтъ. И справа, и слѣва тянутся засѣянные поля, къ которымъ гораздо болѣе идетъ эпитетъ „необозримыхъ“, нежели, напримѣръ, къ полямъ Тверской или Ярославской губерній и вообще средней полосы Россіи. Я видалъ такія обширныя полевые пространства въ южной половинѣ Пензенской губерніи, но подъ опасеніемъ возбудить въ читателѣ недовѣріе утверждаю, что репутация производства такъ-называемыхъ „буйныхъ“ хлѣбковъ гораздо съ большимъ правомъ можетъ быть примѣнена къ обиженному природой прусскому поморью, нежели къ чембарскимъ благословеннымъ пажитямъ, гдѣ, какъ рассказываютъ, глубина черноземнаго слоя достигаетъ двухъ аршинъ. Въ Чембарѣ такъ долго и легкомысленно рассчитывали на безконечную способность почвы производить *буйные* хлѣба, что и не видали, какъ поля выпажались и хлѣба присмирѣли. Здѣсь

же, очевидно, ни на какія великія и богатыя милости не разсчитывали, а, напротивъ, и денно и ночью только одну думу думали: какъ бы среди псковъ да болотъ съ голоду не подохнуть. Въ Чембарѣ говорили: „а въ случаѣ ежели Богъ дожжичка не пошлетъ, такъ намъ, братцы, и помирать не въ диковину!“ а въ Эйткуненѣ говорили: „тамъ какъ будетъ угодно насчетъ дожжичка распорядиться, а мы помирать не согласны!“

Почему на берегахъ Вороны говорили одно, а на берегахъ Прегеля другое — это я рѣшить не берусь, но положительно утверждаю, что никогда въ чембарскихъ палестинахъ я не видалъ такихъ *буйныхъ* хлѣбовъ, какіе мнѣ удалось видѣть нынѣшнимъ лѣтомъ между Вержболовомъ и Кѣнигсбергомъ, и въ особенности дальше, къ Эльбингу. Это было до такой степени неожиданно (мы всѣ заранѣе зарядились мыслью, что у нѣмца хоть шаромъ покати, и что безъ нашего хлѣба нѣмецъ подохнетъ), что нѣкто изъ ѣхавшихъ рискнулъ даже замѣтить:

— Вотъ увидите, что скоро отсюда къ намъ хлѣбъ возить стануть!

На что другой ѣхавшій патріотически-задумчиво пробормоталъ:

— Ну, это ужъ, кажется, не тово... Этакъ, братъ-колбаса, ты пожалуй и вовсе насъ въ полдня заберешь!

Но этого мало, что хлѣбъ у нѣмца на пескахъ родятся буйные — у него и коровамъ не житѣ, а рай, благодаря изобилію луговъ. При тѣхъ же самыхъ условіяхъ (тотъ же торфъ) выйдешь, бывало, въ Монрепо посмотрѣть, какъ оно тамъ произрастаетъ, — и разомъ дѣлается какъ-то нестерпимо скучно. Кажется, все было сдѣлано: и канавы въ прошломъ году по осени чистили, и золото изъ Кронштадта цѣлую зиму возили и по полянкамъ разбрасывали, а все проку нѣтъ. Куда ни глянешь, — либо мохъ сплошной, либо какая-то бурная болячка, либо цѣлая щетка молоденькихъ березокъ выскочила, и только гдѣ-гдѣ занялась настоящая трава. Ну, разумѣется, сейчасъ слѣдствіе.

— Иванъ! да точно ли вы золото изъ Кронштадта здѣсь валили?

— Помилуйте! вотъ и бумажки-съ!

— Ну, стало быть, канавы осенью не прочистили какъ слѣдуетъ?

— И канавы нельзя лучше чистили, только въ нихъ вода, вишь, стойтъ...

— Отчего-жъ она не стекаетъ?

— Да стѣку ей нѣтъ — оттого. Еще спервоначалу Иванъ Павлычъ (прежній вотчинникъ), какъ только эти самые луга затѣялъ — все стѣку искалъ. Сыщеть, анъ на слѣдующую весну его пескомъ затынеть, — давай песокъ разгребать. До воли мужикъ-отъ дешевъ былъ, разгребуть стѣкъ, канавы на-ново вычистить, — трава-то и родится! а какъ подошла воля, разгребать-то и нѣмъ стало. По канавкамъ лознякъ пошелъ, по полянкамъ мохъ выскочилъ, затыгиваетъ каждый годъ да и шабашъ. Ну, Иванъ Павлычъ-то видитъ, что ежели тутъ хозяйствовать, такъ послѣдніе штаны съ себя снять придется, — осердился, плюнулъ и продалъ всю палестину. „Пропadaйте, говорить, вы пропадаемъ, а я на теплыя воды ѣздить стану!“

И точно, какъ ни безнадежно заключеніе Ивана Павлыча, но нельзя не согласиться, что ѣздить на теплыя воды все-таки удобнѣе, нежели пропадать пропадаемъ въ Петергофскомъ уѣздѣ. Есть люди; у которыхъ такъ и въ



гербахъ значится: пропадайте вы пропадаемъ, — пускай они и пропадають. А намъ съ Иваномъ Павлычемъ это не съ руки. Мы лучше въ Эмь поѣдемъ да легкія пообчистимъ, а на зиму опять вернемся въ отечество: неужто, молъ, петергофскіе-то еще не пропали?

— Послушай однакожь, Иванъ! какъ же мужики-то? у нихъ вѣдь надѣлъ... обезпеченіе, братецъ, вѣдь это! Неужто-жь и они стѣку не могутъ сыскать?

— И мужики тоже бьются. Никто здѣсь на землю не надѣется, всѣ отъ нея бѣгутъ да около кое-чего побираются. Вонъ она, мельница-то наша, который ужъ мѣсяцъ пустая стоитъ! Кругомъ на двадцать верстъ другой мельницы нѣтъ, а для нашей врядъ до Филиппова заговѣнія помолу достанетъ. Вотъ хлѣба-то здѣсь каковы!

Таковы порядки въ Монрепѣ. А здѣсь, подь Инстербургомъ, сѣумѣли и стѣкъ отыскать, и луга расчистить, и боровые житыя устроить. Вездѣ канавы чистыя, безъ лозняка, и вездѣ вынутый изъ канавъ торфъ сформованъ и сложенъ въ стѣпки. Этимъ торфомъ и отапливаются, и сдѣбрівають поля. Даже лѣсъ — и тотъ совсѣмъ не такъ безнадежно здѣсь смотритъ, какъ привыкли думать мы, отапливающіе кизякомъ и гречневой шелухой наши жилища на берегахъ Лопани и Ворсклы. Съ чего-то мы вообразили себѣ (должно быть, Печорскіе лѣса слишкомъ часто намъ во снѣ сняты), что какъ только перевалишь за Вержболово, такъ тотчасъ же представится глазамъ голое пространство, лишенное всякой лѣсной растительности. „Кабы не мы, нѣмцу протопиться бы нечѣмъ“ — эта фраза пользуется у насъ почти такую же популярностью, какъ и та, которая удостовѣряетъ, что безъ нашего хлѣба нѣмцу пришлось бы съ голодудохнуть. Въ дѣйствительности же всѣ горы Германіи покрыты отличнѣйшимъ лѣсомъ, да и въ Балтійскомъ поморьѣ недостатка въ немъ нѣтъ. Вотъ подь Москвой, такъ точно что нѣтъ лѣсовъ, и та цѣна, которую здѣсь, въ виду Куришгафа, платять за дрова (до 28 марокъ за клафтеръ, около 1½ саж. нашего швырка), была бы для Москвы истинною благодатью, а для береговъ Лопани, пожалуй, даже баснословіемъ. И замѣйте, что если цѣна на топливо здѣсь все-таки достаточно высока, то это только потому, что Германія вообще скупа на тѣ произведенія природы, которыя возобновляются лишь въ продолжительный періодъ времени. А припустите-ка сюда похозяиничать русскаго лѣсничаго съ двумя-тремя русскими лѣсопромышленниками — они разомъ всѣ рынки запрудятъ такой массой дровъ, что послѣднія немедленно подешевѣютъ на половну...

Мнѣ скажутъ, можетъ быть, что прусское правительство изстари производило въ восточной Пруссіи опыты разработки земли въ обширныхъ размѣрахъ и тратило на это громадныя суммы, безъ всякой надежды на ихъ возвратъ... Чтожь! противъ этого я, конечно, ничего возразить не имѣю.

Между тѣмъ нашъ поѣздъ на всѣхъ парахъ несея къ Кѣнигсбергу; въ глазахъ мелькали разноцвѣтныя поля, луга, лѣса и деревни. Физиономія крестьянскаго двора тоже значительно видоизмѣнилась противъ до-вержболовской. Изба съ выбѣленными стѣнами и черепичной крышей глядѣла веселѣе, довольнѣе, нежели до-вержболовскій почернѣвшій срубъ съ вклокоченной

соломенной крышей. Это было жилище, а не изба въ той формѣ, въ какой мы, русскіе, привыкли себѣ ее представлять.

И смотрѣлъ вмѣстѣ съ прочими на эту картину и невольно задумывался. Я не скажу, чтобъ сравненія, которыя при этомъ сами собой возникали, были обидны для моего самолюбія (у меня на этотъ случай есть въ запасѣ прекрасная поговорка: моя изба съ краю), но не могу скрыть, что чувствовалась какая-то непобѣдимая неловкость. Передо мной воочію метался тотъ „повинный работѣ“ человѣкъ, который, выбиваясь изъ силъ, надрываясь и проливая кровавый потъ, въ награду за свою вѣчную страду получить кусокъ мякиннаго хлѣба. Есть что-то мучительно-загадочное въ этомъ сопоставленіи мякиннаго хлѣба и вѣчной страды. Какимъ образомъ выработалось это сопоставленіе, и почему оно вылилось въ такую неподвижную форму, что скорѣе можно разбить себѣ лобъ, чѣмъ видоизмѣнить ее? Ужели на этотъ вопросъ никогда не будетъ другого отвѣта, кромѣ: не твое дѣло?

Пусть читатель не думаетъ однакожъ, что я считаю прусскіе порядки совершенными и прусскаго человѣка счастливѣйшимъ изъ смертныхъ. Я очень хорошо понимаю, что среди этихъ отлично воздѣланныхъ полей рѣчь идетъ совсѣмъ не о распредѣленіи богатствъ, а исключительно о накопленіи ихъ; что эти поля, дуга и выдѣленные жилища принадлежатъ такимъ же толстосумамъ-буржуа, какимъ въ городахъ принадлежатъ дома и лавки, и что за каждымъ изъ этихъ толстосумовъ стоятъ десятки кнехтовъ, въ пользу которыхъ выпадаетъ очень ограниченная часть этого красиваго довольства.

Я нимало не сомнѣваюсь, что въ званіи кнехта очень мало лестнаго; но развѣ кнехты родятся только начиная съ Эйдткунена? развѣ политико-экономическія основанія, которыя практикуются подъ Инстербургомъ, не совершенно равносильны тѣмъ, которыя практикуются и подъ Петергофомъ? Увы! я совершенно искренно убѣжденъ, что въ этомъ отношеніи обѣ мѣстности могутъ аттестовать себя равно способными и достойными, и что инстербургскій толстосумъ едва-ли даже не менѣе жаденъ, нежели, наиримѣръ, купецъ Колупаевъ, который разостлалъ паутину кругомъ Монрепо. Я знаю, что многіе думаютъ такъ: мы бѣдны, но за то у насъ на первомъ планѣ распредѣленіе богатствъ; однакожъ, по мнѣнію моему, это только одни слова. Повѣрьте, что въ Петергофскомъ уѣздѣ распредѣленіе богатствъ гораздо въ болѣйшей степени зависитъ отъ господина Колупаева, нежели въ Инстербургскомъ уѣздѣ отъ господина Гехта (Hecht—шука). И я убѣжденъ, что если бы Колупаеву даже во снѣ приснилось распредѣленіе, то онъ скорѣе самъ на себя донесъ бы исправнику, нежели допустилъ бы подобную пропаганду на практикѣ. Стало быть, никакого „распредѣленія богатствъ“ у насъ нѣтъ, да, сверхъ того, нѣтъ и накопленія богатствъ. А есть простое и наглое расхищеніе.

И еще говорятъ: въ Россіи не можетъ быть пролетаріата, ибо у насъ каждый бѣднякъ есть членъ общины и надѣленъ участкомъ земли. Но говорящіе такимъ образомъ, прежде всего, забываютъ, что существуетъ громадная масса мѣщанъ, которая изстари не имѣетъ иныхъ средствъ существованія, кромѣ личнаго труда, и что, съ упраздненіемъ крѣпостного права, къ мѣщанамъ присоединилась еще цѣлая масса бывшихъ дворовыхъ людей, ко-



торые еще менѣе обезпечены, нежели мѣщане. А кромѣ того забываютъ еще и то, что около каждаго „обезпеченнаго надѣломъ“ выскочилъ Колупаевъ, который высоко держитъ знамя кровопивства, и ежели не зоветъ еще „обезпеченныхъ“ кнехтами, то уже довольно откровенно отзывается объ мужикѣ, что „въ ѣмъ только тогда и прокъ будетъ, коли ежели его съ утра до ночи на работѣ морить“.

Вмѣсто того, чтобъ увѣрять все, что вопросъ о распредѣленіи уже разрѣшенъ нами на практикѣ, мнѣ кажется—приличнѣе было бы взглянуть въ глаза Колупаевымъ и Разуваевымъ и разоблачить детали того кровопивственнаго процесса, которому они предаются безъ всякой опаски, при свѣтѣ дня. *Cui? quomodo?* и въ особенности—*quibus auxiliis?* Вотъ если это *quibus auxiliis* какъ слѣдуетъ выяснитъ, тогда самъ собою разрѣшится и другой вопросъ: что такое современная русская община и кого она наипаче обезпечиваетъ, общинниковъ или Колупаевыхъ?

А то выдумали: нечего намъ у нѣмцевъ заимствоваться; покуда-де они надъ „накопленіемъ“ корпятъ, мы, того гляди, и политическую-то экономію совсѣмъ упразднимъ. Такъ и упразднили... упразднители! Вотъ ужъ прослышитъ объ вашемъ самохвальствѣ купецъ Колупаевъ, да *quibus auxiliis* и спроситъ: „а знаете ли вы, робята, какъ кузькину сестрицу зовутъ?“ И придется вамъ на этотъ вопросъ по сущей совѣсти отвѣтъ держать.

Вообще я полагаю, что у насъ практически заниматься вопросомъ о „распредѣленіи богатствъ“ могутъ только Политковскіе да Юханцевы. Эти не поцеремонятся: придутъ, распредѣлятъ, и никто ихъ ни потрясателями основъ, ни сѣятелями превратныхъ толкованій не назоветъ, потому что они воры, а не сѣятели. Да и теоретически заняться этимъ вопросомъ, то-есть разговаривать или писать объ немъ — тоже дѣло не подходящее, потому что для этого нужно выполнить множество подготовительныхъ работъ по вопросамъ о кузькиной сестрѣ, о бараньемъ рогѣ, о макарѣ телятъ не гонящемъ, объ истинномъ значеніи слова: „фюить“, и т. п. Спрашивается: много ли найдется людей, которымъ такой трудъ по силамъ? Напротивъ того, въ Инстербургѣ подготовительныя работы этого рода уже упразднены, такъ что теоретической разработкой вопроса о распредѣленіи можно заниматься и безъ нихъ. Ибо это вопросъ человѣческій, а здѣсь съ давнихъ поръ повелось, что чловѣку о всѣхъ до чловѣка относящихся вопросахъ и говорить, и разсуждать, и писать свойственно. У насъ же свойственно говорить, разсуждать и писать: ура!

И такъ, въ Эйдткуненѣ кнехты и въ Вержболовѣ кнехты; въ Эйдткуненѣ—господинъ Гехтъ, въ Вержболовѣ — господинъ Колупаевъ; въ Эйдткуненѣ нѣтъ распредѣленія, но есть накопленіе, въ Вержболовѣ тоже нѣтъ распредѣленія, но нѣтъ и накопленія. Вотъ въ какомъ положеніи находятся дѣла. Однакожъ я былъ бы неправъ, еслибы скрылъ, что на сторонѣ Эйдткунена есть одно важное преимущество, а именно: общее признаніе, что чловѣку свойственно чловѣческое. Допустимъ, что признаніе это еще робкое и неполное, и что господинъ Гехтъ, конечно, употребить все отъ него зависящее, чтобъ не допустить его чрезмѣрнаго распространенія, но несомнѣнно, что просвѣтъ уже существуетъ, и что кнехтамъ отъ этого хоть капельку да веселѣе.

Мнѣ кажется, что это признаніе есть начало всего, и что изъ него должно вытечь все то разумное и благое, на чемъ зиждется прочное устройство обществъ. Только тогда, когда это признаніе сдѣлается совершившимся фактомъ, смягчатся нравы, укротится людская дикость, исчезнутъ расхитители, процвѣтутъ науки и искусства, и даже начнутъ родиться „буйные“ хлѣба. И ежели разъ общество добилось этого признанія, то нужно, чтобъ оно держалось за него крѣпко и помнило всеминутно, что чѣмъ шире прольется въ жизнь струя „человѣческаго“, тѣмъ свѣтлѣе, счастливѣе, благодатиѣе будетъ литься существованіе самого общества. Но во всякомъ случаѣ достиженіе этого признанія должно быть первою и главнѣйшею цѣлью всего общества, и худо рекомендуетъ себя та страна, гдѣ сейчасъ слышится: отнынѣ вы можете открыто выражать ваши мысли и желанія, а слѣдомъ затѣмъ: а ну-те, посмотримъ, какъ-то вы будете открыто выражать ваши мысли и желанія! Или: отнынѣ вы будете сами свои дѣла вѣдать, а слѣдомъ затѣмъ: а ну-те, попробуйте и т. д. Такому обществу ничего другого не остается, какъ дать подписку, что члены его всѣ до одинаго, отъ мала до велика, во всякое время помирать согласны.

Надо сказать правду, въ Россіи въ наше время очень рѣдко можно встрѣтить довольнаго человѣка (конечно, я разумѣю исключительно культурный классъ, такъ какъ некультурнымъ людямъ нѣтъ времени быть недовольными). Кого ни послушаешь, всѣ на что-то негодуютъ, жалуются, вопіютъ. Одинъ говоритъ, что слишкомъ мало свободъ даютъ, другой — что слишкомъ много; одинъ ропщетъ на то, что власть бездѣйствуетъ, другой — на то, что власть черезчуръ достаточно дѣйствуетъ! одни находятъ, что глупость насъ одолѣла, другіе — что слишкомъ мы умны стали; третьи, наконецъ, участвуютъ во всѣхъ пакостяхъ и, хохоча, приговариваютъ: ну, гдѣ такое безобразіе видано?! Даже расхитители казеннаго имущества — и тѣ недовольны, что скоро нечего расхищать будетъ. И всякій требуетъ лично для себя конституціи: мнѣ, говоритъ, подай конституцію, а прочіе пусть, по прежнему, довольствуются ранами и скорпіонами.

Эта всеобщность недовольства, сопряженная съ пожеланіемъ самыхъ пріятныхъ проектовъ лично для себя и съ полнѣйшимъ равнодушіемъ относительно жизненной обстановки сосѣда, представляется для меня фактомъ тѣмъ болѣе замѣчательнымъ, что фрондерство повидимому заползаетъ въ сердце самихъ твердынь. И вдобавокъ фрондерство до того разношерстное, что уловить оттѣнки его (а стало быть и удовлетворить капризные требованія этихъ оттѣнковъ) нѣтъ никакой возможности. За примѣрами ходить недалеко. Когда дѣлили между чиновниками сначала западныя губерніи, а впослѣдствіи Уфимскую, то мы были свидѣтелями явленій по истинѣ поразительныхъ. Казалось бы, ужъ на что лучше: урвалъ кусокъ казеннаго пирога — и проваливай! Такъ нѣтъ же, тутъ-то именно и разыгрались во всей силѣ свара, ненависть, глумленіе и всякое безстыжество, главною мишенью для которыхъ — увы! — послужила именно та самая неоскудѣвающая рука, которая и дѣлажку-то съ тою спеціальною цѣлью предприняла, чтобъ углобзать господъ



чиновниковъ и, само собой разумѣется, въ то же время положить начало корпорации довольныхъ. Пускай, молъ, хоть малый прыщъ вначалѣ вско-чить, а потомъ, не торопясь да Богу помолясь, и большого волдыря дождемся...

А между тѣмъ вышло совсѣмъ, совсѣмъ напротивъ.

Я помню, иду я, въ разгаръ одного изъ такихъ дѣлежей, по Невскому, и думаю: непременно встрѣчу кого-нибудь изъ знакомыхъ, который хоть что-нибудь да утасилъ. Узнаю какъ и что, да тутъ же ужъ кстати и поздравлю съ благополучнымъ похищеніемъ. И точно, едва я успѣлъ сойти съ Аничкина моста, смотрю его превосходительство Петръ Петровичъ идетъ.

— Урвали? — спрашиваю!

— Помилуйте! на что похоже! выбросили кусокъ да еще ограничиваютъ! Говорятъ: пользуйся такъ-то и такъ-то: лѣсу не руби, травы не мни, рыбы не лови! А главное, не смѣй продавать, а эксплуатируй постепенно самъ! Вѣдь только у насъ могутъ *проходить даромъ* подобныя нелѣпости.

— Сс... да вѣдь, я думаю, это больше на бумагѣ, а на дѣлѣ вѣроятно...

— Еще бы! Поймите, развѣ естественно, чтобъ человѣкъ самъ себя зложелательствовалъ! Лѣсу не руби! ахъ, чортъ побери! Да я и сейчасъ весь лѣсъ на срубъ продалъ... ха-ха!

Пройдя еще нѣсколько шаговъ, встрѣчаю его превосходительство Ивана Иваныча.

— Урвали?

— Получилъ, между прочимъ, и я; да, кажется, только грѣхъ одинъ. Помилуйте! плѣшь какую-то отвалили! ни рѣки, ни лѣсу — ничего! „Черноземъ“, говорятъ. Да чорта ли мнѣ въ вашемъ „черноземѣ“, коли цѣна ему — грошъ! А коллегѣ моему Ивану Семенычу — оба вѣдь подъ одной державой, кажется, служимъ — тому такое же количество лѣса на подборъ дерево къ дереву отвели! да при рѣкѣ, да въ семи верстахъ отъ пристани! Нѣтъ, батенька, не доросли мы! Ой-ой, какъ еще не доросли! Оттого у насъ подобныя дѣла и могутъ *проходить даромъ*!

— Ваше превосходительство! да вы бы на мѣсто съѣздили, осмотрѣлись бы, посовѣтовались бы, да и тово... Въ старину говаривали: по нуждѣ и закону премѣна бываетъ; а нынче то же изреченіе только въ другой редакціи выразить — смотришь и выйдетъ: по нуждѣ и чернозему премѣна бываетъ! И будетъ у васъ вмѣсто плѣши густо растущій лѣсъ!

— А что вы думаете, вѣдь это идеал! съѣздить развѣ въ самомъ дѣлѣ... ха-ха! Вѣдь у насъ... Право, отличная штука выйдетъ! Все была плѣшь, и вдругъ на ней строевой лѣсъ выросъ... ха-ха! Вѣдь у насъ волшебства-то эти... ха-ха! Благодарю, что надоумили! Съѣзжу, непременно съѣзжу... ха-ха!

Еще нѣсколько шаговъ — идетъ на встрѣчу его превосходительство Терентій Терентичъ. Этотъ даже вопроса не выжидаетъ, прямо заливается-хохочетъ.

— Ха-ха! вѣдь и меня надѣлили! Какъ же! заполучилъ-таки тысячи двѣ черноземцу! Вотъ такъ потѣха была! Хотите? говорятъ. Ну, какъ, молъ,

не хотѣтъ: съ моимъ, говорю, удовольствіемъ! А! какова потѣха! Да, батенька, только у насъ такія дѣла могутъ *даромъ проходить*! Да-съ, только у насъ-съ. Общественнаго мнѣнія нѣтъ, печать безмолвствуетъ — валий по всѣмъ по тремъ! Ха-ха!

Вотъ какіе результаты произвелъ фактъ, который въ принципѣ долженъ былъ пролить миръ и благоволеніе въ сердцахъ получателей. Судите по этимъ образчикамъ, насколько наивны должны быть люди, которые мечтаютъ, что есть какая-нибудь возможность удовлетворить человѣка, который урываетъ кусокъ пирога и тутъ же выдаетъ головой и самого себя, и своихъ убогаторителей?

Но ежели такое смѣшливое настроеніе обнаруживаютъ даже люди, получившіе посильное убоженіе, то съ какими же чувствами должны относиться къ дирижирующей современности тѣ, которые не только ничего не урвали, но и въ будущемъ никакой надежды на убоженіе не имѣютъ? Ясно, что они должны представлять собою сплошную массу волнуемыхъ завистью людей.

— Сказываютъ, что въ Вятской губерніи еще полезныя лѣсочки втунѣ лежатъ? — говорилъ мнѣ на-дняхъ одинъ безшабашный совѣтникъ, о которомъ при дѣлешкахъ почему-то не вспомнили.

Передъ этимъ онъ только-что сквернословилъ, ропталъ и вопилъ. Рассказывалъ расхитительные анекдоты, цитировалъ свой формулярный списокъ, перечислялъ по пальцамъ свои формулярныя преступленія и доказывалъ какъ дважды два, что преступленія, совершенныя тѣми, которымъ судьба поблагопріятствовала при дѣлешкѣ, ничто въ сравненіи съ тѣми, которыя выпали на долю его, обдѣленного безшабашнаго совѣтника. И вдругъ, въ самомъ разгарѣ сквернословія, вспомнилъ, что остается еще въ резервѣ Вятская губернія, и умилился. Ласковыми глазами глянулъ онъ мнѣ въ глаза, какъ бы ища въ нихъ подтвержденія, что Вятская губернія еще не ушла. Глядѣлъ и какъ-то покорно ждалъ. Однакожъ я, по совѣсти, не могъ доставить ему искомаго утѣшенія. Во-первыхъ, я долженъ былъ указать ему, что нынѣ начальство строгое, и никакихъ территоріальныхъ усовершенствованій, ради него, безшабашнаго совѣтника, въ Вятской губерніи не допустить; во-вторыхъ, я вынужденъ былъ объяснить, что хотя и дѣйствительно слыхивалъ о полезныхъ лѣсочкахъ въ Вятской губерніи, но это было ужъ очень давно, такъ что теперь отъ этихъ лѣсочковъ вѣроятно остались одни пеньки.

— Ну, вотъ! — воскликнулъ онъ горестно: — не говорилъ ли я вамъ! Гдѣ это видано! гдѣ допустили бы такое расхищеніе! давно ли такая, можно сказать, непроходимость была — и вдругъ на-лицо одни пеньки!

И вновь во всю мочь принялся сквернословить, роптать на начальство и вопіять объ отщепеніи.

Вообще было бы и любопытно, и поучительно изучить современную культурную Россію съ точки зрѣнія сквернословія. Рассмотрѣть въ подробности этихъ алчущихъ наживы, вѣчно хватающихъ и все-таки живущихъ со дня на день людей; опредѣлить резонъ, на основаніи котораго они находятъ возможнымъ существовать, а затѣмъ въ этой безшабашной массѣ отыскать, если возможно, и человѣка, который имѣетъ понятіе о „собственныхъ средствахъ“, который помнитъ свой вчерашній день и знаетъ навѣрное, что у



него будетъ и завтрашній день. Увы! и вполнѣ искренно убѣжденъ, что работа будетъ трудная, такъ какъ люди второй категоріи составляютъ положительную диковину.

Петербургъ полонъ наглými, мечущимися людьми, которые хватаютъ и тутъ же сыплютъ нахватавшимся, которые вѣчно глотаютъ и никогда не насыщаются, и вдобавокъ даже не даютъ себѣ труда воздерживаться отъ циническаго хохота, который возбуждаетъ въ нихъ самихъ ихъ безнаказанность. Могутъ ли эти люди сознавать себя довольными? Могутъ ли они не скрежещать зубами, видя, что жизнь, несмотря на то, что они всячески стараются овладѣть ею, все-таки не представляетъ вполнѣ обезпеченнаго завтрашняго дня?—Нѣтъ, по совѣсти, не могутъ. Ибо самое безпорядочное положеніе вещей—и то не въ состояніи удовлетворить той безпредѣльной жажды стяжанія, суеты и безпорядочности, которыя въ ихъ глазахъ составляютъ истинный идеалъ безпечальнаго житія. Вѣчный праздникъ, вѣчное скитаніе на чужой счетъ—очевидно, что никакое начальство, какъ бы оно ни было всемогуще, не можетъ безрочно обезпечить подобное существованіе.

Что же касается до провинцій, то, по моему мнѣнію, масса ропщущихъ и вопіющихъ должна быть въ нихъ еще компактнѣе, хотя причины, обуславливающія недовольство, имѣютъ здѣсь совершенно иной характеръ. Все здѣсь соединилось, чтобъ изъ безконечнаго нитя сдѣлать обычный провинціальный *modus vivendi*. И голодное житье, и неспособность приспособиться къ новымъ условіямъ жизни, и насильственная праздность, и удаленность отъ пирога, и отсутствіе правильныхъ устоевъ жизни—все идетъ на встрѣчу провинціалу, все ставитъ ему непреодолимыя препоны на пути, все запутываетъ, заставляетъ останавливаться въ недоумѣніи. Выкупныя ссуды продѣны или прожиты такъ, что почти можно сказать спущены въ ватерклозетъ. Желѣзно-дорожными концессіями воспользовались немногіе шустрые, которые украли и удрали въ Петербургъ. Правда, остаются еще мировые суды и земства, около которыхъ можно бы кой-какъ пощечиться, но, во-первыхъ, ни тѣ, ни другія не въ силахъ пріютить въ своихъ нѣдрахъ всѣхъ изувѣченныхъ жизнью, а во-вторыхъ развѣ „благородному человѣку“ можно остаться довольнымъ какими-нибудь полуторами-двумя тысячами рублей, которые предоставляетъ нищенское земство? Мнѣ скажутъ, можетъ быть, что и въ провинціи уже успѣло образоваться довольно компактное сословіе „кровоивцевъ“, которые не имѣютъ причинъ причислять себя къ лику недовольныхъ; но вѣдь это именно тѣ самые люди, о которыхъ уже говорено выше, и которые, въ одно и то же время, и пирога зубами рвутъ, и глумятся надъ рукою, имъ благоудѣюще.

— Ну, ужъ времячко! — говоритъ купецъ Колупаевъ сосѣду своему купцу Разуваеву, удивляясь, что оба они сидятъ на волѣ, а не въ острогѣ.

— Такое время, Иванъ Прокофьичъ, что только не зѣвай! — поясняетъ купецъ Разуваевъ.

— Такъ-то такъ, а только... И откуда только онѣ берутся, эти деньги, прахъ ихъ побори!

И оба уходятъ, каждый подъ свою смоковницу, оба продолжаютъ кро-

воинствовать, и каждый въ глубинѣ души говорить: „Ну, гдѣ жъ это видано? у какихъ такихъ народовъ слыхано... ахъ, прахъ-те побери!“

Нѣтъ, даже Колупаевъ съ Разуваевымъ — и тѣ недовольны. Они, конечно, понимаютъ, что „жить нонѣ очень неспособно, но въ то же время не могутъ не тревожиться, что есть тутъ-что-то „необыкновенное“, чудиде, что, идя по этой покатоности, можно, того и гляди, и голову свернуть. И оба начинаютъ просить „констинтуницевъ“... Намъ чтобъ „констинтуницевъ“ дали, а толкодѣйниковъ чтобъ къ намъ подъ началъ опредѣлили, да чтобъ за печатью: и нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ.

Натурально, я понималъ, что около меня цѣлый вагонъ кипитъ фронтѣрами, и только ожидалъ отвала изъ Эйдткунена, чтобъ увидѣть цвѣтеніе этого фронтѣрства въ самомъ его разгарѣ. Но, признаюсь, всего болѣе меня интересовали въ этомъ отношеніи безшабашные, совѣтники. Наравнѣ съ другими они любознательно вглядывались въ разстилавшуюся по обѣимъ сторонамъ дороги долину, и почему-то мнѣ казалось, что они дѣлаютъ это не сиротѣ. Навѣрное, думалось мнѣ, они смотрятъ и въ то же время какое-нибудь мѣропріятіе выдумываютъ. Не въ родѣ тѣхъ, какія у насъ, „въ прекрасномъ далека“, черезъ часъ по ложкѣ прописываютъ, а такое, чтобъ сразу совсѣмъ тошно сдѣлалось. Ужо, за границей на досугѣ выдумаютъ, а домой пріѣдутъ, изложить. Сколько смѣху-то будетъ!

Говоря по совѣсти, безшабашные совѣтники не только мнѣ не претятъ, но я чувствую къ нимъ почти неопозволительную слабость. Все въ нихъ мнѣ нравится: и неожиданность сужденій, и безыскусственная несвязность рѣчей, и простодушная готовность во всякое время совершить какое угодно мѣропріятіе. Даже трещина въ черепахѣ, которая постепенно, по мѣрѣ утолщенія формулярнаго списка, у каждого изъ нихъ образовывается — и та не представляется мнѣ зазорною, ибо я знаю, что она установлена для того, чтобъ предписанія начальства быстрѣе доходили по назначенію. Бояться безшабашныхъ совѣтниковъ я, конечно, считаю своею прирожденною обязанностью, но боюсь не потому, чтобъ они представлялись мнѣ преисполненными злобы, а потоплику, поколику они являются вмѣстителями казеннаго интереса. По казенной надобности они воспаляются и свирѣпѣютъ съ изумительной легкостью, но въ домашнемъ быту и въ особенности на водахъ за границую они такіе же люди, какъ и прочіе. У большинства ихъ есть семейства, въ которыхъ они являются нѣжными супругами и любящими отцами, а у нѣкоторыхъ, сверхъ того, имѣются и француженки, которыхъ они, разумѣется, содержатъ на казенный счетъ. Въ качествѣ партикулярныхъ людей многіе изъ нихъ не прочь почитать и даже „писнуть“ что-нибудь въ Карамзинско-Державинскомъ родѣ. Затѣмъ всѣ вообще любятъ получать хорошія содержанія и аренды. Словомъ сказать, это обыкновенные „русскіе люди“, у которыхъ брюхо болитъ, если гдѣ плохо лежитъ. Разумѣется однакожъ, еслибы меня спросили, могу ли я хоть на одинъ часъ поручиться, чтобъ такой-то безшабашный совѣтникъ, будучи предоставленъ самому себѣ, чего-нибудь не накуралесилъ, то я отвѣтилъ бы: нѣтъ, не могу! Но такъ какъ никто объ этомъ меня не спрашиваетъ, то я ограничиваюсь тѣмъ, что озираюсь по сторонамъ



и шепчу: твори, Господи, волю свою! И затѣмъ, когда встрѣчаюсь съ безпашнымъ совѣтникомъ лицомъ къ лицу, то стоить только мнѣ представить себѣ, что я иду мимо монумента, который, того гляди, на меня упадетъ,—и я спокоенъ. Ну, упадетъ, ну, раздавить—только и всего. А можетъ быть и не на меня упадетъ, а на другого, или и совсѣмъ ни на кого не упадетъ, а просто останется стоять на страхъ врагамъ. Ибо, повторяю, тутъ все зависитъ отъ того, какая въ данную минуту казенная надобность на очереди состоятъ.

Вообще я весьма неохотно завиняю людей и знаю очень мало такихъ, которые были бы съ ногъ до головы противоестественны. Но не могу умолчать, что дѣятельность большинства встрѣчаемыхъ нами нѣжныхъ супруговъ и любящихъ отцовъ очень мало мнѣ симпатична. Есть между ними такіе, которые представляютъ собой какъ бы неистощимый сосудъ вреднѣйшихъ мѣропріятій, и есть другіе, которые хотя самостоятельно мѣропріятій не выдумываютъ, но имѣютъ спеціальностью усугублять вредоносную сущность чужихъ выдумокъ. Бываютъ даже такія личности, которыя, покуда одѣты въ партикулярное платье, перелагаютъ Давидовы псалмы, а какъ только надѣнутъ вицъ-мундиръ, такъ тотчасъ же начинаютъ читать въ сердцахъ постороннихъ людей, хотя бы послѣдніе совсѣмъ ихъ объ этомъ не просили. Вотъ почему я не со всякимъ встрѣчнымъ связываюсь и предпочитаю быть осторожнымъ съ людьми, не помнящими родства. Однажды со мной, по неопытности, ужаснѣйшій случай былъ. Ходилъ я въ Эмсѣ вокругъ курзала и по обыкновенію „жалѣлъ“ объ отечествѣ. И вдругъ подходитъ ко мнѣ простодушнѣйшій мужчина, въ теплое картузъ съ козырькомъ; точно вотъ сейчасъ изъ-подъ Гадяча выскочилъ. Словомъ сказать, одинъ изъ тѣхъ, о которыхъ въ пѣснѣ поется:

У огорода—бузина,  
У Києви—дядя,  
Я за то тебе люблю,  
Що у тебе перстень...

Такъ вотъ этотъ самый „кіевскій дядя“ подходитъ и голосомъ, исполненнымъ умиленія, говоритъ:

— Такъ и вы нашу Россію жалѣете? Ахъ, какъ пріятно! Признаюсь, я на здѣшней чужбинѣ только тѣмъ и утѣшаюсь, что вмѣстѣ съ великимъ Ломоносовымъ восклицаю:

О, ты, что въ горести напрасно  
На Бога ропщешь человѣкъ...

Не успѣлъ я опомниться, какъ онъ ужъ держалъ мою руку въ своихъ и крѣпко ее жалъ. И очень возможно, что такъ бы и привелъ онъ меня за эту руку въ мѣста не столь отдаленныя, еслибы изъ-за угла не налетѣлъ на насъ другой соотечественникъ и не закричалъ на меня:

— Вы это что дѣлаете? вы кому руку-то жмете? вѣдь это...

И онъ назвалъ его „постоянное занятіе“...

Какъ я уже сказалъ выше, мнѣ пришлось помѣститься въ одномъ спаль-

номъ отдѣленіи съ безшабашными совѣтниками. Натурально, мы нѣкоторое время дичились другъ друга. Старики вполголоса переговаривались между собой и, тихо воркуя, сквернословили. Оба были недовольны, оба ссылались на графа Михаила Николаевича и на графа Алексѣя Андреича, оба сѣтовали не то на произволъ власти, не то на умаленіе ея, — не поймешь, на что именно. Но что меня всего больше огорчило — оба искали спасенія... въ конституціи!!

— Такую намъ конституцію надо, — либеральничаль Удавъ: — чтобъ лбы затрещали!

А Дыба, съ своей стороны, присовокуплялъ:

— Покойный графъ Михайлъ Николаевичъ эту конституцію еще когда провидѣлъ! Сколько разъ, бывало, при мнѣ самолично говаривалъ: „я имъ ужъ пропишу... конституцію!“

И въ заключеніе, не входя въ дальшійшія разъясненія, оба порѣшили, что „какъ тамъ ни вертись, а не минешь что-нибудь предпринять, чтобъ „лбы затрещали“. А затѣмъ, грозя очами по направленію къ Вержболову, перешли къ вопросу о „кушахъ“. Какъ извѣстно, „конституція“ и „куши“ составляютъ большое мѣсто русской современности; но „конституцію“ понимаютъ смутно и каждый по своему, а „куши“ всеми понимаются ясно и одинаково. Такъ было и тутъ. Какъ только зашла рѣчь о „кушахъ“, безшабашные совѣтники почувствовали себя какъ рыба въ водѣ и сразу насытили воздухъ вагона разсказами самаго игриваго свойства. Съ одной стороны, приводились безчисленные примѣры благополучнаго казнокрадства; съ другой — произносились имена, высчитывались суммы, указывались лазейки. Безъ утайки, на-распашку. Однимъ словомъ, повѣствовалося что-то до такой степени необъятное и неслыханное, что меня чуть не бросило въ лихорадку. И въ заключеніе опять:

— Именно конституцію прописать надо! такую конституцію, чтобъ небу было жарко!

Наконецъ, наговорившись и нахохотавшись досыта между собой, безшабашные совѣтники нашли своевременнымъ и меня привлечь къ пятимному сквернословію.

— Вотъ здѣсь хлѣба-то каковы! — сказалъ Дыба, подмигивая мнѣ: — и у насъ бы, по расписанію, не хуже должны быть, анъ вмѣсто того саранча... Ишь въдь! саранчу ухитрились акклиматизировать! Вы какъ объ этомъ полагаете... а?

Къ счастью, я вспомнилъ про „кѣвскаго дядю“ и его „постоянное занятіе“, и потому отвѣчалъ твердо, хотя и почтительно:

— Я такъ полагаю, ваши превосходительства, что ежели у насъ жуекъ и саранча даже весь хлѣбъ поѣдятъ, то и тогда нѣмецъ безъ насъ съ голоду подохнетъ!

Дыба съ недоумѣніемъ взглянулъ на меня.

— Гм... да, — произнесъ онъ, какъ бы понявъ: — это ежели съ точки зрѣнія „предостереженій“ и розничной продажи... Но согласитесь сами, что здѣсь подъ Инстербургомъ подобнаго рода опасенія...



— И съ розничной продажей, и безъ розничной продажи, одинаково утверждаю: подохнеть нѣмецъ безъ насъ! — воскликнулъ я еще съ бѣльшимъ настойчивостію.

Столь любезно-вѣрная непреоборимость была до того необыкновенна, что Удавъ, по старой привычкѣ, собрался-было почитать у меня въ сердцѣ, но такъ какъ онъ умѣлъ читать только на пространствѣ отъ Восточнаго океана до Вержболова, то, разумѣется, подъ Эйдткуненомъ ничего прочесть не съумѣлъ.

— Но для чего же вы непременно настаиваете, чтобъ нѣмецъ подохъ? — спросилъ онъ въ недоумѣніи.

— Собственно говоря, я никому напрасной смерти не желаю, и если сейчасъ высказался не въ пользу нѣмца, то лишь потому, что полагалъ, что такковы требованія современной внутренней политики. Но если вашимъ превосходительствамъ, по обстоятельствамъ службы, представляется болѣе удобнымъ, чтобъ подохъ русскій, а нѣмецъ торжествовалъ, то я противоудѣйствовать предначертаніямъ начальства даже въ семъ крайнемъ случаѣ не считаю себя вправѣ.

— Но почему же? почему?

— А потому, ваши превосходительства, что, во-первыхъ, я ничего не знаю. Можетъ быть, для пользы службы необходимо, чтобъ русскій подохъ или, по малой мѣрѣ, обмеръ? Конечно, еслибы онъ весь подохъ, безъ остатка — это было бы для меня лично прискорбно, но вѣдь мое личное воззрѣніе никому не нужно, а сверхъ того я убѣжденъ, что поголовнаго умертвія все-таки не будетъ, и что ваши превосходительства хоть сколько-нибудь на разаводъ да оставите. А во-вторыхъ, я отлично понимаю, что противоудѣйствіе властямъ, даже въ формѣ простого мнѣнія, у насъ не похваляется; а такъ какъ лѣта мои уже преклонныя, то было бы въ высшей степени непріятно, еслибы въ ушахъ моихъ неожиданно раздалось... фюйт!

— Чтò такъ? новыхъ-то впечатлѣній, стало быть, ужъ не ищете? — любезно осклабился Дыба.

— Довольствуюсь старыми, ваши превосходительства. Люблю свое отечество, но подробно изучать его статистику предпочитаю изъ устныхъ и печатныхъ разсказовъ мѣстныхъ изслѣдователей.

— Гм... да... А вѣдь истинному патріоту не такъ подобаетъ... Покойный графъ Михайль Николаевичъ не даромъ говаривалъ: путешествія въ мѣста не столь отдаленныя не токмо не вредны, но даже не безъ пользы для молодыхъ людей могутъ быть допускаемы, ибо они формируютъ характеры, обогащаютъ умы понятіями, а сверхъ того разжигаютъ въ сердцахъ благородный пламень любви къ отечеству! Вотъ-съ.

— Знаю я это, ваши превосходительства, — отвѣтилъ я коротко: — но думаю, что и независимо отъ путешествій люблю свое отечество самымъ настоящимъ манеромъ. А именно: люблю ваши превосходительства и считаю священнѣйшею обязанностію исполнять всѣ ваши предначертанія. Знаю, что вамъ наверху виднѣе, и потому думаю лишь о томъ, чтобъ снискать ваше расположеніе. Ежели я въ этомъ успѣю, то у меня будетъ избыточествовать и преизбыточествовать; если же не успѣю, то у меня отнимется и послѣднее.

Вотъ въ какомъ смыслѣ я понимаю любовь къ отечеству, а всѣ прочіе сорта таковой отвергаю, яко мечтательныя. Полагаю, что этого достаточно?

— Гм... Однакожъ въ литературѣ не часто приходится читать подобныя благоразумныя мнѣнія, — пріятно огрызнулся Дыба.

— Ваши превосходительства! позвольте вамъ доложить! Я самъ былъ много въ этомъ отношеніи виноватъ и даже готовъ за вину свою пострадать, хотя, конечно, не до безчувствія... Долгое время я думалъ, что любовь къ отечеству выше даже любви къ начальственнымъ предписаніямъ; но съ тѣхъ поръ, какъ прочиталъ брошюры г. Цитовича, то вполне убѣдился, что это совсѣмъ не любовь къ отечеству, а фанатизмъ, и, разумѣется, постыжнѣе исправиться отъ своихъ заблужденій.

Это было высказано съ такою горячею искренностью, что и Дыба, и Удавъ оба были тронуты.

— Можетъ быть! можетъ быть! — задумчиво молвилъ Дыба: — мнѣ самому, по временамъ, кажется, что иногда мы считаемъ человѣка заблуждающимся, а онъ между тѣмъ давно уже во всемъ принесъ оправданіе и ожидаетъ лишь случая, дабы запечатлѣть... Какъ вы полагаете, ваше превосходительство? — обратился онъ къ Удаву.

— На этотъ случай я могу разсказать вашему превосходительству слѣдующее истинное происшествіе, о которомъ мнѣ передавалъ мой духовникъ, — отвѣчалъ Удавъ. — Жили въ одномъ селеніи двѣ Анны, и настала часъ одной изъ нихъ умирать. Только послалъ Богъ къ ней по душу своего ангела, а ангелъ-то и ошибся: вмѣсто того, чтобъ взять душу у подлежащей Анны, взялъ ее у другой. Хорошо-съ. Та ли Анна, другая ли Анна — все равно приходится попомъ хоронить. И что жъ! только-что стали новопреставленную Анну на литіи поминать, какъ вдругъ сверху голосъ: „Анна да не та!“ Такъ точно, думается мнѣ, и въ настоящемъ случаѣ: часто мы себѣ человѣка нераскаяннымъ представляемъ, а онъ между тѣмъ за раскаяніе давно ужъ въ титулярные совѣтники произведенъ. Оедоть да не тотъ!

Высказавшись такимъ образомъ, мы подивились премудрости и на минуту смолели.

— А впрочемъ по нынѣшнему времени и мудренаго мало, что нѣкоторые впадаютъ въ заблужденія, — задорливо началъ Дыба: — нельзя! Посмотрите, чтѣ кругомъ дѣлается? Гдѣ власть? гдѣ, спрашиваю васъ, власть? Намеднишъ прихожу за справкой въ департаментъ Расхищеній и Раздачъ — былъ ужъ второй часъ — спрашиваю: начальникъ отдѣленія такой-то здѣсь? „Они, говорятъ, въ три часа приходятъ“. — А столоначальникъ здѣсь? — „И они, говорятъ, раньше какъ черезъ часъ не придутъ“. — Кто же, спрашиваю, у васъ дѣла-то дѣлаетъ? — Такъ, повѣрите ли, даже сторожа смѣются!

— И послѣ этого жалуются, что авторитеты попораны! основы потрясены!

— Нѣтъ, хорошо, что литература хоть изрѣдка да подбадривается... Помпидуйте! личной обезпеченности — и той нѣтъ! Сегодня — здѣсь, а завтра — фюитъ!

Сказавши это, Удавъ совсѣмъ-было пристроился, чтобъ непременно что-нибудь въ моемъ сердцѣ прочитать. И съ этою цѣлью даже предложилъ вопросъ:



— Ну, а вы... какъ вы насчетъ этой личной обезпеченности?.. Въ газетахъ нынче что-то сильно о ней поговариваютъ...

— И на этотъ счетъ могу вашимъ превосходительствамъ доложить, — отвѣтилъ я: — личная обезпеченность — это такое дѣло, что ежели я сижу смирно, то и личность моя обезпечена, а ежели я начну фыркать да фордыбачить, то, разумѣется, никто за это меня не похвалить. Сейчасъ за ушко да на солнышко — не прогнѣвайся!

— Не прогнѣвайся! — словно эхо, хотя вполне машинально, повторили Дыба и Удавъ.

— Потому что, по мнѣнію моему, только то общество можно назвать благоустроеннымъ, гдѣ всякій къ своему дѣлу опредѣленъ. Такъ напримѣръ: ежели въ расписаніи сказано, что такой-то долженъ получать дани — тотъ пусть и получаетъ; а ежели про кого сказано, что такой-то обязывается уплачивать дани — тотъ пусть и уплачиваетъ. А не наоборотъ

— А не наоборотъ! — повторили безшабашные совѣтники, дивясь моему разуму.

— Если же мы станемъ фордыбачить, да не захотимъ по расписанію жить, то насъ за это — въ кутузку!

— Въ кутузку! — повторило эхо.

Но, испустивъ это восклицаніе, безшабашные совѣтники спохватились, что, по выѣздѣ изъ Эйдтегунена, даже по расписанію положено либеральничать, и потому поспѣшили поправиться.

— Но по суду или безъ суда? — почти испуганно спросилъ меня Дыба.

— И по суду, и безъ суда — это какъ будетъ вашимъ превосходительствамъ угодно. Но что касается до меня, то я думаю, что безъ суда, просто по расписанію, лучше.

— Од-на-ко!

— Я знаю, вашимъ превосходительствамъ угодно вѣроятно сказать, что въ послѣднее время русская печать въ особенности настаивала на томъ, чтобъ всѣхъ русскихъ жарили по суду. Но я — не настаиваю. Прежде, грѣшный человѣкъ, и я думалъ, что по суду крѣпче, а теперь вижу, что крѣпко и безъ суда. Въместо того, чтобъ судиться да по мытарствамъ ходить, я лучше прямо къ вашимъ превосходительствамъ приду: виновать! Вы меня въ одну минуту разсудите. Ежели я не очень виновать — сейчасъ меня мѣрами кротости доймете, а ежели виновать кругомъ — фюить! По пословицѣ: любяшъ кататься, люби и саночки возить... не прогнѣвайся!

— Не прогнѣвайся! — цыкнулъ-было Дыба, но опять спохватился и продолжалъ: — позвольте однакожь! еслибы мы одни на всемъ земномъ шарѣ жили, конечно, тогда все равно... Но вѣдь намъ и безъ того въ Европу стыдно нось показывать... надо же принять это въ расчетъ... Неловко.

— А если неловко, то надо такой судъ устроить, чтобъ онъ и былъ, и все равно какъ бы его не было!

— Вотъ... это отлично!

— И все это я говорю передъ вашими превосходительствами по сущей совѣсти, такъ точно, какъ въ томъ отвѣтъ передъ вышнимъ начальствомъ дать надлежить!

Какъ ни лестно было для безшабашныхъ совѣтниковъ это признаніе, однакожь они сидѣли другъ противъ друга и недовѣрчиво покачивали головами.

— Послушайте однако-жь! — сказалъ Удавъ: — а какъ же вы насчетъ этихъ расхищеній полагаете? Ужели же и это можно... простить?

Онъ даже не договорилъ отъ волненія (очевидно, онъ принадлежалъ къ числу „позабытыхъ“), и въ глазахъ его сверкнула слеза любостяжанія.

— Расхищеній не одобряю, — твердо отвѣтилъ я: — но, съ другой стороны, не могу не принять въ соображеніе, что всякому человѣку сладенькаго хочется.

Послѣ такого категорическаго отвѣта Удаву осталось только шелкнуть языкомъ и замолчать. Но Дыба все еще не считалъ тему либерализма исчерпанною.

— Вотъ вы бы все это напечатали, — сказалъ онъ не то иронически, не то серьезно: — въ томъ самомъ видѣ, какъ мы сейчасъ говорили... Вѣроятно со стороны начальства препятствій не будетъ?

— У насъ, ваши превосходительства, для выраженія похвальныхъ чувствъ никогда препятствій не бываетъ. Вотъ ежели бы кто непохвальные чувства захотѣлъ выражать — ну, разумѣется, тогда не прогнѣвайся!

— Не прогнѣвайся! — подтвердилъ Дыба.

— Такъ вы, значить, думаете, что и свобода книгопечатанія у насъ существуетъ? — попытался подловить меня Удавъ.

— У насъ все существуетъ, ваши превосходительства, только намъ не всегда это извѣстно. Я знаю, что многіе отрицаютъ существованіе свободы печати, но я — не отрицаю.

— Да... да! Чего бы, кажется: суды — дали, печать — дали, земство — дали, а между тѣмъ, посмотрите кругомъ — много-ли найдете довольныхъ?

— А я, ваши превосходительства, такъ даже по горло доволенъ!

— Вотъ хоть бы земство, — молвилъ Дыба: — ну, развѣ это... мечта?!

— И насчетъ земства, ваши превосходительства, скажу: многіе сомнѣваются въ его существованіи, а я — не сомнѣваюсь!

— И полагаете, что оно процвѣтетъ?

— Непремѣнно, ваши превосходительства, процвѣтетъ. Вообще я полагаю, что мы переживаемъ очень интересное время. Такое интересное, такое интересное, что, кажется, никогда и ни въ одной странѣ такого не бывало... Ахъ, ваши превосходительства!

— Ну, дай Богъ! дай Богъ!

Безшабашные совѣтники набожно перекрестились и тонкія, обезцвѣченныя губы ихъ машинально шептали: „дай Богъ! дай Богъ!“

— Но чѣмъ же вы объясните, — встрепенулся Дыба: — отчего здѣсь на пескѣ такой отличный хлѣбъ растетъ, а у насъ и на чернозѣмѣ — то дожжичка нѣтъ, то черезъ-чуръ его много? И молебны, кажется, служатъ, а все хлѣбушка нѣтъ?

— А тѣмъ и объясню, ваши превосходительства, что много ужъ очень свободъ у насъ развелось. Такъ что ежели еще немножечко припустить, такъ пожалуй и совсѣмъ хлѣбушка перестанетъ произрастать...



Dixi et animam levavi, или, въ русскомъ переводѣ: —сказаль и стошнило меня. Дальше этого profession de foi идти было некуда. Я очень былъ радъ, что въ эту минуту нашъ поѣздъ остановился и шафнеръ объявилъ, что мы на полчаса свободны для обѣда.

Между Бромбергомъ и Берлиномъ я заснулъ и видѣлъ чрезвычайно странный сонъ. Снилось мнѣ, что я очутился въ самой простой нѣмецкой деревнѣ, и встрѣтилъ семи-восьми-лѣтняго крестьянскаго мальчика... въ штанахъ! Никогда этого со мной не бывало. Много ѣзжалъ я по нашимъ деревнямъ, много видалъ въ нихъ крестьянскихъ мальчиковъ — и всегда безъ штановъ. Бѣжить кудластый мальчѣнко по деревенской улицѣ, а вѣтеръ такъ и раздуваетъ подолъ его замазанной рубашонки. Или плѣпаютъ мальчѣнко босыми ногами по грязи, или, заворотивъ подолъ, сидитъ въ лужѣ и играетъ камешками... ахъ, бѣдный! А тутъ, въ нѣмецкой деревнѣ, ни грязи, ни традиционной лужи — ничего такого не видать, да вдобавокъ еще штаны! Это до такой степени меня заинтересовало, что я поманилъ мальчика и вступилъ съ нимъ въ разговоръ.

— Скажи, нѣмецкій мальчикъ, — спросилъ я: — ты постоянно ходишь въ штанахъ?

— Когда я въ первый разъ безъ посторонней помощи прошелъ по комнатѣ нашего дома, то моя добрая мать, обращаясь къ моему почтенному отцу, сказала слѣдующее: „не правда ли, мой добрый Карлъ, что нашъ Фрицъ, съ нынѣшняго дня, достоинъ носить штаны?“ И съ тѣхъ поръ я разстаюсь съ этой одеждой только на ночь.

Мальчикъ высказаль это солидно, безъ похвалы и безъ всякаго глумленія надъ странностью моего вопроса. Повидимому онъ понималь, что передъ нимъ стоитъ иностранецъ (кстати: ужасно странно звучитъ это слово въ примѣненіи къ русскому путешественнику; по крайней мѣрѣ мнѣ большого труда стоило свыкнуться съ мыслью, что я гдѣ-нибудь могу быть... иностранцемъ!!), которому простибельно не знать нѣмецкихъ обычаевъ.

— Изумительно! — воскликнулъ я: — и ты не боишься запачкать штаны въ грязи? ты рѣшаешься садиться въ нихъ въ лужу?

— Вопросъ вашъ до крайности удивляеть меня, господинъ! — скромно отвѣтилъ мальчикъ: — зачѣмъ я буду пачкаться въ грязи или садиться въ лужу, когда могу имѣть для моихъ прогулокъ и игръ сухія и удобныя мѣста? А главное, зачѣмъ я буду поступать такимъ образомъ, зная, что это огорчитъ моихъ добрыхъ родителей?

— Великолѣпно! Но знаешь ли ты, нѣмецкій мальчикъ, что существуетъ страна, въ которой не только мальчики, но даже вполне совершеннолѣтній комаринскій мужикъ — и тотъ . . . по улицѣ бѣжить?

— Я еще не учился географіи, и потому не смѣю отрицать, что подобная страна возможна. Но... было бы очень жестоко съ вашей стороны такъ шутить, господинъ!

— Я нимало не шучу, и ежели хочешь, то могу теперь же познакомить тебя съ однимъ изъ такихъ мальчиковъ.

— Господинъ! вы въ высшей степени возбудили во мнѣ любопытство! Конечно, мнѣ слѣдовало не иначе принять ваше предложеніе, какъ съ позволенія моихъ добрыхъ родителей; но такъ какъ въ эту минуту они находятся въ полѣ и сверхъ того мнѣ извѣстно, что они тоже очень жалостливы къ бѣднымъ, то надѣюсь, что они не найдутъ ничего дурного въ томъ, что я познакомлюсь съ мальчикомъ безъ штановъ. Поэтому, если вы можете пригласить сюда моего бѣднаго товарища, то я весь къ его услугамъ.

Тогда, по манію волшебства (не надо забывать, что дѣло происходитъ въ сновидѣніи, гдѣ всякія волшебства дозволяются), въ нѣмецкую деревню врывается кудлатый русскій мальчикъ, въ длинной рубахѣ, подолъ которой замоченъ, а воротъ замазанъ мякинымъ хлѣбомъ. И между двумя сверстниками начинается драматическое представленіе подъ названіемъ:

## МАЛЬЧИКЪ ВЪ ШТАНАХЪ

И

### МАЛЬЧИКЪ БЕЗЪ ШТАНОВЪ.

РАЗГОВОРЪ ВЪ ОДНОМЪ ЯВЛЕНІИ.

(Эта пьеса рекомендуется для дѣтскихъ спектаклей.)

Театръ представляетъ шоссированную улицу нѣмецкой деревни. Мальчикъ въ штанахъ стоитъ подъ деревомъ и размышляетъ о томъ, какъ ему прожить на свѣтѣ, не огорчая своихъ родителей. Внезапно въ средину улицы вдвигается обыкновенная русская лужа, изъ которой выпрыгиваетъ мальчикъ безъ штановъ.

Мальчикъ въ штанахъ (*конфузая и краснѣя, въ сторону*). Увы! иностранный господинъ сказалъ правду: онъ безъ штановъ! (*Громко.*) Здравствуйте, мальчикъ безъ штановъ! (*Подаетъ ему руку.*)

Мальчикъ безъ штановъ (*не обращая вниманія на протянутую руку*). Однако, братъ, у васъ здѣсь чисто!

Мальчикъ въ штанахъ (*настойчиво*). Здравствуйте, мальчикъ безъ штановъ!

Мальчикъ безъ штановъ. Присталъ какъ банный листъ... Ну, здравствуй! Дай оглядѣться сперва. Ишь вѣдь какъ чисто—плюнуть некуда! Ты здѣшній, что-ли?

Мальчикъ въ штанахъ. Да, я мальчикъ изъ этой деревни. А вы — русскій мальчикъ?

Мальчикъ безъ штановъ. Мальчишко я. Пострѣленокъ.

Мальчикъ въ штанахъ. Пострѣленокъ? что это за слово такое?

Мальчикъ безъ штановъ. А это когда мамка ругается, такъ говорить: „ахъ, пострѣли те горой!“ Оттого и пострѣленокъ!

Мальчикъ въ штанахъ (*старается понять и не понимаетъ*).

Мальчикъ безъ штановъ. Не понимаешь, колбаса? еще не дошелъ?



Мальчикъ въ штанахъ. Вообще, многое, съ перваго же взгляда, кажется мнѣ непонятнымъ въ васъ, русскій мальчикъ. Правда, я началъ ходить въ школу очень недавно, и вѣроятно не все результаты современной науки открыты для меня, но во всякомъ случаѣ не могу не сознаться, что вашъ внѣшній видъ, ваше появленіе сюда среди лужи и вашъ способъ выражаться сразу повергли меня въ величайшее недоумѣніе. Ни мои добрые родители, ни почтеннѣйшіе наставники никогда не предупреждали меня ни о чемъ подобномъ... И, во-первыхъ, съ позволенія вашего, объясните мнѣ, отчего вы, русскій мальчикъ, ходите безъ штановъ?

Мальчикъ безъ штановъ. Изволь, нѣмецъ, скажу. Но прежде ты мнѣ скажи, отъ чего ты такъ скучно говоришь?

Мальчикъ въ штанахъ. Скучно?

Мальчикъ безъ штановъ. Да, скучно. Мямлишь, канитель разводишь, слюнями давишься. Инда голову разломило.

Мальчикъ въ штанахъ. Я говорю такъ же, какъ говорятъ мои добрые родители; а когда они говорятъ, то мнѣ бываетъ весело. И когда я говорю, то имъ тоже бываетъ весело. Еще на дняхъ моя почтенная матушка сказала мнѣ: „когда я слышу, Фрицъ, какъ ты складно говоришь, то у меня сердце радуется!“

Мальчикъ безъ штановъ. А у насъ за такой разговоръ камень на шею, да въ воду. У насъ по всей землѣ такой приказъ: разговоръ чтобъ веселый былъ!

Мальчикъ въ штанахъ (*испуганно*). Позвольте однакожь, русскій мальчикъ! Допустимъ, что я говорю скучно, но неужели это такое преступленіе, чтобъ за него справедливо было лишить человѣка жизни?

Мальчикъ безъ штановъ. „Справедливо!“ Экъ куда хватилъ! Нужно, тебѣ говорятъ; нужно, потому что такое правило есть.

Мальчикъ въ штанахъ (*хочетъ понять и не понимаетъ*).

Мальчикъ безъ штановъ. У насъ, братъ, безъ правила ни на шагъ. Скучно тебѣ—правило; весело—опять правило. Сѣлъ—правило; всталъ—правило. Задуматься, слово молвить—нельзя безъ правила. У насъ, братъ, даже прыщикъ и тотъ долженъ почесаться прежде, нежели вскочить. И въ концѣ всякаго правила—или поронцы, или въ холодную. Вотъ и я безъ штановъ *по правилу* хожу. А тебѣ въ штанахъ, небось, лучше?

Мальчикъ въ штанахъ. Мнѣ въ штанахъ очень хорошо. И еслибы моимъ добрымъ родителямъ угодно было лишить меня этого одѣянія, то я не иначе понялъ бы эту мѣру, какъ въ видѣ справедливаго возмездія за мое неодобрительное поведеніе. И, разумѣется, употребилъ бы все мѣры, чтобъ вновь возвратить ихъ милостивое ко мнѣ расположеніе!

Мальчикъ безъ штановъ. Соплякъ ты—вотъ что!

Мальчикъ въ штанахъ. И этого я не понимаю.

Мальчикъ безъ штановъ. Далась тебѣ эти родители! „Добрая матушка“, „почтеннѣйшій батюшка“—къ чему ты эту канитель завелъ! У насъ, братъ, дядя Кузьма намедни съ отца на кобеля промѣнялъ! Вотъ такъ разъ!

Мальчикъ въ штанахъ (*съ ужасомъ*). Ахъ, нѣтъ! это невозможно!

Мальчикъ безъ штановъ (*понявъ, что онъ слишкомъ далеко за-*

*шелъ въ дѣлѣ отрицанія*). Ну, полно, это я такъ... пошутилъ! Пословица у насъ такая есть, такъ и вспомнилъ.

Мальчикъ въ штанахъ. Однако, ежели даже пословица... ахъ, какъ это жаль! И какъ безчеловѣчно, что такія пословицы вслухъ повторяютъ при мальчикахъ! (*Плачетъ*.)

Мальчикъ безъ штановъ. Завылъ, нѣмчура! Ты лучше скажи, отчего у васъ такіе хлѣба родятся? Ъхаль я давеча въ лужѣ по дорогѣ—смотрю: вездѣ песокъ да торфикъ, а все-таки на поляхъ страсть какіе суслоны наворочены!

Мальчикъ въ штанахъ. Я думаю, это оттого, что намъ никто не препятствуетъ быть трудолюбивыми. Никто не пугаетъ насъ, никто не заставляетъ производить такія дѣйствія, которыя ни для чего не нужны. Было время, когда и въ нашемъ прекрасномъ отечествѣ всѣ жители состояли какъ бы подъ слѣдствіемъ и судомъ, когда воздухъ былъ насыщенъ сквернословіемъ и когда всюду, гдѣ бы ни появлялся обыватель, на встрѣчу ему несся одинъ неумолимый окрикъ: куда лѣзешь? не твое дѣло! Въ эту мрачную эпоху головы нѣмцевъ были до того заколочены, что они сдѣлались неспособными ни на какое дѣло. Земля обрабатывалась небрежно и давала скудную жатву, обыватели жили, какъ дикіе, въ тѣсныхъ и мрачныхъ логовищахъ, а нѣмецкіе мальчики ходили безъ штановъ. Къ счастью, эти варварскія времена давно прошли, и съ тѣхъ поръ, какъ никто не мѣшаетъ намъ употреблять наши способности на личное и общественное благо, съ тѣхъ поръ, какъ изъ насъ не выбиваютъ податей и не ставятъ къ намъ экзекуцій, мы стали усердно прилагать къ землѣ нашъ трудъ и нашу опытность, и земля возвращаетъ намъ за это сторицею. О, русскій мальчикъ! можетъ быть, я *скучно* говорю, но лучше пусть буду я говорить скучно, нежели вести веселый разговоръ и въ то же время чувствовать, что нахожусь подъ слѣдствіемъ и судомъ!

Мальчикъ безъ штановъ (*тронутый*). Это, братъ, правда твоя, что мало хорошаго всю жизнь изъ-подъ суда не выходитъ. Ну, да чтѣ ужъ! Лучше давай насчетъ хлѣбовъ. Вотъ у васъ хлѣба хорошіе, а у насъ весь хлѣбъ нынче саранча сожрала!

Мальчикъ въ штанахъ. Слышалъ и я объ этомъ, и очень объ васъ жалѣлъ. Когда нашъ добрый школьный учитель объявилъ намъ, что дружественное намъ государство страдаетъ отъ недостатка питанія, то онъ тоже объ васъ жалѣлъ. „Слушайте, дѣти! сказалъ онъ намъ: вы должны жалѣть Россію не за то только, что половина ея чиновниковъ и всѣ безъ исключенія аптекаря—нѣмцы, но и за то, что она съ твердостью выполняетъ свою историческую миссію. Какъ древле, выстрадавъ иго монголовъ, она избавила отъ нихъ Европу, такъ и нынѣ, вынося иго саранчи, она той же Европѣ оказываетъ неоцѣненнѣйшую изъ услугъ!“

Мальчикъ безъ штановъ. Нескладно что-то ты говоришь, нѣмчура. Лучше, чѣмъ похабничать-то, ты мнѣ вотъ чтѣ скажи: чтѣ у вашего царя такія губерніи есть, въ которыхъ яблоки и вишенье по дорогамъ растутъ и прохожіе не рвутъ ихъ?

Мальчикъ въ штанахъ. Здѣсь, подъ Бромбергомъ, этого нѣтъ, но матушка моя, которая родомъ изъ-подъ Вюрцбурга, сказывала, что въ тамош-



ней сторонѣ всѣ дороги обсажены плодовыми деревьями. И когда нашъ старый добрый императоръ получилъ эти земли въ награду за свою мудрость и храбрость, то его нѣмецкое сердце очень радовалось, что отнынѣ баденскіе, баварскіе и другіе каштаны будутъ съѣдаемы его дорогой и лойяльной Пруссіей.

Мальчикъ безъ штановъ. Да неужто деревья по дорогѣ растутъ, и такъ-таки никто даже яблочка не сорветъ?

Мальчикъ въ штанахъ (*изумленно*). Но кто же имѣетъ право сорвать вещь, которая не принадлежитъ ему въ собственность?!

Мальчикъ безъ штановъ. Ну, у насъ, братъ, не такъ. У насъ бы не только яблоки съѣли, а и вѣтки-то бы всѣ обломали?! У насъ намерднись дядя Софронъ мимо кружки съ керосиномъ шель — и тотъ весь выпилъ!

Мальчикъ въ штанахъ. Но, конечно, онъ это по ошибкѣ сдѣлалъ?

Мальчикъ безъ штановъ. Опохмелиться захотѣлось, а грошика не было — вотъ онъ и опохмелился керосиномъ!

Мальчикъ въ штанахъ. Но вѣдь онъ навѣрное боленъ сдѣлался?

Мальчикъ безъ штановъ. Разумѣется! будешь боленъ, какъ на другой день при сходѣ спину взбондируютъ!

Мальчикъ въ штанахъ (*пугаясь*). Ахъ, неужели у васъ...

Мальчикъ безъ штановъ. А ты думалъ — глядятъ?

Мальчикъ въ штанахъ (*окончательно пугается и хочетъ бѣжать домой, но мальчикъ безъ штановъ удерживаетъ его*).

Мальчикъ безъ штановъ. Стой, чего испугался! Это намъ, которые изъ простого званія, подъ рубашку смотрять, а вѣдь ты... иностранецъ?! (*Помолчаваъ.*) У тебя званіе-то есть-ли?

Мальчикъ въ штанахъ. Я — бауеръ.

Мальчикъ безъ штановъ. Это мужикъ, что-ли?

Мальчикъ въ штанахъ. Не мужикъ, но земледѣлецъ.

Мальчикъ безъ штановъ. Ну, да, извѣстно... мужикъ!

Мальчикъ въ штанахъ. Нѣтъ, земледѣлецъ. Мужикъ — это русскій, а у насъ — земледѣлецъ.

Мальчикъ безъ штановъ. Натко, выкуси!

Мальчикъ въ штанахъ. Ахъ, русскій мальчикъ, какія вы странныя слова употребляете, и какъ должно быть недостаточно воспитаніе, которое вамъ даютъ! Я увѣренъ, напримѣръ, что вы не знаете, что такое Богъ?

Мальчикъ безъ штановъ. А Богъ его знаетъ! У насъ, братъ, въ селѣ Успенью Матушкѣ престольный праздникъ показанъ — вотъ мы въ спозинки его и справляемъ!

Мальчикъ въ штанахъ (*хочетъ понять и не можетъ*).

Мальчикъ безъ штановъ. Не дошелъ? Ну, нечего толковать: я и самъ, признаться, въ этомъ не твердъ. Знаю, что праздникъ у насъ на селѣ, потому что и намъ, мальчишкамъ, въ этотъ день портки надѣваютъ, а отъ Бога или отъ начальства эти праздники приказаны — не любопытствовалъ. А ты мнѣ вотъ еще что скажи: слыхалъ я, что начальство здѣшнее васъ, мужиковъ, никогда скверными словами не ругаетъ — неужто это правда?

Мальчикъ въ штанахъ. Отецъ мой сказывалъ, что онъ отъ своего

дѣдушки слышалъ, будто въ его время здѣшнее начальство ужасно скверно ругалось. И всѣ тогдашніе нѣмцы до того отъ этого закрубили, что и между собой стали скверными словами ругаться. Но это было ужъ такъ давно, что и старики теперь ничего подобнаго не запомнятъ.

Мальчикъ безъ штановъ. А насъ, братъ, такъ и сейчасъ похода ругаютъ. Кому не лѣнь, только тотъ не ругаетъ, и все самими скверными словами. Даже намъ надобно слушать. Исправникъ ругается, становой ругается, посредникъ ругается, старшина ругается, староста ругается, а нынче еще урядниковъ ругаться наняли.

Мальчикъ въ штанахъ (*испуганно*). Но, можетъ быть, это дурная болѣзнь какая-нибудь?

Мальчикъ безъ штановъ. То-то, что ты не дошелъ! Правило такое, а ты—болѣзнь! Намедни пріѣхалъ въ нашу деревню старшина, увидѣлъ дядю Онисима, да какъ вцѣпится ему въ бороду—такъ и повисъ.

Мальчикъ въ штанахъ. Ахъ, Боже мой!

Мальчикъ безъ штановъ. Говорю тебѣ, надобно и намъ. Съ души претъ, когда-нибудь перестать надо. Только какъ съ этимъ быть? Коли ему сдачи дать, такъ тебя же засудятъ, а ему, ругателю, ничего. Вотъ одинъ парень у насъ и выдумалъ: въ вечерни его отпорол, а онъ въ ночь удавился!

Мальчикъ въ штанахъ. Ахъ, какъ мнѣ васъ жалъ! какъ мнѣ васъ жалъ!

Мальчикъ безъ штановъ. Чтò насъ жалѣть! Сами себя не жалѣемъ—стало быть, такъ намъ и надо!

Мальчикъ въ штанахъ (*съ участіемъ*). Не говорите этого, другъ мой! Иногда и мы очень хорошо понимаемъ, что съ нами поступаютъ низко и безчеловѣчно, но бываемъ вынуждены безмолвно склонять голову подъ ударами судьбы. Нашъ школьный учитель говорить, что это—наслѣдіе прошлаго. По моему мнѣнію, тутъ одинъ выходъ: чтобъ начальники сами сдѣлались настолько развитыми, чтобъ устыдиться и сказать другъ другу: отнынѣ пусть постигнетъ кара закона того изъ насъ, кто опозоритъ себя употребленіемъ скверныхъ словъ! И тогда, конечно, будетъ лучше.

Мальчикъ безъ штановъ. Держи карманъ! Это, братъ, у насъ „революціей сверху“ называется!

Мальчикъ въ штанахъ. А мы, нѣмцы, называемъ это просто справедливостью. Но откуда вы такое выраженіе знаете?

Мальчикъ безъ штановъ. А это у насъ бывший нашъ баринъ такъ говоритъ. Какъ ежели кого на сходѣ съѣзъ приговорять, сейчасъ онъ выйдетъ на балконъ, прислушивается и приговариваетъ: вотъ она, „революція сверху“, въ ходъ пошла!

Мальчикъ въ штанахъ. Ахъ, нѣтъ, я совсѣмъ не въ томъ смыслѣ...

Мальчикъ безъ штановъ. А онъ у насъ во всѣхъ смыслахъ... Выкупныя онъ давно проѣлъ, доходовъ съ земли—грошъ; вотъ онъ похаживаетъ у себя по хоромамъ да и шутитъ... во всѣхъ смыслахъ!

Мальчикъ въ штанахъ. Но какими же образомъ онъ живетъ безъ доходовъ? Работаетъ?



Мальчикъ безъ штановъ. У насъ дворянамъ работать не полагается. У насъ, коли ты дворянинъ, такъ живи, не тужи. Хоть на солнышкѣ грѣйся, хоть по ляжкѣ себя хлопай — живи. А чуть къ работѣ пристроился, значить пустое дѣло затѣялъ! Превратное, значить, толкованіе.

Мальчикъ въ штанахъ. Какой однакожь странный народъ у васъ живетъ! Находить, что полезнѣе по ляжкѣ себя хлопать, нежели работать... изумительно!

Мальчикъ безъ штановъ. Да, братъ-нѣмецъ! про тебя говорятъ, будто ты обезьяну выдумалъ, а коли поглядѣть да посмотрѣть, такъ куда мы противъ васъ на выдумки тароваты!

Мальчикъ въ штанахъ. Ну, это еще...

Мальчикъ безъ штановъ. Вѣрно говорю, и даже примѣръ сейчасъ приведу. Слыхалъ я, правда-ли, нѣтъ-ли, что ты такую сигнацію выдумалъ, что куда хоть ее носи — сейчасъ тебѣ за нее настоящія деньги дадутъ... такъ что-ли?

Мальчикъ въ штанахъ. Конечно, дадутъ настоящія золотыя или серебряныя деньги — какъ же иначе!

Мальчикъ безъ штановъ. А я такую сигнацію выдумалъ: предъявителю выдается изъ разнѣнной кассы... плюха! Вотъ ты меня и понимай!

Мальчикъ въ штанахъ (*хочетъ понять, но не можетъ*).

Мальчикъ безъ штановъ. И не старайся! не поймешь!

(Оба мальчика задумываются и нѣкоторое время стоятъ молча.)

Мальчикъ въ штанахъ. Знаете ли, русскій мальчикъ, чтѣ я думаю! Остались бы вы у насъ совсѣмъ! Господинъ Гехтъ охотно бы васъ въ кнехты принялъ. Вы подумайте только: вы какъ у себя спите? чтѣ кушаете? А тутъ вамъ сейчасъ войлокъ хорошій для снанья дадутъ, а пища — даже въ будни горохъ съ свинымъ саломъ!

Мальчикъ безъ штановъ. Пища хорошая... А правда ли, нѣмецъ, что ты за грошъ чорту душу продалъ?

Мальчикъ въ штанахъ. Вы вѣроятно про господина Гехта говорите?... Такъ вѣдь родители мои получаютъ отъ него опредѣленное жалованье...

Мальчикъ безъ штановъ. Ну, да, это самое я и говорю: за грошъ чорту душу продалъ!

Мальчикъ въ штанахъ. Позвольте однакожь! Про васъ хуже говорятъ: будто вы совсѣмъ задаромъ душу отдали?

Мальчикъ безъ штановъ. Ты про Колупаева, что-ли, говоришь? Ну, это, братъ... объ этомъ мы еще поговоримъ... Надоѣлъ онъ намъ, господинъ Ко-лу-паевъ!

Мальчикъ въ штанахъ (*резонно*). Надоѣлъ или не надоѣлъ — это ваше дѣло; но замѣтите, что всегда такъ бываетъ, когда въ взаимныхъ отношеніяхъ людей не существуетъ самой строгой опредѣленности. Между родителями моими и г. Гехтомъ никогда не случилось недоразумѣній — а почему? Потому что въ контрактѣ, ими заключенномъ, сказано ясно: господинъ Гехтъ даетъ грошъ, а родители мои — душу. Вотъ и все. Тогда какъ вы, русскіе, все на какую-то „на водку“ надѣтесъ. И потомъ, когда вмѣсто „на

водки“ васъ награждаютъ ударами, вы ворчите, что вамъ... надоѣло! Сквернословіе—надоѣло, господинъ Колупаевъ—надоѣтъ... Ну, надоѣло—что же изъ этого?

Мальчикъ безъ штановъ. Погоди, нѣмецъ, будетъ и на нашей улицѣ праздникъ!

Мальчикъ въ штанахъ. Никогда у васъ ни улицы, ни праздника не будетъ. Убѣждаю васъ, останьтесь у насъ! Право, черезъ мѣсяцъ вы сами будете удивляться, какъ вы могли такъ жить, какъ до сихъ поръ жили!

Мальчикъ безъ штановъ (*съ нѣкоторымъ раздраженіемъ*). Врешь ты! Ишь вѣдь съ гороховицей на свиномъ салѣ подѣхалъ... диковинка! У насъ, братъ, шаромъ покати, да за то занятно... Вѣрное слово тебѣ говорю!

Мальчикъ въ штанахъ. Что же тутъ занятнаго... „шаромъ покати“?

Мальчикъ безъ штановъ. Это-то и занятно. Ты ждешь, что хлѣбъ будетъ — ань вмѣсто того лебеда. Сегодня лебеда, завтра лебеда, а послѣ завтра—саранча, а потомъ—выкупныя подавай! Сказывай, нѣмецъ, какъ бы ты тутъ выпутался?

Мальчикъ въ штанахъ (*хочетъ что-нибудь выдумать, но долгое время не можетъ; наконецъ выдумываетъ*). Я полагаю, что вамъ безъ нѣмцевъ не обойтись!

Мальчикъ безъ штановъ. Натко, выкуси.

Мальчикъ въ штанахъ. Опять это слово! Русскій мальчикъ! я подаю вамъ благой совѣтъ, а вы затвердили какую-то глупость, и думаете, что это отвѣтъ. Поймите меня. Мы, нѣмцы, имѣемъ старинную культуру, у насъ есть солидная наука, блестящая литература, свободныя учрежденія, а вы дѣлаете видъ, какъ будто все это вамъ, не въ диковину \*). У васъ ничего подобнаго нѣтъ, даже хлѣба у васъ нѣтъ, — а когда я, отъ имени нѣмцевъ, предлагаю вамъ свои услуги, вы отвѣчаете мнѣ: „выкуси!“ Берегитесь, русскій мальчикъ! это съ вашей стороны высокоуміе, которое положительно ничѣмъ не оправдывается!

Мальчикъ безъ штановъ. Нѣтъ, это не отъ высокоумія, а надоѣли вы намъ, нѣмцы—вотъ что! Взяли въ полонъ, да и держите!

Мальчикъ въ штанахъ. Но плѣнь, въ которомъ держитъ васъ господинъ Колупаевъ, по мнѣнію моему, гораздо...

Мальчикъ безъ штановъ. Что Колупаевъ! Съ Колупаевымъ мы сочтемся... это вѣрно! Давай-ка лучше объ нѣмцахъ говорить. Правду ты сказалъ: есть у васъ и культура, и наука, и искусство, и свободныя учрежденія \*\*), да вотъ что худо: къ намъ-то вы приходите совсѣмъ не съ этимъ, а только чтобъ наkostenичать. Кто самый безсердечный притѣснитель русскаго рабочаго человѣка?—нѣмецъ! кто самый безжалостный педагогъ?—нѣмецъ! кто вдохновляетъ произволь, кто служить для него самымъ неумолимымъ и

---

\*) Прошу читателя помнить, что все это происходитъ въ сновидѣніи, и не удивляться, что нѣмецкій мальчикъ выражается не вполне свойственнымъ его возрасту языкомъ.

\*\*) Со стороны русскаго мальчика этотъ способъ выражаться еще неестественнѣе, но, опять повторяю, въ сновидѣніи нѣтъ ничего невозможнаго.



всегда готовымъ орудіемъ?—нѣмецъ! И замѣть, что, сравнительно, ваша наука все-таки второго сорта, ваше искусство—тоже, а ваши учрежденія—и подѣвно. Только зависть и жадность у васъ перваго сорта, и такъ какъ вы эту жадность произвольно смѣшали съ правомъ, то и думаете, что вамъ предстоитъ слопать міръ. Вотъ почему васъ вездѣ ненавидятъ, не только у насъ, но именно вездѣ. Вы подѣзжаете съ наукой, а всякому думается, что вы за тѣмъ пришли, чтобъ науку прекратить; вы указываете на ваши свободныя учрежденія, а всякій убѣжденъ, что при одномъ вашемъ появленіи должна умереть всякая мысль о свободѣ. Всѣ васъ боятся, никто отъ васъ ничего не ждетъ, кромѣ подвоха. Вонъ вы, сказываютъ, Берлинъ на славу отстроили, а никому на него глядѣть не хочется. Даже свои, „объединенные“ нѣмцы, и тѣхъ тошнить отъ васъ, „объединителей“. Есть же какаля-нибудь этому причина!

Мальчикъ въ штанахъ. Разумѣется, отъ необразованности. Необразованный человѣкъ—все равно, что низшій организмъ; такъ чего же ждать отъ низшихъ организмовъ!

Мальчикъ безъ штановъ. Вотъ видишь, колбаса! тебя еще отъ земли не видать, а какъ ужъ ты поговариваешь!

Мальчикъ въ штанахъ. „Колбаса“! „выкуси“!—какія несносныя выраженія! А вы, русскіе, еще хвалитесь богатствомъ вашего языка! Цѣлый часъ я говорю съ вами, русскій мальчикъ, и ничего не слышу, кромѣ загадочныхъ словъ, которыхъ ни на одинъ языкъ нельзя перевести. Между тѣмъ дѣло совершенно ясное. Вотъ уже двадцать лѣтъ, какъ вы хвастаетесь, что идете исполненными шагами впередъ, а нѣкоторые изъ васъ даже и о какомъ-то „новомъ словѣ“ поговариваютъ—и чтѣ же оказывается?—что вы бѣднѣе нежели когда-нибудь, что сквернословіе болѣе нежели когда-либо регулируетъ ваши отношенія къ правящимъ классамъ, что Колупаевы держатъ въ плѣну ваши души, что никто не довѣряетъ вашей солидности, никто не рассчитываетъ ни на вашу дружбу, ни на вашу неприязнь... ахъ!

Мальчикъ безъ штановъ. Ахай, нѣмецъ! а я тебѣ говорю, что это—именно и есть... занятное!

Мальчикъ въ штанахъ. Рѣшительно ничего не понимаю!

Мальчикъ безъ штановъ. Гдѣ тебѣ понять! Сказывалъ ужъ я тебѣ, что ты за грошъ чорту душу продалъ,—вотъ онъ теперь тебѣ и заститъ свѣтъ!

Мальчикъ въ штанахъ. „Сказывалъ“! Но вѣдь и я вамъ говорилъ, что вы тому же чорту задаромъ душу отдали... кажется, что и эта афера не особенно лестная...

Мальчикъ безъ штановъ. Такъ тѣ задаромъ, а не за грошъ. Задаромъ-то я отдать—стало быть, и опять могу назадъ взять... Ахъ, колбаса, колбаса!

.....  
 Но тутъ разговоръ внезапно порвался, потому что я проснулся. Кто-то въ нашемъ отдѣленіи вскочилъ съ своего ложа и благимъ матомъ кричалъ: „караулъ! грабятъ!“ Это вопіялъ Удавъ, которому приснилось, что произошла третья дѣлешка, и что его и при этой дѣлешкѣ... опять позабыли!

Черезъ часъ мы уже подѣзжали къ Берлину.

## ГЛАВА II.

Переѣхавши границу, русскій культурный человѣкъ становится необыкновенно дѣятельнымъ. Всю жизнь онъ слылъ фатюемъ, оетюкомъ, фалалеемъ; теперь онъ, во что бы то ни стало, хочетъ доказать, что по природѣ онъ совсѣмъ не фатуй, и ежели являлся таковымъ въ своемъ отечествѣ, то или потому только, что его „заѣла среда“, или потому, что это было согласно съ видами начальства. Онъ рано встаетъ утромъ, не спитъ послѣ обѣда, не сидитъ по цѣлымъ часамъ въ ватерклозетѣ и съ Бедкеромъ въ рукахъ съ утра до вечера нюхаетъ, смотритъ, слушаетъ, глотаетъ. Съ лихорадочною страстностью переѣзжаетъ онъ съ мѣста на мѣсто, всходитъ на горы и сходить съ оныхъ, бродитъ по деревнямъ, удивляется свѣжести горнаго воздуха и дешевизнѣ табльдотовъ, не морщась пьетъ мѣстное вино, вступаетъ въ собесѣдованія съ кельнерами и хаускнехтами и наконецъ, съ наступленіемъ ночи, падаетъ въ постель (снабженную впрочемъ дерюгой, вмѣсто бѣлья, и какими-то кисельными комками, вмѣсто подушекъ), измученный бѣготней и массой полученныхъ впечатлѣній. Сегодня онъ ѣдетъ во Франкфуртъ и восклицаетъ: „вотъ мѣсто рожденія Гёте!“ а завтра, въ Страсбургѣ, возвѣщаетъ: „вотъ, братъ, такъ колокольно!“ Сегодня, въ Интерлакенѣ, не сводитъ глазъ съ Юнгфрау, а завтра любитъ люцернскимъ раненымъ львомъ, съ надписью: *Helvetiorum virtuti ac fidei*, каковую надпись, въ шутиломъ русскомъ тонѣ, переводитъ: „любезно-вѣрнымъ швейцарцамъ, спасавшимъ въ 1790 году, за поденную плату, французское престоль-отечество“. Не успѣвъ познать самого себя, — такъ какъ насчетъ этого въ Россіи строго, — онъ очень доволенъ, что никто ему не препятствуетъ познавать другихъ. Поэтому нѣтъ ничего мудренаго, что, возвратясь изъ дневной экскурсіи по окрестностямъ, онъ говоритъ самому себѣ: „вотъ я и по деревнямъ шлялся, и съ мужичками разговаривалъ, и пиво въ кабацкѣ съ ними пилъ — и ничего, сошло-таки съ рукъ! а попробуй-ка я такимъ образомъ у насъ въ деревнѣ, безъ предписанія начальства, явиться — сейчасъ руки къ лопаткамъ и маршъ къ становому... ахъ, подлость какая!“ Словомъ сказать, съ точки зрѣнія подвижности, любознательности и предприимчивости, русскій культурный человѣкъ за границей является совершенною противоположностью тому, чѣмъ онъ былъ въ своемъ отечествѣ.

Но здѣсь я опять долженъ оговориться (пусть не посѣтуетъ на меня читатель за частыя оговорки), что подъ русскими культурными людьми я не разумѣю ни русскихъ дамочекъ, которыя устремляются за границу, потому что тамъ каждый кельнеръ имѣетъ видъ наполеоновскаго камеръ-юнкера, ни русскихъ бонапартистовъ, которые, вернувшись въ отечество, съ умиленіемъ рассказываютъ, въ какой поразительной опрятности парижскія кокетки содержатъ свои приманки. Равнымъ образомъ я не стану говорить ни о дѣйствующихъ сановникахъ, которые на казенный счетъ ставятъ втулки Веффура, Бребана и Маньи \*) несбыточностью своихъ кулинарныхъ мечтаній, ни

---

\*) Содержатели извѣстныхъ въ Парижѣ ресторановъ. Впрочемъ заранѣе извиняюсь: быть можетъ, есть имена и болѣе извѣстныя.



о сановникахъ опальныхъ, которые повѣряютъ Юнгфрау свои любезновѣрные вздохи и пробуждаютъ жалость въ сердцахъ людей кадетскою мудростью своихъ административно-полицейскихъ выдумокъ. Я говорю о среднемъ культурномъ русскомъ человѣкѣ, о литераторѣ, адвокатѣ, чиновникѣ, художникѣ, купцѣ, то-есть о людяхъ, которыхъ прямо или косвенно уже коснулся лучъ мысли, которые до извѣстной степени свыклись съ идеей о трудѣ и которые три четверти года живутъ подъ напоминаніемъ о мѣстахъ не столь отдаленныхъ. Понятно, что они рады-радехоньки хоть два-три мѣсяца прожить внѣ этого напоминанія.

Я искренно убѣжденъ, что именно только это послѣднее обстоятельство можетъ побуждать этихъ людей такими массами устремляться въ „чужое мѣсто“, и именно тамъ, а не на берегахъ Ветлуги или Чусовой искать отдыха отъ тревоженій трудовой жизни. Ужасно пріятно прожить хоть нѣсколько времени не боясь. Необходимость „ходить въ струнѣ“, памятовать, что „выше лба уши не растутъ“, и что съ „суконымъ рыломъ“ нельзя соваться въ „калашный рядъ“,—это такая жестокая необходимость, что только любовь къ родинѣ, доходящая до ностальгій, можетъ примириться съ подобнымъ безчеловѣчіемъ. Кажется, что можетъ быть проще мысли, что жить въ средѣ людей довольныхъ и неболящихся—гораздо удобнѣе, нежели быть окруженнымъ толпою ропщущихъ и трепещущихъ несчастливцевъ? однакожъ съ какимъ упорствомъ торжествующая практика держится совершенно противоположныхъ воззрѣній! И сколько еще встрѣчается на свѣтѣ людей, которые вполне искренно убѣждены, что съ жиру человѣкъ можетъ только бѣситься, и что поэтому самая мудрая внутренняя политика заключается въ томъ, чтобъ держать людской родъ въ состояніи болѣе или менѣе пришибленномъ! Что же удивительнаго, что на такія воззрѣнія и жизнь даетъ вполне соответствующій отвѣтъ. Съ одной стороны, она производитъ людей-мучениковъ, которыхъ повсюду преслѣдуетъ представленіе о родинѣ, но которые все-таки по совѣсти не могутъ отрицать, что на родинѣ ихъ ожидаетъ разговоръ съ становымъ приставомъ; съ другой—людей-мудрецовъ, которые разъ навсегда порѣшили: пускай родина процвѣтаетъ особо, а я буду процвѣтать тоже особо, ибо лучше два-три мѣсяца подышать полною грудью, нежели просидѣть ихъ въ „холодной“...

Рѣшительно невозможно понять, почему появленіе русскаго культурнаго человѣка въ русской деревнѣ (еслибы даже этотъ человѣкъ и не былъ мѣстнымъ обывателемъ) считается у насъ чѣмъ-то необыкновеннымъ, за что надо вывертывать руки къ лопаткамъ и вести къ становому. Почему желаніе знать, какъ живетъ русскій деревенскій человѣкъ, называется предосудительнымъ, а желаніе подѣлиться съ нимъ нѣкоторыми небезполезными свѣдѣніями, которыми повысили бы его умственный и нравственный уровень, — превратнымъ толкованіемъ? Вѣдь надо же наконецъ, чтобъ мужикъ когда-нибудь что-нибудь зналъ, надо же, чтобъ онъ созналъ себя и свое положеніе и когда-нибудь пожелалъ для себя лучшаго удѣла, нежели тотъ, на который онъ осужденъ въ данную минуту. Говорю: „надо“—совсѣмъ не въ смыслѣ ублаговотворенія мужицкой прихотливости, а просто потому, что безъ этого знанія, безъ этого стремленія къ лучшему не можетъ преуспѣвать страна. Уничтожьте

идеалы (хотя бы и мужицкіе), заставьте замереть желаніе лучшаго, и вы увидите, какъ быстро загрубеетъ окружающая среда. А между тѣмъ благосостояніе этой среды необходимо и для васъ лично, потому что имъ, и только имъ однимъ, обуславливается ваше собственное благосостояніе.

Мнѣ скажутъ, можетъ быть, что во всѣхъ этихъ собесѣдованіяхъ съ „мужицкомъ“ и хожденіяхъ около него кроется достаточная доля опасности, такъ какъ они могутъ служить удобнымъ орудіемъ для извѣстнаго рода происковъ, которые во всѣхъ новѣйшихъ хрестоматіяхъ извѣстны подъ именемъ неблагонамѣренныхъ. Допустимъ пожалуй, что подобныя случаи невозможны, но вѣдь дѣло не въ томъ, возможна ли та или другая случайность, а въ томъ, нужно ли эту случайность обобщать? нужно ли крутить руки къ лопаткамъ всякому проходящему? нужно ли заставлять его бесѣдовать съ незнакомцемъ, хотя бы онъ назывался становымъ приставомъ? Вѣдь не дѣлаютъ же этого подъ Висбаденомъ, подъ Вюрцбургомъ или подъ Фонтенеблѣ. Вездѣ — сначала ожидаютъ поступковъ, и ежели поступковъ нѣтъ, то оставляютъ человѣка въ покоѣ, а ежели есть поступки, то поступаютъ согласно съ обстоятельствами. Но даже и въ послѣднемъ случаѣ не сажаютъ съ закрученными руками въ „холодную“, а спокойно изслѣдуютъ. Помилуйте! чтѣ это за манера такая — не говоря худого слова, крути руки къ лопаткамъ! вѣдь это, наконецъ, подло! Неужто нельзя обойтись безъ тумачковъ, особливо, если еще неизвѣстно, съ чѣмъ имѣешь дѣло — съ превратнымъ или съ полезнымъ толкованіемъ?

Я знаю очень много полезныхъ и даже пріятнаго образа мыслей людей, которые прямо говорятъ: „Зачѣмъ я въ деревню поѣду — тамъ мнѣ навѣрное руки къ лопаткамъ закрутятъ! Въ городѣ я гораздо меньше рискую. Я пишу, вчинаю иски, апеллирую, торгую, играю въ карты — все это внѣшнимъ образомъ беретъ мое время и вмѣстѣ съ тѣмъ даетъ мнѣ возможность прятать мысль и избѣгать возмездій. Если въ городѣ меня спросятъ, какого я образа мыслей насчетъ Успенья-Матушки, я могу отвѣтить: пассъ! восемь въ червахъ, шлемъ безъ козырей! — и всякій похвалитъ мою скромность. Напротивъ того, въ деревнѣ я непременно долженъ вести партикулярный разговоръ объ Успенѣ-Матушкѣ и непременно имѣть собесѣдникомъ мужика. Не говоря уже о томъ, что иначе я пропаду со скуки, одичаю, но, сверхъ того, я положительно не понимаю, почему я обязанъ воздерживаться отъ собесѣдованій съ мужикомъ? Почему я, видя человѣка безпомощнымъ, не имѣю права подать ему руку помощи? почему, имѣя возможность сообщить человѣку полезный совѣтъ, обязываюсь, вмѣсто того, осквернять его мозги благонамѣренными благоглупостями? Вѣдь, наконецъ, въ самой природѣ человѣческой есть стремленіе симпатизировать своему ближнему и желать поднять его духовный уровень до своего духовнаго уровня! Почему я долженъ отказывать себѣ въ удовлетвореніи этого естественнаго требованія? Почему, въ случаѣ неотказа, я обязанъ имѣть по сему предмету объясненіе съ становымъ приставомъ? съ человѣкомъ, котораго супругъ я не имѣлъ чести быть представленнымъ? Лучше я совсѣмъ не поѣду въ деревню; пускай она процвѣтаетъ... безъ меня!“

Жалуются, что русская деревня страдаетъ отъ культурнаго абсентеизма,



но развѣ можетъ быть иначе? Возьмите самыя простыя сельско-хозяйственныя задачи, предстоящія культурному человѣку, рѣшившемуся посвятить себя деревнѣ, каковы напримѣръ: способы пользоваться землею, расчеты съ рабочими, степень личнаго участія въ прибыляхъ, привлеченіе къ этимъ прибылямъ батрака и т. п. — развѣ все это не находится въ самой неспосной зависимости отъ какихъ-то волшебныхъ вѣяній, сущность которыхъ даже не для всякаго понятна? А между тѣмъ эти вѣянія пристигаютъ человѣка и въ самомъ процессѣ его дѣятельности, и во всѣхъ послѣдствіяхъ этого процесса. Вездѣ подозрѣніе, вездѣ доносъ, вездѣ на стражѣ стоитъ тысячеокій Колупаевъ, которому, конечно, невыгодно, чтобъ „обезпеченный надѣломъ“ человѣкъ выскользнулъ изъ его загребистыхъ рукъ. Нужно ли, чтобъ Колупаевъ безсрочно оставался владыкою думъ „обезпеченныхъ“? Ежели нужно, то не сѣгуйте на абсентеизмъ, и пускай страна грубѣетъ, а аборигенъ ея пусть дичаетъ. Если же это нежелательно, то пускай деревня освѣжится приливомъ новыхъ, разумныхъ силъ, и пускай эти силы не встрѣчаются, съ первыхъ же шаговъ, съ выворачиваніемъ рукъ и сажаніемъ въ „холодную“.

Я не говорю, чтобъ отношенія русскаго культурнаго человѣка къ мужику, въ томъ видѣ, въ какомъ они выработались послѣ крестьянской реформы, представляли нѣчто идеальное, равно какъ не утверждаю и того, чтобъ благодѣянія, развиваемыя русской культурой, были особенно цѣнны; но я не могу согласиться съ однимъ: что приурочиваемое какимъ-то образомъ къ обычаямъ культурнаго человѣка свойство пользоваться трудомъ мужика, не пытаясь обесчитать его, должно предполагаться равносильнымъ ниспроверженію основъ. А у насъ, къ несчастію, именно этотъ взглядъ и пользуется авторитетомъ, такъ что всякій протестъ противъ обсчитыванія прямо приравнивается къ социализму. И что всего удивительнѣе, благодаря Колупаевымъ и споспѣшествующимъ имъ quibus auxiliis, самъ мужикъ почти убѣжденъ, что только вредный и преисполненный превратныхъ толкованій человѣкъ можетъ не обсчитать его. По истинѣ, это ужаснѣйшая изъ всѣхъ пропагандъ. Мало того, что она держитъ народъ въ невѣжествѣ и убиваетъ въ немъ чувство самой простой справедливости къ самому себѣ (до этого повидимому никому нѣтъ дѣла), — она чревата послѣдствіями иного, еще болѣе опаснаго, съ точки зрѣнія предупрежденія и пресѣченія, свойства. Ибо ежели въ настоящую минуту еще можно сказать, что культурный человѣкъ является абсентеистомъ отчасти по собственной винѣ (недостатокъ мужества, терпѣнія, знаній, привычка къ роскоши и т. д.), то, быть можетъ, недалеко время, когда онъ явится абсентеистомъ поневолѣ. И тогда... что станетъ съ нашими исконными „опѣрами“?

Тѣмъ не менѣе я не могу не признать, что со стороны Колупаевыхъ и ихъ попустителей описанный сейчасъ образъ дѣйствій не представляетъ ничего непонятнаго. Эти люди настолько угорѣли подъ игомъ стяжаній и до того лишены дара провидѣнія, что никакія перспективы будущаго не могутъ волновать ихъ. Но совершенно непонятно, почти страшно, что поощренія въ подобномъ смыслѣ отъ времени до времени раздаются и въ литературѣ. Признаться, я никогда не могъ читать безъ глубокаго волненія газетныхъ извѣстій о томъ, что въ такую-то, дескать, деревню явились неизвѣстные люди

и начали съ мужичками бесѣдовать, но мужички, не теряя золотого времени, прикрутили имъ въ лопаткамъ руки и отправили къ становому приставу. Въ особенности омерзительною казалась мнѣ радостная редакція этихъ статей. Зачѣмъ приходили неизвѣстные люди, о чемъ они разговаривали, — ничего не видно! достоверно только, что имъ закрутили руки, чтобъ не терять золотого времени. Чему же тутъ, однако, радоваться? Вѣдь, можетъ быть, эти „неизвѣстные“ отыскали способъ бороться съ саранчей или съ колорадскимъ жучкомъ, и приходили въ деревню затѣмъ, чтобъ подѣлиться своимъ открытіемъ съ ея обитателями? Или, быть можетъ, они желали указать на какую-нибудь новую страсть промышленности, которая могла бы съ успѣхомъ привиться въ этой мѣстности? Или, наконецъ, просто хотѣли объяснить мужичкамъ, что такое Богъ? Неужто же это не полезно? А между тѣмъ этимъ полезнымъ „неизвѣстнымъ людямъ“, не теряя золотого времени, скрутили назадъ руки...

Прошу читателя извинить меня, что я такъ часто повторяю фразу о вывернутыхъ назадъ рукахъ. Повидимому это самая употребительная и самая совершенная изъ всѣхъ формъ изслѣдованія, допускаемыхъ обитателями російскихъ палестинъ въ наше просвѣщенное время. И я убѣжденъ, что всякій добросовѣстный урядникъ совершенно серьезно подтвердитъ, что еслибы этого метода изслѣдованія не существовало, то онъ былъ бы въ высшей степени затрудненъ въ отправленіи своихъ обязанностей.

За всѣмъ тѣмъ, отнюдь не желая защищать превратныя толкованія, я все-таки думаю, что первая и наиболѣе обязательная добродѣтель для тѣхъ, которые, подобно урядникамъ, даютъ тонъ внутренней политикѣ, есть терпѣніе. Система быстрого и немедленнаго заѣзжанія пользуется у насъ ужъ чересчуръ большимъ довѣріемъ, и, право, она этого довѣрія не заслуживаетъ. Въ сущности это система дурная, и наименѣе опасный изъ результатовъ, къ которымъ она приводитъ, это отсутствіе всякихъ результатовъ въ смыслѣ предупрежденія и пресѣченія. Еслибы дѣло ограничивалось только этимъ, то Богъ бы съ нею: пускай утѣшаетъ бойцовъ; но есть и существенная опасность, которая ей присуща и которая заключается въ томъ, что „заѣзжаніе“ можетъ надобѣть. Конечно, „мальчикъ въ штанахъ“ былъ отчасти правъ, говоря: „вамъ, русскимъ, все надобѣло: и сквернословіе, и Колупаевъ, и тумакъ, да вѣдь до этого никому дѣла нѣтъ!“, но, сдается мнѣ, что и „мальчикъ безъ штановъ“ не былъ далекъ отъ истины. настойчиво повторяя: „надобѣло, надобѣло, надобѣло“...

За однимъ изъ безчисленныхъ табльдотовъ Германіи мнѣ случилось однажды обѣдать въ большой компаніи русскихъ. Я сидѣлъ съ краю компаніи, а рядомъ со мною помѣщался неизвѣстный юноша, до такой степени бѣловолосый, что я заподозрилъ: непремѣнно это долженъ быть „скиталецъ“ изъ котельническаго уѣзднаго училища, который какимъ-то чудомъ попалъ въ Германію. Разумѣется, это было съ моей стороны только беллетристическое предположеніе, которое тотчасъ же и разсѣялось, потому что юноша говорилъ на чистѣйшемъ нѣмецкомъ діалектѣ и очевидно принадлежалъ къ



коренной нѣмецкой семьѣ, которая съ нами же и обѣдала. Но тутъ-то именно и случилось дѣйствительное чудо. Между тѣмъ какъ въ средѣ русскихъ шла оживленная бесѣда на тему: для чего собственно нуженъ Берлинъ (многіе предлагали такое рѣшеніе: „для человѣкоубивства“), мнѣ привелось передать моему бѣловолосому сосѣду какое-то кушанье. И вдругъ, въ отвѣтъ на мою любезность, я услышалъ отъ него по-русски:

— Благодарю васъ!

Это было до того неожиданно, что я чуть не въ ужасѣ воскликнулъ:

— Однако, братъ, ты... угрозило-таки васъ, mein Herr!

На чтó юноша, нямало не смущаясь, скромно отвѣтилъ:

— Я солдаты; мы уфѣ Берлинъ немного учимъ по-русску... на всякъ случай!

Такъ вотъ оно какъ. Мы, русскіе, съ самаго Петра I-го, усердно „учимъ по-нѣмецку“, и все никакого случая поймать не можемъ, а въ Берлинѣ ужъ и теперь „случай“ предвидятъ, и, конечно, не для того, чтобъ читать порнографическую литературу г. Цитовича, учать солдатъ „по-русску“. Разумѣется, я не преминулъ сообщить объ этомъ моимъ товарищамъ по скитаніямъ, которые нашли, что фактъ этотъ служить новымъ подтвержденіемъ только-что формулированнаго рѣшенія: да, Берлинъ ни для чего другого не нуженъ, кромѣ какъ для человѣкоубивства.

Берлинъ, какъ столица Прусскаго Королевства, былъ для всѣхъ понятенъ. Онъ скромно стоялъ во главѣ скромнаго государства и, находясь почти въ центрѣ его, былъ очень удобенъ въ качествѣ административнаго распорядителя. Нѣсколько скучный, какъ бы страдающій головною болью, онъ привлекалъ очень немного иностранцевъ, и ежели, тѣмъ не менѣе, изъ всѣхъ силъ бился походить на прочія столицы, съ точки зрѣнія монументовъ и дворцовъ, то дѣлалъ это рго домо, чтобъ вѣрные поданные прусской короны имѣли поводъ гордиться, что и ихъ короли не отказываютъ себѣ въ монументахъ. Милитаристскія понозновенія существовали въ Берлинѣ и тогда, но они казались столь безобидными, что никому не внушали ни подозрѣній, ни опасеній, хотя подъ сѣнію этой безобидности выросли Бисмарки и Мольтке. Неоднократно Прусское Королевство находилось подъ угрозой распаденія, но всякій разъ на помощь являлась дружественная рука, которая на безсрочное время обезпечивала за нимъ возможность дѣлать разводы, парады и маневры. По временамъ въ Европѣ ходили смутныя слухи о томъ, что Берлинъ собирается снабдить Пруссію свободными учрежденіями, и слухи эти вливали тревогу въ сердца сосѣдей. Но проходили годы, учреждений не появлялось, слухи затихали, и сердца сосѣдей вновь загорались довѣріемъ. Въ 1848 году Берлинъ даже бунтовалъ, но непродолжительно и скудно. Были однакожъ въ старомъ Берлинѣ и положительно-симпатичныя стороны. Во-первыхъ, онъ съ незапамятныхъ временъ воздерживался отъ ежовыхъ рукавицъ и митрогнзів, чтó заставляло сосѣдей говорить: „да и куда жѣ имъ, колбасникамъ!“ Во-вторыхъ, сознавая себя не безусловно-нѣмецкимъ городомъ, онъ изъ всѣхъ силъ старался быть нѣмецкимъ. Это вынуждало его состязаться съ другими центрами нѣмецкой культуры, приглашать въ свой университетъ лучшихъ профессоровъ, покровительствовать литературѣ, искусствамъ и наукамъ. Все

это, разумѣется, дѣлалось довольно экономно (и не безъ примѣси коварства), но, право, даже экономно-коварное покровительство наукамъ все-таки лучше, нежели натискъ и бысготы. Но лучшее право стараго Берлина на общія симпатіи, во всякомъ случаѣ, заключалось въ томъ, что никто его не боялся, никто не завидовалъ и ни въ чемъ не подозрѣвалъ, такъ что даже Москва-рѣка ничего не имѣла противъ существованія рѣчки Шпрее.

Въ настоящее время отъ всѣхъ этихъ симпатичныхъ качествъ осталось за Берлиномъ одно наименѣе симпатичное: головная боль, которая и донынѣ свиной тучей продолжаетъ царить надъ городомъ. Все прочее радикально измѣнилось. Застѣнчивость замѣнилась самоувѣченіемъ, политическая уклончивость — ничѣмъ неоправдываемой претензіей на вселенское господство, скромность — неудачнымъ стремленіемъ подкупить иностранцевъ мѣщанскою роскошью новыхъ кварталовъ и какимъ-то второ-разряднымъ развратомъ, безобразный цинизмъ котораго тщетно усиливается затмить красивый и щеголеватый парижскій цинизмъ. Уже подъѣзжая къ Берлину, иностранецъ чувствуетъ, что на него пахнуло скукой, офицерскимъ самодовольствомъ и коллекціей неопрятныхъ подоловъ изъ Орфеума. И такъ какъ ни то, ни другое, ни третье не заключаютъ въ себѣ ничего привлекательнаго, то путникъ спѣшитъ въ первую попавшуюся гостинницу, чтобъ почиститься и выспаться, и затѣмъ нимало не медля ѣдетъ дальше.

Трудно представить себѣ что-нибудь болѣе унылое, нежели улицы Берлина. Недостатка въ движеніи, конечно, нѣтъ (да и не можетъ не быть движенія въ городѣ съ почти миллионнымъ населеніемъ), но это какое-то озабоченное, почти вымученное движеніе — какъ будто всѣмъ этимъ двигающимся взадъ и впередъ людямъ до смерти хочется куда-то убѣжать. Каждому удаляющемуся экипажу такъ и хочется крикнуть вслѣдъ: счастливецъ! ты, конечно, оставляешь Берлинъ навсегда! Ни гула, напоминающаго пчелиный улей (такой гулъ слышится иногда въ курортахъ, и всегда — въ Парижѣ), ни этой живой связи между улицей и окаймляющими ее домами, которая заставляетъ считать первую какъ бы продолженіемъ послѣднихъ — ничего подобнаго нѣтъ. Одно непрерывное и молчаливое маятное движеніе — и ничего больше.

Нѣчто подобное можно наблюдать, часовъ около пяти передъ обѣдомъ, въ Петербургѣ на Невскомъ, когда чиновники и адвокаты, вырвавшись съ каторги, спѣшаютъ голодные домой. Они не заглядываются по сторонамъ, потому что не на что смотрѣть, никуда не заходятъ, потому — не зачѣмъ заходить. Не до глядѣнья тутъ, а какъ бы по-добру по-здорову домой добѣжать, да чтобъ по дорогѣ въ участокъ не свели. Конечно, кромѣ чиновниковъ и адвокатовъ, встрѣчаются въ это время на Невскомъ еще желѣзнодорожники и кокотки, но и они, по совѣсти, едва-ли отвѣтятъ на вопросъ, зачѣмъ они суетятся и движутся. Вотъ этотъ желѣзнодорожный хлыщъ, который во всю прыть мчится на рысакъ — почему онъ такъ озабоченно смотритъ? объ чемъ думаетъ? Увы! онъ самую простую думу думаетъ, а именно: какъ бы ему такъ обожраться, чтобъ штаны по цѣлому мѣсту лопнули (этого результата онъ почему-то не могъ до сихъ поръ добиться), или какъ бы ему „шельму Альфонсианку“ такъ изуродовать, чтобъ она послѣ того цѣлый мѣсяцъ сѣсть не



могла. Для чего ему это понадобилось — онъ и самъ не вѣдаетъ. Ему просто адски скучно, несмотря на то, что, съ точки зрѣнія жранья и Альфонсинокъ, ему не житье, а рай. Да и эта самая Альфонсинка, которую онъ собрался „изуродовать“, и которая теперь, развалившись въ коляскѣ, летитъ по Невскому, — и она совсѣмъ не объ томъ думаетъ, какъ она будетъ черезъ часъ поѣхъ у Бореля, а объ томъ, сколько еще нужно времени, чтобъ „отработать“ и потомъ удрать въ Парижъ, гдѣ она начнетъ поѣхъ ужъ взаправду, какъ истинно доброй и бравой коготкѣ надлежитъ...

Ту же щемящую скуку, то же отсутствіе непоказной жизни вы встрѣчаете и на улицахъ Берлина. Я согласенъ, что въ Берлинѣ никому не придетъ въ голову, что его „занапрасно“ сведутъ въ участокъ или обругаютъ, но, по мнѣнію моему, это придаетъ уличной озабоченности еще болѣе удручающій характеръ. Кажется, что весь этотъ людъ высыпалъ на улицу затѣмъ, чтобъ купить на грошъ колбасы; купилъ, и бѣжитъ поскорѣй домой, какъ бы знакомые не увидѣли и не выпросили.

Въ соотвѣтствіе съ улицами и магазины берлинскіе смотрятъ уныло, хотя есть между ними достаточное число обширныхъ и заваленныхъ товаромъ. Это скорѣе кладовыя, нежели магазины. Можетъ быть, въ нихъ и спрятано гдѣ-нибудь что-нибудь подходящее, да заглядывать-то туда не хочется, потому что покуда отыскиваешь это подходящее (а спросите-ка „дамочку“, знаетъ ли она даже, что для нея „подходящее“?), непременно сто разъ часъ своего рожденія проклянешь. Представьте себѣ, что вы хотите знать, какимъ образомъ и почему петербургскіе оберъ-полицеймейстеры начали именоваться градоначальниками, а вамъ на это говорятъ, что для точнаго уразумѣнія этого событія необходимо прочитатъ „Исторію Россіи съ древнѣйшихъ временъ“ Соловьева. Зачѣмъ? вѣдь это, наконецъ, обременительно — по поводу самой простой исторической справки каждый разъ перечитывать „Исторію“ Соловьева! А въ Берлинѣ каждый магазинъ такъ, кажется, и говоритъ проходящему, что человекъ, желающій приобрести фланелевую куртку, тогда только получитъ искомое, ежели предварительно ознакомится съ полнымъ курсомъ „Исторіи фланелевыхъ куртокъ съ древнѣйшихъ временъ“. Даже русскія культурныя дамочки — ужъ на что охочи по магазинамъ бѣгать — и тѣ чуть не со слезами на глазахъ жалуются: помилуйте! мужъ заставляетъ меня въ Берлинѣ платья покупать!

Въ Берлинѣ можно купить одѣяло, но не такое, чтобъ имъ покрывать постель днемъ; можно купить резиновый мячикъ, но лишь для дѣтей небогатыхъ родителей; наконецъ въ Берлинѣ можно купить колбасу, но не такую, чтобъ потчивать ею людей, которымъ желаешь добра, а такую, чтобъ съѣсть ее отъ нужды одному, при запертыхъ дверяхъ, съѣсть, и когда желудочныя боли утихнутъ, то позабыть. И за все тѣмъ Берлинъ торгуетъ, какъ говорится, въ-развалъ, и въ особенности шерстянымъ товаромъ. Куда расходится эта громадная масса безвкуснаго, а отчасти и не особенно прочнаго товара? — Разумѣется, прежде всего по своимъ собственнымъ Диршау, Бромбергамъ, Тарантамъ и проч., но главное количество все-таки уходитъ въ Россію. Пензы, Тулы, Курски — все слопаютъ, и тульская дамочка, которая визжала при одной мысли отремонтировать свой туалетъ въ Берлинѣ, охотно

износить самого несомнѣннаго Герсона за самого несомнѣннаго Ворта, если этотъ Герсонъ будетъ предложенъ ей въ магазинъ дамскаго портного Стрехова... въ кредитъ.

Но самый гнетущій элементъ берлинской уличной жизни—это военный. Сравнительно съ Петербургомъ военный гарнизонъ Берлина не весьма многочисленъ, но тѣла ли прусскихъ офицеровъ дюже, груди ли у нихъ обемистѣе, какъ бы то ни было, но дѣлается положительно тѣсно, когда по улицѣ проходить прусскій офицеръ. Одѣтъ онъ какимъ-то чудаконъ, въ форму, напоминающую наши военные сюртуки и фуражки сороковыхъ годовъ; грудь выпячена колесомъ, усы закручены въ колечко... Идетъ румяный, крупчатый, довольный, точно сейчасъ получилъ жалованье, что не мѣшаетъ ему впрочемъ относиться къ ближнему съ строгостью и скоростью. Мнѣ кажется, что Держиморда именно былъ бы таковъ, еслибы не заѣлъ его Сквозникъ-Дмухановскій и онъ самъ не имѣлъ бы слабости къ спиртнымъ напиткамъ.

Когда я прохожу мимо берлинскаго офицера, меня всегда беретъ оторопь. Даже въ Баденъ-Баденъ, въ Эмсѣ мнѣ дѣлалось жутко, когда, бывало, привезутъ въ курзалъ изъ Ранштадта или изъ Кобленца нѣсколько десятковъ офицеровъ, чтобъ доставить удовольствіе à ces dames. Не потому жутко, чтобъ я боялся, что офицеръ кликнетъ городского, а потому, что онъ веѣмъ своимъ складомъ, посадкой, устоемъ, выпяченною грудью, выбритымъ подбородкомъ такъ и тычетъ въ меня: я герой! Мнѣ кажется, что еслибы, вмѣсто того онъ сказалъ: я разбойникъ и сейчасъ начну тебя свѣжевать, —мнѣ было бы легче. А то „герой“—шутка сказать! Передъ героями простые люди обязываются падать ницъ, обожать ихъ, забыть объ себѣ, чтобъ исключительно любоваться и гордиться ими,—вотъ какъ я понимаю героевъ! Но какъ бы я ни былъ малъ и ничтоженъ, вѣдь и у меня есть собственныя дѣлишки, которыя требуютъ времени и заботъ. И вдобавокъ эти дѣлишки, вмѣстѣ съ дѣлишками другихъ столь же простыхъ людей, небезполезны и для страны, въ которой я живу. Неужели же я долженъ обо всемъ забыть, на все закрыть глаза, затѣмъ только, чтобъ во всю глотку орать: ура, герой! Нѣтъ, право, самое мудрое дѣло было бы, еслибы держали героевъ взаперти, потому что это развязало бы простымъ людямъ руки и въ то же время дало бы возможность странѣ пользоваться плодами этихъ рукъ. Пускай герои между собой разговариваютъ и другъ на друга любятъ; пускай читаютъ Плутарха, припоминаютъ анекдоты изъ жизни древнихъ и новыхъ героевъ и вообще подерживаютъ въ себѣ вкусъ къ истребленію „исконнаго“ врага (а кто же теперь не „исконный“ врагъ въ глазахъ прусскаго офицера?). Но пусть они не показываются днемъ на улицѣ, пусть не напоминаютъ мнѣ, смиренному и скромному колбаснику, что я ежемгновенно могу погибнуть какъ червь, если за меня не бдитъ недремлющее око его... герой!

Нашъ русскій офицеръ никогда не производилъ на меня такого удручающаго впечатлѣнія. Прежде всего онъ въ объемѣ тоньше и грудей у него такихъ нѣтъ: во-вторыхъ, онъ положительно никому не тычетъ въ глаза: я герой! Русскій человѣкъ способенъ быть дѣйствительнымъ героемъ, но это не выпячиваетъ ему груди и не заставляетъ тарашить глаза. Онъ смотритъ на



геройство безъ панибратства и очевидно понимаетъ, что это совсѣмъ не такая заурядная вещь, которую можно всегда носить съ собою, въ числѣ прочей амуниціи. Напротивъ, пруссакъ убѣжденъ, что разъ онъ произведенъ, съ соизволенія начальства, въ герои, разъ ему воздвигнуть на Королевской площади памятникъ, то онъ обязывается съ честью носить это званіе не только на улицахъ, но и въ садахъ Орфеума. Разумѣется, простыхъ людей это стѣсняетъ.

Можетъ быть, потому-то и берлинская веселость имѣетъ какой-то неискренній, мрачній характеръ. Какъ тутъ искренно веселиться, когда обокъ съ вами торчитъ „герой“, который, того гляди, начнетъ повѣствовать объ Вёртѣ или объ Седанѣ? А между тѣмъ не веселиться — нельзя. Во-первыхъ, современный берлинецъ черезъ-чуръ взбаламученъ разсказами о парижскихъ веселостяхъ, чтобъ не попытаться завести у себя что-нибудь à l'instar de Paris. Во-вторыхъ, ежели онъ не будетъ веселиться, то не скажетъ ли о немъ Европа: вотъ онъ прошелъ съ мечемъ и огнемъ половину цивилизованнаго міра, а остался все тѣмъ же скорбнымъ главою берлинцемъ. Въ-третьихъ, не скажутъ ли и самне „герои“: мы завалили васъ лаврами, а вы ходите какъ заспанные — ужели нужно и еще разорить какую-нибудь страну, чтобъ разбудить васъ? И вотъ берлинецъ начинаетъ веселиться. Онъ заводитъ шарабанъ mit einem ganz noblen Lakai, и хвастается: wir haben unsere eigenen gamins de Paris! А затѣмъ отправляется въ Орфеумъ, щиплетъ тамошнихъ кокотокъ („не знаетъ, какъ блеснуть очаровательнѣе“, какъ выражается у Островскаго Липочка Большова), наливается шампанскимъ точно такъ же, какъ отецъ или предокъ его наливался пивомъ, и пьяный отправляется на ночлегъ въ сопровожденіи двухъ кокотокъ вмѣсто одной. И мечется на своемъ ложѣ, видя во снѣ, что и завтра ему предстоитъ веселиться точно тѣмъ же порядкомъ.

Я съ особенною настойчивостью останавливаюсь на уличной жизни, во-первыхъ, потому, что она всего больше доступна наблюденію, а во-вторыхъ потому, что въ городѣ, имѣющемъ претензію быть кульминаціоннымъ пунктомъ цѣлой имперіи, уличная жизнь, по мнѣнію моему, должна преимущественно отражать на себѣ степень бѣльшей или мѣньшей эмансипаціи общества отъ узъ. Основать университетъ и населить его знаменитѣйшими и наилучше оплаченными профессорами можно всюду, даже при наличности самыхъ нестерпимѣйшихъ узъ, равно какъ всюду же можно устроить музеи, коллекціи, выставки и проч. Для этого нужны только добрая воля и матеріальныя средства. Но общительность, но мягкость формъ общежитія нельзя декретировать ни начальственнымъ предписаніемъ, ни громомъ и блескомъ побѣдъ. Тамъ, гдѣ эти свойства отсутствуютъ, гдѣ чувство собственного достоинства замѣняется оскорбительнымъ и въ сущности довольно глупымъ самоинѣніемъ, гдѣ шовинизмъ является обнаженнымъ, безъ всякой примѣси энтузіазма, гдѣ не горятъ сердца ни любовью, ни ненавистью, а воспламеняются только подозрительностью къ сосѣду, гдѣ нѣтъ ни истинной привѣтливости, ни искренней веселости, а есть только желаніе похвастаться и расчетъ на трингельдъ — тамъ, говорю я, не можетъ быть и большого хода свободѣ. Я не хочу, конечно, сказать этимъ, чтобъ университеты, музеи и тому подобныя

образовательныя учрежденія играли ничтожную роль въ политической и общественной жизни страны—напротив! но для того, чтобъ вліяніе этихъ учреждений оказалось дѣйствительно плодотворнымъ, необходимо, чтобъ между ними и обществомъ существовала живая связь, чтобъ университеты, напимѣрь, были свѣточами и вѣстниками жизни, а не комментаторами официально признанныхъ формулъ, которыя и сами по себѣ настолько крѣпки, что, право, не нуждаются въ подтвержденіи и провозглашеніи съ высоты профессорскихъ кафедръ.

Но здѣсь я не могу воздержаться, чтобъ не припомнить одного любопытнаго факта изъ моего прошлаго. Когда я былъ въ школѣ, то въ нашемъ уголовномъ законодательствѣ еще весьма часто упоминалось слово: „кнутъ“. Нужно полагать, что это было очень серьезное орудіе государственной Пемезиды, потому что оно отпускалось въ количествѣ, не превышавшемъ 41-го удара, хотя опытный палачъ, какъ въ то время удостовѣрили, могъ съ трехъ ударовъ заколотить человѣка на смерть. Во всякомъ случаѣ орудіе это несомнѣнно существовало, и слѣдовательно профессоръ уголовного права долженъ былъ такъ или иначе встрѣтиться съ нимъ на кафедрѣ. И что же! выискался профессоръ, который не только не проглотилъ этого слова, не только не подавился имъ въ виду десятковъ юношей, внимавшихъ ему, не только не выразился хоть такъ, что какъ-деската ни печально такое орудіе, но при извѣстныхъ формахъ общенія представляется затруднительнымъ обойти его, а прямо и внятно повѣствоваль, что кнутъ есть одна изъ формъ, въ которыхъ идея правды и справедливости находитъ себѣ наиболѣе приличное осуществленіе. Мало того: онъ утверждалъ что самая злая воли преступника требуетъ себѣ воздаянія въ видѣ кнута, и что не будь этого воздаянія, она могла бы счесть себя неудовлетворенною. Но прошло немного времени, курсъ уголовщины не былъ еще законченъ, какъ вдругъ, передъ самыми экзаменами, кнутъ отрѣшили и замѣнили трехвостною плетью, съ соотвѣствующимъ убоженіемъ съ точки зрѣнія числа ударовъ. Я помню, что насъ, молодыхъ школяровъ, чрезвычайно интересовало, какъ-то вывернется старый буквоѣдъ изъ этой неожиданности. Прольетъ ли онъ слезу на могилѣ кнута, или надругается надъ этой могилой и воткнетъ въ нее осиновый колъ. Оказалось, что онъ воткнулъ осиновый колъ. Цѣлую лекцію сквернословилъ онъ передъ нами, какъ скорбѣла высшая идея правды и справедливости, когда она осуществлялась въ формѣ кнута, и какъ ликуетъ она теперь, когда, съ соизволенія вышняго начальства, ей предоставлено осуществляться въ формѣ трехвостной плети, съ соотвѣствующимъ убоженіемъ. Онъ говорилъ—и его не тошнило, а мы слушали—и насъ тоже не тошнило. Я не знаю, какъ потомъ справился этотъ профессоръ, когда тѣлесныя наказанія были совсѣмъ устранены изъ уголовного кодекса, но думаю, что онъ и тутъ вышелъ сухъ изъ воды (быть можетъ, ловкій старикъ внутренне посмѣивался, что какъ, молъ, ни вертись, а тумакъ и митирогнозія все-таки остаются въ прежней силѣ). Кто же однако бросить въ него камень за выказанную имъ научную сноровистость? Развѣ отъ него требовалось, чтобъ онъ стоялъ на дорогѣ съ свѣточемъ въ рукахъ? Нѣтъ, отъ него требовалось одно: чтобъ онъ подыскалъ обстановку для истины уже отверженной и официально признанной таковою.



и потомъ, за эту послугу, чтобъ получалъ присвоенное по штатамъ содержаніе.

Весьма можетъ статья, что я неправъ (охотно сознаюсь въ моей некомпетентности), но мнѣ кажется, что именно для этой послѣдней цѣли собраны въ берлинскомъ университетѣ ученые знаменитости со всѣхъ концовъ Германіи. Онѣ устрояють обстановочки, придумываютъ оправдательныя теоріи въ пользу совершившихся фактовъ и скромно пользуются присвоеннымъ имъ отличнымъ содержаніемъ. Но влиянія на ходъ жизни онѣ не имѣютъ и никого для будущаго не воспитываютъ. Конечно, они не будутъ распинаться въ пользу кнута, въ томъ видѣ, въ какомъ онъ хранился за печатами въ губернскихъ правленіяхъ, но вѣдь бываютъ кнуты и иносказательные...

Я не имѣю никакихъ данныхъ утверждать, что Берлинъ *никогда* не сдѣлается дѣйствительнымъ руководителемъ германской умственной жизни, но, судя по современному настроенію умовъ, думаю, что *въ настоящее время* для доброй половины Германіи Берлинъ не только не симпатиченъ, но даже прямо непріятенъ. Онъ у всѣхъ что-нибудь отнялъ и ничѣмъ за отнятое не вознаградилъ. И вдобавокъ вездѣ насоваль берлинскаго солдата съ соотвѣтствующимъ количествомъ берлинскихъ же офицеровъ. Какое, спрашивается, имѣлъ онъ право смущать сонъ добродушныхъ баденцевъ вѣчноприсущимъ представленіемъ о выпяченныхъ грудяхъ и вытаращенныхъ глазахъ. И была ли въ томъ надобность?

Однимъ словомъ, вопросъ, для чего нуженъ Берлинъ? — оказывается вовсе не столь празднымъ, какъ это можетъ представиться съ перваго взгляда. Да и отвѣтъ на него не особенно затруднителенъ, такъ какъ вся суть современнаго Берлина, все міровое значеніе его сосредоточены въ настоящую минуту въ зданіи, возвышающемся въ виду Королевской площади и носящемъ названіе: *Главный Штабъ...*

Разсказываютъ, правда, что никогда въ Берлинѣ не были такъ сильны демократическія аспираціи, какъ теперь, и въ доказательство указываютъ на нѣкоторые парламентскіе выборы. Но вѣдь разсказываютъ и то, что берлинское начальство очень ловко умѣетъ справляться съ аспираціями и отнюдь не церемонится съ излюбленными берлинскими людьми...

Самой собой разумѣется, что каждый здравомыслящій берлинецъ, по поводу сейчасть изложеннаго, можетъ сказать мнѣ: если тебѣ у насъ нехорошо, то ступай домой и тамъ наслаждайся! И я не только допускаю возможность такого возраженія, но даже понимаю, что въ отвѣтъ на него я могу только сконфузиться. Но въ сущности я буду неправъ, потому что дѣло совсѣмъ не въ томъ, гдѣ и насколько золотниковъ жизнь угрюмѣе, а въ томъ, гдѣ и насколько она интереснѣе. Читатель! подивись! я совершенно безъ всякой ироніи утверждаю, что нигдѣ жизнь не представляетъ такъ много интереснаго, какъ въ нашемъ бѣдномъ, захудаломъ отечествѣ.

Конечно, это интересъ своеобразный, какъ говорится, на охотника, но все-таки интересъ.

Бываютъ существованія — съ личной точки зрѣнія очень мучительныя, почти невозможныя, но съ точки зрѣнія изслѣдованія и выводовъ полныя

изумительнѣйшихъ откровеній. Наблюдать такія существованія со стороны было бы, разумѣется, удобнѣе, нежели знакомиться съ ними при помощи собственныхъ боковъ, но устроить это безъ ущерба для полноты самыхъ наблюдений до крайности трудно. Во-первыхъ, какъ бы ни было добросовѣстно и подробно изслѣдованіе со стороны, никогда оно не замѣнитъ того интимнаго изслѣдованія, процессъ котораго оставляетъ неизгладимые слѣды на собственныхъ бокахъ изслѣдователя. Во-вторыхъ, существуютъ распорядки, при которыхъ, несмотря на самыя похвальные усилія остаться на почвѣ объективности, эти усилія оказываются тщетными, и всякій наблюдатель, каковы бы ни были его намѣренія, силою вещей превращается въ наблюдателя, собирающаго нужные факты при помощи собственныхъ боковъ. Поэтому, принимая на себя роль изслѣдователя подобныхъ загадочныхъ существованій, необходимо сказать себѣ: чтожъ дѣлать! если меня и ожидаютъ впереди нѣкоторые ушибы, то я обизываюсь оныя перенести!

Сказать это тѣмъ болѣе необходимо, что предметъ предстоящихъ изслѣдованій вполне того заслуживаетъ. Какимъ образомъ этотъ предметъ могъ сдѣлаться интереснымъ — вопросъ довольно затруднительный для рѣшенія; но вѣдь и это ужъ само по себѣ очень интересно, что хоть и не можешь себѣ объяснить, почему предметъ интересенъ, а все-таки интересуешься имъ. Тутъ можно сказать себѣ только одно: чѣмъ загадочнѣе жизнь, тѣмъ болѣе она даетъ пищи для любознательности и тѣмъ больше подстрекаетъ къ раскрытію тайнъ этой загадочности. Съ этой точки зрѣнія я совершенно раздѣляю мнѣніе „Мальчика безъ штановъ“, который на всѣ обольщенія, представляемыя гороховицей съ свинымъ саломъ, отвѣчалъ: „нѣтъ, у насъ дома занятіе“. Ежели можно сказать вообще про Европу, что она въ главныхъ чертахъ повторяетъ зады (по крайней мѣрѣ въ настоящую минуту она во истину ничего другого не дѣлаетъ) и во всякомъ случаѣ знаетъ, что ожидаетъ ее завтра (что было вчера, то повторится и завтра, съ малымъ развѣ измѣненіемъ въ подробностяхъ), то къ Берлину это замѣчаніе примѣнимо въ особенности. Въ Берлинѣ, самые камни вопіютъ: завтра должно быть то же самое, что было вчера! А мы — развѣ мы что-нибудь знаемъ? Какимъ образомъ разрѣшится вопросъ объ акклиматизаціи саранчи? Порвется ли когда-нибудь сѣтъ сквернословія и тумановъ, осыпавшая насъ отъ верхняго края до нижняго? Произойдетъ ли когда-нибудь волшебство, при помощи котораго народная школа, народное здоровье, занятіе сельскимъ хозяйствомъ, то-есть именно тѣ поприща, на которыхъ культурный человѣкъ можетъ принести наибольшую пользу, перестанутъ считаться синонимами распространенія превратныхъ идей? Кто разрѣшитъ эти вопросы? — разумѣется, никто... Но развѣ это не занятно?

Я знаю, что жить среди этихъ загадочностей — все равно, что быть вверженнымъ въ львиный ровъ... Но за то какая радость, ежели львы не тронутъ или только слегка помнутъ ребра!

„Мальчикъ въ штанахъ“ во многомъ былъ правъ. Гороховица съ свинымъ саломъ во истину слаще, нежели мякинный хлѣбъ, одобренный одною водой; поля, приносящія постоянно самъ-пятнадцать, во истину выгоднѣе, нежели поля, представляющія въ перспективѣ награду на небесахъ; отсутствіе митирогнозій лучше, нежели присутствіе ея, а обычай не рвать ябло-



ковъ съ деревьевъ, растущихъ при дорогѣ, похвальнѣе обычая опохмеляться чужимъ плохо лежащимъ керосиномъ. Но онъ былъ неправъ, утверждая, что всѣ эти блага цивилизаціи настолько цѣнны, чтобъ за нихъ можно было „по контракту“ закрѣпить душу. Въ этомъ отношеніи, по мнѣнію моему, „мальчикъ безъ штановъ“ правѣе. Онъ соглашается, что у пруссака чище и вальготнѣе, но утѣшается тѣмъ, что у него, „мальчика безъ штановъ“, по крайней мѣрѣ никакого контракта на рукахъ нѣтъ. Положимъ, что его душа, точно такъ же, какъ и нѣмцева, не принадлежитъ ему въ собственность, но онъ не продалъ ея за грошъ, а отдалъ даромъ. Какъ хотите, а это очень и очень интересная разниаца!

Какъ бы то ни было, но первое чувство, которое долженъ испытать русскій, попавшій въ Берлинъ, все-таки будетъ чувствомъ искреннѣйшаго огорченія, близко граничащаго съ досадой. Прежде всего онъ увидитъ себя вынужденнымъ сравнивать, и выводы, которые получатся путемъ этихъ сравненій, покажутся ему не особенно удовлетворительными. Но пусть онъ не останавливается передъ этими первыми выводами, пусть не обольщается даже зрѣлищемъ признанія правъ мысли на оцѣнку благодѣяній свободы, первый актъ котораго несомнѣнно начнется для него уже подъ Эйджкуненомъ. Пусть приметъ онъ на вѣру слова „мальчика безъ штановъ“: „у насъ дома занятнѣе“, и съ довѣріемъ возвратится въ домъ свой, чтобъ занять соотвѣтствующее мѣсто въ представленіи той загадочной драмы, о которой нельзя даже сказать, началась она или нѣтъ.

За Берлиномъ, по направленію къ Рейну, начинается рядъ лакейскихъ городковъ. Это — курорты, гдѣ въ общей массѣ наѣзжаго люда и русскіе, по распоряженію медицинскаго начальства, посвящаютъ себя нагуливанію животовъ.

Курортъ — миниатюрный, живописно расположенный городокъ, который зимою представляетъ рядъ на-глухо заколоченныхъ отелей и вѣвзжихъ домовъ, а лѣтомъ превращается въ гудящій пчелиный улей. Официальная привлекательность курортовъ заключается въ цѣлебной силѣ ихъ водяныхъ источниковъ и въ обновляющихъ свойствахъ воздуха окружающихъ горъ; неофициальная — въ томъ непрерывающемся праздникѣ, который неразлученъ съ наплывомъ массъ досужихъ и обладающихъ хорошими денежными средствами людей.

Я не могу представить себѣ зимнее существованіе этихъ городковъ. Ведутъ ли населяющіе ихъ жители какую бы то ни было самостоятельную жизнь и имѣютъ ли свойственныя всѣмъ земноводнымъ постоянныя занятія? пользуются ли благами общественности, т.-е. держатъ ли, какъ въ прочихъ мѣстахъ, ухо востро, являются ли по начальству въ мундирахъ для принесенія поздравленій, фигурируютъ ли въ процессахъ, въ качествѣ попустителей и укрывателей, и затѣмъ уже, въ свободное отъ явокъ время, женятся, рожаютъ дѣтей и умираютъ, или же представляютъ собой изнуренный лѣтнею бѣготнею сбродъ, который, сосчитавъ барыши, погружается въ спячку, съ тѣмъ, чтобъ проснуться въ началѣ апрѣля и начать приготовленіе къ новой

лѣтней бѣготы! Вообразить себѣ обывателя курорта несуетащагося, не продающаго себя со всѣми потрохами, столь же трудно, какъ и вообразить коренного русскаго человѣка, который забылъ о существованіи ежовыхъ рукавицъ. Поэтому я могу только догадываться, что зимою иѣмекскій курортъ превращается въ сказочную долину, по которой разбросаны посѣщаемые привидѣніями дома и въ которой не видно никакихъ признаковъ человѣческой дѣятельности, кромѣ прилежной вывозки нечистотъ, оставленныхъ щедрыми лѣтними посѣтителями. Не только иностранецъ исчезаетъ, но и вся разношерстная толпа лакеевъ, фигурировавшая лѣтомъ въ качествѣ мѣстнаго колорита — и та уплываетъ неизвѣстно куда, вмѣстѣ съ послѣднимъ отбоемъ иностранной волны. Ибо и она, эта лакейская толпа, была совсѣмъ не мѣстная, а пришлая, привлеченная сюда со всѣхъ концовъ Германіи надеждой на иностранный трингелдъ. У насъ въ Россіи навѣрное такой городъ переименовали бы въ заштатный, и только лѣтомъ, въ видахъ пресѣченія и предупрежденія, переводили бы сюда становую квартиру, съ правомъ, на случай превратныхъ толкованій, выворачивать руки къ лопаткамъ и сажать въ „холодную“.

За то съ наступленіемъ весенняго тепла курортъ начинаетъ закипать, и чѣмъ больше подвигается время вглубь лѣта, тѣмъ гуще и гуще раздается пчелиное гудѣніе вокругъ курзала и безчисленныхъ табльдотовъ, простирающихъ свои объятія навѣзшему люду. Курзаль прибодряется и расцвѣчивается флагами и фонарями самыхъ причудливыхъ формъ и сочетаній; лужайки около него украшаются вычурными цвѣтниками, съ изображеніемъ официальныхъ гербовъ; армія лакеевъ стоитъ, притаивъ дыханіе, готовая по первому знаку ринуться впередъ; въ кургаузѣ, около источниковъ, появляются дородныя вассерфрау; всякій частный домъ превращается въ *privat-hôtel*, напоминающій невзрачную провинціальную русскую гостиницу (къ счастью, лишенную клоповъ), съ дерюгой вмѣсто постельнаго бѣлья и съ какими-то нелѣпыми подушками, которыя расползаются при первомъ прикосновеніи головы: владѣльцы этихъ домовъ, зимою ютившіеся въ конурахъ, ради экономіи въ топливѣ, теперь переходятъ въ еще болѣе тѣсныя конуры, ради прибыли: со сѣднія деревни не покладая рукъ доятъ коровъ, козъ, ослицъ и щупаютъ куръ; на всякомъ перекресткѣ стоятъ динстманы, пактрёгеры и прочій подневольный людъ, пришедшій съ спеціальною цѣлью за грошъ продать душу; и тутъ же рядомъ ржутъ лошади, режутъ ослы и безъ оглядки бѣжитъ жидъ, самъ еще не сознавая зачѣмъ, но чуя, что изъ каждаго кармана пахнетъ талеромъ или банковымъ билетомъ. Чувствуется, что въ воздухѣ есть что-то ненормальное, что жизнь какъ будто сошла съ ума, и, разумеется, по русскому обычаю, опасаясь, что вотъ-вотъ попадешь въ „исторію“. Но чѣмъ больше живешь и вглядываешься, тѣмъ больше убѣждаешься, что, несмотря на всякія ненормальности, никакихъ „исторій“ нѣтъ, что все кругомъ исполонъ вѣковъ намущено, и теперь само собой такъ укладывается, чтобы никто никому не мѣшалъ. Пактрёгеры не спотыкаются, не задѣваютъ другъ друга, но степенно двигаются, гордые сознаниемъ, что именно *они*, а не динстманы, призваны замѣнять ломовыхъ лошадей: динстманы не перебиваютъ другъ у друга работу, не кричатъ въ запуски: я сбѣгаю! я, ваше сіятельство!



меня вчера за Анюткой посылалъ, господинъ купецъ! но солидно стоять въ ожиданіи, кого изъ нихъ потребитель облюбуешь, кому скажешь: любь! У насъ (въ Москвѣ, напримѣръ) при такихъ обстоятельствахъ по малой мѣрѣ, потребителю фалды бы оборвали, и послѣдствіемъ этого было бы путешествіе въ кутузку, а здѣсь и кутузки нѣтъ, и фалды цѣлы. Но вѣдь съ другой стороны, еслибы мы вздумали подражать нѣмецкимъ образцамъ, то-есть начали бы солидничать и въ молчаніи ждать своей участи, то не вышло ли бы изъ этого другой, еще горшей бѣды? Молчишь—значить, есть что-нибудь на умѣ... А что же можетъ быть на умѣ у динстмана, кромѣ превратныхъ толкованій? Ну, и опять—маршъ въ кутузку!

Благо странамъ, которыя, въ видѣ сдерживающаго начала, имѣютъ въ своемъ распорядкѣ кутузку, но еще болѣе благо тѣмъ, которыя, отбывъ время кутузки, и нынѣ носятъ ее въ сердцахъ благодарныхъ дѣтей своихъ. Достоинъ похвалы тотъ, который, видя кутузку очами тѣлесными, согласно съ нимъ регулируетъ свое поведеніе; но стократъ блаженнѣе тотъ, который, видя кутузку лишь очами духовными, продолжаетъ вѣровать въ незыблемость ея руководящихъ свойствъ. Русская лошадь знаетъ кнутъ и потому боится его (иногда даже до того уже знаетъ, что и бояться перестаетъ: бей, несытая душа, коли любю!); нѣмецкая лошадь почти совсѣмъ не знаетъ кнута, но она знаетъ „исторію“ кнута, и потому при первомъ щелканьи бича бѣжитъ впередъ, не выжидая болѣе дѣйствительныхъ понужденій. Такъ точно и во всемъ. Тѣмъ не менѣе надобно, къ чести людей, сознаться, что кнутъ все-таки есть только мѣра печальной необходимости, къ которой рѣдко кто прибѣгаетъ какъ къ развлеченію. Какъ легко жилось бы русскимъ извозчикамъ, если бы русскія лошади вдругъ остепенились и начали возить не только за страхъ, но и за совѣсть! И какъ просто было бы управлять людьми, если бы, подобно нѣмецкимъ пактрёгерамъ, всѣ поняли, что священнѣйшая обязанность человѣка въ томъ заключается, чтобъ, не спотыкаясь и не задѣвая другъ друга, носить тяжести, принадлежащія „знатнымъ иностранцамъ“! Но, можетъ быть, если бы эта утопія осуществилась, то сами извозчики сбѣснись бы отъ жира и ничего-недѣланія? И, сбѣснившись, начали бы... Помилуйте! а кутузка на что?

А впрочемъ довольно мечтать о томъ, кто болѣе заслужилъ похвалы и кто менѣе. Пускай нѣмецкіе извозчики щелкаютъ бичами по воздуху, а наши пускай бьютъ лошадей кнутахъ и вдоль спины, и поперекъ, и по брюху. Пускай нѣмецкіе динстманы посятъ кутузку въ сердцахъ своемъ, а наши, имѣя въ оной жительство, пусть говорятъ: ахъ, чтобъ ей ни дна, ни покрывки! Конечно, отъ того или другого образа поведенія зависитъ то или другое направленіе внутренней политики, но вѣдь за внутренней политикой не угонишься! Иной ведетъ себя отлично, до сесѣдъ напакостилъ—анъ и его за одно ведутъ въ кутузку. И потомъ: ахъ, какъ жаль! какое печальное недоразумѣніе! Это кутузка-то... недоразумѣніе!

Правда, я со всѣхъ сторонъ слышу, что недоразумѣній больше ужъ не будетъ, и вполнѣ вѣрю, что въ дополненіе къ прежнимъ эмансипациямъ возможна и эмансипация отъ недоразумѣній. Но, признаюсь, меня смущаетъ вопросъ: не будетъ ли слишкомъ прѣсна наша жизнь безъ недоразумѣній, но

съ кутузкой? Вѣдь мы привыкли! Театры у насъ плохіе, митинговъ нѣтъ, въ трактирахъ порція бифштекса стоитъ рубль серебромъ — такъ, по моему мнѣнію, лучше *по недоразумѣнію* вечеръ въ кутузкѣ провести, нежели въ Александринкѣ глазами хлопать. Но только, Ради Христа, не больше одного вечера!

Средняго сословія людей въ курортахъ почти нѣтъ, ибо нельзя же считать таковыми ту незамѣтную горсть туземныхъ и иноземныхъ негоціантовъ, которые торгуютъ (и Богъ вѣсть, однимъ ли тѣмъ, что у нихъ на полкахъ лежитъ?) въ баракахъ и колонадахъ вдоль променады, или тѣхъ антрепренеровъ лакейскихъ послугъ, которые тѣмъ только и отличаются (разумѣется, я не говорю о мошнѣ) отъ обыкновенныхъ лакеевъ и кнехтовъ, что имѣютъ право громче произносить: *pst! pst!* Можетъ быть, зимой, когда сосчитаны барыши, эти послѣдніе и сознаютъ себя добрыми буржуа, но лѣтомъ они, наравнѣ съ самымъ послѣднимъ кельнеромъ, продаютъ душу наѣзжему человѣку и не имѣютъ иного критеріума для оцѣнки вещей и людей, кромѣ того, сколько то или другое событіе, тотъ или другой „гость“ бросятъ имъ лишнихъ пфениговъ въ карманъ.

А наѣзжій человѣкъ такъ со всѣхъ сторонъ и напираетъ. Каждый день, безчисленные желѣзнодорожные поѣзды выбрасываютъ на улицы курорта массы „гостей“, которые тутъ же, съ вытаращенными глазами, задыхаясь и спѣша, начинаютъ отыскивать себѣ конуру для ночлега. Это, такъ сказать, предвкушеніе ожидающихъ утѣхъ. Тутъ и человѣкъ, всю зиму экспекторировавшій, въ чайныи, что лѣтомъ будетъ лакомиться ослиными сыворотками и „обмѣнивать вещества“. Тутъ и безшабашный совѣтникъ, который согласенъ какую угодно мерзость глотать, лишь бы Богъ вѣку продлилъ и сотворилъ ему мирнымъ и непостыднымъ полученіе присвоенныхъ по штатамъ окладовъ и арендъ. Тутъ и юный бонапартистъ, которому только безмѣрное безразсудство до сихъ поръ мѣшало обдумать, въ чью пользу и за какую сумму ему придется продать отечество. Тутъ и пустоголовая, но хорошо выкормленная бонапартистка, которая, опираясь на руку экспекторирующаго человѣка, мечтаетъ о томъ, какъ она завтра появится на променадѣ въ такомъ платьѣ, что все-все (*mais tout!*) будетъ видно. Тутъ и милая старушка, которая уже теперь не можетъ придти въ себя отъ удивленія при видѣ той массы панталонъ, которая все больше и больше увеличивается по мѣрѣ приближенія къ центру городка. Тутъ и замученный хожденіями по мытарствамъ литераторъ, и ошалѣвшій отъ апелляцій и кассаций адвокатъ, и оглохшій отъ директорскаго звонка чиновникъ, которые надѣются хоть на два, на три мѣсяца страхнуть съ себя массу замученности и одурѣнія, въ теченіе 9—10 мѣсяцевъ составлявшую ихъ обычный *modus vivendi* (неблагодарные! они забываютъ, что именно эта масса и напоминала имъ отъ времени до времени, что въ Эзонѣ скрывается человѣкъ!). Тутъ и шпионъ. И всѣ они переходятъ отъ гостиницы къ гостиницѣ, отъ одного вѣзжаго дома къ другому, отыскивая конуру... самую простую конуру! И рѣдко кому изъ нихъ удается успокоиться въ искомой конурѣ раньше трехъ-четырехъ часовъ изнурительнѣйшихъ поисковъ.

Ночью гостиницы и вѣзжіе дома наполняются звуками экспекторации „гостей“ и громкими протестами бонапартистокъ: *„et bien, auras-tu bien-*



tôt fini? — на что слѣдуетъ неизбѣжный отвѣтъ: „ахъ, матушка! к-ха, к-ха... хррр!“.. Но вотъ легкія мало-по-малу очищаются и къ полуночи все стихаетъ. Утромъ въ шесть часовъ, опять инспекторія и опять протестъ... А между тѣмъ въ кургаузѣ и около него гудитъ пчелиный рой. Семь часовъ утра. Одни уже отпили свою порцію; другіе только-что заручились кружками и спѣшать къ источникамъ. Всякій народъ тутъ: чиновные и нечиновные, больные и здоровые, каналы и честные люди, бонапартисты и простые, застѣнчивые люди, которые никакъ не могутъ придти въ себя отъ изумленія, какое горькое волшебство привело ихъ въ соприкосновеніе со всѣмъ этимъ людомъ, котораго они не искали и незнаніе котораго составляло одну изъ счастливѣйшихъ привилегій ихъ существованія. Тутъ и англичанка-пѣресса, которая въ Англіи оплодотворилась, а здѣсь заставляетъ возить себя въ ручной колясочкѣ, дабы не потревожить плода. Тутъ и упраздненный принцъ крови, который, изнемогая въ конвульсіяхъ высокопоставленнаго одиночества, разыскиваетъ черезъ кельнеровъ, не пожелаетъ ли кто-нибудь имѣть честь быть ему представленнымъ. Тутъ и рязанскій землевладѣлецъ, у котораго на лицѣ написано: наплюю я на эти воды, закачусь на цѣлую ночь въ Ливденбахъ, дамъ Дорѣ двадцать-пять марокъ въ зубы: скидывай, бестія, лишнюю одѣжу... служи! Тутъ и шпионъ. Въ воздухѣ стоитъ разноязычный говоръ, въ общей массѣ котораго не послѣднее мѣсто занимаетъ и русская рѣчь.

— Какими судьбами? вы!!

— Да вотъ въ горлѣ все что-то сверлитъ...

— Съ кѣмъ это вы сейчасъ говорили?

— Мошенникъ! знаете ли, какую онъ штуку удралъ...

Черезъ минуту другая встрѣча.

— И вы здѣсь? давно?

— Дней съ пять. Съ легкими справиться не могу.

— Съ кѣмъ вы сейчасъ говорили?

— Ужаснѣйшая, батюшка, каналья. Знаете ли, какую онъ вещь съ родной сестрой сдѣлалъ...

Еще черезъ минуту.

— Докторъ! я ужъ третій стаканъ выпилъ.

— Ходите, обмѣнивайте вещества!

— Докторъ! вчера я получилъ письмо изъ Россіи. У насъ вѣдь вы знаете что?.. Са-ран-ча!!

— Я бы особеннымъ повелѣніемъ запретилъ писать изъ Россіи письма къ больнымъ. Ходите, обмѣнивайте вещества!

— Докторъ! а *это*... можно?

Слѣдуетъ обмѣнъ мыслей шопотомъ.

— Гм... если ужъ вы... Но вы знаете мое мнѣніе: это положительно не *curgemaess*..

— Докторъ! чуточку!

— Да, но я все-таки долженъ предупредить... Удивительный вы народъ, господа русскіе! всѣ вы прежде всего объ *этомъ* спрашиваете... Ну, что съ вами дѣлать! можно, можно... А теперь ходите и обмѣнивайте вещества!

И бѣгутъ осчастливленные докторскимъ разрѣшеніемъ „знатные иностранцы“ обмѣнивать вещества. Сначала обмѣниваютъ около курзала, надѣясь обмануть время и принохиваясь къ запаху жженого цикорія, который такъ и валитъ изъ всѣхъ кухонь. Но потомъ, видя, что время все-таки продолжается идти черепашинымъ шагомъ (требуется по малой мѣрѣ часть на обмѣнъ веществъ), уходятъ въ подгородные ресторанчики за полчаса или за сорокъ минутъ ходьбы отъ кургауза.

Подождите еще нѣсколько минутъ, и вы увидите новый наплывъ публики: запоздавшихъ. Вотъ и вчерашняя бонапартистка, съ кружкой въ рукахъ, проталкивается сквозь толпу въ какомъ-то вязаномъ трико, которое такъ плотно ее облипаетъ, что дѣйствительно бонапартисты могутъ пожирать глазами... *все*. Рядомъ съ нею бредетъ милая старушка, усиливаясь подпрыгивать, вся разрисованная, восхищенная, готовая въ огонь и въ воду... *tout pimpante!* И вдали, въ дверяхъ кургауза, слѣдитъ за старушкой оберъ-кельнеръ, завитой бѣлокурый дѣтина, съ перстнемъ, украшеннымъ крупной бирюзой, на указательномъ пальцѣ, и на вопросъ, что можетъ стоить такой камень, самодовольно отвѣчаетъ: „*das hat mir eine hochwohlgeborene russische Dame geschenkt*“.

Я знаю многихъ русскихъ дамъ, которыя навѣрное обидятся наглостью оберъ-кельнера и воскликнуть: какъ онъ смѣетъ клеветать? Съ своей стороны, отнюдь не оправдывая нескромности табльдотнаго Рюи-Блаза и даже не имѣя ничего противъ того, чтобы назвать ее клеветой, я позволяю себѣ однакожь одинъ вопросъ: почему ни одинъ кельнеръ не назоветъ ни *eine englische*, ни *eine deutsche*, ни *eine französische Dame*, а непременно изъ всѣхъ національностей выберетъ русскую? Ужъ на что, кажется, повадлива румынская національность, но и объ ней оберъ-кельнеры умалчиваютъ. Стало быть, есть въ русской дамѣ какое-то внутреннее благоволеніе (вѣроятно вполне невинное), которое влечетъ къ ней сердца хаускнехтовъ и заставляетъ кельнеровъ мечтать: ужъ если суждено мнѣ отъ кого-нибудь получить перстенецъ съ бирюзой, такъ не иначе, какъ отъ русской „дамы“.

Очень можетъ быть, что дѣло происходило такъ. Приѣхала на воды инспектурирующая старушка-вдова и ни въ комъ на чужбинѣ не нашла участія, кромѣ оберъ-кельнера своей гостинницы. Этотъ человѣкъ сразу оказался „золотымъ“ малымъ. Онъ допускалъ въ пользу ея отступленія отъ правилъ табльдота; онъ предоставлялъ ей лучшее мѣсто за столомъ, придвигалъ и отодвигалъ ея стулъ, собственноручно накладывалъ ей на тарелку лакомый кусокъ, наливалъ въ стаканъ вино, и послѣ обѣда, надѣвая ей на плечи мантилью, говорилъ: „*so!*“ А вечеромъ лично носилъ ей въ нумеръ подносъ съ чаемъ, справлялся, спокойно ли ей почивать и не нужно ли промыслить другую подушку. Словомъ сказать, самоотвергался. Разумѣется, старушка была тронута. Вспомнила, что у нея въ саквояжѣ лежитъ перстенецъ съ бирюзой, который когда-то носилъ на указательномъ пальцѣ ея покойный мужъ, вынула, немножко всплакнула (надо же память покойнаго „друга“ почтить!) и... отдала. Отдавши, уѣхала на другія воды, гдѣ опять встрѣтила тѣхъ-въ-тѣхъ такого же оберъ-кельнера, вспомнила, что у нея въ саквояжѣ лежитъ перстенецъ съ изумрудомъ (тоже покойный мужъ на указательномъ



пальцѣ носить), опять всплакнула и опять... отдала. И такимъ образомъ, объѣхавши многіе курорты, добралась до Швейцаріи, но тутъ запасъ перстеньковъ истощился и въ соотвѣтствіи съ этимъ истощилось и оберъ-кельнерское самоотверженіе. И вотъ теперь она живетъ въ деревнѣ Проплѣванной и даритъ старостѣ Максимущкѣ, за самоотверженіе, желтенькую бумажку...

Et voilà comme on écrit l'histoire.

Около половины десятаго кургаузъ цуетъ; гудѣніе удаляется и расходуется по отелямъ. Это время перваго насыщенія, за которымъ наступаетъ время побочныхъ леченій. Позавтракавши, одни идутъ въ Gürgl-Cabinet, другіе — въ Inhalations-Anstalt, третьи — берутъ ванны. Но тѣ, которые удивляютъ міръ силою экспекторации — тѣ обыкновенно продѣлываютъ всѣ отрасли леченія и продолжаютъ экспекторировать съ прежнею силою. За то имъ рѣшительно не только нѣтъ времени о чемъ-либо думать, но некогда и отдохнуть, такъ какъ всѣ эти леченія нужно продѣлать въ разныхъ мѣстахъ города, которыя хотя и не весьма удалены другъ отъ друга, но все-таки достаточно, чтобъ больной человѣкъ почувствовалъ. И во всякомъ мѣстѣ нужно обождать, во всякомъ нужно выслушать признаніе соотечественника: „съ васъ за сеансъ берутъ полторы марки, а съ меня только марку; а вотъ эта старуха-пѣмка платитъ всего восемьдесятъ пфениговъ“. И вся эта исторія повторяется изо дня въ день, несмотря ни на какую погоду. Подумайте! съ шести часовъ дня до часу пополудни ничего, кромѣ бѣготни и какихъ-то безконечныхъ тринкгельдовъ, которые, подобно древней дыбѣ, приводятъ истязуемаго субъекта въ „изумленіе“. Какъ должно это дѣйствовать на человѣка, страдающаго, кромѣ болѣзни сердца, эмфиземы, воспаленія дыхательныхъ путей, астмы — еще мозолями!

Это же время (отъ десяти до часу) — самое горячее и для бонапартистки, ибо она примѣриваетъ костюмъ, въ которомъ должна явиться къ обѣду. Процессъ этого примѣриванія она отбиваетъ съ самою невозмутимою серьезностью. Надѣнетъ одно платье, встанетъ передъ зеркаломъ, оглядитъ себя сперва спереди, потомъ сзади, что-то подправитъ, въ одномъ мѣстѣ взбодритъ, въ другомъ пригнететъ, слизнетъ языкомъ соринку, приставшую къ губѣ, пошевелитъ бровями, возьметъ маленькое зеркальце и нѣсколько разъ кивнетъ передъ нимъ головой то вправо, то влѣво, положитъ зеркальце, опять его возьметъ и опять слизнетъ съ губъ соринку... И все время мечется у нея передъ глазами молодой бонапартистъ, который молить: „ахъ, эта ножка! ужели вы будете такъ безсердечны, что не дадите ее поцѣловать!“ Но мольба эта не волнуетъ ее, не влияетъ ей въ кровь отраву... Какъ истинная кокетка по духу, она даже *этимъ* не волнуется, а думаетъ только: „какъ нынче молодые люди умѣютъ мило говорить!“ .. и начинаетъ примѣривать другое платье. Новое стояніе передъ зеркаломъ, удаленіе и приближеніе къ нему; есть что-то неладное назади, именно тамъ, гдѣ все должно быть ладно. Что такое? *quel est ce mystère?* Ну, вотъ, теперь хорошо... *tout ce qu'il faut!* И опять бонапартистъ передъ глазами, который успѣлъ ужъ поцѣловать ножку, и теперь вопрошаетъ грядущее... Третье платье и новое повертыванье передъ зеркаломъ. Это платье повидимому ужъ совсѣмъ хорошо, но вотъ тутъ... нужно,

чтобъ было *дамъ* ноги, а гдѣ онѣ, „дѣвъ ноги“! „За что же, однако, меня въ институтѣ учитель прозвалъ *tête de linotte*! совсѣмъ ужъ я не такая...“ И опять бонапартистъ передъ глазами, но ужъ не тотъ, не прежній. Тотъ былъ съ усами, а этотъ съ бородой... ахъ, какой онѣ большой! Опять платье, четвертое и послѣднее. Пора. Послѣднее платье надѣвается нѣскоро, потому что часы показываютъ безъ десяти минутъ часъ, и сверхъ того въ изгибахъ *tête de linotte* мелькаетъ стихъ Блдановича: *во всѣхъ ты, душенька, нарядахъ хороша...* Это единственное „знаніе“, которое она вынесла изъ шестилѣтней мучительной институтской практики.

Въ это же время бодрствуетъ въ своей конурѣ и шпіонъ. Онѣ приводитъ въ порядокъ собранныя матеріалы, проводитъ ихъ сквозь горнило своего пониманія и, чувствуя, что отъ этого „пониманія“ воняетъ, сдѣбриваетъ его клеветой. И — о, чудо! — клевета оказывается правдоподобіе и даже грамотнѣе, потому что образцомъ для нея послужила поленика „благодѣннѣреннхъ“ русскихъ газетъ...

Бьетъ часъ, и весь этотъ людской сбродъ, измученный отчасти бѣготней, отчасти легкомысліемъ, отчасти праздноствіемъ, сосредоточивается за табльдотами. На нѣкоторое время городъ кажется пустымъ.

Послѣобѣденное время — самое тяжкое. До обѣда всѣ какъ-нибудь отлежились, отштукатурились и обрядились; послѣ обѣда — даже этихъ ресурсовъ нѣтъ. Возвращаться „домой“ незачѣмъ, да и некуда: никакого „дома“ нѣтъ, а есть конура. Даже у самаго богатаго человѣка, и у того, сравнительно съ „домомъ“, конура. Надо гдѣ-нибудь прошляться, чтобъ погубить остальные шесть-семь часовъ. Гдѣ прошляться? Я сказалъ выше, что окрестности курорта почти всегда живописны, но число экскурсій вовсе не такъ велико, чтобъ не быть исчерпаннымъ въ самое короткое время. Пять-шесть прогулокъ — вотъ и весь репертуаръ. Правда, что въ „своемъ мѣстѣ“ вы каждый день гуляете по одному и тому же саду, любуетесь одними и тѣми же полями, и вамъ это не надоедаетъ. Но, во-первыхъ, „свое мѣсто“ избавляетъ васъ отъ культурно-кокоотскихъ отравъ, которыя одолѣваютъ васъ здѣсь на каждомъ шагѣ; а во-вторыхъ, въ томъ-то и чарующая сила „своего мѣста“, что тамъ васъ интересуетъ судьба каждаго дерева, каждаго куста, каждой былинки. И каждая былинка, въ свою очередь, какъ бы хранить память объ васъ. На чтѣ вы ни взглянете, къ чему ни прикоснетесь — на всемъ легла цѣлая повѣсть злключеній и отрадъ (вѣдь и у обдѣленныхъ могутъ быть отрады!), и вы не оторветесь отъ этой повѣсти, не дочитавъ ея до конца, потому что каждое ея слово, каждый штрихъ или терзаетъ ваше сердце, или растворяетъ его блаженствомъ... Тогда какъ за границу вы уже по преданію являетесь съ требованіемъ чего-то грандіознаго и совсѣмъ-совсѣмъ новаго (миѣ, за мои деньги, подавай!) и вмѣсто того встрѣчаете путь, усѣянный кокотками, которыя различаются другъ отъ друга только тѣмъ, что одиѣ изъ нихъ взвѣзжаютъ на горы въ коляскахъ, а другіи, завидуя и въ-привѣчку, взбираются пѣшкомъ.

Часовъ до четырехъ дѣло однакожъ кой-какъ идетъ. На променадѣ играетъ порядочная музыка: въ ресторанахъ курзала и на столікахъ около него толпится публика и „потребляетъ“. Кокотка по ремеслу отсутствуетъ (управ-



леніе водѣ очень строго изгоняетъ все, что не *curgemaess*, хотя во времена владычества рулетки и отступало отъ этого правила), но коготка по духу — царить. Но вотъ музыканты одинъ за другимъ разбрелись, послѣобѣденный кофе выпить, мороженое съѣдено; дальнѣйшее пребываніе подъ навѣсомъ платановъ становится нестерпимымъ. Необходимо гулять. Въ сущности, еще очень рано; день едва достигъ того часа, когда дома приканчиваются дѣла, и многимъ, по привычкѣ, кажется, что сейчасъ скажутъ, что супъ на столѣ. Напрасное обольщеніе! — надобно гулять! — Вы до усталости ходили утромъ, но то было утромъ, а теперь вечеръ. Обмѣнивайте вещества! Передъ вами *Altes-Schloss*, потомъ *Eberstein-Schloss*, потомъ *Rothenfels* \*). Выбирайте любое! А завтра будетъ *Rothenfels*, *Eberstein-Schloss*, *Altes-Schloss*... а то не хотите ли въ Фавориту, десять разъ въ Фавориту, двадцать разъ въ Фавориту!

Бонапартисты и бонапартистки плаваютъ въ этой суматохѣ, какъ рыба въ водѣ. Они всходятъ и взлѣзаютъ на горы, жеманятся, провоцируютъ, мелькаютъ и вообще восполняютъ свое провиденціальное назначеніе, то-есть выставляютъ на показъ: первые — покроя своихъ жакетокъ и сьютовъ, вторыя — данныя имъ природой атуры. Нельзя себѣ представить ничего болѣе жалкаго, какъ человѣческое существо, съ головы до ногъ погруженное въ показываніе атуровъ. А современная культурная женщина почти сплошь запята однимъ этимъ. И не только молодая *tête de linotte*, но и старушка. Ничто ее не интересуетъ, ни книга (за исключеніемъ порнографической литературы), ни картина (за исключеніемъ порнографическихъ фотографій), ни пейзажъ (за исключеніемъ порнографическихъ *cabinets particuliers*). Ничто, кромѣ заботы о томъ, чтобъ нарядъ какъ можно меньше скрывалъ ея округлости. Она даже насыщается не ради того, чтобъ поддерживать жизнь или удовлетворять своей *gourmandise*, а потому, что, какъ ей сказывали, при помощи хорошаго и обильнаго питанія нагуливаются хорошіе и обильные атуры. Имѣть высокую грудь и выдающуюся поясицу — вотъ конечная цѣль ея самолюбія. И какъ дополненіе къ этому — обладать немногосложнымъ, но въ высшей степени точнымъ порнографическимъ жаргономъ. Не все ли равно этимъ двуногимъ, гдѣ выполнять свое провиденціальное назначеніе, на вершинѣ ли *Schöne Aussicht*, или въ *Линденбахѣ*? Какое ей дѣло до того, что съ вершины *Schöne Aussicht* видны *Siebengebirge* и стальная полоса Рейна, что тамъ благоухаетъ сосна, а *Линденбахъ* провонялъ кухоннымъ чадомъ? *Линденбахъ*, пожалуй, привлекательнѣе, потому что тамъ есть просторный ресторанъ, въ которомъ можно прислониться.

Этотъ бонапартистско-коготскій элементъ, виѣтъ съ особою людей, которые не могутъ представить оправдательныхъ документовъ для объясненія средствъ своего существованія, составляетъ истинную отраву всякаго курорта. Рулетка исчезла, но рулеточные обычаи, рулеточный запахъ еще остались. Всякій курортъ есть мѣсто неожиданныхъ встрѣчъ. Нѣкогда вы знали чело-  
вѣка, ходившаго чуть не безъ штановъ, потомъ потеряли его изъ вида и вдругъ встрѣчаете его здѣсь и нѣкоторое время думаете, что передъ вами

\*) Прогулки въ окрестностяхъ Баденъ-Бадена.

мелькнуло сонное видѣніе. У этого человѣка все курортное лакейство находится въ рабствѣ; онъ живетъ не въ конурѣ, а занимаетъ апартаментъ; спать не на дерюгѣ, а на тончайшемъ бѣльѣ; обѣдаетъ не за табльдотомъ, а особо жретъ что-то мудреное, и въ довершеніе всего жена его гуляетъ на музыкѣ подъ руку съ сановникомъ. Ясно, что онъ что-то укралъ, но здѣсь, въ курортѣ, въ первый разъ вамъ приходится на мысль вопросъ: что такое воръ? У себя, на берегахъ Ворсклы или Вороны, или совсѣмъ не пришелъ бы на мысль этотъ вопросъ, или вы совершенно точно отвѣтили бы на него, но среди этой кажущейся жизни, исполненной кажущихся поступковъ, кажущихся разговоровъ и даже кажущагося леченія — всѣ самые ясные вопросы принимаютъ какой-то кажущійся характеръ. Да ужъ не слишкомъ ли прямолинейно смотрѣлъ я на вещи тамъ, на берегахъ Хопра? думается вамъ, и самое большее, что вы дѣлаете — и то для того, чтобъ не совсѣмъ погрызнуть въ тинѣ уступокъ — это откладываете слишкомъ щекотливыя опредѣленія до возвращенія въ „свое мѣсто“. Тамъ можно будетъ и опять въ Юханцевѣ видѣть Юханцева, а здѣсь, на водахъ...

— Съ кѣмъ вы сейчасъ говорили?

— Помилуйте, скотина!

Сегодня „скотина“, завтра „скотина“, а послѣ-завтра и самъ чортъ не разберетъ: полно, „скотина ли“?

Между тѣмъ бьетъ семь часовъ, и волна людская опять растетъ около курзала. Оркестръ гремитъ; бонапартистки, перемѣнивша туалетъ, скользятъ между столами; около одной, очень красивой и роскошно-одѣтой, собралось цѣлое стадо habitués, и далеко, подъ сводомъ платановъ, несется беззавѣтный хохотъ этой привилегированной группы, которая по всей линіи променада прижилась какъ у себя дома. Всѣ прочія бонапартистки отчасти завидуютъ ей, отчасти млѣютъ передъ ней въ благоговѣніи. Это бѣлокурая испанка отъ колѣна Монтихова, которую сама „вдова“ благословила лѣтомъ развѣзжать по курзаламъ, а зимой блистать въ Парижѣ и наблюдать за москѣ Гамбетта. Она даетъ тонъ курорту, на ней одной можно воочию убѣдиться, до какого совершенства можетъ быть доведена выкормка женщины, поставившей себѣ цѣлью останавливать на своихъ атурахъ вождельющіе взоры мужчинъ, и въ какой мѣрѣ платье должно служить, такъ сказать, осуществленіемъ этой выкормки. Да, платье именно должно быть таково. Оно не обязывается ни подчеркивать, ни комментировать, ни увлекаться въ область парадоксовъ, а именно только осуществлять.

Статуя должна быть проста и лена, какъ сама правда, и, какъ правда же, должна предстоять передъ всѣми въ безразличіи своей наготы, никому не общая воздаянія и всѣмъ говоря: вотъ я какая! Что же касается до того, какія представленія „въ случаѣ чего“ надлежитъ имѣть относительно этой статуи-правды, то роль путеводителей въ этомъ разѣ предоставляется перехватамъ, бантамъ, цвѣтамъ и другимъ архитектурнымъ украшеніямъ. Гдѣ бантъ — тамъ остановка, гдѣ перехватъ — тамъ гляди. Единственное темное пятно въ современномъ женскомъ туалетѣ — это юбка, которую, несмотря на всѣ усилія, никакъ не могутъ упразднить „законодатели моды“. Она одна оставляетъ въ статуѣ нѣкоторыя неясности, одна служитъ оградительницей интересовъ со-



временной семьи. Впрочемъ эти неясности отчасти уже устраняются при помощи ноги. Нога (а не ножка, какъ выражались любезники сороковыхъ годовъ) должна быть видна во всей своей скульптурной образности; нога и часть юбки... Вотъ вамъ на первый разъ, а остальное, конечно, тоже придется, но нужно же имѣть сколько-нибудь терпѣнія!

Толпа гудитъ, сама не сознавая, къ чему она стремится, чего желаетъ. Ничего, кромѣ праздныхъ мыслей, праздныхъ словъ и праздныхъ поступковъ. Это самое полное, самое беззаветное осуществленіе идеала равенства... передъ праздною. Если кто „дома“ сознавалъ за собою что-нибудь оригинальное, тотъ забываетъ объ этомъ, стушевывается передъ общимъ уровнемъ ликующей толпы. И это происходитъ не по принужденію, а незамѣтно, само собою. Вдругъ какъ-то исчезаетъ всякая гадливость.

Это обезличеніе людей въ смыслѣ нравственномъ и умственномъ и, напротивъ, слишкомъ яркое выдѣленіе ихъ съ точки зрѣнія покроя жилетовъ и количества съѣдаемыхъ „шаторбіановъ“, это отсутствіе всякихъ поводовъ для заявленія о своей самостоятельности — вотъ въ чемъ, по моему мнѣнію, заключается самая непритялная сторона заграничныхъ шатаній. Ежели обаятельно-суетливая праздность производитъ скуку, то продолжительное отсутствіе проявленій самостоятельности можетъ имѣть послѣдствіемъ полнѣйшую умственную и нравственную анемію. И я убѣжденъ, что многіе, воротясь домой, не безъ удивленія вспоминаютъ о мѣсяцахъ, проведенныхъ въ чуждой средѣ, подъ игомъ понятій и привычекъ, о существованіи которыхъ они только тутъ въ первый разъ узнали.

По крайней мѣрѣ я испытывалъ нѣчто подобное на себѣ. Представьте себѣ, вновь встрѣтился съ Удавомъ и Дыбой — и обрадовался. И они мнѣ обрадовались и въ одинъ голосъ воскликнули: „вотъ какъ! ну, и слава Богу!“

Они ходили всегда вмѣстѣ, во-первыхъ, потому, что были равны въ чинахъ и могли понимать другъ друга, и, во-вторыхъ, потому, что оба чувствовали себя изолированными среди курортной толкотни. Хотя и кромѣ ихъ въ курортѣ была цѣлая масса безшабашныхъ совѣтниковъ, но Дыба и Удавъ добыли свои чины еще по старому положенію и притомъ имѣли довольно странные гербы. Поэтому прочіе безшабашные совѣтники, добывшіе свои чины повадливіею и тщательно расчесанными на затылкахъ проборами, перекидывались съ ними двумя-тремя учтивостями и устремлялись дальше, какъ бы задыхаясь въ атмосферѣ старческихъ грѣховъ, которую распространяли кругомъ себя вышедшіе изъ употребленія сановники. Не было явнаго пренебреженія, но не было и предусмотрительности. Однакожъ старики въ первое время все-таки тянулись за такъ-называемой избранной публикой, то-есть обѣдали не въ часъ и не за табльдотомъ, а въ шесть и à la carte, одѣлись въ коротенькія клѣтчатыя визитки, которыя совершенно открывали ихъ убогія оконечности, подаживались къ молодымъ бонапартистамъ и жаловались, что докторъ не позволяетъ пить шампанское, выслушивали гривуазные анекдоты и сами пытались рассказать что-то неуклюжее, засматривались на бонапартистокъ и при этомъ слюнявили передъ своихъ рубашекъ и проч. Но всѣ эти усилія ни къ чему не привели. Избранная публика даже однимъ ухомъ не слушала ихъ, но совершенно ясно показывала, что совсѣмъ ничего

не слышать, такъ что, въ концѣ концовъ, всегда оказывалось, что, думая обращаться къ публикѣ, старики исключительно разговаривали другъ съ другомъ. Не разъ случалось и такъ, что „знатные иностранцы“, пораженные настойчивостью, съ которою старики усиливались прорваться въ ряды „милыхъ негодяевъ“, взглядывали на нихъ съ недоумѣніемъ, какъ бы вопрошая: откуда эти выходцы! — на что прочіе безшабашные совѣтники, разумѣется, поспѣшали объяснить, что это загнившіе продукты до-реформенной русской культуры, не имѣющіе никакого понятія объ „увѣчаніи зданія“. Къ несчастію, старики провѣдали объ этомъ и огорчились. А въ довершеніе приключилось и еще одно обстоятельство. Въ курортъ прибылъ какой-то вновь опредѣленный принцъ, и нѣкоторый русскій сановникъ, приводившій въ это время въ порядокъ свои легкія, счелъ долгомъ почтить высокопоставленнаго гостя обѣдомъ. Всѣ „знатные иностранцы“ получили приглашенія, но Удавъ и Дыба были забыты. Это тѣмъ болѣе ихъ поразило, что они невольно вспомнили дѣлежку Уфимской губерніи, при которой тоже были забыты. Поступая ли въ дѣлежку „полезные лѣсочки“ Вятской губерніи — это еще бабушка на-двое сказала, а Уфимская-то губернія — ау! Словомъ сказать, старики заскучили и круго переѣхали свой образъ жизни. Отъ обѣдовъ à la carte въ курзалѣ перешли къ табльдоту въ кургаузѣ, перестали говорить о шампанскомъ и обратились къ мѣстному кислому вину, приговаривая: „вотъ такъ вино!“ бросили погоню за молодыми безшабашными совѣтниками и начали заигрывать съ коллежскими и надворными совѣтниками. По вечерамъ посѣщали другъ друга въ конурахъ, причемъ Дыба читалъ велухъ „Ключъ къ тайнствамъ природы“ Эккартсгаузена и рассказывалъ анекдоты изъ жизни графа Михаила Николаевича, сопровождая эти рассказы приличнымъ экспекторированіемъ.

И такъ, мы встрѣтились и взаимно другъ другу обрадовались.

— Вотъ вы какъ! — удивился Дыба: — а мы было-думали, что вы прямо въ Швейцарію стопы направите?

— Да, было-таки предположеніе, — подтвердилъ и Удавъ, но безъ угрозы, а скорѣе съ шутливою снисходительностью.

— Но почему же ваши превосходительства думали, что я непременно поѣду въ Швейцарію, а не въ Испанію, на примѣръ?

— Зачѣмъ въ Испанію? чтѣ тамъ дѣлать! Тамъ, батюшка, нынче Изабелла въ ходъ пошла! Ну, да ужъ чтѣ! Кто старое помянетъ...

И Удавъ съ улыбкой протянулъ мнѣ руку, въ знакъ забвенія, но велѣдъ за этимъ словно обезпокоился и спросилъ:

— Не одобряете?

— Не одобряю! — воскликнулъ я твердо.

— И нельзя одобрить. Хотя съ одной стороны, конечно... однако тѣмъ не менѣе... Лучше не ѣздить.

Это было ужасно доброжелательно. Но такъ какъ будущее сокрыто отъ смертныхъ и могло представить надобность въ поѣздкѣ въ Швейцарію независимо отъ всякихъ превратныхъ толкованій, то я все-таки посѣпшилъ оградить себя.

— Ваши превосходительства! — сказалъ я: — вы напрасно считаете



Швейцарію мѣстороженіемъ исключительно превратныхъ толкованій. Есть, напримѣръ, въ Люцернѣ „Раненный Левъ“ — это, я вамъ доложу, такая штука хоть бы и намъ съ вами!

Я изложилъ, какъ умѣлъ, смыслъ и содержаніе памятника и, разумѣется, привелъ безпашанныхъ совѣтниковъ въ восхищеніе.

— Такъ вотъ они, швейцарцы, каковы! — воскликнулъ Дыба, который о швейцарцахъ зналъ только то, что случайно слыхалъ отъ графа Михаила Николаевича, а именно: что нѣкогда они измѣнили законному австрійскому правительству, и съ тѣхъ поръ опера „Вильгельмъ Телль“ дается въ Петербургѣ подъ именемъ „Карла Смѣлаго“.

— А впрочемъ Богъ съ ней, съ Швейцаріей... Изъ Россіи, ваши превосходительства, не имѣете ли извѣстій? — перемѣнилъ я разговоръ.

— Какже! почитываемъ кое-что, и въ своихъ, и въ иностранныхъ газетахъ; ну, и письма...

— Чай, хорошо теперь тамъ?

— Объ „увѣнчаніи зданія“ поговариваютъ... будто бы безъ этого никакъ невозможно..

— Ну, и слава Богу!

— Бога благодарить всегда время, — какъ-то загадочно отвѣтилъ Удавъ, и затѣмъ, наклонившись ко мнѣ, шепоткомъ прибавилъ: — а только врядъ-ли...

— Не надѣтесь?

— Вѣрно говорю: не будетъ толку!

— Ахъ, ваше превосходительство!

— Людей нѣтъ-съ! И зданіе можно бы выстроить, и полы въ немъ настлатъ, и крышу вывести, да за малымъ дѣло стало: людей нѣтъ-съ! — настаивалъ Удавъ.

— И мыслей нѣтъ! — добавилъ Дыба.

— Насъ, стариковъ, фофанами называютъ, а между тѣмъ...

Удавъ видимо хотѣлъ сдержаться, но вспомнилъ, какъ еще недавно русскій сановникъ („русскій-съ!“) исключилъ его изъ числа „знатныхъ иностранцевъ“, и не сдержался.

— Мы по крайней мѣрѣ могли объяснить, кто мы, откуда вышли и какую школу прошли. Ну, фофаны, такъ фофаны... съ тѣмъ и возьмите! А нынѣшніе... вонъ онъ! вонъ онъ! смотрите на него! — вдругъ воскликнулъ Удавъ, указывая на какого-то едва прикрытаго петанлерчикомъ безпашаннаго совѣтника „изъ молодыхъ“: — смотрите, вонъ онъ бедрами пошевеливаетъ!

— Это на него „увѣнчаніе зданія“ такъ дѣйствуетъ! — ехидно хихикнулъ Дыба.

— Спросите у него, откуда онъ взялся? съ какимъ багажомъ людей уловлять явился? что въ жизни видѣлъ? что совершилъ? — такъ онъ не только на эти вопросы не отвѣтитъ, а даже не съумѣетъ сказать, гдѣ вчерашнюю ночь ночевалъ. Свалился съ неба — и шабашъ!

— Встарину „непомнящіе родства“ бывали, а нынче, сказываютъ, таковыхъ ужъ нѣтъ! — вновь съехидничалъ Дыба.

— Приведутъ, бывало, его, „непомнящаго“ — то, въ присутствіе: „откуда

родомъ?“ — Не помню. „Отецъ съ матерью есть?“ — Не помню. „Гдѣ прожи-  
ваніе имѣлъ?“ — Не помню. „Гдѣ вчерашнюю ночь почевалъ?“ — Въ стогу.  
Ну, выслушаютъ, запишутъ — и въ острогъ!

— А нынче изловятъ въ стогу, да подъ образа-съ!

— И мыслей нынче нѣтъ — это его превосходительство вѣрно замѣ-  
тилъ: нѣтъ нынче мыслей-съ! — все больше и больше горячился Удавъ. — Въ  
наше время *настоящія* мысли бывали, такія мысли, которыя и обстановку  
имѣли, и излагаемы быть могли. А нынче — экспромпты пошли-съ. Ни обста-  
новки, ни изложенія — одна середка. Откуда что взялось? держи! лови!

Произнося эту филиппику, Удавъ былъ такъ хорошъ, что я положи-  
тельно залюбовался имъ. Невольно думалось: вотъ онъ, настоящій-то рус-  
скій трибунъ! Но, съ другой стороны, думалось и такъ: а ну, какъ кто-ни-  
будь насъ подслушаетъ?

— Да вы, можетъ быть, полагаете, что это ихнее „увѣнчаніе зданія“  
— диковинка-съ? — продолжалъ гремѣть Удавъ.

— По крайней мѣрѣ до сихъ поръ я ни о чемъ подобномъ не слы-  
хивалъ.

— А я вамъ докладываю: всегда эти „увѣнчанія“ были, и всегда они  
будутъ-съ. Еще когда уставъ о кантонистахъ былъ сочиненъ, такъ ужъ тогда  
покойный графъ Алексѣй Андреичъ мнѣ говорилъ: „Удавъ! поздравь меня!  
ибо симъ уставомъ увѣнчивается зданіе, которое я въ теченіе многихъ лѣтъ  
на песцѣ созидалъ!“

— Сколько однихъ прогонныхъ и подъемныхъ денегъ на эти „увѣн-  
чанія“ было потрачено! — свидѣлствовалъ въ свою очередь Дыба: — и что  
же-съ! только-что, бывало, успеютъ одно зданіе увѣнчать, — смотришь, анъ  
другое зданіе на песцѣ безъ покрывки стоитъ — опять вѣнчать надо! И опять  
прогонныя и подъемныя деньги требуютъ!

— Такъ вотъ оно съ которыхъ поръ канитель-то эта пошла! Возьмемъ  
хоть бы вопросъ объ учрежденіи Губернскихъ Правленій...

Къ счастью, Удавъ поперхнулся и принялся експекторировать, а Дыба  
постоялъ-постоялъ и тоже послѣдовалъ его примѣру. Что же касается до  
меня, то я смотрѣлъ на нихъ и чувствовалъ, что въ душѣ моей поднимается  
какая-то смута. Несомнѣнно, что до сихъ поръ идея „увѣнчанія зданія“ ни въ  
комъ не встрѣчала такого страстного сторонника, какъ во мнѣ. Я не только  
восхищался ею, не только не жалѣлъ въ пользу ея похвалъ и трубныхъ зву-  
ковъ, но по временамъ возвышался даже до иллюзій. И вотъ теперь ка-  
кимъ-то двумъ жалкимъ старикамъ выпало на долю посѣять въ моемъ сердцѣ  
плевеи двоегласія! Хорошо-то оно хорошо, думалось мнѣ, а что ежели и въ  
самомъ дѣлѣ вся шутка разрѣшится уставомъ о кантонистахъ? Что, ежели  
встанетъ изъ гроба графъ Алексѣй Андреичъ, отыщетъ въ архивѣ издѣден-  
ный мышами „уставъ“ и, дополнивъ оный краткими правилами насчетъ мо-  
гущаго быть свѣтопреставленія, воскликнетъ: шабашъ!

— Ахъ, ваше превосходительство! — рискнулъ я замѣтить: — да не  
сердиты ли вы на что-нибудь?

. . . . .



Что было дальше — я не помню. Кажется, я хотѣлъ еще что-то спросить, но, къ счастью, не спросилъ, а оглянулся кругомъ. Вижу: съ одной стороны высится Мальбергъ, съ другой — Бедерлей, а я...стою въ дырѣ и разсуждаю съ безшабашными совѣтниками объ увѣнчаніи зданія, о томъ, что людей нѣтъ, мыслей нѣтъ, а есть только уставъ о кантонистахъ, да и тотъ еще надо въ архивѣ отыскивать... И такъ мнѣ вдругъ сдѣлалось совѣстно, такъ совѣстно, что я круто оборвалъ разговоръ, воскликнувъ:

— Какія вы, однакожъ, глупости говорите, ваши превосходительства!

Къ удивленію, старики не только не обидѣлись, но на другой же день, встрѣтивъ меня на той же площадкѣ, опять возобновили разговоръ объ „увѣнчаніи зданія“. На третій день тоже, на четвертый — тоже... Наконецъ судьба-таки растащила насъ: ихъ увлекла домой, меня... въ Швейцарію!!

Но иногда мнѣ думается: что, если бы русскаго „меньшого брата“ перенести на часокъ въ нѣмецкій курдртъ и показать, какъ гуляютъ русскіе культурные господа?... Что бы онъ сказалъ?

### Глава III.

Я ѣхалъ въ Швейцарію не безъ страха. Думалось, что какъ только переѣду швейцарскую границу, такъ сейчасъ же со всѣхъ сторонъ и вопьются въ меня превратныя толкованія. За свою личную „совратимость“ я, конечно, не боялся — слава Богу, не маленький! — но опасался, какъ бы начальство, по доведеніи о семъ до свѣдѣнія, не огорчилось. „Не выдержатъ!“ „погибнетъ!“.. доносились до меня понечительные голоса съ береговъ Невы. И потомъ вдругъ строго: — „Гм... такъ вы и въ Швейцаріи изволили noby-вать?“ — Виновать-съ. — „Съ акушерками повидаться ѣздили?“ — Виновать-съ. — „О формахъ правленія изволили разсужденіе имѣть!“ — Вино...

Однако все обошлось благополучно. Я не только не „соблазнился“, но даже не имѣлъ повода для соблазна. Превратныхъ идей — ни одной. Напротивъ, русскихъ, коренныхъ русскихъ идей — столько, что не продохнешь. Наступаютъ, берутъ въ полонъ, рвутъ на части сердце, прожигаютъ мозгъ — точь-въ-точь какъ въ Россіи! Даже прелестныя швейцарскія озера и величественные хребты горъ — и тѣ застилаются ими, словно целеною. Риги, Кульмъ, Пилать, Низенъ, Фаульгорнъ — все кажется окутаннымъ туманомъ. Одна только мысль отчетливо свѣтится: какъ-то теперь тамъ насчетъ „увѣнчанія зданія“ поговариваютъ?... неужто понабанили?

Ахъ, право, не до превратныхъ идей въ такое время, когда русскія идеи шагъ за шагомъ, безъ отдыха, такъ и колотятъ въ загорбокъ!

Помнится, когда намъ въ первый разъ отворили двери за границу, то мнѣ думалось; напрасно насъ, русскихъ, за границу стали пускать — навѣрное мы заразимся. И точно, примѣры зараженія случались въ то время перѣдко. Пріѣдемъ мы, бывало, за границу, и точно голодные накинемся. Формы правленія — прекраснѣйшія, климатъ — хоть въ одной рубашкѣ ходи, табльдоты и рестораны — и того лучше. Нигдѣ не кричатъ караулъ, нигдѣ не грозятъ

свести въ участокъ, не забываютъ, не упоминаютъ о Кузькѣ и его родственникахъ. Мудрено ли, что при такихъ условіяхъ ни Валдайскія горы, ни Палкинъ трактиръ не пойдутъ на умъ, а того меньше крутогорскій губернаторъ Петръ Толстолобовъ.

Ахъ, и сквернословили же мы въ это веселое время! Смѣшныя анекдоты такъ и лились рѣкой изъ устъ культурныхъ сыновъ Россіи. „La Russie... ха-ха!“ „le peuple russe... ха-ха!“ „les boyards russes... ха-ха!“ „Да вы знаете ли, что нашъ рубль полтинникъ стоитъ... ха-ха!“ „Да вы знаете ли, что у насъ цѣлую губернію на дняхъ чиновники растащили... ха-ха!“ Словомъ сказать, сыны Россіи не только не сдерживали себя, но шли другъ другу на перебой, какъ бы опасаясь, чтобъ кто-нибудь не успѣлъ напоскудить прежде. И ежели репертуаръ „разказовъ изъ русскаго быта“ оказывался довольно скуднымъ, то совсѣмъ не отъ недостатка желанія сквернословить, а скорѣе отъ неумѣнія пользоваться матеріаломъ и отъ недостатка изобрѣтательности.

Само собой разумѣется, что западные люди, выслушивая эти разказы, выводили изъ нихъ не особенно лестныя для Россіи заключенія. Страна эта, говорили они, бѣдная, населенная лапотниками и мякинниками. Когда-то она торговала съ Византіей шкурами, воскомъ и медомъ, но нынѣ, когда шкуры спущены, а воскъ и медъ за недоимки пошли, торговать стало нечѣмъ. Поэтому нѣтъ у нея ни баланса, ни монетной единицы, а остались только желтенькія бумажки, да и тѣ имѣютъ свойство только вызывать веселость мѣстныхъ культурныхъ людей.

Но съ тѣхъ поръ прошло много лѣтъ и многое въ теченіе этого времени измѣнилось. Увлеченіе заграничными табльдотами остыло; анекдоты опостылѣли, хотя запасъ матеріаловъ для нихъ ничуть не истощился. А главное, недобровольная замѣна рублей полтинниками оказалась далеко не столь смѣшною, какъ это сгоряча представлялось. Поэтому нынѣ мы уже не гарцуемъ, выгнувъ шею, по курзаламъ, какъ закодированные принцы, у которыхъ, несмотря на анекдоты, руки все-таки полны козырей, но бродимъ понуро, какъ люди понимающіе, что у нихъ въ игрѣ остались только двойки. Даже формы правленія не веселятъ насъ, потому что и на этотъ счетъ крѣпко-на-крѣпко намъ сказано: дѣлу—время, потѣхѣ—часть.

На первый взглядъ все это примѣты настолько роковыя (должно быть, шкуры-то еще больше на убыль пошли!), что западный человѣкъ сразу рѣшилъ: теперь самое время объявить цѣну рублю — двугривенный. И были бы мы теперь при двугривенномъ, если бы рядомъ съ этимъ рѣшеніемъ совсѣмъ неожиданно не выдвинулся довольно замысловатый вопросъ: „Странное дѣло! люди безъ шкуръ, — а живутъ? Чтѣ положено — уплачиваютъ, кого нужно — содержатъ; даже воровства и тѣ предвидятъ и слѣдующія на сей предметъ суммы вносить безъ задержанія... Какимъ образомъ это сходится имъ съ рукъ? въ силу чего? Но чтѣ еще замысловатѣе: если люди безъ шкуръ ухитряются жить, то какую же степень живучести предъявятъ они, если случайно опять обростутъ?“

Вопросы эти представляются западному человѣку въ видѣ загадки, для объясненія которой онъ ждетъ поступковъ. И въ ожиданія ихъ — то прибавитъ



копѣйку къ нашему рублю, то двѣ копѣйки убавить, но сразу объявить рублю цѣну другивенный — сомнѣвается...

Мы въ этомъ отношеніи поставлены несомнѣнно выгоднѣе. Мы рождаемся съ загадкой въ сердцахъ и потомъ всю жизнь лѣземъ ее на собственныхъ бокахъ. А кромѣ того мы отлично знаемъ, что никакихъ поступковъ не будетъ. Но на этомъ наши преимущества и кончаются, ибо дальнѣйшія наши отношенія къ загадкѣ заключаются совсѣмъ не въ разъясненіи ея, а только въ извѣстныхъ приспособленіяхъ. Или, говоря другими словами, мы стараемся такъ приспособиться, чтобъ жить безъ шкуръ, но какъ бы съ оными.

Приспособленіе это несомнѣнно облегчило бы нашу жизнь, если бы оно могло навсегда устранить мельканіе „загадки“. Но этого-то именно оно и не достигаетъ. Времена уже настолько созрѣли (полтинники-то вѣдь тоже не сладость!), что „загадка“ съ каждымъ днемъ пріобрѣтаетъ все большую и большую рельефность, все выпуклѣе и выпуклѣе выступаетъ наружу... и, разумѣется, вводитъ людей въ искушеніе. Мы скажутъ, можетъ быть, что на то человѣку данъ умъ, чтобъ устраниваться отъ искушеній, но вѣдь это легче сказать, нежели выполнить. Самая обыкновенная жизненная обстановка — и та на каждомъ шагѣ ставитъ насъ лицомъ къ лицу съ искушеніями. Ужъ на что, кажется, проще: дани платить — авъ и тутъ на встрѣчу летить: а откуда ты ихъ возьмешь? Словомъ сказать, до того дѣло дошло, что даже если повиноваться вздумаешь, такъ и тутъ на искушеніе наскочишь: по сущей ли совѣсти повинуюешься, или такъ, ради соблюденія одной формальности? „Проникни!“ „размотри!“ „обсуди!“ — такъ и ползутъ со всѣхъ сторонъ шдпоты. Шдпоты да шдпоты — и вдругъ... бунтъ! Куда „проникнуть“ собрался? по какому случаю „размотрѣть“! что задумалъ „обсудить“? Кто это говорить? Кто зачинщикъ? Тяпкинъ-Ляпкинъ зачинщикъ? Подать сюда Тяпкина-Ляпкина!

Выходить изъ рядовъ Тяпкинь-Ляпкинь и отдувается. Разумѣется, ищутъ, гдѣ у него шкура, и не находятъ. На нѣтъ и суда нѣтъ — ступай съ глазъ долой... бунтовщикъ! Тяпкинь-Ляпкинь смотритъ веселѣе: слава Богу, отдѣлался! Мы тоже наматываемъ себѣ на усь: значить, „проникать“, „разсматривать“, „обсуждать“ не велѣно. А все-таки какимъ же образомъ дани платить? — вотъ, братъ, такъ штука!

Должно же, однако, чѣмъ-нибудь разрѣшиться это недоумѣніе. Въ сущности впрочемъ оно и разрѣшается, но только разрѣшеніе-то выходитъ безплодное. А именно: разрѣшается всеобщимъ недомогательствомъ и какою-то безформенною, лишенною характерныхъ признаковъ тоскою.

Безмѣрно и какъ-то тягуче тоскуетъ современный русскій человѣкъ, до того тоскуетъ, что, кажется, это одно и обусловливаетъ его живучесть. Благодаря тоскѣ, онъ кое-какъ еще барахтается, бьется и сознаетъ себя человѣкомъ. Не будь ея, онъ навѣрное допустилъ бы болоту засосать себя. Тоскуетъ онъ и дома, но не стыдится и въ люди свою тоску нести. Въ надеждѣ, разумѣется, что прикосновеніе новаго жизненнаго строя хоть сколько-нибудь облегчитъ измученное сердце. Какъ бы не такъ! Эти „новые жизненные строи“ не только не освѣжаютъ и не облегчаютъ, а, напротивъ, еще больше замучиваютъ. Памяти-то вѣдь никакими „новыми строями“ не отшибешь...

По крайней мѣрѣ ничто подобное случилось недавно со мною. И дома живучи, я не зналъ, куда уйти отъ тоски, но какъ только пропалъ изъ глазъ вержболовскій ручей, такъ я окончательно почувствовалъ себя отдаленнымъ въ жертву унынію. Дома мнѣ все-таки казалось — разумѣется, это былъ обманъ чувствъ, не больше, — что я что-нибудь могу: наблюдать, закричать караулъ, ухватить похитителя за руку; а тутъ даже эта эфемерная надежда исчезла. Тоска, одна тоска — и ничего больше. Думалъ, что хоть швейцарскія „превратныя толкованія“ на время заслонять тоску — ничуть не бывало! Превратныхъ толкованій нѣтъ и въ поминѣ (не нарочно же ихъ разыскивать!), а тоска сосетъ да сосетъ. И объ чемъ тоска? — *risum teneatis, amici!* — тоска объ дѣлѣ, вовсе до меня не относящемся.

Позволю себѣ небольшое отступленіе.

Было время, когда въ литературѣ довольно ходко пропагандировалось, что Россіи предстоитъ возвѣститъ міру „новое слово“. Мысль эта, сама по себѣ похвальная, не имѣла однакожъ успѣха, благодаря тому, что никто изъ провозвѣстниковъ „новаго слова“ не далъ себѣ труда объяснить хотя приблизительно, въ чемъ состоитъ его содержаніе. Трубные звуки какіе-то, потомъ многоточія, потомъ опять трубные звуки — развѣ это объясненіе? Признаюсь откровенно, въ числѣ скептиковъ былъ и я. Возвѣстители „новаго слова“ представлялись мнѣ въ родѣ чревоушщателей, которые урчанія собственной утробы принимаютъ за прорицанія Пизии. Чѣмъ-то подозрительнымъ отъ нихъ отдавало: не то кудесничествомъ, не то проспектусомъ о вновь изобрѣтенной мази для рошенія волосъ. Даже не тайною (хотя и тайна въ дѣлѣ пропаганды покуда не годится), а секретомъ.

Теперь однакожъ я начинаю догадываться, въ чемъ заключалась причина неуспѣха этихъ людей. А именно: не въ отсутствіи „новаго слова“, но въ томъ, что возвѣстители брали слишкомъ высокую ноту. Они искали *неизвестнаго* „новаго слова“ и, не обладая достаточной изобрѣтательностью, чтобъ выдумать его, ни достаточнымъ проворствомъ, чтобъ осуществить „невидимыхъ вещей обличіе“, думали замѣнить это трубными звуками, многоточіями и крикомъ. Тогда какъ имъ слѣдовало только осмотрѣться кругомъ себя, чтобы просто съ полу находку поднять, и притомъ не одну, а цѣлую уйму таковыхъ. Именно только осмотрѣться, безъ чревоушщательствъ, безъ трубныхъ звуковъ, безъ натуги. Бери полной горстью изъ кошницы — и сѣй!

Да, я убѣжденъ, что даже на улицѣ, на каждомъ шагѣ можно услышать слова, которыя для западнаго человѣка покажутся не только новыми, но и совершенно неожиданными. Правда, я не скажу, чтобъ эти слова были отрицательныя, но, по моему мнѣнію, качество словъ — дѣло наживное. Сегодня нехорошее слово сказали, завтра — и того хуже скажемъ, а послѣ-завтра — возьмемъ да и вымолвимъ. И вдругъ объявится просіяніе, „его же тыма не объять“... Только спрашивается: долго ли оно продержится, просіяніе-то это? А ну-те, признавайтесь! кто изъ васъ иллюминацію эту устроилъ? кто зачинщики? Тяпкинь-Ляпкинь зачинщикъ? Подать сюда Тяпкина-Ляпкина!

Возьмемъ для примѣра хоть эту фразу: „тоска объ неотносящемся



дѣлѣ“ — развѣ что-нибудь подобное извѣстно западному человѣку? По западнымъ понятіямъ, „неотносящимся“ дѣломъ называется или то, къ которому человѣкъ недостаточно приготовленъ, или то, для успѣшнаго веденія котораго онъ не имѣетъ соотвѣствующихъ способностей, или наконецъ то, изъ котораго онъ, вслѣдствіе своей нравственной испорченности, можетъ сдѣлать источникъ злоупотребленій. Такъ напримѣръ, береиторъ не можетъ творить судъ и расправу; идіоту не предоставляется уловлять человѣческія сердца; вору не вручается ключъ отъ кассы; расточителю не дозволяется быть распорядителемъ общественнаго или частнаго достоянія. Ибо, повторяю, все это, по западнымъ понятіямъ, дѣла „неотносящіяся“. Напротивъ того, негодовать по поводу подобныхъ дѣлъ, ежели они по временамъ прорываются въ жизнь, требовать ихъ разъясненія и преслѣдованія—это не только считается „относящимся“ дѣломъ, но и для всякаго честнаго человѣка обязательнымъ.

И, разумѣется, далеку отъ того, чтобы утверждать, что русская жизнь имѣетъ исключительно дѣло съ береиторами, идіотами и расточителями, но для меня вполнѣ несомнѣнно, что всякое негодующее и настойчивое слово, посланное на встрѣчу расхищенію и идіотству, неизбѣжно и какъ-то само собою зачисляется въ категорію „неотносящихся“ дѣлъ. Такой-то украсть... да не у васъ вѣдь,—какое вамъ дѣло? Такой-то идіотеки сгубилъ цѣлую массу людей... да не васъ вѣдь сгубилъ—какое вамъ дѣло? Такой-то позорнымъ образомъ расхитилъ и расточилъ ввѣренное его охранѣ имущество... да вѣдь не ваше,—какое вамъ дѣло? Вотъ отвѣты, какіе даетъ обыденная жизненная практика на негодующіе и настойчивые запросы. Она снисходительно отнесется къ вору, ходатайствующему по *своему* дѣлу, и назоветъ безпокойнымъ, безалабернымъ (а можетъ быть—даже распространителемъ „превратныхъ толкованій“) человѣка, которому дорого дѣло *общее*, дѣло его страны.

Да, нельзя даже на минуту усомниться, что подобныя отношенія къ интересамъ, мало-мальски выходящимъ изъ тѣсной сферы личныхъ требованій, дѣйствительно, представляютъ для западнаго человѣка „новое слово“. Но вопросъ: нужно ли ему это слово?

Затѣмъ самая „тоска“ — развѣ это не „новое слово“ для западнаго человѣка? Западный человѣкъ можетъ негодовать, ожесточаться, настаивать, но „тосковать“ онъ положительно не умѣетъ. Ни англичанинъ, ни французъ, ни нѣмецъ не сдѣлаютъ изъ тоски постояннаго занятія и тѣмъ менѣе не будутъ хвалиться, что вотъ, дескать, мы страдаемъ „благородной“ тоской. Ибо даже наиблагороднѣйшая тоска—и та представляетъ собой нѣчто несознанное, безвыходное, свойственное лишь безсильнымъ и недоумѣвающимъ людямъ. Человѣкъ ничего другого не видитъ передъ собой, кромѣ „неотносящихся дѣлъ“, а между тѣмъ понятіе о „неотносящихся дѣлахъ“ уже настолько выяснилось, что даже въ субъектѣ наиболѣе недоумѣвающимъ пробуждается сознаніе всей жестокости и безчеловѣчности обязательнаго стоянія съ разинутымъ ртомъ передъ глухой стѣной. Очевидно, тутъ кроется мучительнѣйшее двоегласіе, которое потому только не считается позорнымъ, что оно все-таки составляетъ шагъ впередъ сравнительно съ самодовольнымъ стояніемъ съ разинутымъ ртомъ. Но, чтобы сознать себя во истину человѣкомъ, во всякомъ случаѣ нужно выйти изъ этого двоегласія, нужно признать правъ одного го-

тоска и несостоятельность другого. Однимъ словомъ, нужно начать борьбу. А гдѣ же взять силу для борьбы? Увы! геройство еще не выработалось, а на добровольныя уступки жизнь отзывается съ такою обидною скарденностью, что цѣлыя десятилѣтія кажутся какъ бы застывшими въ преднамѣренной неподвижности. Остается одинъ выходъ: благороднымъ образомъ тосковать. Несомнѣнно, что ничего подобнаго не встрѣтишь ни у подошвы Пилата, ни на берегахъ Сены, ни на берегахъ Ширее. Я, конечно, не хочу этимъ сказать, чтобъ западный человѣкъ былъ свободенъ отъ заботъ, недоумѣній и даже опасностей, — всего этого у него даже болѣе, чѣмъ достаточно, — но онъ свободенъ отъ обязательнаго стоянія съ опущенными руками и разинутымъ ртомъ, и это въ значительной мѣрѣ облегчаетъ для него борьбу съ недоумѣніями. Такъ что въ этомъ смыслѣ наша „благородная тоска“ во истину представляется для него „новое слово“. Но спрашивается: нужно ли оно ему?

Еще примѣръ (тоже намѣченный уже выше). Всякое вѣяніе, сколько-нибудь выходящее изъ предѣловъ обыденности, всегда представляется у насъ чѣмъ-то злостнымъ, требующимъ не регулированія, но подавленія, и притомъ всегда же сопрягается съ представленіемъ о „зачинщикѣ“. Обыкновенно такимъ зачинщикомъ является Тяпкинъ-Ляпкинъ. Этого Тяпкина-Ляпкина мнутъ и трутъ. Сотрутъ въ порошокъ, думаютъ: ну, теперь слава Богу! Смотрить, а онъ опять вынырнулъ. И опять начинаютъ мять и тереть. И такъ до сего дня. Коли хотите, этотъ вѣчный Тяпкинъ-Ляпкинъ, этотъ козелъ отпущенія, въ лицѣ котораго мы стараемся устранить „созрѣвшія времена“ — вѣдь и это, пожалуй, тоже „новое слово“ для западнаго человѣка, но опять-таки спрашивается: нужно ли оно ему?

Откровенно говоря, я думаю, что слова эти даже не представляютъ для западнаго человѣка интереса новизны. Несомнѣнно, что и онъ въ свое время прошелъ сквозь всѣ эти „слова“, но только *позабылъ* ихъ. И „неотносящіеся дѣла“ у него были, и „тоска“ была, и Тяпкинъ-Ляпкинъ, въ качествѣ козла отпущенія, былъ, и многое другое, чѣмъ мы мнимъ его удивить. Все было, но все позабылось, сдѣлалось ненужнымъ...

Для насъ-то нужно ли?

Впрочемъ я и самъ догадываюсь, что это вопросъ праздный. Важность совсѣмъ не въ томъ, нужно или ненужно то или другое явленіе, а въ томъ, что при извѣстныхъ условіяхъ и ненужное становится неизбежнымъ. Поди, достучись въ этой массѣ дверей, которыя сплошь наглухо заперты, — вѣдь только того и добьешься, что лобъ себѣ разобьешь. Это даже ужъ не загадка, а какое-то колдовство, которое я назвалъ бы историческимъ, еслибъ не боялся, чтобъ этотъ эпитетъ не послужилъ прикрытіемъ для всякаго рода малодушія. Куда ни обернитесь, на всѣхъ лицахъ вы видите страстное желаніе проникнуть за предѣлы загадочной области, и въ то же время на тѣхъ же лицахъ читаете какое-то фаталистическое осужденіе: нѣтъ, не проникнуть туда никогда. Ужели это не колдовство? Ибо, въ сущности, что означаетъ это выраженіе: „проникнуть“, которое переполняетъ тоской всѣ сердца? Означаетъ ли оно взломъ, насиліе, бунтъ? Нѣтъ, оно означаетъ стремленіе освѣтить и смыслить жизнь. Ужели нужно еще доказывать, что такого рода стремленіе не только вполне естественно, но и не заключаетъ въ себѣ ника-



кихъ угрозъ? Доказывать! да развѣ кому-нибудь доказательства нужны? Такъ лучше уже прямо, безъ разсужденій, принять на вѣру, что всѣ эти стремленія, надежды и порывы суть „неотносящіеся дѣла“, которыя злоухищренно и преднамѣренно выдумалъ зачинщикъ Тяпкинъ-Ляпкинъ. Пускай онъ за нихъ и отвѣтитъ, а вы, нежелающіе подвергать себя участи Тяпкина-Ляпкина, вы должны позабыть объ „неотносящихся дѣлахъ“ и только въ видѣ неизреченной льготы можете слегка объ нихъ тосковать. Эта тоска да будетъ вамъ во спасеніе. Пускай она освѣжаетъ вашу память и не даетъ вамъ за-  
коченѣть.

Слушать разглагольствія Удава и Дыбы и не чувствовать при этомъ глубочайшей тоски можно только подъ условіемъ несомнѣннаго нравственнаго разложенія. Ничему подобному западный человѣкъ не подвергается, потому что онъ во всякое время имѣетъ возможность повернуться къ сквернословію спиной и уйти. Но мы не можемъ такъ поступить. Мы обязаны выслушивать сквернословіе и считаться съ нимъ. И не потому одному, что легкомысленное отношеніе къ нему можетъ смутить безпечальность нашего житія, но и потому, что некуда намъ отъ него скрыться. Въ формѣ ли авторитета, или въ формѣ простой обыденности, такъ или иначе, но оно заставитъ насъ выслушать себя. Слушай и чувствуй, какъ замираетъ весь организмъ подъ игомъ подавляющей тоски.

И замѣтите, что основаніе этого сквернословія совсѣмъ не фантастическое, а прямо выхваченное изъ жизни. Ни Дыба, ни Удавъ ничего не выдумали, а только возвели въ перлъ созданія и издали въ свѣтъ. Вы тоскуете объ „увѣчаніи знанія“, а Удавъ на это въ упоръ напоминаетъ объ уставѣ о каптониствахъ. У васъ въ глазахъ мерещатся „гарантіи“, а Дыба подлавливаетъ ваши мечтанія и переводитъ ихъ на свой подъячески-опредѣленный языкъ: учрежденіе управы благочинія. Какимъ образомъ произошли эти превращенія?—это тайна, но вы чувствуете, что въ основѣ тайны лежитъ жизненная практика. Ужели же можно представить себѣ, чтобы вы, партикулярный тоскующій человѣкъ, побѣдили этихъ сквернословящихъ мудрецовъ, устами которыхъ говорить сама жизнь?

Поэтому, ежели я позволилъ себѣ сказать безшабашнымъ мудрецамъ, что они говорятъ „глупости“, то поступилъ въ этомъ случаѣ какъ западный человѣкъ, въ надеждѣ, что Мальбергъ и Бедерлей возьмутъ меня подъ свою защиту. Я *заразился*. Конечно, я заразился на самое короткое время и теперь готовъ принести въ томъ раскаяніе, но ужасно подумать, какъ я былъ опрометчивъ и даже несправедливъ. Напротивъ того, они высказали въ этомъ случаѣ милосердіе по истинѣ неизреченное, ибо не только предоставили мнѣ по прежнему пользоваться правами состоянія, но даже, по пріѣздѣ въ Петербургъ, никому о моемъ грубіяньствѣ на зависящее распоряженіе не сообщили. И я никогда не забуду этого одолженія. Буду себѣ потихоньку тосковать, но чтобы прерывать сквернословіе особъ, за которыми право на таковое признано самими регламентами... никогда!

Никогда, никогда и никогда, потому что, независимо отъ всякихъ другихъ соображеній, сквернословіе это представляетъ такую неистощимую сокровищницу готовыхъ „новыхъ словъ“, которая навсегда избавляетъ отъ вы-

думокъ, а прямо позволяетъ черпать и приговаривать: нѣ, гнилой Западъ, ѣшь! Только согласится ли онъ ѣсть?

И такъ, тоска и ни малѣйшаго превратнаго толкованія. Тѣмъ не менѣе мысль, что представленіе о Швейцаріи какъ-то обязательно отождествляется съ представленіемъ о превратныхъ толкованіяхъ, положительно отравляетъ путешествіе по этой странѣ. Ыдешь въ вагонѣ и во всякомъ сосѣдѣ видишь сосудъ злопыхательства; пріѣдешь въ гостиницу и все думаешь: да гдѣ же онѣ, превратныя идеи, застряли? какъ бы ихъ обойти? какъ бы не встрѣтиться „съ кіевскимъ дядей“, который пожалуй не задумается и налгать? Оглянешься кругомъ — вся природа словно изнемогаетъ подъ напльвомъ внутренняго ликованія. Все блещетъ: и небо, и горы, и озера. Даже гроза — и та летитъ на встрѣчу вся блистающая, вся пылающая цѣлымъ пожаромъ сверканій. И чтѣ же! все это пропускаешь мимо глазъ и ушей, ко всему прислушиваешься и присматриваешься вяло, почти безучастно... И почему?... потому только, что впечатлительность уже заранѣе загажена предположеніемъ о какихъ-то „превратныхъ толкованіяхъ“... *Risum teneatis, amici!*

Дѣло было такъ. Сидѣлъ я лунными сумерками подъ сѣнью гигантскихъ интерлакенскихъ орѣшниковъ и по секрету велъ разговоръ съ Юнгфрау. Вотъ, Юнгфрау, говорилъ я, кабы ты была въ Уфимской губерніи, и тебя бы причислили къ лику башкирскихъ земель. И отдали бы тебя за дешево какому-нибудь безшабашному совѣтнику (какъ въ старинной русской пѣснѣ поется: „отдалъ меня сударь-батюшка за немилаго; за немилаго, за стараго, за гадѣнка“), который смотрѣлъ бы на тебя и ропталъ. Вотъ-моль другимъ лѣса да поймы достались, а мнѣ, въ награду за любезно-вѣрное житіе, дыду отвалили — чортъ ли я съ ней подѣлаю! И стояла бы ты въ своей незапятнанной бѣлой одеждѣ, дѣвственная, неоскверняемая взорами „знатныхъ иностранцевъ“, довлѣющая сама себѣ... Но, разумѣется, стояла бы до тѣхъ поръ, пока, съ размноженіемъ новоявленныхъ башкирскихъ припущенниковъ, опытъ не указалъ бы, что наступилъ часъ открыть на твоей вершинѣ харчевню съ арфистками. Тогда... ахъ, чтѣ бы мы тогда надъ тобою, Юнгфрау, сдѣлали!

Такъ вопрошалъ я Юнгфрау, а луна между тѣмъ все ярче и ярче освѣщала бѣлый ликъ Дѣвственницы, и въ соотвѣтствіе съ этимъ пуще и пуще разгоралось мое воображеніе. Незамѣтно для себя самого я сталъ прорицать, и, надо сказать правду, нехорошо прорицалъ. Мнилось мнѣ, будто бы старый безшабашный совѣтникъ (или, по выраженію пѣсни, „гадѣнокъ“), скукая скромными доходами, получаемыми съ харчевни, ходатайствуетъ о перенесеніи Юнгфрау въ Кунавино, намекая при этомъ и о потребныхъ на сей предметъ прогонныхъ и подъемныхъ деньгахъ... Шлется будто бы этотъ проектъ въ Петербургъ и, разумѣется, прежде всего разсматривается съ точки зрѣнія пользы російской промышленности, имѣющей, „какъ извѣстно“, главный сбытъ на нижегородской ярмаркѣ... Образуется, конечно, комиссія; безшабашный совѣтникъ доказываетъ, что онъ патріотъ.... Являются евреи... Съ одной стороны, „тормозятъ“ дѣло, съ другой — „подмазываютъ“... Въ городѣ хо-



дять слухи, что въ дѣлѣ принимаетъ участіе баронесса Мухомоева, которая будто бы ѣздила въ Берлинъ и ужъ переговорила съ Мендельсономъ... Остается, стало быть, „въ послѣдній разъ“ подмазать и двинуть... Но только-что я было-занился окончательнымъ разрѣшеніемъ вопроса, подлежитъ ли ходатайство сіе удовлетворенію, или не подлежитъ, какъ вдругъ мечтанія мои оборвались. Съ сосѣдней скамьи до меня совершенно отчетливо донеслись родные звуки.

— Послужилъ — и будетъ! — говорилъ неизвѣстный голосъ: — и замѣть, я ни о чемъ никогда не просилъ, ничего не ждалъ... кромѣ спасибо! Простого русскаго спасибо... кажется, немного! И вотъ... Но нѣтъ, довольно, довольно, довольно!

Послѣдовало минутное молчаніе; затѣмъ другой голосъ патетически продекламировалъ:

— „Простого русскаго спасибо!... c'est bien dit... tu es un noble coeur, Théodor!“

— Конечно, я знаю, что мой часъ еще придетъ, — продолжалъ первый голосъ: — но ужъ тогда... Мы всѣ здѣсь путники... nous ne sommes que des pauvres voyageurs égarés dans ce pauvre bas monde... Но!

На этой угрожающей нотѣ голосъ пресѣкся. Мимо меня, по направленію къ Невѣ, пронесся густой вздохъ... и все смолкло.

Можно себѣ представить, какъ встрепенулось при этихъ звукахъ мое русское сердце! Я жадно началъ вглядываться сквозь лунныя сумерки, и послѣ нѣкоторыхъ усилій успѣлъ разсмотрѣть двухъ „знатныхъ иностранцевъ“, которыхъ лица показались мнѣ нѣсколько знакомыми. Дѣйствительно, собравши мои воспоминанія, я наконецъ донескался. То были два графа: графъ Твѣрдоонтъ и графъ Мамелфинъ. Первый изъ нихъ въ свое время былъ знаменитъ и, подобно прочимъ подвижникамъ русской земли, мечталъ объ увѣнчаніи зданія; но, получивъ лишь скудное образованіе въ кадетскомъ корпусѣ, ни до чего не могъ додуматься, что было бы равносильно даже управѣ благочинія. Что-то необычайно-смутное мелькало въ его головѣ, чего ни онъ самъ, ни его подчиненные не были въ состояніи ни изловить, ни изложить. Какой-то вселенскій смерчъ, который надлежало навсегда и повсемѣстно водворить, и которому предстояло все знать, все слышать, все видѣть, и въ особенности наблюдать, чтобы не было превратныхъ идей и недоумокъ. Когда онъ излагалъ свои мысли, — излагалъ безпорядочно, съ употребленіемъ неподлежащихъ выраженій, — то никто ничего не понималъ, но всякій догадывался, что если дать этому безвыходному кадету волю, то онъ непременно учинить что-нибудь до того неизгладимое, чего впоследствии ни подъ какимъ видомъ не отскоблить. И можетъ быть именно въ силу этой неотскобимости онъ и держался. Былъ такой моментъ, когда казалось, что русское общество одержимо сверхъестественнымъ недугомъ, отъ котораго можетъ избавить его только смерчъ. Тотъ смерчъ, о которомъ не упоминается ни въ какихъ регламентахъ и передъ которымъ всякій партикулярный человѣкъ, какъ бы онъ ни былъ злонаправленъ, непременно спасуетъ. Но Твѣрдоонтъ былъ кадетъ и не спасовалъ. Настоящаго смерча, положимъ, у него не вышло, но былъ ужасъ, было трясеніе великое. Всѣ въ страхъ спрашивали себя: *кто осла двія*

*быстра соотылазъ? узы ему кто развязалъ?* — и не находили отвѣта. А графъ Твердоонтъ между тѣмъ гарцовалъ и все твердилъ одно и то же слово: „смерчъ, смерчъ, смерчъ!“ Къ счастью, на пути его встрѣтились препятствія. Во-первыхъ, кадетская полуграмотность и сопряженное съ нею неумѣніе дать форму смутности обуревающихъ чувствъ, и во-вторыхъ — что важнѣе всего — неумѣніе держаться на высотѣ, не наполнивъ вселенной болтовней и хвастовствомъ. Не успѣлъ еще Удавъ придти на помощь мятущемуся кадету, чтобы формулировать ученіе о вселенскомъ смерчѣ, какъ кадетъ ужъ парохнулся. Парохнулся какъ мальчишка, котораго за лганье и непотребныя шалости исключили изъ „заведенія“.

Что же касается до графа Мамелфина, то онъ былъ замѣчательнъ лишь тѣмъ, что происходилъ по прямой линіи отъ боярыни Мамелфы Тимофеевны. Какимъ образомъ произошелъ на свѣтъ первый графъ Мамелфинъ — преданія молчали, въ документахъ же объяснялось просто: „по сей причинѣ“. Этотъ же девизъ значился и въ гербѣ графовъ Мамелфиныхъ. Но самъ по себѣ графъ, о которомъ идетъ рѣчь, ничего самостоятельнаго не представлялъ, а былъ извѣстенъ только въ качествѣ приспѣшника и стремяннаго при графѣ Твердоонтѣ.

Эта встрѣча произвела на меня двойственное впечатлѣніе. Прежде всего меня обьялъ священный ужасъ. Вспомнились стихи:

Такъ храмъ оставленный—все храмъ,  
Кумиръ поверженный — все Богъ...

И въ то же время какъ-то само собою сказалось: а ну, какъ укусить? Хотя у насъ на этотъ счетъ довольно простыя примѣты: коли кусается человѣкъ — значить, во власти находится; коли не кусается — значить, наплевать; и хотя я доподлинно зналъ, что въ эту минуту графу Пустомыслову даже нечѣмъ укусить, но кто же можетъ поручиться, совсѣмъ ли погасла эта содка, или же въ ней осталось еще настолько горячаго матеріала, чтобы и опять, при случаѣ, разыграть роль Везувія? Развѣ не бывало примѣровъ, что и въ оставленныхъ храмахъ вновь раздавались урчанія авгуровъ, что и низверженные кумиры вновь взбирались на старые пьедесталы и начинали вращать алмазными очами? Но главную роль, повторяю, все-таки игралъ священный ужасъ, который заставляетъ невольно трепетать при мысли: вотъ храмъ, въ которомъ еще недавно курились еиміамы и раздавалось пѣніе и въ которомъ теперь живетъ домовой!

Но, съ другой стороны, меня такъ и подмывало устроить какую-нибудь проказу. Рабъ вѣдь я, а потому что же мудренаго, что меня привлекаютъ только удовольствія вѣроломства. Потрясти когда-то злонравнаго, а нынѣ безсильнаго идола за носъ: что, молъ, небось еще живъ? Узнать, чѣмъ онъ теперь пробавляется, и достаточно ли однихъ воспоминаній о смерчѣ, чтобы поддерживать жизнь въ этомъ идольскомъ организмѣ? Толкнуть его какъ бы невзначай, посмотреть ему за панибрата въ глаза, похлопать по плечу... Однимъ словомъ, продѣлать все, что истинно-русское подневольное вѣроломство повелѣваетъ. И въ концѣ концовъ попытаться, дѣйствительно ли это „оставленный храмъ“, а не...



И вдругъ меня осѣнила мысль: скажусь репортеромъ отъ газеты „И шило брѣтъ“ и явлюсь побесѣдовать. Нынче вѣдь насчетъ этого строго: явился репортеръ—хочешь не хочешь, а распоясывайся! Даже если Подхалимовъ или „нашъ парижскій корреспондентъ“ зайдетъ—и тутъ держи ухо востро! Ежели спросить, гдѣ воспитаніе получилъ?—отвѣчай скромно: воспитаніе получилъ недостаточное, но, будучи одаренъ отъ природы свѣтлымъ умомъ, и т. д. Ежели спросить: чтѣ означаетъ слово „смерчъ“? — отвѣчай: слово сіе русское, въ переводѣ на еврейскій языкъ означающее: Виѣезда... Но, можетъ быть, ты не знаешь, чтѣ такое Виѣезда?—Виѣезда, братецъ, это купель Силоамская.—А купель Силоамская чтѣ? — Ахъ, братецъ мой, какой же ты...

Обыкновенный партикулярный человѣкъ ни за что подобныхъ вопросовъ не предложитъ,—не сочтетъ себя вправѣ, — а Подхалимовъ предложитъ. Подхалимовы—это особенная порода такая объявилась, у которой на знамени написано: ври и будь свободенъ отъ мѣры! Всюду проникнетъ Подхалимовъ; придетъ къ Гамбеттѣ—Гамбетту проэкзаменуетъ; потомъ съѣздитъ къ Гладстону—и его обнюхаетъ. А то и не ѣздивши скажетъ: былъ. Чѣмъ больше къ человѣку Подхалимовыхъ шляется, тѣмъ несомнѣннѣе для темнаго люда, что тотъ человѣкъ славенъ. А ежели къ кому совсѣмъ Подхалимовъ не заѣзжаетъ, то это означаетъ, что человѣкъ тотъ изображаетъ собой даже не „храмъ оставленный“, а упраздненную ретираду. И въ эту ретираду самъ „нашъ парижскій корреспондентъ“ не зайдетъ, а, зажавъ носъ, пробѣжитъ мимо.

Гм... а чтѣ ежели и въ самомъ дѣлѣ прикинутъ Подхалимовымъ?

Сказано—сдѣлано. Не откладывая дѣла въ дальній ящикъ, я сейчасъ же отправился въ гостиницу и предварилъ графа о своихъ намѣреніяхъ слѣдующимъ письмомъ:

„Сіятельныйшій графъ!

„Я—Подхалимовъ, и завтра, въ десятомъ часу утра, буду у Вашего сіятельства. Нѣтъ сомнѣнія, что Вы заранѣе угадываете значеніе и цѣль этого визита. Вы — одна изъ недавнихъ звѣздъ современнаго горизонта; я — скромный репортеръ газеты „И шило брѣтъ“. Но въ самой скромности я представляю собой силу. Русская публика имѣетъ право знать, какъ предполагаете Вы поступить съ нею въ томъ случаѣ, ежели фортуна вновь улыбнется Вамъ. Фортуна слѣпа, сіятельныйшій графъ! и Вамъ, больше нежели кому-нибудь, должно быть это извѣстно. Не желая застать Васъ врасплохъ, я даю Вашему сіятельству эту ночь на размышленіе.

„Съ истиннымъ почтеніемъ и проч.

*Ivan de Fodkhalimoff*“.

На другой день, въ назначенный часъ, я уже стоялъ въ швейцарскоѣ аристократическаго отеля Jungfraublick (chambres à partir de 4 fr., déj. 2, din. 5, serv. 1, boug. 1, omnib. 1 fr. 50 c.) и требовалъ графа Твэрдооптѣ къ отвѣту. Я пришелъ въ черномъ сюртукѣ, въ сиреневаго цвѣта перчаткахъ и въ лакированныхъ полусаножкахъ; волосы мои были напомажены, лицо — вымыто. На губахъ играла улыбка, говорившая, что я обрадованъ и польщенъ,

но въ глазахъ, на всякій случай, свѣтилась гражданская скорбь. Общее выраженіе лица внушало довѣріе. Съ своей стороны, графъ не заставилъ меня ждать и вышелъ ко мнѣ, одѣтый въ легкую жакетку и въ бѣлый однобортный жилетъ съ свѣтлыми пуговицами, застегнутыми сверху до низу à la militaire. Это былъ мужчина среднихъ лѣтъ (между 45 и 50), высокаго роста, бравый и нимало не отяжелѣвшій. Выраженіе его лица я затруднился опредѣлить, но знаю, что оно напомнило мнѣ свѣже-написанный масляными красками портретъ, по которому неосторожный прохожій слегка задѣлъ рукавомъ. Нѣчто смутное и въ то же время... какъ бы благородное. Но подлинно ли благородное — на этотъ вопросъ, по нынѣшнему времени, трудно отвѣтить. Ибо бываетъ благородство, такъ сказать, самую природой на лицѣ чловѣка написанное, и бываетъ такое, которое „наводится“ на лицо тщательными омовеніями, употребленіемъ соотвѣствующихъ духовъ и мыль, долгими сеансами передъ зеркаломъ и проч. Какъ бы то ни было, но онъ былъ видимо взволнованъ, хотя, подавая мнѣ руку, ни однимъ мускуломъ не обнаружилъ, что это стоитъ ему усилій. Кажется, это называется на ихнемъ языкѣ „выдержкой“. Съ своей стороны, я сжалъ эту руку съ почитительностью, къ которой однакожь, на всякій случай, примѣшалъ тонкій отбѣнокъ наглости. И тогда между нами произошелъ слѣдующій colloquium.

## ГРАФЪ И РЕПОРТЕРЪ.

(Драматическій разговоръ въ одномъ явленіи.)

дѣйствующія лица:

Графъ Твѣрдоонтѣ, страстующій администраторъ.

Подхалимовъ, репортеръ русской газеты „И шло брѣтъ“.

Сцена представляетъ салонъ въ хорошей гостиницѣ; изъ оконъ видъ на Юнгфрау.

Подхалимовъ (*въ наклонѣ восторгъ*). Ваше сіятельство! сіятельнѣйшій графъ!

Графъ. Радъ, очень радъ. Очень радъ съ вами познакомиться, мсьё — (*Дѣлаетъ видимое усиліе, чтобъ произнести частіцу „де“*)... де Подхалимовъ. Я всегда къ услугамъ прессы. Вѣдь пресса — это нынче шестая держава, а въ томъ числѣ и русская... „Печатать дозволяется“ — такъ, кажется? (*Кличетъ.*) André! Vous apporterez un carafon de Gorki pour monsieur \*)... (*Къ Подхалимову.*) Потребляете?

Подхалимовъ. Бросиль-съ. Конечно, путешествуя, напримѣръ, по Волгѣ... ваше сіятельство, сами изволите знать... трудно, чтобъ воздержаться совсѣмъ.

Графъ (*съ чувствомъ*). Я понимаю васъ.

---

\*) Водка горькая, двойная померанцовая, завода Штритера, продается за границей во всѣхъ débits de vins подъ именемъ Gorki.—*Авт.*



Подхалимовъ. А здѣсь это не въ обычаѣ, да притомъ и тепло-съ...

Графъ (*съ возрастающимъ чувствомъ*). Я понимаю васъ... de Podkhalimoff! (*Подаетъ Подхалимову руку, которую послѣдній принимаетъ, слегка отделившись отъ стула.*)

Минутное молчаніе, въ продолженіе котораго влетаетъ въ комнату муха и садится графу на носъ. Графъ хочетъ ее изловить, но убѣждается, что это гораздо труднѣе, нежели уловлять людей. Наконецъ Подхалимовъ усмѣиваетъ переманить муху на свой носъ.

Графъ. Благодарю васъ. Ахъ, эти мухи! Вы, конечно, знаете стихъ Пушкина:

Краснаго лѣта отрава, муха несносная, что ты...

Charmant! Кстати: вы были на этомъ праздникѣ... въ Москвѣ?

Подхалимовъ (*смущенно, какъ бы предвидя опасность*). Былъ, ваше сіятельство.

Графъ (*внезапно вообразивъ себѣ, что онъ вновь призванъ къ дѣламъ, строго*). И вѣстѣ съ прочими... а? (*Машетъ указательнымъ перстомъ передъ носомъ Подхалимова.*)

Подхалимовъ (*уклончиво*). Ваше сіятельство! вѣдь нынче дозволено-съ!

Графъ (*спохватившись*). Да... нынче... я и забылъ! А впрочемъ я и всегда... Pouschkine! quel géant! (*Декламируетъ:*)

Краснаго лѣта отрава, муха несносная, что ты...

Кстати о Пушкинѣ. Я недавно съ однимъ его родственникомъ познакомился... Представьте себѣ! изъ всего Пушкина знаетъ только стихъ: „*Мнѣ вручила талисманъ*“... Это... родственникъ!! А впрочемъ довольно объ этомъ; приступимъ къ нашему дѣлу. Прошу предлагать вопросы.

Подхалимовъ (*нѣкоторое время собираетъ съ мыслями*). Графъ! кто ваши родители?

Графъ (*изумленно, но покоряясь своей участи*). Я происхожу отъ боковой линіи. Это нѣсколько странно, но... Словомъ сказать, я — графъ Твѣрдоонтѣ. Скажите однакожъ, развѣ прессѣ необходимо знать эти подробности?

Подхалимовъ. Пресса все должна знать, ваше сіятельство. (*Вынимаетъ записную книжку и пишетъ: „найденъ въ корзинѣ, на крылѣ; сравнить: Моисѣ sauvé des eaux.“*) Будемъ продолжать. Гдѣ ваше сіятельство изволили продолжать воспитаніе?

Графъ. Я долженъ сознаться, что воспитаніе я получилъ недостаточное... въ одномъ изъ кадетскихъ корпусовъ... Но (*хочетъ сказать нѣчто въ свою похвалу*)...

Подхалимовъ. Понимаю. Но вполнѣдствіи вы, конечно, постарались восполнить недостатокъ солиднаго образованія чтеніемъ извѣстныхъ авторовъ?

Графъ. Да, я читалъ довольно много. Всего Поль-де-Кока, всего Феваля и наконецъ „Nana“... Изъ серьезныхъ писателей — Цитовича.

Подхалимовъ. Прекрасно-съ. (*Записываетъ: „воспитаніе получилъ недостаточное, но, будучи одаренъ свѣтлымъ умомъ, уже въ чинѣ поручика рѣшился обогатить оный разнообразнымъ чтеніемъ“*.) Не имѣете ли какихъ наружныхъ пороковъ?

Графъ (*выпрямляясь и опустивъ руки по швамъ*). Безъ отмѣтень-съ.

Подхалимовъ (*осматриваетъ его*). Дѣйствительно! Но будемъ продолжать нашъ вопросъ. Графъ! какъ вы думаете, обильно ли наше отечество?

Графъ (*на минуту задумывается, какъ бы соображая*). Что вамъ сказать на это? Есть данныя, которыя заставляютъ думать, что да: есть и другія данныя, которыя прямо говорятъ: нѣтъ.

Подхалимовъ. Однакоже, графъ!

Графъ. Признаюсь вамъ, и никогда не придавалъ этому вопросу особенной важности. Мнѣ всегда казалось, что для нашего отечества нужно не столько изобиліе, сколько расторопные исправники.

Подхалимовъ. Такъ что, напримѣръ, ежели извѣстную мѣстность постигъ неурожай, то, по мнѣнію вашего сіятельства, достаточно послать въ ту мѣстность двоихъ исправниковъ вмѣсто одного, и вредныя послѣдствія неурожая устранятся сами собою?

Графъ. Не вполне такъ, но въ значительной мѣрѣ — да. Бываютъ, конечно, примѣры, когда даже экзекуція оказывается недостаточною; но въ большинствѣ случаевъ — я твердо въ этомъ убѣжденъ — довольно одного хорошо выполненнаго окрика, и дѣло въ шляпѣ. Вотъ почему, когда я былъ при дѣлахъ, то всегда повторялъ господамъ исправникамъ: отъ васъ зависитъ — *все*, вамъ дано *все*. и потому вы должны будете отвѣтить — *за все*!

Подхалимовъ (*умиленный*). Ахъ, ваше сіятельство!

Графъ (*одушевляясь*). Скажу вамъ откровенно: вся наша бѣда въ томъ именно и заключается, что мы слишкомъ охотно возбуждаемъ вопросы о не-изобиліи. Напоминая голодному объ ѣдѣ, мы тѣмъ самымъ, такъ сказать, искусственно вызываемъ въ немъ мысль о необходимости таковой. И притомъ непременно въ изобиліи. Тогда какъ еслибъ мы этого не дѣлали, то навѣрное изъ десяти случаевъ въ девяти самыя неизобильныя люди сочли бы себя достаточно изобильными, чтобъ, въ виду соответствующихъ напоминаній, своевременно выполнить лежащія на нихъ повинности.

Подхалимовъ (*удивляясь премудрости*). Это, ваше сіятельство, въ своемъ родѣ... идея!!

Графъ (*хвастаясь*). Въ моей служебной практикѣ былъ замѣчательный въ этомъ родѣ случай. Когда повсюду заговорили о неизобиліи и о необходимости замѣнить оное изобиліемъ, — грѣшный человѣкъ, соблазнился и я! Думаю: надобно что-нибудь сдѣлать и мнѣ. Сажусь, пишу, предписываю: чтобъ вездѣ было изобиліе! И чтожь! отъ одного этого неосторожнаго слова неизобиліе, до тѣхъ поръ тѣвшее подъ пенломъ и даже казавшееся изобиліемъ, — вдругъ такъ и поношло изъ всѣхъ шелей! И такой вдругъ сдѣлался голодъ, такой голодъ...

Подхалимовъ. Но, конечно, ваше сіятельство...

Графъ (*игруя брелюками*). Черезъ мѣсяць спокойствіе было водворено.



Подхалимовъ. Ахъ!! (*Хочетъ бѣжать.*)

Графъ. Успокойтесь, de Podkhalimoff, потому что теперь все это ужъ сдѣлалось достояніемъ исторіи. Но тогда я вынужденъ былъ такъ поступить. Почему вынужденъ? — а потому просто (*смѣшиваетъ настоящее съ прошедшимъ*), что для меня главное — чтобы въ предѣлахъ моего вѣдомства царствовало спокойствіе. И чтобы никто ничего не говорилъ. Когда все спокойно — и я спокоенъ; когда я спокоенъ — и все спокойно. А ежели при этомъ все довольствуются тѣмъ „изобиліемъ“, какое кому предназначено — я своимъ, вы своимъ — то лучше и не надо. Такова моя система. Не дальнѣе, какъ сегодня, призвавъ моего секретаря (*вдругъ вспоминаетъ, что онъ не болѣе, какъ „достояніе исторіи“*)... Тьфу! Продолжайте, прошу васъ.

Подхалимовъ (*записываетъ: „объ изобиліи Россіи думаетъ, что изобиліа, но не весьма; недостатокъ сей полагаетъ устранить, удвоивъ комплектъ исправниковъ“*). Графъ! какого вы мнѣнія о русскомъ народѣ?

Графъ (*постепенно утрачиваетъ стыдъ*). Различно. Русскій народъ добръ, гостепріименъ и... легковѣренъ. Таковы его хорошія стороны, но и только. Подлинно добродѣтельнымъ онъ едва ли можетъ сдѣлаться, ибо черезчуръ пристрастенъ къ спиртнымъ напиткамъ.

Подхалимовъ. Но вы забываете, ваше сіятельство, что акцизъ съ спиртныхъ напитковъ представляетъ собой добрую часть нашего бюджета, и слѣдовательно...

Графъ. Не только не забываю, но всечасно о томъ помышляю. И даже однажды, бывъ спрошенъ по этому предмету, отвѣчалъ такъ: еслибъ русскій мужикъ и добровольно отказался отъ употребленія спиртныхъ напитковъ, то и тогда надлежало бы кроткими мѣрами вновь побудить его возвратиться къ онимъ.

Подхалимовъ. Но въ такомъ случаѣ какимъ образомъ согласовать ваше требованіе, чтобы русскій мужикъ былъ добродѣтеленъ, съ такимъ, можно сказать, бюджетнымъ осужденіемъ его на обязательное пьянство?

Графъ (*разводитъ руками*). Вотъ это именно и есть... наша ахиллессова пята!

Подхалимовъ. Но такъ какъ на этой пятѣ покоятся все наши упованія, то выходитъ, что во всехъ исходящихъ отсюда распоряженіяхъ должна главнымъ образомъ господствовать ахиллессова пята? Или, говоря иными словами, русскій бюрократъ...

Графъ. Не доканчивайте. C'est terrible, mais... c'est vrai!

Подхалимовъ (*записываетъ: „о свойствахъ русскаго народа мнѣнія хорошаго, но не вполне; полагаетъ, что навсегда осужденъ пить водку“*).

Графъ (*снова смѣшивая прошедшее съ настоящимъ*). Много у насъ этихъ ахиллесовыхъ пятъ, mon cher monsieur de Podkhalimoff! и ежели ближе всмотрѣться въ наше положеніе... ah, mais vraiment ce n'est pas du tout si trou-la-la qu'on se plaît à le dire! Сегодня, напримѣръ, призываю я своего дѣлопроизводителя (*снова внезапно вспоминаетъ, что онъ уже не при дѣлахъ*)... Тьфу!

Подхалимовъ (*почтительно, но безъ наглости*). Ваше сіятельство! простите меня, но мнѣ кажется, что вы... огорчены?!

Графъ (*съ достоинствомъ осматриваетъ Подхалимова съ ногъ до головы*). Чѣмъ... сударь?

Подхалимовъ (*заискивающе*). А хоть бы тѣмъ, ваше сіятельство, что вы находитесь въ невозможности излить на Россію всю ту массу добра, которую вы предназначили для нея въ вашемъ добромъ русскомъ сердцѣ?!

Графъ (*восчувствовавъ*). Вы правы... мой другъ! (*Подаетъ ему руку*.) Au fond, je suis bon. И я люблю Россію... La Russie! Swiataja Rouss! parlez-moi de ça! (*Хлопаетъ себя по ляжкѣ*.) Сколько безпокойныхъ ночей я провелъ, думая, что бы такое придумать... И представьте себѣ — всегда и вездѣ одинъ отвѣтъ: ахилесовы пята! Не далѣе, какъ часъ тому назадъ, я говорилъ моему другу графу Мамелфину: да сдѣлаемъ же хоть что-нибудь для Россіи... И хоть убей! Смотрите! вонъ онъ о сю пору ходитъ подъ орѣхами... Но врядъ ли что-нибудь выдумаетъ!

Подхалимовъ (*смотрятъ въ окно*). Ничего не выдумаетъ, ваше сіятельство. Но во всякомъ случаѣ уже и то пріятно, что ваши сіятельства изволятъ любить Россію и, стало быть, находите ее заслуживающею снисхожденія... Не правда ли, графъ?

Графъ. Ежели вы хотите, чтобъ я откровенно выразилъ мое мнѣніе, то скажу вамъ: да, Россія виновата. Она во многихъ отношеніяхъ ведетъ себя неделикатно и въ особенности не цѣнитъ... заслугъ! Но я не злопамятенъ, мой другъ! и разумѣется если когда-нибудь потребуютъ, чтобъ я опредѣлилъ степень ея виновности, то я отвѣчу: да, виновна, но въ высшей степени заслуживаетъ снисхожденія. Подхалимовъ! вы, конечно, имѣете понятіе объ идеѣ, которою я руководился, когда былъ при дѣлахъ. Сознаюсь, это была идея нѣсколько суровая. Я хотѣлъ все видѣть, все слышать, все знать. Разумѣется, это было необходимо мнѣ для того, чтобъ имѣть возможность вырвать съ корнемъ плевела, а добрымъ колосьямъ предоставить дозрѣть, дабы употребить ихъ въ пищу впослѣдствіи. Повторяю: это была идея грандіозная, благотѣльная, но... чересчуръ суровая. Въ настоящее время я понялъ это, и значительно-таки смягчилъ свою систему. И знаете ли, почему?

Подхалимовъ. Почему, ваше сіятельство?

Графъ. А потому, мой другъ, что, думая вырывать плевела, я почти всегда вырывалъ добрые колосья... То есть, разумѣется, не всегда... однако!

Подхалимовъ (*содрогаясь при мысли, что и онъ могъ быть вырваннымъ*). Ахъ, ваше сіятельство!

Графъ (*восторженно*). И въ довершеніе всего, представьте себѣ: желая все знать, — я ничего не зналъ; желая все видѣть и слышать, — я ничего не видалъ и не слышалъ. Одно время я просто боялся, что сойду съ ума!

Подхалимовъ. Значить, только напрасно изволили безпокоиться... А впрочемъ я полагаю, что и особенно тревожиться тѣмъ, что вырвано больше добрыхъ колосевъ, чѣмъ плевелъ, нѣтъ причинъ. Вѣдь все равно, еслибъ добрые колосья и созрѣли — все-таки ваше сіятельство въ той или другой формѣ скушали бы ихъ!



Графъ. Непремѣнно! Только это соображеніе и утѣшаетъ меня. Потому что я порядочно-таки въ свое время напраказилъ.

Подхалимовъ. Но нынѣ... Какъ бы ваше сіятельство поступили, еслибъ отечество вновь обратилось къ вамъ и къ графу Мамелфину съ кличемъ: „шествуйте, сыны!“?

Графъ. Я думаю, что мы предпочли бы сидѣть смирно и получать присвоенное содержаніе. Ахъ, вѣрите мнѣ, что въ наше время это самая плодотворная внутренняя политика!

Подхалимовъ. Но ахиллесовы пяты, ваше сіятельство! надо же какое-нибудь насчетъ ихъ распоряженіе сдѣлать?

Графъ. Я думаю, что онѣ заживутъ сами собой. Но впрочемъ, разумѣется, ежели бы...

Подхалимовъ. То-то вотъ и есть, что „впрочемъ“... Трудно, ваше сіятельство! трудно, стоя на извѣстной высотѣ, воздержаться, чтобъ не сдѣлать хоть маленькаго распоряженіица! Положимъ, что ахиллесовы пяты и сами собой заживутъ, но вѣдь это когда-то будетъ! А между тѣмъ вашимъ сіятельствамъ хочется, чтобъ поскорѣе...

Графъ. А чтѣ вы думаете... вѣдь это очень-очень вѣрное замѣчаніе! Вы глубоко изучили человѣческую душу, Подхалимовъ! Но еслибъ даже было и такъ... чтѣжь, я готовъ! *(Неожиданно вынимаетъ изъ кармана трубу и трубитъ:)*

Разсыпьте, молодцы!

За горы, за кусты!

Пб-ддва въ рррядъ!)

Подхалимовъ *(нѣскоро записываетъ: „отечество любитъ и даже находитъ заслуживающимъ снисхожденія; но впрочемъ готовъ поступить и по всей строгости законовъ“; встаетъ)*. Ваше сіятельство! не смѣю больше утруждать васъ! Хотя вопросы такъ и тѣнятся въ головѣ, но вижу, что ваше сіятельство уже изволите испытывать потребность въ иныхъ развлеченіяхъ... *(Становится въ позу.)* Ваше сіятельство! Позвольте вамъ доложить! Никогда не проводилъ я времени такъ пріятно и не выносилъ такихъ для себя поученій, какъ въ теченіе сегодняшняго нашего собесѣдованія! И мнѣ кажется, еслибъ я могъ слѣдовать только влеченію моего сердца... *(Хочетъ сдѣлать что-то нехорошее, но только въ безсиліи машетъ руками.)* Ваше сіятельство! позвольте во всякомъ случаѣ надѣяться, что эта бесѣда не будетъ послѣднею?

Графъ *(пристально смотритъ на Подхалимова)*. Подхалимовъ! говорите откровенно! вы хотите водки?

Подхалимовъ *(послѣ мновеннаго колебанія)*. Па-азвольте, ваше сіятельство!

Приносятъ графинъ водки и рюмку. Подхалимовъ паливаетъ. Занавѣсъ медленно опускается.

Слѣдя за современнымъ жизненнымъ процессомъ, я чаще всего поражаюсь постепеннымъ оскуднѣемъ нашего бюрократическаго творчества. Именно за послѣднее время какъ-то особенно обострилось это явленіе. Прежде, бывало, всѣ распоряженія съ „понеже“ начинались. „Понеже“, напримѣръ, „изъ практики другихъ странъ явствуется, что свобода книгопечатанія, въ разсужденіи смягченія правовъ, а также и пріумноженія полезныхъ промысловъ и художествъ, зѣло великія пользы приноситъ, и хотя генераль-маіръ Отчаянный таковой отрицаетъ, но безъ разсудка. Того ради признано за благо: цензурное вѣдомство упразднить на вѣчныя времена, на мѣсто же онаго учредить особливый попечительный о наукахъ и искусствахъ комитетъ, возложивъ на таковой наблюденіе, дабы въ Россійской Имперіи быстрымъ разумомъ Невтонамъ безъ помѣхи процвѣтать было можно“. Недлино, но чрезвычайно хорошо. Или, по теченіи времени, наоборотъ: „Понеже изъ опыта, а также изъ полицейскихъ рапортовъ усматривается, что чрезмѣрное быстрыхъ разумомъ Невтоновъ размноженіе приводитъ не къ смягченію нравовъ, но токмо къ обременѣнію должностныхъ мѣстъ и лицъ излишнею перепискою, въ чемъ и наблюденія генераль-маіра Отчаяннаго согласно утверждаютъ. И того ради *Приказами*: Попечительный о размноженіи Невтоновъ комитетъ упразднить, а на мѣсто онаго возстановить цензурное вѣдомство въ прежнихъ предѣлахъ, предписавъ таковому наблюсти, дабы впредь Невтонамъ проявлять себя неповадно было“. Опять недлино и хорошо. Видно, что выдумщикъ не только самъ сознаетъ мотивы своей выдумки, но желаетъ, чтобы эти мотивы были признаны и тѣмъ, до кого выдумка относится. Было ваше времячко, господа, пожуировали; теперь „времячко“ прошло. Почему прошло? — потому что „изъ опыта и полицейскихъ рапортовъ усматривается“... Право, хорошо. Напротивъ того, нынѣ нишуть недлино, но нехорошо. Оттого ли, что потухло у бюрократіи воображеніе, или оттого, что развелось слишкомъ много кафе-шантановъ и нѣтъ времени думать о дѣлѣ: какъ бы то ни было, но въ бюрократическую практику мало-по-малу начинаютъ проникать прискорбныя фельдъегерскія преданія. Ни „понеже“, ни „поелику“ — ничего уже нѣтъ; осталось одно безнадежное слово: пошелъ!

Но что всего замѣчательнѣе — это оскуднѣе творчества замѣчается именно только въ сферѣ бюрократіи — и нигдѣ больше.

Начать хоть съ законовъ. Во всей обширной сферѣ законодательства вы не только не встрѣтитесь съ оскуднѣемъ, но, напротивъ, скорѣе найдете излишество творчества. Прочтите указы губернаторамъ, губернскимъ управленіямъ, палатамъ государственныхъ имуществъ, врачебнымъ управамъ — чего только тутъ не предусмотрено! Затѣмъ проштудируйте осьмой, двѣнадцатый, тринадцатый и четырнадцатый томы — какое богатство прозорливости, попечительности и даже фантазій! И вездѣ въ выноскѣ либо „понеже“, либо „поелику“. Человѣку предстоитъ только родиться, а тамъ ужъ и пошла писать. Такъ было по крайней мѣрѣ лѣтъ пятнадцать, двадцать тому назадъ, а теперь... я не знаю даже, не упразднены ли всѣ эти законы совѣмъ? Знаю, напримѣръ, что палаты государственныхъ имуществъ, врачебныя управы, строительныя комиссіи и проч. упразднены, но между кѣмъ распредѣлены всѣ „поелику“ и „понеже“, которые были на нихъ возложены, — не знаю.



Вѣроятно, если внимательнѣе поискать, то въ какой-нибудь шелкѣ они и найдутся; но, съ другой стороны, сколько есть людей, которые, за упраздненіемъ, мечутся въ тоскѣ, не зная, въ какую щель обратиться съ своей докукой?

Или возьмите сферу русскаго адвокатства. Тутъ что ни шагъ, то богатство фантазіи, что ни слово, то вымыселъ. И, къ чести сословія нужно сказать, вымыселъ—всегда мотивированный. Ни одинъ самый плохонькій адвокатъ не начнетъ защитительную рѣчь ни съ „тѣмъ не менѣе“, ни съ „а да бы“ (а графъ Твэрдоунтѣ такъ именно и начнетъ), но непремѣнно какой-нибудь фортель да выкинетъ. Особенно ежели по соглашенію. Соглашеніе—святое дѣло; оно подстрекаетъ адвоката, поддерживаетъ въ немъ бодрость, обязываетъ быть изобрѣтательнымъ. Ежели съумѣешь убѣдить судей—вотъ деньги: ѣшь, пей и веселись! ежели не съумѣешь—вотъ шнуръ. Въ сей крайности по-неволѣ будешь выдумывать. А затѣмъ, выдумывая да выдумывая, получишь привычку быть изобрѣтательнымъ и въ дѣлахъ по назначенію поручаемыхъ. Тогда какъ чиновнику—какая корысть? Будетъ ли онъ мозгами шевелить, или не будетъ—все одно двадцатаго числа наравнѣ съ другими жалованье получить. А иногда даже и зазорно мозгами шевелить: пусть лучше не я, а какая-нибудь бестія шевелить! Конечно, можно за эти провинности мѣста лишиться или награды къ празднику не получить, но и тутъ лазейка есть: тетенька попросить. А въ адвокатскомъ сословіи даже самыя лучшія тетеньки—и тѣ не помогутъ. Отдувайся, какъ знаешь, самъ...

Объ литературѣ и говорить нечего: извѣстно, что голъ на выдумки хитра. Литература живетъ выдумкой, и чѣмъ больше въ ней встрѣчается „понеже“ и „поелику“, тѣмъ осязательнѣе ея вліяніе на міръ. Говорятъ, будто современная русская литература тоже, подобно бюрократіи, предпочитаетъ краткословность винословности, но это едва-ли такъ. Дѣйствительно, литература наша находится какъ бы въ переходномъ положеніи, именно по случаю постепеннаго упраздненія того округленнаго пустословія, которое многими принималось за винословность, но, въ сущности, эта послѣдняя со-всѣмъ не изгнана, а только приносится не въ формѣ эмульсии, а въ видѣ пилюли—глотай! Но еслибы даже литература и впрямь захудала, то это явленіе случайное и временное. Для литературы нѣтъ разчета „худать“, потому что и въ ней принципъ соглашенія съ читателями играетъ главную роль. Хочешь-не-хочешь, а шевели мозгами, уловляй сердца, убѣждай!

Однимъ словомъ, вездѣ, куда ни обратитесь, вездѣ вы увидите проникновеніе возбуждающаго начала, которое устраняетъ преждевременное одряхлѣніе. Въ одной только бюрократической профессіи это начало отсутствуетъ. Правда, что всѣ эти „понеже“ и „поелику“, которыми такъ богаты наши бюрократическія преданія, такими же чиновниками изобрѣтены и прописаны, какъ и тѣ, которые нынѣ ограничиваются фельдъегерскимъ окрикомъ: „пошелъ!“—но не нужно забывать, что первые изобрѣтатели „понеже“ были люди свѣжіе, не замученные, которымъ въ охотку было изобрѣтать. То было время насажденія наукъ и художествъ, фабрикъ и заводовъ, армій и флотовъ. И дѣло было новое, и люди новые—отъ этого и „понеже“ выходило само собой, независимо отъ надежды на увеличеніе окладовъ. А нынче все это примелькалось, прислушалось, пріѣлось. Иной и радъ бы „понеже“ ввер-

нута — а нѣ у него съ души прѣтъ. Вотъ онъ и тянетъ канитель, дѣла не дѣлаетъ, отъ дѣла не бѣгаетъ. А прикрикнуть на него, заставить какую-ни-на-есть выдумку по начальству представить — онъ присядетъ на минуту, начертить: „пошелъ!“ и готовъ.

Вѣроятно въ этихъ видахъ начали нынѣ прибѣгать къ комиссіямъ. Все, дескать, на народѣ постыдише будетъ. Но тутъ опять другая бѣда: съ представленіемъ о комиссіи неизбѣжно сопрягается представленіе о пререканіяхъ. Одному нравится арбузъ, другому — свиной хрящикъ. А такъ какъ въ чиновничьемъ мірѣ разногласій не полагается, то, дабы дать время арбузу войти въ соглашеніе съ свинымъ хрящикомъ, начинаютъ отлынивать и предаваться боковымъ движеніямъ. Собираютъ справки, раздаютъ командировки, дѣлаются извлеченія изъ архивныхъ дѣлъ, а „понеже“ тѣмъ временемъ спитъ да спитъ непробуднымъ сномъ. Да врядъ-ли когда-нибудь и проснется, потому что для того, чтобъ осуществилось это пробужденіе, необходимо, чтобъ оно кого-нибудь интересовало. А кого же оно можетъ интересовать? Тѣ два члена, которые на первыхъ порахъ погорячились и упорно остались одинъ при арбузѣ, другой — при свиномъ хрящикѣ, давно ужъ махнули на все рукой. „Нечего сказать, находка! — разсудили они: — собрали какую-то комиссію, нагнали со всѣхъ сторонъ народу, заставили о свѣтопреставленіи толковать, да еще и мнѣній не выражай: предосудительно, вишь!“ И кончается обыкновенно затѣя тѣмъ, что „комиссія“ глохнетъ да глохнетъ, пока не выищется дѣлопроизводитель попредпріимчивѣе, который на всѣ „труды“ и „мнѣнія“ наложить крестъ, а внизу напишетъ: „пошелъ!“ И готово.

Сознаюсь откровенно: я никакъ не могу понять, почему пререканія считаются въ настоящее время предосудительными. Пререканія въ качествѣ элемента, содѣйствующаго правильному ходу административной машины, издавна были у насъ въ употребленіи, и я даже теперь знаю старыхъ служакъ, которые не могутъ вспоминать объ нихъ иначе, какъ съ умиленіемъ. Еще недавно Удавъ объяснялъ мнѣ:

— Въ пререканіяхъ власть почерпала не слабость, а силу-съ: обыватели же надежды мерцаніе въ нихъ видѣли. Графъ Михайль Николаевичъ — ужъ на что суровъ былъ! — но и тотъ, будучи на одрѣ смерти и собравъ сподвижниковъ, говорилъ: „отстаивайте пререканія, друзья! ибо въ нихъ — нашъ пантеонъ!“

А Дыба съ своей стороны удостовѣрялъ:

— Что положеніе пререкателей было небезопасно — это такъ; что большинство ихъ кончало служебную карьеру, разсѣянное по лицу земли — и это вѣрно. Но бывали однакожъ случаи, когда и скромный голосъ совѣтника губернскаго правленія достигалъ до ступеней-съ...

И затѣмъ, застыдившись и крикнувъ (дѣло, очевидно, касалось его личности), присовокуплялъ:

— Я самъ одинъ примѣръ такой знаю. Простой совѣтникъ, а на цѣлую губернію сенаторскій гнѣвъ навлекъ-съ. Позвольте васъ спросить: еслибы этого не было, могла ли бы истина возсіять-съ?..

Какъ хотите, а я положительно стою на сторонѣ Удава и Дыбы. Конечно, я понимаю, что собственно „пантеона“ тутъ нѣтъ, но ежели ужъ ничего дру-



того не выработалось, то пусть остаются хоть пререканія. Если нѣтъ подлинной надежды, то пусть будетъ хоть мерцаніе надежды. Если нѣтъ подлинныхъ перспективъ, то пусть остается въ перспективѣ „сенаторскій гнѣвъ“. Не приходится намъ быть прихотливыми, и до тѣхъ поръ, покуда въ основаніи нашей жизни лежитъ пословица: выше лба уши не растутъ, то ладно будетъ, если хоть кой-какіе обрывочки „перспективъ“ на нашу долю выпадутъ. Если что выпадетъ—лови! а не выпадетъ—жди и воспитывай въ себѣ „надежды мерцаніе“. Все-таки хоть что-нибудь, а не голое „ничего“. Что же касается до власти, то и въ этомъ отношеніи я согласенъ съ Удавомъ: не слабости она почерпала въ пререканіяхъ, а силу. Прежде всего общее правило: ежели надобѣ пререкатель, то ничего не стоитъ его расточить—развѣ это не сила? А затѣмъ и другая сила: обыватель, зная что у него есть за синой пререкатель, смотритъ веселѣе, думаетъ: „пока у насъ Иванъ Ивановичъ въ совѣтникахъ сидитъ, опасаться мнѣ нечего“. Такъ что ежели Иванъ Ивановичъ сидитъ долго (бывали встарину, по упущенію, и такіе случаи), то обыватель начинаетъ даже гордиться и впадаетъ въ самонадѣянный тонъ. „Совсѣмъ ужъ у насъ не такая форма правленія, какъ внутренніе враги пишутъ! нѣтъ! у насъ чуть немного—Иванъ Ивановичъ какъ разъ сократить!“

Право, это было очень удобно. И прежде всего удобно для самой бюрократіи, потому что смягчало ея отвѣтственность и ограждало ея репутацію отъ нареканій. А главное, заставляло ее мотивировать свои дѣйствія и въ „попечѣ“ и „поелику“ искать прибѣжища отъ внезапностей. Мысль остепенилась, да и самъ бюрократъ смотрѣлъ осанистѣе, умнѣе. А обыватель утѣшался тѣмъ, что онъ хоть что-нибудь да понимаетъ...

Но опытные служаки идутъ еще дальше. Удавъ, напимѣръ, охотно бралъ на себя даже защиту ябедниковъ и ябедничества, и опять-таки ссылался на авторитетъ графа Михаила Николаевича.

— Вы, сударь, не шутите съ ябедниками,—говорилъ онъ мнѣ:—въ древнія времена ябедникъ представлялъ собою сосудъ, въ которомъ общественная скорбь находила единственное и всегда готовое уѣжище! И безъ торгу, сударь; бери двугривенный и пиши! За двугривенный человѣкъ рисковалъ, что его и въ бараній рогъ согнуть, и въ табакъ сотрутъ, и туда зашвырнуть, куда въроня костей не заносилъ! Гдѣ нынче такихъ героевъ сыщешь? И сколько, спрошу я васъ, было нужно скорбей, сколько презрѣнія къ жизненнымъ благамъ въ сердцѣ накопить, чтобы, несмотря ни на какія перспективы, въ столь опасномъ ремеслѣ упражненіе имѣть? Всю жизнь видѣть передъ собой „раба лукаваго“, все интересы сосредоточить на немъ одномъ и объ немъ одномъ неустаючи вопіять и къ царю земному, и къ Царю Небесному—сколь крѣпка должна быть въ человѣкѣ вѣра, чтобы эту пытку вынести! А сколько ихъ погибло... всячески погибло-съ! и подъ бременемъ презрѣнія отъ своихъ, и подъ начальственнымъ давленіемъ! Полки можно было бы изъ этихъ ревнителей поруганной общественной совѣсти сформировать!

— Но какую же пользу они могли приносить, коль скоро съ ними такъ легко можно было по всей строгости поступить?—возражалъ я.

— А ту пользу, что сегодня, напимѣръ, десять „ябедниковъ“ загублено, а завтра на ихъ мѣстѣ новыхъ двадцать явилось? А кромѣ того,

смотришь, одного какого-нибудь и прогладѣли. Сидѣлъ онъ гдѣ-нибудь тихимъ манеромъ въ кабацкѣ, пописывалъ да пописывалъ — глядь, анъ въ губернію сенаторскій гнѣвъ ѣдетъ! Откуда? какъ? кто навлекъ?... Ябедникъ-съ!

Какъ это ни странно съ перваго взгляда, но приходится согласиться, что устами Удава говорить сама истина. Да, хорошо въ тѣ времена жилось. Ежели тебѣ тошно или Сквознякъ-Дмухановскій одолѣть, — бѣги къ Ивану Иванычу. Иванъ Иванычъ не поможетъ (не сѣмѣлъ „застоятъ“) — недалеко и въ кабакъ сходить. Тамъ ужъ съ утра ябедникъ Ризноложенскій, съ перомъ за ухомъ, ждетъ. Настрочилъ, запечаталъ, послалъ... Не успѣлъ оглинуться — вдругъ, динь-динь, колокольчикъ звенить. Кто пріѣхалъ? Иванъ Александровъ Хлестаковъ пріѣхалъ! Ну, слава Богу!

Я не утверждаю, конечно, чтобъ все это вмѣстѣ взятое представляло настоящія гарантіи; я говорю только, что было мерцаніе надеждъ. Были пререканія (даже два чиновника специально для пререканій: прокуроръ и жандармскій штабъ-офицеръ; имъ же представлялось отирать слезы), были ябедники. Теперь пререканія признаны предосудительными, а ябедники, съ распространеніемъ хорошихъ манеръ, извелись сами собой. Вмѣстѣ съ ними извелось и исчезло достопочтенное „понеже“, которое такъ или иначе, но все-таки остепеняло разнузданную бюрократическую мысль и налагало на нее извѣстныя обязанности. Все прочее осталось. То-есть остался графъ Твѣрдоонтъ съ теоріей повсемѣстнаго смерча и съ ея краткословной формулой: пошелъ!

Мнѣ скажутъ, быть можетъ, что теорія смерча оказалась однакожъ несостоятельною, и вслѣдствіе этого графъ Твѣрдоонтъ нынѣ уже находится не у дѣлъ. Стало быть, правда возсіяла-таки...

А сколько онъ народу погубилъ, покуда его теорія оказалась несостоятельною? И кто же поручится, что онъ не воспрянетъ и опять? что у него ужъ не созрѣла въ головѣ теорія кукиша съ масломъ, и что онъ, съ свойственною ему ретивостью, не посѣвшитъ положить и эту новянку на алтарь отечества, при первомъ кличѣ: „шестуйте, сыны!“

По настоящему мнѣ слѣдовало бы, сейчасъ же послѣ свиданія съ графомъ Твѣрдоонто, уѣхать изъ Интерлакена; но меня словно колдовство пришилило къ этому мѣсту. Въ красотѣ природы есть нѣчто волшеббно-дѣйствующее, проливающее успокоеніе даже на самыя застарѣлыя увѣчья. Есть очертанія, звуки, запахи, до того ласкающіе, что человѣкъ покоряется имъ совсѣмъ машинально, независимо отъ сознанія. Онъ не анализируетъ ни ощущеній своихъ, ни явленій, породившихъ эти ощущенія, а просто живетъ какъ очарованный, чувствуя, какъ въ его организмъ льется отрада.

Нѣчто подобное испыталъ и я. Всякая дребедень лѣзла мнѣ въ голову, и теорія смерча, и теорія кукиша съ масломъ, и еще какая-то совсѣмъ новая теорія умиротворенія, но не безъ участія строгости и скорости. Но и за всѣмъ тѣмъ чувствовалось хорошо. Эти тающія при лунномъ свѣтѣ очертанія горныхъ вершинъ, съ бѣгущими мимо нихъ облаками, этотъ опьяняющій запахъ скошенной травы, несущійся съ громаднаго луга передъ Hoheweg, эти звуки



юдля, разносимые странствующими музыкантами по отелямъ — все это нѣ-  
жию, сладко волновало и покоряло. И я, какъ въ полуснѣ, бродилъ подь  
орѣшниками, предаваясь пестрымъ мечтамъ и не думая объ отѣздѣ.

Само собой разумѣется, что въ этихъ мечтаніяхъ немалое мѣсто за-  
нимала и литература. Русскія газеты получаютъ и въ Интерлакенѣ, а тутъ,  
какъ разъ кстати, и въ иностранныхъ, и въ русскихъ журналахъ появились  
слухи о предстоящихъ для нашей печати льготахъ. Натурально, я взволно-  
вался; но чтѣ всего страннѣе — мнѣ показалось, что вмѣстѣ со мною взвол-  
новался и весь Интерлакенъ. Думалось, что на меня всѣ смотрятъ съ ка-  
кимъ-то напряженнымъ любопытствомъ, словно у всѣхъ — даже у кельнеровъ  
— одна мысль въ головѣ: освободятъ его или окончательно упекутъ?

Что касается до меня лично, то я не только не ставилъ себѣ никакихъ  
вопросовъ, но просто-на-просто заранѣе предвкушалъ. Мнѣ нравился моло-  
дой задоръ русскихъ газетъ, которыя въ одинъ голосъ предвѣщали конецъ  
административному произволу и громко призывали на печать кары суда. Всѣ  
глаза какъ-то разомъ раскрылись, и жизнь безъ суда вдругъ оказалась не-  
стерпимѣйшею изъ обидъ, когда-либо ниспосланныхъ разгнѣваннымъ небомъ  
для умирненія бунтующей человѣческой плоти. Одно только смущало: ни въ  
одной газетѣ не упоминалось ни о томъ, какого рода процедура будетъ со-  
провождать преданіе суду, ни о томъ будетъ ли это судъ, свойственный  
всѣмъ русскимъ гражданамъ, или какой-нибудь экстраординарный, свой-  
ственный одной литературѣ, ни о томъ, наконецъ, какого рода скорпіонами  
будетъ этотъ судъ вооруженъ. Я зналъ, что русская печать вообще скромна,  
и потому о многомъ умалчиваетъ; но тутъ мнѣ показалось, что скромность  
какъ будто и не совсѣмъ уместна. Разумѣется, намъ, какъ литераторамъ, оно  
понятно, что по суду и скорпіона пріятно проглотить, — особливо ежели онъ  
запущенъ на точномъ основаніи, — но вѣдь надо же, чтобъ и публика по-  
няла, почему судебный скорпіонъ считается болѣе подходящимъ, нежели  
скорпіонъ административный. Поэтому восторгъ восторгомъ, а все-таки не  
худо было хоть сторонкой заявить: отъ суда-моль мы не прочь, но только  
нельзя ли постараться, чтобъ оный вмѣстить было можно.

Виновать: было и еще одно смущающее обстоятельство. Радуюсь пред-  
стоящему пришествію судебныхъ скорпіоновъ, газеты, къ сожалѣнію, не воз-  
держались отъ издѣвокъ надъ скорпіонами административными. Вотъ, моль,  
сколько вы ни старались, а въ результатѣ все-таки получили шишъ! Если  
вы изыскивали средства, то и литература изыскивала средства. Выдумаете  
вы, бывало, какую-нибудь выдумку и воображаете себѣ: ну, теперь будетъ  
крѣпко! а литература возьметъ да другую выдумку выдумаетъ, и окажется,  
что вы палите изъ пушекъ по воробьямъ. А потому уходите-ка лучше вы съ  
глазъ долой, безсильные, постылые, неумѣлые, и очистите мѣсто другимъ,  
кои это дѣло въ аккуратѣ поведутъ!

Признаюсь откровенно: это даже и я, литераторъ, не понималъ. Поло-  
жимъ, что административные скорпіоны были безсильны, и что литература  
находила возможность ускользать отъ нихъ... Но въ чемъ же тутъ неудоб-  
ство? и для чего, вмѣсто мнимыхъ скорпіоновъ, понадобились скорпіоны по-  
длинные?..

Я почти тридцать-пять лѣтъ литераторствую, не пользуясь покровительствомъ законовъ, но и за всѣмъ тѣмъ не ропщу. Бывали, правда, огорченія и даже довольно сильныя—иногда казалось, что кожу съ живого сдирають,—но когда приходила бѣда, то я припоминалъ соответствующія случаю пословицы и... утѣшался ими. Бывало, призовутъ, побранятъ—я скажу себѣ: брань на вороту не виснетъ. Или, бывало, мѣстами ошпилютъ, а временемъ и совѣмъ изувѣчатъ—я скажу себѣ: до свадьбы заживетъ. Въ моихъ глазахъ произволъ имѣетъ ту выгодную сторону, что онъ для всѣхъ явно несомнителенъ. Онъ не можетъ ни оскорбить, ни подлинно огорчить, а можетъ только физически измучить. Никому не придется въ голову спрашивать, правильно или неправильно поступилъ произволъ, потому что всякому ясно, что на то онъ и произволъ, чтобъ поступать безъ правилъ, какъ ему въ данную минуту заблагоразсудится. Такъ что ежели у произвола и была жестокая сторона, къ которой очень трудно было привыкнуть, то она заключалась единственно въ томъ, что ни одинъ литераторъ не могъ сказать утвердительно, чтò онъ такое: подлинно ли литераторъ, или только сонное мечтаніе. Дунулъ—и нѣтъ его.

Тѣмъ не менѣе для меня не лишено важности то обстоятельство, что въ теченіе почти тридцати-пяти-лѣтней литературной дѣятельности я ни разу не сидѣлъ въ кутузкѣ. Говорятъ, будто въ древности такіе случаи бывали, но въ позднѣйшія времена было многое, даже, можно сказать, все было, а кутузки не было. Какъ хотите, а нельзя не быть за это признательнымъ. Но не придется ли познакомиться съ кутузкой теперь, когда литературу ожидаетъ покровительство судовъ?—вотъ въ чемъ вопросъ.

Я боюсь кутузки по двумъ причинамъ. Во-первыхъ, тамъ должно быть сыро, непріятно, темно и тѣсно; во-вторыхъ—кутузка, несомнѣнно, должна воспитывать цѣлую тучу клоповъ. Право, я положительно не знаю такого тяжкаго литературнаго преступленія, за которое совершившій его могъ бы быть отданнымъ въ жертву сырости и клопамъ. Представьте себѣ: дряхлаго и больного литератора ведутъ въ кутузку... ужели найдется каменное сердце, которое не обольется кровью при этомъ зрѣлищѣ?!

Тѣмъ не менѣе, покуда я жилъ въ Интерлакенѣ и находился подъ живымъ впечатлѣніемъ газетныхъ восторговъ, то я ничего другого не желалъ, кромѣ наслажденія быть отданнымъ подъ судъ. Но для того, чтобъ это было дѣйствительное наслажденіе, а не перифраза исконнаго русскаго озорства, представлялось бы, по мнѣнію моему, бесполезнымъ обставить это дѣло нѣкоторыми иллюзіями, которыя прямо засвидѣтельствовали бы, что отнынѣ воистину никакихъ препонъ къ размноженію быстрыхъ разумомъ Невтоновъ полагать не будетъ. А именно:

1) Чтобы процедура преданія суду сопровождалась не сверхъестественнымъ, а обыкновеннымъ порядкомъ.

2) Чтобы суды были тоже не сверхъестественные, а обыкновенные, такіе же, какъ для татей.

3) Чтобы кутузки ни подъ какимъ видомъ по дѣламъ книгопечатанія не полагались. За чтò?

Ежели эти мечтанія осуществляются, да еще ежели денежными штрафами



не слишкомъ донимать будутъ (подумайте! гдѣ же бѣдному литератору денегъ достать, да и на что?.. на штрафы!), то будетъ совсѣмъ хорошо.

Я помню, эта тріада такъ ясно сложилась въ моей головѣ, что, встрѣтивъ въ тотъ же вечеръ подъ орѣшниками графа Твѣрдоонтѣ, я не выдержалъ и сообщилъ ему мой проектъ.

Съ перваго абзуга онъ даже одобрилъ.

— Вы логичны, Подхалимовъ! — сказалъ онъ мнѣ: — и въ сущности, быть можетъ, даже правы. Я удивляюсь полету вашей фантазіи, и нахожу вашъ вымыселъ въ высшей степени благороднымъ... но!

Но потомъ, вдругъ засверкалъ глазами и забормоталъ:

— Но пресса... вы понимаете?.. вы говорите, что это сила... прекрасно!.. но сила... и притомъ... Откуда, спрашиваю васъ, зло?.. Но положимъ одна-кожъ... допустимъ, что это сила... пусть будетъ по вашему... Но это сила... О! го-го-го!

Онъ не выдержалъ и, вынувъ изъ кармана трубу, протрубилъ:

Трубить въ рога!

Разить врага!

Давно пора!

И зачѣмъ только я этотъ разговоръ завелъ?!

Но вопросъ объ оскудѣніи бюрократическаго творчества продолжалъ терзать меня. Я видѣлъ пагубныя послѣдствія этого повѣтрія на графѣ Твѣрдоонтѣ и не могъ не трепетать за будущее Россіи. Этотъ человѣкъ дошелъ наконецъ до такой простраціи, что даже слово „пошелъ!“ не могъ порядкомъ выговорить, а какъ-то съ присвистомъ и быстро выкрикивалъ: „п-шѣлъ!“ Именно такъ долженъ былъ выкрикивать, мчась на перекладной, фельдъегерь, когда встрѣчнымъ вихремъ парусило на немъ подлы бараньяго полусубка и волны снѣжной пыли залѣпляли нетрезвыя уста. Но замѣчательно, что тотъ же самый Твѣрдоонтѣ, какъ только рѣчь касалась предметовъ его компетентности, говорилъ не только складно, но и резонно. Такъ напримѣръ, однажды при мнѣ зашелъ у него съ Мамелфиннымъ разговоръ о томъ, что есть истинная кобыла и каковы должны быть у нея статьи, — и я рѣшительно залюбовался имъ. Совсѣмъ другой человѣкъ стоялъ передо мной. Умень, образованъ, начитанъ и... доброжелателенъ. И онъ зналъ кобылу, и кобыла знала его. Общія положенія, выводы, цитаты — такъ и сыпались...

Какъ бы то ни было, но я рѣшился отъ самого графа Твѣрдоонтѣ добиться разъясненія этой тайны.

— Графъ! — сказалъ я, встрѣтившись съ нимъ: — будьте такъ добры разрѣшить мое недоумѣніе: отчего наше бюрократическое творчество до такой степени захудало?

— Я васъ не понимаю, — отвѣтилъ онъ холодно, оглядывая меня съ ногъ до головы.

— Позвольте пояснить примѣромъ. Отчего, напримѣръ, какъ только дѣло коснется вопросовъ внутренней политики или благоустройства, или наконецъ экономіи, — вы ничего не имѣете сказать, кромѣ: „п-шѣлъ!“?

Онъ вновь пытливо взглянулъ на меня, какъ бы подозрѣвая, не разставляю ли я ему ловушку. Но въ голосѣ моемъ не слышалось и тѣни озорства; одна душевная теплота — и ничего больше. Онъ понялъ это.

— Вы правы, мой другъ! — сказалъ онъ съ чувствомъ: — я дѣйствительно съ трудомъ могу найти для своей мысли приличное выраженіе; но вспомните, какое я получилъ воспитаніе! Въдѣ я... я даже латинской грамматики не знаю!

— Ахъ, ваше сіятельство, это ужасно!

— Вотъ Мамелфинъ — тотъ счастливѣе меня! Онъ Евтропія въ своемъ „заведеніи“ переводилъ!

— Но если васъ не учили латинской грамматикѣ, то въ чемъ же состояло ваше воспитаніе?

— Насъ заставляли танцевать, фехтовать, дѣлать гимнастику. Въ низшихъ классахъ учили повиноваться, въ высшихъ — повелѣвать. Сверхъ того: немного исторіи, немного географіи, чуть-чуть ариѳметики и наконецъ краткія понятія о божествѣ. Вотъ и все. Виновать: заставляли еще вытверживать басни Лафонтена къ именинамъ родителей...

— Ваше сіятельство! не помните ли какой-нибудь басенки? — вдругъ разохотился я.

— Помню и даже съ удовольствіемъ прочитаю.

И онъ, не выжидая дальнѣйшихъ просьбъ, началъ:

Maitre corbeau, sur un arbre perché,  
Tenait en son bec un fromage...

Онъ декламировалъ такъ мило и такъ дѣтски-отчетливо, что даже посторонніе прохожіе останавливались и любовались.

— Прекрасно! — похвалилъ я. — Но понимаете ли вы, графъ, смыслъ этой басни?

Онъ на минуту задумался.

— До сихъ поръ, — сказалъ онъ, — я не думалъ объ этомъ; но теперь... понимаю! Знаете ли вы, Подхалимовъ, что въ этой баснѣ рассказана вся моя жизнь?

— Это весьма возможно, графъ!

— Именно такъ. Было время, когда и я во рту... держалъ сыръ! Это было время, когда одни меня боялись, другіе — мнѣ льстили. Теперь... никто меня не боится... и никто не льститъ! Какъ хотите, а это грустно, Подхалимовъ!

— Богъ милостивъ, ваше сіятельство!

Онъ не отвѣчалъ и нѣкоторое время, понутивъ голову, шелъ рядомъ со мной по аллеѣ.

— Моя жизнь — трагедія! — началъ онъ опять: — никто не видѣлъ столько лести, какъ я, но никто не испытывалъ и столько вѣроломства! Ужасно! ужасно! ужасно!

— Ваше сіятельство! позвольте вамъ доложить! Это всегда такъ бываетъ. Коль скоро человѣкъ взбирается на высоту, не зная латинской грамматики, то естественно, что это наводитъ на всѣхъ страхъ. А гдѣ страхъ,



тамъ, конечно и лезть. За то потомъ, когда обнаруживается, что безъ латинской грамматики никакъ невозможно, и когда, вслѣдствіе этого, человѣкъ оказывается несостоятельнымъ и падаетъ, тогда, само собой разумѣется, страхъ и лезть исчезаютъ, а вмѣсто нихъ появляется озорство и вѣроломство. По крайней мѣрѣ такъ идетъ эта процедура у насъ.

— Понимаю я это, мой другъ! Но вѣдь я человѣкъ, Подхалимовъ! Номо сомо, какъ говорить Мамелфинъ... то-бишь, какъ дальше?

— Номо sum et nihil humani a me alienum puto, — подсказалъ я: — то-есть человѣкъ есмь и ни одинъ человѣческій порокъ не чуждъ мнѣ...

— Вотъ видите ли! Развѣ легко мнѣ примириться съ моимъ настоящимъ положеніемъ?

— Знаю, что не легко, графъ, но по моему мнѣнію слишкомъ огорчаться все-таки не слѣдуетъ. Фортуна слѣпа, ваше сіятельство, а Богъ не безъ милости. Только ужъ тогда нужно покрѣпче сыр-то во рту держать.

— Натурально!

— Но ежели, ваше сіятельство, это случится... Позвольте надѣяться, сіятельнѣйшій графъ!

— Натурально! И даже... непременно! Вы будете, такъ сказать... Но только съ однимъ условіемъ... скажите, вы не будете льстить мнѣ, Подхалимовъ?

— Никакъ нѣтъ-съ, ваше сіятельство!

— И вы будете всегда говорить мнѣ правду? одну только правду?

— Точно такъ, ваше сіятельство!

— Touchez la!

Онъ протянулъ мнѣ руку и затѣмъ вдругъ дрогнулъ всѣмъ тѣломъ и... обнялъ меня! Это было до того несогласно съ обычаями Интерлакена, что Юнгфрау мгновенно закутала свою вершину въ облако, а сидѣвшая по близости англичанка вскрикнула: „shocking!“ — и убѣжала.

— Но довольно объ этомъ! — сказалъ графъ взволнованнымъ голосомъ: — возвратимся къ началу нашей бесѣды. Вы, кажется, удивлялись, что наше бюрократическое творчество оскудѣваетъ... то-есть, въ какомъ же это смыслѣ? въ смыслѣ распоряженій или въ другомъ какомъ?

— Нѣтъ, ваше сіятельство, не въ смыслѣ распоряженій. Распоряженій и нынче очень довольно, но мотивировки и распоряженій нѣтъ. Трудно понять-съ.

— Гм... да; но какъ же, по вашему мнѣнію, помочь этому?

— Конечно, необходимо прежде всего обратить вниманіе на воспитаніе.

— Да, но вѣдь это длинная исторія! Покуда вы воспитаніемъ занимаетесь, а между тѣмъ время не терпитъ!

— Точно такъ, ваше сіятельство. И я, въ сущности, только для очистки совѣсти о воспитаніи упомянулъ. Гдѣ ужъ намъ... и безъ воспитанія сойdetъ! Но есть, ваше сіятельство, другой фортель. Было время, когда всѣ распоряженія начинались словомъ: „понеже“...

— „Понеже“... это, кажется „поелику“?

— Браво, графъ! Именно оно самое и есть. Такъ вотъ изволите видѣть...

И я изложилъ ему въ краткихъ словахъ, но ясно всю теорію „понеже“. Показалъ, какъ иногда полезно бываетъ заставлять умъ обращаться къ началамъ вещей, не торопясь формулированіемъ изолированныхъ выводовъ; какъ это обращеніе, съ одной стороны, укрѣпляетъ мыслящую способность, а съ другой стороны, возбуждаетъ въ обыватель довѣріе, давая ему возможность понять, въ силу какихъ соображеній и на какой приблизительно срокъ онъ обязывается быть твердымъ въ бѣдствіяхъ. И я долженъ отдать полную справедливость графу: онъ понялъ не только оболочку моей мысли, но и самую мысль.

— Какъ же по вашему я поступать долженъ? — спросилъ онъ меня.

— Очень просто графъ. Каждый разъ, какъ вы соберетесь какое-нибудь распоряженіе учинить, напомните себѣ, что надо начать съ „понеже“ — и начните-съ!

— Поясните, прошу васъ, примѣромъ.

— Примѣромъ-съ? ну, что бы на примѣръ? Ну, на примѣръ, въ настоящую минуту вы идете завтракать. Слѣдовательно вотъ такъ и извольте говорить: понеже наступило время, когда я имѣю обыкновеніе завтракать, завтракъ же можно получить только въ ресторанахъ — того ради поѣду въ рестораны (или въ отель) и закажу, что мнѣ понравится.

— Но ежели я не голоденъ?

— Ахъ, ваше сіятельство! Тогда извольте говорить такъ: понеже я не голоденъ, хотя и наступило время, когда я имѣю обыкновеніе завтракать, но понеже...

— Вотъ видите! два раза понеже!

— Это отъ поспѣшности, графъ. А результатъ все одинъ-съ: того ради въ отель не пойду, а останусь гулять въ аллеѣ...

— По-ни-ма-ю!

— И увидите, ваше сіятельство, какъ вдругъ все для васъ сдѣлается ясно. Гдѣ была тьма, тамъ свѣтъ будетъ; гдѣ была внезапность, тамъ сама собой винословность скажется! А ужъ любить-то, любить-то какъ васъ всѣ за это будутъ?

— Вы говорите: будутъ любить?.. за что?

— Ахъ, ваше сіятельство! да вѣдь, благодаря вамъ, всѣ свѣтъ увидятъ! Вѣдь и въ кутузкѣ посидѣть ничего, если при этомъ сказано: понеже ты заслужилъ быть вверженнымъ въ кутузку, то и ступай въ оную!

— По-ни-ма-ю!.. Однако вы напомнили мнѣ, что въ самомъ дѣлѣ наступило время, когда я обыкновенно завтракаю... Да! какъ-бишь это вы учили меня говорить? Понеже наступило время...

— Того ради... такъ точно-съ! Съ Богомъ ваше сіятельство!

— Прощайте, Подхалимовъ... до свиданія!

Онъ сдѣлалъ мнѣ ручкой и, насвистывая: „по-не-е-же!“ пошелъ перевалочкой по направлению къ курзалу. Я тоже хотѣлъ отправиться во-свояси, но вдругъ вспомнилъ нѣчто чрезвычайно нужное и поспѣшилъ догнать его.

— Ваше сіятельство! — спросилъ я: — знаете ли вы, что такое рубль?

Онъ взглянулъ на меня съ недоумѣніемъ, какъ бы спрашивая: это еще что за выдумка?



— Я знаю,—продолжалъ я:—вы думаете: рубль—это денежный знакъ...

— Но... *sapristi!* надѣюсь...

— Въ томъ-то и дѣло, что это не совѣмъ такъ. Чтобъ сдѣлаться денежнымъ знакомъ, рубль долженъ еще заслужить. Если онъ заслужилъ, его называютъ монетною единицей, если же не заслужилъ — желтенькою бумажкой.

— Гм... но еслибъ это было даже и такъ, для чего мнѣ это нужно знать?

— Ахъ, ваше сіятельство! вамъ обо всемъ необходимо необременительныя свѣдѣнія имѣть! Богъ милостивъ! вдругъ, паче чаянія, неровень часъ...

— Да; но даже и въ такомъ случаѣ... рубль такъ рубль, бумажка такъ бумажка...

— А вы попробуйте-ка къ этому дѣлу „понеже“ приспособить — анъ выйдетъ вотъ что: „Понеже за желтенькую бумажку, рублемъ именуемую, даютъ только полтинникъ,—того ради и дабы не вводить обывателей понапрасну въ заблужденіе, *Приказали*: низшимъ мѣстамъ и лицамъ предписать (и предписано), а къ равнымъ отнестись (и отнесено-сь), дабы впредь, до особаго распоряженія, оныя желтенькія бумажки рублями не именовать, но почитать яко сущіе полтинники“.

— Ну-съ, дальше-сь!

— А дальше опять: „Понеже желтенькія бумажки хотя и по сущей справедливости изъ рублей въ полтинники переименованы, но дабы предотвратить происходящій отъ сего для казны и частныхъ лицъ ущербъ, — того ради *Постановили*: употребить всяческое тщаніе, дабы оныя полтинники вновь до стоимости рубля довести“... А потомъ и еще „понеже“, и еще, и еще; до тѣхъ поръ, пока въ самомъ дѣлѣ что-нибудь путное выйдетъ.

— Позвольте! а ежели ничего не выйдетъ?

— Ну, тогда ужъ какъ Богу угодно...

— По-ни-ма-ю!

Однимъ утромъ, не успѣлъ я еще порядкомъ одѣться, какъ въ дверь ко мнѣ постучалась нумерная прислужница („la fille“, какъ ихъ здѣсь называютъ) и принесла карточку, на которой я прочиталъ: „Théodore de Twerdoontô“. Онъ ожидалъ меня въ читальномъ салонѣ, куда, разумѣется, я сейчасъ же и поспѣшилъ.

— Подхалимовъ! — сказалъ онъ мнѣ: — вы литераторъ! вы это можете... Напишите изъ моей жизни трагедію!

— Съ удовольствіемъ, графъ, — отвѣтилъ я.

— Такую трагедію, чтобъ всѣ сердца... ну, буквально, чтобъ всѣ сердца истерзались отъ жалости и негодованія... Подлецы, лстецы, предатели — чтобъ все тутъ было! Однимъ словомъ, чтобъ зритель сказалъ себѣ: понеже онъ былъ окруженъ лстецами, подлецами и предателями, того ради онъ ничего полезнаго и не могъ совершить!

— Понимаю, ваше сіятельство! Только все-таки позвольте подумать: надо эту мину умѣючи подвести.

— Я рассчитываю на васъ, Подхалимовъ! Надо же, наконецъ! надо, чтобъ знали! Человѣкъ жилъ, наполнилъ вселенную громомъ — и вдругъ... нигдѣ его нѣтъ! Вы понимаете... нигдѣ! Утонулъ и даже круга на водѣ... пузырей по себѣ не оставилъ! Вотъ это-то именно я и желалъ бы, чтобъ вы изобразили! Пузырей не оставилъ... поймите это!

Онъ быстро повернулся и пошелъ къ выходу, очевидно желая скрыть отъ меня охватившее его волненіе. Но я вспомнилъ, что для полнаго успѣха предстоящей работы мнѣ необходимо одно очень важное разъясненіе, и остановилъ его.

— Ваше сіятельство! позвольте одинъ нескромный вопросъ! сказала я: — когда человѣкъ сознаетъ себя, такъ сказать, вмѣстѣлищемъ государственности... какого рода чувство испытываетъ онъ?

Онъ остановился противъ меня и глубоко взволнованнымъ голосомъ произнесъ:

— C'est un sentiment... ineffable!!

Первый актъ былъ черезъ часъ конченъ мною. Содержаніе его составляло воспитаніе графа Твэрдоонтѣ. Молодой графъ требуетъ, чтобъ его обучали латинской грамматикѣ, но родители его находятъ, что это не комилѣфъ, и вмѣсто латинской грамматики заставляютъ его проходить науку о томъ, что есть истинная кобыла? Происходитъ борьба, въ которой юноша изнемогаетъ. Дѣйствіе оканчивается тѣмъ, что молодой графъ получилъ аттестатъ объ отличномъ окончаніи курса наукъ (по выбору родителей) и, держа оный въ рукахъ, восклицаетъ: „Вотъ и желанный аттестатъ полученъ! но спросите меня по совѣсти, что я знаю, и я долженъ буду отвѣтить: я знаю, что я ничего не знаю!“

Графъ прочиталъ мою работу и остался ею доволенъ, такъ что я сейчасъ же приступилъ къ сочиненію второго акта. Но тутъ случилось происшествіе, которое разомъ прекратило мои затѣи. На другой день утромъ я по обыкненію прохаживался съ графомъ подъ орѣшниками, какъ вдругъ... смотрю и глазамъ не вѣрю! Прямо на встрѣчу мнѣ идетъ, и даже не идетъ, а летитъ обнять меня... дѣйствительный Подхалимовъ!!

Вся эта сцена продолжалась только одно мгновеніе. Въ это мгновеніе Подхалимовъ успѣлъ назвать меня по фамиліи, успѣлъ расцѣловать меня, обругать своего редактора, рассказать анекдотъ про Гамбетту, сообщить, что Викторъ Гюго — скупердяй, а Луи Бланъ — старая баба, что онъ у всѣхъ былъ, медъ-пиво пилъ...

Графъ смотрѣлъ на эту сцену и понималъ только одно: что я не Подхалимовъ. Казалось, онъ сбирался проглотить меня...

И онъ непременно проглотилъ бы, еслибъ я не распорядился заблаговременно провалиться сквозь землю...

Самой собой разумѣется, что черезъ полчаса я уже оставилъ Интерлакенъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и Швейцарію.

Но для чего мнѣ понадобилось быть въ оной?



## ГЛАВА IV.

Съ представленіемъ о Франціи и Парижѣ для меня неразрывно связывается воспоминаніе о моемъ юношествѣ, то-есть о сороковыхъ годахъ. Да и не только для меня лично, но и для всѣхъ насъ, сверстниковъ, въ этихъ двухъ словахъ заключалось нѣчто лучезарное, свѣтоносное, что согрѣвало нашу жизнь и въ извѣстномъ смыслѣ даже опредѣляло ея содержаніе.

Какъ извѣстно, въ сороковыхъ годахъ русская литература (а за нею, конечно, и молодая читающая публика) подѣлилась на два лагеря: западниковъ и славянофиловъ. Былъ еще третій лагерь, въ которомъ копошились Булгарины, Бранты, Кукольники и т. п., но этотъ лагерь уже не имѣлъ ни малѣйшаго вліянія на подроставшее поколѣніе, и мы знали его лишь настолько, насколько онъ являлъ себя прикосновеннымъ къ вѣдомству управы благочинія. Я въ то время только-что оставилъ школьную скамью и, воспитанный на статьяхъ Бѣлинскаго, естественно примкнулъ къ западникамъ. Но не къ большинству западниковъ (единственно авторитетному тогда въ литературѣ), которое занималось популяризироваіемъ положеній нѣмецкой философіи, а къ тому безвѣстному кружку, который инстинктивно прилѣпился къ Франціи. Разумѣется, не къ Франціи Луи-Филиппа и Гизо, а къ Франціи Сень-Симона, Кабѣ, Фурьѣ, Луи Блана и въ особенности Жоржъ-Занда. Оттуда лилась на насъ вѣра въ человѣчество, оттуда возсіяла намъ увѣренность, что „золотой вѣкъ находится не позади, а впереди насъ... Словомъ сказать, все доброе, все желанное и любвеобильное—все шло оттуда.

Въ Россіи, — впрочемъ не столько въ Россіи, сколько специально въ Петербургѣ, — мы существовали лишь фактически или, какъ въ то время говорилось, имѣли „образъ жизни“. Ходили на службу въ соответствующія канцеляріи, писали письма къ родителямъ, питались въ ресторанахъ, а чаще всего въ кухмистерскихъ, собирались другъ у друга для собесѣдованій и т. д. Но духовно мы жили во Франціи. Россія представляла собой область, какъ бы застланную туманомъ, въ которой даже такое дѣло, какъ опубликованіе „Собранія русскихъ пословицъ“, являлось прихотливымъ и предосудительнымъ; напротивъ того, во Франціи все было ясно какъ день, несмотря на то, что газеты доходили до насъ съ вырѣзками и помарками. Такъ что когда министръ внутреннихъ дѣлъ Перовскій началъ издавать таксы на мясо и хлѣбъ, то и это заинтересовало насъ только въ качествѣ анекдота, о которомъ слѣдуетъ говорить съ осмотрительностью. Напротивъ, всякій эпизодъ изъ общественно-политической жизни Франціи затрогивалъ насъ за живое, заставлялъ и радоваться, и страдать. Въ Россіи все казалось поконченнымъ, запакованнымъ и за пятью печатью сданнымъ на почту для выдачи адресату, котораго заранее предположено не разыскивать; во Франціи — все какъ будто только-что начиналось. И не только теперь, въ эту минуту, а больше полустолѣтія сряду все начиналось, и опять, и опять начиналось, и не являло ни малѣйшаго желанія кончиться...

Навѣрное девяносто-девять сотыхъ изъ насъ никогда не бывали ни во Франціи, ни въ Парижѣ. Слѣдовательно насъ не могли восхищать ни буль-

вары, ни кокотки (въ то время ихъ называли еще лоретками), ни публичные балы, ни съѣстное раздолье. Все это пришло уже потомъ, когда Бонапартъ, съ шайкой бандитовъ, сначала растопталъ, а потомъ насквозь просмердилъ Францію; когда люди страннымъ образомъ обезличились, измелъчали и потускнѣли и когда всякій интересъ, кромѣ чревнаго, былъ объявленъ угрожающимъ. Но ежели наши сердца не изнывали тоской по шатобрианамъ или *barbue sauce Mornay*, зато мы не могли безъ сладостнаго трепета помыслить о „великихъ принципахъ 1789 года“ и обо всемъ, что оттуда происходило. А такъ какъ мѣстожительствомъ этихъ „принциповъ“ предполагался городъ Парижъ, то естественно, что симпатіи, ощущаемыя къ принципамъ, переносились и на него.

Но въ особенности эти симпатіи обострились около 1848 года. Мы съ неподдѣльнымъ волненіемъ слѣдили за перипетіями драмы послѣднихъ лѣтъ царствованія Луи-Филиппа и съ упоеніемъ зачитывались „Исторіей десятилѣтія“ Луи Влана. Теперь, когда уровень требованій значительно понизился, мы говоримъ: „Намъ хоть бы Гизо — и то слава Богу!“; но тогда и Луи-Филиппъ, и Гизо, и Дюшатель, и Тьеръ, — все это были какъ бы личные враги (право, даже болѣе опасные, нежели Л. В. Дуббельтъ), успѣхъ которыхъ огорчалъ, неуспѣхъ — радовалъ. Процессъ министра Теста, агитація въ пользу избирательной реформы, высокомерныя рѣчи Гизо по этому поводу, палата, составленная изъ депутатовъ, нагло называвшихъ себя *conservateurs endurcis*, наконецъ февральскіе банкеты, — все это и теперь такъ живо встаетъ въ моей памяти, какъ будто происходило вчера.

Я помню, это случилось на масляной 1848 года. Я былъ утромъ въ итальянской оперѣ, какъ вдругъ, словно электрическая искра, всю публику пронизала вѣсть: министерство Гизо пало. Какое-то неясное, но жуткое чувство внезапно овладѣло всѣми. Именно всѣми, потому что хотя тутъ было множество людей самыхъ противоположныхъ воззрѣній, но навѣрно не было такихъ, которые отнеслись бы къ событію съ тѣмъ жвачнымъ равнодушіемъ, которое впослѣдствіи (и даже, благодаря принятымъ мѣропріятіямъ, очень скоро) сдѣлалось какъ бы нормальною окраской русской интеллигенціи. Старики грозили очами, бряцали холоднымъ оружіемъ, цыркали и крутили усы; молодежь едва сдерживала безкорыстные восторги. Помнится, къ концу спектакля пало уже и министерство Тьера (тогда подобнаго рода извѣстія доходили до публики какъ-то неправильно и по секрету). Затѣмъ, въ теченіе какихъ-нибудь двухъ-трехъ дней, пало регентство, оказалось несостоятельнымъ эфемерное министерство Одилона Барро (этому человѣку всю жизнь хотѣлось кому-нибудь послужить, и наконецъ удалось-таки послужить Бонапарту), и, въ заключеніе, бѣжалъ самъ Луи-Филиппъ. Провозглашена была республика, съ временнымъ правительствомъ во главѣ; полились рѣчи, какъ изъ рога изобилія... Но даже Ламартиновское словесное распутство — и то не претило среди этой массы крушеній и рожденій. Громадность событія скрадывала фальшь отдѣльныхъ подробностей и на все набрасывала покровъ волшебства. Франція казалась странною чудесъ.

Можно ли было, имѣя въ груди молодое сердце, не плѣняться этою неистощимостью жизненнаго творчества, которое, вдобавокъ, отнюдь не согла-



шалось сосредоточиться въ опредѣленныхъ границахъ, а рвалось захватить все дальше и дальше? И точно, мы не только плѣнялись, но даже не особенно искусно скрывали свои восторги отъ глазъ бодрствующаго начальства. И вотъ, вслѣдъ за возникновеніемъ движенія во Франціи, произошло соответствующее движеніе и у насъ: учрежденъ былъ негласный комитетъ для разсмотрѣнія злокозненностей русской литературы. Затѣмъ, въ мартѣ, я написалъ повѣсть, а въ маѣ уже былъ зачисленъ въ штатъ вятскаго губернскаго правленія. Все это, конечно, сдѣлалось не такъ быстро, какъ во Франціи, но за то основательно и прочно, потому что я вновь возвратился въ Петербургъ лишь черезъ семь съ половиной лѣтъ, когда не только французская республика сдѣлалась достояніемъ исторіи, но и у насъ мундирные фраки уже были замѣнены мундирными полукафтанами.

Словомъ сказать, мыслительный процессъ шелъ совсѣмъ обратнымъ путемъ, нежели теперь. Мысль искала пищи въ сферахъ отдаленныхъ, оставаясь совершенно равнодушною къ роднымъ сферамъ. Судьбы министра Бароша интересовали не въ примѣръ больше, нежели судьбы министра Клейнмихеля; судьбы парижскаго префекта Мопя — больше, нежели судьбы московскаго оберъ-полиціймейстера Цынскаго, имя котораго намъ было извѣстно только изъ ходившаго по рукамъ куплета о брандтъ-майорѣ Тарновскомъ \*). Человѣкъ того времени настолько прижился въ атмосферѣ, насыщенной девизомъ „не твое дѣло“, что подлинно ему ни до чего *своего* не было дѣла. Такъ что избирательная борьба между Кавеньякомъ и Бонапартомъ, несомнѣнно, больше занимала русскіе мыслящіе умы, нежели, на примѣръ, замѣна дѣйствительнаго тайнаго совѣтника Перовскаго генераломъ отъ инфантеріи Бибиковымъ 1-мъ.

Въ такомъ положеніи насъ застала севастопольская кампанія.

Это было время глубокой тревоги. Въ первый разъ изъ кромѣшной тьмы выдвинулось на свѣтъ Божій „свое“ и вспугнуло не только инстинкты, но и умы. До тѣхъ поръ это „свое“ пряталось за цѣлою сѣтью всевозможныхъ формальностей, которыя преднамѣренно были комбинированы съ такимъ расчетомъ, чтобъ спрятать заправскую дѣйствительность. Теперь вся эта масса формальностей какъ-то разомъ оказалась прогнившею и истлѣла у всѣхъ на глазахъ. Изъ-за прорѣхъ и отребьевъ тлѣнія выступило наружу „свое“, вопіющее, истекающее кровью. Вся Россія, изъ края въ край, полна была стонами. Стонали русскіе солдатики и подъ Севастополемъ, и подъ Инкерманомъ, и подъ Альмою; стонали елабужскіе и бурмышскіе ополченцы, мѣся

\*) Вотъ этотъ куплетъ:

Брандтъ-майоръ Тарновскій  
Тѣмъ себя прославилъ,  
Что красы Санковской  
Цынскому представилъ.

Этими немногими строками повидимому исчерпывались все „отличныя заслуги“ и Тарновскаго, и Цынскаго: одинъ представилъ (можетъ быть, при рапортѣ), другой — получилъ. Весь же остальной „кондуитъ“ представляетъ гарниръ изъ сквернословія, зуботычинъ и нагаскъ, настолько общезвѣстный, что даже куплета не стоило сочинять.

босыми ногами грязь столбовыхъ дорогъ; стонали русскія деревни, провожая сыновей, мужей и братьевъ на смерть за „ключи“.

Оставаться равнодушнымъ къ этимъ стонамъ, не почувствовать, что стонетъ „свое“, родное, кровное — было немислимо. Но лучезарный ликъ Франціи все-таки мало пострадалъ при этомъ. Казалось (да и въ дѣйствительности такъ было), что причина всѣхъ бѣдствій заключается единственно въ Бонапартѣ этомъ постыднѣйшемъ изъ бандитовъ, когда либо удручавшихъ міръ позоромъ своего тяготѣнія. Онъ одинъ былъ виноватъ; онъ, безчестный, ненавистный и втайнѣ презираемый, но упитанный и самодовольный; онъ и шайка бандитовъ, помогшая ему зарѣзать Францію. У ногъ его лежало пораженное испугомъ людское стадо, а массы „лучшихъ людей“ изнывали въ ссылкахъ и въ изгнаніи. Но именно къ нимъ, къ этимъ лучшимъ людямъ, и стремились всѣ наши помыслы. И ежели мы не смѣшивали Францію съ Луи-Филиппомъ и его министрами, то тѣмъ меньше были склонны смѣшивать ее съ Бонапартомъ и его шайкой. Франція являлась передъ нами растоптанною, но незапятнанною, и продолжала свѣтить въ лицѣ ея изгнанниковъ.

Тѣмъ не менѣе, повторяю, сознание „своего“ уже теплилось. И ежели бы обстоятельства сложились благопріятнѣе, то, несомнѣнно, оно прошло бы и черезъ дальнѣйшія стадіи развитія. Но тогдашнія времена были тѣ суровыя, жестокія времена, когда все, напоминающее о сознательности, представлялось не только нежелательнымъ, но даже болѣе опаснымъ, нежели бѣдственные перипетіи войны. По крайней мѣрѣ такого мнѣнія держался тотъ безымянный сбродъ, который въ то время носилъ названіе русскаго „общества“. Благодаря своекорыстному и пустомысленному настроенію этого сброда, незамѣтно потонули первые, робкіе проблески сознательнаго отношенія русской мысли къ русской дѣйствительности. Рядомъ съ величайшей драмой, все содержаніе которой исчерпывалось словомъ „смерть“, шла позорнѣйшая комедія пустословія и пустохвальства, которая не только застилала событія, но положительно придавала имъ нестерпимый колоритъ. Люди, завѣдомо презрѣнные, лицемеры, глупцы, воры, грабители-пропойцы, проявляли такую нахальную живучесть и такъ укрѣпились въ своихъ позиціяхъ, что, казалось, вокругъ происходить нѣчто сказочное. Не скорбь слышалась, а какое-то откровенно-подлое ликованіе, прикрываемое рубрикой патріотизма. Никогда пьяный угаръ не охватывалъ такъ всецѣло провинцію, никогда жажда расхищенія не встрѣчала такого явнаго и безнаказаннаго удовлетворенія. Кости стараго Политковского стучали въ гробъ; младенецъ Юханцевъ задумывался надъ вопросомъ: „ужели я когда-нибудь превзойду?“ Среди этой нравственной неурядицы, гдѣ позабыто было всякое чувство стыда и боязни, гдѣ грабитель во всеуслышаніе именовалъ себя патріотомъ, человѣку сколько-нибудь брезгливому ничего другого не оставалось, какъ жаться къ сторонѣ и направлять всѣ усилія къ тому, чтобы заглушить въ себѣ даже робкіе порывы самосознательности. Лучше было совсѣмъ не знать „своего“, нежели на каждомъ шагѣ встрѣчаться лицомъ къ лицу съ постыднѣйшими его проявленіями.

Съ окончаніемъ войны пьяный угаръ прошелъ и наступило веселое похмелье конца пятидесятихъ годовъ. Въ это время Парижъ уже пересталъ



быть свѣточемъ міра и сдѣлался сокровищницей женскихъ обнаженностей и свѣтныхъ приманокъ. Нечего было ждать оттуда, кромѣ моднаго покроя штановъ, а слѣдовательно не объ чемъ было и вопрошать. Приходилось искать пищи около себя... И вотъ тогда-то именно и было положено основаніе той „благородной тоскѣ“, о которой я столько разъ упоминалъ въ предыдущихъ очеркахъ.

Въ 1870 году Франція опять напомнила о себѣ, но и тутъ между нею и людьми, симпатизирующими ей, стоялъ тотъ же позорный бандитъ. Дилемма была такова: если восторжествуетъ Франція, то вмѣстѣ съ нею восторжествуетъ и бандитъ; ежели восторжествуетъ Пруссія, то, Боже милостивый, какимъ истязаніямъ подвергнетъ она ненавистную „страну начинаій“, которая въ теченіи полустолѣтія неустаючи была тревогу! Наконецъ, однакожь, бандитъ палъ. Цѣлыхъ восемнадцать лѣтъ ругался онъ надъ трупомъ имъ же убитой Франціи, и теперь предоставилъ Пруссіи довершить дѣло поруганія. Но этого мало: какъ бы мстя за свою восемнадцати-лѣтнюю безнаказанность, бандитъ оставилъ по себѣ конкретный слѣдъ, въ видѣ организованной шайки, которая и теперь изъявляетъ готовность во всякое время съ легкимъ сердцемъ рвать на куски свое отечество.

Лично я посѣтилъ въ первый разъ Парижъ осенью 1875 года. Престоль былъ уже упраздненъ, но неподалеку отъ него сидѣлъ Мак-Магонъ и все что-то собирался состряпать. Многіе въ то время не безъ основанія называли Францію Макмагоніей, то-есть страню капраловъ, стоящихъ на стражѣ престоль-отечества въ ожиданіи Бурбона. Съ первыхъ же шаговъ, и именно въ Аврикурѣ (по страсбургской дорогѣ), я слышалъ капральскіе окрики. Ни медленности, ни проволокъ со стороны пассажировъ не допускалось; ни полъ, ни возрастъ, ни недуги—ничто не принималось въ оправданіе. Капраль дѣйствовалъ съ полнымъ неразумѣніемъ и держалъ себя тупо-неумолимо. Это былъ капраль наполеоновскаго пошиба (*à poigne*), невысказанный ни въ какой другой странѣ. Русскій капраль непременно началъ бы калякать, объяснять, что онъ тутъ ни-при-чемъ, а во всемъ виновато начальство. Нѣмецкій капраль — принялъ бы талеръ и уронилъ бы благодарную слезу. Одиный французскій капраль-бонапартистъ въ состояніи таращить глаза, какъ идолъ, и ничего другого не выказывать, кромѣ наклонности къ жестокому обращенію.

На человѣка, которому съ пеленокъ твердили о пресловутой *urbanité française*, эти капральскіе окрики дѣйствуютъ ужасно нецрѣятно. Съ досады приходитъ на мысль нѣчто не совсѣмъ великодушное. Вотъ, думается, если бы эти капралы съ такою же неуклонностью поступали въ 1870 году съ Пруссіей,—можетъ быть... Но кто же можетъ сказать, что бы тогда вышло! Вѣроятно всего сидѣлъ бы Бонапартъ и увѣчивалъ бы да увѣчивалъ зданіе... А теперь въ это зданіе затесался Мак-Магонъ и дѣлаетъ оттуда пруссаку книсьень, а на безоружныхъ пассажировъ покрикиваетъ: „*les voyageurs—déhors!*“

Но Парижъ все-таки пришелся мнѣ по душѣ. Чистый городъ, свѣтлый, свободно двигающійся, и, главное, врагъ той немотивированной, граничащей съ головною болью мизантропіи, которая такъ упорно преслѣдуетъ заѣзжаго

человѣка въ Берлинѣ. Самый угрюмый, самый больной человѣкъ — и тотъ непременно отыщеть доброе расположеніе духа и какое-то сердечное благоволеніе, какъ только очутится на улицахъ Парижа, а въ особенности на его истинно-сказочныхъ бульварахъ. Представьте себѣ иностранца, выброшеннаго сегодняшнимъ утреннимъ поѣздомъ въ Парижъ, человѣка одинокаго, не имѣющаго здѣсь ни связей, ни знакомствъ — право, кажется, и онъ не найдетъ возможности соскучиться въ своемъ одиночествѣ. Солнце веселое, воздухъ веселый, магазины, рестораны, сады, даже улицы и площади — все веселое. Я никогда не могъ себѣ представить, чтобъ можно было ощущать веселое чувство при видѣ площади; но, очутившись на Place de la Concorde, по истинѣ, убѣдился, что ничего невозможнаго нѣтъ на свѣтѣ. И тутъ же рядомъ, нѣтъ-то — веселый Тюльерійскій садъ, съ веселыми группами дѣтей; направо — веселая масса зелени, въ которой, какъ въ мягкомъ ложѣ изъ мха, нѣжится кварталъ Елисейскихъ Полей. Затѣмъ пройдите черезъ Тюльерійскій садъ, встаньте спиной къ развалинамъ дворца и глядите впередъ по направленію къ Arc de l'Etoile. Клянусь, глазъ не оторвете отъ этого зрѣлища. Какая масса пространства, воздуха, свѣта! И какъ все въ этой массѣ гармонически комбинировано, чтобъ громадность не переходила въ пустыню, чтобъ она не подавляла человѣка, а только пробуждала и поддерживала въ немъ веселую бодрость духа!

Веселое солнце льетъ веселые лучи на макадамъ улицъ и еще веселѣе смотрится и играетъ въ витринахъ ресторановъ и магазиновъ. Въ Парижѣ, кромѣ Елисейскихъ Полей, а въ прочихъ кварталахъ кромѣ немногихъ казенныхъ домовъ и отелей очень богатыхъ людей, почти нѣтъ дома, котораго нижній этажъ не былъ бы предназначенъ для ресторановъ и магазиновъ. Представьте себѣ, какую массу всякаго рода товара должны ежедневно выбрасывать изъ себя мастерскія, фабрики и заводы, чтобъ наполнить это безчисленное множество помѣщеній, изъ которыхъ многія по громадности не уступаютъ дворцамъ! И какую еще болѣшую массу увѣренности нужно имѣть въ томъ, что этотъ товаръ не залежится, а дойдетъ до потребителя!

И онъ дойдетъ — въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія. Товаръ этотъ такъ весело расположенъ въ витринахъ и такъ весело освѣщенъ, что и купить его любо. Прогулка по улицамъ Парижа, въ смыслѣ разнообразія, не уступаетъ прогулкѣ по любой выставкѣ. Каждая магазинная витрина представляетъ изящное сочетаніе красокъ и линій, удовлетворяющее самымъ прихотливымъ требованіямъ вкуса. На каждомъ шагѣ встрѣчается масса вещей, потребности въ которыхъ вы до тѣхъ поръ не подозревали, но которыя вы непременно купите, потому что эти вещи такъ весело смотреть, что даже впоследствии, гдѣ-нибудь въ Крапивнѣ, будутъ пробуждать въ васъ веселость и помогутъ нести урядническое иго. Изъ мельхіоровыхъ ложекъ парижскій магазинщикъ ухитрится сдѣлать цѣлое серебряное солнце, которое чуть не за полъ-версты манигъ къ себѣ прохожаго. Изъ мужскихъ шляпъ-цилиндровъ устраиваетъ такой милый пейзажъ, что человѣку, даже имѣющему на головѣ совсѣмъ новый цилиндръ, непременно придетъ на мысль: а не купить ли другой? Все кругомъ изящно, легко и, главное, весело. Прежде чѣмъ глазъ пресытится всѣми этими уличными изяществами, какая возможность скукѣ



проникнуть въ сердце даже одинокаго человѣка? А въ запасѣ еще музеи, галереи, сады, окрестности, которые тоже необходимо осмотрѣть, потому что, кромѣ того, что все это въ высшей степени изящно, интересно и весело, но въ то же время и общедоступно, то-есть не обуславливается ни протекціей, ни изнурительнымъ доставаніемъ билетовъ черезъ знакомыхъ чиновниковъ, ихъ родственницъ, содержанокъ и проч.

А потомъ — звуки. Нигдѣ вы не услышите такихъ веселыхъ, такъ сказать, натуральныхъ звуковъ, какъ тѣ, которые съ утра до вечера раздаются по улицамъ Парижа. *Les cris de Paris* — это цѣлая поэма, слагающая хвалу неистощимой производительности этой благословенной страны, — поэма, на каждый предметъ, на каждую подробность этой производительности отвѣчающая особымъ характернымъ звукомъ. И все это звуки коренные, свѣжіе, родившіеся на мѣстѣ, гдѣ-нибудь въ глубинѣ Бретани или Оверни (быть можетъ, поэтому-то они такъ и нравятся дѣтямъ), и оттуда перенесенные на улицы всемірной столицы. Такъ что, вмѣстѣ съ образчикомъ мѣстной производительности, вы видите и представителя ея, да сверхъ того слышите и образчикъ мѣстныхъ музыкальныхъ мелодій. Эти звуки перекрестной волной несутся со всѣхъ сторонъ, образуя, вмѣстѣ съ дразнящими криками „гаврошей“ \*), гармоническое цѣлое, до такой степени веселое, что оно несомнѣнно должно благотворнымъ образомъ дѣйствовать и на нравы обывателей. Даже полиціантъ, съ утра до вечера выслушивающій эти крики, нисколько не волнуется ими и не видитъ въ нихъ оскорбленія свойственнаго полицейскимъ чинамъ чувства изящнаго. По крайней мѣрѣ я не знаю ни одного случая, чтобы *gardien de la paix*, доведенный до неистовства назойливостью крикуновъ, далъ въ зубы какому-нибудь *marchand de coco* или назвалъ „курицыной дочерью“ *marchande de quatre saisons*.

Но этого мало: вы видите людей, которые поютъ „Марсельезу“, — и имъ это сходить съ рукъ. На первыхъ порахъ это меня ужасно смутило. Думаю: самъ-то я, разумѣется, не пѣлъ, — но какъ бы не пострадать за присутствованіе! И что-жъ оказалось! — что тутъ дѣло идетъ совершенно наоборотъ русской поговоркѣ, гласящей: „что русскому здорово, то нѣмцу — смерть“. Французу пѣть „Марсельезу“ здорово, а намъ — смерть. Все это очень обязательно объяснилъ мнѣ одинъ изъ *gardiens de la paix*, къ которому я обратился съ вопросомъ по этому предмету. „Поживете, говорить, у насъ, можетъ быть, и вы привыкнете“. И точно: пожилъ, и сталъ пробовать; сначала першило въ горлѣ, а потомъ привыкъ. И даже многихъ тайныхъ совѣтниковъ видѣлъ, которые губами подражали трубнымъ звукамъ, напѣвая:

Contrrrrrre nous de lla tyrrrrrrranie...

И — ничего; сошло съ рукъ и мнѣ, и имъ. Не дальше, какъ на дняхъ. встрѣчаю уже здѣсь, на Невскомъ, одного изъ парижскихъ тайныхъ совѣтниковъ, и, разумѣется, прежде всего интересуюсь:

\*) *Gavroches* — существа, которыя въ недавніе годы были извѣстны подъ именемъ *gamins de Paris*.

— А что, ваше превосходительство, не призывали къ отвѣту... за „Марсельезу“ -то... помните?

— Представьте себѣ... прошло!

— Представьте! и мнѣ — тоже!

Разумѣется, мы обнялись, и затѣмъ — ни гу-гу!

А вечеромъ весь Парижъ горитъ огнями — и бульвары, и главныя улицы, которыя гудятъ какъ пчелиный рой. Время отъ 8 до 12 часовъ — самое веселое. Это — время, когда отработавшійся людъ всей массой высыпаетъ на улицы, наполняетъ театры, рестораны, *débats de vin* и т. п. Происходить во всей формѣ уличный раутъ, веселый, красивый, живой. Разумѣется, тутъ скучать некогда. Театровъ масса, и во всякомъ нужно побывать. Французы сами жалуются на упадокъ драматической литературы, и эти жалобы, въ существѣ, безусловно справедливы, но для иностранца не столько важно то, что представляется на сценѣ, какъ то, какъ представляется, и въ особенности какъ относится къ представляемому публика. Въ этомъ отношеніи онъ не встрѣтитъ въ цѣломъ мірѣ ничего подобнаго. Въ особенности не встрѣтитъ такой публики. Это именно та чуткая, нервная публика, которая удешевляетъ силы актера и безъ которой было бы невысказимо для актера каждодневное повтореніе двѣсти разъ сряду одной и той же роли, какъ это сплошь бываетъ на парижскихъ театрахъ,

Помню, я пріѣхалъ въ Парижъ сейчасъ послѣ тяжелой болѣзни и все еще больной... и вдругъ чудодѣйственно воспрянулъ. Ходилъ съ утра до вечера по бульварамъ и улицамъ, одолѣвалъ довольно крутые подъемы — и не зналъ усталости. Мало того: иду однажды по бульвару и встрѣчаю русскаго доктора Г., о которомъ мнѣ было извѣстно, что онъ въ послѣднемъ градусѣ чахотки (и дѣйствительно, мѣсяца три спустя онъ умеръ въ Ниццѣ). Разумѣется, удивляюсь.

— Что вы это дѣлаете?

— Да вотъ, хожу!

— Помилуйте! вамъ бы дома сидѣть да „средствице“ принимать...

— Нельзя, батюшка, тянетъ на улицу...

И точно: „тянетъ на улицу“ — и шабашъ. Ибо парижская улица дѣйствительнѣе всякаго „средствица“. Озлобленному она проливаетъ миръ въ сердце, недугующему — подаетъ исцѣленіе. И я навѣрное знаю, что не Лурдская Богоматерь это дѣлаетъ, а именно веселая парижская улица.

Въ Парижѣ всѣ живутъ на улицѣ. Не говоря уже объ иностранцахъ и провинціалахъ, которые массаами, съ каждымъ изъ безчисленныхъ желѣзнодорожныхъ поѣздовъ, приливаютъ сюда и буквально покидаютъ улицу только для ночлега, даже коренной парижанинъ — и тотъ, съ перваго взгляда, кажется исключительно преданъ фланерству. Между тѣмъ на дѣлѣ нигдѣ не найдется болѣе ретиваго, спораго (или, какъ у насъ говорится, дошлаго) работника, какъ парижанинъ. Нѣмецъ работаетъ усердно, но точно во снѣ веревки вьетъ; у парижанина работа горитъ въ рукахъ. Нѣчто подобное представляетъ русскій работникъ въ страдную пору, но вѣдь это ужъ мученикъ. Парижанинъ работаетъ много, но съ добрымъ духомъ и никогда не имѣетъ усталаго вида. Достаточно присмотрѣться къ прислугѣ любого отеля,



чтобъ убѣдиться, какую массу работы можетъ сдѣлать человѣкъ, не утрачивая бодрости и не вая, какъ говорится, черезъ пень колоду. Я останавливался въ небольшомъ отелѣ, въ пяти этажахъ котораго считалось 25 комнатъ, и на весь отель прислуживалъ только одинъ гарсонъ. Часамъ къ восьми утра онъ успѣвалъ уже вычистить для всѣхъ квартирантовъ сапоги, ботинки, мужское и дамское платье, а съ восьми часовъ начиналъ летать по этажамъ, разнося кофе и завтракъ. Затѣмъ убиралъ комнаты, а нѣкоторымъ жильцамъ сервировалъ и обѣдъ. Сколько разъ въ день онъ, подобно мухѣ, взлеталъ изъ rez de chaussée, гдѣ помѣщались контора и кухня, на пятый этажъ — это даже опредѣлить невозможно. Только, бывало, и слышишь раздающееся сверху: „Emile!“ и отвѣчающее внизу: „voilà! voilà!“ И за всѣмъ тѣмъ этотъ молодой человѣкъ находилъ возможность еще выполнять комиссіи жильцовъ, что онъ дѣлалъ *гуляя*. И никогда я не видалъ его унылымъ или замученнымъ, а ужъ объ трезвости нечего и говорить: такую работу не совершенно-трезвый человѣкъ ни подъ какимъ видомъ не выполнитъ.

Однимъ словомъ, ежели и нельзя сказать, что парижанинъ своею ретивостью практически доказалъ, что вопросъ о travail attrayant — не праздная мечта, во всякомъ случаѣ мысль о трудѣ уже не застаётъ его врасплохъ. За то каждый моментъ, который ему удается урвать у работы, онъ уже всецѣло считаетъ *своимъ*, и отдаетъ его безпечности, фланированію и веселію. Три предмета проходятъ черезъ всю жизнь парижскаго ouvrier: работа, веселье и отъ времени до времени... революція. Все это онъ умѣетъ дѣлать чрезвычайно ловко, скоро, горячо, но отнюдь не безтолково. Оттого-то, быть можетъ, и кажется пріѣзжему иностранцу (это еще покойный Погодинъ замѣтилъ), что въ Парижѣ вотъ-вотъ сейчасъ что-то начнется.

Но, наглядѣвшись вдоволь на уличную жизнь, непростительно было бы не заглянуть и въ ту мастерскую, въ которой вершатся политическія и административныя судьбы Франціи. Я выполнилъ это впрочемъ уже весной 1876 года. Палаты въ то время еще засѣдали въ Версалѣ и на очереди стоялъ вопросъ объ амнистіи.

Дорога отъ Парижа до Версаля промелькнула очень весело. Во-первыхъ, на всемъ пути — прелестнѣйшія зеленныя окрестности: во-вторыхъ, я попалъ въ вагонъ, наполненный gauchiers и centre-gauchiers (членами лѣвой и лѣваго центра). Всѣ говорили безъ умолку. Соглашались почти единодушно, что въ принципѣ амнистія — мѣра не только справедливая, но и полезная; что послѣ пяти лѣтъ несомнѣннаго внутренняго мира было бы согласно съ здравой политикой закончить процессъ умиротворенія полнымъ забвеніемъ прошлыхъ междоусобій. Но, наговорившись на эту тему досыта, себесѣдники какъ бы по командѣ подносили къ носу указательные персты, произносили: „mais!“ — и глубокомысленно умолкали.

Признаюсь, загадочность этого „mais!“ чрезвычайно непріятно поразила меня. Я было-думалъ, что если ужъ выработалась: „понеже амнистія есть мѣра полезная“ и т. д. — то навѣрное дальше будетъ: „того ради, объявивъ оную, представить министру внутреннихъ дѣлъ, безъ потери времени“, и т. д. И вдругъ, вмѣсто того... mais! Повторю: сторяча я чуть было не разсердился, но потомъ вспомнилъ: ба! да вѣдь французское „mais“

—это то самое, что по-русски значить: выше лба уши не растут! Вспомнилъ — и сдѣлалось мнѣ такъ весело, такъ весело, что я не воздержался и сообщилъ о своемъ открытіи сосѣду (оказалось, что это былъ Лабулѣ, авторъ известнаго памфлета „Paris en Amérique“, а нынѣ сенаторъ и стыдливый клерикалъ). Онъ, въ свою очередь, подтвердилъ мою догадку и, поздравивъ меня съ тѣмъ, что Россія обладаетъ столь цѣлесообразными пословицами, присовокупилъ, что по-французски такого рода изреченія составляютъ особаго рода кодексъ, именуемый „la sagesse des nations“. Черезъ минуту всѣ пассажиры уже узнали, что въ средѣ ихъ сидитъ un journaliste russe, у котораго уши выше лба не растутъ. И всѣ напереывъ поздравляли меня, что я такъ отлично постигъ la sagesse des nations.

Какъ малый не промахъ, я сейчасъ же разсчиталъ, какъ это будетъ отлично, если я поговорю съ Лабулѣ по душѣ. Ужъ и теперь въ немъ заблужденій только чуть-чуть осталось, а ежели хорошенько пугнуть его, призвавъ на помощь sagesse des nations, такъ и совѣмъ пожалуй на путь истинный удастся обратить. Сначала его, а потомъ и до Гамбетты доберемся —эка важность! А Мак-Магонъ и безъ того готовъ...

И вотъ, какъ только приѣхали мы въ Версаль, такъ я сейчасъ же Лабулѣ подъ-ручку —и айда въ Hôtel des Reservoirs \*).

— Господинъ сенаторъ! Monsieur le sénateur! un verre de champagne... по-русски: чѣмъ Богъ послалъ! прошу!

— Съ удовольствіемъ! —согласился онъ, и на лицѣ его выразилась живѣйшая радость при мысли, что ему предстоитъ позавтракать на чужой счетъ.

Въ французъ-буржуа мнѣ сразу бросились въ глаза двѣ очень характерныя черты. Во-первыхъ, вѣявъ онъ охотно любить покошунствовать, но по секрету, почти всегда богомоленъ, и ежели можно такъ сдѣлать, чтобы никто не видалъ, то передъ всякимъ принятіемъ пищи непременно перекрестится и пошевелить губами. Вѣроятно онъ разсуждаетъ такъ: „Вѣрить я, разумѣется, не могу — это, братъ, дудки! Вольтеръ не велѣлъ! — но на всякій случай отчего не покреститься и не пошептать?.. вѣдь отъ этого ни руки, ни голова не отвѣлятся!“ Во-вторыхъ, французъ-буржуа не прочь повеселиться и даже кутнуть, но такъ, чтобы это какъ можно дешевле ему обошлось. Примѣрно, возьметъ въ карманъ гривенникъ и старается уконтентовать себя на рубль. Во всякомъ ресторанѣ можно увидѣть француза, который, спросивъ на завтракъ порцію салата, сначала съѣстъ политую соусомъ траву, потомъ начнетъ вытирать салатникъ хлѣбомъ и съѣстъ хлѣбъ, а наконецъ подниметъ посудину и посмотритъ на обратную сторону дна, нѣтъ ли и тамъ чего. Такимъ образомъ, и сердце у него играетъ, и для кармана обременѣнія нѣтъ! Точь въ точь по этой программѣ поступалъ и Лабулѣ. Сначала повернулся къ окошку и притворился, что смотритъ на улицу, хотя я очень хорошо примѣтилъ, что онъ потихоньку всей пятерней перекрестилъ себя пугою. Затѣмъ, когда принесли gigot de pré salé, то онъ, па-

\* ) Само собой разумѣется, что вся послѣдующая сцена есть чистый вымыселъ.



матую, что всё расходы по питанію приняты мной на себя, почти моментально проглотилъ свой кусокъ, совершивъ при этомъ цѣлый рядъ поступковъ, которые привели меня въ изумленіе. Во-первыхъ, началъ ножомъ ловить соусъ, во-вторыхъ, сталъ вытирать тарелку хлѣбомъ, быстро посылая куски въ ротъ, и наконецъ до того разсвирѣпѣлъ, что на самую тарелку началъ бросать любовственные взоры... Когда же я, испугавшись, сказалъ ему: — Зачѣмъ вы это дѣлаете, господинъ сенаторъ? Вѣдь если вы голодны, то я могу и другую порцію приказать подать... — то, къ удивленію моему, онъ отвѣчалъ слѣдующее:

— О, нѣтъ, я достаточно сытъ! Это я не отъ жадности такъ поступаю, а чтобъ соблюсти принципъ. Ибо такимъ только образомъ достигается „накопленіе богатствъ“.

Чудакъ!

Когда бутылка шампанскаго была осушена, языкъ у Лабулѣ развязался, и онъ пустился въ откровенности, которыя еще разъ доказали мнѣ, какая странная смѣсь здравыхъ понятій съ самыми превратными царствуетъ въ умахъ иностранцевъ о нашемъ отечествѣ.

Вы, русскіе, счастливы (здравò), — сказалъ онъ мнѣ: — вы чувствуете у себя подъ ногами нѣчто прочное (и это здравò), и это прочное на вашемъ живописномъ языкѣ (опять-таки здравò!) вы называете „каторгой“ (и неожиданно, и совершенно превратно!...)

— Позвольте, дорогой сенаторъ! — прервалъ я его: — вѣроятно кто-нибудь изъ русскихъ „веселыхъ людей“ ради шутки увѣрилъ васъ, что каторга есть удѣлъ всѣхъ русскихъ на землѣ. Но это неправильно. Каторгою по-русски называется такой образъ жизни, который присвоивается исключительно людямъ, не выполняющимъ начальственныхъ предписаній. Напримѣръ, если не приказано на улицѣ курить, а я курю — каторга! если не приказано въ прудѣ публичнаго сада рыбу ловить, а я ловлю — каторга!

— Однако!

— Тяжеленько, но за то прочно. Всѣмъ же остальнымъ русскимъ обывателямъ, которые не фордыбачать, а неуклонно исполняютъ начальственные предписанія, предоставлено жить припѣваячи.

— Mais le „pripévaïoutchi“ — c'est justement ce que j'ai voulu dire! La „katorga“ et le „pripévaïoutchi“...

— Совершенно два различныхъ понятія, любезный господинъ де-Лабулѣ. Значеніе слова „каторга“ я сейчасъ имѣлъ честь объяснить вамъ; что же касается до слова „припѣваячи“ — это то самое, объ чемъ вы, французы, въ романахъ поете: aimons, dansons et... chantons!

— Благодарю васъ. Но во всякомъ случаѣ моя мысль въ существѣ вѣрна: вы, русскіе, уже тѣмъ однимъ счастливы, что видите передъ собой прочное положеніе вещей. Каторга такъ каторга, припѣваячи такъ припѣваячи. А вотъ бѣда, какъ ни каторги, ни припѣваячи — ничего въ волнахъ не видно.

— Лабулѣ! да неужто у васъ до того дошло?

— Пхе!

— Прошу васъ, объясните вашу мысль!

— Очень просто. Ни одинъ французъ, лежа въ постели на ночь спать, не можетъ сказать себѣ съ увѣренностью, что завтра утромъ онъ не будетъ въ числѣ прочихъ разстрѣлянь!

— Что-жъ, по моему, это спасительный страхъ — и ничего больше!

— Oh! pardon!..

— Послушайте, мой другъ! Вы, французы, народъ легкомысленный. Надо же вашему начальству хоть какое-нибудь средство имѣть, чтобы нейтрализовать это легкомысліе!

— Въ существѣ я, разумѣется, съ вами согласенъ, но...

— Безъ „но“, Лабулѣ! и будемъ говорить по душѣ. Вы жалуетесь, что васъ каждочасно могутъ въ числѣ прочихъ разстрѣлять. Прекрасно. Но допустимъ даже, что ваши опасенія сбываются, все-таки вы должны согласиться, что это разстрѣліаніе произойдетъ не иначе, какъ съ разрѣшенія Мак-Магона. А ну-те, скажите-ка по совѣсти: ужели Мак-Магонъ рѣшится на такую крайнюю мѣру, если вы сами не заслужите ее вашимъ неблагонадежнымъ поведеніемъ?

Лабулѣ вмѣсто отвѣта поникъ головой.

— Вы не отвѣчаете? очень радъ! Будемте продолжать. Я разсуждаю такъ: Мак-Магонъ — безспорно добрый человѣкъ, но вѣдь онъ не ангелъ! Каждый божій день, чуть не каждый часъ, во всѣхъ газетахъ ему даютъ косвеннымъ образомъ понять, что онъ дуракъ!!! — развѣ это естественно? Нѣтъ, какъ хотите, а когда-нибудь онъ разсердится, и тогда...

— И прекрасно сдѣлаетъ!

— Очень радъ, что вы пришли къ такому здравому заключенію. Но слушайте, что будетъ дальше. У насъ, въ Россіи, если вы лично ничего не сдѣлали, то вамъ говорятъ: живи припѣваючи! У васъ же, во Франціи, за то же самое, вы неожиданно, въ числѣ прочихъ, попадаете на каторгу! Понимаете ли вы теперь, какъ глубоко различны понятія, выражаемыя этими двумя словами, и въ какой степени наше отечество ушло впередъ... Ахъ, Лабулѣ, Лабулѣ!

Я высказалъ это довольно строго, но, чтобъ не смутить моего собесѣдника окончательно, сейчасъ же смягчилъ свой приговоръ, сказавъ:

— А не выпить ли намъ еще бутылочку? на мой счетъ... а?

— Съ удовольствіемъ! — поспѣшилъ согласиться онъ, и, взявъ со стола опорожненную бутылку, посмотрѣлъ черезъ нее на свѣтъ и сказалъ: — пусто!

Принесли другую бутылку. Лабулѣ налилъ стаканъ и сейчасъ же выпилъ.

— Скажите, Лабулѣ, вѣдь вы клерикаль? — началъ я.

— То-есть, какъ вамъ сказать...

Овъ что-то пробормоталъ, потомъ покраснѣлъ и началъ смотрѣть въ окошко. Ужасно эти буржуа не любятъ, когда ихъ въ упоръ называютъ клерикалами?

— Впрочемъ я думаю, что вы больше по части служителей алтаря прохаживаетесь? ихъ преимущественно протезируете? — продолжалъ я допросъ.

— То-есть, какъ вамъ сказать! Конечно, служители алтаря... Алтаря! mais j'espère que c'est assez crâne!



— А Бога... любите?

Лабулѣ вновь поникъ головой.

— И Бога надобно любить, Лабулѣ! служителей алтаря надо любить ради управы благочинія, а Бога—для Него самого!

Но онъ угрюмо молчалъ.

— Богъ—Онъ Царь Небесный! такъ-то, Лабулѣ!

Но онъ и на это не отвѣчалъ. Однако я видѣлъ, что въ душѣ онъ уже раскаиивается, а потому, дабы не отягощать его дальнѣйшимъ испытаніемъ на эту тему, хлопнулъ его по колѣну и воскликнулъ:

— А вотъ я и еще одну проруху за вами замѣтилъ. Давеча, какъ мы въ вагонѣ ѣхали, всѣ вы, французы, объ конституціи поминали... А по моему, это пустое дѣло.

— Saperlotte!

— Знаю я, что вамъ, французамъ, трудно безъ конституціи обойтись! Ужъ коли Богъ послалъ крестъ, такъ надо его съ терпѣніемъ нести... ну, и несите, Богъ съ вами! А все-таки язычокъ-то попридержать не худо!

— Да, но согласитесь, что трудно избѣжать въ разговорѣ слова „конституція“, если рѣчь идетъ именно о томъ, что оно выражаетъ? А у насъ съ семьсотъ-восемьдесятъ-девятого года...

— Знаю и это. Но у насъ мы говоримъ такъ: иллюзіи — и конченъ балъ. Скажите, Лабулѣ, которое изъ этихъ двухъ словъ по вашему мнѣнію выражаетъ болѣе широкое понятіе?

Это открытіе такъ поразило Лабулѣ, что онъ даже схватился за бока отъ восторга.

— Иллюзіи... ха-ха!—захлебывался онъ: —и притомъ въ особенности ежели... *illusions perdues*... ха-ха!

— Вотъ то-то и есть. Вы объ насъ, русскихъ, думаете: сѣверные медвѣди! а у насъ между тѣмъ терминологія...

— Но знаете ли вы, что это изумительно! то-есть, изумительно вѣрно и хорошо!

— А я объ чемъ же говорю! Я говорю: нужда заставитъ и калачи ѣсть...

— Это еще что такое?

— Очень просто. При обыкновенныхъ условіяхъ жизни, когда человѣкъ всѣмъ доволенъ, онъ удовлетворяется и мякиннымъ хлѣбомъ; но когда его пристигнетъ нужда, то онъ становится избобрѣтательнымъ, и въ награду за эту избобрѣтательность получаетъ возможность ѣсть калачи.

— Продолжайте, прошу васъ. Я весь—вниманіе.

— И такъ, продолжаю. Очень часто мы, русскіе, позволяемъ себѣ говорить... ну, самыя, такъ сказать, непозволительныя вещи! Такія вещи, что ни въ какомъ благоустроенномъ государствѣ стерпѣть невозможно. Ну, разумѣется, подлавливаютъ насъ, подстерегаютъ—и никакъ ни изловить, ни подстеречь не могутъ! А отчего?—оттого, господинъ сенаторъ, что нужда заставляла насъ калачи ѣсть!

— Изумительно!

— А вы, французы,—зудите. Заладите одно, да и твердите на всѣхъ перекресткахъ. Развѣ это пріятно? Возьмемъ хоть бы Мак-Магона,—развѣ

ему пріятно, что вы ему черезъ часъ по ложкѣ конституціей въ носъ тычите? Ангель — и тотъ сбѣсится!

— Чтò правда, тò правда!

— Такъ вотъ чтò, Лабулè. Общайте вы мнѣ, что впредь объ конституціи — ни гу-гу! Пускай Гамбетта Подхалимову насчетъ конституцій открывається, а мы съ вами — шабань!

— Прекрасно... чудесно! Я совершенно... Русскій! вы... очаровали меня!

— Нѣтъ, Лабулè, вы не влиайте, а говорите прямо: общаете или нѣтъ?

— Отлично! очаровательно! *Vive Henri Cinq!.. c'est ça!* Но вѣдь онъ... смоковница-то... сказывала мнѣ намереніе *m-lle Крузеттъ*...

Повидимому Лабулè намѣревался излиться передо мной въ жалобахъ по поводу Шамбора, въ смыслѣ смоковницы, но шампанское уже сдѣлало свое дѣло: собесѣдникъ мой окончательно размякъ. Онъ опять взялъ опорожненную бутылку и посмотрѣлъ на свѣтъ, но уже не смогъ сказать: „пусто!“, а какъ снопъ грохнулся въ кресло и моментально заснулъ. Увидѣвши это, я пошевелилъ мозгами, и въ умѣ моемъ столь же моментально созрѣла идея: уйду-ка я за добра-ума изъ отеля, и ежели меня остановятъ, то скажу, что по счету сполна заплачу Лабулè.

Такъ я и поступилъ.

Я шелъ въ палату депутатовъ и вдвойнѣ радовался. Во-первыхъ, мнѣ удалось поймать въ свѣти благонамѣренности такую крупную рыбку, какъ сенаторъ французской республики. Во-вторыхъ, я успѣлъ въ этомъ, не затративъ ни одного сантима, а, напротивъ, самъ довольно плотно позавтракавъ насчетъ новообращеннаго. Воображаю, какъ онъ вытаращитъ глаза, когда проснется, и увидитъ передъ собой *addition!* Вотъ-то, я думаю, выругается! Пожалуй еще процессъ, подлецъ, затѣетъ! Ну, нѣтъ, не посмѣетъ! Пьянъ былъ... сенаторъ! сенатору, братъ, пьянымъ быть не полагается. А впрочемъ ежели и затѣетъ процессъ, такъ вѣдь у меня и на этотъ случай „*sa gesse des nations*“ въ запасѣ есть. Скажу: я не я, и лошадь не моя, и я не извозчикъ — поди уличай! Кто больше выпилъ? кто больше съѣлъ? Ты! ты, сенаторъ, и выпилъ, и съѣлъ! — стало быть, ты и плати! Словомъ сказать, очень мнѣ было весело. Когда я проникъ въ трибуну иностранныхъ журналистовъ, Клемансè \*) уже разглагольствовалъ. Суконнымъ языкомъ онъ произнесъ суконную рѣчь, которая продолжалась не меньше трехъ часовъ и каждый періодъ которой вызывалъ въ слушателей только одну мысль: никого, братецъ, ты своими разглагольствованіями не удивишь! такъ что если уже утромъ, ѣдучи въ Версаль, я сомнѣвался въ успѣшномъ исходѣ дѣла, то теперь, слушая Клемансè, чувствовалъ, что и сомнѣнія не можетъ быть. Онъ стоялъ на трибунѣ, прямой, самодовольный, обложенный грудю книгъ и фоліантовъ; сначала бралъ одну книгу, потомъ другую и, какъ чадолюбивая насѣдка, выклеивалъ одну цитату за другой, думая насытить ими голодное

---

\*) Клемансè — вожакъ крайней лѣвой. Какъ ораторъ, онъ считается соперникомъ Гамбетты. Его рѣчь въ пользу амнистіи собственно и составляла интересъ за сѣданія, потому что самый вопросъ уже заранѣе былъ предрѣшенъ противъ амнистіи.



стадо звѣрей. Сзади его сидѣлъ президентъ палаты Гриви (нынѣшній президентъ республики) и, грозно взглядывая на бонапартистовъ, съ заученно-деревяннымъ жестомъ протягивалъ руку къ колокольчику всякій разъ, какъ Кассаньяки отецъ и сынъ начинали подвывать. Лицомъ къ оратору сидѣли: напротивъ—министры Бюффѣ, Деказь и прочіе сподвижники Мак-Магона, и своими деревянными фізіономіями какъ бы говорили: хоть колъ на головѣ теши! За ними и по обѣ стороны—депутаты. Изъ нихъ выдѣлялись: направо—Кассаньякъ-отецъ, которому недоставало только бубнового туза на спину, чтобъ быть въ полной парадной формѣ; налѣво—Гамбетта, который, какъ канцельмейстеръ оркестромъ, ловко дирижировалъ „лѣвою“ и „республиканскимъ союзомъ“.

Повторяю: Клемансѣ говорилъ ординарно, безколоритно, вяло. Скудоумна была уже сама по себѣ мысль говорить три часа о дѣлѣ, которое въ такомъ только случаѣ имѣло шансы на выигрышъ, еслибъ явилась ораторская сила, которая сразу сорвала бы палату и въ общемъ взрывѣ энтузіазма потопила бы колебанія робкихъ людей. Но такой ораторской силы въ настоящее время въ палатѣ нѣтъ, да ежели бы она и была, то врядъ ли бы ей удалось прошибить толстотысяхъ буржуа, которыхъ нагналъ въ палату со всѣхъ концовъ Франціи пресловутый *scrutin d'arrondissement*, выдвинувшій впередъ исключительно мѣстный элементъ.

Я думаю насчетъ этого такъ: истинные ораторы (точно также какъ и истинные баснописцы), такіе, которые зажигаютъ сердца человѣковъ, могутъ появляться только въ такихъ странахъ, гдѣ долго существовалъ извѣстнаго рода гнетъ, какъ напримѣръ рабство, диктатура, канцелярская тайна, ссылка въ мѣста не столь отдаленныя (а отчего же впрочемъ и не въ отдаленныя?) и проч. Подъ давленіемъ этого гнета, въ сердцахъ накапливается раздраженіе, горечь и страстное стремленіе прорвать плотину поскудства, опутывающаго жизнь. Въ большинствѣ случаевъ, разумѣется, побѣда останется на сторонѣ гнета, и тогда ораторы или стараются сами собой, или кончаютъ карьеру въ мѣстахъ болѣе или менѣе отдаленныхъ. Но бываетъ и такъ, что гнетъ вдругъ самъ собою ослабнетъ, и плотину съ громомъ и трескомъ разнесетъ. Вотъ тогда-то вылѣзаютъ изъ всѣхъ щелей ораторы. Во Франціи это случилось во время „великой французской революціи“. Много до того времени накопилось: и барщина, и общая экономическая неурядица, и всякія расхищенія. И все не было да не было ораторовъ, какъ вдругъ—Мирабо! А за нимъ какъ изъ рога изобилія посыпались: Дантонъ, Сентъ-Жюсть, Камилль Демуленъ, Вернье... Какую массу гнета нужно было накопить, чтобъ разомъ предъявить міру столько страстности, горечи, раздраженія, сколько было вылитое устами этихъ людей!

Но люди благополучные, невымученные, рѣдко чувствуютъ потребность зажигать человѣческія сердца, и въ дѣлѣ ораторства предпочитаютъ разводъ канитель. Адвокатъ, который ничего не получилъ впередъ, всегда защищаетъ порученное ему дѣло съ большимъ азартомъ, нежели адвокатъ, который половину денегъ взялъ впередъ, а насчетъ остальной половины обезпечилъ себя хорошею неустойкой. Въ словахъ перваго слышится и горечь опасенія, и желаніе прельстить и разжалобить кліента: вотъ я какъ въ твою

пользу распинаясь, смотри же, и ты не надуй! Всё эти чувства сообщаютъ его рѣчи живой и взволнованный характеръ, который не можетъ не дѣйствовать и на чувствительнаго судью. Напротивъ того, въ словахъ адвоката благополучнаго слышится только одно: я свои деньги получилъ. То же самое явленіе повторяется и здѣсь, въ палатѣ депутатовъ. Люди всходятъ на трибуну и говорятъ. Не потому говорятъ, что слово, какъ долго сдержанный потокъ, само собой рвется наружу, а потому, что, принадлежа къ извѣстной политической партіи, невозможно, хоть отъ времени до времени, не дѣлать честь знамени. Тотъ внутренній очагъ, изъ котораго надлежало бы вылетать словесному пламени, ежели не совѣмъ потухъ, то слишкомъ вяло поддерживается и изнутри, и извнѣ.

*Oratores fiunt* — очень справедливъ этотъ латинскій афоризмъ. То-есть, Демосоены, Мирабо, Демулены, Дантоны — *nascuntur*; а Цицероны, Тьеры, Клемансо, Гамбетты и нѣкоторые русскіе *langues bien pendues* — эти *fiunt*. Современный французскій политическій ораторъ отяжелѣлъ и ожирѣлъ; современные слушатели его — тоже отяжелѣли и ожирѣли. Первый потерялъ способность зажигать; второй утратилъ способность быть зажигаемымъ. Въ области матеріальныхъ интересовъ, какъ на примѣръ: пошлинъ, налоговъ, проведенія новыхъ желѣзныхъ дорогъ и т. п., эти люди еще могутъ почувствовать себя затронутыми за живое и даже испустить вопль сердечной боли; но въ области идей они очевидно только отбываютъ повинность въ пользу того или другого политическаго знамени, подъ сѣнь котораго ихъ поставила или судьба, или личный расчетъ.

Говорятъ, будто такъ именно и нужно. Пора, дескать, надзвѣздныя-то сферы оставить, а обратиться къ землѣ и такъ устроиться, чтобы долѣ жилось хорошо. Но мнѣ кажется, что этой послѣдней, конечной цѣли мы именно только тогда и достигнемъ, когда въ надзвѣздныхъ сферахъ будетъ учрежденъ достаточно прочный порядокъ. Конечно, это, какъ говорится, шиворотъ-навыворотъ, но что же дѣлать, коли такъ ужъ издавна повелось, что изъ хаоса природы прежде выдѣлилось начальство, а потомъ ужъ ради обстановки и прочіе обыватели. По моему, нельзя не имѣть въ виду этого, ибо если нельзя устроиться какъ слѣдуетъ въ надзвѣздныхъ сферахъ, то непременно придетъ генераль-маіоръ Отчаянный (по-французски Мак-Магонъ), крикнетъ: „а кто вамъ, такіе сякіе, разрѣшилъ не въ свое дѣло носъ совать... брысь всё!“ — и полетѣли прахомъ всё наши благоначинанія и труды!

Сверхъ-того, для насъ, иностранцевъ, Франція, какъ я уже объяснилъ это выше, имѣла еще особое значеніе — значеніе свѣточа, лившаго свѣтъ *coelum hominibus*. Поэтому какъ-то обидно дѣлается при мысли, что этотъ свѣточъ погибъ. Да и зрѣлище неизящное выходитъ: все былъ свѣточъ, а теперь на томъ мѣстѣ, гдѣ онъ горѣлъ, сидятъ ожирѣвшіе мѣялы и курлыкаютъ. Точь въ точь какъ у насъ журналистъ Менаандръ, который въ „старѣйшей Пѣнокосимательницѣ“ все надеждася-курлыкалъ: „наше время не время широкихъ задачъ!“ курлыкалъ да курлыкалъ, а пришелъ тайный совѣтникъ Петръ Толстолобовъ, крикнулъ: „ты что тутъ революцію распространяешь... брысь!“ — и слопалъ Менаандра!

Но какъ ни мало привлекательна была рѣчь Клемансо и вообще вся



обстановка палатскаго засѣданія, все-таки, выходя изъ палаты, я не могъ воздержаться, чтобъ не воскликнуть: „вотъ кабы у насъ такъ!“ Чтò дѣлать! такіе ужъ у насъ, русскихъ, глаза завистливые, что не можемъ мы въ чужомъ глазу сучка видѣть, чтобъ себѣ того же не пожелать. Даже тайный совѣтникъ Куроцаповъ, встрѣтившись со мной на бульварѣ и насмотрѣвшись на здѣшніе порядки, — и тотъ воскликнулъ: „вотъ такъ правительство! смотрите-ка, какими щетками грязь съ улицъ счищаютъ!“ И дѣйствительно, отъ чего бы у насъ своихъ Клемансо, своихъ Кассаньяковъ и Гамбеттъ не завести? Вѣдь и во Франціи Клемансо удовольствіе не получалъ, и у насъ бы не получилъ; стало быть... А что касается до гвалта и криковъ, которые зачастую развлекаютъ вниманіе посѣтителей палаты, то вѣдь это одна форма: пошумять, поругаются въ честь знамени — а потомъ и опять какъ съ гуся вода. И у насъ драки зачастую случаются — такъ въ чемъ же спрашивается, опасность? Такъ вотъ нѣтъ же, скорѣе миллионъ щетокъ для очищенія улицъ отъ грязи заведутъ, а ужъ Гамбеттъ не дадутъ рта разинуть — шалишь! Отъ того-то и весело въ Парижѣ, что все тамъ есть и все можно видѣть, обо всемъ говорить и даже поврать. Даже у русскихъ тамъ сердце играетъ. А у насъ дома ничего нѣтъ, стало-быть и глядѣть не на чтò, и языкъ нѣ изъ-за чего шевелить. Правда, иногда и у насъ случается слышать, будто въ такомъ-то мѣстѣ, еще со временъ царя Гороха, засѣдаетъ такая-то коммисія — ну, и пушай ее засѣдаетъ! А я пойду въ портерную или въ питейный, налыкаюсь до сыта, ворочусь домой и лягу спать! Вотъ тебѣ и коммисія!

Развѣ можно сказать про такую жизнь, что это жизнь? развѣ можно сравнить такое существованіе съ французскимъ, хотя и послѣднее мало-помалу начинаетъ пріобрѣтать мѣняльный характеръ? Французъ все-таки хоть надъ Гамбеттой посмѣяться можетъ, назвать его *le gros Léon*, а у насъ и Гамбетты-то нѣтъ. А надъ прочими, право, и смѣяться даже не хочется, потому что... Ну, да ужъ Христосъ съ вами! плодитесь, множитесь и населяйте землю!

Я возвратился изъ Версаля въ Парижъ съ тѣмъ же поѣздомъ, который уносилъ и депутатовъ. И опять всѣ французы жужжали, что, въ сущности, Клемансо правъ, но что же дѣлать, если уши выше лба не растутъ. И всѣмъ было весело, до такой степени весело, что многіе даже осмѣлились и начали вслухъ утверждать, что Мак-Магонъ совсѣмъ не такъ простъ, какъ это можетъ казаться съ перваго взгляда.

Въ то время было принято называть Мак-Магона „честною шпагой“ (кажется, Тьеръ первый окрестилъ его этимъ прозвищемъ), но многіе къ этому присовокупляли, что „честная шпага“ есть прозвище иносказательное, подъ которымъ слѣдуетъ разумѣть очень-очень простодушнаго человѣка. Сверхъ того, по поводу того же Мак-Магона и его свойствъ, въ летучей французской литературѣ того времени шелъ довольно оживленный споръ: какъ слѣдуетъ понимать простоту (опять-таки подъ псевдонимомъ „честной шпаги“), то-есть видѣть ли въ ней гарантію въ родѣ, напримѣръ, конституціи, или, напротивъ, ожидать отъ нея всякихъ угрозъ?

Разумѣется, до моего мнѣнія никому во Франціи нѣтъ дѣла; но ежели бы нате чаянія меня спросили, то я сказалъ бы слѣдующее. Съ одной сто-

роны, простота заключаетъ въ себѣ очень серьезную угрозу, но, съ другой стороны, она же можетъ представлять и извѣстныя гарантіи. А за всеѣмъ тѣмъ не представлялось бы для казны ущерба, еслибъ и совѣтъ ея не было.

Опасность, представляемая простотою, заключается въ томъ, что она имѣетъ все свойства воды, а потому отъ нея можно ожидать всякихъ видовъ, кромѣ тѣхъ, которые свидѣтельствуютъ о сознательности. Какъ въ водѣ случайно отражается и лучезарное небо, и небо угрожающее, такъ и въ глупости случайно отражается и благоволеніе, и ехидство. А такъ какъ рѣчь идетъ о глупости властной, которую въ большинствѣ случаевъ окружаютъ всевозможныя своекорыстія и алчности, то ехидство встрѣчается несомнѣнно чаще, чѣмъ благоволеніе.

Въ примѣръ того, какъ опасна глупость, могу представить дѣйствительнаго статскаго совѣтника Губошлепова. Покуда былъ у него правителемъ канцеляріи Пантелей Душегубцевъ, то онъ безъ всякой нужды ввѣренный ему градъ спалилъ, а самъ, стоя на вышинѣ и любуясь пожаромъ, говорилъ: „пускай за мое злочестіе пострадаютъ!“ И тотъ же Губошлеповъ, когда по обстоятельствамъ вынужденъ былъ взять въ правители канцеляріи Іону Добромыслова, то опять свой градъ иждивеніемъ гражданъ даже краше прежняго выстроилъ. Но такъ какъ и то, и другое дѣйствіе онъ допустилъ не отъ разума, а отъ глупости, то обыватели, сколько мнѣ извѣстно, и поднесъ новаго пожара ждуть.

Что касается гарантіи, которую можетъ представлять простота, то она состоитъ въ томъ, что простодушный человѣкъ не только самъ не сознаетъ чувства отвѣтственности, но и все доподлинно знаютъ, что ничему подобному неоткуда и заползти въ него. Поэтому безсовѣстные люди, стоящіе вокругъ простодушія, пользуются имъ лишь до извѣстныхъ предѣловъ. Самый наглій злодѣй, дѣйствуя въ союзѣ съ глупостью, понимаетъ, что послѣдняя отнюдь не представляетъ надежной защиты. Глупыхъ людей рѣдко ненавидятъ, а иногда даже жалѣютъ, видя въ нихъ лишь жалкое орудіе постороннихъ козней. Злодѣй понимаетъ это и сдерживается; а партикулярные люди благодарятъ Бога и говорятъ: „покуда у насъ Мак-Магонъ, мы у него какъ у Христа за пазухой“.

Но въ настоящемъ случаѣ вопросъ усложнился тѣмъ, дѣйствительно ли Мак-Магонъ только простъ, или же онъ, сверхъ того, и тупоумень. Ибо если простодушный человѣкъ еще можетъ представлять гарантію, то со стороны тупца ничего, кромѣ угрозъ, ожидать нельзя. Идея общаго блага равно чужда и глупому человѣку, и тупоумцу, но послѣдній уже дошелъ до пониманія личнаго блага и слѣдовательно получилъ опредѣленную цѣль для существованія. Въ основу этого личнаго блага легли самыя низменные инстинкты, но не надо забывать, что именно они-то и давятъ на человѣка наиболее настоятельнымъ образомъ. До такой степени давить, что тупецъ начинаетъ смѣшивать свое личное благо съ общимъ и подчинять послѣднее первому. И вотъ, когда онъ такимъ образомъ доведетъ свое міросозерцаніе до наглости, тогда-то именно и наступаетъ дѣйствительная опасность. Ибо тупецъ въ дѣлѣ защиты инстинктовъ обладаетъ громадною силой инициативы и никогда ни передъ чѣмъ не отступаетъ. Если ему покажется, что необходимо, въ видахъ



его личного самосохраненія, разстрѣлять вселенную — онъ разстрѣляетъ; ежели потребуется вавилонскую башню построить — онъ построитъ. Насколько несложны цѣли, которыя онъ преслѣдуетъ, настолько же несложны и средства для ихъ достиженія. Все въ немъ потухло: и воображеніе, и способность комбинировать, и продолжать будущее, все, кромѣ немолчно вопіющихъ инстинктовъ.

Что же такое, однакожъ, Мак-Магонъ? Разстрѣляетъ ли онъ или не разстрѣляетъ? Вотъ вопросъ, который виталъ надъ Парижемъ въ маѣ 1876 года.

Но повидимому Мак-Магонъ дѣйствительно былъ только „честная шпага“ и ничего больше. Рассказываютъ за достовѣрное, что все уже было какъ слѣдуетъ подстроено, что приготовлены были надежныя войска, чтобы раскассировать палату, и подряжены парадныя кареты, въ которыхъ Шамборъ имѣлъ въѣхать въ добрый городъ Парижъ...

Я понимаю, какъ эти слухи должны были волновать французовъ, которые хоть сколько-нибудь помнили и понимали прошлое Франціи. Чортъ знаетъ что такое? Сдѣлать одну великую, двѣ среднихъ и одну малую революцію, и за всѣмъ тѣмъ не быть обезпеченнымъ отъ обязанности кричать (или, говоря оффиціальнымъ языкомъ, *pousser des cris d'allégresse*): „vive Henri Cinq!“ — какъ хотите, а это хоть кого заставитъ биться лбомъ объ стѣну. И дѣйствительно, французы даже другъ другу боялись сообщить объ этихъ слухахъ, которые до такой степени представлялись осуществимыми, что, казалось, одного громко произнесеннаго слова достаточно было, чтобы произвести взрывъ.

Но въ рѣшительную минуту Шамборъ отступилъ. Онъ понялъ, что Мак-Магонъ не представляетъ достаточнаго прикрытія для заправскаго разстрѣлія „добраго города Парижа“. И Мак-Магонъ съ своей стороны тоже не настаивалъ. Но сверхъ того, и того, и другого, быть можетъ, смутило то обстоятельство, что палата, съ раскассирования которой предстояло начать „реставрацію“, не давала къ тому рѣшительнаго повода.

Будь палата нѣсколько болѣе нервная, проникнись она сильнѣе чело-вѣческими идеалами, Шамборъ навѣрное поступилъ бы съ нею по всей строгости законовъ. Но такъ какъ большинство ея составляли индѣйскіе пѣтухи, которые не знали удержа только въ смыслѣ уступокъ, то самъ выморочный Бурбоны вынужденъ былъ сказать себѣ: за что же я буду разстрѣливать сихъ невинныхъ пернатыхъ?

Положимъ, что Клемансѣ виноватъ; положимъ, что, кромѣ Клемансѣ, наберется и еще чело-вѣкъ десять, двадцать зачинщиковъ, которые сдобривали его суконную рѣчь криками: „bravo! très bien!“ — но что же изъ этого? Во-первыхъ, и Клемансѣ, и его укрывателей сама палата охотно во всякое время выдаетъ для разстрѣлія; во-вторыхъ, допустимъ даже, что вы разстрѣляете Клемансѣ, но съ какой стороны вы подступитесь къ индюкамъ, у которыхъ на всѣ подвохи уже зараньше готовъ отвѣтъ: *la république sans républicains*; а въ-третьихъ, вѣдь и самый Клемансѣ — развѣ онъ буянилъ, или грубилъ, или угрожалъ? Нѣтъ, онъ скромно ходатайствовалъ: коли лю-

бишь — прикажи, а не любишь — откажи! Такимъ кроткимъ манеромъ и передъ самимъ Шамборомъ ходатайствовать не возбраняется.

Однимъ словомъ, ежели въ древности Римъ спасли гуси, то въ 1876 году Францію спасли — индюки.

Подъ этимъ впечатлѣніемъ я и оставилъ Парижъ. Я разставался съ нимъ неохотно, но въ то же время въ умѣ уже невольно и какъ-то сама собой слагалась мысль: ахъ, эти индюки!

И возвратился въ Парижъ осенью прошлаго года. Я ѣхалъ туда съ гордымъ чувствомъ: республика укрѣпилась, говорилъ я себѣ, стало-быть законное правительство восторжествовало. Но при самомъ въѣздѣ меня возмутило одно обстоятельство. Парижъ... вонялъ!! Еще лѣтомъ въ Эмѣ, когда мнѣ случалось замѣтить, что около кургауза пахнетъ не совсѣмъ благополучно, мнѣ говорили: „это еще что! вотъ въ Маріенбадѣ или въ Парижѣ, чу, тамъ дѣйствительно“...

Въ Маріенбадѣ — страждущее человѣчество; въ Парижѣ — человѣчество благополучное. Два противоположныхъ явленія, а результатъ одинъ — вонь! Какая богатая антитеза и сколько блестящихъ страницъ написала бы по поводу ея Викторъ Гюго! Я же скажу кратко: пути, которыми ведетъ насъ предопредѣленіе, неисповѣдимы.

Дѣйствительно, пріѣхавши въ концѣ августа прямо въ Парижъ, я подумалъ, что ошибкой очутился въ Москвѣ, въ Охотномъ ряду. Тамъ тоже живутъ благополучные люди, а извѣстно, что никто не выдѣляетъ такую массу естественныхъ зловоній, какъ благополучный человѣкъ.

Что ему! ши ему даютъ такія, что не продуетъ; каши горшокъ принесутъ — и тамъ въ середкѣ просверлена дыра, налитая масломъ; стало быть, и тутъ не продуетъ. И такъ до трехъ разъ въ день, не говоря объ чаяхъ и сбитняхъ, отъ которыхъ сытости нѣтъ, но потъ все-таки прошибаетъ. Брюхо у него какъ барабанъ, глаза круглые, изумленные — надо же лишнюю тяжесть куда-нибудь сбить. Вотъ онъ около лавки и исправляется. А въ лавкѣ и товаръ подходящий: мясо, живность, рыба. Придетъ покупатель: „что у васъ въ лавкѣ словно экстренно пахнетъ?“ — а ему въ отвѣтъ: „такой ужъ товаръ-съ; безъ того нельзя-съ“.

Я знаю Москву чуть не съ пеленокъ; всегда тамъ воняло. Когда я еще на школьной скамьѣ сидѣлъ, Москва была до того благополучна, что даже на главныхъ улицахъ вонь стояла коромысломъ. На Тверской, напримѣръ, существовало множество крохотныхъ калачныхъ, изъ которыхъ съ утра до ночи валилъ хлѣбный паръ; множество полпивныхъ („полпиво“ — кто нынче помнитъ объ этомъ прекрасномъ, легкомъ напитокѣ?), изъ которыхъ сидѣльцы съ чистымъ сердцемъ выплескивали на тротуаръ всякаго рода остатки. По улицѣ свободно ходили разносчики съ горячими блинами, гречневиками, гороховиками, съ подовыми пирогами „съ лучкомъ съ перцемъ, съ собачьимъ сердцемъ“, съ патокой съ имбиремъ, которую „варилъ дядя Симіонъ, тетюшка Арина кушала-хвалила“, съ моченой грушей, квасомъ, сбитнемъ и проч. Воняло и отъ продуктовъ, и отъ продавцовъ, и отъ покупателей. Во-



няло отъ гостинницъ Шевалдышева, Шѡра, а пониже отъ гостинницъ: „Парижъ“ и „Римъ“. Въ этихъ пріютахъ останавливались по большей части иногородные купцы, прїѣзжавшіе въ Москву по дѣламъ, съ своей квашеной капустой, съ соленой рыбой, огурцами и прочей соленой и копченой снѣдью, ничего не требуя отъ гостинницы, кромѣ самовара, и ни за что не платя, кромѣ какъ за „тепло“. И такъ какъ въ то время о ватерклозетахъ и въ помышленіи ни у кого не было, то понятно, что весь этотъ упитанный капустою людъ оставлялъ свой слѣдъ понемногу вездѣ. Точно то же самое, въ большей или мѣншей мѣрѣ, представлялось и на Никитской, и на Арбатѣ, и на Кузнецкомъ Мосту. А къ Охотному ряду, къ Ильинкѣ, и къ купеческимъ усадьбамъ даже приступу не было: благодать видимо почивала на нихъ.

Но тогда этимъ какъ-то не отягощались и даже носовъ не затыкали. Казалось совершенно естественнымъ, что тамъ, гдѣ живутъ люди, и пахнуть должно человѣчествомъ. Въ самыхъ зажиточныхъ помѣщичьихъ домахъ не существовало ни вентиляторовъ, ни форточекъ; въ крайнихъ же случаяхъ „курили смолкой“. Я живо помню: бывало, подѣѣжаешь къ Москвѣ изъ деревни, то верстъ за шесть ужъ чувствуешь, что приближаешься къ муравейнику, въ которомъ кишать благополучные люди. „Москва близко! Москвой пахнетъ!“ говорили кучера и лакеи, и набожно снимали картузы, привѣтствуя золотыя московскія маковки. И что ближе, то пуше и гуще. И не было тогда ни дифтеритовъ, ни тифовъ, ни болѣзней сердца, а былъ одинъ врагъ тѣлесъ человѣческихъ: кондрашка. Поэтому говорили кратко: „вчера Сидоръ Кондратычъ съ вечера покушали, легли почивать, а сегодня утромъ смотримъ, а они приказали долго жить“.

Вообще я думаю, что и болѣзни, и самая смертность получаютъ развитіе по мѣрѣ усовершенствованія врачебной науки. Или, говоря другими словами, врачебная наука популяризируетъ болѣзни, дѣлаетъ ихъ общедоступными. Покуда врачебная наука была въ младенчествѣ, болѣзни посѣщали человѣка случайно. Иногда онъ „бился“ животомъ, иногда — кашлемъ, зубами, головой; иногда — кровь „просилась“. Выщеть человѣкъ квасу съ солью или, напротивъ, съѣстъ фунта два моченой груши — „пройдетъ“ животъ; поставитъ къ затылку горчишникъ — „пройдетъ“ голова; накаплетъ на синюю сахарную бумагу сала и приложитъ къ груди, или обернетъ на ночь шею заношеннымъ шерстянымъ чулкомъ — пройдетъ кашель; „кинетъ“ кровь — перестанетъ кровь „проситься“. Въ болѣе важныхъ случаяхъ, какъ на примѣръ при водянкѣ, желтухѣ и проч., ѣли таракановъ, мокрицъ и даже тѣхъ паразитовъ, которые населяютъ по преимуществу головы меньшей братіи. Но того, чтобъ какъ только родится человѣкъ, такъ сейчасъ же хлопотать о припискѣ его къ какому-нибудь органическому поврежденію — этого не было. Случались, правда, и тогда моровыя повѣтрія, но и на это опять-таки была воля Божія. Прегрѣшить помпадуръ, въ развратъ впадетъ — сейчасъ на губернію полетитъ или черная немочь, или огневица, или оспа. Тогда архіерей приказываетъ заложить въ колымагу четверку вороныхъ и ѣдетъ, съ двумя иподіаконами на заняткахъ, къ помпадуру печаловаться за сиротъ, и молитъ его путь прегрѣшеній оставить. Обыкновенно помпадуръ уступалъ, то-есть Душѣку толстомясую ссылалъ въ дальнюю вотчину или Варьку пу-

чеглазую выдавалъ замужъ за правителя канцеляріи, и тогда черная немочь прекращалась. Но ежели помпадуръ не уступалъ, то болѣзнь продолжала неистовствовать и наконецъ достигала такихъ размѣровъ, что всполошенное начальство само смѣняло помпадура. Тогда опять становилось тихо. Но, повторяю, не было ни такого разнообразія болѣзней, ни такой неизбѣжности ихъ, ни такой точности въ расписаніи людей по роду поврежденій. Все это ввела уже усовершенствованная врачебная наука и поставила этотъ вопросъ на такомъ незыблемомъ основаніи, что укрыться отъ „приписки“ стало совсѣмъ некуда. Такъ что, взирая, напримѣръ, на младенца, не о томъ нужно помышлять, поврежденъ онъ или не поврежденъ (это ужъ вѣ сомнѣнія), а о томъ, что именно въ немъ повреждено, и къ какому нарочитому доктору слѣдуетъ обратиться, чтобъ дать младенцу возможность влачить постыдное существованіе.

Ибо и въ смыслѣ врачебной практики совершился прогрессъ. Болѣе подробное изученіе болѣзней, удручающихъ родъ человѣческій, породило большую дробность въ ихъ опредѣленіи, и въ то же время дало мѣсто и множеству отдѣльныхъ специальностей. Въ прежнее время „лекаръ“ лечилъ *всѣхъ* и *отъ всего*. Лечилъ и старыхъ, и малыхъ, и дворянъ, и меньшую братію, и мужескъ и женскъ полъ. Лечилъ и отъ головы, и отъ живота, и отъ зубовъ, и кровь „бросалъ“. Нынче первый палецъ правой руки приписанъ къ собственному медику, живущему въ Развѣзжей, а первый палецъ лѣвой руки — къ медику, живущему на Васильевскомъ Острову. Одно ухо лечитъ одинъ врачъ; другое — другой. Приѣхали вы съ пальцемъ правой руки къ медику пальца лѣвой руки — онъ вамъ скажетъ: „конечно, я могу вамъ средствами прописать, а все-таки будетъ вѣрнѣе, если вы съѣздите на Васильевскій Островъ, къ Карлу Ивановичу“. И чтожъ! за всѣмъ тѣмъ безъ смерти не обойдешься. Ибо при такомъ множествѣ болѣзней и при такомъ разнообразіи специальностей одно только и остается прибѣжище: умереть.

Но этого мало: изумительные успѣхи врачебной науки внесли существенныя измѣненія и въ нашъ домашній обиходъ, въ наши, такъ сказать, основы. Ограничусь только однимъ примѣромъ: прежде, бывало, вознамѣрится чело-вѣкъ адюльтеръ совершить, сейчасъ становится передъ дамой сердца на колѣни и въ этомъ положеніи ожидаетъ дальнѣйшихъ инструкцій. И никакихъ произвольныхъ скандаловъ при этомъ не возникало, даже если мужъ дамы сердца находился въ сосѣдней комнатѣ. Нынче медицинская наука открыла, что чело-вѣкъ, становясь на колѣни, можетъ сдѣлать неловкое движеніе и повредить себѣ сѣдалищный нервъ. Именно такъ на дняхъ и случилось. Только-что всталъ молодой чело-вѣкъ на колѣни для ходатайства, какъ вдругъ не взвидѣлъ свѣта и заоралъ. Разумѣется, сбѣжался весь домъ, и прежде всѣхъ прибѣжалъ мужъ. Оказалось, что молодой чело-вѣкъ повредилъ себѣ сѣдалищный нервъ! И вотъ изъ-за подобнаго вздора возникаетъ цѣлый процессъ. Оскорбленный мужъ доказываетъ, что сѣдалищный нервъ былъ поврежденъ — „по“; невинная жена утверждаетъ, что — „до“. Разумѣется, на судъ будутъ вызваны эксперты, которые въ свою очередь станутъ приводить доводы *pro* и *contra*; потомъ то же самое будутъ развивать въ своихъ рѣчахъ адвокаты Баладайкинъ и Подсѣдалищниковъ; потомъ вступятся въ



это дѣло газеты. А въ концѣ концовъ окажутся три разбитыхъ существованія... Обращаюсь ко всѣмъ *jeunes premiers* сороковыхъ годовъ: кто изъ нихъ подозрѣвалъ, что у него есть какой-то сѣдалищный нервъ, который можетъ надѣлать переполоха въ столь обыкновенномъ дѣлѣ, какъ „чуждыхъ удовольствій любопытство“?

Нѣтъ, тысячу разъ былъ правъ графъ Твэрдоонтѣ (см. предыдущую главу), утверждая, что покуда онъ не ворошилъ вопроса о неизобиліи, до тѣхъ поръ хотя и не было прямого изобилія, но было „приспособленіе“ къ изобилію. А какъ только онъ тронулъ этотъ вопросъ, такъ тотчасъ же отовсюду и напояло неизобиліе. Точно то же самое повторяется и въ дѣлѣ тѣлесныхъ озлобленій. Только чуть-чуть поворошите эту матерію, а потомъ ужъ и не разстанетесь съ ней.

Извиняюсь передъ читателями за это отступленіе, но оно было необходимо, чтобъ объяснить, въ какой мѣрѣ отцы наши были болѣе благополучны, нежели мы. А если были благополучны, то, стало быть, отъ нихъ пахло. И отъ нихъ, и отъ ихъ жилищъ.

Далеко ли то время, когда въ московскомъ трактирѣ въ корридоръ нельзя было войти, чтобъ не воскликнуть: „что это, братцы, у васъ какъ будто того... чрезвычайное что-нибудь!“ Давно ли мнѣ, при созерцаніи рукъ мѣстныхъ половыхъ, думалось: „ахъ, эти руки! какихъ тайнъ онѣ были укрывателями!“ А между тѣмъ гдѣ, въ другомъ мѣстѣ такъ сладко пилося и ѣлось, какъ въ московскомъ трактирѣ? Гдѣ больше говорилось умныхъ и свободныхъ рѣчей? Гдѣ больше лгалось? И точно: выпьешь, бывало, листовки („рюмча, двѣ рюмки, три рюмки“, скороговоркой выговаривали половые), закусишь янтарнѣйшимъ балыкомъ — и не воняетъ! И руки у половыхъ внезапно сдѣлаются чистыя, и скатерти... ахъ, какія бывали тамъ скатерти! Не поймешь, что тутъ совершалось: яичницу ли ѣли, дитѣ ли сидѣло... даже половые — и тѣ, бывало, стыдились! И то же самое происходило и въ Новотроицкомъ, въ „Саратовѣ“, въ Охотномъ ряду у Воронина. И всѣ они были переполнены народомъ, вездѣ пили и ѣли!

Да и не въ одной Москвѣ, а и вездѣ въ Россіи, вездѣ, гдѣ жилъ человѣкъ, — вездѣ пахло. Потому что вездѣ было изобиліе, и всякій понималъ, что изобилія стыдиться нечего. Еще очень недавно въ Пензѣ хозяйственные купцы не очищали ретирадъ, а содержали для этой цѣли на дворахъ свиней. А въ Петербургѣ этихъ свиней ѣли подъ рубрикой „хлѣбной тамбовской ветчины“. И говорили: у насъ въ Россіи трихинъ въ ветчинѣ не можетъ быть, потому что наша свинья хлѣбная“.

А нынче пройдите-ка по Тверской — ароматъ! У Шевалдышева — ватерклозеты, въ „Парижѣ“ — ватерклозеты... Да и тѣ посѣщаются мало, потому что помѣщикъ нынѣ наѣзжаетъ легкій, неблагополучный. Только въ Охотномъ ряду (однако и тамъ на половину противъ прежняго) пахнетъ, да еще на Ильинкѣ толстотомные купцы бьются — урчатъ животами... Гамбетты!

Да что тутъ! На дняхъ получаю письмо изъ Пензы — и тутъ разочарованіе! „Сигну подѣлиться съ вами радостной вѣсточкой, — сообщаетъ мѣстный публицистъ: — и мы, пензяки, начали очищать нечистоты не съ помощью свиней, а на законномъ основаніи. Первый, какъ и слѣдовало ожидать, по-

далъ примѣръ нашъ уважаемый" и т. д. Ну, разумѣется, порадоваться-то и порадовался, но потомъ сообразилъ: какое же однако будетъ распоряженіе насчетъ „тамбовской хлѣбной ветчины“? Вѣдь этакъ, чего добраго, она съ рынка совсѣмъ исчезнуть должна!

Теперь сопоставьте-ка эти наблюденія съ извѣстіями о саранчѣ, колорадскомъ жучкѣ, гессенской мухѣ и пр. и скажите по совѣсти: куда мы идемъ? ужъ не того ли хотимъ добиться, чтобъ и на крестьянскихъ дворахъ ничѣмъ не пахло?

Конечно, это своего рода идеаль. Но придется ли дожидаться его осуществленія—это еще вопросъ. По моему, на крестьянскомъ дворѣ должно обязательно нахнуть, и ежели мы изгонимъ изъ него запахъ благополучія, то будетъ пахнуть недонками и урядниками.

И такъ, прежнее московское благополучіе перешло нынѣ въ Парижъ. Конечно, оно выразилось не въ тѣхъ простодушно-ясныхъ формахъ, въ какихъ проявлялось на полномъ, какъ чаша, дворѣ пензенскаго гражданина, но все-таки достаточно опредѣленно, чтобъ удовлетворить самымъ прихотливымъ требованіямъ.

Съ тѣхъ поръ какъ во Франціи восторжествовало „законное правительство“, съ тѣхъ поръ какъ буржуа, отдѣлавшись отъ Мак-Магонскихъ угрозъ, уже не думаетъ о томъ, придется ли ему предать любезное отечество, или не придется, Парижу остается только упитываться и тучнѣть. Такова характеристическая черта его существованія за послѣднее время. А слѣдуя его примѣру, упитывается и тучнѣетъ и остальная Франція. Никогда палата депутатовъ не видала въ стѣнахъ своихъ такихъ сытыхъ и жирныхъ сыновъ отечества, какъ тѣ, которые засѣдаютъ въ ней послѣ неудавшихся попытокъ Мак-Магона и его сподвижниковъ.

Республика повидимому отыскала для себя твердую почву, республика сытая, солидная, безъ республиканцевъ. Однимъ словомъ, осуществленіе идеала, излюбленнаго „маленькимъ буржуа“, которому недавно воздвигнутъ памятникъ въ С.-Жерменѣ. Этотъ человѣкъ сдѣлалъ все, чтобъ примирить пугливаго буржуа съ словомъ: „республика“. Онъ до срока и безъ усилій уплатилъ пруссакамъ контрибуцію, затѣмъ разгромилъ коммуну и въ заключеніе уничтожилъ національную гвардію. Но, главное, онъ указалъ новый исходъ для французскаго шовинизма, выяснивъ, что кромѣ военной славы есть еще слава экономическаго и финансоваго превосходства, которыми можно хвастаться столь же резонно, какъ и военными побѣдами, и притомъ съ меньшей опасностью.

О шовинизмѣ идейной инициативы онъ, разумѣется, благоразумно умолчалъ, да, признаться, послѣ восемнадцатилѣтняго срамнаго пребыванія подъ бандитской пиотой, было какъ-то не къ лицу и напоминать объ идеяхъ. Во всякомъ случаѣ, установившейся такимъ образомъ республикѣ безъ республиканцевъ удивительно повезло. Во-первыхъ, скромностью своею она снискала уваженіе всей Европы; во-вторыхъ, почти сразу свела на нѣтъ внутреннія политическія партіи. Изъ нихъ крайнія лѣвыя были поражены въ самое сердце, одновременно съ разгромомъ коммуны: династическія же партіи оказались безпредметными. Шамборъ безплоденъ; Орлеаны плодovitы и много-



численны, но лишены предприимчивости и хотя достаточно безсовѣстны, но не въ томъ смыслѣ, какой потребенъ для уловленія вселенной; и въ довершеніе благополучія—во цвѣтѣ лѣтъ погибъ Монтинхъ отпрыскъ. Такимъ образомъ, монархическія партіи, то-есть тѣ, которыя въслѣдствіе сочувствій вліятельныхъ сферъ имѣли возможность дѣйствительно вредить республикѣ, поставлены въ необходимость бездѣйствовать. Коли хотите, онѣ и теперь еще продолжаютъ протестовать, но дѣлаютъ это вяло, очевидно только ради формы. Поздравляютъ Шамбора со днями ангела и рожденія, служатъ парадныя панихиды въ дни казней Людовика XVI и Маріи-Антуанеты и проч. Но чуть коснется дѣло чего-нибудь болѣе существеннаго, въ родѣ, напримѣръ, субсидій отошавшему Шамбору, въ результатѣ какъ-то всегда оказывается пустое мѣсто. Что же касается до бонапартистовъ, то со смертью Лулу въ средѣ этихъ людей началась такая суматоха, которая несомнѣнно кончится тѣмъ, что шайка эта, утративъ послѣдніе признаки политической партіи, просто-на-просто увеличитъ собою ряды обыкновенныхъ хищниковъ, наказуемыхъ общими судами.

Однимъ словомъ, никто, кромѣ выжившихъ изъ ума Гаварди и Бодри д'Ассона (первый—сенаторъ, второй—депутатъ; оба—рьяные легитимисты), серьезно на нынѣшнюю французскую республику не претендуетъ. Даже Бисмаркъ—и тотъ относится къ ней безъ озлобленія, хотя и не безъ любопытства. Повидимому онъ совсѣмъ не того ожидалъ. Онъ рассчитывалъ, что пойдутъ въ ходъ воспоминанія 1789 и 1848 годовъ, что на сцену выдвинется четвертое сословіе въ сопровожденіи цѣлой свиты „проклятыхъ“ вопросовъ, что борьба партій обострится и все это вмѣстѣ взятое дастъ ему поводъ потихоньку да полегоньку разнести по кирпичу очагъ европейскихъ безпокойствъ. И вдругъ, вмѣсто „проклятыхъ“ вопросовъ, самая благонадежная каплюня мудрость! Не прошло и десяти лѣтъ, а ужъ Франція заняла „надлежащее“ мѣсто въ „совѣтахъ“ европейскихъ державъ, и вмѣстѣ съ прочими демонстрируетъ, въ водахъ Эгейскаго моря, въ пользу Греціи! А газеты ея съ гордостью возвѣщаютъ, что городъ Парижъ удостоился посѣщенія графа Твердоонтѣ и другихъ достославныхъ кадетовъ. Разумѣется, Бисмаркъ долженъ сознаться, что это совсѣмъ не входило въ его расчеты.

Вообще французъ-буржуа какъ нельзя больше доволенъ, что онъ занялъ „надлежащее“ мѣсто въ концертѣ европейскихъ державъ и не нарадуется на своихъ дипломатовъ. Въ Берлинѣ у него—Сень-Валье, въ Римѣ—Ноайль, еще гдѣ-то—Даркуръ... совсѣмъ какъ при Людовикѣ XIV! И всѣ они вѣрой и правдой служатъ ему, буржуа, торгующему ошощеннымъ товаромъ гдѣ-то въ rue de Sèze и твердо вѣрующему, что французское благополучіе гораздо успѣшнѣе покорить міръ, нежели французское оружіе. Какимъ же образомъ графу Твердоонтѣ, вмѣстѣ съ прочими кадетами, не почтить Парижа своимъ посѣщеніемъ? Какъ не пройти ему гоголемъ по boulevard des Italiens, какъ не сообщить москѣ Гамбеттѣ о своихъ видахъ и предположеніяхъ насчетъ харчевенно-рестораннаго союза, который, по его мнѣнію, долженъ еще болѣе скрѣпить сердечныя узы, соединяющія Россію съ Франціей? Вѣдь это значило бы обидѣть Сень-Валье и Даркура, съ которыми

имѣсть онъ, Твѣрдоонтѣ, предназначенъ судьбою пѣть въ концертѣ европей-скихъ державъ...

Но ежели доволенъ буржуа, то москѣ Жюль Гриви положительно долженъ быть вѣдѣ себя отъ восторга. Подумайте! онъ уже имѣеть въ услуженіи „гарсоновъ“ въ родѣ Даркура и Ноайля — отчего-жъ не мечтать о „гарсонахъ“ изъ породы Монморанси, Рогавъ и Кондѣ! Придетъ время — и самъ Мак-Магонъ не откажется еще и еще послужить. „Что, братъ, задумался, скажетъ ему Гриви: — переходи-ка въ республиканцы!“ И перейдетъ. Гриви терпѣливъ и понимаетъ, что всѣ эти переходы — только вопросъ времени. А покуда онъ угощаетъ графа Твѣрдоонтѣ охотой въ бывшихъ императорскихъ и королевскихъ резиденціяхъ и прикалываетъ сокровище изъ остаточковъ отъ президентскаго содержанія. Такъ что если что-нибудь и омрачаетъ его скромное благополучіе, такъ это мысль, что отторженіе Эльзаса и Лотарингіи мѣшаетъ достойнымъ образомъ чествовать въ стѣнахъ Парижа Бисмарка и Мольтке.

Словомъ сказать, всѣ въ восторгѣ отъ современной французской республики, начиная отъ графа Твѣрдоонтѣ и кончая княземъ Бисмаркомъ, который, какъ говорятъ, спать и видѣть хотѣ на часокъ побывать въ Парижѣ и посмотрѣть на „La femme à rara“. Одно только вредитъ ей: это названіе: „республика“, а впрочемъ и это дѣло скоро уладятъ календари. Да вѣдь и есть такая форма государственнаго общежитія, есть. Что дѣлать! даже въ учебникахъ, для среднихъ учебныхъ заведеній изданныхъ, объ этой формѣ правленія упоминается (такъ прямо и пишутъ: форма *правленія*); даже въ стѣнахъ новороссійскаго университета тайному совѣтнику Панютину, въ Одессѣ сущу, провозглашалось: четыре суть формы правленія: деспотическая, монархическая неограниченная, монархическая ограниченная и... республиканская! И тайный совѣтникъ Панютинъ огорчился, но не возражалъ...

Повторяю: всѣ довольны французской республикой, никто не протестуетъ противъ нея, но доволенъ ли ею французскій рабочій — объ этомъ я ничего сказать не могу. Не знаю. Вообще говоря, въ предлагаемомъ этюдѣ о французсахъ я исключительно разумѣю французскую буржуазію, которая въ настоящее время представляетъ собой управляющее сословіе. Съ жизнью французскаго народа, въ тѣсномъ значеніи этого слова, съ его вѣрованіями и надеждами, я совсѣмъ незнакомъ, и даже городского рабочаго знаю лишь поверхностно. Я допускаю, конечно, что „народъ“ представляетъ собой матеріаль, гораздо болѣе заслуживающій изученія, нежели угрожающій лопнуть отъ пресыщенія буржуа, но дальше общихъ и довольно туманныхъ догадокъ въ этомъ смыслѣ идти не могу.

Во французскихъ газетахъ довольно часто случается встрѣчаться съ очень дробными и любопытными рубриками, на которыя, въ политическомъ смыслѣ, подраздѣляются въ современной Франціи „сыны народа“. Существуютъ рабочіе бонапартисты, рабочіе-легитимисты, рабочіе-оппортунисты, рабочіе-соціалисты, рабочіе-клерикалы, рабочіе-свободные мыслители и даже рабочіе, не признающіе ничего, кромѣ спиртныхъ напитковъ (замѣчательно впрочемъ, что никто никогда не слыхивалъ о рабочемъ-орлеанствѣ). Нерѣдко въ Парижѣ организуются сборища, на которыхъ трактуются близкіе



для рабочихъ вопросы, и на которыхъ, въ качествѣ непремѣнныхъ членовъ, присутствуютъ полицейскіе комиссары, вспомошествоваемые соответствующимъ количествомъ *gardiens de la paix* и мушаровъ. И одновременно съ этими сборищами въ процессіяхъ, предпринимаемыхъ по поводу всевозможныхъ боготомій и дней ангеловъ (Шамбора, Наполеона, Евгеніи), тоже фигурируютъ болѣе или менѣе компактные группы сыновъ народа, расцѣвующихъ приличные случаю кантаты.

И такъ, съ одной стороны социальнo-демократическая пропаганда, а съ другой — поздравленія съ ангеломъ. Съ одной стороны — Марсельеза и красное знамя, съ другой — *Vive Henri IV* и знамя съ бѣлыми лиліями. И все это идетъ рядомъ и выливается изъ одного и того же до краевъ переполненнаго источника. Что *благородный* бонапартистъ уживается рядомъ съ *благороднымъ* социалистомъ — въ этомъ еще нѣтъ чуда, ибо и тотъ, и другой живутъ достаточно просторно, чтобъ не мозолить другъ другу глаза. Но въдѣ рабочий людъ живетъ скученно, тѣсня другъ друга и слѣдя другъ за другомъ, такъ сказать, по пятамъ. Какимъ же образомъ въ этой скученной средѣ выдѣляются столь несомѣстимыя разновидности и сколько въ нихъ, въ этихъ разновидностяхъ, есть искренняго, и сколько театральнаго, подкупнаго?

Признаюсь, эти вопросы не мало интересовали меня. Не разъ порывался я проникнуть въ Бельвиль или, по малой мѣрѣ, въ какой-нибудь *débit de vins* на одной изъ городскихъ окраинъ, чтобы собрать хотя нѣкоторыя типическія черты, характеризующія эти противоположныя теченія. Но, по размышленію, вынужденъ былъ оставить эту затѣю навсегда.

Для путешественника (и въ особенности русскаго) подобнаго рода пріятія почти недоступны. Во-первыхъ, интимная жизнь рабочаго люда въ Парижѣ, какъ и вездѣ, сосредоточивается въ такихъ захолустяхъ, куда иностранцу нѣтъ ни желанія, ни даже возможности проникнуть. Парижскій рабочий охотно оказываетъ иностранцу услуги и, видя въ немъ денежнаго человѣка и вѣрнаго заказчика, смотритъ на приливъ чужеземнаго элемента какъ на залогъ предстоящаго торговаго и промышленнаго оживленія, которое можетъ не безъ выгоды отразиться и на немъ. Во всѣхъ другихъ отношеніяхъ иностранецъ для него безличное существо, нуль. Помочь онъ ему не можетъ, ужъ по тому одному, что голосъ его не имѣетъ *здѣсь* ни малѣйшаго авторитета. Кровно интересоваться его нуждою тоже не имѣетъ повода, потому что эта нужда есть результатъ безчисленнаго множества мѣстныхъ и историческихъ условій, въ оцѣнкѣ которыхъ принимаютъ участіе не только умъ и чувство, но и интимныя инстинкты, связывающіе человѣка съ его родиной. Въдѣ у этого самаго иностранца на родинѣ остались массы рабочаго люда, которые тоже могутъ дать пищу самой широкой любознательности, а онъ вотъ пріѣхалъ въ Парижъ. Очевидно, онъ явился сюда совсѣмъ не ради рабочаго вопроса, а для того, чтобъ жуировать, заказывать, покупать, любоваться произведеніями искусствъ. Но онъ, пресытившись всѣмъ этимъ, задумалъ проникнуть въ рабочую среду. Очень возможно, что это только назойливый празднoлюбецъ, въ родѣ Герольштейнскаго принца, но кто же поручится, что онъ и... не шпионъ? Да, и шпионъ, и не кѣмъ другимъ подосланный, а именно Бисмаркомъ. Съ тѣхъ поръ какъ пруссаки побывали въ Па-

рижъ, убѣжденіе о вездѣущи прусскаго шпиона до того утвердилось въ умахъ французской меньшей братіи, что никакими доказательствами его не сокрушишь.

Во-вторыхъ, для русскаго путешественника есть еще и особенная причина, которая заставляетъ его воздерживаться отъ проникновенія въ рабочую среду. Нельзя дотронуться до рабочаго человѣка безъ того, чтобъ изъ этого не вышло превратнаго толкованія. А у насъ на этотъ счетъ такъ заведено: если есть превратное толкованіе, то, стало быть, есть и соответствующее оному мѣропріятіе. Разумѣется, было бы преувеличенно утверждать, чтобъ логика событій всегда дѣйствовала въ этихъ случаяхъ съ строгою неумолимостью, но если даже примѣнить сюда, въ качествѣ ободряющаго обстоятельства, пресловутое „какъ посмотрѣть“, то все-таки выйдетъ порядочный рискъ. Я охотно допускаю, что, напримѣръ, въ настоящую минуту не найдется ничего предосудительнаго въ томъ, что зрѣлыхъ лѣтъ мужчина интересуется рабочимъ вопросомъ... на Западѣ; но вѣдь причина этого благополучнаго отношенія заключается не въ самой непредосудительности факта, а въ томъ, что общее правило „какъ посмотрѣть“ случайно приняло менѣе суровый характеръ. Еще вчера то же самое правило стояло гораздо солиднѣе, а завтра, быть можетъ, запросъ на благополучіе и совѣтъ прекратится. На сцену выступитъ запросъ на вывороченныя къ лопаткамъ руки, на шивороты и другія прецессуальныя подробности русской просвѣтительной дѣятельности, воспоминаніе о которыхъ не оставляетъ русскаго человѣка и за границей. Съ какими глазами предстанетъ тогда, по возвращеніи въ домъ свой, „зрѣлыхъ лѣтъ“ человѣкъ, который, понадѣявшись на поднявшійся курсъ „благополучія“, побывалъ на сходкахъ рабочихъ въ циркѣ Фернандо, да, пожалуй, еще сѣздалъ съ этою цѣлью въ Марсель на рабочій конгрессъ?

Нѣтъ, лучше уже держаться около буржуа. Вѣдь онъ еще во времена откуповъ считался бюджетнымъ столпомъ, а теперь, съ размноженіемъ Колупаевыхъ и Разуваевыхъ, пожалуй на немъ одномъ только и покоятся всѣ надежды и упованія.

И такъ, говоря объ унаслѣдованіи современнымъ Парижемъ благополучія дореформенной Москвы, я разумѣю по преимуществу парижскаго буржуа, котораго, благодаря необыкновенно счастливому стеченію обстоятельствъ, начинаетъ ужъ распирать отъ сытости.

Со времени франко-прусской войны матеріальное благосостояніе Франціи не только не умалилось, но съ какою-то невиданною выпуклостью выступило наружу, на зависть всѣмъ. Денегъ — не клюютъ куры; заводская и фабричная производительность едва успѣваетъ удовлетворять требованіямъ заказчиковъ, балансъ — прелестнѣйшій; бюджетъ — прихотливый и не знающій дефицита, желѣзнодорожная сѣть проникаетъ въ самые отдаленные уголки; забастовки рабочихъ хотя и нерѣдки, но непродолжительны и всегда кончаются къ обоюдному удовольствію. Буржуа до такой степени сытъ, что чувствуетъ потребность подѣлиться и съ меньшимъ братомъ. Поэтому, когда рабочіе начинаютъ предъявлять требованія, то онъ, конечно для формы покобенится, но именно только для формы, въ концѣ же концовъ благодушно



скажетъ: „на-те! рвите мои внутренности... ненасытны!“ И вотъ въ результатѣ обоюдное удовольствіе.

Въ довершеніе всего, въ Парижѣ отовсюду стекается такая масса всякаго рода провизіи, что, кажется, еслибъ у буржуа, вмѣсто одной, было двѣ утробы, то и тутъ онъ всего бы не умѣстилъ.

Окрестности Парижа доставляютъ тончайшіе овощи и фрукты; Нормандія и Турень — фрукты, молочные скопы и живность; Бретань — всякаго рода мясо и самыхъ молочныхъ кормилицъ; Перигё — пироги съ начинкой; Гасконь — душистые трюфли, душистое вино и лгуновъ; Бургонь — вино и живность; Шампань — шампанское; Лионъ — колбасу; Провансъ — оливковое масло; Ницца — фрукты въ сахарѣ; Пиренеи — красныхъ куропатокъ; Ланды — перепелокъ и ортолановъ; Океанъ и Средиземное море — всевозможные сорта рыбъ, раковъ и устрицъ... Когда буржуа начинаетъ перечислять всё эти богатства, то захлебывается слюнями и глаза у него получаютъ какой-то неблагонадежный блескъ; такъ и кажется, что вотъ-вотъ сейчасъ онъ перерветъ собесѣднику горло. Даже о потерѣ Страсбурга нынѣшній буржуа жалѣеть не столько по причинѣ его знаменитой колокольни, сколько съ точки зрѣнія страсбургскаго пирога, котораго не замѣнилъ даже пресловутый перигорскій пирогъ. Въ одномъ только пунктѣ буржуа чувствуетъ себя уязвленнымъ: нѣтъ у него русскаго рябчика, о которомъ гостившая въ Россіи баронесса Каулла („la fille Каоулла“, какъ называли ее французскія газеты) рассказывала чудеса (еще бы! самъ Юханцевъ кормилъ ее ими). Но и тутъ у него есть лучъ надежды: Гамбетта, какъ слышно, ужъ шепчется о чемъ-то съ графомъ Твэрдоонтъ! Въ началѣ осени они вмѣстѣ завтракали въ *café Anglais*, и на завтракѣ инкогнито присутствовалъ принцъ Уэльскій (платилъ Твэрдоонтъ). А въ сосѣднемъ *cabinet*, въ это же самое время, Каулла завтракала съ генераломъ Сиссэ. И хотя на другой день въ газетахъ было объявлено, что эти завтраки не имѣли политическаго характера, но буржуа только хитро подмигиваетъ, читая эти толкованія, и, потирая руки, говоритъ: „Вотъ увидите, что черезъ годъ у насъ будутъ рябчики! будутъ!“ И затѣмъ, въ тайнѣ сердца своего, присовокупляетъ: „И, можетъ быть, благодаря усердію республиканской дипломатіи, возвратятся подъ сѣнь трехцвѣтнаго знамени и страсбургскіе пироги!

Но повторяю: сытость настолько благотворно дѣйствуетъ на человѣческое сердце, что этому общему правилу не можетъ не подчиниться и буржуа. Не будучи въ состояніи заглотать все, что плыветъ къ нему со всѣхъ концовъ любезнаго отечества, онъ добродушно удѣляетъ меньшей братіи, за удешевленную цѣну, то, что не можетъ пожрать самъ. Эти остатки, въ видѣ объѣдковъ пироговъ, котлетъ, жаренаго мяса, живности и даже въ видѣ застывшихъ подливокъ, продаются въ особенномъ отдѣленіи *Halles centrales* и извѣстны подъ именемъ *biçoux*. Они-то собственно и составляютъ главное основаніе стриппи въ тѣхъ маленькихъ ресторанахъ, въ которыхъ питается недостаточное населеніе столицы міра. Приправленные пряностями, облитые разогрѣтыми подливками и поданные въ видѣ дымящихся *ragu* и *паштетовъ*, они, съ одной стороны, ласкаютъ обоняніе, съ другой — производятъ изжогу. Но бѣднякъ охотно забываетъ второе, чтобъ всецѣло предаться благодарнымъ

впечатлѣніямъ о первомъ. Впрочемъ, и первое, и второе уже настолько вошли въ его жизненный обиходъ, что не составляютъ для него неожиданности, а слѣдовательно не вызываютъ ни особенной радости, ни особеннаго огорченія.

Извѣстно ли рабочему человѣку родоприсхожденіе этихъ рагу? Знаетъ ли онъ, что вотъ этотъ самый обрывокъ сосиски, который какъ-то совѣмъ неожиданно вынырнулъ изъ-подъ груди загадочныхъ мясныхъ фигурокъ, былъ вчера ночью обгрызенъ въ *Maison d'Or* генераломъ-маіоромъ Отчаяннымъ въ сообществѣ съ *la fille Kaoulla*? знаетъ ли онъ, что въ это самое время Юханцевъ, по сочувствію, стоналъ въ Красноярскѣ, а члены взаимнаго земельнаго кредита восклицали: „Такъ вотъ она та пропасть, которая поглотила наши денежки!“? Знаетъ ли онъ, что вотъ этой самой рыбьей костью (на ней осталось чуть-чуть мяса) русскій концессіонеръ Губошлеповъ ковырялъ у себя въ зубахъ, тщетно ожидая въ кафѣ Ришъ ту же самую Кауллу и мысленно ропща: „Сколько тыщъ ужъ эта шельма изъ меня вымотала, а все только одни разговоры разговариваетъ!“? Знаетъ ли онъ, что вотъ этотъ волосъ, который прилипъ у него на языкѣ, принадлежитъ дѣвицѣ Круазеттѣ и составляетъ часть локона, подареннаго ею на память герцогу Омальскому? Знаетъ ли онъ, наконецъ, что этотъ песокъ, который сію минуту хрустнулъ у него на зубахъ, составляетъ часть горсти земли, взятой рынымъ бонапартистомъ съ могилы Дулу и составлявшей предметъ пламенныхъ тостовъ на вчерашнемъ банкетѣ въ *Hôtel Continental*?

Я думаю, что онъ знаетъ все это, но, разумѣется, дѣлаетъ видъ, что не знаетъ. Ибо не притворись онъ незнающимъ, ему, просто по чувству приличія, пришлось бы отказаться отъ рагу и отъ мясной пищи вообще. Быть можетъ, ему предстояло бы даже познакомиться съ подспорьемъ въ видѣ мякны, потому что, какъ ни благодушенъ буржуа, но онъ поступается мясомъ только въ формѣ объѣдковъ; за натуральное же мясо и цѣну деретъ натуральную. Между тѣмъ мясо необходимо меньшему брату, даже еслибъ оно являлось въ еще болѣе неожиданныхъ очертаніяхъ, ибо оно поддерживаетъ необходимую для труда бодрость и силу. И вотъ онъ глотаетъ свои рагу и — *risum teneatis, amici!* — даже пускается въ ихъ расцѣнку... Лакомка!

Но ежели меньшій братъ знаетъ родословную объѣдковъ, то благодаренъ ли онъ за нихъ буржуа? На этотъ вопросъ я удовлетворительно отвѣтить не могу. Думаю однакожъ, что особеннаго повода для благодарности не имѣется, и ежели бѣднякъ въявь не выказываетъ своей враждебности по поводу объѣдковъ, то по секрету все-таки прикапываетъ ее. Да, доглотать обглоданную Губошлеповымъ рыбью кость — это-таки штука не послѣдняя! но до поры до времени приходится подчиняться даже этой горькой необходимости, ибо буржуа хитеръ. Онъ окружилъ Парижъ бастіонами, распустилъ національную гвардію и ввелъ такую дисциплину въ военномъ персоналѣ, составляющемъ мѣстный гарнизонъ, что только держись! И, совершивши все это, блаженствуетъ.

Тѣмъ не менѣе, какъ ни пріятна сытость, но и она имѣетъ свои существенныя неудобства. Она отяжеляетъ человѣка, сообщаетъ его дѣйствіямъ сонливость, его мышленію — вялость. Черезъ-чуръ сытый человѣкъ требуетъ



отъ жизни только одного: чтобъ она какъ можно меньше затрудняла его, какъ можно меньше ставила на его пути преградъ и поводовъ для пытливости и борьбы. Самыя наслажденія, въ глазахъ сытаго человѣка, приобрѣтають цѣнность лишь въ томъ случаѣ, когда они достигаютъ легко, приплываютъ къ нему, такъ сказать, сами собой. Мы, русскіе сытые люди, круглый годъ питающіеся блинами, пирогами и калачами, кое-что знаемъ о томъ духовномъ остоленіи, при которомъ единственную лучезарную точку въ жизни человѣка представляетъ сонъ, съ цѣлою свитой свистовъ, носовыхъ завертокъ, утробныхъ сновидѣній и кошмаровъ. Оттого-то, быть можетъ, у насъ и нѣтъ тѣхъ формъ обезпеченности, которыя представляетъ общественно-политическій строй на Западѣ. Но за то есть блины.

Французъ-буржуа хотя и не дошелъ еще до столбняка, но уже настолько отяжелѣлъ, что всякое лишнее движеніе, въ смыслѣ борьбы, начинаетъ ему казаться не только обременительнымъ, но и неумѣстнымъ. Традиція, въ силу которой главная привлекательность жизни, по преимуществу, сосредоточивается на борьбѣ и отыскиваніи новыхъ горизонтовъ, съ каждымъ днемъ все больше и больше теряетъ кредитъ. Буржуа ищетъ не волненій, а спокойствія, легкаго уразумѣнія и во всемъ благого поспѣшенія. Въ дѣлѣ религіи онъ заявляетъ претензію, чтобъ Богъ, безъ всякихъ съ его стороны усилій, *motu proprio*, посылалъ ангеловъ своихъ для охраны его. Въ дѣлѣ науки онъ цѣнитъ только прикладныя знанія, нагло игнорируя всю подготовительную теоретическую работу и предоставляя изслѣдователямъ истины отыскивать ее на собственный рискъ. Въ дѣлѣ публицистики онъ любитъ газетныя строчки, въ которыхъ коротенько излагается, съ кѣмъ завтракалъ наканунѣ Гамбетта, какія титулованныя особы удостоили своимъ посѣщеніемъ Парижъ, и приходитъ въ восторгъ, когда при этомъ ему докладываютъ, что самъ Бисмаркъ, въ пятимномъ разговорѣ съ Подхалимовымъ, нашелъ Францію достойною участвовать въ концертѣ европейскихъ державъ. Въ дѣлѣ беллетристики онъ противникъ всякихъ психологическихъ усложненій и анализовъ, и требуетъ отъ автора, чтобъ онъ безъ отвлеченныхъ околичностей, но съ возможно большимъ разнообразіемъ „особыхъ примѣтъ“ объяснилъ ему, какимъ тѣломъ обладаетъ героиня романа, съ кѣмъ и когда, и при какихъ обстоятельствахъ она совершила первый, второй и послѣдующіе адюльтеры, въ какомъ была каждый разъ платѣ, заставляла ли себя умолять, или сдавалась безъ разговоровъ, и ежели дѣло происходило въ *cabinet particulier*, то въ какомъ именно ресторанѣ, какіе прислуживали гарсоны и что именно было съѣдено и выпито. Даже въ своихъ любовныхъ предпріятіяхъ онъ не терпитъ запутанности и лишнихъ одеждъ, а настаиваетъ, чтобъ все совершалось чередомъ, безъ промедленія времени... сейчасъ!

Разумѣется, эта сонливая простота возрѣній не можетъ не отражаться и на цѣломъ жизненномъ строѣ современной Франціи.

Начать съ Бога, который положительно стѣсняетъ буржуа. Попы требуютъ, чтобъ буржуа ходилъ къ обѣднѣ, и тѣмъ, которые ходятъ, обѣщаютъ вѣчное блаженство, а тѣмъ, которые не ходятъ — вѣчныя адскія муки. Всякій буржуа — вольнодумецъ по преданію, но въ то же время онъ трусъ и, какъ я уже замѣтилъ выше, любитъ перекрестить себя пупокъ такъ, чтобъ никто

этого не замѣтилъ. Однакожъ онъ дѣлаетъ послѣднюю уступку лишь потому, что она ничего не стѣитъ, а сверхъ того, неровенъ случай, можетъ и пригодиться. Но чтобъ поппъ позволялъ себѣ публично угрожать ему или соблазнить наградами — этого онъ ужъ никакъ потерѣть не можетъ. На этой почвѣ онъ издавна, съ неравнымъ успѣхомъ, но упорно борется съ попомъ, а съ легкой руки Вольтера эта борьба приняла очень яркій и даже торжествующій характеръ. До сихъ поръ, однакожъ, это все-таки была только борьба, самое существованіе которой свидѣтельствовало о гадательности исхода. Нынѣ буржуа почувствовалъ себя настолько окрѣпшимъ, что ему кажется уже удивительнымъ, стѣило ли объ этомъ такъ долго и много хлопотать. Гораздо проще — упразднить поповскаго Бога совсѣмъ, а для домашняго обихода декретировать Бога лаицизированнаго (безъ знаковъ отличія). Сказано — сдѣлано. Сначала буржуа поручилъ это дѣло своему министру Фрейсину, а когда послѣдній оказался черезъ-чуръ податливымъ, то уволилъ его въ отставку и ту же задачу возложилъ на министра Ферри. И вотъ теперь въ цѣлой Франціи дѣйствуетъ Богъ лаицизированный. Сколько вѣковъ этотъ вопросъ волновалъ умы, сколько стрѣлъ было выпущено по этому поводу однимъ Вольтеромъ, а буржуа взялъ да въ одинъ мигъ рѣшилъ, что тутъ и разговаривать не объ чемъ. Правда, что онъ еще не вычеркнулъ окончательно слова „Богъ“ изъ своего лексикона, но очевидно, что это только лазейка, оставленная на случай могущей возникнуть надобности, и что отнынѣ никакія напоминанія о предстоящихъ блаженствахъ и мукахъ уже не будутъ его тревожить.

Я слышалъ однакожъ, что вопросъ о конгрегаціяхъ, съ такою изумительною легкостью и даже не безъ комизма приведенный къ концу прошлою осенью, чуть-было не произвелъ разрыва между Гамбеттой и графомъ Твѣрдонтѣ. Графъ случился въ это время въ Парижѣ и былъ до глубины души скандализированъ. Онъ вспомнилъ, какъ, во дни его юности, его вывели *mit Skandal und Trompetten* изъ заведенія Марцинкевича, и не могъ придти въ себя отъ сердечной боли, узнавъ, что тотъ же самый пріемъ допущенъ москѣ Кобе (*chef de sûreté*, онъ же и позитивистъ), относительно отцовъ „реколлетовъ“. Ну, разумѣется, вступился. Выбралъ часъ завтрака и отправился къ Гамбеттѣ.

— Нельзя безъ Бога, Гамбетта! — усовѣщивалъ онъ президента палаты депутатовъ: — вы сами скоро убѣдитесь, что нельзя! Скажу вамъ, со мной въ корпусѣ такой случай былъ. Обыкновенно, не приготовивъ урока, я обращался къ Богу, прося, чтобъ учитель не вызвалъ меня. И хотя это случалось довольно часто, но Богъ, по неизреченному ко мнѣ милосердію, а можетъ быть и во вниманіе къ заслугамъ моихъ родителей, никогда не оставлялъ моей молитвы безъ исполненія. И вдругъ однажды я возгордился. Урока-то не приготовилъ, да и Богу помолиться пренебрегъ. И чтѣ же произошло? Прежде всего учитель сейчасъ же меня вызвалъ и поставилъ мнѣ ноль; вслѣдъ затѣмъ я былъ пойманъ въ куреніи, потомъ напился пьянъ и нагрубилъ дежурному офицеру. А къ вечеру былъ уже высѣченъ. Чтѣ вы скажете объ этомъ?

Но Гамбетта уклонился отъ прямого отвѣта и только сочувственно произнесъ: — Ссс...



— Не думайте впрочемъ, Гамбетта, — продолжалъ Твэрдоонтъ: — чтобъ я былъ суетвренъ... ни мало! Но я говорю одно: когда мы затѣваемъ какое-нибудь мѣропріятіе, то прежде всего обязываемся понимать, противъ чего мы его направляемъ. Еслибъ вы имѣли дѣло только съ людьми цивилизованными — ну, тогда, я понимаю... Ни вы, ни я... О, разумѣется, для насъ... Но народъ, Гамбетта! вспомните, чтѣ такое народъ? И чтѣ у него останется, если онъ не будетъ чувствовать даже этой узды?

Но Гамбетта только качалъ головой и время отъ времени произносилъ: — Ссс... Какъ истинно коварный генуэзецъ, онъ не только не раздражилъ своего собесѣдника возраженіемъ, но даже охотно уступилъ ему, что безъ Бога — нельзя.

— Такъ за чѣмъ же дѣло стало? — радостно воскликнулъ Твэрдоонтъ, протягивая руки.

Однако Гамбетта и тутъ нашелся: не говоря ни слова, позвонилъ и приказалъ сервировать завтракъ. Подали какой-то необычайной красоты руанскую утицу и къ ней совершенно сѣдую бутылку Понтѣ-Канѣ. Разумѣется, Твэрдоонтъ только языкомъ щелкнулъ.

И такимъ образомъ разрывъ былъ устраненъ. Съѣли утицу, выпили Понтѣ-Канѣ, и о Богѣ — ни гугу! Вотъ какъ ловко дѣйствуетъ современная французская дипломатія.

Ту же самую несложность требованія простираетъ современный буржуа и къ родной литературѣ. Было время, когда во Франціи господствовала беллетристика идейная, героическая. Она зажигала сердца и волновала умы; не было безвѣстнаго уголка въ Европѣ, куда бы она не проникла съ своимъ свѣточемъ, всюду распространяя пропаганду идеаловъ будущаго въ самой общедоступной формѣ. Люди сороковыхъ годовъ и доселѣ не могутъ безъ умиленія вспоминать о Жоржъ-Зандѣ и Викторѣ Гюго, который впрочемъ вступилъ на стезю новыхъ идеаловъ нѣсколько позднѣе. Сю, менѣе талантливый и теперь почти забытый, — и тотъ читался нарасхватъ, благодаря тому, что онъ обращался къ тѣмъ инстинктамъ, которые представляютъ собой лучшее достояніе человѣческой природы. Даже въ Бальзакѣ, несмотря на его соціально-политическій индифферентизмъ, невольно просачивалась тенденціозность, потому что въ то тенденціозное время не только люди, но и камни вопіяли о героизмѣ и идеалахъ.

За эту же героическую литературой шла и русская беллетристика сороковыхъ годовъ. И не только беллетристика, но и критика, воспитательное значеніе которой было едва-ли даже въ этомъ смыслѣ не рѣшительнѣе.

Современному французскому буржуа ни героизмъ, ни идеалы ужъ не подѣ силу. Онъ слишкомъ отяжелѣлъ, чтобъ не пугаться при одной мысли о личномъ самоотверженіи, и слишкомъ удовлетворенъ, чтобъ нуждаться въ расширеніи горизонтовъ. Онъ давно уже понялъ, что горизонты могутъ быть расширены лишь въ ущербъ ему, и потому, на почвѣ расширенія, охотно примирился бы даже съ Бонапартомъ, еслибъ этотъ выходъ былъ для него единственный. Но, во-первыхъ, ему навернулось нѣчто другое, болѣе подходящее и въ смыслѣ горизонтовъ столь же вождельнное а во-вторыхъ, духъ авантюризма въ соединеніи съ тупоуміемъ — свойства, въ высшей степени украшавшія

бандита, державшаго, въ теченіе восемнадцати лѣтъ, въ своихъ рукахъ судьбы Франціи, — испугали буржуа. Обуреваемый жаждой приключеній, бандитъ никогда не могъ опредѣлить, во что обойдется предполагаемое приключеніе и куда оно приведетъ. И такимъ образомъ дошелъ до прусскаго нашествія. Буржуа не можетъ безъ злости вспомнить, что пруссаки выпили все вино, хранившееся въ его погребахъ, выкурили всѣ его сигары, выкрали изъ его шкаповъ платье, посуду и серебро, и даже часы съ каминовъ. Онъ можетъ забыть гибель сыновъ Франціи, измѣнническую сдачу Метца, панику худо вооруженныхъ и недѣльныхъ войскъ, но забыть пропажу часовъ, за которые онъ заплатилъ столько-то сотенъ франковъ, *rubis sur ongle* — никогда! И вотъ это-то вѣчно присущее воспоминаніе о вышитомъ винѣ и исчезающихъ часахъ и уничтожило весь престижъ наполеоновской идеи. А тутъ же, кстати, вспомнилось, что не худо бы посчитать, во что обошлись Франціи приключенія бандита. Посчитали — и оказалась такая прорва, что буржуа даже позеленѣлъ отъ злости при мысли, что эту прорву наполнилъ онъ изъ собственного кармана и что всѣ эти деньги остались бы у него, еслибъ онъ въ 1852 году съ испугу не предалъ бандиту февральскую республику. Но за то теперь онъ республику ужъ не предастъ. Теперь у него *своя собственная* республика, республика спроса и предложенія, республика накопленія богатствъ и блестящихъ торговыхъ балансовъ, республика, въ которой не будетъ ни „приключеній“, ни... „горизонтовъ“. Эта республика обезпечила ему все, во имя чего нѣкогда онъ направо и налѣво расточалъ іудины поцѣлуи и съ легкимъ сердцемъ предавалъ свое отечество въ руки перваго встрѣчнаго хищника. А именно: обезпечила сытость, покой и возможность собирать сокровища. И сверхъ того она бдительно слѣдитъ за легкаго поведенія дѣвицами, не ради торжества добродѣтели, а дабы его же, буржуа, оградить отъ тѣлесныхъ поврежденій.

И буржуа, дѣйствительно, такъ плотно засѣлъ въ своей сытости и такъ прочно со всѣхъ сторонъ окопался, что отнынѣ уже никакія „приключенія“ не достигнутъ его.

Но эта безыдейная сытость не могла не повліять и на жизнь. Прониклась ею и современная французская литература, и для того, чтобъ скрыть свою низменность, не безъ наглости подняла знамя реализма. Слово это не безызвѣстно и у насъ, и даже едва-ли не раньше, нежели во Франціи, по поводу его, у насъ было преломлено достаточно копій. Но размѣры нашего реализма нѣсколько иные, нежели у современной школы французскихъ реалистовъ. Мы включаемъ въ эту область *все*го человѣка, со *все*мъ разнообразіемъ его опредѣленій и дѣйствительности; французы же главнымъ образомъ интересуются торсомъ человѣка и изъ всего разнообразія его опредѣленій съ наибольшимъ раченіемъ останавливаются на его физической правоспособности и на любовныхъ подвигахъ. Съ этой точки зрѣнія Викторъ Гюго, напримѣръ, представляется въ глазахъ Золя чуть не гороховымъ шутомъ, да вѣроятно той же участи подверглась бы и Жоржъ-Зандъ, еслибъ очередь дошла до нея. По крайней мѣрѣ никто нынче объ ней не вспоминаетъ, хотя за ней числятся такіа созданія, какъ „Орасъ“ и „Лукреція Флоріани“, въ кото-



рых подавляющій реализмъ идетъ объ руку съ самою горячею и страстною идейностью.

Во главѣ современныхъ французскихъ реалистовъ стоитъ писатель несомнѣнно талантливый—Золѣ. Однакожъ и онъ не сразу удовлетворилъ буржуа (казался слишкомъ труднымъ), такъ что романы его долгое время пользовались гораздо болѣею извѣстностью за границей (особенно въ Россіи), нежели во Франціи. „Ассомуаръ“ былъ первымъ произведеніемъ, обратившимъ на Золѣ серьезное вниманіе его соотечественниковъ, да и то едва-ли не потому, что въ немъ на первомъ планѣ фигурируютъ представители тѣхъ „новыхъ общественныхъ наслоеній“, о близкомъ нашествіи которыхъ почти въ то же самое время нѣсколько рискованно возвѣщалъ сфинксъ Гамбетта (Наполеонъ III любилъ, чтобъ его называли сфинксомъ; Гамбетта — тоже) въ одной изъ своихъ рѣчей. Любопытно было взглянуть на этого дикаря, вандала-гунна-готѣа, къ которому еще Байронъ взывалъ: „arise ye, Goths!“ и котораго давно уже не безъ страха поджидаетъ буржуа, и даже совсѣмъ было дождался въ лицѣ парижской коммуны, еслибъ маленькій Тьеръ, споспѣшествуемый Мак-Магономъ и удалымъ капитаномъ Гарсеномъ \*), не поспѣшилъ на помощь и не утопилъ готѣа въ его собственной крови.

И точно, Золѣ настолько испугалъ буржуа, что въ самое короткое время „Ассомуаръ“ разошелся во множествѣ изданій. Но все-таки это былъ успѣхъ испуга; дѣйствительнымъ же любимцемъ, художникомъ по сердцу буржуа и всефранцузскою знаменитостью Золѣ сдѣлался лишь съ появленіемъ „Нанѣ“. Представьте себѣ романъ, въ которомъ главнымъ лицомъ является сильнодѣйствующій женскій торсъ, не прикрытый даже фиговымъ листомъ, общедоступный, какъ провѣзжій шляхъ, и не представляющій никакихъ опредѣленій, кромѣ подробнаго каталога „особыхъ примѣтъ“, знаменующихъ полъ. Затѣмъ поставьте, въ pendant къ этому сильнодѣйствующему торсу, соотвѣтствующее число мужскихъ торсовъ, которые тоже ничего другого, кромѣ особыхъ примѣтъ, знаменующихъ полъ, не представляютъ. И потомъ, когда всѣ эти торсы надлежащимъ образомъ поставлены, когда, по манію автора, вокругъ нихъ создается обстановка изъ бутафорскихъ вещей самаго послѣдняго фасона, особыя примѣты постепенно приходятъ въ движеніе, и передъ глазами читателя завязывается бестіальная драма... Спрашивается: какихъ еще болѣе возбуждающихъ усладъ можетъ требовать буржуа, въ которомъ сытость дошла до такихъ геркулесовыхъ столповъ, что едва не погубила даже половую бестіальность?

Все въ этомъ романѣ настолько ясно, что хоть протягивай руку и гладь. Только лесбійскія игры нѣсколько ступеваны; но вѣдь покуда это вещь еще

---

\*) Капитанъ Гарсенъ—тотъ самый, который во время торжества версальскихъ войскъ надъ коммуной разстрѣлялъ депутата Милльера за „вредное направленіе“ его литературной дѣятельности (а мы-то жалуемся!). Въ виду войскъ и толпы онъ велѣлъ поставить его на колѣни на ступеняхъ Пантеона (боюсь ошибиться, но, кажется, что тамъ) и наклонить ему голову въ знакъ того, что онъ проситъ прощенія за причиненный его литературной дѣятельностью вредъ. И когда это было выполнено—приказалъ застрѣлить Милльера. Капитанъ Гарсенъ и понынѣ состоитъ на службѣ.

на охотника, не всякій ее вмѣститъ. Придетъ время, когда буржуа еще съѣдается, — тогда Золя и въ этой сферѣ себя мастеромъ явить. Но сколько мерзостей придется ему подсмотреть, чтобъ довести отдѣлку бутфорскихъ деталей до совершенства! И какую неутомимость, какой желѣзный организмъ нужно имѣть, чтобъ выдержать трудъ выслѣживанія, необходимый для созданія подобной экскрементально-человѣческой комедіи! Подумайте! сегодня — Нанъ, завтра — представительница лесбійскихъ преданій, а послѣ-завтра пожалуй и впрямь въ герои романа придется выбирать производителей и производителей экскрементовъ.

Но тогда, разумеется, буржуа еще при жизни поставитъ ему монументъ.

Оговариваясь впрочемъ, что въ расчеты мои совѣтъ не входитъ критическая оцѣнка литературной дѣятельности Золя. Въ общемъ я признаю эту дѣятельность (кромя впрочемъ его критическихъ этюдовъ) весьма замѣчательною, и говорю исключительно о „Нанъ“, такъ какъ этотъ романъ даетъ мѣрило для опредѣленія вкусовъ и направленія современнаго буржуа.

Около Золя стоитъ цѣлая школа послѣдователей, изъ которыхъ одни рабски подражаютъ ему, другіе — выказываютъ поползновеніе идти еще дальше въ смыслѣ деталей. Но тутъ псевдо-реализмъ пріобрѣтаетъ характеръ скудоумія тѣмъ болѣе яркій, что даже нагота торсовъ не защищаетъ его. Скучно, назойливо, бездарно и ничего больше. Передъ читателемъ проходитъ безконечный рядъ подробностей, не имѣющихъ ничего общаго ни съ предметомъ повѣствованія, ни съ его обстановкой, — подробностей ни для чего ненужныхъ, ничего не характеризующихъ и даже не любопытныхъ сами по себѣ. Вотъ, напримѣръ, передъ вами Альфредъ. Вѣднй Альфредъ! Возмись за него писатель сильный, въ родѣ Жоржъ-Занда, Бальзака, Флобера, — изъ него вышелъ бы отличный малый. А такъ-называемый реализмъ едва прикоснулся къ нему, какъ уже и погубилъ!

Судите сами.

Альфредъ встаетъ рано и имѣетъ привычку потягиваться. Потягиваясь, онъ обдумываетъ свой вчерашній день и находитъ, что провелъ его не совѣтъ хорошо. Ночью онъ ужиналъ съ Селиной и замѣтилъ, что отъ нея пахнетъ тѣми же духами, какими обыкновенно прыскается Жюль! Когда онъ спросилъ объ этомъ, то она только разсмѣялась (*un petit rire* или *un gros rire* — это безразлично). Надо, однакожъ, эту тайну раскрыть. Раскрыть тактъ раскрыть, но для чего онъ будетъ раскрывать? вотъ въ чемъ вопросъ. Задавши себѣ этотъ вопросъ, Альфредъ рѣшаетъ, что затѣялъ глупость. Говоря по совѣсти, ни съ какой Селиной онъ вчера не ужиналъ, а пришелъ вечеромъ въ десять часовъ домой, съѣлъ кусочекъ грюйеру и щелкнулъ языкомъ. Уличивши себя во лжи, Альфредъ рѣшается встать. Разумеется, сначала умывается (страница, посвященная умывальнику, и двѣ, посвященные мылу), потомъ начинаетъ одѣваться. Денныхъ рубашекъ у него всего три: одна у прачки, другую онъ надѣвалъ вчера, третья лежитъ чистая въ комодѣ. Надо быть осторожнымъ. Разматривая вчерашнюю рубашку, онъ замѣчаетъ порядочное пятно на самой груди. „Это, должно быть, Селина вчера за ужиномъ капнула виномъ!“ говоритъ онъ, и на этомъ первая глава кончается. Вторая



глава начинается съ того, что Альфредъ припоминаетъ, что ни Селины, ни ужина, ни вина вчера не было. Стало быть, происхожденіе пятна на рубашкѣ должно быть иное. „Ба! да вѣдь я вчера купаться ходилъ!“ восклицаетъ Альфредъ, и приходитъ къ заключенію, что покуда онъ былъ въ водѣ, а бѣлье лежало на берегу рѣки, могла пролетѣть птица небесная и налету сдѣлать сюрпризъ. Но, придя къ этому выводу, онъ припоминаетъ, что ни вчера, да и вообще никогда не купался. Стало быть, и опять соврала, и такъ какъ съ этимъ враньемъ надо покончить, то авторъ проводитъ черту и приступаетъ къ третьей главѣ. Въ этой новой главѣ Альфредъ все еще одѣвается. Разумѣется, описаніе одежды строго соображается съ тѣми правами состоянія, которыми пользуется герой. Ежели онъ человѣкъ салоновъ, то всякая часть его одежды блеститъ и покроемъ свидѣлствуетъ, что въ постройкѣ ея участвовали первые мастера Парижа; если онъ *un homme déclassé*, то на каждой части его туалета оказывается пятно, что заставляетъ его нюхать и рубашку, и жилетъ, и штаны, дабы не поразить добрыхъ знакомыхъ запахомъ благополучія. Допустимъ, что нашъ Альфредъ принадлежитъ къ послѣднему разряду молодыхъ людей. Онъ нюхаетъ и отчищаетъ, но дѣло у него рѣшительно не спорится. Сначала приходитъ *portier*, съ которымъ нужно сказать нѣсколько ненужныхъ словъ; потомъ вбѣгаетъ сосѣдка, которая проситъ одолжить корбочку спичекъ, и которой тоже нельзя не сказать нѣсколько любезностей. За тѣмъ да за сѣмъ время летитъ, и наступаетъ минута кончить третью главу. Въ четвертой главѣ Альфредъ идетъ завтракать въ кафѣ; тамъ его встрѣчаетъ гарсонъ (имя рекъ). Разговоръ. Гарсонъ предлагаетъ сперва одну газету, потомъ другую, третью — Альфредъ отказывается; потомъ Альфредъ начинаетъ спрашивать сперва одну газету, потомъ другую, третью — гарсонъ отвѣчаетъ, что кафѣ этихъ газетъ не получаетъ. Потомъ гарсонъ спрашиваетъ, почему Альфредъ такъ давно не былъ въ кафѣ, на что послѣдній отвѣчаетъ, что получилъ наслѣдство. Но такъ какъ онъ наслѣдства не получалъ, то спѣшитъ переменить разговоръ и говоритъ, что ѣздилъ въ Москву. На этомъ четвертая глава кончается. Въ пятой главѣ Альфредъ идетъ на бульваръ. Идетъ и думаетъ: „а вѣдь у меня нѣтъ почтовой бумаги — зайду куплю“. Но по дорогѣ ему попадается торговка съ фруктами. Сочныя груши, сочная торговка (описаніе торговкиной груди), а изъ-подъ грушъ выглядываетъ сочный гроздіи винограда. „Экъ тебя разнесло!“ думаетъ Альфредъ, смотря не то на торговкину грудь, не то на виноградъ. Ибо и виноградъ своимъ видомъ способенъ пробуждать въ немъ вожделѣніе. Альфредъ рѣшается начать съ груши и ѣсть ее, а тѣмъ временемъ ему садится на носъ муха. Пятой главѣ конецъ. Въ шестой главѣ онъ сгоняетъ муху, которая опять садится на то же мѣсто. Это повторяется до трехъ разъ; тогда онъ догадывается, что муху привлекаетъ сокъ груши, и онъ бросаетъ послѣднюю на мостовую. Муха улетаетъ. А между тѣмъ торговка, въ формѣ маленькихъ строчекъ, предлагаетъ ему то грушу, то перчикъ, то фигу; но онъ на всякій ея вопросъ отвѣчаетъ односложно: „поп!“ Наступаетъ седьмая глава. Альфредъ идетъ на бульваръ, забывши, что онъ хотѣлъ купить почтовой бумаги; вмѣсто того онъ вспомнилъ, что у него нѣтъ перчатокъ, и идетъ къ перчаточницѣ. У перчаточницы грудь колесомъ, а поленница — ума помраченье. Онъ вспоминаетъ

что точь-въ-точь такая же поясница у Селины, но тутъ же спохватывается, что еще утромъ было рѣшено, что онъ никакой Селины никогда не знаетъ. „Гдѣ же бы, однако, я эту поясницу видѣлъ?“ говоритъ самъ себѣ Альфредъ и, начиная всматриваться въ перчаточницу, узнаетъ въ ней свою тетку. „Ma tante! quel bonheur!“ Седьмая глава кончилась. Въ восьмой главѣ Альфредъ вспоминаетъ о своемъ дѣтствѣ. „А помните, ma tante, какъ я разъ посмотрѣлъ васъ купающуюся въ Мариѣ?“ — Молчи шалунъ! — грозитъ ему ma tante и требуетъ, чтобъ онъ пришелъ къ ней обѣдать. Осьмая, девятая, десятая и прочія главы посвящены описанію тетенькиной квартиры, тетенькина мужа и блюдъ, подающихся за обѣдомъ. Тетенькинъ мужъ — арабъ, который служилъ когда-то Абделькадеру, но передался Франціи, полюбилъ Парижъ и женился на тетускѣ. У него одинъ недостатокъ: онъ кусается въ порывѣ страсти; но есть и достоинство: тетуска не имѣетъ отъ него дѣтей. Оттого-то и поясница у нея въ томъ же видѣ, въ какомъ запомнилъ ее Альфредъ, когда она купалась въ Мариѣ. Еще глава — и Альфредъ идетъ въ театръ, а оттуда — ужинать въ кафѣ. Тамъ онъ совершаетъ адюльтеръ, но тутъ выходитъ нѣчто въ высшей степени непостижимое. Оказывается, что адюльтеръ совершилъ не онъ, а Жюль; а онъ, Альфредъ, ни у тетуски, ни въ театрѣ, ни въ кафѣ не былъ... гдѣ же онъ, однако, былъ? Интересъ возбужденъ въ высшей степени. Первой части конецъ.

Далѣе я, разумѣется, не пойду, хотя романъ заключаетъ въ себѣ десять частей и въ каждой не меньше сорока главъ. Ни муха, ни торговка, ни перчаточница, ни Селина въ слѣдующихъ томахъ уже не встрѣтятся. Онѣ были нужны, потому что безъ нихъ невозможно производить строчки, а безъ строчекъ не было бы построчной платы. Реалистъ французскаго пошиба имѣетъ то свойство, что онъ никогда не знаетъ, что онъ сейчасъ напишетъ, а знаетъ только, что сколько посидитъ, столько и напишетъ. И никто его обуздать не можетъ; ни обуздать, ни усовѣстить, потому что онъ на всѣ усовѣщиванія отвѣтитъ: „Я не идеологъ, а реалистъ; я описываю только тѣ, что въ жизни бываетъ. Вижу заборъ — говорю: заборъ; вижу поясницу — говорю: поясница“. И при этомъ непремѣнно облаетъ Виктора Гюго, назоветъ его старымъ шутомъ, и т. д.

Но для современнаго буржуа это мельканіе мысли совершенно по плечу. Ему любы литераторы, которые не затрудняютъ его загадками, а излагаютъ только его собственныя обыденныя дѣла. Собственно говоря, онъ и читаетъ единственно для того, чтобъ не прослыть неучемъ, и вотъ, на его счастье, нашелся чародѣй, который облегчилъ ему и эту задачу. Этотъ чародѣй пишетъ строки коротенькія, а главы — на манеръ водевильныхъ куплетовъ. Купить буржуа книжку (и цѣна ей — грошъ), принесть ее домой — и самъ радъ, и въ семьѣ всѣ рады. Всѣ отъ рожденія сыты и всѣмъ лестно коротенькихъ строчекъ почитать. А иногда и смѣшные эпизоды встрѣчаются. Пилъ человѣкъ пиво и залилъ новый жилетъ: или: казалось, что у перчаточницы грудъ колесомъ, а по изслѣдованію вышло — доска доской. „Вотъ наши общественныя недуги!“ восклицаетъ буржуа и, обращаясь къ женѣ, прибавляетъ: „а у тебя, мой другъ, безъ обману!“

Такова вторая стадія современнаго французскаго реализма: третью



представляют произведенія порнографіи. Разумѣется, я не буду распространяться здѣсь объ этой литературной профессіи; скажу только, что хотя она довольно рьяно преслѣдуется республиканскимъ правительствомъ и хотя буржуа хвалить его за эту строгость, но потихоньку все-таки упивается порнографіей до пресыщенія. Особливо ежели съ картинками.

Убѣдиться въ томъ, что современный властелинъ Франціи (буржуа) — порнографъ до мозга костей, чрезвычайно легко: стоитъ только взглянуть на модные покрои женскихъ одеждъ. Въ этой области каждый день приносятъ новую обнаженность, и ежели, напримѣръ, сегодня нѣтъ ничего неяснаго подъ мышками, то завтра навѣрное такая же ясность постигнетъ какую-нибудь другую разжигающую часть женскаго бюста. Театръ, который всегда былъ глашатаемъ модъ будущаго, можетъ въ этомъ случаѣ послужить отличнѣйшимъ указателемъ тѣхъ требованій, которыя предъявляетъ вивѣръ-буржуа къ современной женщинѣ, какъ носительницѣ особыхъ примѣтъ, знаменующихъ полъ. Дѣйствительно, въ парижскихъ бульварныхъ театрахъ покрой женскихъ костюмовъ до такой степени приблизился къ идеѣ скульптурности, что ни одинъ гусарскій вахмистръ навѣрное не мечталъ о рейтузахъ, равносильныхъ по выразительности тѣмъ, которыя охватываютъ нижнюю часть туловища m-lle Myeris въ „*Pillules du diable*“. И надо видѣть, какъ буржуа, весь въ мылѣ и тяжело сопя, ловить глазами каждое движеніе этихъ рейтузъ!

Сами французы жалуются, что старинная французская *causerie* постепенно исчезаетъ. И точно: салоновъ, въ которыхъ маркиза разыгрывала бы „провербы“, а маркизъ, въ умѣренныхъ размѣрахъ, предавался бы фрондерству и кощунству, въ настоящее время въ Парижѣ нѣтъ и въ поминѣ. Ихъ замѣнили клубы (но не *clubs*, а *cercles*, такъ какъ по-французски *club* означаетъ нѣчто равносильное тому, что у насъ разумѣется подъ названіемъ обществъ, составляемыхъ съ цѣлью ниспроверженія и т. д.), въ которыхъ господствуетъ игра, и *cabinets particuliers*, въ которыхъ господствуетъ обжорство и адюльтеръ. Да и мудрено требовать разговора отъ людей, у которыхъ нѣтъ никакихъ словъ въ запасѣ, а имѣются только произвольныя движенія, направляемыя съ цѣлью ниспроверженія женскихъ туалетовъ. Представить ихъ себѣ разыгрывающими провербы — все равно, что ждать отъ бывшаго крѣпостного владыки утонченныхъ манеръ относительно дѣвки Палашки, или отъ желѣзно-дорожнаго хлыща, упомянутаго мною во 2-й главѣ настоящихъ этюдовъ, — кроткаго обращенія съ дѣвицей Альфонсинкой. Все, что буржуа можетъ — это, подобно послѣднему, „изуродовать“ Альфонсинку, или въ добрую минуту дать ей по спинѣ „разъ“.

Я впрочемъ не держусь мнѣнія, чтобъ слѣдовало жалѣть о пресловутыхъ французскихъ *causeries*. Въ первой половинѣ прошлаго столѣтія онѣ сдѣлали свое дѣло, ознаменовавъ начало умственного возрожденія и давъ міру Вольтеровъ, Дидро, Гольбаховъ и проч. Но какъ только „возрожденіе“ встрѣтилось съ 1789 годомъ, такъ тотчасъ же *causeries* утратили фрондерско-кощунственный характеръ и просто-на-просто превратились въ высшую школу поскудства. Впрочемъ и доселѣ образчики этихъ *causeries* отъ времени до времени появляются на сценѣ французскихъ комедій въ формѣ

„proverbes“, въ которыхъ дѣвица Круазеттъ показываешь свои наливныя плечи и поражаетъ великолѣніемъ туалетовъ. Но, несмотря на привлекательность этихъ приманокъ, современные „провербы“ точно такъ же мало удовлетворили бы козѣра восемнадцатаго вѣка, какъ мало удовлетворяютъ онѣ и буржуд-вивѣра нашихъ временъ. Первый нашелъ бы ихъ чересчуръ однообразными и не встрѣтилъ бы въ нихъ ни аттической соли, ни элемента возрожденія; второй говоритъ прямо: „вѣдь все равно развязка будетъ въ *cabinet particulier*, такъ изъ-за чего же ты всю эту музыку завела?“

Не объ этомъ надо жалѣть, а о томъ горѣнии мысли, которое въ теченіе слишкомъ полустолѣтія согрѣвало не только Францію, но черезъ ея посредство и міръ. Но пришелъ бандитъ и, не долго думая, взялъ да и погасилъ огонь мысли. Онъ ничего не страшился, ни современниковъ, ни потомковъ, и съ одинаковымъ неразумніемъ накладывалъ гасильникъ и на отдѣльныя человѣческія жизни, и на общее теченіе ея. Усиѣхъ такого рода изверговъ — одна изъ ужаснѣйшихъ тайнъ исторіи; но разъ эта тайна прокралась въ міръ, все существующее, конкретное и отвлеченное, реальное и фантастическое — все покоряется гнету ея.

И вотъ въ результатѣ — республика безъ республиканцевъ, съ сытыми буржуа во главѣ, въ тылу и во флангахъ; съ скульптурно-обнаженными женщинами, съ порнографическою литературой, съ избыткомъ провизіи и *bioux*, и съ безчисленнымъ множествомъ *cabinet particuliers*, въ которыхъ дежно и ношно слагаются гимны адюльтеру. Конечно, все это было заведено еще при бандитѣ, но для чего понадобилось и держится доднесь? Держится упорно, несмотря на одну великую, двѣ среднихъ и одну малую революціи.

На это возражаютъ, что за республикой остается одно капитальное и неотъемлемое приобрѣтеніе: *suffrage universel*. Конечно, противъ этого ничего сказать нельзя; даже у насъ ничего подобнаго нѣтъ. Но, во-первыхъ, *suffrage universel* существовалъ и во времена бандита, и неизмѣнно отвѣчалъ: „да“, когда послѣдній этого желалъ. Во-вторыхъ, вѣдь и теперь продукты *suffrage universel*, засѣдающіе въ палатахъ, едва-ли многимъ отличаются отъ продуктовъ *suffrage restreint*, которыми щеголяли *chambres introuvables* временъ Карла X и Луи-Филиппа. Это тоже тайна исторіи, и, конечно, не изъ утѣшительныхъ.

И еще говорить, что въ послѣднее время въ Парижѣ уже начинается движеніе, имѣющее положить конецъ владычеству буржуазіи. Дѣйствительно, рабочіе кварталы, съ осуществленіемъ амнистіи, какъ будто оживились, но размѣры движенія еще такъ ничтожны, что ни цѣли его, ни темпераментъ, ни шансы на успѣхъ — ничто не выяснилось. Покуда имѣются въ виду только страшныя слова, которыя впрочемъ не производятъ особеннаго впечатлѣнія, потому что за ними не слышится той жизненности и страстности, которыя однѣ могутъ дать начало дѣйствительному движенію.

---

P.-S. Въ ту самую минуту, когда я дописываю настоящія строки, со стѣн петропавловской крѣпости раздается пушечная пальба, возвѣщающая, что Галлы изгнаны. Но какъ, однакожъ, это давно было!

25-го декабря, 1880 года.



## ГЛАВА V.

Въ предыдущей главѣ я говорилъ, что въ Парижѣ и одинокому человеку, безъ связей и знакомствъ, трудно пропасть со скуки. Но, разумѣется, въ подходящей компаніи еще веселѣе. Хорошо и одному пообѣдать у Биньона или у Маньи, но вдвоемъ, втроемъ проштудировать приличествующій обѣденный menu—куда лучше.

Въ особенности слаще ѣтся и пьется, живѣе чувствуются всякія скульптурности — въ обществѣ соотечественниковъ. Сердце сердцу вѣсть подаетъ. Никто такъ благовременно не щелкнетъ языкомъ, никто такъ цѣлесообразно не посмотритъ на свѣтъ сквозь вино, такъ умно не вздохнетъ поздрами, такъ сладостно не зажмуритъ глаза, такъ вкусно не захлебнется собственной слюною, какъ соотечественникъ. Обжоры и gourmets всѣхъ странъ и національностей продѣлываютъ всѣ эти движенія; но только соотечественникъ выполнить это такъ, что у земляка все нутро разыграетъ. Все тутъ скажется: и писанная исторія, и устные преданія, и педагогическія особенности, и институтъ урядниковъ, и внутренняя политика, и „Не бѣлы снѣги“... Да, *Не бѣлы снѣги*, и даже по преимуществу. Ъдите вы *sûle au vin blanc*, а въ ухахъ раздается „колокольчикъ, даръ Валдая“, а въ глазахъ стелется безконечная снѣговая степь. И въ довершеніе, среди захлебываній, дыханій и щелканій, вдругъ вырвется слово... ахъ, какое слово! Клянусь, оригинальнѣе этой приправы представить себѣ ничего нельзя!

Съ кѣмъ подѣлиться впечатлѣніями, вынесенными изъ „*Pillules du diable*“? на чьей груди излить тревогу чувствъ, взволнованныхъ чтеніемъ послѣдняго нумера „*Avènement parisien*“? кому разсказать: „вотъ, батюшка, я давеча въ musée Cluny инструментикъ, придуманный средневѣковыми рыцарями для охраненія супружеской вѣрности, видѣлъ—вотъ такъ штука!“ Разумѣется, все ему, все соотечественнику! Кто, кромѣ соотечественника, приметъ къ сердцу эти впечатлѣнія, тревоги и разказы? Кто, какъ не онъ, ощутитъ именно *то*, чтò вы сами ощущаете? Кто сдѣлаетъ именно *такую* оцѣнку, какую вы сами дѣлаете?

А потомъ и еще: формы правленія, внѣшняя и внутренняя политики, начальство, военныя и морскія силы, религія, Богъ — съ кѣмъ обо всемъ этомъ по душѣ поговорить? Кто, кромѣ соотечественника, пойметъ тѣ образныя уиодобленія, тѣ внезапныя переходы и умозаключенія, которые могутъ быть объяснены только интимнымъ міросозерцаніемъ, свойственнымъ той или другой національности? Кто съ большею вышуклостью, такъ сказать — при помощи собственныхъ боковъ, пуститъ въ ходъ сравнительный методъ, который въ дѣлѣ оцѣнки формъ общежитія представляетъ самое вѣское и убѣдительное доказательство?

Словомъ сказать, въ обществѣ соотечественника всякое ощущеніе приобрѣтаетъ двойную и тройную цѣну, всякое удовольствіе возвышается до степени наслажденія.

Но ежели высказанныя сейчасъ замѣчанія вѣрны относительно скитальцевъ вообще, то относительно русскихъ скитальцевъ изъ породы культур-

ныхъ людей они представляютъ сугубо-непременную истину. Попробую объяснить здѣсь причины, обуславливающія это явленіе.

Во-первыхъ, въ цѣломъ мірѣ не найдется людей столь сообщительныхъ, какъ русскіе. Ошибочно утверждаютъ, будто бы на родинѣ намъ предоставлено молчать. Совсѣмъ напротивъ. Молчаніе считается у насъ равносильнымъ угрюмости, угрюмость же — равносильною злоумышленію; стало быть, ни для кого нѣтъ расчета добиваться отъ насъ молчанія и торжествовать по его поводу. Не молчать предоставляется намъ, а только говорить пустяки — вотъ въ чемъ состоитъ наша внутренняя политика. Что же касается до того, будто бы легкость, съ которою мы по самому ничтожному поводу призываемся къ отвѣту, заставляетъ насъ быть осторожными, то и это справедливо лишь отчасти. Несомнѣнно, что вся наша жизнь есть всеминутное предъ-явленіе чувствъ и помысловъ на зависящее распоряженіе; несомнѣнно также, что въ оцѣнкѣ этихъ чувствъ и помысловъ принимаютъ участіе даже урядники, что придаетъ оцѣнкѣ черезчуръ ужъ общественный характеръ. Но перспектива всеминутнаго отвѣчанія отнюдь не вызываетъ въ насъ чувства отвѣтственности, а только погружаетъ въ массу ступидія и ошалѣлости. Ибо отвѣтственность, низведенная до урядника, точно такъ же равняется безотвѣтственности, какъ необезпеченность, доведенная до лебеды, равняется обезпеченности.

Конечно, все это сообщаетъ нашему существованію довольно острый характеръ случайности, но нисколько не обуздываетъ нашей сообщительности. И это вполне объяснимо. Когда человѣкъ, заноса ногу, чтобъ сдѣлать шагъ впередъ, заранѣе знаетъ, что эта нога станетъ на твердомъ мѣстѣ, а не упадетъ въ дыру и не увлечетъ туда своего обладателя, то для воображенія его не представляется никакой роли. Напротивъ, ежели человѣкъ не знаетъ, что именно означаетъ разстилающаяся передъ нимъ мурава, то воображеніе его естественнымъ образомъ раздражается. Съ одной стороны, его обуреваютъ страхъ быть поглощеннымъ бездною, съ другой — ласкаетъ надежда какъ-нибудь обойти ее. Развѣ возможно оставить эти чувства нераздѣленными? Но, кромѣ того, вѣчно живя подъ страхомъ провалиться сквозь землю, развѣ можно удержаться, чтобъ не пожаловаться! Да, наконецъ, вѣдь оно и смѣшно. И въ другихъ странахъ существуютъ чины, подобные урядникамъ, однако никто объ нихъ не думаетъ, а у насъ, поди, какой переполохъ они произвели! какъ же не изложить всенародно, въ шутиловомъ русскомъ тонѣ, ту массу пустяковъ, которую вызвала эта паника въ сердцахъ нашихъ?

Во-вторыхъ, вся жизнь русскаго „скитальца“ есть сплошной досугъ, который могъ бы развиваться въ безграничную тоску, еслибъ не принималось мѣръ къ его наполненію. Праздность приводитъ за собою боязнь одиночества, потому что послѣднее возбуждаетъ работу мысли, которая, въ свою очередь, вызываетъ наружу очень горькія и, вдобавокъ, вполне безплодныя разоблаченія. Въ ряду этихъ разоблаченій особенно яркую роль играетъ сознаніе, что у него, скитальца, ни дома, ни на чужбинѣ, словомъ сказать, нигдѣ въ цѣломъ мірѣ нѣтъ ни личнаго, ни общественнаго дѣла. Такія разоблаченія могутъ измучить, и хотя я не говорю, чтобъ на всѣхъ одинаково лежала печать подобныхъ нравственныхъ страданій, но думаю, что въ скры-



томъ видѣ даже въ отъявленномъ шалопайѣ отъ времени до времени шевелится смутное ощущеніе неклеивости и безцѣльности жизни. Поэтому, чтобы избавиться отъ гнетущаго ропота, необходимо прежде всего уйти отъ одиночества и устроить существованіе такимъ образомъ, чтобы досугъ былъ какъ можно больше раздѣленъ. Дома это достигается довольно легко съ помощью игры въ винтъ, юридическихъ рефератовъ о силѣ земской давности, блудныхъ разговоровъ объ увѣячаніи зданія и т. д., но за границей — труднѣе. Западный человѣкъ сознаетъ за собой и личное, и общественное дѣло, такъ что у него совсѣмъ нѣтъ времени для собесѣдовательнаго празднословія. Разумѣется, человѣкъ со средствами и тутъ можетъ вывернуться, т.-е. нанять собесѣдника, который ни на минуту не дастъ ему опомниться. Однакожь и это дѣло рискованное, во-первыхъ, потому, что наемникъ навѣрное будетъ лгать, во-вторыхъ, потому, что онъ сверхъ того можетъ и обокрасть. Поди потомъ судись съ нимъ въ *police correctionnelle*!

Русскіе знаютъ это, и потому всегда находятся въ поискахъ за соотечественниками. Этимъ объясняется и легкость, съ которою русскіе сходятся между собою за границей, и тѣ укеры, которые они въ послѣдствіи адресуютъ самимъ себѣ по поводу своихъ заграничныхъ связей. „И мнѣ нечего дѣлать, и тебѣ нечего дѣлать“ — вотъ первое основаніе для сближенія. Затѣмъ слѣдуютъ проекты о томъ, какъ ловчѣе вмѣстѣ убивать бесполезное время, переходя отъ Биньона къ Вуазену, отъ Вуазена къ Вашетту и такъ далѣе безъ конца. И начнется у нихъ тутъ цѣлодневное метаніе изъ улицы въ улицу, съ бульвара на бульваръ, и потянется тотъ неясный замоскворѣцкій разговоръ, въ которомъ ни одно слово не произносится въ прямомъ смыслѣ и ни одна мысль не можетъ быть усвоена безъ помощи образа...

Въ-третьихъ, никто такъ не любитъ посквернословить — и именно въ ущербъ родному начальству — какъ русскій культурный человѣкъ. Западный человѣкъ рѣшительно не понимаетъ этой потребности. Онъ можетъ сознавать, что въ его отечествѣ дѣла идутъ неудовлетворительно, но въ то же время понимаетъ, что эта неудовлетворительность устраняется не сквернословіемъ, а прямымъ возраженіемъ, на которое уполномочиваетъ его и законъ. Мы, русскіе, никакихъ уполномочій не имѣемъ, и потому замѣняемъ ихъ сквернословіемъ. Въ какой мѣрѣ наша критическая система полезнѣе западной — этого я разбирать не буду, но могу сказать одно: ничего изъ нашего сквернословія никогда не выходило. Мы сквернословны, но отходчивы. Иногда такое слово въ догонку пустимъ, которое цѣлый эскадронъ съ ногъ спшибетъ, и тутъ же сряду шутки шутить начнемъ. Начальство знаетъ это — и снисходитъ. Да и нельзя не снисзойти, такъ какъ, въ противномъ случаѣ, всѣхъ бы насъ на каторгу пришлось сослать, и тогда некому было бы объявлять предписанія, некого было бы, за невыполненіе тѣхъ предписаній, умирать. Во всякомъ случаѣ, и по части сквернословія у русскаго человѣка собесѣдникомъ можетъ быть только такой же, русскій же человѣкъ. Вотъ почему съ такою чуткостью русскіе слѣдятъ за всякимъ словомъ, сказаннымъ по-русски на улицахъ и въ публичныхъ мѣстахъ.

— Такъ вы русскій? да вы слышали ли, у насъ-то чтѣ дѣлается? нѣтъ, вы послушайте...

Въ-четвертыхъ, никто такъ страстно не любитъ своей родины, какъ русскій человѣкъ. Послѣ того, что сейчасъ высказано мною по поводу сквернословія, можетъ показаться странною эта ссылка на любовь къ родинѣ, но въ дѣйствительности она не подлежитъ сомнѣнію. Разумѣется, я не говорю здѣсь о графѣ Твердоонтѣ, который едва-ли даже понимаетъ значеніе слова: „родина“, но средній русскій „скиталецъ“ не только страстно любитъ Россію, а положительно носитъ ее съ собою вездѣ, куда бы ни забросила его капризомъ судьба. Вездѣ онъ чувствуетъ себя въ какомъ-то необычномъ положеніи, вездѣ онъ недоумѣваетъ, куда жъ это ежовыя-то рукавицы дѣвались? и вездѣ у него сердце болитъ. Болитъ не потому, чтобъ ежовыя рукавицы оставили въ его умѣ неизгладимо-благодарныя воспоминанія, а потому, что вслѣдъ за вопросомъ о томъ, куда дѣвались эти рукавицы, въ его умѣ возникаетъ и другой вопросъ: да полно, нужны ли онѣ? Ахъ, бѣдные, бѣдные!

И вдругъ какая-то колючая жалость такъ и хлынетъ во всѣ фибры существа. Именно бѣдные! Вездѣ мальчикъ въ штанахъ, а у насъ безъ штановъ; вездѣ изобиліе, а у насъ — не бѣлы снѣги; вездѣ резонъ, а у насъ — фюить! Вездѣ люди настоящія слова говорятъ, а мы и поднесъ на эзоповскихъ притчахъ сидимъ; вездѣ люди заправскою жизнью живутъ, а у насъ приспособляются. А потомъ и то еще приходитъ на умъ: Россія страна земледѣльческая и ужъ какъ-то черезчуръ континентальная. Растянулась она неуклюже, натуральныхъ границъ не имѣетъ, рѣкъ мало, да и тѣ текутъ въ какія-то сомнительныя моря. Ахъ, бѣдные, бѣдные!

Всегда эта страна представляла собой грудь, о которую разбивались удары исторіи. Вынесла она и удѣльную поножовщину, и татарщину, и московскіе идеалы государственности, и петербургское просвѣтительное озорство и закрѣпощеніе. Все выстрадала и за всѣмъ тѣмъ осталась загадочною, не выработавъ самостоятельныхъ формъ общежитія. А между тѣмъ самый поверхностный взглядъ на карту удостовѣряетъ, что безъ этихъ формъ въ будущемъ предстоить только мучительное умираніе...

Въ качествѣ русскаго, я поступаю совершенно такъ, какъ и всѣ русскіе. То-есть, пріѣзжая даже въ Парижъ, имѣю въ виду главное: какъ можно скорѣе сойтись съ соотечественниками. И до сихъ поръ это мнѣ удавалось. Во-первыхъ, потому, что я посѣщалъ Парижъ весною и осенью, когда туда набѣзжаетъ непроглядная масса русскихъ, и, во-вторыхъ, потому, что я всегда устраивался найдешевѣйшимъ способомъ: или въ *maison meublée*, или въ такомъ отельчикѣ, противъ котораго у Бедекера звѣздочки нѣтъ. Пріѣдешь и вступишь съ хозяйкою („хозяйинъ“ въ такого рода заведеніяхъ предпочитаетъ сибаритствовать (ежели онъ „Альфонсъ“), или живетъ подъ башмакомъ и ведетъ книги) въ переговоры:

— Есть у васъ русскіе?

— Oh! monsieur! mais la maison en est remplie! Il y a le prince et la princesse de Blingloff au premier, m-r de Blagouine, négociant, au troisième, m-r de Stroumsisloff, professeur, au quatrième. De manière que si vous vous installez dans l'appartement du deuxième, vous serez juste au centre.



Таковъ былъ прошлою осенью составъ русской колоніи въ одномъ изъ maisons meublées, въ окрестностяхъ place de la Madeleine. Впослѣдствіи оказалось, что le prince de Blingloff—петербургскій адвокатъ Боли-голова; la princesse de Blingloff—Марія Петровна отъ Пяти Угловъ; m-r Blagouine—краснохолмскій купецъ Блохинъ, торгующій яичнымъ товаромъ; m-r Stroumsisloff—старшій учитель латинскаго языка навозненской гимназіи Старосмысловъ, бѣжавшій въ Парижъ отъ лица помпадуръ Пафнютъева.

Конечно, я ни минуты не колебался и черезъ полчаса уже распоряжался въ предоставленныхъ мнѣ двухъ комнатахъ. За то можете себѣ представить, какъ выиграло мое сердце, когда, черезъ нѣсколько минутъ послѣ этого, выйдя на площадку лѣстницы, я услышалъ родные звуки:

Голосъ съ верху. Матрена Ивановна! ползешь, что-ли?

Голосъ со дна. Ахъ, ужъ такъ-то я нынче взопрѣла! такъ взопрѣла, что, кажется, хоть выжми!

Голосъ Матрены Ивановны вдругъ осѣкся; она поравнялась со вторымъ этажемъ и замѣтила меня.

— Русскіе?—обратилась она ко мнѣ.

— Русскій-съ.

— Ну, вотъ. А я-то распѣлась! Не взыщите ужъ, сдѣлайте милость! Все думается: французъ кругомъ, не понимаетъ по нашему. Анъ русскій.

— Матрена Ивановна! Машина готова!—раздалось опять сверху.

— Чайку попить собрались!—добродушно пояснила она мнѣ, взбираясь наверхъ.

„Чайку попить!“ — такъ все нутро и загорѣлось во мнѣ! Съ калачикомъ! да потомъ щецъ бы горяченькихъ, да съ пирожкомъ подовенькимъ! Словомъ сказать, благодаря наплыву родныхъ воспоминаній, дня черезъ два я былъ уже знакомъ и съ третьимъ, и съ четвертымъ этажами.

Не дождался ни рекомендаціи, ни случая—просто пошелъ и отрекомендовалъ самъ себя. Прежде всего направился къ Старосмыслову. Стучу въ дверь—нѣтъ отвѣта. А между тѣмъ за дверью слышится осторожные шаги, тихій шопотъ. Стучусь еще.

— Захаръ Иванычъ! вы?

— Нѣтъ, не Захаръ Иванычъ.

Голосъ смолкъ; послышался шорохъ удаляющихся шаговъ; затѣмъ опять ходьба, шуршанье бумагами. Наконецъ дверь отворилась, и въ ней показался блѣдный и отошальный челоѣкъ съ встревоженнымъ лицомъ. Въ боковыхъ дверяхъ, ведущихъ въ сосѣднюю комнату, мелькнулъ конецъ удаляющагося чернаго платья.

Я назвалъ себя.

— А! ну, вотъ... вчера, что-ли, пріѣхали? — бормоталъ онъ сконфуженно:—а я было... ну, очень радъ! очень радъ! Садитесь! садитесь! чтѣ, какъ у насъ... въ Россіи? Цвѣтеть и благоухаетъ... а? Объ господинѣ Пафнютѣвѣ не знаете ли чего?

Онъ торопливо жалъ мою руку и, казалось, съ большимъ трудомъ успокоивался.

— Слышать-то слыхалъ, да что вамъ вдругъ Пафнютъевъ на умъ пришель?

— Пафнютъевъ-то! ахъ! да вы знаете ли, что я чуть было одно время съ ума отъ него не сошелъ!.. Представьте себѣ: въ Пинегу-съ! Каково вамъ это покажется... Въ Пинегу-съ!

— Конечно, въ Пинегу... еще бы! Но здѣсь-то, въ Парижѣ, можно бы, кажется, и позабыть объ господинѣ Пафнютъевѣ.

— Здѣсь-то-съ! а вы знаете ли, что такое... *здесь?* *Здесь!* Стоить только шагнуть: вотъ, молъ, русскій нигилистъ — сейчасъ это менѣтки на руки, арестантскій вагонъ, и маршь на востокъ, въ deutsch Avricourt! Это... *здесь-съ!* А въ deutsch Avricourt'ѣ другія менѣтки, другой вагонъ, и маршь... въ Вержболово! Вотъ оно... *здесь!* Только у нихъ это не экстрадиціей называется, а экспюльсированіемъ... Для собственныхъ, молъ, потребностей единой и нераздѣльной французской республики!

— Послушайте, однакожъ! Вы что-то такое странное говорите. Я полагаю, что Гамбетта...

— Гамбетта-съ! Да вѣдь это, батюшка, тоже въ своемъ родѣ Пафнютъевъ! Сдѣлайте милость! Назначь-ко его у насъ исправникомъ, онъ вамъ покажетъ, гдѣ раки зимуютъ... да!

— А я такъ, напротивъ, думаю, что онъ былъ бы отличнымъ исправникомъ. И совсѣмъ не въ смыслѣ показыванія раковъ, а именно въ качествѣ умнаго и просвѣщеннаго исполнителя предначертаній. У него бы эти революціи... да-съ, господа! аттанде-съ! Онъ самъ былъ онимъ! Онъ и входы, и проходы, и выходы — все самолично проникъ! Не знаю, каковъ изъ него выйдетъ президентъ республики, но исправникъ... Вотъ нашъ соломенскій исправникъ Колпаковъ, тотъ, какъ исправникъ, никуда не годится, — помилуйте! весь уѣздъ распустилъ! — а какъ президентъ республики вѣроятно былъ бы неоцѣнимъ!

— Ну, что ужъ! Нѣтъ, вы только представьте себѣ... въ Пинегу!! Есть такой городъ? а?

Онъ даже закружился отъ боли при этомъ воспоминаніи.

— Это все Екатерина II! — крикнулъ онъ почти восторженно. — Она этихъ городовъ понастроила... для господъ Пафнютъевыхъ!

— Да, но вѣроятно она не имѣла въ виду, что ея мѣропріятія послужать на пользу только для господъ Пафнютъевыхъ...

— Не имѣла въ виду! развѣ это резонъ? У насъ батюшка, все нужно имѣть въ виду! И все на самый худой конецъ! Нѣтъ, да вы, сдѣлайте милость, представьте себѣ... вѣдь подорожная была ужъ готова... въ Пинегу!! Вѣдь въ этой Пинегѣ, говорятъ, даже сѣмга не живетъ!

— Сѣмга — это въ Мезени.

— Но какое разнузданное и отчасти и распутное воображеніе нужно имѣть, чтобъ выбрать... Пинегу!

— Дѣйствительно... Говорятъ, правда, будто бы и еще хуже бываетъ, но въ своемъ родѣ и Пинега... Знаете ли что? вотъ мы теперь въ Парижѣ благодумствуемъ, а какъ вспомню я объ этихъ Пинегахъ да Колахъ — такъ меня и начнетъ всего колотить! Помилуйте! какъ тутъ на Венеру Милосскую смотрѣть, когда передъ глазами мечется Верхоянскъ... понимаете... Вер-



хоянскъ?! А впрочемъ чтожъ я! Говорю, а главнаго-то и не знаю: за что жъ это васъ?

— Вотъ-вотъ-вотъ. Былъ я, какъ вамъ извѣстно, старшимъ учителемъ латинскаго языка въ гимназiи—и вдругъ это наболѣло во мнѣ... Все страсти да страсти видишь... Одинъ пропалъ, другой исчезъ... Начитался, знаете, Тацита, да и задалъ дѣтямъ, для перевода съ русскаго на латинскій, періодъ: „Время, нами переживаемое, столь бесполезно-жестоко, что потомки съ трудомъ повѣрятъ существованію такой человѣческой расы, которая могла оное переносить!“

— Ахъ!—невольнo вырвалось у меня.

— Да? Ну, и прекрасно... Дѣйствительно, я... ну, допустимъ! Согласитесь однакожъ, что можно было придумать и другое что-нибудь... Ну, пригрозить, обругать, что-ли... А то: Пинега!! Да еще съ прибаутками: „мошоку собирать, тюленей ловить“... а? И это ад-ми-ни-стра-торы!! Да ежели вамъ интересно, такъ я ужъ лучше все по порядку расскажу!

Но въ эту минуту дверь сосѣдней комнаты отворилась и оттуда появилась m-me Старосмылова. Это была маленькая особа, очень живая и дѣлавшая надъ собою видимыя усилія, чтобъ показать, что она не раздѣляетъ уныніи своего мужа. Наружность она имѣла не особенно выдающуюся, но симпатичную, свидѣтельствующую о подвижной и дѣятельной натурѣ. Словомъ сказать, при взглядѣ на Старосмылова и его подругу, какъ-то невольнo приходило на умъ: вотъ человѣкъ, который жилъ да поживалъ подъ сѣнію Кронебергова лексикона, начиненный Евтропiемъ и баснями Федра, какъ вдругъ въ его жизнь, въ видѣ маленькой женщины, втерлось какое-то неугомонное начало и принялось выбрасывать за бортъ одну басню за другой. Тутъ-то вотъ и сочинился самъ собой періодъ отъ словъ: „время, которое мы переживаемъ“, до словъ: „оное переносить“, включительно. А изъ періода, въ видѣ естественнаго привѣса, явилась—Пинега!!

— Оедоръ Сергѣичъ вѣроятно вамъ на судьбу жалуется? — обратилась она ко мнѣ послѣ взаимныхъ представленій:—и охота, право! Забыть надо, а онъ себя все пуще да пуще раздражаетъ. Кончилось вѣдь?

— Кончилось ли оно — это еще бабушка на-двое сказала! да и не въ этомъ дѣло: фактъ-то, фактъ-то какой! Фраза... ну, положимъ, пустая! ну, вредная, что-ли! Но какимъ же образомъ изъ фразы вдругъ выскочила... Пинега?!—оправдывался Старосмыловъ.

— Но вѣдь мы не въ Пинегѣ, а въ Парижѣ!

— Позвольте, Капитолина Егоровна, — вступился я: — вашъ мужъ началъ рассказывать... Конечно, Пинега, сама по себѣ взятая, есть лишь административный терминъ, настолько вошедшій въ нашъ административный обиходъ, что немногіе администраторы въ состояніи понять всю жестокость его. Я лично зналъ на своемъ вѣку одного администратора, который въ полюсы не вѣрилъ и для котораго поэтому всѣ города были равны. Вотъ онъ и говоритъ, бывало: ты ступай въ Пинегу, ты—въ Пустозерскъ, а ты—въ Верхоянскъ! Но Пинега, превратившаяся въ Парижъ — это что-то ужъ чрезвычайное! Оедоръ Сергѣичъ! объясните, сдѣлайте милость!

— Да-съ, такъ вотъ сидимъ мы однажды съ дѣточками въ классѣ и

переводимъ: „время, нами переживаемое“... И вдругъ — инспекторъ-съ. Посидѣлъ, послушалъ. А я вотъ этой случайности-то и не предвидѣлъ-съ. Только прихожу послѣ урока домой, сѣлъ обѣдать—смотрю: пакетъ! Пожалуйте! Являюсь. „Вы въ Пинегѣ бывали?“ — Не бывалъ-съ. „Такъ вотъ познакомьтесь“. И было туда-сюда: за что? „Такъ вы не знаете? Это мнѣ нравится! Онъ... не знаетъ! Стыдитесь, сударь! не увеличивайте вашей вины нераскаянностью!“

Старосмысловъ остановился и смотрѣлъ на меня въ упоръ, тяжело дыша.

— Понимаете... точно сонъ!—вымолвилъ онъ задавленнымъ голосомъ.

— Ахъ, голубчикъ! ты видишь, какъ это волнуетъ тебя!—съ участіемъ вступилась Капитолина Егоровна: — лучше бы ужъ ты мнѣ предоставилъ разсказать!

— Нѣтъ, это только я могу разсказать... я! Кто самъ испыталъ это впечатлѣніе, только тотъ и можетъ его передать!

Послѣдовало нѣсколько минутъ тяжелаго молчанія.

— Но какъ же вы вмѣсто Пинегы въ Парижѣ очутились?—продолжалъ настаивать я.

— И опять словно во снѣ. Ужъ совсѣмъ-было ѣхать въ Пинегу собрался, да вдругъ случайно... вотъ она напомнила, что лѣтъ пять тому назадъ давалъ я уроки сыну одного властѣ имѣющаго лица. Ну, думаю: послѣднее средство... Посылаю телеграмму-съ... Смотрю, на другой день—тихо, на третій—опять тихо. А черезъ недѣлю вызываетъ меня ужъ мой собственный начальникъ: „Знаете ли вы, говорить, правило: *Tolle me, tu, mi, mis, si declinare domus vis?..*“ — Знаю, ваше превосходительство! „Такъ вотъ, говорить, намъ необходимо удостовѣриться, вездѣ ли въ заграничныхъ учебныхъ заведеніяхъ это правило въ такой же силѣ соблюдается, какъ у насъ... Извольте получить паспортъ!“

Старосмысловъ опять остановился, какъ бы вопрошая, какъ я объ этомъ полагаю. Но разсказъ этотъ до того спуталъ все мои расчеты, что я долгое время ровно ничего не могъ полагать. И вдругъ у меня въ головѣ сверкнула мысль:

— А прогоны и порціонныя вамъ выдали?

Старосмысловъ недоумѣло взглянулъ на меня: очевидно, онъ никакъ этого вопроса не ожидалъ.

— Ну... что ужъ!—какъ-то уныло отозвался онъ. Однако я подмѣтилъ, что въ самой унылости его уже блеснула какъ бы надежда.

— Нѣтъ, вы этого не говорите!—ободрилъ я его:—я согласенъ, что разсказъ вашъ походить на сновидѣніе, но, съ другой стороны, какое же русское сновидѣніе обходится безъ прогоновъ и порціоновъ?

— Такъ-то такъ...

Старосмысловъ задумался и вдругъ — хихикнулъ! Разумѣется, я воспользовался этимъ поворотомъ, чтобъ еще болѣе утвердить его на этомъ пути.

— Нѣтъ, Ѳеодоръ Сергѣичъ! вы этого не оставляйте! вы подумайте объ этомъ!—повторилъ я.

— А что ты думаешь, Капочка! — отозвался онъ уже весело: — вѣдь это въ своемъ родѣ...



Капитолина Егоровна только потихоньку засмѣялась въ отвѣтъ. Она не рѣшилась прямо открыться, но мое предположеніе очевидно разогрѣло и ее.

— По моему мнѣнію, и откладывать нечего, — настаивалъ я: — самое лучшее, сейчасъ же берите листъ бумаги и пишите: „Просить... а о чемъ, тому слѣдуютъ пункты... *Первое*: былъ, дескать, я тогда-то командированъ съ ученою цѣлью, но распоряженія объ отпускѣ прогонныхъ денегъ, по унущенію, не сдѣлано. *Второе*: а такъ какъ, молъ, для вящаго успѣха возложеннаго на меня порученія“... Вотъ только порученіе-то какое-то странное на васъ возложили! *Tolle me, tu, mi, mis*... согласитесь, что это даже для сновидѣнія нѣсколько рискованно!.. Вотъ еслибъ вамъ поручили изучить и описать мундиры, присвоенные учителямъ латинскаго языка, пли, напри-мѣръ, собственными глазами удостовѣриться, къ какому классу эти учителя причислены по должности и по пенсіи... и притомъ въ цѣломъ мірѣ! А то подумайте: *Tolle me, tu, mi, mis* — на чтò похоже! И какъ это вы въ ту пору не догадались!

— Помилуйте! до догадокъ ли мнѣ было! я, какъ ошалѣлый, бѣгалъ, денегъ искалъ...

— Ну, такъ вы вотъ чтò сдѣлайте. Напишите все по пунктамъ, какъ я вамъ сказалъ, да и присовокупите, что кромѣ возложеннаго на васъ порученія надѣетесь еще то-то и то-то выполнить. Это, дескать, ужъ въ знакъ признательности. А въ заключеніе: „и дабы повелѣнно было сіе мое прошеніе“...

— И вы полагаете, дадутъ?

— Не только полагаю, но совершенно утвердительно говорю: не могутъ не дать. Вотъ еслибъ вы, при врученіи паспорта, попросили — ну, тогда, можетъ быть, вамъ сказали бы: въ такомъ случаѣ не угодно ли вамъ получить подорожную въ Пинегу? Но теперь... теперь, батюшка, ваше дѣло вѣрное! Человѣкъ вы легальный и командированы на законномъ основаніи; а коль скоро все произошло на законномъ основаніи, слѣдовательно вы имѣете право воспользоваться и всѣми естественными послѣдствіями этой законности. Вы уже теперь даже не Старосмысловъ, а просто Х., безъ выдачи прогонныхъ денегъ которому дѣло въ архивъ сдать нельзя.

— А чтò вы думаете! вѣдь и въ самомъ дѣлѣ!

— Да такой степени „въ самомъ дѣлѣ“, что даже въ эту самую минуту, я убѣжденъ, самъ столоначальникъ, у котораго ваше дѣло въ производствѣ, тоскуетъ о томъ, какую бы формулу придумать, чтобъ вамъ прогони всучить! А тутъ вы какъ разъ съ прошеніемъ: вотъ онъ я! Капитолина Егоровна! да поддержите же вы меня!

— Чтожъ, попробуй, мой другъ! — томно отозвалась Капитолина Егоровна.

Такъ мы и сдѣлали. Вмѣстѣ сочинили прошеніе, которое онъ зарукоприкладствовалъ и сейчасъ же отправилъ съ надписью: *récommandé*. Признаюсь, я съ особенной любовью настаивалъ, чтобъ прошеніе было по пунктамъ и написано, и зарукоприкладствовано. Помилуйте! одно тò чего стоитъ: сидятъ люди въ Парижѣ и по пунктамъ прошеніе сочиняютъ! Чрезвычайность этого положенія до такой степени взволновала меня, что я совсѣмъ забылся и воскликнулъ:

— Ну, а теперь возьмите малую толику подмазочки — и айда въ земскій судъ прошеніе подавать!

Разумѣется, всѣ, а въ томъ числѣ и я первый разсмѣялись моей разсѣянности. Но я былъ и тому ужъ радъ, что мнѣ удалось хоть минутку расцвѣтить улыбкой лицо этого испуганнаго человѣка.

Отъ Старосмысловыхъ я направился къ Блохинымъ и встрѣтилъ совсѣмъ другого сорта людей. Передо мной предсталъ человѣкъ еще молодой, лѣтъ тридцати, красивый, крѣпко сложенный, съ румянымъ лицомъ и пушистою свѣтлою бородой. Словомъ сказать, во всѣхъ статьяхъ „добрый русскій молодецъ“. Подстать ему была и жена его, Зоя Филипповна, женщина рослая, сложенная на манеръ Венеры Милосской, съ русскимъ круглымъ и смугло-румянымъ лицомъ, на которомъ алѣли пушицыя губы и нѣсколько черезчуръ пристально выглядывали изъ-подъ соболиныхъ бровей сѣрые выпученные глаза. Съ ними же была и старшая сестра Блохина, пожилая дѣвица, сырой комплекціи (въ формѣ среднихъ размѣровъ кулебяки), одержимая легкимъ удущемъ, но замѣчательно добродушная, общительная и покладливая. Вообще при взглядѣ на эту семью думалось: вотъ-вотъ они сейчасъ схватятся руками и начнутъ пѣсни играть. Сперва запоютъ: *Какъ по морю да по хвалынскому, да выплывала лебедь бѣлая*; потомъ начнутъ: *Во поле березинка стоя-а-ала*; потомъ и еще запоютъ, и будутъ не переставаячи пѣть вплоть до заутрени. И спляшутъ при этомъ: она пройдетъ сѣрой утицей, онъ — сизымъ селезнемъ. Но какъ и зачѣмъ они попали въ Парижъ? — это была загадка, которую они и сами врядъ-ли могли объяснить. Во всякомъ случаѣ они адски скучали въ разлукѣ съ Краснымъ-Холмомъ.

— Главная причина, языка у насъ нѣтъ, — сразу пожаловался мнѣ Блохинъ: — ни мы не понимаемъ, ни насъ не понимаютъ. Надо было еще въ Красномъ-Холмѣ это разсудить, а мы думали: Богъ милостивъ! Вотъ жена хоть и на пальцахъ разговариваетъ, однако, видно, бабамъ Богъ особенное дарованіе насчетъ тряпья дать — понимаютъ ее. Придетъ это въ магазинъ, сейчасъ гарсонъ встрѣчу: „мадамъ!“ Понравится ей вещь — она ему палецъ покажетъ, а онъ ей въ отвѣтъ — два пальца. Потомъ она пол-пальца прибавитъ, а онъ четъ пальца отбавитъ: будьте, значить, знакомы! Смотришь — и свяхались. Ишь вороха натаскала!

Я оглядѣлся кругомъ и дѣйствительно изумился. Вся комната была буквально загромождена картонками, тючками, платями, мантильями и прочимъ женскимъ хламомъ. Только и было свободнаго мѣста, гдѣ мы сидѣли.

— Кабы не Капитолина Егоровна съ Ѳеодоромъ Сергѣичемъ — и голодомъ, пожалуй, насидѣлись бы! — въ свою очередь пожаловалась Матрена Ивановна.

— Да и съ Ѳеодоръ Сергѣичемъ нелады вышли. Мы-то, знаете, въ Парижъ въ надеждѣ ѣхали. Наговорили намъ, въ Красномъ-то-Холмѣ: и денѣ, и перѣрѣ, и тюрѣ... Аппетитъ-то, значить, и вышлифовался. А Ѳеодору Сергѣичу въ хорошій-то трактиръ идти не по карману — онъ насъ по кухмистерскимъ и водить! Только ужъ и ѣда въ этихъ кухмистерскихъ... чистый адъ!



— А попробовали разъ сами собой въ трактиръ зайти, стали кушанье-то заказывать, а онъ, этотъ... гарсонъ, что-ли, только глаза таращить!

— Да еще чтò вышло! Подслушалъ этта нашъ разговоръ господинъ одинъ изъ русскихъ и заступился за насъ, заказалъ. А послѣ обѣда и под-сѣлъ къ намъ: „не можете ли вы, говорить, мнѣ на короткое время взаимъ дать?“ Ну, нечего дѣлать, вынулъ пятифранковикъ, одолжилъ.

— Да вы бы въ русскій ресторанъ сходили?

— Были-съ. Помилуйте—битокъ! Затѣмъ ли мы изъ Краснаго-Холма сюда ѣхали, чтобъ битки здѣшніе ѣсть?

— Ни въ театръ, ни на гулянье, ни на рѣдкости здѣшнія посмотреѣть! Сидимъ день-денской дома да въ окошки смотримъ!—вступилась Зоя Филиппевна: — только вотъ къ обѣднѣ два раза сходили, такъ какъ будто... Вотъ тебѣ и Парижъ!

— Но отчего-жъ бы вамъ съ Старосмысловыми въ театръ не сходить?

— То-то, что сердцами, значить, не сошлись, да и не то чтобъ сердцами, а капиталомъ они противъ насъ какъ будто отошали. Чудной вѣдь онъ! Ото всехъ прячется, да выматриваетъ, какого-то, прости Господи, Пафнутьева поджидаетъ...

— Ахъ, Боже мой! вотъ чудакъ-то!

— И я то же пыталъ говорить. Какъ, говорю, возможно, чтобъ господинъ Пафнутьевъ въ Парижѣ власть имѣлъ! И хошь бы чтò! „Бреслеты, говорить, на руки, и катать по всемъ по тремъ!“ Очень ужъ его тамъ испугали, въ отечествѣ-то! А человекъ-то какой преотличнѣйшій! И какъ свое дѣло знаетъ! Намеднишь идемъ мы вмѣстѣ, и спрашиваю я его: какъ, Ѳедоръ Сергѣичъ, на твоёмъ языкѣ „люблю“ сказать?—Амо, говорить. „Ну, говорю, амо и тебя, и Капитолину Егоровну твою, и я, и жена, и все мы — амо!“ Ну, усмѣхнулся: коли все, говорить, такъ ужъ не амо, а amamus! И за чтò только такая на нихъ напасть!

— Ну, Богъ милостивъ!

— И я то же говорю. Только сердитыя нынче времена настали, доложу вамъ! Давно ужъ у Бога милости просимъ—анъ все ея нѣтъ!

— Вамъ-то впрочемъ грѣшно бы пожаловаться.

— Мы-то—слава Богу. Здоровы, при капиталѣ — на чтò лучше! А тоже и мы видимъ. Вотъ хотъ бы на Ѳедора Сергѣича поглядѣть — чего только онъ не вытерпѣлъ! Нѣтъ, доложу вамъ, и прежде строгости были, а нынче противъ прежняго вдвое стало. А между прочимъ въ народѣ амбіція въ ходъ пошла, такъ оно будто и скученько стало на строгости-то смотреѣть. Еще на моей памяти, придетъ, бывало, къ батюшкѣ-покойнику становой-то: просто, мило, благородно! Посидитъ, закуситъ... Дѣловъ за нами нѣтъ, а по силѣ возможности... получи! А нынче онъ придетъ: въ кеѣ да въ погонахъ... ахъ, распостылый ты человекъ!

— Ну, это ужъ ваше личное чувство говорить.

— Нѣтъ, и не во мнѣ одномъ, а во всехъ. Вѣрьте или нѣтъ, а какъ взглянешь на него, какъ онъ по улицѣ идетъ да глазами всекидываетъ... ахъ ты, ахъ!

— Ахъ, Захаръ Ивановичъ!

— Знаю, что нехорошо это... Не похвалать меня за эти слова... известно! Только ужъ и пабалованы они, доложу вамъ! Строгости-то строгостями, анъ смотришь, довольно и озорства. Все „духу“ ищутъ; ты ему сегодня поперекъ что-нибудь сказалъ, а онъ въ тебѣ завтра „духъ“ разыскалъ! Да не далече ходить, Ѳедоръ Сергѣичъ-то! Что только они съ нимъ издѣлялись!

— Ужъ такъ намъ ихъ жалко! такъ жалко! — подтвердила и Матрена Ивановна.

— Истинно вамъ говорю: глядишь это глядишь, какое нынче вездѣ озорство пошло, такъ инда тебя ножемъ по сердцу полыснеть! Совсѣмъ жить невозможно стало. Главная причина: приспособиться никакъ невозможно. Ты думаешь: давай буду жить такъ! — бацъ! живи вотъ какъ! Начнешь жить по новому — бацъ! живи опять по старому! Ужъ на что я простой человѣкъ, а и то сколько разъ говорилъ себѣ: брошу Красный-Холмъ и уѣду жить въ Петербургъ!

— За чѣмъ же дѣло стало?

— Своеѣ мѣста жалко — только и всего.

— Известно, жалко: и домъ, и заведеніе, и все... — подтверждала и Матрена Ивановна.

— А вамъ жалко? — обратился я къ Зоѣ Филипповнѣ.

— Миѣ что! я мужняя жена! вонъ онъ, мужъ-то у меня какой!

— Ахъ, умница ты наша! — похвалила Матрена Ивановна.

— Вы долго ли думаете въ Парижѣ пробыть?

— Да свое время отсидѣть все-таки нужно. Съ недѣлю ужъ гостимъ; еще недѣли съ двѣ — и шабашъ.

— Такъ знаете ли, что мы сдѣлаемъ. И вамъ скучно, и Старосмысловымъ скучно, и миѣ скучно. Такъ вотъ мы соединимся вмѣстѣ, да и будемъ сообща скучать. И заведемъ мы здѣсь свой собственный Красный-Холмъ, какъ лучше не надо!

— И преотлично! — разомъ воскликнули Блохины.

— Я буду васъ и по ресторанамъ, и по театрамъ водить. И все по такимъ театрамъ, гдѣ и безъ словъ понятно. А ежели Старосмыслову прогоны и порціоны разрѣшать, такъ и они навѣрное жаться не будутъ.

Я рассказалъ имъ, какую мы утромъ просьбу общими силами соорудили и какія надежды на нее возлагаемъ. И въ заключеніе прибавилъ:

— А въ Парижѣ надоѣстъ, такъ мы въ Версаль, въ родѣ какъ въ Весёгонскъ махнемъ, а захочется, такъ и въ Кашинъ... то-бишь, въ Фонтенблô — рукой подать!

И такъ осуществить Красный-Холмъ въ Парижѣ, Версаль претворить въ Весёгонскъ, Фонтенблô въ Кашинъ — вотъ задача, которую предстояло намъ выполнить.

Съ перваго взгляда можетъ показаться, что осуществленіе подобной программы потребуетъ сильнаго воображенія и очень серьезныхъ приспособленій. Но въ сущности и въ особенности для насъ, русскихъ, попытки этого рода рѣшительно не представляютъ никакой трудности. Не воображеніе тутъ



нужно, а самое обыкновенное оцѣпенѣніе мысли. Когда дѣятельность мысли доведена до минимума, и когда этотъ минимумъ, ни разу существенно не понижаясь, считаетъ за собой цѣлую исторію, теряющуюся во мракѣ время — вотъ тутъ-то именно и настигаетъ человѣка блаженное состояніе, при которомъ Парижъ самъ собою отождествляется съ чѣмъ угодно: съ Везьёгонскомъ, съ Пошехоньемъ, съ Богучаромъ и т. д. Мыслительная способность атрофируется, и вмѣстѣ съ этимъ исчезаетъ не только пытливость, но и самое простое любопытство. Старое, насиженное, обжитое — вотъ единственное, что удовлетворяетъ обезсиленный умъ. И это насиженное воспроизводится съ такою легкостью, что само собою, помимо всякаго содѣйствія со стороны воображенія, перемѣщается слѣдомъ за человѣкомъ, куда бы ни кинула его судьба.

Возстановить Красный-Холмъ въ Парижѣ положительно ничего не стоитъ. Нужно только разложиться съ вещами и затѣмъ начать жить да поживать. Правда, что житье въ отелѣ, сравнительно съ Краснымъ-Холмомъ, покажется тѣсновато, но за то въ Парижѣ имѣются льготы, которыхъ не найдешь не только въ Красномъ-Холму, но и въ Кашинѣ. И льготы именно въ краснохолмскомъ смыслѣ, то-есть такія, которыхъ на мѣстѣ не сыщешь, но которыя краснохолмскимъ воображеніемъ не отвергаются. Таковы, напримѣръ: пулѣ, дендѣ, пердрѣ, тюрбѣ, славу о которыхъ на всю Россію искони протрубили предводители дворянства. Затѣмъ: магазины всевозможнаго женскаго тряпья, отъ которыхъ безъ ума всѣ предводительши, макадамъ на улицахъ, отличное уличное освѣщеніе, писсуары и т. д., о которыхъ съ благосклонностью отзываются всѣ уѣздные исправники, какъ о такихъ реформахъ, которыя не ведутъ къ потрясенію основъ. И въ довершеніе всего есть для мужчинъ кокетки, въ родѣ той, какую однажды выписалъ въ Кашинъ 1-й гильдіи купецъ Шомполовъ и объ которой весь Кашинъ въ свое время говорилъ: „ахъ, хороша стерва!“

Въ Парижѣ отличная груша-дюшесъ стоитъ десять су, а въ Красномъ-Холму ее ни за какія деньги не укупишь. Въ Парижѣ бутылка прекраснѣйшаго Понтѣ-Канѣ стоитъ шесть франковъ, а въ Красномъ-Холму за Зызыкинскую отраву надо заплатить три рубля. И такъ далѣе безъ конца. И все это не только не выходитъ изъ предѣловъ краснохолмскихъ идеаловъ, но и вполне подтверждаетъ оныя. Даже театры найдутся такіе, которые по горло уконтентуютъ самаго требовательнаго краснохолмскаго обывателя.

Когда воображеніе потухло и мысль заскорбѣла, когда новое не интересуетъ и нѣтъ мѣрила для сравненій — какія же могутъ быть препятствія, чтобъ чувствовать себя вездѣ, гдѣ угодно, матерымъ краснохолмскимъ обывателемъ. Одного только недостаетъ (этого и за деньги не добудешь): становой квартиры изъ окна не видать — такъ это, по нынѣшнему времени, даже лучше. До этого-то и краснохолмцы ужъ додумались, что становой только свѣтъ застать.

— Какъ пошли они, въ позапрошломъ лѣтѣ, по домамъ шарить, такъ вѣрите ли, душа со стыда сгорѣла! — говорилъ мнѣ Блохинъ, рассказывая, какъ петербургскія „событія“ отразились въ районѣ вышневолоцко-везьёгонскихъ палестинъ.

И онъ говорилъ это съ неподдѣльнымъ негодованіемъ, несмотря на то,

что его репутація въ смыслѣ „стопа“ стояла настолько неизмѣнно, что никакое „шаренье“, или отыскиваніе „духа“ не могло ему лично угрожать. Почему онъ, никогда не сгоравшій со стыда, вдругъ сторѣлъ — этого онъ, конечно, и самъ какъ слѣдуетъ не объяснить. Но вѣроятно причина была очень простая: скверно смотрѣть стало. Всѣмъ стало скверно смотрѣть; надоѣло.

Какъ бы то ни было, но, разъ рѣшившись воспроизводить исключительно краснохолмскіе идеалы, мы зажили отлично. Единственную не-краснохолмскую роскошь, которую я лично себѣ позволилъ — это газеты. Я покупалъ ихъ ежедневно и притомъ самыя страшныя: „L'Intransigeant“, „Le Mot d'Ordre“, „La Commune“, „La Justice“. Чтѣ дѣлать! идешь мимо кіоска, видишь: разложены, стало-быть велѣно покупать — купишь. Сначала я боялся: думалъ, начитаюсь, приѣду въ Россію — чего добраго, революцію произведу. Однако, съ Божьею помощію, въ короткое время такъ наметался, что все равно, что читалъ, что нѣтъ. За то все остальное времяпропровожденіе было во истину краснохолмское. Часовъ до 12-ти утра мы исправлялись дома, то-есть распивали чай и кофеи по своимъ угламъ. Послѣ 12-ти выходили на улицу и начинали, по выраженію Захара Ивановича, „путаться“ и „воловодиться“.

Брали подъ руки дамъ и по порядку обходили рестораны. Въ одномъ завтракали, въ другомъ просто ѣли, въ третьемъ спрашивали для себя пива, а дамамъ „граниту“. Когда ѣли, то Захаръ Ивановичъ неизмѣнно спрашивалъ у Старосмыслова: „а какъ это кушанье по-латыни называется?“ — и Ѳеодоръ Сергѣичъ всегда отвѣчалъ безошибочно.

— Никогда не скажешь: не знаю! — изумлялся Блохинъ: — и этакое человѣка... въ Пинегу!

Въ промежуткахъ между кушаньями вспоминали о Красно-Холмѣ, старались угадать: рыжики-то уродились ли нонѣ?

Часа въ три компанія распадалась. Дамы предпринимали путешествіе по магазинамъ, а мужчины отправлялись смотрѣть „картинки“. Во время процесса смотрѣнія Захаръ Ивановичъ взвизгивалъ: „ахъ, шельма!“ и спрашивалъ у Ѳеодора Сергѣича, какъ это называется по-латыни. Но однажды зашли мы въ пирожную, и съ Блохинымъ вдругъ сдѣлалось что-то необыкновенное.

— Она... она самая! — шепнулъ онъ мнѣ, указывая на рослую и совершенно рыжую женщину, которая стояла у конторки. — Наша... кашинская!

И не успѣлъ я сообразить, въ чемъ дѣло, какъ у него ужъ и глаза кровью налились.

— Въ Кашинѣ... была? — спросилъ онъ ее въ упоръ.

Конторщица взглянула на него съ недоумѣніемъ, но по лицу ея пробѣжала чуть замѣтная улыбка: ей очевидно польстило, что „добраго русскаго мѣлодца“ такъ сразу прошибло.

— Въ Кашинѣ... была? — настаивалъ Захаръ Ивановичъ.

Насилу мы его увели.

Часовъ около шести компанія вновь соединялась въ слѣдующемъ по порядку ресторанѣ и спрашивала объѣдъ. Ёли и пили мы вѣласть, хотя присутствіе Старосмысловыхъ нѣсколько стѣсняло насъ. Дня съ четыре они шли



наравнѣ съ нами, но на пятый Ѳедоръ Сергѣичъ объявилъ, что у него болитъ животъ, и спросилъ вмѣсто обѣда полбиштекса на двоихъ. Очевидно, въ его душу начинало закрадываться сомнѣніе насчетъ прогоновъ, и надо сказать правду, никого такъ не огорчало это вынужденное воздержаніе, какъ Блохина.

— Вѣдь вотъ и добрый человѣкъ, а сколь жестокъ! — жаловался онъ мнѣ: — не хочеть понять, что намъ не деньги его нужны, а душа!

Послѣ обѣда иногда мы отправлялись въ театръ или въ кафе-шантанъ, но такъ какъ Старосмысловы и тутъ стѣсняли насъ, то чаще всего мы возвращались домой, собирались у Блохиныхъ и начинали играть пѣсни. Захаръ Ивановичъ затягивалъ: „Солнце на закатѣ“, Зоя Филипповна подхватывала: „Время на утратѣ“, а хоръ поддавалъ: „Пошли дѣвки за заборъ“... Въ Парижѣ, въ виду Мадленны, въ теплую сентябрьскую ночь, при открытых окнахъ — это производило удивительный эффектъ!

Иногда обычный репертуаръ дня видоизмѣнялся, и мы отправлялись смотрѣть парижскія „рѣдкости“. Ъздили въ Jardin des plantes и въ Jardin d'acclimatation, лазили на Вандомскую колонну, побывали въ Musée Cluny и наконецъ посѣтили Луврскій музей. Но тутъ случился новый казусъ: увидѣвши Венеру Милосскую, Захаръ Ивановичъ опять вклепался и сталъ увѣрять, что видѣлъ ее въ Кашинѣ. Насилу мы его увели.

— При тебѣ только мы и свѣтъ ўзрили! — открывался мнѣ Захаръ Ивановичъ: — кабы не ты, чтѣ бы мы, пріѣхадчи въ Холмъ, про Парижъ рассказывать стали?

Насладившись вдоволь Парижемъ, нельзя было оставить безъ вниманія и окрестности. Разумѣется, прежде всего, отправились въ Версаль. Дорогой я, конечно, не преминулъ рассказать, какую я, пять лѣтъ тому назадъ, выкинулъ тутъ штуку съ Лабудѣ. Всѣ такъ и ахнули.

— То-то, чай, глаза вытаращилъ, какъ проснулся! — похвалилъ меня Блохинъ.

И, помолчавъ немного, прибавилъ:

— Только черезъ тебя мы свѣтъ ўзрили! Ишь вѣдь ты... на всѣ руки!

Въ Версалѣ мы обошли дворецъ, затѣмъ вышли на террасу и бросили общій взглядъ на садъ. Потомъ прошли по средней аллеѣ, взяли фіакры и посѣтили „примѣчательности“: Parc au cerfs, Трианонъ и т. п. Разумѣется, я рассказалъ при этомъ, какъ отлично проводилъ тутъ время Людовикъ XV, и какъ потомъ Людовикъ XVI вынужденъ былъ проводить время нѣсколько иначе. Разсказъ этотъ повидимому произвелъ на Захара Ивановича впечатлѣніе, потому что онъ сосредоточился, снялъ шляпу и задумчиво произнесъ:

— Стало быть, въ эфтимъ самомъ мѣстѣ энти самые короли...

— Именно такъ, — подтвердилъ я.

— Все короли да все Людовики... И чтѣ за причина такая? — съ своей стороны затужила-было Матрена Изановна, но Захаръ Ивановичъ не далъ ей продолжать.

— Шабашъ! — сказалъ онъ: — царство небесное — и конченъ балъ!

Однакожь черезъ нѣсколько минутъ онъ вновь возвратился къ тому же сюжету.

— И какъ эти французы теперича безъ королей живутъ? Чудаки, право!

— А какъ живутъ! Извѣстно: день да ночь — сутки прочь! — объяснила Матрена Ивановна.

— Не иначе, что такъ. У насъ ребенокъ, и тотъ понимаетъ: нѣтъ власть еще... а французъ этого не знаетъ! А можетъ и они слышать, какъ въ церквахъ про это читаютъ, да мимо ушей пропускаютъ! Чудаки! Оедоръ Сергѣичъ! давно хотѣлъ я тебя спросить: какъ на твоёмъ языкѣ „король“ прозывается?

— Rex.

— А императоръ?

— Imperator.

— А который, по твоему, больше: rex или imperator?

— Imperator — ужъ на чтѣ выше!

— Ну, такъ вотъ ты и мотай себѣ на усъ... да!

Блохинъ выговорилъ эти слова медленно и даже почти строго. Какимъ образомъ зародилась въ немъ эта фраза — это я объяснить не умѣю, но думаю, что сначала она явилась *такъ*, а потомъ вдругъ, во время самого процесса произнесения, созрѣлъ проектъ: а попробую-ка я Старосмыслову предиду сказать! А можетъ быть и цѣлый проектъ примиренія Старосмыслова съ Пафнутевымъ вдругъ въ головѣ созрѣлъ. Какъ бы то ни было, но Оедоръ Сергѣичъ при этомъ напомниманіи слегка дрогнулъ.

А Блохинъ между тѣмъ началъ постепенно входить во вкусъ и подпускать такъ-называемые обиняки. „Мыста да вы ста“, „сидимъ да шипимъ, шипимъ да посиживаемъ“, „и куда мы только себя готовимъ!“ и т. д. Выпустить обинякъ и посмотреть на Оедора Сергѣича. А въ заключеніе окончательно разсердился и закричалъ на весь Трианонъ:

— Свиныи — и тѣ лучше, не-чѣмъ эти французы *живутъ*! Ишь вѣдь, королей не имѣютъ, властей не признаютъ, страху не знаютъ... въ Бога-то вѣруютъ ли?

Насилу мы его увели.

На другой день мы отпразднелись въ Фонтенблô, но эта резиденція уже не вызвала ни той сосредоточенности, ни того благоговѣйнаго чувства, какихъ мы были свидѣтелями въ Версалѣ. Благодаря краснохолмскому приговору, Захаръ Ивановичъ настолько былъ уже преисполненъ туками, что едва успѣли мы осмотрѣть перо, которымъ Наполеонъ I подписалъ отреченіе отъ престола, какъ онъ уже запыхался. Ни знаменитаго Фонтенблôскаго лѣса, ни прочихъ достопримѣчательностей мы такъ и не осматривали, потому что Блохинъ на всѣ предложенія твердо отвѣчалъ: „ну ихъ къ ляду!“ И только дорогой, ѣдучи въ Парижъ, молвилъ:

— Пожилъ, повоевалъ — и шабашъ! Умный былъ человекъ, а вотъ... И какая этому причина?

Во всякомъ случаѣ впечатлѣнія этихъ двухъ дней не прошли для Блохина даромъ. Тѣни Людовиковъ какъ бы остепенили его: до сихъ поръ онъ выказывалъ себя умѣреннымъ либераломъ, теперь же вдругъ сдѣлался легитимистомъ.



Воротившись изъ экскурсіи домой, онъ какъ-то пришпилился и ни о чемъ больше не хотѣлъ говорить, кромѣ какъ объ короляхъ. Вздыхалъ, чесалъ поясицу, повторялъ: „ему же дань-дань!“, „звѣзда бо отъ звѣзды“, „сущія же власти“ и т. д. И въ заключеніе предложилъ вопросъ: мазанные ли были французскіе короли, или немазанные, и когда получилъ отвѣтъ, что мазанные, то сказалъ:

— Ну, стало быть, не такъ ихъ мазали, какъ прописано. Потому, еслибъ ихъ настояще мазали, такъ они бы и сейчасъ въ этой самой Версали сидѣли, и ничего бы ты съ ними не подѣлалъ... ау, братъ!

Покончивъ такимъ образомъ съ Людовиками, перешелъ къ Наполеону и не одобрилъ его.

— Зналъ вѣдь, что законный король въ живыхъ состоитъ, а между прочимъ и виду не подавалъ, что знаетъ... все одно что у насъ Пугачевъ!

И наконецъ до того довелъ необузданность чувствъ, что пожелалъ познакомиться и съ Гамбеттой.

— Одно бы мнѣ ему только слово сказать! только одно слово... и аминь!

Внимая Захару Иванычу, всѣ остальные какъ-то присмирѣли. Вообще я давно ужъ замѣтилъ, что какъ только заведется разговоръ о томъ, какъ и кто „мазанъ“, такъ даже у самыхъ словоохотливыхъ людей вдругъ пропадаетъ словесность. Не знаю, понимаютъ ли краснохолмскіе первой гильдіи купцы, что въ это время съ ихъ слушателями происходитъ нѣчто не совсѣмъ ладное, но во всякомъ случаѣ они съ изумительнымъ инстинктомъ пользуются подобными минутами замѣшательства. Ужъ на что, кажется, добродушенъ Захаръ Иванычъ, а посмотрите, какъ онъ распѣлся, какъ только началъ на подходящий мотивъ! Сразу догадался, что онъ хоть до завтра калякай, а мы все-таки будемъ его слушать. И въ Красномъ-Холму выслушаемъ, и въ Парижѣ выслушаемъ. Потому что эти первой гильдіи купцы... кто же ихъ знаетъ, что у нихъ на умѣ! Сейчасъ онъ объ Старосмысловѣ печалуется: „что они съ нимъ издѣлали?“ а вслѣдъ затѣмъ вдругъ по поводу того же Старосмыслова сбѣсится и закричитъ: „караулъ! сицилистъ!“

И дѣйствительно, началъ Блохинъ строго, а кончилъ еще того строже. Говорилъ-говорилъ, да вдругъ обратился въ упоръ къ Старосмыслову и пророческимъ тономъ присовокупилъ:

— А ты, парень, все-таки нѣ усь себѣ наматывай!

Чуть было я не сказалъ: „ахъ, свинья!“ Но такъ какъ я только подумалъ это, а не сказалъ, то очень вѣроятно, что Захаръ Иванычъ и сейчасъ не знаетъ, что онъ свинья. И многіе по той же причинѣ не знаютъ.

Часа четыре сряду я провозился на кровати, не смыкаячи очей; все думалъ, какъ мнѣ поступить съ Старосмысловымъ: предоставить ли его самому себѣ, или же и съ своей стороны посодѣйствовать его возрожденію? Въ послѣднее время съ Старосмысловымъ происходило нѣчто очень странное: онъ осунулся, похудѣлъ и до такой степени выцвѣлъ, какъ будто каждый день принималъ слабительное. Сверхъ того, я замѣтилъ, что и Капитолина Егоровна по временамъ появляется съ красными глазами, какъ бы отъ слезъ. Ясно, что между ними возникъ вопросъ, и именно вопросъ о раскаяніи. Повидимому Ѳеодоръ Сергѣичъ готовъ сдаться: напротивъ того, Капитолина Егоровна

—крѣпится. И по цѣлымъ часамъ ведутъ они между собой безконечно тяжкій разговоръ: какъ тутъ быть? и ни до чего не могутъ договориться...

Разумѣется, самая трудная сторона для разрѣшенія — это матеріальная. Какія перспективы можетъ имѣть учитель латинской грамматики? какую производительную силу представляетъ онъ собой? И притомъ такой учитель латинской грамматики, которому не выдали даже прогонныхъ денегъ?! Вотъ ежели вышлютъ прогоны, тогда можно, пожалуй, и воспрянуть; но если не вышлютъ... Но положимъ, что даже и вышлютъ — развѣ можно безсрочно жить въ Парижѣ, исполняя порученія на тему *Tolle, me, tu, mi, mis...* Когда же нибудь придется и опять въ Навозный съ отчетомъ ѣхать. И не одному Старосмыслову, и всѣмъ придется туда ѣхать, всѣмъ съ чистымъ сердцемъ предстать. Вотъ это-то мы и забываемъ. Гуляемъ да гуляемъ, думаемъ, что и конца этому гуляню не будетъ и вдругъ разсильный изъ участка: „пожалуйте!“

И охота была Старосмыслову „періоды“ сочинять! Добро бы философію преподавалъ, или занималъ бы каеэдру элоквенціи, а то — натко! — старшій учитель латинскаго языка да чтѣ выдумалъ! Ужъ это самое послѣднее дѣло, еслибъ и туда эта язва засѣла! Возлюбленнѣйшія чада народнаго просвѣщенія — и тѣ сбрендили! Сидѣлъ бы себѣ да въ Корнеліи Непотѣ копался — такъ нѣтъ, подавай ему Тацита! А хочешь Тацита — хоти и Пинегу... предатель!

И вѣдь отлично онъ зналъ, что за это у насъ не похвалятъ. Съ пеленокъ заставляли его лепетать: „сила соломѣ ломить“ — разъ; „плетью обуха не перешибешь“ — два; „уши выше лба не растутъ“ — три; и все-таки полѣзъ! И географіи-то когда учили, то приговаривали: Кола, Пинега, Мезень; Мезень, Мезень, Мезень... Нѣтъ-таки, позабылъ и это! А теперь удивляется... чему?

Ясно, что онъ Капочкѣ понравиться хотѣлъ, думалъ, что за „періоды“ она еще больше любить станетъ. А того не сообразилъ, милый человѣкъ, что бывають такія строгія времена, когда ни любить нельзя, ни любимымъ быть не полагается, а надо встать уставившись лбомъ и заколѣнѣть.

Удивительно, какъ еще Тацита Пафнутьевъ въ покоѣ оставилъ, какъ онъ и его въ Пинегу не сослалъ? Истинно, Юпитеръ спасъ!

Ахъ, надо же и Пафнутьева пожалѣть... ничего-то вѣдь онъ не знаетъ! Географіи — не знаетъ, исторіи — не знаетъ. Какъ есть — оболтусъ. Еслибъ онъ зналъ про Тацита — ужели бы онъ его къ чортовой матери не услалъ? И Тацита, и Тразею Пета, и Ликурга, и Дракона, и Адама съ Евой, и Ноя съ птицами и звѣрьми... всѣхъ! Покуда бы начальство за руку его не остановило: „стой! а кто же, по твоему, будетъ плодиться и множиться?“

И все-таки надо какъ-нибудь подкрѣпить Старосмыслова въ его новомъ душевномъ настроеніи. Не такъ грубо, какъ взялся за это Захаръ Ивановичъ, а какъ-нибудь стороной, чтобъ ему въ самый разъ было, да и Капитолину Егоровну не очень бы огорчило. Но какъ это сдѣлать? Ежели начать съ „чинъ-чина почитай“ — онъ-то, можетъ быть, и найдетъ въ своемъ сердцѣ готовность воспринять эту истину, да Капитолина Егоровна, чего добраго, заплачетъ. По какой причинѣ она заплачетъ — объ этомъ двойко можно



сказать. Можетъ быть, оттого, что съ прежней либеральной позиціей жалко разстаться, а можетъ быть и оттого, что она и сама ужъ понимаетъ, что музыка ея не выгорѣла. Но и въ томъ, и въ другомъ случаѣ несомнѣнно, что она заплачетъ оттого, что на сердцѣ кошки скребутъ.

Но потому-то именно и надо это дѣло какъ-нибудь исподволь повести, чтобъ оба, ничего, такъ сказать, не понимаячи, очутились въ самомъ лонѣ онаго. Ловчѣе всего это дѣлается, когда люди находятся въ состояніи подпитія. Выпьютъ по стакану, выпьютъ по другому—и вдругъ наплывъ чувствъ! Вскочать, начнутъ цѣловаться... ура! Капитолина Егоровна застыдится и скажетъ:

— Что-жъ, ежели всѣ... попробуй, Одея!

А Захаръ Ивановичъ поощрить:

— Валяй!

Вотъ опѣ какія дѣла могутъ изъ „періода“ на свѣтъ Божій выскочить!

Но тутъ мысли въ моей головѣ перемѣшались, и я заснулъ, не придумавши ничего существеннаго. Къ счастью, сама судьба бодрствовала за Старо-смыслова, подготовивъ случай, по поводу котораго всей нашей компаніи самымъ естественнымъ образомъ предстояло осуществить идею о подпитіи. На другой день—это было 17 (5) сентября, памяти Захаріи и Елисаветы—едва я проснулся, какъ ко мнѣ ввалился Захаръ Ивановичъ и торжественно произнесъ:

— Богъ милости прислалъ. Прямо изъ церкви-съ. Просимъ покорно сегодня пирога откусать.

— По какому случаю?

— По случаю дня ангела-съ. Хотя и въ иностранныхъ земляхъ находимся, а все же честь честью надо ангелу своему порадоваться. Въ русскомъ ресторанѣ-съ.

И вдругъ словно лучъ меня освѣтилъ. Все, чтѣ я тщетно обдумывалъ ночью и для чего не могъ подыскать подходящей формулы, все это предстало предо мною въ самой плѣнительной ясности!

„Русскій ресторанъ“ помѣщается недалеко отъ Итальянскаго бульвара, противъ Комической Оперы, и замѣчателенъ по преимуществу тѣмъ, что выходитъ окнами на обширный и притомъ совершенно открытый писсуаръ. Изъ русскихъ кушаній тутъ можно получить: *tshu russe*, *koulibak* и *bitok au smétane*; все остальное совершенно то же, что и въ любомъ французскомъ ресторанѣ средней руки. Посѣтитель этого заведенія немногочисленъ и стыдливъ. Заходитъ больше средній русскій человѣкъ, и не въ обычный парижскій обѣденный часъ, а такъ между двумя и тремя часами. Спроситъ порцію шей или битокъ, пообѣдаетъ, а знакомымъ говорить, что завтракаетъ. И знакомые тоже обѣдаютъ, но увѣряютъ, что завтракаютъ. И такимъ образомъ политиканья и лгутъ совершенно такъ же, какъ въ Россіи, а зачѣмъ лгутъ—сами не знаютъ. Изъ „особъ“ сюда приходятъ (и тоже говорятъ, что завтракаютъ) тѣ немногіе сенаторы, которые получаютъ жалованье по штату и никакими иными „присвоенными“ окладами не пользуются. На Парижъ-то ему посмотри-тъ хочется, а жалованье небольшое и дѣтей куча—вотъ онъ и плетется въ русскій ресторанъ „завтракать“.

Да, есть такіе бѣдные, что всю жизнь не только изъ штатнаго положе-

нія не выходятъ, но всѣ остальные усовершенствованія: и привислянское обрусеніе, и уфимскіе раздѣлы — все это у нихъ на глазахъ промелькнуло, по усамъ текло, а въ ротъ не попало. Да ихъ же еще по преимуществу, для парада, на крестные ходы посылаютъ!

Сидитъ онъ, этотъ въ штатъ осужденный, гдѣ-нибудь на Васильевскомъ Островѣ, радъ бы десять такихъ жалованьевъ заглотать — и не даютъ. Вспомнить, какъ въ свое время Юханцевъ жилъ, сравнить свои заслуги съ его заслугами и заплачетъ. Обидно. А всего обиднѣе, что не только прибавки къ штатному содержанію, но даже дѣлъ ему на просмотръ не даютъ: „гдѣ тебѣ, старику! вотъ ужъ крестный ходъ будетъ, такъ пройдешься!“ А между тѣмъ онъ, ей-Богу, еще въ полномъ разумѣ... Хоть сейчасъ испытайте! Ваше превосходительство! да вы попробуйте!.. Ну, что тамъ пустое молоть!

И чего-чего только онъ ни дѣлалъ, чтобъ изъ штата выйти! И тайныхъ совѣтниковъ въ нигилизмъ обвинялъ, и во всевозможныя особы присутствія запрашивался, и уходящихъ въ отставку начальниковъ подходя костилъ, новоявленныхъ же прославлялъ... Однажды, въ тоскѣ смертной, даже руку начальнику поцѣловалъ, а онъ тотъ только фыркнулъ! А онъ-то, цѣлуя, думалъ: „Господи! кабы тысячу!“

Говядина нынче дорогая, хлѣбъ пять копѣекъ за фунтъ, а къ живности, къ рыбѣ и приступу нѣтъ... А на плечахъ-то чинъ лежитъ, и говорить этотъ чинъ: „теперь тебѣ, вмѣсто фунта, всего по два фунта съѣдать надлежитъ!“

И вдругъ онъ надумалъ въ Парижъ... Сколько смѣху-то было! Даже эскуторъ смѣялся: „такъ вы, Иванъ Семенычъ, въ Парижъ?“ А онъ одну только думу думаетъ: „Съѣзжу въ Парижъ, ворочусь, скажутъ: образованный! Смотришь, а нѣ тысячка-другая и набѣжитъ!“

И вотъ онъ бѣжитъ въ русскій ресторанъ, съѣстъ *bitok au smétane* — и правъ на цѣлый день. И все думаетъ: „ворочусь, буду на Петровской площади анекдоты изъ жизни Гамбетты разсказывать!“ И точно: воротился, разсказываетъ. Всѣ удивляются, говорятъ: „совсѣмъ современнымъ человѣкомъ нашъ Иванъ Семенычъ пріѣхалъ!“

Но ждетъ онъ мѣсяцъ, ждетъ другой — нѣтъ противъ штатнаго положенія облегченія, да и на поди! Господа! да обратите же, наконецъ, вниманіе! Анна-то Ивановна вѣдь ужъ девятымъ тяжела ходитъ!

Вотъ въ этотъ самый ресторанъ и привлекъ насъ Блохинъ. Вѣроятно онъ руководился соображеніемъ, что имениннику безъ кулебяки быть нельзя, а въ другомъ мѣстѣ этого кулинарнаго продукта не отыщешь.

Я не буду останавливаться на обѣденномъ *мени*: Захаръ Ивановичъ изъ всѣхъ силъ выбился, чтобъ сообщить ему вполне краснохолмскій характеръ. Ради вящаго сходства, онъ даже прихватилъ парочку тайныхъ совѣтниковъ, изъ русскихъ ресторанныхъ *habitués*, которые, должно быть, еще наканунѣ проноухали, что русскій купчина будетъ справлять именины, и съ утра, выбритые и съ подвитыми висками, подстерегали насъ. Я впрочемъ потому позволяю себѣ эту догадку, что тайные совѣтники явились во фракахъ, и какъ только окончательно увѣрились, что ихъ пригласили, то вынули изъ боковыхъ кармановъ по звѣздѣ и возложили ихъ на себя по уста-



новленію. За столомъ тайные совѣтники помѣстились по обѣ стороны Зои Филипповны, причемъ когда кушанья начинали подавать съ одного тайнаго совѣтника, то другой завидовалъ и волновался при мысли, что пока дойдетъ до него чередъ, лучшіе куски будутъ уже разобраны. Сверхъ того, я замѣтилъ, что тайные совѣтники всякаго кушанья накладывали на тарелки противъ другихъ вдвое: одну порцію лично для себя, а другую — ради чина. Но такъ какъ они поступали такимъ образомъ не изъ жадности, а по принципу, то Захаръ Ивановичъ не только не тяготился этимъ, но даже упрашивалъ взять еще по кусочку — на звѣзду.

Ѣли и пили мы цѣлыхъ полтора часа. И вотъ, когда тайные совѣтники впали отъ усиленной ѣды во младенчество, а прочіе гости дошли до точки, я улучилъ минуту и, снявшись со стула, произнесъ спичъ:

— Захаръ Ивановичъ! — сказалъ я: — торжествуя вмѣстѣ съ вами день вашего ангела, я мысленно переношусь на нашу милую родину и на обширномъ ея пространствѣ отыскиваю скромный, но дорогой сердцу городокъ, въ которомъ вы, такъ сказать, впервые увидѣли свѣтъ. Этотъ городъ былъ свидѣтелемъ вашихъ младенческихъ игръ; онъ любовался вами, когда вы, подъ руководствомъ маститаго вашего родителя, неопытнымъ юношей робко вступили на поприще яичнаго производства, и потомъ съ любовью слѣдилъ, какъ въ сердцѣ вашемъ, всегда открытомъ для всего добраго, постепенно созрѣвали сѣмена благочестія и любви къ постройкѣ колоколенъ и церковей (при этихъ словахъ Захаръ Ивановичъ и Матрена Ивановна набожно перекрестились, а одинъ изъ тайныхъ совѣтниковъ потянулся къ амфитріону и подставилъ ему свою голую и до скользкости выбритую щеку). И вотъ теперь, когда родитель вашъ уже скончался („Царство небесное!“ — шепчетъ Матрена Ивановна), родной городъ можетъ засвидѣтельствовать, что ваше яичное производство не только не умалилось, но распорядительностью вашею доведено до размѣровъ дотолѣ неслыханныхъ.

— Исполать вамъ, Захаръ Ивановичъ! ибо надобно знать, чтò такое яйцо и какую роль оно играетъ въ жизни человѣческихъ обществъ; надобно собственнымъ опытомъ убѣдиться, какъ этотъ продуктъ хрупекъ и какимъ опасностямъ онъ подвергается при перемѣщеніяхъ, чтобъ исполнѣ оцѣнить вашу заслугу передъ отечествомъ. Еслибъ приказчики ваши не развѣзжали круглый годъ по деревнямъ нашимъ, то крестьянинъ, этотъ первый производитель яйца — куда бы, спрашивается, онъ дѣвался съ нимъ? А съ другой стороны, еслибъ вы, цѣною неустанныхъ трудовъ, не перемѣстили яйца изъ деревни въ столицу, какимъ бы другимъ равносильнымъ продуктомъ могъ замѣнить его житель послѣдней? Такимъ образомъ, освобождая жителя деревни отъ продукта, который представляетъ для него цѣнность лишь потолка, поколику онъ служить подспорьемъ для исправной уплаты податей, вы снабжаете онымъ жителя столицы, который любитъ яйцо уже ради яйца, и цѣнить оное, потому что понимаетъ въ немъ толкъ. Но этого мало! Къ яичному производству вы постепенно присоединили производство курятное, а ежели подойдетъ хорошій случай, то не возбраняете себѣ и скромныя операциі королевскимъ масломъ. Я знаю, Захаръ Ивановичъ, что всѣ эти операциі вы производите при содѣйствіи любезнѣйшей супруги вашей, Зои Филипповны, и по-

чтениѣйшей вашей сестрицы, Матрены Ивановны (Матрена Ивановна крестится и говоритъ тайнымъ совѣтникамъ: „кушайте, батюшки!“), по это приносить лишь честь вашей коммерческой прозорливости и показываетъ, какъ глубоко вы поняли смыслъ старинной латинской пословицы: *concordia res parvae crescunt*, а безъ конкордіи и *magnae res dilabuntur*. Поэтому, поздравляя васъ съ днемъ ангела, мы поступимъ вполне согласно съ обстоятельствами дѣла (тайные совѣтники, заслышавъ этотъ достолюбезный оборотъ рѣчи, киваютъ головами), ежели въ этомъ поздравленіи соединимъ нашъ сердечный привѣтъ и вѣрнымъ сообщницамъ вашимъ на поприщѣ яичнаго и курятнаго производства. Захаръ Иванычъ! Зоя Филиппевна! за васъ поднимаю бокалъ мой! Плодитесь! Плодитесь смѣло и беззаботно, ибо въ размноженіи купеческихъ дѣтей заключается существеннѣйшее назначеніе краснохолмскаго 1-й гильдіи купца! Вы же, милая Матрена Ивановна, яко добрая сестра и будущая тетка, старайтесь, и не имѣя собственного плода, проводить время съ пользою!

Я на минуту остановился, и мы начали цѣловаться. Сознаюсь откровенно, самымъ вкуснымъ мнѣ показался поцѣлуй Зои Филиппевны, а самыми невкусными и даже противными — поцѣлуи тайныхъ совѣтниковъ, у которыхъ, отъ старости, и губы какъ-будто изныли, а вмѣсто нихъ остался тонкій рубецъ, тщательно подбритый снизу и сверху. Когда же обрядъ цѣлованья кончился, я продолжалъ:

— Но я не выполнилъ бы своей задачи, еслибъ, въ виду настоящаго умилительнаго торжества, не упомянулъ и о другой, вѣчно присущей сердцамъ нашимъ имянинницѣ — о нашей дорогой, далекой родинѣ. Я не буду говорить здѣсь о благодѣяніяхъ, которыя она щедрою рукою изливаетъ на насъ: мы все, здѣсь присутствующіе, слишкомъ явственно испытываемъ на себѣ выраженіе этихъ благодѣяній. Однихъ изъ насъ она произвела въ тайные совѣтники; другимъ въ перспективѣ показываетъ званіе коммерціи совѣтника, а въ ожиданіи такового предоставляетъ пользоваться правами 1-й гильдіи купца, передъ третьими раскрываетъ тайны латинской грамматики; наконецъ, дамъ надѣлаетъ скромностью и свойственнымъ женскому полу украшеніями. Но не забудемъ, что ежели, съ одной стороны, отечество простираетъ надъ нами благодѣющую руку свою, то, съ другой стороны, оно дѣлаетъ это не безпошлинно, но подъ условіемъ, чтобъ мы повиновались начальству и любили оное. Ибо, въ сущности, чтѣ такое отечество, Захаръ Иванычъ (Захаръ Иванычъ оттопыриваетъ губы)? Отечество, Захаръ Иванычъ, это есть извѣстная территория, въ которой мы, по снабженіи себя надлежащими паспортами, имѣемъ мѣстожителство. Вотъ чтѣ такое отечество. Но я не могу скрыть отъ васъ, Захаръ Иванычъ, что территория, о которой я говорю, нерѣдко измѣняетъ свои очертанія, отчасти вслѣдствіе военныхъ удачъ или неудачъ, отчасти же вслѣдствіе дипломатическихъ договоровъ и конвенцій. Такъ, до 1871 года, Страсбургъ былъ французскимъ отечествомъ; нынѣ же, вслѣдствіе парижскаго договора, онъ сдѣлался нѣмецкимъ отечествомъ. Подобно сему, Измаилъ долгое время состоялъ нашимъ отечествомъ, потомъ пересталъ быть онымъ, а нынѣ опять сдѣлался таковымъ. Кто знаетъ, быть можетъ, современемъ мы увидимъ мервскихъ исправниковъ, подобно тому, какъ уже



видимъ исправниковъ карскихъ, батумскихъ и иныхъ! Благодаря этимъ измѣняемостямъ, любовь къ отечеству пріобрѣтаетъ нѣсколько абстрактный характеръ, вслѣдствіе чего многіе, при упоминеніи объ отечествѣ, только оттопыриваютъ губы. И вотъ, для того, чтобъ мы не оттопыривали губъ, но понимали этотъ предметъ во всей его ясности, намъ предлагается начальство. Начальство, Захаръ Ивановичъ, есть нѣчто уже совершенно опредѣленное, имѣющее границы явственныя и непререкаемыя: отъ коллежскаго регистратора до дѣйствительнаго тайнаго совѣтника включительно. И въ этихъ границахъ мы всѣмъ должны повиноваться и всѣхъ любить. Конечно, горьконько бываетъ повиноваться коллежскимъ регистраторамъ, но горечь эта несомнѣнно и съ избыткомъ уравнивается сладостью повиновенія тайнымъ и дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникамъ...

Я опять прерываю на минуту рѣчь, но на этотъ разъ не по собственному движенію, а потому, что тайные совѣтники, возгордившись похвалою, обходятъ присутствующихъ и всѣмъ по очереди подставляютъ свои скользкія щеки для наложенія поцѣлуя. Наконецъ движеніе прекращается, и я продолжаю:

— Но практика, Захаръ Ивановичъ, представляетъ намъ по временамъ примѣры поразительнѣйшихъ заблужденій. Большинство людей охотно и горячо любить отечество даже въ томъ случаѣ, когда не можетъ съ точностью опредѣлить его границъ: любить и съ Измаиломъ, и безъ Измаила, и съ Батумомъ, и безъ онаго. Напротивъ того, очень немногіе возвышаются до страсти къ начальству. Очень возможно, что это происходитъ оттого, что отечество никогда не обременяетъ насъ предписаніями, тогда какъ начальство не можетъ шагу ступить безъ таковыхъ; но возможно также, что тутъ есть и другая причина, а именно: отечество называетъ насъ просто дѣтьми; начальство же къ этому перѣдко присовокупляетъ: „курицыными“. Я думаю однакожъ, что это только недоразумѣніе, и, одобряя любовь къ отечеству съ Измаиломъ и безъ онаго, никакъ не могу одобрить тѣхъ, которые въ сердцѣ своемъ разсматриваютъ отечество отдѣльно отъ начальства. Начальство, Захаръ Ивановичъ, это продуктъ отечества; отечество же въ свою очередь—продуктъ начальства. Одно немисливо безъ другого, другое немисливо безъ одного—вотъ я какъ это дѣло понимаю. Однимъ словомъ, начальство и отечество—это... вотъ! (Я вкладываю пальцы одной руки промежду пальцевъ другой руки и дѣлаю видъ, что никакъ не могу растащить.) И ежели я сейчасъ сказалъ, что отечество производитъ однихъ изъ насъ въ тайные совѣтники, а другимъ обѣщаетъ въ перспективѣ званіе коммерціи совѣтниковъ, то сказалъ это въ переносномъ смыслѣ, имѣя въ виду, что отечество всѣ эти операціи производитъ не само собой (что было-бы превышеніемъ власти), но при посредствѣ естественнаго своего органа, то-есть начальства.

Захаръ Ивановичъ, въ виду вторичнаго упоминенія о перспективѣ коммерціи совѣтника, не выдерживаетъ и кричитъ: „шампанскаго!“ Остальные подхватываютъ и троекратно провозглашаютъ: „ура!“

— Тѣмъ не менѣе я убѣжденъ, что шероховатости и недоразумѣнія, о которыхъ я сейчасъ упоминалъ, суть не что иное, какъ горькій плодъ слабаго человѣческаго естества. Вся штука въ томъ, Захаръ Ивановичъ, что че-

ловѣкъ слабъ, и такъ какъ эта слабость произвольная, то мы не имѣемъ права не принимать ее въ расчетъ при оцѣнкѣ человѣческихъ дѣйствій. Но, кромѣ того, мы не должны забывать, что бываютъ минуты въ жизни народовъ, когда дѣйствія начальствующихъ лицъ пріобрѣтаютъ какъ бы нарочито изнурительный характеръ, и что именно въ эти-то минуты подначальный человѣкъ и отыскиваетъ въ себѣ охоту прегрѣшать. Все это, разумѣется, можетъ и даже должно въ значительной мѣрѣ служить оправданіемъ для невинно-падшаго; но... Но въ томъ-то и дѣло, Захаръ Ивановичъ, что у всякой штуки всегда имѣется въ запасѣ еще двѣ штуки, не одна, а именно двѣ, и притомъ діаметрально противоположныя. Такъ что если, съ одной стороны, мы не имѣемъ права не принимать въ соображеніе смягчающихъ обстоятельствъ, то, съ другой стороны, обязываемся не упускать изъ виду и того, что Провидѣніе, усеваая нашъ жизненный путь спасительными искушеніями, въ то же время приходитъ къ намъ на выручку съ двумя прекраснѣйшими своими дарами. Первый изъ этихъ даровъ есть твердость въ дѣйствіяхъ; второй—раскаяніе, сопровождаемое испрошеніемъ прощенія. О первомъ распространяться не буду, ибо оно достаточно извѣстно всѣмъ. здѣсь присутствующимъ; что же касается до второго, то даръ сей практически можетъ быть формулированъ такъ: люби кататься, люби и саночки возить. Я увѣренъ, что каждый изъ насъ, ежели только онъ искренно вникнетъ въ смыслъ этой формулы, найдетъ, что въ ней не только нѣтъ ничего обременительнаго, но что, напротивъ, она во многомъ развязываетъ намъ руки. Чтѣо стоить сказать: пардонѣ? — формально ничего! а между тѣмъ, едва вы произнесли это слово, какъ уже все забыто! Одно слово — только одно слово, Захаръ Ивановичъ!—и какія безграничныя перспективы открываются передъ нами! Не знаю, какъ вы, Захаръ Ивановичъ, но еслибъ очередь прегрѣшать дошла до меня, то я, выполнивъ этотъ невольный долгъ, налагаемый на меня природою, непременно сказалъ бы: пардонѣ. А потомъ и опять бы своевременно прегрѣшилъ, и опять—пардонѣ! И дѣлалъ бы я это тѣмъ охотнѣе, что въ сущности, куда бы я ни обернулся, куда бы ни пытался уйти—нигдѣ отъ начальства спрятаться не могу. Вездѣ оно меня отыщетъ и покараетъ, и слѣдовательно, ежели я могу отвертѣться отъ него съ помощью коротенькаго „пардонѣ“ —ужели же я не воспользуюсь этимъ? И такъ, поднимаемъ бокалы наши! И пусть тѣ, которые чувствуютъ себя прегрѣшившими, изъ глубины сердецъ воскликнутъ: пардонѣ!—и затѣмъ пусть вновь на здоровье прегрѣшаютъ!

Рѣчь моя произвела потрясающее дѣйствіе. Но въ первую минуту не было ни криковъ, ни волненія; напротивъ, все сидѣли молча, словно подавленные. Тайные совѣтники жевали и, можетъ быть, надѣялись, что сейчасъ сызнова обѣдать начнутъ; Матрена Ивановна крестилась; у Ѳедора Сергѣича глаза были полны слезъ; у Капитолины Егоровны покраснѣлъ кончикъ носа. Захаръ Ивановичъ первый положилъ конецъ молчанію, сказавъ:

— Пардонѣ—и шабашъ! Ну, парень, прошибъ ты меня! Поцѣлуемся!

Слова эти послужили сигналомъ для наплыва чувствъ. Ѳедоръ Сергѣичъ бросился ко мнѣ и, обнимая, прерывающимся голосомъ говорилъ:



— Вы облегчили... вы сняли бремя съ души... Ахъ, еслибъ вы знали, какъ я измучился! Капочка! милая!

Въ отвѣтъ на этотъ крикъ сердца Капитолина Егоровна улыбнулась сквозь слезы и сказала:

— Чтò-жъ, ежели всё... попробуй, мой другъ!

А Захаръ Ивановичъ присовокупилъ:

— Валяй!

Словомъ сказать, все произошло точь-въ-точь какъ я предвидѣлъ.

И вотъ, какъ бы въ отвѣтъ на совершенный нами подвигъ смиренія и добра, вечеромъ того же дня произошло чудо.

Старосмысловъ получилъ прогоны...

Онъ получилъ ихъ при любезномъ письмѣ отъ самого Пафнутьева, который, въ согласность съ полученными начальственными предписаніями, просилъ забыть его недавнія консервативныя неистовства и имѣть въ виду одно: что отнынѣ на всемъ лицѣ Россіи не найдется болѣе надежнаго либерала, какъ онъ, Пафнутьевъ. Но въ иллюзіи все-таки убѣждалъ не вѣрить.

Однимъ словомъ, какъ-то такъ случилось, что не Старосмыслову пришлось раскаиваться, а раскаялся самъ Пафнутьевъ!

Я считаю излишнимъ описывать радостный переполохъ, который это извѣстіе произвело въ нашей маленькой колоніи. Но для меня лично къ этой радости примѣшивалась и частичка горя, потому что на другой же день и Блохины, и Старосмысловы уѣхали обратно въ Россію. И я опять остался одинъ-на-одинъ съ мучительною думой: кого-то еще пошлетъ Богъ, кто поможетъ мнѣ размыкать одиночество среди этой биткомъ-набитой людьми пустыни?..

## Глава VI.

Главное, чего русскій гулящій человѣкъ долженъ всего больше опасаться за границей — это одиночества и въ особенности продолжительнаго. Одиночество даетъ человѣку поблажку мыслить — вотъ въ чемъ бѣда. Мыслить, то-есть припоминать, ставить вопросы, а буде не пропала совѣсть, то чувствовать и уколы стыда. Такъ что въ результатѣ непременно получится какое-то гложущее уныніе. Это уныніе приведетъ къ нулю всю работу мысли; оно парализуетъ возможныя рѣшенія, заслонитъ возможныя перспективы и будетъ лишь безнадежно раздражать до тѣхъ поръ, покуда счастливый случай не подвернетъ подъ руку краснохолмскаго кушца или всероссійскаго безшабашнаго совѣтника. Или, говоря другими словами, покуда пустяки и праздное мельканіе вновь не займутъ той первенствующей роли, которая, по преданію, имъ принадлежитъ.

Но для того, чтобъ сдѣлать мою мысль по возможности ясною, считаю нелишнимъ сказать нѣсколько словъ о пустякахъ.

Въ средѣ, гдѣ нѣтъ ни подлиннаго дѣла, ни подлинной увѣренности въ завтрашнемъ днѣ, пустяки играютъ громадную роль. Это единственный рес-

сурсь, въ которому прибѣгаетъ человѣкъ, чтобъ не задохнуться окончательно, и въ то же время это легчайшая форма жизни, такъ какъ всѣ проявленія ея заключаются въ непрерывномъ маломъ движеніи отъ одного предмета къ другому, безъ плана, безъ очереди, по мѣрѣ того, какъ они сами собой выплываютъ изъ бездны случайностей.

Предаваясь этому движенію, человѣкъ совершаетъ простую обрядность, не только не требующую помощи мыслящей силы, но даже идущую прямо въ разрѣзъ ей. Въ этой сутолокѣ нѣтъ и не можетъ быть мѣста для мысли. Подавленная цѣлой массой случайныхъ подробностей, мысль прячется, гложется, а ежели отъ времени до времени и настаютъ для нея минуты пробужденія, то она не помогаетъ, не выводитъ на дорогу, а только мучительно раздражаетъ. Она ставитъ вопросы, возбуждаетъ совѣсть, но въ то же время постыдно ослабѣваетъ передъ всякой серьезной работой разъясненія. Вопросы остаются обнаженными, въ томъ зачаточномъ видѣ, въ какомъ они возникли; совѣсть безконечно ноетъ — только и всего. Даже компромиссовъ не является, на которыхъ, хоть съ грѣхомъ пополамъ, можно было бы примириться. Одно желаніе: уйти, забыть, на все махнуть рукой...

Повторяю: при такихъ условіяхъ одиночество лишаетъ человѣка послѣдняго ресурса, который даетъ ему возможность заявлять о своей живучести. Потребность усчитать самого себя, которая при этомъ является, приводитъ за собой не работу мысли, въ прямомъ значеніи этого слова, а лишь безнадежное вращаніе въ пустотѣ, вращаніе, сопровождаемое всякаго рода трусостями, отступничествами, малодушіями.

Плодъ жизни, въ основѣ которой лежатъ одни пустяки, эта пустота только пустяками же и можетъ быть наполнена. Вопросы встаютъ, но внушаютъ болѣзненный страхъ; воспоминанія плывутъ на встрѣчу, но вызываютъ отчаяніе; совѣсть пробуждается, но переходитъ въ смуту. Въ силу какого-то ужаснаго преданія никто не задерживаетъ мысли, не вызываетъ ее на правильную работу. Остаются — пустяки. Они представляютъ собой жизненный фондъ, естественное продолженіе всего прошлаго, начиная съ пеленокъ и кончая послѣднею, только-что прожитою минутой, когда съ языка сорвалось — именно сорвалось, а не сказалось — послѣднее пустое слово. Въ однихъ пустякахъ человѣкъ ощущаетъ себя вполне легко; передъ ними одними онъ не чувствуетъ надобности трусить, лицемѣрить, оглядываться въ страхъ по сторонамъ. Пустяки представляютъ подавляющую силу именно въ томъ смыслѣ, что убиваютъ въ человѣкѣ способность интересоваться чѣмъ бы то ни было, кромѣ самаго низменнаго бездѣльности. Является неудержимая потребность потонуть въ пустякахъ, развѣять жизнь по вѣтру, существовать со дня на день, слоняться отъ одного предмета къ другому, ни во что не углубляясь...

Понятно, что тамъ, гдѣ жизнь слагается подъ бременемъ массы пустяковъ, никакіе твердые общественные устои не могутъ быть мыслимы. Тѣ рѣдкіе проблески энергіи, которые по временамъ пробиваются наружу, и они приобрѣтаютъ какія-то чудовищныя, противочеловѣческія формы. Причина простая: въ кисельныхъ берегахъ никакое истинно-жизненное теченіе удержаться не можетъ. Когда жизнь растекается и загниваетъ, то понятно, что случайныя вспышки энергіи могутъ найти себѣ выходъ только или въ изувѣр-



ствѣ, или въ презрѣніи. Ничего не жаль, нечего и некого воззвать къ дѣятельности. Надъ всѣмъ опочила плесень вѣковъ; все потонуло въ безразличной безднѣ, даже не отвѣдавъ отъ плода жизни. Возможна ли при подобныхъ условіяхъ иная дѣятельность, кромѣ такой, которая ничего другого не приноситъ, исключая личнаго самоуниженія, ненависти и презрѣнія?

Кто, не все носящій имя человѣка, не испыталъ священныхъ экзальтацій мысли? кто мысленно не обнималъ человѣчества, не жилъ одной съ нимъ жизнью? Кто не метался, не изнемогалъ, чувствуя, какъ существо его загорается подъ наплывомъ сладчайшихъ душевныхъ упоеній? Кто хоть разъ, въ долгій или короткій періодъ своего существованія, не обрекалъ себя на служеніе добру и истинѣ? И кто не пробуждался, среди этихъ упоеній, подъ окрикъ: “цыцъ... вредный мечтатель!”

Мы, сходящіе съ жизненной сцены старики, мы настолько уже отдалены отъ упоеній мысли, что съ трудомъ можемъ воспроизвести даже внѣшніе признаки ихъ. Поэтому и бездна, лежащая между упоеніемъ и пробуждающимъ его окрикомъ, не заставляетъ насъ метаться отъ боли. Но несомнѣнно, что и мы въ свое время испытали всѣ фазисы этихъ упоеній. Однакожь пришли пустяки и заволокли ихъ. Какимъ образомъ заволокли?—мы даже послѣдовательности этого процесса теперь намѣтить не можемъ. Мы можемъ только сказать: заволокли, и затѣмъ, какъ бы подъ гнетомъ глубокой обиды, поспѣшить уйти отъ случайно выплывающихъ воспоминаній. Но, клянусь, даже и теперь становится жутко, когда спросишь себя: ужели съ такою же легкостью пустяки заволокутъ и тѣхъ, которые призваны смѣнить насъ?

Какъ бы то ни было, но для насъ, мужей совѣта и опыта, пустяки составляютъ тотъ средній жизненный уровень, которому мы фаталистически подчиняемся. Я не говорю, что тутъ есть сознательное „примиреніе“, но въ существованіи „подчиненія“ сомнѣваться не могу. И благо намъ. Пустяки служатъ для насъ оправданіемъ въ глазахъ сердецѣдцевъ; они представляютъ собой нѣчто равносильное патенту на жизнь и въ то-же время настолько одурманивають совѣсть, что избавляютъ отъ необходимости ненавидѣть или презирать...

Счастливыцъ!!

Тоска настигла меня немедленно, какъ только Блохины и Старосмысловы оставили Парижъ. Воротившись съ проводинъ, я ощутилъ такое глубокое одиночество, такую неслыханную наготу, что-чуть было не послалъ въ русскій ресторанъ за безшабашными совѣтниками. Однако на этотъ разъ воздержался. Во-первыхъ, вспомнилъ, что я ужъ больше трехъ недѣль по Парижу толкаюсь, а ничего еще порядкомъ не видалъ; во-вторыхъ, меня вдругъ озарила самонадѣянная мысль: а что ежели я и независимо отъ безшабашныхъ совѣтниковъ съумѣю просуществовать?

Цѣлыхъ два дня я бился, упорствуя въ своей рѣшимости, и скажу прямо: это были одни изъ мучительнѣйшихъ дней моей жизни. Вся бѣда въ томъ, что я сейчасъ же принялся мыслить. Началъ съ того, что побывалъ на берегахъ Пинеги и на берегахъ Вилюя, задать себѣ вопросъ: ужели есть

такая нужда, которая может загнать человѣка въ эти волшебныя мѣста? — и ничего на вопросъ не отвѣтилъ. Потомъ, тутъ же сряду, спросилъ себя: а что, еслибъ Старосмыслова не на шутку... сначала на коняхъ, затѣмъ на оленяхъ, наконецъ, на собакахъ... а? — и опять ничего не отвѣтилъ. По сѣпленію идей, съ береговъ Пинегы и Вилюя я перенесся на берега Невы и заглянулъ въ квартиру современнаго русскаго либерала. Увы! онъ сидѣлъ у себя въ кабинетѣ одинъ, всеми оставленный (ибо прочіе либералы тоже сидѣли каждый въ своемъ углу, въ ожиданіи возмездія), и тревожно прислушивался, какъ бы выжидая: вотъ-вотъ звякнетъ въ передней колокольчикъ. Лицо его замѣтно осунулось и выцвѣло противъ того, какъ я видѣлъ его мѣсяцъ тому назадъ, но губы все еще по привычкѣ шептали: „въ надеждѣ славы и добра“... И куда это онъ все приглашаетъ? на что надѣется? Или это такая ужъ скверная привычка: шептать, надѣяться, приглашать? удивился я про себя, и опять ничего не отвѣтилъ. Отъ либерала мысленно зашелъ на квартиру консерватора и засталъ тамъ цѣлое сборище. Шумѣли, пили водку, потирали руки, проектировали мѣры по части упраздненія человѣческаго рода, писали вопросныя пункты, проклинали совѣсть, правду, честь, проливали веселыя крокодиловы слезы... Должно быть, случилось что-нибудь ужасное — ишь вѣдь какъ гады закопошились! Быть можетъ, осуществился какой-нибудь актъ противочеловѣческаго изувѣрства, который далъ *гадамъ* радостный поводъ для своекорыстныхъ обобщеній? Все это мелькнуло у меня въ головѣ, мелькнуло и запыло безъ отвѣта. Затѣмъ я направился въ курную избу самарскаго мужика, но тутъ, даже не формулировавши вопроса, безъ оглядки побѣжалъ дальше. Углубился въ исторію, вспоминалъ про Ермака, подарившаго Россіи Сибирь, про новгородскую вольницу, отыскавшую Вятку, Соликамскъ, Чердынь, Пермь; про Ченслера, указавшаго путь къ устьямъ Сѣверной Двины, воскликнулъ: экъ васъ утраздило! и до такой степени оставилъ это восклицаніе безъ послѣдствій, что даже и теперь не могу обстоятельно объяснить, какимъ образомъ и зачѣмъ оно у меня сложилось.

Однимъ словомъ, ширялъ сизымъ орломъ по поднебесью, рыскалъ сѣрымъ волкомъ по землѣ и даже растекался мыслью по древу. Совѣтъ какъ во снѣ. Отчего я ни на одномъ вопросѣ не остановился, ни на одинъ не далъ отвѣта? я и на этотъ вопросъ отвѣтить не могу. Можетъ быть, потому, что мысль, атрофированная продолжительнымъ бездѣйствіемъ, вообще утратила цѣльность; но, можетъ быть, и потому, что затронутая мною матерія представляла нѣчто до того обыденное, что и вопросы, и отвѣты по ея поводу предполагаются фаталистически начертанными въ человѣческомъ сердцѣ и, слѣдовательно, одинаково праздными. Не то чтобъ не было отвѣтовъ, но не было потребности ни отыскивать, ни формулировать ихъ...

Нѣсколько настойчивѣе и какъ будто опредѣленнѣе останавливался я на вопросѣ о сердцевѣдахъ и сердцевѣдѣніи; но и тутъ, едва доходило дѣло до живого мяса, какъ мысль моя сейчасъ же впадала въ позорное двоегласіе.

Вопросъ о содержаніи сердецъ во всегдашней готовности для прочтенія — одинъ изъ самыхъ мучительныхъ въ нашей жизни. И я полагаю, что потому именно онъ такъ обострился у насъ, что нигдѣ въ цѣломъ мірѣ не най-



дется такой массы глупыхъ людей, для которыхъ весь кодексъ политической благонадежности выразился въ словахъ: „что-жъ, если у меня душа чиста — милости просимъ!“ Да и не только за себя такимъ образомъ говорятъ эти глупцы, но и къ постороннимъ людямъ обращаются: „вѣдь у васъ, господа, души чистыя: отчего же не одолжить ихъ для прочтенія?...“ Ахъ, срамъ какой!

Хуже всего то, что, наслушавшись этихъ приглашеній, а еще больше насмотрѣвшись на ихъ осуществленіе, и самъ мало-по-малу привыкаешь къ нимъ. Сначала скажешь себѣ: а что, въ самомъ дѣлѣ, вѣдь нельзя же въ благоустроенномъ обществѣ безъ сердецвѣдцевъ! Вѣдь это въ своемъ родѣ необходимость! А потомъ, помаленьку да полегоньку, и свое собственное сердце начнешь съ такимъ расчетомъ располагать, чтобъ оно во всякое время представляло открытую книгу: смотри и читай!

Приливы предупредительно-пресѣкательнаго энтузіазма, во время которыхъ сердце человѣческое, такъ сказать, само собой летитъ на встрѣчу околоточному, до такой степени вошли въ наши нравы, что сдѣлались одною изъ самыхъ обыкновенныхъ обрядностей нашего существованія. Мы такъ мало вѣримъ въ себя, что даже не пытаемся искать защиты въ самихъ себѣ, а прямо вопіемъ: „господа сердецвѣдцы! милости просимъ!“ Очевидно, мы сами въ этомъ контролѣ видимъ единственное средство обѣлить себя не только въ глазахъ любопытствующихъ, но и въ своихъ собственныхъ...

Само собой разумѣется, что я лично ничего противъ приливовъ этого рода не имѣю. Напротивъ того, я въ этомъ случаѣ даже привередливъ: самъ и страницы помогаю перевертывать, потому что вѣдь у него, у сердецвѣдца, пальцы-то чортъ знаетъ въ чемъ перепачканы... Но, говоря по совѣсти, все-таки не могу скрыть, что любители подобнаго чтенія подчасъ бываютъ очень для подлежащаго прочтенію человѣка непріятны. Причина тому простая: въ человѣческомъ сердцѣ не одни дѣла, до благоустройства и благочинія относящіеся, написаны, но есть кое-что и другое. И вотъ когда начинаютъ добираться до этого „другого“, то, по мнѣнію моему, это уже представляется равносильнымъ вторженію въ районъ чужого вѣдомства. Все равно какъ при обыскѣ или прочтеніи писемъ частныхъ лицъ. Я знаю, конечно, что ежели у меня „искомаго“ ничего нѣтъ, то и опасаться мнѣ нечего; но, къ сожалѣнію, кромѣ „искомаго“, у меня можетъ оказаться и нѣчто „неискомое“. Это „неискомое“ я имѣлъ слабость считать своею личною неприкосновенною тайною, и вдругъ на него глянулъ глазокъ-смотрѣкъ. „Помнишь ли, милый другъ, какъ ты, какъ я“... кажется, въ этомъ ничего нѣтъ „искомаго“? А между тѣмъ когда это „неискомое“ дѣлается обрѣтеннымъ, то чувствуется ужасная, почти несносная неловкость. Сначала думается: „вотъ оно какое дѣло случилось!“ а потомъ думается и еще: „эхъ, руки-то коротки!..“ Право, съ ума сойти можно... И сходятъ.

Не знаю, можетъ быть, меня упрекнуть, что, разсуждая такимъ образомъ, я обнаруживаю крайнюю неспособность держаться на высотѣ положенія. Винавать, дѣйствительно, этой способности во мнѣ нѣтъ. Будь у меня она, я стоялъ бы себѣ да постанывалъ на высотѣ положенія — и горюшка мало! Но разъ что высоты для меня недоступны, я по-неволѣ отношусь скептически къ

полезнымъ свойствамъ сердцеѣдѣнія. И потому, когда замѣчаю, что большинство сердцеѣдовъ не только смѣшиваетъ „искоемое“ съ „нейскомнымъ“, но даже сопровождаетъ подобныя смѣшенія веселыми прибаутками, то эти послѣднія нимало не кажутся мнѣ восхитительными. Иной, напримѣръ, сразу видитъ, что читать нечего, но замѣтитъ гдѣ-нибудь въ уголкѣ: „помнишь ли, какъ ты, какъ я“ — и вѣщится. А бываютъ и такіе, что прежде всего норовятъ отыскать, не написано ли гдѣ: „Извлеченіе изъ Высочайшаго манифеста о кредитныхъ билетахъ“, и какъ только отыщеть, такъ сейчасъ: „эти страницы я ужъ у себя на дому прочту-съ“...

Неужто это резонъ?

Вотъ почему иногда и думается: не лучше ли было бы, еслибъ въ видѣ опыта право читать въ сердцахъ было замѣнено правомъ ожидать поступковъ... Но тутъ же сряду представляется и другое соображеніе: иной вѣдь, пожалуй, такъ изловчится, что иногда отъ него никакихъ поступковъ не увидишь... неужто-жъ такъ-таки и ждать до скончанія вѣковъ?

Нѣтъ, воля ваша, а это тоже не резонъ.

Или возьмемъ другой примѣръ того же порядка. Многіе публицисты пишутъ: ежели де на песчаномъ морскомъ брегѣ случай просыпаль коробку съ иглами, то нужно-де эти иглы всѣ до одной разыскать, хотя бы для этого пришлось взбудоражить весь берегъ...

Многіе, однакожъ, полагаютъ, что это не резонъ.

Но, съ другой стороны, какъ размыслишь, да къ тому же еще и съ околотовичнымъ переговорышь, то представляется и такое соображеніе: иглы имѣютъ свойство впиваться, причиняютъ общее безпокойство и т. д. — неужто же такъ-таки и оставить ихъ безъ разысканія?

Нѣтъ, какъ хотите, и это не резонъ.

Резонъ — не резонъ; не резонъ — и опять резонъ. Вотъ вокругъ этихъ-то бесплодныхъ терминовъ и вертится жизнь, какъ бѣлка въ колесѣ.

Въ сей крайности, мнѣ кажется, самое лучшее: отложить всякое попеченіе, сидѣть и молчать. Только и тутъ опять бѣда: пожалуй, молчаши, измучаешься!

Слово — серебро, молчаніе — золото; такъ гласитъ стародавняя мудрость. Не потому молчаніе приравняется злату, чтобъ оно представляло невѣсть какую драгоценность, а потому что при извѣстныхъ условіяхъ другого, болѣе правильнаго выхода нѣтъ. Когда на сцену выступаетъ практическое сердцеѣдѣніе, то я прежде всего разсуждаю такъ: вѣроятно въ данную минуту обстоятельства такъ сложились, что безъ этого обойтись невозможно. Но въ то же время не могу же я заглушить въ своемъ сердцѣ голосъ той высшей человѣческой правды, который удостоверяетъ, что подобныя условія жизни ни нормальными, ни легко переживаемыми назвать не приходится. И вотъ, когда очутишься между двумя такими голосами, изъ которыхъ одинъ говоритъ „правильно!“ а другой: „правильно, чортъ возьми, но несносно!“ — вотъ тогда-то и приходитъ на умъ: а что, ежели я до времени помолчу? И помолчу, потому что и безъ меня охотниковъ говорить достаточно...

Тяжелое наступило нынѣ время, господа: время отравленія особаго рода ядомъ, который я назову *газетнымъ*. Ахъ, какое это неслыханное му-



ченіе, когда газетныя трихины играть начинают! Ползають, суматошатся, впиваются, съисекиваютъ, точатъ. Наглотаешься съ утра этого яду, и потомъ цѣлый день какъ отравленный ходишь...

Какой же, однако, выходъ изъ этого лабиринта двоесловій? Неужто только одинъ и есть: помолчу?..

Но положеніе мое ухудшилось еще больше, когда, наскучивъ безплоднымъ пребываніемъ въ мірѣ конкретностей, я самонадѣянно попытался снѣзь орломъ возлетѣть въ сферу отвлеченностей. Встарину я дѣлывалъ подобныя полеты нерѣдко. Вмѣстѣ съ прочими сверстниками, я охотно баловалъ себя экскурсіями въ ту область, гдѣ предполагается „невидимыхъ вещей обличеніе“, и, помнится, экскурсіи эти доставляли мнѣ живѣйшее удовольствіе. Не скажу, чтобъ я видѣлъ эту область вполне отчетливо, но во всякомъ случаѣ созерцаніе ея возбуждало во мнѣ не страхъ, а положительно сладостное чувство. Вообще тогда жилось дерзновеннѣе (я, конечно, имѣю въ виду только себя и своихъ сверстниковъ), хотя не могу не сознаться, что основной жизненный фондъ все-таки былъ пораженъ непослѣдовательностью, граничащей съ легкомысліемъ. Двѣ жизни шли рядомъ: одна, такъ сказать, pro domo, другая — страха ради іудейска, то-есть въ формѣ оправдательнаго документа передъ начальствомъ. Сидишь, бывало, дома и всѣмъ существомъ, такъ сказать, уходишь въ область „невидимыхъ вещей обличенія“. И вдругъ бѣтъ урочный часъ — бѣги въ канцелярію. Надѣлъ штаны, вицъ-мундиръ, и черезъ четверть часа находишься ужъ совсѣмъ въ другой области — въ области „видимыхъ вещей утвержденія“. Натурально, и тамъ, и тутъ — вопросы совсѣмъ разные. Въ первой области — вопросъ о томъ, позади ли нужно искать золотого вѣка, или впереди; во второй — вопросъ объ устройствѣ золотыхъ вѣковъ при помощи губернскихъ правленій и управъ благочинія, на точномъ основаніи изданныхъ на сей предметъ узаконеній. Посидишь, поскребешь перомъ, смотришь, опять бѣтъ урочный часъ. Снова бѣжишь домой, переменяешь штаны, надѣваешь сюртукъ или халатъ и опять попадаешь въ область „невидимыхъ вещей обличенія“. Такъ и прошла молодость...

Нынѣшнему поколѣнію можетъ показаться не совсѣмъ складною эта бѣготня изъ одной области въ другую, но тогда — жилось и неловкостей не ощущалось.

И вотъ теперь, спустя много-много лѣтъ, благодаря случайному одиночеству, точно струя молодости на меня хлынула. Дай, думаю, побѣгаю, какъ встарину бывало.

Однако бѣгать не привелось, ибо какъ ни ходко плыли на встрѣчу молодыя воспоминанія, а все-таки пришлось убѣдиться, что и ноги не тѣ, и кровь въ жилахъ не та. Да и вопросы, которые принесли эти воспоминанія... ужъ, право, не знаю, какъ и назвать ихъ. Одни, болѣе снисходительные, называютъ ихъ несвоевременными; другіе, несомнѣнно злобные — прямо вредными. Что же касается лично до меня... А впрочемъ судите сами.

Вопросъ первый: утѣшается ли исторія? Лѣтъ сорокъ тому назадъ — я знаю это навѣрное — я по сущей правдѣ отвѣтилъ бы: да, утѣшается. А

нынче что я скажу? Вѣдь я даже мыслить принципиально, безъ вводныхъ примѣсей, разучился. Начну съ мрака временъ, и только-что забрезжетъ свѣтъ, сейчасъ наткнуусь либо на Пинегу съ Вилюемъ, либо на уставъ о пресѣченіи, да тутъ и загрязню. Именно это самое и теперь случилось. Едва выглянулъ на меня вопросъ, едва приступилъ я къ его расчлененію, какъ вдругъ откуда ни взялся генераль-маіоръ Отчаянный и такъ сверкнулъ очами, что я сразу опѣшилъ. „Нѣтъ, ужъ лучше я завтра“ ... смущенно отвѣтилъ я самъ себѣ, и въ ту же минуту поспѣшилъ съ такимъ расчетомъ юркнуть, чтобъ и ушей моихъ не было видно.

Вопросъ второй: можно ли жить съ народомъ, опираясь на опій? Сорокъ лѣтъ тому назадъ я навѣрное отвѣтилъ бы: не только можно, но иначе и жить нельзя. Нынче... Только-что начну я рассказывать и доказывать „отъ принципа“, что человѣческая дѣятельность внѣ сферы народа безпредметна и бессмысленна, какъ вдругъ во всемъ моемъ существѣ „шкура“ заговорить. Выглянуть молодцы изъ Охотнаго ряда, сотрудники съ Сѣнной площади и наконецъ цѣлая масса аферистовъ-бандитовъ, въ родѣ Наполеона III, который вѣдь тоже возглашалъ: *tout pour le peuple et par le peuple*... И, разумеется, въ заключеніе: „нѣтъ, ужъ лучше я завтра“...

Вопросъ третій: можно ли жить такою жизнью, при которой полагается ѣсть пирогъ съ грибами исключительно затѣмъ, чтобъ держать языкъ за зубами? Сорокъ лѣтъ тому назадъ, я опять-таки навѣрное отвѣтилъ бы: нѣтъ, такъ жить нельзя. А теперь?—теперь: „нѣтъ, ужъ я лучше завтра“...

Словомъ сказать, на цѣлую уйму вопросовъ пытался я дать отвѣты, но, увы! ни конкретности, ни отвлеченности — ничто не будило обезсилѣвшей мысли. Мучился я, мучился и чуть-было не крикнулъ: водки! но, къ счастью, въ Парижѣ это напитокъ не столь общедоступный, чтобъ можно было, по произволѣнію, утѣшаться имъ...

Такъ я и легъ спать, вынеся изъ двухдневной тоски одну истину: что при извѣстныхъ условіяхъ жизни запой долженъ быть разсматриваемъ не столько съ тоски зрѣнія порочности воли, сколько въ смыслѣ неудержимой потребности огорченной души...

Мой сонъ былъ тревожный, больной. Сначала мерещились какіе-то лишенные связи обрывки, но мало-по-малу образовалось нѣчто связанное, цѣлый colloquium, героиней котораго была... свинья! Однакожъ этотъ colloquium настолько любопытенъ, что я считаю нелишнимъ подѣлиться имъ съ читателемъ, въ томъ видѣ, въ какомъ сохранила моя память.



# ТОРЖЕСТВУЮЩАЯ СВИНЬЯ

или

## РАЗГОВОРЪ СВИНЬИ СЪ ПРАВДОЮ.

ПРЕРВАННАЯ СЦЕНА.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Свинья, разтѣвшееся животное; щетина очерилась и блеститъ, вслѣдствіе непрерывнаго обхожденія съ хлѣвной жидкостью.

Правда, особа, которой по штату полагается быть вѣчно-юною, но уже изрядно побитая. Прикрыта, по распоряженію начальства, лохмотьями, сквозь которыя просвѣчиваетъ классическій полный мундиръ, т. е. нагота.

Дѣйствіе происходитъ въ хлѣву.

Свинья (*кобенится*). Правда ли, сказываютъ, на небѣ-де солнышко свѣтитъ?

Правда. Правда, свинья.

Свинья. Такъ ли, полно? Никакихъ я солнцевъ, живучи въ хлѣву, словно не видывала?

Правда. Это оттого, свинья, что когда природа создавала тебя, то, создавая, приговаривала: не видать тебѣ, свинья, солнца краснаго!

Свинья. Ой-ли? (*Авторитетно.*) А по моему, такъ всѣ эти солнца — одно лжеученіе... ась?

Правда *безмолвствуетъ и сконфуженно поправляетъ лохмотья.* Въ публикѣ раздаются голоса: „правда твоя, свинья! лжеученія! лжеученія!“

Свинья (*продолжаетъ кобениться*). Правда ли, будто въ газетахъ печатаютъ: свобода-де есть драгоцѣннѣйшее достояніе человѣческихъ обществъ?

Правда. Правда, свинья.

Свинья. А по моему, такъ и безъ того у насъ свободы по горло. Вотъ я безотлучно въ хлѣву живу — и горюшка мало! Чтѣ мнѣ! Хочу — рыломъ въ корыто уткнуся, хочу — въ навозѣ кувyrкаюсь... какой еще свободы нужно! (*Авторитетно.*) Измѣнники вы, какъ я на васъ погляжу... ась?

Правда *вновь старается прикрыть наготу.* Публика *гоголетъ:* „Правда твоя, свинья! Измѣнники! измѣнники!“ Нѣкоторые изъ публики требуютъ, чтобъ Правду отвели въ участокъ. Свинья *самодовольно хрюкаетъ, сознавая себя на высотѣ положенія.*

Свинья. Зачѣмъ отводить въ участокъ? Вѣдь тамъ для проформы поддерживать, да и опять выпускать. (*Ложится въ навозъ и впадаетъ въ сантиментальность.*) Ахъ, нынче и участковые однимъ языкомъ съ фельетонистами говорятъ! Намедни я въ одной газетѣ вычитала: оттого-де у насъ слабо, что законы только для проформы пишутся...

Правда. Такъ ты и читаешь, свинья?

Свинья. Почитываю. Только понимаю не такъ, какъ написано... Какъ хочу, такъ и понимаю!.. (*Къ публикѣ.*) Такъ вотъ что, други! въ участки мы ее не отправимъ, а своими средствами... Слыскивать ее станемъ... сегодня вопросецъ зададимъ, а завтра — два... (*Задумывается.*) Сразу не покончимъ, а постепенно чавкать будемъ... (*Сопя, подходитъ къ Правдѣ, хватаятъ ее за икру и начинаетъ чавкать.*) Вотъ такъ!

Правда *пожимается отъ боли; публика грохочетъ. Раздаются возгласы:* „ай да свинья! вотъ такъ затѣйница!“

Свинья. Что? сладко? Ну, будетъ съ тебя! (*Перестаетъ чавкать.*) Теперь сказывай: гдѣ корень зла?

Правда (*растерянно*). Корень зла, свинья? корень зла... корень зла... (*Решительно и неожиданно для самой себя.*) Въ тебѣ, свинья!

Свинья (*разсердилась*). А! такъ ты вотъ какъ поговариваешь! Ну, теперь только держись! Правда ли, сказывала ты: общечеловѣческая-де правда противъ околоточно-участковой не въ примѣръ превосходитъ?

Правда (*стараясь изловчиться*). Хотя при извѣстныхъ условіяхъ жизни, невозможно отвергать...

Свинья. Нѣтъ, ты хвостомъ-то не верти! Мы эти момѣ-то слыхивали! Сказывай прямо! точно ли, по мнѣнію твоему, есть какая-то особенная правда, которая противъ околоточной превосходитъ?

Правда. Ахъ, свинья, какъ измѣннически подло...

Свинья. Ладно; объ этомъ мы послѣ поговоримъ. (*Наступаетъ плотнѣе и плотнѣе.*) Сказывай дальше. Правда ли, что ты говорила: законы-де одинаково всеѣхъ должны обезпечивать, потому-де что, въ противномъ случаѣ, человѣческое общество превратится въ хаотическій сбродъ враждующихъ элементовъ?... Объ какихъ это законахъ ты говорила? По какому поводу и кому въ поученіе, сударыня, разглагольствовала? ась?

Правда. Ахъ, свинья!

Свинья. Нечего мнѣ „свиньей“ -то въ рыло тыкать. Знаю я и сама, что свинья. Я — Свинья, а ты — Правда... (*Хрюканье свиньи звучитъ ироніей.*) А ну-тко, свинья, погложи-ка правду! (*Начинаетъ чавкать. Къ публикѣ*) Любо, что-ли, молодцы?

Правда *корчится отъ боли. Публика приходитъ въ неистовство. Слышится со всехъ сторонъ:* „Любо! Нажимай, свинья, нажимай! Гложи ее! чавкай! Ишь вѣдь, распостылая, еще разговаривать вздумала!“

На этомъ colloquiumъ былъ прерванъ. Далѣе я ничего не могъ разобратъ, потому что въ хлѣву поднялся такой гвалтъ, что до слуха моего лишь смутно долетало: „правда ли, что въ университетѣ...“, „правда ли, что на женскихъ курсахъ...“ Въ одно мгновеніе ока Правда была опутана цѣлою сѣтью дурацки-предательскихъ подвоховъ, причемъ всякая попытка распутать эту сѣть встрѣчалась чавканьемъ свиньи и грохотомъ толпы: „давай, братцы, ее своимъ судомъ судить... народнымъ!“

Я лежалъ какъ скованный, въ ожиданіи, что вотъ-вотъ сейчасъ и меня начнутъ чавкать. Я, который всю жизнь въ легкомысленной самоувѣренности



повторялъ: „Богъ не попуститъ, свинья не съѣстъ!“ — я вдругъ во все горло заоралъ: „съѣстъ свинья! съѣстъ!“

Въ эту минуту сильный стукъ въ дверь заставилъ меня проснуться.

Стучалась хозяйка. Кто-то добрый человѣкъ проходилъ по лѣстницѣ и слышалъ мои стоны. Хозяйка прибѣжала испуганная — ей представилось, что, отъ нечего дѣлать, я произвожу опыты самоубійства — и, разумѣется, очень обрадовалась, какъ узнала, что весь переполохъ произошелъ оттого, что мнѣ приснилась свинья.

— Mais cela m'arrive tous les jours! — воскликнула она и сейчасъ же самымъ естественнымъ образомъ объяснила это явленіе.

Дѣло въ томъ, что меблированная квартира была какъ разъ расположена надъ рынкомъ Мадлены, и такъ какъ туда каждую ночь привозили транспорты свиней, то обстоятельство это не могло не дѣйствовать соотвѣтствующимъ образомъ на воображеніе квартирантовъ.

— Въ первое время, когда мы сняли наше заведеніе, это было очень тяжело, — добавила она: — я впрочемъ довольно скоро привыкла, но мой бѣдный мужъ чуть съ ума не сошелъ. Однако теперь все пришло въ порядокъ. Всякій день мы видимъ во снѣ каждый свою свинью, и это ужъ не смущаетъ насъ.

Тѣмъ не менѣе она ужасно изумилась, когда я, въ свою очередь, объяснилъ ей, что намъ видятся во снѣ совершенно различныя свиньи: ей — такія, которыхъ люди ѣдятъ, а мнѣ — такія, которыя сами людей ѣдятъ.

— У насъ такихъ животныхъ совсѣмъ не бываетъ, — сказала, она: — но русскіе, дѣйствительно, довольно часто жалуются, что ихъ посѣщаютъ видѣнія въ этомъ родѣ... И знаете ли, что я замѣтила? что это случается съ ними преимущественно тогда, когда друзья, въ кругу которыхъ они проводили время, покидаютъ ихъ и вслѣдствіе этого они временно остаются предоставленными самимъ себѣ.

Я долженъ былъ согласиться, что это правда. Одиночество вынуждаетъ насъ думать, а мы къ думанью непривычны. Сообща мы еще можемъ какъ-нибудь проваландаться: въ винтъ, что-ли, засядемъ, или въ трактиръ зака-тимся, а какъ только останешься одинъ, такъ и обступитъ тебя...

— Очень мы оробѣли, *chère, madame*, прибавилъ я. — Дома-то насъ выворачиваютъ-выворачиваютъ — все стараются, какъ бы лучше вышло. Выворачиваютъ наизнанку — нехорошо; на лицо выворачиваютъ — еще хуже. Выворачиваютъ да приговариваютъ: „наче всего, вы не сомнѣвайтесь!“ Ну, мы и не сомнѣваемся, а только всеминутно готовимся: вотъ сейчасъ опять выворачивать начнутъ!

— Но вѣдь пріѣхавши за границу, *mon cher monsieur*...

— И за границей тоже. Какъ набойшься дома, такъ и за границей небо съ овчинку кажется. Въ ресторанъ придеши — гарсона бойшься: какое вы, скажетъ, имѣли право меня не дѣльными заказами беспокоить? Въ музей придеши — думаешь: а что, если я ничего не смыслю? Въ бібліотеку завернешь — думаешь: а ну какъ у меня языкъ сболтнетъ: дайте-моль водевиль

„Отецъ какихъ малъ“ почитать, буде онъ цензурой не воспрещенъ! Такъ-то, *chère madame!* Взвѣсьте-ка все это, да и спросите себя по совѣсти: можемъ ли мы другіе сны видѣть, кромѣ самыхъ, что называется, экстренныхъ?

Признанія мои видимо тронули добрую женщину. Глаза ея отуманились и до слуха моего не разъ долетало тихое, но глубоко прочувствованное: „*sap-perlote!*“

— Единственное средство избавиться отъ видѣній, — продолжалъ я: — это вновь подыскать компанію, которая не давала бы думать. Слыхалъ я, будто въ Парижѣ за сходную цѣну собесѣдника нанять можно? Не знаете ли вы, *chère madame?*

Она задумалась на минуту, какъ бы ища въ своихъ воспоминаніяхъ.

— *C'est ça! j'ai votre affaire!* — воскликнула она, хлопнувъ себя по ляжкѣ. — *Ah, vous serez bien, bien content, mon cher monsieur! je ne vous dis que ça!*

И точно: черезъ полчаса она уже вновь стучалась въ мою дверь, ведя за собой „собесѣдника“.

— *Le général Capotte!* — отрекомендовала она пришельца и оставила насъ вдвоемъ.

Передо мной стоялъ крупный, плечистый и сильный дѣтина, достаточно пожилой (впослѣдствіи оказалось, что ему 60 лѣтъ), но удивительно сохранившійся. Въ построеніи его тѣла замѣчалось, однакожъ, нѣчто въ высшей степени загадочное. Голова выдалась впередъ, грудь — тоже, между тѣмъ какъ животъ представлялся вдавленнымъ и вся нижняя часть тѣла искусственно отброшеною назадъ. Руки выворочены: лѣвая представляется устремленною, съ выдавшимися указательнымъ и третьимъ пальцами; правая — согнута въ локтѣ и какъ бы нѣчто держать въ стиснутомъ кулакѣ. Ноги тоже изумительныя: лѣвая — держитъ позицію, правая — осталась позади и слегка приподнята. Гдѣ-то я видывалъ подобныя фигуры (впослѣдствіи выяснилось, что на вѣвѣскахъ провинціальныхъ трактировъ). И лицо у него было знакомое, какъ бы специально приспособленное: бѣлыя хрящевидныя щеки; одинъ глазъ прищуренъ и всматривается, другой — задумался; ротъ — перекошено. И въ довершеніе загадочности, на плечахъ — вицъ-мундиръ вѣдомства народнаго просвѣщенія.

Онъ молча подаль миѣ карточку, на одной сторонѣ которой значилось:

*Jean-Marie-François-Archibald Capotte.*

Conseiller d'Etat Actuel.

Ancien professeur de billard.



А на другой:

*Иванъ Архиповичъ Капоттъ.*

Дѣйствительный статскій совѣтникъ.

Педагогъ.

Карточка эта разомъ объясняла всѣ загадочности тѣлеснаго построенія. Одно только сомнѣніе представлялось уму: говорить ли ему „ваше превосходительство“, или просто: „Капоттъ“? Несомнѣнно, что въ томъ кафѣ, при которомъ онъ состоитъ въ качествѣ всегда готоваго къ услугамъ посѣтителей билліарднаго партнера (за это онъ ежедневно получаетъ отъ буфета одну котлету и двѣ рюмки gorki), его зовутъ не иначе, какъ „général“; но почему-то мнѣ показалось, что по совѣсти онъ совсѣмъ не генераль, а прохвость. Мы, русскіе, на этотъ счетъ очень щекотливы. Охотно признавалъ заслуги, оказываемыя государству отлично-усерднымъ веденіемъ входящихъ и исходящихъ регистровъ, мы подозрительнымъ окомъ взираемъ на заслуги, приносимыя бильярдной игрой, фехтованіемъ и хореографическимъ искусствомъ. Да вѣдь оно и въ самомъ дѣлѣ какъ будто странно. Сидишь, на примѣръ, въ балетѣ, спрашиваешь сосѣда: а кто-моль это сію минуту такое изумительное антрашѣ откололъ?—и вдругъ отвѣтъ: „это дѣйствительный статскій совѣтникъ Маріюсъ Петипа“...

А въ Парижѣ это ужъ и совсѣмъ никуда не годится, ибо тамъ даже Гамбетта не дослужился до дѣйствительнаго статскаго совѣтника.

Какъ бы то ни было, но, взглянувъ еще разъ на вывернутыя Капоттовы ноги, я сразу порѣшилъ, что буду называть просто: *mon cher Capotte*.

— Ну-съ, *mon cher Capotte*, — началъ я: — такъ вы изъявляете готовность быть моимъ собесѣдникомъ... Какія же ваши условія?

Разумѣется, онъ не сразу отвѣтилъ мнѣ, но предварительно началъ лгать. Изъ словъ его оказывалось, что всѣ „знатные иностранцы“ (конечно, изъ русскихъ) непремѣнно обращаются къ нему. Ибо онъ не только пріятный собесѣдникъ, но и мужъ совѣта. Всѣ проекты, которыми „знатные иностранцы“, воротившись изъ Парижа, радуютъ Россію, принадлежатъ ему, Капотту. Такъ, на примѣръ, не очень давно князь Букназба проектъ публиковалъ: какъ поступить съ мужикомъ? — и выдалъ его за собственный, а въ сущности главнымъ руководителемъ въ этомъ дѣлѣ былъ Капоттъ.

— Князь даже совсѣмъ не того хотѣлъ, что потомъ вышло, — объяснилъ Капоттъ: — онъ думалъ, что мужика необходимо въ кандалы заковать. Но я убѣдилъ его передать это дѣло на обсужденіе въ наше кафѣ — мы тамъ все демократы собираемся...

— Но и иніоны, Капоттъ!

— Гм... вы понимаете, что ежели въ интересахъ истины необходимо...

— Продолжайте, Капоттъ.

— И мы, по внимательномъ разсмотрѣніи, рѣшили мужика расковать, а заковать интеллигенцію, препоручивъ молодцамъ изъ Охотного ряда имѣть бдительнѣйшій за нею надзоръ...

— Послушайте, Капоттъ! какъ вы, однакожъ, чисто по-русски говорите!

Замѣчаніе это видимо ему польстило.

— О, душою я и до сихъ поръ русскій! — воскликнулъ онъ и въ доказательство произнесъ нѣсколько неупотребительныхъ въ печати выраженій, съ такою отчетливостію, что по комнатѣ въ одно мгновеніе распространился смрадъ.

— Прекрасно! — перебилъ я его: — но не будемъ увлекаться. Стало быть, еслибъ и у меня, чего Боже сохрани, что-нибудь навернулось... вы мнѣ поможете, Капоттъ?

— Несомнѣнно, — отвѣтилъ Капоттъ.

— Но, главное, вы поможете мнѣ убить время... Время — это злѣйшій изъ нашихъ враговъ! Скучно намъ, Капоттъ, ахъ, какъ скучно!

— Русскіе, дѣйствительно, чаще скучаютъ, нежели люди другихъ національностей, и, мнѣ кажется, это происходитъ оттого, что они чересчуръ избалованы. Русскіе не любятъ ни думать, ни говорить. Я зналъ одного полковника, который во всю жизнь не сказалъ ни одного слова своему деньщику, предпочитая объясняться посредствомъ тѣлодвиженій.

— Ахъ, Капоттъ! но вѣдь это-то и есть...

— Идеаль, хотите вы сказать? Сомнѣваюсь. Въ сущности, разговаривать не только не обременительно, но даже пріятно. Постоянное молчаніе приводитъ къ угрюмости, а угрюмость — къ пьянству. Напротивъ того, человѣкъ, имѣющій привычку пользоваться даромъ слова, очень скоро забываетъ объ водкѣ и употребляетъ лишь такіе напитки, которые способствуютъ общительности. Русскіе очень талантливы, но они почти совсѣмъ не разговариваютъ. Вотъ когда они начнутъ разговаривать...

— Благодарю васъ, Капоттъ!

— Вообще Россіи предстоитъ великая будущность; но все зависитъ отъ того, въ какой мѣрѣ и когда будетъ ей предоставлено воспользоваться даромъ слова. Такъ напримѣръ, ежели это случится черезъ тысячу лѣтъ...

— Благодарю васъ, Капоттъ!

— Мы во Франціи съ утра до вечера говоримъ, — не унимался Капоттъ: — говоримъ да говоримъ, а иногда что-нибудь и скажемъ. Но еслибъ насъ заставили тысячу лѣтъ молчать, то и мы навѣрное одичали бы...

— Еще разъ благодарю васъ, Капоттъ, но я считаю подобные разговоры преждевременными. Возвратимся къ предмету нашего свиданія. Ваши условія?

— Условія мои всегда одинаковы. Десять франковъ въ день — это мой гонораръ. Затѣмъ, куда бы мы съ вами ни пошли — въ театры, рестораны и проч. — вы предоставляете мнѣ тѣ же удобства, какими будете сами пользоваться. Если, по обстоятельствамъ, вамъ придется гдѣ-нибудь остаться



одному, то я буду ожидать васъ въ ближайшемъ кафѣ, и вы уплатите за мою консоммацію. Я же, съ своей стороны, обязываюсь быть въ вашемъ распоряженіи отъ одиннадцати часовъ утра вплоть до закрытія театровъ. Но въ крайнемъ случаѣ вы можете задержать меня и дольше.

Эти условія были положительно тяжелы для моего бюджета; но страхъ вновь увидѣть во снѣ свинью былъ такъ великъ, что я, недолго думая, согласился.

— Въ принципѣ я ничего не имѣю противъ вашихъ условій, — сказалъ я: — но предварительно желалъ бы предложить вамъ два вопроса. Во-первыхъ, объ чемъ мы будемъ бесѣдовать?

— Я могу говорить обо всемъ. Я выжилъ тридцать лѣтъ въ Россіи; слѣдовательно, если вы захотите говорить объ язвахъ, удручающихъ вашу страну, — я могу перечислить ихъ вамъ по пальцамъ; если же, напротивъ, вы пожелаете вести рѣчь исключительно о доблестяхъ, — я и тутъ къ вашимъ услугамъ. Затѣмъ я знаю очень много „разказовъ“ изъ жизни достопримѣчательныхъ русскихъ дѣятелей, и увѣренъ, что разказы эти доставятъ вамъ удовольствіе. Такова моя программа относительно Россіи. Что же касается Франціи, то вы можете предлагать мнѣ какіе угодно вопросы — я на все имѣю самые обстоятельные отвѣты.

— Отлично. Во-вторыхъ, отвѣйте мнѣ откровенно, Капоттъ!! Вы не шпшш... то-бишь, pardon! — не сердцевѣдецъ?

Я ждалъ, что Капоттъ смутится, но онъ смотрѣлъ на меня ясно и почти благородно. Очевидно, подобный вопросъ уже не разъ былъ обращаемъ къ нему.

— Въ смыслѣ постоянного занятія — нѣтъ, — отвѣчалъ онъ твердо: — но не скрою отъ васъ, что когда обстоятельства призываютъ меня, то я всегда застаю себя стоящимъ на высотѣ положенія!

Тѣмъ не менѣе, говоря это, онъ приветалъ, какъ бы готовясь ретироваться. Такова сила предразсудка, сопряженная съ представленіемъ о сердцевѣдѣніи, что даже этотъ крупный и сильный мужчина опасался: а ну какъ меня за это не похвалятъ! Разумѣется, я поспѣшилъ успокоить его.

— Капоттъ! — сказалъ я: — не опасайтесь! Вообще говоря, сердцевѣдѣніе, конечно, не особенно для меня симпатично; но такъ какъ я понимаю, что въ благоустроенномъ обществѣ обойтись безъ этого нельзя, то покоряюсь. Но прошу васъ объ одномъ: читайте въ моемъ сердцѣ, но читайте лишь то, что дѣйствительно въ немъ написано! Не лгите! А ежели чего не поймете, то не докладывайте, не объяснившись предварительно со мною!

Онъ съ радостью согласился исполнить эту просьбу, и мы окончательно поладили.

Біографія Капотта была очень трогательна. Онъ былъ внукъ сестры Марата и много пострадалъ отъ людской несправедливости по случаю этого несчастнаго родства. Уже родители Капоттовы старались примѣрнымъ поведеніемъ и чистосердечнымъ раскаяніемъ смыть наслѣдственное пятно, но всѣ усилія ихъ остались тщетными: ни Наполеонъ, ни Бурбоны не довѣряли ихъ искренности. Нерѣдко пробовали Капотты предавать своихъ кровныхъ, оставшихся вѣрными бездѣльнымъ Маратовымъ преданіямъ, но ихъ предательства

называли недостаточными и своекорыстными; когда же они проливали слезы боли и раскаянія, то их слезы называли крокодиловыми. Со вступленіем на престолъ Луи-Филиппа, сердца Капоттовъ на мгновеніе оживились надеждою; но хотя Луи-Филиппъ былъ возведенъ на тронъ не разсеченъ, а *quoique* Бурбонъ, однакожь въ отношеніи къ Маратовскимъ преданіямъ оказался еще больше Бурбономъ, нежели самые истые Бурбоны. Онъ даже „извѣщений“ не велѣлъ принимать отъ Капоттовъ, „яко отъ людей бездѣльныхъ и довѣрія не заслуживающихъ“. Тогда Капотты окончательно пали духомъ и долгое время жили въ полномъ отчужденіи, находя утѣшеніе только въ религіи. Наконецъ, въ 1840 году, юный отпрыскъ этого дома, Jean-Marie-François-Archibald Capotte принялъ героическое рѣшеніе. Это былъ двадцатилѣтній юноша, сильный, цвѣтушій, полный надеждъ и въ совершенствѣ постигшій тайны бильярдной игры. Наскучивъ унылымъ прозябаніемъ въ отечествѣ и возмущенный несправедливостію согражданъ, онъ отрясъ прахъ съ ногъ своихъ и переселился въ сѣбѣ Россіи.

Въ Россіи словно только и ждали его пріѣзда. Прибывъ въ Петербургъ, онъ чистосердечно объяснилъ свое родство съ Маратомъ, присовокупивъ при этомъ, что постарается искреннимъ раскаяніемъ смыть съ себя это пятно. Поступокъ этотъ былъ найденъ благороднымъ. Признано было, что внукъ не долженъ отвѣчать за поступки дѣда, хотя бы то былъ Маратъ. Когда же на вопросъ: что онъ можетъ дѣлать? — Капоттъ съ твердостью отвѣтилъ: все что угодно! — то было сочтено за удобнѣйшее пристроить его въ качествѣ педагога. А дабы сообщить этому устройству нарочитую прочность, Капоттъ изъявилъ готовность присоединиться къ единой православной греко-россійской церкви. Узнавъ объ этомъ, русскія дамы вдругъ словно сбѣсились. Графиня Мамелфина, княгиня Букиазба, маркиза де-Санглю, генеральша Вѣдокурова наперебой переманивали его другъ у друга для воспитанія дѣтей. Благодаря ихъ ходатайствамъ, Капоттъ былъ зачисленъ на службу разомъ по тремъ вѣдомствамъ: у стараго князя Букиазба по части изобрѣтенія пристойныхъ законовъ, у маркиза де-Санглю — по части распространенія пристойнаго просвѣщенія и у генерала Вѣдокурова — по какой-то не вполне ясной части, въ титулѣ которой можно было, однакожь, разобрать: „строгость и притомъ быстрота“. И по всѣмъ тремъ вѣдомствамъ получалъ пристойное жалованье.

Между тѣмъ юные питомцы были тоже безъ ума отъ Капотта, ибо послѣдній, посѣвая въ ихъ сердцахъ сѣмена религіи, въ то же время обучалъ ихъ веселымъ романсамъ и игрѣ на бильярдѣ. Кромѣ того, имѣя въ виду, что питомцамъ его предстоитъ великое будущее, онъ издалъ „Краткія правила для изобрѣтенія мѣропріятій и немедленнаго ихъ осуществленія“, которыя и до сихъ поръ остаются незамѣтными. Словомъ сказать, Капоттъ до того преуспѣлъ, что когда, по истеченіи двадцати-пяти лѣтъ, маркизъ де-Санглю объявилъ ему, что онъ произведенъ въ генералы, то, несмотря на свое французское легкомысліе, онъ хлопнулъ себя по ляжкѣ и прослезился. Но, на свою бѣду, онъ въ то же время узналъ, что на основаніи какихъ-то сокращенныхъ сроковъ выслужилъ разомъ три пенсіи, и... пожелалъ выйти въ отставку.



Это была важная ошибка съ его стороны, ибо она отвратила отъ него сердца родителей. Дѣло въ томъ, что онъ успѣлъ сколотить изрядный капиталецъ и, подобно всѣмъ французамъ, легкомысленно увлекся идеей о независимой жизни. Открывши школу бильярдной игры, онъ надѣялся, что молодое поколѣніе поддержитъ его. И дѣйствительно, въ первое время дѣла его пошли блистательно, потому что, независимо отъ бильярдной, онъ содержалъ еще маркитантскую, изъ которой въ долгъ отпускалъ закуски и вино. Но черезъ годъ, совсѣмъ непредвидѣнно, прибылъ изъ Парижа французъ Санъ-Кюлоттъ (слухи ходили, что его, изъ мщенія къ Капотту, выписала генеральша Вѣдокурова, а злые языки, кромѣ того, прибавляли: „съ производствомъ въ коллежскіе регистраторы“), и сталъ распѣвать такіа пѣсенки, что кадеты разомъ ошалѣли. А черезъ мѣсяцъ, на помощь къ Санъ-Кюлотту явилась дѣвица Альфонсинка (Капоттъ былъ на этотъ счетъ строгъ и Альфонсинокъ въ своемъ „заведеніи“ не допускалъ), и тѣ же пѣсни начала распѣвать уже съ пристойными иллюстраціями. Въ сей крайности Капоттъ попытался-было обратиться съ жалобой на Санъ-Кюлотта къ родителямъ и даже заговорилъ о нравственности, но родители (или, точнѣе, родительницы), вмѣсто отвѣта, напомнили ему объ измѣнѣ, а нѣкоторые даже дозволили себѣ жестокий намекъ на происхожденіе отъ Марата. Кадеты между тѣмъ разсѣялись по лицу земли, не уплативъ долговъ, и Капоттъ окончательно прогорѣлъ. Тогда, продавъ за безцѣнокъ свое заведеніе тому же Санъ-Кюлотту, онъ вновь отрясъ прахъ съ ногъ своихъ, тайно возсоединился къ единой истинной римско-католической церкви и переѣхалъ въ Парижъ.

Теперь онъ скромно живетъ въ Парижѣ на свою пенсію, которая, однакожь (по тремъ вѣдомствамъ), представляетъ для него вѣрный ресурсъ въ количествѣ семи тысячъ франковъ ежегодно. Большую часть времени онъ проводитъ въ кафѣ, играя на бильярдѣ, но, кромѣ того, всегда имѣетъ къ услугамъ „знатныхъ иностранцевъ“ разнообразный выборъ соблазнительныхъ картинокъ и секретныхъ принадлежностей туалета. Бывшіе питомцы не забываютъ его, и это составляетъ его утѣшеніе и гордость. Нѣкоторые изъ нихъ уплатили ему долги по бильярдной, но большинство ограничивается тѣмъ, что сообщаетъ ему свои проекты. Когда эти проекты скопляются во множествѣ, тогда Капоттъ временно исчезаетъ изъ кафѣ и весь отдается государственнымъ соображеніямъ.

Между тѣмъ мѣстные демагоги въ свою очередь не забываютъ, что Капоттъ олицетворяетъ собою послѣдній отпрыскъ пресловутаго Маратова корня. Въ день рожденія Марата они сходятся въ кафѣ и качаютъ Капотта. А въ день Маратовой смерти тоже сходятся въ кафѣ и качаютъ Капотта вторительно. Причемъ называютъ его „général“ и слушаютъ его рассказы о томъ, какъ онъ былъ однажды сосланъ на каторгу, какъ его сѣкли кнутомъ, какъ онъ съ каторги бѣжалъ къ бурятамъ, dans les steppes, долгое время исправлялъ у нихъ должность шамана, оттуда бѣжалъ—въ Китай... „et me voilà à Paris“.

Цѣлыхъ четыре дня я кружился по Парижу съ Капоттомъ, и все это время онъ безъ умолку говорилъ. Часто онъ повторялся, еще чаще противорѣчилъ самъ себѣ, но такъ какъ мнѣ, въ сущности, было все равно, что ни

слушать, лишь бы упразднить представленіе „свиньи“, то я не только не возражалъ, но даже механическимъ помысливаніемъ головы какъ бы приглашалъ его продолжать. Многого вѣроятно я и совѣмъ не слыхалъ, довольствуясь тѣмъ, что въ ушахъ моихъ не переставаячи раздавался шумъ.

Первый день мы бесѣдовали объ язвахъ, удручающихъ Россію. До завтрака Капоттъ говорилъ:

— Главная ваша язва въ томъ состоитъ, что вы никогда не представляете себѣ ясно, чего вы хотите. Сегодня вы выражаете чувства, вѣсѣмъ вообще челоуѣкамъ свойственныя, а завтра вдругъ цуете такую душину, что хоть топоръ повѣсь. И это происходитъ не отъ ренегатства, а оттого, что вслѣдствіе недостаточной подготовки для познаванія вещей вы не различаете добра отъ зла. Къ тому же, на наше несчастіе, вы воспримчивы, и потому легко воспламеняетесь. Но вы увлекаетесь безъ разбору, безъ критики и, къ сожалѣнію, чаще всего тѣмъ, чѣмъ ужъ никто въ цѣломъ мірѣ не увлекается. Сегодня, видя челоуѣка, которому тяжело дышется, вы великодушно говорите: надо ему помочь! А завтра, едва только началъ этотъ челоуѣкъ дышать легче, какъ вы ужъ сердитесь и восклицаете: надо его подтянуть! Ясно, что при такой неустойчивости взглядовъ и чувствъ, не можетъ существовать ни малѣйшаго довѣрія къ будущему. Боязнь завтрашняго дня — вотъ червь, который точитъ вашу жизнь. Но смѣю думать что покуда вы будете заниматься только трепетаніемъ, вашъ національный геній особенно блестящихъ свойствъ не предъявить.

Я слушалъ эту предіку и возмущался духомъ. Но такъ какъ я разъ навсегда принялъ за правило: пускай Капотты съ Гамбеттами что угодно разсказываютъ, а мы свою линію будемъ потихоньку да полегоньку вести, — то и ограничился тѣмъ, что сказалъ:

— Врете вы все, Капоттъ! Я увѣренъ, что послѣ завтрака вы совѣмъ другое будете говорить!

И точно, послѣ завтрака, выпивши на свой пай бутылку бургонскаго, Капоттъ говорилъ:

— Вы, русскіе, черезчуръ настойчивы въ преслѣдованіи вашихъ цѣлей — вотъ ваша главная язва. *Vous êtes trop logiques*. Жизнь требуетъ уступокъ, а вы хотите только реформъ. Въ такое короткое время — и такой прогрессъ! — какой организмъ это выдержать! А вы не только выдерживаете, но еще говорите: мало! Вамъ дали свободу слова, а вы какъ будто и не подозреваете этого, и все жалуетесь: когда жъ намъ свободу слова дадутъ? Нѣтъ, *mon cher monsieur*, такъ нельзя! Конь и о четырехъ ногахъ, да спотыкается, а челоуѣкъ... Челоуѣка вотъ какъ надо держать, *cher monsieur*, чтобъ онъ не спотыкался!

Говоря это, онъ показывалъ, какъ надо „держатъ“ челоуѣка: одной рукой натягивалъ воображаемыя возжи, другою — стискивалъ воображаемый бичъ.

Передъ обѣдомъ въ ушахъ моихъ раздавалось:

— Подобно древнимъ римлянамъ, русскіе временъ возрожденія усвоили себѣ кличъ: *rapem et circenses!* И притомъ чтобы даромъ. Но *circenses* у васъ отродясь никогда не бывало (кромѣ сѣкуцій при волостныхъ правле-



ніяхъ), а ранаѣ началъ поѣдать жукока. Поэтому-то, мнѣ кажется, старый князь Букиазба былъ правъ, говоря: „во избѣжаніе затрудненій, необходимо въ нихъ сію прихоть истреблять.“

А послѣ обѣда (три рюмки *goriki* и двѣ бутылки „орднѣра“) я слышалъ слѣдующее:

— Тѣмъ не менѣе, скажу вамъ откровенно: тридцать лѣтъ сряду стараюсь я отличить русскія язвы отъ русскихъ доблестей — и, убей меня Богъ, ничего понять не могу!

Выговоривши это коснѣющимъ языкомъ, онъ повалился на диванъ и заснулъ. Я же отправился въ „Variétés“ и въ третій разъ съ возрастающимъ удовольствіемъ прослушалъ „La femme à para“. Но какъ, однакожъ, заматерѣла Жюдикъ!

— А какъ любить русскихъ, еслибъ вы знали! — рассказывалъ мнѣ сосѣдъ по креслу: — представьте себѣ, прихожу я на дняхъ къ ней. „Такъ и такъ, говорю, позвольте поблагодарить за наслажденіе... въ Петербургѣ, говорю, изволили въ 74 году побывать“... „Такъ вы, говорить, русскій? Скажите, говорить, русскимъ, что они — душки! Всѣ, всѣ русскіе — душки! а нѣмцы фи! И еще скажите русскимъ, что они (сосѣдъ наклонился къ моему уху и шепнулъ что-то, чего я, признаюсь, не разобралъ)... Это, говорить, меня одинъ кирасиръ научилъ!“

Второй день мы съ Капоттомъ посвятили доблестямъ. До завтрака, впрочемъ, дѣло шло довольно вяло, но за завтракомъ Капоттъ постепенно разогрѣлся.

— Нигдѣ я не ѣдалъ такихъ прекрасныхъ рыбъ, какъ въ Россіи! — ораторствовалъ онъ. — *Oukha au sterlet* — ah! c'est quelque chose d'ineffable! Однакожъ, когда я поступилъ воспитателемъ къ молодому графу Мамел-фину, то мнѣ долгое время не давали этого божественнаго кушанья. Всѣмъ, бывало, подаютъ уху стерляжью, а мнѣ — изъ окуней. Но когда графиня ближе ознакомилась съ моими нравственными качествами, то мнѣ стали давать двѣ тарелки съ лучшими кусками, а старого графа перевели на уху изъ окуней. Вотъ тогда я узналъ... Да впрочемъ одна ли уха! а осетровый янтарный балыкъ? а тающая провѣсная бѣлорыбца? а икра банкетная, салфеточная и зернистая? Я долгое время не могъ разобрать, что это такое, по когда понять... о!!!

За обѣдомъ Капоттъ вспоминалъ:

— Тѣмъ не менѣе, рыбами далеко не исчерпываются дары, которыми наделилъ Россію ея національный гений. Вспомнимъ о румяной кулебякѣ съ угремъ, о сдобномъ пирогѣ-курникѣ, объ этомъ единственномъ въ своемъ родѣ поросенокѣ съ кашей, съ которымъ можетъ соперничать только гусь съ капустой — и не будемъ удивляться, что подъ воспитательнымъ дѣйствіемъ этой снѣди умолкаютъ всѣ вопросы внутренней политики. Самыхъ лучшихъ поросятъ я ѣлъ у маркизы де-Сангль, самыя лучшія кулебяки — у генеральши Бѣдокуровой. Что же касается до княгини Букиазба, то она приготавливала для меня особый напитокъ, называемый „ломпод“. Ah, c'est bien, bien barbare, cette boisson-là! Въ первое время я подумалъ, что это одна изъ тѣхъ

жестокихъ мистификацій, которымъ такъ охотно предаются русскіе „бояре“ относительно беззащитныхъ иностранцевъ; но когда я понялъ... о!!!

Наконецъ, послѣдъ жина, передъ отходомъ на сонъ грядущій, онъ сказалъ:

— Есть у васъ и еще одна доблесть: вы тверды въ обѣдѣняхъ. Если есть у васъ поросенокъ — вы ѣдите поросенка; если нѣтъ ничего — вы довольствуетесь хлѣбомъ, смѣшаннымъ съ лебедой... *C'est ça!* Никто этого не ѣстъ... ну, вотъ ей-и Богу никто! ха-ха!

Послѣднія слова онъ произнесъ заплетающимся языкомъ и затѣмъ, взглянувъ на меня съ какой-то несповѣдливой ироніей, дико захохоталъ. Увы! то были естественныя послѣдствія полубутылки *fine champagne*, выпитой на ночь!

Третій день былъ посвященъ нами чертамъ изъ жизни достопримѣчательныхъ дѣятелей.

По словамъ Капотта, оказывалось, что русскіе вельможи давно уже сомнѣвались въ непререкаемости основъ, на которыхъ покоилось крѣпостное право. Такъ напримѣръ, однажды за обѣдомъ, маркизъ де-Сангль выразился такъ: „Хотя крѣпостное право и похваляется многими, яко согласное съ требованіями здравой внутренней политики, но при семъ необходимо имѣть въ виду, что и оныя люди, Провидѣніемъ въ наше распоряженіе для услугъ предоставленные, суть, подобно намъ, по образу и подобию Божію созданы!“ А присутствовавшій при этомъ генераль Бѣдокуровъ присовокупилъ: „Сіе есть несомнѣнно, хотя съ нѣкоторымъ въ фізіономіяхъ поврежденіемъ!“ Въ другой разъ князь Букиазба высказалъ такое мнѣніе: „Сія мысль, что Иванъ (камердинеръ князя) служитъ мнѣ токмо за страхъ, весьма для меня прискорбна, хотя не могу скрыть, что и за симъ я пользуюсь его услугами съ удовольствіемъ“. Наконецъ старый графъ Мамелфинъ чуть-было совѣмъ не проговорился. „Тогда лишь я счастливымъ почитать себя буду“... началъ онъ, но, вспомнивъ что за сіе не похвалятъ, продолжалъ: „а впрочемъ, еслибъ и впредъ оное продолжать за нужное было сочтено, то мы и за сіе должны благодарить и онымъ безъ критики пользоваться“.

— И эти люди назывались либералами, и состояли въ подозрѣніи! — присовокупилъ въ заключеніе Капоттъ.

Нѣкоторые изъ этихъ достопримѣчательныхъ людей не были чужды и литературнымъ занятіямъ. Такъ, князь Урюпинскій-Добѣзжай написалъ сочиненіе: „О чаѣ и сахарѣ и удовольствіяхъ, ими доставляемыхъ“, а князь Серпуховскій-Догоняй, въ отвѣтъ на это, выпустилъ брошюру: „Но наипаче сивухой“. Графъ Пустомысловъ печатно предложилъ вопросъ: „Куда дѣвался нашъ рубль?“ а графъ Твердооптѣ тоже печатно отвѣтилъ: „Много будешь знать — скоро состаришься“. Наконецъ генераль-маіоръ Отчаянный вопрошалъ тако: „Слѣдуетъ ли ввести кобылу въ ряды кавалеріи?“ — и отвѣчалъ на вопросъ утвердительно: „Слѣдуетъ, ибо черезъ сіе былъ достигнутъ естественный коновой ремонтъ“. А генераль Правдинъ-Маткинъ на это возражалъ: „Сіе столь же разумно, какъ еслибъ кто утверждалъ, что необходимо въ ряды арміи допустить генераль-маіоршъ, дабы черезъ сіе достигнутъ естественнаго ремонта генераль-маіоровъ“. Однимъ словомъ, шла непрерывная и живая полемика по всѣмъ отраслямъ государствовѣдѣнія, но полемика серьезная, при



равномъ оружіи: князь съ княземъ, графъ съ графомъ, генераль-маіоръ съ генераль-маіоромъ. Буде же въ полемику влутывался коллежскій регистраторъ, то на таковой дѣлалась надпись: „Печатать *не* дозволяется. Цензоръ Красовскій-Бируковъ-Фрейгангъ. При семъ съ духовной стороны депутатомъ былъ и также къ печатанію не одобрилъ смиренный Іона Вочревѣ-бывшій“.

— Однажды военный совѣтникъ (былъ въ древности такой чинъ) Сда-точный насъ всѣхъ перепугалъ, — рассказывалъ Капоттъ. — Совѣтъ неожиданно написалъ проектъ: „о необходимости устроенія фаланстеровъ изъ солдатъ, съ припущеніемъ въ оныхъ, для прилода, женскаго пола по пристойности“, и, никому не сказавъ ни слова, подалъ его по командѣ. Къ счастью, дѣло разрѣшилось тѣмъ, что проектъ на другой день былъ возвращенъ съ надписью: „дуракъ!“

Но съ собственнымъ сочувствіемъ, какъ и слѣдовало ожидать, Капоттъ относился къ своимъ бывшимъ питомцамъ, относительно которыхъ онъ былъ неистощимъ, хотя и довольно однообразенъ. Такъ, молодой князь Букназба, уже въ четырнадцатилѣтнемъ возрастѣ, безъ промаху сажалъ желтаго въ среднюю лузу; и однажды, тайно отъ родителей, поступилъ маркеромъ въ малоярославскій трактиръ, за чтò былъ высѣченъ; молодой графъ Мамелфинъ столь былъ склоненъ къ философскимъ упражненіямъ, что, имѣя отъ роду тринадцать лѣтъ, усомнился въ безсмертіи души, за чтò былъ высѣченъ; молодой графъ Твердоонтъ тайкомъ отъ родителей изучалъ латинскую грамматику, за чтò былъ высѣченъ; молодой подпрапорщикъ Бѣдокуровъ, въ предвидѣніи финансовой карьеры, съ юныхъ лѣтъ заключалъ займы, за чтò былъ высѣченъ. Что же касается до молодого маркиза де-Санглю, то онъ съ семи-лѣтняго возраста готовилъ себя по духовному вѣдомству.

— Теперь эта бодрая молодежь въ цвѣтѣ силъ и надеждъ, — восторжено прибавилъ Капоттъ: — и любо посмотреть, какъ она поворачиваетъ и подтягиваетъ! Одинъ только де-Санглю сплеховалъ: поѣхалъ на Аѳонъ; думалъ что его оттуда призовутъ (какихъ, молъ, еще доказательствъ нужно!), а нѣ его не призвали! Теперь онъ сидитъ на Аѳонѣ, поетъ на крысѣ и бьетъ въ било. Такъ-то, *mon cher monsieur!* и Богу молиться надо умѣючи! Чтобъ видѣли и знали, что хотя духъ бодръ, но плоть отъ пристойныхъ окладовъ не отказывается!

На четвертый день мы занялись дѣлами Франціи, причемъ я предлагалъ вопросы, а Капоттъ давалъ отвѣты.

*Вопросъ первый.* Возсіяетъ ли Бурбонъ на престолѣ предковъ, или не возсіяетъ? Ежели возсіяетъ, то будетъ ли поступлено съ Гриви и Гамбеттой по всей строгости законовъ, или, напротивъ, имъ будетъ объявлена благодарность за найденный во всѣхъ частяхъ управленія образцовый порядокъ? Буде же *не* возсіяетъ, то неужели тѣмъ только дѣло и кончится, что не возсіяетъ?

*Отвѣтъ Капотта.* Виды на возсіяніе слабы. Главная причина: ничего не приготовлено. Ни золотыхъ каретъ, ни бѣлаго коня, ни хоругвей, ни приличной квартиры. Къ тому же бесплоденъ. Относительно того, какъ было бы поступлено, въ случаѣ возсіянія, съ Гриви и Гамбеттой, то въ легитимистскихъ кругахъ существуетъ такое предположеніе: обоихъ выслать на жи-

тельство въ дальнія вотчины, а Гамбетту, кромѣ того, съ воспрещеніемъ баллотироваться на службу по дворянскимъ выборамъ.

*Вопросъ второй.* Не возсіяетъ ли кто-либо изъ Наполеонидовъ?

*Отвѣтъ.* Трудно. Но буде представится случай пустить въ ходъ обманъ, коварство и насиліе, а въ особенности въ ночное время, то могутъ возсіять. Въ настоящее время эти претенденты главнымъ образомъ опираются на кокотокъ, которыхъ и донинѣ не могутъ забыть, какъ весело имъ жилось при Монтихиномъ управленіи. Однакожъ, республика повидимому уже предусмотрѣла этотъ случай и въ видахъ умиротворенія кокотокъ установила такое декольте, передъ которымъ цѣпенѣла даже смѣлая „наполеоновская идея“.

*Вопросъ третій.* Не возсіяютъ ли Орлеаны?

*Отвѣтъ.* Не возсіяютъ.

*Вопросъ четвертый.* Но что вы скажете о Гамбеттѣ и о рара Trinquet? не возсіяютъ ли они? Или, быть можетъ, придетъ когда-нибудь Иванъ Непомнящій и скажетъ: а дайте-ка, братцы, и я возсіяю?

*Отвѣтъ.* О первыхъ двухъ могу сказать: ихъ возсіяніе сомнительно, потому что ни одинъ gavroche не согласится кричать: vive l'empereur Gambetta! а тѣмъ менѣе: vive l'empereur Trinquet! Правда, были времена, когда кричали: да здравствуетъ царь Горохъ! — но, кажется, эти времена ужъ не возвратятся. Что же касается до Ивана Непомнящаго, то онъ не возсіяетъ... навѣрно! Хотя же у васъ въ Москвѣ идетъ сильная агитація въ пользу его, но я полагаю, что это только до поры до времени. Обыкновенно принято съ Иванами поступать такъ: ты, дескать, намъ теперь помоги, а потомъ мы тебѣ носъ утремъ! И точно: не успѣетъ Иванъ порядкомъ возвеселиться, какъ его ужъ опять гонять: ступай свойственныя тебѣ тѣлесныя упражненія производить. Такъ-то, mon cher monsieur!

*Вопросъ пятый, дополнительный.* И вы полагаете, что правильно такъ съ Иванами поступать?

*Отвѣтъ.* На это могу вамъ сказать слѣдующее. Когда старому князю Букназбѣ предлагали вопросъ: правильно ли такой-то награжденъ, а такой-то обойденъ? — то онъ неизмѣнно давалъ одинъ и тотъ же отвѣтъ: „о семъ умолчу“. Съ этимъ отвѣтомъ онъ прожилъ до глубокой старости и приобрѣлъ репутацію человѣка, которому пальца въ ротъ не клади.

Прослушавъ эти отвѣты, я почувствовалъ себя словно въ туманѣ. Неужели, въ самомъ дѣлѣ, никто? Ни Бурбонъ, ни Тренкѣ... никто!!

— Послушайте, Капоттъ! — воскликнулъ я въ смущеніи: — но подумали ли вы о будущемъ? Будущее! вѣдь это цѣлая вѣчность, Капоттъ! Что ждетъ насъ впереди? какую участь готовите для себя?

Я говорилъ такъ горячо, съ такимъ серьезнымъ и страстнымъ убѣжденіемъ, что даже кровожадный отпрыскъ Марата — и тотъ повидимому почувствовалъ.

— Вѣроятно придется прожить безъ возсіянія, — сказалъ онъ уныло: — конечно, быть можетъ, будетъ темненько; но...

Голосъ его дрогнулъ и на глазахъ показались слезы.

— Ainsi soit-il! — произнесъ онъ торжественно, и, хлопнувъ себя по



ляжкѣ (онъ всегда это дѣлалъ, когда находился въ волненіи), разомъ выпилъ на зонѣ грядущій двѣ рюмки gorki.

На пятый день Капоттъ не пришелъ. Я побѣждалъ въ кафѣ, при которомъ онъ состоялъ въ качествѣ завсегдатая, и узналъ, что въ то же утро приходилъ къ нему un jeune seigneur russe и, предложивъ десять франковъ пятьдесятъ сантимовъ, увлекъ стараго профессора съ собою. Такимъ образомъ, за лишнюю полтину мѣди, Капоттъ предалъ меня...

Медлить было нечего. Я сейчасъ же направилъ шаги свои въ русскій ресторанъ, въ увѣренности найти тамъ хоть одного безшабашнаго совѣтника. И на мое счастье нашелъ ту самую пару, съ которой не очень давно познакомился на обѣдѣ у Блохиныхъ. Они сидѣли у самаго окошка, за столикомъ другъ противъ друга, и повидимому подсчитывали прохожихъ, останавливавшихся у писсуара Комической Оперы. Передъ ними стояли небруавныя тарелки, съ которыхъ только-что исчезли битки au smétane. Не спрашивая ихъ дозволенія, я тотчасъ же заказалъ еще три порціи зразъ и три рюмки очищенной; затѣмъ мы поздоровались, усѣлись и замолчали. Нѣсколько разъ старики взглядывали на меня, разѣвали рты, чтобъ сказать нѣчто, но ничего не говорили. Но отъ времени до времени то тотъ, то другой поворачивался по направленію къ улицѣ и произносилъ:

— Сто-двадцать-сѣдью!

На что другой кратко отзывался:

— Однако! сегодня что-то ужъ не на шутку...

Наконецъ подали водку и зразы; и то, и другое мы мгновенно проглотили и вновь замолчали. Я даже удивился: точно все слова у меня пропали. Навѣрное я хотѣлъ что-то сказать, объ чемъ-то спросить и вдругъ все забылъ. Но наконецъ одинъ изъ стариковъ возгласилъ: „Сто-сорокъ-третій!“ и, повернувшись ко мнѣ, присовокупилъ:

— Вотъ у насъ этихъ удобствъ нѣтъ.

Тогда и другой почувствовалъ себя свободнѣе, и тоже высказался:

— Здѣсь насчетъ этого превосходно. Сошелъ съ тротуара, завернулъ въ будочку и правъ.

— И, надо сказать правду, здѣшнее населеніе пользуется этимъ удобствомъ съ полнымъ сознаниемъ своего права на него. Представьте себѣ, невстунно часъ мы здѣсь сидимъ, а ужъ сто-сорокъ-три человѣка насчитали. Семень Иванычъ! смотрите-ка, смотрите-ка! Сто-сорокъ-четвертый! сто-сорокъ-пятый!

— А вонъ и сто-сорокъ-шестой бѣжить!

Я сейчасъ же догадался, что это статистики. Съ юныхъ лѣтъ обуреваемые писсуарной идеей, они три года сряду изучаютъ этотъ вопросъ, разѣзжая по всемъ городамъ Европы. Но нигдѣ они не нашли такой обильной нищи для наблюденій, какъ въ Парижѣ. Еще годъ или два подробныхъ изслѣдованій — и они воротятся въ Петербургъ, издадутъ томъ или два статистическихъ таблицъ, и, чего добраго, получатъ премію и будутъ избраны въ де-сіансъ академію.

Но такъ какъ это были только догадки съ моей стороны, то, конечно, я поспѣшилъ проверить ихъ.

— Изслѣдованіями занимаетесь?—спросилъ я.

— Да, изслѣдуемъ,—отвѣтили они въ одинъ голосъ.

Изъ дальнѣйшихъ разспросовъ оказалось, что въ этомъ дѣлѣ заинтересованъ, въ качествѣ мецената, капиталистъ Губошленовъ, который на приведеніе его въ ясность пожертвовалъ миллионъ рублей. Изъ нихъ по пяти тысячъ выдалъ каждому статистику впередъ, а остальные девять сотъ девяносто тысячъ спряталъ въ свой письменный столъ и заперъ на ключъ, сказавъ:

— По окончаніи видно будетъ...

— А ключъ онъ вамъ отдалъ?

— Нѣтъ, въ карманъ положилъ.

— Ахъ, братцы!

Старики тревожно переглянулись и даже поблѣднѣли. Но, къ счастью, они до того прониклись своею идеей и принесли ей столько жертвъ, что никакія опасенія уже не могли сбить ихъ съ истиннаго пути. Не успѣли они надлежащимъ образомъ сосредоточиться на моей догадкѣ, какъ ужъ одинъ изъ нихъ радостно воскликнулъ:

— Николай Петровичъ! ваше превосходительство! Сто-сорокъ-седьмой, сто-сорокъ-восьмой, сто-сорокъ-девятый!

Затѣмъ они подробно изложили мнѣ планъ работъ. Прежде всего они приступили къ изслѣдованію Парижа по сѣю сторону Сены, раздѣливъ ее на двѣ равныя половины. Вставши рано утромъ, каждый отправляется въ свою сторону и наблюдаетъ, а около двухъ часовъ они сходятся въ русскомъ ресторанѣ и ужъ совмѣстно наблюдаютъ за стѣной Комической Оперы. Потомъ опять расходятся и поздно ночью, возвратясь домой, проверяютъ другъ друга.

— И много беретъ это у васъ времени?—любопытствовалъ я.

— Да какъ вамъ сказать! вотъ пять мѣсяцевъ живемъ въ Парижѣ, съ утра до ночи только этимъ вопросомъ и заняты, а между тѣмъ и десятой части еще не высмотрѣли.

— И любопытныхъ результатовъ достигли?

— Да вотъ какъ-съ. Теперь я, напримѣръ, Монмартрскимъ бульваромъ совсѣмъ овладѣлъ, такъ вѣрьте или не вѣрьте, а даже сію минуту могу сказать, въ какой будкѣ есть гость и въ какой—нѣтъ!

— Чортъ побери!

— Это такъ точно,—подтвердилъ и Семень Ивановичъ:—то же самое и я могу сказать о бульварѣ Боннъ-Нувелль...

— Законы статистики вездѣ одинаковы,—продолжалъ Николай Петровичъ солидно. — Утромъ, напримѣръ, гостей бываетъ меньше, потому что публика еще исправна; но чѣмъ больше солнце поднимается къ зениту, тѣмъ наплывъ дѣлается сильнѣе. И наконецъ ночью, по выходѣ изъ театровъ—это почти цѣлая оргія!

— И замѣтите,—пояснилъ Семень Ивановичъ:—каждый день, въ одинъ и тѣ же промежутки времени, цифры всегда одинаковыя. Колебаній—никакихъ! Такова неизбѣжность законовъ статистики!



— Безподобно. Но что же вы, кромѣ наблюденій, въ Парижѣ дѣлаете? Въ театрахъ бывали?

— Собираемся, да все недосугъ...

— Въ Луврѣ, въ Люксанбургскомъ дворцѣ, на выставкѣ художественныхъ произведеній были? Венеру Милосскую видѣли? съ Гамбеттой бесѣдовали? Въ ресторанахъ *Fuy turbot sauce Mornay* ѣли? Въ *Jardin d'acclimatation* на верблюдахъ ѣздили?—сыпалъ я одинъ вопросъ за другимъ.

— То-то, что недосугъ еще...

— Стало быть, только съ предметомъ своихъ изслѣдованій и познакомились?

Собесѣдники мои поникли головами.

— Ну, а насчетъ республики какъ? Понравилась?

Но и на этотъ вопросъ отвѣта не послѣдовало.

Я взглянулъ на этихъ трудолюбивыхъ и скромныхъ стариковъ, и сердце мое вдругъ умилилось. „Вотъ люди! — воскликнулъ я мысленно: — которые навѣрное не знаютъ ни унынія, ни вопросовъ, кромѣ того, который заданъ имъ Губошлеповымъ! Живутъ они себѣ въ Парижѣ и, не засматриваясь по сторонамъ, выполняютъ полегоньку провиденціальное свое назначеніе. И благо имъ! Именно только такъ и можно жить въ наше смутное время! И еслибы мы всѣ слѣдовали ихъ примѣру, еслибы всякій изъ насъ глядѣлъ только въ ту точку, которая у него передъ носомъ — насколько человѣчество было бы счастливѣе! Насколько самая жизнь была бы удобнѣе и пріятнѣе! Устройте, напримѣръ, писсуары, удовлетворите хоть въ этомъ отношеніи справедливыя требованія публики — какой вдругъ получится переворотъ въ жизни цѣлой массы пѣшеходовъ! Какъ всѣ будутъ довольны! Какъ повеселяются и расцвѣтутъ лица! Какая появится въ движеніяхъ свобода и увѣренность!“

— Господа, да не возьмете ли вы и меня...

Къ счастью, я не успѣлъ договорить, потому что въ эту минуту Николай Петровичъ въ какомъ-то неистовомъ восторгѣ закричалъ:

— Семень Иванычъ! смотрите! цѣлая компанія! Сто-пятьдесять-девятый! сто-шестьдесятый! сто-шестьдесять-первый... ахъ!

Я поспѣшилъ уплатить за зразы и водку, и воспользовался восторженнымъ состояніемъ безшабашныхъ совѣтниковъ, чтобъ улизнуть изъ ресторана.

Весь вечеръ я просидѣлъ одинъ, и потому ночью опять видѣлъ во снѣ свинью.

На другой день я уже мчался на всѣхъ парахъ въ Петербургъ.

## ГЛАВА VII.

### ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

Октябрь ужъ начался и признаки осени выказывались довольно явственно. Нѣсколько дней сряду стояла переменная погода; солнце показывалось на короткѣ, и ежели не наступили настоящіе холода, то въ воздухѣ уже чувствовалась порядочная сырость. Тянуло на сѣверъ, въ печное тепло, за двойныя рамы, въ страну пироговъ съ грибами и держанія языковъ за зубами... Хорошо тамъ!

И собрался мигомъ, но моментъ отъѣзда былъ выбранъ не совсѣмъ удачно. Кѣльнскій поѣздъ выходилъ изъ Парижа вечеромъ; сверху слышалось что-то похожее на нашу петербургскую изморозь; туманъ стался по бульварамъ и улицамъ и въ довершеніе всего платформа желѣзно-дорожной станціи была до крайности скудно освѣщена. Все это, вмѣстѣ взятое и осложненное перспективами дорожныхъ неудобствъ, наводило уныніе и тоску.

Вообще русскій культурный человѣкъ не имѣетъ особенной склонности къ передвиженіямъ, а за границей онъ, сверхъ того, встрѣчаетъ, при переѣздахъ, множество неудобствъ, которыя положительно заставляютъ его врасплохъ. Главное неудобство—недостатокъ желѣзно-дорожной прислуги. Приходится не только самому нести свой ручной багажъ, но самому отыскать свой вагонъ, самому сѣсть на мѣсто и самому сказать: ну, сѣля—теперь съ Богомъ! У тамошнихъ людей все это не считается неудобствомъ. Не потому, что тамъ нѣтъ охотниковъ получать пятиалтынные за мелкія услуги по переноскѣ коробокъ, чтобъ эта монета утратила свой престижъ въ глазахъ кабальнаго большинства, а потому, что нѣтъ охотниковъ давать эти пятиалтынные. Предполагается, что всякій самъ сумѣетъ найти свое мѣсто и устроить себя. Все равно какъ въ жизни вообще. Бываютъ обстановки, при которыхъ можно получить слѣдуемое даромъ, а бываютъ и такія, при которыхъ слѣдуемое можно получить только сунувъ въ руку желтенькую и зелененькую бумажку. И когда люди привыкають къ этимъ послѣднимъ обстановкамъ, то всегда держатъ подачки на-готовѣ, и только тогда чувствуютъ себя обнадеженными, когда все, что слѣдуетъ, отдадутъ.

Заграничный человѣкъ идетъ и прямо садится на мѣсто, какъ будто оно и въ самомъ дѣлѣ его. А мы, русскіе, въ этомъ не увѣрены. Все думается: сѣсть-то я сяду, да усидѣть-то придется ли? А вдругъ генераль Отчаянный крикнетъ (да еще въ темнотѣ!): „знай сверчокъ свой шестокъ“—ну, и снимайся съ мѣста, разыскивай, гдѣ онъ, этотъ „свой“ шестокъ, обрѣтается! Поэтому, мы, какъ и во всѣхъ случаяхъ жизни, прежде всего суемъ въ руку двугривенный и спрашиваемъ, можно ли сѣсть? Русскіе кондукторы знаютъ это и снисходятъ, а заграничные кондукторы не понимаютъ, и только покрикиваютъ: „en voitures, les voyageurs, en voitures!“ Какъ будто это такъ ужъ легко: взялъ да и сѣлъ!

Но сверхъ того большинство изъ насъ еще помнитъ золотыя времена, когда по всей Руси, изъ края въ край, раздавалось: „Эй, Иванъ, платокъ носовой! Эй, Прохоръ, трубку!“—и хотя, въ теченіе послѣднихъ двадцати лѣтъ, можно бы, кажется, ужъ сродниться съ мыслью, что сапоги приходится надѣвать самолично, а все-таки эта перспектива приводитъ насъ въ смущеніе и порождаетъ въ нашихъ сердцахъ ропотъ. Единственный ропотъ, который, не будучи предусмотрѣнъ въ регламентахъ, пользуется привилегіей: роптать дозволяется.

Именно это чувство неизвѣстности овладѣло мной, покуда я, неся подъ мышками и въ рукахъ какія-то совсѣмъ ненужныя коробки, слонялся въ полумракѣ платформы. Собственно говоря, я не искалъ, а въ глубокомъ уныніи спрашивалъ себя: „гдѣ-то онъ, мой шестокъ („идѣ домой въ мой?“ какъ пѣвали братья-славяне на „Минерашкахъ“ у Излера), обрѣтается? Не знаю,



долго ли бы я такимъ манеромъ прослонялся, еслибъ въ ухахъ моихъ не раздался, на чистѣйшемъ русскомъ діалектѣ, призывъ:

— Вы русскій, и я русскій; давайте вмѣстѣ искать.

И дѣйствительно, ободряя другъ друга и напоминая, что на Парижъ дѣйствіе регламентовъ не распространяется, мы вдвоемъ нашли довольно скоро и такъ ловко уѣли на мѣстахъ, какъ будто и въ самомъ дѣлѣ эти мѣста были наши собственные. Да и пора было, потому что едва я успѣлъ сказать: „теперь—съ Богомъ!“ какъ паровозъ засвистѣлъ, запыхтѣлъ, и мы покатили.

Насъ ѣхало въ купѣ всего четыре человѣка, по одному въ каждомъ углу. Можетъ быть, это были все соотечественники, но знакомиться намъ не приходилось, потому что наступала ночь, а утромъ въ Кёльнѣ предстояло опять мѣнять вагоны. Часа съ полтора шла обычная дорожная возня, причемъ мой *vis-à-vis* не утерпѣлъ таки сказать: „а у насъ-то чтó дѣлается—чудеса!“ — фразу, какъ будто сдѣлавшуюся форменнымъ привѣтствіемъ при встрѣчѣ русскихъ въ послѣднее время. И затѣмъ все окупилось въ безмолвіе.

Но мнѣ не спалось. Какъ только я созналъ себя одинокимъ, такъ тотчасъ на встрѣчу поплыли „мысли“. Вспомнилось тоскливое, безцѣльное заграничное шатаніе, въ сопровожденіи потухшей любознательности и отсутствія интереса ко всему, исключая трактировъ; вспомнилось и сѣрое жилищко дома, полное безпредметныхъ и неосмысленныхъ тревогъ... И какъ-то невольно, само собою сказалось: „ахъ, какая это ужасная вещь—жизнь“!

Въ конечныхъ результатахъ жизненные тревоги послѣдняго времени настолько ужъ развратили насъ, что каждый въ своихъ дѣйствіяхъ и сужденіяхъ почти исключительно выходитъ изъ представленія о „шкурѣ“. Боязнь за „шкуру“, за завтрашній день — вотъ основной тезисъ, изъ котораго отправляется современный русскій человѣкъ, и это смутное ожиданіе вѣчно-грозящей опасности уничтожаетъ въ немъ не только позывъ къ дѣятельности, но и къ самой жизни. На первый взглядъ тутъ кроется какъ бы противорѣчіе. Ежели человѣкъ тревожно цѣпляется за свой завтрашній день—стало быть, онъ жаждетъ жить. Ничуть не бывало. Не жажда жизни заставляетъ трепетать, а просто инстинктивная сердечная смута, которая, помимо сознанія, каждоминутно сосетъ и терзаетъ. Сама по себѣ, жизнь и ненавистна, и постыла; но такъ какъ она привязалась, то приходится ее выносить. Да объ ней какъ-то и не думается, а думается только объ этой несносной смутѣ, которая до такой степени вѣзмъ завладѣла, все заслонила, что уничтожила даже силу взглянуть смѣло въ глаза смерти. Не завтрашняго дня жаль, а жутко при мысли, что, можетъ быть, онъ будетъ, а можетъ быть и не будетъ.

„Шкурный“ инстинктъ грозитъ погубить, если ужъ не погубилъ всѣ прочіе жизненные инстинкты. Ужасно подумать, что возможны общества, возможны времена, въ которыхъ только проповѣдь надругательства надъ чловѣческимъ образомъ пользуется правомъ гражданственности. Уши слышать, очи видятъ—и вѣры не имутъ. Невольно вырывается крикъ: неужто все это есть, неужто ничего другого и не будетъ? Неужто все пропало, все? Вѣдь

было же когда-то время, когда твердили, что безъ идеаловъ шагу ступить нельзя! Были великіе поэты, великіе мыслители, и ни одинъ изъ нихъ не упоминалъ о „шкурѣ“, ни одинъ не указывалъ на принципъ самосохраненія, какъ на окончательную цѣль человѣческихъ стремленій. Да, все это несомѣнно было. Такъ неужто же и эти поэты, и эти мыслители, Шекспіры, Байроны, Сервантесы, Данты, были люди опасные, подлежащіе упраздненію?

Въ смыслѣ свободы мышленія мы, конечно, не можемъ похвастаться, чтобъ наше прошлое было изобильно благопріятными днями. Но даже въ самыя трудныя времена злобная ограниченность, пошлость и приниженность стремленій не выступали такъ нагло впередъ, не выказывали такъ ясно своей власти. Чувствовалась общая суровость жизненныхъ тоновъ, но не было подлаго ликованія съ поддразниваньями, науськиваньями и проч. Правда, дѣйствующая въ кварталахъ, представлялась обязательною, но никому не приходило въ голову утверждать, что нѣтъ солнца, сіяющаго изъ будки, и что правду высшую, человѣческую, слѣдуетъ заковать въ кандалы. Полезность Псея Стахица Замухрышкина рекомендовалась къ неперемѣнному признанію, но никто не позволялъ себѣ сказать, что Пушкинъ — разбойникъ, а Псей Стахицъ — идеалъ человѣковъ. Право, мнѣ кажется, что даже цензура того времени не пропустила бы ничего подобнаго. Потому что вѣдь проповѣдь всеобщаго одичанія, по малой мѣрѣ, столь же опасна, какъ и проповѣдь всеобщаго равенства передъ домашнимъ обыскомъ.

А нынѣ послушайте, какая трель всенародно раздается изъ любого литературнаго клоповника! Мыслить не полагается! добрый же сынъ отечества обязывается предаваться установленнымъ тѣлеснымъ упражненіямъ и затѣмъ насыщаться, переваривать и извергать. Всякій же, кто обнаружитъ попытку мышленія, будетъ яко пособникъ, укрыватель и соучастникъ злодѣйскихъ замысловъ. Неужто же мы такъ и останемся при этихъ хлѣбныхъ идеалахъ?

Неужто это будетъ?..

Всякій, конечно, совершенно ясно понимаетъ практическую несостоятельность подобныхъ опасеній, и всякому въ то же время становится жутко, потому что хлѣбные идеалы формулируются уже черезъ-чуръ рѣшительною и беззащитною рукой. Устрашно подумать, что можетъ выдаться хоть одна минута подобнаго торжества, что возможны даже сомнѣнія въ этомъ смыслѣ. Помидуйте! вѣдь насъ, наконецъ, всѣхъ, отъ мала до велика, вша заѣстъ! Мы разучимся говорить и начнемъ мычать! Мы будемъ въ состояніи только совершать обрядныя тѣлесныя упражненія, не понимая ихъ значенія, не умѣя ни направлять ихъ, ни пользоваться какими-нибудь результатами! Мы будемъ хлѣбъ сѣять на камни, а навозъ валить въ щипы...

Да, это тоже своего рода крамола. Это крамола противъ челоѣчества, противъ божьяго образа, воплотившагося въ челоѣкъ, противъ всего, что челоѣчеству дорого, чѣмъ оно живетъ и развивается. И, къ ужасу, это крамола не подпольная, а явно и вслухъ проповѣдуемая. Обитательница хлѣбовъ не знаетъ солнца — и отрицаетъ его; не знаетъ вольнаго воздуха — и удостоѣряетъ, что это выдумка злонамѣренныхъ людей. А Правда слушаетъ это безсмысленное бормотаніе и пожимается. Она ощущиваетъ свою „шкуру“ и



боится, какъ бы до нея дѣло не дошло! Какъ тутъ не воскликнуть: вша источить насъ, вша! мычать будемъ! щи съ навозомъ будемъ хлебать!

Я помню, покойница бабушка говаривала: „и мужичка, мой другъ, безъ ума пугать не надо; запугаешь его—онъ и будетъ сохой вавилоны по пашнѣ водить; и самъ-то изъ силъ выбьется, да и пользы отъ этого никакой!“ Милая бабушка! точно она провидѣла!

Вотъ тутъ и разсуждай, утѣшаетъ ли исторія. Несомнѣнно, такія личности бывають, для которыхъ исторія служитъ только свидѣтельствомъ неуклоннаго пораженія добра въ мірѣ: но вѣдь это личности исключительныя, пассивно проникнутыя свѣтомъ. Ихъ точно такъ же подавляютъ идеалы будущаго, какъ другихъ пригнетаетъ прахъ прошедшаго. Это личности до того вѣрующія, что для нихъ осуществленіе идеаловъ не составляетъ даже вопроса времени. Они уже осуществились, эти идеалы, они носятъ передъ глазами, ихъ можно осязать руками, и никакіе уколы неумолимой дѣйствительности не въ силахъ поколебать въ нихъ эту блаженную увѣренность... Конечно, тутъ не можетъ быть даже вопроса о томъ, утѣшаетъ ли исторія.

Этотъ изумительный типъ глубоко вѣрующаго человѣка нерѣдко смущалъ мое воображеніе и я не разъ пытался воспроизвести его. Но задача оказывалась непосильною. Нужно имѣть и громадную подготовку, и почти сверхъестественное художническое чутье, чтобъ отыскать неисчерпаемое богатство содержанія въ этомъ вышнемъ однообразіи вѣры. Часто представлялъ я себѣ человѣка забытаго, затеряннаго и все-таки обращающаго глаза къ востоку. Онъ ясно видитъ, какъ горитъ и пламенѣетъ этотъ востокъ, и совѣмъ не замѣчаетъ, что на самомъ дѣлѣ и востокъ и западъ, и сѣверъ и югъ—все кругомъ охвачено непроглядной тьмою. Но вѣдь это картина—и только; картина, характеризующая лишь моментъ извѣстнаго душевнаго настроенія. Повторите этотъ моментъ хотя безчисленное множество разъ—вы не выйдете изъ предѣловъ однообразія, не получите ничего, кромѣ утомительныхъ перифразъ. Чтобы выйти изъ этого однообразія, необходимо прежде всего понять, что тутъ главнымъ дѣйствующимъ лицомъ является „вѣра“ и что представленіе о „вѣрѣ“ объемлетъ собой не только всего человѣка, но весь міръ, всю область знанія. И вотъ тотъ, кто сумѣетъ раскрыть всю безпредѣльность этого содержанія, кто найдетъ въ себѣ мощь воспроизвести все разнообразіе идеаловъ, которое составляетъ естественный выводъ этого содержанія—тотъ, несомнѣнно, напишетъ картину, безконечное разнообразіе и яркость которой зажжетъ всѣ сердца. Слово утратитъ вялость, образы будутъ полны жизни и огня. Но спрашиваю по совѣсти: гдѣ тотъ художникъ, которому были бы подъ силу такія глубины?

Повторяю: не объ этихъ исключительныхъ натурахъ можетъ идти здѣсь рѣчь, а о простой злобѣ дня. Герой этой злобы—заурядный дѣятель современности, устроитель ея будничныхъ отношеній, человѣкъ относительной правды, относительнаго добра, относительнаго счастья. Онъ живетъ, потому что схваченъ тисками жизни; но разъ онъ живетъ, лукавыя мудрствованія ужъ не смущають его. Онъ вникаетъ въ обстановку современности и дѣлаетъ всѣ усилія, чтобъ примѣниться къ ней; онъ ищетъ не абсолютной правды, а *возможной*, и при-

мириетси съ нею; наконецъ онъ охотно признаетъ „удобство“ за синонимъ счастья, и подчиняется этому опредѣленію. Вообще это человѣкъ не сложныхъ требованій, не высеренныхъ идеаловъ, который въ случаѣ нужды пойдетъ на компромиссъ: только не добивай до конца! Понятно, что для этого человѣка утѣшенія, преподаваемые исторіей, составляютъ не вопросъ экзальтированной вѣры, а конкретнѣйшую задачу самаго обыкновеннаго будничнаго обихода.

Несомнѣнно, что и между этими средними дѣятелями современности встрѣчается очень много честныхъ людей, которые совершенно искренно вѣрятъ, что исторія представляетъ неистощимый источникъ утѣшеній. Но средній человѣкъ всегда инстинктивно отличаетъ теорію отъ практики. Не будучи даже малодушнымъ, онъ отводитъ для историческихъ утѣшеній скорѣе отдаленное будущее, нежели ближайшее настоящее. Въ настоящемъ процессъ нарастанія правды перѣдко кажется ему равносильнымъ процессу сдиранія кожи съ живого организма. Туго приходитъ въ міръ правда и притомъ цѣною неслыханныхъ жертвъ. Самоотверженность не въ правахъ средняго человѣка, да вѣдь она и не обязательна. Средній человѣкъ не прочь даже, въ видахъ самооправданія, сослаться на ненормальность самоотверженности вообще, и въ принципѣ будетъ пожалуй правъ. И хотя ему можно возразить на это: такъ-то такъ, да вѣдь въ ненормальной обстановкѣ только ненормальныя явленія и могутъ быть нормальными, но вѣдь это ужъ будетъ порочный кругъ, вращаться въ которомъ можно до безконечности, не придя ни къ какому выводу.

Поэтому, ежели въ глазахъ человѣка вѣры безразличны всѣ виды и степени относительной правды, оспаривающіе другъ у друга верхъ, то для человѣка средняго борьба этихъ правдъ составляетъ источникъ глубокихъ и мучительныхъ опасеній. Онъ не подавленъ ни будущимъ, ни прошедшимъ; онъ всѣми своими помыслами прикованъ къ настоящему и отъ него одного ждетъ охраннаго листа на среднее, не очень свѣтлое, но и не черезчуръ мрачное существованіе. Программа его скромна и имѣетъ очень мало соприкосновенія съ блескомъ и полнотою историческихъ утѣшеній...

И вотъ, когда у него оспаривается право на осуществленіе даже этой скромной программы, онъ, конечно, получаетъ полное основаніе сказать: „Я охотно вѣрю, что исторія *должна* утѣшать, но не могу указать на людей, которыхъ имѣютъ коснуться ея утѣшенія. Что касается до меня лично, то я чувствую только одно: что исторія сдираетъ съ меня кожу“.

А между тѣмъ, этотъ средній человѣкъ именно и есть дѣйствительный объектъ исторіи. Для него пишетъ исторія свои сказанія о старой неправдѣ; для него происходитъ процессъ нарастанія правды новой. Ради него создаются религіи, философскія системы, утопіи; ради него самоотвергаются тѣ исключительныя натуры, которыя носятъ въ себѣ зиждительное начало исторіи. Какимъ же образомъ ему примириться съ утѣшеніями исторіи, какимъ образомъ увѣровать въ нихъ, когда онъ ежеминутно встрѣчаетъ осязательныя доказательства, что эта самая исторія на каждомъ шагѣ въ кровь разбиваетъ своего собственнаго героя?

Дѣло въ томъ, что исторія даетъ пріютъ въ нѣдрахъ своихъ не только



прогрессивному наростанію правды и свѣта, но необычайной живучести жи и тмы. Правда и ложь живутъ одновременно и рядомъ, но при этомъ первая является нарождающеюся и слабо защищеною, тогда какъ вторая представляетъ собою крѣпкое мѣсто, снабженное всеми средствами самозащиты. Легко понять, какого рода результаты могутъ произойти изъ подобнаго взаимнаго отношенія сторонъ.

Вообще ложь имѣетъ за собою цѣлую свиту преимуществъ... Во-первыхъ, она знаетъ, что торжество правды не влечетъ для нея за собой никакихъ отмщень. Правдѣ чужда месть; она приноситъ за собой прощеніе, и даже не прощеніе, а просто только возстановленіе дѣйствительнаго смысла явленія. Во-вторыхъ, циклъ правды до сихъ поръ никогда не представлялся завершившимся, и даже сомнительно, можно ли ждать, чтобъ онъ когда-нибудь завершился. Правда способна развиваться до безконечности, открывая новые и новые горизонты и облакаясь въ новыя, болѣе совершенныя формы. Эта растяжимость правды и на человѣка дѣйствуетъ возбуждающимъ образомъ. Онъ не прекращаетъ своихъ поисковъ не потому, чтобъ это была прихоть его бунтующей природы, какъ утверждаютъ литературные клоповники, а потому что исканія эти столь же естественны, какъ естественъ и самый законъ прогрессивнаго наростанія правды. Ложь знаетъ неизбѣжность этихъ исканій, но знаетъ также и неизбѣжность сопровождающихъ эти исканія недоумѣній и ошибокъ. И, на минуту посрамленная, въ лицемѣрномъ спокойствіи ждетъ очереди для отмщень.

Среднему человѣку приходится считаться со всеми этими привилегіями жи. Повторяю: его искъ къ жизни и ея благамъ до крайности скромнѣ. До такой степени скромнѣ, что онъ самъ всегда признаетъ за ложью право защищаться до послѣдней крайности. Быть можетъ, онъ даже отказалъ бы себѣ въ правѣ идти на встрѣчу искомой правдѣ (эту осторожность подсказываетъ ему „шкура“), но онъ не можетъ сдѣлать это, потому что все инстинкты тянутъ его въ эту сторону. И вотъ, для него наступаетъ моментъ ожесточенной свалки. Это — свалка жизни, въ которой нѣтъ свидѣтелей, а все сплошь — дѣйствующія лица. И въ этой свалкѣ его бьютъ, бьютъ, бьютъ безъ конца!

Ибо, ежели и не его лично бьютъ, такъ нельзя же вѣдь сказать: тебя не бьютъ, а до прочихъ тебѣ нѣтъ дѣла! Это будетъ разсужденіе кашпунье, а не человѣческое.

А такъ какъ процессъ наростанія правды трудный и медлительный, то встрѣчаются поколѣнія, которыя нарождаются при началѣ битья, а сходятъ со сцены, когда битье подходитъ къ концу. Даже передышкой не пользуются. Какой горькой провѣей долженъ звучать для этихъ поколѣній вопросъ объ историческихъ утѣшеніяхъ!

Утѣшайся исторіей и живи одной мыслью съ народомъ — вотъ обязательныя условія существованія современнаго человѣка. И точно: когда жизнь кидаетъ вмѣсто хлѣба камень, тогда по-неволѣ приходится искать утѣшеній въ исторіи; но вѣдь, по правдѣ-то говоря, не исторія должна утѣшать, а сама жизнь. Во всякомъ случаѣ средній человѣкъ имѣетъ право такъ думать, этого желать. Да еслибъ онъ думалъ иначе, еслибъ онъ не ждалъ, что жизнь поступится чѣмъ-нибудь въ пользу его, то онъ и не добывалъ бы,

цѣною смертнаго боя, матеріалы, изъ которыхъ создаются историческія утѣшенія. И тогда исторія едва-ли имѣла бы возможность занести на свои страницы достаточное число фактовъ наростаіа добра, которые можно бы принять за отправный пунктъ для утѣшеній.

Что же касается до единенія съ народомъ, то это вопросъ едва-ли еще не болѣе жестокій, нежели вопросъ объ историческихъ утѣшеніяхъ. Конечно, достигнуть или, точнѣе, представить себѣ это единеніе на манеръ тѣхъ испускателей трубныхъ звуковъ, у которыхъ нѣтъ ничего за душой, кромѣ высокомернаго и суетнаго празднословія, очень легко; но дѣйствительное единеніе съ народомъ по малой мѣрѣ столь же мучительно, какъ и сдираніе съ живого организма кожи, ради осуществленія историческихъ утѣшеній. Не призыва требуетъ народъ, а подчиненія, не руководства и ласки, а самоотреченія. Вы задаете себѣ задачу: міръ, валяющійся во тьмѣ, призвать къ свѣту; на массы болящія и негодующія пролить исцѣленіе. Но бываютъ историческія минуты, когда и этотъ міръ, и эти массы преисполняются угрюмостью и недоумѣемъ, когда они сами непостижимо упорствуютъ, оставаясь во тьмѣ и въ недугахъ. Не потому упорствуютъ, чтобъ не понимали свѣта исцѣленій, а потому, что источникъ этихъ благъ заподозрѣнъ ими. Въ такія минуты къ этому валяющемуся во тьмѣ и недугахъ міру нельзя подойти иначе, какъ предварительно погрузившись въ ту же самую тьму и болѣя тою же самою проказой, которая грозитъ его истребить.

Вотъ какія изумительныя задачи выпали на долю средняго человѣка. Съ одной стороны онъ обязывается завоевать для исторіи утѣшенія, а съ другой — погружаться въ тьму и примиряться съ проказой. Добавьте къ этому смертный бой ликующей современности, которая какъ-то особенно злобно привязывается именно къ среднему человѣку — и картина душевнаго благополучія будетъ полная. Я не говорю, что онъ преднамѣренъ и тщеславно беретъ на себя выполненіе этихъ непосильныхъ задачъ; напротивъ, онъ тяготеетъ надъ нимъ фаталистически, и онъ, даже при желаніи, не можетъ ускользнуть отъ нихъ. Съ каждымъ шагомъ впередъ онъ идетъ на встрѣчу ликующей современности, и не только не можетъ защититься отъ нея, но не можетъ и отступить. Жизнь защемила его въ свои тиски и не выпуститъ до тѣхъ поръ, пока не высосетъ всей его крови до послѣдней капли. А затѣмъ выброситъ въ общую яму его трупъ и будетъ туда валить новые и новые трупы, изъ массы которыхъ исторія современемъ выработаетъ свои „утѣшенія“.

Положа руку на сердце, говорю: меня морозъ подиралъ по кожѣ отъ этихъ мрачныхъ думъ. Отъ времени до времени я заглядывалъ въ окно и сквозь окрестную тьму различалъ вдали цѣлыя свѣтящіяся города. То былъ промышленный уголокъ Бельгіи съ его неуспяющими фабриками и заводами. Вотъ-то гдѣ доподлинно добываются историческія утѣшенія! думалось мнѣ, и воображеніе рисовало цѣлыя картины процесса этого добыванія. Да и единеніе съ народомъ тутъ же кстати пристегнулось. Съ народомъ, повиннымъ вѣчной работѣ и изнемогающимъ подъ игомъ тьмы и проказы! Поди-ка, подступись къ этому народу! Ты думаешь о наслажденіяхъ мысли, чувства и



вкуса, о свободѣ, объ искусствѣ, объ литературѣ, а онъ свое твердитъ: жрать! Не разнообразно, но за то какъ опредѣленно! Вотъ онъ говоритъ, что книги истребить надо—войди-ка съ нимъ въ единеніе во имя истребленія книгъ! А можетъ быть ему и фабрика съ заводомъ не въ утѣшеніе, а въ тягость—чтожъ, и эта почва для единенія не дурна! Какъ бы то ни было, но ужъ онъ не уступить! Кто въ проказѣ — тотъ съ нимъ, у кого нѣтъ проказы — тотъ противъ него! Коротко и ясно.

Ты хочешь единенія съ народомъ?—прекрасно!—выбирай проказу, ложись въ навозъ, ѣшь хлѣбъ, одобренный лебедой, надѣвай рванный понитокъ и жги книгу. Но не труби въ трубу, не заражай воздуха запахомъ трубныхъ огрѣховъ! Трубные звуки могутъ только раздражать, а съ такимъ непочатымъ организмомъ, какъ народъ, дѣло кончается не раздраженіями, а представленіемъ доказательствъ.

Но всероссійскіе клоповники не думаютъ объ этомъ. У нихъ на первомъ планѣ личные счеты и личныя отмщенія. Посѣвая смуту, они едва-ли даже предусматриваютъ, сколько жертвъ она увлечетъ за собой: у нихъ нѣтъ соотвѣтствующаго органа, чтобъ понять это. Они знаютъ только одно: что лично они непременно вывернутся. Сегодня они злобно сѣютъ смуту, а завтра, ежели смута приметъ безпокойные для нихъ размѣры, они будутъ, съ тою же холодною злобой, кричать: пали!

Очевидно, тутъ рѣчь идетъ совсѣмъ не объ единеніи, а о томъ, чтобъ сдѣлать изъ народа орудіе извѣстныхъ личныхъ расчетовъ. А сверхъ того, можетъ быть, и розничная продажа играетъ извѣстную роль. Потому что, сообразите въ самомъ дѣлѣ, для чего этимъ людямъ вдругъ понадобилось это единеніе? Съ чего они такъ внезапно заговорили о немъ?

Я помню еще отъ лѣтъ дѣтства, какъ нашъ сельскій батюшка говаривалъ: „всегда бывали господа, и всегда бывали рабы, и впредь уповательно также будетъ“. Говорилъ-говорилъ батюшка, да вдругъ пришелъ Царь-Освободитель и снялъ съ рабовъ узы. И остался батюшка съ носомъ. Но онъ не обидѣлся этимъ и, вынувъ изъ-за пазухи предіку на тему: „любите други своя“, воскликнулъ: „Совершилось дѣло прелюбезное и для всѣхъ сердець равно благопотребное! Съ горнихъ высотъ раздался гласъ: рабы да возвеселятся, помѣщики же да радуются! Размыслимъ же о семъ, любезные слушатели, и для сего предложимъ себѣ два вопроса: первое, чтѣ сие означаетъ? и второе, чтѣ симъ достигается?“ и т. д.

Въ сущности, наши консервативные клоповники твердо помнятъ только до-реформенный батюшкинъ афоризмъ и хлопочутъ только объ одномъ: о дѣйствительнѣйшихъ средствахъ народнаго порабоженія. Но они понимаютъ, что какъ скоро разъ сказано: „рабы да возвеселятся“, то упрощенныя батюшкины предіки уже недостаточны, а главное, онѣ знаютъ, что встрѣтять на пути противниковъ, которымъ дѣйствительно ненавистно народное порабоженіе. Стало быть, прежде всего нужно упразднить этихъ людей, стереть ихъ съ лица земли, обрызгать „слюною бѣшеной собаки“. А для этого необходимо сдѣлать ихъ подозрительными, дать имъ клічку, воспользоваться всѣми неясностями и недоразумѣніями жизни, чтобъ наплодить массу новыхъ неясностей и недоразумѣній. И когда травля будетъ надлежащимъ образомъ

организована, когда пробудившееся чувство исторической розни будетъ доведено до степени неразличенія враговъ отъ друзей, тогда...

Что будетъ тогда — клоповники сами не уясняютъ себѣ. Они не прозираютъ въ будущее, а преслѣдуютъ лишь ближайшія и непосредственныя цѣли! Поэтому ихъ даже не пугаетъ мысль, что „тогда“ они должны будутъ очутиться лицомъ къ лицу съ пустотой и безнліемъ. Покамѣстъ они удовлетворены уже тѣмъ, что ненавидятъ все, за исключеніемъ своей ненависти. Ненавидятъ завтрашній день, потому что тайна, которую онъ хранитъ въ нѣдрахъ своихъ, мѣшаетъ имъ бездумно предаваться удовлетворенію инстинктовъ челоѣконенавистничества; ненавидятъ своихъ собственныхъ дѣтей, потому что видятъ въ нихъ пособниковъ и соучастниковъ завтрашняго дня. Собственно говоря, нельзя представить положенія болѣе ужаснаго. Быть осужденному на вѣчное омертвѣніе и знать, что тутъ же рядомъ нѣчто страдаетъ, изнываетъ, стонетъ, но все-таки живетъ — развѣ можно представить себѣ казнь болѣе жестокою, нежели это пустоутробное, пустомысленное и клочущее самоудовлѣвающей злобой существованіе?

Но для живущихъ дѣло не въ томъ, чего достигаютъ граждане клоповниковъ, а въ томъ, что бываютъ историческія минуты, когда ихъ клеветы производятъ извѣстный переполохъ въ обществѣ. Міръ, конечно, не погибнетъ отъ этихъ клеветъ, и исторія не перестанетъ созидать утѣшенія; но отдѣльныя индивидуумы могутъ погибнуть. Вотъ это-то именно и составляетъ ахиллесову пяту средняго челоѣка. Видя, съ какою безнаказанностью дѣйствуетъ клевета, онъ начинаетъ бояться, и въ умѣ у него постепенно созрѣваетъ деморализирующее „ученіе о шкурѣ“. Но развѣ деморализированъ средній челоѣкъ, деморализація уже дѣлается достоиніемъ всего общества. Всѣ поголовно начинаютъ считать себя и припоминать; у всѣхъ опускаются руки, у всѣхъ начинаютъ биться сердца безпредметной тревогой. Работа мысли перестаетъ быть плодотворною и сосредоточивается исключительно на одномъ: на спасеніи „шкуры“.

По совѣсти говорю: общество, въ которомъ „ученіе о шкурѣ“ утвердилось на прочныхъ основаніяхъ, общество, котораго творческія силы всецѣло подавлены однимъ словомъ: „случайность“ — такое общество, какія бы внѣшнія усилія оно ни дѣлало, не можетъ придти ни къ безопасности, ни къ спокойствію, ни даже къ простому благочинію. Ни къ чему, кромѣ безсрочнаго вращенія въ порочномъ кругѣ тревогъ и въ концѣ концовъ... самоумерщвленія.

Было уже около шести часовъ утра, когда я вышелъ изъ состоянія полудремоты, въ которой на короткое время забылся; въ окна проникалъ бѣлесоватый свѣтъ, и облака густыми массаи неслись въ вышинѣ, суля впереди цѣлую перспективу ненастныхъ дней. Мой vis-à-vis тоже проснулся, и я не безъ смущенія замѣтилъ, что глаза его были пристально устремлены на меня. Это былъ челоѣкъ среднихъ лѣтъ, скорѣе молодой, нежели старый, подвижной и худощавый, не безобразный, но съ сильнымъ выраженіемъ приказной каверзости въ лицѣ, такъ что я тотчасъ же мысленно нагѣлъ ему на голову фуражку съ кокардой и форменное пальто. Такое выраженіе лица нерѣдко встрѣчается у земцевъ (онъ и дѣйствительно оказался таковымъ),



которые когда-то служили въ столоначальникахъ и ошиблись въ надеждахъ на дальнѣйшую бюрократическую карьеру. Люди эти слывуть въ земствѣ дѣльцами, сочиняютъ формочки съ безчисленнымъ множествомъ графъ, называютъ себя консерваторами, хвастаются связью съ землею, утверждаютъ, что „русскій мужичокъ не выдастъ“, и приходятъ въ умиленіе отъ „Московскихъ Вѣдомостей“. Нельзя сказать, чтобъ они были положительно противны, но извѣстная ограниченность мѣшаетъ имъ различить добро отъ зла. Потому они всегда смотрятъ въ одну точку, говорятъ однимъ и тѣмъ же тономъ одни и тѣ же слова, мыслятъ азбучно, но съ сознаніемъ благонадежности своихъ мыслей, и безконечно надоедаютъ всеѣмъ авторитетностью и изобиліемъ пустяковъ. Повидимому этотъ человѣкъ узналъ меня.

— Въ Парижѣ побывали?—спросилъ онъ меня съ напускною развязностью земскаго человѣка, который, памятуя, что онъ въ нѣкоторомъ родѣ исполняетъ должность пятаго колеса въ колесницѣ государственнаго механизма, не хочетъ, чтобъ его заподозрили, что онъ чѣмъ-нибудь стѣсняется.

— Въ Парижѣ, — отвѣчалъ я.

— Поѣздили? погуляли?

— Такъ же, какъ и вы.

— Вернитесь домой, что-нибудь въ смѣшномъ родѣ напишете?

— Можетъ быть, и въ смѣшномъ...

Онъ съ минутою помолчалъ. Отвѣты мои не удовлетворяли его: почему-то онъ ждалъ, что я передъ нимъ, земцемъ, откроюсь. Потому онъ уперся руками въ колѣни и опять въ упоръ посмотрѣлъ на меня. Именно тѣмъ взглядомъ посмотрѣлъ, который говоритъ: а вотъ я смотрю на тебя — и шабашъ!

— Однако вы любите-таки посмѣяться...

Онъ откинулся спиной къ стѣнѣ купе и ждалъ. Но я молчалъ.

— А пора бы, наконецъ, и трезвенное слово сказать, — продолжалъ онъ, все пристальнѣе и пристальнѣе вглядываясь въ меня, какъ будто поставивъ себѣ задачею запечатлѣть въ своей памяти не только слова мои, но и выраженіе лица.

— Рады стараться!

— Вотъ видите, вы и теперь шутите. А вѣдь я, право, не шутя говорю: пора.

— Да, сколько помнится, я никогда пьяныхъ словъ и не говорилъ.

— И опять шутите! Я вамъ говорю, что пора трезвенное слово сказать, а вы о какихъ-то пьяныхъ словахъ...

— Въ такомъ случаѣ отвѣчу вамъ яснѣе: по крайнему моему убѣжденію, всѣ слова, которыя я когда-нибудь говорилъ, были трезвенныя.

— Будто?

— Именно. Только надо знать грамотѣ и понимать что читаетъ — вотъ что прежде всего.

— Гм...

Онъ на минуту смолкъ, однакожъ не сконфузился.

— Я, знаете, тамбовецъ; земецъ я... — началъ онъ, какъ бы желая этимъ сказать, что стоитъ выше грамотности.

— Отлично.

— Вамъ, можетъ быть, страннымъ кажется, что я такъ прямо съ вами заговорилъ?

— Да, странно.

— Но мы живемъ въ такое время, когда церемоніи-то приходится сдѣлать въ архивъ.

— Не вижу надобности.

— Право, такъ... а?

— Повторяю вамъ: не вижу надобности.

Но, повидимому, и эти отвѣты не удовлетворили его, потому что онъ довольно-таки строго покачалъ головой и съ разстановкою произнесъ:

— Однако вы... не патриотъ!

Земцы вообще приличивы и самодовольны, но они рѣдко бываютъ недоброжелательны. Дома, въ своихъ захолустяхъ они съ утра до вечера суетятся и хлопочутъ: покупаютъ новые умывальники для больницъ, чинятъ паромы, откладываютъ до будущей сессіи вопросъ о мелкомъ поземельномъ кредитѣ, о прекращеніи энизоотій, объ оздоровленіи крестьянскихъ жилищъ и проч., и такъ какъ все это имъ удастся, то они чувствуютъ себя совершенно довольными. Набѣгаютъ день-деньской, у всѣхъ побываютъ, со всѣми поговорятъ, вездѣ закусятъ, а къ ночи, усталые, воротятся домой и засыпаютъ до слѣдующаго утра. Понятно, что при такихъ условіяхъ не можетъ быть рѣчи о недоброжелательномъ отношеніи къ ближнему. Вѣруя искренно въ свой жизненный подвигъ, земецъ и близкаго своего не рѣшается заподозрить въ невѣріи. Потому что тутъ дѣло ясное: вотъ онъ рукомойникъ — смотри!

Но послѣднее трудное время повидимому тронуло даже эту душевную ясность. Земцы начинаютъ подозрѣвать и озираться. Рукомойники остаются нелуженными; паромы даютъ течь, потому что земецъ рѣшилъ, что это дѣло второстепенное, и что прежде всего слѣдуетъ смотрѣть вглубь. Вотъ онъ и смотритъ: смотритъ да смотритъ, и вдругъ фигу увидитъ. Вздвигается, побѣжитъ и начинаетъ шевелить бровями. И всѣ разомъ бровями зашевеливъ — ужасно у нихъ это серьезно выходитъ. Пошевеливъ и порезнь — и опять фигу увидятъ... Нельзя сказать, чтобъ это было страшно, но какъ-то безтолково и бесполезно. По крайней мѣрѣ я лично очень жалѣю, что на нашихъ глазахъ переводится наивная и добродушная порода людей, вполнѣ довольныхъ получаемымъ ими содержаніемъ.

Сидѣвшій передо мною экземпляръ земца вѣроятно и прежде уже таилъ въ себѣ сѣмена недоброжелательства, но событія послѣдняго времени еще болѣе обострили въ немъ это качество. Онъ не просто смотрѣлъ вглубь, но потщился укрѣпить свой умъ чтеніемъ передовыхъ статей. Представленіе о рукомойникахъ и паромахъ онъ повидимому совсѣмъ ужъ утратилъ и весь погрузился въ дѣла внутренней политики. При этомъ вѣроятно вновь заронились въ его мозгу и прерванные честолюбивыя мечты столоначальника-неудачника. Представилась возможность не только наверстать потерянное, но и получить рубль на рубль. Творчество — не въ ходу; за то на подозрительность — требованіе. Въ прежнее время онъ былъ бы радъ-радехонекъ, еслибъ его почтили хоть мѣстомъ начальника отдѣленія; теперь онъ смотритъ



ужъ выше. Даже исконную земскую неряшливость онъ ужъ успѣлъ стряхнуть съ себя. Прежде онъ ѣздилъ въ третьемъ классѣ и комкалъ свои пожитки въ узелъ; нынче онъ въ первомъ классѣ ѣдетъ, и въ рукахъ его блеститъ лакированный мѣшокъ; прежде онъ умывался только черезъ день; нынче онъ даже поясицу каждадневно моетъ казанскимъ мыломъ. Вообще при взглядѣ на этого человѣка впечатлѣніе получалось колючее. До такой степени колючее, что когда онъ усомнился въ моемъ патріотизмѣ, то мнѣ какъ-то невольно пришло на мысль: а вѣдь онъ пожалуй возьметъ да вдругъ...

— Вы, можетъ быть, опасаетесь, что я закричу караулъ? — продолжалъ онъ, прозорливо комментируя мысленныя тревоги, отражавшіяся въ моемъ лицѣ.

— Здѣсь я не опасуюсь этого, потому что за такой подвигъ васъ навѣрное посадятъ на станціи.

— А въ Вержболовѣ, напримѣръ?

Я долженъ былъ ожидать этого вопроса; но есть вопросы, которыхъ всегда ожидаешь и которые всегда же застаютъ врасплохъ. Я спасовалъ и сдался на капитуляцію.

— Спрашивайте, — сказалъ я.

— Прежде всего разувѣрьтесь, — началъ онъ: — я человѣкъ правды — и больше ничего. И я полагаю, что если мы всѣ, люди правды, столкнемся, то весь этотъ дурной сонъ исчезнетъ самъ собою. Не претендуйте же на меня, если я повторяю, что въ такое время, какое мы переживаемъ, церемоніи нужно сдать въ архивъ.

— Ахъ, чтѣ вы! да развѣ я думалъ?

— То-то-съ. По моему мнѣнію, мы всѣ, люди добра, должны исповѣдаться другъ передъ другомъ и простить другъ друга. Да-съ, и простить-съ. У всякаго человѣка какой-нибудь грѣхъ найдется — вотъ и надобно этотъ грѣхъ ему простить.

— Ахъ, Боже мой! да вѣдь это и есть моя мысль!

— Ну-съ, такъ это исходный пунктъ. Простить — это первое условіе; но съ тѣмъ, чтобъ впредь въ тотъ же грѣхъ не впадать — это второе условіе. И такъ, будемъ говорить откровенно. Начнемъ съ народа. Какъ земець, я живу съ народомъ, наблюдаю за нимъ и знаю его. И убѣжденіе, которое я вынесъ изъ моихъ наблюденій, таково: народъ нашъ представляетъ собою образецъ здороваго организма, который никакія обольщенія не заставляютъ сойти съ прямого пути. Согласны?

— Но развѣ можно сомнѣваться въ томъ?

— Прекрасно. Несмотря, однакожъ, на это, несмотря на то, что у насъ подъ ногами столь твердая почва, мы не можемъ не признать, что наше положеніе все-таки въ высшей степени тяжелое. Мы живемъ, не зная, чтѣ ждетъ насъ завтра и какіе новыя сюрпризы готовитъ намъ жизнь. И все это, повторяю, несмотря на то, что нашъ народъ здоровъ и спокоенъ. Спрашивается: въ чемъ же тутъ суть?

Я ничего не отвѣтилъ на этотъ вопросъ (нельзя же было отвѣтить: „прежде всего, въ твоихъ безумныхъ подстрекательствахъ!“), но, грѣшный че-

ловѣкъ, подмигнулъ-таки глазкомъ, какъ бы говоря: вотъ именно это самое и есть!

— Въ томъ суть-съ, что наша интеллигенція не имѣетъ ничего общаго съ народомъ, что она жила и живетъ изолированно отъ народа, питалась иностранными образцами и проводила въ жизнь чуждыя народу идеи и представленія,—однимъ словомъ, вливая отраву и разложеніе въ нашъ свѣжій и непочатой организмъ. Спрашивается: на какомъ же основаніи и по какому праву эта лишенная почвы интеллигенція приняла на себя непринадлежащую ей роль руководительницы?

И опять хотѣлъ-было подмигнуть глазкомъ; но на этотъ разъ онъ смотрѣлъ на меня въ упоръ и ждалъ? Поэтому я рѣшился отвѣтить ни да, ни нѣтъ.

— Удивительно, какъ вы плавно говорите!—похлестилъ я ему.

— Прекрасно,—отвѣчалъ онъ.—А теперь спрашивается: что необходимо предпринять, чтобы устранить это растлѣвающее вліяніе? чтобы вновь вдвинуть жизнь въ ту здоровую колею, съ которой ее насильственно свела ложь, насквозь процитавшая нашу интеллигенцію?

Онъ опять остановился, но на этотъ разъ уже не для того, чтобы выждать отъ меня отвѣта, а для того, чтобы дать, такъ сказать, вылежаться фигурѣ вопрошенія, которую онъ такъ искусно пустил въ ходъ. Онъ даже губы сложили сердечкомъ, словно самъ себя подвешивать хотѣлъ.

— Отвѣтъ на этотъ вопросъ простой,—продолжалъ онъ:—необходимо вырвать съ корнемъ злое начало... Коль скоро мы знаемъ, что нашъ врагъ—интеллигенція, стало-быть съ нея и начать нужно. Согласны?

Признаюсь откровенно: какъ я ни былъ перепуганъ, но при этомъ вопросѣ испугался вдвое („шура“ заговорила). И такъ какъ трусость, помноженная на трусость, даетъ въ результатѣ храбрость, то я даже довольно явственно пробормоталъ:

— Прекрасно. Но помнится, въ девяностыхъ годахъ прошлаго столѣтія нѣкто Маратъ именно такого рода цѣлебныя средства предлагать...

— То-то вотъ и есть, что вы все иностранныхъ образцовъ ищете!—я мало не смущаясь, прервалъ онъ меня:—Маратъ! что такое Маратъ?! И какое значеніе можетъ имѣть Маратъ... для насъ?

Тогда я опять понялъ, что въ извѣстныхъ случаяхъ прежде всего необходимо соглашаться, и, разумѣется, поспѣшилъ исправить свою ошибку.

— Еще бы!—сказалъ я съ увлеченіемъ:—Маратъ! что такое Маратъ?! тамъ, у себя, онъ былъ Маратъ, а у насъ вѣроятно былъ бы коллежскимъ ассесоромъ!

— То-то вотъ и есть. Надо говорить дѣло, а вы... Маратъ!! Насъ, батюшка, Маратами-то не удивишь! И такъ, первое дѣло—по боку интеллигенцію; второе дѣло—по боку печать!

Но при словѣ „печать“ мнѣ опять сдѣлалось тяжело, и я ужъ совѣмъ безсознательно проговорилъ:

— Но Гутенбергъ...

— Что такое Гутенбергъ?

— То-есть, не Гутенбергъ... а собственно говоря... Позвольте! не



лучше ли было бы печать-то простить, а вотъ, напримѣръ, суды, земство... ихъ бы вотъ...

— Суды — всенепремѣнно-съ. Но земство — земля-съ. Земли касаться не слѣдуетъ-съ.

— Ну, да, земство — это такъ, — оправдывался я: — здоровое земство и за нимъ здоровый народъ... И затѣмъ, ежели принять въ соображеніе присвоенные земскимъ дѣятелямъ оклады...

Я хотѣлъ-было развить мою мысль, какъ вдругъ случился совершенно неожиданный скандалъ. Одинъ изъ нашихъ спутниковъ вѣроятно увидѣлъ отличнѣйшій сонъ и на чистѣйшемъ русскомъ діалектѣ закричалъ: „Ай люли! ай люли!“

Это восклицаніе разомъ перерѣзало нашъ разговоръ. Собесѣдникъ мой обидѣлся и проворчалъ:

— Нарѣзался... свинтусъ!

Но я, признаюсь, былъ обрадованъ, потому что съ этими земцами, какъ ни будь остороженъ и консервативенъ, навѣрное, въ концѣ концовъ, въ чемъ-нибудь да проштрафишься. Сверхъ того мы подъѣзжали къ Кёльну и въ головѣ моей созрѣлъ предательскій проектъ: при перемѣнѣ вагоновъ засѣсть на нѣсколько станцій въ третій классъ, чтобъ избѣжать дальнѣйшихъ собесѣдованій по дѣламъ внутренней политики.

— Въ Кёльнѣ сядемте опять вмѣстѣ, — обольщала меня между тѣмъ мой vis-à-vis: — я увѣренъ, что мы навѣрное столкнемся. Слушайте! — прибавилъ онъ съ увлеченіемъ: — вы должны! вы непременно должны трезвенное слово сказать! это ваша нравственная обязанность!

— Ай люли! ай люли! — опять запѣлъ безпокойный сосѣдъ и на этотъ разъ самъ проснулся отъ звуковъ собственнаго голоса.

— Фляжку-то не стибрили у тебя? — продолжалъ онъ, обращаясь къ своему vis-à-vis, тоже проснувшемуся: — а я, братъ, должно быть, переспалъ... инда очумѣлъ!

Черезъ десять минутъ мы были въ Кёльнѣ.

Я выполнилъ въ Кёльнѣ свой планъ довольно ловко. Не успѣлъ мой ночной товарищ оглянуться, какъ я затесался въ толпу и по первому звонку ужъ сидѣлъ въ вагонѣ третьяго класса. Но я имѣлъ неосторожность выглянуть въ окно, и онъ замѣтилъ меня. Я видѣлъ, какъ легкая тѣнь пробѣжала у него по лицу; однакожь на этотъ разъ онъ поступилъ уже съ меньшею развязностью, нежели прежде. Подошелъ ко мнѣ и довольно благосклонно сказалъ:

— Въ народъ идти пожелали?.. Ну, и прекрасно! Только попомните мое слово: необходимо, чтобъ вы трезвенное слово сказали! Увидимся... въ Вержболовѣ!

Онъ удалился скорымъ шагомъ по направленію къ своему вагону, но слова его остались при мнѣ и заставили меня задуматься. За минуту передъ тѣмъ я готовъ былъ похвастаться, что ловко отдѣлался отъ назойливаго собесѣдника, но теперь эта ловкость почему-то представилась мнѣ уже сомни-

тельною. А ну, какъ вмѣсто ловкости-то я собственными руками устроилъ себя западию?—смутно мелькало у меня въ головѣ.

Земецъ, коль скоро ему разъ вступило въ голову, что онъ консерваторъ, дѣлается строгъ до непреклонности. На всякое возраженіе онъ смотритъ какъ на противодѣйствіе, и ежели, на бѣду, заподозрить при этомъ еще иронию, то готовъ метить до седьмого колѣна. Говоря безотносительно, эта мстительность была бы не очень-то страшна, но то-то вотъ и есть, что времена-то нынче переходчивыя: не знаешь, гдѣ найдешь, гдѣ потеряешь. Смотришь на него, какъ онъ усами шевелить, думаешь, что онъ въ какомъ-нибудь Цивильскѣ на вѣчныя времена погрузилъ, а на повѣрку окажется, что онъ только нырнулъ тамъ, а вынырнулъ-то вонъ гдѣ! Ты ему *тамъ* не погرافيшь, а онъ тебя *тутъ* учтетъ, да еще такъ учтетъ, что небу жарко будетъ.

Разумѣется, при помощи смѣтки и очень большого запаса осторожности можно и это дѣло обладать. А именно: всякому встрѣчному стараться попасть въ тонъ, польстить, оказать услугу, сказать при случаѣ: „какъ это вы съ такими способностями да въ чортовой дырѣ засѣли!“ Только черезчуръ ужъ много хлопотъ это требуетъ. Вѣдь нынче и не сочтешь, сколько этихъ „встрѣчныхъ“ развелось. Всѣхъ не переслушаешь, всякому не накланяешься. Поди, угадай, котораго полезно очаровать и про котораго можно сказать: „а ты по-прежнему продолжай въ Пирятинѣ смердѣть!“

Часто сижу я въ своей квартирѣ у окна, смотрю на прохожихъ и все думаю: который изъ нихъ суженый мой? котораго мнѣ умищцей и красавчикомъ назвать? Еслибъ можно было всѣмъ оглуломъ крикнуть: здорово, молодцы! — это было бы сейчасъ готово; но вѣдь они самолюбивы, и каждый непременно требуетъ, чтобъ его назвали „молодцомъ“ особо. Смѣшай-ка его съ массой другихъ „молодцовъ“ — онъ обидится, будетъ метить; а попробуй каждаго останавливать, передъ каждымъ изъясняться — ей Богу, силна переломится, языкъ перемелется. Да пожалуй еще скажутъ: вотъ-молъ сумѣ переметная, ко всякому лѣзетъ, у всѣхъ ручку цѣлуетъ! должно быть, въ умѣ какое-нибудь предательство засѣло, коли онъ такъ лебезить!

Но все-таки, если разъ судьба уже свела съ прохожимъ или проѣзжимъ — держи его крѣпче за фалды! Нужды нѣтъ, что онъ прямо изъ-подъ Наровчата выскочилъ — все-таки слушай его и удивляйся мудрости его соображеній. Самое лучшее: слушай и не возражай — прохожіе это любятъ. Можно однакожъ и возразить, но такъ, чтобъ, благодаря возраженію, мудрость еще рельефнѣе выступила — это они тоже любятъ. А всего больше любятъ раскаянье. Они будутъ на бобахъ разводить, а ты сиди и раскаивайся. Можешь даже слегка наклепать на себя — и это въ заслугу сочтется. Былъ, дескать, я разбойникомъ печати, неповинныя души погублялъ, а теперь съ тобой, наровчатскимъ мудрецомъ, посидѣлъ — и вотъ я весь тутъ. Никогда они этихъ ласковыхъ твоихъ словъ не забудутъ. Потому что, въ сущности, они добрые, псключая, разумѣется, тѣхъ минутъ, когда задыхаются отъ злобы. И вотъ, когда ты подмѣтишь, что онъ въ твою пользу размякъ, тогда ужъ не плонай. Слѣди за нимъ, гдѣ онъ нырнулъ, въ которую сторону побѣжала струя и гдѣ можно предположить, что онъ вынырнетъ. Но при этомъ имѣй въ виду



и слѣдующее: если онъ слишкомъ долго ныряетъ, то легко можетъ случиться, что теченіе вновь прибьетъ его къ наровчатскимъ трясинамъ, а тамъ онъ ужъ окончательнo поидетъ ко дну. Тогда, дѣлать нечего, лови другого прохожаго мудреца, къ другому примазывайся.

А что если мой недавній собесѣдникъ возьметъ да вынырнетъ? думалось мнѣ. Вѣдь онъ меня тогда съ кашей съѣстъ! Что я такое? много ли нужно, чтобъ превратить мое бытіе въ небытіе? Хотя, съ другой стороны, на какую потребу мнѣ бытіе? вотъ такъ бытіе! Такъ не лучше ли сразу погрузиться въ небытіе, нежели остаться при бытіи, съ тѣмъ, чтобъ смотрѣть въ окошко да улыбаться прохожимъ?

И вѣдь какую задачу мнѣ задалъ этотъ проѣзжій мудрецъ: скажи ему трезвенное слово — шутка! Онъ будетъ закусывать да усы въ очищенной мочить, — а я передъ нимъ на вытяжкѣ стой и трезвенныя слова говори... шутники!

Право, мнѣ до сихъ поръ совѣмъ искренно казалось, что я никогда никакихъ другихъ словъ, кромѣ трезвенныхъ, не говорилъ; а вотъ отыскался же мудрецъ, который въ глаза мнѣ говоритъ: нѣтъ, совѣмъ не того отъ тебя нужно. Но что-нибудь одно: или я былъ постоянно пьянъ, и въ такомъ случаѣ отъ пьянаго человѣка нечего и ждать трезвеннаго слова; или я былъ трезвъ, а тѣ, которые слушали меня, были пьяны. А можетъ быть они и теперь пьяны.

Ужасно мудрено имѣть дѣло съ пьяными цѣнителями. Говори ему, вразумляй, вызвай къ его совѣсти, пробуждай въ немъ самосознаніе, кричи ему: проснись, пьяница! — а его только тошнить въ отвѣтъ. А именно это-то и случается сплошь и рядомъ. Пьяный не возражаетъ и не опровергаетъ, а выражается афоризмами. Ни начала, ни конца у этихъ афоризмовъ услѣдить невозможно, а между тѣмъ онъ такъ самодовольно долбитъ ими, точно въ нихъ и только въ нихъ однихъ заключается патентъ на дальнѣйшее существованіе. „Нѣтъ, вы не патріотъ!“ — поди, разгрызи этотъ камень! Спроси его, что онъ разумѣетъ подъ словомъ „патріотъ“? — онъ, вмѣсто отвѣта, повторитъ: „нѣтъ, вы не патріотъ!“ Спроси, почему онъ именно въ данномъ случаѣ формулируетъ упрекъ въ недостаткѣ патріотизма? — онъ и опять повторитъ: „нѣтъ, вы не патріотъ!“ Да пожалуй еще глазкомъ подмигнуть, бездѣльникъ. Ужасно очутиться лицомъ къ лицу съ этой глухой стѣной. Сама по себѣ стѣна есть только стѣна; но сознаніе, что нельзя отъ нея отойти, дѣйствуетъ на человѣка необыкновенно мучительно. Весь дрожинь отъ боли, и все-таки стоишь.

Вотъ еслибъ онъ сказалъ: не нужно, молъ, никакихъ вашихъ словъ, ни пьяныхъ, ни трезвенныхъ — это, по крайней мѣрѣ, было бы складно. Да пожалуй оно къ тому и придетъ. Общество погрузилось съ нѣкоторыхъ поръ въ такую смуту, что и само не разберетъ, пьяно оно или трезво. Къ кому обращаться съ словомъ-то? — вотъ вѣдь къ какому мы вопросу пришли. Будь слово самое трезвенное — все-таки найдутся пьяницы, которые перетолкуютъ его въ пьяномъ смыслѣ; будь слово самое пьянственное — тѣ же пьяницы будутъ плескать руками. Велика должна быть сладкая привычка говорить, если даже такая дремучая смута не въ силахъ заставить человѣка добро-

вольно погрузиться въ тину молчанія! Но откуда взялась эта привычка? зачѣмъ?

Поймите же, пьяницы, сколько нечеловѣчески-горькаго заключается въ этихъ вопросахъ, и какъ долженъ быть измученъ человѣкъ, который предлагаетъ ихъ себѣ! Вѣдь слово-то даръ Божій — неужто же такъ-таки и затоптать его? Вѣдь оно задушить можетъ, если его не выговорить!.. Но разъ подобные вопросы возникли, никакого другого отвѣта на нихъ нельзя ожидать, кромѣ безповоротнаго осужденія. И небо, и земля, и движеніе, и жизнь — все исчезаетъ; впереди усматривается только скелетъ смерти, въ пустой черепъ которой наровчатскій проѣзжій, для страха, вставилъ горящую стеариновую свѣчку.

Я невольно вспомнилъ: не дальше, какъ въ іюлѣ, три мѣсяца тому назадъ, я ѣхалъ за границу, и спутниками моими были Удавъ и Дыба. Не скрою, не понравились мнѣ тогда эти люди. Городятъ какія-то двусмысленности, не то либеральничаютъ, не то „жамкнуть“ собираются. Наслушаешься ихъ — точно пустую бочку то вскатишь на гору, то опять съ горы спустишь. А теперь, съ какою благодарностью, можно сказать, даже съ любовью я помянулъ ихъ! Такъ бы, кажется, и не наслушался музыки ихъ рѣчей, кабы Богъ привелъ опять на распутіи встрѣтиться! Даже объ Твѣрдоонтѣ всплакнулъ — и у того нѣкоторыя словечки были...

Сравните ихъ съ этимъ непомнящимъ родства Маратомъ, котораго я только-что оставилъ, — и вы сразу почувствуете, какъ изъ области не особенно блестящей, но все-таки человѣческой, переноситесь въ область чистѣйшаго истуканства. Интеллигенцію — по боку, печать — по боку; съ чѣмъ же жить-то останетесь? Земство покуда еще пощадилъ — жалованье ему оттуда выдаютъ; но дай срокъ! когда онъ вынырнетъ, онъ и земству кѣноты задастъ. Онъ въ солнце кишку пожарной трубы направитъ, чтобъ свѣтило умѣрениѣ. И все-таки мнѣ не столько солнца жалко, сколько печати. Солнца-то, я знаю, не умирить, а печать... чикъ! и нѣтъ ея!

Удавъ и Дыба были довольно разнообразны въ выборѣ сюжетовъ для собесѣдованія и сверхъ того обладали кой-какою фантазіей. Напротивъ того, проѣзжій Маратъ однообразенъ до утомительности и бѣденъ фантазіей до нищенства. За душой у него всего одинъ мѣдный грошъ, и онъ даже не старается ввести насчетъ его въ заблужденіе. Онъ прямо и всенародно ставитъ его ребромъ, какъ бы говоря: вотъ вамъ грошъ, и знайте, что другого у меня нѣтъ.

Удавъ и Дыба охотно склонялись на сторону „подтягиванья“, но, отставая это міровоззрѣніе, они отчасти обставляли его теоретическими соображеніями, отчасти ссылались на обстоятельства и вообще какъ бы слегка стыдились. Грустно-моль, но дѣлать нечего. Проѣзжій Маратъ хотя тоже до краевъ преисполненъ „подтягиванья“, но уже у него нѣтъ ни обстановокъ, ни ссылокъ, ни стыда, такъ что „подтягиванье“ является совершенно самостоятельною бессмыслицей, не имѣющей ни причинъ, ни предмета.

Склоняясь на сторону „подтягиванья“, Удавъ и Дыба, тѣмъ не менѣе, не отрицали, что можно отъ времени до времени и „поотпустить“. Проѣзжій Маратъ не только ничего подобнаго не допускаетъ, но просто не по-



нимаетъ, о чемъ тутъ рѣчь. Да онъ и вообще ни о чемъ понятія, не имѣетъ: ни о предѣлахъ власти, ни о предметѣ ея, ни о сложности механизма, приводящаго ее въ дѣйствіе. Онъ бьетъ въ одну точку, преслѣдуетъ одну цѣль и знать не хочетъ, что это однопредметное преслѣдованіе можетъ произвести общую чухлость и омертвѣніе.

Все въ мірѣ выясняется только при посредствѣ сравнительнаго метода. Часто мы бываемъ несправедливы къ людямъ потому только, что полагаемъ, что хуже ихъ не можетъ ужъ быть. А на повѣрку оказывается, что природа въ этомъ смыслѣ неистощима. Съ какимъ бы удовольствіемъ я побесѣдовалъ теперь съ Удавомъ! съ какимъ наслажденіемъ выслушалъ бы безконечные рассказы Дыбы о мудрости князя Михаила Семеныча и прозорливости графа Алексѣя Андрейча! По крайней мѣрѣ въ этихъ собесѣдованіяхъ я могъ бы уловить образъ, слово... Конечно, возражать было и тогда неудобно; но неужто-жъ непременно надобно возражать?

А теперь, вотъ, гляди на картонное лицо непомнящаго родства прохожаго и слушай его азбучное гудѣніе! И не моргни.

Наконецъ мы въ Вержболовѣ. Все, о чемъ, въ теченіе празднаго скитанія по заграничнымъ палестинамъ, томилось и тосковало сердце,—все теперь тутъ, на-лицо. Осмотръ вещамъ совершился; „отмѣтка о возвращеніи“ оторвана. Тихо, смирно, благородно. Кто-то въ толпѣ крикнулъ: „теперь, братъ, ау!“ Крикнулъ и собственного голоса не узналъ. Въ станціонномъ ресторанѣ подаютъ сосиски съ капустой и предупреждаютъ: „это у нѣмцевъ, въ Эйдткуненѣ, съ трихинами, а у насъ и заведенія этого нѣтъ“. Всѣ крестятся, всѣ довольны: слава Богу! пріѣхали! Какой-то земець — но не мой (я нарочно три дня въ Берлинѣ прожилъ, чтобы „мой“ схлынулъ) — надѣваетъ на шею аннинскій крестъ. Барыни спрашиваютъ другъ у друга: „ну чтѣ? провезли?“ — и отъ радостнаго волненія тыкаютъ вилкой и не могутъ попасть въ тарелку.

При входѣ въ спальный вагонъ меня принялъ молодой малый въ ловко сшитомъ казакинѣ и въ барашковой шапкѣ съ бляхой на лбу, на которой было вырѣзано: *Артемичикъ*. Въ суматохѣ я не успѣлъ взглянуть въ его лицо, однакожъ оно съ перваго же взгляда показалось мнѣ ужасно знакомымъ. Наконецъ, когда все понемногу уюмонилось, всматриваюсь вновь, и кого же узнаю: — того самаго „мальчика безъ штановъ“, котораго я, четыре мѣсяца тому назадъ, видѣлъ во снѣ, ѣдучи въ Берлинъ!

— Слушайте-ка, — сказалъ я, улучивъ минуточку, когда онъ проходилъ мимо меня: — помните, между Бромбергомъ и Берлиномъ, въ какой-то нѣмецкой деревнѣ, я васъ безъ штановъ видѣлъ?

Однако онъ прошелъ, сдѣлавъ видъ, что не разслышалъ моего вопроса. Мнѣ даже показалось, что какая-то тѣнь пробѣжала по его лицу. Минуточку передъ тѣмъ онъ мелькалъ по корридору, и на лицѣ его, казалось, было написано: ужъ ежели ты мнѣ на водку не дашь, такъ ужъ послѣ этого я и не знаю... Теперь же, благодаря моему напомниманію, онъ вдругъ словно остепенился.

Разумѣется, я не настаивалъ; но явленіе это не могло однакожъ не заинтересовать меня. Чтѣ собственно не понравилось ему въ моемъ напоминаніи? То ли, что я когда-то зналъ его въ угнетенномъ видѣ, котораго онъ теперь, одѣвшись въ штаны, стыдится, или то, что я былъ однажды свидѣтелемъ, какъ онъ хвастался передъ „мальчикомъ въ штанахъ“, что онъ хоть и безъ штановъ, да за то Разуваеву души не продалъ—„а ты, нѣмецъ, контрактомъ господину Гехту обязался, душу ему заложилъ“... И вотъ теперь, послѣ такого рѣшительнаго бахвальства, я же встрѣчаю его не только въ штанахъ, но и въ суконной поддѣвкѣ, въ барашковой шапкѣ, форма и качество которыхъ несомнѣнно свидѣлствуютъ о прикосновенности къ этой метаморфозѣ господина Разуваева.

Подобныя неясности въ жизни встрѣчаются довольно нерѣдко. Я лично знаю довольно много тайныхъ совѣтниковъ (въ Петербургѣ они меня игнорируютъ, но за границей по временамъ еще узнаютъ), которые въ свое время были губернскими секретарями, и въ этомъ чинѣ не отрицали, что подлинный источникъ свѣта—солнце, а не стеариновая свѣчка. И представьте себѣ, ужасно они не любятъ, когда имъ про это губернское секретарство напоминаютъ. И тоже трудно разобрать, почему.

Въ надеждѣ уяснить себѣ этотъ вопросъ, я нѣсколько разъ, даже по пустякамъ, зазывалъ „мальчика безъ штановъ“ въ свой купѣ, но какіе вопросы я ни предлагалъ, онъ на всѣ отвѣчалъ однословно и угрюмо. Наконецъ я рѣшился дать ему двугривенный. Принялъ.

— Это на первый разъ,—поощрительно присовокупилъ я, не вступая впрочемъ въ дальнѣйшій допросъ.

Поклонился, но промолчалъ.

Миновали Ковно. Пришла ночь, а съ нею пора дѣлать постели. Я и еще двугривенный далъ. Опять принялъ и даже какъ будто повеселѣлъ.

— Отъ Разуваева штаны получили?—спросилъ я какъ бы мимоходомъ.

— Отъ него.

— А помните ли вы...

Притворился, что какіе-то пассажиры его требуютъ, и ушелъ, не давши мнѣ договорить.

Ночь я провелъ совершенно покойно и видѣлъ веселые сны. Я будто бы пишу, а меня будто бы хвалятъ, находятъ, что я трезвенныя слова говорю. Вообще я давно замѣтилъ: воротись домой, ляжешь въ постельку, и начнетъ тебя укачивать и напѣвать: „спи, ангелъ мой! спи, Богъ съ тобой!“

Утромъ проснулся, еще семи часовъ не было. Выхожу въ корридоръ—„мальчикъ“ сидитъ и папирску курить. Вынимаю третій двугривенный.

— По контракту?—спрашиваю.

— Не иначе, что такъ.

— Крѣпче?

— Для господина Разуваева крѣпче, а для насъ и по контракту все одно, что безъ контракта.

— Значитъ, даже надежнѣе, нежели у „мальчика въ штанахъ“?

— Пожалуй, что такъ.

— А какъ же теперь насчетъ Разуваева? помните, хвастались?



Заторопился, сталъ къ чему-то прислушиваться, сдѣлалъ видъ, что нѣчто услышалъ, и скрылся.

Вплоть до самой Луги я не могъ его уловить. Нѣсколько разъ онъ пробѣгалъ мимо, хотя я держалъ на-готовѣ четвертый двугривенный, — и даже съ такимъ расчетомъ держалъ, чтобъ онъ непременно замѣтилъ его, — но онъ, очевидно, рѣшился преодолѣть себя и на встрѣчу ласкъ моей не пошелъ.

Разумѣется, это меня возмутило. Вотъ, думалось мнѣ, какъ Разуваевъ „обязалъ“ тебя контрактомъ, такъ ты и заочно ему служишь все равно, какъ бы онъ всеминутно у тебя передъ глазами стоялъ, а я тебѣ ужъ три двугривенныхъ сряду безъ контракта отдалъ, и ты хоть бы ухомъ повелъ! Нѣтъ, надобно это дѣло такъ устроить, чтобъ на каждый двугривенный — контрактъ. Коротенькій, но точный, и душа чтобъ тутъ же значилась. И непременно въ Разуваевскомъ вкусѣ. Чтобъ для тебя, „мальчика безъ штановъ“, это былъ контрактъ, а для меня чтобъ все одно, что есть контрактъ, что его нѣтъ.

Наконецъ, въ Лугѣ, всѣ пассажиры разошлись обѣдать, и я поймалъ-таки его.

— Вотъ вамъ рубль! — говорю.

Принялъ.

— Слышалъ я за границей, что покуда я ѣздилъ, а на васъ мода пошла? — продолжалъ я.

Усмѣхнулся и хотѣлъ-было увильнуть; но потомъ вспомнилъ, что я за свой рубль имѣлъ хоть на отвѣтъ-то право — и посоветился.

— На насъ, сударь, завсегда мода. Потому господину Разуваеву безъ насъ невозможно.

Проговоривъ это, онъ скорымъ шагомъ удалился къ выходу и черезъ минуту ужъ сновалъ назадъ и впередъ по платформѣ, отрывая зубами куски булки, которая замѣняла ему обѣдъ.

Черезъ два часа мы были дома.



# ПИСЬМА КЪ ТЕТЕНЬКѢ





## Письмо первое.

Милая тетенька!

Помните ли вы, какъ мы съ вами волновались? Это было такъ недавно. То расцвѣтали надеждами, то увядали; то поднимали голову, какъ бы къ чему-то прислушиваясь, то опускали ее долгу, точно все, что нужно, услышали: то устремлялись впередъ, то жались къ сторонѣ... И бредили, бредили, бредили — безъ конца!

Весело тогда было. Даже увядать казалось не обидно, потому что была увѣренность, что вотъ-вотъ опять сейчасъ расцвѣтешь... Въ самомъ ли дѣлѣ расцвѣтешь, или это такъ только видимость одна — и это ничего. Все равно: волнуешься, суетишься, спрашиваешь знакомыхъ: „слышали? а? вотъ такъ сюрпризъ!“

То-есть, по правдѣ-то говоря, изъ насъ двоихъ волновались и „бредили“ вы однѣ, милая тетенька. Я же собственно говорилъ: „зачѣмъ вы, тетенька, къ болгарамъ ѣдете? зачѣмъ вы хотите присутствовать на процессѣ Засуличъ? зачѣмъ вы концерты въ пользу курсистокъ устраиваете? Сядемте-ка лучше рядкомъ, сядемъ да посидимъ“... Ахъ, какъ вы на меня тогда разсердились!

— Сидите вы! — сказали вы мнѣ: — а я пойду туда, куда влекутъ меня убѣжденія! Mais savez-vous, mon cher, que vous allez devenir rouilleux avec vos „сядемъ да посидимъ“...

Именно такъ по-французски и сказали: „rouilleux“, потому что вѣдь нельзя же по-русски сказать: „обовшивѣте“!

Повторяю: я лично не волновался. Однакожъ не скрою, что къ вашимъ волненіямъ я относился до крайности симпатично, и не разъ съ гордостью говорилъ себѣ: „вотъ она, тетенька-то у меня какова! Къ болгарамъ въ пользу Батенбергскаго принца агитировать ѣздить! Милану прямо въ лицо говорить: дерзай, княже! „Идѣ дому въ муй?“ съ аккомпаниментомъ гитары поетъ — какой еще родственницы нужно!“ Говорилъ да говорилъ, и никакъ не предвидѣлъ, что на нынѣшнемъ консервативно-околоточномъ языкѣ мои симпатіи будутъ называться укрывательствомъ и попустительствомъ...

Но теперь, когда попустительства начинаютъ выходить изъ меня сокомъ,



я мало-по-малу прихожу къ сознанию, что былъ глубоко и непростительно неправъ. Знаете ли вы, чтѣ такое „сокъ“, милая тетенька? „Сокъ“ — это то самое вещество, которое, будучи своевременно выпущено изъ человѣка, въ одну минуту уничтожаетъ въ немъ всякіе „бреды“ и возвращаетъ его къ пониманию дѣйствительности. Именно такъ было со мной. Покуда я кѣмъ съ сокомъ былъ — я ничего не понималъ; теперь же, будучи лишень сока — все понялъ. Правда, я лично не агитировалъ въ пользу Батенбергскаго принца, но все-таки сидѣлъ и приговаривалъ: „ай да тетенька!“ Лично я не плескалъ руками ни оправдательнымъ, ни обвинительнымъ приговорамъ присяжныхъ, но все-таки говорилъ: „слышали? тетенька-то какъ отличилась?“ А главное: я „подпѣвалъ“ (не „бредилъ“, въ истинномъ значеніи этого слова, а именно „подпѣвалъ“) — этого ужъ я никакъ скрыть не могу! Такъ вотъ какъ соберешь все это въ одинъ фокусъ, да прикинешь, чтѣ за сіе, по усмотрѣнію управы благочинія, полагается — даже волосъ дыбомъ встанетъ!

Позвольте однакожь, голубушка! Могъ ли я не попустительствовать и не „подпѣвать“, если вы, при каждомъ случаѣ, когда я хотѣлъ трезвенное слово сказать, перебивали меня: „rouilleux!“ Помнится, какъ-то разъ я воскликнулъ: „ничего намъ не нужно, кромѣ утирающаго слезы жандарма!“ — а вы потрепали меня по щечкѣ и сказали: „дурашка!“ Какъ я тогда обидѣлся! какъ горячо началъ доказывать, что меня совѣмъ не такъ поняли! И вдругъ, самъ не помню какъ, такую высокую ноту взялъ, что даже вы всполошились и начали меня успокаивать! А кто меня до этой высокой ноты довелъ?

Спрашиваю я васъ: приметъ ли все это въ соображеніе управа благочинія, хоть въ качествѣ смягчающаго вину обстоятельства?

Но, кромѣ того, и еще — хоть вы мнѣ и тетенька, но лѣтъ на десятокъ моложе меня (мнѣ 56 лѣтъ) и обладаете такими грасами, которыя могутъ встревожить какого угодно rouilleux. Когда вы входите, вся въ кружевахъ и въ прошивочкахъ, въ гостиную, когда сквозь эти кружева и прошивочки вдругъ блеснетъ въ глаза волна... Ахъ, тетенька! хоть я, при моихъ преклонныхъ лѣтахъ, болѣе теоретикъ, нежели практикъ въ такого рода дѣлахъ, но мнѣ кажется, что еслибъ вы чуточку распространили вырѣзку въ вашемъ лифѣ, то, клянусь, самый заматерѣлый rouilleux — и тотъ не только бы на процессъ Засуличъ, но прямо въ огонь за вами пошелъ!

Ужели же и этого не приметъ въ соображеніе управа благочинія?

Голубушка! не вините меня! не говорите, что я предаю васъ, сваливаю на васъ мою вину! Во-первыхъ, чѣмъ же я виноватъ, коли инстинктъ мнѣ подсказываетъ: расскажи да расскажи! А во-вторыхъ, предавая васъ, я, право, лично для себя ничего не достигаю. Нынче такъ все упрощено, что ужъ нѣтъ ни зачинщиковъ, ни попустителей, ни укрывателей — одни виноватые. Стало быть, всѣ мои ссылки на васъ и на кого бы то ни было напрасны и служатъ только къ безкорыстному разъясненію дѣла, а не къ личному моему обѣленію. И чтѣ всего любопытнѣе: я очень хорошо это понимаю, и все-таки отъ предательства воздержаться не могу: такъ и нудитъ инстинктъ, такъ и подманиваетъ на встрѣчу. Это ужъ вѣянье такое, и всѣ мы, которые когда-либо были одержимы „брдами“ или „подпѣваніями“ — всѣ мы обязуемся принимать его въ расчетъ.

Одно меня утѣшаетъ: вѣдь и вы, мой другъ, не лишены своего рода ссылокъ и оправдательныхъ документовъ, которые можете предъявить едва-ли даже не съ большимъ успѣхомъ, нежели я — свои. Въ самомъ дѣлѣ, виноваты ли вы, что ваша *manière de causer* такъ увлекательна? виноваты ли вы, что до сорока-пяти лѣтъ сохранили атуры и контуры, отъ которыхъ мгновенно шалѣють *les messieurs*?

Знаете ли, впрочемъ, чтò? Иногда мнѣ кажется, что управа, разсмотрѣвъ нашъ прежній образъ мыслей и принявъ во вниманіе нашъ образъ мыслей нынѣшній (какой, съ Божьею помощью, поворотъ!), просто-на-просто возьметъ да и едасть наше дѣло въ архивъ. Или, много-много, виушеніе едѣлаетъ: смотрите, дескать, чтобы на будущее время „бредней“ — ни-ни!

— Помилюйте, вашество! кто же нынче о бредняхъ думаетъ? Бредни... фуй!

Это впрочемъ скажете, тетенька, вы, а не я. А я ужъ потомъ за вами въ огонь и въ воду...

И поѣдете вы, вся въ кружевахъ и прошивочкахъ, вашу волну по городу съ визитами развозить. „Бредни“!.. но вѣдь это смѣхъ, право! Бредни... но развѣ можно безъ омерзѣнія объ этомъ говорить! Вотъ сколько предательства нынче, милая тетенька, развелось!

Но скорѣе всего, даже „разсмотрѣнія“ никакого мы съ вами не дождемся. Забыли объ насъ, мой другъ, просто забыли — и все тутъ. А ежели не забыли, то, не истребовавъ объясненія, простили. Или же (тоже не истребовавъ объясненія) записали въ книгу живота и при семъ имѣють въ виду... Вотъ въ сколькихъ смыслахъ можетъ быть обезпечено наше будущее существованіе. Не скрою отъ васъ, что изъ нихъ самый невыгодный смыслъ — третій. Но вѣдь какъ хотите, а мы его заслужили.

Тѣмъ не менѣе я убѣжденъ, что ежели мы будемъ сидѣть смирно, то никакіе смыслы насъ не коснутся. Сидемъ по уголкамъ, закроемъ лица платками — авось не узнають. У тѣхъ, скажутъ, человѣческія лица были, а это какіе-то истуканы сидятъ... Вотъ было бы хорошо, кабы не узнали! Обманули... ха-ха!

Но какъ это, тетенька, подло!

Не бойтесь же, милая. Вотъ вы теперь въ деревню уѣхали: авось-молъ тамъ меня не достанутъ! Ну, и прекрасно. Поживите тамъ, подышите воздухомъ полей, посмотрите, какъ доятъ коровъ и стригутъ барашковъ, поговорите съ вашимъ урядникомъ, полюбуйте на житье-бытье мужичковъ... и вдругъ васъ осѣнитъ мысль: „Какая я, однакожь, глупенькая была! бреднями занималась! Правду Nicolas (это я) говорилъ: съ насъ совершенно достаточно утирающаго слезы жандарма!“ И когда вы это выговорите и не поперхнетесь, тогда смѣло велите закладывать лошадей и катите опять въ Петербургъ. Ручаюсь, что кромѣ похвалы ничего не услышите.

А въ Петербургѣ вы найдете — меня. Сижу я здѣсь, какъ дятель на сосновомъ суку, и съ утра до вечера все долблю: не нужно бредней! не нужно! бредней! бредней! бредней! Пріѣзжайте и будемъ вмѣстѣ долбить — по-ваднѣ!

Ужасно, какое множество нынче этихъ дятловъ развелось. Шляются,



слуюною брызжутъ, очами грозятъ, долбятъ да другъ на друга посматриваютъ: кто кого передолбитъ?

Впрочемъ вся заслуга отрезвленія (ибо я увѣренъ, что этотъ процессъ уже совершился въ васъ) на вашей, душенька, сторонѣ. Я же какъ прежде былъ хорошъ, такъ и теперь хорошъ.

Всегда я думалъ, что вся бѣда наша въ томъ, что мы черезчуръ много шума дѣлаемъ. Чуть чтò — сейчасъ шапками закидать воровимъ, а не то такъ и кукишъ въ карманъ покажемъ. Ну, разумѣется, слушаютъ-слушаютъ насъ да и прихлопнуть. Умѣй ждать, а не умѣешь — нѣтъ тебѣ ничего! Такъ что еслибъ мы умѣли ждать, то, мнѣ кажется, давно бы ужъ дождались.

И въ счастіи, и въ несчастіи, мы всегда предворяемъ событія. Да и воображеніе у насъ какое-то испорченное: всегда провидитъ бѣду, а не благополучіе. Еще и не пахло крестьянской волей, а мы ужъ кричали: эмансипація! Еще всѣ по горло сыты были, а мы ужъ на всѣхъ перекресткахъ голодали: голодъ! голодъ! Ну, и докричались. И эмансипація, и голодъ дѣйствительно пришли. Чтò-жъ, легче, что-ли, отъ этого вамъ, милая тетенька, стало?

Не я одинъ, но и графъ Твѣрдоонтò это замѣтилъ. „Когда я былъ у кормила, — говорилъ онъ мнѣ: — то покуда не издавалъ циркуляровъ объ голодѣ — всѣ по горло были сыты; но однажды нелегкая дернула меня сдѣлать зависящее по сему предмету распоряженіе — изо всѣхъ угловъ такъ и полѣзло! У самаго послѣдняго мужика въ брюхѣ пусто стало!“

Еще бы! Мужикъ только повадку дай! Онъ лопнуть хочетъ отъ сытости, а все кричитъ: жрать!

Сколько мы, литераторы, волновались: нужно-де ясные насчетъ книгопечатанія законы издать! Только я одинъ говорилъ: и безъ нихъ хорошо! По моему и вышло: коли хорошо, такъ и безъ законовъ хорошо! А вотъ теперь посидимъ да помолчимъ — смотришь, и законы будутъ. Да такіе ясные, что небо съ овчинку покажется. Ахъ, господа, господа! представляю себѣ, какъ вамъ будетъ лестно, когда васъ „по правилу“ начнутъ въ три кнута жарить!

Вотъ еслибы мы были простые тати — слова нѣтъ, я бы и самъ скорого суда запросилъ. Но вѣдь мы, тетенька, „разбойники печати“... Ахъ, голубушка! произношу я эту несносную кличку и всякій разъ думаю: сколько нужно было накопить въ душѣ гною, какимъ нужно было сознать себя недоемъ, чтобы такимъ прозвищемъ стошнило!

Поэтому-то вотъ я и говорилъ всегда: человѣческое благополучіе въ тишинѣ созидаться должно. Если ужъ не миновать намъ благополучія, такъ оно и само насъ найдетъ. Вотъ какъ теперь: нигдѣ не шелохнется; тихо, скромно, благородно. А оно между тѣмъ созидается да созидается.

Не въ словахъ дѣло, а въ дѣлѣ — и это я тоже говорилъ. Можно ли дѣло дѣлать, когда кругомъ гвалтъ и шумъ! — нельзя! Ну, стало быть, молчи и не мѣшай!

Словесный хлѣбъ можетъ представлять потребность только для досу-

жихъ людей; трудящіеся же да вкушаютъ хлѣбъ съ лебедой! Вотъ общее правило, милая тетенька. Давно мы съ вами бредимъ, а много ли набредили? Такъ лучше посидимъ да поглядимъ—„оно“ вдругъ на насъ само собою нахлынетъ!

Еслибъ при московскихъ князьяхъ да столько разговору было—никогда бы имъ не собрать русской земли. Еслибъ при Іоаннѣ Грозномъ вы, тетенька, во всеуслышаніе настаивали: „непремѣнно намъ нужно Сибирь добыть“—никогда бы Ермакъ Тимофеевичъ намъ ея изъ полы въ полу не передалъ. Еслибъ мы не держали языкъ за зубами—никогда бы до воротъ Мерва не дошли... Все русское благополучіе съ незапамятныхъ временъ въ тиши уединенія совершалось. Оттого оно и прочно.

Вонъ Франція намедни съ какой-то дрянной Тунисшкѣ захватила, а сколько изъ этого разговоровъ вышло! А отчего? Оттого, голубушка, что не успѣли еще люди порядкомъ намѣтиться, какъ кругомъ ужъ галдѣнье пошло. Одни говорятъ: „нужно взять!“ другие—„не нужно брать!“ А кабы они чередомъ намѣтились да потихоньку дѣльце обдѣляли: вотъ, молъ, вамъ въ день ангела... съ нами Богъ!—у кого же бы повернулся языкъ супротивное слово сказать!?

Человѣку данъ одинъ языкъ, чтобъ говорить, и два уха, чтобы слышать: по почему ему данъ одинъ носъ, а не два—этого я ужъ не могу доложить. Ахъ, тетенька, тетенька! Говорили вы, говорили, бредили-бредили—и чтѣ вышло? Уѣхали теперь въ деревню и стараетесь передъ урядникомъ образомъ мыслей шегольнуть. Да хорошо еще, что хоть теперь-то за умъ взялись; а чтѣ было бы, еслибы...

А я, напротивъ, сижу на сосновомъ суку да все старую пѣсню долблю. Старую да хорошую. И можетъ быть, за мою простоту, до чего-нибудь и додолблюсь. Да, кажется, ужъ и начинаю додалбливаться. Хорошо у насъ нынче, тихо! Давно такъ не бывало. Встрѣчаются люди на Невскомъ: „чтѣ новаго?“—Да ничего не слышать.—„Ну, и славу Богу“. Или въ клубѣ: „чтѣ въ газетахъ пишутъ?“—Ничего не пишутъ.—„Ну, и слава Богу“... Вотъ увидите, милая тетенька, что изъ этого непремѣнно выйдетъ благополучіе. И не я одинъ, всѣ надѣются. На дняхъ встрѣчаю князя Букиазба: „мы, говорить, не болтовней занимаемся, а дѣло дѣлаемъ“.

Богъ въ помощь!

И точно: давно ли, кажется, мы за умъ взялись, а какая перемѣна во всемъ видится! Прежде, бывало, и дома-то сидя, къ чему ни приступишься, все словно оторопь тебя беретъ. Все думалось: чтѣ-то тетенька скажетъ? А нынче чтѣ хочу, тѣ и дѣлаю; хочу—стою, хочу—сижу, хочу хожу. А дома сидѣть надоѣстъ—на улицу выйду. И взять съ меня нечего, потому что я весь тутъ!

Пришелъ я на дняхъ въ Лѣтній садъ обѣдать. Потребовалъ карточку, вижу: судакъ „авабля“ \*); спрашиваю:—Да можно ли?—„Нынче все, сударь, можно!“—Ну, давай судакъ „авабля“!—Оказалась мерзость. Но вѣдь не это. тетенька, дорого, а то, что вотъ мерзость, а всякому ѣсть ее вольно!

\*) Испорченное отъ „au vin blanc“. Приведено текстуально.



А какія тамъ, тетенька, салфетки у прислужниковъ подъ мышками торчать! Совершенныя мокрыя дѣтскія пеленки! Не ходите туда, голубушка!

Итакъ, повторяю: тихо вездѣ, скромно, но притомъ — свободно. Вотъ нынче какое правило! Встанешь утромъ, просмотришь газеты — благородно. „Изъ Белебея пишутъ“, „изъ Конотопа пишутъ“... Не горитъ Конотопъ да и шабашъ! А прежде помните, когда мы съ вами, тетенька, „бредили“ — сколько разъ онъ отъ этихъ нашихъ бредней изъ конца въ конецъ выгоралъ! Даже „Правительственный Вѣстникъ“ — и тотъ въ этомъ отличѣйшемъ газетномъ хорѣ какимъ-то горькимъ диссонансомъ звучить. Все что-то о хлѣбахъ публикуеть: не поймешь, произрастаютъ или не произрастаютъ.

Я думаю впрочемъ, тетенька, что въ концѣ концовъ, произрастутъ. Потому что ужъ если теперь намъ Богъ, за нашу тихость, не подастъ, такъ ужъ послѣ того я и не знаю...

„Бредни“ теперь всѣ походя ругаютъ, да вѣдь, по правдѣ-то сказать, и похвалить ихъ нельзя. Даже и вы, я полагаю, какъ съ урядникомъ разговариваете... ахъ, тетенька! Кабы не было у васъ въ ту минуту этихъ прошивочекъ, давно бы я васъ на путь истинный обратилъ. А я вотъ заглядывался, глазами косилъ, да и довелъ дѣло до того, что пришлось вамъ въ деревнѣ спасаться! Бросьте, голубушка! Подумайте: разъ Богъ спасетъ, въ другой — спасетъ, а въ третій пожалуй и не помилуетъ.

Но чтѣ всего пріятнѣе: самую видную роль въ этой поголовной руготнѣ играютъ „новообращенные“. Старые „управцы“ — тѣ усѣкновляютъ спокойно, безъ разговоровъ, точно пироги съ капустой ѣдятъ; новые — доказываютъ, полемизируютъ и предварительно кусаютъ. Иной новобранецъ до того осмѣлился, что такъ-таки прямо въ глаза начальству отчеканиваетъ: распни! И не боится. И гребень у него покраснѣетъ, и хвостъ вѣеромъ распустится — тетеревъ на току да и полно! Но я-то вѣдь, тетенька, не забылъ. Такимъ же точно страстнымъ тетеревомъ онъ былъ и тогда, когда — помните? — онъ же захлебывался въ восторгѣ отъ „бредней“!

Во всякомъ случаѣ, голубушка, если вы вздумаете навѣдаться въ Петербургъ, то пожалуйста держите ухо востро. Представьте себѣ, что вамъ всегда сопутствуетъ вашъ добрый урядникъ — такъ и ведите себя. Потому что неравно вдругъ какой-нибудь доброволецъ закричитъ: караулъ!

И всѣ-то нынче чего-то ищутъ; даже такіе люди ищутъ, которымъ давнымъ-давно во всѣхъ инстанціяхъ отказано. И только на одномъ свои права и основываютъ: „пора эти бредни бросить!“ Но чтѣ же они, милая тетенька, вмѣсто бредней предлагаютъ? А предлагаютъ они, голубушка, благополучіе Россіи — только и всего.

Только они думаютъ, что безъ нихъ это благополучіе совершиться не можетъ. Когда мы съ вами, во время дню, бреднями развлекались, намъ какъ-то никогда на умъ не приходило, съ нами онѣ осуществляются, или безъ насъ. Намъ казалось, что, коснувшись всѣхъ, онѣ коснутся, конечно, и насъ, но того, чтобы при семъ утащить кусокъ пирога... сохрани Богъ! Но вѣдь тѣ были бредни, мой другъ, которыя какъ пришли, такъ и ушли. А нынче — дѣло. Для дѣла люди нужны, а люди — вотъ они!

Ужасно замученный видъ имѣютъ эти люди, покуда ищутъ и разнѣхи-

вають. Худые, блѣдныя, испитые, съ пересохшимъ горломъ, съ воспаленными глазами. И только одно твердятъ: „бредни!“ Встрѣчаться съ ними во время этой охоты ужасно опасно, и потому я, какъ завижу „искателя“, сейчасъ — шмыгъ въ ресторанъ. Хочу — растагай ѣмъ; хочу — бутербродъ ухвачу. Все нынче можно.

И всѣ эти „искатели“ другъ друга подсиживаютъ и ругательски другъ друга ругаютъ. Встрѣтилъ я на дняхъ Удава — онъ Дыбу ругаетъ; встрѣтилъ Дыбу — онъ Удава ругаетъ. И тотъ, и другой удостовѣряютъ: — Вотъ помяните мое слово, что ежели только онъ (имя рекъ) „достигнетъ“ — онъ вамъ покажетъ, гдѣ раки зимуютъ!

Вотъ вѣдь это какіе, тетенька, люди: знаютъ, гдѣ раки зимуютъ!

Но мнѣ-то, мнѣ-то зачѣмъ это знать? Конечно, оно любопытно, но иногда, право, выгоднѣе безъ любопытства вѣкъ прожить. Признаюсь, я даже не удержался и спросилъ Удава: „да неужто же нужно, чтобы я зналъ, гдѣ раки зимуютъ?“ А онъ въ отвѣтъ: „ужъ тамъ нужно или не нужно, а какъ будутъ показывать, такъ и вы въ числѣ прочихъ узнаете!“

Подумайте, милая! Сегодня Дыба покажетъ, гдѣ раки зимуютъ, завтра — куда Макаръ телятъ не гонялъ, послѣ-завтра — куда воронъ костей не заносилъ, а въ заключеніе объяснить, какъ Кузькину мать зовутъ! Вотъ сколько наукъ!

И добро бы мы этихъ наукъ не знали, а то вѣдь наизусть отъ первой страницы до послѣдней во всѣхъ подробностяхъ проштудировали — и все оказывается мало!

Но когда мы окончательно обогатимся знаніями, тогда курсъ наукъ нашихъ будетъ полонъ, и мы начнемъ показывать товаръ лицомъ. Изобрѣтемъ сначала порохъ, потомъ компасъ, потомъ книгопечатаніе, а между прочимъ пожалуй откроемъ и Америку.

И все-таки сдается: нѣтъ ужъ, пусть лучше ни Удавъ, ни Дыба не „достигнутъ“! Побѣгають, помятутся, да съ тѣмъ пусть и отъѣдутъ. Вотъ это было бы хорошо! Тетенька! голубушка! помолитесь, чтобы они не достигли!

Представляю я себѣ, какъ вы, бѣдненькая, проводите время въ деревнѣ.

Встанете утромъ, помолитесь и думаете: „а вѣдь и я когда-то бреднями занималась!“ Потомъ позавтракаете, и опять: „вѣдь и я когда-то“... Потомъ погуляете по парку, распорядитесь по хозяйству и всѣмъ домочадцамъ пожалуетесь: „вѣдь и я“... Потомъ обѣдъ, а съ нимъ и опять та же неотвязная дума. Послѣ обѣда бѣжите къ батюшкѣ, и вся въ слезахъ: „батюшка! отецъ Андронъ! вѣдь когда-то“... Наконецъ, на сонъ грядущій призываете урядника и уже прямо высказываетесь: „главное, голубчикъ, чтобы бредней у насъ не было!“

Но вѣдь и робѣть черезчуръ тоже не годится, мой другъ. Излишняя робость можетъ грудку высушить — и тогда навѣки пропалъ для васъ очень важный оправдательный документъ.

На вашемъ мѣстѣ я поступилъ бы такъ. Прежде всего, безусловно утаилъ бы отъ домашнихъ происходившія въ душѣ вашей тревоги. Домашніе



—народъ узко-себялюбивый и даже тривіальный; не качество идей ихъ увлекать, а удача. Ежели вы устроиваете комфортабельно ихъ жизнь при помощи „бредней“ — они будутъ говорить: „ай да тетенька!“ Если вы того же самаго результата достигаете при помощи „антибредней“ — они и тогда будутъ восклицать: „ай да тетенька!“ Ни въ тревогахъ, ни въ сомнѣніяхъ вашихъ они не примутъ участія, потому что на ихъ взглядъ все и всегда ясно. Расскажите имъ, что именно васъ мутитъ — они сейчасъ все до ниточки на бокахъ разведутъ. То-есть, собственно говоря, ничего не разведутъ, а будутъ одно и тоже долбить: „да вѣдь это, наконецъ, ясно!“ Ибо никто лучше ихъ не понимаетъ, что во всякомъ дѣлѣ на первомъ планѣ стоитъ благополучіе (съ лебедой въ резервѣ) и тишина (съ урчаніемъ въ резервѣ). И ежели вы за всѣмъ тѣмъ не перестанете упорствовать въ непониманіи сего, то даже малолѣтки будутъ къ вамъ приставать: „тетенька! да неужто-жъ вы этого не понимаете?“ И станутъ издѣваться надъ вами, такъ что, въ концѣ концовъ, окажется, что всѣ они — умники, а вы одна между ними — дура душой.

Но что всего хуже — насмѣяться-то они насмѣются, а помочь не помогутъ. Потому что хоть вы, милая тетенька, и восклицаете: „ахъ, вѣдь и я когда-то бредила!“ но все-таки понимаете, что, полжизни пробредивши, нельзя сбросить съ себя эту хмару такъ же легко, какъ смѣняютъ старое, заношенное бѣлье. А домочадцы ваши этого не понимаютъ. Отроду они не бредили — оттого и внутри у нихъ не скребетъ. А у васъ скребетъ.

Вотъ къ батюшкѣ прибѣгнуть въ горести — это я вамъ совѣтую. Батюшка справится въ Потребникѣ и все разсудитъ: не даромъ же имя ему Андронъ (отъ „Андроны ѣдутъ“). И въ заключеніе проститъ, потому что такова его обязанность. Но главная польза, отъ сего истекающая, будетъ заключаться въ томъ, что вы-то сами непременно утѣшенію получите. Въ раскаяніи есть нѣчто до того сладкое, что оно само себя довлѣетъ. Сидитъ человѣкъ, и тихія слезы текутъ по его щекамъ... Говорятъ, будто слезы служатъ выраженіемъ страданія, а подите-ка отыщите что-нибудь слаще этихъ слезъ! „Ахъ, не могу!.. ахъ, не буду!.. батюшка! поддержите!“ „Успокойтесь, сударыня!“

А ежели пѣникъ у васъ ловкій да въ семинаріи учился хорошо, такъ онъ пожалуй цѣлую предіку по этому случаю произнесетъ. „Что привело тебя ко мнѣ, чадо мое? — скажете: — и привело въ смущеніи, въ горѣ, въ слезахъ? Не смерть ли досточтимыхъ родителей? — такъ вѣдь, кажется, родителей давно у тебя нѣтъ! не болѣзнь ли любимыхъ дѣтей? — такъ вѣдь, кажется, они, слава Богу, здоровы! Что же привело тебя?! Ищу и не нахожу. Не пожаръ ли? не утрата ли имущества? не ослушаніе ли подчиненныхъ и присныхъ твоихъ?“ ... Вотъ тутъ-то вы и изложите ему все по порядку. Ручаюсь, что возвратитесь домой утѣшенною.

Можете переговорить и съ урядникомъ, но при этомъ совѣтую не терять самообладанія. Скажите просто: вотъ, молъ, какіе слухи ходятъ, такъ вы ужъ пожалуйста! Только и всего. Какъ будто вы тутъ въ сторонѣ: замѣтили и горюшка мало. Но, ради всего святаго, не влюбитесь въ урядника, ибо въ такомъ случаѣ ваши прелестныя прошивки пропахнутъ тютюномъ и овчинами. Этого, тетенька, и начальство не требуетъ, а что касается до парти-

кулирныхъ людей, то, право, они совершенно равнодушно отнесутся къ тому, какія высокія цѣли руководятъ вами въ этомъ случаѣ, а будутъ только примѣчать, что урядникъ новое купѣ купилъ да усы фабрить началъ. И прозовутъ они васъ „урядницей“, и такъ популяризируютъ эту кличку, что вамъ прохода по деревнѣ отъ нея не будетъ.

Случаевъ такого необдуманнаго увлеченія урядниками не мало встрѣчается въ исторіи. Я самъ лично одну дамочку зналъ, которая долгое время стригла себѣ волосы и ужасно гордо изгибала шею, когда ее звали „стрижкой“ и „нигилисткой“. И вдругъ влюбилась въ землемѣра (всѣ землемѣры, по природѣ, консерваторы), купила шиньонъ, и съ тѣхъ поръ только и словъ: „ахъ, эти скверныя стрижки!“ „ахъ, эти немытыя нигилистки!“ Но что-жь она этимъ выиграла? Только то и выиграла, что не только „стрижки“ и „нигилистки“, но и самыя землемѣрши стали ее „землемѣршею“ величать...

Стало бытъ, во всемъ должна быть мѣра, милая тетенька. Мѣра — въ пареніи чувствъ и мыслей и мѣра — въ предательствѣ. Такъ что ежели который человѣкъ всю жизнь „бредилъ“, а потомъ, по обстоятельствамъ, нашелъ болѣе выгоднымъ „антибредить“, то пускай онъ не прекращаетъ своего бреда сразу, а сначала пускай потише бредитъ, потомъ еще потише, и еще, и еще, и наконецъ — молчокъ! Тогда онъ ужъ безстрашно можетъ, на всей своей волѣ, антибредомъ заняться, и всѣ будутъ говорить: „изъ какого укромнаго мѣста этотъ безвѣстный рыбарь явился? что-то мы его какъ будто прежде не замѣчали!“ А между тѣмъ — онъ самый и есть!

Вообще же мой совѣтъ таковъ: какъ можно больше самообладанія. Отказывайтесь отъ бреда постепенно и не вводя въ соблазнъ. Не клеветите на себя, не обрызгивайте себя слюною, не проклиняйте вашего прошлаго! Ибо, по правдѣ говоря, какой же былъ и бредъ-то вашъ, милая тетенька! Порѣзвился, пошалили — только начальству удовольствіе доставили! Съ батюшкой, однакожъ, можете быть откровенны, а что касается до урядника, то объ одномъ прошу: ради Бога, берегите ваши прошивки! Помните, что по сиротству вашему эти прошивки суть единственное ваше сокровище. И вы должны сохранить его незашатаннымъ, дабы дѣти ваши съ гордостью могли воскликнуть: „вотъ онъ, маменькины прошивки! точно сейчасъ только со станка сняты!“

---

Тетенька! пріѣзжайте въ Петербургъ! не бойтесь, милая, не стыдитесь! Забудьте — и все будетъ хорошо.

Какъ только вы пріѣдете, я сейчасъ васъ на Острова повезу. Заѣдемъ къ Дороту; я себѣ спрошу ботвиньи, вы — мороженого... Вотъ вѣдь у насъ нынче какъ! Потомъ отправимся на pointe и будемъ смотрѣть, какъ солнце за будку садится. Потомъ домой — баньки. Это первый день.

На второй день, съ утра — крестины у дворника. Вы — кумъ, швейцаръ Ѳедоръ — кумъ. Я — принесъ двугривенный на зубокъ. Подаютъ пирогъ съ сиромъ — это у дворника-то! Подумайте, тетенька, какъ въ самое короткое время уровень народнаго благосостоянія поднялся! Съ крестинъ поднимаемся домой — рано! Да не хотите ли, тетенька, въ Павловскъ, въ Озерки, въ Рамбовъ?



сдѣлайте милость, не стѣсняйтесь! Явлюсь на музыку; захотимъ—сядемъ, не захотимъ — будемъ подъ-ручку гулять. А погулявши, воротимся домой — бѣиньки!

На третій день—въ участокъ... то-бишь, утро посвятимъ чтенію „Московскихъ Вѣдомостей“. Нехорошо проведемъ время, а дѣлать нечего. Нужно, голубушка, отъ времени до времени себя провѣрять. Потомъ — на Невскій—послушать, какъ надорванные людишки надорваннымъ голосомъ вопіюютъ: „прочь бредни, прочь!“ А мы пройдемъ мимо, какъ будто не понимаемъ, чье мясо кошка съѣла. А вечеромъ на свадьбу къ городовому—дочь за подчаска выдаетъ—вы будете посаженной матерью, я—шаферомъ. Выпьемъ по бокалу—и домой бѣиньки.

На четвертый день — дождикъ. Будемъ сидѣть дома. На обѣдъ: уха стерляжья, filets mignons, цыпленочекъ, спаржа и мороженое—вы, тетенька, корсета-то не надѣвайте. Хотите, я вамъ цѣлый ворохъ „La vie parisienne“ предоставлю? Ахъ, милая, какія тамъ картинки! Клянусь, еслибъ вы были мужчина—не разтаились бы съ ними. А къ вечеру опять разведрилось. Ma tante! да не поѣхать ли намъ въ „Русскій Семейный Садъ“?—Поѣхали.

На пятый день у тетеньки головка болитъ. Сидите вы, вся въ прошивочкахъ, и только плечики у васъ вздрагиваютъ. Ахъ, ma tante! какъ бы я хотѣлъ быть этою прошивочкой!.. вонъ той, которая сначала въ бокъ, а потомъ все прямо, прямо, прямо... Да улыбнитесь же, голубушка! И вдругъ... вы погрозили пальчикомъ... „Шалунъ!“ Да кто же, милая, шалунъ-то? Я ли, шестидесятилѣтній вертопрахъ, или пальчикъ... ахъ, этотъ пальчикъ! Но вы только вздыхаете въ отвѣтъ и вспоминаете... Помните, тетенька, какъ лейбъ-гвардіи кирасирскаго полка штабъ-ротмистръ Левъ Полугаровъ („къ сему заемному письму“ и т. д.) посадилъ васъ на ладѣнку, да такъ къ брачному алтарю и доставилъ? Вотъ вы когда еще „бредить“-то начали! Но оставимъ прошлое и обратимся къ дѣйствительности. Тетенька! какъ бы я хотѣлъ быть вашимъ чулочкомъ!.. „Mais vous finirez par prononcer le mot: caleçons... mauvais sujet!“ возмущаетесь вы... Однакожъ, хоть вы и возмущаетесь, но, въ сущности, вѣдь не сердитесь... Вѣдь не сердитесь, милая? За чтѣ же тутъ сердиться—вѣдь нынче все можно! Въ такихъ разговорахъ проходить дѣло до вечера, а тамъ—опять бѣиньки.

Шестой день. „Сегодня я хочу кутить!“ говорите вы, и мы отправляемся въ „Самаркандъ“. Но тамъ застаемъ драку. Выбѣгаетъ къ намъ самъ хозяинъ и говоритъ: „Это ничего! Это офицеры купца бьютъ! сейчасъ кончатъ!“ Заказываемъ обѣдъ, спрашиваемъ шампанскаго и смотримъ другъ на друга. Припоминаемъ, какіе бывають на свѣтѣ „разговоры“, и никакъ припомнить не можемъ. Наконецъ я говорю: „а можетъ быть въ эту самую минуту какая-нибудь комиссія безъ шума, безъ хвастовства, заботится объ насъ, благополучіе наше созидаетъ?“ — Finissez! — „Чтѣ? не нравится вамъ это напоминаніе, тетенька? все еще, видно „бредни“-то въ головкѣ ходятъ! Ну, нечего дѣлать, коли не нравится, ѣдемъ домой, и—бѣиньки“.

На седьмой день мы всѣ слова перезабыли. Сидимъ другъ противъ друга и вздыхаемъ. Сверхъ того, я лично чувствую, что у меня во всемъ тѣлѣ зудъ. Господи! да ужъ не кузька ли на меня напалъ?

Вотъ вамъ цѣлая недѣля. Ежели мало, можно и другую такую же по-добрать.

Это подробности, а вотъ и общія правила:

1) Никогда не спрашивать: можно ли? Это тривиально и запоздало. Нынѣче—все можно.

2) О „бредняхъ“ лучше всего позабыть, какъ будто ихъ совѣтъ не было. Даже въ „антибредни“ не очень азартно пускаться, потому что и онѣ пріѣдаться стали. Знаете ли, милая тетенька, мнѣ кажется, что скоро всѣхъ этихъ искателей и лаятелей будутъ въ участокъ брать, а тамъ имъ, вытрезвленія ради, поясницы будутъ дегтемъ мазать?

Пріѣзжайте, голубушка!

## Письмо второе.

Вотъ, тетенька, какая вы милая! Побывали въ Петербургѣ и сами убѣдились, какъ у насъ хорошо. Все именно такъ и произошло, какъ я въ прошломъ письмѣ проектировалъ. И сидѣли мы, и ходили, и стояли—какъ кто хотѣлъ. А изъ публичныхъ дѣйствій—побывали въ „Самаркандѣ“, катались по Островамъ, у дочери городского на свадьбѣ присутствовали и проч. И никто насъ за это не забранилъ. Какъ пріѣхали вы къ намъ, такъ и уѣхали—на собственномъ иждивеніи, безъ провожатаго. А отчего?—оттого, голубушка, что такое нынѣ общее правило: питать довѣріе даже относительно такихъ лицъ, которыя, судя по ихъ antecedentes, отнюдь довѣрія не заслуживаютъ.

Предполагается, что жизнь со всѣми „сыграетъ штуку“. Однихъ — „образумить“ окончательно, другихъ—ежели и не „образумить“, то заставить глотать „бредни“, притворяться, подплясывать, произносить вымученныя, исполненныя антибредней professions de foi. Именно сама жизнь это сдѣлаетъ, а совѣтъ не околоточные. Жизнь испуганная, перевернутая вверхъ дномъ, замученная, мечущаяся подъ гнетомъ паники. А мы съ вами будемъ сидѣть и радоваться. Ибо ничто такъ не веселитъ, какъ видъ человѣка, приведеннаго къ одному знаменателю. Все нутро у него колотится и стонетъ, а онъ пляшетъ... ха-ха! Никто его вещественной плеткой не понуждаетъ, а онъ самъ собою кричитъ: эй жги, говори!—ха-ха! Значитъ, понимаетъ, чье мясо кошка съѣла... ха-ха! Помилуйте! да одной этой забавы по горло достаточно, чтобъ распотѣшить не весьма требовательныхъ зрителей! А ежели къ этому, въ видѣ обстановки, прибавить толпы скалящихъ зубы ретрипандиковъ, а вдали, „у воды“, массы обезумѣвшихъ отъ мякиннаго хлѣба „компарсовъ“—просто со смѣха умереть можно! Особливо ежели въ домашнемъ обиходѣ пѣтъ ни наукъ, ни искусствъ, ни промышленности, ни денегъ, ни дѣла...

А второе нынѣшнее правило: не стѣснять дѣйствій, кои безспорно чело-вѣческому естеству свойственны. Какъ напримѣръ: пить чай съ филиппов-



скими калачами, ходить по улицѣ, даже не имѣя уважительныхъ для передвиженія причинъ, и т. п. А такъ какъ мы съ вами именно только такія дѣйствія и совершали, то никто насъ въ бараній рогъ и не согнулъ: пускай гуляютъ. Но ежели бы мы увлеклись и вздумали напомнить, что „*erga humanum est*“, то намъ объяснили бы, что это пословица, вышедшая изъ употребленія, и что не только ссылаться на нее, но и сомнѣній по ея поводу возбуждать не надлежитъ. Просто-на-просто надо позабыть. Это, тетенька, третье нынѣшнее правило, и оно такъ существенно, что я позволю себѣ остановиться на немъ нѣсколько подробнѣе.

Родоприсхожденіе этого третьяго общаго правила, какъ и всего вообще, чѣмъ красна наша жизнь, до крайности просто. „Надоѣло“ — это, во-первыхъ. Точно смотрѣть (а по другимъ: „взбѣсить можетъ“), какъ люди путаются — пусть лучше прямой дорогой въ Демидронъ \*) идутъ. Во-вторыхъ, и хлопотъ съ „*erga*“ много: однихъ новыхъ околоточныхъ сколько потребуется. А въ-третьихъ, по нынѣшнему времени, не „*erga*“ нужно, а „внушать довѣріе“. Только и всего. Вспомните древнихъ римлянъ: заблуждались они да заблуждались (они и пословицу-то эту выдумали), а что изъ того вышло? — сначала паденіе западной римской имперіи, а потомъ и восточной. А еслибъ они не заблуждались, но ѣздили въ „Самаркандъ“, то римская-то имперія и поднесь, пожалуй, процвѣтала бы; вандалы же, сарматы и скионы и сейчасъ гоняли бы Макаровыхъ телятъ и въ лѣсахъ Германіи, и на низовьяхъ Дуная и Днѣпра.

Все это такъ умно и основательно, что не согласиться съ этими доводами значило бы навлекать на себя справедливый гнѣвъ. Но не могу не сказать, что мнѣ, какъ человѣку, тронутому „бреднями“, все-таки по временамъ представляются кое-какія возраженія. И прежде всего слѣдующее: что же, однако, было бы хорошаго, еслибъ сарматы и скионы доднесь гоняли Макаровыхъ телятъ? Вѣдь пожалуй и мы съ вами паслись бы, въ такомъ случаѣ, гдѣ-нибудь на берегахъ Мьи? \*\*)

Похоже на то, что паслись бы. Какъ ни ненадежна пословица, упразднившая римскую имперію, но сдается, что еслибъ она не пользовалась такою популярностью, то многое изъ того, что нынѣ заставляетъ биться наши сердца гордостью и восторгомъ, развилось бы совсѣмъ въ другомъ направленіи, а можетъ быть и окончательно захирѣло бы въ зачаточномъ состояніи. Могло ли бы, напримѣръ, состояться призваніе варяговъ, еслибъ „*erga*“ своевременно не повредило восточную римскую имперію и черезъ то не заставило бы ея околоточныхъ смотрѣть на этотъ фактъ сквозь пальцы? А если бы не состоялось призваніе варяговъ, то не было бы удѣльнаго періода, не было бы боярина Кучки и основанія Москвы, не было бы основанія города Санктъ-Петербурга и учрежденія института урядниковъ. Вотъ что надѣлало „*erga humanum est*“. Имѣемъ ли же мы право такъ строго относиться къ нему?

Вообще ничто въ мірѣ не пропадаетъ даромъ, милая тетенька. Въ сущности, и восточная римская имперія не пропала, а только мѣста, насижен-

\*) Известное въ Петербургѣ увеселительное заведеніе, украшеніе котораго составляетъ дѣвица Филиппо.

\*\*) Старинное названіе рѣки Мойки.

ныя „порфирородными и „багрянородными“, заняли „мохамедовы сыны“. „Порфирородные“ — то ушли, а восточные римляне и при „мохамедовыхъ сынахъ“ остались при прежнихъ занятіяхъ, съ тѣмъ лишь измѣненіемъ, что уже не „багрянородные“, а мохамедовы сыны мужей обратили въ рабство, а женъ и дѣвъ (которыя лучше) разобрали по рукамъ. Но Богъ дастъ, и мохамедовы сыны уйдутъ, а на ихъ мѣстѣ явятся или Георгъ греческій, или Карлъ румынскій, или Миланъ сербскій, или наконецъ Баттенбергскій принцъ. А восточные римляне по прежнему останутся при своихъ занятіяхъ и по прежнему Баттенбергскій принцъ мужей обратитъ въ рабство, а женъ и дѣвъ уведетъ въ плѣнъ. И все это совершится при помощи „errare humanum est“.

Но, можетъ быть, вы скажете: урядники-то могли бы возникнуть и независимо отъ „errare humanum est“... Совершенно съ вами согласенъ. Какъ могли бы возникнуть? — да такъ, какъ-нибудь. Тутъ „тяпъ“, тамъ „ляпъ“ — смотришь, анъ и „карабъ“. Въ ляповую пору да въ тяповыхъ головахъ такія ли предпріятія зарождаются! А сколько мы ляповыхъ поръ пережили! сколько тяповыхъ головъ перевидали!

Но этого мало. Оставимъ въ сторонѣ событія мірового значенія и обратимся къ нашей обыкновенной, будничной дѣйствительности. И тутъ мы на каждомъ шагу убѣждаемся, какіе глубокіе слѣды повсюду оставило послѣ себя „errare humanum est“. Эти прелестныя ботинки, которыя такъ обаятельно держать въ плѣну вашу ножку — онѣ плодъ заблужденій, потому что „башмачникъ“ безчисленное множество столѣтій заблуждался, плетя лапти или выкраивая изъ сырыхъ кожъ безобразные пироги, покуда наконецъ дошелъ до того перла созданія, который представляетъ собой современная изящная ботинка. Эти прошивочки, сквозь которыя пробивается нѣчто плѣнительно-розовое — и онѣ плодъ заблужденій, потому что трудно даже представить себѣ, милая тетенька, что вышло бы, еслибы горькая необходимость заставила васъ украсить вашу грудку *первыми* кружевами, сплетенными *первой* кружевницей (говорятъ, будто въ Кадниковскомъ уѣздѣ плетутъ хорошія кружева — не вѣрьте этому, голубушка!). Эти отлично выпеченныя, мягкія какъ пухъ булки, которыя мы ѣдимъ — плодъ заблужденій, ибо *первый* хлѣбникъ непремѣнно началъ съ мѣсива, котораго въ наше время не станетъ ѣсть даже „торжествующая свинья“ (см. „За рубежомъ“, гл. VI). Даже малороссійское сало — ужъ на что гаже! — и то плодъ заблужденій, потому что противъ его есть сало, которымъ современные намъ кабатчики смазываютъ оси своихъ „купецкихъ“ телѣжекъ. А у насъ съ вами оси патентованныя (смазываемыя особеннымъ составомъ), потому что мы ѣдимъ въ изящныхъ каретахъ, первообразъ которыхъ однакожъ представляетъ собою... телѣга!

Когда все это, и міровое, и будничное, представляется уму во всѣхъ деталяхъ и развѣтвленіяхъ и когда, въ то же самое время, въ ушахъ звенятъ клики околотовной литературы, провозглашающей упраздненіе девиза, благодаря которому мы имѣемъ крупновскія пушки, ружья-шассенд и филипповскіе калачи — право, становится жутко. Такъ вотъ и кажется, что сейчасъ принесутъ корыто съ мѣсивомъ и скажутъ: лакай! Или заставятъ бѣжать въ лѣсъ и тамъ собственными зубами зайцевъ ловить. Изловимъ, перекусимъ



косому горло, въ крови перепачкаемся да такъ сырьемъ все нутро до самой мездры и выѣдимъ! И потеряемъ при этомъ и ощущеніе холода, и ощущеніе стыда; будемъ мчаться по горамъ и по доламъ безъ перчатокъ, съ нечищеными ногтями, съ обвислыми животами (вспомните: въ старину москвичи называли рязанцевъ „кособрюхими“ — стало быть такой примѣръ ужъ былъ), съ обросшими шерстью поясами, а быть можетъ и съ хвостами! Потому что все это: и ощущеніе холода, и ощущеніе стыда, и упругіе животы, и выхолонныя поясицы — все это послѣдствія „errare humanum est“.

Таковы соображенія, которыя возникаютъ во мнѣ при мысли о третьемъ нынѣшнемъ общемъ правилѣ. И не могу не сознаться, что при существованіи ихъ подчиненіе этому правилу становится дѣломъ очень тяжелымъ, почти несноснымъ.

Тѣмъ не менѣе, какъ ни жаль расставаться съ тѣмъ или другимъ излюбленнымъ девизомъ, но если разъ признано, что онъ „надоѣлъ“ или черезчуръ много хлопотъ стѣснить — дѣлать нечего, приходится зайцевъ зубами ловить. Главное дѣло, общая польза того требуетъ, а передъ идеей общей пользы должны умолкнуть всѣ случайныя соображенія. Потому что общая польза — это, съ одной стороны... а впрочемъ чтò, бишь, такое общая польза, милая тетенька?

Встарину мы были не особенно сильны по части опредѣленій и въ большинствѣ случаевъ полагали такъ: общая польза есть польза квартальныхъ надзирателей. Или, говоря другими словами, общая польза есть тò, чтò приноситъ надзирателямъ доходъ (безгрѣшный) или обезпечиваетъ ихъ спокойствіе. Но нынѣ это ученіе признается уже неудовлетворительнымъ, и сами участковые надзиратели откровенно заявляютъ, что не ради ихъ общая польза существуетъ, а, напротивъ того, они ради общей пользы получаютъ присвоенное содержаніе. Подобно сему должны мыслить и прочіе обыватели, хотя бы и безъ надежды на полученіе содержанія.

Именно такъ я и поступаю. Когда мнѣ говорятъ: „надоѣло!“ — я отвѣчаю: „помируйте! хоть кого взбѣситъ!“ Когда продолжаютъ: „и безъ errare хлопотъ много“ — я отвѣчаю: „чего же лучше, коль можно прожить безъ errare!“ Когда же заканчиваютъ: „не заблуждаться по нынѣшнему времени приличествуетъ, а внушать довѣріе!“ — я принимаю открытый и чуть-чуть легкомысленный видъ, беру въ руки тросточку и выхожу гулять на улицу.

Теперь лѣто, и на петербургскихъ улицахъ пропасть рабочаго люда. Необходимо, чтобъ эти люди питали довѣріе. Бредетъ какой-нибудь радимичъ или корела, съ лопатой и киркой на плечѣ, и непременно вздыхаетъ (и объ чемъ это они вздыхаютъ?). И вотъ, на встрѣчу его вздохамъ сорвался съ цѣпи человѣкъ, у котораго на лбу такъ и горитъ: „въ надеждѣ славы и добра“... Смотритъ на него корела и долго ничего не понимаетъ. Однакожъ, постепенно окривляется, окривляется — и вдругъ мысль: „вѣдь это значитъ, что недоимки простятъ!“ И чтò же! куда разомъ все подѣвалось: и вздохи, и задавленный видъ! Пошелъ корела, какъ ни въ чемъ не бывало, лопатой поковыривать, киркой постукивать... Богъ въ помощь, корела!

Вы скажете, можетъ быть, что это съ его стороны своего рода „бредни“ — такъ чтожь такое, что бредни! Это бредни здоровыя, которыя необходимо поощрять: пускай бредитъ корела! Безъ такихъ бредней земная наша юдоль была бы тюрьмою, а земное наше странствіе... спросите у вашего добраго деревенскаго старосты, чѣмъ было бы наше земное странствіе, еслибъ насъ не поддерживала надежда на сложеніе недоимокъ?

На дняхъ я зашелъ въ курятную лавку и въ одну минуту самымъ простымъ способомъ всѣмъ тамошнимъ „молодцамъ“ бальзамъ довѣрія въ сердца пролилъ. „Почемъ, спрашиваю, пару рябчиковъ продаете?“ — Рубль двадцать, господинъ! — Тогда, махнувъ въ воздухъ тросточкой, какъ дѣлають всѣ благонамѣренные люди, когда желаютъ, чтобы по шучьему велѣнію двугривенный превратился въ полумпериаль, я воскликнулъ: „Истинно говорю вамъ: не успеетъ курица яйцо снести, какъ эта самая пара рябчиковъ будетъ только сорокъ копѣекъ стоить!“

Почему я это сказать и какими образомъ оно у меня вышло — я самъ не могу объяснить. Вѣроятно все, что я солгалъ (нынѣе общее правило: лгать, покуда не уличать). Но надо было видѣть, какъ эти простодушные люди при моихъ словахъ встрепенулись и ободрились. „Да мы всей душой!“ — „да для насъ же лучше!“ — „да у насъ тогда отбоя отъ покупателейъ не будетъ!“ — только и слышалось со всѣхъ сторонъ. И замѣьте, что я ни однимъ словомъ объ „таксѣ“ не намекнулъ. Ибо „такса“ напоминаетъ отчасти о социализмѣ, отчасти о бывшемъ министрѣ внутреннихъ дѣлъ Перовскомъ и отчасти о водевилистѣ Каратыгинѣ, который въ водевилѣ „Булочная“ возвелъ ученіе о „таксѣ“ въ перлъ созданія. „*Tout se lie, tout s'enchaîne dans ce bas monde!*“ — какъ сказать пѣкогда Ламартина.

Такова программа всякаго современнаго дѣятеля, который объ общей пользѣ радѣеть. Не бредить, не заблуждаться, а ходить по лавкамъ и... внушать довѣріе. Ибо ежели мы не будемъ ходить по лавкамъ, то у насъ пожалуй на вѣчныя времена цѣна пары рябчиковъ установится въ рубль двадцать копѣекъ. Подумайте объ этомъ, тетенька!

Только ужъ само собою разумѣется, что если мы рѣшаемся „внушать довѣріе“, то объ „еггге“ надо отложить попеченіе и для себя, и для другихъ. Потому что, въ противномъ случаѣ, возьметъ „молодецъ“ въ руки счеты, начнетъ прокладывать да высчитывать, и окажется, что ничего дешеваго у насъ въ будущемъ, кромѣ кузьки да гессенской мухи, не предвидится.

Такимъ образомъ оказывается, что „внушать довѣріе“ — значитъ перемѣщать центръ „бредней“ изъ одной среды (уже избредившейся) въ другую (еще не испушенную бредомъ). Напримѣръ, мы съ вами обязываемся воздерживаться отъ бредней, а корела пусть бредитъ. Мы съ вами пусть не надѣемся на сложеніе недоимокъ, а корела — пусть надѣется. И все тогда будетъ хорошо, и мы еще поживемъ. Да какъ еще поживемъ-то, милая тетенька!

Но что же нужно сдѣлать для того, чтобы забредило такое подавленное суровою дѣйствительностью существо, какъ корела? — Очень немногое:



нужно только имѣть на-готовѣ запасъ фантастическихъ картинъ, смыслъ которыхъ былъ бы таковъ: вотъ радости, которыя тебя впереди ожидаютъ! Или, говоря другими словами, надобно постоянно и безъ устали лгать.

Отсюда новый девизъ: „humanum est mentire“, которому предназначено замѣнить вышедшую изъ употребленія римскую пословицу и съ помощью которой мы обязываемся на будущее время совершать нашъ жизненный обиходъ. Весь вопросъ заключается лишь въ томъ, скоро ли насъ уличатъ! Ежели не скоро — значитъ, мы устроились до извѣстной степени прочно; ежели скоро — значитъ, надо лгать и устраиваться сызнова.

Задача довольно трудная, но она будетъ въ значительной мѣрѣ облегчена, ежели мы дисциплинируемъ языкъ такимъ образомъ, чтобы онъ лгалъ самостоятельно, то-есть какъ бы не во рту находясь, а гдѣ-нибудь за пазухой.

Мы всегда были охотники полгать, но не могу скрыть, что между прежнимъ, такъ сказать, до-реформеннымъ лганьемъ и нынѣшнимъ — такая же разница, какъ между лимономъ, только-что сорваннымъ съ дерева, и лимономъ выжатымъ. Прежнее лганье было сочное, пахучее, ядрѣное; нынѣшнее лганье — дряблѣе, безуханное, вымученное.

До-реформенные лгуны составляли какъ бы особую касту (не всякій сознавалъ себя достаточно одареннымъ), въ родѣ старинныхъ „явныхъ прелюбодѣевъ“ или нынѣшнихъ рассказчиковъ изъ народнаго быта. Они лгали не отъ нужды, а потому, что „веселіе Руси есть лгати“. Поэтому лганье ихъ было восторженное, художественно-образное и чуждое всякой тенденціозности. Память о лгунахъ нашей черноземной полосы жива и поднесъ; но, увы! старые тамбовцы-лгуны постепенно вымираютъ, а потомки ихъ, пропившіеся и прогорѣвшіе, довольствуются невнятнымъ бормотаніемъ.

Я помню, какъ при мнѣ однажды тамбовскій лгунище рассказывалъ, какъ его (онъ говорилъ: „одного моего друга“, но по искаженіямъ лица и дрожаніямъ голоса было ясно, что рѣчь идетъ о немъ самомъ) въ клубѣ за фальшивую игру въ карты били. Сначала вымазали горячей котлеткой лицо; потомъ приклеили къ голой спинѣ бубноваго туза; потомъ, встряхнувъ, поставили на колѣни и велѣли прощенья просить и наконецъ ужъ начали настоящимъ образомъ бить. Кто-то крикнулъ: „вымазать ему, мерзавцу, дегтемъ спину!“ — но тутъ ужъ полиціймейстеръ вступился. Передавая эти потрясающія подробности, рассказчикъ видимо переживалъ незабвенныя минуты, о которыхъ повѣствовалъ. Когда рѣчь шла о котлетѣ — его лицо сжималось и голова пригибалась, какъ бы уклоняясь отъ прикосновенія посторонняго тѣла; когда дѣло доходило до приклейки бубноваго туза, спина его вздрагивала; когда же онъ приступалъ къ разсказу о встряскѣ, то простиралъ руки и встряхивалъ ими воображаемый предметъ. Однимъ словомъ, выходило и образно, и талантливо. Но въ то же время было несомнѣнно, что онъ по крайней мѣрѣ на двѣ трети налгалъ. Взявши въ основу истинное происшествіе, онъ постепенно увлекался художественными инстинктами (а можетъ быть и состраданіемъ къ самому себѣ) и доходилъ до небылицъ. Скажи онъ просто: били! — право, этого было бы совершенно достаточно, чтобы пробудить жалость во всѣхъ сердцахъ. Но у него горѣло воображеніе, но сердце его уча-

щенно билось и накинѣвшія слезы просились наружу. Все нутро подстрекало его, кричало: мало! мало! мало!

Такъ что, въ заключеніе, позабывъ, что рассказываетъ о другѣ, и отождествивъ себя съ нимъ, онъ воскликнулъ:

— Вотъ она, ключица-то! это мнѣ ее въ ту пору переломили! Чисто отдѣлали... а?

Смотримъ: ключица какъ ключица — цѣлѣхонька! Ахъ, Иванъ Ивановичъ!

Словомъ сказать, еще немного — и эти люди рисковали сдѣлаться беллетристами. Но въ то же время у нихъ было одно очень цѣнное достоинство: всякому съ перваго же ихъ слова было понятно, что они лгутъ. Слушая до-реформеннаго лжеца, можно было рисковать, что у него отсохнетъ языкъ, а у слушателей уши, но никому не приходило въ голову основывать на его повѣствованіяхъ какіе-нибудь расчеты или что-нибудь серьезное предпринять.

Нынче на сцену выступили лгуны мало-талантливые, тусклые по формѣ и тенденціозные по существу.

По формѣ современное лганье есть не что иное, какъ грошовая будничная правда, только вывороченная наизнанку. Лгунъ говорить „да“ тамъ, гдѣ слѣдуетъ сказать „нѣтъ“ — и наоборотъ. Только и всего. Нѣтъ ни украшеній, ни слезъ, ни смѣха, ни перла созданія — одна дерюжная, чортъ ее знаетъ, правда или ложь. До такой степени „чортъ ее знаетъ“, что ежели вамъ въ глаза уже триста разъ сряду солгали, то и въ триста-первый разъ не придетъ въ голову, что вы слышите триста-первую ложь.

По существу современное лганье коварно и въ то же время тенденціозно. Оно представляетъ собой послѣднее убѣжище, въ которомъ мудрецы современности надѣются укрыться отъ наплыва развивающихся требованій жизни; послѣднее средство, съ помощью котораго они думаютъ поработить въ свою пользу обезумѣвшее подъ игомъ злоключеній большинство.

Дерюжность формы въ особенности дѣлаетъ нынѣшнюю ложь опасною. Она отнимаетъ возможность выяснить цѣли лганья, а стало быть и устеречься отъ него. Сверхъ того, лжецъ новой формаціи никогда не интересуется, какого рода страданія и боли можетъ привести за собою его ложь, потому что подобнаго рода предвидѣнія могли бы разбудить въ немъ стыдъ или опасенія и, слѣдовательно, стѣснить его свободу. Разъ навсегда сбросивъ съ себя иго напоминаній и уколовъ, онъ лжетъ нагло, безсердечно и самодовольно, такъ что даже достаточно проницательные люди внимаютъ ему въ недоумѣніи или же, въ крайнемъ случаѣ, видятъ въ его лганьѣ простую бессмыслицу.

Представьте себѣ, что вы въ первый разъ очутились въ Петербургѣ и желаете знать, какимъ образомъ пройти, напримѣръ, въ Гороховую улицу. И вотъ первый лжецъ посылаетъ васъ на Обводный каналъ, а по прибытіи туда васъ принимаетъ второй лжецъ и говоритъ: надо идти на Выборгскую Сторону. Вы измучились, погубили крѣпость времени, вы въ изумленіи спрашиваете себя: зачѣмъ понадобилась эта мистификація? — а въ эту самую минуту къ вамъ подходитъ третій лжецъ и совѣтуетъ поискать Гороховую въ окрестностяхъ Екатерингофа. Спрашивается: какой имѣете вы резонъ не по-



слѣдовать этому совѣту? И вы опять губите время, опять пзнуряетесь, не понимаете, что такое случилось.

Вотъ нынѣшніе лгуны каковы.

Я не спорю, что всю эту процедуру охотно продѣлать бы и до-реформенный лгунъ; но, выполняя ее, онъ былъ бы искренно убѣжденъ, что это значитъ „дураковъ учить“. И долго бы заливался смѣхомъ при мысли, „какую рожу дуракъ состроить, когда въ Екатерингофъ припретъ“. Нынѣшній лгунъ даже подобными неумными мотивами не задается. Онъ лжетъ на всякій случай, но лжетъ не потому, что у него въ горлѣ застряла случайная бессмыслица, а потому, что ложь сдѣлалась руководящимъ принципомъ его жизни, исходнымъ пунктомъ всей его жизнедѣятельности. Или, говоря другими словами, *онъ лжетъ потому, что, по нынѣшнему времени, нельзя назвать правду по имени, не рискуя провалиться сквозь землю.*

Мнѣ кажется, что въ послѣднихъ, подчеркнутыхъ мною словахъ заключается вся разгадка современнаго лганья. Прежде мы лгали, потому что была потребность *скрасить* правду жизни; нынче — лжемъ потому, что *боимся примрнуться* къ этой правдѣ. Какъ будто въ самомъ воздухѣ разлито нѣчто предостерегающее: „Смотри! только пикни!—и всѣ эти основы, краеугольные камни и величественныя зданія — все разлетится въ прахъ!“ Или ленте: ежели ты скажешь правду, то непременно сквозь землю провалишься; ежели солжешь — можетъ быть, время какъ-нибудь и пройдетъ.

Понятное дѣло что послѣднее все-таки выйдѣ.

Вѣроятно вы удивитесь моимъ опасеніямъ относительно основъ и краеугольных камней. Возможное ли дѣло, скажете вы, чтобъ имъ угрожала какая-нибудь опасность, коль скоро въ каждомъ городѣ заведено по исправнику, а въ каждомъ селеніи по уряднику, которые только и дѣлаютъ, что наблюдаютъ за незыблемостью краеугольных камней? Да, наконецъ, и еже-часный опытъ ужели не убѣждаетъ?..

Убѣждаетъ, голубушка, и не только убѣждаетъ, но даже сомнѣнія не оставляетъ. Лично я всегда вѣрилъ въ краеугольные камни и продолжаю вѣрить. Нельзя не вѣрить, когда ежечасно собственными глазами видишь, какъ потрясателя на веревочкѣ ведутъ въ участокъ, и когда ежедневно узнаешь изъ газетъ, какъ ловко съ ихнимъ братомъ распоряжаются въ судебныхъ инстанціяхъ. Но согласитесь, что ежели на каждой російской осенѣ сидитъ по воронѣ, которыя всѣ въ одинъ голосъ кричатъ: „посрамлены основы! потрясены!“ — то какую же цѣну можетъ имѣть мнѣніе человѣка, положимъ, благонамѣреннаго, но затеряннаго въ толпѣ? И притомъ такого, который, вопреки всѣмъ вороньимъ свидѣтельствамъ, утверждаетъ, что никогда околоточные надзиратели не были такъ дѣятельны, никогда основы не стояли такъ прочно и незыблемо, какъ теперь? Вѣдь человѣкъ-то этотъ, пожалуй, подозрительный! Вѣдь онъ-то, пожалуй, самый потрясатель и есть!

А сверхъ того, право, дѣло совсѣмъ не въ защитѣ основъ и даже не въ томъ, незыблемо ли онѣ стоятъ, или шатаются. Очень это нужно вороньему

роду! Ему нужно одно: чтобы въ общественномъ сознаніи произошелъ оптический переполохъ, благодаря которому и неизбежно стоящія основы казались бы расшатанными и неогражденными. Потому что переполохъ развязываетъ имъ руки и сообщаетъ ихъ крикамъ авторитетность. Увы! нынче даже въ нашей небогатой численнымъ персоналомъ литературѣ (еще недавно столь гадливой) завелся цѣлый рой паразитовъ, которые только и живутъ, что переполохами да неплатежемъ арендныхъ денегъ.

Несомѣнно, что эти каркающіе мудрецы — просто-на-просто проходимцы. Но они знаютъ, какого рода карканье требуется въ данный моментъ на рынкѣ — и это обезпечиваетъ имъ успѣхъ. Не факты дѣйствительнаго грабежа и вопиющаго предательства священнѣйшихъ интересовъ страны приводятъ ихъ въ негодованіе, но попытки отпестись къ этимъ фактамъ сознательно и указать ихъ значеніе въ связи съ общимъ жизненнымъ строемъ. Подобныя указанія для нихъ — пожъ вострый, потому что когда ихъ формулируютъ, то они сами сознаютъ себя Юханцевыми и Базенами и начинаютъ мучиться опасеніями, какъ бы не разгадали ихъ игры. Чтѣ же удивительнаго, что они надсѣдаются, каркая: „посрамлены основы! потрясены!“ Это не крикъ сердца, а только предумышленный отводъ глазъ. А простодушные люди проходятъ мимо и думаютъ: должно быть, и дѣйствительно наше дѣло плохо, коль скоро весь сосновый боръ поголовно закаркалъ! И чувствуютъ, какъ постепенно ими овладѣваетъ оторопь.

*Ложь, утверждающая, что основы потрясены, есть та капитальная ложь, которая должна прикрыть собой все послѣдующія лжи.* Вотъ почему прочная постановка этой лжи прежде всего необходима каркающимъ мудрецамъ.

Какъ истинно русскій человѣкъ, и я не изъять отъ простодушія и соединенныхъ съ нимъ предразсудковъ, а потому воронье карканье и на меня наводитъ суевѣрную оторопь, сопряженную съ ожиданіемъ грозящей опасности. Помилуйте! вѣдь отъ этихъ распутныхъ птицъ всего ждать можно! Вѣдь ихъ нельзя ни убѣдить, ни усовѣстить, потому что онѣ сами себя заранѣе во всемъ убѣдили и простили. Онѣ не чувствуютъ потребности ни въ одной изъ тѣхъ святынь, которыя для каждаго честнаго человѣка обязательно хранить въ своемъ сердцѣ. Нѣтъ для нихъ ничего дорогого, завѣтнаго, такъ что даже съ представленіемъ объ отечествѣ въ ихъ умахъ соединяется только представление о добычѣ — и ничего больше. Все это сообщаетъ ихъ дѣятельности такой размахъ, такую безграничность свободы, какая обыкновенному смертному совѣмъ недоступна. Съ неизреченнымъ злорадствомъ набрасываются эти блудницы на облюбованную добычу, успиваясь довести ее до степени падали, и когда эти усилія, благодаря общей смутѣ, увѣнчиваются успѣхомъ, онѣ не только не чувствуютъ стыда, но съ безконечнымъ нахальствомъ и полнѣйшею увѣренностью въ безнаказанности срамословятъ: „это мы сдѣлали! мы! эта безмолвная, лежащая въ прахѣ падала — нашихъ рукъ дѣло!“

И мы съ вами должны сложить руки и выслушивать эти срамословія въ подобающемъ безмолвіи, потому что наша рѣчь впереди. А можетъ быть, ни впереди, ни назади — нигдѣ нашей рѣчи нѣтъ и не будетъ!

Конечно, и это карканье, и его постыдныя послѣдствія могли бы быть



легко устранены, еслибъ мы рѣшились сказать себѣ: а ну-те, вспомните почтенную римскую пословицу да и постараемся, при ея пособіи, опредѣлить, отчего приплодъ Юханцевыхъ съ каждымъ годомъ усиливается, а приплодъ Аристидовъ въ такой же прогрессіи уменьшается? Но, къ сожалѣнію, не отъ насъ съ вами зависитъ осуществленіе этого разумнаго проекта. Воспоминаніе о паденіи римской имперіи такъ огорошило воображеніе простодушныхъ росіянъ, что, несмотря на то, что послѣ того состоялось открытіе Америки и изобрѣтеніе пороха, они все-таки лучше рѣшаются лгать, нежели заблуждаться.

А какъ бы хорошо-то было, голубушка! Блуждали бы мы да блуждали, а нѣкоторые изъ насъ, можетъ быть, нашли бы и просвѣты. А основы тѣмъ временемъ стояли бы себѣ да стояли; архистратиги же, приставленные для наблюденія за нами, записывали бы наши блужданія на бумажкѣ и сносили бы эти бумажки въ комиссію. Въ какую комиссію — это безразлично. Зайдите въ любой казенный домъ — вездѣ хоть какую-нибудь комиссію да найдете. Такъ вотъ туда. А въ комиссіи бумажки наши разсортировали бы, наклепили бы на картонные листы, предметъ къ предмету, и затѣмъ...

Дальнѣйшій ходъ дѣла извѣстенъ. Но какія бы рѣшенія комиссія ни приняла, во всякомъ случаѣ дѣло обошлось бы тихо, благородно. Въ самомъ крайнемъ случаѣ, еслибъ не послѣдовало даже никакихъ рѣшеній, то вѣдь и это ужъ былъ бы результатъ громадный. Во-первыхъ, удовлетворена была бы благородная (*humanum est* — что можетъ быть этого выше!) потребность блужданія; во-вторыхъ, краугольные камни были бы основательно ощупаны, и оказалось бы, что они цѣлѣхоньки...

И чтѣжь! вмѣсто всего этого, мы предпочитаемъ городить какую-то фантастическую чепуху на томъ только основаніи, что заблужденія, дескать, могутъ что-то подорвать, а въ лганьѣ якобы заключается творческая сила!

Однако я замѣчаю, что на каждомъ шагу выпадаю въ протинворѣчія. Съ одной стороны, я очень хорошо понимаю, что въ виду общей пользы необходимо отказаться отъ заблужденій; но, съ другой стороны, какъ только начну приводить это намѣреніе въ исполненіе, такъ, незамѣтно для самого себя слагаю заблужденіямъ панегирикъ. Но, право, это зависитъ не отъ меня. Вся обстановка нашего существованія такова, что никакимъ образомъ отъ двоегласія не убѣжишь. Въ молодости за нами наблюдали, чтобъ мы не предавались вредной праздности, но находились на государственной службѣ, такъ что всѣ усилія наши были направлены къ тому, чтобъ въ одномъ лицѣ совмѣстить и челоуѣка, и чиновника. Это ли было не двоегласіе? Теперь отъ насъ требуютъ, чтобъ мы неключительно объ общей пользѣ радѣли, а между тѣмъ далеко ли время, когда въ „бредняхъ“ (упраздненіе крѣпостного права — развѣ это не величайшая изъ „бредней“?) не только ничего потрясательнаго не видѣлось, но и прямо таковыя признавались благопотребными и споспѣшествующими? Какъ тутъ сообразить?

Знаю я, голубушка, что общая польза неизбѣжно восторжествуетъ и что затѣмъ, хочешь не хочешь, а все остальное придется „бросить“. Но покуда какъ будто еще совѣстно. А ну какъ въ этомъ „благоразуміи“ поступкѣ увидать измѣну и назовутъ за него ренегатомъ? Съ какими глазами покажусь

я тогда своимъ друзьямъ — хоть бы вамъ, милая тетенька? Неужто-жъ на старости лѣтъ придется новыхъ друзей, новыхъ тетенокъ искать? — тяжело вѣдь это, голубушка!

Нѣкоторые полагаютъ, что ренегатамъ живется хорошо и что они двойные оклады за свое ренегатство получаютъ. Право, это не такъ. Конечно, по нуждѣ и ренегата иногда чествуютъ, но внутренно его все-таки презираютъ. И тѣ презираютъ, которыхъ онъ предалъ, и тѣ, въ пользу которыхъ совершилъ предательство. Последніе впрочемъ не столько презираютъ, сколько спѣшатъ надругаться. Они не могутъ забыть, что ренегатъ когда-то былъ ихъ противникомъ! и потому, какъ только онъ сбѣжалъ изъ первоначальнаго лагери, такъ сейчасъ его забираютъ въ лапы: попался! теперь только держись! Одинъ подойдетъ — въ лицо плюнетъ, другой подойдетъ — плюху дастъ. А ренегатъ притворяется, будто не понимаетъ. Но чего ему это притворство стоить... ахъ, тетенька! И такъ, рассказы о двойныхъ окладахъ и о томъ, будто бы ренегатовъ подъ образа сажаютъ, положительно принадлежать къ области баснословія. Общее правило таково: баловать ренегата лишь до тѣхъ поръ, пока не успѣютъ выкупать его въ помояхъ; когда же убѣдятся, что онъ по уши погрузился въ золото и что возвратъ въ первобытное состояніе для него ужъ немыслимъ, то ограничиваются скудными подачками и изобильными пинками. Ренегатъ, прочно утвердившійся на высотѣ — рѣдкость; но и такому обыкновенно по смерти втыкаютъ въ могилу осиноый колъ.

Впрочемъ все, что я сейчасъ объ ренегатахъ сказалъ — все это *прежде* было. А впредь, можетъ быть, и дѣйствительно ихъ будутъ кормить брусничкой, одобренной тѣмъ медомъ, о которомъ въ пѣснѣ поется. Ничего — съѣдятъ. Недаромъ же масса кандидатовъ на это званіе съ каждымъ днемъ все увеличивается да увеличивается.

И все-таки рано или поздно, а придется „бросить“. Ибо жизненная машина такъ премудро устроена, что если не „бросишь“ *motu proprio*, то, все равно, обстоятельства тебя къ одному знаменателю приведутъ. А въ практическомъ отношеніи развѣ не одинаково, отчего ты кувыркаешься: оттого ли, что душа въ тебѣ играетъ, или оттого, что кошки на сердцѣ скребутъ? Говорятъ, будто въ сихъ случаяхъ самое лучшее — помереть. Но развѣ это разрѣшеніе?

И такъ, во имя „общей пользы“! Воспримете, тетенька, и будете лгать! Господи благослови!

Прежде всего, установимъ исходный пунктъ: основы потрясены. Повторяю: это будетъ ложь несомнѣнная, но она необходима для прикрытія всѣхъ остальныхъ лжей. Она огорочитъ общество и сдѣлаетъ его способнымъ принимать небылицы за правду, дѣйствительность накарканную за дѣйствительность реальную. А это для насъ — самое важное.

Что нужды, что основы и не думаютъ шататься — пускай простодушные люди вѣрятъ, что онъ не только шатаются, но и окончательно пострамлены. Это поразить ихъ воображеніе, а намъ поможетъ изъ нихъ веревки вить. Пускай они мечутся въ нелѣпомъ переполохѣ — мы скажемъ имъ, что это переполохъ спасительный, въ концѣ котораго стоитъ торжество „общей пользы“. Пускай, въ слѣпомъ недоумѣніи, они остереваются въ виду всякой попытки



ввести въ жизнь элементъ сознательности — мы прощримъ эти остервенѣнія, потому что какъ только мы допустимъ вторгнуться элементу сознательности, такъ тотчасъ же, вслѣдъ за этимъ вторженіемъ, исчезнетъ все наше обаяніе, и мы сойдемъ на степень обыкновенныхъ огородныхъ пугаль.

Вотъ, милая тетенька, что такое та общая польза, ради которой мы съ такимъ самоотверженіемъ обязываемся примѣнять къ жизни творческую силу лганья. Предоставляю вашей проницательности судить, далеко ли она ушла въ этомъ видѣ отъ тѣхъ старинныхъ опредѣленій, которыя, какъ я упоминалъ выше, отождествляли ее съ пользою квартальныхъ надзирателей. Я же къ сему присовокуляю: прежде хотъ квартальные „пользу“ видѣли, а нынче...

Подумайте только! пара рябчиковъ рубль двадцать копѣекъ стоитъ — надо же чѣмъ-нибудь этотъ фактъ объяснить! Хорошо, что я нашелся, предсказавъ, что не успѣетъ курица яйцо снести, какъ та же самая пара рябчиковъ будетъ сорокъ копѣекъ стоитъ (это произвело такъ-называемое „благопріятное“ впечатлѣніе); но, во-первыхъ, находчивость не для всѣхъ обязательна, а во-вторыхъ, коли по правдѣ-то сказать, вѣдь я и самъ никакой пользы отъ моего предсказанья не получилъ. И на другой день съ меня тѣ же рубль двадцать взяли, и на третій, и такъ до сихъ поръ. Стало быть, надо утѣшить и меня. А чѣмъ же цѣлесообразнѣе можно утѣшить, какъ не утвержденіемъ, что всему причина — потрясеніе основъ?

Или еще: стонутъ древляне, оголѣли радимичи, а корела даже не помнитъ, съ которыхъ поръ одной пушینیной питается. Надо утѣшить и ихъ: успокойся, корела! дай только съ основами управиться, и все будетъ: и мамонъ чистымъ хлѣбомъ набьешь, и недонмки очистишь!

Покуда корела вѣрится въ страшныя слова, покуда ее можно ошеломлять упоминеніемъ о „потрясенныхъ основахъ“, надо пользоваться ея простодушіемъ. Надо, чтобъ она постоянно видѣла впереди благополучныя перспективы, всеминутно вѣрила, надѣялась и ждала, но подъ однимъ непремѣннымъ условіемъ: что все сіе лишь тогда совершится, когда краугольные камни будутъ утверждены.

Одно только смущаетъ меня, милая тетенька. Многіе думаютъ, что вопросъ о пользѣ „отвода глазъ“ есть вопросъ болѣе чѣмъ сомнительный, и что каркать о потрясеніи основъ, когда мы отлично знаемъ, что послѣднія какъ нельзя лучше ограждены — просто безсовѣстно. А другіе идутъ еще дальше и прямо говорятъ, что еще во стократъ безсовѣстнѣе, ради торжества завѣдомой лжи, производить переполохъ, за которымъ нельзя распознать ни подлинныхъ очертаній жизни, ни ея дѣйствительныхъ запросовъ и стремленій.

Несмотря на то, что адепты „общей пользы“ грозятъ заполнить вселенную, мифія объ ихъ безсовѣстности, отъ времени до времени, еще прорываются въ обществѣ и, признаюсь, порядочно-таки колеблютъ мою готовность плыть по теченію. Сущность этихъ мифій заключается въ томъ, что потрясательная практика должна быть тщательно отдѣлена отъ общаго хода жизни и что вѣдать этой практикой надлежитъ людямъ особеннымъ, нарочито къ

тому приспособленнымъ. Пускай они ловятъ потрясателей, но пускай эта ловля не препятствуетъ естественному росту жизни...

Не знаю, можетъ быть и и не правъ, но эта теорія мнѣ по душѣ, и кажется, что недолгѣ она восторжествуетъ. Поэтому даже могу подать вамъ благой совѣтъ. Ежели вашъ урядникъ обратится къ вамъ съ просьбой: „вмѣсто того, чтобы молочными-то скопами заниматься, вы бы, сударыня, хоть одного потрясателя мнѣ изловить пособили!“ то смѣло отвѣчайте ему: „мы съ вами въ совершенно различныхъ сферахъ работаемъ: вы — обизываетесь хватать и ловить, я обизываюсь о преуспѣяніи молочнаго хозяйства заботиться; не будемъ другъ другу мѣшать, а останемся каждый при своемъ!“ Я положительно убѣжденъ, что самъ исправникъ, ежели только ему вѣрно будетъ переданъ вашъ отвѣтъ — и тотъ скажетъ, что вы правы.

Потому что ежели мы всѣ бросимся хватать и ловить, то кончится тѣмъ, что мы другъ друга переловимъ и останемся въ дуракахъ.

И не будетъ у насъ ни молока, ни хлѣба, ни изобилія плодовъ земныхъ, не говори уже о наукахъ и искусствахъ. Мало того: мы можемъ очутиться въ положеніи человека, котораго съ головы до ногъ облили керосиномъ и зажгли. Допустимъ, что этотъ несчастливецъ и въ предсмертныхъ мукахъ будетъ свои невзгоды ставить на счетъ потрясеннымъ основамъ, но развѣ это облегчить его страданія? развѣ воззоветъ его къ жизни?

А лгуны — гдѣ они будутъ тогда? придутъ ли они на помощь къ погибающему? принесутъ ли ему облегченіе? Нѣтъ, не придутъ и не принесутъ, потому что имъ незачѣмъ приходить и нечего принести. Совершивши свое неистовое дѣло, они поспѣшатъ уйти прочь, чтобы продолжать пропаганду челоѣконенавистничества дальше и дальше.

Весь запасъ, который они могутъ предложить на предметъ дальнѣйшаго существованія, ограничивается ранами, скорпіонами и лексикономъ неистовыхъ восклицаній: „держи! лови!“ Этотъ запасъ представляетъ *единственную правду*, которую каркающіе мудрецы имѣютъ за собой. Все остальное — и угрозы, и перспективы — все это не болѣе, какъ лганье, пущенное въ ходъ ради переполоха, имѣющаго дать имъ возможность ловить рыбу въ мутной водѣ.

Но можно ли жить съ одними скорпіонами, хотя бы и сдобренными лганьемъ?



## Письмо третье.

Милая тетенька.

Вы упрекаете меня въ молчаніи, а между тѣмъ, право, болѣе аккуратнаго корреспондента, нежели я, едва ли даже представить себѣ можно. Свидѣтели могутъ подтвердить, что я каждомѣсячно къ вамъ пишу, но отчего не всѣ мои письма доходятъ по адресу — не знаю. Во всякомъ случаѣ это такъ меня встревожило, что я отправился за разъясненіями къ одному знакомому почтовому чиновнику — и знаете ли, какой странный отвѣтъ отъ него получилъ? „Которыя письма не нужно чтобъ доходили, — сказалъ онъ мнѣ: — тѣ всегда у насъ пропадаютъ“. Но такъ какъ этотъ отвѣтъ не удовлетворилъ меня и я настаивалъ на дальнѣйшихъ разъясненіяхъ, то пріятель мой присовокупилъ: „Никакихъ тутъ разъясненій не требуется — дѣло ясно само по себѣ; а ежели и существуютъ особенныя соображенія, въ силу которыхъ адресуемое является равносильнымъ неадресованному, то тайность сію, мой другъ, вы лѣтъ черезъ тридцать узнаете изъ „Русской Старины“.

Съ тѣмъ я и ушелъ, что предстоитъ дожидаться тридцать лѣтъ. Многого это, ну, да вѣдь ежели раньше нельзя, такъ и на томъ спасибо. Во всякомъ случаѣ теперь для васъ ясно, что ваши упреки мной не заслужены, а для меня не менѣе ясно, что если я желаю переписываться съ родственниками, то долженъ писать такъ, чтобы мои письма заслуживали врученія.

Ясно и многое другое, да вѣдь ежели примешься до всего доходить, такъ, пожалуй, и это письмо гдѣ-нибудь застрянетъ. А вы между тѣмъ ужъ и теперь безпокоитесь, спрашиваете: „живъ ли ты?“ Ахъ, добрая вы моя! разумѣется, живъ! Слава Богу, не въ лѣсу живу, а тоже, какъ и прочіе всѣ, въ участіѣ прописанъ!

Вообще я нынче о многомъ сызнова передумываю, а между прочимъ и о томъ: отчего наши письма, отъ времени до времени, не доходятъ по адресу? — и знаете ли, *къ какому я заключенію пришелъ?* — сами мы во всемъ виноваты! Письма надо писать кратко и складно, чтобы сразу можно было понять, въ чемъ суть, а мы пишемъ пространно и нескладно; въ письмахъ надобно излагать лишь нужные предметы, а остальное посвящать родственнымъ изліяніямъ, а мы наши письма наполняемъ околичностями, а объ родственныхъ чувствахъ умалчиваемъ. Вотъ какъ по настоящему слѣдуетъ писать: „Милая тетенька! Я, слава Богу, живъ, и здоровъ, чего и вамъ отъ души желаю!! Вчера былъ день рожденія покойнаго дяденьки, и я надѣюсь, что вы провели онъ въ молитвѣ! Но отчаиваться однакожъ не слѣдуетъ, а надо помнить, что мы не для сего рождены!! Живите — не бойтесь! но, главное, старайтесь находиться въ мірѣ съ сосѣдями. Потому что все это свѣдущіе люди \*). И я тоже живу, не боюсь, но стараюсь быть въ ладу съ дворянами. И, слава Богу, веду себя, кажется, хорошо!! На дняхъ призывалъ

---

\*) Писано въ 1881 году, когда на „свѣдущихъ людяхъ“ поконились всѣ упованія Россіи, а издано въ 1882 году, когда представленіе о свѣдущихъ людяхъ сдѣлалось равносильнымъ представленію о „крамолѣ“.

меня нашъ околотошный и говорить: „вы такъ хорошо себя ведете, что ожидайте публичной похвалы!“ — Въ чемъ же, говорю, оная похвала будетъ состоять?! — Однакожь онъ не открылъ, а только усмѣхнулся и молвилъ: „лучше, какъ сами своевременно сей сюриризь узнаете“. И не велѣлъ отлучаться изъ дома, дабы похвалы не прозвѣвать. И я сижу теперь въ ожиданіи!!! Братцамъ и сестрицамъ потрудитесь передать мой сердечный привѣтъ: я думаю, выросли. А у насъ все благополучно, только говядина сильно вздорожала, такъ что вынуждены мы съ симъ продуктомъ обходиться осторожно. Вообще у кого апетитъ хорошъ, тотъ долженъ нынѣ или сокращать онный, или же стараться какъ можно чаще въ гостяхъ обѣдать. Но тогда тѣ, къ коимъ начнемъ „запросто“ ухажать, могутъ вознегодовать. Затѣмъ, цѣлуя ваши ручки, остаюсь любящій васъ племянникъ“ и т. д. Въ такомъ видѣ письмо навѣрное ни въ огнѣ не сгоритъ, ни въ водѣ не потонетъ, а такъ-таки цѣлѣхонькое и дойдетъ по адресу.

Но вѣдь вы у меня такая любопытная что навѣрное, спросите: что же заключалось въ томъ письмѣ, которое до васъ не дошло? — Но этого-то именно я и не могу вамъ открыть, потому что если начну открывать, то и это письмо непременно не дойдетъ. Скажу только, что письмо было длинное и содержаніе его было интересное. Тѣмъ не менѣе, еслибъ мы съ вами жили по ту сторону Вержболова (разумѣется, оба), то несомнѣнно, что оно было бы вами получено. Я впрочемъ крѣпко надѣюсь на „Русскую Старину“: когда-нибудь она это письмо напечатаетъ. Но во всякомъ случаѣ вы можете быть увѣрены, что я основъ не потрясалъ.

Вы мой образъ мыслей знаете, а дворники знаютъ, сверхъ того, и мой образъ жизни. Я ни самъ съ оружіемъ въ рукахъ не выходилъ, и никого къ тому не призывалъ и не поощрялъ. Когда я бываю за границей, то многіе даже тайные совѣтники меня въ этомъ отношеніи испытываютъ и остаются довольны. „Но отчего же у васъ такая репутация?“ спрашивалъ меня на дняхъ одинъ изъ нихъ въ Парижѣ. — Не могу знать, ваше превосходительство, — отвѣчалъ я: — такъ что-нибудь... И такъ я былъ счастливъ, голубушка, что могъ хоть сколько-нибудь поправить свою репутацию въ глазахъ этихъ могущественныхъ людей! Хотѣлъ-было, въ знакъ благодарности, нѣсколько сценъ изъ народнаго быта имъ разсказать, но вдругъ отчего-то показалось подло — я и промолчалъ.

Какъ бы то ни было, но въ пропавшемъ письмѣ не было и рѣчи ни о какихъ потрясеніяхъ. И, положи руку на сердце, я даже не понимаю... Но мало ли чего я не понимаю, милая тетенька!.. Не понимаю, а разсуждаю... всѣ мы таковы! Коли бы мы понимали, что не понимаемъ... Фу, чортъ поберетъ, какъ однакожь трудно солиднымъ слогомъ къ родственникамъ писать!

Нынѣ вся жизнь въ этомъ заключается: коли не понимаешь — не разсуждай! А коли понимаешь — умѣй помолчать! Почему такъ? — а потому, что такъ нужно. Нынѣ все можно: и понимать, и не понимать, но только и въ томъ и въ другомъ случаѣ нельзя о семъ заявлять. Нынѣшнее время — необыкновенное; это никогда не слѣдуетъ терять изъ виду. А завтра, можетъ быть, и еще необыкновеннѣе будетъ — и это не нужно изъ вида терять. А



посему: какое пространство остается между этими двумя дилеммами — по немъ и ходи.

Помните впрочемъ, что я всю жизнь по этому корридору ходилъ, и все старался, какъ бы лбомъ стѣну прошибить. Иногда стѣна какъ будто и подавалась—ахъ, братцы, скорѣе за перья беритесь! Но только-что, бывало, начнетъ перо по бумагѣ скользить — смотришь, анъ и опять твердыни вокругъ. Ахъ, тетенька, чтѣ такое мы съ вами? всѣмъ естествомъ мы люди несвоевременные, ненужные, несвѣдущіе! Натурально, что мы можемъ только путать и подрывать. Однако странно, какая у этихъ ненужныхъ людей сила! Шутя напутаютъ, а краугольные камни, смотришь, въ опасности.

Вы спрашиваете, голубушка, хорошо ли мнѣ живется? — Хорошо-то, хорошо, а все-таки не знаю, какъ сказать. Притѣсненій—нѣтъ, свобода—самая широкая; даже трепетовъ нѣтъ—помните, какъ въ тѣ памятные дни, когда, бывало, страшно одному въ квартирѣ оставаться — да вотъ поди жъ ты! Удивительно какъ-то тоскливо. Атмосфера словно арестантскимъ чѣмъ-то насыщена; свѣта нѣтъ, голосовъ не слышать; сплошныя сумерки, въ которыхъ витають какія-то вялыя существа. Куда бредутъ эти существа и зачѣмъ бредутъ — они и сами не знаютъ, но навѣрное ихъ можно повернуть и направо, и налево, и назадъ — куда хочешь. Всѣмъ какъ-то все равно. Въ самыхъ интимныхъ кружкахъ разговоры ведутся какіе-то прошлогодніе, а иногда и прямо нелѣпые; а когда идешь вечеромъ по улицѣ, то просто даже оторопь беретъ. Такого обилія неосвѣщенныхъ оконъ никто не запомнить: точно всѣ собрались говѣть. А если и видишь гдѣ-нибудь въ окнѣ огонекъ, то навѣрное тамъ, при трепетномъ свѣтѣ керосиновой лампы, какой-нибудь современный Пименъ строчить и декламируетъ:

Еще одно облыжное сказанье,  
И извѣщеніе окончено мое...

Тихо, тетенька! черезчуръ ужъ тихо. Не то чтобы что-нибудь непосредственно грызло, какъ, помните, въ то время, когда всякій самъ передъ собой исповѣдовался, а просто самая жизнь какъ будто оборвалась. Коли хотите, и среди этой тишины отъ времени до времени раздается полемика, но односторонняя и какъ-то черезчуръ ужъ побѣдоносная. Захрюкаетъ вдругъ свинья, или кто-нибудь изъ подвинковъ и поросятъ — и сразу побѣдятъ. Налгутъ, набедничаютъ и, не вызвавши возраженій, потонутъ въ собственномъ навозѣ. И никто не удивляется, что только избѣденные трихинами голоса свободно раздаются въ пространствѣ; напротивъ, всѣ какъ бы убѣдились, что это единственно-подходящая формула, которую способна была отыскать для себя торжествующая современность.

Такая же тоскливая вялость и въ литературѣ. Трихинные-то голоса по преимуществу въ ней и раздаются. Въ былое время только одинъ хлѣвъ на всю литературу полагался, а нынче ихъ считаютъ десятками. И вездѣ раздается побѣдоносное хрюканье, вездѣ кого-нибудь чавкають. Мысль потускнѣла, утратила всякій вкусъ къ „общечеловѣческому“; только и слышишь

окрики по части благоустройства и благочинія. Страстность замѣнена животненною злобою, діалектика — обвиненіями въ неблагонадежности... можетъ ли быть что-нибудь болѣе омерзительное? И, право, никто, кажется, не жалѣетъ, что уровень литературы такъ низко палъ. Напротивъ того, и на улицахъ, и въ распивочныхъ домахъ безъ всякихъ околичностей провозглашаютъ: „давно пора на эту поскудную литературу намордникъ надѣть!“ На дняхъ, захожу въ ресторанъ закусить — смотрю, Расплюевъ около буфета такъ и закатывается! Хлещетъ литературу по чемъ попало, да и шабашъ. „Расплюевъ! — говорю я ему: — да вы вспомните, что у васъ на лицѣ нѣтъ ни одного мѣста, на которомъ бы слѣдовъ человѣческой пятерни не осталось!“ А онъ въ отвѣтъ: „Это, говоритъ, прежде было, а съ тѣхъ поръ я исправился!“ И что же! представьте себѣ, я же долженъ былъ отъ него во все лопатки удирать, потому что вѣдь онъ малый серьезный: того гляди и въ участокъ пригласить! Но воображаю я, кабы выискался молодецъ, который сказалъ бы въ Англіи, во Франціи или въ Германіи, что на литературу намордникъ надѣть надо — сколько бы онъ въ одинъ день посторонняго кала съѣлъ!

Я знаю многихъ, которые утверждаютъ, что только теперь и слышатся въ литературѣ трезвенныя слова. А я такъ, совсѣмъ напротивъ, думаю, что именно теперь-то и начинается въ литературѣ пьяный угаръ. Воображеніе потухло, представленіе о высшихъ человѣческихъ задачахъ исчезло, способность къ обобщеніямъ признана не только бесполезною, но и прямо опасною — чего еще пьянѣе нужно! Идетъ захмелѣвшій человѣкъ, тыкаясь носомъ въ навозныя кучи, а про него говорятъ: „вотъ отъ кого мы услышимъ трезвенное слово!“

Да, хоть и ладно повидимому живется, а все-таки думаешь: куда бы отъ этой жизни дѣваться? Злости черезчуръ ужъ много завелось — никогда столько не бывало. Иной совсѣмъ ничего не смыслить, а тоже, глядя на другихъ, злобствуетъ. И нѣтъ этой безсодержательной злобѣ отпора. Ругаются, пасквилируютъ, ханжаты, брызжутъ бѣшеной пѣной, стучать пустыми дланями въ пустыя перся, грозятъ очами и — что всего ужаснѣе — хранить полную увѣренность, что противная сторона будетъ безмолвствовать. Обвиненія сыплются какъ изъ рога изобилія, обвиненія безмысленныя, которыя самъ обвинитель ни объяснить, ни поддержать не можетъ, но которыя, тѣмъ не менѣе, считаются непререкаемыми. Возражаютъ на это, что вѣдь и послѣдствій ощутительныхъ отъ этихъ обвиненій нѣтъ... Однако вѣдь это смотря потому, что разумѣть подъ именемъ „ощутительныхъ послѣдствій“. Для иного вѣдь и то ужъ „ощутительно“, что этимъ поскуднымъ обвиненіямъ нѣтъ отпора...

Иногда мнѣ представляется вопросъ: поддается ли наше общество наплыву этого низкопробнаго озлобленія, которое до остервенѣнія набрасывается на все, выходящее за предѣлы хлѣбной атмосферы, или же оно будетъ только наружно окачено имъ, внутренно же останется вѣрнымъ тѣмъ инстинктамъ порядочности, которые до сихъ поръ, отъ времени до времени, прорывались въ немъ? — И знаете ли, къ какому я пришелъ убѣжденію? — непременно останется вѣрнымъ порядочности. Какъ ни запугано наше общество, какъ ни слабо развито въ немъ чувство самостоятельности, но несомнѣнно,



что внутреннія сочувствія его направлены въ сторону добраго и плодотворнаго дѣла. Это единственное — и, надо сказать, весьма доброкачественное — утѣшеніе, которое представляется человѣку, осужденному безмолвно стоять, въ качествѣ обвиняемаго, передъ сонмищемъ невѣжественныхъ и злыхъ уличныхъ лоботрясовъ.

Но спрашивается: насколько подобныя утѣшенія могутъ поддерживать въ человѣкѣ охоту къ жизни?

Однако, чего добраго, вы упрекнете меня въ брюзжаніи и преувеличеніяхъ. Вы скажете, что я нарисовалъ такую картину жизни, въ которой, собственно говоря, и существовать-то нельзя. Поэтому спѣшу прибавить, что среди этой жизни встрѣчаются очень хорошіе оазисы, которые въ значительной мѣрѣ смягчаютъ общіе суровые тоны. Одинъ изъ такихъ оазисовъ устроилъ я самъ для себя, а слѣдовательно и всѣмъ прочимъ не препятствую послѣдовать моему примѣру.

Все прошлое лѣто, какъ вамъ извѣстно, я проштатался за границей (ужасно, что тамъ про насъ рассказываютъ!), и все рвался оттуда домой. А между тѣмъ вѣдь тамъ, право, недурно. Какіе фрукты въ Парижѣ въ сентябрѣ! какіе рестораны! какіе магазины! какая прелестная жизнь на бульварахъ!

Утромъ — натурально — газеты. Нарочно выбираешь самыя задорныя, думаешь: надо же за границей всѣ заграничныя чувства испытать, а между прочимъ и чувство петролейщика. То-есть, не то чтобы сдѣлаться онымъ, а такъ, сидя за кофеемъ, вдругъ воскликнуть: „а! такъ вотъ оно что!“ Но, къ удивленію, читаешь-читаешь и, послѣ двухчасового шуршанья газетной бумагой, испытываешь только одно чувство: что въ головѣ — сумбуръ. Тогда принимаешься за свои родныя газеты (ихъ почта приноситъ нѣсколько поздне): тутъ сумбура нѣтъ, а только какъ будто ничего не читалъ.

Смотришь, утро-то и прошло. Вечеромъ — въ театрѣ. Даютъ: „Niniche“, „La biche au bois“, „Divorçons“... Жюдикъ въ купальномъ костюмѣ... ахъ! А въ „La biche au bois“ — сразу до полутораэта почти обнаженныхъ женскихъ тѣлъ на сцену брошено! Какой это производитъ эффектъ — можно судить потому, что подлѣ меня одинъ русскій свѣдущій человѣкъ сидѣлъ, такъ онъ ногтями всю бархатную обивку на креслѣ ободралъ, и все кричалъ: „пошевеливай!“ Затѣмъ, выйдешь изъ театра — опять во всѣ стороны праздникъ. Идешь сплошной линіей освѣщенныхъ ресторановъ; потребитель на тротуары высыпалъ: повсюду — гулъ мужскихъ и женскихъ голосовъ; повсюду — свѣтъ, движеніе, довольство... Цѣлые снопы огней льются на улицу, испещренную движущимися фонарями фіакровъ, а надъ головой темное звѣздное небо, и кругомъ — теплая, влажная сентябрьская ночь. Право, хорошо. Красиво, весело, и что важнѣе всего, точно какъ будто это такъ и быть должно... И все-таки идешь въ свой отель и только одну думу думаешь: „Господи! да когда же домой-то, домой!“

Пріѣхали. Ужъ въ Вержболовѣ мнѣ показалось, точно я въ рай попалъ. Представьте себѣ: желтенькія бумажки берутъ! Что стоитъ порція рыбчика? — шесть гривенъ. — Вотъ тебѣ желтенькая. — Берутъ и... сдачи два дву-

гривенныхъ даютъ! — Ну, а на это что купить можно? — Оказывается, что можно выпить два стакана чаю съ лимономъ и съ булками... И все это пресерьезно, точно въ самомъ дѣлѣ мѣну производить: ты мнѣ деньги даешь, а я тебѣ товаръ отпускаю... Вотъ что значить отвычка! видишь, поступки самые правильныя — и глазамъ не вѣришь... Все думаешь: какъ это такъ! пять минутъ назадъ на желтенькую бумажку и смотрѣть никто не хотѣлъ, а тутъ съ руками ее рвутъ! Ахъ, нѣмцы, нѣмцы! еслибъ вы только знали, какое будущее этой бумажкѣ предстоитъ — вы бы... Но нѣтъ, лучше до времени помолчимъ...

Народы завистливы, мой другъ. Въ Берлинѣ надъ вѣнскими бумажками насмѣхаются, въ Парижѣ — при видѣ берлинской бумажки головами покачиваютъ. Но нужно отдать справедливость французскимъ бумажкамъ: всѣ кельнера ихъ съ удовольствіемъ берутъ. А все оттого, какъ объяснилъ мой пріятель, краснохолмскій негодіантъ Блохинъ (см. „За рубежомъ“), что „у француза баланецъ есть, а у другіеихъ прочіеихъ онъ прихрамываетъ, а кои и совсѣмъ безъ баланцу живутъ“.

Но вотъ наконецъ и Петербургъ. Пріѣхали, сыскали рыдванъ — ахъ, да не возили ли въ немъ оспенныхъ? — ну, съ Богомъ, трогай! Ыдемъ: на улицахъ чуть брезжетъ, сверху — изморозь, лошади едва ногами перебираютъ. кнутъ такъ и стучитъ по крышкѣ кареты. Стой! подкова у одной лошади свалилась... И вдругъ мысль: а вѣдь въ Парижѣ сегодня „Le monde où l'on s'ennuie“ даютъ... Эхъ, хорошо бы въ обратный путь! Конечно, это ложный позывъ, но кто же можетъ поручиться въ настоящее загадочное время, гдѣ кончается дѣйствительное желаніе и гдѣ начинается ложный позывъ?

Наконецъ однакожъ пріѣхали: „тиру-у, ка-торж-ния!“ Лѣстница освѣщена, въ квартирѣ тепло, на столѣ — самоваръ и мягкія филипповскія булки. Хорошо, что и говорить. Вотъ это-то именно и мелькало въ Парижѣ, когда такъ страстно звенѣла въ головѣ мысль: домой! Въ представленіи о самоварѣ есть что-то до того ласкающее и притягивающее, что многіе связываютъ съ нимъ даже представленіе о прочности семейнаго союза. Какъ бы то ни было, но цыганскимъ скитаніямъ — конецъ. Конецъ отелямъ, съ ихъ сомнительнымъ, проплеваннымъ комфортомъ, конецъ нелѣпой ѣдѣ въ ресторанахъ и за табльдотами, конецъ разноязычному говору! Спокойствіе, тишина, просторъ, тепло, настоящій письменный столъ, собственные постели, домашняя кухня, пироги... „Брусники-то наварили ли? посолилили рыжиковъ?“

Оказывается, что и насолили, и наварили. Да вотъ еще тетенька отварныхъ бѣлыхъ грибовъ изъ деревни прислала!.. ахъ, тетенька! И какіе грибки — одинъ къ одному! Шляпки — смуглыя, корешки — подъ самую шляпку сѣзаны... проказница вы, право! И еще оказывается, что въ лавкахъ ужъ съ недѣлю какъ кислая капуста показала — стало быть, завтра къ обѣду можно будетъ кислая щи соорудить, а пожалуй и пирогъ съ свѣжей капустой затѣять... Цѣлую ночь я жилъ этой надеждой, да и на другой день утромъ, разбирая бумаги, вседумалъ: „а вотъ ужъ щи изъ кислой капусты подадутъ!“

Вотъ тихія удовольствія, которыя встрѣчаютъ васъ дома съ первыхъ же шаговъ и пользованію которыми никто въ цѣломъ мірѣ, конечно, не воспрепятствуетъ. Но разъ вы дали имъ завладѣть собою, тонъ всей послѣдующей



жизни вашей ужъ найденъ. И искать больше нечего. „Дворникамъ-то, дворникамъ-то дали ли на водку?“ — Съ прїѣздомъ, вашескородіе! — „Благодарю! вотъ вамъ три марки!“ — У насъ, вашескородіе, эти деньги не ходятъ!.. — Представьте себѣ! „Ну, такъ вотъ вамъ желтенькая бумажка!“ — Счастливо оставаться, вашескородіе!

Ну-съ, господа домохозяды, давайте теперича жить. Кушайте, гуляйте... чтѣ, бишь, еще? Ну, да впрочемъ тамъ видно будетъ! А куда кушайте и гуляйте! Съ дворниками не сеорьтесь, ибо начальство уважать надо. Иностранныхъ словъ на улицѣ и въ публичныхъ мѣстахъ не употребляйте, ибо это наводитъ простодушныхъ слушателей на размышленія о сокрытіи образа мыслей. Я-то, конечно, знаю, что образъ мыслей у васъ самый благонадежный, но надобно, чтобъ и другіе это знали. Поэтому говорите внятно, не торопясь, точно перлы нижете. Пускай слушаютъ.

Кажется, на первый разъ довольно, да вѣдь пора ужъ и баиньки. Вхали-ххали трое сутокъ, не останавливаясь — авось заслужили! „Господа дворники! спать-то допускается?“ — Помилуйте, вашескородіе, сколько угодно! — Вотъ и прекрасно. Въ теплой комнатѣ, да свѣжее, сухое бѣлье — вотъ она, роскошь-то! Какъ легъ въ постель — сразу качать начало. Покачало-покачало — и вдругъ словно въ воду канулъ.

А на другое утро — чай съ булками и газеты. А ну-те, рассказывайте, чтѣ у васъ тамъ? Представьте себѣ, тетенька, все отлично. Такъ, впрочемъ, я и ожидалъ. Одно только огорчило: письмо мое къ вамъ на почтѣ пропало — ну, да вѣдь я и другое могу написать Сѣль, написалъ — смотрю: ахъ, вѣдь и это должно пропасть! Давай писать третье — и вотъ оно! А не посмотрѣть ли въ окно, чтѣ дѣлается на улицѣ? Дѣти! бѣгите! покойника везутъ! Везутъ его четверкой подъ балдахиномъ; впереди несутъ на подушкахъ ордена; сзади, непосредственно за колесницей, слѣдуютъ огорченные родственники; за ними — безконечная вереница каретъ. Кого хоронятъ? — Тайнаго совѣтника и кавалера. Только-что началъ-было надежды подавать — взялъ да и умеръ. Четыре дня тому назадъ былъ совершенно здоровъ, утромъ ѣздилъ съ визитами, убѣждалъ въ необходимости утвердить потрясенныя основы, предлагалъ средства, понравился и воротился домой бодрый, сіяющій, обнадеженный. Но, къ несчастью, къ обѣду пришелъ другой тайный совѣтникъ, и для дорогого гостя подали къ закускѣ грибовъ. Оба покушали, но другой-то тайный совѣтникъ превозмогъ, а этотъ — не превозмогъ. И вотъ теперь другой тайный совѣтникъ идетъ за гробомъ и рассказываетъ:

— И всего-то покойный грибовъ десятокъ съѣлъ, — говоритъ онъ: — а ужъ къ концу обѣда сталъ жаловаться. Марья Петровна спрашиваетъ: „чтѣ съ тобой, Nicolas?“ а онъ въ отвѣтъ: „ничего, мой другъ, грибовъ поѣлъ, такъ подъ ложечкой“... Подъ ложечкой да подъ ложечкой, а между тѣмъ въ оперу ѣхать надо — ихъ абонементный день. Ну, не поѣхалъ, меня вмѣсто себя послалъ. Только прїѣзжаемъ мы изъ театра, а онъ ужъ и отлетѣлъ!

Проѣхала печальная процессія, и улица вновь приняла свой обычный видъ. Тротуары ослизи, на улицѣ — лужи свѣтятся. Однакожъ люди ходятъ взадъ и впередъ — стало быть, нужно. Нѣкоторые даже передъ окномъ фруктоваго магазина останавливаются, постоятъ-постоятъ и пойдутъ дальше.

А у иных книжки под мышкой — тѣ какъ будто робѣютъ. А вотъ я сижу дома и не робѣю. Сижу и только объ одномъ думаю: „сегодня за обѣдомъ кисля щи подадутъ“...

И представьте себѣ, даже совсѣмъ забылъ о томъ, что мнѣ еще придется свой образъ мыслей въ надлежащемъ свѣтѣ предъявить! Помилуйте! щи изъ кислой капусты, поросенокъ подъ хрѣномъ, жаркое рябички, пирогъ изъ яблоковъ, а на закуску: икра и балыкъ — вотъ мой образъ мыслей! Полагаю, что этого совершенно достаточно, чтобы заслужить похвалу!

Но вотъ наконецъ послышались очаровательные звуки разставляемыхъ тарелокъ и стакановъ... Еще четверть часа — и на столѣ миска, изъ которой валить паръ... Тетенька! простите меня, но я бѣгу... Я чувствую, что въ моей русской груди дрожитъ русское сердце!

Еслибъ во всѣхъ квартирахъ существовали подобные оазисы — это былъ бы идеаль общегитія. Сообразите одно: какое послѣдуетъ сокращеніе перепишки и какъ обрадуются дворники! И я твердо убѣжденъ, что такъ это и будетъ, только не надобно торопиться, а тѣмъ менѣе понуждать. Надобно такъ это дѣло вести, чтобы всякій человѣкъ какъ бы добровольно, самъ отъ себя созналъ, что для счастья его нужны двѣ вещи: пирогъ съ капустой и утка съ груздями. А къ этому, разумѣется, и прочая обстановка: приличная мебель, удобный экипажъ, возможность принять двухъ-трехъ пріятелей и какъ слѣдуетъ напиться, а вечеромъ пулька или двѣ по маленькой. Но долговъ все-таки дѣлать не надлежить.

Само собой понимается, что осуществленіе подобнаго идеала доступно преимущественно для культурнаго человѣка, ибо для того, чтобы имѣть возможность выбирать между уткой съ груздями и поросенкомъ съ кашей, нужно имѣть вольный доходъ: У кого есть имѣніе — тотъ пусть съ имѣнія получаетъ; кто въ разныхъ мѣстахъ дивидендами пользуется — пусть получаетъ дивиденды. Однако можно и трудовыми деньгами благородно жить и даже рассчитывать въ перспективѣ на хорошее будущее. Получилъ за работу рубль: полтину проживи, а полтину за процентъ отдай. Только и всего. Сколько такихъ полтинъ въ годъ наберется! да еще проценты на нихъ! А нынче, тетенька, деньги всякому нужны, стало быть и процентъ за нихъ сообразный идетъ. Тутъ только не зѣвай.

Конечно, вы, живя въ деревнѣ, можете возразить: не всякому, мой другъ, доступно полтинники-то откладывать, потому что есть очень многочисленный классъ людей... Угадываю я, милая, про какой вы классъ говорите, да вѣдь я этого „класса людей“ и не имѣю въ виду. Я и самъ это возраженіе за границей тайному совѣтнику Дыбѣ сдѣлалъ — и знаете ли, чтѣ онъ мнѣ отвѣтилъ? — „А прочіе пусть пребываютъ въ трудахъ!“ — только и всего! Именно такъ оно на практикѣ и происходитъ. Есть люди, которые имѣютъ спеціальною физическій трудъ, и ежели эта задача выполняется ими исправно, то больше ничего отъ нихъ и не требуется. Вѣдь и мы съ вами работаемъ, только въ другой сферѣ, и предки наши тоже работали, а мы теперь пользуемся плодами отъ трудовъ ихъ праведныхъ. Такимъ образомъ, при правильномъ



порядкѣ вещей, оно и идетъ: мы—свое дѣло дѣлаемъ, а люди физическаго труда—свое. Но и послѣднимъ не возбраняется благополучіе свое потихоньку воздвигать—и воздвигаютъ. Примѣры на-лицо: Разуваевъ, Колупаевъ, а у васъ, вы пишете, Финагеичъ процвѣлъ.

А кто этотъ Финагеичъ — не больше, какъ бывшій вашъ дворовый челоѣкъ, который, еще при покойномъ дяденькѣ, у васъ въ домѣ буфетчикомъ служилъ. Помните, бывало, онъ говаривалъ: „я, по милости барской, сытъ, обутъ и одѣтъ—никакой мнѣ воли не надобно!“ А между тѣмъ оказывается, что онъ откладывалъ и все объ волѣ мечталъ. Маленькое тогда полагалось буфетчикамъ жалованьишко—рублей шесть въ годъ — а онъ и его уберегалъ, да найдетъ, бывало, гривенничекъ на полу—и его къ числу прочихъ при-совокупить. Поѣдетъ покойный дяденька въ дальнюю оброчную вотчину побывать, Финагеича съ собой возьметъ, а онъ тамъ сбереженья свои хорошему мужичку за процентъ отдастъ. И дѣлалъ онъ это такъ тихо и благородно, что дяденька такъ и умеръ, не зная, что у него въ буфетѣ капиталистъ сидитъ. Помните, онъ однажды повѣситься хотѣлъ, чуть живого изъ петли вынули—это оттого, какъ онъ мнѣ потомъ сознался, что ему вдругъ съ чего-то показалось, будто баринъ объ его капиталѣ узналъ. Только эмансипація и успокоила его; она же и показала, что у Финагеича коко съ сокомъ припасено. За то онъ теперь и орудуетъ. Когда яйца въ ходу — яйца скупаютъ; когда шерсть нипочемъ — шерстью занимается. А не то, подстерегаетъ, когда съ мужичковъ подати требовать начнутъ. Кабачокъ тоже въ Ворошиловѣ держать, лавочку. Да и вашей старинной ласки не забываетъ: на книжку всякую мелочь по домашности отпускаетъ и никакими требованіями объ уплатѣ не досаждастъ. Только вы не очень все-таки „книжку-то“ запускайте, потому что, неровнѣй часть, и не увидите, какъ Ворошиловское-то ваше гнѣздо къ Финагеичу въ руки перейдетъ.

Вы въ восхищеніи отъ Финагеича, а я и того больше, потому что для меня онъ примѣръ и доказательство. Я всегда говорилъ: для того, чтобъ сдѣлаться Финагеичемъ, нужно только умѣть „подстерегать“; а кому же и кто въ этомъ препятствіе полагалъ? А если и встрѣчается препятствіе, то оно не отъ чьей-нибудь воли исходитъ, а есть слѣдствіе естественной и ни отъ кого не зависящей игры экономическихъ законовъ. Эта игра не допускаетъ, чтобы *всѣ* держали кабаки, *всѣ* торговали яйцами, *всѣ* подстерегали мужичка. И не допускаетъ правильно, потому что еслибы *всѣ*-то подстерегали, тогда и подстерегать было бы некого. Но повторяю: никто въ этомъ не причиненъ, а само собою оно такъ дѣлается. Пути никому не заказаны, а успѣваетъ, разумѣется, тотъ, кто острымъ разумомъ одаренъ. Помните вашего Ваньку-форейтора?—такъ передъ нимъ хоть *всѣ* двери пастежъ отворите, онъ все-таки мимо пройдетъ. На дняхъ приходитъ, по старой памяти, ко мнѣ — ну, такъ ослабъ, такъ ослабъ, что на ногахъ не стоитъ! Жилъ прежде въ извозчикахъ, а теперь ни одинъ хозяинъ даже въ этой скромной должности его держать не хочетъ. Ну, и я, съ своей стороны, не только ничего ему не далъ, а, напротивъ, сказалъ: „пеняй, братецъ, самъ на себя!“ Но пеняетъ ли онъ послѣ моего поученія, или не пеняетъ—это ужъ я сказать не умю.

Однакожъ, кажется, я увлекся въ политико-экономическую сферу, ко-

торая въ письмахъ къ родственникамъ неумѣтна... Чтѣ дѣлать! такова ужъ слабость моя! Сколько разъ я самъ себѣ говорилъ: надо построже за собой смотрѣть! Ну, и смотришь, да проку какъ-то мало изъ этого самонаблюденія выходитъ. Старъ я и болтливъ становлюсь. Да и старинныя преданія въ свѣжей памяти, такъ что хоть и знаешь, что нынче свободно, а все какъ будто не вѣрится. Вотъ и стараешься болтовней слѣдъ замести.

Въ сущности, когда, по прибытіи изъ за границы, я, обращаясь къ домочадцамъ сказалъ: „кушайте и гуляйте“ — я именно настоящую ноту угадалъ. Но когда я къ тому прибавлялъ: „а дальше видно будетъ“ — то заблуждался. Ничего не будетъ видно.

На дняхъ, пообѣдавши, досталъ я старинныя книжки: Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Полежаева, еще кой-кого — и сталъ читать. Хорошо — слова пѣтъ, но какъ-то странно... Для чего все это писалось? Влестящія мысли, раздражающія подстрекательства, мечты, бредни, а трезвенныхъ словъ — ни одного. Скажите, развѣ современному человѣку мечты нужны? Нѣтъ, ему гораздо пріятнѣе знать, снабжены ли городовыя свистками и бодрствуютъ ли дворники. Ежели снабжены и бодрствуютъ — онъ спокоенъ; ежели не снабжены и спятъ — онъ дрожитъ. Не до Пушкиновыхъ намъ. Вотъ когда все устроится прочно, когда во всѣхъ сердцахъ поселится увѣренность, что съ внутренней смуты покончено — тогда и опять за Пушкина съ Лермонтовымъ можно будетъ взяться. Ибо, въ сущности, они писали недурно — этого нельзя отрицать.

Не дальше какъ вчера я эту самую мысль подробно развивалъ передъ общимъ нашимъ другомъ, Глумовымъ, и представьте себѣ, чтѣ онъ мнѣ отвѣтилъ! „Къ тому, говорить, времени, какъ все-то устроится, ты такой скотиной сдѣлаешься, что не только Пушкина съ Лермонтовымъ, а и Фета съ Майковымъ понимать перестанешь!“ Но чтѣ всего обиднѣе: сказать-то не поцеремонился, а обѣдать остался. За обѣдомъ однакожъ я сталъ требовать отъ него объясненія, въ какомъ смыслѣ слова его понимать нужно, и какъ бы вы думали онъ объяснился? — „Да ты, говорить, подойди къ зеркалу, да и посмотри на себя!“ Ну, и домочадцы тутъ же пристали: „посмотрись да посмотрись!“ Дѣлать нечего, всталъ, посмотрѣлся — анъ изъ глазъ-то у меня поросенокъ подъ хрѣномъ гладить!!

Но обществу до всѣхъ этихъ Глумовскихъ превыспренности дѣла нѣтъ; общество хочетъ жить. Я не знаю, какъ вамъ это объяснить, милая тетенька, но именно одна эта идея и господствуетъ надъ всѣмъ. То-есть, идея объ огражденіи человѣческой породы отъ могущихъ угрожать ей случайностей исчезновенія. Въ одно прекрасное утро вы выходите на улицу и видите, что все живущее съѣжилось. Вотъ это-то самое и означаетъ, что „общество“ вознамѣрилось оградить себя отъ напрасной смерти. Оно не высказывается прямо ни относительно людей, зараженныхъ „бреднями“, ни относительно дворниковъ, но какъ-то ужъ чрезчуръ проворно перебѣгаетъ съ одной стороны улицы на другую, какъ только завидитъ возможность сомнительной встрѣчи. Вы видите цѣлую массу буруемыхъ жаждою жизни лю-



дей, и только удивляетесь храбрости, съ которою они рискуютъ попасть подъ колеса конно-желѣзно-дорожныхъ вагоновъ и скачущихъ взадъ и впередъ экипажей.

Да, есть и у трусости своего рода храбрость. Недаромъ компетентные люди рассказываютъ, что встрѣчаются субъекты, которые, имѣя въ перспективѣ завтрашнее сраженіе, предпочитаютъ наканунѣ покончить съ собой при помощи удавки...

Я вовсе не хочу сказать этимъ, что господствующій въ современномъ обществѣ тонъ — предательство и вѣроломство. Я говорю только, что надъ общественнымъ организмомъ, въ какихъ бы условіяхъ существованія онъ ни находился, всегда тяготѣетъ непремѣнное желаніе жить. При благопріятныхъ условіяхъ это желаніе выражается свободно, естественно; при условіяхъ неблагопріятныхъ — спутанно и уклончиво. Еслибъ можно было ходить по улицѣ „не встрѣчаясь“, любой изъ компарсовъ современной общественной массы шелъ бы прямо и не озираясь; но такъ какъ жизнь сложна и чревата всякими встрѣчами, такъ какъ „встрѣчи“ эти разнообразны и непредвидѣнны, да и люди, которые могутъ „увидѣть“, тоже разнообразны и непредвидѣнны — вотъ нашъ компарсъ и бѣжитъ во все лопатки на другую сторону улицы, рискуя попасть подъ лошадей.

На мой вкусъ эта храбрость не симпатична; однако не могу не сказать въ ея оправданіе, что при извѣстныхъ условіяхъ она принимаетъ почти обязательный характеръ. Въ отношеніи къ отдѣльнымъ и выдающимся личностямъ излишнее чувство самосохраненія, конечно, не должно считаться особенно похвальнымъ качествомъ; но общество, взятое въ цѣломъ, руководится въ этомъ случаѣ совѣмъ иными правилами. Оно *обязывается сохранить себя* даже цѣною временнаго обезличенія. Такъ что ежели вы видите массы компарсовъ, перебѣгающихъ съ одной стороны улицы на другую, подъ вліяніемъ общественнаго переполоха, то это совѣмъ не значитъ, что общество измѣнило своимъ симпатіямъ и антипатіямъ, а значитъ только, что оно не сознаетъ себя достаточно сильнымъ, чтобъ относиться самостоятельно къ дворницкому игу.

Эпохи, въ которыя съ особенной силой проявляется это общественное двоегласіе, суть эпохи очень печальныя и, можетъ быть, даже безправственныя. Но нельзя, не впадая въ крайнюю несправедливость, относить къ обществу то чувство негодованія, которое при этомъ возбуждается. Не оно тутъ на первомъ планѣ, а тотъ воздухъ, тѣ міазмы, которыми оно дышетъ. Вѣдь оно дышетъ этими міазмами не добровольно; не потому, что признаетъ ихъ здоровыми, а потому что дѣваться отъ нихъ некуда. А между тѣмъ, повторяю, на немъ, на этомъ еле-дышущемъ обществѣ, лежитъ фаталистическая обязанность жить. Жить, то-есть оградить будущее идущихъ за нимъ поколѣній.

Наше общество немногочисленно и не сильно. Притомъ оно искони идетъ вразбродъ. Но я убѣжденъ, что никакая случайная вакханалія не въ силахъ потушить тѣ искорки, которыя уже засвѣтились въ немъ. Вотъ почему я и повторяю, что хлѣвное ликованіе можетъ только наружно окатить общество, но не снесетъ его, вмѣстѣ съ грязью, въ водосточную яму. Я впро-

чемъ не отрицаю, что періодическое повтореніе хлѣвныхъ торжествъ можетъ повергнуть общество въ уныніе, но вѣдь уныніе не есть отрицаніе жизни, а только скорбь по ней.

То же самое явленіе обезличенія несчетное число разъ отражалось и на нашей литературѣ, и именно по преимуществу на той ея части, которая провозглашала принципы человѣчности и была наиболѣе предана интересамъ родины. Бывали для этой литературы времена очень тяжкія, и длились они безпросвѣтно и безсрочно, но она и за всѣмъ тѣмъ никогда не умолкала. Какъ бы инстинктивно чувствовала она, что на ней лежитъ обязанность обереечь будущее человѣческой мысли, будущее лучшихъ человѣческихъ стремленій, и что если она хоть на минуту смолкнетъ, то молчаніе это будетъ равносильно смерти. Благодаря этому, она живетъ и доднесь. Сѣрая, чахлая, еле-дышущая, но живетъ.

Нѣтъ зрѣлища, болѣе надрывающаго человѣческое сердце, какъ зрѣлище общаго унынія, общей скорби по жизни. Но все-таки не надо думать, что общество когда-нибудь погибнетъ подъ гнетомъ этого унынія и что оно вынуждено будетъ воспринять хлѣвные принципы въ свои нравы. Надо гнать прочь эту мысль даже въ томъ случаѣ, ежели она выступаетъ впередъ назойливо и доказательно. Надо всечасно говорить себѣ: нѣтъ, этому нельзя стать! не можетъ быть, чтобъ бунтующій хлѣвъ покорилъ себѣ вселенную! Не слѣдуетъ забывать, что хлѣвные принципы обязаны своимъ торжествомъ лишь совершенно исключительнымъ обстоятельствамъ, которымъ общество ни въ какомъ случаѣ непричастно. Но вѣдь должна же когда-нибудь настоящая, правильная жизнь вступить въ свои права. И она вступитъ. И компарсы, такъ усердно, подъ гнетомъ паники, перебѣгающіе черезъ дорогу, дабы уйти отъ компрометирующихъ встрѣчъ, вновь почувствуютъ присутствіе оживляющихъ искорокъ и съумѣютъ отличить тѣхъ, которые въ минуты унынія поддерживали въ обществѣ вѣру въ жизнь, отъ тѣхъ, которые вносили въ него только язву междоусобія.

Я твердо вѣрю, что такой моментъ наступитъ и что такъ-называемыя „бредни“ ежели и не восторжествуютъ вполне, то во всякомъ случаѣ будутъ имѣть свое значеніе на вѣсахъ будущаго. Поэтому и васъ, милая тетенька, прошу: не ослабѣвайте! Кушайте, гуляйте, почивайте! но все-таки помните, что прошлое обязываетъ. И ежели вашъ урядникъ будетъ васъ убѣждать: „сударыня! послушайте, какой пріятный лай съ Москвы несется — не присоедините ли и вы къ нему своего собственнаго?“ — то отвѣчайте кратко, но твердо: „во-первыхъ, я не умѣю лаять, а во-вторыхъ, еслибъ и умѣла, то предпочла бы лаять самостоятельно“.

„Бредни“ слишкомъ разнообразны по своимъ цѣлямъ, чтобы та или другая могла претендовать на непосредственное и всецѣлое осуществленіе. Но важно то, что у всѣхъ у нихъ основной принципъ одинъ: человѣчность. Подробностями и даже нѣкоторыми существенными чертами можно и поступиться, но если даже только одно общее представленіе о человѣчности найдеть себѣ достаточно прозелитовъ, то и это уже значительный шагъ впередъ. Человѣчность пролетъ въ жизнь бальзамъ умиротворенія, сообщить ей смягчающіе тоны, удалить трепеты и сдѣлаетъ ее способною развиваться.



Повторяю: я убѣжденъ, что честные люди не только пребудутъ честными, но и побѣдятъ, и что на сторонѣ человѣконенавистничества останутся лишь люди, въ конецъ раздавленные личными интересами. Я впрочемъ отнюдь не отрицаю ни силы, ни законности личныхъ интересовъ; но встрѣчаются между ними столь низменные и даже столь подлые, что трудно найти почву, на которой можно было бы примириться съ ними. Вотъ эти-то подлые инстинкты и обладаютъ человѣконенавистниками.

Будьте же добры, голубушка, и не смущайтесь духомъ при видѣ компансовъ, проворно улепетывающихъ въ виду непредвидѣнныхъ встрѣчъ. Но кстати: такъ какъ вы жалуетесь на вашего сосѣда Пафнютьева, который нѣкогда васъ либеральными записками донималъ, а теперь поговариваетъ: „надо же, наконецъ, серьезно взглянуть въ глаза опасности“... то относительно этого человѣка говорю вамъ прямо: опасайтесь его! ибо это совсѣмъ не компансъ, а корифей. Давно ужъ онъ „свѣдущимъ человѣкомъ“ смотреть, давно протягиваетъ руку къ трубѣ и въ настоящую минуту, быть можетъ, уже подносить ее къ губамъ, чтобы вострубить.

Вообще эти земскіе грамотѣи глубоко мнѣ не по душѣ. Орѳографіи не знаютъ, о словосочиненіи—никогда не слыхивали, знаки препинанія—ставятъ *ad libitum*, а непременно хотятъ либеральныя мысли излагать. Да и мысли-то какія—по грошу пара! Когда-нибудь я подробнѣе съ вами объ этихъ корифеяхъ поговорю, а теперь только повторяю: опасайтесь Пафнютьева, ибо у него въ головѣ засѣло предательство. Это корифей, который только для прилику задумчивость на себя напускаетъ, а въ дѣйствительности онъ ужъ давно чтѣ слѣдуетъ разрѣшилъ, куда слѣдуетъ перебѣжалъ и теперь охорашивается. Такихъ людей нынче очень много развелось и всѣ они во что-то „серьезно вглядываются“, въ чаяніи, что ихъ куда-то призовутъ, хоть въ переднюю посидѣть. Но, право, мнѣ кажется, что подождетъ-подождетъ вашъ Пафнютьевъ, а его такъ-таки никуда и не призовутъ: пускай въ Торопецъ изнываетъ! Тогда онъ и опять къ вамъ съ либеральной запиской пріѣдетъ,—только ужъ вы, сдѣлайте милость, прикажите его въ ту пору въ три шен по лѣстницѣ гнать, потому что онъ, въ противномъ случаѣ, весь вашъ домъ запакоститъ. Уряднику, разумѣется, объ его вольнодумствѣ не доносите—это нехорошо,—а просто собственными средствами распорядитесь.

Помните ли вы тотъ вечеръ, когда Пафнютьевъ, въ нашемъ маленькомъ кружкѣ (тутъ были: вы, я, маркизъ Шассе-Круазе, Ивановъ, Ѳедотовъ и въ качествѣ депутата отъ крестьянъ—вашъ сельскій староста, Прохоръ Распротѣковъ) прочиталъ свою первую либеральную записку: „Имѣя уши слышать да слышать“? Помните, какъ, по окончаніи чтенія, вы отозвали меня въ сторону и сказали: „ахъ, все мое существо проникнуто какою-то невыразимо сладкою музыкой!“ А я на это (сознаюсь: я былъ грубъ и не деликатенъ) отвѣтилъ: „не понимаю, какъ это вы такъ легко по всякому поводу музыкой наполняетесь! просто дрянно съ пылью!“ Ахъ, какъ вы тогда на меня разсердились! Назвали невѣрующимъ, безсердечнымъ, *un homme qui ne comprend pas la poésie du coeur*... И я былъ глубоко несчастливъ, слушая ваши укоры, до того несчастливъ, что готовъ былъ просить у васъ прощенія и поцѣло-

вать Пафнютьева въ уста... А теперь что источаютъ эти уста? Чей судъ былъ правъ: вашъ или мой?

Нѣтъ, ради Бога, не смѣшивайте въроломнаго корифейства Пафнютьевыхъ съ тою гнетущею подавленностью, которую вы отъ времени до времени замѣчаете въ обществѣ. Примиритесь съ послѣднемъ и опасайтесь перваго.

## Письмо четвертое.

А вотъ вамъ и еще оазисъ.

На дняхъ стою у окна и вижу, что напротивъ, черезъ улицу, въ разтворенномъ окнѣ, вставши на подоконникъ и подоткнувъ платье, старушка перетираетъ стекла подъ зимнія рамы. Беру бинокль, вглядываюсь и кого жъ узнаю — Ѳедосьюшку!

Помните ли вы Ѳедосьюшку, которая при дѣдинькѣ у васъ въ домѣ ключницей была? Еще странный такой случай съ ней былъ: до сорока-пяти лѣтъ, покуда крѣпостною была, ни на какіе соблазны не сдавалась, слыла дѣвицею, а какъ только крѣпостное право упразднили, такъ сейчасъ же забеременѣла? Помните, какъ покойной дѣдинька стыдилъ ее, какъ вашъ тогдашній батюшка, отецъ Яковъ, попросѣвъ дѣдиньки, ее усовѣщивалъ: „ты думала любезновѣрное ликованіе этимъ поступкомъ изобразить, анъ, вмѣсто того, явила лишь легковѣріе и строптивость!“ Зачѣмъ они ее стыдили и усовѣщивали — теперь я этого совершенно не понимаю; но тогда мнѣ и самому казалось: ахъ, какую черную неблагодарность Ѳедосьюшка выказала! Однако, какъ ни стыдили Ѳедосьюшку, а она взяла да и родила Домнушку. Теперь этой Домнушкѣ невстучно двадцать лѣтъ, только она ужъ не Домнушка, а Ератидушка и обладаетъ очень серьезными женскими атурами, которыми распоряжается съ большимъ тактомъ. Впрочемъ не будемъ предупреждать событія...

Понятно, что одинъ видъ Ѳедосьюшки взбудоражилъ во мнѣ всѣ дорогія воспоминанія прошлаго. До такой степени взбудоражилъ, что я не воздержался и на всю улицу крикнулъ.

— Ѳедосьюшка! ты?!

Сначала она испугалась и чуть на мостовую не грохнулась; но когда увидѣла мои распростертыя руки, то и сама умилилась душой. А черезъ нѣсколько минутъ мы уже бесѣдовали какъ старые пріятели,

Тетенька! представь себѣ: у Ѳедосьюшки есть шляпка и ротонда! Шляпка, правда, не совсѣмъ модная, но года два тому назадъ и вы охотно надѣли бы такую. Съ краснымъ перомъ. Ротонда тоже не разъ въ чисткѣ бывала, однако и теперь хоть статской совѣтницѣ надѣть не стыдно. Дома она ходитъ въ чепцѣ съ оборками и въ люстриновой блузѣ (исключая однакожъ тѣ случаи, когда моетъ окошко), но, идя ко мнѣ, пріодѣлась, надѣла шелковый капотъ масакъ и, кажется, даже подмостила подъ него крахмальную



юпку. Словомъ, старушка — хотъ сейчасъ къ любому столоначальнику въ посаженія матери.

— Да какая же ты франтиха, Оедосьюшка! — изумился я.

— А это меня дочка награждаетъ, — отвѣчала она: — пондситъ-пондситъ, а потомъ мнѣ отдастъ. Кдѣ я продамъ, а кдѣ — перешью и донашиваю.

Стали мы съ ней о прошлыхъ временахъ вспоминать: оказывается, что она благодарная. О крѣпостномъ правѣ вспоминаетъ съ удовольствіемъ; говорить, что только тогда и былъ настоящій страхъ Божій. И объ васъ вспомнила и много разспрашивала: „помните, говоритъ, вы съ барышней соловьевъ въ рощу слушать ходили?“ Призналась, что въ повара Тимофея двадцать лѣтъ сряду была влюблена, но все не смѣла; а когда волю объявили, тогда осмѣлилась. Что, впрочемъ, совсѣмъ это не было съ ея стороны строптивостью или желаніемъ показать, что вотъ она теперь вольная, а надо же было когда-нибудь... А Тимофеей, поживши на волѣ, сначала „ослабъ“, потомъ ослѣпъ, а теперь поступилъ въ богадѣльню. И она къ нему раза два въ мѣсяцъ ходить; когда цѣлковый, когда два снесетъ, да чайку, да сахарку: все же не чужіе были!

— У кого же ты теперь живешь, Оедосьюшка? — спросилъ я.

— А тутъ у дочки, насупротивъ васъ, въ квартирѣ и живу. Да меня, признаться, Оедосеей-то нынче ужъ не зовутъ, а Катериной, да еще Карловой. Да и Катериной-то зваться не велятъ, а *Екатериной*. И дочку изъ Домны въ Ератиду передѣлали.

— Кто-жъ это васъ такъ окрестилъ?

— Все кавалеры наши... Ератидушка-то сразу къ новому имени привыкла, а я долгонько-таки путалась. Пуще всего — анделовъ прежнихъ жалко: я своему-то анделу 29-го мая прежде праздновала, а нынче 24-го ноября праздновать велятъ.

— Господи! такъ, стало быть, Домнушка-то...

— Чтѣ ужъ! шила въ мѣшкѣ, видно, не утаишь! Въ какеткахъ, сударь, она. Такъ и въ участкѣ прописана.

— Какетка, то-есть?

— Какотка ли, какетка ли... кто ихъ тамъ разберетъ! А впрочемъ ничего, живемъ хорошо: за квартиру двѣ тысячи въ годъ платимъ, пару лошадей держимъ... Только притѣсняють ужъ очень это самое званіе. Съ другихъ за эту самую квартиру положеніе полторы тысячи, а съ насъ — двѣ; съ другихъ за пару-то лошадей сто рублей въ мѣсяцъ берутъ, а съ насъ — полтора. Вотъ Ератидушка-то и старается.

— Да какимъ же образомъ она на эту дорогу попала?

— А какъ попала?... Жила я въ ту пору у купца у древняго въ кухаркахъ, а Домнушкѣ шестнадцатый годокъ пошелъ. Только сталъ это старикъ на нее поглядывать; зазоветъ къ себѣ въ комнату, да все рукой гладить. Смотрѣла я, смотрѣла, и говорю: ну, говорю Домашка, ежели да ты... А она мнѣ: „неужто-жъ я, маменька, себя не понимаю?“ И точно, сударь! прошло ли съ мѣсяцъ времени, какъ ужъ она это сдѣлала, только онъ ей разомъ десять тысячъ отвалилъ. Ну, мы сейчасъ отъ него и отошли.

— Ахъ! какъ же это вы такъ! — огорчился я за старика.

— Ну, что его жалѣть! Пожилъ-таки въ свое удовольствіе, старости лѣтъ сподобился—чего ему, ису, еще надо! Лежи да полеживай, а то нѣтко что вздумалъ! Ну, хорошо; получили мы этга деньги, и такъ мнѣ захотѣлось опять въ Ворошилово, такъ захотѣлось, такъ захотѣлось! Только объ одномъ и думаю: попрошу у барыни поддесятики за старую услугу отрѣзать, выстрою питейный да лавочку и стану помаленьку торговать. Такъ что жъ бы вы думали—Ератидушка-то моя?—зажала деньги въ руку и не отдаетъ!

Өедосьюшка закручинилась и уронила слезу. Я хотѣлъ-было эту слезу залучить въ пузырекъ, чтобы потомъ подвергнуть ее химическому разложению и опредѣлить, сколько въ ней частицъ семейнаго союза содержится и сколько другихъ примѣсей, но, къ сожалѣнію, она торопливо отерла глаза и продолжала свое повѣствованіе.

Оказывается, что вѣдь Домнушка-то—умница! Несмотря на свои шестнадцать лѣтъ, она сейчасъ же поняла, что до поры до времени ей незачѣмъ въ деревню ѣхать. Получивши отъ старика купца десять тысячъ, она разсудила, что это только начало и что въ будущемъ ея молодость и красота должны дать ей гораздо больше. Поэтому, рискуя огорчить мамашу, она не только не отдала ей денегъ, но въ короткое время разсорила ихъ повидимому самымъ непроизводительнымъ образомъ. Наняла французенку, танцмейстера, учительницу музыки, и цѣлыхъ полгода себя „обнатуривала“, такъ что теперь и канканъ можетъ станцовать, и на фортепьянахъ побренчать, и „La chose“ пропѣть. За то во всемъ прочемъ выказала бережливость самую разсудительную. „Бывало (сказывала мнѣ Өедосьюшка), извозчикъ двугривенный просить, такъ она ему никогда больше пятиалтыннаго не дастъ“. И когда почувствовала, что совѣмъ готова, то начала похаживать по гостинному двору.

Это былъ рѣшительный шагъ, которымъ она еще разъ доказала, какая она умница. Она отлично поняла, что хотя у купцовъ шиоръ нѣтъ, но за то у нихъ есть лавки, и въ нихъ всякій товаръ. Стало быть, деньги деньгами, а матерія, вещи и бакалея—само собой. И точно: скоро ей и опять хорошій случай вышелъ. Купецъ, да на этотъ разъ ужъ молодой, встрѣтился съ ней на Крестовскомъ, и сразу понялъ, что она умница. И что жъ бы вы думали, тетенька! другая, на ея мѣстѣ, непременно продешевила бы (прежнія-то деньги подъ исходъ ужъ шли), а она выдержала себя: дай, говорить, десять тысячъ! Привезли онѣ съ мамашей этого купца къ себѣ на квартиру и напоили его пьянаго... И, должно быть, у купца легкая рука была, потому что съ тѣхъ поръ Домнушкѣ такъ и повалило. Дальше да больше, такъ что теперь меньше какъ съ „сѣтельной“ и не пристунайся къ ней.

Купцамъ она, во-первыхъ, потому нравится, что хоть она и русская, а по-французскому такъ и „рждѣтъ“; во-вторыхъ, потому, что она изъ ихъ словія не выходитъ, а въ-третьихъ, потому, что ужъ очень чисто себя держитъ. Өедосьюшка сначала была того мнѣнія, что для гостинаго двора чистота—пустое дѣло: но теперь и она убѣдилась, что купцы чистоту понимать могутъ. Однимъ словомъ, Домнушкѣ нѣтъ отбоя отъ гостинодворскихъ Меркуріевъ. По вечерамъ у нея, часовъ съ девяти, почти всегда компанія: пьютъ, въ тринку играютъ, пѣсни поютъ. Однако дебоширства или политическихъ разговоровъ, а тѣмъ паче превратныхъ толкованій, Домнушка не допускаетъ:



сиди смирно, благородно, а не то и дворника велить мамашѣ позвать. И всегда она считается въ части съ тѣмъ, кто въ тринку выигрываетъ. А въ часъ или много въ половинѣ второго ночи ужъ ни одного огня въ квартирѣ не видно. Такъ что и сосѣди, видя, какъ Ератидушка солидно ведетъ себя, не нарадуются на нее.

Въ настоящее время мать и дочь живутъ душа въ душу. Сначала Оедосьюшка обижалась тѣмъ, что Домнушка не даетъ ей капиталомъ распоряжаться, но теперь поняла, что она умница. Отъ времени до времени впрочемъ она получаетъ отъ дочери то два, то три рубля, и вотъ изъ этихъ-то денегъ и побаловываетъ Тимофея. Одно время старушка домогалась, чтобы ей предоставленъ былъ доходъ съ картъ; но Домнушка и тутъ очень разсудительно отказала ей, сказавъ, что доходъ этотъ должны дѣлить между собой горничная (она же и за лакея) и кухарка. За то прислуга обожаетъ ее. Да и какъ не обожать! вѣдь, сверхъ картъ, купцы, какъ подопьютъ, не мало и на полъ денегъ роняютъ — и это тоже прислугѣ достается. Словомъ сказать, въ самое короткое время даже прислуга въ такое блестящее положеніе пришла, что хоть сейчасъ кабакъ открывай!

Но, по моему, главная заслуга Домнушки все-таки въ томъ состоитъ, что она гостиному двору не измѣняетъ. Согласитесь сами: ей всего двадцать лѣтъ, кругомъ усы, на каждомъ шагу палаша, шпоры — долго ли до грѣха! Были такіе, которые и подсылали, а она подумаетъ-подумаетъ: „нѣтъ, скажетъ, коли ужъ на какую линію попала, такъ и надо на этой точкѣ вертѣться!“ Оедосьюшка сказывала мнѣ, что она и къ тому купцу съ повинною ѣздила, который ей первая десять тысячъ подарилъ. Ничего, принявъ радужно, увелъ въ кабинетъ, погладилъ и сказалъ: „я и самъ на твоёмъ мѣстѣ такъ же бы поступилъ“. Съ тѣхъ поръ она къ нему во всѣ большіе праздники ѣздитъ, и онъ всякій разъ ей двѣ сотенныхъ подарить. Но вотъ что удивительно: самъ-то онъ ужъ нынче ногами не владѣетъ, а возить его въ коляскѣ по комнатамъ дѣвица Агриппина, такъ даже эта Агриппина къ Домнушкѣ никакой зависти не чувствуетъ. Совсѣмъ напротивъ, отъ времени до времени даже посѣщаетъ ее и заимствуется отъ нея обращеніемъ. Вотъ какъ умѣетъ Домнушка всѣхъ въ свою пользу расположить!

Одно только горе у нея: до сихъ поръ ни одного жида не успѣла къ себѣ залучить. Но грекъ уже есть. Такой грекъ, который, по словамъ Оедосьюшки, торгуетъ орѣхами, да все грецкими. И ей, старушкѣ, по фунту и по два дарить.

Сколько успѣла Домнушка денегъ въ теченіе пяти лѣтъ накопить — этого Оедосьюшка доподлинно не знаетъ. Но знаетъ вѣрно, что „умница“ отнюдь не намѣрена безерочно въ „кокооткахъ“ оставаться: еще годиковъ пять — и будетъ. Тогда она выйдетъ замужъ за статскаго совѣтника (даже и подыскала ужъ такого!), опять назовется Домной (болярыня Домна Тимоеевна — право, это звучитъ хоть куда!) и купить имѣніе. Статскаго совѣтника и теперь всѣ въ домѣ принимаютъ какъ родного, кормятъ пирогами и изрѣдка позволяютъ посмотреть въ замочную скважину, какъ Домнушка одѣвается. Но въ свои комнаты „умница“ допускаетъ его рѣдко, и то когда нѣтъ гостей; въ прочее же время предоставляетъ его въ распоряженіе ма-

маши, которая уводитъ его въ свою комнату, и тамъ они вчетверомъ, съ горничной и кухаркой, дуются въ свои козыри.

Но знаете ли, какая еще неотвязная мысль смущаетъ Домнушку? — Это мысль: во что бы то ни стало приобрести у васъ Ворошилово. Разумѣется, тогда, когда ужъ она будетъ статской совѣтницей и боляриней. Хотя она была вывезена изъ Ворошилова нитилѣткомъ, такъ что едва ли даже помнить его, но Федосьюшка такъ много натвердила ей о тамошнихъ „чудесахъ“, что она и спать и видѣть поселиться тамъ.

— Еще годковъ пять помыкаемся, — говорила мнѣ Федосьюшка: — да увидѣмъ замужъ за Ивана Родивоныча, а тамъ и укатимъ въ свое мѣсто. Безпремѣнно она у барыни всю усадьбу откупить. Ужъ ты сдѣлай милость, голубчикъ, напиши тетенькѣ-то, чтобъ она годковъ пять покрѣпилась, не продавала. Слышали мы, что она съ Финагенчемъ позануталась, такъ мы и теперь можемъ сколько-нибудь денегъ за процентъ дать, чтобъ ее вызволить. А черезъ пять лѣтъ и остатнія отдадимъ — ступай на всѣ четыре стороны!

— Да вѣдь доходы-то съ Ворошилова... — сболтнулъ-было я, но, къ счастью, она сама меня прервала.

— И насчетъ доходу не сумлѣвайся, — сказала она: — это у тетеньки оно доходу не даетъ, а у насъ — будетъ давать. Мы вѣдь по другому хозяйству-то поведемъ, мы мужичка-то кругомъ окружимъ. Поцарствовали при тетенькѣ — и будетъ съ нихъ. И Финагенча сократимъ — будь спокоенъ! А то закопался тамъ, старый песъ, думаетъ, что и управы на него нѣтъ. Да вотъ еще, милый баринъ, вы тетенькѣ что напишите: чтобъ рощицу-то, которая противъ усадьбы, она поберегла. Ужъ такая эта веселая рощица! Березки все да дубки, а грибовъ сколько — страсть! Вотъ и будетъ по ней Ератидушка съ Иваномъ Родивонычемъ подъ-ручку гулять!

И, помолчавъ съ минуту, прибавила:

— А главная причина: храмъ Божій въ Ворошиловѣ очень хорошъ! ужъ такъ-то хорошъ, ахъ, какъ хорошъ!

Я дословно передаю вамъ Федосьюшкину просьбу, милая тетенька, такъ какъ, по мнѣнію моему, она заслуживаетъ серьезнаго съ вашей стороны вниманія. Если нѣтъ у васъ крайности, то, дѣйствительно, потерпите съ Ворошиловымъ: Домнушка современемъ хорошія деньги вамъ за него дастъ. Конечно, только контора Юнкера знаетъ положительно, сколько у „умницы“ денегъ, а я могу лишь предположенія на этотъ счетъ дѣлать. Но предполагаю, что много. Ей же, во что бы то ни стало, хочется барыней быть, и именно въ томъ самомъ мѣстѣ, которое ея мать видѣла въ рабскомъ состояніи. Ужъ и теперь она задумывается, какъ бы новый колоколъ для ворошиловскаго храма отлить но покуда еще сомнѣвается, будетъ ли ея жертва угодна. Но когда она сдѣлается статской совѣтницей, тогда навѣрное жертва ея будетъ угодна. Притомъ же у нея и планъ дѣйствій давно готовъ. Какъ только засядетъ она въ Ворошиловѣ, сейчасъ же откроетъ *свой* кабакъ, а при немъ бѣдную харчевню и лавку. Финагенча вытѣснитъ, такъ что мужички будутъ ужъ на нее одну работать. А статскій совѣтникъ будетъ на работы выходить и мужичковъ понуждать. Словомъ сказать, такую буколицу завѣдутъ, какая и Виргилію не снилась. Тѣ поля, которыя у васъ остаются невоздѣланными и



на которыхъ *ничего* не растетъ, будутъ у нея и воздѣланы, и выхолены, и станутъ на нихъ всякіе злаки дыбомъ расти. И всѣ эти результаты будутъ достигнуты ею за ничто; гдѣ зас таканъ водки, а гдѣ и просто: „а нуте-ка, дѣвушки, приходите ко мнѣ гуляючи на денекъ пожать!“ Во всякомъ случаѣ, повторяю: помимо того, что всякому пріятно въ родномъ мѣстѣ пышнымъ цвѣтомъ расцвѣсти, для нея и расчетъ купить Ворошилово: Оедосьюшка будетъ тутъ ея дѣйствительною помощницей, потому что она всякую ворошиловскую былинку знаетъ. Но, съ другой стороны, имѣются и слабыя стороны у этихъ предположеній. Пять лѣтъ — много, а тѣмъ временемъ Финагеичъ, пожалуй, успѣетъ у васъ всю округу высосать. А Домнушка на этотъ счетъ прозорлива: замѣтитъ, что ворошиловскій мужичокъ на ладанъ дышетъ — возьметъ да и купить усадьбу у Пафнутьева, а къ вамъ будетъ только къ обѣднѣ ѣздить да колокола лить. Такъ вы ужъ за Финагеичемъ-то присмотрите, да и коровъ-то своихъ, за годъ времени, подкормите — будто какъ настоящія коровы на скотномъ стоятъ. А вы еще пишете: „Финагеичъ, за старыя услуги, проситъ ему десятинку сзади парка, противъ деревни, отрѣзать“... И не думайте! онъ васъ этой десятинкой такъ поработитъ, а ежели вы чуть противное слово скажете, такъ васъ по судамъ изъ-за нея водить начнетъ, что рады-радехоньки будете, ежели васъ только въ мѣста не столь отдаленныя ушлютъ! А вы лучше вотъ чтò сдѣлайте: „книжку“, на которую вы у Финагеича домашній припасъ забираете, сочтите, и увѣдомьте меня, сколько въ итогѣ окажется. Я и у Домнушки занимать не буду (воображаю, какой она процентъ возьметъ!), а просто разыграю въ вашу пользу лотерею.

Какъ бы то ни было, у васъ теперь два покупателя въ перспективѣ: Финагеичъ и Домнушка. Чтò касается до меня, то я положительно на сторонѣ Домнушки. Подумайте! чего одинъ этотъ срамъ стоитъ: за долгъ по Финагеичевой „книжкѣ“ (добро бы „по счету“ мадамъ Изомбаръ!) отчину и дѣдину потерять!

Возобновивши знакомство съ Оедосьюшкой, я началъ наблюдать за Домнушкиной квартирой, и могу только повторить: умница! умница! умница!

Каждое утро, въ девять часовъ, стора въ одномъ изъ оконъ ея спальни поднимается, и я вижу иногда брүнета, иногда блондина, но большею частью кавалера съ просѣдью, который охорашивается передъ трюмо и у котораго на лицѣ написано: въ гостинный дворъ тороплюсь, отпираться пора! Умывается ли онъ — сказать не могу, но думаю, что ежели и умывается, то въ лавкѣ; но если и позабудетъ умыться, то никто на немъ не взыщетъ. Въ одиннадцать часовъ поднимаются сторы и въ другихъ двухъ окнахъ, п у средняго, передъ туалетомъ, появляется сама Домнушка, въ кофтѣ, порядочно растрепанная, съ косичкой („коса“ покуда покоится въ картонкѣ), болтающей на плечѣ. Лицо у нея утомлено; нѣсколько минутъ она потягивается и зѣваетъ (и непременно крестить ротъ при этомъ), п изрѣдка заглядываетъ подъ кофту, все ли тамъ благополучно. Потомъ подходитъ къ другому окну, около котораго стоитъ шкафъ, и вынимаетъ вчерашнюю выручку. Сотенныя бумажки (одну, но иногда и больше) присоединяетъ къ сотеннымъ, десятирублевыя къ десятирублевымъ и т. д. Но если наканунѣ кушцы въ трынку играли, то попадаются и рублевыя. Затѣмъ, приведя въ порядокъ финансы,

защелкнувъ пачки въ каучуковые кружки и записать на бумажкѣ итогъ, она на цѣлый часъ исчезаетъ. Въ это время она пьетъ кофе, смываетъ съ лица вчерашніе поцѣлуй и дѣлаетъ распоряженія по содержанію себя въ чистотѣ, такъ чтобы въ теченіе дня уже не возвращаться къ этому предмету.

Спальня у нея не роскошно, но очень прилично убрана палевымъ кресломъ. Черезъ четверть часа является горничная и прежде всего собираетъ разбросанныя по стульямъ и кресламъ принадлежности женскаго туалета. Потомъ начинаетъ убирать постель, мѣняетъ бѣлье („иричка каторжная одна чего стоить!“ жаловалась мнѣ Федосюшка), и если замѣтитъ слѣды какого-нибудь насѣкомаго, то слегка посыпаетъ матрацъ персидскимъ порошкомъ. Около половины перваго Домнушка опять появляется и начинаетъ отдѣлывать себѣ голову и лицо. До двухъ часовъ она не отходитъ отъ туалета, то присядетъ, то привстанетъ, то отойдетъ подальше, то чуть не къ самому стеклу зеркала лицомъ прильнетъ. Въ два часа лицо готово, и она подходитъ къ окну — ну, точно сейчасъ распутившаяся роза, спрыснутая росой! Ахайте, купцы!

Съ двухъ до трехъ — одѣванье. Домнушка стоитъ передъ трюмо и, выгнувъ голову, смотрится разомъ и въ трюмо, и въ туалетное зеркало, которое отражаетъ ея атуры. Надѣвши корсетъ и обнаживши выхоленныя плечи, она долгое время принимаетъ самыя разнообразныя позы. То подниметъ руки вверхъ, то опуститъ ихъ, то перегнетъ станъ на правый бокъ, то на лѣвый, то вдругъ быстро перевернется, какъ будто хочетъ сказать: а вотъ не поймаешь! И все это ради гостиннаго двора! И во все время продолжается отдѣлка лица, хотя я долженъ сознаться, что отдѣлка эта большею частію въ томъ состоитъ, что Домнушка помуслитъ пальчикъ и въ одномъ мѣстѣ притретъ, а въ другомъ — наведетъ. Не мастеръ я эволюцій-то эти описывать, да многого и не знаю, а можно бы цѣлую книжку написать, и очень была бы въ наше время эта книжка полезна, чтобы отъ превратныхъ толкованій отдохнуть. Въ началѣ четвертаго Домнушка окончательно готова; она опять подходитъ къ денежному шкафу, забираетъ деньги и исчезаетъ изъ спальни. У подъѣзда ее ждетъ коляска, запряженная парой добрыхъ лошадей, и она, закутанная въ соболя, отправляется кататься. Но прежде всего ѣдетъ къ Юнкеру и на вчерашнюю выручку покупаетъ „вѣрные“ бумаги, потому что не хочетъ потерять ни одного дня процентовъ.

Съ шести часовъ сторы въ спальнѣ опускаются. Вѣроятно, въ это время Домнушка, снявши корсетъ, обѣдаетъ съ мамашей, отдыхаетъ и пересѣдывается къ вечеру. Въ девятомъ часу въ гостиной собираются купцы. Организуется трынка или стуколка, ведется оживленный разговоръ, но, повторяю, политическій элементъ, даже въ видѣ простыхъ новостей, устраненъ разъ навсегда. Въмѣсто него введенъ элементъ закусочный, такъ какъ съ десяти часовъ на одномъ изъ столовъ появляются разнообразнѣйшихъ сортовъ водки и бакалей. Иногда закуска бываетъ попроще, но иногда — очень богатая, смотря потому, имѣются ли въ числѣ гостей бакалейщики и погребщики. Нужно однакожъ сказать, что ежели и есть на-лицо бакалейщики, то Домнушка не всю привезенную ими бакалею ставитъ на столъ, а половину откладываетъ. Такъ что ежели бы на другой день и ни одинъ бакалейщикъ



не пришелъ, то закуска все-таки подается приличная. Но за то случается, что всякій день цѣлую недѣлю все бакалейщики ходятъ — тогда происходитъ избытокъ. Остатки относятся къ статскому совѣтнику, который небольшую часть самъ сѣдаетъ, а большинство продаетъ въ мелочную лавочку и изъ вырученныхъ денегъ, съ своей стороны, составляетъ капиталъ.

Однажды только я видѣлъ въ окно, какъ чуть-было не затѣялась драка между купцами. Задралъ, конечно, грекъ, который сталъ доказывать, что настоящая вѣра отъ грековъ пошла; а одинъ изъ купцовъ вломился въ амбицію и отвѣтилъ, что спервоначалу, дѣйствительно, такъ было, но что истинный свѣтъ все-таки съ Москвы возсіялъ. И вдругъ, не успѣвъ грекъ и рта разинуть, какъ въ одну секунду па обѣ щеки по плюхѣ получилъ. Однако Домнушка и тутъ нашлась. Потушила лампы и свѣчи и пригрозила послать за городовымъ. Купцы, разумѣется, приемиръли, а такъ какъ тринка была въ самомъ разгарѣ и на столѣ было много денегъ, которыя, во время смятенія, перемѣшались, то общимъ совѣтомъ было положено: отдать эти деньги Ератидушкѣ. А она на другой день на нихъ цѣлую уйму облигацій отъ Юнкера привезла.

Во второмъ часу все кончается. Ужина не полагается, потому что купцы и въ теченіе вообще всей своей жизни только закусываютъ, а настоящимъ образомъ ѣсть не умѣютъ. Огни во всѣхъ окнахъ потушены, и въ квартирѣ водворяется тишина. Кто-то гоститъ теперь тамъ, за этими спущенными столами: блондинъ или брюнетъ?

Вотъ, стало быть, цѣлыхъ два оазиса. И много такихъ я могъ бы вамъ описать, но для этого надо цѣлую безконечную серію писемъ. Вѣдь только слава, будто весь Петербургъ превратными толкователями начиненъ, а, въ сущности, превратныхъ толкователей только съ гореточку, а все остальное — оазисы. Говорятъ, будто бы либераловъ много развелось — вотъ это, пожалуй, правда; но вѣдь и либераль тотъ же оазисъ, ибо и онъ отъ пирога съ капустой не прочь — ну, и Христосъ съ нимъ, пускай кушаетъ! Я полагаю, что современемъ и все одни оазисы будутъ, только, какъ я уже прежде сказалъ, торопиться не надо. Принудительныя мѣры никогда возжелѣнныхъ результатовъ не приносили, а вотъ ежели пара рябчиковъ, вмѣсто рубля, будетъ тридцать конфекъ стоить, да поросенокъ до пятидесяти конфекъ въ цѣнѣ упадетъ — вотъ это настоящее дѣло будетъ! Тогда и либералы не устоятъ противъ очевидности. И всѣ въ одинъ голосъ возопіютъ: посмотрите, какіе результаты!

Къ сожалѣнію однакожъ я долженъ сознаться, что принудительныя взгляды у насъ и до сихъ поръ въ большомъ ходу въ той кочующей части нашего общества, которая наполняетъ улицы и публичныя мѣста Петербурга. Только и слышишь кругомъ: въ ежовыхъ рукавицахъ держать надо, въ бараній рогъ надо согнуть! Чудаки, право! не понимаютъ, что если и могутъ быть результаты отъ ежовыхъ рукавицъ, то тѣхъ же самыхъ результатовъ гораздо пріятнѣе простою сытостью достигнуть можно! Да и какъ возможно не только цѣлое общество, но даже отдѣльнаго человѣка въ бараній рогъ согнуть? и про какія-такія ежовыя рукавицы идетъ рѣчь? гдѣ онѣ? откуда ихъ

взять? Словомъ сказать, явно пустое болтають, а проходящіе между тѣмъ слушаютъ и морозъ ихъ по кожѣ подираетъ.

Однакожь, представьте себѣ такое положеніе: человѣкъ съ малолѣтства привыкъ думать, что главная цѣль общества — развитіе и самосовершенство-ваніе, и вдругъ кругомъ него — точно сбѣсились все — только о бараньемъ рогѣ и толкуютъ! Вѣдь это даже подло. Возражаютъ на это: „вамъ-то какое дѣло? вы идите своей дорогой, коли не чувствуете за собой вины!“ Какъ какое дѣло? да вѣдь мой слухъ посягается! вѣдь мозги мои страдаютъ отъ этихъ пакостныхъ словъ! да и учителя въ „казенномъ заведеніи“ не даромъ же заставляли меня твердить:

Будь, человѣкъ, благороденъ!

Будь сострадательнъ, добръ!

А вы спрашиваете: какое дѣло? Да опять и насчетъ вины. Почему я знаю, что вы разумѣете подъ виною? Напримѣръ, ежели я ничего не похитилъ изъ казеннаго пирога — по моему, это хорошо, а по вашему, можетъ быть, это-то именно и есть „вина“? Или, напримѣръ, я вѣрю въ добрую природу человѣка — по моему, это хорошо, а по вашему это „вина“, истинная же заслуга заключается въ человѣконенавистничествѣ... Вѣдь вы на этотъ счетъ молодцы: перекрестите лобъ, да и думаете, что послѣ этого можете свободно и клеветать, и красть, и убивать!

Но все это еще только пол-бѣды: пускай горланы лають! Главная же бѣда въ томъ, что доктрина ежовыхъ рукавицъ шьетъ утвердить себя при помощи не одного дая, но и при помощи утружденія начальства. Утружденіе начальства — вотъ язва, которая точитъ современную дѣйствительность и которая не только временно вноситъ элементъ натянутости и недовѣрія во взаимныя отношенія людей, но и можетъ сдѣлать послѣднихъ неспособными къ обществу.

Я недостаточно подробно знакомъ съ памятниками нашей старины, но очень хорошо помню, какъ покойный папенька говаривалъ, что въ его время было въ ходу правило: „доносчику — первый кнутъ“. Знаю также, что и въ позднѣйшее время существовалъ законъ, по которому лицо, утруждавшее начальство по первымъ двумъ пунктамъ, прежде всего сажали въ тюрьму и держали тамъ до тѣхъ поръ, пока оно не представитъ ясныхъ доказательствъ, что написанное въ его доносѣ есть фактъ дѣйствительный, а не плодъ злопыхательной фантазіи.

По моему мнѣнію, это были правила по истинѣ человеколюбивыя, и не потому только, что они ограждали честныхъ людей отъ подыскиваній своекорыстной ябеды, но и потому, что они воспитывали въ обществѣ чувство гадливости къ промышленникамъ доноса. Я помню, какъ утруждатели, застигнутые страхомъ тюрьмы, извивались, доказывая, что ихъ доносы не суть доносы, но извѣщенія, и какъ, по большей части, усилія ихъ въ этомъ смыслѣ оставались просвѣщеннымъ начальствомъ безъ послѣдствій. Я помню, съ какою безразличною чуткостью самое общество относилось къ „шептунамъ“. Прежде всего, никто не вѣрилъ ихъ искренности даже въ томъ случаѣ, когда они доказывали, что за ихъ услугами скрывается очень хорошая специальность: утирать



слезы. Повидимому, что можетъ быть пріятіе: утирать слезы!—однакожь, общество и на это занятіе смотрѣло подозрительно, и во всякомъ случаѣ считало умѣстнымъ присовокуплять: но не утруждая начальства! Однимъ словомъ, шентуны чувствовали себя настолько нехорошо, что отдавались этому ремеслу, по бѣдшей части, по легкомыслію или недоразумѣнію. Если же вполслѣдствіи и упорствовали въ немъ, то лишь потому, что надъ ними ужъ тяготѣлъ фатумъ.

Шентуновъ изъ молодыхъ людей почти совсѣмъ не было. Въ основѣ этого ремесла слишкомъ ясно слышится нота вѣроломства и измѣны, чтобы живость и чуткость молодого чувства могли примириться съ нимъ. Мало было и стариковъ: совершивъ все земное и до извѣстной степени выживъ изъ ума, старцы удалялись на покой, замаливали старые грѣхи и посвящали остатокъ дней своимъ писанію мемуаровъ. Главный контингентъ утруждателей составляли личности среднихъ лѣтъ, побитыя и помятыя, въ родѣ Расплюева и Загорѣцкаго, или блестящія, но несомнѣнно прогорѣвшія, въ родѣ Кречинскаго. Нѣкоторые изъ послѣднихъ, несмотря на вишній блескъ, были общезвѣстны и на нихъ указывали пальцами, но нѣкоторые настолько искусно умѣли маскировать себя, что такъ и умерли неузнанными. Только вполслѣдствіи мемуары словоохотливыхъ старичковъ возстановили этихъ „неузнанныхъ“ въ надлежащемъ свѣтѣ. Однакожь, во всякомъ случаѣ, самая необходимость носить маску и скрывать свои дѣйствія доказывала, что ремесло утруждателя не считалось ни полезнымъ, ни безопаснымъ.

Нынѣ повидимому эти отличнѣйшія традиціи приходятъ въ забвеніе. Подавляющія событія послѣдняго времени въ конецъ извратили смыслъ русской жизни, осудивъ на бессиіе развитую часть общества и развязавъ руки и языки рыбакамъ мутной воды. Я впрочемъ далекъ отъ мысли утверждать, что въ этомъ измѣненіи жизненнаго русла участвовало какое-нибудь насиліе, но что оно существуетъ—въ этомъ, кажется, никто не сомнѣвается. Вѣроятно всегo, оно совершилось само собой, силою обстоятельствъ.

Я не говорю также, что извѣстительная практика преуспѣваетъ; я говорю только, что она начинаетъ входить въ нравы. Но, по моему мнѣнію, въ этомъ-то и заключается главное зло, такъ что гораздо было бы лучше, еслибъ эта практика преуспѣвала въ видѣ особой статьи, нежели вторгалась въ жизнь, въ качествѣ одного изъ ея составныхъ элементовъ. Появляясь въ обществѣ людей становится дѣломъ труднымъ и рискованнымъ, ибо нетерпимость и желаніе зажать противнику ротъ достигли до высшей степени. И то, что влѣдствіе этого происходитъ, не можетъ даже назваться доносомъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ мы, люди отживающіе, привыкли понимать это слово; пѣтъ, это не доносъ, но прямое приглашеніе къ составленію протокола, съ препровожденіемъ въ участокъ на зависящее распоряженіе. Допустимъ, что въ участкѣ разберутъ и отпустятъ; но какъ бы удивились мы въ оны дни, еслибъ намъ сказали, что наступитъ время, когда участокъ (попрежнему, кварталъ или съѣзжая) сдѣлается посредникомъ въ разрѣшеніи споровъ и недоумѣній по жизненнымъ вопросамъ?

Въ особенности прискорбно смотрѣть на молодыхъ людей: они совсѣмъ нынче отъучились краснѣть и потупить глаза. Едва соскочивъ со школьной

скамьи, юноша уже ни о чемъ другомъ не помышляетъ, кромѣ карьеры, и даже съ дамочками устраивается мимоходомъ и какъ-то наскоро. Нѣсколько черезчуръ быстро сдѣланныхъ карьеръ вскружили головы и смутили молодыя сердца. Какимъ образомъ достигнуть того, чего такъ легко достигъ, напиримѣрь, N? Понятно, что дѣйствія скромныя, сопряженныя съ трудомъ, не могутъ въ этомъ случаѣ представляться ни достаточно блестящими, ни достаточно доказательными. Мало того: эти дѣйствія почти подозрительны, потому что нынче, милая тетенька, даже въ воздержаніи отъ рыканія уже усматривается что-то похожее на укрывательство. Стало быть, нужно рыкать. А еще будетъ цѣлесообразнѣе, ежели прямо закричать: караулъ! — тогда ужъ дорога откроется сама собою. Вотъ они и рыкаютъ, и караулъ кричатъ, не задавая даже себѣ вопроса: а дальше что?

Ахъ, да и дамочки нынче какія-то кровопійственныя стали. Нагуливаютъ себѣ атуры, потрясаютъ бедрами—и, представьте, все съ цѣлями внутренней политики! Прежде, бывало, придетъ краснощекій Амалать-бекъ, наговорить съ три короба *des jolis riens* и вдругъ... А теперь дамочка Амалать-беку своему прежде всего говорить: „сначала проливай кровь, а потомъ посмотримъ“... Право, мнѣ кажется, что прежде лучше было.

И старики не отстаютъ отъ молодыхъ, но, конечно, по немощамъ своимъ они больше проекты по части оздоровленія корней строчать, да кстати ужъ и иллюстраціи къ этимъ проектамъ присовокуливаютъ. Иной даже объ смерти позабылъ, думаетъ: поживу еще! А спросите-ка его, зачѣмъ ему жить понадобилось, такъ онъ, пожалуй, разсердится.

Что же касается до Расплюевыхъ и Загорѣцкихъ, то ими нынѣ всѣ трактиры полны. Пьютъ очищенную, клапштосы дѣлаютъ и кричатъ „караулъ“...

До того дошло, что даже отъ серьезныхъ людей случается такіе отзывы слышать: „мерзавецъ, но на правильной стезѣ стоитъ“. Удивляюсь, какъ можетъ это быть, чтобъ мерзавецъ стоялъ на правильной стезѣ. Мерзавецъ — на всякой стезѣ мерзавецъ, и въ былое время едва ли кому-нибудь даже могло въ голову придти сочинить притчу о мерзавцѣ, на доброй стезѣ стоящемъ. Но повторяю: подавляющія обстоятельства въ такой степени извратили всѣ понятія, что никакіе парадоксы и притчи уже не кажутся намъ удивительными.

Простите, милая тетенька, что письмо мое вышло нѣсколько пестро: жизнь у насъ нынче какая-то пестрая завелась, а это и на теченіе мыслей вліяніе имѣетъ. Живется-то, положимъ, даже очень хорошо, да вдругъ съвозъ это хорошее житье что-то сомнительное проскочить — ну, и задумаешься. И сдѣлается сначала грустно, а потомъ опять весело. Весело, грустно; грустно, весело. Но приходитъ въ отчаяніе все-таки не слѣдуетъ, покуда на концѣ стоитъ: весело.



## Письмо пятое.

Милая тетенька!

Вы пишете: „а Пафнутьевъ изъ Петербурга воротился, да странный какой-то; пріѣхалъ съ визитомъ въ Ворошилово во фракъ, въ бѣломъ галстухѣ, въ круглой шляпѣ“... Ахъ, голубушка! да неужто-жъ вы не догадываетесь, что это онъ къ вамъ прямо, какъ былъ въ Петербургѣ въ передней, такъ и явился!

Пафнутьевъ — земская косточка, а нынче правило: во всея переднія Пафнутьевыхъ допускать. Представятся швейцару, расчеркнутся, шаркнутъ ножкой — и по домамъ. Видѣлъ? — ну, и будетъ съ тебя. Ступай въ деревню, развѣзжай по сосѣдямъ, хвастайся, а начальства не утруждай!

Я ничего не читалъ въ газетахъ о подвигахъ *вашего* Пафнутьева, но слышалъ, что онъ былъ въ Петербургѣ и нюхалъ. Сначала находилъ, что пахнетъ амбрé, потомъ, по мѣрѣ того, какъ надежды на „проникновеніе“ померкли, сталъ относиться къ запахамъ съ притворнымъ равнодушіемъ и, наконецъ, пустился въ почтительное сквернословіе. И такъ какъ Петербургъ нынче переполненъ Пафнутьевыми, которые все пріѣхали понюхать, чѣмъ пахнетъ, то у всехъ у нихъ *вашъ* Пафнутьевъ былъ съ визитомъ и всемъ говорилъ, что надобно „взглянуть на положеніе вещей серьезно“, и прежде всего начать съ оздоровленія корней.

Или точнѣе: съ оздоровленія самого же Пафнутьева, потому что корни — земство, а Пафнутьевъ — излюбленный земскій человѣкъ. Вотъ какая иногда выходитъ игра словъ!

Знаю также, что, „отъявившись“ гдѣ слѣдуетъ, онъ засѣлъ у себя въ номерѣ и сталъ „ждать“. Ждалъ недѣлю, ждалъ другую, и наконецъ такъ ему захотѣлось у Палкина въ трактирѣ машину послушать, что онъ не выдержалъ и отлучился. А въ это время, какъ на грѣхъ, кто-то *за нимъ приходилъ* и, узнавъ, что его дома нѣтъ, сказалъ: „а въ немъ между тѣмъ есть постоянная надобность“. Затѣмъ, какъ ни добивался Пафнутьевъ, кто приходилъ, какого вида и роста, военный или статскій, въ одеждѣ или безъ таковой, молодой или старикъ — такъ ничего и не добился. „Онъ“ же, съ своей стороны, хотя и обѣщалъ опять придти, но не пришелъ. А между тѣмъ, тетенька, вѣдь и серьезно могло такъ случиться, что было гдѣ-нибудь засѣданіе, и вдругъ нѣкто вспомнилъ: отчего же Пафнутьева между нами нѣтъ? Туда-сюда. Послали звать, а его дома не оказалось; швейцаръ же говоритъ: „къ Палкину машину слушать ушли“... Посмѣялись, пожалѣли, а къ слѣдующему засѣданію и appetite къ Пафнутьеву прошелъ. — Пафнутьевъ! кто, бишь, это такой? Ба! да это не тотъ ли, который машину у Палкина слушаетъ? — ну, и пускай слушаетъ! Подумайте, милая, срамъ-то какой! Добро бы въ Публичную Библіотеку или въ Академію Наукъ, а то къ Палкину *машину слушать* затесался!!!

Такъ онъ свое счастье и прозѣваль.

Прозѣвавши счастье, пустился во всея тяжкія. Сперва началъ по Милитинымъ лавкамъ ходить. Купить фунтъ изюму, а самъ стоитъ и приема-

тривается: кто, бишь, этотъ солидный мужчина, который указательнымъ пальцемъ во всякой рыбинѣ поковырялъ, понюхалъ, полизалъ и ничего не купилъ? А ну, какъ онъ къ нему обернется: „а! *господинъ* Пафнютевъ! аншантё! васъ-то намъ и надо!“.. Потомъ сталъ французикамъ-кокоткамъ свой фотографическій портретъ разсылать: прѣдетъ, молъ, ужъ милый дружокъ, увидить, что на столѣ чья-то морда валяется... „Ба! да вѣдь это Пафнютевъ! его-то намъ и надо!“ Потомъ началъ по Невскому по ночамъ шататься, думать: наткнусь на скандалъ, свидѣтелемъ буду... А на другой день въ газетахъ напечаталъ: „случился скандалъ, при которомъ съ особенно-благородной стороны выказалъ себя свидѣтель Пафнютевъ“. А извѣстіе это кто слѣдуетъ прочесть и скажетъ: „ба! не тотъ ли это Пафнютевъ, отъ котораго особливой, по настоящимъ обстоятельствамъ, пользы ожидать надлежитъ?“.. Словомъ сказать, всѣ средства, и дозволенные, и предосудительныя, пускалъ въ ходъ. Наконецъ видить, что ничего не беретъ, взялъ да отъ нечего дѣлать и заложилъ свое торонецкое имѣніе въ Обществѣ Взаимнаго Поземельнаго Кредита.

И чтѣ-жъ бы вы думали—даже послѣ этого не только не уgomонился, но еще пуще прежняго духомъ возгорѣлъ. Ему бы слѣдовало сходить въ баню и уѣхать въ Торонецъ, а онъ, вмѣсто того, вновь объѣхалъ всѣхъ земцевъ-нюхателей и уговорилъ ихъ собраться у Палкина за общей трапезой для общаго мыслей. Протестъ, что-ли, онъ затѣвалъ, или прямо бунтъ—этого вамъ сказать не умѣю, но только не успѣли сотрапезники по первой мысли обмѣнять, какъ ихъ тутъ же, голубчиковъ, и накрыли. И чтѣ же потомъ оказалось?—что накрыли-то не настоящіе накрыватели, а шутники изъ „Союза Недреmlющихъ Лоботрясовъ“, которые ѣхали по дорогѣ въ трактиръ Самаркандъ, да и надумали: пугнемъ-ка, молъ, Пафнутевыхъ! И пугнули. Только остальные-то Пафнутевы разбѣжались, а нашъ между стульевъ запутался. Накрыватели же, сказавъ ему: „счастливъ твой Богъ!“—простили и уѣхали. Но Палкинъ не простилъ и представилъ счетъ. И вынужденъ былъ Пафнютевъ по этому счету сполна заплатить, потому что, въ противномъ случаѣ, Палкинъ-трактиръ угрожалъ обвинить его въ „превратномъ толкованіи“. На эту уплату ушла половина полученныхъ облигацій, а другую половину онъ по дорогѣ изъ Средней Мѣщанской въ Фонарный переулочекъ обронилъ (даже околоточный по этому случаю сказалъ ему: „стыдитесь, сударь!“).

Вотъ вамъ и вся эпопея Пафнутевскаго пребыванія въ Петербургѣ. Разказалъ мнѣ ее одинъ изъ недонюхавшихся нюхателей, который и въ Палкинскомъ бунтовствѣ запѣвалой былъ, но успѣлъ счастливо ускользнуть, да въдобавокъ еще и ложку, впоныхалъ, въ карманъ запряталъ.

— Да вы бы хоть за свою-то часть заплатили Пафнутеву!—уговаривалъ я его.

— И то надо заплатить...

Однакожъ въислѣдствіи я узналъ, что онъ такъ, не заплативши, и уѣхалъ въ Чебоксары. И ложку съ собою увезъ, хотя рукоятка у нея была порыжѣлая, а въ углубленіи самой ложки присохли неотмываемые слѣды яичныхъ желтковъ. Вѣроятно въ Чебоксарахъ пону въ храмовые праздники эту ложку будутъ подавать!



Что-то теперь будетъ Пафнутьевъ у васъ въ Торопцѣ говорить? То-то, чай, станетъ хвастаться и лгать! Поэтому на всякій случай предупреждаю васъ: что бы онъ ни рассказывалъ, ни одному его слову не вѣрьте. Такъ-то спокойнѣе. Когда впередъ знаешь, что человѣкъ вретъ, то слушать его иногда забавно, иногда скучно бываетъ, смотря потому, кто и какъ вретъ; но когда человѣкъ вретъ, а собесѣдникъ его думаетъ, что онъ правду говорить, тогда можно съ ума сойти. Одному только вѣрьте: что Пафнутьевъ свою Обираловку заложилъ и что въ слѣдующемъ году ему процентовъ нечѣмъ будетъ платить. Однако вы ему тогда денегъ займа не предлагайте, потому что онъ взять-возьметъ, а отдать не отдастъ. А впрочемъ что же я объ этомъ хлопочу! вѣдь у васъ и у самихъ денегъ-то нѣтъ!

Ахъ, тетенька, тетенька! какъ это мы такъ живемъ! И земли у насъ довольно, и подъ землей невѣдомо что лежитъ, и лѣса у насъ, а въ лѣсахъ звѣри, и воды, а въ водахъ рыбы—и все-таки намъ нечего ѣсть! А вѣдь и звѣри, и рыбы—все это для того именно и создано, чтобы человѣка питать. Оглянитесь кругомъ—вездѣ питаніе, да только до нашихъ ртовъ оно почему-то не доходитъ, а другимъ мы сами давать не хотимъ. Сторожей держимъ, жалованье платимъ... Вотъ хоть бы голуби—сколько у васъ ихъ на мельницу летаетъ! Въ Парижѣ давно бы ихъ заарестовали, откормили и на весь бы городъ сотѣ изъ нихъ понадѣлали! А у васъ они такъ зря тощѣ летаютъ. Поклюють-поклюють, да въ свое мѣсто и улетятъ. Но вѣдь ихъ и тощихъ можно кушать. Я помню, однажды мнѣ охотникъ голуби принесъ: „витютень“, говорить. Вижу, что голубь; однакожь перекрестился и съѣлъ за витютня. Тощѣнекъ, а ничего. А вы къ Финагвичу обращаетесь: привези, голубчикъ, изъ городу говядинки, да вермишельцу, да селедочекъ, а курочка, молъ, у насъ своя есть. А какая же это курочка! Ей бы за искусство добывать пропитаніе, наравнѣ съ мужичкомъ, премію нужно назначить, а мы ее въ супъ волокѣмъ!

Да и одни ли голуби! а воробьи? а караси въ прудѣ? Правда, что по части невода у васъ слабо: старый сопрѣлъ а новымъ не разжились, такъ попросите Афимьюшку—она и въ подолъ наловить.

Вотъ отъ этой-то голодухи и земцы изъ своихъ норъ въ Петербургъ наползаютъ. Былъ у насъ когда-то мужикъ, такъ на этомъ мужикѣ нынче Колупаевъ съ Разуваевымъ поѣхали; была ссуда, были облигаціи, а куда онѣ подѣвались, и ума не приложишь; наконецъ осталась земля, а ее не угрызешь. О; горе намъ, рожденнымъ въ свѣтъ!

Вообще, что касается земства, я, пародируя стихъ Лермонтова, могу сказать: люблю я *земщину*, но странною любовью. Или, говоря прямѣе: вижу въ земскомъ человѣкѣ нѣчто двойственное. По наружному осмотру и по первоначальнымъ діалогамъ каждый изъ нихъ—парень хоть куда, а какъ заглянешь къ нему въ душу (это и не особенно трудно: стоитъ только на діалоги не скупиться)—анъ тамъ КРѢПОСТНОЕ ПРАВО засѣло.

Возьмемъ хоть мой родной уѣздъ: тамъ съ самаго начала и до настоящей минуты представителями земства безсмѣнно служатъ: двое Дракиныхъ,

да двое Хлобыстовскихъ, да аптекарь Карлъ Ивановичъ, да крестьянинъ Огрызковской волости Матвій Григорьевъ, котораго по фамиліи, изъ учтивости, называютъ Вздошниковымъ. Изъ нихъ только Вздошниковъ сытъ, да и то потому, что способенъ пустыми щами насыщаться. Дракины голодны, Хлобыстовскіе голодны, Карлъ Ивановичъ — дѣвичью кожу ѣтъ. Жалованье имъ идетъ хотя изрядное, но для наполненія дворянскихъ желудковъ все-таки недостаточное, а у Карла Ивановича четырнадцать человѣкъ дѣтей и всѣхъ ихъ надо къ аптекарской должности подкормить. Одинъ Вздошниковъ вполнѣ своимъ жалованьемъ доволенъ, но тутъ опять другая бѣда. Съ тѣхъ поръ какъ онъ сѣлъ *наравнѣ съ господами*, у него развилась страсть къ накопленію богатствъ, и онъ почти все свое жалованье отдаетъ за процентъ Хлобыстовскимъ и Дракинымъ. А послѣдніе смотрятъ на это уже какъ на „воспособленіе средствъ“, и, разумѣется, никогда Вздошникову денегъ не отдадутъ.

Но какъ ни скудно житіе Дракиныхъ, однако все-таки, благодаря жалованью и воспособленіямъ, на зубахъ у нихъ что-нибудь есть. Поэтому, всякій разъ, какъ наступитъ срокъ новыхъ выборовъ, они начинаютъ тревожиться и лебезить. Забаллотируй ихъ земское собраніе, имъ придется опять засѣсть по деревнямъ, а вѣдь тамъ, какъ вамъ извѣстно, съ самой „катастрофы“ и земля перестала родить, и коровы перестали телиться, и помолцы перестали на мельницу ѣздить, а ѣздить подальше къ купцу Пузанову, у котораго и безъ того пузо отъ щей съ солониной рѣсперло, но за то жернова хороши.

Спрашивается: какіе идеалы могутъ волновать души этихъ людей? Очевидно, идеалы крѣпостного права. Какія воспоминанія могутъ освѣщать ихъ постылыя существованія? — очевидно, воспоминанія о крѣпостномъ правѣ. При немъ они были сыты и вдобавокъ пользовались ручнымъ боемъ. Сытость представляла право естественное, ручной бой — право формальное, означавшее принадлежность къ дирижирующему классу.

Какимъ образомъ и въ силу чего Дракины и Хлобыстовскіе, съ своими крѣпостными идеалами, вдругъ явились въ качествѣ представителей земли — этого я никогда выяснитъ себѣ не могъ. Никакихъ дѣяній „благоразумной экономіи“, которыя оправдывали бы ихъ появленіе на аренѣ земскаго хозяйства, они не совершили. При крѣпостномъ правѣ они были помѣщики, какъ всѣ другіе, то-есть взимали денежные и натуральныя дани, гоняли мужиковъ на барщину и т. д. По уничтоженіи крѣпостного права, явили себя безпомощными и безталанными. Самые, что называется, коренники деревенскіе, которые, какъ вышли въ отставку въ корнетскихъ доспѣхахъ, такъ и не выѣзжали изъ деревень, и тѣ, съ осуществленіемъ эмансипаціи, сразу почувствовали себя способными и склонными скорѣе къ городскому, нежели къ деревенскому дѣлу. Большинство сообразно съ этимъ и поступило. Заручившись, насколько было возможно, ссудами, облигаціями и результатами распродажи движимаго и недвижимаго, предоставили злакамъ свободно произрастать, гдѣ и какъ знаютъ, а сами расселились по городамъ и бодро вступили въ ряды бюрократіи. Только самыя слабыя особи остались въ насѣженныхъ гнѣздахъ, какъ бы во свидѣтельство, что крѣпостное право не вовсе умерло, а нѣчто и



завѣщало. Вотъ, въ силу этого-то завѣщанія, Хлобыстовскіе съ Дракинскими и вѣнчали, когда наладилось „земство“. Во-первыхъ, они имѣли за себя самое широкое досужество, а во-вторыхъ, въ окрестности еще не утратилась привычка повторять ихъ имена. Кого выбирать?—разумѣется, тѣхъ, у кого досуга больше. А у кого же больше, нежели у Никанора Дракина, который не только отъ дѣла, но и отъ ѣды свободенъ? И выбрали. А затѣмъ Вздошниковъ съ Карломъ Ивановичемъ пошли ужъ какъ бы на придачу, въ видѣ Гамбетовскихъ новыхъ общественныхъ слоевъ.

Съ тѣхъ поръ Дракины кое-что ѣдятъ. И еслибъ они ограничились отпускаемою имъ малою ѣдой, никто бы, конечно, за этимъ не погнался; но они хотятъ ѣсть все больше и больше, а это ужъ неблагородно, потому что разыгрывающійся аппетитъ внушаетъ имъ предосудительныя мысли, а предосудительныя мысли гонятъ ихъ въ Петербургъ.

Что все это именно такъ и случится — въ этомъ я, съ самаго вступленія Дракиныхъ на арену земской дѣятельности, не сомнѣвался; но публиковать о моихъ предвидѣніяхъ до настоящей минуты остерегался. Во-первыхъ, чуть, бывало, заикнусь въ этомъ родѣ слово сказать, какъ ужъ со всѣхъ сторонъ вопіють, ахъ, чтѣ вы! дайте же окрѣпить нашимъ молодымъ учрежденіямъ!“ Во-вторыхъ, представьте себѣ, вѣдь тутъ и въ самомъ дѣлѣ штука случилась. Едва только занялись Дракины вплотную луженіемъ больничныхъ рукомыльниковъ (въ этомъ собственно и состояла ихъ „задача“, такъ какъ „безплодная“ бюрократія даже съ луженіемъ справиться не могла!), какъ вдругъ пошли слухи, что этимъ самымъ они посягаютъ въ обществѣ недовольство существующими порядками и даже подрываютъ авторитеты!

Я зналъ, что земцы невинны, что они лудятъ отъ чистаго сердца, и ровню ничего не посягаютъ, но могъ ли я это доказывать?—Нѣтъ, ибо, доказывая, я рисковалъ двояко: или впасть въ ироническій тонъ, а слѣдовательно обидѣть наши „неокрѣпшія молодая учрежденія“, или же предпринять серьезную защиту лудильщиковъ, и въ такомъ случаѣ попасть въ число ихъ сообщниковъ и укрупителей...

Разумѣется, я предпочелъ молчать.

Но нынче наши „молодая учрежденія“ не только окрѣпли, но даже, можно сказать, обнаглѣли, такъ что не представляется уже никакихъ затрудненій рассказать, въ чемъ заключалась суть этихъ лудительныхъ недоразумѣній.

Что земскіе люди были призваны для луженія рукомыльниковъ и для починки мостовъ—это они поняли вполне правильно. Но дѣло въ томъ, что лудить можно двояко: или съ предвзятымъ намѣреніемъ, или чистосердечно, безъ намѣренія. Все равно, какъ ланти плести: можно съ подковыркой, а можно и безъ подковырки. Съ подковыркой щеголеватѣе и прочиѣ, но за то грамотой принахиваетъ; безъ подковырки — ланоть совѣтъ никуда не годится, но за то о грамотѣ слухомъ не слышать!.. Ходи, корела, безъ подковырки!

Нѣчто въ этомъ родѣ случилось и съ нашими земцами. Съ первыхъ же шаговъ они точно съ цѣпи сорвались: давай, братцы, плести ланти съ подковыркой! Источникъ этой рѣшимости былъ очень хорошъ: желаніе оправ-

дать довѣріе начальства; но такъ какъ дѣло было новое и неслыханное, то понятно, что оно должно было произвести нѣкоторый шумъ. Бюрократы — недоумѣвали; „общество“ — ликовало и подстрекало. Разростаась да разбростаясь, этотъ шумъ постепенно ошляпалъ самихъ земцевъ. Имъ бы нужно было, не обращая вниманія на подстрекательства „общества“, скромно продолжать свое скромное дѣло, а они вмѣсто того возмечтали. Вздумали лудить самостоятельно, изъ *разрѣшенія* вывели *право*; начали иронически по-сматривать на администраторовъ и называть бюрократію *безплодною*, но что всего хуже — допустили къ участію въ этой распрѣ женское сословіе. Ни одного пирога въ губерніи не обходилось безъ ехидной полемики; ни одного бала — безъ скандаловъ. То польскій, не дождавшись губернатора, водить начнутъ; то губернаторшу въ мазуркѣ въ четвертую пару загонять (да еще съ кѣмъ въ парѣ? — съ правителемъ канцеляріи!), а какая-нибудь земская гласная, веркая атласными плечами, въ первой парѣ плыветъ. Однимъ словомъ, возобновились худшія времена дворянскихъ выборовъ. Натурально, что ихъ сейчасъ же остановили. Не *право* дано вамъ, внушили имъ, а *разрѣшеніе*. *Право* — это потомъ, когда бабушка будетъ произведена въ дѣдушки, а до тѣхъ поръ: луди, но оглядывайся!

Короче, едва успѣли обѣ силы встрѣтиться, какъ тотчасъ же встали на дыбы. Стоять другъ противъ друга на дыбахъ — и шабашъ. Да и нельзя не стоять. Потому что ежели земство уступить — конецъ дуженью придетъ, а въѣдъ это заря нашихъ будущихъ гражданскихъ свободъ. Если же Сквозникъ-Дмухановскій уступить — начнется потрясеніе основъ и колебаніе авторитетовъ. Того гляди, общество погибнетъ.

И шла эта распря, то замирая, то разгараясь, вилоть до нашихъ дней. И надо сказать правду, что бѣлая часть ея эпизодовъ разыгралась исключительно на бокахъ земцевъ и къ полному удовлетворенію Сквозника-Дмухановскаго.

Но нынче все объяснилось. Администраторы самые заматерѣлые, и тѣ догадались, что дуженіе есть дуженіе и ничего больше; стало быть, если земскіе дѣятели въ одномъ мѣстѣ не долудили, а въ другомъ перелудили, то это бѣда небольшая. Земцы же, съ своей стороны, сознались, что они дѣйствительно уклонились (все только лудить да лудить — это хоть кого сбѣситъ!) отъ своей задачи, но теперь приносятъ повинную и ходатайствуютъ объ одномъ: чтобы, независимо отъ дуженья, имъ разрѣшено было, преимущественно передъ прочими уполномоченными на сей предметъ лицами, вопіять: страхъ врагамъ!

Вѣроятно преніятствій къ удовлетворенію этого ходатайства не будетъ; однакожъ я все-таки считаю долгомъ заявить, что это новое расширеніе земскихъ правъ (особливо ежели земцы обратятъ его себѣ въ монополію), по мнѣнію моему, можетъ вызвать въ будущемъ нѣкоторые, очень серьезные недоразумѣнія. А именно: какъ бы при этомъ не повторилась опять ерѣтча о лаптяхъ съ подковырною, уже надѣлавшая однажды хлопотъ.

Если земцы будутъ кричать: „страхъ врагамъ!“ чистосердечно и безъ преднамѣренія — это будетъ хорошо; но ежели они будутъ кричать съ подковырною, то-есть увидятъ въ этомъ кличѣ лишь средство удовлетворить



которымъ тайнымъ преднамѣреніямъ, и ежели, вслѣдъ затѣмъ, Пафнутьевъ или Никаноръ Дракинъ, съ свойственною имъ ловкостью, сперва обинякомъ, а потомъ громче и громче, пустятъ слухъ о необходимости перемѣщенія центра тяжести правящей Руси — тогда ожидайте большихъ хлопотъ въ будущемъ. Замѣтите, что никто въ цѣломъ мірѣ не только земцамъ, но и никому не воспрещать пѣть „страхъ врагамъ!“ . Слѣдовательно, если этотъ вопросъ нынѣ выдвигается впередъ, то онъ выдвигается принципиально. И именно въ смыслѣ устраненія бюрократіи (разъ навсегда!) отъ пирога и перенесенія ея правъ и обязанностей по отношенію къ пирогу на изблюбленныхъ земскихъ людей. Вотъ какая махинація скрывается подъ наивнымъ желаніемъ пѣть: „страхъ врагамъ!“ .

Еще во времена лудильной распри Пафнутьевъ подъ рукою пропагандировалъ, что бюрократія вывѣтрилась и поражена бесплодіемъ, а что, напротивъ того, обитающіе въ деревняхъ прапоры плодущи, свѣжи и хоть сей-часъ готовы преобразиться въ земскихъ ярыжекъ. Что темное „средостѣніе“, которое представляетъ собой непроницаемая масса бюрократическаго воинства, мѣшаетъ видѣть добрый русскій народъ, но что ежели то же самое средостѣніе устроить изъ Дракиныхъ и Хлобыстовскихъ, то они не только не будутъ препятствовать видѣть русскій народъ, но въ самой скорости такъ его вышлифуютъ, что онъ и качества, и ребра свои какъ на ладонкѣ покажетъ.

Благодаря бдительности Сквозника-Дмухановскаго, Пафнутьевская пропаганда была временно приостановлена, но подъ пепломъ она все-таки тлѣлась, и едва ли я ошибусь, сказавъ, что нынѣшній набѣгъ земцевъ на Петербургъ имѣетъ очень тѣсную связь съ возобновленіемъ этого вопроса.

Пѣть „страхъ врагамъ!“ очень выгодно, а дирижировать при этомъ оркестромъ — и того выгоднѣе. Дракины это поняли. Поэтому-то они и поползли такою массой въ Петербургъ, въ чаяніи доказать, что никто такъ ловко не съумѣетъ за шиворотъ взять, какъ они. Съ помощью этой пѣсни уже многіе на Руси дѣлишки свои устроили — отчего же не устроить себя тѣмъ же способомъ и Никанору Дракину? Поющій эту пѣсню внушаетъ довѣріе; довѣріе приводитъ за собой почести, а почести приближаютъ къ казенному сундуку...

Дракины, по природѣ и по преданію, гостепріимны и простодушны, но они невѣжественны, неразсудительны и, сверхъ того, любятъ урѣзать. Если повѣрить Разуваевъ на полштофа, они полштофа урѣжутъ; ежели на штофъ повѣрить, то и на штофъ согласны. Формальностей они не терпятъ, разговоровъ и судоговореній — не допускаютъ совѣмъ. Винавать? — сознавайся! — Сознался — за мной полтинникъ! не сознаёшься — запорррю! Такъ-то лучше, чѣмъ по-чиновничьи писать протоколы, изъ-за которыхъ добраго русскаго народа не видно! Помните, какое у насъ земство при крѣпостномъ правѣ было? — такое оно и теперь. Тоже безъ протоколовъ, какъ и тогда. Только голоднѣе, а идеалы все тѣ же: не то чтобы чтѣ-нибудь, огражденія ради, придумать, а прямо за шиворотъ или руки къ лопаткамъ.

Нѣтъ, вы представьте себѣ, что Пафнутьевскія мечтанія сбылись, и Дракины, низложивъ Сквозника-Дмухановскаго, сдѣлались исключительными вертоградарами провинціального русскаго эдема. Представьте себѣ, что вамъ

приходится жить въ одной изъ клѣточекъ этого эдема. Всѣ Дракины между собой родственники или свойственники, всѣ сплелись и переплелись такъ, что и расплести невозможно. Вы одна не родственница и не свойственница никому изъ нихъ. У всѣхъ у нихъ свои общіе интересы, свои общія сплетни и ненависти, свое общее свинство; всѣ они въ одну дудку дудятъ, всѣ одну мысль въ головѣ держатъ: какъ бы урѣзать, опохмелиться и урѣзать вновь. Вы одни не принимаете участія ни въ сплетняхъ, ни въ опохмелѣніяхъ, ни въ ненавистяхъ ихъ. Какъ вы думаете: съѣдятъ они васъ или не съѣдятъ?

Что касается до меня, то я утверждаю: не только съѣдятъ, но предварительно еще отравятъ вашу жизнь своимъ дыханіемъ. Вѣдь это только шутки шутятъ, называя Дракиныхъ излюбленными земскими людьми: въ сущности, они и вамъ, и мнѣ, и всей этой подлинной земской массѣ, которая кладетъ шары, даже не седьмая вода на киселѣ.

Какъ трудно будетъ жить въ этомъ эдемѣ — это даже самое разнужданное воображеніе не въ силахъ воспроизвести. Сообразите одно: цѣлую массу Дракиныхъ, оголѣлыхъ, голодныхъ, ни на чтѣ неспособныхъ, придется пропитать, обогрѣть и всемъ удовлетворить. А сверхъ того, вѣдь шагъ за околицу нельзя будетъ сдѣлать, чтобъ не натолкнуться на Дракина. Одинъ Дракинъ — самъ излюбленный, другой — его родственникъ, третій съ излюбленнымъ въ одной казармѣ горе тяпаль. И всѣ хотятъ ѣсть. Ёсть-то хотятъ, да, вдобавокъ, еще дѣло дѣлать никому не даютъ. Скачутъ, свиснутъ, гогочутъ, велятъ кричать: смерть врагамъ! Ахъ, какая это будетъ жизнь!

А мы-то съ вами на Сквозника-Дмухановскаго жаловались! Ахъ, тенька, вѣдь въ немъ, все-таки, хоть до нѣкоторой степени теплилось чувство отвѣтственности! Была, разумѣется, и отвѣта — безъ этого, какой же бы онъ былъ русскій человѣкъ! — но было и представленіе о Губернскомъ Правленіи, объ Уголовной Палатѣ, а въ особенности о секретаряхъ и столоначальникахъ. Дракинъ, напротивъ, такъ заблиндировалъ себя репутаціей свѣжести, что подъ звуки романса „смерть врагамъ!“ можетъ дерзать все, что ему въ голову вступитъ. И если ему вздумается, напримѣръ, сжить васъ со свѣта (ахъ, какъ это нынче легко!), то вы ужъ не отдѣляетесь отъ него ни крестомъ, ни пестомъ. Онъ ничего не боится, ни въ чемъ не сомнѣвается, ни передъ чѣмъ не останавливается; дышетъ отвагой — и шабашъ. Взятку возьметъ — сейчасъ забудетъ, въ зубы треснетъ — опять забудетъ. Все у него дѣлается какъ-то мимоходомъ, не въ зачетъ. А ежели его наконецъ изловятъ и приведутъ въ судъ, то онъ будетъ говорить: „не знаю! не помню! пилъ мертвую, и чтѣ дѣлалъ, ничего не помню“.

Вотъ почему я такъ и обрадовался, узнавъ изъ вашего письма, что Пафнутьевъ воротился во-свояси, не донохавшись ни до чего. Авось-либо Богъ и просвѣщенное начальство защитятъ насъ и присныхъ нашихъ отъ Дракинскихъ козней.

Я отсюда вижу ваше удивленіе и слышу ваши упреки. Какъ! — восклицаете вы: — и ты, Цезарь (какъ истая смолянка, вы смѣшиваете Цезаря съ Брутомъ)! И ты предпочитаешь бюрократію земству, Сквозника-Дмухановскаго — Пафнутьеву! Изъ-за чего же мы волновались и бредили въ продолженіе



двадцати-пяти лѣтъ? Изъ-за чего мы ломали копья, подвергались опаламъ и подозрѣніямъ?

Совсѣмъ не изъ-за этого, милый другъ. По крайней мѣрѣ я вовсе не бредилъ объ томъ, чтобъ Богъ привелъ мнѣ дожить до поглощенія Дракинѣмъ всѣхъ отраслей правящей дѣятельности, и ежели этому суждено сбыться, то ужъ, конечно, не я по этому поводу воскликну: „Нынѣ отпущаеши“...

А сверхъ того надобно и оговориться: рѣчь идетъ совсѣмъ не объ любви къ Сквознику-Дмухановскому, а объ томъ, что все въ мірѣ относительно. Всякая минута имѣетъ *свою* опасность, и въ настоящую минуту эту опасность представляетъ Никаноръ Дракинъ. Онъ слишкомъ суетится, слишкомъ назойливо стремится выказать Сквозника-Дмухановскаго въ смѣшномъ свѣтѣ, чтобы можно было сомнѣваться, что ему хочется вскочить на мѣсто послѣдняго. Но при этомъ онъ совсѣмъ не на томъ настаиваетъ, что, въ случаѣ успѣха своей затѣи, пойдетъ разными путями съ Сквозникомъ-Дмухановскимъ, а только на томъ, что онъ *превзойдетъ* его. И онъ дѣйствительно превзойдетъ. Вотъ это-то и нужно *непремѣнно* имѣть въ виду, ибо ежели надобѣтъ Сквозникъ-Дмухановскій, то Дракинъ, съ своимъ желаніемъ „превзойти“, надобѣтъ вдвое больше.

Еслибы дѣло шло о расширеніи области Дракинскаго луженія, это тронуло бы меня весьма умѣренно. Но Пафнютъевы говорятъ не о луженіи, а объ томъ, чтобы проникнуть въ сферу шиворота и выворачиванья рукъ къ лопаткамъ. Вотъ почва, на которой мы стоимъ въ настоящее время и которую не должны терять изъ вида, ежели хотимъ разсуждать правильно.

Было время, когда меня ужасно волновалъ вопросъ, какіе исправники благородіѣ: тѣ ли, которые служатъ по выборамъ дворянства, или тѣ, которые опредѣляются отъ короны. Иногда казалось, что выборные исправники благородіѣ, иногда — что благородіѣ исправники коронные. Ахъ, тетенька! какое это странное время было! и какіе изумительные вопросы волновали тогда умы! Однакожъ, взвѣсивъ всѣ поводы pro и contra, я кончилъ тѣмъ, что сходилъ въ баню и порѣшилъ: забыть объ этомъ вопросѣ навсегда. И забылъ.

И вотъ теперь приходится опять объ немъ веноминать, потому что провозглашатели „средостѣній“ и „оздоровленій“ почти силкомъ ставятъ его на очередь. И вновь передъ глазами моими, одна за другой, встаютъ картины моей молодости, картины, въ которыхъ контингентъ дѣйствующихъ лицъ въ значительной мѣрѣ наполнялся куроцанами. То было время крѣпостного права, когда мы съ вами, молодые, здоровые и довольные, ходили рука въ руку по аллеямъ парка и трепетно прислушивались къ шелканью соловья...

Слышишь, въ роцѣ зазвучали

Пѣснн соловья;

Звуки ихъ, полны печали,

Молятъ за меня...

Такъ пѣли и вздыхали мы съ вами, отнюдь не подозревая, что окружающій насъ міръ есть міръ куроцановъ. Были тогда куроцаны осѣдлые, которые жили въ своихъ гнѣздахъ и куроцанствовали въ границахъ, указан-

ныхъ планами генеральнаго межеванія, и были куроцаны кочующіе, облеченные довѣріемъ, которые разъѣзжали по дорогамъ и наблюдали, чтобы основы осѣдлаго куроцанства пребывали неизблемыми. Ничего мы этого не понимали, потому что совсѣмъ не объ томъ соловей намъ пѣлъ. Мы стояли какъ очарованные, и все слушали и слушали, покуда наконецъ, потеревъ ручкой то мѣсто, гдѣ у куколокъ полагается желудочекъ, вы не произносили: „а не пойти ли на скотную къ Анфисѣ сливокъ покушать?“ И мы уходили... Но какъ хороша была старая Анфиса, когда, подавая чашку, наполненную палевой массой, она восклицала: „кормильцы вы наши!“ А оттуда въ оранжерею: персики, сливы, вишни—всего вдоволь! и опять старый садовникъ Архипъ (ахъ, какъ онъ былъ хорошъ!): „кормильцы вы наши!“ Но вотъ наконецъ и обѣдъ. „Соничка! не лучше ли супцу тебѣ покушать? у тебя, кажется, животикъ болитъ?“ — Ахъ, нѣтъ, тамаа, я—ботвиньи! — Милая вы моя! ну, точно сейчасъ все это вижу!

И все это счастье, всю эту сытость, миръ и благоволеніе охраняли и обезпечивали намъ облеченные довѣріемъ куроцаны, зорко слѣдившіе за тѣмъ, чтобы Анфисунка называла насъ именно кормильцами, а не идолами. И помните, что въ числѣ тогдашнихъ странствующихъ куроцановъ находился Никаноръ Дракинъ, или, по крайней мѣрѣ, старшій его братецъ. Такъ вотъ онъ еще когда въ странѣ шиворота полнымъ хозяиномъ распоряжался!

Затѣмъ онъ вдругъ стушевался и уступилъ свое мѣсто Сквознику-Дмухановскому. Сдалъ должность безпрекословно, но сладкія воспоминанія все-таки сохранилъ. И даже тогда, когда передъ нимъ, въ видѣ воспособленія, открылась безграничная область луженія—даже и тутъ не забылъ объ утраченномъ куроцанствѣ, но втайнѣ ронталъ: вотъ кабы опять въ страну шиворота заглянуть!

Понятно, что съ тѣхъ поръ онъ пользуется всякимъ случаемъ, чтобы возвратить прежнее куроцанствующее значеніе. Хвастается, лжетъ, шляется по переднимъ, сочиняетъ записки, печатаетъ въ Берлинѣ брошюры, которыхъ въ Россію иначе, какъ подъ полою, отнюдь провезти нельзя. — Чтѣ у тебя подъ полой? — „А это“... — А! понимаю! ступай съ Богомъ! — Но не ошибайтесь, тетенька! когда Пафнютьевъ говоритъ объ земствѣ, то это значить, что рѣчь идетъ только объ немъ самомъ; а когда онъ прибавляетъ, что земство лучше свои интересы можетъ устроить, то это значить, что онъ, совмѣстно съ Дракинымъ, гораздо тверже противъ Сквозника-Дмухановскаго знаетъ, гдѣ курамъ водъ.

Словомъ сказать, стоить только оплошать — и крѣпостное право вновь осѣнить насъ крыломъ своимъ. Но какое это будетъ жалкое, обтрепанное крѣпостное право! Парки вырублены, соловьи улетѣли, старая Анфиса давно свезена на погостъ. Ни волнующихся нивъ, ни снѣжающихъ вдали лѣсовъ, ни троекъ съ малиновымъ звономъ, ни кучеровъ въ канаусовыхъ рубашкахъ и плисовыхъ безрукавкахъ — ничего нѣтъ! Одни оголтѣлые Дракины, голодные, алчущіе и озлобленные, образовали союзъ, съ цѣлью рыскать по обездоленнымъ палестинамъ, хватать, ловить...

Не забудьте при этомъ, что въ настоящее время въ понятіяхъ о шиворотѣ существуетъ такой хаосъ, что Дракинъ и самъ едва-ли разберетъ, въ



какомъ случаѣ онъ явить себя молодцомъ и въ какомъ только негодяемъ. Легко сказать: лови превратнаго толкователя! но гдѣ же руководство, въ которомъ были бы точно указаны признаки этого вреднаго существа? Благодаря этой неясности, большинство простецовъ приурочиваетъ къ этому сословію всякаго, кто, по своимъ понятіямъ, воспитанію и привычкамъ, стоитъ нѣсколько выше общаго нравственнаго и умственнаго уровня туземцевъ. А затѣмъ каждый отдѣльный простецъ уже дифференцируетъ эти признаки согласно съ требованіями своего личнаго темперамента. Ханжа считаетъ превратнымъ толкователемъ того, кто вмѣстѣ съ нимъ не бьетъ себя въ грудь, всеу призывая имя Господне; казнокрадъ — того, кто вмѣстѣ съ нимъ не говоритъ, что у казны-матушки денегъ много; прелюбодѣй — того, кто брезгливо относится къ „чуждыхъ удовольствій любопытству“; кабатчикъ — того, кто не потребляетъ сивухи и въ особенности того, кто и другимъ совѣтуетъ отъ нея воздерживаться; невѣжда — того, кто утверждаетъ, что громъ и молнія не находятся въ завѣдываніи Ильи-пророка. И всѣ эти люди, каждый имѣя въ виду свой особый предметъ, составляютъ одинъ общій хоръ, который будетъ гласить: „хватай! лови!“ Понятное дѣло, что Дракину среди этого сумбура предстоитъ не житье, а масляница...

Но скажите по совѣсти, стоить ли ради такихъ результатовъ отказываться отъ услугъ Сквозника-Дмухановскаго и обращаться къ услугамъ Дракина? Я знаю, что и Сквозникъ-Дмухановскій не Богъ знаетъ какое сокровище (помните, какъ слесарша Пошлепкина его аттестовала!), но зачѣмъ же возводить его въ квадратъ въ лицѣ безчисленныхъ Дракиныхъ, Хлобystовскихъ и Забіякиныхъ? Помилуйте! намъ и одного его по горло было довольно!

Но я иду еще дальше и безъ обиняковъ говорю, что если ужъ мы осуждены выбирать между Сквозникомъ-Дмухановскимъ и Дракинымъ, то имѣются очень существенные доводы, которые заставляютъ предпочесть перваго послѣднему. А именно:

Во-первыхъ, Сквозникъ-Дмухановскій — постылый, а Дракинъ — излюбленный. Сквозникъ-Дмухановскій пришелъ ко мнѣ извнѣ и виситъ надъ моей головой яко мечъ Дамокловъ; о Дракинѣ же предполагается, что я самъ себя его выныпчилъ. Сквозника-Дмухановскаго я не люблю и ни для кого это не кажется удивительнымъ. Я иду къ нему, потому что иначе дѣваться мнѣ некуда, и онъ знаетъ это. Знаетъ, что я не цѣловаться къ нему пришелъ (ахъ, тетенька!), а потому, что онъ можетъ или разрѣшить мою нужду, или не разрѣшить. Иной Сквозникъ-Дмухановскій прямо предъявляетъ таксу; я уплачиваю по ней и ухожу обнадеженный; буде же не имѣю чѣмъ уплатить, то стараюсь выполнить мою нужду такъ, чтобы меня не увидѣли. Другой Сквозникъ-Дмухановскій говоритъ: „я взятокъ не беру, а дѣйствую на основаніи предписаній“ — тогда я ухожу, получивъ шишъ. Но и въ томъ, и въ другомъ случаѣ отношенія между нами вполне ясны. И не я одинъ, всѣ эту ясность одинаково сознаютъ. Никто, идя къ Сквознику-Дмухановскому, не голоситъ: „ахъ, хоть бы мнѣ на него, на родимаго, глазкомъ взглянуть!“ но всякій, идучи, втайнѣ произноситъ: „ахъ, распостылый!“ Повѣрьте, что это удивительно облегчаетъ. Ибо когда человѣкъ находится въ плѣну, то

гораздо для его сердца легче, если его оставляют одного съ самимъ собой, нежели если заставляютъ распивать чай съ своими стражниками. Совѣтъ другое дѣло — Дракинъ. Идя къ нему, я постоянно долженъ думать: „а чортъ его знаетъ, почему-нибудь да сказываютъ же, будто онъ у меня на лонѣ возлежалъ!“ И установивъ себя на этой точкѣ, я обязываюсь поступать по слову его не токмо за страхъ, но и за любовь. Онъ будетъ надоѣдать мнѣ, преслѣдовать меня по пятамъ съ нелѣпыми требованіями, будетъ лѣзть ко мнѣ съ поцѣлуями, истязать меня дружелюбіемъ, а я долженъ говорить ему слогомъ Пѣсни Пѣсней: „лоно твое — какъ чаша благовонная, и носъ твой — какъ кдръ ливанскій!“ И что онъ ни скажетъ въ отвѣтъ, я долженъ выполнить безъ ропота, не потому, что нахожусь у него въ плѣну (этого я и допустить не смѣю), а потому, что у него пушокъ — какъ кубокъ, а груди — какъ два бѣлыхъ козленка. Вотъ онъ какой! И жаловаться на него не могу, потому что, прежде чѣмъ я разину ротъ, мнѣ ужъ говорятъ: „ну, что, старичокъ! поди, теперь у васъ не житье, а масляница!“ Смотришь, анъ у меня при такомъ привѣтствіи и языкъ пресѣкся. Никогда я его не излюблялъ, а всѣ мнѣ говорятъ: „излюбилъ!“ Никогда я его не выбиралъ, а только шары клалъ, а мнѣ говорятъ: „выбралъ!“ Съ юныхъ лѣтъ я ничего не слыхалъ ни объ любвахъ, ни объ выборахъ, съ юныхъ лѣтъ скромно обнажалъ свою грудь и говорилъ: „ѣшь!“ Ъли ее и Сквозникъ-Дмухановскій, и Держиморда, и Тяпкинъ-Ляпкинъ; не доставало Дракина — и вотъ онъ — онъ! Неужто жъ я бы его возлюбилъ, зная напередъ, что онъ будетъ меня ѣсть? — Неправда это.

Во-вторыхъ, меня значительно подкупаетъ и то, что Сквозниковъ-Дмухановскихъ сравнительно немного, тогда какъ Дракинъ на каждомъ шагѣ словно изъ-подъ земли выросъ. Еще при крѣпостномъ правѣ мы жаловались, что станового никакъ залучить нельзя, а теперь, когда потребность приносить жалобы удесятерилась, беспомощность наша чувствуется еще сильнѣе. За то Дракины придутъ въ такомъ количествѣ, что нѣдра земли содрогнутся. Послѣ упраздненія крѣпостного права, у нихъ только одно утѣшеніе и оставалось: плодиться и множиться. Вотъ они и размножились, какъ кролики, и въ то же время оголѣли, обносились и обнищали. Чаю по мѣсяцамъ не пивали! говяжьяго запаху не нюхивали! Понятно, что они придутъ всѣ, цѣлымъ кагаломъ. И званные, и незванные, и облеченные довѣріемъ, и необлеченные. И отцы, и дѣти, и матери, и дочери, и племянники, и внуки — всѣ тутъ будутъ. Одни будутъ дѣйствовать, другіе — содѣйствовать. Прохода никому не дадутъ. Станутъ рыскать во всѣхъ направленіяхъ, станутъ кричать: „ого-го!“ и увѣрять, что спасаютъ общество. И вотъ попомните мое слово: до поры до времени Пафнутьевъ еще смиренъ, но какъ только возьметъ онъ палку въ руки, такъ немедленно глаза у него, какъ у быка, кровью нальются. Надоѣстъ онъ вамъ; и онъ надоѣстъ, и жена его надоѣстъ, и дѣти надоѣдятъ. Всѣ будутъ о „средостѣніяхъ“ говорить и палкой помахивать.

Въ-третьихъ, Сквозникъ-Дмухановскій, какъ человѣкъ пришлый, не всю статистику ввѣреннаго ему края знаетъ. Не только то, что скрывается въ нѣдрахъ земли, не всегда ему извѣстно, но и то, что дѣлается по близости. Поэтому нѣдра земли остаются иногда непоруганными, а обыватели имѣютъ возможность утаить въ свою пользу: кто — яйцо, кто — поросенка. Напротивъ



того, Дракинъ, какъ мѣстный старожилъ, всю статистику изучилъ до тонкости. Онъ знаетъ, сколько у кого запуталось въ кошелѣ мѣдяковъ; знаетъ, у кого курица яйцо снесла, у кого опоросилась свинья. А сверхъ того, знаетъ, гдѣ именно нужно „шарить“, чтобъ обрѣсти. И все эти свѣдѣнія онъ употребитъ на пользу себѣ, а не излюбившимъ его. Такъ что ежели, съ выступленіемъ Дракиныхъ на арену, вамъ случится печь въ домѣ пироги, то такъ вы и знайте, что середка принадлежитъ излюбленному, а края — домочадцамъ и приснымъ его. Сообразите теперь, сколько затѣмъ останется отъ пирога для васъ и вашихъ присныхъ?

Есть у меня и другіе доводы, ратующіе за Сквозника-Дмухановскаго противъ Дракина, но покуда о нихъ умолчу. Однакожъ, все-таки, напоминаю вамъ: отнюдь я въ Сквозника-Дмухановскаго не влюбленъ, а только утверждаю, что все въ этомъ мірѣ относительно, и всякая минута свою собственную злобу имѣетъ. И еще утверждаю, что если въ жизни регулирующимъ началомъ является пословица: „какъ ни кинь, все будетъ клинъ“, то и между клиньями все-таки слѣдуетъ отдавать преимущество такому, который поприступился.

## Письмо шестое.

Милая тетенька!

Бываютъ минуты, когда въ общій обиходъ вдругъ начинаетъ входить „хорошее слово“. Все горячо и радостно за него хватаются, все повторяютъ его, носятся съ нимъ, толкуютъ на все лады, особенно если „хорошее слово“ имѣетъ ближайшее отношеніе къ современной дѣйствительности, къ тѣмъ болямъ, которыя назрѣли у каждаго въ душѣ и ждали только подходящаго выраженія, чтобъ назвать себя. Въ особенности въ послѣднее время явилась какая-то жгучая потребность въ „хорошемъ словѣ“. Жить, что-ли, въ сумеркахъ надоѣло, но все только объ томъ и думаютъ: ахъ, хоть бы откуда-нибудь блеснуть лучъ и пронизалъ сгустившійся туманъ! И вотъ, въ отвѣтъ на эти сѣтованія, появляется „хорошее слово“. Все довольны, у всехъ лица расцвѣтаются улыбкой. Люди самые пришибленные начинаютъ смотрѣть бодрѣе; люди самые непонимающіе хотя продолжаютъ не понимать, но тоже, глядя на другихъ, радуются. Большинство цѣлуется, поздравляется. Даже завѣдомо злокозненные мудрецы, которые обыкновенно яко левъ рыкаей ходитъ, искіи кого поглотити, и тѣ стихаютъ, какъ бы молчаливо преклоняясь передъ силой вещей. Но, въ сущности, они совсѣмъ не притихли, а только обдумываютъ, какъ бы имъ примоститься къ „хорошему слову“, усыновить его себѣ.

И усыновляютъ. Покуда простодушные и вѣрующіе люди обнимаются (нельзя не обниматься-то, милый другъ! ужъ очень въ этой дерюжной дѣйствительности тошно!), въ природѣ происходитъ нѣкоторое волшебство. Муд-

рецы уже восприяли и приютились. „Хорошее слово“ удержалось въ обращеніи, но отъ него уже пахнетъ тѣніемъ. Обычная удачливость мудрецовъ и на этотъ разъ сказалась во всей силѣ, ибо имъ достаточно было одной минуты общаго увлеченія, чтобы, въ глазахъ публики, въ несчетный разъ продѣлать самый заурядный и всѣмъ надобный фокусъ. — Видѣли въ рукѣ червонецъ? — Видѣли. — Ну, теперь смотрите! клацъ! ничего въ рукѣ нѣтъ!

Вспомните прожитое прошлое, и отвѣтите по совѣсти: не такова ли именно была исторія всѣхъ нашихъ „хорошихъ словъ“? И вѣдь нельзя сказать, чтобы у нихъ было мало сочувственниковъ; нельзя даже сказать, чтобы эти сочувственники были оплошники или ротозѣи; и все-таки дѣло какъ бы фаталистически принимало такой оборотъ, что имъ никогда не удавалось настолько оградить „хорошее слово“, чтобы въ сердцевину его, въ самое короткое время, не заползли козни мудрецовъ. Обыкновенно неудачи подобнаго рода принято сваливать на увлекающихся: они, дескать, своими увлеченіями всякое начинаніе компрометируютъ; но вѣдь мы-то съ вами, тетенька, отлично знаемъ и увлеченія, и самихъ увлекающихся. Право, неопасные это люди были, а только, быть можетъ, чересчуръ вѣрующіе и даже нѣсколько легковѣрные. Отчего же не имъ, вѣрующимъ, удавалось „хорошее слово“ закрѣпить за собою, а удавалось тѣмъ, которые это слово отъ души ненавидѣли?

Нѣчто подобное повторяется на нашихъ глазахъ съ словомъ „содѣйствіе“, которое нынче въ большомъ ходу. Несомнѣнно, что это слово принадлежитъ къ числу „хорошихъ“, но не менѣе несомнѣнно и то, что едва успѣло оно сказаться и войти въ обращеніе, какъ около него уже выросло чуть не цѣлое столпотвореніе. И какъ-то особенно быстро это нынче случилось. Прежде хоть колебаніе было замѣтно — трудность задачи, чтѣ-ли, смущала или сила сопротивленія была значительнѣе — а нынче такъ-таки сразу нѣтъ ничего. Не успѣли простодушные люди наахаться вволю, какъ „хорошее слово“, перейдя черезъ множество предательскихъ устъ и согласованное съ цѣлой массой хищническихъ апетитовъ, ужъ истрепалось, выпачкалось и провоняло. Такъ что, слушая современные уличные толки по поводу этого слова, не безъ испуга спрашиваешь себя: куда же дѣвался первоначальный его смыслъ?

Но для того, чтобы для васъ вполне уяснилась процедура этого превращенія и чтобы, въ то же время, вы поняли, въ какой безнадежной пустотѣ вращается современная жизнь, допустимъ на минуту слѣдующее (совершенно, впрочемъ, произвольное) предположеніе.

Представимъ себѣ, что мы получили даръ компетентности по части устроенія насущныхъ злобъ дня и приступаемъ къ выполненію нашей задачи. Разумѣется, первый вопросъ, съ которымъ придется намъ встрѣтиться на этомъ поприщѣ, будетъ слѣдующій: живы ли мы, въ силу чего мы живы и все ли вокругъ насъ благополучно? И еще болѣе разумѣется, что ежели мы люди добросовѣстные, то, не особенно долго думая, отвѣтимъ на этотъ вопросъ такъ: живы-то мы живы, но въ силу чего — не знаемъ, и назвать благополучіемъ тѣ, чтѣ вокругъ насъ происходитъ — не можемъ.

Отсюда второй вопросъ: какъ поступить, чтобы окружающеена съ злопо-



лучіе обратилось въ благополучіе? отъ кого получить полезныя на этотъ счетъ свѣдѣнія и указанія? Въ былыя времена отвѣтъ на этотъ вопросъ былъ бы выполненъ опредѣленный: предписать Сквознику-Дмухановскому; но нынче въ магическую силу чиновничества уже извѣрились. Во-первыхъ, оно прозѣвало краугольные камни, а во-вторыхъ, не приняло соотвѣствующихъ мѣръ къ огражденію основъ \*). Какихъ еще болѣе разительныхъ фактовъ безсилія и ротозѣйства нужно, чтобъ убѣдиться, что на Сквозника-Дмухановскаго надежда плоха?

Существуетъ ли однакожъ среда, помимо чиновничества, отъ которой бы можно было получить отвѣты на тревожащіе насъ вопросы? Да, говорятъ намъ, такая среда существуетъ. Это среда свѣжихъ, непочатыхъ и неиспорченныхъ сплъ, къ которымъ никогда еще не пробовали обращаться, но у которыхъ навѣрное на все про все трезвенное слово готово. Нѣкоторые называютъ эту среду народомъ, другіе — обществомъ, третьи — земствомъ. А околоточные и городовые называютъ „публикой“ („надо же для *публики* удовольствіе сдѣлать“, говорятъ они). Вотъ къ этой-то непорченной средѣ и слѣдуетъ обратиться съ требованіемъ содѣйствія. Чтòжь, коли такъ, то лучшаго и желать нельзя! Ну-те, господа непочатые! распоясывайтесь! содѣйствуйте! признавайтесь, какія-такія за вами трезвенныя слова состоятъ!

Тетенька! пожалуйста вы однако не подумайте, что я васъ въ какую-нибудь нелѣпую авантюру увлекаю. Боже меня сохрани! Я очень хорошо понимаю, что никакой подобной затѣи мы съ вами не только предпринять, но и въ мысляхъ держать не должны, да и незачѣмъ намъ, голубушка, потому что мы и безъ „содѣйствій“ отлично проживемъ. Я вѣдь не для пропагандъ, а только *exempli gratia* предположеніе мое строю, и притомъ въ письмѣ къ родственницѣ... Право, мнѣ кажется, это можно?

Во всякомъ случаѣ, продолжаю.

Вотъ тутъ-то именно и происходитъ то волшебство, о которомъ я упоминалъ выше. Мы съ вами наивно ждали, что на нашъ кличъ явится или Прохоръ Распротѣковъ, какъ представитель народныхъ нуждъ, или Александръ Андреичъ Чацкій, какъ выразитель аспирацій общества; а вышло совсѣмъ не такъ. Оказывается, что Распротѣковъ съ утра пахать ушелъ, а къ вечеру оборонить будетъ (а по другимъ свидѣтельствамъ: ушелъ въ кабакъ и выйти оттуда не предполагаетъ), а объ Чацкомъ я уже вамъ писалъ, что онъ нынче, ради избѣжанія встрѣчъ, съ одной стороны улицы на другую пе-

---

\*) Въ сущности, мы съ вами давно знаемъ, что чиновничество наше всегда было по части краугольныхъ камней слабо. Помните, какъ купецъ Крутобедровъ съ васъ деньги по заемному письму взыскивалъ, а вы, вмѣсто уплаты, переѣзжали изъ Торонца въ Великія-Луки, а изъ Великихъ-Лукъ въ Торонецъ и становой не только ни разу васъ не изловилъ, но даже самъ лично въ тарантасъ васъ усаживалъ? Правда, что въ то время никому и въ голову не приходило, что заемныя письма именно самые оныя краугольные камни и суть, а только думалось: вотъ-то глупую рожу Крутобедровъ состроить, какъ тетенька мимо его дома въ Великія-Луки переѣзжать будетъ! — но все-таки долженъ же былъ становой понимать, что какая-нибудь тайна да замыкается въ заемныхъ письмахъ, коль скоро они милую, очаровательную даму заставляютъ по цѣлымъ недѣлямъ проживать въ Великихъ-Лукахъ на постояломъ дворѣ, безъ дѣла, безъ кавалеровъ, среди всякой нѣчисти?

ребѣгаетъ и на дняхъ даже чуть подъ вагонъ виопыхахъ не попалъ. И вотъ вмѣсто нихъ... Господи! да неужто-жъ опять „они“? Они, Пафиутьевы, Дракины, Хлобыстовскіе, которые ужъ въ качествѣ лудильщиковъ успѣли наполнить вселенную воплями? Тетенька! да развѣ они „свѣжіе“? помяните! вѣдь отъ нихъ ужъ съ которыхъ поръ неснѣжей провизіей припахиваетъ!

Но припахиваетъ или нѣтъ, а они явились. До нихъ однихъ своевременно дошелъ нашъ кличъ; они одни съ полной готовностью прислушивались къ нему, и, разумѣется, какъ люди бывалые, прежде всего обратили вниманіе на то, нельзя ли въ произнесенномъ нами хорошемъ словѣ „интересные сюжетцы“ сыскать?

И сыскали. На эти сюжетцы прямо указало имъ ихъ прошлое. Въ старину, когда было въ ходу слово „опора“, они эксплуатировали въ свою пользу „опору“; теперь, когда вмѣсто „опоры“ произнесено слово „содѣйствіе“, они не прочь процвѣсть и подъ сѣнію „содѣйствія“. Тѣмъ болѣе, что въ исконномъ Дракинскомъ толковомъ словарѣ слово это объясняется такъ: „Содѣйствовать, то-есть наяривать, жарить, хватать за шиворотъ, гнуть въ бараній рогъ“. Все это Никаноръ, въ качествѣ „опоры“, давнымъ-давно продѣлывалъ и даже только объ одномъ этомъ и по сей день не забыть. Не естественно ли послѣ того, что въ головѣ его созрѣваетъ мысль: да кто же лучше меня всю эту процедуру выполнить?

И вотъ, непороченные, но припахивающіе содѣйствователи вышлзаютъ изъ своихъ норъ и сползаются въ Петербургъ. Принимаются, прислушиваются, наполняютъ вздоромъ казенныя и частныя квартиры и даже на половыхъ въ трактирахъ наводятъ уныніе.

— Такіе это распостыльные господа, — жаловался мнѣ на дняхъ одинъ половой: — всѣхъ гостей у насъ распугали. Придетъ, станетъ посередѣ комнаты, жуесть бутербродъ, и все въ одно мѣсто глядитъ... Ну, промежду гостей, извѣстно, тревога: кто таковъ и по какой причинѣ?

Да вѣдь это и естественно. Люди ходятъ въ трактиры для того, чтобъ пить, ѣсть и по душѣ разговоры вести, а совѣмъ не для того, чтобы доставлять кандидатамъ въ свѣдущіе люди „отголоски трактирныхъ мнѣній“ по интересующимъ ихъ вопросамъ.

Однакожъ дѣлать нечего. Ужъ если мы кликнули кличъ, то обязаны и отвѣты выслушать. И вотъ начинается процессія содѣйствовательскихъ показаній.

Первымъ выступаетъ, разумѣется, Ивановъ, ибо гдѣ же нѣтъ Иванова? — въ каждой комнатѣ онъ есть. Выходя изъ той мысли, что „потрясеніе основъ“ спрятано у кого-нибудь въ карманѣ, онъ предлагаетъ всѣхъ поголовно обыскать. Даже свои собственные карманы выворачиваетъ, сапоги вызывается съ себя снять: вотъ-молъ, какъ долженъ поступать всякій, кто за себя не боится! А за себя лично онъ дѣйствительно не боится, потому что, съ одной стороны, душа у него чиста, какъ сейчасъ вычищенная выгребная яма, а съ другой стороны, она же до краевъ наполнена всякими готовностями, какъ яма, сто лѣтъ нечищенная. Слѣдомъ за Ивановымъ появляется Федоровъ — этотъ когда-то былъ высѣченъ своими крѣпостными людьми и никакъ не можетъ объ этомъ забыть. Понятно, что онъ утверждаетъ, что только



власть сильная и *вооруженная карами* может удержать Россію на краю пропасти. За Оеодоровымъ выходитъ Пафнутьевъ (тоже былъ своевременно высѣченъ) съ обширной запиской въ рукахъ, въ которой касается вещей знаемыхъ (съ ироніей) и незнаемыхъ (съ упованіемъ на милость Божію), и затѣмъ, въ видѣ скромнаго вывода, предлагаетъ: ради спасенія общества, гнилое и либеральничающее чиновничество упразднить, а вмѣсто него учредить Пафнутьевское „средостѣіе“, споспѣшествуемое Дракинскимъ „оздоровленіемъ корней“. Пафнутьева смѣняетъ захудавшій дворянинъ Кубышкинъ, который проситъ немногаго: дабы, до приведенія въ порядокъ мыслей, немедленно всѣ учебныя заведенія закрыть! И въ заключеніе совершенно неожиданно прибавляетъ: „Изложивъ все сіе по сущей совѣсти, повергаю себя и свою семью, изъ собственныхъ малолѣтнихъ дѣтей и сиротъ-племянницъ состоящую, на усмотрѣніе: хотя бы мѣста становаго удостоиться, то и сямъ предоволенъ буду“. За Кубышкинымъ идутъ разныхъ шерстей ублюдки. Во-первыхъ, маркизъ Шассе-Круазе, котораго только въ прошломъ году княгиня Букиазба воссоединила въ лоно православной церкви, и который теперь ужъ жалуется, что, живя въ курскомъ имѣніи („приданое жены моей, воспитанницы княгини Букиазба“), только онъ съ семьей да съ гувернанткой-нѣжкой и посѣщаетъ храмъ Божій; „народъ же, подъ вліяніемъ сельскаго учителя“ и т. д. Во-вторыхъ, баронъ Ферфлухтеръ, который ни на что особенно не сѣтуетъ, а только излагаетъ факты. И въ заключеніе не безъ язвительности спрашиваетъ: отчего ничего подобнаго до сихъ поръ не было въ лояльномъ Остзейскомъ краѣ, „но будетъ непременно и тамъ, ежели не смирить своеволіе латышей“. И наконецъ князь Мирза-Мамай-Тохтамышевъ, который, будучи честиѣ прочихъ, говоритъ кратко: „ннэ паннымая!“

Вотъ вамъ вся процедура „содѣйствія“. Смыслъ ея однообразенъ: на-яривай, жарь, гни въ бараній рогъ! Да вѣдь мы все это слышали и переслышали! восклицаете вы. А чего же однако вы ожидали? Посмотрите-ка на Дракина: онъ, еще ничего не видя, ужъ засучиваетъ рукава и налаживаетъ кулаки.

Жарь!—вотъ извѣчный секретъ непочатыхъ, но уже припахивающихъ тлѣніемъ людей, секретъ, въ которомъ замыкается и идея возмездія, и идея поученія. Всѣхъ жарь, а въ томъ числѣ и ихъ, прохвостовъ, ибо они и своей собственной шкуры не жалѣютъ. Чтѣ такое шкура! одну спустишь—наростетъ другая! Эта увѣренность до такой степени окрыляетъ ихъ, что они подставляютъ свои спины почти играючи...

Но мы, кликавшіе кличъ, чтѣ же мы-то будемъ съ этими „содѣйствіями“ дѣлать? Начнемъ ли воздвигать, съ помощью ихъ, величественное зданіе общественнаго благоустройства, или прямо ихъ въ помойную яму свалимъ? По моему, въ помойную яму—ближе. А потомъ чтѣ? Подумайте, вѣдь намъ и послѣ все-таки надобно жить!

Въ этомъ-то и заключается горечь современнаго положенія, что жить обязательно. А какъ жить—отвѣта на этотъ вопросъ ни откуда нѣтъ. Чиновники только предписанія посылаютъ да донесеній ждуть: а излюбленные люди—изрекаютъ истрепанныя до-реформенныя слова да рукава засучиваютъ.

Но вы пожалуй возразите: да неужели же въ плотной массѣ Ивановыхъ не найдется такихъ, которымъ не безызвѣстны и другого рода слова? — Не спору; вѣроятно гдѣ-нибудь такіе Ивановы и водятся, такъ вѣдь это, мой другъ, Ивановы неблагонамѣренныя, которыхъ содѣйствіе, ужъ по заведенному изстари порядку, предполагается несвоевременнымъ. Какимъ же образомъ они *найдутся*, коль скоро ихъ *не ищутъ*?

Тетенька! да сознайтесь же, наконецъ! вѣдь и мы съ вами, когда кликали кличъ, развѣ мы имѣли въ виду *этихъ* Ивановыхъ? развѣ мы не тревожились, не молились по секрету: „ахъ, кабы Богъ пронесъ! ахъ, кабы эти безпокойные люди пропустили нашъ кличъ мимо ушей!“? И вотъ, Богъ услышалъ наше моленіе: никто изъ „безпокойныхъ“ не явился, а мы лицемѣримъ, притворяемся огорченными! Говоримъ: вотъ вамъ вашъ Чацкій, вашъ Евгений Онѣгинъ, ваши Рудинъ, Инсаровъ! Вотъ какъ критиковать да на смѣхъ поднимать — такъ они тутъ какъ тутъ, такъ и жужжать, а какъ трезвенное слово сказать приходится — тутъ ихъ и нѣтъ!

Замѣьте разъ навсегда: когда кличутъ кличъ, то всегда изъ норъ выползаютъ только тѣ Ивановы, которые нужны, а тѣ, которые не нужны — остаются въ норахъ и трепещутъ. Это само собою такъ дѣлается, ибо таковъ естественный законъ благоустройства и благочинія. И — надо прибавить — законъ очень цѣлесообразный, потому что онъ устраняетъ разномысліе и подтверждаетъ единеніе, съ присовокупленіемъ (въ небольшой дозѣ) „средостѣнія“ и (больше чѣмъ нужно) „оздоровленія корней“. Благодаря этому закону, трепещущіе Ивановы безмолвствуютъ, а дерзающіе — славословятъ. И затѣмъ, такъ какъ только одни славословія и слышны, то совокупность ихъ и составляетъ то „содѣйствіе“, которымъ мы обязываемся удовольствоваться.

Очень возможно однакожъ, что это объясненіе покажется вамъ ничего необъясняющимъ. — Вѣдь это, наконецъ, какая-то необъяснимая путаница! воскликнете вы: — мы кличемъ кличъ и потомъ оказываемся въ какой-то нелѣпой стачкѣ съ Пафнутьевыми и Дракиными? — Ахъ, голубушка, да развѣ я не понимаю, что объясненія мои и запутанны, и загадочны! Но что же мнѣ дѣлать, коли нѣтъ у меня другихъ? У меня ли у одного подлинныхъ рѣчей нѣтъ, или у всѣхъ вообще — я даже и этого объяснить не могу. Не знаю. Ничего я не знаю, кромѣ одного: что надобно жить...

Однимъ только утѣшаюсь: лѣтъ черезъ тридцать я всю эту исторію, во всѣхъ подробностяхъ, на страницахъ „Русской Старины“ прочту. Я-то впрочемъ пожалуй и не успѣю прочитать, такъ все равно дѣти прочтутъ. Только любопытно, насколько они поймутъ ее и съ какой точки зрѣнія она интересовать ихъ будетъ?

Впрочемъ дѣти еще туда-сюда: для нихъ устные рассказы старожиловъ подспорьемъ послужать; но внуки — тѣ положительно ничему въ этой исторіи не повѣрятъ. Просто скажутъ: ничего въ этой чепухѣ интереснаго нѣтъ.

Сообразите же теперь, какое горькое чувство, въ виду такой перспективы, долженъ испытывать современный бытописатель этихъ волшебствъ и загадочныхъ превращеній. Уже современники читаютъ его не иначе какъ



угадывая смысл и цѣль его писаній, и комментируя, и то, и другое, каждый по своему; дѣтямъ же и внукамъ и подавно безъ комментаріевъ шагу ступить будетъ нельзя. Все въ этихъ писаніяхъ будетъ имъ казаться невозможнымъ и неестественнымъ, да и самый бытописатель представится человѣкомъ назойливымъ и безъ нужды неяснымъ. Кому какое дѣло до того, что описываемая смута понятій и дѣйствій разливала кругомъ страданіе, что она останавливала естественный ходъ жизни, и что, стало быть, равнодушно присутствовать при ней представлялось не только неправильнымъ, но даже постыднымъ? И что при семъ ясность, яко несвоевременная, и т. д. Не легче ли разрѣшить всѣ эти вопросы такъ: „вотъ странный человѣкъ! всю жизнь описывалъ чепуху, да еще предлагаетъ намъ читать свои описанія... съ комментаріями!“

Вотъ когда вы войдете въ кожу такого бытописателя, тогда вы и поймете, какая злая пронія звучитъ въ этихъ немногихъ словахъ: надо жить!

Представьте себѣ, тетенька, кого я на дняхъ встрѣтилъ? — Ноздрева! Помните -- Ноздрева, съ которымъ мы когда-то у Гоголя познакомились? Не пугайтесь однакожь; это далеко ужъ не тотъ буянъ Ноздревъ, котораго мы знавали въ цвѣтущую пору молодости, но солидный, хотя и прогорѣвшій консерваторъ. Штука въ томъ, что ему посчастливилось сдѣлать какой-то удивительно удачный доносъ, который сначала обратилъ на себя вниманіе охранительной русской прессы, а потомъ дальше да шире — и вдругъ съ нимъ совершился спасительный переворотъ! Теперь онъ пьетъ только померанцевку, говорятъ только трезвенныя слова, трактиры посѣщаетъ исключительно ради внутренней политики и обѣ бакенбарды содержитъ одинаковой длины и одинаковой пушистости. И вдобавокъ, не дожидаясь, чтобъ другіе назвали его патріотомъ, самъ себя называетъ таковымъ. Словомъ сказать, стоитъ на высотѣ положенія и нимало этимъ не отягощается.

Встрѣтились мы съ нимъ на Невскомъ, и, признаюсь, первымъ моимъ движеніемъ было бѣжать. Однако вижу, что человѣкъ совѣтъ-таки переродился — дѣлать нечего, подошелъ. Прежде всего, разумѣется, старину помянули. Вспомнили, какъ мы съ нимъ да съ Чичиковымъ (вотъ истинный-то охранитель былъ! и какъ бы его сердце теперь радовалось!) поросенка на постояломъ дворѣ ѣли; потомъ перешли къ Мижуеву...

Ахъ, тетенька, какое это волшебное время было! Вообразите, тогда можно было поросенка подъ хрѣномъ на постояломъ дворѣ достать! А если вѣрить старику Державину, то можно было видѣть мужика, который у всѣхъ на глазахъ „ѣлъ добры щи и пиво пилъ“! Вѣдь это по нынѣшнему все равно что щнаги глотать! Гдѣ это было? въ какой губерніи? въ какомъ уѣздѣ? и кто въ то время становымъ приставомъ въ томъ мѣстѣ былъ? Признаюсь, у меня даже голосъ дрогнулъ при мысли, что всѣ эти факты прошли у насъ передъ глазами, что они возникли и осуществились безъ малѣйшаго участія земства, единственно по маію волшебника-станового — и ничего-то мы своевременно не замѣтили!

Много тогда такихъ волшебниковъ было, а нынче и вдвое противъ того больше стало. Но какіе волшебники были испускѣ, тогдашніе или ны-

нѣшніе—этого сказать не умѣю. Кажется, впрочемъ, что въ обоихъ случаяхъ вѣрнѣе воскликнуть: какъ только мать сыра земля носить!

Разумѣется, Ноздревъ сейчасъ же увлекъ меня въ трактиръ, и тамъ, за порціей селянки, мы разговорились. Увы! ряды стариковъ ужасно порѣдѣли! Чичиковъ, Плюшкинъ, Пѣтухъ, генералъ Бетрищевъ, Костанжогло, отецъ и благодѣтель города полиціймейстеръ, прокуроръ, предсѣдатель Гражданской Палаты, дама просто пріятная и дама пріятная во всѣхъ отношеніяхъ — все это примерло и свезено на кладбище. Остались въ живыхъ лишь немногіе. Собакевичъ, который, по смерти Θεодуліи Ивановны, воспользовался ея имѣніемъ и женился на Коробочкѣ, съ тѣмъ, чтобъ и ея имѣніемъ воспользоваться. Супруги Маниловы, которые живутъ теперь въ Кобелякахъ, въ ужаснѣйшей нищетѣ, потому что Θεмистоклѣсъ промоталъ все имѣніе и теперь самъ служить въ швейцарахъ въ трактирѣ Лопашова. Губернаторъ, который вышивалъ по канвѣ и въ послѣдствіи блеснулъ-было на минуту на горизонтѣ, но чего-то не предусмотрѣлъ и былъ за это уволенъ. Теперь онъ живетъ въ Римѣ, получая привоенное содержаніе и каждагодно поднося папѣ римскому туфли своей собственной работы *de la part d'un homme d'état russe*. И наконецъ Мижуевъ, который служитъ мировымъ судьей и ужасно страдаетъ, потому что жена его (тетенька! представьте себѣ даму, которая на карточкахъ пишетъ: „рожденная Ноздрева“!) открыто живетъ съ Чичиковскимъ Петрушкой, состоящимъ при Мижуевѣ въ качествѣ письмоводителя.

— Ну, а вы-то сами какъ... служите? — прервалъ я его.

— Покуда состою предсѣдателемъ Земской Управы, — отвѣтилъ онъ скромно: — а дальше что Богъ дастъ!

— Въ Петербургъ присмотрѣться пріѣхали?

— Да, хотѣлось бы... посодѣйствовать...

И онъ изложилъ мнѣ свою теорію „содѣйствія“...

А знаете ли, голубушка, вѣдь Ноздревъ-то умный! Покуда Пафнутьевы, Дракины да Ивановы одно и тоже долбятъ: „наяривай! жарь!“ — онъ очень скромно, но твердо и съ достоинствомъ говоритъ: „какъ угодно!“ Конечно, съ точки зрѣнія практическихъ послѣдствій, нельзя навѣрное опредѣлить, насколько подобное содѣйствіе можетъ счастливо плодотворнымъ, но во всякомъ случаѣ, въ смыслѣ карьеры, со стороны Ноздрева это пріемъ удивительно ловкій.

Ничто такъ не располагаетъ насъ къ человѣку, какъ выражаемое имъ намъ довѣріе. Иногда мы и сами понимаемъ, что это довѣріе нисколько не выводитъ насъ изъ затрудненія и ровно никакихъ указаній не даетъ, но все-таки не можемъ не сохранить добраго воспоминанія о характерѣ довѣряющаго.

— Такъ какъ же, старикъ? По твоему, „какъ угодно“?

— Какъ угодно, вашество! Ахъ, вашество!

— Ну-ну-ну, старикъ, успокойся! будемъ имѣть въ виду! Вотъ, господи! добрые-то всегда такъ говорятъ!

И въ послѣдствіи, когда гдѣ-нибудь откроется вакансія смотрителя экзе-



кутора или эконома, память невольно напоминает намъ о добромъ старикѣ, который, не мудрствуя лукаво, принесъ намъ свое Ноздревское сердце и за- вѣтную думу всей своей жизни выразилъ въ одномъ восклицаніи: „какъ угодно!“

— Опредѣлить Ноздрева... Этому не выдасть!

А Ноздревъ, съ тѣхъ поръ какъ удачный доносъ сдѣлалъ, только о томъ и мечтаетъ, какъ бы мѣстечко смотрителя или эконома получить, особливо ежели при семъ и должность казначея въ одномъ лицѣ сопрягнется. Получивъ эту должность, онъ годикъ-другой будетъ оправдывать довѣріе, а потомъ цапнетъ кушъ тысячъ въ триста, да и спрячетъ его въ потаенномъ мѣстѣ. Разумѣется, его куда слѣдуетъ ушлютъ, а онъ тамъ будетъ жить да поживать, да процентики получать.

Вотъ онъ нынче каковъ сталъ: все только солидныя мысли на умѣ. Сибири не боится, объ казнѣ говоритъ: „у казны-матушки денегъ много“, и вдобавокъ самъ себя патриотомъ называетъ. И фizioномія у него сдѣлалась такая, что не всякій сразу разберетъ, приложимо ли къ ней „оскорбленіе дѣйствию“, или неприложимо.

Основанія Ноздревской теоріи содѣйствія очень просты. По мнѣнію его, такія слова, какъ: „наяривай, жарь, гни въ бараній ротъ!“ — имѣютъ черезчуръ императивный характеръ и въ этомъ смыслѣ могутъ представлять хотя благонамѣренную, но очень серьезную опасность. Сами по себѣ взятыя, они заслуживаютъ поощренія и похвалы, но ежели ихъ начнутъ выкрикивать поголовно всѣ Пафнутьевы, то изъ совокупности этихъ криковъ образуется вой, который будетъ свидѣтельствовать уже не о содѣйствіи, а о разнузданности страстей. Да притомъ же наяриваніе и не всегда осуществимо. Иногда оно признается неудобнымъ въ виду нѣкоторыхъ деликатныхъ вѣяній; иногда для подобной операціи не имѣется достаточно-опытныхъ исполнителей; иногда исполнители и нашлись бы, но содержаніе ихъ потребуетъ новыхъ расходовъ... А между тѣмъ „содѣйствователи“ сбились въ косякъ и воютъ. Вѣдь этакъ пожалуй въ самихъ „содѣйствователей“ придется палить, лишь бы изъ затрудненія выйти!

Ноздревъ доказывалъ даже — и не безосновательно, — что всѣ вообще глаголы, употребляемые въ повелительномъ наклоненіи, имѣютъ революціонный характеръ. Они всегда декретируютъ цѣлую систему, и притомъ декретируютъ устами такихъ людей, которые до тѣхъ поръ ѣли изъ одного корыта съ поросятами. Понимаютъ ли эти люди значеніе произносимаго ими возгласа, могутъ ли они уяснить себѣ, сколько непредвидѣнныхъ расходовъ потребуетъ его осуществленіе — это болѣе чѣмъ сомнительно. По крайней мѣрѣ Ноздревъ думаетъ — и я въ этомъ вполне довѣряю его опытности, — что они потому только выкрикиваютъ: „наяривай!“ что вспомнили, какъ они то же самое слово провозглашали, *pro domo sua*, на конюшняхъ и пекарняхъ. Но они рѣшительно не понимаютъ, что требованіе, выраженное въ формѣ столь рѣзкой и даже неучливой, должно стѣснить свободу воздѣйствій, и потому отнюдь не можетъ быть терпимымъ. Ибо стѣснить лишь стать на показъ, а тамъ оно ужъ и само собой подъ гору пойдетъ. Сначала воютъ: „наяривай!“ а потомъ пожалуй начнутъ выть: „довольно наяривать! будетъ!“ По-

нятно, что подобная перспектива не может не тревожить таких опытных знатоковъ человеческого сердца, какъ Ноздревъ.

Словомъ сказать, развивая свою теорію, Ноздревъ обнаружилъ и недюжинный умъ, и замѣчательную чуткость въ пониманіи средствъ къ достиженію желаемого. Такъ что ежели судить съ точки зрѣнія „лишь бы поправиться“ (самая это отличѣйшая точка, милая тетенька!), то лучше теоріи и выдумать нельзя.

Но я все-таки попытался сдѣлать нѣкоторыя возраженія.

— Ноздревъ! — сказалъ я ему: — я уважаю васъ, какъ человѣка искренно убѣжденнаго. Но именно потому, что я уважаю васъ, я и рѣшаюсь высказать, что съ нѣкоторыми вашими положеніями согласиться не могу. Я уступаю вамъ, что въ смыслѣ свободы дѣйствія выраженіе „какъ угодно“ не оставляетъ желать ничего лучшаго, но сознайтесь однакожь, что дѣйствительнаго „содѣйствія“ все-таки изъ него не выжмешь. Коли хотите, это почтительное подтвержденіе накопленной вѣками мудрости, это прекрасный порывъ благороднаго чувства—но и только. Вѣдь и для „свободы дѣйствія“ необходимо какое-нибудь содержаніе, такъ-какъ въ противномъ случаѣ она перейдетъ въ разгулъ, а отъ разгула до потрясенія основъ—рукой подать. Это до такой степени чувствуется всѣми, что именно поиски за содержаніемъ и составляютъ характеристическую черту современности. Допустимъ, что слово „наяривай“ не стоитъ выѣденнаго яйца, но все-таки оно нѣчто даетъ. Допустимъ, что оно невѣжливо по формѣ и глупо по содержанію, но и это слѣдуетъ приписать не предвзятости намѣренія, а незаконченности нашихъ бытовыхъ формъ, невыработанности обывательской фразеологіи и недостатку воображенія. Нельзя однакожь за это одно подвергать простодушныхъ людей расточенію, яко революціонеровъ. Неполитично и несогласно съ справедливостью отталкивать отъ себя дѣтей природы, хотя бы послѣднія, по незнанію орографіи и знаковъ препинанія, и допустили нѣкоторыя невѣжества. Пусть лучше въ воздухѣ нехорошо попахнетъ, нежели огорчать невинныхъ людей, которые чѣмъ богаты, тѣмъ и рады. Ибо ежели мы таковыхъ отъ себя отженемъ, то на комъ же будемъ осуществлять опыты „средостѣнія“ и съ кѣмъ предпримемъ трудъ „оздоровленія корней“? Ахъ, Ноздревъ, Ноздревъ! давно ли вы сами стояли съ прочими поросятами у корыта и кричали: „наяривай!“ а вотъ теперь, какъ получили надежду добратся до яслей, то мечтаете, что оттуда горизонты увидите! Ничего вы, мой другъ, ни откуда ни увидите, кромѣ фиги, которую и прочіе феговидцы видятъ. И помяните мое слово...

Но, дойдя до этихъ предѣловъ, я вдругъ сообразилъ, что произношу защитительную рѣчь въ пользу наяривательнаго содѣйствія. И, какъ обыкновенно въ этихъ случаяхъ бываетъ, началъ прислушиваться, я ли это говорю, или кто другой,—вотъ хоть бы этотъ половой, который, прижавъ подъ-мышки салфетку, такъ и ѣстъ насъ глазами. Къ счастью, Ноздревъ сразу понялъ меня. Онъ былъ видимо взволнованъ моими доводами и дружески протягивалъ мнѣ обѣ руки.

— Вы побѣдили меня, — сказалъ онъ: — но мнѣ кажется, что и я не совсемъ неправъ. Во всякомъ случаѣ, выйти изъ этого затрудненія довольно



легко. Стоит только сблизить обѣ формулы и составить изъ нихъ одну: „наяривай... а впрочемъ какъ угодно!“ И все будетъ въ порядкѣ.

Нѣтъ, какъ хотите, а онъ умный!

Вообще нынче содѣйствія въ ходу, и между ними много такихъ, о которыхъ даже говорить стыдно. Все нынче какъ-то врозь пошло, все поровить подъ видомъ содѣйствія междоусобіе произвести. И у всѣхъ при этомъ одинъ двигатель: карьера. Можетъ быть, я подробнѣ напишу вамъ объ этомъ явленіи, но, можетъ быть, и совѣмъ не напишу. Всяко можетъ случиться. Въ послѣднемъ случаѣ придется опять возложить надежду на „Русскую Старину“... черезъ тридцать лѣтъ. Но какъ невыносимо обязательное безмолвіе въ виду этой нелѣпой суеты—этого я даже выразить вамъ не могу...

## Письмо седьмое.

Милая тетенька!

Все это время я былъ необыкновенно разстроенъ. Легкомысленные пріятели до того надоѣли своими жалобами, что просто хоть дома не сказывайся... Положимъ, что время у насъ стоитъ чересчуръ ужъ серьезное; но ежели это такъ, то, по мнѣнію моему, надобно и относиться къ нему съ такою же серьезностью, а не напрашиваться на недоразумѣнія. А главное, я-то тутъ причемъ?.. Впрочемъ судите сами.

Приходить одинъ.

— Представь, какая штука со мною случилась! Сажусь я сегодня у Покрова на конку, вынимаю газету, читаю. Только газету-то, должно быть, не ту, какую на конкѣ читать приличествуетъ... И вдругъ, слышу монологъ: „Такое, можно сказать, время, а господа такія, можно сказать, газеты читаютъ!“ Молчу. Однако чувствую, что сосѣди около меня начинаютъ ёжиться. Монологъ продолжается. „А въ этихъ газетахъ — вотъ въ этихъ — именно самый ядъ-то и заключается. Гдѣ первоначало всему? — въ газетѣ! гдѣ источникъ-корень зла? — въ газетѣ! А господа, вмѣсто того, чтобы посодѣйствовать: вотъ-моль, господинъ газетчикъ, какъ мы тебя тонко понимаемъ! — а они, между прочимъ, даже другихъ въ соблазнъ вводятъ“. И по мѣрѣ того, какъ монологъ развивается, сосѣди все пуще и пуще ёжятся; одна дама встаетъ и просится выйти; я самъ начинаю сознавать, что молчать больше нельзя. Осматриваюсь: наискосокъ сидитъ старичокъ. Въ потертомъ пальто, въ ваточномъ картузѣ, носъ красный. Ясно, что былъ въ питейномъ у Покрова и теперь ѣдетъ въ питейный на Сѣнную. — Вы это про меня, что-ли? — спрашиваю. „Вообще про господъ либераловъ“... — Ну? — „Помилуйте, господинъ! да неужто-жъ свои чувства выразить нельзя? Да я, коли у меня чувства правильныя“... Кабы я былъ уменъ, надо бы мнѣ сейчасъ уйти, а я остался, пачалъ калякать. Дальше да больше — исторія. Не успѣли до Юсу-

пова сада доѣхать, какъ ужъ вѣѣмъ намъ оставался одинъ исходъ: участокъ... Какова штука! вотъ ужъ именно нелегкая понесла по конкѣ ѣздить!

— Чего же ты жалуешься однако! вѣѣ въ участкѣ, конечно, тебя разсудили, оправили и выпустили?

— Скажите на милость! да развѣ я въ участокъ ѣхалъ? вѣѣ я по своимъ дѣламъ ѣхалъ, а вмѣсто того въ участкѣ цѣлое утро провелъ!

— Послушай! зачѣмъ же ты ѣхалъ? развѣ не могъ ты дома посидѣть?

— Конечно, могъ бы, да вѣѣ думается...

— А думается, такъ не роищи. Не умѣлъ сидѣть дома — посиди въ участкѣ.

Приходить другой.

— Вотъ такъ штука со мной сегодня была! Зашелъ я въ трактиръ закусить, взялъ кусокъ кулебяки и спросилъ рюмку джина. И вдругъ сбоку голосъ: „А наше отечественное, русское... стало быть, презираете?“ Оглядываюсь, вижу: стоитъ „мерзавецъ“. Рожа опухшая, глаза налитые, на одной скулѣ ушибленное пятно, на другой — будетъ таковое къ вечеру; голосъ съ перепоею двоится. Однако покуда молчу. А „мерзавецъ“ между тѣмъ продолжаетъ. „Нынче все такъ: пропаганды проповѣдуютъ да иностранные образцы вводить хотятъ, а позвольте узнать, гдѣ корень-причина зла?“ Кабы я умѣнъ былъ, мнѣ бы заплатитъ, да и удрать, а я вмѣсто того разсердился. — Ты это мнѣ, чтѣ-ли, пьяное рыло, говоришь? — Смотрю, а въ буфетную ужъ штукъ двадцать жениховъ изъ ножовой линіи напозло. Гогочуть. И буфетчикъ тоже, не то чтооь смѣется, а какъ-то стыдливо опускаетъ глаза, когда въ мою сторону смотритъ. „Однако, господинъ, — это „мерзавецъ“ опять говорить — ежели всякій будетъ пьянымъ рыломъ называть, а я между тѣмъ обо себѣ понимаю, что чувства мои правильныя“... Словомъ сказать, протоколъ. Всѣ женихи въ одинъ голосъ показали: „Господинъ Расплюевъ правильныя чувства выражали, а господинъ (имя рекъ) его за это „пьянымъ рыломъ“ обозвали“. Написали, подписали и сегодня же этотъ протоколъ къ мировому судѣ отправляютъ.

— И подѣломъ. Зачѣмъ въ трактиръ ходишь! — невольно вырвалось у меня.

— И самъ, братецъ, теперь вижу: чортъ меня дергалъ въ трактиръ ходить! Водка — дома есть, а ежели кулебяки нѣтъ, такъ вѣѣ и селедкой закусить можно!

— Еще бы! Но впрочемъ позволь, душа моя! изъ-за чего ты однако такъ ужъ тревожишься! Вѣѣ мировой судья навѣрное внемлетъ, и рано или поздно, а правда все-таки возсіяетъ...

— Чужакъ ты! да развѣ я для того въ трактиръ ходилъ, чтооь правда возсіяла? Положимъ однакожъ, что у участковаго мирового судьи правда и возсіяетъ — а чтѣ, ежели Расплюевъ дѣло въ мировой сѣѣздъ перенесетъ? А ежели и тамъ правда возсіяетъ, а онъ возьметъ да кассационную жалобу настрочитъ? Сколько времени судиться-то придется?

Стали мы разсчитывать. Вышло, что ежели поискуснѣе кассационныя поводы подбирать да, не балуячи противную сторону, сроки наблюдать, то годика на четыре съ хвостикомъ хватить. Но когда мы вспомнили, что въ



прежнихъ судахъ подобное дѣло навѣрное протянулось бы лѣтъ девяносто, то должны были согласиться, что успѣхъ все-таки большой.

И точно: у мирового судьи судоговореніе ужъ было, и тотъ моего друга, въ виду единогласныхъ свидѣтельскихъ показаній, на шесть дней подъ арестъ приговорилъ. А пріятель, вмѣсто того, чтобъ скромненько свои шесть дней высидѣть, взялъ да нагрубилъ. И объ этомъ уже сообщено прокурору, а прокуроръ, милая тетенька, будетъ настаивать, чтобъ его на каторгу сослали. А у него жена, дѣти. И все оттого, что въ трактиръ, не имѣя „правильныхъ чувствъ“, пошелъ!

Приходить третій.

— Ахъ, голубчикъ, какая со мной вчера штука случилась! Сижу я въ „Пуританахъ“, а рядомъ со мной въ креслѣ мужчина сидитъ. Доходитъ дѣло до дуэта... помните, басъ съ баритономъ во все горло кричатъ: „loyaltà! loyaltà!“ Испоконъ вѣку принято въ этомъ мѣстѣ хлопать, и вчера стали хлопать и кричатъ: bis!.. И я грѣшнымъ дѣломъ хлопнулъ. Только и невдомекъ мнѣ, что сосѣдъ, покуда я хлопалъ да bis кричалъ, какъ-то строго на меня посмотрѣлъ. Ну, повторили дуэтъ, а я опять кричу: bis! bis! Онъ и не выдержалъ: „понравилось?“ говорить. Я туда-сюда; вспомнилъ, что loyaltà-то вмѣсто libertà поставлено—и радъ бы хлопанцы-то свои назадъ взять, анъ нѣтъ: ау, братъ! не воротить! Наступилъ антрактъ; вижу мужчину мой въ проходѣ остановился и около него кучка собралась. Поговорятъ, поговорятъ, да на меня глазами и вскинутъ. Не то чтобъ очень строго, а въ родѣ какъ бы хотятъ сказать: ахъ, молодой человѣкъ! молодой человѣкъ! Потомъ, вижу, начинается мой мужчина пробираться къ выходу, и вдругъ... исчезъ! Я за нимъ, вхожу въ корридоръ: одѣвается, хочетъ уѣзжать. Увидѣлъ меня: „вамъ, говоритъ, молодой человѣкъ, необходимо благой совѣтъ дать: ежели вы въ публичномъ мѣстѣ находитесь, то ведите себя скромно и не оскорбляйте чувствъ людей, кои по своему положенію“... — Сказалъ, и былъ таковъ. Я было за нимъ, но тутъ ужъ полицейскій вступился. „Позвольте, говоритъ, и мнѣ вамъ благой совѣтъ подать: не утруждайте его превосходительства!“ Такъ я и остался... Ну, скажи на милость, на кой чортъ мнѣ эти „Пуритане“ понадобились?

— Это ужъ, братецъ, твое дѣло. Я и самъ говорю: вмѣсто того, чтобъ дома скромненько сидѣть, вы всѣ точно сбѣсились, на непріятности лѣзете! Но не объ томъ рѣчь. Узналъ ли ты по крайней мѣрѣ, кто этотъ мужчина былъ?

— Да безшабашный совѣтникъ Дыба, сказывали...

— Дыба! ахъ, да вѣдь я съ нимъ въ прошломъ году въ Эмсѣ пріятно время провелъ! на Бедерлей вмѣстѣ лазали; въ Линденбахъ, бывало, придемъ, молока спросимъ, и Лизхенъ... А ужъ какая она, къ чорту, Лизхенъ! пояница въ три обхвата! Всякій разъ, бывало, какъ она этой пояницей вильнетъ, Дыба молвить: „вотъ когда я титулярнымъ совѣтникомъ былъ“... И крякнетъ.

— Ахъ, сдѣлай милость, выручи!

— Да вѣдь онъ и фамиліи твоей не знаетъ?

— То-то, что знаетъ. На бѣду капельдинеръ человѣкъ знакомый попался.

— Гм... стало быть, Дыба разспрашивалъ!

— Въ томъ-то я дѣло, что разспрашивалъ. И когда ему мою фамилію назвали, то онъ оттопырилъ губы и произнесъ: „а! это тотъ самый, который“... Нѣтъ ты ужъ выручи!

Дѣлать нечего, пришлось выручать. На другое утро, часу въ десятомъ, направился къ Дыбѣ. Принялъ, хотя нѣсколько какъ бы удивился. Живетъ хорошо. Квартира холостая; невелика, но приличная. Чай съ булками пьетъ и молодую кухарку нанимаетъ. Но когда получить по службѣ желаемое повышение (онъ было-пересталъ надѣяться, но теперь опять возгорѣлъ), то будетъ нанимать повара, а кухарку за курьера замужъ выдать. И тогда онъ вѣроятно меня ужъ не приметъ.

— А! господинъ сопаціентъ! помню! помню! Какими судьбами?

— Да вотъ, вашество, поблагодарить пришелъ... Вниманіе ваше... Бедерлей... Линденбахъ... Такъ мнѣ тогда лестно было!

— Чтѣжъ, очень радъ! очень радъ! Чтѣ отъ меня зависѣло... весьма, весьма пріятно время провели! Только, знаете, нынче пріятности-то ужъ не тѣ, чтѣ прежде были...

— Ахъ, вашество! да неужто-жъ я этого не понимаю! неужто я не соображаю! нынѣшнія ли пріятности, или прежнія! Прежнія, можно сказать, были только предвкушеніемъ, а нынѣшнія...

— То-то, то-то. Такъ вы и соображайте свои поступки. Прежнія пріятности—сами по себѣ, а нынѣшнія—преимущественно...

Ждалъ я, что онъ и мнѣ велитъ чаю съ булками подать, но онъ не велѣлъ, а только халать слегка запахнулъ. Тѣмъ не менѣе дѣло у насъ шло настолько гладко, что онъ повелъ меня квартиру показывать; однакожъ ни кухни, ни кухаркиной комнаты не показалъ. Но когда я приступилъ къ изложенію дѣйствительной причины моего визита, то онъ нахмурился. Сказалъ, что пора серьезно на современное направленіе умовъ взглянуть; что мы все либеральничали, а теперь вотъ спрашиваемъ себя: гдѣ мы? и куда мы идемъ? И знаете ли чтѣ, милая тетенька!—мнѣ даже показалось, что, говоря о либералахъ, онъ какъ будто бы намекалъ на меня. Потомъ сказалъ, что онъ, къ сожалѣнію, ужъ кого слѣдуетъ предупредить, и теперь неловко... И только тогда, когда я неопровержимыми доводами доказалъ, что спасти невинно падшаго никогда для великодушнаго сердца не поздно—только тогда онъ согласился „это дѣло“ оставить.

Можете себѣ представить радость моего пріятеля, когда я ему объявилъ объ результатѣ моего предстательства! Во всякомъ случаѣ я теперь увѣренъ, что впредь онъ въ театръ ни ногой; я же буду имѣть въ немъ человека, который и въ огонь, и въ воду за меня готовъ! Такъ что ежели вамъ денегъ понадобится—только черкните: я у него выпрошу.

Приходить четвертый.

— Вообрази, какая со мной штука случилась! Пошелъ я вчера, накануне Варварина дня—жена именинница — ко всеобщей. Только стою и молюсь...

Приходить пятый.

— Вотъ такъ штука! Ёду я сегодня на извозчикѣ...



Приходить шестой.

— Нѣтъ, да ты послушай, какая со мной штука случилась! Прихожу я сегодня въ Милютины лавки, спрашиваю балыка...

Приходить седьмой.

— Коли хочешь знать, какія штуки на свѣтѣ творятся, такъ слушай. Гуляю я сегодня по Владимірской, и только-что поравнялся съ церковью...

Приходить восьмой; но этотъ ничего не говоритъ, а только глазами хлопаетъ.

— Штука! — наконецъ восклицаетъ онъ, переводя духъ.

Словомъ сказать, образовалась цѣлая теорія вколачиванія „штуки“ въ человѣческое существованіе. На основаніи этой теоріи, еслибы всѣ эти люди не заходили въ трактиръ, не садились бы на конку, не гуляли бы по Владимірской, не ѣздили бы на извозчикѣ, а оставались бы дома, лежа пупкомъ вверхъ и читая „Нана“, то были бы благополучны. Но такъ какъ они позволили себѣ сѣсть на конку, зайти въ трактиръ, гулять по Владимірской и т. д., то получили за сіе въ возмездіе „штуку“.

„Штука“ — сама по себѣ вещь не мудрая, но замѣчательная тѣмъ, что обыкновенно ее вколачиваетъ „мерзавецъ“. Вколачиваетъ — и называетъ это вколачиванье „содѣйствіемъ“. Тотъ самый „мерзавецъ“, котораго всѣ признаютъ таковымъ, но отъ котораго никакъ не могутъ отдѣлаться, потому что онъ, дескать, на правильной стезѣ стоитъ. Я однако позволяю себѣ разсуждать такъ: мерзавецъ есть мерзавецъ — и болѣе ничего. А къ тому присовокупляю, что ежели вскорѣ не послѣдуетъ умаленія мерзавцевъ, то они по горло хлопотъ надѣлаютъ. Ибо не въ томъ дѣло, что они либераловъ на рюмкѣ джина подавливаютъ, а въ томъ, что повсюду, во всѣхъ щеляхъ и слояхъ, ихъ мерзкія дѣла безсмысленнѣйшую сумятицу заводятъ.

Какъ бы то ни было, но ужасно меня эти „штуки“ огорчили. Только-что началъ-было на веселый ладъ мысли настраивать — глядь, анъ тутъ цѣлый рядъ „штукъ“. Хотѣлъ-было крикнуть: да сидите вы дома! но потомъ сообразилъ: какъ же однако все дома сидѣть? У многа дѣла есть, а ниому и погулять хочется... Такъ и не сказалъ ничего. Пускай каждый рискуетъ, коли охота есть, и пускай за это узнаетъ, въ чемъ „штука“ состоитъ!

А мысли у меня тѣмъ временемъ разстроились. Съ *allegro con brio* на *andante cantabile* перешли...

Вотъ наше житишко каково. Не знаешь, какой ногой ступить, какое слово молвить, какой жестъ сдѣлать — вездѣ тебя „мерзавецъ“ подстережетъ. И вся эта безшабашная смѣсь глупости, распутства и предательства идетъ на встрѣчу подъ покровомъ „содѣйствія“ и во имя его безнаказанно отравляетъ человѣческое существованіе. Ябеда, которую мы нѣкогда знали въ обоимъ состояніи (и даже въ этомъ видѣ она никогда не казалась намъ достолюбезною), обмірщилась, сдѣлалась достояніемъ перваго встрѣчнаго добровольца.

Не правда ли, какая поразительная картина нравовъ? Да, даже для людей, видавшихъ на своемъ вѣку виды, она кажется поразительною и не-

ожиданною. Можетъ быть, въ сущности, она и не поразительнѣе картинъ добраго стараго времени, съ которыми мы ее сравниваемъ, однако вѣдь надо же принять во вниманіе, что время-то идетъ да идетъ, а картины все тѣ же да тѣ же остаются. Вотъ эта-то мысль именно и дожимаетъ, что самое время какъ будто утратило всякую власть надъ нами. По крайней мѣрѣ мы лично по временамъ начинаемъ казаться, что я стою у порога какой-то загадочной храмины, на дверяхъ которой написано: ГАЛИМАТІЯ. И стою я у этихъ дверей какъ прикованный, и не могу сойти отъ нихъ, хотя оттуда такъ и обдаетъ меня гнилымъ позоромъ взаимной травли и междоусобія. Тамъ, за этими дверьми, мечутся обезумѣвшіе отъ злобы сонмища добровольцевъ-соглядатаевъ, пугая другъ друга фантастическими страхами, стараясь что-то понять и ничего не понимая, усиливаясь отыскать какую-то мудреную комбинацію, въ которую они могли бы утопить гнетущую ихъ панику, и ничего не обрѣтая. Злые сердцемъ, нищіе духомъ, жестокіе, но безразсудные, они сознаютъ только требованія своего темперамента, но не могутъ выяснить ни объекта своихъ ненавистей, ни способовъ отмщенія. Все въ этомъ соглядатайствениомъ мірѣ загадочно: и люди, и дѣйствія. Люди — это тѣ люди-камни, которые когда-то сѣялъ Девкаліонъ, и которые, на зло волшебству, какъ были камнями, такъ и остались ими. Дѣйствія этихъ людей — каменные осколки, невѣдомо откуда брошенные, невѣдомо куда и въ кого направленные. Въ пустотѣ родилась ихъ злоба, въ пустотѣ она и потонетъ. Но — увѣ! — не потонетъ смута, которую ея безсмысленное шипѣніе виѣдрило въ человѣческія сердца.

Съ нѣкоторымъ страхомъ я спрашиваю себя: ужели же не исчезнуть съ лица земли эти пустомысленные риторы, эти лицемѣрствующіе фарисеи, всѣ эти шипящія гады, которые съ такою назойливою наглостью наполняютъ современную атмосферу міазмами смуты и мятежа? Шутка сказать, и до сихъ поръ еще раздаются обвиненія въ „бредняхъ“, а сколько ужъ лѣтъ минуло съ тѣхъ поръ, какъ эти бредни были да бывшемъ поросли? Неужели мы съ тѣхъ поръ недостаточно измелъчали и ошошѣли? Неужели мы мало кричали: не нужно широкихъ задачъ! не нужно! давайте трезвенныя слова говорить! Помилуйте! вѣдь ужъ не о „бредняхъ“ идетъ въ настоящее время рѣчь — ахъ, чтъ вы! — а о простомъ, простѣйшемъ житіи, о самой скромной претензіи на увѣренность въ завтрашнемъ днѣ. „Бредни“! — не помяните, голубушка, въ чемъ бишь они состоятъ? „Бредни“! да не то-ли это самое, чтъ нѣсколько станovýchъ, квартальныхъ и участковыхъ поколѣній усиленно и неустанно вышибали изъ насъ, въ чаяніи, что мы восчувствуемъ и пойдемъ впередъ „въ надеждѣ славы и добра“? Такъ неужели же и послѣ того мы не восчувствовали и продолжаемъ косятъ? — можетъ ли это быть!!! Нѣтъ, это не такъ, это клевета. Мы до такой степени восчувствовали, что нигдѣ, кромѣ навозной кучи, ужъ и не чаемъ обрѣсти жемчужное зерно. Шиллеры, Байроны, Данты! вы, которые говорили человѣку о свободѣ и напоминали ему о совѣсти — да исчезнетъ самая память объ васъ! Мы до такой степени и такъ искренно ошлѣли, что еслибы вы вновь появились въ эту минуту, то мы, не обвинуясь, причислили бы васъ къ лику „мошенниковъ пера“ и „разбойниковъ печати“. Вы не утѣшили бы, а испугали бы насъ. „Ахъ, можно ли такъ говорить!“ — „а ну, какъ подслушаетъ Расплюевъ!“ — вотъ чтъ слышали



бы вы отъ наиболѣе доброжелательныхъ изъ насъ! И Расплюевъ непремѣнно подслушалъ бы и пригласилъ бы васъ въ участокъ. А участокъ нашелся бы въ затрудненіи, кого предпочесть: Расплюева Шиллеру или Шиллера Расплюеву. Не вы теперь нужны, а городовые. И не только на своихъ постахъ нужны городовые, но и въ міръ человѣческой совѣсти. Чтò же дѣлать? проживемъ и съ городовыми! Но пускай же судьба оставитъ насъ съ одними ими и избавитъ отъ партикулярныхъ шинѣй и трубныхъ звуковъ, благодаря которымъ нѣтъ честнаго человѣка, который не чувствовалъ бы себя въ тискахъ ябеды.

Что это отсутствіе идеаловъ и бѣдность умственныхъ и нравственныхъ задачъ, эта низменность стремленій, заставляющая колебаться въ выборѣ между Шиллеромъ и городовымъ, очень существенно и горько отзвучитъ не только на настоящемъ, но и на будущемъ общества — въ этомъ не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣія. Время, пережитое въ болотѣ кляузъ, раздоровъ и подвоховъ, не пройдетъ безнаказанно ни въ общемъ развитіи жизни, ни передъ судомъ исторіи. Исторія не скажетъ, что это было пустое мѣсто — такой приговоръ былъ бы слишкомъ мягокъ и несогласенъ съ правдою. Она назоветъ это время ямою, въ которой кишѣли безчисленныя гадюки, источавшія ядъ, котораго испаренія полностью заразили всю атмосферу. Она засвидѣтельствуетъ, что и послѣдующія поколѣнія безконечно изнывали въ борьбѣ съ унаслѣдованной заразой и только цѣною мучительныхъ усилій выстрадали себѣ право положить основаніе дѣлу человѣчности и любви.

Но допустимъ, что намъ не къ лицу задаваться задачами, въ которыхъ на первомъ планѣ стоитъ общество, и тѣмъ меньше къ лицу угадывать приговоры исторіи. Допустимъ, что нашему разумѣнію доступно только маленькое личное дѣло, дѣло тѣхъ разрозненныхъ единицъ, для которыхъ потребность спокойствія и жизненныхъ удобствъ составляетъ главный жизненный мотивъ. Чтò такое общество? чтò такое будущее? чтò такое исторія? — *Risum te neatis, amici!* Вѣдь это именно тѣ самые „бредни“, о которыхъ я столько разъ ужъ упоминалъ и которые способны лишь извратить наши взгляды на задачи настоящаго! — Пусть будетъ такъ. Но вѣдь и въ этихъ разрозненныхъ существованіяхъ, и въ этихъ мелкихъ группахъ, на которыя разбилась человѣческая масса — вѣдь и тамъ уже царитъ бессмысленная распря, раздоръ и нравственное разложеніе.

Да, все это уже есть, на-лицо. Взволновавъ и развративъ общество, ябеда постепенно вторгается и въ семью. Она грозитъ порвать завѣщанный преданіемъ связующій элементъ и вмѣсто него посѣять въ сердцахъ однихъ — ненависть, въ сердцахъ другихъ — безнадежность и горе. На мой взглядъ это угроза очень серьезная, потому что ежели еще есть возможность, при помощи уличныхъ перебѣганій и домашнихъ запоровъ, скрыться отъ общества живыхъ людей, то куда же скрыться отъ семьи? Семья — это „домъ“, это центръ жизнедѣятельности человѣка, это послѣднее убѣжище, въ которое онъ обязательно возвращается отовсюду, куда бы ни призывали его профессія и долгъ. Далѣе этого убѣжища ему некуда идти. Посудите же, какое чувство онъ долженъ испытывать, если даже тутъ, въ этой крѣпости, его подстерегаютъ то же предательство, та же сваря, отъ которыхъ онъ едва-едва

унесъ ноги на улицѣ. И вдобавокъ, свара значительно обостренная, потому что никто не съумѣетъ такъ власть обострить всякую боль, какъ люди, отравляющіе другъ другу жизнь „по родственному“.

Еслибъ жертвами этихъ интимныхъ предательствъ дѣлались исключительно такъ-называемые либералы, можно бы пожалуй примириться съ этимъ. Можно бы даже сказать: сами либеральничали, сами кознодѣйствовали, сами бредили — вотъ и добредились! Но оказывается, что ябеда слѣпа и капризна...

На дняхъ я издали завидѣлъ на улицѣ извѣстнаго вамъ Удава \*) и просто-на-просто побоялся подойти къ нему: до такой степени онъ нынче глядитъ сумрачно и въ то же время уныло. Очевидно, въ немъ происходитъ борьба, въ которой попеременно то гнѣвъ беретъ верхъ, то скорбь. Но думаю, что въ концѣ концовъ скорбь, даже въ этомъ недоступномъ для скорбей сердцѣ, останется побѣдительницею.

У Удава было три сына. Одинъ сынъ пропалъ, другой — попался, третій — остался цѣлъ и выражается обратяхъ: „такъ имъ, подлецамъ, и надо!“ Удавъ предполагалъ, что подъ старость у него будутъ три утѣшенія, а на повѣрку вышло одно. Да и относительно этого послѣдняго утѣшенія онъ начинаетъ задумываться, подлинно ли оно утѣшеніе, а не египетская казнь.

Въ фактическомъ смыслѣ все это совершилось довольно быстро, но подготовлялось исподволь. Надо вамъ сказать, что Удавъ никогда не признавалъ никакой связи между обществомъ и своею личностью. Каждодневно, утромъ, выходилъ онъ „изъ дома“ на улицу какъ въ справочное мѣсто, единственно для совершенія обычныхъ дѣловыхъ подвиговъ, и, совершивъ что слѣдуетъ, вновь возвращался „домой“. Возвратившись, надѣвалъ халатъ, говорилъ: „теперь по мнѣ хоть трава не расти!“ и требовалъ, чтобъ его не задерживали съ обѣдомъ. За обѣдомъ онъ рассказывалъ анекдоты изъ жизни графа Михаила Николаевича, послѣ обѣда часа два отдавалъ отдохновенію, а за вечернимъ чаемъ произносилъ краткія поученія о томъ, какую и въ какихъ случаяхъ пользу для казны принести можно. И все ему внимали; дѣти поддакивали и фли отца глазами, жена говорила: „за то и начальство папеньку награждало!“

И вдругъ Удавъ сталъ примѣчать, что стѣны его храмины начинаютъ колебаться; что въ нихъ уже появляются бреши, въ которыя безцеремонно врывается улица съ ея смутю, кляузами, ябедою, клеветою... Дѣти внимаютъ ему разсѣянно; жена хотя еще поддакиваетъ, но безъ прежняго увлеченія. И даже во взаимныхъ отношеніяхъ членовъ семьи какая-то натянутость. Нѣкоторое время впрочемъ Удавъ крѣпился и какъ бы не вѣрилъ самому себѣ. Попрежнему продолжалъ рассказывать анекдоты изъ жизни графа Михаила Николаевича, и ежели замѣчалъ въ слушателяхъ равнодушіе, то отъ времени до времени покрикивалъ на нихъ.

Но дальше дѣло начало усложняться. Однажды, возвратившись въ храмину, Удавъ угадалъ сразу, что въ ней свила себѣ гнѣздо тайна. Жена какъ будто въ первый разъ видитъ его; дѣти смотрятъ и на него, и другъ на друга не то удивленно, не то пронзительно, словно испытываютъ. За обѣдомъ онъ

\*) См. „За рубежемъ“.



вновь затянулось было обычную пѣню о казенномъ интересѣ, но на первомъ же анекдотѣ голосъ его внезапно пресѣкъся: онъ убѣдился, что никто ему не внимаетъ. Тогда онъ вспомнилъ объ „улицѣ“ и какъ-то инстинктивно дрогнулъ: онъ понялъ, что у всякаго изъ его домочадцевъ лежитъ на душѣ своя собственная ненависть, которую онъ подхватилъ на улицѣ и принесъ домой. И каждого эта ненависть охватила всецѣло, каждый разрабатываетъ ее особо, въ своемъ собственномъ углу, за свой собственный счетъ...

Съ тѣхъ поръ Удавова хранина погрузилась въ мракъ и наполнилась шишѣніемъ. А наконецъ разразилась и исторія, разомъ лишившая его двухъ утѣшеній...

И теперь Удавъ спрашиваетъ себя: дѣйствительно ли онъ былъ правъ, полагая, что между обществомъ и его личностью не существуетъ никакой связи?

Быть можетъ, вы скажете, что Удавъ и его семья ничего не доказываютъ. А я такъ, напротивъ, думаю, что именно такія-то личности и даютъ наиболѣе подходящіе доказательства. Подумайте! вѣдь Удавъ не только никогда не скорбѣлъ о томъ, что ябеда грозитъ обществу разложениемъ, но втайнѣ даже радовался этой угрозѣ—и вдругъ теперь тотъ же Удавъ убѣждается, что общественная гангрена есть въ то же время и его личная гангрена! Какъ хотите, но, по моему, это очень важно. Удавъ—авторитетъ въ своей сферѣ; а потому очень возможно, что и другой, на него глядя, задумается...

А такихъ семей, которыя ябеда превратила въ звѣриныя берлоги, нынче развелось очень довольно. Улица, съ неслыханною доселѣ наглостью, врывается въ самыя неприступныя твердыни, и, къ удивленію, не встрѣчаетъ дружнаго отпора, какъ въ бывалое время, а только производитъ расколъ. Такъ что весь вопросъ теперь въ томъ, на чьей сторонѣ останется окончательная побѣда: на сторонѣ ли ябеды, которая вознамѣрилась весь міръ обратить въ пустыню, или на сторонѣ остатковъ совѣсти и стыда?

## Письмо восьмое.

Милая тетенька.

Вы, конечно, беспокоитесь, не позабылъ ли я о Варваринѣ днѣ?— Нѣтъ, не забылъ, и 4-го декабря, къ 3 часамъ, по обычаю, отправился къ бабенкѣ Варварѣ Петровнѣ (которую я, впрочемъ, изъ учтивости называю тетенькой) на пироги. Старушка, слава Богу, здорова и бодра, несмотря на то, что въ сентябрѣ ей минуло семьдесятъ-восемь лѣтъ. Только въ разсудкѣ какъ будто повредилась, но къ ней это даже идетъ. Хвалилась, что получила отъ васъ поздравительное письмо и большую банку варенья, и удивлялась, зачѣмъ вы удалились въ деревню, тогда какъ настоящее ваше мѣсто при дворѣ. Объ Аракчеевѣ, какъ и прежде, хранить благодарное воспоминаніе и повторила обычный рассказъ о томъ, какъ въ 1820 году она танцевала съ

нимъ манимаску. Но при этомъ призналась, что послѣ манимаски у нихъ состоялся романъ, и не безъ гордости прибавила:

— И вотъ съ тѣхъ поръ доживаю свой вѣкъ въ дѣвицахъ!

И дѣйствительно, еще недавно я собственными глазами видѣлъ документъ, на которомъ она подписалась: „къ сей закладной дѣвица Варвара Мангушева руку приложила“. И нотаріусъ эту подпись засвидѣтельствовалъ — чего бы, кажется, вѣришь?

А между тѣмъ представьте себѣ, чтѣ я узналъ — вѣдь у бабенки-то сынъ послѣ манимаски родился! И знаете ли, кто этотъ сынъ? — да вотъ тотъ самый Петруша Поселенцевъ, котораго мы, лѣтъ пятнадцать тому назадъ, застали, какъ онъ ручку у нея цѣловалъ! Помните, еще мы удивлялись, какъ это дѣвушка шестидесяти-трехъ лѣтъ рискуетъ оставаться наединѣ съ мужчиной, у котораго косая сажень въ плечахъ. А теперь оказывается, что мужчина-то — нашъ родственникъ! да и Аракчеевъ тоже намъ родственникъ! Вотъ такъ сюриризь! И живетъ Петруша въ томъ же домѣ, гдѣ-то по черной лѣстницѣ, и каждыйдневно ходитъ къ бабенкѣ обѣдать, когда гостей нѣтъ, а когда есть гости, то обѣдаетъ въ конуркѣ у Авдотьюшки, которая, послѣ эмансипаціи, изъ кофишеновъ произведена въ камеристки.

Все это я узналъ отъ дяденьки Григорія Семеныча, который сообщилъ мнѣ и другія секретныя подробности. Въ молодости бабенка была очень романтична, и какъ только увидѣла Аракчеева, такъ тотчасъ же влюбилась въ него. Всего больше ей понравилось въ немъ, что онъ бороду очень чисто брилъ, а еще того пуще плѣнила идея военныхъ поселеній, съ которою онъ тогда носился. „А впослѣдствіи, сударыня, мы и настоящую каторгу учредимъ“, прибавлялъ онъ, приводя ее въ восхищеніе. Тѣмъ не менѣе, когда бабенка почувствовала, что манимаска ей даромъ не прошла, то написала къ Аракчееву письмо, въ которомъ грозила утопиться, ежели онъ на ней не женится. Однако графъ урезонилъ ее, доказавъ, что ему, какъ человѣку одержимому, жениться не подобаетъ, и что ежели она и затѣмъ „не уймется“, то онъ поступитъ съ нею по всей строгости законовъ. Въ случаѣ же раскаянія обѣщалъ ее поддерживать, а имѣющаго родиться сына (онъ даже помыслить не смѣлъ, чтобъ отъ него могла родиться дочь — „развѣ бабу-ягу родите?“ прибавлялъ онъ шутливо) куда слѣдуетъ опредѣлить. И дѣйствительно, какъ только послѣдствія манимаски осуществились, такъ онъ тотчасъ же выхлопоталъ бабенкѣ пенсіонъ въ три тысячи ассигнаціонныхъ рублей „изъ калмыцкаго капитала“, а сына, назвавъ въ честь военныхъ поселеній Поселенцевымъ, зачислилъ въ кантонисты, и потомъ, на одрѣ смерти, выпросилъ, чтобъ его, по достиженіи законныхъ лѣтъ, опредѣлили въ фельдъегерскій корпусъ. Фельдъегеремъ Петруша служилъ лѣтъ десять и былъ произведенъ въ прапорщики, но потомъ, за жестокое обращеніе съ ямщиками, уволенъ, и въ настоящее время живетъ на бабушкиномъ иждивеніи. Ему теперь подъ-шестьдесятъ, но глупъ онъ совершенно такъ, какъ бы въ цвѣтѣ лѣтъ. Ничего не дѣлаетъ, даже въ дураки съ бабенкой лѣнится играть, но знаетъ фокусъ: возьметъ рюмку съ водкой, сначала водку выпьетъ, а потомъ рюмку съѣстъ. Этотъ фокусъ бабенка очень любитъ, но не часто можетъ доставлять себѣ это удовольствіе, потому что рюмки денегъ стоятъ, а денегъ



у нея, по случаю возникшей переписки о сокращеніи выпуска кредитныхъ знаковъ, маловато.

Такъ вотъ, голубушка, какія дѣла на свѣтѣ бываютъ! Часто мы думаемъ: дѣвушка да дѣвушка—а на повѣрку выходитъ, что у этой дѣвушки сынъ въ фельдъегеряхъ служить! По-неволѣ вспомнишь вашего старого сельскаго батюшку, какъ онъ, бывало, говаривалъ: „что же послѣ этого твои, человѣче, предположенія? и какую при семъ жалкую роль играетъ высокоумный твой разумъ!“ Именно такъ.

Само собой разумѣется, у бабеньки собрался, по случаю дня ангела, весь родственный синклитъ. Былъ тутъ и дяденька Григорій Семенычъ, и кузина Надежда Гавриловна, а съ ними два поручика и одинъ прапорщикъ—дѣти Надежды Гавриловны, два коллежскихъ ассесора, Сеничка и Павлуша—дѣти Григорія Семеныча, да еще штукъ шесть кадетовъ, изъ которыхъ часть—дѣти покойной кузины Марьи Гавриловны, а часть—неизвѣстнаго происхожденія. Изъ постороннихъ не позабылъ Варварина дня только тайный совѣтникъ Стрекоза, тотъ самый, который уцѣлѣлъ послѣ аракчеевской катастрофы за то, что оказался невиннымъ. Но генераль Бритый не пріѣхалъ, потому что накануне его похоронили.

И представьте себѣ, отчего онъ умеръ?—Все припоминалъ, кого онъ съ вечера 30-го ноября 1825 года назначилъ кошками на завтра наказать, но, бывъ внезапно уволенъ отъ службы, не наказалъ? Слишкомъ пятьдесятъ лѣтъ припоминалъ онъ эту подробность своей служебной карьеры, и все никакъ не могъ вспомнить, какъ вдругъ 30-го прошлаго ноября, ровно черезъ пятьдесятъ-шесть лѣтъ, солдатъ Аника, словно живой, такъ и глядитъ на него! „Кошекъ!“—гаркнулъ Бритый, но не остерегся и захлебнулся собственной слюной. А черезъ секунду ужъ лежалъ на полу мертвый...

Сначала, разумѣется, предметомъ всѣхъ разговоровъ былъ Бритый. Бабенька очень уважала покойнаго и говорила, что теперь такихъ вѣрныхъ исполнителей предначертаній уже не сыщешь. Извѣстно, что на Бритомъ лежала обязанность ввѣдрять идею военныхъ поселеній посредствомъ шпицрутеновъ, тогда какъ Стрекоза ту же самую идею ввѣдрялъ при помощи допроса съ пристрастіемъ. Обѣ эти личности были фаворитами временщика. Даже суровый Аракчеевъ—и тотъ умилялся, видя ихъ неумышленное служеніе, и нерѣдко (въ особенности Бритаго) гладилъ ихъ по головѣ. Стрекоза и до сихъ поръ безъ слезъ объ этомъ вспомнить не можетъ. Но бабенька, которую кузина Надежда Гавриловна по-французски называетъ *un coeur d'or*, всегда отдавала предпочтеніе Бритому, а Стрекозу не долюбиваетъ и нерѣдко даже называетъ его самого—предателемъ, а слезы его—крокодиловыми. И все за то, что онъ черзчуръ тщиля доказать свою „невинность“. Бритый, говоритъ она, прямо палъ на колѣни и показалъ: „все сіе исполнялъ въ точности, поколику находилъ оное своевременнымъ и полезнымъ“, а Стрекоза—„вертѣлся“. Впрочемъ и Стрекозу она принимаетъ дружески, потому что кругъ аракчеевцевъ съ каждымъ годомъ убываетъ, и въ настоящее время имѣеть, кажется, только двухъ представителей: бабеньку и Стрекозу.

Такъ-то вотъ. Теперь убываютъ аракчеевцы, а потомъ будутъ убывать

муравьевцы, а потомъ... Но не станемъ упреждать событій, а будемъ только памятовать, что еще старикъ Державинъ сказалъ:

А завтра—гдѣ ты человѣкъ?

Когда кончили съ Бритымъ, Стрекоза разсказалъ нѣсколько истинныхъ происшествій изъ практики своего патрона, и въ заключеніе произнесъ прочувствованное слово въ похвалу Аракчеевской „системѣ“. Представьте себѣ, мой другъ; такъ умно эта система была задумана, что всѣ, которые въ ея районъ попадали, другъ за другомъ слѣдили и обо всемъ слышанномъ и видѣнномъ доводили до свѣдѣнія. Даже тѣ, которые „не являлись къ сему склонными“ (выраженіе Стрекозы)—и тѣ, съ теченіемъ времени, увлекались въ общій потокъ челоуѣконенавистничества, отчасти потому, что ихъ побуждало къ тому желаніе отмщенія, отчасти же потому, что ихъ неуклонно подбодрали въ этомъ направленіи шпицрутенами. Такъ что извѣстно было не только кто что говорилъ, но и кто что ѣлъ, то-есть, установленную ли пищу, или неуставленную, въ горшкѣ ли сваренную, или въ другомъ сосудѣ. И оттого всѣ были тогда здоровы, потому что ѣли пищу настоящую, а за все прочее отвѣчала спина. Но сверхъ того Аракчевъ, по мнѣнію Стрекозы, былъ и въ томъ отношеніи незабвененъ, что подготавливалъ народъ къ воспріятію коммунизма; шпицрутены же въ этомъ случаѣ предлагались совсѣмъ не какъ окончательный *modus vivendi*, но лишь какъ благовременное и цѣлесообразное подспорье. Словомъ сказать, еслибъ Аракчевъ пожилъ еще нѣкоторое время, то Россія давнымъ-давно бы была сплошь покрыта фаланстерами, а мы находились бы наверху благополучія. И тогда потребность въ шпицрутенахъ миновала бы сама собою.

И такъ, вотъ какое будущее готовилъ Аракчевъ Россіи! Безспорно, замыслы его были возвышенны и благородны, но не правда ли, какъ это странно, что ни одно благодѣяніе не воспринимается челоуѣчествомъ иначе, какъ съ пособіемъ шпицрутенонъ! По крайней мѣрѣ, и бабенка, и Стрекоза твердо этому вѣрили и одинаково утверждали, что челоуѣкъ безъ шпицрутенонъ все равно, что генералъ безъ звѣзды или газета безъ руководящей статьи.

Затѣмъ, воздавъ хвалу прошлому, перешли къ современности и очень хвалили. Стрекоза заявилъ, что въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ нынче даже лучше прежняго, потому что нужна была Аракчевская несокрушимость, чтобы „систему“ въ общество внѣдрять, а нынче и безъ Аракчеева общество само ничуть не хуже систему выработало. А отсюда прямой выводъ: что мы созрѣли.

— Нынче, сударыня, ежели два родныхъ брата вмѣстѣ находятся, и одинъ изъ нихъ не кричитъ „страхъ врагамъ!“, такъ другой ужъ примѣчаетъ. А на конкахъ да въ трактирахъ даже въ полной мѣрѣ чистота души требуется.

На что бабушка резонно отозвалась:

— И дѣльно. Не шатайся по конкамъ, а дома сиди. Чѣмъ дома худо? На улицѣ и сырость, и холодъ, а дома всегда божья благодать. Да и вообще это не худо, что общество само себя провѣрить захочетъ... А то ужъ ни на что непохоже, какъ распустили!



Отъ этихъ бабенкиныхъ рѣчей кадеты пришли въ восторгъ и заглопали въ ладоши. Но старшіе подѣлились на партіи. Коллежскій ассесоръ Сеничка всталъ и, въ знакъ восхищенія, поцѣловалъ у бабенки ручку; его примѣру послѣдовали оба поручика, выразившись при этомъ: „золотыя вы, бабенка, слова сказали!“ Но коллежскій ассесоръ Павлуша и прапорщикъ глядѣли хмуро. Дядя Григорій Семенычъ тоже поморщился (онъ вѣдь у насъ вольнодумецъ) и какъ-то гадливо посмотрѣлъ на Сеничку. Что же касается до кузины Надежды Гавриловны, то она, обращаясь къ прапорщику, сказала:

— А ты отчего у бабенки ручку не поцѣлуешь?.. безчувственный!

На что прапорщикъ отвѣтилъ:

— Вы, маменька, ничего не понимаете—оттого и говорите!

Словомъ сказать, произошла семейная сцена, длившаяся не болѣе двухъ-трехъ минутъ, но, несмотря на свою виѣшнюю загадочность, до такой степени ясная для всѣхъ присутствующихъ, что у меня, напримѣръ, сейчасъ же созрѣлъ въ головѣ вопросъ: который изъ двухъ коллежскихъ ассесоровъ, Сеничка или Павлуша, будетъ раньше произведенъ въ надворные совѣтники?

Но не успѣлъ я порядкомъ разрѣшить этотъ вопросъ (онъ сложнѣе, нежели съ перваго взгляда казаться можетъ), какъ бабенка неожиданно меня огорошила.

— Ну, а ты, либераль, какъ полагаешь?—обратилась она ко мнѣ.

Поручики фыркнули и подмигнули коллежскому ассесору Сеничкѣ, который беззвучно хихикнулъ. Стрекоза грустно покачалъ головой, какъ бы вопрошая себя, ужели и въ храмину цѣломудренной боярыни успѣлъ заполнить ядъ либерализма? А кузина Надежда Гавриловна — помните, мы съ вами ее „индюшкой“ прозвали?—такъ-таки прямо и расхохоталась мнѣ въ лицо.

— Либераль... ха-ха! Такъ ты все еще либераль, cousin? Ха-ха! Онъ... либераль!

Разумѣется, я прежде всего сгорѣлъ со стыда и поспѣшилъ оправдаться. Говорилъ, что дѣйствительно нѣкогда былъ либераломъ, но въ то время это было простиительно. Теперь же я убѣдился, что либеральничанье нужно оставить (и оставилъ), а надо дѣло дѣлать:

— Дѣло... но какое?—пытливо обратился ко мнѣ Стрекоза, очевидно переносясь мыслью къ тѣмъ незабвеннымъ временамъ, когда онъ чинилъ допросы съ пристрастіемъ.

— Разумѣется, настоящее дѣло... Вотъ напримѣръ по питейной части... отчего же! я съ удовольствіемъ! — бормоталъ я, застигнутый врасплохъ и цѣпляясь за первый попавшійся вопросъ насущной современности.

Но тутъ случилась новая неожиданность. Прапорщикъ, который все время угрюмо молчалъ и зализывалъ зачатки усомъ, вдругъ съ трескомъ поднялся и, торжественно протянувъ мнѣ руку, воскликнулъ:

— Дядя! я вамъ... сочувствую!

И заплакалъ.

Произошла новая семейная путаница. Поручики впились въ меня стальными глазами, какъ бы намѣреваясь нѣчто запечатлѣть въ памяти; коллежскій ассесоръ Сеничка, напротивъ, стыдливо потупилъ глаза, и, казалось, размышлялъ: обязанъ ли онъ, въ качествѣ товарища прокурора, занести о семъ въ

протоколъ! „Индюшка“ визжала на прапорщика: „ахъ, этотъ дурной сынъ въ гробъ меня вгнѣтитъ!“ Стрекоза съ каждою минутой становился грустнѣе и строже. Но бабенка, какъ любезная хозяйка старалась держать нейтралитетъ и весело произнесла:

— Ничего! пусть молодые люди провѣрять другъ друга! это не худо! пускай провѣрять!

И такъ на меня при этомъ посмотрѣла, что я непременно провалился бы сквозь землю, еслибы не выручилъ меня дядя Григорій Семенычъ, сказавъ:

— Да вѣдь мы, *ma tante*, не для провѣрки здѣсь собрались а на имянинный пирогъ!

Этотъ крикъ слегка расхолодилъ присутствующихъ, и хотя въ ожиданіи пирога прошло еще добрыхъ полчаса, однако никакія усилія бабушки оживить общество уже не имѣли успѣха. Такъ что потребовалось допустить вмѣшательство кадетовъ, чтобъ разговоръ окончательно не потухъ.

— Такъ чему же васъ, душенька, въ корпусъ учать?—привѣтливо спрашивала одного изъ нихъ дорогая имянинница.

— Повиноваться начальству, бабенка.

— А еще чему?

— Исполнять свой долгъ, бабенка.

— Вотъ и прекрасно. Такъ ты и поступай. Во-первыхъ, повинуйся начальству, а во-вторыхъ исполняй свой долгъ...

Покуда происходилъ этотъ вопросъ, я сидѣлъ и думалъ: за чтѣмъ они на меня нападаютъ? Правда, я былъ либераломъ... ну, былъ! Да вѣдь я ужъ прозрѣлъ—чего еще нужно? Кажется, пора бы и прост... то, бишь, позабыть! И притомъ надо вѣдь еще доказать, что я дѣйствительно... былъ! А чтѣмъ, ежели я совсѣмъ „не былъ“? Чтѣмъ, если все это только *казалось*? Развѣ я въ чемъ-нибудь замѣченъ? развѣ я попался? уличенъ? Ахъ, господа, господа!

Однимъ словомъ, застигнутый нелѣпою паникой, я все глубже и глубже погружался въ нучину неопрятныхъ мыслей и — очень можетъ статься—дошелъ бы и до настоящаго кошмара, еслибы случайно не взглянулъ на Стрекозу. Онъ смотрѣлъ на меня въ упоръ и, казалось, не безъ коварной проницательности слѣдилъ за моею тревогой. Но единственная мысль, которую я прочиталъ въ его помертвѣломъ взглядѣ, была такова: „сія вина столь неизмѣрима, что никакое раскаяніе не смоетъ ея!“ Прекрасно; но ежели даже чистосердечное раскаяніе не можетъ оправить меня въ глазахъ Стрекозы, то чтѣмъ же остается мнѣ предпринять? Помилуйте! Людямъ самымъ порочнымъ и несомнѣнно преступнымъ — и тѣмъ, съ теченіемъ времени... Но не успѣлъ я вплотную расфантазироваться, какъ вдругъ, совершенно неожиданно для меня самого, на бѣ эти вопросы откуда-то вынырнулъ самый ясный и самый естественный отвѣтъ: да просто-на-просто наплевать!

Отвѣтъ этотъ до такой степени оживилъ меня, что даже шкурная боль мгновенно утихла. И какъ это удивительно, что такая простая мысль пробилась въ голову не сразу, а черезъ цѣлую массу всякаго рода неопрятностей! Скажите на милость! мнѣ ужъ шестой десятокъ въ исходѣ и весь я недугами измученъ — и все-таки чего-то боюсь! Ну, не срамъ ли! Чтѣмъ съ меня взять-то, подумайте! Вѣдь и измучить меня власть нельзя — умру, только и всего.



Эка невидаль! Умереть — уснуть! — это всё половые въ трактирѣ „Британія“ знали! Мучишься-мучишься, да еще конца мученья бояться! Наплевать! Стрекоза! наблюдай! Поручики! взирайте съ прилежаніемъ! Либераль такъ либераль! что-жъ такое!

Гораздо интереснѣе опредѣлить, кто прежде будетъ произведенъ въ надворные совѣтники, Сеничка или Павлуша? Оба они въ однихъ чинахъ, но Сеничка уже товарищъ прокурора, а Павлуша и поднесъ только исправляющій должность товарища. Выходить, что и теперь Сеничка ужъ опередилъ, и, стало быть, надворнымъ совѣтникомъ раньше будетъ. Но врядъ ли онъ даже объ этой подробности очень-то заботится. Онъ шире раскидываетъ умомъ и глядитъ куда дальше и глубже. Вонъ онъ какъ играетъ глазами: то опуститъ ихъ долу, то вытаращитъ. То радостное чувство ими выразитъ, то печальное изумленіе. Гнѣва — никогда! или только ужъ въ самыхъ экстренныхъ случаяхъ, когда, что называется, ни лечь, ни встать. Ибо онъ *magistrat*, и въ этомъ качествѣ гнѣваться не имѣетъ права, а можетъ только печально изумляться, какъ это люди, живя среди прекраснѣйшихъ долинъ, могутъ погрязать въ порокахъ! И вотъ, помяните мое слово: не пройдетъ и года, какъ онъ уже будетъ прокуроромъ, потомъ женится на генеральской дочери, а затѣмъ и окончательно попадетъ на содержаніе къ государству. И будетъ язвить и мутить до тѣхъ поръ...

Но на этомъ мѣстѣ мои грѣзы были прерваны докладомъ, что поданъ пирогъ.

Вы знаете, какіе прекрасные пироги бываютъ у бабенки въ день ея именинъ. Но нѣсколько лѣтъ тому назадъ, по наущенію Бритаго, она усвоила очень непріятный обычай: независимо отъ имениннаго пирога, подавать на столъ еще коммеморативный пирогъ въ честь Аракчеева. Пирогъ этотъ впрочемъ ставится посреди стола только для формы; съѣдаютъ его по самому маленькому кусочку, причемъ каждый обязанъ на минуту сосредоточиться... Но трудно описать, какая это ужасная горлопятина!

Представьте себѣ вчерашній дурно пропеченный ситникъ, внутри котораго проложенъ тонкій слой рубленой убойны — вотъ вамъ любимая Аракчеевская ѣда! По обыкновенію, мы и на этотъ разъ разжевали по маленькому кусочку; но Стрекоза, который хотѣлъ похвастаться передъ именинницей, что онъ еще молодецъ, разомъ заглоталъ цѣлой сукрой — и подавился. Къ довершенію всего, тутъ случился Петруша (его бабенка нынче заставляетъ, въ торжественныхъ случаяхъ, прислуживать за столомъ) и, вспомнивъ фельдбергское прошлое, выпучилъ глаза и началъ такъ сильно дубасить Стрекозу въ загорбокъ, что послѣдній разинулъ пасть, и мы думали, что непременно оттуда вылетитъ Иона. Однако, слава Богу, все кончилось благополучно; заглотанный кусокъ проскочилъ по принадлежности, Стрекоза утеръ слезы (только подобные казусы и могутъ извлечь ихъ изъ его глазъ), а пирогъ бабенка приказала убрать и раздать по кусочку неимущимъ.

Случай съ Стрекозой имѣлъ впрочемъ и благотворное дѣйствіе въ томъ отношеніи, что на время заставилъ позабыть о злобахъ дня и далъ разговору другое направленіе. Стали рассказывать, кто сколько разъ въ жизни подавился и какимъ образомъ. Стрекоза давился разъ пятьдесятъ, и всегда

спасался тѣмъ, что его колотили въ загорбокъ. Но разъ чуть было совсѣмъ не отправился на тотъ свѣтъ. Дѣло было въ Грузинѣ; наловили въ рѣкѣ чудеснѣйшихъ ершей и принесли въ лоханкѣ показать Аракчееву. Графъ похвалилъ и потомъ, взявъ одного самого юркаго ерша, проглотилъ; затѣмъ то же самое сдѣлалъ Бритый, а за нимъ, по точной силѣ регламентовъ, пришлось глотать живого ерша и Стрекозѣ. Только онъ не досмотрѣлъ, что Аракчеевъ и Бритый своихъ ершей заглатывали съ головы, и заглotalъ своего съ хвоста. Ну, натурально, свѣта не взвидѣлъ. Къ счастью, Аракчеевъ и тутъ нашелся. Велѣлъ подать ламповое стекло и просунулъ его Стрекозѣ въ хайло. Такимъ образомъ ершъ очутился внутри стекла и затѣмъ ужъ ничего не стоило вынуть его оттуда простыми щипцами. Такъ что черезъ часъ Стрекоза, какъ ни въ чемъ не бывало, уже чинилъ допросъ съ пристрастіемъ. А еще, милая тетенька, рассказывалъ Стрекоза, какъ онъ однажды плюху проглотилъ (однакожь не подавился); но это ужъ долго спустя послѣ Аракчеевской катастрофы, потому что при Аракчеевѣ онъ самъ другихъ плюхи глотать заставлялъ.

— А больно было щекѣ, какъ плюху-то дали?—полюбопытствовалъ дядя Григорій Семенычъ.

— Не могу сказать, чтобъ очень; однакожь...

Другіе тоже рассказали каждый по нѣскольку случаевъ. Чаше всѣхъ давилась кузина Надежда Гавриловна, потому что она, въ качествѣ „индюшки“, очень жадна и притомъ не всегда можетъ отличить твердую пищу отъ мягкой. Бабенька подавилась только одинъ разъ въ жизни, но такъ какъ въ этомъ случаѣ рѣшительную роль игралъ Аракчеевъ, то, натурально, она намъ не сообщила подробностей.

— А я, бабенька, ни разу еще не подавился!—похвастался одинъ изъ кадетовъ.

— Тебѣ еще, миленькій, рано. Вотъ поживешь съ наше—тогда и ты...

Словомъ сказать, всѣмъ стало весело и бесѣда такъ и лилась рѣкою. И чтѣжь! мнѣ же, или, лучше сказать, моей разсѣянности было суждено нарушить общее мирное настроеніе и вновь направить умы въ сторону внутренней политики. Уже подавали пирожное, какъ бабенькѣ вдругъ вздумалось обратиться съ вопросомъ и ко мнѣ:

— Ну, а ты, мой другъ, давился когда-нибудь?

По обыкновенію своему, я не обдумалъ отвѣта и такъ-таки прямо и брякнулъ:

— Да какъ вамъ сказать, милая тетенька, вотъ ужъ сколько лѣтъ сряду, какъ мнѣ кажется, будто я каждую минуту давлюсь...

Едва успѣлъ я произнести эти слова, какъ всѣ обернулись въ мою сторону въ изумленіи, почти что въ испугѣ. Даже дядя Григорій Семенычъ посмотрѣлъ на меня съ любопытствомъ, какъ бы говоря:

— Ну, братъ, не ожидалъ я, что ты такъ глупъ!

Только „индюшка“ ничего не поняла и все приставала къ поручикамъ:

— Чтѣ еще либераль слиберальничать? Либераль... ха-ха!



Но никто не отвѣтилъ ей: до такой степени всѣ чувствовали себя подавленными...

Тѣмъ не менѣ мы разстались довольно прилично. Только въ передней Стрекоза остановилъ меня и, дружески пожмая мою руку, сказалъ:

— Позвольте мнѣ, какъ другу почтеннѣйшей вашей бабенки, подать вамъ полезный совѣтъ. А именно: ежели вамъ и впредь вышесказаннымъ подавиться случится, то старайтесь оное проглотить. Буде же найдете таковое для себя неисполнимымъ, то во всякомъ случаѣ хоть видъ покажите, что съ удовольствіемъ проглотили.

И такъ мнѣ, тетенька, отъ этихъ Стрекозиныхъ словъ совѣстно сдѣлалось, что я даже не нашелся отвѣтить, что я нелѣпую свою фразу просто такъ, не подумавши, сказалъ, и что въ дѣйствительности я всегда глоталъ, глотаю и буду глотать. А стало быть и показывать видъ никакой надобности для меня не предстоить.

Съ подѣзда оба поручика и коллежскій ассесоръ Сеничка сѣли на лихачей и, крикнувъ: „туда!“ — скрылись въ сумеркахъ. „Индюшка“ увязалась-было за дядей, но онъ безъ церемоній отвѣчалъ: „ну тебя!“ Тогда она на минуту опечалилась: „Куда же я поѣду?“ — но сѣла въ карету и велѣла везти себя сначала къ Елисееву, потомъ къ Баллѣ, потомъ къ колбаснику Кирхгейму...

— А потомъ ужъ я знаю куда. Bonsoir, mon oncle!

Пранпорщикъ побѣжалъ домой „книжку дочитывать“, а коллежскій ассесоръ Павлуша — тоже домой къ завтрашнему дню обвинительную рѣчь готовить. Но ему, тетенька, выигранныхъ-то обвиненій не даютъ, а все около кражи со вломомъ держатъ, да и то если таковую совершилъ человѣкъ не выше чиномъ коллежскаго регистратора. Затѣмъ мы съ дядей остались одни, и я рѣшился кончить день въ его обществѣ.

Дядя очень несчастливъ, милая тетенька. Подобно Удаву, онъ разсчитывалъ, что на старости лѣтъ у него будетъ два утѣшенія, а въ дѣйствительности оказывается только одно. Съ коллежскимъ ассесоромъ Сеничкой случилось что-то загадочное: повидимому онъ, вмѣстѣ съ другими балбесами, увлекся потокомъ междоусобія и не только сдѣлался холоденъ къ своимъ приснымъ, но даже какъ будто слѣдить и за отцомъ, и за братомъ. Но чтѣ всего больнѣе: секретно дядя и до сихъ поръ питаетъ предилекцію къ Сеничкѣ, а Павлушу хотя и старается любить, но именно только *стараются*, ради удовлетворенія принципу справедливости.

— И вѣдь какой способный малый! — говорилъ! онъ мнѣ боѣ Сеничкѣ: — какое хочешь дѣло... только намекни! онъ сейчасъ не только пойметъ, но даже самъ отъ себя добавитъ и разовьетъ!

— Да, талантливый онъ у васъ...

— То-то, что черезчуръ ужъ талантливъ. И я сначала на него радвался, а теперь... Талантливость, мой другъ, это такая вещь... Все равно что пустая бутылка: какое содержаніе въ нее вольешь, то она и вмѣститъ...

— Да вѣдь на то умъ человѣку данъ, чтобъ талантливость направлять.

— И умъ въ немъ есть — несомнѣнно, что есть; но откровенно тебѣ

скажу, не особенной глубины этотъ умъ. Вотъ извернуться, утлать минуту, слищемърничать, и все это исключительно въ свою пользу—это такъ. На это нынѣшніе умы удивительно чутки. А чтобы провидѣть общіе выводы — никогда!

— Но что же такое съ Сеничкой случилось?

— Карьеры захотѣлось, да и бомондъ голову вскружилъ... Легко это нынче, а онъ куда далеко, черезъ головы глядять. Боюсь, чтобы совѣтъ современемъ не осрамился...

Дядя помолчалъ съ минуту и потомъ продолжалъ:

— Никогда у насъ этого въ роду не было. Этой гадости. А теперь, представь себѣ, въ самомъ семействѣ... Повѣришь ли, даже относительно меня... Ну, фронтёръ я — это такъ. Ну, можетъ быть, и нехорошо, что въ моихъ лѣтахъ... допустимъ и это! Однако какой же я, въ сущности, фронтёръ? Что я такое ужасное проповѣдую?.. Такъ что-нибудь...

— Помилуйте, дядя! обыкновенный свѣтскій разговоръ: то — нехорошо, другое — скверно, третье — совѣтъ нигде не годится... Только и всего.

— Ну, вотъ видишь! И онъ прежде находилъ, что „только и всего“, и даже всегда самъ принималъ участіе. А наменись какъ-то началъ я по обыкновенію фронтёрить, а онъ вдругъ: „вы, папенька, на будущее время объ извѣстныхъ предметахъ при мнѣ выражайтесь осторожнѣе, потому что я по обязанности не имѣю права оставлять подобныя превратныя сужденія безъ послѣдствій!“

— Вотъ онъ какой!

— Да, строгонекъ. Ну, я сначала было подавился, а потомъ подумалъ — подумалъ и проглотилъ.

— А я бы на вашемъ мѣстѣ...

— Нельзя, мой другъ. Помилуй! коллежскаго ассесора! Это въ прежнее время допускалось, а нынче... Я помню, покойный папенька рассказывалъ: закутилъ онъ въ полку — ну, просто пить безъ просыпу началъ... Узналъ объ этомъ дѣдушка, да и пригласилъ блуднаго сына въ деревню. И прямо какъ пріѣхалъ сынокъ — въ кабинетъ! Розогъ! Только папенька-то вѣдь уменъ былъ: какъ слѣдуетъ родительскую науку выдержалъ, да еще ручку у родителя поцѣловалъ. А дѣдушка, за эту его кротость, на другой день ему тысячу душъ подарилъ! И съ тѣхъ поръ какъ рукой сняло! До конца жизни никакого вина папенька въ ротъ не бралъ! Вотъ какая встарину чистота нравовъ была!

— Да, нынче пожалуй такъ нельзя... То-есть, оно и нынче бы можно, да вотъ тысячи-то душъ у васъ на закуску нѣтъ... Ну, а Павлуша какъ?

— Павлуша покаместъ еще благородень. „Индюшкны“ поручили и на него налетали: и ты, дескать, долженъ содѣйствовать! Однако онъ уклонился. Только вмѣсто того, чтобы умненько: молъ, и безъ того вѣрной службой всемѣрно и неуклонно содѣйствую — а онъ такъ-таки прямо: „я, господа, марать себя не желаю!“ Теперь вотъ я и боюсь, что эти балбесы, вмѣстѣ съ Семеномъ Григорьичемъ, его подкузмятъ.

— Пустяки. Что они могутъ сдѣлать!

— Аттестовать на всѣхъ распутіяхъ будутъ. Павелъ-то у меня совѣтливъ, а они — наглые. Вѣдь можно и похвалить такъ, что послѣ дома не



скажешься. Намеднись Павелъ-то ужъ узналъ, что начальникъ хотѣлъ ему какое-то „выигрышное“ дѣло поручить, а Семень Григорычъ отсовѣтовалъ. „Мой братъ, говорить, очень усердный и достойный молодой человѣкъ, но дѣла, требующія блеска, не въ его характерѣ“.

— Однако!

— А начальственные уши, голубчикъ, такія аттестаціи крѣпко запечатлѣваютъ. Дойдетъ какъ-нибудь до Павла очередь къ награждѣ или къ повышенію представлять, а онъ, начальникъ-то, и вспомнить: „Что, бишь, я объ этомъ чиновникѣ слышалъ? Гм... да! характеръ у него“... И мимо. Что онъ слышалъ? Отъ кого слышалъ? Отъ одного человѣка или двадцатерыхъ?—все это ужъ забылось. А вотъ: „гм... да! характеръ у него“ — это запечатлѣлось. И останется нашъ Павелъ Григорычъ вѣчнымъ товарищемъ прокурора, въ родѣ какъ притча во языцѣхъ.

— Ахъ, дядя! но сколько есть такихъ, которые и такой-то должности были бы рады-радешеньки!

— Знаю, что много. А коли въ ревизскія сказки заглянешь, такъ даже удивишься, сколько ихъ тамъ. Да вѣдь не въ ревизскихъ сказкахъ дѣло. Тамонніе люди—сами по себѣ, а служащіе по судебному вѣдомству люди—сами по себѣ. И то ужъ Семень Григорычъ при мнѣ на дняхъ брату отчеканилъ: „Вамъ, Павелъ Григорычъ, не въ судебномъ бы вѣдомствѣ служить, а кондукторомъ на желѣзной дорогѣ!“ Да и это ли одно! со мной, мой другъ, такая недавно штука случилась, такая штука!.. ну, да впрочемъ ужъ что!

Дядя остановился съ очевиднымъ намѣреніемъ побѣдить свою болтливость; однакожъ не выдержалъ и черезъ минуту продолжалъ:

— Знаешь ли ты, что у меня книги начали пропадать?

— Не можетъ быть! Запрещенныя?

— А то какія же! Шестидесятъ, братецъ, лѣтъ на свѣтѣ живу, можно было коллекцію составить! И все были цѣлы, а съ нѣкоторыхъ поръ стали вотъ пропадать!

Тетенька! увѣряю васъ, что меня чуть не стошнило при этомъ признаніи.

— Дядя! не довольно ли? не оставимъ ли мы этотъ разговоръ? не поговоримъ ли по душѣ, какъ бывало?—неволью вырвалось у меня.

Восклицаніе это видимо смутило его.

— То-то, что... а впрочемъ въ самомъ дѣлѣ... да вѣдь у меня нынче...

Онъ мялся и бормоталъ. Ужасно онъ былъ въ эту минуту жалокъ.

Но я-таки уговорилъ его хоть на нѣсколько часовъ вспомнить старину и пофрондировать. Распорядились мы насчетъ чаю, затопили каминъ, закурили сигары и начали... Ужъ мы брили, тетенька, брили! ужъ мы стригли, тетенька, стригли! Каждую минуту я ждалъ, что „небо съ трескомъ развалится и время на кося падетъ“... И что же! смотримъ, а околоточный прямо противу дома посередь улицы стоитъ и въ носу ковыряетъ!

И вдругъ въ сосѣдней комнатѣ шорохъ...

Какъ уязвленный, побѣжалъ я на цыпочкахъ къ дверямъ и вижу: въ неосвѣщенной гостиной безшумно скользитъ какая-то тѣнь...

— Это онъ! Это Семень Григорычъ изъ своего клуба вернулся! — шепнулъ мнѣ дядя.

А дня через три послѣ бабенкинова пирога меня посѣтила сама „Индюшка“.

— Cousin! да перестань ты писать, ради Христа!

— Что тебѣ вдругъ вздумалось? развѣ ты читаешь?

— Кабы я-то читала — это бы ничего. Слава Богу, въ правилахъ я тверда: и замужемъ сколько лѣтъ жила, и сколько послѣ мужа вдовѣю! мнѣ теперь хоть говори, хоть нѣтъ — я стала на своемъ, да и конченъ балъ! А вотъ прапорщикъ мой... Грѣхъ это, другъ мой! большой на твоей душѣ грѣхъ!

— Да вѣдь я не для прапорщика твоего пишу. Собственно говоря, я даже не знаю, кто меня будетъ читать? можетъ быть, прапорщикъ, а можетъ быть, генераль отъ инфантеріи...

— Ну, гдѣ генераламъ пустяки читать! Они нынче все географію читаютъ!

— Ахъ, Наденька! всегда-то ты что-нибудь внезапное скажешь! Ну, съ чего ты вдругъ географію прилегла?

— Ничего тутъ внезапнаго нѣтъ. Это нынче всѣмъ извѣстно. И André мнѣ тоже сказывалъ. Надо, говорить, на войнѣ генераламъ впередъ идти, а куда идти — они не знаютъ. Вотъ это нынче и замѣтили. И велѣли во всѣхъ войскахъ географію подучить.

— Ну-ну, Христосъ съ тобой! лучше о другомъ поговоримъ. Что же ты про прапорщика-то хотѣла рассказать?

— Помилуй! каждый день у меня, grâce à vous, баталіи въ домѣ происходятъ. André и Pierre говорятъ ему: „не читай! у этого человѣка христіанскихъ правилъ нѣтъ!“ А онъ имъ въ отвѣтъ: „свиньи!“ да возьметъ — ты знаешь, какой онъ у меня упорный! — запрется на ключъ и читаетъ. А въ послѣднее время очень часто даже не ночуетъ дома.

— Неужто все изъ-за меня?

— Не то чтобъ изъ-за тебя, а вообще... Голубчикъ! позволь тебѣ настоящую причину открыть!

— Сдѣлай милость, открой!

— Скажи, ты любилъ хоть разъ въ своей жизни? вѣдь любилъ?

— Наденька! да не хочешь ли ты кофею? пирожковъ?

— Какъ тебѣ сказать... впрочемъ я только-что позавтракала. Да ты не отвливай, скажи: любилъ? По глазамъ вижу, что любилъ?

— Я не понимаю, зачѣмъ ты этотъ разговоръ завела?

— Ну, вотъ, я такъ и знала, что любилъ! Онъ любилъ... ха-ха! Вотъ вы все меня душой прославили, а я всегда прежде всѣхъ угадаю!

— Наденька! да позволь, голубушка, я тебѣ сонныхъ капель дамъ принять!

— Ну, такъ! Смѣйся надо мной, смѣйся!.. А я все-таки твою тайну угадала... да!

— Позволь! говори толкомъ: что тебѣ нужно?

— Да... что-бишь? Ахъ, да! такъ вотъ ты и описывай про любовь! Какъ это... ну, вообще, что обыкновенно съ дѣвушками случается... Разумѣется, не нужно mettre les points sur les i, а такъ... Вотъ мои поручики все Золѣ читаютъ, а я, признаться, разъ начала и не могла... зачѣмъ?



— То-есть, что же „зачѣмъ“?

— Зачѣмъ такъ ужъ прямо... какъ будто мы не поймемъ! Не беспокойтесь, пожалуйста! такъ поймемъ, что и понять лучше нельзя... Вотъ маменька-покойница тоже все думала, что я въ дѣвushкахъ ничего не понимала, а я однажды ей вдругъ все... до послѣдней ниточки!

— Чай, порадовалась на дочку?

— Ужъ тамъ порадовалась или не порадовалась, а я свое дѣло сдѣлала. Что, въ самомъ дѣлѣ, за что они насъ притѣсняютъ! Думаютъ, коли дѣвица, такъ и не должна ничего знать... скажите на милость! Конечно, я потомъ, замужемъ, еще болѣе развилась, но и въ дѣвицахъ... Нѣтъ, я въ этомъ случаѣ на сторонѣ женскаго вопроса стою! Но именно только въ одномъ этомъ случаѣ, *parce que la famille... tu comprends, la famille!.. tout est là!* Семейство — это... А всѣ эти женскіе курсы, эти акушерки, астрономки, телеграфистки, землемѣриши, *tout ce fatras...*

— Да остановись на минуту! скажи толкомъ: что такое у тебя въ домѣ дѣлается?

— Представь себѣ, не почуютъ дома! Ни поручики, ни прапорщики — никто! А прислуга у меня — ужаснѣйшая... Кухарка — такъ просто звѣремъ смотреть! А ты знаешь, какъ нынче кухарокъ опасаться нужно?

— Ну?

— Вотъ я и боюсь. Говорю имъ: вѣдь вы всѣ одинаково мои дѣти! а они — какъ сойдутся, такъ сейчасъ другъ друга провѣрять начнутъ! Поручикито у меня — консерваторы, а прапорщикъ — революціонеръ... Ахъ, хоть бы его поскорѣ поймали, этого дурного сына!

— Наденька! перекрестись, душа моя! развѣ можно сыну желать... Да и съ чего ты, наконецъ, взяла, что *Nicolas* революціонеръ?

— Сердце у меня угадываетъ, а оно у меня — въщунъ! Да и странный какой-то онъ: все „сербскіе напѣвы“ въ стихахъ сочиняетъ. Запретя у себя въ комнатѣ, чтобъ я не входила, и пишетъ. На дняхъ оду на низложеніе митрополита Михаила написалъ... А то еще генералу Черняеву сонетъ послалъ, съ Гарибальди его сравниваетъ... „Думалъ ли ты, говорить, когда твои орлы по вершинамъ горъ летали, что Баттенбергъ“... *C'est joli, si tu veux: „орлы по вершинамъ горъ“... Cependant, puisque la saine politique...*

— Еще бы! объ этомъ даже циркуляромъ запрещено...

— Вотъ видишь! и я ему это говорила! А какой прекрасный мальчикъ въ кадетахъ былъ! Помнишь, оду на восшествіе Баттенбергскаго принца написалъ:

И Каравелова крамолу  
Пятой могучей раздавилъ...

До сихъ поръ эти стихи не могу забыть... И какъ мы тогда на него радовались! Думали, что у насъ въ семействѣ свой Державинъ будетъ!

„Индюшка“ поднялась, подошла къ зеркалу, въ одинъ мигъ откуда-то набрала въ ротъ цѣлый пучокъ шпилекъ и начала подправляться. И въ то-же время безъ умолку болтала:

— А какъ бы это хорошо было! Одну оду написалъ — перетень полу-

чилъ! другую оду—золотые часы получилъ! А иной богатый купецъ—прямо карету и пару лошадей бы прислалъ—что ему стоитъ! Вотъ Хлудовъ, на-примѣръ—вѣдь послалъ же чудовесныхъ пѣвчихъ генералу Черныяеву въ Сербію... ну, на что они тамъ! По крайней мѣрѣ карета... Словомъ сказать, все шло хорошо—и вдругъ... Можешь себѣ представить, какъ я несчастна! Приду домой—никого нѣтъ! Кричу, зову—не отвѣчаютъ! А потомъ, только-что забываться начну—шумъ! Это они между собой схватились! И все это съ тѣхъ поръ! Какъ только эта провѣрка у насъ началась, ну, просто хоть изъ дому вонъ бѣги! Представь себѣ, въ комнатахъ по три дѣя не метутъ! Намеднись такую рыбу за обѣдомъ подали—страмъ!

Разумѣется, я боялся громкодохнуть, чтобъ какъ-нибудь не спугнуть ее. Я рассчитывалъ такимъ образомъ: заговорится она, потомъ забудетъ, зачѣмъ пришла—и вдругъ уйдетъ. Такъ именно и случилось.

— Однакожъ я заболталась—таки у тебя, — сказала она, держа въ зубахъ послѣднія три шпильки и прикалывая въ разныхъ мѣстахъ шляпу:— а мнѣ еще нужно къ Елисееву, потомъ къ Баллѣ, потомъ къ Кирхгейму... надо же своихъ молодцовъ накормить! Ну, а ты какъ? здоровъ? Ну, слава Богу! видъ у тебя отличный! Помнишь, въ прошломъ году, какой у тебя видъ былъ? въ гробъ краше кладутъ! Я, признаться, тогда думала: не жилецъ онъ! и очень, конечно, рада, что не угадала. Всегда угадываю, а на этотъ разъ... очень рада! очень рада! Прекрасный, прекраснѣйшій у тебя видъ!

Она поспѣшно воткнула послѣднюю шпильку и подала мнѣ руку на прощанье.

— Такъ ты общаешь? скажи: вѣдь ты любилъ?—опять приставала она:—нѣтъ, ты ужъ не обижай меня! скажи: общаю! Ну, пожалуйста!

— Да что же я долженъ общать? Ахъ!

— Да вотъ подѣлиться съ нами твоими воспоминаніями, рассказать l'histoire intime de ton coeur... Вѣдь ты любилъ—да? Ну, и опиши намъ, какъ это произошло... Comment cela t'est venu и что потомъ было... И я тогда, вѣстѣ съ другими, прочту... До сихъ поръ я, признаюсь, ничего твоего не читала, но ежели ты про любовь... Да! чтобъ не забыть! давно я хотѣла у тебя спросить: отчего это намъ, дамамъ, такъ нравится, когда писатели про любовь пишутъ?

— Не знаю, голубушка. Можетъ быть, оттого, что дамы преимущественно этимъ заняты... Les messieurs на войну ходятъ, а дамы должны ихъ, по возвращеніи изъ похода, утѣшать. А другіе messieurs ходятъ въ департаментъ—и ихъ тоже нужно утѣшать!

— Именно утѣшать! Это ты прекрасно сказала. Покойный Pierre, когда возвращался съ дежурства, всегда мнѣ говорилъ: „Надька! утѣшай меня!“ Il était si drôle, ce cher Pierre! Et en même temps noble, vaillant! И поручики мои то же самое говорятъ, только у нихъ это какъ-то ненатурально выходитъ: все о какомъ-то генералѣ безъ звѣзды поминаютъ и такъ и покатываются со смѣху. Они смѣются, а я—не понимаю. En général, ils sentent un peu la caserne, messieurs mes fils! То ли дѣло Пьеръ! бывало, возьметъ за талію, да такъ прямо на полъ и бросить. Однажды... ну, да что, впрочемъ, объ этомъ!



Все на свѣтѣ мнѣ постыло,  
А чтѣ мило будетъ мило!

Это Пушкинъ написалъ. А ты мнѣ вотъ чтѣ скажи: правда ли, что встарину любовные турниры бывали? И будто бы тогдашнія правительства...

— Наденька! ты такихъ отъ меня свѣдѣній требуешь...

— Ну-ну, Христосъ съ тобой. Вижу, что наскучила тебѣ... И знаешь, да не хочешь сказать. Наскучила! наскучила! Такъ я поѣду... куда, бишь? ахъ, да! сначала къ Елисееву... свѣжихъ омаровъ привезли! Sans adieux, mon cousin!

Она раза два еще перевернулася передъ зеркаломъ, что-то поддернула, потомъ взглянула на потолокъ, но какъ-то однимъ глазомъ, точь-въ-точь какъ продѣлываетъ индюшка, когда высматриваетъ, нѣтъ ли въ небѣ коршуна.

— А я поѣду своихъ унимать... навѣрное ужъ сдѣлились!—доканчивала она въ передней, и потомъ, выйдя на лѣстницу, продолжала: —такъ ты подѣлишься съ нами? ты сдѣлаешь мнѣ это удовольствіе... а?

И спускаясь по лѣстницѣ, все вскидывала вверхъ голову и все что-то говорила. Наконецъ изъ преисподнихъ швейцарской до меня донеслось заключительное:

— Sans adieux, cousin!

Повторяю: вездѣ, и на улицахъ, и въ публичныхъ мѣстахъ, и въ семьяхъ — вездѣ происходитъ процессъ вколачиванія „штуки“. Онъ застаеъ врасплохъ Удава, проливаетъ уныніе въ сердце дяди Григорія Семеныча и заставляеъ безтолково метаться даже такую неунывающую особу, какъ кузина Наденька.

Нуженъ ли этотъ процессъ, откуда и какимъ образомъ онъ родился —это вопросъ, на который я могъ бы отвѣтить вамъ довольно обстоятельно, но который однакожъ предпочитаю покуда оставить въ сторонѣ. Для меня достаточно и того, что фактъ существуетъ, фактъ, который рано или поздно долженъ принести плодъ. Только спрашивается: какой плодъ?

Я знаю, вы скажете, что всѣ эти провѣрки, добровольческія выслѣживанія и подсиживанія до такой степени нелѣпы и несерьезны, что даже опасеній не могутъ внушать. Я знаю также, что современная дѣйствительность почти сплошь соткана изъ такого рода фактовъ, по поводу которыхъ и помыслить нельзя, полезны они или неполезны, а именно только опасны или мало-опасны (и притомъ съ какой-то непосредственной, чисто личной точки зрѣнія). Вслѣдствіе долготѣйшей практики этотъ критеріумъ настолько окрѣпъ въ нашемъ обществѣ, что о другихъ оцѣнкахъ какъ-то и не слышать совсѣмъ. Вотъ и вы этому критеріуму подчинились. Прямо такъ-таки и разсуждаете: опасеній нѣтъ—стало быть, о чемъ же говорить?

Но это-то именно и наполняетъ мое сердце какимъ-то загадочнымъ страхомъ. По мнѣнію моему, съ такимъ критеріумомъ нельзя жить, потому что онъ прямо бьетъ въ пустоту. А между тѣмъ люди живутъ. Но не потому ли они живутъ, что представляютъ собой особенную породу людей, фа-

сонируемых ad hoc самую исторію, людей, у которыхъ нѣтъ иныхъ перспективъ, кромѣ одной: что, можетъ быть, ихъ не перешибетъ неполазмъ, какъ они того всечасно ожидаютъ...

Часто, даже слишкомъ часто, по поводу разсказовъ о всевозможныхъ „штукахъ“, приходится слышать (и такъ говорятъ люди очень солидные): вотъ увидите, какая изъ *этого* выйдетъ потѣха! Но, признаюсь, я не только не сочувствую подобнымъ восклицаніямъ, но иногда мнѣ дѣлается почти жутко, когда въ моемъ присутствіи произносятъ ихъ. Потѣха-то потѣха, но сколько эта потѣха силъ унесетъ! а главное, сколько силъ она осудитъ на фаталистическое бездѣйствіе! Подумайте! развѣ это не самое безпутное, не самое горькое изъ бездѣльничествъ (я и слово „бездѣйствіе“ считаю тутъ непремѣннымъ)—быть зрителемъ преходящихъ явленій и только объ одномъ думать: опасны они или неопасны? И въ первомъ случаѣ ощущать позорное душевное угнетеніе, а во второмъ—еще болѣе позорное облегченіе?

Ахъ, вѣдь и мрачное хлѣвное хрюканье—потѣха; и трубное пустозвонство ошалѣвшаго отъ торжества дармовѣда—тоже потѣха. Все это явленія случайныя, призрачныя, преходящія, которыя несомнѣнно не оставляютъ ни въ исторіи, ни въ жизни народа ни малѣйшаго слѣда. Но дѣло въ томъ, что въ данную минуту они угнетаютъ человѣческую мысль, оскверняютъ человѣчскій слухъ, производятъ повсемѣстный переполохъ. Дѣло въ томъ, что вслѣдствіе всего этого центръ дѣятельности современниковъ перемѣщается изъ сферы положительной, изъ сферы совершенствованія въ сферу пустомыслія и повторенія задовъ, въ сферу безплодной борьбы, постыдныхъ оправданій, лицемѣрныхъ самозащитъ... Неужто же это „потѣха“?

„Ну, слава Богу, теперь, кажется, потише!“—вотъ возгласъ, который отъ времени до времени (но и то, впрочемъ, не слишкомъ ужъ часто) приходится слышать въ теченіе послѣднихъ десяти-пятнадцати лѣтъ. Единственный возгласъ, съ которымъ измученные люди соединяютъ смутную надежду на успокоеніе. Прекрасно. Допустимъ, что съ насъ и такихъ перспективъ довольно; допустимъ, что мы ужъ и тогда должны почитать себя счастливыми, когда передъ нами мелькаетъ что-то въ родѣ передышки... Но вѣдь все-таки это только передышка—гдѣ же самая жизнь?

Не говорите же, голубушка: „вотъ такъ потѣха!“ и не утѣшайтесь тѣмъ, что безсмыслица не представляетъ серьезной опасности для жизни. Представляетъ: въ томъ-то и дѣло, что представляетъ. Она опасна ужъ тѣмъ, что замѣняетъ своимъ суматошествомъ реальную и плодотворную жизнь, и если не измѣняетъ непосредственно жизненной сущности, то загоняетъ ее въ такія глубины, изъ которыхъ ей не легко будетъ выпырнуть даже въ минуту возбужденія.

Сколько лѣтъ мы сознаемъ себя недугующими—и все-таки, вмѣсто уврачеванія, вращаемся въ пустотѣ! сколько лѣтъ собираемся одолѣть свое безсиліе—и ничѣмъ, кромѣ доказательствъ новаго безсилія, новой немощи, не ознаменовываемъ своей дѣятельности! Даже въ самыхъ дерзкихъ, близкихъ нашимъ сердцамъ вещахъ—въ сферахъ благочинія—и тутъ мы ничего не достигли, кромѣ сознанія полной безпомощности. А вѣдь у насъ только и словъ на языкъ: погодите, дайте управиться! Вы думаете, что, можетъ быть,



тогда потечетъ наша земля млеко́мъ и медомъ? — То-то и есть, что не потечетъ!

И не потому не потечетъ, что ни млека, ни меда у насъ нѣтъ — это вопросъ особый — а потому, что нѣтъ и не будетъ конца-краю самой управѣ.

Въ самомъ дѣлѣ, представьте себѣ, что процессъ вколачиванія „штуки“ уже совершилъ свой циклъ; что общество окончательно само себя провѣрило, что всѣ извѣщенія сдѣланы, всѣ плевелы вырваны и истреблены, что около-точные и участковые пристава наконецъ свободно вздохнули. Спрашивается: ну, а потомъ? Какое органическое, восстанавливающее дѣло можемъ мы предпринять? знаемъ ли мы, въ чемъ оно состоитъ? имѣемъ ли для него достаточную подготовку? Наконецъ, имѣемъ ли мы даже поводъ желать, чтобы процессъ вколачиванія „штуки“ во истину завершился и вмѣсто него воспріяло начало восстанавливающее дѣло?

Ахъ, тетенька! Вотъ то-то и есть, что никакихъ подобныхъ поводовъ у насъ нѣтъ! Не забудьте, что даже торжество умиротворенія, если оно когда-нибудь наступитъ, будетъ принадлежать не Вздошникову, не Распротакову и даже не намъ съ вами, а все тѣмъ же Амалать-бекамъ и Пафнугевымъ, которые будутъ по его поводу лакать шампанское и испускать побѣдныя клики (однакожъ не безъ угрозы), но никогда не поймутъ и не скажутъ себѣ, что торжество обязываетъ.

Обязываетъ — къ чему? вы только подумайте объ этомъ, милая тетенька! Обязываетъ къ восстановленію поруганной человѣческой совѣсти, обязываетъ къ пробужденію сознательной дѣятельности, обязываетъ къ признанію права на завтрашній день... и вы хотите, чтобы эта программа осуществилась! Совѣсть! сознательность! обезпеченность! да вѣдь это именно то самое и есть, что на конкахъ, въ трактирахъ и въ хлѣбной литературѣ извѣстно подъ именемъ „потрясенія основъ“! Еще не все шампанское выпито по случаю прекращенія опасностей, какъ уже это самое прекращеніе представляетъ настороженному до болѣзненности воображенію цѣлый рядъ новыхъ, самостоятельныхъ опасностей! Бой кончился; но не успѣли простыть борцы, какъ уже имъ предстоитъ готовиться въ новый бой!

Нѣтъ, это не „потѣха“!

Идеаль современныхъ провѣрителей общества (я не говорю о герояхъ конокъ и трактирныхъ заведеній) въ сферѣ внутренней политики: очень просто: *чтобы ничего не было*. Но какъ ни дисциплинирована и обезличена наша дѣйствительность — даже она не можетъ вмѣстить подобнаго идеала. *Нельзя, чтобы ничего не было*. До такой степени нельзя, что даже доказывать эту истину нѣтъ надобности. А такъ какъ провѣрители отъ своихъ идеаловъ никогда не отступятъ, такъ какъ они именно на томъ будутъ настаивать, чтобы *ничего не было*, то ясно, что и междоусобіямъ не предвидится конца.

А мы еще говоримъ: потѣха! мы еще спрашиваемъ себя, какіе можетъ принести плоды процессъ вколачиванія „штуки“!

## Письмо девятое.

Милая тетенька.

Какъ женщина, вы, разумѣется, не знаете, что такое карцеръ. Поэтому не поспѣйте на меня, если я рѣшусь посвятить настоящее письмо обогащенію вашего ума новымъ отличнѣйшимъ знаніемъ, которое, кстати, въ наше время и не бесполезно.

Карцеромъ, во времена моего счастливаго отрочества, называлось темное, тѣсное и почти лишенное воздуха мѣсто, въ которое ввергались преступные школьники, въ видахъ искупленія ихъ школьныхъ прегрѣшеній. Говорятъ, будто подобныя же темныя мѣста существовали и существуютъ еще въ острогахъ (карцеръ въ карцерѣ—все равно, что государство въ государствѣ), но такъ какъ меня отъ остроговъ Богъ еще миловалъ, то я буду говорить исключительно о карцерѣ школьномъ.

Въ томъ заведеніи, гдѣ я воспитывался, несмотря на то, что оно принадлежало къ числу чистокровнѣйшихъ, карцеръ представлялъ собою нѣчто вполне омерзительное. Онъ былъ устроенъ въ четвертомъ этажѣ, занятомъ дортуарами, въ которые въ теченіе дня никто не заходилъ. Самое помѣщеніе занимало темную и крохотную трехъ-угольную впадину въ капитальной стѣнѣ; на полу этой впадины былъ брошенъ набитый соломой тюфякъ, около котораго была поставлена деревянная табуретка. Двигаться въ этой конурѣ было невозможно, да повидимому и не полагалось нужнымъ. Въ обыкновенное время, сюда складывались старыя вонючія одѣяла, которыми надѣляли воспитанниковъ на ночь, потому что хорошія одѣяла постилали только днемъ, на показъ. Вслѣдствіе этого въ карцерѣ пахло отчасти пѣтомъ, отчасти мышами.

Вотъ въ эту-то вонючую дыру и заключали преступнаго школяра, причемъ не давали ему свѣчи, а вмѣсто пищи назначали въ день три куска чернаго хлѣба и воды à discrétion. Затѣмъ, заперевъ дверь на ключъ, приставляли къ ней кустодію, въ видѣ солдата Аники, того самаго, объ которомъ я въ прошломъ письмѣ вамъ писалъ, что генераль Бритый назначилъ его къ наказанію кошками, но, бывъ уволенъ отъ службы, не выполнилъ своего намѣренія. Но такъ какъ Аника зналъ, что распоряженіе Бритаго надлежащимъ образомъ не отмѣнено, и потому съ часу на часъ ожидалъ его осуществленія, то понятно, съ какимъ остервенѣніемъ онъ прислуживался къ начальству, отгоняя отъ дверей карцера всякаго сострадательнаго товарища, прибѣгавшаго съ цѣлью хоть сколько-нибудь уладить горе заключеннаго.

Многіе будущіе министры (заведеніе было съ тѣмъ и основано, чтобы быть разсадникомъ министровъ) сиживали въ этомъ карцерѣ; а такъ какъ обо мнѣ какъ-то сразу сдѣлалось заранее извѣстнымъ, что я министромъ не буду, то, натурально, я попадалъ туда чаще другихъ. И угадайте, за что?—за стихи! Въ отрочествѣ я имѣлъ неудержимую страсть къ стихотворному паренію, а школьное начальство находило эту страсть предосудительною. Сижу, бывало, въ классѣ и ничего не вижу и не слышу, все стихи сочиняю. Отвѣчаю невпопадъ, а когда, бывало, мнѣ скажутъ: „станьте въ уголъ по-



сомъ!“ — я, словно сонный, спрашиваю: „а? что?“ Долгое время начальство ничего не понимало, а можетъ быть даже думало, что я обдумываю какую-нибудь крамолу, но наконецъ-таки меня поймали. И съ тѣхъ поръ начали ловить неустанно. Тщетно я пряталъ стихи въ рукавъ куртки, въ голенище сапога — вездѣ ихъ находили. Пробовалъ я, въ видѣ смягчающаго обстоятельства, перелгать въ стихи псалмы, но и этого начальство не одобрило. Поймаютъ одинъ разъ — въ уголъ носомъ! поймаютъ въ другой — безъ обѣда! поймаютъ въ третій — въ карцеръ! Вотъ, голубушка, съ которыхъ поръ начался мой литературный мартирологъ.

Вѣроятно въ то время у начальства такой планъ былъ: изъ всѣхъ школяровъ во что бы ни стало сдѣлать Катоновъ. Представьте себѣ *теперь* интернатъ, въ которомъ карцеръ вонялъ бы потомъ и мышами — сколько бы тутъ шума поднялось! Встревожилась бы прокуратура; медики бы въ одинъ голосъ возопили: вотъ истинный разсадникъ тифовъ! а объ газетчикахъ нечего и говорить. Сколько бы вышло по этому поводу предостереженій, приостановленій, запрещеній розничной продажи, печатанія объявленій, словомъ, всего, что неизмѣнно связано съ понятіемъ о пребываніи въ карцерѣ въ соединеніи съ свободою книгопечатанія! А тогда тифовъ не боялись, объ газетчикахъ не слыхивали, а только ожидали раскаянія. Не боялись и безъ обѣда оставлять, хотя нынче, опять-таки, всякій газетчикъ скажетъ: какое варварство истощать голодомъ молодой организмъ! Впрочемъ и обѣдъ въ то время неинтересный былъ: ненатуральнаго цвѣта говядина съ рыжей подливкой, суконные пироги съ черникой и т. д. Сначала, вмѣсто завтрака, хоть бѣлую пятикопѣчную (на ассигнаціи) булку давали, но потомъ, въ видахъ вящаго укорененія Катоновъ, и это уничтожили, замѣнивъ булку ломтемъ чернаго хлѣба.

Кромѣ стиховъ, составлявшихъ мой личный порокъ, сажали въ карцеръ еще за ироническое отношеніе къ наставникамъ и преподавателямъ. Такого рода преступленія были довольно часты, потому что и наставники, и преподаватели были до того изумительны, что нынче такихъ ужъ на версту къ учебнымъ заведеніямъ не подпускаютъ. Одинъ былъ взятъ изъ придворныхъ иѣвчихъ и опредѣленъ воспитателемъ; другой, нѣмецъ, не имѣлъ носа; третій, французъ, имѣлъ медаль за взятіе въ 1814 году Парижа и, тѣмъ не менѣе, декламировалъ: „à tous les coeurs bien nés que la patrie est chère“; четвертый, тоже французъ, страдалъ какою-то такою болѣзнью, что ему было велѣно спать въ вицмундирѣ, не раздѣваясь. Профессоромъ російской словесности въ высшихъ классахъ былъ Петръ Петровичъ Георгіевскій, чловѣкъ удивительно добрый, но въ то же время удивительно бездарный. Какъ на грѣхъ, кому-то изъ воспитанниковъ посчастливилось узнать, что жена Георгіевскаго называется его ласкательными именами: Пепя, Пепочка, Пепонъ и т. д. Этого достаточно было, чтобъ изданныя Георгіевскимъ „Руководства“, пространное и краткое, получили своеобразную кличку: „большое и малое Пепино свинство“. Иначе не называли этихъ учебниковъ даже солиднѣйшіе изъ воспитанниковъ, которые впоследствии сдѣлались министрами, сенаторами и посланниками. Профессоромъ всеобщей исторіи былъ пресловутый Кайдановъ, котораго „Учебникъ“ начинался словами: „Сіе мое сочиненіе

есть извлечение“, и т. д. Натурально, эту фразу переложили на музыку съ очень непристойнымъ мотивомъ, и въ рекреационное время любили ее распѣвать (а въ томъ числѣ и будущіе министры). Но еще болѣе любили пѣть посвященіе бывшему попечителю казанскаго университета, Мусину-Пушкину, предпосланное курсу политической экономіи Горлова. Разумѣется, начальство зорко слѣдило за этими поступками и особенно отличившихся пѣвцовъ сажало въ карцеръ. Я не говорю, чтобъ начальство было неправо, но, съ другой стороны, по совѣсти спрашиваю: могли ли молодые и неиспорченные сердца иначе поступать?

Вообще тогдашняя педагогика была во всѣхъ смыслахъ мрачная: и въ смыслѣ физическомъ, и въ смыслѣ умственномъ. Въ первомъ отношеніи, молодыхъ людей питали дурно и недостаточно, во второмъ — просвѣщали ихъ умы „Пепинымъ свинствомъ“. И вдобавокъ требовали, чтобъ школьникъ не понималъ, что свинство есть свинство...

Заключеніе въ карцеръ потому въ особенности было тоскливо, что осуждало юнаго преступника на абсолютную праздность. Но тогдашніе педагоги были такъ безстрашны, что даже послѣдствій праздности не боялись. Это была какая-то организованная крамола воспитателей противъ воспитываемыхъ, крамола, въ которой крамольники получали жалованье и награждались орденами, а тѣ, противъ которыхъ была направлена ихъ разрушительная дѣятельность, должны были благодарить, что ихъ кормятъ свинствомъ. Не то ли же, впрочемъ, видимъ мы и... А? что? что такое я чуть-было не сказалъ? Вы, тетенька, сдѣлайте милость, остановите меня, ежели я, паче чаянья, вдругъ... А то вѣдь я, пожалуй, такое что-нибудь сболтну, что полслѣ и самъ своихъ словъ испугаюсь!

Но самое положительное зло, которое приводилъ за собой карцеръ, заключалось въ томъ, что онъ растлѣвалъ юношу нравственно, пробуждая въ немъ низменнаго свойства инстинкты и указывая на лукавство, какъ на единственное средство самоогражденія. Потребность въ обществѣ себѣ подобныхъ, въ свободѣ движенія и въ достаточномъ питаніи настолько сильна въ молодомъ организмѣ, что даже незаурядная юношеская устойчивость — и та не можетъ представить ей достаточнаго сопротивленія. Тоска, причиняемая обязательною праздною, и сознаніе ничѣмъ неустраимаго безсилія растутъ съ необычайною быстротой, а рядомъ съ этимъ наростаніемъ столь же быстро таютъ и напускная бодрость, и школьный гоноръ. Шопоты лицемѣрія, наружной выправки и лукавства такъ и ползутъ со всѣхъ сторонъ. И по мѣрѣ того какъ они овладѣваютъ юношей, идеалъ начинаетъ ему представляться въ такомъ видѣ: внѣшнимъ образомъ признать обязательность свинства, но исподтишка все-таки продолжать прежнюю систему надругательства. Увертки эти необходимы, потому что иначе нельзя получить право на свободу (начальство прямо говоритъ: „сгною въ карцерѣ!“), то-есть право двигаться, пользоваться даромъ слова и быть сытымъ. Понятно, что при данной обстановкѣ нельзя выполнить такую задачу безъ извѣстной дозы распутства. И вотъ гнусные голоса диктуютъ гнусныя рѣшенія... Представьте себѣ, милая тетенька, что, угнетаемый ими, я однажды поздравительные стихи написалъ?

Разумѣется, стихи были плохіе, но, написавъ ихъ, я разомъ доказалъ



начальству двѣ вещи: во-первыхъ, что карцеръ пробуждаетъ благородныя движенія души, и, во-вторыхъ, что стиховная немочь не всегда бываетъ предосудительна. Не помню, какъ я самъ смотрѣлъ тогда на свой поступокъ (вѣроятно просто-на-просто воспользовался плодами его), но начальство умилилось и выпустило меня изъ карцера немедленно. Повторяю: тогдашнее воспитаніе имѣло въ виду будущихъ Катоновъ, а для того, чтобъ быть истиннымъ Катонѣмъ, недостаточно всего себя посвятить твердому перенесенію свинствъ, но необходимо и сердце имѣть слегка подернутое распутствомъ.

Вообще карцеромъ достигалось оподленіе человѣческой души. Но кто при этомъ больше оподлялся, оподлявшіе или оподляемые — право, сказать не умѣю. Кажется впрочемъ, что оподлявшіе оподлялись болѣе, ибо, дѣлая себѣ изъ оподленія ремесло, постоянно освѣжаемое цѣлымъ рядомъ повторительныхъ дѣйствій, они настолько погрязали въ тину, что утрачивали всякій стыдъ. Оподляемые же оподлялись исключительно только внѣшнимъ образомъ. По крайней мѣрѣ я отлично хорошо помню, что, получивъ свободу цѣною поздравительныхъ стиховъ, я тутъ же опять началъ декламировать: „сіе мое сочиненіе“, и сдѣлалъ это съ такою искренностью, что начальство только руки развело и рѣшилось оставить меня въ покоѣ. Но еслибы оно надумало вновь ввергнуть меня въ вонючую конуру, такъ вѣдь у меня, милая тетенька, и еще поздравительные стихи про запасъ были. Бракосочетается ли кто, родится ли, получить ли облегченіе отъ недуга — сейчасъ я возьму въ руки лиру и отхватаю по всѣмъ по тремъ... Лови!

Все это проходитъ передо мною какъ во снѣ. И при этомъ прежде всего, разумѣется, представляется вопросъ: долженъ ли я былъ просить прощенія? — Несомнѣнно, милая тетенька, что долженъ былъ. Когда весь жизненный строй основанъ на испрошеніи прощенія, то какимъ же образомъ безсилая и изолированная единица (особливо несовершеннолѣтняя!) можетъ ускользнуть отъ дѣйствія общаго закона? Вѣдь ежели не просить прощенія, такъ и не простить. Скажутъ: нераскаянный! — и дѣло съ концомъ.

Но есть разныя манеры просить прощенія — вотъ съ этимъ я не могу не согласиться.

Бываетъ такъ, стоитъ узникъ передъ узоналагателемъ и вопіетъ: пощади! А между тѣмъ все нутро у него въ это время трепещетъ отъ гнѣва и прочихъ тому подобныхъ чувствъ и настолько явно трепещетъ, что самъ узоналагатель это видитъ и понимаетъ. Эта формула испрошенія, конечно, самая искренняя, но я не могу ея одобрить, потому что рѣдко подобная искренность оцѣнивается, какъ бы она того заслуживала, а въ большинствѣ случаевъ даже устраняется въ самомъ зародышѣ.

Бываетъ и такъ: приходятъ къ узнику и спрашиваютъ: „Ну, что, раскаялся ли?“ — а онъ молчитъ. Опять спрашиваютъ: „Да скажешь ли, дерево, раскаялся ты или нѣтъ? Ну, разъ, два, три... Господи благослови! раскаялся?“ — а онъ опять молчитъ. И этой манеры я одобрить не могу, потому что... да просто потому, что тутъ даже испрошенія прощенія нѣтъ.

Наконецъ бываетъ и такъ: узникъ безъ всякихъ разговоровъ вопіетъ: пощади! — и съ довѣріемъ ждетъ. Эта манера наиболѣе согласная съ обстоятельствами дѣла, и потому самая употребительная на практикѣ. Она имѣетъ

характеръ страдательный и ни къ чему не обязываетъ въ будущемъ. Конечно, просить прощенія вообще не особенно пріятно, но въ такомъ случаѣ не надобно ужъ шалить. А если хочешь шалить и на будущее время, то привередничества-то оставь, а прямо бѣги и кричи: виновать!

Но я не прибѣгнулъ ни къ одной изъ сейчасъ упомянутыхъ манеръ, а создалъ свою особую манеру: написалъ поздравительные стихи. И вотъ теперь мнѣ кажется, что я слегка перепустилъ. Положимъ, что и мое выраженіе покорности было вынужденное, но процессъ сочиненія стиховъ сообщалъ ему дѣятельный характеръ — вотъ въ чемъ состоялъ его несомнѣнный порокъ. Не слѣдовало мнѣ писать стихи, ни подъ какимъ видомъ не слѣдовало. Slѣдовало просто сознать свою вину, сказать: виновать! — и затѣмъ, какъ ни въ чемъ не бывало, опять начать расписывать: „сіе мое сочиненіе есть извлеченіе“...

Все это ужасно запутанно, а можетъ быть даже и безнравственно, но не забудьте, что въ этой путаницѣ главными дѣйствующими лицами являлись Катоны, которые готовились сдѣлаться титулярными совѣтниками, а потомъ...

Впрочемъ былъ у меня одинъ товарищъ въ школѣ, который вотъ какъ поступилъ. Учился онъ отлично; исправно сдавалъ уроки, и изъ „свинства“, и изъ „сего моего сочиненія“, и изъ руководства, осѣянного крылами Мусина-Пушкина. Велъ себя тоже отлично: въ фортку не курилъ, въ карты не игралъ, курточку имѣлъ всегда застегнутою и даже принималъ сердечное участіе въ усиліяхъ француза-учителя перевести (по хрестоматіи Тампе) фразу: новгородцы такали, „такали, да и протакали“. А именно: когда учитель, послѣ долгихъ и мучительныхъ попытокъ наконецъ восклицалъ: „mais cette phrase n'a pas le sens commun!“ — то товарищъ мой очень ловко объяснялъ, что Новгородъ означаетъ „колыбель“, что выраженіе „такать“ — прообразуетъ мнѣнія свѣдущихъ людей, а выраженіе „протакать“ предвѣщаетъ, что мнѣнія эти будутъ оставлены безъ послѣдствій. Такъ что учитель сразу все понималъ, воскликнулъ: „ainsi soit il!“ — и съ тѣхъ поръ всѣ недоразумѣнія по поводу новгородскаго таканья были устранены. И вотъ этотъ самый юноша, прилежный и покорный, какъ только сдалъ свой послѣдній экзаменъ, сейчасъ собралъ въ кучу всѣ „свинства“ и бросилъ ихъ въ ретираду. Можете себѣ представить всеобщее изумленіе! Даже начальство обомлѣло, узнавъ объ этомъ подвигѣ, но могло только подивиться мудрости совершившаго его, а покарать за эту мудрость ужъ не могло. Ибо оно, милая тетенька, цѣлыхъ шесть лѣтъ ставило этого юношу въ примѣръ, хвасталось имъ передъ начальствомъ, считало его красою заведенія, приставало къ его родителямъ, не могутъ ли они еще другого такого юношу сдѣлать... И вдругъ оказалось, что въ теченіе всѣхъ шести лѣтъ у этого юноши только одна завѣтная мысль и была: вотъ сдамъ послѣдній экзаменъ, и сейчасъ же всѣ прожитыя шесть лѣтъ въ ретирадномъ мѣстѣ утоплю! Понятно, что скандальная исторія была скрыта...

Къ сожалѣнію, вскорѣ послѣ выпуска, товарищъ мой умеръ; но ужасно любопытно было бы знать, какъ поступалъ бы онъ въ подобныхъ же случаяхъ въ теченіе дальнѣйшей своей жизненной проходимости?



Вы, конечно, удивитесь, съ какой стати я всю эту отжившую канитель вспомнилъ? Да такъ, голубушка, подошелъ къ окну, взглянулъ на улицу — и вспомнилъ. Есть память, есть воображеніе — отчего же и не попользоваться ими? Я нынче все *такъ*, проста, поступаю. Посмотрю въ окно — вспомню, а потомъ и еще что-нибудь вспомню — и вдругъ выйдетъ картина. Выводовъ не дѣлаю, и хорошо ли у меня выходитъ, дурно ли — ничего не знаю. Весь этотъ процессъ чисто стихійный, и ежели кто вздумаетъ меня подсидѣть вопросомъ: а зачѣмъ же ты къ окну подходилъ, и не было ли въ томъ поступкѣ предвзятаго намѣренія? — тому я отвѣчу: къ окну я подошелъ, потому что это законами не воспрещается; а что касается до того, что это былъ съ моей стороны „поступокъ“ и якобы даже не чуждый „намѣренія“, то увѣрю по совѣсти, что я давнымъ-давно и слова-то сіи позабылъ. Живу безъ поступковъ и безъ намѣреній, и тетенькѣ такъ жить совѣтую.

Но ежели мнѣ даже и въ такой формѣ вопросъ предложить: а почему изъ словъ твоихъ выходитъ какъ бы сопоставленіе? почему „кажется“, что всѣ мы и доднесъ словно въ карцерѣ пребываемъ? — то я на это отвѣчу: не знаю; должно быть, какъ-нибудь самъ собой такой силлогизмъ вышелъ. А дабы не было въ томъ никакого сомнѣнія, то я готовъ ко всему написанному добавить еще слѣдующее: „а чтѣ по зачеркнутому, сверхъ строкъ написано: не кажется — тому вѣрить“. Надѣюсь, что этой припиской я совѣмъ себя обѣлил!

Правда, что это до извѣстной степени кляуза, но вѣдь нынче безъ кляузы развѣ проживешь? Все же лучше кляузу пустить въ ходъ, нежели поздравительные стихи писать, а тѣмъ больше съ стиснутыми зубами, съ искаженнымъ лицомъ и дрожа всѣмъ нутромъ пардону просить. А можетъ быть впрочемъ и хуже — и этого я не знаю.

Жить *такъ*, хлопать себя по ляжкамъ, довольствоваться разрозненными фактами и не видѣть надобности въ выводахъ (или трусить таковыхъ) — вотъ истинная норма современной жизни. И не я одинъ такъ живу, а всѣ вообще. Всѣ выглядываютъ изъ окошка, не промелькнетъ ли вопросецъ какой-нибудь? Промелькнетъ — ну, и слава Богу! волокиты его сюда! А не промелькнетъ — мы крючокъ запустимъ и бирюльку вытащимъ. Ужъ мы мнемъ эту бирюльку, мнемъ! ужъ жуемъ мы ее, жуемъ! Да не разжевавши, такъ и бросимъ. Нѣтъ выводовъ! только и слышится кругомъ. И вотъ одни находятъ, что страшно жить среди такой разнокалиберщины, которую даже съютить нельзя; а другіе, напротивъ того, полагаютъ, что именно такъ жить и надлежитъ. Чтѣ же касается до меня, то я и тутъ не найду конца, страшно это или хорошо. Страшно такъ страшно, хорошо такъ хорошо — мое дѣло сторона!

Шкура чтобы цѣла была — вотъ чтѣ главное, и въ то же время: умереть! умереть! умереть! — и это бы хорошо! Подите, разберитесь въ этой сумятицѣ! Никто не знаетъ, чтѣ ему требуется, а ежели не знаетъ, то объ какихъ же выводахъ можетъ быть рѣчь? Проживемъ и такъ. А можетъ быть и не проживемъ — опять-таки мое дѣло сторона.

Я лично чувствую себя отлично, за исключеніемъ лишь того, что всѣ кости какъ будто палочьемъ перебиты. Терся по началу оподельдохомъ — не

помогаетъ; теперь стараюсь не думать—полегчало. До такой степени полегчало, что дядя Григорій Семенычъ отъ души позавидовалъ мнѣ. Мы съ нимъ, со времени бабинькинова пирога, очень сдружились, и онъ частенько-таки захаживаетъ ко мнѣ. Зашелъ и на дняхъ.

— Стало быть, такъ безъ выводовъ ты и надѣнешся прожить?—присталъ онъ ко мнѣ, когда я ему изложилъ порму ннѣшннго моего житія.

— Такъ и надѣюсь.

— Чудакъ, братецъ, ты! да вѣдь коль скоро отправный пунктъ у тебя есть, посылка есть—выводъ-то вѣдь самъ собою, помимо твоей воли, окажется!

— Ежели окажется—милости просимъ! А я все-таки ничего не знаю!.. И знать не желаю!—прибавилъ я съ твердостью.

— Такъ что, напримѣръ, вотъ ты сейчасъ объ карцерѣ рассказывалъ—все это такъ, безъ заключенія и останется?

— Да, дяденька. По крайней мѣрѣ я не вижу, какая можетъ быть надобность...

— Ахъ, ты! а впрочемъ поцѣлуй меня!

Мы поцѣловались.

— Скажу тебѣ по правдѣ,—продолжалъ дядя:—давно я такихъ мудрецовъ не встрѣчалъ. Много нынче „умницъ“ развелось, да другой все-таки хоть краешекъ заключенія да приподниметь, а ты—натко! Давно ли это съ тобой случилось?

— Какъ вамъ сказать... да вотъ съ тѣхъ поръ, какъ надоѣло...

— Чтò надоѣло-то?

— Да тамъ... ну, и прочее... Вообще...

— Да говори же, братецъ, толкомъ! дядя вѣдь я тебѣ: не бойся, не выдамъ!

— Ахъ, дядя, какъ это вы, право, требуете!.. Надоѣло — только и всего. По настоящему, оно должно бы нравиться, а мнѣ—надоѣло!

— Ну, это не резонъ. Ты встряхнись. Если *должно* нравиться, такъ ты и старайся, чтобъ оно нравилось. Тебя тошнить, а ты себя перемочи. А то „надоѣло“! да еще „вообще“! За это, братъ, не похвалять.

— Я, дядя, стараюсь. Коли чувствую, что не можетъ нравиться, то стараюсь устроить такъ, чтобы по крайней мѣрѣ не не нравилось. Зажму носъ, зажму глаза, притаю дыханіе. Для этого-то собственно я и не думаю объ выводахъ. Я, дяденька, рѣшилъ и впредь такимъ же образомъ жить.

— Безъ выводовъ?

— Просто, какъ есть. По улицѣ мостовой шла дѣвица за водой—довольно съ меня. Вотъ я нынче старческіе мемуары въ нашихъ историческихъ журналахъ почитываю. Факты—такъ себѣ, ничего, а чуть только старичокъ начнетъ выводы выводить—хоть святыхъ вонъ понеси. Глупо, недомысленно, по-дѣтски. Поэтому я и думаю, что намъ вѣроятно на этомъ поприщѣ не судьба.

Дядя задумался на минуту, потомъ посмотрѣлъ на меня пристально и сказалъ:

— Слушай! а вѣдь тебѣ страшно должно быть!

— Страшно и есть.



— Вѣдь ежели ты отрицаешь необходимость выводовъ, то, стало быть, и въ будущемъ ничего не предвидишь?

— Не предвижу... Да, кажется, что не предвижу...

— Ни хорошаго, ни худого?

— Да... то-есть, въ родѣ сумерекъ. Вотъ настоящее—это ясно вижу. Напримѣръ, въ эту минуту вы у меня въ гостяхъ. Мы то посидимъ, то по-ходимъ, то поговоримъ, то помолчимъ... Дядя, голубчикъ, зачѣмъ заглядывать въ будущее? Зачѣмъ?

— Чудакъ ты! да какъ же, не заглядывая, жить? Во-первыхъ, любопытно, а во-вторыхъ, хоть и слегка, а все таки обдумать, приготовиться надо...

— А я живу — такъ, безъ заглядыванья. Живу — и страшусь. Или лучше сказать, не страшусь, а какъ будто меня пополамъ перешибло, всѣ кости ноютъ.

— А помнишь, однажды ты даже увѣрялъ, что блаженствуешь?

— Да какъ вамъ сказать? Можетъ быть, и блаженствую... Ничего я не знаю! Кажется, впрочемъ, что нынче это душевнымъ равновѣсіемъ называется...

— Фу ты! это тебя тетка Варвара намедни въ изумленіе привела!

Съ этими словами онъ взявъ шляпу и ушелъ. Видъ у него былъ разсерженный, но внутренно, я увѣренъ, что онъ мнѣ завидовалъ.

Да нельзя и не завидовать. Почти каждый день видимся и всякій разъ все въ этомъ родѣ разговоръ ведемъ—неужто же это не равновѣсіе? И хоть онъ по наружности кипитъ, видя мое твердое намѣреніе жить безъ выводовъ, однако я очень хорошо понимаю, что и онъ бы не прочь такого житія попробовать. Но надворные совѣтники ему мѣшаютъ—вотъ что. Только-что начнетъ настоящимъ манеромъ въ сумерки погружаться, только-что занесетъ крючокъ, чтобы бирюльку вытащить, смотреть, анъ въ домѣ опять разнокалиберщина пошла.

Во всякомъ случаѣ, милая тетенька, и вы не спрашивайте, съ какой стати я исторію о школьномъ карцерѣ рассказалъ. Рассказалъ—и будетъ съ васъ. Вѣдь еслибы я даже на домогательства ваши отвѣтилъ: „тетенька! нерѣдко мы вспоминаемъ факты изъ далекаго прошлаго, которые повидимому никакого отношенія къ настоящему не имѣютъ, а между тѣмъ“... развѣ бы вы больше изъ этого объясненія узнали? Такъ ужъ лучше я просто ничего не скажу!

Читайте мои письма такъ же, какъ я ихъ пишу: въ простотѣ душевной. И по прочтеніи, вздохните: ахъ, бѣдный! онъ выводы потерялъ!

## Письмо десятое.

А знаете ли что — вѣдь и надворный совѣтникъ Сеничка тоже безъ выводовъ живетъ. То-есть, онъ, разумѣется, полагаетъ, что всякій его жестъ есть глубокомысленнѣйшій выводъ, или, по малой мѣрѣ, нѣчто въ родѣ руководящей статьи, но, въ сущности, ай-ай-ай! какъ у него по этой части жидко! Право, такая же разнокалиберщина, какъ и у насъ грѣшныхъ.

Сию я намеренъ утромъ у дяди и вдругъ совершенно неожиданно является Сеничка прямо изъ „своего мѣста“. И прежде онъ не разъ меня у отца встрѣчалъ, но обыкновенно пожималъ мнѣ на ходу руку и молча проходилъ въ свою комнату. Но теперь пришелъ весь сіяющій, свѣтлый, въ какомъ-то искристо-шутливомъ расположеніи духа. Остановился противъ меня, и вдругъ „а дай-ко, братъ, табачку понюхать!“ Разумѣется, онъ очень хорошо знаетъ, что я табаку не нюхаю, но не правда ли, какъ это было съ его стороны мило? Очевидно ему удалось въ это утро кого-нибудь ловко спалать, такъ что онъ даже меня рѣшилъ, на радостяхъ, приласкать.

Кажется, что это же предположеніе мелькнуло и у дяди въ головѣ, потому что онъ встрѣтилъ сына вопросомъ:

— Что нынче такъ рано? или всѣ дѣла, съ Божьею помощью, прикончилъ?

— Да такъ, дѣльце одно... покончилъ, слава Богу! — отвѣтилъ Сеничка: — вотъ и разрѣшилъ себѣ отдохнуть.

— И Павелъ сегодня дѣло о похищеніи изъ запертаго помѣщенія старыхъ портковъ округлилъ. Со всѣхъ сторонъ, братъ, вора-то окружилъ — ни назадъ, ни впередъ! А теперь сидитъ запершись у себя и обвинительную рѣчь штудируетъ... Ишь какъ гремитъ! Ну, а ты, должно быть, знатную рыбину въ свои сѣти уловилъ?

— Да, есть-таки...

— То-то веселый пришелъ! Ну, отдохни, братецъ! Большое ты для себя изнуреніе видишь — не грѣхъ и объ тѣлесахъ подумать. Смотри, какъ похудѣлъ: кости да кожа... Яришься, любезный, чересчуръ!

— Нѣтъ, папаша, не такое нынче время, чтобъ отдыхать. Сегодня, куда ни шло, отдохну, а завтра — опять въ походъ!

Послѣднія слова Сеничка проговорилъ удивительно серьезно и даже напыжился. Но такъ какъ онъ заранѣе рѣшилъ быть на этотъ разъ шаловливымъ, то черезъ минуту опять развеселился.

— Сегодня мнѣ дѣйствительно удалось, — сказалъ онъ, потирая руки: — ужъ мѣсяца съ четыре, какъ я... и вдругъ! Такъ нѣтъ табачку? — прибавилъ онъ, обращаясь ко мнѣ: — ну-ну, Богъ съ тобой, и безъ табачку обойдемся!

Словомъ сказать, онъ былъ такъ очарователенъ, что я не выдержалъ и сказалъ:

— Ахъ, Сеничка, еслибъ ты всегда былъ такой!

— Нельзя, мой ангелъ! (Онъ опять слегка напыжился.) И радъ бы, да не такое нынче время!



И какъ бы желая доказать, что онъ дѣйствительно могъ бы быть „такимъ“, еслибъ не „такое время“, онъ обнялъ меня одной рукой за талию и, склонивъ ко мнѣ свою голову (онъ выше меня ростомъ), началъ прогуливать меня взадъ и впередъ по комнатѣ. По временамъ онъ пожималъ мои ребра, по временамъ произносилъ: „такъ такъ-то“, и вообще выказывалъ себя снисходительнымъ, но, конечно, безъ слабости. Разумѣется, я не преминулъ воспользоваться его благосклоннымъ расположеніемъ.

— Сеничка! — началъ я: — неужто ты до сихъ поръ все ловишь?

— То-есть какъ тебѣ сказать, мой другъ, — отвѣтилъ онъ: — personally я тутъ не участвую, но...

— Ну да, понимается: не ты, но... И неизвѣстно тебѣ, когда конецъ?

— Не знаю. Но могу сказать одно: война такъ война!

Онъ помолчалъ съ минуту и прибавилъ:

— И будетъ эта война продолжаться до тѣхъ поръ, пока въ обществѣ не перестанутъ находить себѣ мѣсто неблагонадежные элементы.

Сознаюсь откровенно: при этихъ словахъ меня точно искра электрическая пронизала. Помнится, когда-то одинъ изъ стоящихъ на стражѣ русскихъ публицистовъ, выдергивая отдѣльныя фразы изъ моихъ литературныхъ писаній, открылъ въ нихъ присутствіе неблагонадежныхъ элементовъ и откровенно о томъ заявилъ. И вотъ съ тѣхъ поръ, какъ только я слышу выраженіе: „неблагонадежный элементъ“, такъ вотъ и думается, что это про меня говорятъ. Говорятъ, да еще приговариваютъ: знаетъ кошка, чье мясо съѣла! И я, дѣйствительно, начинаю сомнѣваться и экзаменовать себя, точно ли я невиноватъ. И только тогда успокоиваюсь, когда неопровержимыми фактами успѣваю доказать себѣ, что ничьего мяса не съѣлъ.

— Ты однакожъ не тревожься, голубчикъ! — продолжалъ Сеничка, словно угадывая мои опасенія: — говоря о неблагонадежныхъ элементахъ, я вовсе не имѣю въ виду тебя; но...

— Но?

— Но, конечно, ты могъ бы... А впрочемъ позволю! я сегодня такъ отлично настроенъ, что не желалъ бы омрачать... Папаша! не дадите ли вы намъ позавтракать?

— Съ удовольствіемъ, мой другъ, только вотъ разговоры-то ваши... Ахъ, господа, господа! Не успѣете вы двухъ словъ сказать — смотришь, ужъ управа благочинія въ ходъ пошла! Только и слышишь: благонадежность да неблагонадежность!

— Нельзя, папаша! время нынче не такое, чтобъ другіе разговоры вести!

— То-то, что съ этими разговорами какъ бы вамъ совсѣмъ не оглуѣть. И въ наше время не Богъ знаетъ какіе разговоры велись, а все-таки... Человѣческое волновало. Искусство, Гамлетъ, Мочаловъ, „башмаковъ“ еще не износила... Выйдешь, бывало, изъ „Британіи“, а въ душѣ у тебя музыка...

— А помните, папешка, какъ вы рассказывали: „идешь, бывало, по улицѣ, видишь: извозчикъ спитъ; сейчасъ это лошадь ему разнуздаешь, отойдешь шаговъ на двадцать, да и крикнешь: „извозчикъ!“ Ну, онъ, разумѣется, какъ угорѣлый. Лошадь стегаетъ, летитъ... тпру! тпру!.. Чтò тутъ смѣху-то было!

— Да, бывало и это, а все-таки... Нынче, разумеется, извозничьих лошадей не разнуздываютъ, а вмѣсто того ведутъ разговоры о томъ, какъ бы кого прищемить... Эй, господа! отуйдете вы отъ этихъ разговоровъ! право, и не замѣтите, какъ отуйдете! Ни поэзіи, ни искусства, ни даже радости—ничего у васъ нѣтъ! Встрѣтишься съ вами — именно точно въ управу благочинія попадешь!

— Дядя!—вступился я: — надо же однако разъ навсегда разъяснить...

— А коли надо, такъ и разбирайтесь между собой, а я — уйду. Надоѣло. Благонадежность да неблагонадежность... чортъ бы васъ побралъ!

Дядя не на шутку разсердился, хлопнулъ дверью и скрылся.

— Старичокъ! — произнесъ ему вслѣдъ Сеничка, но не только безъ гнѣва, а даже добродушно.

— А къ старикамъ надо быть снисходительнымъ,—прибавилъ я:—и ты, конечно, примешь во вниманіе, что твой отецъ... Ахъ, мой другъ! не все одни увеличивающія вину обстоятельства надлежитъ имѣть въ виду, но и...

— Еще бы!

За завтракомъ Сеничка продолжалъ быть благосклоннымъ и, садясь за столъ, ласково потреталъ меня по плечу и молвилъ:

— Такъ такъ, что-ли? война?

И вновь повторилъ, что война ведется только противъ неблагонадежныхъ элементовъ, а противъ благонадежныхъ не ведется. И притомъ ведется съ прискорбіемъ, потому что грустная необходимость заставляетъ. Когда же я попросилъ его пояснить, что онъ разумѣетъ подъ выраженіемъ „неблагонадежные элементы“, то онъ и на эту просьбу снизошелъ и съ большою готовностью началъ пояснять и перечислять. Ужъ онъ пояснял-пояснял, перечислялъ-перечислялъ — чуть-было всю Россію не завинилъ! Такъ что я наконецъ испугался и замѣтилъ ему:

— Остановись, любезный другъ! вѣдь этакъ ты всѣхъ русскихъ поданныхъ поголовно къ сонму неблагонадежныхъ причислишь!

На что онъ увѣренно и съ какимъ-то неизреченнымъ пренебреженіемъ отвѣтилъ:

— Э! еще довольно останется!

Вы понимаете, что на подобные отвѣты не можетъ быть возраженій: да они съ тѣмъ, конечно, и даются, что предполагаютъ за собой силу окончательнаго рѣшенія. „Довольно останется“! Что ни дѣлай, всегда „довольно останется“! — таковъ единственный штандпунктъ, на которомъ стоитъ Сеничка, но, право, и одного такого штандпункта достаточно, чтобы сдѣлать человѣка неуязвимымъ.

Взгляните на безконечно разстилающееся людское море, на эти непрерывно смѣняющіяся, набѣгающія другъ на друга волны людского матеріала — и если у васъ слабо по части совѣсти, то вы легко можете убѣдить себя, что сколько тутъ ни черпай, всегда довольно останется. И не только довольно, но даже и убыли совсѣмъ нѣтъ. Такъ что ежели не обращать вниманія на относительное значеніе вычерпываемыхъ элементовъ — а при отсутствіи совѣсти что же можетъ побудить задумываться надъ этимъ? — то почувствуется такая легкость на душѣ и такая развязность въ рукахъ что пожалуй и впрямь



скажешь себѣ: отчего же и не черпать, если на мѣстѣ вычерпанной волны немедленно образуется другая?

Какая будетъ эта новая волна—это вопросъ особый, и разрѣшить его, конечно, не Сеничка. У него взглядъ на это дѣло количественный, а не качественный, и сверхъ того онъ находитъ отличное подкрѣпленіе этому взгляду въ старинной пословицѣ: „было бы болото, а черти будутъ“, которая тоже значительно облегчаетъ его при отправленіи обязанностей. Его даже не смущаетъ мысль, что въ томъ, чего, по его мнѣнію, *еще довольно останется*, могутъ въ свою очередь образоваться элементы, которые тоже пожалуй черпать придется. Онъ не глядитъ такъ далеко, но ежели бы и пришлось опять черпать, черпать безъ конца, онъ и тутъ не затруднится, а скажетъ только: черпать такъ черпать! Цѣльнаго, органическаго, полезнаго онъ, разумѣется, не создастъ, а вотъ разсѣкать гордіевы узлы да шипать людскую корпю—это онъ можетъ.

Главный конекъ Сенички и единственное вразумительное слово, которое не сходитъ у него съ языка—это „современность“. Современность, будто бы, требуетъ господства разнокалиберщины и дѣлаетъ ненужными идеалы. Загородившись современностью, Сеничка охотно готовъ заколотъ въ ея пользу будущее. Завтрашній день онъ еще понимаетъ, потому что на завтра у него наклеивается новое дѣльце, по которому уже намѣчены и свидѣтели; но что будетъ послѣ-завтра—до этого ему дѣла нѣтъ. Ни до чего нѣтъ дѣла: ни до вліяній на общее настроеніе въ настоящемъ, ни до отраженій въ будущемъ.

Онъ принадлежитъ къ той неумной, но жестокой породѣ людей, которая понимаетъ только одну угрозу: смотри, Сеничка, какъ бы не пришли другіе черпатели, да тебя самого не вычерпали! Но и тутъ его выручаетъ туманъ, которымъ такъ всецѣло окутывается представленіе о „современности“. Этотъ туманъ до того застилаетъ передъ его мысленнымъ взоромъ будущее, что ему просто-на-просто кажется, что послѣдняго совсѣмъ никогда не будетъ. А слѣдовательно не будетъ мѣста и для осуществленія угрозъ.

Однимъ словомъ, Сеничка—одинъ изъ тѣхъ поденщиковъ современности, которые мотаются изъ угла въ уголъ среди разнокалиберщины, и не то чтобы отрицаютъ, а просто не сознаютъ ни малѣйшей необходимости въ какихъ бы то ни было выводахъ и обобщеніяхъ. Сегодня дѣльце, завтра дѣльце—это составить два дѣльца... Чего больше нужно?

— Сеничка!—сказалъ я:—допустимъ, что это доказано: война необходима... Но ты говоришь, что она будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока существуютъ неблагонадежные элементы. Пусть будетъ и это доказаннымъ; но въ такомъ случаѣ казалось бы не лишнимъ хоть признаки-то неблагонадежности опредѣлить съ большею точностью.

— Да вѣдь я чуть не цѣлый часъ перечислялъ тебѣ эти признаки!

— Да, но въ этомъ перечисленіи скорѣе выразились указанія твоего личнаго темперамента, нежели дѣйствительно твердыя основанія. Многіе изъ указанныхъ тобою признаковъ и фактовъ въ цѣломъ мірѣ принимаются какъ вполне благонадежные...

— Въ цѣломъ мірѣ—да, а у насъ—нѣтъ.

— Однако вѣдь это не резонъ, душа моя. Если въ общечеловѣческомъ

сознаніи извѣстное дѣйствіе или мысль признаются благонадежными, то какъ же я могу угадать...

— Шалишь, братъ! Не только можешь угадать, но и знаешь, положительно знаешь! Скажите, какая невинность—не можетъ угадать!

— Въ томъ-то и дѣло, что ты въ этомъ отношеніи безусловно ошибаешься. Не только положительно, но даже приблизительно я ничего не знаю. Когда человѣкъ составилъ себѣ болѣе или менѣе цѣльное міросозерцаніе, то бываютъ вещи, объ которыхъ ему даже на мысль не приходитъ. И не потому не приходитъ, чтобъ онъ ихъ презиралъ, а просто не приходитъ, да и все тутъ.

— Такъ пускай приходитъ. Важная птица! ему какое-то міросозерцаніе въ голову втемяшилось, такъ онъ и правъ! — Нѣтъ, любезный другъ! ты эти міросозерцанія-то оставь, а спустись-ка внизъ, да пониже... пониже опустишь! небось, не убудетъ тебя!

— Да еслибы, однакожь, и такъ? еслибы человѣкъ и принудилъ себя согласовать свои внутреннія убѣжденія съ требованіями современности... съ какими же требованіями-то — вотъ ты мнѣ что скажи! Вѣдь требованія-то эти, особенно въ такое горячее, неясное время, до такой степени измѣнчивы, что даже требованіями, въ точномъ смыслѣ этого слова, названы быть не могутъ, а скорѣе напоминаютъ о случайности. Тутъ вѣдь угадывать нужно...

— И угадывай!

— Согласись, однакожь, что въ выборѣ между случайностями не трудно и ошибиться. Стало быть, по твоему, и ошибка можетъ подлежать дѣйствію войны?

— Да-съ, можетъ-съ.

— Такъ что, собственно говоря, въ основаніи твоей войны лежитъ слѣпая случайность?

— Да-съ, случайность... ну, чтожь такое, что случайность! На то война-съ!

Сеничка началъ къ каждому слову прибавлять слово-ерсъ, а это означало, что онъ ужъ закипаетъ. Право вести войну казалось ему до такой степени неоспоримымъ, а опредѣленіе неблагонадежности посредствомъ неблагонадежности же до такой степени яснымъ, что въ моихъ безобидныхъ выраженіяхъ онъ уже усматривалъ чуть не намѣренное противодѣйствіе. И можетъ быть и дѣйствительно разсердился бы на меня, еслибъ не вспомнилъ, что сегодня утромъ ему „удалось“. Воспоминаніе это явилось какъ разъ кстати, чтобъ выручить меня.

— Ну-ну!—воскликнулъ онъ благосклонно:—чуть-было я не погорячился! А сегодня мнѣ горячиться грѣхъ. Сегодня, душа моя, я долженъ быть добръ. Впрочемъ, покуда это еще секретъ, но современемъ ты узнаешь, и самъ увидишь... Да, такъ о чемъ же мы говорили? Объ томъ, кажется, что и случайность слѣдуетъ угадывать?—что-жь, я думаю, что мой взглядъ правильный! Мы въ такое время живемъ, когда случайность непременно должна быть полагаема на вѣсы. Конечно, тутъ могутъ произойти ошибки: степень виновности, содѣйствіе или только попустительство и такъ далѣе... Но вѣдь въ какомъ же человѣческомъ дѣлѣ не бываетъ ошибокъ? И при томъ,



никто не препятствуетъ приносить оправданія... Напротивъ! раскаяніе—вѣдь это, такъ сказать, цвѣтокъ... Ахъ, голубчикъ! повѣрь, что я и самъ всѣмъ сердцемъ болѣю... и всегда, при всякомъ удобномъ случаѣ, сколько могу... И, можетъ быть, не одинъ заблуждающійся пролилъ благодарную слезу... Но ты, кажется, не вѣришь?

— Помилуй! даже очень вѣрю!

— Ты пожалуйста не смотри на меня какъ на дикаго звѣря. Напротивъ того, я не только понимаю, но въ извѣстной мѣрѣ даже сочувствую... Иногда, послѣ безконечныхъ утомленій дня, возвращаясь домой—и хочешь вѣрь, хочешь нѣтъ — но бываютъ минуты, когда я почти готовъ впасть въ уныніе... И только серьезное отношеніе къ долгу освѣжаетъ меня... А кромѣ того, не забудь, что я всего еще надворный совѣтникъ, и остановиться на этомъ...

— Было бы безразсудно... О, какъ я это понимаю! Ты правъ, мой другъ! въ чинѣ тайнаго совѣтника, такъ сказать, на закатѣ дней, еще протительно впадать въ меланхолію — разумѣется, ежели впереди не предвидится производства въ дѣйствительные тайные совѣтники... Но надворный совѣтникъ, какъ женихъ въ полночи, непременно долженъ стоять на стражѣ! Ибо ему предстоитъ многое совершить: сперва получить коллежскаго совѣтника, потомъ статскаго, а потомъ...

— Да, но иногда все-таки не сдержишь себя и задумаешься. Все изъ-за язвы кругомъ—тяжело, мой другъ! Должно же когда-нибудь наступить время для уврачеванія ихъ!

— Стало быть, и уврачеваніе входитъ въ твою программу?—радостно изумился я.

— Еще бы! вѣдь я до сихъ поръ только растрavляю... на чтѣ похоже! Правда, я растрavляю, потому что этого требуетъ необходимость, но все-таки еслибъ у меня не было въ виду уврачеванія — развѣ я могъ бы такъ бодро смотрѣть въ глаза будущему, какъ я смотрю теперь?

— Ахъ, голубчикъ! такъ чтожъ ты давно мнѣ объ этомъ не сказалъ?

— И повѣрь мнѣ, что рано или поздно, а дѣло уврачеванія поступитъ на очередь. И даже скорѣе рано, чѣмъ поздно, потому что не далѣе, какъ вчера, я имѣлъ объ этомъ разговоръ, и вотъ, въ краткихъ словахъ, результатъ этого разговора: не нужно поспѣшности! но никогда не слѣдуетъ упускать изъ вида, что чѣмъ скорѣе мы вступимъ въ періодъ уврачеванія, тѣмъ лучше и для насъ, и для всѣхъ! Для всѣхъ!—повторилъ онъ, прикладывая къ носу указательный палецъ.

— Браво! Сеничка! такъ давай же говорить объ уврачеваніи!

— Съ удовольствіемъ, мой другъ, хотя, какъ я уже объяснилъ тебѣ, очередь...

— Да мы будемъ говорить безъ очереди... такъ! Въ чемъ же, по твоему, должно заключаться уврачеваніе?

— Ну, это будетъ зависѣть... Прежде всего, надо расчистить почву, а потомъ ужъ и средства уврачеванія опредѣлятся сами собой.

— Такъ, значитъ, впередъ и тутъ ни на чтѣ вѣрное разсчитывать нельзя?

— Впередъ, душа моя, только утописты загадываютъ; дѣйствительная же мудрость въ томъ состоитъ, чтобы пользоваться наличнымъ матеріаломъ и съ помощью его созидать будущее. Насущныхъ вопросовъ, право, больше, чѣмъ достаточно, и ежели хотя часть ихъ подвергнуть разсмотрѣнію — разумѣется, въ предѣлахъ благоразумія — то и въ такомъ случаѣ дѣло уврачеванія значительно подвинется впередъ. А который изъ этихъ вопросовъ надлежитъ разсмотрѣть немедленно и который до времени положить подъ сукно — это ужъ покажутъ обстоятельства. Повторяю: прежде всего надо расчистить почву, а потомъ уже созидать!

— Эхъ, кабы ты поскорѣе ее расчистилъ! Взялъ бы да и... только ужъ, сдѣлай милость, меня-то не прихвати!

— Чтѣ ты! что ты! успокойся, мой другъ! Такъ вотъ къ этой самой расчисткѣ я и направляю все мои усилія. Надѣюсь, что они увѣчатся успѣхомъ, но когда именно наступитъ вождельный день — все-таки заранѣе опредѣлить не могу.

— Но надѣюсь, что, когда этотъ день наступитъ... чинъ коллежскаго совѣтника... а?

— Ну, чинъ-то коллежскаго совѣтника я и такъ, за выслугу лѣтъ, получу...

— Стало быть, Wladimir?.. Bravo, Сеничка! bravo!

— Владиміръ не Владиміръ, а Анны вторыя... это, пожалуй, не невозможно.

Разумѣется, я поспѣшилъ заранѣе поздравить его, и, право, мнѣ кажется, онъ былъ очень доволенъ, что перспектива уврачеванія разрѣшалась такъ удачно при помощи Анны вторыя.

И такъ, прежде всего: „война такъ война“; потомъ „уврачеваніе“; но въ чемъ оно будетъ состоять — бабушка еще сказала надвое. Таковы Сеничкины „принципы“. И въ заключеніе Анны вторыя — это, кажется, самое ясное.

Нѣкоторое время Сеничка сидѣлъ въ состояніи той пріятной задумчивости, которую обыкновенно навѣваютъ на человѣка внезапно открывшіяся перспективы, полныя обольстительнѣйшихъ обѣщаній. Онъ слегка покачивалъ головой и чуть слышно мурлыкалъ; я, съ своей стороны, сдерживалъ дыханіе, чтобы не нарушить очарованія. Какъ вдругъ онъ вскочилъ съ мѣста, какъ ужаленный.

— А вѣдь я позабылъ! — воскликнулъ онъ, блѣднѣя: — самое главное-то и забылъ! Чтѣ, ежели... но нѣтъ, неужто судьба будетъ такъ несправедлива?.. А я-то сижу и „уврачеваніями“ занимаюсь! Вотъ теперь ты видишь! — прибавилъ онъ, обращаясь ко мнѣ: — видишь, какова моя жизнь! И послѣ этого... Извини, что я тебя оставляю, но мнѣ надо спѣшить!

Онъ бѣгомъ направился къ двери, а черезъ нѣсколько секундъ уже былъ на улицѣ. Не успѣлъ я хорошенько придти въ себя отъ этой неожиданности, какъ въ дверяхъ столовой показалась голова дяди.

— Убѣжалъ? — спросилъ онъ меня.

— Да, чтѣ-то случилось...

— Это онъ опять на ловлю... Вотъ жизнь-то анаѣемская! И каждый день такъ. Придетъ: „ну, слава Богу, изловилъ!“ посидитъ-посидитъ, и вдругъ окажется, что изловилъ да не доловилъ — опять бѣжать надо! Ну, и пускай



бѣгаетъ! А мы съ тобой давай будемъ объ чемъ-нибудь партикулярномъ разговаривать!

То же самое отсутствіе жизненныхъ выводовъ усматриваетъ и Дыба, и чрезвычайно объ этомъ скорбитъ. Представьте, какое съ нимъ курьезное на дняхъ происшествіе случилось. Всталъ онъ утромъ съ постели, какъ обыкновенно, правой ногой, умылся, справился, не пріѣзжалъ ли за нимъ курьеръ съ приглашеніемъ прибыть для окончательныхъ переговоровъ по весьма нужному дѣлу, спросилъ кофey, взялъ въ руки газету, и вдругъ... видитъ: „Уволяется отъ службы по прошенію: безшабашный совѣтникъ Дыба“. Сначала, разумѣется, не понялъ и даже съ разстановкой произнесъ:

— Од-но-фа-ми-лецъ!

Но вслѣдъ за тѣмъ какъ вскочить!.. Караулъ!

Надо вамъ сказать, что еще наканунѣ вечеромъ онъ успѣлъ заручиться, что именно теперь-то и нужна его опытность. Заручившись, пошелъ въ клубъ; тамъ ему тоже сказали: „именно теперь ваша опытность особливую пользу оказать должна“. Онъ, съ своей стороны, скромно отвѣчалъ, что не прочь послужить, поужиналъ, веселый воротился домой и цѣлый часъ посвятилъ на объясненіе молодой кухаркѣ, что въ скоромъ времени онъ, по обстоятельствамъ, найметъ повара, а ей присвоить титулъ домоправительницы и, можетъ быть, выдать замужъ за главноначальствующаго надъ курьерскими лошадьми. Во снѣ видѣлъ мѣропріятія и, должно полагать, веселыя, потому что громко смѣялся. Еще когда мы вмѣстѣ съ нимъ Kränchen въ Эмсѣ глотали—ужъ и тогда онъ объ этихъ мѣропріятіяхъ рѣчь заводилъ. Но никакъ, бывало, до конца довести разсказа не можетъ: дойдетъ до середины—и вдругъ со смѣху прыснетъ! А я стою, смотрю, какъ онъ заливается, и думаю: Господи! неужто?

Долго онъ не могъ понять, какъ это такъ: прошенія онъ не подавалъ, а уволенъ—*по прошенію*, и въ первые дни даже многимъ въ этомъ смыслѣ жаловался. Однакожъ наконецъ понялъ. Но понялъ опять-таки черезчуръ абсолютно. Впалъ въ уныніе, сразу утратилъ вѣру въ будущее и женился на молодой кухаркѣ, пригласивъ въ посаженные отцы Удава. А на другой день свадьбы къ нему опять пріѣхалъ курьеръ съ приглашеніемъ пожаловать для „окончательныхъ переговоровъ по *известному* дѣлу“. Разумѣется, поспѣшили явиться и на этотъ разъ убѣдился, что дѣйствительно существуетъ такая комбинація, для осуществленія которой его опытность необходима. Но въ ту самую минуту, какъ онъ уже откланивался, курьеръ подаль только-что полученный пакетъ, заключавшій въ себѣ краткій пасквиль (очевидно, направленный предательской рукой), въ видѣ пригласительнаго билета слѣдующаго содержанія: „Безшабашный совѣтникъ Дыба и вильманстрандская уроженка Густя Вильгельмовна покорнѣйше просятъ пожаловать такого-то числа на ихъ бракосочетаніе (по языческому обряду) въ Демидовъ садъ, а оттуда на Пески въ кухмистерскую Завитаева на балъ и ужинъ“. Тщетно доказывалъ Дыба, что это произошло съ нимъ вслѣдствіе унынія, но что во всякомъ случаѣ бракосочетаніе въ Демидовомъ саду, и притомъ въ зимнее время и по языческому обряду, не можетъ имѣть серьезнаго значенія; тщетно увѣрялъ, что

по первому же требованію онъ дать Густѣ расчесть, а буде во власти будетъ, то и соплеть ее въ мѣста болѣе или менѣе отдаленныя — будущее его было разбито навсегда! Помилуйте! какой же это дѣйтель, который такъ быстро приходитъ въ уныніе! И затѣмъ столь же быстро сообщаетъ этому унынію игривый и даже вызывающій характеръ, приглашая къ участію въ ономъ вильманстрандскую уроженку! Вѣдь этакъ пожалуй и до потрясенія основъ недалеко!

Все это рассказалъ мнѣ впослѣдствіи Удавъ, который въ этомъ случаѣ поступилъ совершенно по современному. Отказаться отъ приглашенія Дыбы, вслѣдствіе существовавшей между ними старинной дружбы, ему, конечно, было неловко; поэтому онъ отправился въ Демидовъ садъ, обвелъ молодыхъ вокругъ ракового куста (въ это время — представьте! — пѣли вмѣсто тронаря Горловское посвященіе Мусину-Пушкину!), осыпалъ ихъ хмелемъ — и затѣмъ словно въ воду канулъ. Даже къ Завитаеву ужинать не поѣхалъ. Да и вообще никто изъ почетныхъ гостей не прибылъ въ кухмистерскую (было приглашено: пятьдесятъ штукъ тайныхъ совѣтниковъ, сто штукъ дѣйствительныхъ статскихъ совѣтниковъ, одинъ бегемотъ, два крокодила и до двухсотъ коллежскихъ ассесоровъ, для танцевъ), а пріѣхали какіе-то „пойти“ изъ Вильманстранда, да штукъ двадцать подругъ-кухарокъ, а въ томъ числѣ и моя кухарка. Затѣмъ, на другой день (вслѣдъ за „окончательными переговорами“), Удавъ не сказался дома, на третій день — тоже, а самъ ужъ, конечно, къ бывшему другу — ни ногой. Такъ что Дыба, пріѣдя въ третій разъ, потоптался-потоптался передъ запертою дверью коварнаго друга, и вдругъ рѣшился... ѣхать ко мнѣ!

Въ наше смутное и предательское время подобныя пассажи со мной случаются нерѣдко. По особеннымъ, совершенно впрочемъ отъ меня независимымъ причинамъ, я считаюсь человѣкомъ неудобнымъ. Поэтому многіе изъ моихъ школьныхъ товарищей и даже изъ друзей, какъ только начинаютъ серьезно восходить по лѣстницѣ чиновъ и должностей, такъ тотчасъ же чувствуютъ потребность какъ можно рѣже встрѣчаться со мной. Дальше — больше, и наконецъ, когда въ черепѣ бывшаго друга, вслѣдствіе накопленія мѣтропріятій, образуется трещина, то онъ уже просто-на-просто, при упоминеніи обо мнѣ, выказываетъ изумленіе: „а? кто такой? это, кажется, тотъ, который“... Впрочемъ, встрѣчаясь со мной за границей, эти же самые люди довольно охотно возобновляютъ старыя дружескія отношенія и даже по временамъ повѣряютъ мнѣ свои административныя мечтанія. Вмѣстѣ со мной любятъ окрестными видами, пьютъ дрянное мѣстное вино и приговариваютъ: „а у насъ и этого нѣтъ!“ Нерѣдко рѣчь между нами заходитъ и о любви къ отечеству, и когда я начинаю утверждать, что любить отечество слѣдуетъ не „за лакомство“ (въ родѣ уфимскихъ земель), а просто ради самого отечества, то крѣпко и сочувственно жмутъ мнѣ руку. Но въ особенности много обращается ко мнѣ сердецъ, постигнутыхъ катастрофой, въ формѣ отставивъ, причисленія или сдачи на храненіе въ совѣтъ или въ старый сенатъ. Послѣдніе еще нѣсколько остерегаются — вѣдь чѣмъ чортъ не шутитъ! вдругъ занадобятся! — и заходятъ ко мнѣ только въ сумерки, но отставные — такъ и прутъ. Видя себя на самомъ днѣ рѣвки забвенія, они становятся безстраш-



ными и совершенно не дорожатъ своею репутаціею. Придутъ, усядутся, бормочутъ, и сами же, слушая свое бормотанье, заливаются смѣхомъ. Очевидно, надѣются, что я что-то по этому поводу „опишу“. Я и описываю, только не то, что они рассказываютъ — по большей части, этихъ рассказовъ и понять нельзя — а совсѣмъ другое. Впрочемъ нѣкоторые и изъ отставныхъ въ послѣдствіи раскаиваются, перестаютъ ходить и даже начинаютъ на всѣхъ перекресткахъ ругательски меня ругать. Но успѣваютъ ли они этимъ путемъ возстановить свою утраченную репутацію — этого я не знаю, потому что не любопытенъ.

Нерѣдко я спрашиваю себя: приметъ ли отъ меня руку помощи утопающій дѣйствительный тайный совѣтникъ и кавалеръ? — и, право, затрудняюсь дать ясный отвѣтъ на этотъ вопросъ. Думается, что приметъ, ежели онъ увѣренъ, что никто этого не видитъ; но если знаетъ, что кто-нибудь видитъ, то, кажется, предпочтетъ утонуть. И это нимало меня не огорчаетъ, потому что я во всякомъ человѣкѣ прежде всего привыкъ уважать инстинктъ самосохраненія.

Изъ этого вы видите, что мое положеніе въ свѣтѣ нѣсколько сомнительное. Не удалось мнѣ, милая тетенька, и невинность соблюсти, и капиталъ приобрести. А какъ бы это хорошо было! И вотъ вмѣсто того я живу и хоронюсь. Только одна утѣха у меня и осталась: письменный столъ, перо, бумага и чернила. Покуда все это подъ рукой, я сижу и пою: живъ, живъ курилка, не умеръ! Но кто же поручится, что и эта утѣха внезапно не улетучится?

И такъ, Дыба направился ко мнѣ. Пришелъ, пожалъ руку, усѣлся и... покраснѣлъ. Не привыкъ еще, значитъ.

— А я... поздравьте... вольная птица! — началъ онъ какъ-то сразу, и, повернувшись въ креслѣ, сдѣлалъ рукою въ воздухѣ какой-то удивительно легкомысленный жестъ, какъ будто и въ самомъ дѣлѣ у него гора съ плечъ свалилась.

— Ахъ, вашество! какъ же это такъ? стало быть, изволили соскучиться?

— Да, скучно... и притомъ вижу... не стоить!

— А мы-то, вашество, надѣялись! И я, и дѣти мои. Наконецъ-то, думаемъ, наступила минута, когда опытность вашего особливую пользу оказывать должна!

— Думалъ и я... то-есть, не я, а... но впрочемъ что-жъ объ этомъ! Не стоить! Подаль прошеніе — и квитъ!

Онъ помолчалъ съ секунду и потомъ прибавилъ:

— Теперь милости просимъ къ намъ! Свободные люди! И я, и Густя Вильгельмовна — очень, очень будемъ рады! Чашку кофе откусать или такъ посидѣть... очень пріятно...

Но чѣмъ больше онъ говорилъ, тѣмъ больше краснѣлъ и какъ-то нервно подергивался въ креслѣ. Разумѣется, я отвѣтилъ, что сочту за честь, но въ то же время никакъ не могъ придти въ себя отъ изумленія. Вотъ, думалось мнѣ, человѣкъ, который нѣсколько дней тому назадъ вполне исправно выполнялъ всѣ функціи, какія безшабашному совѣтнику выполнять надлежитъ! Онъ и надѣялся, и ропталъ, и приходилъ въ уныніе при мысли, что Уфимъ-

ская губернія раздана безъ остатка, и утѣшалъ себя надеждою, что Россія велика и обильна, и стало быть... И вдругъ теперь онъ сознаетъ себя отрѣшеннымъ отъ всѣхъ ропотовъ и упованій, отъ всего, что словно битымъ стекломъ наполняло пустую дыру, которую онъ называлъ жизнью, что заставляло его вздрагивать, трепетать, умиляться, строить планы, ждать, ждать, ждать... Какъ ему должно быть теперь нехорошо! Съ какимъ удивленіемъ онъ долженъ былъ прислушиваться къ собственному голосу, когда говорилъ извозчику: „на Литейную—двугривенный!“ —къ этому голосу, который привыкъ возглашать: „къ генераль-аншефу такому-то—четвертакъ!“

— Но что же могло вашество побудить? въ цвѣтѣ лѣтъ и силъ? въ полномъ разгарѣ готовности и усердія?—допытывался я.

— Надоѣло. Вижу: суета, а результатовъ нѣтъ. По цѣлымъ мѣсяцамъ сидишь, въ окошко глядишь: какой результатъ? И чтожъ, даже не приглашаютъ! Подаль прошеніе—и квитъ!

— Съ точки зрѣнія вашего личнаго чувства это, конечно, вполне понятно...—началь-было я, но онъ, не слушая меня, продолжалъ:

— А то вдругъ—потребуютъ... „Ваша опытность“... И только-что начинаешь-это вслушиваться, какъ вдругъ курьеръ: „такой-то явился!“ — „Ахъ, извините! пожалуйста въ другой разъ!“ Воротишься домой, опять къ окошку сядешь, смотришь, ждешь... не требуютъ! Подаль прошеніе—и квитъ!

— Позвольте, вашество! съ точки зрѣнія вашего личнаго успокоенія это, можетъ быть, и благоразумно; но вы упускаете изъ вида, что люди въ нашемъ положеніи не имѣютъ права руководиться одними личными предпочтеніями... Вѣдь за вами стоитъ не что-нибудь, а, такъ сказать, обширнѣйшая въ мірѣ держава...

— Знаю, мой другъ. Но и за всѣмъ тѣмъ ничего не могу. Результатовъ не вижу—это главное!

— А на вашемъ мѣстѣ я сѣлъ бы опять къ окошечку, да и ждалъ бы. Сегодня—нѣтъ результатовъ, завтра—нѣтъ результатовъ, а послѣ-завтра—вдругъ результатъ!

— Сомнительно. Ну, да теперь ужъ и ждать нечего. Подаль прошеніе—и квитъ. Тѣмъ хорошо, что по крайней мѣрѣ выяснилось разъ навсегда!

— Ну, нѣтъ, вашество, не говорите этого! можетъ и вновь такой случай выйти...

— Нѣтъ ужъ, мой другъ, нечего по пустому загадывать! Конецъ. И я оччень-оччень радъ!

Онъ на минуту поникъ головой, задумался, вздохнулъ, и опять повторилъ:

— Оччень, оччень радъ! Подаль прошеніе—и квитъ!

Отдавши дань грусти, Дыба однакожъ вспомнилъ, что ему, какъ безшабашному совѣтнику, слѣдуетъ быть любезнымъ. Поэтому, оглядѣвъ стѣны моего кабинета, онъ продолжалъ:

— А у васъ хорошо... даже очень прилично... да! Обойцы на стѣнахъ, драпри... а внизу на лѣстницѣ швейцаръ! Хорошо. Много за квартиру платите?

— Столько-то.



— Тсс... скажите! И много комнатъ занимаете?

— Столько-то.

— Тсс... А я въ Подъяческой на три комнаты меньше имѣю, а почти то же плачу!

Онъ еще разъ подивился, покачалъ головой и, протягивая мнѣ руку, сказалъ:

— Поздравляю!

Разумѣется, я былъ очень польщенъ. Повелъ его по всеѣмъ комнатамъ, и вездѣ онъ меня похвалилъ, а въ нѣкоторыхъ комнатахъ даже выразилъ пріятное изумленіе. Въ корридорѣ повелъ носомъ, учуялъ, что пахнетъ жареной печенкой, умилился и воскликнулъ:

— Тсс... печенка? очень, очень пріятное кушанье! Недорогое, а пре-вкусное!

Такъ что я сейчасъ же распорядился подать ему два куска, и, право, даже на мысль мнѣ при этомъ не пришло: а ну какъ онъ поведется ходить, да въ лоскъ меня объѣсть!

Поѣвши, онъ опять разговаривалъ.

— Стало быть... живете? — спросилъ онъ, вновь оглядывая стѣны моего кабинета.

— Живу, вашество!

— И я живу. И все мы живемъ. Нельзя. Только надоѣло... мерзко смотрѣть! Сутолока какая-то, суета, столпотвореніе, а результатовъ — нѣтъ! Подаль прошеніе—и квить!

— Это такъ точно. Но впрочемъ позвольте, вашество, доложить: какихъ же еще результатовъ ждать? и будто намъ нужны какіе-нибудь результаты?

— Результаты, мой другъ, должны сами собой явствовати. Спрошу васъ: знаете ли вы, что такое силлогизмъ?

— Ахъ, вашество!

— Ну, такъ вотъ силлогизмъ... Скажемъ къ примѣру тако: Кай смертенъ; Кай — человѣкъ; слѣдовательно все люди смертны. Вотъ вамъ и результаты!

— Ну, Богъ съ ними, съ такими результатами, которые объ смерти поминаютъ. Но, кромѣ того, можно вѣдь и другимъ манеромъ этотъ же самый результатъ повернуть. Напримѣръ такъ: все люди смертны, Кай — человѣкъ, слѣдовательно Кай смертенъ. Поди, уличи меня, что я сфальшивилъ!

— Можно и такъ. На все лады можно. А вотъ какъ этакъ вамъ говорить: Кай — человѣкъ, а палка въ углу стоитъ — вотъ тутъ ужъ никакого результата не выйдетъ!

— Нѣтъ, и тутъ можетъ выйти результатъ: слѣдовательно Кай сидитъ дома, а не прогуливается.

— А онъ, можетъ быть, безъ палки гулять вышелъ?

— А тогда можно будетъ сказать такъ: слѣдовательно Кай и безъ палки вышелъ гулять!.. Да я вамъ, вашество, изъ какого угодно матеріала въ одну минуту такихъ результатовъ насочиняю, что отдай все да и мало!

— Ну, нѣтъ, все-таки...

— Непремѣнно сколько угодно насочиняю. Оттого-то я и говорю: никакихъ вамъ результатовъ не нужно! Я вѣдь тоже, какъ и вашество, сижу у окошка да поглядываю... Только вотъ объ результатахъ не думаю, а просто поглядываю—оттого и кручины не знаю.

— А я такъ знаю. И вы современемъ, когда серьезно взглянете... Мерзко!.. да-съ! Вотъ мы съ вами за границей цѣлое лѣто провели — развѣ тамъ такъ люди живутъ?

— Ахъ, вашество! да вѣдь тамъ какая почва земли-то! Развѣ такая земля безъ результатовъ можетъ родить? А у насъ и безъ результатовъ земля родить!

Онъ вытаращилъ на меня глаза, словно не понялъ силы моего возраженія. Но потомъ пожевалъ губами, тряхнулъ головой и повидимому рѣшился понять.

— Н-да?

— Помилуйте, да это фактъ! Объ этомъ и въ „Трудахъ комисіи несведенія концовъ“ записано. У нихъ земля—камень, а у насъ—на сажень черноземъ, да говорятъ, что въ крайнемъ случаѣ и еще сажень на пять будетъ! Тутъ сколько добра-то?

— Н-да?

Онъ удивлялся все больше и больше. Разумѣется, я воспользовался этимъ.

— Оттого намъ можно безъ результатовъ жить, а имъ—нельзя. Имъ тяжело, а намъ легко. Или опять фабрики-заводы... У другихъ этого добра—пропасть, а у насъ—первой-другой, и обчелся!

— И это, стало быть?..

— А то какъ же, вашество! все надо въ счетъ полагать! Конечно, мы, люди партикулярные, сидимъ и не догадываемся, а между тѣмъ въ общей массѣ, да еще при содѣйствіи трудовъ комисіи несведенія концовъ...

— Стало быть, и климатъ, и мѣстоположеніе—все нужно въ счетъ полагать?

— Конечно, все. Тамъ—горы, у насъ—паспорты; тамъ—тепло, у насъ—холодно; тамъ мѣстоположеніе — у насъ нѣтъ мѣстоположенія: тамъ сѣлъ да поѣхалъ, а у насъ въ каждомъ мѣстѣ: стой, сказывай, кто таковъ? какой такой человѣкъ есть? Нѣтъ, вашество, намъ впору по-просту, безъ затѣй прожить, а не то чтобы чтò!

Онъ опять вытаращилъ на меня глаза и даже нѣсколько какъ бы поглупѣлъ. Я тоже потерялъ концы, и не зная, на чемъ я остановился, и почему на томъ, а не на другомъ.

— И все-таки... надоѣло! —наконецъ молвилъ онъ, вспомнивъ о своемъ недавнемъ приключеніи.

— Надоѣло—это такъ! Но чтò именно надоѣло—это еще вопросъ!

— Суета надоѣла—вотъ чтò!

— И суета, да опять и то, что результатовъ никакихъ нѣтъ—а я чтò же говорю? Идемъ, бѣжимъ, а куда—не знаемъ! Даже на конкахъ теперь во весь опоръ лошадей пускаютъ! Раздавать человѣка, а для чего раздавили и какой отъ этого результатъ—не знаютъ.



— Именно такъ!

— Вотъ хоть бы съ вѣществомъ... Пригласили васъ, и вы ужъ совсѣмъ-было приспособились, и вдругъ: „извините, теперь некогда, пожалуйста въ другое время!“

— Вотъ именно я это самое и утверждалъ. А вы...

— И я. Объясниться намъ нужно — вотъ и все. Все равно какъ въ журнальной полемикѣ: оба противника, въ сущности, одно и то же говорятъ, а между тѣмъ зубъ-за-зубъ!

— Такъ что ваша ссылка на черноземъ...

— Черноземъ — это само по себѣ. Это въ своемъ мѣстѣ будетъ значеніе имѣть. А куда намъ нужно было объясниться — вотъ мы и объяснились.

Онъ раскрылъ-было ротъ, чтобы возразить, но подумалъ, хлопнулъ зубами и замолчалъ.

Я тоже повидимому высказалъ все, что накопилось у меня на душѣ.

— Ну, дай вамъ Богъ! — сказалъ онъ, вставая и берясь за шляпу: — прекрасная у васъ квартирка... прекраснѣйшая!

Въ передней онъ въ послѣдній разъ протянулъ мнѣ руку и умилился.

— Такъ вотъ мы и познакомились! — произнесъ онъ съ чувствомъ. — На этотъ разъ, надѣюсь, прочно будетъ... Но еслибы даже впослѣдствіи и вышелъ результатъ, то во всякомъ случаѣ... Милости просимъ къ намъ! И я, и Густя Вильгельмовна... Посидѣть, побесѣдовать...

Наконецъ онъ удалился, а я сѣлъ къ окошку и сталъ ждать результатовъ. И вдругъ — курьеръ! — Откуда, другъ? — „Изъ главнаго управленія по дѣламъ печати“... Ахъ!

Впрочемъ это мнѣ только показалось, что курьеръ пришелъ, а въ дѣйствительности въ мой кабинетъ влетѣла „Индюшка“. И вдругъ вся моя квартира пропахла юбочнымъ мельканіемъ, кислотой и вздоромъ.

— Господи, какая скука! — привѣтствовала она меня: — хоть бы кто-нибудь пригласилъ! Вчера ѣздила-ѣздила, вижу, у Чистопольцевыхъ огонь, звоню — выходитъ лакей: „барынѣ сына Богъ послалъ, а баринъ сидятъ запершись въ кабинетъ и доносы пишутъ“... Хоть бы запретили!

— Что запретили бы? рожать или доносы писать?

— Ахъ, какой ты! И безъ того скучно, а ты... Вотъ Дарья Семеновна — та отлично устроилась. „Я, говорить, ma chère, съ тѣхъ поръ, какъ эта скука пошла, каждый день все въ баню ѣзжу!“

— И ты бы ѣздила!

— Я не могу: въ банѣ-то надо за номеръ пять рубликовъ платить, а у меня Пентюхово-то ужъ въ двухъ мѣстахъ заложено... Въ одномъ мѣстѣ по настоящему свидѣтельству, а въ другой разъ мнѣ Балалайкины состряпалъ... Послушай однакожъ, cousin! неужто я тебѣ такъ скоро надоѣла, что ты ужъ и гонишь меня?

— Христосъ съ тобой, милушка! когда же я тебя гналъ?

— Вотъ сейчасъ въ баню посылалъ. Не бойся пожалуйста! не задержу! Я къ тебѣ за дѣломъ.

Говоря это, она подошла къ зеркалу, высунула языкъ и начала подлизывать верхнюю губу.

— И вѣдь какая эта Чистопольцева! — болтала она: — туда же, радуется: Богъ сына далъ! Скажите, какое лакомство!

— Однако, мой другъ, все-таки утѣшеніе!

— А по моему, такъ хоть бы ихъ и совѣмъ не было, этихъ сыновей... По крайней мѣрѣ я бы теперь на свободѣ куда бы хотѣла, туда бы и поѣхала... Ужъ эти мнѣ сыновья! да! чтѣ, бишь, я хотѣла тебѣ рассказать?

— Не знаю, душа моя. Вотъ объ дочеряхъ ты еще ничего не говорила, такъ, можетъ быть, объ нихъ что-нибудь молвишь...

— Ахъ, нѣтъ, не объ томъ. А впрочемъ чтожъ дочери!.. Дочь тогда хороша, когда она на мать похожа, когда она „правила“ имѣетъ, а эти нынѣшнія...

— Да успокойся пожалуйста! вспомни лучше, чтѣ ты хотѣла мнѣ сообщить!

— Ахъ, да... вотъ! Представь себѣ! у насъ вчера цѣлый содомъ случился. Съ утра мой прапорщикъ пропалъ. Завтракать подали — нѣтъ его; обѣдать ждали-ждали—нѣтъ какъ нѣтъ! Ужъ поздно вечеромъ, какъ я изъ моей тошнѣе воротилась, пошли къ нему въ комнату, посмотримъ, а тамъ на столѣ записка лежитъ. „Не обвиняйте никого въ моей смерти. Умираю, потому что результатовъ не вижу. Тѣло моя найдете на чердакѣ“... Можешь себѣ представить мое чувство!

— Ахъ, бѣдная!

— Разумѣется, побѣжали на чердакъ, и чтожъ бы ты думалъ?—онъ преспокойно прислонился-себѣ къ балкѣ и спитъ! И веревка въ двухъ шагахъ черезъ балку перекинута! Какъ только ворѣны глазъ ему не выклевали... чудеса!

— Ну, чтѣ ужъ! слава Богу, что живъ!

— Нѣтъ, ты представь себѣ, какія штуки онъ надо мной строитъ! Ужъ я кроткая-кротка, а такую ему, мерзавцу, пощечину вклепла, что въ другой разъ, если ужъ онъ задумаетъ повѣситься, такъ ужъ... Нѣтъ, ты скажи, мать я или нѣтъ?

— Коли сама рожала...

— Не только рожала, а меня изъ-за него, мерзавца, тогда чуть на куски не изрѣзали... Представь себѣ: ногами внизъ, да еще руки по швамъ—точно въ походѣ собрался! А сколько я мукъ приняла, покуда тяжела имъ ходила... и вотъ благодарность за все!

— Ну, положимъ, онъ тутъ не виноватъ...

— И все-таки могъ бы мать поблагодарить! А онъ — вонъ чтѣ, вѣшаться выдумалъ! Вотъ почему я и говорю про Чистопольцеву: дура! И всѣ дуры, которыя... Я и бабенькѣ сегодня говорила: стѣить ли послѣ этого дѣтей имѣть! А у ней этотъ противный Стрекоза сидитъ: „иногда, сударыня, безъ сего невозможно!“ Ахъ, хоть бы его поскорѣй сенаторомъ сдѣлали! Чтѣ бы начальству стѣило!

— Чтѣ тебѣ такъ занудобилось?

— Тогда бабенька за него замужъ бы вышла. Говорятъ, будто семиде-



сяти лѣтъ не позволяютъ—ну, да вѣдь въ память Аракчеева... По крайней мѣрѣ повеселилась бы на свадьбѣ, а то что! Всѣ ходятъ, словно скованные, по угламъ да результатовъ ждуть...

— Ну-ну-ну! отдохни минуточку. Скажи: спрашивала ли ты у своего прапорщика, объ какихъ это онъ результатахъ въ запискѣ своей упоминалъ!

— Поручики спрашивали, да развѣ онъ скажетъ?

— Однакожъ сказалъ же онъ что-нибудь, какъ вы на чердакѣ-то его нашли?

— Ничего не сказалъ. Только удивился, когда я ему плюху вклеила, да немного погодя промолвилъ: „ѣсть хочу!“ Хорошо, что у меня отъ обѣда цѣлый холодный ростбифъ остался!

— Да неужто же наконецъ...

— Нѣтъ, ты представь себѣ, еслибъ у меня этого ростбифа не было! куда бы я дѣвалась? И то вездѣ говорятъ, что я все сама ѣмъ, а дѣтей голодомъ морю, а тутъ еще такой скандалъ!

— Ну, что тутъ! дала цѣлковый, и пусть къ Палкину идетъ!

— Это чтобъ онъ опять... слуга покорная! выходилъ то его у меня вотъ гдѣ сидятъ!

Сказавши это, она чѣмъ-то ужасно обезпokoилась и опять побѣжала къ зеркалу.

— Душка! сдѣлай милость, посмотри! Кажется, у меня сзади что-то взбилось?

Но въ эту минуту въ передней раздался звонокъ, и прапорщикъ собственнымъ лицомъ предсталъ передъ нами.

— А! господинъ удавленникъ!—привѣтствовала его „Индюшка“:—полюбуйтесь, милый дяденька, на племянничка... хорошъ?

— А вы, мамаша, ужъ благовѣстите?

— И буду благовѣстить, и буду, и буду, и буду!—зачастила она:—въ полкъ, въ казармы поѣду! всѣмъ разблаговѣщу, какъ ты задавиться собирался! Ну, чтожъ ты не задавился, чтожъ?

И она, прискакивая и дразня, кружилась вокругъ него, приговаривая:

— Непремѣнно, непременно! поѣду и всѣмъ расскажу!

— Ну, да будетъ, Nadine!—вступился я:—а ты, фендрихъ, съ чего это, въ самомъ дѣлѣ, вѣшаться вздумалъ?

Прапорщикъ нѣкоторое время колебался, но наконецъ процѣдилъ сквозь зубы:

— Надоѣло.

— Что надоѣло?

— Скучно... результатовъ нѣтъ... ничего не поймешь!

— Скучно да надоѣло!—кипятилась „Индюшка“:—такъ что-жъ ты не удавился, коли тебѣ скучно? Скажите! ему скучно! А ты бы у матери прежде спросилъ, весело ли ей на твои штуки-фигуры смотрѣть!

— Наденька! да будь же умница!

— Нѣтъ, ты скажи ему, родной! скажи этому дурному сыну, что онъ долженъ мать уважать!

— Да развѣ онъ...

— Нѣтъ, ты ужъ пожалуйста скажи! Неужто-жъ и ты, какъ эти... Она затруднилась.

— Ну, вотъ эти... какъ ихъ...

— Да понимаю я, не ищи!

Милая тетенька! еслибъ я не зналъ, что кузина Наденька — „Индюшка“, еслибы я сто разъ на дню не называлъ ее этимъ именемъ, задача моя была бы очень проста. Но вѣдь она — „Индюшка“! это не только я, но и всѣ знаютъ; даже бабенка, и та иногда слушаетъ-слушаетъ ее, и вдругъ креститься начнетъ, точно ее лѣшій обомелъ. Да и въ настоящемъ случаѣ она себя совсѣмъ по индюшечьи вела: курлыкала, нелѣпно наступала на сына, точно собиралась уклонуть его. Какъ тутъ сказать этому сыну: вотъ птица, которую ты долженъ уважать?! Однакожъ я перемогъ себя и сказалъ:

— Взгляни на почтеннѣйшую свою родительницу, и пойми, какъ ты ее огорчилъ!

— Вотъ такъ! пойми, пойми, дурной сынъ! — радостно подтвердила „Индюшка“:—а теперь, родной, вели ему, чтобъ онъ у татаа прощенья попросилъ!

— Ахъ, да зачѣмъ это тебѣ?

— Нѣтъ, какъ хочешь, а я не отстану! Ivan! — обратилась она къ сыну:—говори: „простите меня, мамаша, за то огорченіе, которое причинилъ вамъ мой поступокъ!“

Но Ivan вдругъ какъ-то весь въ комокъ собрался и уперся (даже ноги врозь разставилъ), какъ будто отъ него требовали, чтобъ онъ отечеству измѣнилъ.

— Непремѣнно говори!—настаивала „Индюшка“:—говори, сейчасъ говори: „татаа! простите меня, что я васъ своимъ поступкомъ огорчилъ!“

— Ахъ ты, Господи!—заметался Ivan словно въ агоніи.

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! говори! Я тебя въ смиренномъ домѣ сгною, если ты у татаа прощенья не попросишь... дурной!

Но прапорщикъ продолжалъ стоять, разставивши ноги—и ни съ мѣста.

— Да скажешь ли ты наконецъ... оболтусъ ты этакой!—крикнулъ и я въ свою очередь, чувствуя, что даже стѣны моего кабинета начинаютъ глупѣть отъ родственныхъ разговоровъ.

— Из-ви-ни-те, та-таа, что я о-гор-чилъ...—чуть-чуть не давился Ivan.

— Ну, вотъ и прекрасно!—подхватилъ я.

— Нѣтъ, погоди!... „своимъ поступкомъ“,—подказала Индюшка.

— Сво-имъ по-ступ-комъ...

— Ну, вотъ, теперь прощаю! Теперь — все забыто. И я тебя простила, и ты меня прости. Я тебя простила за то, что ты свою татаа обезпокоилъ, а ты меня прости за то, что я тебѣ тогда сторяча... Ну, пусть будетъ надъ тобой мое благословеніе! А чтобы ты не скучалъ, вотъ пять рублей—можешь себѣ удовольствіе сдѣлать!

— Бери!—посоветовалъ я, почти скрежеща зубами.

Насилу они отъ меня уѣхали. Но замѣчательно, что когда „Индюшка“



распростилась со мной, а прапорщикъ собрался-было, проводивши мать, остаться у меня, то первая не допустила до этого.

— Нѣтъ ужъ, сдѣлайте милость! извольте съ маман отправляться! — сказала она. — А то вы опять у дяденьки либеральничаній наслушаетесь, да домой давиться придѣте!

И, обратившись ко мнѣ, — прибавила:

— Хорошо, что у меня тогда холодный ростбифъ остался! А то, представъ себѣ, онъ говоритъ: „хочу ѣсть!“ — а я...

Остальное она договорила ужъ въ швейцарской.

Такъ вотъ какъ, милая тетенька. Живемъ мы и результатовъ не видимъ. И оттого, будто бы, намъ скучно.

Очень возможно, что вы найдете приведенные мною примѣры неубѣдительными. Вы скажете, что и Дыба, и фендрихъ Ivan, и „Индюшка“ — все это такого рода личности, ссылка на которыхъ положительно ничего не доказываетъ... Извините меня, но ежели таково ваше мнѣніе, то вы несомнѣнно ошибаетесь. Подобно тому, какъ въ прошломъ письмѣ я говорилъ по поводу свары, свившей гнѣздо въ русской семьѣ, повторяю и нынѣ: именно примѣры низменные, заурядные и представляютъ въ данномъ случаѣ совершенное доказательство. Вѣдь имъ, этимъ безшабашнымъ людямъ, по настоящему и Богъ велѣлъ безъ результатовъ жизнь отбывать, а они, изволите видѣть, скучаютъ, беспокоятся, начинаютъ подозрѣвать, что въ существованіи ихъ закралась какая-то пустота. Допустимъ, что они отчасти не умѣютъ назвать эту пустоту по имени, а отчасти формулируютъ свое недовольство жизнью смутно и нелѣпо; тѣмъ не менѣе не подлежитъ сомнѣнію, что имъ скучно, что имъ надоѣло. И именно теперь, вотъ въ настоящее время, эта скука настолько обострилась, что они ее явственно чувствуютъ, тогда какъ прежде они или не подозрѣвали ея, или мирились съ нею.

Конечно, надворный совѣтникъ Сеничка объявляетъ себя довольнымъ и даже достаточно нагло утверждаетъ, что жизнь безъ выводовъ есть наиболѣе подходящий для насъ *modus vivendi*; но вѣдь это только такъ кажется, что онъ доволенъ. Вспомните, какъ онъ поблѣднѣлъ и испугался при мысли, что нѣчто забылъ; вспомните, съ какою стремительностью онъ бросился изъ дома, чтобы поправить свой промахъ — и вы поймете, что и онъ не на розахъ покоится. И это не исключительный случай съ нимъ, а каждый день такъ бываетъ. Каждый день онъ непременно что-нибудь забудетъ, упуститъ изъ вида, не предусмотритъ, и каждый день вслѣдствіе этого пугается и блѣднѣетъ. А отчего? — оттого, что зся его неустанная дѣятельность изъ однихъ обрывковъ состоитъ, а собрать и сѣютить всю эту массу безсвязныхъ обрывковъ — положительно немислимое дѣло. Еслибъ у него былъ въ виду результатъ, еслибъ дѣятельность его развивалась логически и онъ сознавалъ ясно, куда ему надлежитъ придти — онъ навѣрное не отдалъ бы всего себя въ жертву разношерстной сутолокѣ, которой вдобавокъ и конца нѣтъ. Нѣкоторыя части разнокалиберщины онъ бы отсѣкъ, другія — и сами собой не пришли бы ему на мысль. А теперь вся эта белиберда такъ и плыветъ на него, и

ужъ не онъ ею распоряжается, а она имъ. Одну только цѣль онъ выяснилъ себѣ довольно опредѣленно — это Анны вторья; но и она находится въ зависимости отъ разнокалиберщины, которая свинцовой тучей повисла надъ его существованіемъ. Такъ что и тутъ онъ не можетъ не опасаться, что одинъ неудачный или неосторожный шагъ — и все его расчеты на Анны вторья будутъ скомпрометированы. И я положительно убѣжденъ, что онъ по нѣскольку разъ въ день прокликаетъ часъ своего рожденія, и что только извѣстная степень душевной оголѣлости помогаетъ ему выдерживать безпрестанные испуги, въ родѣ того, котораго я былъ случайнымъ свидѣтелемъ, и, несмотря ни на что, упорствовать въ омутѣ разнокалиберщины, съ тѣмъ, чтобы вновь и вновь пугаться безъ конца.

Не всякій способенъ сознавать, что скука происходитъ вслѣдствіе отсутствія результатовъ, но всякій способенъ испытывать самую скуку. И вѣрьте мнѣ, что томительное ощущеніе скуки, безъ сознанія причинъ, ее обуславливающихъ, лежитъ на душѣ гораздо болѣе тяжелымъ бременемъ, нежели то же самое ощущеніе, достаточно выслѣженное и просвѣтленное сознаніемъ.

Работа мысли, проникновеніе къ самымъ источникамъ невзгоды — представляютъ очень серьезное облегченіе. Невзгода въ этомъ случаѣ прямо стоитъ передъ человѣкомъ, и онъ или бросается въ борьбу съ нею, или старается оборониться отъ нея. Допустимъ, что ни въ борьбѣ, ни въ оборонѣ онъ успѣха не достигнетъ, но ужъ и то будетъ прибыль, что его дѣятельность найдетъ какой-нибудь выходъ. А наконецъ, въ крайнемъ случаѣ, у него останется и еще убѣжище: чувство негодованія, которое тоже, въ извѣстной мѣрѣ, можетъ дать содержаніе человѣческому существованію. Но вотъ когда положеніе дѣлается по истинѣ ужаснымъ — это когда человѣкъ томится и мечется, самъ не понимая, отчего онъ томится и мечется. Въ этомъ случаѣ онъ ужъ дѣйствительно ничего, кромѣ зіяющей пустоты, передъ собою не видитъ.

Большинство именно такъ и скучаетъ. Просто не знаетъ, куда дѣваться. Индюшку — „никто не приглашаетъ“; Дыбу хоть и „приглашаютъ“, но онъ и самъ говоритъ: лучше бы ужъ не бередили. Фендрихъ нигдѣ мѣста найти не можетъ, давиться хочетъ. Сеничка все что-то начинаетъ, но ничего кончить не въ силахъ. Доносятъ, ябедничаютъ, выслѣживаютъ, раздираютъ другъ друга, и никакъ не могутъ понять, отчего даже такая лихорадочная подвижность дѣятельность не можетъ заслонить пустоту. Положительно, это такая надрывающая картина, которую только съ великой натугой можетъ создать самое изобрѣтательное воображеніе.

Прибавьте ко всему этому безконечную канитель разговоровъ о какихъ-то застояхъ, дефицитахъ, колебаніяхъ и паденіяхъ, которые еще болѣе представляютъ съеживаться скучающее человѣчество. Я въ этихъ застояхъ ровно ничего не понимаю, и потому не особенно на нихъ настаиваю, но все-таки не могу не занести ихъ на счетъ, потому что они отравляютъ мой слухъ на каждомъ шагѣ. Не только книгъ (кому этотъ товаръ нуженъ?), но даже игры, будто бы, покупаютъ противъ прежняго вдвое меньше. А ужъ коль скоро купчина завылъ, то прочимъ и по закону подвывать полагается!

Куда дѣвались чивые, ничего не жалѣющіе желѣзнодорожники? Гдѣ веселые адвокаты? Адвокаты-то нынче, тетенька, какъ завидятъ кліента...



Ну, да ужъ Богъ съ ними! смиренный нынче это народъ сталъ! Живутъ, наравнѣ съ другими, безъ результатовъ... мило! благородно!

Вотъ, однимъ словомъ, до чего дошло. Нѣсколько ужъ лѣтъ сплошь я сижу въ итальянской оперѣ рядомъ съ ложей, занимаемой однимъ оловеннымъ семействомъ. И какую разительную переменѣну вижу! Прежде, бывало, какъ антрактъ—сейчасъ приволокутъ буракъ съ свѣжей икрой; вынутъ изъ-за пазухъ ложки, садутъ въ кружокъ и хлебаютъ. А нынче на всѣ три-четыре антракта каждому члену семейства раздадутъ по одному крымскому яблоку—веселись! Да и тутъ всѣ кругомъ завидуютъ, говорятъ: „милліонщикъ!“

Р. С. Сейчасъ пріѣзжалъ Ноздревъ: „ждалъ, говорить, должности, да толку добиться не могъ! газету, говорить, издавать рѣшился!“ Просилъ придумать названіе; я посоветовалъ: „Помои“. Представьте себѣ, такъ онъ этому названію обрадовался, точно я его рублемъ подарилъ! „Это, говорить, такое названіе, такое названіе... на одно названіе подписчикъ валомъ повалить!“ Обѣщалъ, что на дняхъ первый № выйдетъ, и я, разумѣется, съ нетерпѣніемъ жду.

## Письмо одиннадцатое.

Милая тетенька.

Представьте себѣ, вѣдь Ноздревъ-то осуществилъ свое намѣреніе: передо мною лежатъ ужъ два нумера его газеты. Называется она, какъ я посоветовалъ: „Помои—изданіе ежедневное“. Безъ претензій и мило. Въ программѣ-объявленія сказано: „мы имѣемъ въ виду истину“ — еще милѣе. Никакихъ другихъ обѣщаній нѣтъ, а коли хочешь знать, какая лежитъ на днѣ „Помоевъ“ истина, такъ подписывайся. „Мы не пойдѣмъ по слѣдамъ нашихъ собратовъ“, говорится дальше въ объявленіи: „мы не унизимся до широковѣщательныхъ обѣщаній, но позволимъ сказать одно: кто хочетъ знать истину, тотъ пусть читаетъ нашу газету; въ противномъ же случаѣ пусть не заглядываетъ въ нее — ему же хуже!“ А въ выноску къ слову „истина“ сдѣлано примѣчаніе: „Всѣ новости самыя свѣжія будутъ получаться нами изъ первыхъ рукъ, немедленно и изъ самыхъ достовѣрныхъ источниковъ“. А въ томъ числѣ, конечно, будетъ получаться и клевета.

Внѣшній видъ газеты дѣйствуетъ чрезвычайно благопріятно. Большого формата листъ; бумага—изумительно пригодная; печать—сдѣлала бы честь самому Гутенбергу; опечатокъ столько, что редакція можетъ прятаться за ними какъ за каменной стѣной. Внизу подписано: „редакторъ-издатель Ноздревъ“; но искусно пущенный подъ рукою слухъ сдѣлалъ извѣстнымъ, что главный воротило въ газетѣ — публицистъ Искариотъ. Не тотъ впрочемъ Искариотъ, который удавился, а приблизительно. Ноздревъ даже намѣревался его отвѣтственнымъ редакторомъ сдѣлать (то-то бы розничная продажа пошла!), но не получилъ разрѣшенія, потому что формуляръ у Искариота нехорошъ.

Со стороны внутренняго содержанія газета дѣлаетъ впечатлѣніе еще болѣе благопріятное. Въ передовой статьѣ, принадлежащей перу публициста Искаріота, развивается мысль, что ничто такъ не предосудительно, какъ ложь. „Намъ все дозволяется, говорить Искаріотъ, только не дозволяется говорить ложь“. И далѣе: „Никогда лгать не надо, за исключеніемъ лишь того случая, когда необходимо увѣрить, что говоришь правду. Но и тогда лучше выразиться нѣ-двое“. Затѣмъ разсматриваетъ факты современной жизни; вредныя — одобряетъ, полезныя — осуждаетъ, и въ заключеніе восклицаетъ: „такъ долженъ думать всякій, кто хочетъ оставаться въ согласіи съ истиной!“ А Ноздревъ въ выноскѣ примѣчаетъ: „Полно, такъ ли? *Ред.*“ Вторая передовая статья подписана: „Сверхштатный Дипломатъ“ и посвящена вопросу: „было ли въ 1881 году соблюденно европейское равновѣсіе?“ Отвѣтъ: „было, благодаря искусной политикѣ, а чей — не скажу“. Примѣчаніе Ноздрева: „Скромность почтеннаго автора будетъ совершенно понятна, если принять въ соображеніе, что онъ самъ и есть тотъ „искусный политикъ“, о которомъ идетъ рѣчь въ статьѣ. *Ред.*“ Въ фельетонѣ фельетонистъ Трясучкинъ увѣряетъ, что никогда ему не было такъ весело, какъ вчера на раутѣ у княгини Насофѣполежаевой. Раутъ имѣлъ отчасти литературный характеръ, потому что княгиня декламировала: „Ахъ, почтѣ за мечъ воинственный я свой посохъ отдала?“ — но изъ заправскихъ литераторовъ были тамъ только двое: онъ, Трясучкинъ, да поэтъ Булкинъ. Оба въ бѣлыхъ галстухахъ. И когда княгиня произносила стихъ: „Зрѣла я небесъ сіяніе“, то въ гостиную вошелъ лакей во фракѣ и въ бѣломъ галстукѣ и покурить духами. Такъ что очарованіе было полное. А когда велѣдъ затѣмъ сюрпризомъ явился фокусникъ, то вышелъ такой поразительный контрастъ, что всѣ залились веселымъ смѣхомъ. Но ужина не было, „такъ что мы съ Булкинымъ вынуждены были отправиться къ Палкину и пробыли тамъ до шести часовъ утра“. Противъ имени княгини Насофѣполежаевой Ноздревъ примѣтилъ: „Урожденная Сильвуплѣ, дочь дѣйствительнаго статскаго совѣтника, игравшаго въ свое время видную роль по духовному вѣдомству“, а противъ фамиліи поэта Булкина: „нѣтъ ли тутъ какого недоразумѣнія?“ На второй страницѣ — разнообразѣвшая „Хроника“, въ которой, противъ десяти „извѣстій“, въ выноскахъ сказано: „Слышано отъ Репетилова“, а противъ пяти: „Не клевета ли?“ За хроникой слѣдуютъ тридцать-три *собственныхъ* телеграммы, извѣщающія редакцію, что мужикъ сытъ. Но и тутъ выноска: „Истина вынуждаетъ насъ сознаться, что телеграммы эти составлены нами въ редакціи для образца“. Третья страница посвящена корреспонденціи изъ городовъ, коихъ имена не понали въ „Списокъ городскихъ поселеній“, изданный статистическимъ отдѣломъ министерства внутреннихъ дѣлъ. На четвертой страницѣ — серьезная экономическая статья: „Наши денежные знаки“, въ которой развивается мысль, что ночью съ извозчикомъ слѣдуетъ расчитываться непременно около фонаря, такъ какъ въ противномъ случаѣ легко можно отдать двугривенный вмѣсто пятиалтыннаго, „что съ нами однажды и случилось“. Статья подписана: *Не вѣрите мнѣ*, а въ выноскѣ противъ подписи сказано: „Не только вѣримъ, но усерднѣйше просимъ продолжать. *Ред. Ноздревъ*“. Наконецъ, на самомъ кончикѣ послѣдняго столбца объявленіе: „ДѢВЩА!! пишетъ по-



ступить на мѣсто къ холостому человѣку солидныхъ лѣтъ. Письма адресовать въ городъ Копысь Прасковѣ Ивановѣ“. Выноска: „Очень счастливы, что начинаемъ предстоящую серію нашихъ объявленій столь любезнымъ предложеньемъ услугъ; надѣмся, что и прочія дѣвицы (sic) не замедлятъ почтить насъ своимъ довѣріемъ. *Контричикъ Любострастный*“.

Второй номеръ еще лучше. Начинается передовой статьей: „Военный бредъ“, въ которой указывается, что въ тылу у насъ—Бѣлое море и Ледовитый океанъ. Статья подписана: „Бывшій начальникъ штаба войскъ эіопскаго принца Амонасро, изъ „Аиды“. Во второй статьѣ публицистъ Искаріотъ сходитъ съ высотъ теоретическихъ на почву современности, и разбираетъ по суставчикамъ газету „Пригорюнившись Сидѣла“, доказывая, что каждое ея слово есть измѣна. Затѣмъ помѣщено письмо Трясучкина, который извѣщаетъ, что поэтъ Булкинъ совсѣмъ не „недоразумѣніе“, а авторъ извѣстнаго стихотворенія: „Воззри въ лѣсахъ на бегемота“, а редакторъ Ноздревъ въ выноску на это возражаетъ: „Но кажется, что это стихотвореніе, или приблизительно въ этомъ родѣ, принадлежитъ перу Ломоносова?“ Телеграммы опять составлены въ стѣнахъ редакціи, и по этому поводу Ноздревымъ сдѣлано слѣдующее „заявленіе“: „Невозможно, чтобъ редакція на свой счетъ получала телеграммы изъ всѣхъ городовъ. Она свое дѣло сдѣлала, т.-е. составила и обнародовала образцы, а затѣмъ охотники, желающіе видѣть свои телеграммы напечатанными, обязывается уже на собственный счетъ посылать таковыя въ редакцію“. На четвертой страницѣ новая экономическая статья экономиста *Не вѣрьте мнѣ*, въ которой развивается мысль, что когда играютъ въ карты на мелокъ, то справедливость требуетъ каждодневно насчитывать умѣренные проценты. И въ выноску: „Такъ мы и дѣлаемъ. *Ред.*“ Въ концѣ опять одно объявленіе; „КУХАРКА!! такое одно кушанье знаетъ, что пальчики оближешь. Спросить на Невскомъ отъ 10 до 11 часовъ вечера дѣвицу „Ребята хвалили“. Выноска: „Наши вчерашнія ожиданія постепенно оправдываются, но пускай же и прочія кухарки поспѣшатъ къ намъ съ своими объявленіями. *Контричикъ Любострастный*“.

И внизу, подъ обоими нумерами—достолюбезная подпись: редакторъ-издатель Ноздревъ!!

Я разомъ проглотилъ оба номера, и скажу вамъ: двойственное чувство овладѣло мной по прочтеніи. Съ одной стороны, въ душѣ—музыка, съ другой — какъ будто больше чѣмъ слѣдуетъ въ ретирадѣ замечтался. И надо откровенно сознаться, послѣднее изъ этихъ чувствъ, кажется, преобладаетъ. По крайней мѣрѣ даже въ эту минуту я все еще чувствую, что пахнетъ, между тѣмъ какъ музыки ужъ давнымъ-давно не слышать.

Но чтѣ всего больше поразило меня въ новорожденномъ органѣ — это неизреченная и даже, можно сказать, наглая увѣренность въ авторитетности и долговѣчности. „Ужъ мнѣ-то не заграждать уста!“ „Я-то вѣдь до скончанія вѣковъ говорить буду!“ — такъ и брызжетъ между строками. Во второмъ номерѣ Ноздревъ даже словно играетъ съ персонами, на заставкахъ команду имѣющими. „Насъ спрашиваютъ нѣкоторые подписчики, — говоритъ онъ, какъ мы намѣрены поступить въ случаѣ могущей приключиться горькой невзгоды? то-есть, отдадимъ ли подписчикамъ деньги назадъ по расчету, или употре-

бимъ ихъ на собственныя нужды? На это отвѣчаемъ положительно и твердо: никакой невзгоды съ нами не можетъ быть и не будетъ. Мы не съ тѣмъ приняли дѣло, чтобъ идти на встрѣчу невздамъ, а съ тѣмъ чтобы направлять таковыя на другихъ. Тѣмъ не менѣе, считаемъ за нужное оговориться, что не невозможенъ случай, когда опасенія подписчиковъ рискуютъ оказаться и небезосновательными. А именно: ежели публика выкажетъ холодность къ нашему изданію и не предоставитъ намъ достаточныхъ средствъ для его продолженія. Тогда мы еще подумаемъ, какъ намъ поступить съ подписчиками“.

Такимъ образомъ оказывается, что ежели вы, напримѣръ, подпишетесь на „Помой“, то для того, чтобы не потерять денегъ, вы обязываетесь уговаривать всѣхъ вашихъ родственниковъ, чтобъ и они на „Помой“ подписались... Справедливо ли это?

Но можете себѣ представить положеніе бѣдной „Пригорюнившись Сидѣла“! Что должны ощущать почтеннѣйшіе ея редакторы, читая, какъ „Помой“ перемываютъ ея косточки и въ каждой косточкѣ прозрѣваютъ измѣну. Въдѣ у насъ такъ ужъ изстари повелось, что противъ слова: „измѣна“ — даже разъясненій никакихъ не полагается. Скажетъ она: „тѣ, что я говорила, съ незапамятныхъ временъ и вездѣ уже составляетъ самое заурядное состояніе человѣческаго сознанія, и только „Помой“ можетъ казаться диковинкою“ — сейчасъ ей въ отвѣтъ: „а! такъ ты вотъ еще какъ... нераскаянная!“ Или скажетъ: „я совсѣмъ этого не говорила, а говорила вотъ то-то и то-то“ — и тутъ готовъ отвѣтъ: „а! опять за лганье принялась! опять хвостомъ вертишь!“ Словомъ сказать, выгоднѣе и приличнѣе всего окажется простое молчаніе. „Помой“ будутъ растабарывать, а „Пригорюнившись Сидѣла“ — молчать. Таково ихъ взаимное провиденціальное назначеніе.

Повидимому тактика Ноздрева заключается въ слѣдующемъ. По всякому вопросу непремѣнно писать передовую статью, но не затѣмъ, чтобы разъяснить самую сущность вопроса, а единственно ради того, чтобы высказать по поводу его „русскую точку зрѣнія“. Разумѣется, выйдутся люди, которые тронутся такимъ отношеніемъ къ дѣлу и назовутъ его недостаточнымъ — тогда подстеречь удобный моментъ и закричать: „караулъ! измѣна!“

Такого рода моменты называются „вѣянiями“; а въдѣ пзвѣстно, что у насъ, коли вплотную повѣтъ, то всякое слово за измѣну сойдетъ. И тогда измѣнниковъ хоть голыми руками хватай.

Замѣчательно, что есть люди — и даже не мало такихъ — которые за эту тактику называютъ Ноздрева умницей. „Мерзавецъ, говорятъ, но умнень. Знаетъ, гдѣ раки зимуютъ, и понимаетъ, что по нынѣшнему времени требуется. Стало быть, будетъ съ капиталъцемъ“.

Что Ноздревъ будетъ съ капиталъцемъ (особливо ежели деньгами подписчиковъ распорядится) — это дѣло возможное. Но чтобы онъ былъ „умницей“ — съ этимъ я, судя по вышедшимъ нумерамъ, никакъ согласиться не могу. Во-первыхъ, онъ потому ужъ не умница, что не понимаетъ, что времена переходивы; а во-вторыхъ, онъ до того въ двухъ нумерахъ обнажилъ себя, что даже винограднаго листа ему достать не откуда, чтобы прикрыть, въ крайнемъ случаѣ, свою наготу. Говорять, будто бы онъ меценатами заручился; да меценаты-то чѣмъ заручились?



Покаместъ однакожъ ему везетъ. „У меня, говоритъ, въ тылу — сила, а ежели мой тылъ обезпеченъ, то я многое могу дерзать“. Эта увѣренность развиваетъ чувство самодовольства во всемъ его организмѣ, но въ то же время темнитъ въ немъ разсудокъ. До такой степени темнитъ, что онъ, въ изступленіи наглости, прямо отъ своего имени объявляетъ войны, заключаетъ союзы и даруетъ миръ. Но долго ли будутъ на это смотрѣть меценаты — не извѣстно.

Не дальше какъ сегодня, подъ живымъ впечатлѣніемъ только-что прочитанныхъ нумеровъ, я встрѣтился съ нимъ на улицѣ, и по обыкновенію спугался. Въмѣсто того, чтобъ перебѣжать на другую сторону, очутился съ нимъ лицомъ къ лицу и началъ растабарывать. „Какъ, говорю вамъ, не стыдно выступать съ клеветами противъ газеты, которая, во всякомъ случаѣ, честно исполняетъ свою задачу? Еслибъ даже убѣжденія ея“... Но онъ мнѣ не далъ и договорить.

— Прежде всего, — прервалъ онъ меня: — я не признаю клеветы въ журналистикѣ. Журналистика — поле для всѣхъ открытое, гдѣ всякій можетъ свободно оправдываться, опровергать и даже въ свою очередь клеветать. Безъ этого немислимо издавать мало-мальски „живую“ газету. Но главное — надо же наконецъ за умъ взяться. Пора разъ навсегда покончить съ этими гнѣздами развѣвшагося либерализма, покончить такъ, чтобъ они ужъ и не воскресли. Щадить врага — это самая плохая политика. Одно изъ двухъ: или сдаться ему въ плѣнъ, или же бить, бить до тѣхъ поръ...

Такъ вотъ онъ чтò, милая тетенька, собрался совершить. Покончить съ „врагами“ — съ чьими? съ своими собственными, Ноздревскими врагами... ахъ! Спрашивается: неужто-жъ найдется въ мірѣ какая-то „сила“, которая согласится войти въ союзъ съ Ноздревымъ, съ цѣлью сокрушенія Ноздревскихъ враговъ?!

Нѣтъ, какъ хотите, а Ноздревъ далеко не „умница“. Все въ немъ глупо: и замыслы, и надежды, и способы осуществленія. Только вотъ него-дѣйство какъ будто скрашиваетъ его и даетъ поводъ думать, что онъ нѣчто смекаетъ и чтò-то можетъ совершить.

Вся его сила заключена именно въ этомъ негодѣйствѣ: въ немъ, да еще въ эпидемически развившейся путаницѣ понятій, благодаря которой, куда ни глянешь, кромѣ мути, ничего не видишь. Пользуясь этими двумя содѣйствіями, онъ каждодневно будетъ твердить, что всѣ, кто не читаетъ его поскудной газеты — все это враги и потрясатели. И найдутся простецы, которые повѣрятъ ему...

Но вы, милая тетенька, не вѣрьте! Не увлекайтесь ни Ноздревскими клеветами, ни намеками на Ноздревскую авторитетность и на какихъ-то случайныхъ людей, которые, будто бы, поддерживаютъ эту авторитетность. Смотрите на Ноздрева какъ можно проще: какъ на продуктъ современнаго вѣянья, то-есть какъ на бездѣльника и глушца. Тогда для васъ не только сдѣлается яснымъ секретъ его беззастѣнчивости, но и поскудный листъ, въ которомъ онъ выливаетъ свои душевные помоя, перестанетъ казаться опаснымъ, а пребудетъ только поскуднымъ, чѣмъ ему и быть надлежитъ.

Какъ ни страннымъ покажется переходъ отъ Ноздрева къ литературѣ вообще, но, дѣлать нечего, приходится примириться съ этимъ. Перо краснѣетъ, возвѣщая, что Ноздревъ вторгся въ литературу и повидимому расположился въѣздиться въ ней, но это осязательный фактъ и никакое перо не въ силахъ опровергнуть его.

Ноздрева провела въ литературу улица, провела постепенно, переходя отъ одного видоизмѣненія къ другому. Начала съ Трипичкина, потомъ пришла къ „нашему собственному корреспонденту“, потомъ къ Подхалимову и закончила гармоническимъ аккордомъ, въ лицѣ Ноздрева. А откуда проходили эти видоизмѣненія, честная литература съ наивнымъ изумленіемъ восклицала: „кажется, что дальше идти невозможно!“ Однакожь оказалось возможнымъ.

Еще въ недавнее время наша литература жила вполне обособленною жизнью, то-есть бряцала и занималась эстетикою. По временамъ однакожь и въ ней обнаруживались проблески, свидѣтельствовавшіе о стремленіи прорваться на улицу, или, вѣрнѣе сказать, создать ее, потому что тогда и „улицы“—то не было, а была только ширь да гладь да божья благодать, а надъ нею витало: „Печатать дозволяется. Цензоръ Красовскій“. Но именно по простотѣ и крайней вразумительности этого „печатать дозволяется“ никакія новшества не удавались, такъ что самыя смѣлыя экскурсіи въ область злобы дня прекращались по мановенію волшебства, не дойдя до перваго этапа. И въ концѣ концовъ литература вновь возвращалась къ бряцанію и разработкѣ вопросовъ чистаго искусства.

Эта полная отчужденность литературы отъ насущныхъ злобъ сообщала ей трогательно-благородный характеръ. Какъ будто она, какъ сказочная царевна, была заключена въ неприступномъ чертогѣ и тамъ дремала, окутанная сновидѣніями. Но въ основѣ этихъ сновидѣній все-таки лежало „человѣчное“; такъ что ежели литература не принимала дѣятельнаго участія въ негодованіяхъ и протестахъ жизни, то не участвовала и въ ея торжествахъ. Вотъ почему и „замаранность“ была въ то время явленіемъ исключительнымъ; ибо гдѣ же и какъ могла „замараться“ царевна, дремлющая въ волшебныхъ чертогахъ? Вообще руководство жизнью составляло тогда привилегію табели о рангахъ и ревниво оберегалось ею отъ постороннихъ вторженій; литературѣ же предоставлялось стоять притиснутою въ углу и пробуждать благородныя чувства. Но все-таки повторяю: иногда даже подъ флагомъ благородства чувствъ литература упорствовала проводить нѣчто своеобразное, и тогда происходили коллизіи, вслѣдствіе которыхъ водворялось молчаніе и царевна вновь предавалась исключительно-эстетическимъ сновидѣніямъ.

Мнѣ могутъ возразить здѣсь: а иносказательный рабій языкъ? а умѣнье говорить между строками?—Да, отвѣчу я, дѣйствительно, обѣ эти характерныя особенности выработались во время пребыванія литературы въ плѣну, и обѣ несомнѣнно свидѣтельствуютъ о ея попыткахъ прорваться сквозь непріятельскую цѣпь. Но вѣдь, какъ ни говори, а рабій языкъ все-таки рабій языкъ и ничего больше. Улица никогда между строкъ читать не умѣла, и по отношенію къ ней рабій языкъ не имѣлъ и не могъ имѣть воспитательнаго значенія. Такъ что если тутъ и была побѣда, то очень и очень небольшая.



Улица заявила о своемъ рожденіи уже на нашихъ глазахъ. Она со-  
здалась сама собой, вдругъ, безъ всякаго участія со стороны литературы.  
Послѣдняя, въ началѣ пятидесятихъ годовъ, была до того истощена, измучена  
и отуманена, что при появленіи улицы даже не выказала особенной способности  
къ уясненію своихъ отношеній къ ней. Можно было подумать, что плѣнь,  
въ которомъ она такъ долго томила, сдѣлался ей миль. Онъ напоминалъ  
ей о талантѣ, знаніи и высотахъ ума, словомъ сказать, обо всемъ, что  
было затѣснено, забито, но чего самая тьма не могла окончательно потемнить.  
Напротивъ того, улица съ перваго же раза зарекомендовала себя безсвязнымъ  
галдѣніемъ, низменною несложностью требованій, живостью предразсудковъ,  
дикостью идеаловъ, произвольностью отправныхъ пунктовъ и наконецъ ка-  
кою-то удручающею безграмотностью. Но, въ то же время, та же улица вы-  
сказала и чуткость, а именно: она отлично поняла, что литература для нея  
необходима, и, не откладывая дѣла въ долгій ящикъ, всей массой хлынула,  
чтобы овладѣть ею. Двѣ силы встрѣтились лицомъ къ лицу: съ одной сто-  
роны, литература замученная, заподозрѣнная и недоумѣвающая: съ другой  
— улица, не только не заподозрѣнная, но прямо, какъ на преимущество, ссы-  
лающаяся на родство своихъ идеаловъ съ идеалами управы благочинія. По-  
нятно, на чьей сторонѣ долженъ былъ остаться перевѣсъ.

Съ появленіемъ улицы литература, въ смыслѣ творческомъ, не замед-  
лила совсѣмъ сойти со сцены, отчасти за недоступностью новыхъ мотивовъ  
для разработки, отчасти за общимъ равнодушіемъ ко всему, что не прика-  
сается непосредственно къ уличному галдѣнію. Конечно, найдутся и теперь  
два-три исключенія, но это ужъ, такъ сказать, „послѣднія тучи разсѣянной  
бури“, которыя набрасываютъ остальные штрихи въ старой картинѣ, а пе-  
редъ новою точно такъ же останавливаются въ недоумѣніи, какъ и всѣ про-  
чіе. Ибо *входъ за кулисы постороннимъ* (т.-е. литературѣ) *воспрещается...*

По наружности, кажется, что никогда не бывало въ литературѣ такого  
оживленія, какъ въ послѣдніе годы; но, въ сущности, это только шумъ и  
гвалтъ взбудораженной улицы; это нестройный хоръ обострившихся вожде-  
лѣній, въ которомъ главная нота, по какому-то горькому фатализму, принад-  
лежитъ подозрительности, сыску и безнабашному озлобленію. О творчествѣ  
нѣтъ и въ поминѣ. Нѣтъ ничего цѣльнаго, задуманнаго, выдержаннаго, за-  
конченнаго. Одни обрывки, которые много-много имѣютъ значеніе сырого  
матеріала, да и то матеріала несвязнаго, противорѣчиваго. Для чего этотъ  
матеріалъ можетъ послужить? ежели для будущаго, то, право, будущее ско-  
рѣе сочтетъ болѣе удобнымъ совсѣмъ отвернуться отъ времени, породившаго  
этотъ матеріалъ, нежели заботиться объ его воспроизведеніи. Мы же, совре-  
менники, читаемъ эти обрывки и чувствуемъ себя подъ гнетомъ какой-то  
безысходной тоски. Странное, въ самомъ дѣлѣ, положеніе: ни въ жизни, ни  
въ литературѣ—нигдѣ разобраться нельзя. Вездѣ суета, вездѣ мельканіе,  
свара, сыскъ, безъ всякой надежды на обрѣтеніе мало-мальски твердой опоры,  
о которую могла бы притупиться эта бессмысленная сутолока.

Еслибъ представилась возможность творчески отнестись къ картинѣ  
этой всесторонней жизненной неурядицы, это уже былъ бы громадный вы-  
игрышъ въ смыслѣ общественнаго освѣщенія. Соберите элементы удручающей

насъ смуты, сгруппируйте ихъ, укажите каждому его мѣсто, его центръ тяготѣнія—одного этого будетъ достаточно, чтобъ взволновать честныя сердца и остепенить сердца самодовольныхъ и легкомысленныхъ глупцовъ. Но тутъ-то именно и встрѣчаются тѣ неодолимые препятствія, которыя на всю область творчества налагаютъ какъ бы секвестръ.

Дѣло въ томъ, что вездѣ, въ цѣломъ мірѣ, улица представляетъ собой только матеріаль для литературы, а у насъ, напротивъ, она господствуетъ и въ видѣ частной инсинуаціи, частнаго насилія, и въ видѣ непререкаемо-возбращающей силы. И на каждомъ шагѣ ставить „вопросы“, на которые сдѣлалось какъ бы обязательнымъ, *до времени*, закрывать глаза. Тщетно вы станете доказывать, что вопросъ самый жгучій именно тогда и утрачиваетъ значительную часть своей жгучести, когда онъ подвергнутъ открытому изслѣдованію (допустимъ, даже самому страстному)—въ отвѣтъ на эти убѣжденія вамъ или скажутъ, что вы ставите ловушку, или же просто-на-просто посмотрятъ на васъ съ изумленіемъ. Потому что улицей овладѣлъ испугъ, и она ищетъ освободиться отъ него во что бы то ни стало. А такъ какъ она искони отъ всѣхъ недуговъ исцѣлялась первобытными средствами, въ родѣ шивороты (въ „Помояхъ“ расшалившійся Ноздревъ такъ-таки прямо и сулитъ „либеральной“ прессѣ... *рози!*!), то и теперь на всякія болѣе сложныя комбинаціи смотритъ какъ на злонамѣренный подвигъ или какъ на безуміе.

Улица тяжела на подъемъ въ смыслѣ умственномъ; она погрязла въ преданіяхъ, завѣщанныхъ мракомъ временъ, и нимало не избрѣтательна. Она хочетъ, чтобъ торжество досталось ей даромъ или, во всякомъ случаѣ, стоило какъ можно меньше. Дешевле и проще плющильнаго молота ничего мракомъ временъ не завѣщано—вотъ она и приводитъ его въ дѣйствіе, не разбирая, чтò и во имя чего молотъ плющить. Да и гдѣ же тутъ разобраться, коль скоро у всѣхъ этихъ уличныхъ „охранителей“ поголовно поджилки дрожатъ!

И замѣйте, милая тетенька, вездѣ нынче такъ. Вездѣ одна виѣшняя суета, и вездѣ же какая-то блаженная увѣренность, что искомое цѣленіе само собою придетъ на крикъ: *ego vos!* Никогда обстоятельства болѣе серьезныя не вызвали на борьбу такого множества легкомысленныхъ и самодовольныхъ людей. Мы, кажется, даже забыли совсѣмъ, что для того, чтобъ получить прочный результатъ, необходимо прежде всего потрудиться. Потрудиться не одной кожей, но и всѣмъ внутреннимъ существомъ. Но, можетъ быть, внутреннее-то существо уже до того въ насъ истрепалось, что и понадѣяться на него нельзя...

Какъ бы то ни было, но литературное творчество въ умаленіи. И едва ли я ошибусь, сказавъ, что тайна его исчезновенія заключается не въ собственномъ его безсиліи, а въ отсутствіи почвы, которую оно могло бы эксплуатировать. Творчество не можетъ сдѣлать шага, чтобы не встрѣтиться съ „вопросомъ“, а стало-быть и съ матеріальною невозможностью. Приступите ли оно къ жизни такъ-называемаго культурнаго общества—половина этой жизни представляетъ заповѣдную тайну, и именно та половина, которая *всей* жизни даетъ колоритъ. Спустится ли оно въ глубины бытовой жизни—и тамъ его подстерегаетъ цѣлая масса вопросовъ: вопросъ аграрный, вопросъ общинный, вопросъ о народившемся „булакѣ“ и т. д. И всѣ эти вопросы—тоже запо-



вѣдная тайна, хотя въ нихъ и только въ нихъ однихъ лежитъ разъясненіе всѣхъ невзгодъ, удручающихъ бытовую жизнь.

Но ежели вездѣ, куда ни оглянись, ничего, кромѣ испуга и обязательной тайны не обрѣтается, то ясно, что самая смѣлая попытка разложить и воспроизвести этотъ загадочный міръ ничего не дастъ, кромѣ бѣглыхъ, не имѣющихъ органической связи обрывковъ. Ибо какую же можетъ играть дѣятельную роль творчество, затертое среди испуговъ и тайностей?

Мнѣ скажутъ, быть можетъ: но существуетъ цѣлый міръ чисто психическихъ и нравственныхъ интересовъ, выдѣляющій безконечное множество разнообразнѣйшихъ типовъ, относительно которыхъ не можетъ быть ни вопросовъ, ни недоразумѣній. Да, такой міръ дѣйствительно есть, и литература отлично знала его въ то время, когда она, подобно спящей царевнѣ, дремала въ волшебныхъ чертогахъ. Но, во-первыхъ, типы этого порядка съ такимъ несравненнымъ мастерствомъ уже разработаны отцами литературы, что возвращаться къ нимъ значило бы только повторять зады. А во-вторыхъ — и это главное — попробуйте-ка въ настоящую минуту заняться, напримѣръ, воспроизведеніемъ „хвастуновъ“, „лжецовъ“, „лицемѣровъ“, „мизантроповъ“ и т. д. — вѣдь та же самая улица въ одинъ голосъ возопитъ: объ чемъ ты намъ говоришь? оставь старыя погудки и отвѣть на тѣ вопросы, которые затрагиваютъ насъ по существу: кто мы таковы? и отчего мы нравственно и матеріально оголѣбли?

Ибо никогда не была психологія въ фаворѣ у улицы, а нынче она удовлетворяется ею меньше, нежели когда-нибудь. Помилуйте! до психологій ли тутъ, когда въ цѣломъ организмѣ нѣтъ мѣста, которое бы не щемило и не болѣло!

Но, сверхъ того, психическій міръ, на который такъ охотно указываютъ, какъ на тихое пристанище, гдѣ литература не рискуетъ встрѣтиться ни съ какими недоразумѣніями — вѣдь и онъ сверху до низу измѣнилъ фізіономію. Основныя черты типовъ, конечно, остались, но къ нимъ прилипло нѣчто совсѣмъ новое, прямо связанное съ злобою дня. Появились дѣльцы, карьеристы, хищники и т. д. Безспорно, послѣдніе типы очень интересны; но вѣдь ежели вы начнете ваше повѣствованіе словами: „Безшабашный совѣтникъ такой-то вкупѣ съ безшабашнымъ совѣтникомъ такимъ-то начертали планъ ограбленія Россіи“ (а какъ же иначе начать?) — то дальше ужъ не зачѣмъ и идти. Ибо вы сейчасъ же очутитесь въ самомъ водоворотѣ „вопросовъ“, и именно тѣхъ вопросовъ, на которые, *до времени*, обязательно закрывать глаза.

Но говорятъ: умѣлъ же писать Пушкинъ? — умѣлъ! Написалъ же онъ „Повѣсти Бѣлкина“, „Пиковую Даму“ и проч.? — написалъ! Отчего же современный художникъ не можетъ обращать свою творческую дѣятельность на явленія такого же характера, которыми не пренебрегалъ величайшій изъ русскихъ художниковъ — Пушкинъ?

Отвѣтъ на это вовсе не труденъ. Во-первыхъ, Пушкинъ не одну „Пиковую Даму“ написалъ, а многое и другое, объ чемъ современные Ноздревы благо разумно умалчиваютъ. Во-вторыхъ, живи Пушкинъ *теперь*, онъ *навѣрное* не потратилъ бы себя на писаніе „Пиковой Дамы“. Вѣдь это только

шутки шутятъ современные Ноздревы, приглашая литературу отдохнуть подъ стѣною памятника Пушкина. Въ дѣйствительности они столь же охотно пригласили бы Пушкина въ участокъ, какъ и всякаго другого, стремящагося проникнуть въ тайности современности. Ибо они отлично понимаютъ, что сущность Пушкинскаго генія выразилась совѣтъ не въ „Пиковыхъ Дамахъ“, а въ тѣхъ стремленіяхъ къ обще-человѣческимъ идеаламъ, на которые тогдашняя управа благочинія, какъ и нынѣшняя, смотрѣла и смотритъ одинаково непріязненно.

И еще скажутъ: есть способъ и къ современности относиться, не возбуждая подозрительности въ улицѣ. Знаю я такой способъ и знаю, что онъ не разъ практиковался и практикуется и именно въ литературѣ Ноздревского пошиба. Но позвольте же мнѣ, милая тетенька, слогомъ литератора-публициста Евгенія Маркова доложить: вѣдь искусство есть алтарь, на которомъ возкуряется оміамъ человѣчности. Не сикофантству, а именно человѣчности — это ужъ я отъ себя своимъ собственнымъ слогомъ прибавляю. Какимъ же образомъ оно, вмѣсто того, чтобы производить въ перлъ созданія, то-есть очеловѣчивать даже извращенныя человѣческія стремленія, будетъ брызгать слюною, прибѣгать къ митпрогнозіи и молотить по головамъ? А вѣдь это-то собственно и разумѣется подъ „инымъ способомъ“ относиться къ современности.

Такимъ образомъ, творчество остается не у дѣлъ, отчасти за недоступностью матеріала для художественнаго воспроизведенія, отчасти за нравственною невозможностью отнестись къ этому матеріалу согласно съ указаціями улицы. На мѣстѣ творчества въ литературѣ водворилась улица съ цѣлою массою вопросовъ, которые такъ и рвутся наружу, которыхъ, собственно говоря, и скрыть-то никакъ невозможно, но которые, тѣмъ не менѣе, остаются для литературы заповѣдною областью. То-есть, именно для той единственной силы, которая имѣетъ возможность ихъ регулировать, сообщить имъ стройность и смягчить ихъ жгучій характеръ.

Не думайте однакожь, что я пишу обвинительный актъ противъ возникновенія улицы и ея вторженія въ литературу — напротивъ того, я отлично понимаю и неизбежность, и несомнѣнную законность этого факта. Невозможно, чтобы улица вѣчно оставалась подъ спудомъ, — невозможно, такъ какъ, въ противномъ случаѣ, и въ обществѣ, и въ странѣ прекратилось бы всякое жизненное движеніе. Поэтому, какъ только появились сколько-нибудь подходящія условія, улица и воспользовалась ими, чтобы засвидѣтельствовать о себѣ. Она создалась сама собою, безъ всякихъ предварительныхъ подготовокъ; создалась, потому что имѣла право на самосозданіе. Мало того, что она сама создалась, но и втянула въ себя табель о рангахъ, которая еще такъ недавно не признавала ея существованія и которая теперь представляетъ, наравнѣ съ прочими случайными элементами, только составную ея часть, идущую за ея колебаніями и даже оберегающую ея право на самостоязаніе подъ гнетомъ всевозможныхъ жизненныхъ неясностей.

Но я иду еще дальше: я объясняю себѣ, *почему* улица въ томъ видѣ, въ какомъ мы ее знаемъ, такъ мало привлекательна. Почему требованія ея низменны, отпавные пункты дикі и произвольны, а идеалы равносильны идеаламъ управы благочинія. Все это ппаче не можетъ и быть. Это особаго рода



фатальный законъ, въ силу котораго первая стадія развитія всегда принимаетъ формы ненормальныя и даже уродливыя. Крестьянинъ, освобождающийся отъ власти земли, чтобъ вступить въ область цивилизації, тоже представляетъ собою типъ не только комическій, но и отталкивающий. Наконецъ, всѣмъ извѣстенъ непріятный типъ мѣщанина въ дворянствѣ. Но это еще не значитъ, чтобъ эмансипирующійся человѣкъ былъ навсегда осужденъ оставаться въ рамкахъ отталкивающего типа. Новыя перспективы непременно вызовутъ потребность разобраться въ нихъ, а эта разборка приведетъ за собой новый и уже высшій фазисъ развитія. То же самое, конечно, сбудется и съ улицей. Состояніе хаотической взбудораженности, въ которомъ она нынѣ находится, можетъ привести ее только къ глухой стѣнѣ, и разъ это случится, самая невозможность идти далѣе заставитъ ее очнуться. И тогда же начнется провѣрка руководившихъ ею идеаловъ, а затѣмъ и несомнѣнное ихъ упраздненіе.

Я понимаю, что все это законно и неизбежно, что улица имѣетъ право на существованіе и что дальнѣйшія ея метаморфозы представляютъ только вопросъ времени. Сверхъ того, я знаю, что понять извѣстное явленіе значитъ оправдать его.

Но оправдать явленіе — одно, а жить подъ его давленіемъ — другое. Вотъ это-то противоположеніе между олимпийскими величіемъ теоріи и болѣзненною чувствительностью жизни и составляетъ болящую рану современнаго человѣка.

Можно понимать и оправдывать пустоту, среди которой мы вращаемся, но жить въ ней нестерпимо-мучительно. Вотъ почему мы на каждомъ шагѣ встрѣчаемъ людей далеко не выпренихъ, которые однакожъ изнемогаютъ, снѣдаемые безсознательною тоской. И я нисколько не былъ бы удивленъ, еслибъ въ этой массѣ тоскующихъ нашлись и такіе, которые сами участвуютъ въ созданіи пустоты. Ибо и ихъ только незнаніе, гдѣ отыскать выходъ изъ обуревавшей паники, можетъ заставить упорно принимать жизненные миражи за подлинную жизнь, и легкомысленное мельканіе вокругъ разрозненныхъ „вопросовъ“ — предпочитать трудной, но настоятельно требующейся провѣркѣ основныхъ идеаловъ современности.

Но оставимъ покуда въ сторонѣ широкое русло жизни и ограничимся однимъ ея уголкомъ — литературою. Этотъ уголокъ мнѣ особенно дорогъ, потому что на немъ съ дѣтства были сосредоточены всѣ мои упованія, и онъ, въ свою очередь, далъ мнѣ гораздо больше того, чтѣ я достоинъ былъ получить. Весь жизненный процессъ этого замкнутого, по волѣ судьбы, міра, былъ моимъ личнымъ жизненнымъ процессомъ; его незащищенность — моею незащищенностью; его замученность — моею замученностью; наконецъ его кратковременныя и рѣдкія ликованія — моими ликованіями. Это чувство отождествленія личной жизни съ жизнью излюбленнаго дѣла такъ сильно, и принимаетъ съ годами такіе размѣры, что заслоняетъ отъ глазъ даже ту широкую, незнающую береговъ жизнь, передъ лицомъ которой все живущее представляетъ лишь безъимянную величину, вѣчно стоящую подъ ударомъ случайности.

Несомнѣнно, что вторженіе въ литературу Поздревскаго элемента не

составляетъ для меня загадки, и я могу довольно обстоятельно объяснить себѣ, что въ этомъ фактѣ ничего нѣтъ ни произвольнаго, ни неожиданнаго. Я признаю, что въ современной русской литературѣ на первомъ планѣ должна стоять газета, и что въ этой газетѣ должны господствовать публицистика, подсиживанья, сыска и клеветы. Допускаю также появленіе на сцену борзописцевъ, которые не могутъ доказать, гдѣ они вчера почевали, и у которыхъ нѣтъ другихъ словъ на языкѣ, кромѣ словъ непомнящихъ родства...

Все это я допускаю, объясняю себѣ и признаю. А стало быть обязываюсь и оправдать.

Но отчего же я чувствую, что сердце мое мучительно ноетъ при видѣ этого зрѣлища? отчего я, сверхъ того, убѣжденъ, что оно способно возбуждать негодованіе не во мнѣ одномъ, но и во всѣхъ вообще честныхъ людяхъ?

Оттого, милая тетенька, что всѣ мы, яко человѣки, не только мыслимъ, но и живемъ.

## Письмо двѣнадцатое.

Милая тетенька.

Не дальше какъ вчера я былъ на раутѣ у тайнаго совѣтника Грызунова (кромѣ медалей, имѣетъ знакъ отличія мужского ордена для ношенія по установленію).

Грызуновъ — мой школьный товарищъ и по призванію экономистъ. Еще на школьной скамьѣ онъ постигъ нѣкоторыя экономическія истины и съ помощью ихъ объяснялъ смущавшія насъ явленія.

— Грызуновъ! — спросишь его, бывало: — отчего Куропатка (прозвище одного изъ воспитанниковъ) продалъ Карасю (прозвище другого товарища) свою булку за два листа бумаги, а сегодня Карась за такую же булку долженъ былъ заплатить Куропаткѣ четыре листа?

— Оттого, — разрѣшалъ Грызуновъ безъ труда: — что вчера, кромѣ Куропатки, предлагалъ Карасю свою булку еще Котенокъ (третій товарищъ); стало-быть предложеніе было большое, а спросъ — малый. Нынче Котенокъ съѣлъ свою булку самъ; вслѣдствіе этого предложеніе уменьшилось вдвое, и сообразно съ этимъ вдвое же увеличилась и цѣна булки.

Или:

— Отчего, Грызуновъ, монета всегда чеканится круглая, между тѣмъ какъ пироги съ черникой безразлично пекутся и круглые, и овальные, и четырехугольные?

— Оттого, — объяснялъ онъ: — что обыкновенно монету носятъ въ карманѣ; стало быть, еслибъ ее чеканили, напримѣръ, четырехугольною, то, безпрерывно цѣпляясь углами о подкладку кармана, она продырила бы ее быстрѣе, нежели желательно. Пироги же кладутся не въ карманъ, а въ ротъ и, будучи мягки, доходятъ по назначенію, ничего не продыривъ.

За быстроту, съ которою давались эти отвѣты, Грызунову было дано прозвище восьмого мудреца; а такъ какъ мы были тогда того мнѣнія, что



плохой тотъ школяръ, который не надѣется быть министромъ, то на долю Грызунова самымъ естественнымъ образомъ выпадалъ портфель министра финансовъ. Съ тѣмъ мы и вышли изъ школы.

Съ тѣхъ поръ прошли годы. Грызуновъ немедленно принялся оправдывать возлагаемыя на него надежды. Сначала онъ сдѣлался „нашимъ молодымъ и блестящимъ экономистомъ“, потомъ — „нашимъ извѣстнымъ экономистомъ“ и наконецъ — „нашимъ маститымъ экономистомъ“. Писалъ онъ изобильно и легко, писалъ обо всемъ, объ чемъ взгрустнется.. И объ томъ, отчего мы бѣдны, и объ томъ, отчего у насъ во всемъ изобиліе; и о томъ, что изобиліе уменьшаетъ цѣну на предметы, и о томъ, что хотя, *вообще говоря*, изобиліе и уменьшаетъ цѣну на предметы, но „въ то-же время, до извѣстной степени, и увеличиваетъ ее“. Словомъ сказать, возьметъ изъ кучи любой вопросъ и безъ труда на него отвѣтитъ. Природа даровала ему желѣзную поясицу и чугунное при ней днище, и онъ съ признательностью пользовался этимъ даромъ. Сядетъ, посидитъ, и сколько посидитъ, столько напишетъ. Урветъ что-нибудь у Бація, или у Рикардо, или даже у Кокорена („пѣчто о глазомѣрѣ въ связи съ смекалкою“), а скажетъ, что самъ выдумалъ. И, написавши, сидитъ, нѣкоторое время дома и ждетъ, что его позовутъ: пожалуйста, Иванъ Александрычъ, министерствомъ управлять! Ждалъ онъ такимъ образомъ цѣлыхъ двадцать-пять лѣтъ; его не разъ звали, но всегда дѣло оканчивалось тѣмъ, что его же спрашивали: „ахъ, объ чемъ, бишь, нужно было съ вами, поговорить?“ Значить, звать-звали, а призвать не призвали. Какъ это случилось — онъ не понимаетъ, да и я, признаться, не понимаю. Человѣкъ знаетъ, отчего монета кругла (а можетъ быть, и отчего кругла земля?), а никому до этого какъ будто дѣла нѣтъ. Не повезло ему — вотъ и все. Иногда онъ впадалъ въ уныніе отъ этой несправедливости, но вѣра, что никому въ цѣлой Россіи неизвѣстны такъ близко тайны спроса и предложенья (а это, тетенька, позамысловатѣе „Тайны мадридскаго двора“) — спасала его. Несмотря на длинный рядъ неудачъ и разочарованій, всякій разъ (и это въ теченіе всего двадцати-пятилѣтняго періода!), какъ въ извѣстныхъ сферахъ возникало движеніе, онъ вновь начиналъ волноваться, надѣяться и ждать. Несомнѣнно, ждетъ и поднесъ.

Это постоянное, страстно-выжидательное состояніе оказываетъ извѣстное вліяніе и на его отношенія къ людямъ. Когда въ воздухѣ носятся либеральныя вѣянія, онъ льнетъ къ либераламъ, а консерваторовъ называетъ измѣнниками. Когда на рынокъ въ цѣиѣ консерватизмъ, онъ прилѣпляется къ консерваторамъ и называетъ измѣнниками либераловъ. Но это въ немъ не предательство, а только слѣдствіе слишкомъ живучаго желанія пристроиться.

Я думаю, что Грызуновъ не жаденъ, и охотно удовольствовался бы половиннымъ содержаніемъ, еслибъ его призывали. Я даже думаю, что, въ сущности, онъ и не честолюбивъ. Онъ просто знаетъ свои достоинства и цѣнить ихъ — вотъ и все. Но такъ какъ и другіе знаютъ свои достоинства и цѣнять ихъ, то онъ и затерялся въ общей свалкѣ.

Въ послѣднее время онъ какъ-то особенно всполошился. Видитъ, что пустаго мѣста много, а людей, знающихъ достовѣрно, отчего монета кругла — нѣтъ. При томъ же, *fugaces labuntur anni*, ему ужъ шестой десятокъ въ

исходѣ, а онѣ все еще ни причеѣ. Надо ловить. Поэтому онѣ съ утра до вечера мелькаетъ, съ утра до вечера всеѣмъ и каждому предлагаетъ вопросы по всеѣмъ отраслямъ человѣческаго вѣдѣнія и самѣ же на нихъ отвѣчаетъ. И все вопросы труднѣйшіе, такъ что только въ „Задачникѣ“ Малинина и Буренина и можно такіе встрѣтить. „У разносчика былъ лотокъ съ апельсинками; сто изъ нихъ онѣ продалъ, два самѣ съѣлъ, три (съ пяташками) бѣднымъ мальчикамъ роздалъ, а пять подарилъ околоточному — сколько всеѣхъ апельсиновъ было?“ Другой такой же претендентъ на постъ или задумается, прежде нежели отвѣтитъ, или отвѣтитъ уклончиво, что бабушка на-двое сказала, а Грызуновъ — быстро, отчетливо, звонко: „сто десять!“ Сверхъ того, чтобы удовлетворить сжигающей его жаждѣ дѣятельности, онѣ устроилъ у себя по субботамъ рауты, и кого ни встрѣтитъ, всеѣхъ приглашаетъ: „Субботы не забудьте... это страѣ!“

То-есть, не субботы „страѣ“, а то, что требуются почти нечеловѣческія усилія, чтобы устроить по субботамъ обмѣнъ мыслей. Но въ хлопотахъ онѣ не договариваетъ фразы и спѣшитъ хлопотать дальше. И всякому что-нибудь на ходу скажетъ. Одному — что въ виду общаго врага всеѣ партіи, и либералы, и консерваторы, должны въ субботу подать другъ другу руки; другому — что теперь-то именно, т.-е. опять-таки въ будущую субботу, и наступила пора сосчитаться и покончить, съ либералами, признавъ ихъ сообщниками, попустителями и укрывателями превратныхъ толкованій; третьему: „слышали, батюшка, что консерваторы-то наши затѣяли — ужасъ! а впрочемъ въ субботу поговоримъ!“

Какимъ образомъ весь этотъ разнокалиберный матеріалъ одновременно въ немъ умѣщается — этого я объяснить не могу. Но знаю, что, въ сущности, онѣ замѣчательно добръ, такъ что стѣитъ только пять минутъ поговорить съ нимъ, какъ онѣ уже восклицаетъ: „вотъ мы и объяснились!“ Даже въ томъ его убѣдить можно, что ничего нѣтъ удивительнаго, что его не призываютъ. Онѣ выслушаетъ, скажетъ: „тѣмъ хуже для Россіи!“ — и успокоится.

Такихъ Лжедимитріевъ нынче, милая тетенька, очень много. Слоняются, посылные тушинцы, вторгаются въ чужія квартиры, останавливаютъ прохожихъ на улицахъ, и хвастаютъ, хвастаютъ безъ конца. Одинъ — табличку умноженія знаетъ; другой утверждаетъ, что Россія — шестая часть свѣта, а третій безъ запинки разрѣшаетъ задачу: „летѣло стадо гусей“. Все это — правдъ на признательность отечества; но когда наступитъ время для признанія этихъ правъ удовлетворительными, чтобы стоять у кормила — этого я сказать не могу. Можетъ быть и скоро.

Меня Грызуновъ долгое время любилъ; потомъ сталъ не любить и называть „краснымъ“; потомъ опять полюбилъ. Въ какомъ положеніи находятся его чувства ко мнѣ въ настоящую минуту — я опредѣлить не могу, но когда мы встрѣчаемся, то происходитъ нѣчто странное. Онѣ смотритъ на меня несомнѣнно-добрыми глазами, улыбается... и молчитъ. Я тоже молчу. Это значитъ, что мы понимаемъ другъ друга. Но всякая наша встрѣча непременно кончается тѣмъ, что онѣ скажетъ:

— А что же субботы... забылъ?

А какъ-то на дняхъ даже прибавилъ:



— Вѣдь надо же, наконецъ! Надо, чтобъ благомыслящіе люди всѣхъ отѣнковъ сговорились между собой! Потому что, въ сущности, насъ раздѣляютъ только недоразумѣнія, и стоитъ откровенно объясниться, чтобы разногласія упали сами собой. Такъ до субботы... да?

Вотъ я въ прошлую субботу и отправился.

Когда я пріѣхалъ, всѣ уже собрались въ столовой вокругъ большого стола, за которымъ любезная хозяйка разливала чай. Однакожъ, хотя я и прежде замѣчалъ въ обстановкѣ и составѣ Грызуновскихъ раутовъ нѣкоторыя неожиданности, но теперь эти неожиданности уже прямо приняли характеръ какихъ-то ловушекъ, которыхъ никакимъ образомъ предусмотрѣть нельзя.

Прежде всего меня поразило то, что подлѣ хозяйки дома сидѣла „Дама изъ Амстердама“, необычайныхъ размѣровъ особа, которая днемъ даетъ представленія въ Пассажѣ, а по вечерамъ показываетъ себя въ частныхъ домахъ: возьметъ чашку съ чаемъ, поставитъ себѣ на грудь и, не проливши ни капли, выпьетъ. Грызуновъ отрекомендовалъ меня ей и шепнулъ мнѣ на ухо, что она приглашена для „оживленія общества“. Затѣмъ, не успѣвъ я пожать руки гостепріимнымъ хозяевамъ, какъ вдругъ... слышу голосъ Ноздрева!!

— Любовь къ отечеству, — вѣщаетъ этотъ голосъ: — это такое святое чувство, которое могутъ понимать и воздѣлывать только возвышенныя сердца!

Всматриваюсь: дѣйствительно — „онъ“! Во фракѣ, въ бѣломъ галстухѣ и такъ благороденъ, что еслибы не сидѣлъ за столомъ, то можно было бы принять его за официанта. Изрекаетъ обязательные афоризмы и даже сознаетъ себя вправѣ изрекать таковыя, потому что успѣхъ „Помой“ растетъ не по днямъ, а по часамъ. Рядомъ съ нимъ сидитъ и почтительно вздрагиваетъ плечами бывшій начальникъ штаба эіопскихъ войскъ, юрконькій чловѣчекъ, который хотя и былъ побѣжденъ египетскимъ полководцемъ Радамесомъ (изъ „Аиды“), но всѣмъ рассказываетъ, что „только наступившая ночь помогла Радамесу спастись въ постыдномъ бѣгствѣ“. Нѣсколько поодаль расположился Расплюевъ, который не сводитъ съ Ноздрева глазъ и очевидно завидуетъ его спокойному величію.

Да и самъ Грызуновъ почти не отходитъ отъ Ноздрева, такъ что я начинаю подозрѣвать, ужъ не онъ ли скрывается подъ псевдонимомъ „Не вѣрьте мнѣ“, подписаннымъ подъ блестящими экономическими статьями, украшающими „Помой“. По крайней мѣрѣ, не успѣвъ я порядкомъ осмотрѣться, какъ Грызуновъ отвелъ меня въ сторону и шепнулъ на ухо:

— Ноздревъ нынче — сила! да-съ, батюшка, сила! И надо съ этой силой считаться! Да-съ, считаться-съ.

Наконецъ и я кой-какъ примостился между собесѣдниками, и приготовился быть свидѣтелемъ прохожденія раута.

Разумѣется, я не буду описывать всѣ подробности раута, но думаю, что краткій рассказъ будетъ для васъ не безынтересенъ. Героемъ являлся Ноздревъ, который все время, пока мы сидѣли за чаемъ, удерживалъ за собой первенствующее значеніе. Онъ говорилъ непрерывно и притомъ о самыхъ разнообразныхъ предметахъ. И о томъ, что „недугъ залегъ глубоко“, и о томъ, что редакція „Помой“ твердо рѣшилась держать въ рукахъ свое знамя,

и о томъ, что прежде всего необходимо окунуться въ волны народнаго духа и затѣмъ предпринять крещеніе огнемъ и мечемъ.

Высказавши это послѣднее предположеніе, онъ на минуту стыдливо умолкъ, но, видя, что Расплюевъ еще чего-то отъ него ждетъ, прибавилъ:

— А потомъ будемъ врачевать!

Этотъ выводъ всѣхъ присутствующихъ утѣшилъ, убѣдивши, что Ноздревъ обдумалъ свою программу основательно, и стало быть положиться на него можно. Что касается до Грызунова, то онъ положительно млѣлъ отъ восхищенія. Все время онъ шнырялъ около стола и вторилъ Ноздреву, восклицая:

— Еще бы! это именно моя мысль! Совершенно, совершенно справедливо!

И затѣмъ, подбѣгая ко мнѣ, шепталъ:

— Да-съ, батюшка, это—сила! Какъ тамъ ни толкуй, что у Ноздрева одна бакенбарда жиже другой, а считаться съ нимъ все-таки надо... да-съ!

Словомъ сказать, Ноздревъ былъ истиннымъ героемъ раута. Даже тогда, когда гости наконецъ оставили столовую и разсѣялись по другимъ комнатамъ — и тутъ компактная кучка постоянно окружала Ноздрева, который объяснялъ свои виды по всѣмъ отраслямъ политики, какъ внутренней, такъ и внѣшней. И замѣтите, милая тетенька, что въ числѣ слушателей, внимавшихъ этому новому оракулу, было значительное число травленныхъ администраторовъ, которые въ свое время негодовали и приносили жалобы на вмѣшательство печати, а теперь, глядя на Ноздрева, приходили отъ нея въ восхищеніе и вмѣстѣ съ редакторомъ „Помой“ требовали для слова самой широкой свободы.

— Уничтожьте цензуру, — ораторствовалъ Ноздревъ: — и вы увидите, что дурныя страсти, проникнувшія въ нашу литературу, разсѣются сами собою. Мы, благонамѣренная печать, беремся за это дѣло и ручаемся за успѣхъ. Но само собою разумѣется, что при этомъ необходимы соотвѣтствующіе карательные законы, которые сдѣлали бы наши усилія плодотворными...

А Грызуновъ, слушая эти рѣчи, снова бѣгалъ и восклицалъ:

— Еще бы! Это именно и моя мысль! Именно это самое я всегда говорилъ!

И, обращаясь ко мнѣ, прибавлялъ:

— Удивительно, какъ быстро растутъ люди въ наше время! Ну, что такое былъ Ноздревъ, когда Гоголь познакомилъ насъ съ нимъ, и посмотри, какъ онъ... вдругъ выросъ!!

Тѣмъ не менѣе, Грызуновъ понималъ, что восхищаться цѣлый вечеръ Ноздревымъ да Ноздревымъ — хоть кого утомитъ. Поэтому онъ рѣшился устроить для гостей дивертисементъ, который впрочемъ былъ имъ обдуманъ уже заранѣе.

Прежде всего къ содѣйствію была призвана „Дама изъ Амстердама“, показывавшая себя съ успѣхомъ при всѣхъ европейскихъ дворахъ и прозванная за свою тучность: „царь-пушкой“.

— Господа! — выкрикивалъ Грызуновъ, переходя изъ комнаты въ комнату: — Анна Ивановна Эйдерзее благосклонно изъявила согласіе показать опыты „непосредственнаго самопитанія“. Не угодно ли въ залъ? Надѣюсь,



что вы ничего не имѣете противъ этого? — добавилъ онъ, обращаясь къ Ноздреву.

Гости высыпали въ залъ. На середину комнаты вывели Анну Ивановну и на груди у нея утвердили блюдо съ ростбифомъ въ одиннадцать костей. Затѣмъ она начала кивать головой; кивала-кивала — и черезъ пять минутъ не только мякоти, но и костей на блюдѣ не осталось. Публика въ волненіи все больше и больше сѣживала кругъ и наконецъ вплотную обступила ее. Кто-то спросилъ, неужто она замужемъ, и, получивъ отвѣтъ, что замужемъ за слономъ, находящимся въ Зоологическомъ саду г-жи Ростъ, молвилъ: „ого!“ Кто-то другой громко соображалъ, чтò можетъ стоить ея содержаніе, если она стѣдаетъ, положимъ, хоть десять ростбифовъ въ день? а третій сверхъ того напоминалъ: „нѣтъ, вы сосчитайте, сколько ей аршинъ матеріи на платье нужно!“ А она между тѣмъ, ликующая и довольная, пыхтѣла и отдувалась. Но, казалось, все еще настоящимъ образомъ сыта не была, ибо съ такою строгостью посматрѣла на маленькаго сенатора изъ стараго сената, который елишкомъ неосторожно къ ней подскочилъ, что бѣдняга струсиль и поскорѣй юркнулъ въ толпу.

Но тутъ, милая тетенька, случился скандалъ. У одного сенатора — тоже изъ стараго сената — исчезъ изъ кармана носовой платокъ, и такъ какъ содержаніе старичку присвоено небольшое, то онъ началъ жаловаться. Началь язвить, что хоть у него дома платковъ и много, но изъ этого не явствуетъ, чтобъ дозвоительно было воровать; что платокъ есть собственность, которую потрясать не менѣе предосудительно, какъ и всякую другую; что онъ и прежде не разъ закаивался ѣздить на вечера съ фокусниками, а впредь ужъ, конечно, его на эту удочку не поймаютъ; что, наконецъ, онъ въ эту самую минуту чувствуетъ потребность высморкаться и т. д. Произошло общее смятеніе; Грызунову слѣдовало бы сейчасъ же удовлетворить сердитаго старика новымъ платкомъ, а онъ вмѣсто того предпринялъ слѣдствіе: сталъ подходить къ гостямъ, засматривать имъ въ глаза, какъ бы спрашивая: не ты ли стибрилъ? Наконецъ взоръ его остановился на Ноздревѣ и Расплюевѣ. Оба отдѣлились отъ прочихъ гостей и оживленно между собой перешептывались, какъ будто дѣлили добычу. Тогда все и для всѣхъ сразу сдѣлалось яснымъ... Но хозяйинъ, чтобы не потрясти Ноздревского авторитета, кончилъ тѣмъ, съ чего долженъ былъ начать, т. е. велѣлъ подать потерявшей сторонѣ свой собственный платокъ. А такъ какъ при этомъ одинъ изъ присутствующихъ пожертвовалъ еще старую пуговицу, то добрый старикъ былъ съ лихвою вознагражденъ. Недоразумѣніе прекратилось, и Грызуновъ, чтобы успокоить гостей, ходилъ между ними и объяснялъ:

— Чтò будете дѣлать... это болѣзнь! И все-таки повторяю: Ноздревъ — сила!

Такимъ образомъ Ноздревъ вышелъ изъ этого казуса съ честью.

Когда волненіе улеглось, Грызуновъ приступилъ къ молодому поэту Мижуеву (племянникъ Ноздрева) съ просьбой прочесть его новое, нигдѣ еще не напечатанное стихотвореніе. Поэтъ съ минуту отпрашивался, но послѣ нѣкоторыхъ настояній выступилъ на то самое мѣсто, гдѣ еще такъ недавно стояла „Дама изъ Амстердама“, откинулъ кудри и твердымъ голосомъ произнесъ:

Подъ вечеръ осени ненастной  
Она въ пустынныхъ шла мѣстахъ  
И тайный плодъ любви несчастной  
Держала въ трепетныхъ рукахъ...

Но тутъ опять произошелъ скандалъ, потому что едва успѣлъ поэтъ продекламировать сейчасъ приведенные стихи, какъ кто-то въ толпѣ крикнулъ:

— Грабятъ!

А на возгласъ этотъ въ другомъ углу другой голосъ взволнованно отзывался:

— Помилуйте! да тутъ пожалуй сапоги снимутъ!

Оказалось однакожъ, что это было смятеніе чисто библиографическаго свойства. Между гостями какимъ-то образомъ затесался старый библиографъ, который угадалъ, что стихотвореніе, выдаваемое Мижуевымъ за свое, принадлежитъ къ числу лицейскихъ опытовъ Пушкина, и, будучи подъ живымъ впечатлѣніемъ Ноздревскихъ статей о потрясеніи основъ, поспѣшилъ объ этомъ заявить. А такъ какъ библиографъ еще въ юности написалъ объ этомъ стихотвореніи рефератъ, который постоянно носилъ съ собою, то онъ тутъ же вынулъ его изъ кармана и прочиталъ. Рефератомъ этимъ было на неизбѣмыхъ основаніяхъ установлено: 1) что стихотвореніе „Подъ вечеръ осенью ненастной“ несомнѣнно принадлежитъ Пушкину; 2) что въ первоначальной редакціи первый стихъ читался такъ: „Подъ вечерокъ весны ненастной“, но потомъ, уже по зачеркнутому, состоялась новая редакція; 3) что написано это стихотвореніе въ неизвѣстномъ часу, неизвѣстнаго числа, неизвѣстнаго года и даже неизвѣстно гдѣ, хотя новѣйшія библиографическія изслѣдованія и позволяютъ думать, что мѣстомъ написанія былъ лицей; 4) что въ первый разъ оно напечатано неизвѣстно когда и неизвѣстно гдѣ, но потомъ постоянно перепечатывалось; 5) что на подлинномъ листѣ, на которомъ стихотвореніе было написано (за сообщеніе этого свѣдѣнія приносимъ нашу искреннѣйшую благодарность покойному библиографу Геннади), сбоку красовался чернильный кляксъ, а внизу поэтъ собственноручно нарисовалъ перомъ дѣвицу, у которой въ рукахъ ребенокъ и которая повидимому уже беременна другимъ; и наконецъ 6) что нѣтъ занятія болѣе полезнаго для здоровья, какъ библиографія.

Когда все это было непрерываемымъ образомъ доказано и подтверждено, приступили съ вопросомъ къ Ноздреву (онъ привезъ Мижуева къ Грызуновымъ), на какомъ основаніи онъ дозволилъ себѣ ввести въ порядочный домъ завѣдомаго грабителя? А при этомъ намекнули и на пропавшій платокъ. На что Ноздревъ объяснилъ, что поступокъ Мижуева объясняется не воровствомъ, а начитанностью: что нынѣшняя молодежь слишкомъ много читаетъ, и потому нѣтъ ничего удивительнаго, ежели по временамъ происходятъ совпаденія. Что же касается до обвиненія его лично въ кражѣ платка, то платокъ этотъ, дѣйствительно, у него въ карманѣ, по какимъ путемъ онъ туда попалъ — этого онъ не вѣдаетъ, потому что былъ въ то время въ безпамятствѣ. „Впрочемъ — прибавилъ онъ, — платокъ такой, что не стоитъ объ немъ разговаривать“.



И въ удостовѣреніе вынулъ платокъ изъ кармана и показалъ; и всѣ убѣдились, что дѣйствительно не стоило объ такомъ платкѣ говорить.

Такимъ образомъ Ноздревъ и во второй разъ вышелъ изъ затрудненія съ честью.

Однакожъ положеніе Грызунова было очень щекотливое. Еще одинъ или два такихъ казуса — и репутація Ноздрева неизбѣжно должна пошатнуться. Издатель-редакторъ „Помой“ находился въ положеніи того вора, котораго, несмотря на несомнѣнныя улики, присяжные оправдали и которому судья сказалъ: „Подсудимый! вы свободны; но знайте, что вы все-таки воръ и что присяжные не всегда будутъ расположены оправдывать васъ. Идите и старайтесь впередъ не воровать“. Поэтому хотя въ программѣ раута стояли „Разказы изъ народнаго быта“, но Грызуновъ, сообразивши, что литературѣ въ его домѣ не везетъ (пожалуй опять кто-нибудь закричитъ: караулъ!) рѣшился пропустить этотъ номеръ. Не зная, чѣмъ наполнить конецъ вечера (было только половина двѣнадцатаго, а ужина у Грызуновыхъ не полагалось), онъ съ тоской обводилъ глазами присутствующихъ, какъ бы вызывая охотниковъ на состязаніе. Какъ вдругъ его взоръ упалъ на „свѣдущаго человѣка“, и блестящая мысль мгновенно созрѣла въ его головѣ.

— Мартынъ Ивановичъ! васъ-то намъ и надо! — воскликнулъ онъ въ восхищеніи и, подводя новаго корифея къ Ноздреву, рекомендовалъ: — Мартынъ Ивановичъ Задека! на всѣ вопросы имѣетъ приличные отвѣты! Скатайте изъ хлѣба шарикъ, киньте на удачу, и на какой номеръ попадетъ — вездѣ выйдетъ исполненіе желаній.

— „Свѣдущій человѣкъ“? — благосклонно переспросилъ Ноздревъ и, вынувъ изъ кармана табакерку, хотѣлъ-было нюхнуть табачку, какъ одинъ изъ близъ-стоящихъ сенаторовъ, безъ церемоній взявъ у него табакерку изъ рукъ, сказалъ:

— Прежде нежели присвоивать себѣ чужую табакерку...

Но Ноздревъ не далъ ему докончить и вновь вышелъ съ честью изъ затрудненія, отвѣтивъ:

— Чтожъ, если табакерка принадлежитъ вамъ, то возьмите ее!

Задека между тѣмъ объяснилъ присутствующимъ, что онъ, дѣйствительно, можетъ отвѣчать на всѣ вопросы, но преимущественно по питейной части.

— Вѣрно... тово? — пошутилъ Ноздревъ, щелкнувъ себя по галстуху.

— Было-таки, — скромно отвѣтилъ Задека.

— И дозволите испытать ваши познанія?

— Хоть сейчасъ.

Тогда произошло нѣчто изумительное. Во-первыхъ, Ноздревъ бросилъ въ свѣдущаго человѣка хлѣбнымъ шарикомъ и попалъ на № 24. Вышло: „Кто пьетъ вино съ разсужденіемъ, тотъ можетъ потреблять оное не только безъ ущерба для собственнаго здоровья, но и съ пользою для казны“. Во-вторыхъ, по инициативѣ Ноздрева же, Мартыну Задекѣ на-крѣпко завязали глаза, потомъ налили двадцать рюмокъ разныхъ сортовъ водокъ и поставили передъ нимъ. По командѣ „пей!“ — онъ выпивалъ одну рюмку за другой и по мѣрѣ выпиванія выкликалъ:

— Полынная! завода Штритера! оптовой складъ тамъ-то!

— Столовое очищенное вино! завода Зызыкина въ Каминѣ! Оптовой складъ въ Москвѣ!

— Зорная! завода Дюшарю! и т. д.

И ни разу не ошибся, а зорной даже попросилъ повторить.

Но этимъ не удовольствовались. Чтобы окончательно убѣдиться въ правахъ Задеки на званіе „свѣдущаго человѣка“, налили въ стаканъ понемногу (но не по ровну) каждой изъ двадцати водокъ и заставили его выпить эту смѣсь. Выпивши, онъ обязывался опредѣлить, сколько въ предложенной смѣси находится процентовъ каждаго сорта водки. И опредѣлилъ.

Тогда между присутствующими поднялся настоящій вой. Рукоплескали, стучали ногами, обнимали другъ друга, поздравляли съ „обновленіемъ“, кричали, что Россія не погибнетъ, а кто-то даже запѣлъ: „Коль славенъ“... Одинъ Ноздревъ былъ какъ будто смущенъ: очевидно, онъ не ожидалъ, что явится новый Янъ Усмовичъ, который перейметъ у него славу...

Я же, признаюсь, стоялъ въ сторонѣ и думалъ, какъ бы хорошо было, еслибъ въ эту минуту Грызуновъ возгласилъ: господа! не угодно ли закутить?

Но этого не случилось. Напротивъ, лампы стали меркнуть, меркнуть и вдругъ потухли. Гости въ смятеніи ринулись въ переднюю, придерживая руками карманы...

Я знаю, вы скажете, что я впадаю въ карикатуру. Ахъ, тетенька, да оглянитесь же кругомъ! Лжедимитріевъ, что-ли нѣтъ? Ноздревыхъ мало? Задекъ?

А сверхъ того, чтожъ такое, если и карикатура? Каррикатура такъ каррикатура — большая бѣда! Не все же стоять, уставившись лбомъ въ стѣну; надо когда-нибудь и улыбнуться. Есть въ человѣческомъ сердцѣ эта потребность улыбки, есть. Даже измученный и ошеломленный человѣкъ — и тотъ ощущаетъ ее.

Улыбнитесь, голубушка!

Р. С. Конечно, вы ужъ знаете, что бабенка Варвара Петровна скончалась. Сегодня утромъ происходили ея похороны, на которыхъ присутствовали и я.

Хоронили пышно, какъ подобаетъ боярынь, которая съ Аракчеевымъ манимаску танцевала.

Изъ дома гробъ везли подъ балдахиномъ, на траурной колесницѣ, влекомой цугомъ въ шесть лошадей. Впереди шло попарно шесть протопоновъ, столько же дьяконовъ и два хора пѣвчихъ. За гробомъ, впереди всѣхъ, слѣдовалъ Стрекоза, совсѣмъ разстроенный; по бокамъ у него неизвѣстно откуда вынырнули Удавъ и Дыба, которые, какъ теперь оказалось, были произведены Аракчеевымъ изъ кантонистовъ въ первый классный чинъ, и вслѣдствіе этого очень уважали покойную бабенку, но при жизни къ ней не ходили,



потому что она по привычкѣ продолжала называть ихъ кантонистами. Нѣсколько поодаль шли родственники съ дядей Григоріемъ Семенычемъ во главѣ. Тутъ была и „Индюшка“ съ своими индейцами, и оба надворныхъ совѣтника, и безчисленное множество кадетъ, и извѣстный вамъ отставной фельдъегерь Петръ Поселенцевъ. Послѣдній неутѣшно плакалъ. Представьте себѣ: свою маленькую новгородскую усадьбу бабенка завѣщала продать и проценты съ капитала употребить на чествованіе памяти Аракчеева въ день его рожденія, а Петрушѣ отказала всего тысячу рублей. Но видѣть фельдъегерскія слезы — не дай Богъ никому.

Кромѣ упомянутыхъ лицъ, былъ на похоронахъ еще „свѣдущій челоувѣкъ“, потому что нынче ни крестинъ, ни свадебъ, ни похоронъ (на похороны ихъ поставляютъ сами гробовщики) безъ нихъ справлять не дозволяется. А вверху, надъ шедшей за гробомъ процессіей, невидимо рѣялъ „командированный чинъ“, наблюдавшій за направленіемъ умовъ.

Хотѣли-было погребсти бабенку въ Грузинѣ, но сообразили, что изъ этого можетъ выйти революція, и потому вынуждены были отказаться отъ этого предположенія. Окончательнымъ мѣстомъ успокоенія было избрано кладбище при Новодѣвичьемъ монастырѣ. Мѣсто уединенное, тихое и могила — въ углу. Хорошо ей тамъ будетъ, покойно, хотя, конечно, не такъ удобно, какъ въ квартирѣ, въ Офицерской, гдѣ все было подъ руками: и Литовскій рынокъ, и Литовскій замокъ, и живорыбный садокъ, и Демидовъ садъ.

— Маменька, маменька! ничего вамъ больше не потребуется! — уныло вылъ Поселенцевъ, въ первый разъ осмѣливаясь публично назвать бабенку маменькой.

Отпѣли обѣдню, вынесли гробъ, поставили его съ краю зіяющаго четырехугольника и послѣ литіи опустили въ могилу. И не прошло десяти минутъ, какъ могила была окончательно задѣлана и передъ нашими глазами уже возвышался невысокій холмъ, на одной изъ оконечностей котораго плотникъ проворно водружалъ временный деревянный крестъ. Стрекоза, покачиваясь, словно въ забытіи, непрерывно кивалъ всѣмъ корпусомъ, касаясь рукою земли; Дыба и Удавъ что-то говорили о „предѣлѣ“, о томъ, что земная жизнь есть только вступленіе, а настоящая жизнь начнется — *тамъ*; это же подтвердилъ и одинъ изъ діаконовъ, сказавъ, что какъ ни мудри, а *мимо* не проскочишь. Изъ родственниковъ молодые съ любопытствомъ слѣдили за работой землекоповъ, каменщиковъ и плотника, старшіе же думали: „кто же однако за бабенкину квартиру остальные три года, до окончанія контрактнаго срока, платить будетъ?“ Петръ Поселенцевъ, выплакавъ всѣ слезы, обратился къ могилѣ и, къ великому огорченію присутствующихъ, воскликнулъ:

— Тысячу рублей... на всю жизнь... вотъ такъ удружила!!

По окончаніи похоронъ, дядя Григорій Семенычъ пригласилъ какъ духовенство, такъ и прочихъ ассистентовъ въ ближайшую кухмистерскую на поминальный обѣдъ.

Закуска прошла довольно вяло. Стрекоза продолжалъ качаться изъ стороны въ сторону, бормоча себѣ подъ носъ: „вотъ оно... заключеніе! ну, и чтожъ! ну, и извольте!“ Очевидно, онъ разговаривалъ съ бабенкой, кото-

рая приглашала его *туда*, а ему „туда“ совсѣмъ не хотѣлось, хотя по обстоятельствамъ и предстояло поспѣшать. Удавъ и Дыба начали-было рассказъ о томъ, какіе въ грузинскихъ прудахъ караси водились — вотъ такіе! — но, убѣдившись, что карасями современнаго челоѣка даже на похоронахъ не проберешь, смолкли. „Индюшка“ разсматривала на свѣтѣ балыкъ и спрашивала у хозяина кухмистерской, гдѣ и почѣмъ онъ его покупалъ; кадеты и прочая молодежь толпились около закусочнаго стола и молча гремѣли вилками; дядя Григорій Семенычъ глазами торопиль офиціантовъ, чтобъ подавали скорѣе. Чтѣ же касается до Поселенцева, то онъ разомъ, одну за другой, выпилъ шесть рюмокъ рижскаго балъзама, и въ одинъ моментъ до того ополоумѣлъ, что его вынуждены были увести. Собственно объ бабенкѣ сказаль нѣсколько словъ изъ приличія (а можетъ быть и потому, что этого требоваль церемоніаль) старшій отецъ протопопъ, а діаконъ при этомъ пропѣли вѣчную память, и затѣмъ ими ея точно въ воду кануло.

За обѣдомъ однакожь дѣло пошло живѣе. Завязалась бесѣда, въ основаніе которой, какъ и слѣдовало ожидать, легла внутренняя политика.

Да, милая тетенька, даже въ виду только-что остывшаго праха эта язва преслѣдуетъ насъ! До того преслѣдуетъ, что не будь ея — я не знаю даже, чтѣ бы мы дѣлали и объ чемъ бы думали! Вѣроятно сидѣли бы другъ противъ друга и молча стучали бы зубами...

Первый толчокъ далъ одинъ изъ батюшекъ, сказавъ, что „нынѣ настали времена покаянныя“, на чтѣ другой батюшка отозвался, что давно очнуться пора, потому что „всѣ революціи, и древнія, и новыя, оттого происходили, что правительства на вольныя мысли съвозъ пальцы смотрѣли“.

— Сперва одна мысль благополучно пройдетъ, — соболѣзноваль батюшка: — потомъ другая, а за ней, смотришь, сто, тысяча... миллионъ!

Этотъ же тезисъ, но гораздо полнѣе, развилъ и надворный совѣтникъ Сеничка, но тутъ же впрочемъ успокоилъ присутствующихъ, сказавъ, что хотя до сихъ поръ такъ было, но впредь ужъ не будетъ.

— Было у насъ этихъ опытовъ! довольно было! — воскликнулъ онъ: — были и „вѣянья“! были и цѣлыя либеральныя вакханаліи! и даже диктатура сердца была! Только теперь ужъ больше не будетъ! Аттанде-съ. Съ „вѣяніями“ — то придется повременить... да-съ!

— Только повременить, а не то, быть можетъ, и совсѣмъ оставить? — полюбопытствовалъ третій батюшка.

— Ну, тамъ оставить или повременить — это видно будетъ. А только что ежели господа либералы еще продолжаютъ питать надежды, то они глупо ошибутся въ расчетахъ!

Сеничка высказаль это такъ увѣренно, что діаконъ слушаль-слушаль, да и ободрись.

— А мы было-пріуныли! — отозвался старшій діаконъ за себя и за прочихъ діаконовъ. — Видимъ дѣйствія несодѣянная, слышимъ словеса неизглаголанная, думаемъ: доколѣ, Господи! Ань, стало быть, и съ концомъ поздравить можно?

Начались рассказы изъ современнаго народнаго быта, причемъ рассказиками являлись по преимуществу духовные. „Бду я намердись по кон-



кѣ“, „Иду я намеренъ по Гороховой“, „Стоимъ мы намеренъ съ отцомъ Петромъ на наперти“ и т. д. И въ концѣ — непремѣнно кляуза. Словомъ сказать, такъ оживился нашъ поминальный кружокъ, что даже причетники, которымъ былъ сервированъ столъ (попроще) въ сосѣдней комнатѣ, безпрестанно выбѣгали оттуда въ нашъ залъ съ величайшею охотой свидѣтельствовать. Однакожъ Сеничка не рѣшался отбирать показанія въ кухмистерской, но очень ловко намекнулъ, что ежедневно, отъ такого-то до такого-то часа, онъ бываетъ у себя въ камерѣ.

Шла впрочемъ рѣчь и объ „отрадныхъ“ явленіяхъ, и въ томъ числѣ, конечно, о Ноздревѣ.

— Какой былъ гнилой сосудъ! — дивился четвертый батюшка: — а вотъ упалъ на него лучъ, и какія вдругъ кристалльныя струи изъ этакого, съ позволенія сказать, вмѣстилища потекли!

Дядя Григорій Семенычъ сидѣлъ и корчился. Неоднократно онъ порывался переменить разговоръ, но это положительно не удавалось, потому что всѣ головы были законопачены охранительнымъ хламомъ, да и у него самого мыслительный источникъ словно изсякъ. Наконецъ онъ махнулъ рукой, шепнувъ мнѣ:

— Пошла въ ходъ управа благочинія! Нѣтъ въ мысляхъ благородства, да и все тутъ! Хотъ бы досидѣть какъ-нибудь!

Среди оживленій проснувшейся ябеды совсѣмъ забыли о „свѣдущемъ человѣкѣ“, который притулился между кадетами и повидимому настолько превратно проводилъ время, что даже забылъ, что ему рано или поздно придется отвѣчать.

Наконецъ этотъ моментъ наступилъ. Діаконъ вспомнилъ, что въ числѣ похоронныхъ принадлежностей чего-то недостаетъ, стали искать и, конечно, отыскали.

Однакожъ на этотъ разъ „свѣдущій человѣкъ“ оказался скромнымъ. Это былъ тотъ самый Иванъ Непомнящій, котораго — помните? — нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ нашли въ сѣнномъ стогу, осмотрѣли и пустили на всѣ четыре стороны, сказавъ: „иди и отвѣчай на вопросы!“ Натурально, онъ еще не утратилъ первобытной робости, и потому не могъ такъ всесторонне лгать, какъ его собратъ, Мартынъ Задека.

И дѣйствительно, когда діаконъ приступили къ нему съ вопросомъ, скоро ли будетъ конецъ внутренней политики, то онъ твердо отвѣтилъ, что политика до свѣдущихъ людей не относится.

— Вотъ ежели бы куры внезапно перестали нести яйца, — сказалъ онъ: — и потребовалось бы опредѣлить, въ чемъ настоящая причина заключается — тутъ свѣдущій человѣкъ можетъ прямо сказать: оттого, что ихъ рѣдко щупаютъ!

Сначала отвѣтъ этотъ произвелъ нѣкоторое недоразумѣніе, но такъ какъ въ эту самую минуту Стрекоза, словно въ забытіи, прокричалъ: „всякъ сверчокъ знай свой шестокъ!“ — то всѣ сейчасъ же поняли и удовлетворились.

— Но неужто-жъ вы только по вопросу о курахъ и чувствуете себя призваннымъ дать отвѣтъ? — спросилъ однакожъ дядя, который былъ очень

доволенъ, что наконецъ представился случай завести „партикулярный“ разговоръ.

— Нѣтъ, я могу отвѣчать и на нѣкоторые другіе вопросы, не очень впрочемъ трудные, но собственно „свѣдущимъ человѣкомъ“ я числюсь по вопросу о болѣзняхъ. Съ юныхъ лѣтъ я былъ одержимъ всевозможными недугами, и наследственными, и благопріобрѣтенными; а такъ какъ въ ближайшемъ будущемъ долженъ быть рассмотрѣнъ вопросъ о преобразованіи Калинкинской больницы, то я и жду своей очереди.

Тогда мы начали предлагать ему вопросы— онъ же скромно, но отчетливо и съ полнымъ знаніемъ дѣла давалъ на эти вопросы отвѣты.

Ахъ, тетенька! Какими только недугами этотъ человѣкъ ни былъ одержимъ въ теченіе своей многоятежной жизни! И замѣтите, все недугами не русскими и даже не европейскими, а завезенными изъ Новаго Свѣта: перувианскими, бразильскими, парагвайскими!

И какую пользу онъ долженъ принести при рассмотрѣніи вопроса о преобразованіи Калинкинской больницы!

Онъ—по этому вопросу, другой—по другому, третій—по третьему. А то, сказываютъ, прибылъ изъ губерніи еще „свѣдущій человѣкъ“, который разъ десять былъ изувѣченъ при переѣздахъ по желѣзнымъ дорогамъ—такъ тотъ по желѣзнодорожному вопросу будетъ пользу приносить...

Такъ оно и пойдетъ чередомъ.

Обмѣниваясь мыслями, мы и не замѣтили, какъ насъ застигъ вечеръ. А бабенкина тѣнь невидимо рѣяла надъ нами, какъ бы говоря: дорожите „свѣдущими людьми“! ибо это единственный веселый оазисъ на уныломъ фонѣ вашей жизни, которая все болѣе и болѣе выказываетъ наклонность отождествиться съ управой благочинія!

## Письмо тринадцатое.

Милая тетенька.

Дядя Григорій Семенычъ правду сказалъ: совсѣмъ благородныя мысли изъ употребленія вышли. И очень возможно, что именно въ этой утратѣ вкуса къ благородному мышленію и заключается объясненіе того тоскливаго чувства, которое тяготѣетъ надъ переживаемою нами современностью.

Благородныя мысли, благородныя чувства (ихъ называютъ также „вышненными“) нерѣдко представляются незрѣлыми и даже смѣшными; но это происходитъ оттого, что по временамъ они облакаются въ нелѣпую и напыщенную форму, которая до извѣстной степени заслоняетъ ихъ сущность. Въ большинствѣ случаевъ къ напыщенности прибѣгаютъ люди совсѣмъ не причастные высокимъ мыслямъ и чувствамъ, а именно: шпионы, кровосмѣсители, казнокрады и другіе злокачественные вередѣ общественнаго организма. Не имѣя ничего за душой, кромѣ праха, они вынуждаются маскировать этотъ



прахъ громкими фразами. Казнокрадъ закатываетъ глаза, говоря о святости собственности; кровосмѣситель старается пламенѣть, утверждая, что семейство — святиня; шпионъ рыдаетъ, заявляя о своемъ сочувствіи къ „заблуждающимся, но искренно любящимъ свое отечество молодымъ людямъ“, и т. д. И въ то же время, и тѣ, и другіе, и третьи отыскиваютъ отборнѣйшія выраженія и стараются округлять періоды. Но истинно-возвышенное чувство никакихъ этихъ округлений не знаетъ и выражается просто, трезво, безъ вычуръ. Вотъ это-то именно и надобно различать. То-есть, надо разъ навсегда сказать себѣ, что ежели возвышенное чувство кажется намъ смѣшнымъ, то это совсѣмъ не значить, что оно въ самомъ дѣлѣ смѣшно, а значить только, что въ него лицемѣрно вырядился какой-нибудь негодай, которому необходимо замести свои слѣды.

Въ основѣ благородныхъ чувствъ лежитъ человѣчность, самоотверженность и глубокая снисходительность къ людямъ. Эти свойства, и сами по себѣ очень цѣнныя, приобрѣтаютъ еще болѣе цѣнное значеніе въ томъ смыслѣ, что даютъ жизни богатое и разнообразное содержаніе. Обнимая собой сполна весь циклъ человѣческихъ отношеній, они оживляютъ мысль и дѣятельность не только отдѣльныхъ индивидуумовъ, но и цѣлаго общества. Являются представленія объ общемъ благѣ, объ общечеловѣческой семьѣ, о правѣ на счастье; и чѣмъ больше расширяются границы этихъ представлений, тѣмъ больше находятъ для себя, въ этихъ границахъ, работы человѣческая мысль и дѣятельность. И притомъ работы честной, не отравляющей совѣсти сомнѣніемъ, что въ результатѣ можетъ получиться предательство, частный вредъ или общее бѣдствіе.

Говорятъ, будто бы черезчуръ повышенный діалезонъ мыслей и чувствъ приводитъ къ распылчивости, которая дѣлаетъ ихъ мало примѣнимыми къ дѣйствительности. Между тѣмъ дѣйствительность-то, дескать, именно и нуждается въ просвѣтленіи и освѣженіи, такъ что безъ этой цѣли чувства и мысли самыя благородныя представляютъ только доброкачественную, но безплодную игру. Коли хотите, въ этомъ укорѣ есть капля правды, и капля довольно ядовитаго свойства. Дѣйствительно, вліяніе высокихъ мыслей и чувствъ на жизнь практическую, обыденную до сихъ поръ представляется не особенно рѣшительнымъ... Но отчего же это происходитъ? А оттого, милая тетенька, что дѣйствительность черезчуръ ужъ ревниво оберегается отъ наплыва какихъ бы то ни было просвѣтленій и освѣженій; оттого, что просвѣтленія признаются вредными и вносящими въ жизнь извѣстные осложненія, которыя полагаютъ препятствія къ слишкомъ безцеремонному обращенію съ ней (а это-то послѣднее и составляетъ цѣль всѣхъ вождельній). Или, говоря другими словами, оттого, что между мыслью и дѣйствительностью воздвигается искусственная перегородка, которая дѣлаетъ послѣднюю непроницаемою для первой. Понятно, что при подобныхъ условіяхъ работа мысли фатальнымъ образомъ осуждается на игру.

Однакожь чаще всего игра переходитъ въ страданіе, и тогда вопросъ сразу переносится совсѣмъ на другую почву. Не легко переносить эту ого-рванность отъ почвы, которую такъ легкомысленно ставятъ въ укоръ возвышенной мысли; не легко предаваться благородной игрѣ, которая затрогиваетъ

все внутреннее существо человека, и сознавать, что идеалы человечности, самоотверженности и любви надолго осуждены оставаться только игрою. Тяжелая это игра, и нужно быть изрядным мудрецом, чтобы пребывать безразличным среди неосмысленного уличного празднословия, которое так охотно идет съ дреколемъ на встрѣчу мысли, возвышающейся надъ уровнемъ толпы. Да и съ однимъ ли уличнымъ празднословіемъ приходится считаться возвышенной мысли? — о, еслибъ только съ однимъ! тогда дѣло мысли было бы выиграно, потому что улица, какъ живой организмъ, все-таки имѣетъ способность размягчаться и развиваться. Но кромѣ улицы вѣдь есть Дыба, есть Удавь, которые дѣлѣютъ встрѣчные идеалы, установившіеся и окрѣпшіе, которые заковали въ охранѣ этихъ встрѣчныхъ идеаловъ и во имя ихъ насущной практичности мѣрно поднимаютъ и опускаютъ молотъ, угрожая расплющить все, что заявляетъ претензію выйти изъ рамокъ обыкновеннаго низменнаго животолобія.

Съ этими идеалами, которые говорятъ: „ходи въ струнѣ и никакихъ требованій, кромѣ физическихъ, не предъявляй!“ — ужасно трудно мириться. Даже Удавь и Дыба, въ сущности, не удовлетворяются ими, а держать ихъ только какъ камень за пазухой, для ушибанія. И у нихъ есть свой „образъ мыслей“, правда, ограниченный и вредный, но въ предѣлахъ его они все-таки могутъ испытывать то чувство удовлетворенности, которое самъ по себѣ доставляетъ мыслительный процессъ. Но они не хотятъ, чтобы другіе мыслили, и этимъ другимъ предоставляютъ лишь сладкій удѣлъ выполнять начертанную программу. Даже права вредно мыслить они не признаютъ (только право совершать физическія отправления — подумайте, какая жестокость, милая тетенька!) — какъ же вы хотите, чтобы они признали право мыслить благородно? Благородно мыслить — вѣдь это значитъ расплываться, значитъ смущать толпу всевозможными несбыточностями, значитъ подрывать, потрясать! И вы думаете, что Удавь и Дыба останутся равнодушными зрителями этихъ оболещеній и потрясеній?

Вотъ съ чѣмъ встрѣчается возвышенная мысль на пути своемъ и что превращаетъ игру въ страданіе, до того реальное, что всякій можетъ вложить этому страданію персты въ язвы. Это исторія очень старая и непрерывно повторяющаяся; но именно эта древность и непрерываемость и доказываютъ, что игра, на которую осуждается возвышенная мысль, совсѣмъ не такъ бесплодна, какъ это кажется съ перваго взгляда. Никогда ликованіе и торжество не дѣлали столько страстныхъ прозелитовъ, сколько дѣлали ихъ угнетенія и преслѣдованія. Не говоря уже о томъ, что возвышенная мысль сама по себѣ обладаетъ изумительною живучестью, преслѣдованіе сообщаетъ ей еще новую и своеобразную силу: силу поученія.

Все, что мы видимъ въ мірѣ добраго, свѣтлаго и прочнаго, весь прогрессъ человѣческаго обществія — все идетъ оттуда, изъ этой расплывающейся, но упорно остающейся вѣрною себѣ мысли; все оплодотворяется ея самоотверженною живучестью. Исторія человечества гласитъ объ этомъ во всеуслышаніе и удостовѣряетъ нагляднымъ образомъ, что не практики, въ родѣ Шешковскаго, Аракчеева и Магницкаго, устрояютъ будущее, а люди иныхъ идеаловъ, люди „расплывающихся“ мыслей и чувствъ. И Шешков-



скій, и Аракчеевъ, и Магницкій (да и одни ли они? мало ли было такихъ „практиковъ“ прежде и послѣ?) достаточно-таки поревновали на пользу кандаловъ, но, несмотря на благопріятныя условія, несмотря даже на запечатлѣнный кровью успѣхъ, и они, и ихъ намѣренія, и ихъ дѣла мгновенно истлѣли, такъ что даже продолжатели ихъ не только не рѣшаются ссылаться на нихъ, но, напротивъ, притворяются, будто имена эти столь же имъ неависитны, какъ и исторіи. Вѣдь и чума когда-то въ Москвѣ неистовствовала, но кто же ссылается на нее какъ на благопріятный прецедентъ? Такъ точно и тутъ: пришли, осквернили вселенную—и исчезли... А исторія съ кандалами между тѣмъ мало-по-малу разъясняется; а Удавъ съ Дыбой, хотя и продолжаютъ, по существу, проповѣдывать, что истина и кандалы—понятія равносильныя, однако ужъ настолько не увѣрены въ успѣхѣ свей проповѣди, что вынуждаются уснащать ее величайшими оговорками. Слышатся выраженія: „временно“, „не надолго, а только въ виду потрясенія основъ“, „а потомъ, само собой разумѣется“ и т. д. Словомъ сказать, цѣльность міросозерцанія нарушена, и еслибъ Шешковскій не сгнилъ, онъ непременно самихъ Удава и Дыбу заподозрилъ бы въ потрясеніи основъ и заключилъ бы въ кандалы, которые вѣроятно еще гдѣ-нибудь въ уголку найдутся, если хорошенько поискать.

Тѣмъ не менѣе, проповѣдь Удава и Дыбы все-таки одурманиваетъ. Жестокія и противочеловѣческія формы, въ которыя отъ времени до времени облекается возбужденная страсть, даютъ охранителямъ благочинія отличнѣйшій матеріалъ, чтобы посѣвать окрестъ развращающую панику. Вздурожненная улица охотно соглашается отдать себя на поруганіе, взаимныя уступки и посуловъ, дѣлаемыхъ ея инстинкту самоохраненія. Нужды нѣтъ, что эти уступки гарантируются ей идеалами благочинія, въ основѣ которыхъ лежатъ кандалы; нужды нѣтъ, что ни Удавъ, ни Дыба, принявшіе это наслѣдіе отъ Шешковского, никакихъ иныхъ средствъ охраненія не могутъ изобрѣсти — паника уживается и съ кандалами. За то ее обнадеживаютъ словами: „временно“, „вотъ погодите“, „дайте управиться“ и т. д. „Временно“ — упраздняется развитіе, „временно“ — налагается секвестръ на мысль, „временно“ — общество погружается въ безпросвѣтную агонію...

Я знаю и самъ, что это маразмъ дѣйствительно только временный, и не потому временный, что такъ удостовѣряютъ Удавъ и Дыба, а потому, что улица самая безпабашная оцнется, понявъ, что безсрочный маразмъ можетъ принести только смерть. Но вѣдь и временно сознавать себя заключеннымъ въ сѣзжіи домъ — ужасно оскорбительно. И, право, я недоумѣваю, какъ могутъ люди не понимать, что сѣзжіи домъ, ни безсрочно, ни на срокъ, не только не представляетъ искомаго идеала, но даже самую зачаточную формою общежитія названъ быть не можетъ. Ибо сѣзжіе дома предназначаются совсѣмъ не для гражданъ и даже не для обывателей, а для колодниковъ. Что сѣзжія мысли, сѣзжія рѣчи могутъ пользоваться въ обществѣ правомъ гражданственности — въ этомъ я, конечно, никогда и ни на минуту не сомнѣвался, но въ мѣру, милая тетенька, а главное, чтобъ все въ своемъ мѣстѣ и въ свое время было. Когда сѣзжія мысли мыслятъ околоточный и городовые, я совершенно понимаю, что иначе оно и не должно быть. Но когда эти же

мысли порабощают себя общество, закабальютъ партикулярныхъ людей, отравляютъ общественныя отношенія и отнимаютъ у жизни всякій въ-полнѣйшей интересъ — это я уже перестаю понимать.

Вотъ это-то обязательное порабощеніе идеаламъ благочинія и заставляло меня не разъ говорить: да, трудно жить современному человѣку! Непозволительно обходиться безъ благородныхъ мыслей: неприлично отождествлять общество съ съѣзжимъ домомъ; невозможно не только „временно“, но даже на минуту устранить процессъ обновленія, который, собственно говоря, одинъ и оберегаетъ общество отъ одичанія. Подумайте! въдѣ общество, упразднившее въ себѣ потребность благородныхъ мыслей и чувствъ, не можетъ послужить дѣятельнымъ факторомъ даже въ смыслѣ идеаловъ тишины и благочинія. Оно безсильно, дрябло, инертно; оно — постепенно-разлагающійся трупъ и ничего больше.

Примѣры этой трупной немощи изобилуютъ, — примѣры наглядные, для всѣхъ вразумительные. Приведу здѣсь одинъ, наиболѣе намъ близкій: такъ-называемую потребность „содѣйствія“. Слово это у всѣхъ на языкѣ и повторяется на всѣ лады, такъ что, казалось бы, только явись это желанное „содѣйствіе“, мы въ ту же минуту съли бы и поѣхали. Но именно „содѣйствіе“ то и не является, а не является оно... какъ вы однакожь думаете, почему оно не является?

Спрашивается: правъ ли я былъ, утверждая, что при подобныхъ условіяхъ, при этомъ всеобщемъ господствѣ сѣрыхъ тоновъ, жизнь становится не только трудною, но и прямо постылою?

А между тѣмъ не дальше какъ на дняхъ, и именно по поводу этого утвержденія, я подвергся поруганію. Одинъ изъ Ивановъ-Непомнящихъ, которыхъ такъ много развелось нынче въ литературѣ, взойдя на кафедру и обращаясь къ сонмищу благородныхъ слушательницъ, восклицалъ: „Намъ говорятъ, что при современныхъ условіяхъ нельзя жить — однакожь мы живемъ, и, право, живемъ не дурно!“ Ахъ, мой любезный! да развѣ я когда-нибудь говорилъ, что *всѣмъ* нельзя жить, а въ тотъ числѣ и Иванамъ-Непомнящимъ? — Нѣтъ, я говорилъ только, что вообще жизнь, обнаженная отъ благородныхъ мыслей и побужденій, постыла и невозможна, такъ какъ эта обнаженность уничтожаетъ самый существенный ея признакъ: способность развиваться и совершенствоваться. Но въ частности, для тѣхъ или другихъ особей, я никогда возможности „жить да поживать“ не отрицалъ. Напротивъ, я вполне убѣжденъ, что, напримѣръ, золотари не только живутъ, но и ѣдятъ при исполненіи обязанностей... Но, право же, незавидная это жизнь!

Поэтому, милая тетенька, убѣждаю васъ: не увлекайтесь идеалами благочинія и не соблазняйте тѣмъ, что они сулятъ вамъ тихое и безмятежное житіе! Помните, что это тихое житіе равносильно позорному гніенію, и не завидуйте гніющимъ потому только, что они гниютъ безъ помѣхи! Сохраняйте въ цѣлости вкусъ къ благороднымъ мыслямъ и возвышеннымъ чувствамъ, который завѣщанъ намъ лучшими преданіями литературы и жизни! Пускай называютъ людей, хранящихъ эти преданія, „разбойниками печати“ — не пугайтесь этой клички! ибо есть разбойники, о которыхъ сама церковь во всеуслышаніе гласитъ: „но яко разбойникъ исповѣдаю Тя“, равно какъ естѣ



благонамѣренные предатели, о которыхъ та же церковь возглашаетъ: „ни лобзанія Ти дамъ, яко Іуда“... Расплывайтесь, но не кочепѣйте! взмывайте крылами въ пространство, но не погряжайте въ болотной тинѣ! И ежели къ вамъ отъ времени до времени заходить на чашку чая урядникъ, то и ему говорите, что доблестнѣе и для самаго охранительнаго дѣла выгоднѣе расплываться, нежели погряжать. А я, съ своей стороны, буду о томъ же твердить подчаскамъ и дворникамъ.

Не одно благородное мышленіе въ умаленіи — самая способность толково и правильно выражаться (синтаксесъ, грамматика, правописаніе) — и та малопо-малу исчезаетъ, такъ что въ скоромъ времени намъ видимо угрожаетъ всеобщее косноязычіе.

Для доказательства приведу примѣръ, наиболѣе рѣзко бросающійся въ глаза.

Въ первый разъ, какъ вы будете проѣзжать черезъ Берлинъ, пройдитесь по *Unter den Linden* и остановитесь передъ витриной книгопродавца Бока. Вы увидите тутъ такъ-называемую „вольную“ русскую литературу, и между прочимъ очень разнообразный ассортиментъ брошюръ новѣйшаго пропехожденія, на которыя я и обращаю ваше вниманіе. Ихъ много; всѣ онѣ трактуютъ о предметахъ самаго насущнаго интереса и всѣ отличаются отсутствіемъ благороднаго мышленія. Названія у этихъ брошюръ самыя заманчивыя, начиная отъ вопроса: „Что намъ всего нужнѣе?“ и кончая восклицаніемъ: „Европа! руки по швамъ!“

Предостерегаю васъ: читать эти брошюры, какъ обыкновенно путныя книги читаютъ, съ начала до конца — трудъ непосильный и въ высшей степени безплодный. Но перелистовать ихъ, съ пятого на десятое, дѣло не лишнее. Во-первыхъ, для васъ сдѣлается яснымъ, какія запретныя мысли русскій грамотѣй находится вынужденнымъ прятать отъ бдительности цензурскаго ока; во-вторыхъ, вы узнаете, до какихъ предѣловъ можетъ дойти несознанность мысли, въ счастливомъ соединеніи съ пустословіемъ и малограмотностью.

Передъ вами русскій обыватель, котораго нѣчто беспокоитъ. Что именно беспокоитъ? — то ли, что власть черезчуръ обострилась, или то, что она чрезмерно ослабла; то ли, что слишкомъ много дано свободы, или то, что никакой свободы нѣтъ — все это темно и загадочно. Никогда онъ порядкомъ не мыслилъ, а просто жилъ да поживалъ (какъ, напримѣръ, вашъ Пафнутьевъ), и дожилъ до тѣхъ поръ, когда „поживать“ стало не въ моготу. Тогда онъ вытаращилъ глаза и началъ фыркаеть и припоминать. Припомнилъ нѣчто изъ исторіи Кайданова, поделушалъ выраженія въ родѣ: „власть“, „свобода“, „произволь“, „анархія“, „средостѣніе“, „соборъ“, свалилъ этотъ скудный матеріалъ въ одну кучу и сталъ выводить букву за буквой. И что же! на его счастье оказалось, что онъ — публицистъ!

Но для Россіи онъ слишкомъ свободомыслящъ. Подумайте только: во-первыхъ, онъ на кого-то за что-то фыркаетъ и къ кому-то предъявляетъ какой-то искъ; во-вторыхъ, у него чуть не на каждой строкѣ красуется слово:

„свобода“. Конечно, рядомъ съ „свободой“ онъ ставитъ слова: „искоренить“, „истребить“ и „упразднить“; но такъ какъ эти выраженія разбросаны по страницѣ въ величайшемъ безпорядкѣ, то въ умѣ блудшаго естественно возникаетъ вопросъ: нѣтъ ли тутъ подвоха? Что упразднить? — хорошо, коли свободу... А ну какъ наоборотъ? Сверхъ того, онъ ставитъ „но“ вмѣсто „и“; начать фразу условными „такъ какъ“, „хотя“, „если“ — и бросить; или красную строку напишетъ: „Смѣю ли присовокупить?“ — и тоже бросить... А это тоже наводитъ на мысль о подвохѣ. Почему онъ поставилъ „но“, тогда какъ по смыслу рѣчи слѣдовало поставить „и“? Можетъ быть, тутъ-то оно самое, потрясаніе, и свило себѣ гнѣздо? Ахъ, никому, даже соглядатаймъ, нынче вѣрить нельзя! Слабъ сталъ народъ... ахъ, какъ слабъ! Словомъ сказать, попробуйте напечатать въ Петербургѣ книгу, въ которой есть красная строка: „Смѣю ли присовокупить?“ — непременно все цензурное вѣдомство всполошится. А за граница и эту фразу, и „свободу, споспѣшествующую средостѣпнѣмъ“, и „анархію, дѣйствующую въ союзѣ съ произволомъ“ — все съѣсть.

Я предполагаю, что именно въ такомъ видѣ являлась человѣческая мысль въ младенчествѣ. Въ тотъ свайно-доисторическій періодъ, когда она наугадъ ловила слова, не зная какъ съ ними поступить; когда „но“ не значило „но“; когда дважды два равнялось стеариновой свѣчкѣ; когда существовала темная ясность и многословная краткость и когда люди начинали обмѣнъ мыслей словами: „Смѣю ли присовокупить?“ Вотъ къ этому-то свайному періоду мы теперь постепенно и возвращаемся, и не только не стыдимся этого, но, напротивъ, изо всѣхъ силъ стараемся, при помощи тисненія, непрерываемо засвидѣтельствовать предъ потомствомъ, что отсутствіе благородныхъ мыслей, независимо отъ нравственнаго одичанія, сопровождается и безграмотностью.

Уволенный отъ цензурнаго надзора, русскій публицистъ всегда начинаетъ рѣчь издалека, и прежде всего спѣшитъ зарекомендовать себя передъ читателемъ въ качествѣ эрудита. Съ чрезвычайною готовностью онъ облетаетъ всѣ части свѣта („извѣстно, что даже въ вольнолюбивой Франціи“, или: „извѣстно, что въ Сѣверо-Американскихъ Штатахъ“ и т. д.), проникаетъ въ мракъ прошедшаго („извѣстно, что когда египетскіе фараоны“ или „извѣстно, что когда благожелательный, но слабый Людовикъ XVI“ и т. д.), и трепетною рукою поднимаетъ завѣсу будущаго, причемъ возлагаетъ надежду исключительно на Бога, а на институтъ урядниковъ и дворниковъ машетъ рукою. Такъ что не успѣетъ читатель оглянуться (какихъ-нибудь 10—12 страницъ разгонистой печати — вотъ и вся эрудиція!), какъ уже знаетъ, что сильная власть именуется сильною, а слабая слабою, и что за всѣмъ тѣмъ слѣдуетъ надѣяться, хотя съ другой стороны — надлежитъ трепетать. Такова общая, вступительная часть. „А теперь, посмотримъ, въ какомъ видѣ все сіе представляется у насъ въ настоящую минуту“...

Посмотримъ, необузданный бормотунъ! сказывая, „недозрѣлый умѣ“, какую-такую ты усмотрѣлъ въ отечествѣ твоемъ фигу, которая заставляла тебя съ надеждою трепетать и „понудила къ перу твои руки“?

Но здѣсь вы сразу вступаете въ домъ „умалишенныхъ“, и притомъ въ такой, гдѣ больные, такъ сказать, преднамѣренно предоставлены самимъ



себѣ. Слышится гамъ и шумъ; безпричинный смѣхъ раздается рядомъ съ безпричиннымъ плачемъ; бессмысленные вопросы перекрещиваются съ бессмысленными отвѣтами. Словомъ сказать, происходитъ нѣчто безнадежное, чему нельзя подобрать начала и чего ни подъ какимъ видомъ нельзя довести до конца...

Такова любая страница любой изъ „вольныхъ“ брошюръ, обязанныхъ своимъ появленіемъ современной русской взбудораженности. Таково зрѣлище внутренняго междоусобія, которымъ раздирается человѣкъ, поставившій себѣ за правило избѣгать благородныхъ мыслей, дабы всецѣло отдаться пустякамъ.

Основные положенія — Богъ вѣсть откуда взялись; выводы — самого безтрепетнаго читателя могутъ испугать своею неожиданностью. Основное положеніе гласитъ: „Главная черта, которая проходитъ черезъ всю тысячелѣтнюю исторію русскаго народа, есть смиреніе“; выводъ возражаетъ: „къ несчастію, нашъ добрый народъ находится въ младенчествѣ, и потому склоненъ къ увлеченіямъ“. Тысячелѣтняя старость борется съ младенчествомъ; смиреніе — съ склонностью къ увлеченіямъ (приводятся даже примѣры буйства). Какъ же однако съ этимъ смиренно-буйнымъ народомъ поступить? дать ли ему свободу, или нарядить въ кандалы?.. Хорошо, кабы кандалы! но тогда зачѣмъ же было ѣздить въ Берлинъ? Не лучше ли сдѣлать вотъ какъ: „Съ одной стороны, вольнолюбивая Франція доказываетъ, съ другой стороны, конституціонная Англія подтверждаетъ, а князь Бисмаркъ недавно въ рѣчи, обращенной къ рейхстагу, объяснилъ“ ... Ахъ, тетенька! представьте же себѣ, что никто ничего не доказывалъ, ничего не подтверждалъ, и что князь Бисмаркъ никогда ничего не говорилъ! Что самъ авторъ брошюры — и тотъ не знаетъ, кто чтó доказывалъ и чтó подтверждалъ! Онъ просто выводитъ букву за буквой — и шабашъ!

Богъ справедливъ, милая тетенька. Когда мы отворачиваемся отъ благородныхъ мыслей и начинаемъ явно или потаенно клясть возвышенныя чувства, Онъ, Праведный Судія, окутываетъ пеленой наши мыслящія способности и поражаетъ уста наши косноязычіемъ. И это великое благо, потому что рыцари управы благочинія давно бы вселенную слонали, еслибъ гнѣвъ Божій не тяготѣлъ надъ ними.

Да, милая тетенька, все это косноязычіе именно оттого происходитъ, что нѣтъ запроса на благородныя мысли. Благородная мысль формулируетъ себя безъ утайки, во всей своей полнотѣ; поэтому-то она легко находитъ и ясное для себя выраженіе. И синтаксисъ, и грамматика, и знаки препинанія — весь арсеналъ грамотности охотно ей повинуются. Вопросительный знакъ не смѣетъ выскочить тамъ, гдѣ слышится утвержденіе; слова, въ родѣ: „искоренить“, „истребить“ — не смѣютъ затесаться тамъ, гдѣ не можетъ быть рѣчи ни объ искорененіи, ни объ истребленіи. Ясная для самого произносящаго рѣчь является вразумительною и для слушателей. Она убѣждаетъ умы, зажигаетъ сердца.

Напротивъ того, мысль, увидѣвшая свѣтъ въ атмосферѣ сѣѣзжаго дома, прежде всего ищетъ скрыть свое происхожденіе, и ищетъ этого по той же са-

мой причинѣ, по которой шулеръ, являясь въ незнакомое общество, непременно рекомендуетъ себя: „благородный человѣкъ такой-то!“ Чтобы примирить съ собою наивныхъ, она замечаетъ слѣды, прибѣгаетъ къ несвойственнымъ выраженіямъ и бросается въ околесную. Но, стараясь выказать себя благородною, она не знаетъ, въ чемъ состоитъ благородство, и потому на каждомъ шагу запутывается. И въ то же время не смѣетъ формулировать дѣйствительныя свои побужденія, ибо сама труситъ передъ ихъ сермяжнымъ поскудствомъ. Понятно, что и грамматика, и знаки прерыванія пользуются этимъ внутреннимъ междоусобіемъ, чтобы объявить себя воюющею стороною.

Все это именно и доказываютъ самымъ нагляднымъ образомъ наши заграничные пропагандисты свободы, споспѣшествуемой искорененіями. Разверните ихъ мысль вполне, и вы убѣдитесь, что вся она резюмируется однимъ словомъ: кандалы. А они припутываютъ сюда „свободу“ и „нашъ добрый, прекрасный народъ“. Ясно, что никакая грамматика не выдержитъ подобнаго двоедушія.

Но повторяю: Богъ сирavedливъ. Онъ поражаетъ бормотаніемъ и безграмотностью всѣхъ непризнающихъ благороднаго мышленія, всѣхъ приравнивающихъ возвышенность чувствъ потрясенію основъ. Вы убѣдитесь въ этомъ не только на заграничной бормочущей публицистикѣ, но и на нашей, домашней, того же безнадёжнаго подшиба. Во всемъ лагерѣ идеалистовъ убѣжденія вы ничего не найдете, кромѣ бездарности, пошлости и бессмысленнаго, всѣмъ явственнаго лганья. Это спаленная Богомъ пустыня, на пространствѣ которой, въ смыслѣ продуктовъ мышленія, произрастаютъ только самые жалкіе его виды: сыскъ и крючкотворство. Или пожалуй другое сравненіе: это хлѣвъ, обитатели котораго ничего, кромѣ корыта съ мѣсивомъ и навозной жижи, не только не признаютъ, но и понять не могутъ.

До какой степени фаталистическая безграмотность сопрягается съ отсутствіемъ благородства въ мысляхъ — въ этомъ я имѣлъ случай убѣдиться самымъ осязательнымъ образомъ.

Года два тому назадъ (помнится, въ самый разгаръ „диктатуры сердца“), шатаясь за границей, я встрѣтился въ одномъ изъ водяныхъ городковъ Германіи съ инспектирующимъ соотечественникомъ. По угнетенному виду, съ которымъ этотъ человѣкъ прочитывалъ въ курзалѣ русскія газеты, по той судорогѣ, которая сводила въ это время его руки въ кулаки, я сейчасъ же угадалъ, что, кромѣ эмфиземы, онъ страдалъ еще отсутствіемъ благородныхъ чувствъ. То было время, когда всѣ порядочные люди предавались „иллюзіямъ“ (хотя это было строжайше воспрещено), а русскіе, находившіеся за границей, даже гордость какую-то выказывали. Ужъ на что равнодушны дамочки къ судьбамъ своей родины, но и тѣ волновались и рассказывали что-то чрезвычайное: вотъ-молъ какое у насъ нынче отечество! Одинъ „онъ“, этотъ угнетеннаго вида человѣкъ, не то фыркалъ, не то недоумѣвалъ.

За табыдотомъ мы познакомились. Оказалось, что онъ помпадуръ, и что у него есть „въвѣренный ему край“, въ которомъ онъ наступаетъ на законъ. Нигдѣ въ другомъ мѣстѣ — не то что за границей, а даже въ отечествѣ — онъ, милая тетенька, наступать на законъ не смѣетъ (составить протоколъ и отошлуть къ мировому), а въѣдетъ въ предѣлы „въвѣреннаго ему



края“ — и наступает безвозбранно. И, должно быть, это занятіе очень достолюбезное, потому что за границей онъ страшно по немъ тосковалъ, хотя всѣхъ увѣрялъ, что тоскуеть по родинѣ.

Разговорились: помпадуръ такой-то. И, разумѣется, первая фраза — сквернословіе.

— А въ отечествѣ-то... а? либеральничаютъ! популярничаютъ! ужъ объ излюбленныхъ людяхъ поговаривать начали... чудеса!

Сказалъ и усомнился. А вдругъ я пожалуйсъ сосѣдямъ-нѣмцамъ: вотъ-моль какіе у насъ оболтусы произрастаютъ! Однако, видя, что я сижу смирно, ободрился.

— Раненько бы!

Опять смолкъ. Смотритъ на меня да и шабашъ. Даже ѣсть пересталъ; сидитъ и ждетъ, не скажу ли я что-нибудь сквернословно-сочувственное. Дѣлать нечего, пришлось разговаривать.

— А вамъ бы, по настоящему, не издѣваться, а радоваться слѣдовало! — наконецъ произнесъ я.

— То-есть... почему же собственно мнѣ?

— А потому, что вы — помпадуръ.

— Ну-съ?

— А помпадуръ, какъ лицо подчиненное, долженъ имѣть за собой наблюденіе. Когда сердца начальниковъ радуются — и онъ обязанъ радоваться; когда начальство печалится — и у него въ сердцѣ, кромѣ печали, ничего не должно быть. Такъ и въ уставѣ о пресѣченіи сказано.

— Стало быть, вы полагаете, что нынѣшняя система...

— Ничего я объ системахъ не полагаю, а радуюсь, потому что въ законахъ написано: радуйся! И вамъ тоже совѣтую. А то вы, какъ дорветесь до помпадурства, такъ у васъ только и на умѣ, что сидѣть да каркать! Когда крестьянъ освобождали — вы каркали; когда судебную реформу вводили — тоже каркали. Начальники, ваши благодѣтели, радуются, а вы — каркаете! Развѣ это съ чѣмъ-нибудь сообразно? и гдѣ, въ какой другой странѣ, вы можете указать на примѣръ подобной административной неопрятности?

Замѣчаніе мое поразило его. Повидимому онъ даже не подозрѣвалъ, что, наступая на законы вообще, онъ, между прочимъ, наступаетъ и на тотъ законъ, который ставитъ помпадуры радости и помпадуры печали въ зависимость отъ радостей и печалей начальственныхъ. Съ минуту онъ пробылъ какъ бы въ онѣмѣніи, но наконецъ очулся, схватилъ мою руку и долго ее жалъ, смотря на меня томными и умиленными глазами. Кто знаетъ, быть можетъ, онъ даже заподозрилъ во мнѣ агента „диктатуры сердца“.

— Вы... васъ... — бормоталъ онъ: — представьте однакожъ, какая пріятная неожиданность!

Съ тѣхъ поръ мы ежедневно встрѣчались по нѣскольку разъ, и онъ всегда говорилъ, что первая обязанность помпадура — это править по сердцу министровъ. Я же, съ своей стороны, ободрялъ и укрѣплялъ его въ этой мысли, доказывая, что радоваться, когда сердца начальниковъ играютъ, несомнѣнно покойнѣе, нежели рисковать слетѣть съ мѣста за показываніе кукиша въ карманѣ.

— И съ чего вы до сихъ поръ фыркали? какое вы въ этомъ удовольствіе для себя находили?—спрашивалъ я его.

— Признаюсь вамъ, — отвѣчалъ онъ наивно: — я вѣдь не зналъ, что есть такой законъ, который начальственную радость на всѣхъ подчиненныхъ распространяетъ.

— То-то вотъ и есть. У васъ тамъ во всѣхъ мѣстахъ полны законовъ шкапы стоять, а вы даже главнаго закона не знаете!

Говоря это, я былъ почти строгъ; но онъ успокоилъ меня, объяснивъ, что легкомысліе его не предумышленное, а есть простая неопытность, источникъ которой заключается въ недостаточномъ образованіи, полученномъ имъ въ кадетскомъ корпусѣ. При чемъ сознался, что грамматику прошелъ только до „Мѣстоименія“, и усердно просилъ меня заняться его перевоспитаніемъ.

Разумѣется, я съ радостью согласился на его просьбу и на всякій случай выписалъ изъ Россіи грамматику Поливанова. Перевоспитаніе же началъ съ объясненія, въ чемъ заключается истинное благородство души; но такъ какъ при этомъ безпрестанно приходилось говорить объ общемъ благѣ, которое онъ смѣшивалъ съ „потрясеніемъ“, то, признаюсь, мнѣ стоило большого труда, чтобы хотя отчасти устранить это смѣшеніе. Но я успѣлъ въ этомъ именно только отчасти, ибо хотя онъ и пересталъ говорить о потрясеніяхъ, но далѣе „диктатуры сердца“ все-таки не пошелъ. Я радъ былъ однакожъ, что хоть эту послѣднюю онъ призналъ для себя обязательною, и далъ мнѣ слово по ея поводу никакихъ сквернословій на будущее время не испускать. Тогда, внимательно осмотрѣвъ его и убѣдившись въ безполезности дальнѣйшихъ усовершенствованій, я предложилъ ему изложить одушевлявшія его чувства въ формѣ циркуляра исправникамъ и становымъ.

Цѣлыхъ два дня онъ царапалъ этотъ циркуляръ, но наконецъ нацарапалъ и показалъ мнѣ. Вотъ этотъ замѣчательный документъ:

„Господамъ исправникамъ, становымъ приставамъ и урядникамъ, а черезъ нихъ и прочимъ всякаго званія людямъ. Здравствуйте?

„А между тѣмъ что же мы видимъ!!

„При формѣ правленія все отъ него исходяще! и обратно туда возвращающе. Что же надлежитъ заключить!? Что сердца начальниковъ радующе, сердца (пропущено: „подчиненныхъ“) тоже, сердца Унывающе... тоже (пропущено почти все)! А между тѣмъ что же мы видимъ!! Совсѣмъ на оборотъ. Частныя смѣны начальниковъ Сіе внезапною изъясняютъ, а подчиненные... небрегутъ?

„Посему предлагаю; примѣняясь къ вышеизложенному всемѣрно примѣчать внезапности. Ежели внезапность радующе — радоваться и вамъ? а буде внезапность унывающе — и вамъ тоже. Но въ случаѣ ни того ни Другого — ни того ни другого и вамъ. Ежели же сіе не будетъ исполнено, то какъ мнѣ поступить!!!“

Сознаюсь откровенно: впечатлѣніе, произведенное на меня этимъ циркуляромъ, было не въ пользу его. Первымъ моимъ движеніемъ было: бѣжать — что я немедленно и исполнилъ. Долгое время я скитался въ горахъ, пока наконецъ очнулся и понялъ, что требованія мои черезчуръ прихотливы. Нельзя, милая тетенька, сразу перевоспитать человѣка, какъ нельзя сразу



вычистить платье, до котораго никогда не прикасалась щетка. Настоящее благородство чувствъ есть удѣлъ исключительный, въ извѣстныхъ же случаяхъ достаточно довольствоваться и такъ-называемымъ неблагороднымъ благородствомъ. А наконецъ нельзя не признать и того, что въ данномъ случаѣ основная мысль все-таки недурна; вотъ только редакція... ахъ, какая это редакція! Какъ-бы то ни было, но я воротился въ городъ примиренный и съ твердымъ намѣреніемъ довести дѣло перевоспитанія до предѣловъ возможнаго.

И я успѣлъ въ этомъ, — успѣлъ, разумѣется, относительно. Каждый день я заставлялъ моего ученика и друга (я полюбилъ его) излагать свои чувства въ новой редакціи, и всякій разъ эта редакція являлась болѣе и болѣе облагороженною. Такъ что въ послѣдній разъ она предстала передо мной уже въ слѣдующемъ видѣ:

„Господамъ исправникамъ, становымъ приставамъ и урядникамъ. Здравствуйте!

„Когда въ странѣ существуетъ форма правленія, отъ которой все исходить, то исполнительные органы обязываются, не увлекаясь личными прихотливыми уметованиями, буквально выполнять начальственные предначертанія. И больше ничего. Посему, ежели начальство (какъ это нынѣ по всему видится) находить возможнымъ допустить, дабы обыватели радовались, то и вы... Сіе допускайте, а не ехидничайте и тѣмъ паче не сквернословьте! Я самъ, по недостаткамъ образованія, не разъ сквернословилъ, но нынѣ... Вижу!

„И посему предлагаю: настоящій мой циркуляръ исполнить въ точности, а въ случаѣ не найдете возможности, то доносить мнѣ о томъ съ раскаяніемъ“.

Какъ хотите, а циркуляръ — хоть куда! Нѣсколько некстати поставленныхъ знаковъ препинанія, нѣсколько лишннихъ прописныхъ буквъ, нѣсколько ненужныхъ повтореній и наконецъ несчастное „Здравствуйте!“ — вотъ все, въ чемъ можно укорить почтеннаго автора. Исправьте эти погрѣшности — и затѣмъ хоть сейчасъ въ типографію (разумѣется, впрочемъ, въ казенную)! Я даже поправлять не рѣшился, а просто посовѣтовалъ цѣликомъ свезти циркуляръ въ „вѣтренный край“. Тамъ правитель канцеляріи погладить шероховатости, вставить надлежащія статьи законовъ, помазлить, округлить — смотришь, анъ „вѣтренный край“ и проглотилъ!

— Позвольте, въ знакъ восхищенія, предложить вамъ порцію мороженого! — попотчивалъ я его.

Онъ поблагодарилъ и съѣлъ. А на другой день я отправился въ Парижъ, а онъ во всѣ лопатки помчался въ „вѣтренный ему край“.

Съ тѣхъ поръ до меня доходили объ немъ разные слухи. Сначала писали, что онъ продолжаетъ мыслить благородно, и вельдствие этого слогъ его циркуляровъ постепенно совершенствуется; потомъ стали писать, что онъ опять началъ мыслить неблагородно, и вельдствие этого въ циркулярахъ его царствуетъ полнѣйшая грамматическая анархія. Разумѣется, по поводу первыхъ слуховъ я радовался, по поводу вторыхъ — сокрушался. Какъ вдругъ получаю отъ него письмо, которое сразу покончило съ моими недоумѣніями.

Вотъ это письмо:

„Милостивый Государь!

„Но ежели историческій Ходъ событій!—сомнѣнности наши Превращаетъ въ несомнѣнности... но что же тогда сказать!?

„И именно слѣдующее! При свиданіи (вѣроятно рѣчь идетъ о нашихъ бесѣдахъ на водахъ) имѣлъ я отрывочныя, но краткія бесѣды... И вы говорили: когда сердца (очень большой пропускъ)—ются тогда и вы то есть... я! А когда сердца Въ печали тогда и вы то есть я. Между тѣмъ что же мы видимъ! Произошли акты и при семь форма правленія выяснилась вполнѣ. А законы и иллюзіи со всѣмъ Прочимъ должны исчезнуть и отойти во временное преданіе!!

„Такъ я съ твердостью уповаю.

„Полагаю, что вы мой планъ одобрите но я другого не знаю. Кромѣ одного: все исходяще и все возвращающее. Подобно рѣкѣ Волгѣ! Исходить изъ озера Селигера но какъ случилось что докатила волны до Съ Израни и далѣе... Неизвѣстно!! Согласно съ симъ и я свои распоряженія здѣсь дѣлаю, а между тѣмъ и бумагу къ здѣшнему Господину Предсѣдателю (пропущено: „написать“; не сказано также, къ какому предсѣдателю), Въ Копіи при семь прилагаемое!

„А здѣсь ощущается всеобщее удивленіе? И именно по случаю формы Правленія! Надѣялись никакой формы нѣтъ, а вмѣсто того произошли акты. Но я не только не удивляюсь, но помню нашъ разговоръ. Правду вы тогда сказали Помпадуръ долженъ быть радующе, а не утѣвляюще, а тѣмъ паче взирающе. И ежели у васъ въ Извѣстныхъ Мѣстахъ Есть знакомые, то Прошу Оныя завѣрить, Говоря Онъ будетъ твердъ и никакихъ основаній кромѣ извѣстныхъ и исходяще за Образецъ не возьметъ. Онъ, То есть я“.

Въ приложенной къ письму бумагѣ на имя невѣдомаго „Предсѣдателя“ (вѣроятно какой-нибудь крамольной управы) я прочиталъ слѣдующее:

„Милостивый Государь,

„Онуфрій Терентьевичъ!

„Извѣстное и опредѣленное требуется и для службы соотвѣтственно людей.

„Твердое направленіе, данное въ согласность обстоятельствамъ, не оставляетъ никакихъ колебаній; что характеръ управленія въ духѣ всесловности и силъ большинства долженъ исчезнуть навсегда и безповоротно и долженъ перейти къ характеру сословности, соединенной только общими цѣлями для блага.

„Посему, считаю долгомъ Вамъ, Милостивый Государь, рекомендовать и просить, въ видахъ соблюденія должной точности высказанныхъ непреложныхъ основаній, принять на службу предъавителя сего, коллежскаго ассесора Семена Доримонтовича Стрюцкаго, мысли котораго по сему предмету и предлагаю вамъ принять къ руководству, при достиженіи общими силами блага“.

„Съ подлиннымъ вѣрно: Правитель канцеляріи Бѣдный-Макаръ“.



Внизу помпадуръ собственноручно прибавилъ:

„Примѣчаніе 1-ое. Бумагу Сію писалъ правитель канцеляріи, но мысли мои. И слогъ поправлялъ То-есть я.

„Примѣчаніе 2-ое. Стрюцкій — мой крестникъ“.

И такъ, труды мои пропали даромъ. Очевидно, помпадуръ одичалъ, и такъ какъ ему уже перевалило за пятьдесятъ, то надѣяться на какую-либо воспитательную случайность въ будущемъ представлялось, по малой мѣрѣ, бесполезнымъ. Въ сей крайности и повинуюсь правиламъ общежитія, я отвѣтилъ ему кратко:

„Милостивый Государь.

„Прочитавъ почтеннѣйшее Ваше письмо и приложенный къ оному документъ, я съ горестью убѣдился, что чувства, о которыхъ мы такъ часто и продолжительно съ Вами бесѣдовали, покинули Васъ навсегда. До такой степени покинули, что Вамъ кажется уже необъяснимымъ, почему Волга, воспріявъ начало изъ озера Селигера, постепенно катитъ свои волны къ Сызрани (которую вы совершенно неправильно пишете: Съ Изрань) и далѣе.

„Не находя умѣстнымъ излагать здѣсь законы, коимъ повинуются рѣка Волга въ своемъ теченіи, могу сказать только одно: законы сіи столь непреложны, что смертнымъ остается лишь преклониться предъ ними. А въ томъ числѣ, безъ сомнѣнія, и помпадурамъ. Чтò же касается до рѣшимости Вашей управлять согласно съ инструкціями и предписаніями, отъ начальства издаваемыми, то, одобряя таковую въ принципѣ, я не вижу, однакожъ, чтобы она давала Вамъ поводъ для похвалы. Исполненіе начальственныхъ предписаній — совѣтъ не заслуга, а естественная со стороны всякаго помпадура обязанность, за невыполненіе которой угрожаетъ строгость законовъ.

„Все сіе, впрочемъ, я неоднократно имѣлъ честь Вамъ объяснять во время совмѣстнаго пользованія водами, хотя, повидимому, втунѣ.

„Въ заключеніе, предполагая, по множеству грамматическихъ ошибокъ, которыми усыпано Ваше письмо, что грамматика Поливанова, которую я свое временно, въ видахъ усовершенствованія, Вамъ подарилъ, утрачена Вами, препровождаю при семъ новый экземпляръ, который и предлагаю употребить по установленію“.

Письмо это я послалъ съ такимъ расчетомъ, чтобъ онъ могъ его получить къ Свѣтлому празднику. Но будетъ ли изъ этого какой-нибудь прокъ — сомнѣваюсь.

## Письмо четырнадцатое.

Милая тетенька.

Въ послѣднее время я, въ качествѣ литературнаго дѣателя, сдѣлался предметомъ достаточнаго количества несочувственныхъ для меня оцѣнокъ. Между ними есть нѣсколько такихъ, которыя прямо причисляютъ меня въ категорію „вредныхъ“ писателей, на томъ основаніи, будто бы я, главнымъ образомъ, имѣю въ виду не обличеніе безнравственныхъ поступковъ, а отрицаніе самаго принципа нравственности.

На это я могу отвѣтить одно: неизмѣннымъ предметомъ моей литературной дѣятельности всегда былъ протестъ противъ произвола, двоедушія, лганья, хищничества, предательства, пустомыслія и т. д. Ройтесь сколько хотите во всей массѣ мною написаннаго — ручаюсь, ничего другого не найдете. Стало быть, весь вопросъ заключается въ томъ: слѣдуетъ ли признать исчисленныя выше явленія нормальными, имѣющими что-нибудь общее съ „принципомъ нравственности“, или, напротивъ, правильнѣе отнести къ нимъ какъ къ безнравственнымъ и возмущающимъ честное человѣческое сердце? Конечно, есть воры, которые до того привыкли воровать, что воровство уже не представляется имъ позорнымъ, и есть ханжи, которые до того привыкли колотить руками въ пустыя перси, что пустосвятство кажется имъ дѣйствительною набожностью; но развѣ примѣры подобныхъ самообмановъ могутъ считаться обязательными? Я думаю, что отвѣтъ на эти вопросы не можетъ подлежать сомнѣнію, и что, стало быть, лагерь, который безразсудно возбуждаетъ по этому поводу разглагольствіе, самъ на себя налагаетъ клеймо распутства, съ которымъ и перейдетъ въ потомство.

Но есть другой укоръ, который посылается по моему адресу и въ которомъ, я долженъ сознаться, имѣется значительная доля правды. Укоръ этотъ заключается въ томъ, что я повторяюсь. Къ сожалѣнію, цѣнители мои не вникаютъ въ причины моихъ повтореній и не представляютъ доказательствъ ихъ неумѣстности, а это дѣлаетъ ихъ оцѣнки какъ бы направленными съ единственною цѣлью лично меня уязвить и лишаетъ меня возможности извлечь изъ нихъ какое-либо для себя поученіе.

Тѣмъ не менѣе, такъ какъ я самъ признаю замѣчаніе это небезосновательнымъ, то нахожу полезнымъ дать по этому поводу нѣкоторыя объясненія.

Начинаю съ констатированія, что моя дѣятельность почти исключительно посвящена злобамъ дня. Очень возможно, что съ точки зрѣнія высшаго искусства эта дѣятельность весьма ограниченная; но такъ какъ я никакихъ другихъ претензій не заявляю, то мнѣ кажется, что и критика вправѣ прилагать ко мнѣ свои оцѣнки только съ этой точки зрѣнія, а не съ иной. Но злоба дня, вотъ ужъ почти тридцать лѣтъ, повторяется въ одной и той же силѣ, съ однимъ и тѣмъ же содержаніемъ, въ удручающемъ однообразіи. Какъ тридцать лѣтъ тому назадъ мы чувствовали, что надъ нашимъ существованіемъ витаетъ нѣчто случайное, мѣшающее правильному развитію жизни, такъ и теперь чувствуемъ, что въ той же силѣ и то же случайное продолжаетъ витать надъ нами. Никакое правдивое перо не возьметъ на себя



вычеркнуть изъ наличности то, что хотя и не въ равной степени, но всеми чувствуется, какъ основная и жгучая боль минуты. Никакой правдивый бытописатель не позволитъ себѣ сказать, что случайность изгнала, когда она стоитъ крѣпче и дѣйствуетъ язвительнѣе, чѣмъ когда-либо. Выше я перечислялъ нѣкоторые признаки ненормальнаго состоянія общественнаго организма, и, по мнѣнію моему, единственно благодаря господству случайности, эти признаки не только не исчезаютъ и не смягчаются, но дѣлаются характеристичными чертами времени. Они находятъ себѣ апологистовъ, которые ежели и не утверждаютъ прямо, что, напримѣръ, хищничество есть добродѣтель, но всякій протестъ противъ хищничества приравниваютъ къ потрясенію основъ. И, благодаря случайности, эти общественные проституты не встрѣчаютъ даже отпора. Примѣры гнусныхъ сопоставленій честнаго протеста чуть не съ вооруженнымъ бунтомъ повторяются на каждомъ шагу и проходятъ вполне безнаказанно, благодаря совпаденію съ случайными вѣяніями минуты; но самая эта безнаказанность развѣ не знаменуетъ собой глубокаго нравственнаго упадка? Видѣть цѣлый сильно организованный литературный лагерь, утверждающій, что всякое проявленіе *порядочности* въ мышленіи равносильно разбою и мошенничеству, что идеалы свободы и обезпеченности суть идеалы анархіи и дезорганизации власти, что человѣчность равняется приглашенію къ убійствамъ — право, это такое гнусное зрѣлище, передъ которымъ не устоятъ даже одеревенѣлое равнодушіе. А между тѣмъ это зрѣлище проходитъ передъ нами каждый день, и, къ удивленію, оно единственное, которое пользуется присвоенною зрѣлищамъ сценической постановкой. Каждый день изъ лагеря хищниковъ, предателей, пустосвятовъ и проституттовъ раздаются распутные клики, готовые задушить въ обществѣ всякіе признаки порядочности. Каждый день изъ растворенныхъ хлѣбовъ вопіютъ голоса трихинныхъ пристанодержателей, угрожающіе, проклинаящіе, требующіе пронытія... Спрашивается: ужели не слѣдуетъ какъ можно громче объяснять обществу, что эти мерзкіе вопли — не что иное, какъ лганье и проституція? Нѣтъ, именно слѣдуетъ каждодневно, каждочасно, каждоминутно повторять: ложь! клевета! проституція! Повторять хотя бы съ тѣмъ же однообразіемъ формъ и приемовъ, которые употребляются самими клеветниками и проститутами. Повторять, повторять, повторять.

Вотъ это именно я и дѣлаю. Двадцать-пять лѣтъ сряду одну и ту же ноту тяну, и ежели замолкну, то замолкну именно съ этой нотой, а не съ иной. И никогда не затрудняюсь тѣмъ, что нота эта звучитъ однообразно.

Но есть и еще причина, обуславливающая повторенія: ихъ требуетъ самъ сочувствующій мнѣ читатель. Я ничего не создаю, ничего лично мнѣ одному принадлежащаго не формулирую, а даю только то, чѣмъ болитъ въ данную минуту всякое честное сердце. Я даже утверждаю, что всякій честный человѣкъ, читая мои писанія, непременно отождествляетъ мои чувства и мысли съ своими. Это она такъ чувствуетъ и мыслить, а мнѣ только удалось сойтись съ нимъ сердцами. И онъ доволенъ, когда ему напоминаютъ объ этихъ *собственныхъ* его чувствахъ и мысляхъ, когда ихъ воплощаютъ передъ нимъ въ горячемъ словѣ или въ живомъ образѣ — доволенъ, потому что это самое дорогое его достояніе. Эти рѣчи, эти образы, быть можетъ, не задерживаются

въ его памяти въ яркихъ и рѣзко очерченныхъ формахъ, но они несомѣнно оставляютъ въ его сознаніи общее впечатлѣніе сочувственнаго, родственнаго. Ибо въ этомъ случаѣ происходитъ то интимное общеніе мыслей и чувствъ, въ которомъ трудно опредѣлить, кто кому даетъ и кто у кого беретъ. „Это самое я всегда мыслить“, говоритъ читатель, и пускаетъ вычитанное въ общій обиходъ, какъ свое собственное. И онъ не совершаетъ при этомъ ни малѣйшаго плагіата, потому что, дѣйствительно, эти мысли — его собственные, точно такъ же, какъ и я не совершаю плагіата, формулируя мысли и чувства, волнующія въ данный моментъ меня наравнѣ съ читающей массой. Ибо эти мысли и чувства — тоже мои собственные.

Повторяю: человѣкъ ни къ чему такъ охотно не возвращается, какъ къ предметамъ, которые наиболѣе затрогиваютъ его существованіе. Онъ и людей тѣхъ особенно любитъ, о которыхъ знаетъ, что они болѣютъ тѣми же болѣзнями, которыми болѣетъ онъ самъ. Вотъ почему напомниманія объ этихъ боляхъ, какъ бы часто и однообразно они ни повторялись, не представляются ему назойливыми. Ибо только раздѣленное страданіе можетъ помочь отыскать выходъ изъ тѣмъ къ свѣту, и разъ желаемое общеніе въ этомъ смыслѣ установилось, напомниманія объ его основахъ не только не ослабляютъ общенія, но, напротивъ, скрѣпляютъ и подтверждаютъ его.

Примѣры такого почти неразложимаго взаимнаго „попустительства“ (употребляю модный нынѣ консервативный терминъ) между авторомъ и читателемъ я встрѣчаю на каждомъ шагѣ. Часто случается мнѣ получать письма отъ неизвѣстныхъ лицъ съ изложеніемъ безспорно интересныхъ фактовъ всякаго рода неурядицы; однакожъ я не могу воспользоваться сообщаемыми фактами по той простой причинѣ, что въ видѣ общихъ положеній, иллюстрированныхъ и подтвержденныхъ, они ужъ не разъ были мной заявляемы. Большая же или меньшая численность фактовъ одного и того же подѣла ничего не прибавляетъ къ характеристикѣ времени, ибо если характеристика эта достаточно опредѣлилась, то само собой разумѣется, что иныхъ фактовъ въ данное время не можетъ и быть. Тѣмъ не менѣе, я понимаю, почему читатель сообщаетъ мнѣ объ этихъ фактахъ. Онъ просто желаетъ высказать, что я правъ, и подтверждаетъ мою правоту своими собственными наблюденіями.

Не далѣе какъ на дняхъ мнѣ пришлось быть въ обществѣ, гдѣ рассказывались факты, какъ разъ соотвѣтствующіе тому „принципу нравственности“, въ отрицаніи котораго я обвиняюсь московскими фарисеями. И между прочимъ передавалась слѣдующая исторія.

Жилъ-былъ сельскій священникъ и имѣлъ сына. Сынъ этотъ съ успѣхомъ кончилъ курсъ въ семинаріи, но священствовать почему-то не пожелалъ. Вѣроятно, впрочемъ, причина была простая: не чувствовалъ молодой человѣкъ склонности (а стало быть и способностей) къ выполненію обязанностей, сопряженныхъ съ священствомъ. Напротивъ того, выказывалъ величайшую охоту къ сельскому хозяйству, домоводству и земледѣльческому труду. Пріѣхалъ, по окончаніи курса наукъ, домой, одѣлся въ сермяжную мужицкую броню, обулся въ лапти и началъ косить, пахать и боронить.

Кажется, что же тутъ такого... необыкновеннаго? — Разумѣется, милая тетенька, на мой и вашъ взглядъ — ничего. Мы люди простые и думаемъ



такъ: ежели человѣку охота пахать — паши, охота сѣять рѣпу — сѣй рѣпу и даже морковь! Но вѣдь не все такъ явно отрицають „принципы нравственности“, какъ мы съ вами. Есть люди, кои блюдутъ. А наблюденіе въ томъ именно и состоитъ, чтобы всякое званіе пребывало вѣрнымъ свойственному ему занятію, занятіями же несвойственными, а тѣмъ паче нарушающими гармонію табели о рангахъ, гнушалось. Такъ напримѣръ, губернской секретарь обязывается гнушаться занятій, свойственныхъ коллежскимъ регистраторамъ, коллежскій секретарь — занятій, свойственныхъ губернскимъ секретарямъ и т. д. Встарину о негнушающихся губернскихъ секретаряхъ говорили, что они „марають“ не только себя лично, но и всехъ прочихъ губернскихъ секретарей. А нынче и это толкованіе, съ точки зрѣнія „принципа нравственности“, кажется уже недостаточнымъ, и потому говорятъ: ежели такой-то губернской секретарь унизился до общенія съ коллежскими регистраторами, то это значитъ, что онъ вознамѣрился сѣять между сими послѣдними превратныя толкованія.

Такъ именно случилось и съ легкомысленнымъ поповскимъ сыномъ. Не успѣлъ онъ обути лапти, какъ мѣстный кабатчикъ (первая инстанція, сирѣчь оплотъ) ужъ задумался. Стоитъ у стойки, чешетъ объ косякъ брюхо и думаетъ: что за причина такая? И, разумѣется, сообщаетъ о своихъ консервативныхъ сомнѣніяхъ уряднику. Урядникъ задумался еще пуще кабатчика. Началъ похаживать мимо батюшкинова дома, будто гуляетъ, а между тѣмъ высматриваетъ, не объявится ли ниспроверженія властей. Или схоронится за деревомъ, приложить къ глазамъ руку зонтикомъ и выглядываетъ въ поле. Видитъ: идетъ за сохой въ лаптяхъ мужикъ; вотъ онъ остановился, вотъ опять налегъ грудью... что за причина такая? Могъ бы ходить по приходу славить, яйца собирать, анъ вмѣсто того... Наконецъ урядникъ не вытерпѣлъ и обратился къ батюшкѣ:

— Что за причина такая?

А батюшка, который и самъ чаялъ, что возлюбленный сынъ съ нимъ вкупѣ и влюбѣ будетъ аллилуйя славословить — а онъ вишь вѣдь что выдумалъ! — вмѣсто того, чтобы объяснить уряднику его и кабатчиково полоуміе, отвѣтилъ уклончиво:

— Сами видите!

Тогда урядникъ окончательно не вытерпѣлъ и донесъ становому.

Становой сейчасъ же сообразилъ, что дѣло можетъ выйти блестящее, но надо вести его умненько. Поѣхалъ въ село будто по другому дѣлу, а самъ между тѣмъ началъ собирать „подъ рукою“ свѣдѣнія и о поповскомъ сынѣ. Оказалось: обулся поповскій сынъ въ лапти, боронить, пашетъ, коситъ сѣно... что за причина такая? Когда такимъ образомъ дѣло „округлилось“, становой обратился къ батюшкѣ:

— Что за причина такая?

— И самъ не мало о семъ стужаюсь, — объясняетъ батюшка: — и не разъ вразумлялъ. Побесѣдуйте съ нимъ — можетъ быть, ваши вразумленія больше подѣйствуютъ.

Призвалъ становой поповскаго сына, спрашиваетъ:

— Землю работаешь?

— Землю.

— Пашешь?

— Пашу.

— Чтò за причина такая?

Натурально, поповскій сынъ глаза вытаращилъ. Наконецъ, очнулся и самъ предлагаетъ вопросъ:

— А развѣ запрещено?

— Запрещено не запрещено, а несвойственно...

— Такъ запретите же прямо, коли несвойственно. Я буду сидѣть и баклуши бить.

Однакожъ запретить становой не рѣшился, а донесъ исправнику: такъ и такъ, въ станѣ проявился поповскій сынъ, кончилъ курсъ, могъ бы быть діаконъ, а вмѣсто того ведетъ несвойственный образъ жизни. Исправникъ тоже сейчасъ понималъ. Велѣлъ заложить тройку, подвязать къ дугѣ колокольцы и поскакалъ въ гнѣздо крамолы. Подкативъ къ батюшкину дому, молодцомъ соскочилъ съ телѣги:

— Чтò за причина такая?

— Не мало пыталъ я о семъ съ нимъ бесѣдовать, — оправдывался батюшка: — но слова мои не пріемлются. Не вразумите ли вы?

А матушка, съ своей стороны, присовокупила:

— А ужъ для насъ-то какъ бы хорошо было! Взять теперь хоть бы мѣсто дьякона: и яйца, и новина, и кудель, и все такое... А изъ доходовъ часть — это само по себѣ.

Позвали поповскаго сына, не дали даже послѣдній загонъ доборонить. И началъ его, при отцѣ и матери, исправникъ стыдить.

— Ахъ, молодой человѣкъ! молодой человѣкъ!

Но молодой человѣкъ не хочетъ чувствовать да и шабашъ. Только и словъ у него на языкѣ:

— Развѣ запрещено?

— Ахъ, молодой человѣкъ! да развѣ законъ можетъ все предусмотрѣть? И какъ это вы такъ рѣзко позволяете себѣ говорить: запрещено! Не запрещено-съ, а несвойственно-съ. Предосудительно-съ.

Однакожъ, какъ ни стыдилъ исправникъ поповскаго сына, послѣдній точно осатанѣлъ. Твердитъ одно и то же:

— Ваше высокородіе! сдѣлайте божескую милость! позвольте пахать!

Тогда исправникъ, вмѣсто того чтобъ съ кротостью разрѣшить: паши, братецъ (только всего два слова и нужно)! — разодрала на себѣ въ гнѣвъ вицъ-мундиръ и воскликнулъ:

— Прекрасно-съ! пашите-съ! бороните-съ! сѣйте-съ! ха-ха-ха... сѣйте-съ! Только знайте впередъ-съ: я умываю руки-съ!

И, обратившись къ батюшкѣ, добавилъ:

— Жаль, почтеннѣйшій старикъ! и васъ жаль... и его-съ... заблудшаго-съ! И васъ, почтеннѣйшая матушка, жаль... всѣхъ-съ! очень-очень жаль-съ!

Исправникъ ускакалъ, а поповскій сынъ сѣлъ на лошадь и поѣхалъ



доборонивать брошенный законъ. Батюшка вздохнулъ ему вслѣдъ и началъ было: „говорилъ я тебѣ“... но поправился и спросилъ:

— А когда же двойть собираетесь?

Прошло еще недѣли четыре. Поповскій сынъ за это время успѣлъ не только сдвинуть пашню, но и посѣять озимое. Онъ ужъ заранѣе облизывался при мысли, что еще три-четыре недѣли и наступитъ молотьба, какъ вдругъ, въ самый разгаръ его страдныхъ мечтаній, у батюшкинова дома остановился тарантасъ, изъ котораго на этотъ разъ вылѣзъ уже цѣлый статскій совѣтникъ. Статскій совѣтникъ оказался просвѣщенно-благожелательный, хотя и безъ послабленія, и во лбу у него блестѣло „око“, въ знакъ питаемаго къ нему довѣрія. Тѣмъ не менѣе онъ началъ, какъ и всѣ прочіе:

— Чтò за причина такая?

У поповскаго сына даже въ глазахъ позеленѣло при этомъ вопросѣ; однако онъ сдержался и съ твердостью произнесъ:

— Имѣю желаніе молотить!

Статскій совѣтникъ повидимому никакъ не ожидалъ, что дѣло приметъ такой оборотъ. Однако око во лбу его все-таки не замутилось гнѣвомъ, но пристально взглянуло въ глаза собесѣднику и, къ счастью для послѣдняго, обнаружило недоумѣніе, близкое къ пониманію.

— Только и всего?

— Только и всего-съ.

Дѣло было округлено; оставалось только выполнить нѣкоторыя формальности. Призвали понятыхъ и осмотрѣли скарбъ поповскаго сына—оказалось, что онъ укрываетъ три чистыхъ рубахи, новые пестрядинные портки, двѣ пары онучъ и зеркальце, передъ которымъ, „по его показанію“, онъ расчесываетъ по праздникамъ свои кудри. Распоролі матушкины перины — нашли пухъ. Даже подъ косицей у батюшки посмотрѣли, но и тамъ превратныхъ толкованій не нашли. Тогда батюшка осмѣлился и спросилъ:

— За чтò же, вашескородіе, теперича на насъ такое, примѣрно, поношеніе? А притомъ и расходъ?

Первую половину вопроса статскій совѣтникъ призналъ правильною и, дабы удовлетворить потерившую сторону, обратился къ уряднику, сказавъ: „это все ты, каналья, сплетни разводишь!“ Но относительно проторей и убытковъ вымолвилъ кратко: „будьте и тѣмъ счастливы, что Богъ простилъ!“ Затѣмъ, запечатлѣвъ урядника, прослѣдовалъ въ ближайшее село, для изслѣдованія по доносу тамошняго батюшки, будто мѣстный сельскій учитель превратно толкуетъ событія, говоря: „сѣйте горьхи, сажайте капусту, а о прочемъ не думайте!“

А черезъ годъ по дѣлу поповскаго сына вышла резолюція: „поповскому сыну такому-то занятіе молотьбой и ссыпаніемъ зерна въ житницы въ преступленіе не вмѣнять, имѣя лишь наблюденіе, дабы молотилъ чисто“.

Но поповскій сынъ не дождался объявленія этой резолюціи: существованіе его было уже отравлено. Преемственное посѣщеніе будущихъ возимѣло вліяніе не столько на него, сколько на окружающую среду. Кабатчикъ первый произнесъ слово: „сицилистъ“, а за нимъ то же слово стали повторять и мужички. Сначала произносили его нерѣшительно, но потомъ, съ каждымъ

днемъ, все ходѣе и ходѣе. А наконецъ и дѣвки перестали припускать поповскаго сына въ хороводъ. Не для кого стало и кудри по праздникамъ расчесывать.

Съ своей стороны и батюшка съ матушкой не по разуму усердствовали. Съ утра до вечера поповскій сынъ молотилъ, вѣялъ и собиралъ въ житницы, а когда возвращался домой, ему долбили въ уши: „опомнись! восчувствуй!“ А подъ конецъ даже высватали ему невѣсту, у которой одна ноздря залегла отъ природы и одинъ глазъ вытекъ отъ болѣзни.

Тогда поповскій сынъ сказалъ себѣ: „довольно!“ — и въ одно прекрасное утро исчезъ.

Таковъ фактъ. Замѣчательно, что лицо, передававшее его (и прибавлю: хорошо знакомое съ моею литературною дѣятельностью), обратилось ко мнѣ съ словами:

— Вотъ бы вамъ подѣлиться этимъ фактомъ съ читателями!

Признаюсь, я ждалъ совсѣмъ другого. Я думалъ, что мнѣ скажутъ: вотъ фактъ, который вполне подтверждаетъ написанное вами тогда-то!

Ничуть не бывало; написанное мною не запечатлѣлось въ памяти самостоятельно, а пробудило лишь потребность всматриваться въ проходящія явленія и вдумываться въ ихъ смыслъ. Чтожъ! и за то спасибо!

Поэтому и я передаю вамъ рассказъ о приключеніяхъ поповскаго сына въ томъ самомъ видѣ, какъ его слышалъ, отнюдь не стѣняясь тѣмъ, что, быть можетъ, вы упрекнете меня въ повтореніяхъ. Собственно говоря, не я повторяюсь, а всѣ вообще повторяются. И ликующіе, и унывающіе — всѣ на одинъ пунктъ устремили глаза, всѣ одну мысль мыслятъ. Только одни говорятъ объ искорененіи, а другіе — о развитіи. Въ этомъ послѣднемъ смыслѣ, приведенный сейчасть рассказъ и въ повтореніи, право, не бесполезенъ. По моему мнѣнію, онъ пробуждаетъ благородство чувствъ, а въ этомъ-то именно и заключается живѣйшая потребность нашего времени.

## Письмо пятнадцатое.

Милая тетенька.

Весь вчерашній вечеръ я провелъ съ общимъ нашимъ другомъ Глуховымъ.

Въ послѣднее время мы видѣлись очень рѣдко. Съ нимъ сдѣлалось что-то странное: не сказывается дома и самъ нигде не выходитъ, смотритъ угрюмо, молчитъ, не то что бопся, а словно мѣста себѣ не находитъ. Нынче впрочемъ это явленіе довольно обыкновенное. На каждомъ шагѣ мы встрѣчаемъ людей, которыхъ всегда знали разговаривающими и которые вдругъ получили „молчальный даръ“. Ходятъ вялые, унылые, словно необыкновенные сны на яву видятъ. И никому этихъ сновидѣній не повѣряютъ, а молчать, молчать, молчать.

Признаться сказать, мнѣ и самому улыбается молчаніе, и я давненько-



таки не иначе представляю себѣ блаженство, какъ въ этой формѣ. Но все какъ-то не соберусь вкусить. Сидѣть въ своемъ углу и молчать, то-есть не только не разглагольствовать (этого-то я пожалуй ужъ давно достигъ), а совсѣмъ всякія слова и письма позабыть—это тонкое наслажденіе, которое доступно лишь тому, кого продолжительная молчаливая практика исподволь сдѣлала способнымъ вмѣстить его. Особенно хорошо молчать, когда и кругомъ все молчитъ; а еще лучше, когда все посприяталось по угламъ, такъ что даже испуганныхъ лицъ не видишь. Благодіе-то какое! благоустройство! Да пора, наконецъ, и честь знать! Поволновались въ свое время, посуетились около „вопросовъ“, посодѣйствовали—и будетъ. А впредь будемъ жить такъ, что хоть колъ на головѣ теши. Пускай нарождаются вопросы еврейскіе, кабальскіе, вопросы объ оздоровленіяхъ, искорененіяхъ и средостѣніяхъ—какое намъ, дѣло! Пусть люди стонутъ, мучатся, ропщутъ на судьбу, клянутъ законы божескіе и человѣческіе—я забрался въ уголъ и молчу. Не потому молчу, что умудрился, а потому, что не могу отличить, бодрствую ли я или сплю.

Глумовъ забрался ко мнѣ спозаранку и прямо объявилъ, что „вопросы“ тревожить не станетъ, обмѣномъ мыслей заниматься не намѣренъ, а только хочетъ на нѣсколько часовъ уйти отъ одиночества.

— Одичаль, братъ, я,—сказалъ онъ:—нѣкоторое время думалъ, что лучше и не надо. Однако, должно быть, еще не созрѣлъ. Молчалъ-молчалъ, да вдругъ сегодня испугался. Давеча началъ афишку читать—не понимаю да и конецъ! Ну, нѣтъ, думаю, пойду хоть на лицо человѣческое погляжу. Ну, а тебѣ какъ живется?

— Чтò мнѣ дѣлается! По обыкновенію, въ надеждѣ славы и добра...

— Вотъ и прекрасно. Такъ, значитъ, ты занимайся своимъ дѣломъ, а я буду смотрѣть на тебя и молчать.

Такъ мы и поступили. Онъ сѣлъ поодаль и замолчалъ, а я примостился къ письменному столу и началъ обдумывать предстоящее письмо къ вамъ. Тема навертывалась несомнѣнно благодарная. Весна нынче раньше обыкновеннаго порадовала насъ; такъ вотъ поздравить васъ съ дорогой гостьей, да кстати ужъ и воспѣть животворное дѣйствіе ея на обывательскій духъ. Хотѣлъ писать о томъ, какъ легко ходить по улицамъ въ холодномъ пальто и какая чувствуется отрада при видѣ распутившихся передъ Маріинской больницей тополей; о томъ, что мы ѣдимъ ужъ сморчки и щи изъ свѣжей крапивы, а недавно лакомились даже ботвиньей; о томъ, что думаемъ въ скорости перебраться на дачу, а тамъ пойдутъ ягоды, щи изъ свѣжей капусты, свѣжепросольные огурцы... Словомъ сказать, обо всемъ, чего такъ страстно, въ теченіе цѣлой зимы, жаждало наболѣвшее сердце. Весна-волшебница! восклицалъ я мысленно:—ты вливаешь жизнь въ одряхлѣвшія сердца, ты подаешь старцамъ силу и бодрость молодости! ты расцвѣчаешь улыбкой лица человѣконенавистниковъ! ты пробуждаешь пѣсню въ соловѣѣ, поэтѣ и кузнечикѣ! Привѣтъ тебѣ, жизнодавица! привѣтъ, волшебница, безкорыстно сыплющая чары на пути своемъ! И да будетъ благословенно...

Но только-что я обмакнулъ въ чернила перо, чтобъ изобразить на бумагѣ весеннія волшебства, какъ Глумовъ словно отгадалъ мои намѣренія.

— Берегись!—сказала она угрюмо:—пиши правду, а „сочинителей“ и безъ тебя довольно!

Послѣдовало короткое объясненіе, но Глумовъ не только не отказался отъ своего предостереженія, а, напротивъ, даже присовокупилъ:

— Вотъ сморчки, щи изъ крапивы, огурцы — объ этомъ ты можешь писать, потому что это правда; что же касается до вливанія жизни въ сердца, то этого не существуетъ въ дѣйствительности, а стало быть и „сочинять“ незачѣмъ. Налжешь, введешь простодушныхъ въ заблужденіе — что хорошаго! А кромѣ того и самъ нечувствительно въ распутство вступишь. Сегодня ты только для краснаго слова „сочинишь“, а завтра пожалуй скажешь: а что въ самомъ дѣлѣ!—а послѣ завтра и впрямь въ тебѣ сердце начнетъ играть!

Говоря по совѣсти, Глумовъ былъ правъ. Хотя „сочинительство“ имѣетъ свою привлекательность (и читательская масса къ нему пристрастіе выказываетъ), но, въ сущности, это ремесло довольно безсовѣстное. Непремѣнно требуется лгать и притомъ такъ лгать, чтобы другіе приняли ложь за правду. Если это дѣлается „за лакомство“, то ясно, что въ такомъ дѣйствіи участвуетъ прямая подлость; если же дѣлается невѣдомо зачѣмъ, только по глупости, такъ и тутъ хорошаго мало. Въ сущности, „сочинять“ — все равно, что обѣденные спичи говорить. „Пью за процвѣтаніе!“ предлагаетъ одинъ; „пью за преуспѣяніе!“ вторитъ другой — а между тѣмъ всѣ отлично знаютъ, что никто и ничто не преуспѣетъ и не процвѣтетъ. Не дай Богъ къ этому привыкнуть. Опасность тутъ очень серьезная, ибо „сочинитель“ солжетъ разъ, солжетъ другой, а потомъ и самъ своему лганью повѣрить. И дойдетъ незамѣтнымъ образомъ до „Помоевъ“.

Въ виду этихъ соображеній приходилось выбрать для письма тему хотя и не столь благодарную, но за то болѣе обстоятельную.

Однакожъ Глумовъ очевидно только похвастался, что намѣренъ молчать, потому что не успѣлъ я передумать сейчасъ изложенное, какъ онъ уже продолжалъ:

— А ты пиши такъ: никогда хуже не бывало!—вотъ это будетъ настоящая правда!

Меня даже передернуло при этихъ словахъ. Ахъ, тетенька! двадцать лѣтъ сряду только ихъ и слышишь! Только-что начнешь забываться подъ журчаніе мудрецовъ, только-что скажешь себѣ: чѣмъ же не жизнь!—и вдругъ опять эти слова. И добро бы серьезное содержаніе въ нихъ вкладывалось: вотъ, молъ, потому-то и потому-то; съ одной стороны, съ точки зрѣнія экономической, съ другой — съ точки зрѣнія юридической; а вотъ, молъ, и средства для исцѣленія отъ недуга... Такъ нѣтъ-же! „не бывало хуже“ — только и всего!

— А ты бы вспомнилъ, что слишкомъ двадцать лѣтъ ты эту фразу твердишь и все въ одной и той же редакціи!—возразилъ я не безъ горечи.

— Потому и твержу, что двадцать лѣтъ сряду все „хуже никогда не бывало“. Не успѣешь докончить восклицаніе — анъ опять приходится съизнова начинать. И сравнивать даже незачѣмъ: не бывало хуже — вотъ и все. И прежде, и послѣ, и теперь — всегда!



— Да ты хоть бы далъ себѣ трудъ объяснить, почему тебѣ такъ сдается?

— И объяснять не нужно, потому что само по себѣ ясно. И не „сдается“ мнѣ совѣмъ, а и кожей, и внутренностями — вѣмъ чувствую... Понимаешь, вѣмъ естественнѣе, всегда, на всякомъ мѣстѣ чувствую: хуже не бывало!

— И все-таки объясниться не лишнее, — упорствовалъ я. — Вотъ ты говоришь: хуже не бывало! — а самъ между тѣмъ живешь да поживаешь! Это тебѣ замѣтить могутъ. Не даромъ съ Москвы благонамѣренные голоса несутся: зачѣмъ, молъ, цензура преграды „нимъ“ ставить! пускай на свободѣ объясняется!

— А мы, дескать, послушаемъ, да и изловимъ... Прекрасно. Такъ чтожъ, и за объясненіемъ дѣло не станетъ. Крѣпостное право помнишь? — ну, такъ вотъ тамъ и ищи объясненія. Вѣчная барщина, вѣчная крѣпость, вѣчное ожиданіе мучительныхъ сюрпризовъ, отъ которыхъ освобождала только „красная шапка“ да Сибирь. А люди все-таки жили! Въ каждомъ губернскомъ архивѣ ты найдешь безконечный мартирологъ, свидѣтельствующій о человѣческой живучести; а сколько отдѣльныхъ единицъ этого мартиролога замучено домашнимъ образомъ, сколько досталось въ жертву заплечному мастеру подъ наименованіемъ татей, душегубовъ, разбойниковъ? Ужели эти люди не имѣли права говорить: „хуже не бывало“? ужели они обязывались сравнивать, объяснять, почему они такъ говорятъ? Подумай, вѣдь новыя-то раны наводились по незажившимъ еще недавнимъ ранамъ — не естественно ли при такомъ условіи, что сегодняшнія боли терзали больнѣе вчерашнихъ? Да, никогда не бывало хуже, никогда! только завтра, быть можетъ, хуже будетъ!

Глумовъ волновался и клокоталъ. Но продолжительная отвычка отъ словесныхъ упражненій уже сдѣлала свое дѣло, такъ что, произнеся свою сравнительно короткую тираду, онъ изнемогъ и замолчалъ. Что касается до меня, то хотя и мелькнула въ моей головѣ резонная мысль: „а все-таки это только уподобленіе, а не объясненіе“ — тѣмъ не менѣе я почему-то застыдился и догадки своей не высказалъ.

Я унесся воображеніемъ въ далекое прошлое и воспоминалъ. Въ самомъ дѣлѣ, голубушка, чего мы съ вами только не насмотрѣлись, чему не были свидѣтелями! Цѣлое организованное неистовство прошло передъ нами, цѣлая туча мрака, безъ просвѣта, безъ надеждъ. А мы прогуливались подъ сѣнью тѣнистыхъ деревьевъ, говорили о возвышающихъ душу обманахъ и внимали цѣнью соловья! Какъ назвать насъ за это? Были ли мы развращены до мозга костей, или просто жили какъ во снѣ, ничего не понимая и ни въ чемъ не отдавая себѣ отчета? „Мы были молоды“, скажете вы; но вѣдь это-то именно и страшно. Въ молодости человѣкъ болѣе чутокъ къ страданіямъ ближняго, молодое сердце легче раскрывается, молодая мысль быстрѣе усваиваетъ вишія впечатлѣнія. А насъ точно заколодило. Земля подъ нами разрывалась отъ стоновъ, а мы ходили какъ по паркету; хлѣбъ, который мы ѣли, вопіялъ, а мы ѣли да похваливали... Право, что-то проклятое было въ этой молодости; какъ будто она только затѣмъ и дана была, чтобы впослѣдствіи, черезъ десять лѣтъ, цѣлымъ порядкомъ фактовъ напомнить намъ о томъ, что металось передъ нашими глазами и чего мы не видѣли, что не-

молчно раздавалось у насъ въ ушахъ и чего мы не слышали. Напомнить: вотъ, молъ, восчувствуйте! — и бросить намъ въ воздаііе мучительную, наполненную фантомами прошлаго старость...

Самые лучшіе изъ насъ ограничивались тѣмъ, что умывали руки или ронтали другъ другу на ухо; средніе — старались избѣгать „зрѣлищъ“, чтобы не свидѣтельствовать объ нихъ; заурядные — не только не ронтали и не избѣгали, но прямо, съ виртуозностью и злорадствомъ, окунались въ самый омутъ неистовствъ. И всѣ эти категоріи, вмѣстѣ взятыя, представляли собой такъ-называемое „молодое поколѣніе“. И Глузовъ былъ тутъ, и онъ наравнѣ съ другими ронталъ, судачилъ и рассказывалъ поскудные анекдоты. И вотъ теперь, на старости, мы вдругъ стали припоминать, изумляться, страдать: какъ, дескать, насъ не рѣзорвало! Теперь, когда все для насъ кончено, когда ужъ попы засматриваются на насъ, а гробовщики надоѣдаютъ прислугѣ вопросомъ: скоро ли „баринъ“ умереть? — теперь, въ виду готовой могилы, намъ приходится, какъ какимъ-нибудь Прошкамъ и Аксюткамъ до-реформенныхъ временъ, вопіять: хуже не бывало!

Было хуже, милая тетенька, но мы тогда пальцемъ не шевельнули, шага не сдѣлали, чтобы выйти на борьбу съ этимъ худомъ. Мы думали что Прошки да Аксютки такъ ловко вынесутъ это худое на плечахъ своихъ, что насъ и не задѣнетъ; а на повѣрку оказалось (на старости-то!), что и у насъ спина изсѣчена! Повторяясь и не встрѣчая отпора, худое на старыя незажившія раны наводило новыя и новыя, и наконецъ довело организмъ до того, что всякій новый — даже сравнительно слабый — уколъ чувствуется мучительноѣе, нежели цѣлая свита жесточайшихъ изъязвленій прошлаго. Когда мы были сильны и молоды, мы горѣли возвышенными чувствами и упивались благородными идеями; но мы дѣлали это исключительно для собственного употребленія, забывая, что горѣніе и упоеніе необходимо обезпечить, если хочешь, чтобы они не изгибли въ будущемъ безъ слѣда. А теперь, когда они изгибли, мы кричимъ крикомъ: нѣтъ возвышенныхъ чувствъ! исчезла изъ обихода благородная мысль! никогда не бывало хуже, никогда!

Васъ, быть можетъ, возмутятъ эти вопли; вы скажете: да это же, наконецъ, несправедливо! мы видѣли не только худшія, но и несомнѣнно жестокія времена — какимъ же образомъ утверждать, что можетъ существовать что-нибудь превосходящее жестокость видѣннаго и испытаннаго нами! — Да, милая тетенька, эти вопли дѣйствительно несправедливы, но тутъ совершается одна изъ тѣхъ фатальныхъ несправедливостей, отъ которыхъ никуда не уйдешь. Это та самая несправедливость, которая не обращаетъ вниманія на смягченіе и исчезновеніе отдѣльныхъ подробностей, а имѣетъ въ виду основы. Подъ игомъ мысли о непреоборимости этихъ „основъ“ человѣкъ теряетъ способность сравнивать, взвѣшивать и оцѣнивать, и весь отдается охватившему его чувству несправедливости.

Возьмите для примѣра хоть слѣдующее. Прежде говаривали: „человѣкъ смертенъ двояко: во-первыхъ, по божескому произволенію, и, во-вторыхъ, по усмотрѣнію“; а нынѣ къ послѣдней части этого положенія прибавляютъ: „по правиламъ о Макарь телятъ не гонящемъ установленнымъ“. Кажется, маленькая прибавка сдѣлана (многіе даже „упорядочненіемъ“ ее



называютъ, или „введеніемъ произвола въ рамки законности“), а какая въ ней чувствуется обида! Начать съ того, что прежнее положеніе о порядкѣ пристиженія смертью принадлежало къ области права обычнаго, а не писаннаго. Партикулярный человѣкъ слѣдовалъ ему, какъ прирожденной идеѣ. Нося эту идею въ своемъ сердцѣ, вмѣстѣ съ прочими таковыми же, и безпрекословно признавая ея авторитетъ, онъ однакожь понималъ, что право быть смертнымъ „по усмотрѣнію“ отнюдь не принадлежитъ къ числу такихъ, которыми можно было бы кичиться. И вдругъ ему не только во всеуслышаніе напоминаютъ, что онъ двоюко смертенъ, но еще прибавляютъ, что по сему предмету существуютъ какія-то правила! Ужели это не обида? Прежде хоть клейма-то на немъ не было, а отнынѣ стоитъ ему носъ показать наружу, чтобъ услышать: „ахъ, да вѣдь это тотъ самый!“ А кромѣ того и страхъ. Потому что, если разъ на бумажкѣ написано „смертенъ“, такъ ужъ прямо, значить, и заруби у себя на носу: теперь, братъ, не пронесетъ!

Вотъ чтó значить по изъязвленному мѣсту новыя язвы наводить. Даже „упорядочить“ ничего нельзя, потому что намѣренія самыя похвальныя словно волшебствомъ превращаются въ благосклонное ковыряніе незажившихъ ранъ.

— Самообольщеніе какое-то всѣхъ одолѣло,—продолжалъ между тѣмъ Глумовъ:—все думается, какъ бы концы въ воду схоронить или дѣло кругомъ пальца обвести. А притомъ и распутство. Какъ змѣй, проникаетъ оно въ общество и поражаетъ ядомъ неосторожныхъ. Малодушіе, предательство, хвастовство, всѣхъ сортовъ лганье... можетъ ли быть положеніе горше этого!

Онъ говорилъ съ разстановкою и притомъ такъ рѣшительно, какъ будто не только не ждалъ возраженій, но и не предполагалъ ихъ возможности. Эта увѣренность была до того тяжела, что я позабылъ мои недавнія размышленія и почти гнѣвно крикнулъ:

— Да не раздражай! говори, куда же дѣваться? вѣдь надо же существовать!

Но онъ вмѣсто отвѣта загадочно проворчалъ:

— Вотъ! оно самое и есть!

— Ну?

— Я, братъ, всю зиму, съ октября, вотъ какъ провелъ: въ оперѣ не былъ, Сару Бернаръ не видалъ, объ Сальвини только изъ афишекъ знаю. Сверхъ того: въ книжку не заглядывалъ, газетъ не читалъ... И чтó всего важнѣе—ни разу не ощутилъ, что чего-нибудь недостаетъ.

— Чтó же ты дѣлалъ? лапу сосалъ?

— Жилъ. Вся зима, яко ночь едина, прошла. Только сегодня, ужъ и самъ не знаю съ чего, опомнился. Всталъ утромъ, думаю: никакъ ужъ ноябрь прикатилъ—глядь, анъ на дворѣ май. Ну, испугался.

— Да, можетъ быть, ты наитки во множествѣ принималъ?

— Не особенно много. И пилъ, и ѣлъ—обыкновенную препорцію. Кажется, даже размышлялъ. А ты... размышлялъ?

— Да тоже... Какой однакожь у насъ разговоръ нелѣпый! Представь себѣ, если всѣ-то начнутъ такъ жить, какъ ты зиму прожилъ.. хороша исторія будетъ?

— Нельзя *остымъ* такъ жить: загвоздка есть. Мужикъ, напримѣръ. Онъ, поди, пашетъ теперь, потомъ начнетъ сѣять, навозъ возить, косить, онять пахать, снопы убирать, молотить, вѣять. А зима наступитъ — повезетъ навѣянное въ городъ продавать, станетъ подати платить и въ возданіе — будетъ набивать себѣ мамонъ толочномъ. Толочко — это нашъ главный государственный врагъ: онъ „баланецъ“ портитъ! Подумай! сколько осталось бы къ вывозу и какъ бы поднялся нашъ рубль, еслибъ мужикъ мамона не набивалъ! Ну, да ужъ съ этимъ надо примириться: вѣдь и мужичка надо пожалѣть! Бдѣть, братецъ, онъ! а покуда онъ бдѣть, мы можемъ всяко жить: и такъ, какъ я зиму прожилъ, и въ вѣчной мелькательной суетѣ, какъ живетъ, напримѣръ, нашъ общій другъ, Грызуновъ.

— Только скажу тебѣ прямо: по твоему жить — значить пропасть.

— То-то что для меня не ясно, какимъ путемъ удобнѣе пропасть, или, лучше сказать, какъ это устроить приличіе. Это-то я понимаю, что пропасть во всякомъ случаѣ не минешь, да сдается, что, по моему-то живя, пропалъ человѣкъ — только и всего, а по-Грызуновски мелькая, пропасть-то пропалъ, да сколько еще предварительно наचाдилъ!.. Вотъ этого-то мнѣ и не хочется.

Глумовъ помолчалъ съ минуту и продолжалъ:

— Вопросъ о томъ, что лучше и цѣлесообразнѣе: скромное ли общеніе, или блудливая повадливость...

— Повадливость... да еще блудливая! — не удержался я: — почему-жъ непременно блудливая?

— Дай срокъ, все въ своемъ мѣстѣ объясню. Такъ вотъ говорю: вопросъ, которая манера лучше, выдвинулся не со вчерашняго дня. Всегда были теоретики и практики, и всегда шель между ними споръ, какъ пристойнѣе жизнь прожить: ничего не совершивъ, но въ то же время удержавъ за собой право сказать: „по крайней мѣрѣ я навозной жижи не хлебнулъ!“ или же, погрузившись по уши въ золото, въ видѣ награды сознавать, что вотъ-молъ и я свою капелю въ сосудъ преуспѣянія пролил...

— Постой! ты сразу такъ уродливо ставишь вопросъ, что даже представить себѣ нельзя, къ какимъ выводамъ, кромѣ произвольныхъ, можно придти при подобной постановкѣ. Ну, что же можетъ быть общаго между дѣятельнымъ участіемъ въ разрѣшеніи вопросовъ преуспѣянія и погруженіемъ въ золото?

— Фатумъ такой — только и всего. Вотъ это-то я и называю блудливостью; человѣкъ говоритъ о преуспѣяніи, а самъ лѣзетъ прямой дорогой въ навозъ: что, молъ, дѣлать! безъ компромиссовъ нельзя! Я ужъ не говорю о тѣхъ практикахъ, которые погружаются въ навозъ, находя, что тамъ уютно и тепло; но есть практики честные, которые дѣйствительно приходятъ съ намѣреніемъ сдѣлать ябчто доброе... Знаешь ли, какъ они о своей дѣятельности выражаются? Они говорятъ: дѣлю въ преуспѣяніи, а не въ томъ, что къ намъ пристанетъ нечисть; мы иксы и игреки, которые обязываются внести свою лепту и исчезнуть — кому же какая надобность справляться, замараны они или не замараны? Оттого-молъ и заступніе у насъ идетъ, что люди, которые что-нибудь могутъ, предпочитаютъ въ свѣтозарныхъ одеждахъ ходить...



— Чтожъ, мнѣ кажется, это разсужденіе вполне правильное и честное!

— Я и не отрицаю; я только констатирую, что честные практики сами признають, что на практической почвѣ не обойдешься безъ общенія съ нечистью. Да и не обойдешься. Практика, любезный другъ — это неволя, и притомъ самая горькая. Это не открытая арена, на которой человѣческая мысль чувствуетъ себя свободною, а заглубѣвшее и поросшее волчцами пространство, надъ которымъ властно тяготѣетъ насиліе и невѣжественность. Не съ тѣмъ туда приходятъ, чтобъ подчинить темныя силы завѣтной идеѣ, а съ тѣмъ, чтобы подчинить идею темнымъ силамъ и потомъ исподволь вызвать у послѣднихъ благосклонное согласіе хоть на какую-нибудь крохотную сдѣлку. Оказывается, значить, что идею-то принесли богатую и плодущую, а въ жизнь ее провели сплюсненную, искалѣченную. Выторговали на грошъ, а поступились на миллионъ. И поступились не поверхностнымъ только образомъ, а цѣною утраты человѣческаго образа. Это до такой степени правда, что тѣ, которые поумнѣе, сунуть носъ, да и драло. Да ты, братецъ, вспомни! Небось у тебя бывали въ прошломъ примѣры... Припомни-ка, да тогда и скажи, уродливо или неуродливо я поставилъ вопросъ о сліянніи практики съ нечистью.

Я началъ припоминать — и припомнилъ. Дѣйствительно, что-то такое было. Помните, милая тетенька, мы въ концѣ пятидесятихъ годовъ зазнали въ Москвѣ одного начинающаго публициста („другомъ Грановскаго“ онъ себя называлъ) — какая это казалась милая, симпатичная личность! И мыслей благородныхъ пропасть, и возвышенныхъ чувствъ черезъ край, и все это такимъ пріятнымъ слогомъ выражалось, что мы начитаться не могли. Вотъ онъ-то именно и говорилъ: „что мы такое? мы — безвѣстныя величины, которыя всего меньше должны думать о себѣ и всего болѣе объ общемъ благѣ“. И всѣхъ призывалъ къ служенію. Да! хорошее, доброе было это время!

И что же! не уцѣли мы оглянуться, какъ онъ ужъ окупуделъ, или — виновать — пристроился. Сначала примостился бочкомъ, а потомъ сѣлъ и поѣхалъ. А теперь и совсѣмъ въ развратъ впалъ, такъ что отъ прежней елейной симпатичности ничего, кромѣ греческихъ спряженій, не осталось. Благородныя мысли потускибли, возвышенныя чувства потухли, а объ общемъ благѣ и рѣчи нѣтъ. И мыслить, и чувствуетъ, и пишетъ — точно весь свой вѣкъ въ Охотномъ ряду цатокѣй съ имбиремъ торговалъ!

— Ты это о комъ вспомнилъ? — обезпокоился Глумовъ, проникая въ мою мысль.

Я назвалъ. Разумѣется, обинякомъ.

— Брось! — разсердился онъ: — ишь вѣдь... не можетъ забыть!

— Охотно забуду, — возразилъ я: — по вѣдь если мы подобныя личности въ сторонѣ оставимъ, то вопросъ-то пожалуй совсѣмъ иначе поставить придется. Если рѣчь идетъ только о практикахъ убѣжденныхъ, то они не претендуютъ ни на подачки въ настоящемъ, ни на честванія въ будущемъ. Они заранѣе обрекають свои имена на забвеніе и, считая себя простыми иксами и игреками, освобождаютъ себя отъ всякихъ заботъ относительно „замаранности“ или „незамаранности“. По моему это своего рода самоотверженіе.

— А позволъ узнать, какое такое общее благо эти иксы и игреки съ помощью своего самоотверженія получили?

— Какъ какое?—вспыхнулъ я:—а упраздненное крѣпостное право? а гласный судъ?

Глумовъ окончательно разсердился.

— Ну, давай говорить. Отвѣчай: былъ ты въ числѣ сочувственниковъ и распространителей идеи объ упраздненіи крѣпостного права?

— Былъ.

— И тебя не травили за это?

— Травили.

— Сочувствовалъ ты идеѣ гласнаго судопроизводства?

— Сочувствовалъ.

— Травили тебя за это?

— Травили.

— А вотъ князь Букназба искони былъ завѣдомымъ крѣпостникомъ, а его не только не травили, но преблагополучно пристроили къ крестьянской реформѣ. Графъ Твердоонтѣ былъ явнымъ ненавистникомъ гласнаго суда, а чуть было этотъ судъ совсѣмъ не слопалъ.

— Чтожъ изъ этого! и крестьянская реформа, и гласный судъ все-таки остались!

— Это, любезный другъ, ужъ сама жизнь оставила, а практика-то только того добила, что ненавистниковъ пристроила, а сочувственниковъ всѣхъ поголовно перетравила. Тѣ практиканты, которые на своихъ плечахъ эти вопросы вынесли, развѣ они не разбѣжались всѣ?

— И, все-таки, повторяю: не въ томъ важность, кто остался и кто исчезъ, а въ томъ, что самое дѣло осталось.

— А ты думаешь, что оно, такъ-таки, въ цѣлости и осталось? Въ такомъ ли видѣ, наприимѣръ, ты его провидѣлъ и ожидалъ? не потщились ли Букназба и Твердоонтѣ вынуть изъ него сердцевину или, по крайней мѣрѣ, настолько ее атрофировать, чтобы имъ можно было орудовать на всей своей волѣ! Нѣтъ, любезный другъ, на практикантовъ надежда плоха. Родители-то наши полтора-два лѣтъ сряду только и дѣлали, что узелки на память завязывали. Завязали, ничѣмъ не обезпечили да и бросили: пускай-молъ благодарные потомки какъ знаютъ, такъ и развязываютъ. А мы эти узелки бережемъ, величіе и основу въ нихъ видимъ. И никакіе самые ловкіе практики не заставятъ насъ сказать имъ: развязывайте, господа! да поможетъ вамъ Богъ! Шутите, господа! пусть лучше совсѣмъ затянется узелъ, чѣмъ какихъ-то профановъ къ нему допустить! И если въ этомъ случаѣ ты надѣешься на ловкость практиковъ, то, значить, ты очень наивенъ—и больше ничего.

— Ни на что я не надѣюсь, а знаю только, что такъ жить, чтобы цѣлая зима показалась яко ночь едина, совсѣмъ несвойственно.

— Это я и самъ знаю, да какъ же быть? Вотъ мужикъ—тотъ всегда ровнѣе живетъ, а мы...

Онъ не докончилъ и совершенно неожиданно обратился ко мнѣ съ вопросомъ:

— Ты съ теткой-то продолжаешь переписываться?



— Продолжаю.

— А она отвѣчаетъ тебѣ когда-нибудь?

— Рѣдко и несложно. „Цѣлую тебя несчетно“ — только и всего.

— Ну, такъ вотъ чтѣ. Наниши ты ей, что очень ужъ она повадлива стала. Либеральничаетъ, а между тѣмъ съ Пафнутьевымъ шепчется, „Помои“ почитываетъ. Можетъ быть, благодаря этой повадливости и развелось у насъ такое множество гаду, что шагу ступить нельзя, чтобъ онъ не обдѣлчилъ тебя со всѣхъ сторонъ.

Сказаль и ушелъ.

Замѣчаніе Глумова на вашъ счетъ застало меня нѣсколько врасплохъ.

Неужели, милая тетенька, вы и въ самомъ дѣлѣ повадливы? Право, до сихъ поръ и въ голову мнѣ этотъ вопросъ не приходилъ.

Повадливость бываетъ двоякаго рода: преднамѣренная и легкомысленная. Въ которой изъ двухъ вы оказываетесь повинною?

Преднамѣренная повадливость свойственна тѣмъ практикантамъ, которые, какъ выразился объ нихъ Глумовъ, надѣются пролить свою капельку въ сосудъ преуспѣянья. По мнѣнію Глумова, подобная повадливость нерѣдко граничитъ съ вѣроломствомъ и предательствомъ и почти всегда оканчивается урѣзками въ первоначальныхъ убѣжденіяхъ и уступкой такихъ основныхъ пунктовъ, отсутствіе которыхъ самую благонамѣренную практику сводитъ къ нулю. Или, говоря другими словами, полного вѣроломства нѣтъ, но полувѣроломство ужъ чувствуется.

Въ повадливости этой категоріи я, конечно, не рѣшусь васъ укорить. Вы — милая: это рѣшено и подписано. Не только о вѣроломствѣ, но и о практикѣ вы имѣете лишь смутное понятіе. Чтѣ такое „сосудъ преуспѣянья“? За чѣмъ онъ и кому нуженъ? какіе такіе бываютъ вклады, лепты и проч.? Какимъ путемъ и чтѣ ими достигается?—всѣ эти вопросы дошли до васъ въ видѣ отдаленнаго гула, изъ третьихъ-четвертыхъ рукъ, и притомъ въ самомъ недостовѣрномъ видѣ. Да и не нужно вамъ совѣмъ объ нихъ знать, потому что вы призваны не для того, чтобы приводить въ дѣйствіе практику, а для того, чтобы служить для нея мишенью. Ради васъ поступаютъ люди убѣжденіями, ради васъ вѣроломствуютъ. А вы, голубушка, только вздрагиваете и спрашиваете себя: на чемъ же, однако, они покончатъ? Къ какому придутъ относительно меня соглашенію?

Еслибъ вы даже хотѣли быть вѣроломною, то васъ не допустить до этого. Право на практику и соединенное съ нею вѣроломство (полное и неполное) есть своего рода привилегія, къ обладанію которой допускаются лишь избранныки. Ваша же привилегія „совѣмъ другого сорта“ и заключается въ претерпѣніи. Избранныки выполняютъ свое назначеніе: устраиваютъ компромиссы, входятъ въ соглашенія, заключаютъ союзы, а вы несете на себѣ послѣдствія этой дѣятельности и не возражаете. Чтѣ подобное положеніе не можетъ быть названо лестнымъ — съ этимъ я готовъ согласиться; но чтобъ слѣдовало сокрушаться по этому поводу—этого не скажу. Думаю даже, что подвергаться практикѣ все-таки пристойнѣе, нежели практиковать самому.

Тѣмъ не менѣе, подобныя сокрушенія слышатся нынче довольно часто. Надоѣло сознавать себя пятымъ колесомъ въ колесницѣ. Да, пожалуй, даже не колесомъ, а вольнымъ шляхомъ, по которому колесница катается себѣ да катается взадъ и впередъ. Мало привлекательнаго въ этомъ сознаніи — это такъ; но все-таки, на случай, если васъ черезчуръ пристигнетъ чувство обиды, совѣтую вамъ спросить себя: хотѣли ли бы вы быть однимъ изъ четырехъ колесъ этой катающейся колесницы? Увѣрю васъ, что не успеете вы формулировать вашъ вопросъ, какъ всю вашу обиду какъ рукой снять.

Роль, на которую мы съ вами осуждены, совсѣмъ простая. Намъ предложено жить безъ заботъ о себѣ. Истуканы такъ живутъ. Ихъ украшаютъ сусальнымъ золотомъ, ихъ размазываютъ и даже проводятъ по нимъ рѣзцомъ штрихи съ цѣлью сообщить чертамъ согласное съ обстоятельствами выраженіе, а они молчатъ да молчатъ. Бываютъ между ними такіе, которые находятъ, что все-таки лучше быть истуканомъ, нежели рѣзцомъ; но бываютъ и такіе, которые думаютъ: вотъ когда меня окончательно размазуютъ — то-то заглядываться на меня станутъ! Но, по моему мнѣнію, это ужъ гордость.

И такъ, въ преднамѣренной повадливости я обвинять васъ не имѣю основанія. Но существуетъ повадливость легкомысленная, сущность которой заключается не столько въ дѣятельномъ распутствѣ, сколько въ его укрывательствѣ и попустительствѣ. Нѣтъ явнаго сочувствія — скорѣе, я допущу даже стыдливость, — но есть нравственная неустойчивость, которая вноситъ въ отношенія къ жизненнымъ явленіямъ элементъ дряблости и недомыслія. Вотъ въ этой-то повадливости не повинны ли вы, милая тетенька? Сдается мнѣ, какъ будто нѣчто въ этомъ родѣ сквозить...

Условій, которыя благоприятствовали и благоприятствуютъ развитію въ васъ легкомысленной повадливости, существуетъ кругомъ очень достаточно.

Припомню въ нѣсколькихъ чертахъ наше воспитаніе. Хотя въ смыслѣ буквальной правды и нельзя сказать, что мы съ вами получили образованіе на мѣдныхъ деньги, однако въ смыслѣ правды внутренней именно только такое опредѣленіе и можно назвать выражающимъ дѣйствительную суть дѣла. Денегъ на наше образованіе швырялось съ три пропасты, но знаній на эти деньги приобрѣталось на грошъ. Люди, которые занимались швыряніемъ денегъ, не имѣли понятія ни о томъ, что такое знаніе, ни о томъ, для чего оно нужно. Вся человѣческая жизнь приурочивалась къ цѣлямъ совершенно постороннимъ знанію; послѣднее же пристегивалось къ нимъ, какъ составная часть обязательной привилегіи. Конечно, мы уже не застали образовательной обстановки Простаковскихъ временъ и только по устнымъ рассказамъ (впрочемъ отъ очевидцевъ) намъ сдѣлались извѣстны такія личности, какъ г-жа Простакова, Тарасъ Скотининъ и проч., однакожъ Митрофанушку и теперь нельзя назвать анахронизмомъ. Вѣдь и на него не жалѣли денегъ, и у него цѣлыхъ три наставника было, а сверхъ того была Еремѣвна, на которой лежало общее руководство. Точно то же повторилось и съ нами. Для насъ нанимали цѣлую уйму Вральмановъ, Цыфиркиныхъ, Кутейкиныхъ (конечно, нѣсколько усовершенствованныхъ), а общее руководство, вмѣсто Еремѣвны, возлагали на холопа высшей школы. Вральманы пичкали насъ коротенькими знаніями (былъ одинъ годъ, напримѣръ, когда я *одновременно*



обучался одиннадцати „наукам“ и въ томъ числѣ „Пенину свинству“, о которомъ недавно вамъ писалъ), а холопъ высшей школы внушалъ, что цѣль знанія есть исполненіе начальственныхъ предначертаній.

Свѣдѣнія доходила до насъ коротенькія, безсвязныя, почти безсмысленныя. Они не ассимилировались, а механически зазубривались, такъ что будущая ихъ судьба вполнѣ зависѣла отъ богатства или бѣдности памяти учащагося. Ни о какомъ фондѣ, могущемъ послужить отправнымъ пунктомъ для будущаго, и рѣчи быть не могло. Повторяю: это было не знаніе, а составная часть привилегіи, которая проводила въ жизни рѣзкую черту; *надъ* чертою значились мы съ вами, люди досужіе, правящіе; *подъ* чертою стояло одно только слово: мужикъ. Вотъ, чтобъ не очутиться на одномъ уровнѣ съ мужикомъ, и нужно было знать, что Парижъ стоитъ на рѣкѣ Сенѣ, и что Калигула однажды велѣлъ привести въ сенатъ своего коня.

Мужикъ! вѣдь это что-то до того позорное, что достаточно одного сравненія съ нимъ, чтобы заставить правящаго младенца сторѣть со стыда. „Что локти на столъ положилъ — точно мужикъ! что въ носу ковыряешь — точно мужикъ! Смотри, какой кусокъ въ ротъ запихалъ — точно мужикъ!“ Такъ и гвоздили со всѣхъ сторонъ. И что всего замѣчательнѣе: усерднѣе всѣхъ въ этомъ смыслѣ гвоздила Еремѣевна. Ахъ, эти холопы! на какой бы служебной ступени они ни были поставлены, есть что-то горькое и слѣпое въ ихъ судьбѣ! Вѣчно пресмыкаться и вѣчно же видѣть въ этомъ пресмыканіи нѣчто неизбѣжное, почти заслуженное!

Съ такимъ запасомъ знанія школа ежегодно выбрасывала изъ своихъ нѣдръ тысячи юношей. Снабженные патентами, эти правящіе юнцы переходили изъ малой казны въ большую казну. Полученное скудное знаніе только въ рѣдкихъ случаяхъ давало позывъ къ дальнѣйшему самообразованію, въ громадномъ же большинствѣ пробуждало лишь стремленіе какъ можно скорѣе и полнѣе воспользоваться добытою привилегіей. Слава Богу, „не мужикъ“ — и будетъ съ насъ. Одной этой заслуги было вполнѣ достаточно, чтобы признать человѣка способнымъ и достойнымъ. Всѣ дороги открывались передъ нимъ, — дороги, уснащенные разнообразнѣйшими видами правъ, привилегій, лакомствъ и наградъ. Понятно, какое несмѣтное воинство шалопаевъ должно было оказаться въ результатѣ этой изумительной воспитательной муштровки, счастливо сочетавшей невѣжественность съ системой поощреній и премій за оную.

Я не говорю, чтобъ эти шалопаи были сплошь злые или порочные люди; я думаю даже, что при легкомысліи тогдашняго воспитанія самое шалопайство не могло получить вполнѣ злостнаго характера. И знаю многихъ, которые съ теченіемъ времени опомнились. Но когда опомнились? — тогда, милая тетенька, когда старые корабли уже были сожжены, когда уйти назадъ въ прошлое было нельзя, а идти впередъ значило погрузиться въ тотъ омутъ, въ которомъ кишать расхитители, клеветники, сыщики и тѣ неслыханные „публицисты“, чудовищная помѣсь Мессалины и Марата, сдѣлавшіе соединить въ своемъ ремеслѣ распутство первой и человѣконенавистничество послѣдняго. Картина этой бѣсовской вакханаліи до такой степени испугала ихъ, что они оказались болѣе чистоплотными, нежели можно было ожидать.

Но могут ли эти ономнившиеся предпринять какую-нибудь борьбу? да и не только они, но даже и тѣ „лучшіе“, которые, переступивъ черезъ школьный порогъ, сразу признали шалопайство шалопайствомъ? Къ сожалѣнію, на эти вопросы приходится отвѣчать отрицательно. И у тѣхъ, и у другихъ багажъ до того легокъ, что невольно приходитъ на мысль, дѣйствительный ли это багажъ, или только примѣрный, принесенный съ цѣлью хоть что-нибудь держать въ рукахъ. вмѣсто знаній — сѣтованія на недостаточность ихъ, вмѣсто силъ — жалобы на безсиліе. Я согласенъ, что все это очень опротно, трогательно и даже трагично, но съ чѣмъ же тутъ орудовать?

Но этого мало. Я утверждаю, что только дѣйствительное знаніе, дѣйствительный трудъ могутъ вполне истребить ту вредную закваску легкомыслія, которую привела за собой беззабучно-взлелѣнная молодость. Только они могутъ заставить забыть тѣ омерзительные вкусы, тѣ пошлыя привычки, которыя накоплены годами привилегированнаго досужества. При отсутствіи труда и знанія никакія благородства не устоятъ, никакія раскаянія не помогутъ. Чувство самое искреннее не помѣшаетъ пробужденію повадливости, которая на всѣ намѣренія и стремленія наброситъ покровъ неспособности и безсилія.

Недостатокъ знанія восполнялся въ нашемъ воспитаніи эстетикой, но и эстетика эта была совершенно особенная. Безсодержательная, болтливая, съ склонностью къ округленію періодовъ и далеко не чуждая представленія о бездѣлицѣ. Въ основѣ лежала ежели не прямо чувственность, то скоропроходящая, мало задерживающая, почти болѣзненная впечатлительность.

Эта впечатлительность надѣлала намъ прѣнасть вреда; она бросала насъ изъ стороны въ сторону и по временамъ приводила туда, гдѣ намъ совѣтъ не слѣдовало быть. Вспомните наши старыя „связи“ — какой разнообразнѣйшій калейдоскопъ онѣ представляли! Это была какая-то неслыханная окрошка, въ которую входили обрывки и отброски всевозможныхъ міросозерцаній. И мы не только не формализировались уродливостью сочетаній, но были совершенно серьезно убѣждены, что иначе и прожить нельзя. Была цѣлая самостоятельная наука „о поддержаніи связей“, — наука, прямо вытекавшая изъ общаго повѣтрія повадливости, которое мѣшало намъ обособиться и сосредоточиться въ самихъ себѣ. Эта наука была въ свое время настолько же обязательна, какъ и та, которая учила, что высшій признакъ благовоспитанности заключается въ устраненіи всякаго повода для сравненія съ „мужикомъ“.

„Надо поддерживать связи!“ восклицали мы вмѣстѣ съ Грызуновымъ, а Грызуновъ и теперь — стѣитъ только въ окно посмотрѣть — мечется какъ угорѣлый изъ дома въ домъ, и одну только мысль въ головѣ держитъ: „надо поддерживать связи! надо!“

И когда разсудокъ вступилъ наконецъ въ свои права, когда онъ, съ помощью цѣлаго ряда горькихъ искусовъ, доказалъ, что дружить направо и налево нельзя, а въ особенности когда сдѣлалось вполне яснымъ, что торжествующая дѣйствительность окончательно опоскудилась — тогда мы застыдились и предпочли остаться въ рядахъ дѣйствительности неторжествующей. Но много ли можно насчитать такихъ, которые при этомъ воистину свергли съ себя ветхаго человѣка? много ли такихъ, въ которыхъ воспоминанія о „свя-



зяхъ прошлаго не пробуждаютъ подавленнаго вздоха? Говоря по совѣсти, подобные субъекты составляютъ рѣдкое, почти незамѣтное исключеніе, и я боюсь милая тетенька, что и ваша жизнь, наравнѣ съ жизнью опомнившагося большинства, распалась на двѣ половины, изъ которыхъ въ одной предъявляютъ свои права справедливость и стыдъ, а въ другой все еще чувствуется позывъ къ шалостямъ (не рѣшаюсь употребить болѣе рѣзкое выраженіе) прошлаго.

Да, этотъ внутренній разладъ несомнѣнно существуетъ. Шалости прошлаго вѣдчивы; однажды войдя въ плоть и кровь человѣка, онѣ извлекаются оттуда тѣмъ съ болѣе большимъ трудомъ, что въ общепринятой номенклатурѣ носятъ наименованіе шалостей, а не преступленій. Когда передъ глазами совершается грандіозное хищничество, предательство или вѣроломство, то весьма естественно, что такого рода картина возбуждаетъ въ насъ негодованіе; но когда передъ нами происходитъ простая „шалость“ — помилуйте, стѣять ли изъ-за пустяковъ бурю въ стаканѣ воды поднимать! Шалость, въ понятіяхъ большинства, есть нѣчто граціозное, симпатичное; шалость! — да вѣдь это почти терпимость! Вотъ угрюмость, несообщительность, изолированность — это другое дѣло. Это качества, которыя, по общепризнанному шаблону, предполагаютъ безпощадный фанатизмъ, говорятъ воображенію о гоненіяхъ, пыткахъ, вѣстрахъ. Угрюмый человѣкъ — это бичъ, отъ котораго нечего ждать, кромѣ ранъ и скорпіоновъ, это язва, отъ которой слѣдуетъ бѣжать. Не нужно предательства, но не нужно и угрюмости. Шаловливый человѣкъ — вотъ истинный „средній человѣкъ“, съ которымъ въ одну минуту насчетъ чего угодно сговориться можно!

Всѣ истинно-государственные люди были слегка шалунами. Гамбетта — шалунъ, Бисмаркъ — шалунъ. Всѣ рейхсъ-и ландстаги, всѣ парламенты наполнены людьми, которые спятъ и видятъ, какъ бы пошалить. Отчего же не пошалить и намъ съ вами?

Что вы охотно шалите, голубушка — это ни для кого не тайна, хотя вы скрываете ваши шалости и упорно не сознаетесь въ нихъ. Однакожъ обличить васъ положительно не трудно.

Пишете вы, напримѣръ, мнѣ что совсѣмъ порвали связь съ Пафнутьевымъ, а объ Мартинѣ Задекѣ будто бы и не слыхивали а между тѣмъ мнѣ достоверно извѣстно, что потихоньку вы имъ обоимъ назначаете тайныя свиданія въ рощицѣ, и что при этомъ нерѣдко присутствуетъ и Иванъ Непомнящій. Съ вашей стороны это, конечно, только шалость, а Пафнутьевъ пользуется этимъ и распускаетъ слухи, что, въ сущности, тетенька симпатизируетъ ему, и только потому облачаетъ свои симпатіи тайною, что боится, чтобъ не проникли о свиданіяхъ потрясатели основъ и подрыватели авторитетовъ.

Или еще. Вы пишете: „за кого ты меня принимаешь! чтобъ я стала „Помой“ читать!“ — а между тѣмъ мнѣ достоверно извѣстно, что хоть однимъ глазкомъ, а все-таки вы посматриваете въ нихъ. Ахъ, милая! видно, поскудство еще долго не перестанетъ быть соблазнительнымъ! Все думается: вотъ сейчасъ сядетъ Ноздревъ на полъ и начнетъ проходящихъ женщинъ за подолы ловить! или: выйдетъ впередъ Расплюевъ, съ распухлой и распутной фizioноміей, и начнетъ рассказывать, какая вчера „игра была“. Ну, не умора

ли? и какъ хоть глазкомъ на эту умору не посмотрѣть? А Ноздревъ съ Расплюевымъ пользуются этимъ и говорятъ: „тетенька-то хоть и отрекается отъ насъ, а все-таки свои пятаки намъ отдаетъ!“

Вотъ, милая, какія послѣдствія имѣетъ шаловливость. Я только два примѣра привелъ, а если захотѣть — какое множество другихъ, еще болѣе яркихъ, можно подыскать!

Хвалить васъ за эту повадливость, конечно, нельзя; но слѣдуетъ ли считать уменьшающимъ вину обстоятельствомъ ту тайну, въ которую вы облагаете ваши шалости?

Я полагаю, что слѣдуетъ. Стыдливость, хоть и колеблющаяся, все-таки представляетъ послугу, которую по всей справедливости необходимо зачесть. Она подаетъ надежду, что еще одинъ шагъ въ этомъ направленіи, еще одно усиліе, и...

Сдѣлайте, милая тетенька, это усиліе! Не ходите въ рощу на свиданіе съ Пафнутьевымъ, не перешептывайтесь съ Мартыномъ Задекою и не заглядывайтесь на публицистовъ, которые только по упущенію отвлеклись отъ прямого своего назначенія: выкрикивать въ Охотномъ ряду патоку съ имбиремъ!

Это мой послѣдній совѣтъ вамъ.

И самъ я до смерти усталъ, да и вамъ безконечно надоѣлъ. И „повтореніями“, и „блудливымъ заигрываніемъ“, и „отрицаніемъ принципа нравственности“.

Всѣми этими замѣчаніями почтила меня „критика“. А мы-то думали, что „критика“ у насъ пропала, а осталось только шалопайское подлавливанье словечекъ и фразъ съ уснащеніемъ восклицательными и вопросительными знаками.

Чтожъ! эти приговоры нимало не удивляютъ меня. Тѣмъ, которые позабыли о существованіи благородныхъ мыслей, кажется диковиннымъ и дерзкимъ напоминаніе объ нихъ. „Слышите! о благородныхъ мысляхъ печалится! Слышите! говорить, что жизнь тяжела!“ — восклицаютъ пѣвцы патоки съ имбиремъ, и такъ какъ у нихъ нѣтъ въ запасѣ ни доказательствъ, ни опроверженій, то естественно, что критика ихъ завершается восклицаніемъ: „можно ли идти дальше этихъ геркулесовыхъ столповъ кощунства и дерзости!“

Само собой разумѣется, что это совѣтъ особаго рода „критики“, которые не могутъ заставить ни остановиться, ни отступить. Попрѣжнему, куда хватить силъ, я буду повторять и напоминать; попрѣжнему буду считать это дѣломъ совѣсти и нравственнымъ обязательствомъ. Но не могу скрыть отъ васъ, что служба эта очень тяжелая.

Всего тяжелѣе дѣйствуетъ въ этомъ случаѣ ваша повадливость. Тянетъ васъ, голубушка, и къ клеветѣ, и къ скандалу, и къ этимъ пахучимъ издѣвкамъ, которыя у насъ носятъ названіе „критики“ и „полемики“. И хоть я убѣжденъ вполне, что вы отлично сознаете, что тутъ, кромѣ гноя, ничего нѣтъ, но, къ сожалѣнію, существуетъ какой-то гвоздь, который мѣшаетъ вамъ преодолѣть вашу несконную шаловливость. А апологисты охотнорядскихъ Ма-



ратовъ, благодаря вашей неосмотрительности, процвѣтаютъ себѣ да процвѣтаютъ подъ флагомъ благонамѣренности.

Подумайте объ этомъ, благо на дворѣ лѣто, а вмѣстѣ съ тѣмъ наступаетъ и пора отдохновенія (для другихъ лѣто — синонимъ страды, а для насъ съ вами — отдыха). Углубитесь въ себя, сберитесь съ мыслями, да и порѣшите разъ навсегда съ вопросомъ о шалостяхъ.

Скажите себѣ: попробую-ка я хоть на время позабыть о пропагандѣ сыска, клеветы и человѣконенавистничества... Да, не откладывая дѣла въ долгій ящикъ, и позабудьте. Увидите, что польза будетъ несомнѣнная, да и сами вы почувствуете себя лучше, спокойнѣе духомъ, здоровѣе.

Сперва вы забудете на время, а потомъ, помаленьку да полегоньку, и совсѣмъ потеряете вкусъ къ поскудству.

Я твердо убѣжденъ, что въ дѣлахъ современности отъ васъ зависитъ многое, почти все. И даже не отъ дѣятельнаго участія вашего въ жизненномъ круговоротѣ, а просто отъ характера вашихъ отношеній къ жизненнымъ явленіямъ. Повидимому вы даже не подозреваете, что вы — сила, а между тѣмъ нѣтъ истины безспорнѣе этой. Сознайте же свою силу, но не для того, чтобъ безразлично посылать поцѣлуи правдѣ и неправдѣ, а для того, чтобъ дать нравственную поддержку добросовѣстному и честному убѣжденію. Право, безъ этой поддержки невозможно сдѣлать что-нибудь прочное.

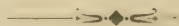
Быть можетъ, тонъ настоящаго, *последняго* моего къ вамъ письма, до извѣстной степени изумитъ васъ. Сравнивая его съ первымъ, написаннымъ почти годъ тому назадъ, вы не безъ основанія найдете, что тетенькино обличье съ теченіемъ времени нѣсколько видоизмѣнилось. Началь я съ безусловныхъ любезностей, а кончилъ чуть не правоученіемъ...

Да, это такъ: не могу я похвалиться выдержкою. По мѣрѣ того какъ намѣченная задача развивается передо мной, она настолько проникаетъ меня, что требованія мои къ ней постепенно растутъ и растутъ. Но такъ какъ одновременно съ этимъ растетъ и самая задача, то я полагаю, что худого въ этомъ нѣтъ. Именно это самое случилось и по вашему поводу. Въ теченіе года *въ моемъ мнѣніи* вы настолько выросли, что первоначальные приемы родственной любезности представляются мнѣ уже недостаточными. Нужно ли прибавлять, что отъ этого вы не только не подурнѣли на мой взглядъ, но даже похорошѣли.

Затѣмъ, передайте мой сердечный привѣтъ вашимъ домочадцамъ и прощайте. *Sapienti sat.*

Не знаете ли вы, милая тетенька, чтò означаетъ „*sapienti sat*“?

Май 1882 г.



# СБОРНИКЪ





## Сонъ въ лѣтнюю ночь.

Юбилей удался какъ нельзя лучше. Сначала юбиляръ былъ сконфу-женъ и даже прослезился, но наконецъ (нужно думать, что онъ уже оконча-тельно былъ подъ вліяніемъ торжества) до того освоился съ своимъ положе-ніемъ, что обратился къ чествующимъ и во всеуслышаніе произнесъ: „Господа! благодарю васъ! но думаю, что еслибы вы потрудились взглянуть въ ревиз-скія сказки любой деревни, то нашли бы множество людей, которые если не больше, то по крайней мѣрѣ столько же, какъ и я, заслужили право быть чествуемыми. И слѣдовательно, всѣ эти юбилей“...

И такъ далѣе. Затѣмъ юбиляръ зарыдалъ, и многимъ послышалось, что онъ сквозь всхлипыванія произнесъ слово: „наплевать!“ Послѣ чего мы разошлись по домамъ.

Впрочемъ, за исключеніемъ этой маленькой неловкости, все шло какъ по маслу.

Юбилей, о которомъ идетъ рѣчь, былъ устроенъ нами въ честь нашего департаментскаго помощника экзекутора (кажется, что онъ въ то же время пользовался титуломъ главноуправляющаго клозетами). Нынче вообще въ ходу юбилей. Сначала праздновали юбилей генераловъ, отличавшихся въ побѣдахъ neodолѣніемъ; потомъ стали праздновать юбилей дѣйствительныхъ статскихъ совѣтниковъ, выказавшихъ неустранимость въ перемѣщеніяхъ и увольненіяхъ; а наконецъ дошла до насъ вѣсть, что департаментъ Всеобщихъ Умопомраченій съ успѣхомъ отпраздновалъ юбилей своего архиваріуса. Вотъ тогда-то мы, чиновники департамента Препонъ, и рѣшили: немедленно привлечь къ отвѣтственности по юбилейной части почтеннѣйшаго нашего помощника экзекутора, Максима Петровича Севастьянова.

Севастьяновъ, по правдѣ сказать, совсѣмъ даже позабылъ, что 15-го іюля 1875 года минетъ пятьдесятъ лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ облаченъ въ вицъ-мундиръ министерства Препонъ и Неудовлетвореній, и тридцать — съ той минуты, какъ онъ довѣріемъ начальства былъ призванъ на постъ помощника экзекутора, къ обязанности котораго главнѣйшимъ образомъ относился



надзоръ за исправнымъ содержаніемъ департаментскихъ клозетовъ. Для него было, въ сущности, все равно, что пять, что пятьдесятъ лѣтъ; ибо клозеты, или замѣняющія ихъ установленія, одинаково существовали какъ въ первое пятилѣтіе его государственной дѣятельности, такъ и въ послѣднее. Онъ даже не помнилъ, точно ли онъ когда-нибудь *первый разъ* надѣлъ на себя вицъ-мундиръ, и не былъ ли онъ облаченъ въ него въ тотъ достопамятный день, когда сенатскій регистраторъ Морковниковъ и жена корабельнаго секретаря Огурцова воспринимали его отъ купели. Севастьяновъ былъ старикъ угрюмый и застѣнчивый, на лицѣ котораго было, такъ сказать, неизгладимыми чертами изображено, что онъ выросъ въ уединеніи клозета. Въ справедливости этой мысли въ особенности удостовѣряло то, что онъ весь, т. е. всѣ незакрытыя части его тѣла, поросли волосами, такъ что издали онъ казался какъ бы подернутымъ плесенью сырого мѣста. Волоса выступали у него на выпуклостяхъ щекъ, на пальцахъ, закрывали почти весь лобъ; вылѣзали изъ носа и изъ ушей; а борода его даже въ тѣ дни, когда онъ ее брилъ, была синяя-пресиняя. Лицо у него было пепельнаго цвѣта, глаза больные, слезящіеся, какъ у человѣка, давно отвыкшаго отъ дневнаго свѣта. Такъ что когда ему сказали, что въ честь его готовится юбилей, то онъ смутился и покраснѣлъ. Да, говоря по совѣсти, и было отъ чего покраснѣть; ибо тридцатилѣтіе его состоянія въ должности помощника экзекутора какъ разъ совпадало съ тридцатилѣтіемъ же реформы клозетовъ въ департаментѣ Препонъ (кажется, что по этому поводу даже и самая должность его была учреждена).

Заручившись согласіемъ предполагаемаго юбиляра, мы отправили депутацию къ директору департамента, который не только одобрилъ наше намѣреніе, но даже обѣщалъ къ срединѣ обѣда прислать поздравительную телеграмму. Съ своей стороны, вице-директоръ заявилъ, что лично приметъ участіе въ юбилейномъ торжествѣ и пригласить къ тому же всѣхъ начальниковъ отдѣленій. Тогда, на живую руку, былъ составленъ краткій церемоніаль слѣдующаго содержанія:

1. 15-го сего іюля имѣетъ исполниться пятьдесятъ лѣтъ со времени состоянія помощника экзекутора департамента Препонъ, Максима Петровича Севастьянова, на службѣ въ офицерскихъ чинахъ. Въ ознаменованіе сего событія устраивается обѣденное торжество въ одной изъ залъ Палкинаго трактира (на углу Владимірской и Невскаго проспекта).

2. Чины департамента Препонъ, съ вице-директоромъ во главѣ, въ 5 часовъ по-полудни, соберутся въ общемъ залѣ Палкинаго трактира и будутъ тамъ ожидать виновника торжества.

3. Когда юбиляръ прибудетъ, то вице-директоръ, подавъ ему руку, поведетъ въ предназначенный для торжества залъ, гдѣ участниковъ будетъ ожидать роскошно сервированный столъ.

4. По вступленіи въ залъ, приступлено будетъ къ закускѣ, а по удовлетвореніи первыхъ позывовъ аппетита, вице-директоръ предложитъ юбиляру за обѣденнымъ столомъ президентское мѣсто, самъ же сядетъ по правую его руку.

5. По лѣвую руку юбиляра займутъ мѣсто старшій изъ начальниковъ отдѣленій, а напротивъ — экзекуторъ, какъ непосредственный юбиляра началь-

никъ, лицо котораго, тоже не чуждое клозетовъ, должно непрестанно напоминать виновнику торжества объ истинномъ характерѣ его заслугъ на пользу отечества. Прочіе члены займутъ за столомъ мѣста по прістойности.

6. Во время обѣденнаго торжества имѣютъ быть предлагаемы тосты, произносимы рѣчи и прочитываемы поздравительныя телеграммы, причемъ однакожь изъ пушекъ палимо не будетъ.

7. По окончаніи обѣда, участвующіе въ торжествѣ перейдутъ въ соѣдѣній залъ, гдѣ имъ будутъ предложены кофе, чай и ликёры. Съ этой минуты торжество принимаетъ характеръ семейный и правила какого бы то ни было церемоніала перестаютъ быть обязательными.

Сверхъ того были приняты мѣры, чтобъ изъ провинцій, отъ подчиненныхъ мѣстъ и лицъ, присланы были ко дню юбилея поздравительныя телеграммы.

Повторяю: юбилей состоялся на славу. Юбиларъ возсѣдалъ на президентскомъ мѣстѣ, вице-директоръ—по правую руку его и т. д. Послѣ ботвиниш прочтенъ былъ адресъ отъ имени департаментскихъ чиновниковъ, въ которомъ однакожь о клозетахъ не упоминалось, а говорилось о дѣятельномъ участіи юбиляра въ великой реформѣ замѣны курьерскихъ тельжекъ пролѣтками. По выслушаніи этого адреса, вице-директоръ всталъ съ своего мѣста и торжественно провозгласилъ, что вмѣсто громкихъ словъ онъ публично цѣлуетъ любезнаго виновника торжества, желая тѣмъ заявить, что начальство никогда не оставалось равнодушнымъ къ его служебнымъ подвигамъ. Затѣмъ, по мѣрѣ разнесенія блюдъ, прочитываемы были поздравительныя телеграммы. Телеграмма директора департамента гласила: „Поздравляю любезнаго старичка и надѣюсь, что усерднымъ исполненіемъ обязанностей онъ и впредь не вынудитъ меня къ принятію противъ него мѣръ строгости. Директоръ Дуботолкъ-Увольняевъ“. Телеграмма изъ Конотопа выражалась: „Поднимаю бокалъ за здоровье дорогого юбиляра. Увы! вотъ ужъ два дня, какъ нашъ прекрасный Конотопъ горитъ. Начальникъ конотопскихъ Препонъ Свирѣновъ“. Телеграмма изъ Лаишева: „Съ бокаломъ въ рукѣ шлю привѣтъ почтеннѣйшему Максиму Петровичу. Вчера сгорѣла половина Лаишева. Исправляющій должность начальника лаишевскихъ Препонъ, помощникъ его Гвоздилло“. Телеграмма изъ Обоини: „Одинъ-на-одинъ съ бокаломъ вина возглашаю ура и многая лѣта высокочтимому юбиляру. Сегодня съ утра здѣсь свирѣпствуетъ пожаръ; до сихъ поръ сгорѣло около ста домовъ. Извѣстный вамъ Скулобоевъ“. А подъ самый конецъ обѣда пришла телеграмма изъ Θεодосіи, которая удивила всѣхъ своею загадочностью и именемъ подписавшагося подъ нею. Содержаніе ея было слѣдующее: „При отличнѣйшей погодѣ (сижу въ одной рубашкѣ), въ виду плещущаго моря, съ бокаломъ въ рукахъ, восклицаю: да здравствуетъ! и никогда да не погибнетъ! Здравствуйте, почтеннѣйшій Максимъ Петровичъ! никогда не забуду вашего содѣйствія по доставленію мнѣ драгоцѣннѣйшихъ матеріаловъ къ исторіи русскихъ клозетовъ, первый корректурный листъ которой уже лежитъ передо мною. Пишу вашу біографію и помѣщу ее въ приготавливаемомъ мною сборникѣ біографій отличнѣйшихъ русскихъ людей. Два выпуска готовы. *Подписалъ:* Вѣдровъ, старый воробей, одинъ изъ тѣхъ (спасшійся чудомъ), къ



хвостамъ конихъ великая княгиня Ольга (вспомните тропарь, который 11-го іюля поютъ) привязала зажженный труть и такимъ образомъ сожгла древній Коростень. За телеграмму уплачено изъ моей собственности восемь рублей, кои благоволите въ непродолжительномъ времени возвратить“.

— Такъ вотъ вы съ какими знаменитостями знакомство ведете? — пошутить вице-директоръ, когда была прочтена замысловатая телеграмма.

— А много-таки этому господину Вёдрову лѣтъ! — замѣтилъ старѣйшій изъ начальниковъ отдѣленія.

Начали считать, сколько прошло лѣтъ со времени сожженія Коростеня, но какъ учебника русской исторіи г. Погодина подъ руками не было, то ничего опредѣлительнаго сказать не могли.

— Старъ-старъ, а какъ былъ воробей, такъ воробьемъ и остался! — со вздохомъ сказалъ экзекуторъ.

Замѣчаніе это вызвало сначала общій смѣхъ, а потомъ и серьезныя размышленія о томъ, чѣмъ достославнѣе быть: старымъ ли воробьемъ, или молодымъ, да орломъ. И такъ какъ во время этого орнитологическаго разговора вице-директоръ постоянно дѣлалъ иносказательныя движенія руками (какъ бы расправляя молодныя крылья), то было рѣшено, что удѣлъ молодого орла достославнѣе, нежели удѣлъ стараго воробья, хотя бы послѣдній былъ и изъ тѣхъ, которыхъ на мякинѣ не обманешь.

— Сколько я на свѣтѣ ни живу — ни одного путнаго воробья на своемъ вѣку не видѣлъ! — сказалъ экзекуторъ: — сюда порхнеть — клюнеть... туда порхнеть — клюнеть... клюнеть и чирикнеть, словно и нивѣсть какое добро нашель! А чтобы основательное что-нибудь затѣять — никогда! Я даже такъ думаю, что онъ и самъ не разумѣеть, что клюеть и объ чемъ чирикаеть?

Такой судъ надъ воробьями всѣ нашли справедливымъ, и, дабы подтвердить это заключеніе самымъ дѣломъ, сейчасъ провозгласили здоровье вице-директора, который въ отвѣтъ окончательно расправилъ крылья и обнялъ юбиляра.

Наконецъ обѣдъ кончился, и участники торжества перешли, согласно церемоніалу, въ другой залъ, гдѣ ихъ ожидали чай, кофе и ликёры. Тутъ, чувствуя себя уже достаточно выпившими, всѣ единодушно приступили къ юбиліару съ просьбой, чтобъ онъ поразсказалъ кое-что изъ видѣннаго и слышаннаго имъ въ теченіе многолѣтней служебной карьеры. Нѣкоторое время юбиляръ находился въ недоумѣніи, какъ бы спрашивая себя: да что же бы я однако могъ видѣть и слышать? Но потомъ, сдѣлавши надъ собой нѣкоторое усиліе, онъ отыскалъ въ памяти нѣсколько очень интересныхъ воспоминаній, которыми и подѣлился съ нами.

— Скажу вамъ, господа, — такъ началъ онъ: — что всѣ мои начальники были, такъ сказать, на одно лицо: всѣ — генералы и всѣ начальники. Одно только отличіе вижу: прежнее начальство какъ будто проще было, а потомъ чѣмъ дальше, тѣмъ все больше и больше ожесточалось.

— Надѣюсь однакожъ, любезнѣйшій что замѣчаніе ваше не относится до нынѣшняго начальства? — перебилъ вице-директоръ, нѣсколько обиженный этимъ вступленіемъ.

— Про нынѣшнее начальство, ваше превосходительство, сказать ни-

чего не могу, но вообще — это дѣйствительно, что въ старину начальники были обходительнѣе.

— Очень любоньто. Напримѣръ, генераль-маіоръ Безпортошній-Волкъ? ха-ха! — иронически замѣтилъ вице-директоръ.

— Ваше превосходительство! по человѣчеству-съ! — нимаю не робѣя возразилъ почтенный юбиляръ: — конечно, они словами не дорожили: какое слово первое попадется на языкъ, то и выкинуть, — да вѣдь тогда это въ модѣ было. И на парадахъ, и на смотрахъ, вездѣ эти слова допускатись-съ! За то, когда, бывало, опять въ свой видъ войдутъ, то даже очень обходительны были. Скажу, напримѣръ: любили они, этотъ самый генераль Безпортошній-Волкъ, спину себѣ чесать, а объ стѣну неловко-съ: неравно мундиръ замазываютъ. Вотъ и кликнуть, бывало: „Севастьяновъ! встань, братецъ!“ Ну, встанешь-это, они прислонятся къ плечу, свое дѣло потихоньку объ косякъ справятъ... гдѣ, смѣю спросить, такого обхожденія нынче сыщешь? А что я истинную правду говорю, такъ вотъ Анисимъ Ивановичъ (экзекуторъ) — живой человѣкъ, можетъ сейчасъ засвидѣтельствовать.

— Это такъ точно при мнѣ, ваше превосходительство, сколько разъ бывало! — поспѣшилъ подтвердить Анисимъ Ивановичъ.

— Такъ вотъ оно и помянешь добромъ старину! — продолжалъ юбиляръ, дѣлаясь болѣе и болѣе словоохотливымъ: — многіе послѣ того были, которые тоже на слова вниманія не обращали, а такихъ, чтобъ съ подчиненнымъ обхожденіе имѣть, такихъ уже не было!

Юбиляръ вздохнулъ и нѣсколько минутъ сидѣлъ потупившись.

— Расскажу вамъ, напримѣръ, такой случай про того же Безпортошнаго-Волка, — вновь началъ онъ. — Купилъ онъ въ ту пору себѣ арапа въ услуженіе, а супруга ихняя, какъ на грѣхъ, возьми да и роди, черезъ десять мѣсяцевъ послѣ того, сына — черного, пречерного! Туда-сюда, какъ да почему — къ кому, какъ бы вы думали, онъ въ этомъ важномъ фамиліномъ случаѣ за утѣшеніемъ обратился? — А вотъ къ этому самому Севастьянову, который имѣетъ честь вашему превосходительству докладывать! Да-съ! призываетъ это меня: „Севастьяновъ, говоритъ, мнѣ сына-арапченка жена принесла! какъ ты думаешь, отчего?“ Ну, я, знаете, обробѣлъ-было, да ужъ видно самъ Богъ мнѣ внушеніе свыше послалъ. — Должно быть, говорю, ихъ превосходительство какой-нибудь табачной вывѣски, во время беременности, испугались? — А тогда, знаете, у всѣхъ табачныхъ магазиновъ такія вывѣски были, на которыхъ былъ нарисованъ арапъ съ предлиннымъ чубукомъ въ рукахъ. Ну-съ, хорошо-съ. Выслушали они меня и смотрятъ во все глаза, словно понять хотятъ. „Стой! говорятъ наконецъ: какъ же это такъ? на вывѣскахъ арапы съ чубуками представлены, а мой-то арапенокъ безъ чубука?“ Ну, какъ онъ это сказалъ, такъ я ужъ увидѣлъ, что дѣло въ шляпѣ. — Ежели только за этимъ, ваше превосходительство, дѣло стало, говорю, такъ вѣдь чубукъ не дорогого стдитъ, сейчасъ же можно купить и младенцу въ ручку вложить! — И чтѣ-жъ бы вы думали? Постоялъ онъ-это, постоялъ, подумалъ, подумалъ: „ну, говоритъ, будь ты проклятъ, купи чубукъ!“ Только всего и сказалъ, и хотя, быть можетъ, и понялъ, что тутъ дѣло не однимъ табакомъ пахнетъ, однако тѣмъ только и удовольствовался, что арапа въ дальнюю де-



ревню сослалъ, а кучерамъ приказалъ, чтобъ на будущее время барыню мимо табачныхъ магазиновъ отнюдь не возили.

Разсказъ этотъ возбудилъ бы общую веселость, еслибы не вице-директоръ, который нашель, что онъ только компрометируетъ начальство и вовсе не относится къ дѣлу.

— Вы говорили о какой-то снисходительности, — сказалъ онъ: — но въ чемъ тутъ снисходительность — рѣшительно не понимаю!

— А какъ же, ваше превосходительство! Въ такомъ, можно сказать, фамильномъ дѣлѣ — и какое довѣріе! А вѣдь намъ какъ это довѣріе дорого, ваше превосходительство! ахъ, какъ дорого!

— Не понимаю... Ну, а другихъ исторій у васъ нѣтъ?

— Расскажи-ка намъ, какъ тебя баронъ Эспенштейнъ на колѣняхъ Богу молиться заставлялъ! — вступился Анисимъ Ивановичъ, иронически прищуривая въ нашу сторону однимъ глазомъ.

— Заставлялъ — это точно, что заставлялъ. Доложу вашему превосходительству, что этотъ самый баронъ Эспенштейнъ, до поступленія въ нашъ департаментъ, губернаторомъ состоялъ и былъ лютеранинъ. И случись ему однажды на усмиреніи въ одномъ помѣщицкѣмъ имѣніи быть, и узнай онъ отъ господина помѣщика, что главный науститель всей смуты есть мѣстный священникъ. Хорошо. Не долго, знаете, думая, созвалъ онъ сельскій сходъ, послалъ за священникомъ, и какъ только тотъ явился: „влѣпнуть, говоритъ, ему двѣсти!“ Не успѣли это оглянуться: ахъ-ахъ-ахъ, — анъ рабу Божьему чтò слѣдуетъ ужъ и отпустили! И точно, какъ только мужички увидѣли, что пасть ихъ въ новый чинъ пожаловали, сейчасъ же и бунтъ прекратили, пошли на барщину, выдали зачинщиковъ — словомъ, все какъ слѣдуетъ. Ыдетъ нашъ баронъ обратно въ губернію, ѣдетъ и радуется, что ему удалось кончить дѣло миромъ. Да вдругъ, знаете, среди радостей и вспомнилось ему, что вѣдь онъ, собственно говоря, духовное лицо тѣлесному-то наказанію подвергъ! Вспомнилъ и обробѣлъ. Какъ быть? Какъ дѣлу пособить? Думалъ-думалъ, да и выдумалъ. Пріѣхалъ домой и притворился, что чуть живъ. День лежитъ, а на другой, говорятъ, ужъ и при смерти. И было, сказываютъ, ему тутъ видѣніе. Явился будто бы къ нему мужъ свѣтлый и сказалъ: „Карлъ Ивановичъ! прими православную вѣру!“ Сейчасъ — къ архіерею, а тотъ натурально радъ: легко ли какую красную рыбу въ сѣти изловилъ! Однако радъ, а процедуру свою все-таки исполнилъ: поѣхалъ къ болящему и просилъ его не спѣшить, а обдумать дѣло хорошенько. „Подумайте, говоритъ, ваше превосходительство! вѣдь съ старой-то вѣрою разставаться не то чтобъ чтò! Это — не сапоги!“ — Такъ куда тебѣ! Вскочилъ нашъ больной съ постели какъ встрепанный, да самъ же всѣхъ торопить: „Увидите, говоритъ, ваше преосвященство, что съ меня эта ересь какъ съ гуся вода соскочить!“ Ну, послѣ этого, въ одночасье и окрутили милостиваго государя! Только покуда все это дѣлалось, а пощъ между тѣмъ, трюхи-трюхи, да тоже въ губернію явился. Пріѣхалъ и прямо къ архіерею. Да не тутъ-то было. Не только архіерей никакой защиты ему не оказалъ, а на него же разгнѣвался. „Тебя, говоритъ, Провидѣніе орудіемъ такого дѣла избрало, а ты, говоритъ, еще жаловаться смѣешь!“

На этомъ мѣстѣ разсказчика прервалъ взрывъ смѣха, въ которомъ удостоилъ принять участіе и вице-директоръ.

— Ну-съ, такъ вотъ этотъ самый баронъ Эсенштейнъ, вскорѣ послѣ своего присоединенія, и назначенъ былъ къ намъ директоромъ. И повѣрите ли, ваше превосходительство, такой изъ него вышелъ ревнитель, что пожалуй почище другого православнаго. Самое первое распоряженіе, которое онъ сдѣлалъ, въ томъ состояло, чтобъ чиновники каждый день къ ранней обѣднѣ ходили, а по субботамъ и ко всенощной. И ходили-съ, потому что всѣ приходы, гдѣ кто жилъ, переписалъ, и всѣмъ церковнымъ причтамъ о распоряженіи своемъ сообщилъ для наблюденія. Мало этого: созвалъ департаментскихъ чиновниковъ и объявилъ, что впредь за всякую вину у него такое наказаніе будетъ: виновать—становись на колѣни! И дѣйствительно, чуть что, бывало—сейчасъ звонить: позвать такого-то!—и тутъ же, при себѣ въ кабинетѣ, и поставить поклоны отбивать. Очень это сначала обидно было, ну, а потомъ обошлось. И вѣдь знаете, ваше превосходительство, поставить онъ на поклоны, а самъ сидитъ и считаетъ: разъ—два, разъ—два. Грѣшный человѣкъ, мнѣ-таки больше всѣхъ доставалось: я и въ департаментскомъ кабинетѣ, и на квартирѣ у него чуть не во всѣхъ комнатахъ стаивалъ. Бывало, чуть запахнеть—сейчасъ „Севастьяновъ! чѣмъ пахнетъ?“ Ну, иной разъ сробѣешь, не такъ объяснишь — а! говорить, посмотримъ, какъ ты своего Бога любишь! И такимъ манеромъ жили мы съ нимъ пять лѣтъ, покуда до самого Государя объ его чуделесіяхъ не дошло. Ну, натурально, въ отставку подать велѣли. И чтожъ бы вы думали, ваше превосходительство! до того онъ этою вѣрою распалился, что пуще да пуще, глубже да глубже — взялъ да черезъ два года въ расколъ ушелъ! Потомъ попомъ раскольничьимъ, сказываютъ, сдѣлался—такъ въ скитахъ и умеръ!

— Отлично! безподобно! ура юбиляру! ура!—воскликнулъ вице-директоръ, подавая знакъ къ общему восторгу.

Веселой толпой подбѣжали мы къ виновнику торжества, схватили его на руки и начали деликатно подбрасывать въ воздухъ. По окончаніи этого чествованія, онъ, натурально, сдѣлался еще словоохотливѣе, и когда вице-директоръ сказалъ ему: — А жаль, что вы не пишете своихъ мемуаровъ! очень очень жаль! Я полагаю, что ни въ одной странѣ... Да, именно, ни въ одной странѣ ничего подобнаго этимъ мемуарамъ не могло бы появиться!—то онъ, уже никѣмъ невызываемый, усладилъ насъ еще новымъ разсказомъ изъ служебной практики.

— А вотъ я вамъ, ваше превосходительство, про Балахона, про Ивана Иваныча доложу, — началъ онъ. — При немъ, знаете, эта реформа клозетная въ первый разъ была введена — ну, а онъ, признаться сказать, сначала не понималъ, думалъ, что въ томъ и реформа состоитъ, чтобы какъ есть въ одеждѣ, такъ и... Вотъ только однажды слышимъ мы крикъ, гамъ преужаснѣйшій: „Севастьяновъ! Севастьянова сюда! Мерзавецъ! говорить, всегда у тебя по службѣ неисправности!“ Бѣгу, знаете, оправдываюсь, показываю — ну, понимать! „Извини, братецъ“, говорить.

— Хо-хо!—разразился вице-директоръ.

— Ха-ха!—грянули мы.



Что потомъ было, я рѣшительно не помню. Кажется, что юбиляра разъ пять качали на рукахъ и что онъ послѣ каждаго чествованія рассказывалъ новую исторію. Вино лилось рѣкой, тосты слѣдовали за тостами. И вдругъ, въ ту самую минуту, когда всѣ чувствовали себя какъ нельзя лучше, юбиляръ совершенно неожиданно началъ говорить какія-то странныя рѣчи.

— Господа!—обратился онъ къ намъ:—очень я вамъ благодаренъ. Утѣшили вы старика. И обѣдъ, и все такое...

— Урррааа!—подхватили мы.

— Только вотъ что сдается мнѣ: если бы вы заглянули въ ревизскія сказки любой деревни, то навѣрное сказали бы себѣ: сколько есть на свѣтѣ почтенныхъ людей, которые всѣ юбилейные сроки пережили и которыхъ никто никогда и не подумалъ чествовать! Никто, господа, никогда!

На этомъ мѣстѣ юбиляръ остановился и заплакалъ.

— И, стало быть, всѣ наши юбилей,—продолжалъ онъ сквозь всхлипыванія:—всѣ наши юбилей—одна собачья комедія... Да, именно такъ. Всѣ эти юбилей, коли вы, напримѣръ, не цѣните истинныхъ заслугъ... всѣ эти, значить, юбилей... не стоятъ выѣденнаго яйца! И, значить, надо плюнуть на нихъ да растереть!..

И онъ плюнулъ направо и растеръ лѣвой ногой.

Я возвратился домой усталый, до краевъ наполненный винными парами, и тотчасъ же легъ въ постель. Вѣроятно впрочемъ заключительная сцена юбилея произвела на меня сильное впечатлѣніе, потому что она нѣкоторое время мѣшала мнѣ заснуть и потомъ дала содержаніе тѣмъ сновидѣніямъ, которыя тревожили меня въ послѣдующую ночь.

Въ самомъ дѣлѣ, думалось мнѣ: сколько есть на свѣтѣ людей, существующихъ какъ бы для того только, чтобъ имена ихъ числились въ ревизскихъ сказкахъ? И сколько между ними есть лицъ вполне почтенныхъ и добродѣтельныхъ, которыя и понятія не имѣютъ о томъ, что за штука „юбилей“? Объ нихъ ни въ газетахъ не пишутъ, ни въ трубы не трубятъ, но этого мало: сами сограждане ихъ, т. е. односельчане, смотрятъ на нихъ какъ на людей обыкновенныхъ и ни во что не виѣняютъ имъ ихъ добродѣтелей, какъ будто добродѣтель есть вещь столь обыденная, что и заслуги составлять не должна! И умираютъ эти люди въ забвеніи, не слыхавъ ни стиховъ Майкова, ни прозы Погодина... Справедливо ли это?

Увы! люди культуры (нынѣ всѣ русскіе помѣщики, занимающіеся раскладываніемъ гранасьянса, разумѣютъ себя таковыми) жестоки и недалеконovidны. Они считаютъ ни во что этотъ безконечный муравейникъ, который кишитъ у ихъ ногъ, за предѣлами культурнаго слоя, или, лучше сказать считаютъ его созданнымъ для того, чтобъ быть попираемымъ культурными ногами. И въ то же время они едва-ли даже понимаютъ, что каждый изъ членовъ этого муравейника живетъ своею отдѣльною жизнью, имѣетъ свои характеристическія особенности, свои требованія, свои идеалы. Если бы они поняли это, они убѣдились бы, что ихъ собственная культурная жизнь именно

отъ того дѣлается все болѣе и болѣе скудною что для нея закрыть цѣлый міръ явленій, стоящихъ вѣдѣ всякаго культурнаго наблюденія. Сколько узнали бы мы благороднѣйшихъ біографій! сколько отличнѣйшихъ подвиговъ могли бы мы быть свидѣтелями! И какъ расширился бы нашъ умственный горизонтъ! И много ли нужно чтобъ достигнуть этого?—Нужно только почаще заглядывать въ ревизскія сказки и отъ времени до времени дѣлать начальственныя распоряженія о празднованіи юбилеевъ. Тогда передъ нами обнаружатся вещи неслыханныя и невиданныя, и мы воочію увидимъ героевъ, о которыхъ не имѣли понятія... Повторяю, ткните пальцемъ въ любое мѣсто ревизскихъ сказокъ, и вы навѣрное попадете въ человѣка, о которомъ гораздо больше можно поразсказать, нежели даже объ Севастьяновѣ.

Я знаю, мнѣ скажутъ, что народъ не слѣдуетъ баловать — согласенъ! Но развѣ это баловство?—нѣтъ, это только справедливость! Стѣкните—слова нѣтъ! Но будьте же и справедливы! Ибо, въ противномъ случаѣ, получится односторонность, которая можетъ произвести сначала уныніе, а потомъ пожеланій и ропотъ...

Да, мы, представители русской культуры, несправедливы. Но мы ли одни?—Увы! всегда, даже въ тѣхъ странахъ, гдѣ дѣйствительно существуетъ культура, и тамъ несправедливость преслѣдуетъ вѣдѣ-культурнаго человѣка. Вамъ показываютъ разные запустѣлые шлоссы, въ которыхъ когда-то жилъ культурный человѣкъ и оставилъ слѣды своего культурнаго существованія. Въ этихъ шлоссахъ доднесь благоговѣнно сохранены все подробности канувшей въ вѣчность жизни, лучи которой нѣкогда согрѣвали вселенную. Вотъ комната, въ которой такая-то маркграфиня занималась оргіями съ своими любовниками; вотъ знаменитая тѣмъ-то постель; вотъ часовня, въ которой та же маркграфиня, утомленная оргіями, искупала свои грѣхи, носила вериги (вотъ и самыя вериги), бичевала себя, проводила ночи на голомъ полу (вотъ ея покаянная спальня), обѣдала съ восковыми куклами, представляющими святыхъ (и куклы эти удѣлѣли); вотъ наконецъ подземелье, въ которое сажали нагрубившихъ подданныхъ—прекрасно! Знаніе домашняго быта канувшихъ въ вѣчность маркграфинь, конечно, имѣетъ свой историческій интересъ; но спрашивается, почему же представители культуры такъ ревниво сохранили во всей ихъ неприкосновенности старыя дворцы и замки—и не позаботились о сохраненіи хотя одного экземпляра мужицкаго жилища, современнаго этимъ дворцамъ и замкамъ?

Но на этотъ вопросъ я уже не далъ отвѣта, ибо мгновенно заснулъ...

Мнѣ снилось, что я присутствую на сходкѣ въ селѣ Безкормицынѣ и что мужики обсуждаютъ, не слѣдуетъ ли отпраздновать юбилей старика Мосенча, которому 15-го іюля имѣетъ исполниться ровно пятьдесятъ лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ несетъ рабочее тягло. Впрочемъ, собственно говоря, мысль объ юбилейѣ принадлежитъ не крестьянамъ, а мѣстному сельскому учителю Крамольникову и мѣстному же священнику (изъ молодыхъ) Возсіяющему, которымъ немалыхъ-таки усилій стоило пустить ее въ ходъ и настолько заинтересовать мужичковъ, чтобъ по такому необыкновенному поводу была собрана сходка.

И Крамольниковъ, и Возсіяющій были соединены узами умѣреннаго



либерализма и питали сладкую увѣренность, что слова: „потихоньку да полегоньку“ — должны быть написаны на знамени истинно разумнаго русскаго прогресса. Рядомъ каждодневныхъ дружескихъ бесѣдъ, въ которыхъ принимала сочувственное участіе и молодая попадья, они пришли къ убѣжденію, что почтенное крестьянское сословіе до тѣхъ поръ не займетъ принадлежащаго ему по праву мѣста въ государственной организаціи, покуда въ немъ не развито чувство самоуваженія. Отсутствие этого чувства влечетъ за собой цѣлый рядъ прискорбныхъ административныхъ явленій, каковы: рылобитіе, скулобитіе, зубосокрушеніе, неряшливое употребленіе непечатныхъ словъ и т. д. Отчего становой приставъ никогда не позволитъ себѣ назвать благороднаго человѣка курицынымъ сыномъ? Оттого что у благороднаго человѣка, такъ сказать, на лицѣ написано, что онъ уважаетъ себя! Тогда какъ у мужика, при современной его неразвитости, и спина, и лицо составляютъ какъ бы постороннія вещи, на которыхъ всякій можетъ собственноручно расписываться. И это многихъ приводитъ въ соблазнъ и служить источникомъ дурныхъ административныхъ привычекъ, которыя, при частомъ повтореніи, могутъ дискредитировать самую власть.

Слѣдовательно, прежде всего нужно воспитать въ мужикѣ чувство самоуваженія, а потомъ уже постепенно переходить къ развитію чувства своевременной уплаты податей и повинностей и т. д. Но затѣмъ самъ собой возникаетъ вопросъ: какъ возбудить это чувство самоуваженія, отъ котораго въ столь значительной степени зависитъ будущее всего крестьянскаго сословія? Словесными ли внушеніями и теоретическими собесѣдованіями, или какими-нибудь символическими дѣйствіями, которыя, такъ сказать, практически давали бы чувствовать мужику, что за нимъ числятся извѣстныя заслуги передъ государствомъ?

Сообразивъ и взвѣсивъ доводы pro и contra, Крамольниковъ пришелъ къ тому заключенію, что слѣдуетъ отдать предпочтеніе послѣднему способу, какъ наиболѣе доступному для мужицкаго пониманія и притомъ безопасному.

— Понимаете? — объяснилъ онъ Возсіяющему: — разговаривать много не слѣдуетъ; во-первыхъ, объ разговорахъ становой пронюхать можетъ, а во-вторыхъ, и мужикъ на слова не очень понятливъ, а надо такъ устроить, чтобъ мужикъ самъ, изъ сцѣпленія обстоятельствъ, уразумѣлъ, въ чемъ суть. Понимаете?

— Очень даже понимаю, — отвѣчалъ Возсіяющій.

И вотъ, на первый разъ, Крамольниковъ предложилъ устройство юбилейныхъ торжествъ въ пользу такихъ крестьянъ, которые отличились долготѣною твердостью въ бѣдствіяхъ; а дабы одна эта заслуга не показалась подозрительною, то предполагалось присовокупить къ ней еще: непоколебимость въ уплатѣ недоимокъ и неукоснительность въ исполненіи начальственныхъ требованій, *хотя бы даже и лишенныхъ законнаго основанія*.

— Чудесно! — воскликнулъ Возсіяющій: — а ежели къ сему присовокупить прилежаніе къ церкви Божіей, то, кажется, уже ничего предосудительнаго не будетъ!

Именно такимъ субъектомъ, который въ одномъ своемъ лицѣ соединялъ и непоколебимость въ уплатѣ недоимокъ, и безотвѣтность, и набожность, пред-

ставлялся старикъ Мосейчъ. Онъ никогда не выигрывалъ сраженій, пятьдесятъ лѣтъ сряду неутомимо обрабатывалъ свой земельный участокъ, самоотверженно выплачивалъ подушныя, былъ битъ и не ронялъ, раза три въ жизни сидѣлъ въ тюрьмѣ и никогда не заинтересовался даже узнать, за что онъ посаженъ, пять разъ замерзалъ, тонулъ и однажды былъ даже совѣтъ задавленъ. И за всеѣмъ тѣмъ — отдышался. Однимъ словомъ, это былъ такой человѣкъ, по случаю котораго самая подозрительная административная фантазія не нашла бы повода разыграться.

Остановившись на этомъ выборѣ и заручившись сочувствіемъ молоденькой попадьи, оба друга прониклись такимъ энтузіазмомъ, что начали цѣловаться, и порѣшили приступить къ дѣлу по возможности внезапно, дабы ставной приставъ ни подъ какимъ видомъ не могъ его разстроить.

— А впрочемъ, ежели придется и пострадать, — въ восторгѣ воскликнулъ Возеіающій: — то и пострадать за такое дѣло не стыдно! Такъ ли, попадьа?

— Я, батя, за тобой — всюду! Въ Сибирь такъ въ Сибирь... что жъ! — отвѣтила попадьа, зарумянившись подъ вліяніемъ мысли, что и она нѣчто значить въ механикѣ, затѣваемой двумя друзьями.

Одинъ только человѣкъ приводилъ друзей въ нѣкоторое смущеніе: это — волостной писарь Дудочкинъ. Это былъ закоренѣлый консерваторъ, который, сверхъ того, подозрѣвался въ тайныхъ сношеніяхъ съ ставнымъ приставомъ, по дѣламъ внутренней политики. И дѣйствительно, сношенія эти существовали, и онъ не только не скрывалъ ихъ, но не однажды имѣлъ даже гражданское мужество прямо произнести слово: „донесу!“ Но что было въ немъ всего опаснѣе — это то, что онъ все свои доносы обуславливалъ преданностью консервативнымъ убѣжденіямъ (онъ кончилъ курсъ въ уѣздномъ училищѣ и потомъ служилъ писцомъ въ уѣздномъ судѣ, гдѣ и понабрался кое-какихъ словъ).

— Нашъ народъ — неучъ! все одно: что стадо свиней, что народъ нашъ! — безпрестанно повторялъ онъ, и притомъ съ такимъ торжествомъ, какъ будто обстоятельство это и невѣсть какой бальзамъ проливалось въ его писарское сердце.

На сочувствіе этого человѣка надѣяться было невозможно, но необходимо было по крайней мѣрѣ добиться, донесетъ онъ или не донесетъ. Но едва Крамольниковъ изложилъ ему (и притомъ въ самомъ невинномъ и даже административно-привлекательномъ видѣ) предметъ своего предпріятія, какъ Дудочкинъ тотчасъ же загладѣлъ.

— Неучъ нашъ народъ! свинья нашъ народъ! не чествовать, а пороть его слѣдуетъ!

— Но... не преувеличиваете ли вы, Асафъ Ивановичъ? — какъ-то неуверенно возразилъ Крамольниковъ.

— Нимало не преувеличиваю, а прямо говорю: пороть надо! — утвердился на своемъ Дудочкинъ.

Какъ ни безнадежны были эти мнѣнія, но Крамольниковъ уже и тому былъ радъ, что Дудочкинъ, высказывая ихъ, оставался на теоретической высотѣ и ни разу не употребилъ слово: „доносъ“. Разумѣется, друзья наши



какъ нельзя лучше воспользовались этимъ обстоятельствомъ. Не выводя спора изъ сферы общихъ идей, они прибѣгли къ той остроумной тактикѣ, которая всегда отлично удавалась умѣреннымъ либераламъ, а именно: объявили Дудочкину, что хотя мнѣній его не раздѣляютъ, но тѣмъ не менѣе не могутъ его не уважать.

— Главное дѣло въ мнѣніяхъ — искренность, — деликатно замѣтилъ Крамольниковъ: — и вотъ это-то драгоценное качество и заставляетъ насъ уважать въ васъ противника добросовѣстнаго, хотя и неуступчиваго. Но позвольте однако сказать вамъ, почтеннѣйшій Асафъ Ивановичъ: хотя дѣйствительно у всѣхъ благомыслящихъ людей цѣль должна быть одна, но вѣдь пути къ достиженію этой цѣли могутъ быть и различные!

— То-то, что ваши-то пути глухие! — отрѣзалъ Дудочкинъ.

— Отчего-жъ бы однако не попробовать?

— Пробуйте! мнѣ чтò! вы же въ дуракахъ будете!

— Такъ, стало быть, пробовать не возбраняется?

Вопросъ былъ сдѣланъ настолько въ упоръ, что Дудочкинъ на минуту остался безмолвнымъ.

— То-есть, вы... это насчетъ доноса, что-ли? — произнесъ онъ наконецъ.

— Нѣтъ, не то чтобъ... а такъ... искренность убѣжденій, знаете...

— Ну, да ужъ чтò тутъ: сказывай прямо, донесешь или не донесешь? — вступился Возсіяющій, который съ нѣкоторымъ нетерпѣніемъ относился къ политикамъ своего друга.

— Эхъ, господа, пустое вы дѣло затѣяли! — вздохнулъ Дудочкинъ.

— Ты не вздыхай, а говори прямо — донесешь или не донесешь? — настаивалъ Возсіяющій.

Дудочкинъ нѣкоторое время уклонился отъ яснаго отвѣта; но когда друзья вновь повторили, что уважаютъ въ немъ противника искреннаго и добросовѣстнаго, то онъ не выдержалъ напора лести и общалъ. Однако уже и тогда Возсіяющій замѣтилъ, что, давая слово не доносить, онъ, яко Іуда, скосилъ глаза на сторону.

Заручившись обѣщаніемъ писаря, друзья немедленно приступили къ пропагандѣ своей идеи между крестьянами; сказали одному мужичку, сказали другому, третьему — отъ всѣхъ получили одинъ отвѣтъ: „Мосейчъ — мужикъ старый“. Тогда настояли на томъ, чтобъ въ ближайшее воскресенье, послѣ обѣдни, была созвана сходка для обсужденія на міру предложенія о введеніи между крестьянами села Безкормицына обычая празднованія юбилеевъ.

Въ воскресенье, за обѣдней, Возсіяющій сказалъ краткое поученіе о пользѣ юбилеевъ вообще и крестьянскихъ въ особенности.

— Отличнѣйшая польза, отъ юбилеевъ происходящая, — сказалъ батюшка, — несомнѣнна, и всѣми древними народами единодушно была признаваема. Юбилей возвышаетъ душу чествуемаго, ибо они предназначаются лишь для лицъ воспродѣленныхъ и знаменитыхъ; а чья же душа не почувствуетъ паренія, ежели познаетъ себя прославленною и вознесенною? Но, возвышая душу чествуемаго, юбилей въ то же время возвышаетъ и души чествующихъ — ибо, чувствуя чествуемаго, мы тѣмъ самымъ ставимъ и себя на

высоту высокостоящаго и дѣлаемся сопричастниками прославленію прославляемаго. И такъ, братіе, потщимся и т. д.

Послѣ обѣдни состоялась и сходка. На нее, въ качествѣ сторонниковъ юбилея, явились Крамольниковъ и Возсіяющій, но тутъ же присутствовалъ и противникъ торжества, Дудочкинъ, по обыкновенію своему восклицая:

— Неучъ — нашъ народъ! Свинья — нашъ народъ!

Сходка впрочемъ шла довольно вяло, во-первыхъ, потому что крестьяне не понимали самаго предмета сходки, т. е. слова „юбилей“, а во-вторыхъ потому, что повидимому они даже и не интересовались понять его.

— Юбилей, господа, есть торжество, имѣющее значеніе коммеморативное, — началъ Крамольниковъ.

— Въ воспоминаніе творимое, — пояснилъ Возсіяющій.

— Ну, да, въ воспоминаніе; и ежели, напримѣръ, лицо даже крестьянскаго сословія извѣстно своими добродѣтелями, или повиновеніемъ начальству, или исправною уплатою податей и повинностей...

— Или же усердно посѣщаетъ церковь Божію, творить добро ближнему, почитаетъ Божіихъ угодниковъ, — добавилъ Возсіяющій.

— Ну, да, и угодниковъ; и ежели онъ все это неослабѣваючи выдерживаетъ въ теченіе извѣстнаго періода времени...

— Періодомъ называется определенное число лѣтъ, напримѣръ пятьдесятъ. Но не возбраняется праздновать юбилей даже черезъ пятьсотъ и черезъ тысячу лѣтъ.

— Ну, да; такъ вотъ, ежели кто все вышесказанное въ теченіе пятидесяти лѣтъ выдержалъ...

— И не возропталъ....

— То сограждане этого человѣка устраиваютъ въ честь его торжество, чувствуя, въ лицѣ этого человѣка, добродѣтель, трудъ и безнедоимочную уплату податей.

— „Торжество“ — или, лучше сказать, трапезу; „сограждане“ — или, лучше сказать, односельчане...

— Ну, да, односельчане. Затѣмъ, господа, дѣло заключается въ слѣдующемъ: черезъ два дня одному изъ вашихъ согражданъ, или односельчанъ, почтеннѣйшему крестьянину Ипполиту Моисеевичу, исполнится шестьдесятъ-восемь лѣтъ жизни. Въ этотъ самый день, будучи восемнадцатилѣтнимъ юношей, вступилъ онъ въ законный бракъ съ почтеннѣйшей супругой своей Ариной Тимофеевной, и тѣмъ самымъ возложилъ на плеча свои рабочее тягло. Въ теченіе этихъ пятидесяти лѣтъ онъ ни разу не отступилъ отъ правилъ истинной крестьянской жизни и безпрекословно принималъ всѣ ея невзгоды. Всегда въ трудахъ, всегда въ потѣ лица добывая хлѣбъ свой..

— И памятуя церковь Божію...

— Онъ прокармливалъ семью свою, не щадя ни силъ, ни крови своей...

— И ложе супружеское нескверно содержа...

— Никогда не задерживалъ податей, сидѣлъ въ острогѣ, былъ битъ... однимъ словомъ, въ совершенствѣ исполнилъ то назначеніе, которое въ со-вѣтѣ судьбы предопредѣлено...



— Въ чемъ я, какъ пастырѣ, всегда готовъ засвидѣтельствовать...

— Такъ вотъ, въ этотъ-то достопамятный день пятидесятилѣтія, говорю я, не худо бы намъ, собравшись за братской трапезой, отъ лица всего міра засвидѣтельствовать почтеннѣйшему Ипполиту Моисеевичу то уваженіе, которое мы всѣ, и каждый изъ насъ въ особенности, питаемъ къ его добродѣтели. По теплomu нынѣшнему времени трапезу эту я полагаю приличнѣе всего было бы устроить на вольномъ воздухѣ.

По окончаніи этой рѣчи, въ толпѣ произошелъ смутный говоръ. Мужики недоумѣвали. Во-первыхъ, имъ казалось страннымъ, почему добродѣтельный мужикъ Мосечъ, пятьдесятъ лѣтъ сряду работая безъ отдыха и самоотверженно платя казенныя подати, всегда былъ въ загонѣ, а теперь, когда онъ отъ старости уже утратилъ способность быть добродѣтельнымъ, вдругъ понадобилось воздавать ему какую-то честь. Во-вторыхъ, они опасались, не было бы чего отъ начальства за то, что они будутъ на вольномъ воздухѣ добродѣтель чествовать.

— Да и не до праздниковъ намъ!.. Шестидесять-восемь лѣтъ Мосечу — лѣгко ли дѣло! Тягло съ него снимутъ — вотъ и праздникъ! На печи будетъ лежать — пусть и празднуетъ тамъ!

Однимъ словомъ, дѣло непремѣнно приняло бы неблагопріятный оборотъ, если бы Дудочкинъ своимъ легкомысленнымъ вмѣшательствомъ не поправилъ его. По своему обыкновенію онъ былъ грубъ и не дорожилъ словами.

— Не чествовать, — кричалъ онъ во все горло, — а пороть ихъ надо! поррротъ!

Крестьяне смолкли и искоса поглядѣли на бѣснующагося писаря.

— Да, поррротъ! — не унимался онъ: — а вы думали что? Неучъ — народъ! Свинья — народъ! Нашли кого чествовать!

Мужики обидѣлись окончательно.

— Ты чего, ворона, каркаешь? — обратились къ писарю нѣкоторые смѣльчаки.

— Поррротъ, говорю! ничего вамъ другого не надобно!

— А мы развѣ за то тебѣ жалованье платимъ, чтобъ ты насъ свиньями обзывалъ?

— Жалованье я не отъ васъ, а изъ конторы получаю; не ваше это жалованье, а мое заслуженное. А что вы свиньи — это всякій скажетъ! И начальство васъ такъ разумѣетъ... да!

— То-то „да“! Дакало нашелся! Вотъ мы тебѣ жалованье-то прекратимъ — и посмотримъ тогда, какъ ты будешь дакать да въ кулакъ свистать!

— Такъ васъ и спросили! „Жалованье прекратимъ“! Ахъ, испугали! Сдерутъ, голубчики, не посмотрятъ!

— Православные! да чтожъ онъ надъ нами куражится! Ахъ ты, собачій огрызокъ! Не люди мы, что-ли, въ самомъ дѣлѣ?

Общественное мнѣніе вдругъ сдѣлало крутой поворотъ. Предложеніе Крамольникова и Возсіяющаго, которое готово было зачахнуть, совсѣмъ неожиданно получило всѣ шансы успѣха.

Воспользовавшись колебаніями, вызванными писаремъ, изъ толпы выскочилъ „ловкій человѣкъ“ и сразу сорвалъ сходку.

— Православные! — крикнулъ онъ: — что на крапивное сѣмя глядѣть! согласны, что-ли?

— Чтожъ, коли ежели Мосейчъ два ведра выставить... — пошутить кто-то.

Но на этотъ разъ шутка не имѣла успѣха. Подъ вліяніемъ горькой обиды, нанесенной писаремъ, мужички раскуражились. Даже умудренные опытомъ старики — и тѣ, обратясь къ Дудочкину, сказали: „тебѣ бы, прохвосту, надобно насъ на добро научать — а нѣ ты, вмѣсто того, что сдѣлалъ? — только міръ взбунтовалъ?“

И несмотря ни на какія противодѣйствія и угрозы писаря, сходка опредѣлила предложеніе Крамольникова принять, но съ тѣмъ, чтобы въ трапезѣ онъ лично принялъ участіе вмѣстѣ съ священникомъ, а въ случаѣ чего — былъ за всѣхъ въ отвѣтъ, какъ смутитель и бунтовщикъ.

— Праздновать такъ праздновать — хуже мы, что-ли, людей! — говорили мужички: — только ужъ ежели что, вы насъ, господа, не оставьте! Мосейчъ! милости просимъ! Просимъ, почтенный!

Мосейчъ прослезился и отвѣчалъ, что онъ отъ міра не прочь.

— Что міръ прикажетъ, я все исполнить долженъ, — сказалъ онъ: — и ежели, напримѣръ, міръ велить...

— Ну, ладно, ладно! чего еще канитель тянуть! раскошелявайтесь, господа! Покуда еще что будетъ, а выпить смерть хочется! — крикнулъ кто-то.

Черезъ минуту послышалось звяканье мѣдяковъ, а черезъ двѣ — бойкій кабачникъ, со штофомъ въ одной рукѣ и стаканомъ въ другой, уже порхалъ между рядами крестьянъ и поздравлялъ сходку съ благополучнымъ рѣшеніемъ дѣла.

Крамольниковъ и Возсіяющій шли со сходки по направленію къ поповской усадьбѣ. Первый былъ задумчивъ и какъ будто даже недоволенъ.

— Подгадили-таки подъ конецъ! — сказалъ онъ печально: — ну, что бы кажется, отнести къ почину великаго дѣла крестьянскаго самоуваженія трезвенно, съ достоинствомъ, благородно? Нѣтъ, нужно же вѣдь было объ этой проклятой водкѣ вспомнить!

— Да, такіе не забыли, — усмѣхнулся Возсіяющій.

— Такъ это горько! такъ это горько, батюшка! за прогрессъ въ отчаяніе придти можно!

— Ну, Богъ милостивъ. И всегда первую пѣсенку зардѣвшись поютъ! Какое дѣло въ началѣ не прихрамываетъ!

— Нѣтъ, батюшка, если они ужъ теперь ведро потребовали, то что же 15-го іюля будетъ?

— Никто какъ Богъ! загадывать впередъ нечего, а вотъ объ чемъ подумать да и подумать надо: какъ бы и въ самомъ дѣлѣ Дудочкинъ не донесъ, что мы превратными толкованіями народъ смущаемъ!

Крамольниковъ какъ-то подозрительно и въ то же время грустно взглянулъ на Возсіяющаго.

— Ослабѣваете, батюшка? — спросилъ онъ слегка взволнованнымъ голосомъ.



— Ослабѣвать не ослабѣваю, а изъ-за пустяковъ тоже... Попадью жалко, Иона Васильичъ!

Подозрѣнія, высказанныя Возсіяющимъ относительно Дудочкина, даютъ новый полетъ моей сонной фантазіи. Она незамѣтно переноситъ меня на край села Безкормицына, въ небольшую, но довольно опрятную избу, въ которой, судя по отсутствію двора и хозяйственныхъ пристроекъ, долженъ жить одинокій человѣкъ. И дѣйствительно, здѣсь, въ узенькой горницѣ, за столомъ, закапаннымъ каплями чернилъ и сала, при слабомъ мерцаніи нагорѣвшей свѣчи, сидитъ волостной писарь Дудочкинъ.

Увы, онъ не выдержалъ и строчить въ эту минуту такого сорта бумагу:

„Господину приставу 2-го стана NN уѣзда.  
Волостного писаря Безкормицынской волости,  
Асафа Иванова Дудочкина

„Доношеніе.

„Случилось сего числа въ нашемъ селѣ Безкормицынѣ происшествіе, или лучше сказать образъ мыслей, имѣющій свойство подозрительное и даже политическое. Села сего учитель школы, Иона Васильевъ Крамольниковъ, и священникъ Стефанъ Матвѣевъ Возсіяющій, и прежде сего замѣченные мною въ превратныхъ толкованіяхъ, возымѣли намѣреніе совратить въ свою пагубу и нѣкоторыхъ изъ здѣшнихъ крестьянъ. А именно: кромѣ установленныхъ правительствомъ воскресныхъ и табельныхъ дней, дерзостно придумали ввести еще праздновать добродѣтели и другимъ мужицкимъ якобы качествамъ. Для чего избрали крестьянина здѣшняго села, Ипполита Моисеева Голопятова, въ лицѣ котораго добродѣтель будто бы преимущественное дѣйствіе свое оказала. И хотя на предложеніе означенныхъ Крамольникова и Возсіяющаго присоединиться къ ихъ образу мыслей я формально отозвался, и даже имъ съ приказательностью совѣтовалъ отъ сего отстраниться и жить тихо, согласно съ правилами, правительствомъ въ разное время изданными, но они въ намѣреніи своемъ остались непреклонными и только просили о семъ вашему благородію не доносить. Я же отъ исполненія таковой ихъ просьбы воздержался. И затѣмъ, собравъ оныя лица въ селѣ нашемъ, сего числа, самовольную сходку изъ наиболѣе буйныхъ и извѣстныхъ закоренѣлостью крестьянъ, дѣлали имъ о той добродѣтели явное предложеніе, каковое предложеніе о добродѣтели и прочихъ мужицкихъ свойствахъ сходка приняла съ благосклонностью, ассигновавъ на празднованіе два ведра вина, а съѣстное и хлѣбъ каждый долженъ принести съ собою по силѣ возможности. И 15-го сего іюля долженъ быть у насъ сей новый праздникъ, „добродѣтелью“ называемый, и чѣмъ оный кончится и въ чемъ будетъ состоять — того заранѣе опредѣлить нельзя. А какъ ваше высокородіе строжайше изволили мнѣ наказывать, чтобъ, въ случаѣ появленія въ нашей волости образа мыслей, немедленно о семъ доносить, то симъ оное и восполняю, опасаясь, какъ бы отъ праздниковъ сихъ не произошло въ нашемъ селѣ расколовъ и тому подобныхъ безчинствъ, какъ уже и былъ тому примѣръ въ прошломъ году, когда солдатка

показывала простое гусиное перо, увѣряя, что оно есть то самое, которымъ подлинная воля подписана, и тѣмъ положила основаніе новой сектѣ, „пѣрушниками“ называемой. И мое мнѣніе таково, чтобъ мужикамъ потачки не давать, но, дабы они впослѣдствіи не могли отговориться невинностью, то дать имъ покуражиться и весь упомянутый образъ мыслей выполнить, а потомъ и накрыть съ поличнымъ по надлежашему.

„*Волостной писарь Асафъ Ивановъ Дудочкинъ*“.

Сонъ продолжается...

Полдень. Въ затишьи, на огородѣ избы богатаго безкормицынскаго крестьянина, Василя Егорова Бодрова, разставлено нѣсколько столовъ, за которыми сидятъ человѣкъ до тридцати домохозяевъ, чествующихъ своего односельца, Ипполита Моисеича Голопятова. Голопятовъ президентствуетъ; по правую руку его сидитъ Крамольниковъ, по лѣвую—сельскій староста Иванъ Матвѣевъ Лобачевъ, напротивъ—хозяинъ дома и сотскій. Возсіяющій воздержался; онъ явился къ началу трапезы, благословилъ яствіе и питіе и удалился подъ предлогомъ, что не подобаетъ пастыреви вмѣшиваться въ дѣла міра сего...

Мужички чинно хлебаютъ изъ поставленныхъ передъ ними чашекъ. Хлебаютъ и въ то же время оглядываются и прислушиваются. Виновники торжества, словно бы передъ причастіемъ, надѣлъ синій праздничный кафтанъ и чистую бѣлую рубашку; прочіе участники тоже въ праздничныхъ одеждахъ. Неподалеку отъ пирующихъ, у сосѣдней амбарушки, собрались старухи-крестьянки, и гуторятъ между собой; изъ-за огороднаго плетня выглядываетъ толпа ребятишекъ, болтающихъ въ воздухѣ руками; съ улицы доносится звонъ хороводной пѣсни.

Долгое время молчаніе царствуетъ за столами, какъ будто надъ сотрапезниками тяготеетъ смутное опасеніе. Уклончивость Возсіяющаго всѣми замѣчена, и многіе видятъ въ ней недобрый знакъ. Къ великой собственной досадѣ, и Крамольниковъ не можетъ свергнуть съ себя иго неловкаго безмолвія, сковавшаго уста и умы присутствующихъ. Онъ было-приготовилъ цѣлую рѣчь, но думаетъ, что въ началѣ трапезы произнести ее преждевременно. Надо сначала завести простую крестьянскую бесѣду, и Крамольниковъ знаетъ, что достигнуть этого очень легко: стоитъ только пустить въ ходъ подходящее слово, но этого-то именно слова онъ и не находитъ. Наконецъ однакожь онъ убѣждается, что долѣе ждать невозможно.

— Жать, Василій Егорычъ, начали?—обращается онъ къ хозяину огорода такимъ тономъ, словно бы ему клещами давили горло.

— Мы-то вчерась зажали, а другіе хотятъ еще погодить,—отвѣчаетъ Василій Егорычъ, не безъ гордости оглядывая собравшихся.

— Чего жъ бы, кажется, годить! На дворѣ жары стоятъ—самая бы пора за жнитво приниматься!

— Съ силами, значитъ, не собрались, Іона Васильичъ. У кого силы побольше, тотъ впередъ ушелъ; у кого поменьше силы — тотъ позади остался.



— Это, ваше здоровье, такъ точно, — подтверждаетъ и староста: — коли ежели у кого сила есть, у того и въ полѣ, и дома — вездѣ исправно. Ну, а безъ силы ничего не подѣлаешь.

— Чтѣ безъ силы подѣлаешь! — отзывается сотскій.

— А вы, Ипполитъ Моисеичъ, какъ? скоро ли думаете начать жать? — втягиваетъ Крамольниковъ въ бесѣду виновника торжества.

— Надо бы, сударь, — скромно отвѣчаетъ Моисеичъ: — вчера съ въ поле ходили: самая бы пора жать!

— У насъ же, ваше здоровье, рожь сыпкая, слабкая. День ты ее перепусти, анъ, глядишь, третье зерно на полосѣ осталось, — объясняетъ Василій Егорычъ, еще гордѣ оглядывая присутствующихъ и какъ бы говоря имъ: зѣвайте, вороны! вотъ я ужѣ, какъ у васъ весь хлѣбъ выйдеть, съ васъ же за четверикъ два возьму!

— Не пойму я тутъ вотъ чего, — недоумѣваетъ Крамольниковъ: — вы вѣдь землю-то по тягламъ берете; сколько у кого тягѣ въ семьѣ, столько тотъ и земли беретъ — стало быть, по настоящему, сила-то у каждаго должна быть ровная.

— То-то, что неровная: у одного, значить, одна сила, а у другихъ — другая.

— Это такъ точно, — подтверждаетъ староста.

— Воля ваша, а я это не понимаю.

— А въ томъ тутъ и причина, что у меня, значить, помощью вчера жали. Купилъ я, напимѣрь, мужикамъ вина, бабамъ пива — ко мнѣ всякій мужикъ съ радостью бабу пришлетъ. Ну, а какъ у другого силы нѣтъ — и на помочь къ нему идти не весело. Онъ бы и радъ въ свое время работу сработать — анъ у него другихъ дѣловъ по горло. Покуда съ сѣномъ возжается, покуда чтѣ — рожь-то и утекаетъ.

— Страсть какъ утекаетъ!

— Опять и то: теперича, коли ежели я въ засиліе вошелъ — я за цѣлое лѣто изъ дому не шелохнусь. А другой, у котораго силы нѣтъ, тотъ раза два въ недѣлю-то въ городъ съѣздитъ. Высушить сѣнца, навѣетъ возокъ и ѣдетъ. Потому у него дома ѣсть нечего. Смотришь — анъ два дня изъ недѣли и вонъ!

Въ рядахъ пирующихъ проносится глубокій вздохъ.

— Такъ-то, ваше здоровье, и объ землѣ сказать надо: одному она въ пользу, а другой ею отягощается. У меня вотъ въ семьѣ только два работника числится, а я земли на десять душъ беру: пользу вижу. А у Моисеича пять душъ, а онъ всего на двѣ души земли беретъ.

Крамольниковъ вопросительно взглядываетъ на виновника торжества.

— Дѣйствительно... — скромно подтверждаетъ послѣдній.

— Странно! вѣдь ему бы, кажется, еще легче съ малымъ-то количествомъ справиться?

— То-то, сударь, порядковъ вы нашихъ не знаете. Коли настоящей силы нѣтъ — ему и съ огородомъ однимъ не управиться. Народу у него числится много, а загляни къ нему въ избу — анъ нѣтъ никого. Старый да малый. Тотъ на фабрику ушелъ; другой въ извозчикахъ въ Москвѣ живетъ; третьяго

съ подводой сотскій выгналъ; четвертый на помочь, хоть бы примѣрно ко мнѣ, ушелъ. Свое-то дѣло и упадаетъ. Надо бы ему еще вчера свою рожь жать, анъ глядишь—его бабы у меня зажинали.

— Зачѣмъ же онѣ на сторонѣ работаютъ, коли у нихъ и своя работа не ждетъ?

— Опять-таки, ваше здоровье, вся причина, что вы нашихъ порядковъ не знаете.

Такъ-таки на томъ и утвердились: „не знаете нашихъ порядковъ“ — и дѣло съ концомъ.

Бесѣда на минуту упадаетъ, но на этотъ разъ уже самъ Василій Егорычъ возобновляетъ ее.

— А я вотъ объ чемъ, ваше здоровье, думаю, — обращается онъ къ Крамольникову: — какая тутъ есть причина, что батюшка къ намъ не пришелъ?

— Право, не знаю, — нерѣшительно отвѣчалъ Крамольниковъ.

— А я полагаю: не къ добру это! Самъ первымъ затѣйщикомъ былъ, да самъ же и на понятный дворъ, какъ до дѣла дошло. Не знаю, какъ вашему здоровью покажется, а по моему, значить, невѣрный онъ человѣкъ.

— Признаться сказать, — вступается староста: — и я вчера къ батюшкѣ за совѣтомъ ходилъ: какъ, молъ, собираться или не собираться завтра мужикамъ?

— Ну?

— Чего! и руками замахалъ: „не знаю, говорить, ничего я не знаю! и что ты ко мнѣ пристаешь!“ Сказано: невѣрный человѣкъ — невѣрный и есть!

Крамольниковъ потупился: поступокъ Возсіяющаго горькимъ упрекомъ падаетъ на его сердце.

— Онъ у насъ, ваше здоровье, и до воли самый невѣрный человѣкъ былъ! — говоритъ кто-то изъ толпы: — признаться, на послѣдяхъ-то мы не въ миру съ помѣщикомъ жили. Вотъ и пойдутъ, бывало, крестьяне къ батюшкѣ: какъ, молъ, батюшка, слѣдуетъ ли теперича крестьянамъ на барщину ходить? ну, онъ и скосить-это глазами, словно какъ и не слѣдуетъ. А черезъ часъ времени — глядимъ, онъ ужъ у помѣщика очутился, ужъ съ нимъ шуры да муры завелъ.

— Такъ ужъ ты смотри, Иона Васильичъ! — предупреждалъ Василій Егорычъ: — коли какой грѣхъ — ты въ отвѣтъ!

— Да чего вы боитесь? что мы, наконецъ, дѣлаемъ? — пробуетъ ободрить присутствующихъ Крамольниковъ.

— Ничего мы не дѣлаемъ; такъ промежду себя собрались; а все-таки, какова пора ни мѣра, насъ вѣдь не поглядятъ.

— За что же?

— А здорово живешь — вотъ за что! Никогда, молъ, такихъ дѣловъ не бывало — вотъ за что! Мужикъ, молъ, полагается въ своей избѣ праздники справлять, а тутъ нутка... вотъ за что! Писаренокъ вотъ тоже: давеча, отъ обѣдни шедши, я съ нимъ встрѣтился — и не глядитъ, рыло воротить! Стало быть, и у него на совѣсти что-ни-на-есть нечистое завелось!

Въ это время на улицѣ раздается свистъ.

— А вѣдь это онъ, это писаренокъ посвистываетъ! Гляньте-ко, ребята, не ѣдетъ ли по дорогѣ кто-нибудь?



— Чего глядѣть! Я на колокольню Минайку сторожа поставилъ: чуть что, говорю, сейчасъ, Минайка, бѣги!—успокоиваетъ общество староста.

— Такъ ты ужъ сдѣлай милость, Иона Васильичъ! просимъ тебя: какъ ежели что, такъ ты выходи впередъ: я, молъ, одинъ въ отвѣтъ!

Крамольникову дѣлается грустно, и слова Возсіяющаго: „не стѣитъ изъ-за пустяковъ“ невольно приходятъ ему на мысль. Но онъ еще бодрится, и даже самое негодованіе, возбуждаемое маловѣріемъ крестьянъ, проливаетъ какую-то храбрость въ его сердце.

— Сказалъ, что одинъ за всѣхъ въ отвѣтъ буду—и буду въ отвѣтъ!—говоритъ онъ твердымъ и увѣреннымъ голосомъ: — и не боюсь! никого я не боюсь, потому что и бояться мнѣ нечего.

— А если ты не боишься—такъ и слава Богу! И мы не боимся—намъ что! Когда ты одинъ въ отвѣтъ — стало быть, мы у тебя все одно какъ у Христа за пазушкой!

Крестьяне успокоиваются и словно бодрѣе принимаются за ложки. На столахъ появляется вторая перемѣна хлѣбова и по стакану вина. Крамольниковъ подмигиваетъ однимъ глазомъ Василию Егорычу, который встаетъ.

— Ну, Мосеичъ, будь здоровъ! — провозглашаетъ онъ:—пятьдесятъ лѣтъ для Бога и для людей старался, постарайся и еще столько же!

— Мосеичу! Палиту Мосеичу! — раздается со всѣхъ сторонъ:—пятьдесятъ лѣтъ здравствовать!

Виновникъ торжества видимо взволнованъ, хотя и старается казаться спокойнымъ. Блѣдное старческое лицо его кажется еще блѣднѣе и словно чище; онъ тоже встаетъ и на всѣ стороны кланяется.

— Благодаримъ на ласковомъ словѣ, православные!—произноситъ онъ слегка дрожащимъ голосомъ: — а чтобъ еще пятьдесятъ лѣтъ маяться — отъ этого уже увольте!

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! Пятьдесятъ лѣтъ да еще съ хвостикомъ!—настаиваютъ пирующие.

Здѣсь бы собственно и сказать Крамольникову приготовленную рѣчь; но онъ разсчитываетъ, что времени впереди еще много, и потому рѣшается предварительно проэкзаменовать юбиляра. Съ этою цѣлью онъ дѣлаетъ ему точъ-въ-точъ такой же допросъ, какой ловкій прокуроръ обыкновенно дѣлаетъ на судѣ подсудимому, котораго онъ, въ интересахъ казны, желаетъ подкузмить.

— А что, Ипполитъ Мосеичъ, — говоритъ онъ: — много-таки, я полагаю, вы на своемъ вѣку видовъ видѣли?

— Всего, сударь, было, — просто и скромно отвѣчаетъ юбиляръ.

— Онъ у насъ и въ огнѣ не горитъ, и въ водѣ не тонетъ! — подсмѣивается староста.

— Какъ и всѣ, Иванъ Михайлычъ.

— Ну-съ, а скажите, правду ли говорятъ, что вы нѣсколько разъ замерзали? — продолжаетъ Крамольниковъ.

— Было, сударь, и это.

— А скажите пожалуйста, какое это чувство, когда замерзаешь?

— То-есть, какъ это „чувство“?

— Ну, да, что вы чувствовали, когда съ вами это случилось?

— Что чувствовать? По началу зябко, а потомъ — ничего. Словно бы въ сонъ вдарить. Послѣ хуже, какъ оттаивать начнутъ. Я въ Москвѣ два мѣсяца въ больницѣ пролежалъ — вотъ и пальца одного нѣтъ.

Онъ поднимаетъ правую руку, на которой дѣйствительно вмѣсто третьяго пальца оказывается дыра.

— Какъ же вы работаете съ такой рукой? вѣдь, я думаю, неспособно?

— Приспособился, сударь.

— Намъ, ваше здоровье, нельзя не работать, — вставляетъ свое слово Василій Егорычъ: — другого и всего болѣсть изломаетъ, а все ему не работать нельзя.

— Мы на работѣ, сударь, лечимся, — отзывается какой-то мужичокъ изъ толпы: — у меня наемдникъ совсѣмъ поясница отнялась: всталъ-это утромъ — что за чудо! согнуться — разогнуться не могу; разогнусь — согнуться не въ мочь. Взялъ косу да отмахалъ ею четыре часа сряду — и болѣзнь какъ рукой сняло!

— Да и работы по нашему хозяйству довольно всякой найдется, — поясняетъ староста: — ежели одну работу работать неспособно — другая есть. Косить не можешь — сѣно съ бабами вороши; пахать нельзя — боронить ступай. Работа завсегда есть.

— Какъ не быть работѣ! — откликаются со всѣхъ сторонъ.

— А вотъ, говорятъ, что вы однажды чуть не утонули, — вновь спрашиваетъ Крамольниковъ: — что вы при этомъ чувствовали?

— Тоже въ сонъ вдаряетъ, — отвѣчалъ юбиляръ: — сначала барахтаешься въ водѣ, вынырнуть хочешь, а потомъ ослабнешь. Покажется мягко таково. Только круги зеленые въ глазахъ — неловко словно.

— По какому же случаю вы тонули?

— Съ подводой въ ту пору гоняли; подъ солдатъ: солдаты шли. Дѣло-то осенью было, наводокъ случился — не остерегся, стало быть.

— Ну, а пожары у васъ въ домѣ бывали?

— Бывали, сударь. Разъ десятокъ пришлось-таки милость Божью видѣть!

— У него, ваше здоровье, даже сынъ въ пожаръ сгорѣлъ, — напоминаетъ кто-то изъ толпы.

— И какой мальчишка былъ шустрый! Кормилецъ былъ бы теперь! — отзывается другой голосъ.

— Какъ же это такъ? Неужто спасти не могли?

— Ночью, сударь, пожаръ-то случился, а меня дома не было, въ Москву ѣздилъ...

— Прибѣгаютъ-это мужички на пожаръ, — говоритъ староста: — а онъ, сердечный, мальчишечко-то, стоитъ въ окнѣ, въ самомъ, значить, въ полымѣ... Мы ему кричимъ: спрыгни, милый, спрыгни! а онъ только ручонками рубашонку раздуваетъ!

— Не смыслилъ еще, значить!

— И вдругъ-это закружился...

При этомъ рассказѣ Мосейчъ встаетъ и набожно крестится. Губы его



что-то шепчуть. Всѣ присутствующіе вздыхаютъ, такъ что на минуту торжество грозитъ принять печальный характеръ. Къ счастью, Крамольниковъ, помня, что ему предстоитъ еще кой о чемъ допросить юбиляра, не даетъ окръпнуть печальному настроенію.

— А вотъ въ тюрьмѣ вы за чтò были?—спрашиваетъ онъ.

— Такъ, сударь, Богу угодно было.

— Мы вѣдь въ старину-то бунтовщики были, — поясняетъ Василій Егорычъ:—съ помѣщиками все воевали. Ну, а онъ, какъ въ своей-то порѣ былъ, горячій тоже мужикъ былъ. Иной бы разъ и позади людей схорониться нужно, а онъ впередъ да впередъ. И на поселеніе сколько разъ его ссылали хотѣли—да отъ этого Богъ однако миловалъ.

— Не допустилъ Царь Небесный на чужой сторонѣ помереть!

— А безпремѣнно бы его сослали, — договариваетъ староста: — коли бы ежи сами господа въ немъ нужды не видѣли.

— Вотъ чтò!

— Именно такъ. Лѣсникомъ онъ у насъ въ вотчинѣ служилъ. Лѣса у насъ здѣсь, надо прямо сказать, большіе были, а онъ каждый кустъ зналъ, и чтобъ срубить что-нибудь въ барскомъ лѣсу безъ спросу—и ни-ни! Прута унести не дастъ! Вотъ господамъ-то и жалко. Пробовали было, и не разъ, его смѣнять, да не въ пользу. Какъ только провѣдаютъ мужики, что Моисеича нѣтъ—смотришь, анъ на другой день и порубка.

— Ну-съ, а помѣщики... хорошо съ вами обращались?—продолжаетъ допрашивать Крамольниковъ.

— Бывало... всякое... — отвѣчаетъ юбиляръ уже усталымъ голосомъ. Очевидно, что еслибы не невозмутимое природное благодушіе—онъ давно бы крикнулъ своему собесѣднику: отстань!

— У насъ, ваше здоровье, хорошіе помѣщики были: шесть дней въ недѣлю на барщину, а остальные на себя—хдѣшь-гуляй, хдѣшь-работай!—шутить староста.

— А послѣдній помѣщикъ у насъ Василій Порфирычъ былъ, отъ котораго мы ужъ и на волю вышли,—говоритъ Василій Егорычъ:—такъ тотъ, бывало, по почамъ у крестьянъ капусту съ огородовъ воровалъ! И чудородъ вѣдь! Бывало, подкараулишь его: хорошо-ли, молъ, вы, Василій Порфирычъ, этакъ-то дѣлаете? Ну, онъ ничего, словно съ гуся вода: „чтò ты! чтò ты! говорить, ничего я не дѣлаю, я только такъ“... И сейчасъ это маршь назадъ, и даже кочки, ежили которые сръзалъ, отдастъ!

— Болѣзнъ, стало быть, у него такая была!—отзывается кто-то.

— Ну-съ, Ипполитъ Моисеичъ, а расскажите-ка намъ теперь, какъ вы женились?—какъ-то особенно дружелюбно вопрошаетъ Крамольниковъ и даже похлопываетъ юбиляра по колѣнѣ.

— Чтò же „женился“?! Женился—и все тутъ!

— Нѣтъ, ужъ вы по порядку намъ расскажите: какъ вы склонность къ вашей нынѣшней супругѣ получили, или, быть можетъ, вашъ бракъ состоялся не по любви, а подъ вліяніемъ какихъ-либо принудительныхъ мѣръ? Знаете, вѣдь въ прежнее время помѣщики...

— Года вышли; на тягло надо было сажать... Извѣстно—женихъ.

— Нѣтъ, вы ужъ, сдѣлайте одолженіе, по порядку расскажите!

— Года вышли—ну, староста пришелъ. „У Тимофея, говорить, дочь дѣвка есть“. Ну—женился.

— У насъ, ваше здоровье, не спрашивали, любя или нелюба дѣвка. Тягло чтобъ было—и весь разговоръ тутъ!—объясняетъ староста.

— Такъ-съ, а подати и оброки вы всегда исправно платили?

— Завсегда... ни единой, то-есть, полушки... И барщина, и оброкъ... какъ есть! — отвѣчаетъ юбиляръ и словно даже приходитъ въ волненіе при этомъ воспоминаніи.

— И вѣроятно тяжелымъ трудомъ доставали вы эти деньги?

Юбиляръ молчитъ. Ясно, что его уже настолько задѣли за живое, что ему дѣлается противно. Но староста оказывается словоохотливѣе и по мѣрѣ разумнѣя своего удовлетворяетъ любознательности Крамольникова.

— Это насчетъ тягостей, что-ли, ваше здоровье, спрашиваете?—говоритъ онъ: — и не приведи Богъ! Каторжная наша жизнь — вотъ что! Вынь да положь — вотъ какая у насъ жизнь! А откуда вынь — никому это, значить, не любопытно. Прошлый годъ я цѣлую зиму сѣно въ Москву возилъ: у помѣщиковъ здѣсь по разнотѣ скупалъ, а въ Москвѣ продавалъ. И Боже ты мой, сколько я тутъ мученья принялъ! Бдешь этта тридцать верстъ цѣлую ночь, и стыть-то, и глаза-то тебѣ слѣпить, и вѣтромъ лицо жжетъ—смерть! Ну, цѣлковый-рупъ выгадаешь, привезешь изъ Москвы. А вашему здоровью со стороны-то, чай, кажется: вотъ-моль мужичокъ около возочка погуливаетъ!

— Ну, нѣтъ, мнѣ... я вѣдь и самъ...

— Знаемъ, что не дворянской крови, а все-таки... вы изъ приказныхъ, что-ли?

— Отецъ мой былъ канцелярскимъ служителемъ... и тоже...

— Тоже, чай, по кабакамъ мужикамъ просьбы писалъ — что ему? Въ кабакѣ свѣтло, тепло... Сидитъ да перомъ поскребывается! Ну, а наше дѣло почище будетъ! И вѣдь чудо это! Маемся мы маемся, а все какъ будто гуляемъ!

— Наша должность такая, что все мы на вольномъ воздухѣ,—скромно поясняетъ юбиляръ:—оттого и кажется, будто гуляемъ.

— Косимъ—гуляемъ, сѣно воронимъ — гуляемъ, нашемъ — гуляемъ! —отзывается кто-то.

— А ты сочти, сколько верстъ хоть бы на пашнѣ этого гулянья на нашъ пай достанется. Въ лѣтній день мужику—это бѣдно—полдесятины впахать нужно. Сколько это, по твоему, верстъ будетъ?

— Да верстъ двадцать слишкомъ.

— Ты, вотъ, двадцать-то верстъ въ день порожнемъ по гладкой дорогѣ пройдешь, и то запыхаешься, а тутъ по пашнѣ иди, да еще налягъ на соху-то, потому она неравно выбьется!

Мужики смолкли, словно призадумались. Крамольниковъ тоже облачивается рукой объ столъ и ерошитъ себѣ волосы. Онъ чувствуетъ, что теперь самое время произнести юбилейную рѣчь.

— Неприглядное ваше житъе, господа!—говоритъ онъ.

— Какого еще житъя хуже надо!



Крамольниковъ встаетъ, держа въ рукѣ стаканъ съ виномъ. Опъ, видимо, взволнованъ; лицо блѣдно, плечи вздрагиваютъ, руки трясутся, волосы стоятъ почти дыбомъ.

— Господа!—говорилъ онъ, задыхаясь:—пью за здоровье почтеннаго, изнуреннаго, но все еще не забитаго и бодрого русскаго крестьянства! Да, неприглядное, горькое ваше житье, господа! Вы слышали сейчасъ показанія почтеннаго юбиляра, вы слышали свидѣтельство и другихъ, не менѣе почтенныхъ и свѣдущихъ лицъ—и изъ всѣхъ этихъ показаній и свидѣтельствъ явствуетъ одно: горькое, трудное житье русскаго крестьянина! Можно сказать даже больше: его жизнь полна такихъ опасностей, которыя неизвѣстны никакому другому сословію. Чтобы убѣдиться въ этомъ, прослѣдимъ судьбу его съ самаго начала. Онъ родится, и съ первыхъ минутъ своей жизни уже составляетъ не радость и утѣшеніе, но бремя для своихъ родителей! Да, бремя; ибо ежели впоследствии тѣ же родители будутъ имѣть въ пародившемся малюткѣ кормильца и поддержку ихъ старости, то вначалѣ они видятъ въ немъ только лишній ротъ и обременительную заботу, отвлекающую отъ выполненія главной задачи ихъ жизни: поддержки того бѣднаго существованія, которое, такъ или иначе, они обязываются нести. Ребенокъ безпомощенъ: онъ требуетъ ухода и попеченій; но какой же уходъ можетъ дать ему его бѣдная мать? Согбенная подъ лучами палящаго солнца, она надрываетъ свои силы надъ скудною полосою ржи; покрытая перлами пота, она ворошитъ сѣно и помогаетъ достойному своему мужу навить его на возъ; она встаетъ съ зарею и для всей семьи приготовляетъ скудную трапезу; она ѣдетъ въ лѣсъ за дровами, въ лугъ за сѣномъ, задаетъ кормъ скотинѣ, убираетъ ее... И все это время ребенокъ остается безъ призора, мокрый, безъ пищи, ибо можно ли называть пищею прокислую соску, которую суютъ ему въ ротъ, чтобъ онъ только не кричалъ? Упомянуть ли о болѣзняхъ, которыя вслѣдствіе всего этого такъ часто поражаютъ крестьянскихъ дѣтей? Удивляться ли смертности, необходимой спутницѣ этихъ болѣзней? Крупъ, скарлатина, осна, головная водянка—всѣ бичи человѣчества стерегутъ злосчастныхъ малютокъ и нерѣдко похищаютъ у жизни цѣлыя поколѣнія!.. Нѣтъ, не болѣзнями, не смертности нужно удивляться, а тому, что еще находятся отдѣльныя единицы, которыя, по счастливой случайности, остаются жить. Жить—для чего? Для того, господа, чтобъ и дальнѣйшее ихъ существованіе продолжало быть некушительною жертвою, приносимою на алтарь отечества! Проходитъ годъ, два, три, крестьянскій малютка настолько выросъ, что можетъ уже стоять на ногахъ и лепетать кой-какія слова. Какія попеченія окружаютъ его въ этомъ нѣжномъ и опасномъ возрастѣ? Мнѣ больно, господа, но я долженъ сказать, что ничего похожаго на уходъ тутъ не существуетъ. Та нужда, которая съ ранняго утра выгоняетъ изъ дома родителей ребенка, ковеннымъ, но очень рѣшительнымъ образомъ отражается и на немъ самомъ. Онъ дѣлается, такъ сказать, гражданиномъ деревенской улицы, товарищемъ птицъ и звѣрей, которые бродятъ по ней, настолько же лишеныя призора, насколько лишень его и крестьянскій малютка. Сообразите, сколько опасностей ожидаетъ его тутъ? Хищный волкъ, бѣшеная собака, прожорливая свинья—все находитъ его беззащитнымъ, все угрожаетъ ему безвременной смертью! Еще на дняхъ у насъ былъ такой слу-

чай, что пѣтухъ выключилъ глазъ у крестьянской дѣвочки. Гдѣ, спрашиваю я, въ какомъ сословіи можетъ случиться что-нибудь подобное? Но крестьянскій малютка живучъ; онъ бодро идетъ впередъ по устѣнной терниемъ жизненной тропѣ и посмѣивается надъ жаломъ смерти, вездѣ его преслѣдующимъ, вездѣ готовымъ его настигнуть. Поднявши рубашонку, шлея по грязи или возясь съ непокрытой головой въ дорожной пыли подъ лучами налягающаго солнца, онъ растетъ... Я хотѣлъ бы сказать, что онъ растетъ, какъ крапива у лабора, но, право, и это было бы слишкомъ роскошно для него, ибо едва-ли найдется въ цѣлой природѣ такой злакъ, котораго возрастаніе могло бы быть приведено здѣсь, какъ мѣрило для сравненія. Тѣмъ не менѣе, онъ растетъ и крынеть, и восьми лѣтъ дѣлается уже небезполезнымъ членомъ своей семьи. Онъ помогаетъ родителямъ въ болѣе легкихъ работахъ, онъ пѣтуетъ своихъ малолѣтнихъ сестеръ и братьевъ, наконецъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ онъ даже приноситъ семьѣ извѣстный заработокъ. Этотъ заработокъ — святой, господа! Вы вѣроитно слышали отъ священника вашего о лептѣ вдовицы, и, конечно, умилились надъ разсказомъ объ ней! Но сообразите, во сколько разъ святѣе и умирительнѣе эта другая лента, которую я назову лентою русскаго крестьянскаго малютки? Древле Авраамъ, по слову Господню готовился принести въ жертву сына своего Исаака, и ангелъ Господень остановилъ руку его. Русское крестьянство каждый день приноситъ эту жертву, и увы! останавливающийъ руку ангелъ не прилетаетъ къ нему! Древле пророкъ, оплакивая судьбы святого города, восклицалъ въ смятеніи души своей: „да будетъ забвенна рука моя, аще забуду тебя, Іерусалиме!“ Нынѣ я, какъ учитель дѣтей крестьянскихъ, проводившій сладчайшія минуты жизни своей въ общеніи съ ними, во всеуслышаніе восклицаю: дѣти! русскія дѣти! Да будетъ забвенна десница моя, ежели забуду часы, проведенные съ вами! Господа! пью за здоровье крестьянскихъ русскихъ дѣтей!

Голосъ Крамольникова прервался; онъ былъ до того взволнованъ, что едва держался на ногахъ. Старушки, приблизившіяся къ пирующимъ, чтобъ послушать, что учитель гуторитъ, стояли пригорюнившись, а нѣкоторые и прослезились. Мужики говорили: „ну, вотъ, и спасибо тебѣ, ваше здоровье, что ребятишекъ нашихъ вспомнилъ!“ Черезъ нѣсколько минутъ однакожъ Крамольниковъ на столько успокоился, что могъ продолжать.

— Я не буду представлять вамъ здѣсь, господа, — сказалъ онъ, — полную картину перехода русскаго крестьянскаго ребенка отъ ребячества къ юношеству. Это заняло бы у насъ много времени, недостатокъ котораго заставляетъ меня останавливаться лишь на самыхъ характеристическихъ подробностяхъ предмета, насъ занимающаго. И такъ, перейдемъ прямо къ крестьянину-юношѣ, и прежде всего займемся судьбой русской крестьянки. Признаюсь откровенно, мое сердце сжимается при одномъ имени русской крестьянки, и сжимается тѣмъ больше, что часть тѣхъ тяжелыхъ веригъ, которыя выпали на долю ея, идетъ отъ васъ самихъ, господа. Я знаю, что въ этомъ фактѣ не столько виноваты вы сами, сколько ваше горе, нужда, но я знаю также, что одинаковость горя и равная степень нужды должна бы послужить поводомъ для круговой поруки несчастія, а не для притѣсненія однихъ несчастныхъ посредствомъ другихъ. Пора бы подумать объ этомъ, го-



спода. Пора сказать себѣ: мы несчастны, слѣдовательно наша обязанность — подать другъ другу руку, а не раздирать другъ друга. Нѣтъ ничего безотраднѣе, даже безпримѣрнѣе существованія русской крестьянки. Начать съ того, что у нея почти нѣтъ дѣвчества. То, о чемъ поется въ пѣсняхъ подъ именемъ дѣвической воли, продолжается не болѣе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, т.-е. отъ конца лѣтней страды до январскаго мясоѣда, въ которомъ обыкновенно вѣнчаются крестьянскія свадьбы. Лѣтомъ — она была отроковица, зимою — она уже жена и работница. Да, именно работница, и останется ею во всю жизнь, ибо только немногимъ русскимъ крестьянкамъ удастся цѣною долготѣняго искуса страданій купить себѣ въ старости положеніе главы дома. Мало радостей у крестьянина, а у нея и совсѣмъ нѣтъ ихъ. Крестьянинъ все-таки отлучается на заработки, слѣдовательно видитъ свѣтъ Божій, чувствуетъ себя дѣйствующимъ и отвѣтственнымъ лицомъ. Крестьянка — на всю жизнь прикована къ семьѣ, на всю жизнь осуждена на безотвѣтность. Сознайтесь, господа, что ваше обращеніе съ женами и матерями потому только не заслуживаетъ названія жестокаго, что оно слишкомъ уже вошло въ нравы. А между тѣмъ, не будь въ домахъ вашихъ этихъ вѣковыхъ печальницъ, этихъ неутомимыхъ охранительницъ бѣднаго крестьянскаго двора — вы не имѣли бы даже и тѣхъ скудныхъ жизненныхъ удобствъ, которыми пользуетесь теперь. Ежели жилища ваши имѣютъ видъ человѣческихъ жилищъ, если въ нихъ свѣтло и тепло, то и этотъ свѣтъ, и эта теплота исходятъ исключительно отъ нея, отъ этой загубленной русской женщины, объ которой не даромъ русская пѣсня поетъ:

День—денная ты печальница,  
Ночь—ночная богомолица!  
Вѣковѣчная сухотница.

Если вы не умираете съ голоду, ежели видите дворы свои не расхищенными, ежели не пропадаютъ, какъ ничтожное быліе, ваши дѣти—этими вы обязаны все той вѣковѣчной сухотницѣ! Исторія отмѣтила много видовъ геройства и самоотверженности, но забыла объ одномъ: о геройствѣ и самоотверженности русской крестьянской женщины. Это—скромное, безпримѣрное геройство, никогда не прекращающееся, не ослабѣвающее: ни при первомъ крикѣ пѣтела, ни при третьемъ. Это геройство, замкнутое въ тѣсныхъ предѣлахъ крестьянскаго двора, но всегда стоящее на-стражѣ и готовое встрѣтить врага. Не забудьте, что женщина по самой природѣ своей — существо слабое, существо, обреченное на болѣзни; но русская крестьянка въ этомъ случаѣ составляетъ какъ бы исключеніе; для нея не существуетъ ни болѣзней, ни слабости, не потому, чтобъ она ихъ не чувствовала, но потому, что она не имѣетъ права чувствовать. Я сейчасъ упоминалъ о случаѣ, когда пѣтухъ выключнулъ глазъ дѣвочкѣ Матрешѣ. Въ это время мать ея, Надежда Петровна, была въ лѣсу, вереть за пять, и рубила дрова. Изнуренная тяжелой работой, тѣмъ не менѣе она бѣгомъ пробѣжала эти пять веретъ, и никто даже не удивился этому подвигу, ибо всякій понималъ, что именно такъ должна была поступить русская крестьянка. Я не говорю о томъ, что ваши женщины суть устроительницы домовъ вашихъ, что работы, которыя

онѣ несутъ, немногимъ легче тѣхъ, которыя вы сами несете, но есть одно обстоятельство, еще болѣе горькое, болѣе безотрадное. Онѣ раздѣляютъ всѣ тяготы ваши, всѣ неудачи, невзгоды и несчастія, и никогда не дѣлятъ вашихъ радостей или удовольствій. Вы имѣете хоть какіе-нибудь внѣ-семейные интересы; вы встрѣчаетесь съ новыми людьми, съ новою обстановкой; вы, наконецъ, какъ и уже сказалъ разъ, можете, за вашъ личный страхъ, бороться съ невзгодой. Крестьянка лишена всѣхъ этихъ преимуществъ. Она даже бороться не можетъ, а можетъ только втихомолку проливать слезы. Въ продолженіе всей ея жизни у нея постоянно что-нибудь да отнимаютъ. Замужество отнимаетъ у нея мать и отца, заработки—мужа, рекрутчина—сына, совершеннолѣтіе дочери—дочь. И на всѣ эти притязанія слѣпой судьбы она можетъ отвѣтить только слезами! Кто видитъ эти слезы? Кто слышитъ, какъ онѣ льются капля по каплѣ, подтачивая драгоцѣннѣйшее человѣческое существованіе? Ихъ видитъ и слышитъ только русскій крестьянскій малютка, но въ немъ онѣ оживляютъ нравственное чувство и полагаютъ въ его сердцѣ сѣмена любви и добра. Школа материнскихъ слезъ—добрая школа, господа, и не утратитъ вѣры въ свою силу тотъ, кто воспитался въ этой школѣ. Но вы, господа—я обращаюсь теперь уже къ вамъ—вы, главы крестьянскихъ семействъ, что дали вы вашимъ женамъ и матерямъ взаменъ ихъ самоотверженности и любви? Видѣли ли вы ихъ слезы, знаете ли объ нихъ? Я знаю, вы настолько совѣстливы, что не нужно даже ждать вашего отвѣта на мой вопросъ; этотъ отвѣтъ навѣрное осудитъ васъ. По этому поводу позвольте мнѣ еще разъ возвратиться къ уже высказанной мною прежде мысли. Господа! васъ ожесточаетъ горе и вѣчно преслѣдующая нужда, и, конечно, это въ значительной степени облегчаетъ вашу вину; но знайте, что въ кругу одинаково несчастныхъ людей горе и нужда должны быть сплочивающимъ звеномъ, а не сѣменемъ раздора. Иначе самое существованіе сдѣлается невозможнымъ и исчезнетъ всякая надежда на лучшее будущее. Вникните пристальнѣе въ слова мои, провѣрьте ихъ судомъ собственной совѣсти, и вы навѣрное сами придете къ тому, что относительная слабость женщины должна вызывать не презрѣніе къ ней, а ласку и покровительство. Вотъ почему я пользуюсь этою братскою трапезой, чтобъ возгласить тостъ за улучшеніе участи русской крестьянской женщины, охранительницы, устроительницы русской крестьянской семьи! Ура!

Громкое „ура“ отвѣчаетъ на вызовъ Крамольникова. Несмотря на нѣкоторую витіеватость его рѣчи, крестьяне поняли сущность ея. А крестьянки даже весело улыбаются и громко выражали свое удовольствіе учителю за урокъ, данный мужьямъ и сыновьямъ. Ободренный успѣхомъ, Крамольниковъ продолжалъ:

— Теперь приступаю къ главному предмету моей бесѣды съ вами—къ русскому крестьянину. Изъ объясненій почтеннаго вашего односельца, котораго мы нынѣ вкупѣ чествуемъ, вы сами видите, сколько онъ поднималъ трудовъ и сколькимъ подвергался опасностямъ. Увы! этотъ примѣръ не единственный и не исключительный: вы всѣ находитесь въ томъ же положеніи, какъ и почтеннѣйшій Ипполитъ Моисеичъ. Я не говорю уже о крѣпостномъ правѣ, порождавшемъ помѣщиковъ, которые, злоупотребляя своимъ положе-



нѣмъ, требовали отъ крестьянъ шестидневной изнурительной барщины, для которыхъ тѣлесное наказаніе было обычною формою отношеній къ крестьянину, которые, наконецъ, доходили до такого малодушія, что по началу воровали изъ крестьянскихъ огородовъ овощи. Крѣпостное право умерло и больше не возвратится. Но даже и теперь, когда, по манію Державнаго Освободителя, цѣпи рабства спали съ васъ, освободились ли вы отъ тѣхъ тягостей и опасностей, которыя на каждомъ шагѣ осаждаютъ существованіе русскаго крестьянина? Изъ словъ Исполита Моисеича видно, что онъ не разъ былъ на одинъ волосъ отъ смерти: онъ замерзалъ и тонулъ. Своей ли охотой и для своихъ ли дѣлъ онъ рисковалъ въ этихъ случаяхъ жизнью? Нѣтъ, онъ, конечно, предпочелъ бы остаться дома въ теплѣ, чѣмъ тащиться съ подводой въ зимнюю вьюгу и въ весеннюю ростепель. Нужда выгоняла его изъ домашняго тепла. Но этого мало: Исполитъ Моисеичъ, сравнительно, даже немного рисковалъ, ибо, по самому роду своихъ занятій, онъ могъ подвергаться только опасностямъ извѣстнаго характера и, притомъ, хотя съ трудомъ, но все-таки отвратимымъ. А есть занятія, которымъ предается все то же почтенное крестьянское сословіе и при которыхъ рискъ жизнью составляетъ, такъ сказать, обыкновенную и почти неизбѣжную принадлежность. Стоитъ побывать лѣтомъ въ любомъ городѣ, чтобъ увидѣть штукатуровъ и маляровъ, висящихъ на воздухѣ въ утлыхъ садкахъ, кровельщиковъ, ползающихъ по крышамъ четырехъ-этажныхъ домовъ, каменщиковъ, стучащихъ молотомъ на необозримой высотѣ, носильщиковъ, взбирающихся съ тяжелою ношей по выстроеннымъ на живую нитку лѣсамъ. Стоитъ постранствовать по нашимъ деревнямъ и болотамъ, чтобъ увидѣть землекоповъ, роющихъ въ нѣдрахъ земли, торфяниковъ, работающихъ по полямъ въ водѣ. Стоитъ посѣтить первую появившуюся фабрику, чтобъ увидѣть цѣлый муравейникъ людей, снующихъ между колесами машинъ, изъ которыхъ каждое въ одно мгновеніе можетъ превратить человѣка въ массу крови и мяса. Малѣйшая неловкость, ничтожнейшее неосторожное движеніе — и человѣкъ пересталъ существовать. Но этого мало, что онъ умираетъ: онъ не просто умираетъ, а умираетъ безслѣдно. Ибо это даже не человѣкъ: при жизни — это рабочая единица, часто неизвѣстная и по имени; по смерти — это „мертвое тѣло“. Вышла рабочая сила изъ строя — не пройдетъ мгновенія, какъ она уже замѣнена другою. Киньте камень въ воду — пустое пространство, которое при этомъ образуется въ массѣ воды, конечно, немедленно заплываетъ, но все-таки вы видите нѣкоторое время на поверхности кругъ, который свидѣтельствуетъ, что здѣсь нѣчто произошло. Смерть крестьянина, зарабатывающаго свой хлѣбъ и свои подати на чужбинѣ, даже этого круга не оставляетъ по себѣ... Ни дѣлъ, ни памяти... Спрошу у всѣхъ честныхъ людей: чье существованіе можетъ сравниться съ этимъ безмолвнымъ геройствомъ, наградой которому служить одно забвеніе? Намъ часто приводятъ въ примѣръ жизнь солдата и тѣ опасности, которыми она окружена. Я согласенъ, что существованіе солдата благородно и самоотверженно, но, клянусь, на каждую пожертвованную солдатскую жизнь приходится по малой мѣрѣ сто пожертвованныхъ крестьянскихъ жизней! И не забудьте при этомъ, что солдатъ все-таки знаетъ характеръ угрожающей ему опасности, что онъ жертвуетъ собою, понимая, что эта жертва должна

принести извѣстныя плоды. Крестьянинъ — ничего не знаетъ. Онъ идетъ впередъ, потому что идти ему больше некуда, идти впередъ — и никогда не имѣть увѣренности, развернется или не развернется подъ нимъ земля... Но, скажутъ мнѣ, случайныя опасности не могутъ же служить мѣриломъ для оцѣнки чьей бы то ни было жизни. Случайности могутъ встрѣтиться вездѣ, и ударъ грома одинаково поражаетъ человѣка, къ какому бы званію онъ ни принадлежалъ. Прекрасно. Но возраженіе это, очевидно, теряетъ всякую силу тамъ, гдѣ опасность, такъ сказать, составляетъ краеугольный камень всего человѣческаго существованія, гдѣ она настигаетъ человѣка до того легко, что представляется уже не случайностью, а какъ бы неразрывною частью всей жизненной обстановки. Ударъ грома, конечно, безразлично убиваетъ человѣка всякаго званія, но каждому понятно, что, напримѣръ, пастухъ, проводящій цѣлыя дни въ полѣ и въ лѣсу, легче подвергается опасности быть убитымъ грозой, нежели человѣкъ, который во всякое время можетъ укрыться отъ непогоды подъ кровлей надежнаго жилища. Но допустимъ однако, что это возраженіе, само по себѣ неправо, должно быть уважено. Оставимъ міръ случайностей и взглянемъ на бытъ русскаго крестьянина внѣ этой сферы, въ кругу такихъ занятій, которыя ужъ никакъ не могутъ быть названы случайными, но представляютъ собой естественную обстановку всей его жизни. Занятія эти суть: пахота, бороньба, молотьба хлѣба, сѣнокосъ, отвозка сельскихъ произведеній на базаръ для продажи и т. д. Всѣ эти занятія, какъ справедливо выразился одинъ изъ почтенныхъ нашихъ односельчанъ, имѣютъ издали видъ гулянья, но спросимъ себя по совѣсти, такъ ли это? Нѣтъ это — не гулянье ибо для того, чтобъ вспахать пол-десятины земли (обыкновенный дневной крестьянскій урокъ), нужно пройти пѣшкомъ не меньше двадцати верстъ по почвѣ, въ которой вязнуть ноги, пройти, упираясь всѣмъ тѣломъ въ соху. Это — не гулянье, ибо для того, чтобъ скосить одну пятую десятины луга (тоже дневной урокъ), нужно сдѣлать безчисленное количество взмаховъ косы, причемъ напряженіе человѣческихъ мышцъ равняется по малой мѣрѣ напряженію, дѣлаемому при поднятіи двухпудовой тяжести. Это — не гулянье, потому что во время сопровожденія воза до базара стужа захватываетъ дыханіе, снѣгъ лѣпитъ глаза, не говоря уже о физической усталости, которая неизбѣжна при нашихъ разстояніяхъ и которая не полагается ни во что. А рубка дровъ? а пила теса и досокъ? а земляныя работы? Однимъ словомъ, куда бы я ни обратилъ взоры, какъ бы ни старался отыскать крестьянское занятіе сколько-нибудь льготное — я ничего не нахожу, кромѣ самой горькой, никогда не прерывающейся страды. Вся жизнь крестьянина есть сплошная страда, хотя онъ самъ почтилъ этимъ наименованіемъ только лѣтнее время. Нѣтъ, не только лѣтомъ (лѣто — это крестный путь крестьянина), но круглый годъ, и зиму, и осень, и весну — никогда онъ не освобождается отъ ига страды. О, господа! я — человѣкъ уже въ лѣтахъ, и мнѣ стыдно плакать, но я чувствую, что слезы неудержимо подступаютъ къ глазамъ моимъ! Онѣ грозятъ прервать мою рѣчь въ самомъ началѣ ея, ибо передо мной стоитъ еще вопросъ громадной важности, котораго я до сихъ поръ не коснулся — вопросъ о томъ, какія радости, какія удобства и льготы



купилъ себѣ русскій крестьянинъ цѣною столькихъ опасностей и непосильныхъ трудовъ?

Къ сожалѣнію, окончаніе рѣчи Крамольникова осталось для меня тайною, ибо съ этой минуты свидѣнія мои приняли рѣзко-хаотическій характеръ. Я помню, что кто-то стремглавъ прибѣжалъ и голосомъ, исполненнымъ ужаса, крикнулъ: „ѣдутъ! ѣдутъ!“ Я помню, что за этимъ крикомъ послѣдовала невообразимая паника, среди которой Крамольниковъ остался невозмутимымъ, и мнѣ показалось даже, что на его губахъ играла улыбка. Я помню звонъ колокольчика, и потомъ еще чей-то голосъ: „а, голубчики!“ .. Затѣмъ все исчезло...

Утромъ я всталъ съ головою болью, и первую мою мысль было: а нѣтъ ли еще какого-нибудь помощника архиваріуса или главноначальствующаго надъ курьерскими лошадьми, котораго бы тоже можно было подкузьмить по части юбилейныхъ торжествъ?

## Дѣти Москвы.

Въ какомъ ты блескѣ нынѣ зрима,  
Княженій, царствъ великихъ мать!  
Москва! Россіи дочь любима!  
Гдѣ равную тебѣ сыскать!

Твои сыны, питомцы славы,  
Прекрасны, горды, величавы,  
А дѣвы—розами цвѣтутъ...

*И. Дмитріевъ.*

### I.

Немногое, сказанное въ этихъ стихахъ, псчерпывало почти все содержаніе моего отрочества. Съ самыхъ раннихъ лѣтъ я тяготѣлъ къ Москвѣ, чувствовалъ себя сыномъ ея. Здѣсь я получилъ первыя впечатлѣнія бытія, здѣсь же заложены были во мнѣ начальныя основанія русской грамматики по Востокову. Съ наслажденіемъ, полнымъ благоговѣнія, декламировалъ я стихи Ивана Ивановича Дмитріева, не упуская при этомъ изъ вида, что авторъ ихъ, самъ сынъ Москвы, былъ въ свое время министромъ юстиціи. Меня не смущала даже странность, оказывавшаяся при синтаксическомъ разборѣ перваго четверостишія, а именно, что, по своеобразной генеалогіи, придуманной поэтомъ, Россія, будучи матерью Москвы, становится бабушкой относительно княженій и царствъ. Напротивъ, это казалось даже трогательнымъ. Ежели мать — баловница по ремеслу, то для бабушки и придумать другое занятіе трудно. Какихъ желать лучшихъ условій для процвѣтанія княженій!

Княженія! это слово, изданное Карамзинымъ въ двѣнадцать томахъ (въ то время еще у всѣхъ въ свѣжей памяти), наполняло мою душу востор-

гомъ. Казалось, что и на меня, сидящего въ четырехъ стѣнахъ „заведенія“, падаетъ оттуда какой-то лучъ, и что не признай я за этимъ волшебнымъ словомъ освѣщающаго значенія — я немедленно утону въ безразсвѣтной тѣмѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ утрачу и право именовать себя „питомцемъ славы“. А для меня это право было очень важно, ибо оно давало въ будущемъ возможность, умалчивая о не весьма славныхъ чинахъ, въ родѣ коллежскаго регистратора или отставного корнета, прямо подписываться: „къ сему заемному письму питомецъ славы такой-то руку приложилъ“.

Вообще я былъ юноша восторженный, любящій и благодарный. Я всѣхъ благодарилъ: великаго князя Святослава — за то, что онъ ѣлъ конину, спалъ подъ открытымъ небомъ и имѣлъ свиданіе съ Іоанномъ Цимисхіемъ; великую княгиню Ольгу — за то, что она искусно отомстила древлянамъ смерть Игоря; великаго князя Владиміра — за то, что онъ сказалъ: *веселе Руси есть пити* (я уже въ то время догадывался, что слова эти предвѣщали вольную продажу вина); царя Іоанна III — за оказанную имъ распорядительность относительно Новгорода; царя Іоанна IV — за то, что онъ покорилъ Казань и принялъ подъ свою державу богатую Сибирь („Богатая Сибирь, наклоньшися надъ столами“)... Но въ особенности я былъ благодаренъ учителю русскаго языка за то, что онъ на всѣ эти темы заставлялъ насъ писать „сочиненія“, въ которыхъ я съ гордою настойчивостью употреблялъ выраженія въ родѣ: „стольный градъ“, „стоigny“, „дружина“, „статя“ и проч.

И по какому-то странному психическому процессу всѣ эти признательности сердца приурочивались мной всецѣло, исключительно — къ Москвѣ. Даже Святославъ, Ольга, Владиміръ неразрывно связывались съ представленіемъ о Москвѣ, хотя, разумѣется, они и въ помыслахъ держать не могли, что гдѣ-то на сѣверѣ, въ отдаленномъ будущемъ, явятся „собиратели“, и будутъ, подобно Гоголевской Коробочкѣ (съ значительной впрочемъ примѣсью Чичиковской изобрѣтательности), класть въ одну кучу и медь, и пухъ, и сушеные грибы, и даже мертвыя души. Хорошъ былъ стольный городъ Новгородъ, но онъ омрачилъ себя вѣчевою неурядицей; еще лучше былъ стольный городъ Кіевъ, но и онъ омрачилъ себя, подпавъ подъ иго иновѣрца; одна Москва ничѣмъ себя не омрачила, и за это удостоилась высшей въ мірѣ награды: именовать сыновъ своихъ „питомцами славы“ (тогда мнѣ казалось, что званіе это представляетъ собой что-то въ родѣ общедоступнаго камеръ-юнкерства, для полученія котораго не требуется протекціи).

Москва! какъ много въ этомъ словѣ  
Для сердца русскаго слилось!

всечасно восклицалъ я, и опять, по тому же странному психическому процессу, рядомъ съ этими стихами припоминались мнѣ и слова великаго князя Святослава: *не посраимъ земли русскія, но ляжемъ костьми, мертвые бо срама не имутъ!*

Уйремъ! ляжемъ костьми! — вотъ слова, которыя пламенемъ горѣли въ моей благодарной душѣ, какъ будто и тогда уже чувствовалось, что смерть есть единственное въ своемъ родѣ благо, которому предназначено въ будущемъ освобождать „питомцевъ славы“ отъ узъ срама.



Мой культъ къ Москвѣ былъ до того упоренъ, что устоялъ даже тогда, когда, ради воспитательныхъ цѣлей (а больше съ тайной надеждой на легкое полученіе чина титулярнаго совѣтника), я долженъ былъ, по волѣ родителей, переселиться въ Петербургъ. И тутъ продолжала меня преслѣдовать Москва, и всегда находила во мнѣ пламеннаго и скоратаго заступника своихъ стогновъ. Я до сихъ поръ не могу забыть споровъ о томъ, гдѣ больше кондитерскихъ, въ Москвѣ или въ Петербургѣ, и тѣхъ вопіющихъ натяжекъ, которыя я долженъ былъ дѣлать, чтобъ отстоять хотя въ этомъ отношеніи славу „порфиноносной вдовы“ передъ выскочкой Петербургомъ. Я припоминалъ и о кондитерской Тени на Арбатѣ, и еще о какой-то кондитерской у Никитскихъ воротъ, и благодаря тому, что политическіе мои противники игнорировали бѣольшую часть равносильныхъ кондитерскихъ, которыми пзобиловали Мѣщанскія, Мастерскія, Офицерскія и проч., выходилъ изъ споровъ побѣдителемъ. Этого мало: когда мы, москвичи (а насъ было въ „заведеніи“ довольно), разбѣжались лѣтомъ на каникулы, то всякій разъ, приближаясь къ Москвѣ, требовали, чтобъ дилижансъ остановился на горкѣ, вблизи Всесвятскаго, затѣмъ вылѣзали изъ экипажа и цѣловали землю, воспитавшую столько отставныхъ корнетовъ, въ просторѣчии именующихъ себя „питомцами славы“.

Такъ шло дѣло вплоть до упраздненія крѣпостного права. Я вышелъ изъ „заведенія“, поступилъ на службу, и, какъ говорится, жилъ — не ту-жилъ. Себя называлъ „питомцемъ славы“, а на отечество и его исторію смотрѣлъ съ точки зрѣнія маневровъ Ходынского Поля. Быть можетъ, читатель не повѣритъ, но это было именно такъ: будучи уже балбесомъ лѣтъ двадцати-пяти, я все еще сны на яву видѣлъ. Россія представлялась мнѣ мѣсторожденіемъ сказочныхъ витязей, „прекрасныхъ, гордыхъ, величавыхъ“, а исторія ея — какимъ-то свѣтозарнымъ кругомъ, въ которомъ княженія смѣняли другъ друга, не оставляя послѣ себя ничего, кромѣ славы. — Слава! слава! слава! — восторженно твердилъ я наяву и во снѣ:

Грозные полки идутъ,  
Золотое вьется знамя,  
На штыкахъ играетъ пламя,  
Ба—ррабаны громко бьютъ,  
Грррромко бьютъ! \*)

И чтò еще удивительнѣе — все это не мѣшало мнѣ въ то же время и „заблудаться“, чтò въ ту пору (да, кажется, и теперь) было строго воспрещено. Вотъ какъ странно перебиты и перепутаны были тогдашнія сновидѣнія „питомцевъ славы“!

Даже тогда, когда подъ стѣнами Севастополя совершилась великая искупительная жертва, и когда, вслѣдъ затѣмъ, въ обществѣ начали ходить слухи о предстоящихъ реформахъ — и тогда я не вдругъ освободился отъ угнетавшаго меня угара, но все продолжалъ вѣрить, что никакія силы въ мірѣ, никакое волшебство не въ состояніи разжаловать меня изъ „питомцевъ

---

\*) Стихи эти принадлежатъ покойному поэту Ершову. Не могу впрочемъ сказать навѣрное, дословно ли правильно цитирую я эти стихи, но ежели и есть неточность, то она совершенно ничтожна.

славы“ въ непомнящіе родства (а о пришествіи „червоныхъ ваетовъ“ я даже и не подозрѣвалъ). Ничто не казалось страшнымъ потомуку тѣхъ витязей, которые менѣе полувѣка тому назадъ побывали въ Парижѣ и всю Европу наполнили громами побѣдъ и славы. Реформы!—вѣдь это только добавочный лучъ къ тому солнцу славы, въ которомъ мы, „питомцы славы“, и безъ того искони утопали! Реформы!—вѣдь это лишь новый варіантъ на тему „разумѣйте изыцы“, которая и прежде, съ юныхъ лѣтъ, составляла излюбленное содержаніе нашихъ сновидѣній! Надъ чѣмъ же тутъ задумываться? И я не только не задумывался, но отвлеченная лучезарная точка зрѣнія и на этотъ разъ осталась во мнѣ преобладающею. Ничто практическое, будничное не смущало паренія моей мысли. Мысль едѣлась нетерпѣливою, нервною; она даже не довольствовалась единичною какою-нибудь реформою, но стремилась впередъ и впередъ, прозрѣвая въ близкомъ будущемъ цѣлый рядъ преуспѣяній. Сперва—воля крестьянамъ, потомъ—воля вину, затѣмъ—начатки самоуправленія: хочешь—чини мосты, хочешь—нѣтъ, хочешь—на паромѣ переѣзжай, хочешь—вплавь переправляйся! — и, наконецъ, открытыя настѣжъ двери въ суды: придите и судитесь, сколько вмѣстѣ можете! Все это уже заранѣе прозрѣвала моя мысль, и все это именно такъ и случилось...

Свершилось! добрая вѣсть о паденіи крѣпостного права въ одинъ день облетѣла всю Россію. Самоотверженность, съ которою „питомцы славы“ принесли на алтарь отечества свои „права“ (теперь я позабылъ, въ чемъ они состояли, но тогда не только помнилъ, но даже по пальцамъ ихъ перечислялъ), наполняла меня гордостью, а безграничныя перспективы, которыя при этомъ открывались, приводили въ восторгъ. Всѣ художественныя инстинкты моей души были разомъ взбуждены; я не загадывалъ, не примѣривалъ, не опредѣлялъ, я только метался. Въ увлеченіи своемъ я даже того не понималъ, что мои новые восторги служатъ косвеннымъ укоромъ моимъ старымъ восторгамъ. Я былъ такъ радъ, что могу, наконецъ, говорить, что, дѣйствительно, говорилъ много и съ убѣжденіемъ, говорилъ съ утра до вечера, волнуясь, радуясь, негодуя... Но что всего ужаснѣе и чего я въ то время совѣтъ не замѣтилъ—по мѣрѣ того, какъ „разговоръ“ овладѣвалъ мною, я совершенно нечувствительно договаривался, договаривался и, наконецъ, договорился до того, что началъ изображать прежнюю „славу“ въ нѣсколько смѣшномъ видѣ.

Блянусь, я едѣлъ это „такъ“, безъ яснаго разумѣнія, но во всякомъ случаѣ это была очень горькая ошибка съ моей стороны. „Смѣшной видъ“—вещь очень опасная, особливо если онъ служитъ подспорьемъ для подкрѣпленія восторговъ и притомъ является орудіемъ въ рукахъ „питомца славы“, и безъ того одержимаго художественными инстинктами. „Смѣшной видъ“ беретъ человѣка въ полонъ и иногда сразу рѣшаетъ споръ, надъ которымъ не худо бы и призадуматься. Притомъ, прибѣгнувъ къ „смѣшному виду“, я вовсе не рѣшался расчитаться съ прошедшимъ и выйти изъ заколдованнаго круга отвлеченныхъ понятій о „славѣ“; нѣтъ, я упорно пребывалъ все въ томъ же кругѣ, но только безконечно расширилъ предѣлы его. „Слава“ по прежнему продолжала оставаться моимъ девизомъ и питать мои идеалы, но



слава до того уже лишенная границъ, что я не могъ ни указать на центръ ея, ни опредѣлить ея содержаніе иначе, какъ съ помощью сопоставленій и картинъ. Вотъ тутъ-то и сослужило мнѣ службу прошлое, но уже не въ видѣ примѣра для подражанія, а въ формѣ архивной справки, въ которой все, и слогъ, и содержаніе, — все представляло сплошной „смѣшной видъ“.

Не знаю, надѣялся ли я при этомъ сохранить за собой наименованіе „питомца славы“, но, кажется, что не только надѣялся, но даже во имя этого наименованія и творилъ чудеса критики и разоблаченія. Откровенія сыпались за откровеніями. Сколько вѣковъ мы твердили о силѣ — и оказались слабыми; сколько вѣковъ мнили себя богатыми — и оказались бѣдными. А между тѣмъ и богатство, и сила состояли въ всякихъ сомнѣній (иначе на чемъ же основывалось бы наше представленіе о „славѣ“?), но только неизвѣстно было, гдѣ, въ какихъ нѣдрахъ они лежатъ. Свиданіе Святослава съ Іоанномъ Цимисхіемъ не давало по этому предмету никакихъ разъясненій, а потому гораздо болѣе цѣлесообразнымъ представлялось свиданіе кабатчика Антошки Стрѣлова съ лабазникомъ Осипомъ Ивановымъ Деруновымъ. Ужъ они-то навѣрное знаютъ, гдѣ раки зимуютъ! Стрѣловъ! Деруновъ! Прожженные! Идите и проповѣдите, какъ на обухъ рожъ молотить!

Все это было и великодушно, и „славно“, а отчасти даже и справедливо. Но какимъ образомъ я не догадывался, что, возлагая на Стрѣлова, Дерунова и прочихъ „непомнящихъ“ обязанность строить будущую славу Россіи, я тѣмъ самымъ устранялъ самого себя отъ всякаго участія въ строительствѣ — этого я рѣшительно не берусь объяснить. Послѣдствія доказали однакожъ, что „смѣшной видъ“, вмѣстѣ съ незнаніемъ, въ какихъ нѣдрахъ скрываются сила и богатство Россіи, были первымъ шагомъ къ обезличенію „питомцевъ славы“, и что за симъ, какъ ни упорны были ихъ усилія продолжать именовать себя таковыми, но въ ближайшемъ будущемъ ихъ уже ждала иная кличка, болѣе соответствующая „смѣшнымъ“ вѣяніямъ времени, а именно кличка „червонныхъ валетовъ“.

Дальнѣйшимъ испытаніемъ моихъ представленій о „славѣ“ явились выкупныя свидѣтельства. Не могу не сознаться, что даже въ самый разгаръ моихъ симпатій къ меньшей братіи надежда на выкупныя свидѣтельства никогда не оставляла меня. Языкъ говорилъ: „до послѣдней капли крови!“ а тайный голосъ шепталъ: „дадутъ же однако что-нибудь!“ И дѣйствительно выкупныя свидѣтельства были отпечатаны, и я не имѣлъ силы отказаться отъ нихъ! Не могъ же однако я не понимать, что самоотверженность, эта обязательная путница „славы“, по самому существу своему, безвозмездна! И не настолько же я неразуменъ, чтобъ разсчитывать на такое счастливое стеченіе обстоятельствъ, которое поможетъ мнѣ и капиталъ приобрѣсти, и „славу“ соблюсти!

И какъ диковинно мы — не я одинъ, а всѣ мы, „питомцы славы“ — поступили съ этими выкупными свидѣтельствами! Одни, увлекшись ученіемъ объ искусствѣ на обухъ рожъ молотить, накупили плуговъ, молотилокъ, вѣялокъ, въ чаяніи устроить ими нѣдра земли; другіе, болѣе вѣрные чистымъ принципамъ „славы“, раздѣлили выкупную ссуду по равной части между трактирами: Московскимъ, Новотроицкимъ и Саратовскимъ. То была послѣдняя

вспышка доказать, что представление о „славѣ“ еще не умерло, но сколько было по этому случаю выпито водки — про то знаютъ только грудь да подоплека!

Во всякомъ случаѣ, ни армія, ни флоты, ни кадетскіе корпуса, однимъ словомъ, ничто изъ всего цикла учреждений, составлявшихъ когда-то необходимую обстановку „славы“ — при этомъ не выиграли. Изъ цѣлой массы выкупныхъ свидѣтельствъ ни одного клочка не было дано на поддержаніе славы дѣйствительной, той, которая позволяла намъ съ полнымъ основаніемъ восклицать: „съ нами Богъ! никто же на ны!“ Все сполна было истрачено на покушку устрашающихъ машинъ, тотчасъ же оказавшихся негодными, и на безчисленное количество рюмокъ водки, на днѣ которыхъ все больше и больше выяснялся образъ „червоннаго валета“ съ бубновымъ тузомъ на спинѣ.

Эти первыя эмансипаціонныя рюмки привели за собой множество другихъ. Вслѣдъ за крестьянскою волей объявлена была воля вину, и въ природѣ произошло нѣчто неслыханное. Ни взятіе Хотина, ни сраженіе подъ Синопомъ не производили такихъ восторговъ. Безконечный лиризмъ охватилъ большихъ и малыхъ, сильныхъ и слабыхъ. Слѣпыя прозрѣли, чающіе движенія воды взяли подъ мышку одръ и на рысяхъ побѣжали въ кабакъ. Даже торжественныхъ одъ не предстояло надобности сочинять, потому что каждый кабакъ, въ эту всерадостную минуту, былъ самъ по себѣ воплощенной торжественной одой, освобождавшей „питомцевъ славы“ отъ непосильныхъ витійственныхныхъ упражненій.

„Поврежденіе нравовъ“, признаки котораго были уже замѣчены при первыхъ выдачахъ выкупныхъ свидѣтельствъ, приобрѣло тѣмъ большую яркость, что усложнилось поврежденіемъ умовъ. Пьяный лиризмъ, охватившій сердца при извѣстіи о паденіи откуповъ, мало-по-малу улетѣлъ и уступилъ мѣсто пьяному эпосу. Создалось особое пьяное ремесло, тяжелое, мрачное, отъ котораго пахло самоубійствомъ. Прежде люди предавались кутежамъ, какъ бы отбывая повинность молодости и въ расчетѣ со-временемъ остепениться; теперь — они дѣлались пьяницами на вѣкъ, безъ всякой надежды на вытрезвленіе. Прежде при словѣ: „пьяница“ — воображенію представлялось нѣчто въ родѣ особеннаго сословія, ряды котораго преимущественно наполнялись между приказными; теперь это названіе сдѣлалось всесловнымъ, почти всенароднымъ. Въ такомъ положеніи застали насъ земскія учрежденія.

Но такъ какъ подъ вліяніемъ „упойтельныхъ напитковъ“ мы уже не могли въ это время отличить воды отъ суши, дороги отъ забора, то очевидно, что подобная же неясность должна была закрасться и въ наши понятія о своемъ и чужомъ. Начали пропадать земскія деньги. Ничто не спасало: ни коллегіальные порядки, ни контроль властей, ни замки. Отъ „хладныхъ финскихъ скалъ до пламенной Колхиды“, повсюду слышалась одна и та же, до назойливости однообразная пѣсня: „унесли!“ Правда, что и тутъ еще замѣчались проблески представленія о „славѣ“ — унесенныя деньги, собственно говоря, не были украдены, а только раздѣлены поровну между трактирами: Патрикѣевскимъ, Лопановскимъ и Эрмитажемъ — но за эти проблески начали уже сажать въ тюрьму.



„Червонный валетъ“ созрѣлъ, вышлифовался и выработался окончательно...

И чтò всего прискорбнѣе—мѣсторожденіемъ его оказалась та самая Москва, сыны которой еще такъ недавно съ гордостью именовали себя „питомцами славы“. Оставалось только ждать толчка, который выдвинуть бы это порожденіе новыхъ вѣяній времени изъ укромныхъ угловъ, въ которыхъ оно скрывалось, и представилъ на судъ публики въ цѣломъ рядѣ существъ, изнемогающихъ подъ бременемъ праздности и пьяной тоски, живущихъ со дня на день, лишенныхъ всякой устойчивости для борьбы съ жизнью и не признающихъ иныхъ жизненныхъ задачъ, кромѣ удовлетворенія вождельнѣй минуты.

Обязанность эту приняли на себя новые гласные суды.

## II.

Чтò такое воръ? какого рода художественный образъ представляетъ собой человѣкъ, имѣющій о чужой собственности понятія, очевидно, недостаточныя и запутанныя? въ какой формѣ могутъ установиться отношенія между „воромъ“, съ одной стороны, и обывателями и полиціей, съ другой? — вотъ вопросы, которые на первомъ же шагѣ встрѣчаютъ современнаго человѣка при вступленіи на поприще жизни.

Классическія традиціи отвѣчаютъ на эти вопросы довольно опредѣленно, но какъ-то черзчуръ ужъ голо и непремѣнно съ подчеркиваніемъ. Для классиковъ не существовало той сложности мотивовъ, которая нынче, какъ свои пять пальцевъ, извѣстна самому простодушнѣйшему изъ прокуроровъ и адвокатовъ. Сверхъ того, классики, въ своихъ представленіяхъ о ворѣ, строго придерживались принципа сословности: доблестями высшаго разбора (вѣрность, самоотверженіе, любовь къ престолу и проч.), и таковыми же пороками (измѣна, коварство, кровосмѣшеніе и т. д.) надѣляли особъ высшаго сословія, а доблестями и пороками низшаго разбора—надѣляли чернь.

Со словомъ: „воръ“—классическое преданіе соединяло понятіе, не имѣющее ничего общаго съ идеей о „питомцѣ славы“. Воръ представлялся чѣмъ-то отвратительнымъ, заклеяннымъ самой природой. Фаталистически осужденный на присвоеніе чужой собственности, онъ, въ согласность съ этимъ предопредѣленіемъ, такъ и устраивалъ всю свою жизнь. Дѣтство и отрочество употреблялъ на то, чтобы изощрить прирожденную наклонность къ воровству непрерывными практическими упражненіями; когда же приходилъ въ совершенный разумъ, то дѣлалъ изъ нея для себя ремесло. Понятно, что при подобномъ художественномъ воззрѣніи на вора, нельзя было вообразить себѣ его иначе, какъ въ видѣ человѣка, непрерывно воруящаго, очень часто излавливаемого, заключаемаго въ участковый клоновникъ и, по недостатку уликъ, обратно оттуда для воровства выпускаемаго. Словомъ сказать, если вѣрить классическимъ воззрѣніямъ, воръ есть членъ особенной касты, имѣющей резиденціей: въ Петербургѣ—въ домѣ Виземскаго, въ Москвѣ—въ домѣ Шипова; человѣкъ, постоянно живущій подъ угрозой переломанія реберъ, ради

кошелька, нерѣдко заключающаго въ себѣ не большіе двухъ двугривенныхъ, и, несмотря на эту угрозу, безсознательно влекущійся къ этому кошельку, единственно во имя цѣлей, составляющихъ провиденціальное его назначеніе. На картинкахъ вора писали (и нынѣ нерѣдко такъ пишется) очень типично: въ подлой, запятнанной одеждѣ, въ рваныхъ сапогахъ, съ гнусной физиономіей, явственно говорящей о принадлежности къ низкому званію и нечестной ссидинами и синяками, съ понурыми взорами, хищнически устремленными на чужой карманъ, съ руками, свидѣтельствующими о цѣлости и проворствѣ, которое было бы выше всякихъ похвалъ, еслибъ примѣнялось на пользу ближнему, и которое награждается карой закона и тумаками частныхъ лицъ, коль скоро примѣняется къ взлому запертыхъ помѣщеній. Таковъ классическій образъ вора, — образъ до того незатѣйливый и строго опредѣленный, что самый простодушный изъ будочниковъ могъ прямо отыскать его въ толпѣ, взять за шиворотъ и вести въ участковый клоповникъ.

Классическія представленія о „мошенникѣ“ хотя нѣсколько тоньше, но тоже далеко не исчерпываютъ всей полноты содержанія этого типа. Классическій „мошенникъ“ уже смотритъ опрятнѣе. Онъ прилично одѣтъ и, судя по наружному виду, успѣлъ выбиться изъ „простого званія“. Вотъ уступка, которую сдѣлало классическое воззрѣніе относительно людей этой корпораціи. За то во всѣхъ прочихъ отношеніяхъ мошенникъ такъ незрѣло, почти чодѣтски сконпонованъ, что питать къ нему довѣріе нѣтъ никакихъ средствъ. Увѣрвать въ этого человѣка можетъ только или слѣпенная старушка, которая любитъ, чтобъ ей оказывали небольшія услуги, безвозмездно, ради одной почтительности, или очень молоденькая дѣвица, только-что кончившая культурное воспитаніе, для которой и то уже благо, что не успѣла она на улицу выйти, какъ ужъ на встрѣчу ей кавалеръ идетъ. Но люди маломальски одаренные здравымъ смысломъ сейчасъ же замѣтятъ: а) что у мошенника платье хотя и „хорошее“, но все-таки поношенное, съ чужого плеча; б) что лицо у него не безъ намѣренія нарисовано на перекоски; и в) что ноги выгнуты колесомъ, ступни несоразмѣрно длинны, а руки безъ перчатокъ и красны, какъ у лапчатого гуся. Сверхъ того, ни одинъ художникъ-классикъ никогда не отказывалъ себѣ въ удовольствіи надѣлать „мошенника“ озирающимся видомъ, который такъ и говоритъ: а вотъ погодите, какую сейчасъ съ вами штуку сыграю. Очевидно однакожъ, что никакой онъ штуки не сыграетъ, ибо съ озирающимся видомъ и вывернутыми ногами никто его до большого дѣла не допуститъ. Напротивъ того, обыватель самый смиренный — и тотъ, насмотрѣвшись вдоволь на классическаго „мошенника“, не только не устрашится, но улыбнется и скажетъ: —хорошъ „мошенникъ“, но это не тотъ, которому суждено когда-нибудь надуть меня!

Классическое представленіе о казнокрадѣ уже значительно полнѣе, и причина этому очень понятна: самое занятіе казнокрадствомъ предполагаетъ извѣстную виѣшнюю облагороженность. На картинкахъ, посвященныхъ изображеніямъ казнокрады, мы по большей части встрѣчаемъ жуира, съ полнымъ брюшкомъ, предвѣщающимъ толкъ въ кушаньяхъ и винахъ, съ заплывшими, но лукаво смѣющимися глазками, съ нѣсколько маслянымъ (все-таки признакъ подлога происхожденія!), но открытымъ лицомъ, на которомъ написано



безграничное гостепріимство. Вообще говоря, концепція эта и остроумна, и не лишена жизненной правды; но все дѣло портитъ тотъ исключительно провіантско-комиссаріатскій характеръ, который слишкомъ уже густо ложится на всю обстановку картины. Зачѣмъ, напримѣръ, эти лампы, которыя горятъ передъ образами въ дорогихъ окладахъ? зачѣмъ этотъ уголь окованнаго сундука, выглядывающій изъ глубины картины? зачѣмъ эти ключи, которыми вооружены руки казнокрада, въ знакъ того, что онъ сейчасъ только опустилъ украденное сокровище на дно сундука и теперь благодаритъ своего Создателя за ниспосланный ему насущный хлѣбъ? Все это, коли хотите, довольно затѣйливо, а быть можетъ даже и умно, но умно какъ-то по дѣтски. Вамъ нужно видѣть „всего“ человѣка, а вы видите только профессиональную, провіантскую его обстановку, да и то не всю, а только ту часть ея, за которую казнокрад несомнѣнно долженъ пойти подъ судъ. Невольно приходится на умъ вопросъ: неужели это кругленькое брюшко составляетъ необходимое послѣдствіе и какъ бы тавро казнокрадства? неужели этотъ человѣкъ только тѣмъ и занимается, что опускаетъ въ сундукъ украденное сокровище, и потомъ, совсѣмъ по-дурачки, благодаритъ Создателя, держа въ рукахъ ключи? Нѣтъ, это не такъ. Навѣрное у него есть семейство, въ которомъ онъ являетъ себя примѣрнымъ мужемъ и отцомъ; есть начальники, относительно которыхъ онъ являетъ себя примѣрнымъ исполнителемъ предначертаній и почтительнымъ подчиненнымъ; есть подчиненные, между которыми въ двухъ словахъ сложилась его репутация: „строгъ, но справедливъ“; есть пріятели, быть можетъ, даже вовсе не причастные казнокрадству, которые его любятъ, потому что онъ во всякое время готовъ „одолжить“. Наконецъ, онъ служить гласнымъ въ городскомъ или земскомъ собраніяхъ, состоитъ членомъ благотворительныхъ обществъ, и во всѣхъ этихъ собраніяхъ и обществахъ его мнѣніе имѣетъ вѣсъ, какъ согласное съ обстоятельствами дѣла и притомъ почти всегда либеральное. Конечно, *должны быть* у него минуты, когда онъ прячетъ украденное сокровище, но, во-первыхъ, для этого, по нынѣшнему времени, совсѣмъ не нуженъ окованный сундукъ, а во-вторыхъ, это именно только *минуты*, и притомъ до того исключительныя, что ихъ-то навѣрное никто у него подмѣтить не могъ. Странное дѣло! даже жена казнокрада доскопально не знаетъ, откуда идетъ добыча и какъ она велика, и только догадывается, что Богъ нѣчто послалъ, а художникъ, изволите видѣть, все видитъ и знаетъ! Да и не только думаетъ, что знаетъ, а такъ-таки прямо и рекомендуетъ почтеннѣйшей публикѣ: вотъ, дескать, человѣкъ, который сейчасъ укралъ!

Такая простота въ обращеніи съ внутреннимъ естествомъ человѣка свидѣтельствуетъ о несомнѣнной и великой простотѣ правовъ. Времена процвѣтанія классическихъ традицій, очевидно, совпадали съ мнѣологическимъ золотымъ вѣкомъ, когда, съ одной стороны, не существовало науки о томъ, какъ на обухѣ рожь молотить, а съ другой — не было ни выкунныхъ свидѣтельствъ, а слѣдовательно и поврежденія правовъ, ни вольной продажи си-вухи, а слѣдовательно и поврежденія умовъ. Мошенники дѣйствовали просто, то-есть ловили обывателей арканами, а ихъ столь же просто брали тогдашніе будочники за шиворотъ и отирали въ часть.

Нынѣ хищничество всѣхъ видовъ и формъ (вотъ что значить примѣсь элемента „питомцевъ славы“: даже новое слово — „хищникъ“ — придумали, взявъ изъ стараго и столь опредѣленнаго слова: „воръ“!) до того усложнилось, или, лучше сказать, слилось съ всевозможными ремеслами, изъ которыхъ одни положительно ставятся въ примѣръ благонамѣренной дѣловитости, другіе же хотя и не ставятся въ примѣръ, но слывятся въ обществѣ подъ именемъ милыхъ шалостей — что даже очень тонкій наблюдатель врядъ-ли сѣмѣетъ въ точности опредѣлить, гдѣ кончается благонамѣренность и гдѣ начинается „хищничество“. Я, по крайней мѣрѣ, нимало не буду удивленъ, ежели будочники усомнятся, какъ имъ въ данномъ случаѣ поступать, т.-е. брать ли воровъ за шиворотъ, согласно указаніямъ до-реформенной практики, или дѣлать подъ козырекъ, согласно съ правилами вѣжливости, установившимися вслѣдствіе вольной продажи вина? Въ самомъ дѣлѣ, это очень трудно, ибо все въ данномъ случаѣ запутано, темно, загадочно. Кто знаетъ, быть можетъ, въ образѣ какихъ-нибудь арканщиковъ скрываются совсѣмъ не мошенники, а упраздненные іомудскіе и каракалпакскіе принцы (ихъ развелось такъ много, благодаря успѣхамъ русскаго оружія), которые, ловя арканами обывателей, выражаютъ этимъ способомъ тоску по родинѣ и утраченному величію? или, быть можетъ, это какіе-нибудь „питомцы славы“, которые, во имя „славы“, вчера размѣняли въ Москвѣ, въ гостинницѣ „Крымъ“, послѣднія выкушныя свидѣтельства, а сегодня, преслѣдуемые тѣмъ же представленіемъ о „славѣ“, нагрянули на беззащитныхъ обывателей, дабы, обременивъ себя добычею (вѣдь всѣ заправскіе средневѣковые рыцари такъ поступали), вновь возвратиться въ гостинницу „Крымъ“ и тамъ уже окончательно утонуть въ лучахъ солнца славы, то-есть предварительно попасть въ острогъ, а оттуда, быть можетъ, и въ мѣста не столь отдаленныя?

Вотъ эта-то всеословность дѣйствій, предвидѣнныхъ такими-то статьями уложенія о наказаніяхъ, и представляетъ собой источникъ великой современной полицейской скорби. Дѣло идетъ не объ томъ, какъ поступить съ мошенникомъ низкаго званія, съ гнусною фizioноміей и въ запятанномъ пальто (какого можно и должно прямо брать за шиворотъ), а о томъ, какъ подойти къ тоскующему іомудскому принцу, о помолвкѣ котораго съ дочерью концессионера Губошлепова на дняхъ объявлено, или къ „питомцу славы“, еще вчера дирижировавшему танцами на балу у предводителя дворянства?

Но этого мало: современное воровство, утративъ кастовый характеръ и страннымъ образомъ перепутавшись съ благонамѣренностью, пошло и еще далѣе, усложнилось до того, что сдѣлалось неосеязаемымъ, не допускающимъ мысли ни о полицномъ, ни объ отвѣтчикѣ. Господа „арканщики“ слишкомъ добры: ихъ арканы все-таки еще могутъ отъ времени до времени фигурировать на столѣ вещественныхъ доказательствъ въ залѣ засѣданій суда: но что сказать объ арканѣ духовномъ, который видимо и недосегаемо паритъ надъ современнымъ человѣкомъ и въ то же время самымъ реальнымъ и грандіознымъ образомъ заявляетъ о своихъ хищническихъ свойствахъ? кто этотъ новоявленный, загадочный „воръ“? какіе отличительные его признаки? какія мѣры представляетъ жизнь для обороны противъ него?

На эти вопросы ни современный судъ, ни современная жизненная прак-



тика, ни современное искусство просто-на-просто не дают никакого отвѣта. Судь хотя и выбрасываетъ ежедневно въ публику цѣлую массу фактовъ, но самъ, въ большинствѣ случаевъ, дѣйствуетъ на основаніи классическихъ традицій, т.-е. караетъ „мерзавца“ завѣдомаго и нимало не разъясняетъ представленія о „мерзавцѣ“ невидимомъ, но всели явственно уже чувствуемомъ. Жизнь и искусство успѣли взбудоражить сомнѣнія, пробудили въ современномъ человѣкѣ чувство тупого безпокойства, но въ концѣ концовъ тоже указали только на пустое пространство...

Классическія традиции упразднены, какъ недостаточныя и, видимо, не удовлетворяющія современному уровню цивилизаціи, а новыхъ ученій о „новомъ воровствѣ“ не издано, кромѣ развѣ упомянутаго выше ученія о томъ, какъ на обухѣ рожь молотить, каковое однакожь тоже въ счетъ нейдетъ, потому что признается не только незазорнымъ, но и общающимъ несомнѣнные прибытки для тѣхъ, кто принялъ твердое намѣреніе слѣдовать его указаніямъ. Такимъ образомъ все утрачено: и надежда спокойно спать, положивши деньги на текущій счетъ, и руководящая нить въ различеніи мазуриковъ, которые украдутъ лишь *столько, сколько успѣютъ*, отъ такихъ, которые, какъ говорится, не оставляютъ и синь-пороха, да, сверхъ того, заставятъ бесплодно метаться и взывать: „Господи! да чтожь это! да какимъ же это образомъ... все, все, все!“

Воспитанный въ лонѣ классицизма, я до сихъ поръ относился къ словію воровъ поверхностно и въ различеніи ихъ руководился исключительно наружными признаками. Я не боялся ни за мой кошелекъ, ни за мою шкатулку, ибо былъ увѣренъ, что куда я живу въ мирѣ съ будочникомъ, который вообще мною завѣдуетъ — онъ оградитъ меня во всехъ путяхъ моихъ. Онъ знаетъ, говорилъ я себѣ, всехъ воровъ, не только по наружному виду, но и по имени и отчеству, и стало-быть ежели воръ полѣзетъ ко мнѣ ночью въ окно, то онъ крикнетъ: „Эй, Ванька! сегодня въ этомъ домѣ не воруй, а воруй вонъ тамъ, по сосѣдству!“ Но теперь, когда вишніе признаки перепутались и стерлись, когда воруютъ не по ночамъ, а среди бѣла дня, когда воръ-мошенникъ, какъ каста, пересталъ быть опаснымъ, а явился угрозой, въ видѣ тонкаго начала, насыщающаго атмосферу, когда сами будочники остановились въ недоумѣніи передъ величіемъ реформы, превратившей „питомца славы“ въ „червоннаго валета“ — признаюсь, я струсилъ!

Каждый день вынимаю я изъ шкатулки послѣднее мое выкупное свидѣтельство, смотрю на него и никакъ не могу взять въ толкъ, мнѣ ли оно принадлежить, или какому-то Иксу, котораго я даже назвать по имени не могу. Мысль эта до такой степени мутитъ меня, что иногда просто хочется, чтобъ у меня поскорѣ украли это несчастное выкупное свидѣтельство. Въдѣ сравнительно это все-таки болѣе благопріятный исходъ, нежели покончить жизнь въ духовномъ арканѣ, брошенномъ вѣрною, но невидимою рукою!

Представленіе объ этомъ духовномъ арканѣ, разжигаемое почти ежедневными повѣствованіями газетъ то о „червонныхъ валетахъ“, то о банкротствахъ самыхъ несомнѣнныхъ столповъ, сдѣлалось до такой степени обыкновеннымъ, будничнымъ, почти обязательнымъ, что незамѣтно вошло въ мой ежедневный обиходъ.

Я присутствую на балѣ, смотрю на выходы милыхъ молодыхъ людей, которые такъ ловко танцуютъ и такъ убѣдительно объясняютъ своимъ дамамъ, между второй и третьей фигурами кадрили, что прелюбодѣііе есть одна изъ привлекательнѣйшихъ формъ современнаго общежитія — и не могу свободно отдаться наслажденію, которое возбуждаетъ во мнѣ и эта ловкость, и эти умные разговоры, и этотъ соединенный блескъ свѣчей и женскихъ бюстовъ. Мысль, что у меня лежитъ въ карманѣ бумажникъ, и что покуда я зѣваю по сторонамъ, а этотъ очаровательный юноша дѣлаетъ въ пятой фигурѣ соло, онъ, этотъ бумажникъ, словно волшебствомъ можетъ очутиться совсѣмъ въ другомъ карманѣ — эта горькая мысль отравляетъ всѣ мои радости. Конечно, я не только не имѣю прямыхъ основаній указать на кого-либо изъ этихъ обворожительныхъ молодыхъ людей, какъ на причину этой отравы, но даже самому себѣ сознаться въ своей подозрительности стыжусь — но и за всѣмъ тѣмъ не могу унять расхолодившагося чувства самосохраненія, не могу не страдать! И зачѣмъ только я этотъ бумажникъ съ собой бралъ! въ сотый разъ мысленно укоряю я себя: — оставилъ бы его дома... Но вѣдь и дома... ахъ, какъ отлично поддѣлываютъ нынче ключи! точно ассигнаціи или векселя; и не узнаешь фальшиваго отъ настоящаго!

Другой случай. Я прихожу въ Казанскій соборъ, съ твердымъ намѣреніемъ испросить себѣ „ангела вѣрна“, безъ котораго, по нынѣшнему строгому времени, шагу ступить нельзя. Но едва начинаю я заводить глаза и отлагать житейское попеченіе, какъ рядомъ со мной становится почтеннаго вида мужчина, на котораго я невольно заглядываюсь. Онъ такъ благообразенъ въ ореолѣ своихъ сѣдинъ, такъ скромно вошелъ въ Божій храмъ и сталъ на мѣсто, такъ смиренно поклонился на всѣ стороны, такъ вкусно сотворилъ первое крестное знаменіе и затѣмъ съ такимъ сердечнымъ сокрушеніемъ палъ на колѣни, что я просто-на-просто думаю: вотъ милый старикашка! чай, и грѣхи-то у него куриные, а онъ такъ беспокоитъ себя! Подумавши это, я, конечно, вновь обращаюсь къ молитвѣ, и помаленьку опять начинаю отлагать житейское попеченіе. И вдругъ чувствую, что меня что-то кольнуло въ бокъ. Въ сущности, однакожъ, меня ничто не кольнуло, а только вспомнилось, что въ карманѣ моемъ лежитъ бумажникъ. Опять эта проклятая идея! И гдѣ же, въ виду кого! Въ виду этого почтеннаго, благообразнаго, убѣленнаго сѣдинами мужчины, который... Каюсь: я сто разъ, тысячу разъ неправъ; но развѣ терзанія, которыя я въ эту минуту испытываю, не служатъ достаточнымъ возмездіемъ за несправедливыя подозрѣнія, которыя родились во мнѣ при видѣ благоговѣйно склонившагося старца?

Третій случай. Я сижу въ итальянской оперѣ, и, въ ожиданіи поднятія занавѣса, думаю: такъ какъ мы „питомцы славы“, рождены для вдохновеній, то ужъ теперь-то я до-сыта наслушаюсь соловьиныхъ трелей, которыя изведутъ мою душу изъ темницы поскудной дѣйствительности и перенесутъ ее въ міръ „сладкихъ звуковъ и молитвъ“. Но едва раздалась первая аккорды увертюры, какъ я уже ощущаю беспокойство, сначала смутное, а потомъ все болѣе и болѣе отчетливое, и опять-таки преимущественно сосредоточивающееся около того пункта, гдѣ находится мой бумажникъ. Я начинаю озираться (вотъ кому приличествуетъ озираться, господа классики! не мо-



шеннику, а тому, который имѣетъ основаніе трепетать передъ мошенником!), я не могу спокойно усидѣть на мѣстѣ и безпрестанно вглядываюсь въ фязіономіи моихъ сосѣдей по креслу. Я отлично понимаю, что въ эту минуту и въ этомъ мѣстѣ бояться мнѣ нечего—и все-таки боюсь. Не реальнаго чего-нибудь, а волшебства. Зачѣмъ я его взялъ съ собой! тоскливо спрашиваю я себя:—вѣдь здѣсь нуженъ только двугривенный, чтобъ отдать за сохраненіе шубы... и эта шуба! ахъ, эта шуба, гдѣ-то она теперь?! Между тѣмъ аккорды, одинъ другого слаще, слѣдуютъ своимъ чередомъ. Занавѣсъ безшумно взвывается и цѣлый громъ рукоплесканій возвѣщаетъ, что началось производство трелей. Но я ничего не слышу, все думаю: а что, если этотъ старичокъ, у котораго глаза бѣгають и носъ крючкомъ—что, если онъ и есть тотъ самый волшебникъ и магъ, который въ совершенствѣ постигъ тайну обращать чужіе кредитные рубли въ старую газетную бумагу и, наоборотъ, свою собственную газетную бумагу — въ кредитные рубли? Гонимый этою мыслью, я съ трудомъ досеживаю до конца перваго дѣйствія, и едва успѣваетъ застыть въ воздухѣ послѣдняя трель, какъ я уже вскакиваю съ кресла и бѣгу въ корридоръ: шуба! гдѣ моя шуба?!

Наконецъ четвертый случай: я захожу въ гастрономическую лавку. Я облюбовалъ фунтъ семги и фунтъ винограду; товаръ мой уже свѣшенъ и за-вернуть—остается, стало быть, заплатить и уйти. Но едва протянулась моя рука къ карману, въ которомъ лежитъ мой бумажникъ, какъ я припоминаю, что мнѣ слѣдуетъ уплатить всего какихъ-нибудь рубль пятьдесятъ копѣекъ, а въ бумажникѣ у меня цѣлыхъ сто рублей. Между тѣмъ въ лавкѣ людно, одинъ покупатель смѣняетъ другого, во всѣхъ углахъ раздается чавканіе, и нѣтъ никакой надежды, чтобъ этотъ гомонъ хоть на минуту переমেжился. Я тревожно вематриваюсь въ пеструю толпу и рѣшительно ничего не могу различить. Всѣ люди какъ люди, у всѣхъ лица одинаково напоминаютъ стертые пятиалтынные стараго чекана, ни на одномъ не написано: „сія фязіономія принадлежитъ вору“, но ни на одномъ однакожъ не видно и яснаго ручательства, что чужой кошелекъ — святыня! И вотъ я рѣшаюсь выждать, пока толпа отольетъ; жду полчаса, жду часъ. Это становится настолько оригинальнымъ, что приказчики начинаютъ отъ времени до времени взглядывать на меня, а одинъ даже довольно развязно напоминаетъ: „вотъ, господинъ ваша покупка!“ Но я все еще крѣплюсь, перехожу отъ одного лакомства къ другому, словно надумываюсь, что бы еще купить, какъ вдругъ въ публикѣ происходитъ шопотъ, и до ушей моихъ долетаетъ странное слово, отъ котораго краска бросается мнѣ въ лицо. Наконецъ старшій приказчикъ подходитъ ко мнѣ и говоритъ:

— Господинъ! коли ежели вы дѣйствительно... такъ извольте взять ваши покунки за *благодарность*! и пожалуйста въ слѣдующій магазинъ!

Представьте себѣ! и публика, и приказчики приняли меня за шш... то-бишь, за члена торговой полиціи!

Положимъ, что моя подозрительность преувеличена до болѣзненности; положимъ, что подъ вліяніемъ процесса московскаго ссуднаго банка и рассказъ о подвигахъ „червонныхъ валетовъ“ я сдѣлался нервнѣе, раздражительнѣе; но вѣдь не все же въ моихъ опасеніяхъ представляется плодомъ раз-

строеннаго воображенія! есть же и въ нихъ какое-нибудь реальное основаніе, коль скоро они до того неотступно преслѣдуютъ меня, что доводятъ почти до состоянія ясновидѣнія! Да и одного ли меня? О, ты, читающій эти строки, ты, отъ рожденія своего безпечно думавшій, что жизнь среди „питомцевъ славы“ навсегда освобождаетъ тебя отъ обязанности запирается на ключъ и спускать шторы всякій разъ, какъ приходится вынимать деньги на расходъ кухаркѣ—развѣ не вопіалъ ты на всѣ лады: „караулъ! унесли!“ — когда, подобно трубному звуку, разразилась надъ тобой вѣсть о крушеніяхъ московскаго банка, Баймакова, Лури и проч.? Развѣ не метался ты, восклицая въ безсильномъ недоумѣніи: „да какъ же это! да неужто же въ самомъ дѣлѣ! да почему же, наконецъ, правительство, начальство, полиція?!“.. Не клялся ли ты, что впредь никогда, никогда?..

Да, основаніе для опасеній есть, и притомъ не фиктивное, а вполне реальное. Спрашивается однакожь: въ какомъ положеніи долженъ находиться принципъ собственности, когда со всѣхъ сторонъ несется одинъ и тотъ же вопль, когда одинъ и тотъ же трепеть обуялъ всѣ сердца? Что онъ посрамленъ и поруганъ—въ этомъ, конечно, нѣтъ сомнѣнія, но что всего жестче—онъ посрамленъ и поруганъ не одними „червонными валетами“, но и мною съ тобой, благосклонный читатель. Ибо и мы съ тобою не по поводу принципа собственности вопіемъ и мечемся, а исключительно по поводу того, что *у насъ* украли столько-то рублей. Такъ что еслибы *у насъ* украли въ десять разъ меньше, мы въ десять разъ меньше же метались бы, а еслибы украли только гривенникъ, то пожалуй даже и пошутили бы: вотъ такъ дуракъ! на гривенникъ польстился! А вѣдь по настоящему-то это не такъ; по настоящему, мы должны метаться не только за себя и за други своя, но и преимущественно за принципъ. Вотъ какъ мечутся, напримѣръ, прокуроры—безмездно, но въ чаяніи повышенія, и адвокаты гражданскихъ истцовъ—за опредѣленное по цѣнѣ иска вознагражденіе.

Предположимъ впрочемъ, что принципъ собственности еще какъ-нибудь да прорвется сквозь облаву, устроенную „червонными валетами“, и найдетъ себѣ охрану въ сводѣ законовъ (вѣдь тамъ, собственно говоря, и находится дѣйствительное его мѣстожительство), но что навѣрное и на многіе годы останется посрамленнымъ и лишеннымъ всякой охраны—это человѣческая мысль, додумавшаяся, подъ гнетомъ испуга, до серьезнаго убѣжденія, что отнынѣ вся задача человѣческаго существованія должна быть сосредоточена на защитѣ рубля.

Вопли, наполняющіе вселенную, по поводу волшебныхъ исчезновеній рубля, не только назойливы своимъ однообразіемъ, но и прямо поскудны. Мало того, что у меня „отнимаютъ“, но еще заставляютъ ломать голову надъ вопросомъ: откуда наскочило это отнятіе? Да и этого мало: положительнымъ образомъ удостовѣряютъ, что и завтра повторится тотъ же процессъ отнятія, а за нимъ и опять послѣдуютъ тѣ же тщетныя усилія выбиться изъ-подъ гнета вопросовъ: какъ, зачѣмъ, почему? И такимъ образомъ будто бы пройдетъ вся жизнь. Эти скверные вопросы оцѣнили все мое существованіе, взяли въ полонъ мою душу, отбучили меня мыслить, отбили отъ дѣла, отъ всего, что со-общало моей жизни мало-мальски порядочный смыслъ. Я — маленькій человѣкъ,



но если мнѣ суждено съ каждымъ днемъ все больше и больше сокращать мою порцію, то я хочу, по крайней мѣрѣ, знать, ради чего наслано на меня это насильственное сокращеніе и какъ называется та бездна, которая притягиваетъ къ себѣ все соки и ничего назадъ не отдаетъ?

Да, это именно бездна, а не лично тотъ или другой „червонный валетъ“. „Червонный валетъ“ подвернулся тутъ только для прилику, какъ *corpus delicti*, къ которому можно привязаться, чтобъ отвести глаза и приличнымъ образомъ выйти изъ затрудненія. Съ единичнымъ червоннымъ валетомъ не трудно управиться (да и управляются: все мѣста не столь отдаленныя кишать этою новою человѣческою разновидностью), но противъ *неумирающаго червоннаго валета*—я безсиленъ. Въ виду этой неумираемости я долженъ сложить оружіе. Ибо я не могу *существовать*, если въ умѣ моемъ безвыходно мечется мысль, что на меня ежеминутно откуда-то надвигается нѣчто загадочное, непредвидѣнное, могущее въ конецъ меня подорвать. Я не могу ни предусматривать, ни производить, ни накоплять, ни распредѣлять—зачѣмъ? для чего? Къ чему ведутъ все извороты и усилія ума, на что нужно трудъ, талантъ, аккуратность, умѣренность, если завтра, сейчасъ, черезъ мигъ покажется изъ-за угла медузина голова и...

Я знаю, что когда этотъ мигъ настанетъ, когда все уже совершится, тогда явится прокуроръ и приметъ мой хладный прахъ въ свое завѣдываніе. Онъ все взвѣситъ, все разберетъ и за все отомститъ. Отомститъ—кому? Лично вотъ этому червонному валету, который унесъ у меня столько-то рублей? Помилуйте! да неужто же я до того мелоченъ, непонятливо золь, чтобъ не уразумѣть, что во всей этой исторіи червонный валетъ ни при чемъ, что онъ только вещественный знакъ тѣхъ невещественныхъ отношеній, передъ которыми самыя похвальныя усилія прокуроровъ и ихъ товарищей разобьются, какъ волна разбивается о гранитный утесъ?

Но, допустимъ даже, что я мелоченъ и золь и что личная месть могла бы удовлетворить меня, однако и этотъ крохотный результатъ едва-ли ужъ такъ несомнѣнно-достижимъ, какъ это можно предположить съ перваго взгляда. Легко сказать: прокуроръ отомститъ, но вѣдь не соло же онъ будетъ выдѣлывать на судѣ, а выйдетъ на встрѣчу ему адвокатъ, вынетъ изъ кармана святое евангеліе (онъ ужъ съ недѣлю назадъ его въ синодальной лавкѣ купилъ и все рылся: „плевелы... плевелы... плевелы... а! вотъ, наконецъ, нашель!“) и проклянетъ часъ своего рожденія, убѣждая вселенную вообще и господъ присяжныхъ въ особенности, что истинный виновникъ постигшаго меня умертвія не сей „питомецъ славы“, велѣніями судебъ превратившійся въ червоннаго валета, а я самъ, дуракъ и простофиля, введшій его въ соблазнъ.

Кто устоитъ въ неравномъ боѣ?

### III.

Тоска! некуда дѣваться, не къ чему пристуниться, не объ чемъ думать! Стучаться въ запертую дверь — безплодно; ломиться въ нее — надорвешь силы. Вышла-было линія — воровать, да и та повернулась не на пользу, а по направленію къ скамьѣ подсудимыхъ. Даже коренные, прожженные хищ-

ники — и тѣ удивляются: воруютъ, а никакъ-таки наворованное къ рукамъ пристать не можетъ — все, словно сквозь сито, такъ и плыветъ, такъ и плыветъ... куда?

— У меня, братъ, третьяго-дня деньги унесли, — говорю я вмѣсто привѣта входящему ко мнѣ Глумову.

— А у меня вчера унесли, — привѣтствуетъ меня и онъ въ свою очередь.

— У меня Сидоръ Кондратьичъ унесъ, а у тебя кто?

— У меня? а прахъ ихъ знаетъ! Говорятъ на Ивана Иваныча, да я не вѣрю. Впрочемъ и ты, любезный другъ, на Сидора-то Кондратьича клеветь, кажется.

— Какъ клевету! Сказываютъ, что за день передъ тѣмъ, какъ объявиться, онъ сто тысячъ унесъ. веселый такой былъ!

— Не въ томъ дѣло. Вѣдь и мой Иванъ Иванычъ третьяго-дня уйму денегъ унесъ, а сегодня все-таки ни ему, ни семьѣ его жрать нечего!

— Чортъ знаетъ однако, чтѣ ты говоришь! Куда же онъ деньги дѣвалъ?

— Угадай, любезный, подумай? Ты вѣдь любишь помечтать на тему: кабы у бабушки... ну, и потрудись!

— Да и тебѣ, пожалуй, не мѣшаетъ подумать!

— Нѣтъ, братъ, я давно ужъ думать оставилъ. Живу просто... ну, живу — и шабашъ!

Глумовъ остановился противъ меня, пристально взглянулъ мнѣ въ глаза, и заплѣлъ: — Ah! ah! que j'aime, que j'aime les milimililitairrrres!

— Вотъ какъ я нынче живу! — прибавилъ онъ: — и вчера въ „Буффъ“ былъ, и сегодня Гранье пойду слушать! Люблю, братецъ я, люблю эту французскую безпардонность, ибо подобіе земного нашего странствія въ ней вижу!

Но шутка Глумова даже улыбки не вызвала на мое лицо. Я — человекъ аккуратный и счетъ деньгамъ знаю. Сверхъ того, я понимаю (очень многіе этого не понимаютъ, а женщины — сплошь и рядомъ), что если у меня нѣтъ въ карманѣ расходныхъ денегъ, то мнѣ пожалуй и обѣдать не дадутъ. Такъ что ежели я, проснувшись утромъ, замѣчаю исчезновеніе дробі, которую я наканунѣ вечеромъ считалъ закономъ предоставленною мнѣ собственностью, то это меня огорчаетъ. А тутъ, представьте себѣ, не дробі, а прямо цѣлыя числа пропадаютъ, обращаются въ нули — каково же должно быть мое огорченіе! Да вдобавокъ еще — начнешь жаловаться, воцѣпять, а тебѣ въ упоръ плоскія шутки отпускаютъ; говорятъ, что Сидоръ Кондратьичъ здѣсь ни при чемъ! Вѣдь покуда я былъ увѣренъ, что третьеводнишнія мои деньги именно Сидоръ Кондратьичъ укралъ — все-таки какъ-то легче мнѣ было! Думалось: можно будетъ и поприжать молодца! посидитъ съ мѣсяцъ въ Тарасовкѣ (я ужъ въ общую складчину и на кормовыя пожертвовалъ) — смотришь, анъ копѣчекъ по десяти и выдавить изъ себя! А еще съ мѣсяцъ посидитъ — и еще копѣчекъ по десяти выдавить! Помаленьку да полегоньку, да съ Божьею помощью, въ одномъ мѣстѣ давнутъ, въ другомъ діагностику сдѣлаютъ — гляди, полтина-то и набѣжала! Полтина... вѣдь это почти кушъ! Полтина... гм... однакожъ только полтина! а другая-то полтина куда же дѣвалась?



Должно быть, много скорби вылилось на моемъ лицѣ подѣ вліяніемъ этихъ думъ (въ особенности же послѣдней), потому что даже черствое сердце Глумова тронулось моимъ горемъ.

— Копилъ, чай?—сказалъ онъ голосомъ полнымъ участія.

— Какъ же, братецъ! Жена, дѣти... предусматривалъ тоже... чортъ знаетъ что такое! Теперь пристають: „вотъ, папаша, всегда вы такъ дѣлаете!“ А прежде приставали: „папаша! да отъ чего же вы Сидору Кондратычу вашихъ денегъ не отдадите? вѣдь онъ на текущій счетъ изъ восьми процентовъ беретъ!“

— Да, другъ, понимаю я это: тяжело! Давеча утромъ, ни свѣтъ ни заря, ко мнѣ совсѣмъ неизвѣстный генералъ прибѣжалъ; я еще спалъ, такъ разбудить велѣлъ. Выхожу:—что вашему превосходительству угодно? спрашиваю. „Помилуйте! говоритъ: дѣдушка мой копилъ, батюшка покойникъ копилъ, я самъ... да-съ, самъ-съ! копилъ-съ! И вдругъ какой-то проходимецъ въ одну минуту все это въ трубу выпустилъ!“ И весь, знаешь, трясется, брызжетъ, руками машетъ: „до Государя, говоритъ, дойду!“—Жаль, говорю, что ваше превосходительство такъ, въ одинъ мигъ... да я-то тутъ при чемъ?—„А вы, говоритъ, тоже въ числѣ кредиторовъ значитесь, такъ не угодно ли на кормовыя пожертвовать, чтобъ ему, негодяю, впредь неповадно было?“

— Ты... подписалъ?

— И не подумалъ. Ивана-то Иваныча—въ долговое?! Этакого умнѣйшаго, обстоятельнѣйшаго... словомъ сказать, финансиста?! Вѣдь я десять лѣтъ сряду въ него какъ въ провидѣніе вѣровалъ! въ церковь не ходилъ—все къ нему! шептался съ нимъ! перемигивался! душу передъ нимъ выкладывалъ! Иной разъ на сотню выложишь, въ другой—на цѣлую тысячу! И чтобъ я сталъ мины подъ этого человѣка подводить! Напротивъ! я все утро сегодня убѣждалъ, что первый нашъ долгъ—объ семьѣ его позаботиться... и убѣдилъ!

— Ну, нѣтъ! мы своего Сидора Кондратыча запрятали-таки. И я на кормовыя подписался.

— Чтожъ—и это ничего! правильно! Вы „правильно“ поступили, а мы—великодушно! Но ни мы, ни вы одинаково ничего не получимъ. За то, кабы ты видѣлъ, какой въ немъ, въ Иванѣ-то Иванычѣ, переворотъ вдругъ сдѣлался, когда онъ объ рѣшеніи-то нашемъ узналъ! Все воровство вдругъ соскочило, одно просвѣтленіе осталось! И слезы-то, и смѣется-то, и губы трясутся, и кланяется (руки однако не протягиваетъ: понимаетъ, что недостойнъ), и лепечетъ... „Все! говоритъ, вся моя жизнь, все до послѣдней капли крови—все отнынѣ принадлежитъ кредиторамъ! И ежели, говоритъ, я всего, до послѣдней копейки... о, Господи!“

— Тсс... А кто его знаетъ, можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ отдастъ!

— Нѣтъ ужъ, что ужъ! Я, братъ, говорилъ съ нимъ объ этомъ. —Вотъ, говорю, дружище, въ новую жизнь вступаешь! „Въ новую“, говоритъ. —Вѣдь это, говорю, все равно, что снова съ коллежскаго регистратора начинать... трудно! А впрочемъ не ропщи: ежели съ усердіемъ да съ терпѣніемъ—пожалуй, и опять въ тайные совѣтники произведутъ!—„Ахъ, говоритъ, не для себя я, а для господъ кредиторовъ... Господи! кабы только силы да разу-

мѣнія!“ И вдругъ — опять слезы, опять губы трясутся, опять просвѣтленіе. — Отдашь? говорю. „Вотъ какъ передъ Истиннымъ!.. какъ на исповѣди, такъ и теперь... послать бы только Богъ силы да разумѣнія“... Ну, да ужъ гдѣ! не отдасть — это вѣрно. Губы онъ какъ-то облизываетъ и глазами врозь смотритъ, когда у Бога и силы и разумѣнія просить. Да и не разсчитать вѣдь ему отдавать-то.

— А ты увѣренъ, что у него ничего не спрятано? что семьѣ его дѣйствительно нечего ѣсть?

— Куска нѣтъ — вѣрное слово тебѣ говорю. Я и объ этомъ съ нимъ разговоръ имѣлъ. — Куда жъ, братецъ, ты деньги дѣваешь? спрашиваю. Ну, и онъ тоже меня спрашиваетъ: „А вы вѣрите, говорить, что я честный человѣкъ?“ — Вѣрю, говорю. „Такъ вотъ, говорить, суди меня Богъ и Государь — ни копѣйки у меня на совѣсти нѣтъ!“ Подумай однако, говорю, можетъ и вспомнишь! „Ничего я не вспомню, и не знаю, и не понимаю! на неосторожность сослаться — не могу, потому что я всегда достаточно остороженъ былъ... Мотать тоже не моталъ, такъ чтобъ ужъ слишкомъ... Извѣстно, квартира была, экипажъ держалъ... ну, повара нанималъ! Сами посудите, при моихъ дѣлахъ — какъ же иначе?“

— Да, иначе нельзя! Онъ вѣдь на биржу ѣздилъ, дѣйствительныхъ статскихъ кокодесовъ обѣдами кормилъ — нельзя безъ обстановки ему обойтись!

— Вотъ ты и суди! Ни неосторожности, ни мотовства — а въ трубу вылетѣлъ! И даже самъ не можетъ объяснить, куда все подѣвалось!

— Ну, онъ-то знаетъ!

— Говорю тебѣ, не знаетъ. Онъ, братъ, вѣдь глупъ. Вотъ мы съ тобой и досужіе люди, а въ центру попасть не можемъ — такъ ему ужъ куда! Онъ всю жизнь словно во снѣ прожилъ, благо въ заведенное колесо попалъ. Сегодня на биржу, завтра на биржу, сегодня — купить-продать, завтра — купить-продать; вотъ и премудрость его вся. Мысли — никакой, итоги — по двойной бухгалтеріи сведены. Такъ-то, братъ!

— Чудеса!

— Такія чудеса, что вотъ я, человѣкъ ужъ искушенный, возьму въ руки рубль и не разберу, чтѣ у меня: полтинникъ, четвертакъ или кусочекъ третьеводнишней афишки. Покажешь извозчику — тотъ увѣряетъ: „рупъ!“ Ну, и слава Богу!

— Да, извозчики покуда еще выручаютъ. Крѣпкій это народъ, достоинъ вѣрный!

— Кнутъ имъ Богъ въ руки далъ — вотъ они и думаютъ, что не кормя, на одномъ кнутѣ, и нивѣсть куда дойдутъ!

— И дойдутъ. Потихоньку да полегоньку, тутъ подпругу подтянутъ, въ другомъ мѣстѣ шлею подиравать, въ третьемъ — просто хвосты подвѣжуть: эй вы, соколики!

Сказалъ я это — и задумался. „А какъ вдругъ, со всѣхъ четырехъ ногъ...“ внезапно представилось мнѣ, да такъ живо представилось, что со всѣми подробностями, во всей, такъ сказать, художественной образности. И круча, и слабосильныя, разбитыя лошади, несущіяся во весь карьеръ, и гнилой мостишко впереди, и оврагъ... „Угодать онѣ на мостъ, или не угодать?“



словно молнія блеснуло передъ моими глазами, и я совершенно явственно ощутилъ, какъ волосы шевельнулись у меня на головѣ.

— Что задумался! пари держу, что образъ какой-нибудь художественный сію минуту воспроизвелъ? — прервалъ Глумовъ мою художественную производительность.

— Помилуй! съ какой стати!

— Чего ужъ — вижу вѣдь я! И руками уперся, и напряжился, весь корпусъ въ комокъ собралъ... боишься?

— Да какъ бы тебѣ сказать...

— То-то я вижу, что ты словно изловчаешься, какъ бы головой объ столбъ не угодить... Ничего, братъ, Богъ милостивъ!

— Милостивъ-то милостивъ, а денегъ намъ вѣ-таки не отдадутъ. Плакали наши денежки! И куда онѣ дѣвались... Господи! да куда жъ онѣ, въ самомъ дѣлѣ, дѣвались?

— Куда все прочее дѣвается, туда и онѣ. Вотъ ты, конечно, Струберговскій процессъ читалъ — понялъ что-нибудь!

— Гм... да... нѣтъ, воля твоя, а у Ландау денежки есть!

— Ты какъ объ этомъ узналъ?

— Должны быть у Ландау деньги, должны! Полянскій — тотъ заплакалъ, а Ландау... есть у него деньги! есть! Это... это, я тебѣ скажу... Вотъ какъ теперича день на дворѣ, такъ и это... Нѣтъ... этакъ нельзя!

Я разгорячился и вскочилъ съ мѣста. Коварство Ландау было такъ очевидно, такъ осязательно, что фигура его, подробно описанная газетными репортерами, такъ и металась у меня передъ глазами. Полянскій — тотъ, по крайней мѣрѣ, заплакалъ, а Ландау...

— Нельзя такъ! нельзя! нельзя! нельзя! — почти грозно восклицалъ я.

— Чудакъ ты, братецъ! Вдругъ закричалъ — точно изъ ляниснаго раствора промывательныя ему поставили! А ты образумься, пойми! вѣдь и у твоего Сидора Кондратьича, небось, на молочишко осталось, такъ чтожъ: копѣчку что-ли на рубль тебѣ получить хочется?

— Нѣтъ, тутъ не объ копѣчкѣ рѣчь, а о принципѣ! Нельзя такъ! нельзя!

— Нельзя да нельзя — что нельзя-то?

— Воровать нельзя! запрещается воровать! Да-съ, запрещается-съ!

— Запрещается — а воруютъ! Нѣтъ, ужъ ты выйди лучше на площадь, закричи „караулъ“ — можетъ и полѣгчить!

Слова эти какъ будто отрезвили меня, но не вдругъ однако. Нѣкоторое время утроба моя еще колыхалась, и я совершенно явственно слышалъ, какъ въ ней урчало: нельзя! Но такъ какъ я человѣкъ впечатлительный, то минуты черезъ двѣ мнѣ ужъ самому казалось нѣсколько страннымъ, съ чего я вдругъ такъ разгорячился. Какъ будто и въ самомъ дѣлѣ до того ужъ меня ущемило оттого, что на дняхъ какія-нибудь три-четыре цифры, по недоразумѣнію, обратились въ нули! Пожалуй, со стороны могутъ еще подумать, что я жадный... Я-то жадный! Я-то!.. да вотъ у меня выкупное свидѣтельство осталось — два ихъ было, да одному Сидоръ Кондратьичъ на

дняхъ другое назначеніе даль — ну, хотите, и это самое выкуное свидѣтельство сейчасъ же, сію минуту...

На мое счастье, Глумовъ прервалъ теченіе моихъ мыслей и не далъ совсѣмъ уже созрѣвшему порыву самоотверженія вылетѣть изъ груди.

— Ну, вотъ, теперь у тебя восторженность какія-то въ лицѣ явилась! — сказалъ онъ: — опять, должно быть, художественную картину воспроизвелъ!

— Ахъ, отстань, пожалуйста! преотвратительная это у тебя привычка — выраженіе лица подглядывать!

— Зачѣмъ подглядывать — прямо видно! Пари держу, что еще минута, и ты закричалъ бы: „человѣкъ! шампанскаго!“ Ну-ну, не сердись, не буду! Ты объ „червонныхъ валетахъ“ имѣешь понятіе?

— Знаю.

— Такъ вотъ, по моему, отличнѣйшій наглядный примѣръ. Полянскій, Ландау — это, положимъ, загадочные люди, а въ „червонныхъ валетахъ“ даже загадочности никакой нѣтъ. Все извѣстно: и сколько наворовали, и гдѣ сколько истратили — все есть! Только одного не видать: какимъ образомъ тысячные документы въ десятирублевая бумажки превращались.

— Ну, какъ не видать?

— Именно не видать. Укралъ онъ, положимъ, облигацію, или документъ въ тысячу рублей выманилъ — ну, извѣстно, первымъ долгомъ въ трактиръ навѣдался, документъ за буфетъ размѣнять послалъ, просидѣлъ три-четыре часа за полштофомъ — смотреть, анъ у него въ рукѣ только десятирублевая бумажка зажата! Ну, и опять, стало быть, завтра воровать надо!

— Наѣлъ да напилъ, можетъ быть?

— Нѣтъ, и этого не было, потому что у нихъ вѣдь водка главную роль играетъ — куда же тутъ тысячу рублей разсорить! А такъ вотъ: одинъ взялъ съ него куртажныя, другой — за „поворованное“ учелъ (какъ прежде за постоялое да за полежалое брали); третій — за то взялъ, что у такихъ парней и Богъ не велѣлъ много денегъ оставлять; четвертый — за то, что воровъ князьями да графами величалъ; пятый — за то, что въ участокъ не препроводилъ... Такъ она и разошлась вся, тысяча-то, словно невидимый духъ ее разнесъ.

— Да, но ты все-таки можешь объяснить себѣ, куда она разошлась. Эти первый, второй, третій, которыхъ ты сейчасъ назвалъ — все-таки они воспользовались!

— Нѣтъ, и они не воспользовались, потому что и съ каждымъ изъ нихъ та же исторія завтра повторится. Опять пойдутъ и куртажныя, и за „поворованное“, и за величаніе... А послѣ-завтра ужъ съ тѣхъ возьмутъ, которые вчера взяли... И выйдетъ на повѣрку, что изъ тысячи-то рублей — на сто, много на двѣсти пропито да проѣдено, а прочее все на различныя не-вещественныя статьи изведено.

— Такъ что въ результатѣ окажется, что воръ для того только и воруетъ, чтобъ издержки воровства покрыть? Это что-ли ты хочешь сказать?

— Именно. А сверхъ того еще и то, что ежели бы воры понимали, изъ-за какой малости они беспокоятъ себя, такъ, право, девять-десятихъ изъ нихъ давно бы эту привычку кинули.



— Да ты нивакъ даже жалѣешь ихъ?

— Да, заправскихъ воровъ, тѣхъ, которые со взломомъ или безъ взлома, но во всякомъ случаѣ рискуютъ своими боками и заранѣе знаютъ, что не попасть имъ въ мѣста не столь отдаленныя нельзя—тѣхъ жалѣю. А объ тѣхъ, которые крадутъ невидимо, которые занимаются только тѣмъ, что мой рубль, съ Божьею помощью, обращаютъ въ полтинникъ—объ тѣхъ ничего не говорю: еще не вникъ.

— А по моему такъ и въ заправскомъ ворѣ ничего достойнаго симпатіи нѣтъ.

— Ремесло у него тяжелое — вотъ чтѣ. Украсть на полтинникъ, а измучиться на сто рублей—развѣ это не каторга? Особливо ежели кто еще не забылъ, что онъ въ благородномъ пансіонѣ воспитаніе получилъ.

— Напримѣръ, твой Иванъ Ивановичъ?

— А какъ бы ты думалъ! Вотъ я тебѣ давеча говорилъ, что у него даже руку кредиторамъ подать смѣлости не хватаетъ,—у него, которому, не дальше, какъ третьяго-дня, стоило только пальцемъ поманить, чтобъ вся эта ватага, сложивши на груди руки крестомъ, въ умиленіи внимала, какъ онъ, понюхивая табачокъ, бормочетъ: купить-продать, продать-купить! Нѣтъ, прѣпастъ еще въ немъ совѣсти, прѣпастъ! Ужъ по одному этому, по одной этой несмѣлости ты можешь угадывать, какую онъ ночь долженъ былъ провести наканунѣ того дня, какъ ему „объявиться“ пришлось! Чай, и дѣтство-то все, и невинность вся прошла, и папенька, и маменька, и первая любовь (онъ за „нею“ двадцать тысячъ взялъ, и тутъ же ихъ, вмѣстѣ съ прочими, ухнулъ)—все, все передъ глазами его пронеслось! Это ужъ не художественныя инстинкты всполошились, а кровь, собственная кровь заговорила! И прибавь къ этому: онъ даже не укралъ, въ строгомъ смыслѣ слова, а только не оправдалъ довѣрія... Почему же онъ совѣстится и держать себя такъ, какъ будто въ самомъ дѣлѣ укралъ?

— Да, да, въ благородномъ пансіонѣ воспитывался, похвальные листы получалъ... Вотъ и червонныя валеты, и они тоже...

— И ихъ двѣ трети изъ „питомцевъ славы“—знаю я и это. Помнишь Дмитріева:

Твои сыны, питомцы славы,  
Прекрасны, горды, величавы,  
А дѣвы—розами цвѣтутъ?

— Какъ же! Какъ же! Передъ приходомъ твоимъ только что вспомнилъ! А помнишь ли, какъ ты послѣдній стихъ передѣлалъ: *И дѣвоны розами сѣкутъ*? Видно, мы ужъ съ малолѣтства „славу“—то въ смѣшномъ видѣ любили представлять!

— Ну, чтѣ было, тѣ прошло. Нынче ни того, ни другого ужъ нѣтъ: ни дѣвы розами не цвѣтутъ, ни дѣвокъ розами не сѣкутъ. Развѣ подъ пьяную руку на Козихѣ, да и то—чтѣ за радость, какъ на мировую пятьдесятъ рублей сдерутъ?

— Да, некрасивая это штука — червонныя валеты, и не поздоровится отъ нея „питомцамъ славы“! А для меня, признаюсь, еще того прискорбиѣе, что на скамѣ подсудимыхъ опять будутъ фигурировать дѣти Москвы. Дав-

но ли сидѣли струсберговцы; давно ли гремѣли адвокаты, доказывая, что они-то и суть излюбленные люди, дѣти Москвы, и что иныхъ дѣтей Москва отнынѣ и производить не можетъ — и вотъ, точно еще недоставало для полноты картины — опять дѣти, да вдобавокъ еще... червонные валеты!

— И замѣть, что если относительно струсберговцевъ нужно было еще доказывать, что они — дѣти Москвы, то тутъ даже доказательствъ никакихъ не потребуется. Прямо валий стихами:

Въ какомъ ты блескѣ нынѣ зришь!

Всякій присяжный засѣдатель чутьемъ пойметъ.

— И представь себѣ, что вѣдь это та самая Москва, которая впервые собрала Русь...

— А теперь собираетъ „червонныхъ валетовъ“? — представляю! Но, во-первыхъ, такому городу, который самъ себя называетъ „сердцемъ Россіи“, надо же что-нибудь собирать; а во-вторыхъ, опять-таки повторяю: я и вообще ничего противъ господъ воровъ не имѣю, а червонныхъ валетовъ — даже люблю. Русскіе парни! душевные, разымчатые! Не мошенничество у нихъ на первомъ планѣ, а выдумка и смѣшной видъ — гдѣ, въ какой другой странѣ ты это найдешь? И притомъ скромны... ну, право же скромны! украдетъ красненькую, четвертную — и будетъ! И сейчасъ же сѣшнѣ изъ этой красненькой удѣлѣть рубль тому, кто его графчикомъ назоветъ! Спроси-ка объ нихъ у трактирныхъ половыхъ, у извозчиковъ — всѣ въ одинъ голосъ скажутъ: „душевные господа, первый сортъ господа!“ Нѣтъ! Право... не знаю, какъ ты, а я чѣмъ больше съ ними знакомлюсь, тѣмъ чаще говорю себѣ: хорошо съ такими парнями недѣлку-другую пожить — утѣшать!

— Ну, меня не особенно къ нимъ тянетъ!

— Это оттого, что ты въ Петербургѣ засидѣлся, освѣжаться рѣдко ѣздишь. А въ сущности, чтѣ такое Петербургъ? — тотъ же сынъ Москвы, съ тою только особенностью, что имѣетъ форму овна въ Европу, вырзаннаго цензурными ножницами. Особенность, можетъ быть, и полезительная, да живетъ при ней какъ-то ужъ очень невесело.

— А по твоему лучше въ Москвѣ? по твоему весело, какъ надъ тобой, какъ надъ дуракомъ, утѣшаются, да тутъ же, съ хохотомъ и съ визгомъ, и существованіе твое кстати подрываютъ?

— Дуракомъ никому не весело быть — это я знаю; да вѣдь не въ томъ и задача веселыхъ русскихъ „выдумокъ“, чтобъ „дураку“ было весело, а въ томъ, чтобъ вотъ у нихъ, разымчатыхъ парней, сердце играло, да и посторонніе чтобъ не очень обижались, что въ ихъ глазахъ съ прохожаго чловѣка пальто снимаютъ. Русскій чловѣкъ любить смѣшной видъ и многое за него прощаетъ — какъ ты хочешь, а что-нибудь это да значить!

— А именно?

— Да хоть бы то, что русскій чловѣкъ не видитъ мірового событія въ явленіи, которое само по себѣ ломанаго гроша не стоитъ: не кричить, не мстить, не хранить затаенной злобы, а можетъ быть даже — инстинктивно, разумѣется — связываетъ съ этимъ явленіемъ своего рода внутренній вопросъ... Согласись самъ, можно ли сердиться, напримѣръ, на такую выдумку,



объ которой я на дняхъ отъ одного москвича слышалъ. Встрѣчается червонный валетъ въ трактирѣ или въ другомъ публичномъ мѣстѣ съ иностранцемъ, и, разумеется, какъ малый общительный, вступаетъ съ нимъ въ разговоръ. Не забудь, что червонный валетъ хоть и „воръ“, но это отнюдь не мѣшаетъ ему быть обворожительнымъ молодымъ человѣкомъ. Манеры у него — прекрасныя, разговоръ — текучій, и при этомъ такія обстоятельныя свѣдѣнія о Москвѣ, объ ея торговлѣ, богатствахъ, нравахъ, обычаяхъ и проч., которыя прямо свидѣтельствуютъ о всестороннемъ и очень добросовѣстномъ изученіи. Иностранецъ тѣмъ болѣе очарованъ, что съ этими манерами и свѣдѣніями соединяется безграничный досугъ и чисто славянская готовность услужить, успокоить человѣка, находящагося вдали отъ родины, среди чужихъ. Мало-помалу — конечно, не въ одинъ и не въ два дня — очарованіе приноситъ желаемый плодъ: иностранецъ, въ свою очередь, дѣлается изліятельнымъ. Происходитъ обмѣнъ мыслей, произносятся жалобы на обиліе за границей капиталовъ, дѣлающее помѣщеніе ихъ до крайности затруднительнымъ, и въ результатѣ оказывается, что Россія есть единственная въ мірѣ благословенная страна, въ которой капиталъ безъ труда (если не украдутъ) можетъ принести очень серьезный процентъ. Какъ только разговоръ установился на этой почвѣ, такъ червонный валетъ ужъ смотритъ на своего собесѣдника какъ на „фофана“. И вдругъ — мысль! продать этому „фофану“ казенныя присутственныя мѣста. Сказано — сдѣлано. Весь клубъ червонныхъ валетовъ въ движеніи: одинъ бѣжитъ къ экзекутору присутственныхъ мѣстъ и предупреждаетъ его, что на дняхъ его посѣтитъ знатный иностранецъ, интересующійся вопросомъ о чижовкахъ вообще и московскихъ въ особенности; другой — наскоро нанимаетъ помѣщеніе и устраиваетъ въ немъ псевдо-нотаріальную контору; третій — спѣшитъ щегольнуть такими фальшивыми документами, чтобы лучше настоящихъ были; четвертый — готовится разыграть роль владѣльца-продавца; пятый, шестой — просто радуются и думаютъ: вотъ-то удивится фофанъ! Словомъ сказать, всѣ заняты и всѣмъ весело. Въ назначенный день происходитъ осмотръ; экзекуторъ, какъ истинно-гостепріимный хозяинъ, показываетъ: вотъ чижовка! вотъ еще чижовка! и еще, и еще, и еще чижовка. Червонный валетъ служить при этомъ переводчикомъ, стучитъ кулакомъ объ стѣну и говорить: „Милордъ! посмотрите, какая толщина!“ Потомъ ѣдутъ къ нотаріусу, получаютъ съ иностранца задаточныя деньги, провожаютъ его въ гостиницу, и затѣмъ — все исчезаетъ. Ни нотаріуса, ни очаровательнаго молодого человѣка, ни владѣльца дома — ничего. Остаются лицомъ къ лицу: экзекуторъ, который еще разъ готовъ казенныя чижовки лицомъ показать, и знатный иностранецъ, который никакъ не можетъ втолковать экзекутору, что онъ этотъ домъ купилъ и надѣется получать на свой капиталъ не меньше десяти процентовъ... Скажи по совѣсти: будь ты въ числѣ присяжныхъ засѣдателей, неужели ты могъ бы разсердиться на такую „выдумку“?

— Да вѣдь сердиться и не требуется; требуется только сказать, совершено ли мошенничество, о которомъ идетъ рѣчь, или не совершено?

— То-то, что не это одно. Нужно и еще на вопросъ отвѣтить: виновенъ ли такой-то въ совершеніи мошенничества, или невиновенъ?

— Конечно, виновенъ! тутъ и сомнѣнія не можетъ существовать!

Признаюсь, я сказалъ это хоть и бойко, но насколько было въ этой бойкости искренности — это еще вопросъ. Какъ ни страннымъ это можетъ показаться, но рассказъ Глумова о продажѣ зданія присутственныхъ мѣстъ произвелъ во мнѣ нѣкоторое раздвоеніе: съ одной стороны представлялась законопоступность дѣянія, съ другой — выдумка. Ежели первая стояла вѣдъ всякихъ сомнѣній, то вторая... можно ли, при обсужденіи дѣла, въ которомъ главную роль играетъ „выдумка“, обойти эту „выдумку“? справедливо ли исключить ее изъ счета обвиняемаго? На всякій случай предположите, напри- мѣръ, что, по безпримѣрной снисходительности суда, въ числѣ прочихъ во- просовъ, предложенныхъ на разрѣшеніе присяжныхъ, значится слѣдующій: „заключаетъ ли въ себѣ выдумка объ отчужденіи зданія казенныхъ присут- ственныхъ мѣстъ настолько завлекательности, чтобъ заинтересовать людей, коихъ природное веселонравье въ значительной степени возвращено и выхо- лено въ благородномъ пансіонѣ воспитаніемъ?“ — что могутъ отвѣтить на него присяжные?

По моему мнѣнію, тутъ можетъ произойти одно изъ двухъ: или при- сяжные, убоясь скандала, попросятъ ихъ отъ отвѣта уволить, или же они сойдутъ въ глубины своей совѣсти и, не найдя тамъ ничего, кромѣ веселости, вынесутъ отвѣтъ: „да, выдумка достаточно завлекательна“. Это будетъ, ко- нечно, скандалъ, но скандалъ вѣдъ и въ первомъ случаѣ неминуемъ, потому что самое отступленіе передъ трудностями разрѣшенія доказываетъ ясно, что вопросъ только по формѣ представляется скабрѣзнымъ, а по существу затро- гиваетъ самыя чувствительныя струны человѣческаго существованія.

Но — возразить мнѣ читатель — присяжные вѣдъ могутъ отвѣтить и такъ: „нѣтъ, ничего завлекательнаго въ выдумкѣ червонныхъ валетовъ не видится“. Да, они несомнѣнно могутъ и такъ отвѣтить, но клянусь, что подобнымъ отвѣтомъ они все-таки отнюдь не избѣгутъ скандала. Ибо, кромѣ офици- альныхъ присяжныхъ, въ залѣ суда присутствуетъ еще цѣлая толпа присяж- ныхъ не-официальныхъ, которые навѣрное найдутъ вынесенный приговоръ не только противорѣчащимъ вѣніямъ времени, но и прямо кляузнымъ. „Суди, да не засуживай!“ — вотъ общій голосъ, который вынесется на встрѣчу мертворожденному рѣшенію; я, право, не знаю, насколько выиграетъ отъ этого „институтъ“ присяжныхъ.

— И ихъ, разумѣется, поймали? — продолжалъ я, обращаясь къ Глумову.

— Разумѣется, поймали, и притомъ со всѣми онѣрами: съ раскаяніемъ, съ разоблаченіями, съ дѣтскими противорѣчіями. Но ты вотъ что сообрази: во-первыхъ, они взяли съ знатнаго иностранца за свою выдумку не больше четырехъ-пяти тысячъ рублей, что, при разверсткѣ между членами братства и за исключеніемъ издержекъ, дало не болѣе полутора-ста-двухсотъ рублей на человѣка; во-вторыхъ, они все дѣло вели почти открыто, и не только не замечали своихъ слѣдовъ, но навѣрное отпраздновали свою побѣду надъ „фофаномъ“ самымъ шумнымъ образомъ и притомъ непремѣнно въ такомъ мѣстѣ, куда самая простодушная полиція — и та получила свободный доступъ. Развѣ таковы признаки настоящаго мошенника? Мошенника современнаго



закала, напимѣрь, который прямо изъ кармана не воруетъ, а невидимо превращаетъ рубль въ полтинникъ, не оставляя за собой ни поличнаго, ни отвѣтчиковъ, ни даже истцовъ?

— Хорошо, оставимъ на время „червонныхъ валетовъ“. Какое же, по твоему, средство избавиться отъ того невидимаго вора, о которомъ мы сейчасъ упомянули? Какимъ образомъ такъ устроить, чтобъ хоть завтрашній-то день, благодаря ему, не стоялъ передъ нами угрозою?

— Ты это насчетъ того что-ли, чтобъ завтра было что дать на расходъ кухаркѣ? Ну, на это и безъ экстренныхъ мѣропріятій средства еще найдутся.

— Нѣтъ, ты не шути — тутъ не о кухаркѣ рѣчь, а вообще... Жить сдѣлалось неловко — вотъ что! Деньги — какія-то загадочныя сдѣлались, кредита — нѣтъ... Прежде вотъ „портфель“ былъ, ну, „балансъ“ тоже, а теперь, сказываютъ, и „портфель“, и „балансъ“ — все потеряли.

— На этотъ счетъ я могу тебя успокоить: обращено вниманіе!

— Слава Богу! Ты развѣ слышалъ что-нибудь?

— Достоверно знаю. Вчера, какъ изъ собранія кредиторовъ шелъ — Левушку Колѣнцова встрѣтилъ. „Поздравь меня, говоритъ, я ужъ въ Семиозерскъ не ѣду!“ — Что такъ? говорю: то охотился, а теперь вдругъ... „Другая миссія представляется, говоритъ. Entre nous soit dit, на дняхъ имѣетъ быть возбужденъ... ну, вотъ, насчетъ этого „портфеля“... такъ я“... И называлъ мнѣ такую миссію, и съ такимъ, братецъ, содержаніемъ, что я отъ удовольствія пальцемъ его прямо въ животъ ткнул!

— Ну, хорошо... ну, будетъ, положимъ, комиссія... что же эта комиссія сдѣлаетъ?

— Да печаль твою разсѣетъ — и то хорошо. „Портфель“ отыщеть, „балансъ“ подведетъ...

— Поди, чай, опять сто-одинъ томъ „Трудовъ“ издадутъ?

— Ужъ это само собой!

— Прескверная эта привычка у нашихъ комиссій... Да притомъ и „Труды“ — то... Представь себѣ, вѣдь Левушка Колѣнцовъ участіе въ нихъ принимать будетъ!

— Довѣряя, что-ли, въ тебѣ онъ не возбуждаетъ? — напрасно! Не знаю, какъ насчетъ „баланса“, а насчетъ „портфеля“ ему Богъ такой разумъ далъ, что онъ любого финансиста за поясъ заткнетъ!

— То-то, что только насчетъ портфеля!

— А ты не торопись! сперва пускай „портфель“ сыщеть, а потомъ догадается, что и безъ „балансу“ нельзя — и „балансъ“ поднесетъ.

— То-то на экономическихъ обѣдахъ радость будетъ! Только, воля твоя, а у меня эти сто-одинъ томъ „Трудовъ“ изъ головы не выходятъ. Покуда они потрошатъ, да соображаютъ, да округляютъ...

— А мы будемъ жить, время проводить. Вотъ объ струсберговцахъ еще забыть не успѣли, а ужъ червонные валеты грядутъ! И не увидимъ, какъ время пролетитъ!

— Но вѣдь ты самъ сейчасъ говорилъ, что въ общественномъ смыслѣ, какъ знаменіе времени, значеніе „червонныхъ валетовъ“ — неважное!

— И все-таки! Конечно, въ громадномъ процессѣ отиатія и исчезновения, охватившемъ вся и все, роль этихъ молодыхъ людей второстепенная и эпизодическая, но не забудь, что большая часть ихъ еще очень недавно называла себя „питомцами славы“, „дѣтьми Москвы“ и другими звонкими именами, какія нынче даже и адвокату на языкъ не вдругъ взбредутъ. Вѣдь это тоже чего-нибудь да стоитъ! Такъ вотъ ты и займись ими, пока Левушка Колѣнцовъ будетъ „портфель“ и „балансъ“ отыскивать. А о прочемъ не тужи и, главное, не копи денегъ, потому что Сидоръ Кондратьичъ, коли захочетъ — все равно отниметъ!

Я рѣшился послѣдовать совѣту Глумова. Хотя я и увѣренъ, что все идетъ къ лучшему въ лучшемъ изъ міровъ, и что не только „портфель“ съ „балансомъ“, но современемъ даже и „стыдъ“ будетъ отысканъ (недаромъ Глумовъ говоритъ: „стыдъ — это главное! покуда „стыда“ не будетъ — ничего не будетъ!“), но въ ожиданіи этихъ благъ время все-таки проводить надо. Такъ я и поступаю. Сегодня — окриляюсь надеждами; завтра — увядаю. Одинъ день читаю въ газетахъ „усилія г. Колѣнцова повидимому близки къ осуществленію, и есть надежда, что не только портфель будетъ отысканъ, но и балансъ подведенъ“. А на другой день въ тѣхъ же газетахъ читаю: „съ появленіемъ на сцену новыхъ дѣйствующихъ лицъ, гг. Бритнева и Юханцева, надежды г. Колѣнцова разсѣялись какъ дымъ. Портфель вновь исчезъ, и на этотъ разъ, кажется, безвозвратно...

А время между тѣмъ идетъ да идетъ. И всѣ, слава Богу, живы.

## Похороны.

Скучно жить на свѣтѣ, господа!  
Гоголь.

Мы уныло шли за траурными дрогами, изрѣдка только перебрасываясь отрывочными замѣчаніями. Быть можетъ, намъ не объ чемъ было бесѣдовать другъ съ другомъ (хотя почти всѣ, составлявшіе печальный кортежъ, были по профессіи литераторы), но, можетъ быть, и самая обстановка, среди которой совершалась погребальная церемонія, располагала къ угрюмой сосредоточенности.

Хоронили Пимена Коршунова, русскаго литератора, не особенно знаменитаго, но и не вовсе безвѣстнаго — такъ, средней руки. Хоронили на счетъ семидесяти-пяти рублей, которые ассигновалъ Литературный Фондъ, предварительно въпрочемъ удостовѣрившись, что покойный пилъ водку только передъ обѣдомъ и „не предаваясь“. Стояло хмурое октябрское утро, но, благодаря наступившимъ морозамъ, на улицахъ было сухо и слегка скользко; низко, почти надъ самыми домами, стояла непроглядная масса сѣрыхъ облаковъ, изъ которыхъ попархивалъ первый снѣжокъ. Близкихъ по крови у



Коршунова не было; изъ близкихъ по духу собралось на похороны четыре-пять сотрудниковъ газеты, въ которой, подъ конецъ жизни, участвовалъ покойный. Эти послѣдніе ближе жались къ гробу, но и ихъ горесть формулировалась какъ-то черезчуръ несложно, словно одна только мысль и представлялась уму: „вотъ и умеръ!“ Вообще весь corteжъ состоялъ изъ пятнадцати-двадцати человекъ, разбившихся по группамъ. Всѣмъ было не по себѣ, всѣ шли понуривши голову, какъ будто каждый думалъ: „вотъ скоро надорвусь и я... да и надъ чѣмъ надорвусь!“ Только какой-то проворный газетчикъ, ликуя подъ впечатлѣніемъ успѣшной розничной продажи, порхалъ отъ группы къ группѣ и тайственно сообщалъ всѣмъ, и хотѣвшимъ, и не хотѣвшимъ слушать: „вчера разошлось двадцать-восемь тысячъ нумеровъ!“

На Театральной улицѣ, противъ дома, гдѣ помѣщается цензурное въ-домство, отслужили литію. Самъ покойный пожелалъ этого, и наканунѣ смерти говорилъ: „пускай хоть по поводу моего переселенія въ лучший міръ совершится сближеніе литературы съ цензурой!“ Во время литіи цензурный сторожъ пронесъ въ ворота ведро алыхъ чернилъ, и кто-то громко безъ предварительной цензуры съострилъ: „вотъ писательская кровь, невинно проліянная!“ Но и эта острота ни въ комъ не вызвала отголоска, и затѣмъ corteжъ убійственно-медленнымъ шагомъ потянулся дальше.

Чувство безконечной отчужденности и наготы овладѣвало всякимъ при взглядѣ на эту бѣдную обстановку. Думалось, что везутъ какого-то отщепенца, до котораго никому изъ „публики“ дѣла нѣтъ (а онъ именно для „публики“ — то и жилъ, и ради „публики“ безвременно зачахъ и сошелъ въ могилу). Да и своихъ не особенно поражала эта потеря, потому что „свои“ ужъ давно освоились съ могилами. Даже больше чѣмъ просто „отщепенство“ тутъ видѣлось: казалось, что только по ошибочному неизреченному благосердію допущена эта бѣдная церемонія, предметомъ которой служила совершенно особенная и притомъ не вполне безопасная человѣческая разновидность, именующая русскимъ писателемъ.

По мѣрѣ того какъ дроги приближались къ мѣсту назначенія (Митрофаніевское кладбище), corteжъ, и безъ того немногочисленный, постепенно рѣдѣлъ. Одни разбрелись по попутнымъ кондитерскимъ и кухмистерскимъ, общавшись „нагнать“ — и не нагнали; другіе окончательно возвратились по домамъ, мотивируя свое отсутствіе спѣшностью предстоящей срочной работы. У Обводнаго канала оказалось на-лицо не больше шести-семи человекъ, которые прежде не догадались, а теперь ужъ совѣстились. Обстоятельство это однакожъ послужило къ оживленію corteжа; оставшіеся скучились, и бесѣда между ними пошла бодрѣе. Но предметомъ этой бесѣды служилъ не Пимень Коршуновъ („онъ умеръ“ — этимъ все было сказано), а то, что наболѣло на душѣ у cadaго, что у всѣхъ на памяти свело въ могилу десятки надорвавшихся людей, что cadaго изъ пережившихъ преслѣдовало по пятамъ, устраниая всякую мысль о возможности освободиться когда-нибудь отъ ига жгучей боли.

О, литература! о, змѣя-мачиха всѣхъ этихъ отщепенцевъ! ты, посылая! ты, напоющая оцтомъ и желчью сердца своихъ дѣятелей! ты, ты была предметомъ ихъ внезапно оживившагося собесѣдованія! Много сѣтованій, много

гнѣва слышалось въ ихъ рѣчахъ, но еще больше безконечной любви къ посылному ремеслу и какой-то дѣтской увѣренности, что все-таки только тутъ, на этомъ тернистомъ пути, кишачемъ всевозможными гадами, можно спасти душу.

Разумѣется, начали со слуховъ, имѣвшихъ ближайшее прикосновеніе къ современности. Какое отношеніе можетъ имѣть эта животрепещущая современность къ литературѣ? чего нужно ждать? будетъ ли лучше? Всѣ эти вопросы какъ-то искони фаталистически тяготѣютъ надъ литературой, а по временамъ врываются въ нее съ особенною назойливостью. Натурально, что они перенеслись и сюда. Кто-то изъ собесѣдующихъ высказался, что лучшія времена недалеко и что въ виду этого требуется только осторожность и терпѣніе; но остальные отнеслись къ этимъ надеждамъ скептически, хотя терпѣть соглашались, потому что „не терпѣть“ — нельзя. Одинъ даже такой выискался, который прямо объявилъ, что надѣяться можно только на розничную продажу, а больше ни на что; что современныя условія литературнаго ремесла таковы, что самое существованіе литературы представляется чѣмъ-то несомѣстнымъ съ здоровыми традиціями о внутреннемъ убѣжденіи: что, вообще, если относительно массы смертныхъ принято говорить: „благо живущимъ“, то въ примѣненіи къ русскимъ писателямъ правильнѣе выразиться такъ: „благо умирающимъ, и еще большее благо — умершимъ“. Высказавши это, онъ указалъ рукой на колебавшійся впереди на дрогахъ гробъ, и это напоминаніе невольно вызвало у нѣкоторыхъ чуть замѣтную дрожь.

— Я не говорю уже о томъ, — продолжалъ расходившійся ораторъ: — что мы терпимъ отъ глада и труса, что мы живемъ чуть не въ засадѣ, но мы не знаемъ даже, для чего и для кого мы пишемъ. Кто насъ слышитъ и что извлекаетъ этотъ слышавшій изъ обращеннаго къ нему слова? Многіе изъ насъ готовы положить душу (да и дѣйствительно полагаютъ ее) „за други своя“, а кто знаетъ объ этомъ? Кто отличить страстнаго литературнаго труженика отъ легковѣсной литературной балаалайки, которая, по случаю распутной подвижности темперамента, готова сватать себя любому проходящему? Кому вдомекъ, что гдѣ-то, въ какой-то лишенной свѣта и воздуха литературной норѣ, ежемгновенно совершается жертвоприношеніе, при которомъ сердце истекаетъ кровью и сгораютъ многострадальная писательская душа подъ бременемъ непосильныхъ болей?

Рѣчь эта несомнѣнно страдала нѣкоторыми риторическими преувеличеніями, но сущность ея была небезосновательна. Стали разыскивать: чтѣ такое русская публика? изъ какихъ элементовъ она составляется? кто эти прекрасные незнакомцы, ради которыхъ русскій писатель волнуется въ своей кокурѣ? Съ какими намѣреніями они подписываются на журналы, покупаютъ книги? чтѣ они вычитываютъ въ этихъ книгахъ? можетъ быть, видятъ въ нихъ только пресловутую „фигу“? а можетъ быть кромѣ „фиги“ и видѣтъ-то нечего?

— Ахъ, господа, господа! — вздохнулъ кто-то, когда дѣло дошло до „фиги“, какъ мѣрила для оцѣнки содержанія русской книги.

Чтѣ современная русская литература небогата силами — это, конечно, не подлежитъ сомнѣнію. Но не въ этой относительной бѣдности скрывается



главная бѣда. Есть нѣчто гнетущее, чтò при самомъ рожденіи кладетъ на русскую мысль своеобразную печать. Литература наша и доднесь представляетъ два совершенно отличные типа: съ одной стороны, недоконченность, невысказанность, боязнь; съ другой стороны — такая ясность, которая равновесильна наглости, доведенной до разврата. Очевидно, въ воздухѣ носится еще крѣпостное право. Оно провело заповѣдную черту, подѣ которой похоронило громадное количество явленій и закупило наглухо цѣлыя міриады существованій, которыя бьются гдѣ-то на днѣ, тщетно усиливаясь выйти на божій свѣтъ. И оно же вызвало и пригрѣло безчисленное множество литературныхъ паразитовъ, которые съ изумительнымъ легкомысліемъ вливаютъ ядъ распутства въ русскій жизненный обиходъ.

Да, крѣпостное право упразднено, но еще не сказало своего послѣдняго слова. Это цѣлый громадный строй, который слишкомъ жизненъ, непроницающъ и силенъ, чтобъ исчезнуть по первому манію. Обыкновенно, говоря объ немъ, разумѣютъ только отношенія помѣщиковъ къ бывшимъ крѣпостнымъ людямъ, но тутъ только одна капля его. Эта капля слишкомъ специфически пахла, а потому и приковала исключительно къ себѣ вниманіе всѣхъ. Капля устранена, а крѣпостное право осталось. Оно разлилось въ воздухѣ, освѣтило нравы; оно изобрѣло пути, связывающія мысль, поразило умы и сердца дряблостью. Наконецъ, оно же вызвало цѣлую орду прихлебателей-хищниковъ, которыхъ дѣятельность такъ блестяще выразилась въ безчисленныхъ воровствахъ, банкротствахъ и всякаго рода распутствахъ.

Само начальство изнемогаетъ подѣ бременемъ борьбы съ этимъ недугомъ. Возьмемъ для примѣра хоть литературу: кажется, ей дана самая широкая свобода, а между тѣмъ она бьется и чувствуетъ себя точно въ капканѣ. Во всѣхъ странахъ, гдѣ существуетъ точь-въ-точь такая же свобода — вездѣ литература процвѣтаетъ. А у насъ? У насъ мысль, несомнѣнно умѣренная, на которую въ цѣлой Европѣ смотрятъ какъ на что-то обиходное, заурядное — у насъ эта самая мысль коломъ застряла въ головѣ писателя. Писатель не знаетъ, въ какія чернила обмакнуть перо, чтобъ выразить ее, не знаетъ, въ какія ризы ее одѣть, чтобъ она не вышла ужъ черезчуръ доступною. Кутаетъ-кутаетъ, обматываетъ всевозможными околичностями и аллегоріями, и только выполнивъ весь, такъ сказать, сложный маскарадный обрядъ, вздохнетъ свободно и возмолвить: „слава Богу! теперь, кажется, никто не замѣтитъ!“

Никто не замѣтитъ? а публика? и она тоже не замѣтитъ? Ужели есть на свѣтѣ обида болѣе кровная, нежели это нескончаемое езопство, до того вошедшее въ обиходъ, что нерѣдко самъ езопствующій перестаетъ сознавать себя Езопомъ.

Дойдя до этого заключенія, всѣ отдали полную справедливость либеральнымъ намѣреніямъ начальства. Не начальство стѣсняетъ — оно, напротивъ, само неустанно хлопочетъ — стѣсняетъ сама жизнь, пропитанная интригами крѣпостного права. Чтò можетъ начальство противу разнообразныхъ и всемогущихъ вліяній, которыя, подобно безчисленнымъ электрическимъ токамъ, со всѣхъ сторонъ устремляются къ одному центру — литературѣ? чтò можетъ оно, въ виду, громовъ, готовыхъ разразиться каждоминутно и невѣдомо по какому поводу? чтò можетъ оно, наконецъ, въ виду того литера-

туринаго распутства, которое ревниво комментируетъ мысль противника, а по временамъ не откажется и прилгать!

Вотъ почему покойный Коршуновъ никогда не ропталъ на литературное начальство, хотя, какъ человѣкъ грѣшный, иногда и любилъ ввести его въ заблужденіе.

— Поддержать, братъ, насъ некому — вотъ въ чемъ бѣда! — сколько разъ говаривалъ онъ мнѣ: — читатель у насъ какой-то совсѣмъ особенный, словно непомнящій родства: ни любовь его, ни негодованіе — ничто въ грошъ не ставится!

Когда я напоминалъ объ этихъ словахъ покойнаго, то всѣ опять принялись разыскивать, изъ какихъ элементовъ состоитъ русская читающая публика. Перечисляли, перечисляли (выходило какъ-то удивительно разншерстно по внутреннему содержанію и однообразно по костюму), и въ концѣ концовъ опустили руки. Въ заключеніе рьяный ораторъ, который такъ краснорѣчиво говорилъ о писательскихъ жертвоприношеніяхъ, какимъ-то болѣзненно-надорваннымъ голосомъ крикнулъ:

— Читатель! русскій читатель! защити!

Но возгласъ этотъ потерялся въ шумъ деревьевъ, охраняющихъ Митрофаніевское кладбище.

Мы были у цѣли. Церковь была полна народа и гробовъ. Гробы были почти сплошь бѣдные, — только одна усопшая раба божія Пулхерія, 1-ой гильдіи купчиха, смиренно возвышалась на катафалкѣ, противъ самаго алтаря, въ богато изукрашенной домовинѣ. По ея поводу за обѣдней пѣли „хорошіе“ пѣвчіе, и, благодаря этому обстоятельству, и Пименъ воспользовался сладкогласнымъ пѣніемъ. Мы скромно поставили нашего друга поодаль и терпѣливо ожидали очереди. Нашелся добрый батюшка изъ недавно кончившихъ курсъ, который посвятилъ себя умершему литератору, и сказалъ по поводу этой смерти, увѣчавшей отверженное существованіе, отличнѣйшее, полное глубокаго состраданія слово. О, Пименъ! еслибы ты могъ изъ своей домовины слышать эти простыя, полныя любви слова, ты навѣрное, по великой своей скромности, воскликнулъ бы: „батюшка! я человѣкъ маленькій, и, право, рисковать изъ-за меня“...

Наконецъ, мимо насъ пронесли съ парадомъ усопшую 1-ой гильдіи купчиху Пулхерію, и церковь мало-по-малу начала пустѣть. Вынесли и мы своего покойника, шли довольно долго между рядами памятниковъ и рѣшетокъ, и, наконецъ, нашли уголокъ, въ которомъ готова была свѣжая могила. Черезъ полчаса все было кончено.

Съ кладбища мы зашли-было въ одну изъ ближайшихъ кухмистерскихъ, гдѣ обыкновенно устраиваются поминальныя торжества, но минутъ съ пять потолкались передъ буфетомъ, поглазѣли на собравшуюся публику, и, не совершивъ возліянія, разбрелись по домамъ.

---

Я зналъ Коршунова довольно хорошо. Это былъ человѣкъ всецѣло литературный, жившій одною жизнью съ русской литературой, не знавшій никакихъ интересовъ, кромѣ интересовъ литературы, не вкусившій ни одной



радости, которая не имѣла бы источникомъ литературу. Онъ съ жадностью слѣдилъ за всѣми подробностями литературнаго движенія, за всякой литературной полемикой; онъ ничего не зналъ, ни съ чѣмъ не хотѣлъ имѣть общенія, кромѣ литературы. Нынѣ этотъ типъ мало-по-малу исчезаетъ, но еще въ недавнее время такихъ людей встрѣчалось достаточно. Я не могу сказать навѣрно, насколько цѣнны и существенны были интересы, ихъ волновавшіе, но навѣрно знаю, что, только благодаря ихъ горячей преданности, ихъ беззащитной, неподдавшейся никакимъ невгодамъ любви, ихъ самоотверженному долготерпѣнію, русская литература не прекращала своего существованія.

Эти люди на весь міръ смотрѣли лишь постольку, поскольку онъ представлялъ матеріалъ для литературнаго воздѣйствія. Многіе, даже въ то глухое время, надъ этимъ посмѣивались. Говорили: „Вы все съ вашими мизерными литературными интересиками носитесь. Ну, чтѣ такое ваша литературная безсильная стряпня въ сравненіи съ плавнымъ и неусыпающимъ движеніемъ административнаго механизма! Вотъ гдѣ истинный центръ жизни, вотъ гдѣ настоящее жизненное творчество! А задача литературы — забавлять и безвреднымъ образомъ занимать досуги читателей“.

Въ то время такого рода приговоры считались безапелляционными. Въ любомъ указѣ губернскаго правленія предполагалось больше творческой силы, нежели, напримѣръ, въ произведеніяхъ Гоголя. И точно: указъ губернскаго правленія объявлялъ о рекрутскомъ наборѣ, напоминалъ о своевременномъ вносѣ податей, предписывалъ о пополненіи продовольственныхъ запасовъ, предупреждалъ, угрожалъ, понуждалъ. Словомъ сказать, и прямо, и косвенно врѣзывался въ жизнь множества людей: однимъ давалъ возможность тучнѣть, другихъ заставлялъ вытягиваться въ струнку. Напротивъ того, дѣйствіе повѣсти Гоголя, относительно большинства читателей, ограничивалось только взрывомъ хохота, и только въ рѣдкихъ случаяхъ производило что-то похожее на отрезвленіе. Но для того, чтобъ оцѣнить это отрезвленіе, надобно было самому быть уже достаточно трезвымъ.

Коршуновъ и подобные ему очень хорошо понимали, какая область имъ отмежевана. Они нимало не обижались мнѣніями о ничтожествѣ литературныхъ „интересешковъ“, въ сравненіи съ величественнымъ воздѣйствіемъ административнаго механизма, а просто приняли ихъ къ свѣдѣнію. Но за то они ушли въ раковину и уже упорно не выходили изъ нея. Однажды убѣдившись, что жизнь есть администрація, они относились къ ней отчасти робко, отчасти какъ къ чему-то фантастическому, заповѣдному и неподдающемуся анализу. Сонное видѣніе, которое подчасъ могло воплотиться и ушибить — вотъ въ чемъ заключалось представленіе о жизни въ понятіяхъ тогдашнихъ литературныхъ пустынножителей.

Все существованіе литературнаго подвижника проходило въ эти отчужденности, посреди которой душа человѣческая не знала иного идола, кромѣ литературнаго „дѣланія“. Всѣ жизненные силы и привязанности были сосредоточены тутъ, а остальной міръ близкихъ по крови и воспитанію, представлялся какъ бы безсодержательною формою, которая напоминала о себѣ лишь въ качествѣ докучнаго спутника, навязаннаго слѣпою судьбой. Но эти не

особенно блестящіе труженики были люди свободные духомъ и вполне чистые сердцемъ, въ которыхъ литература нуждалась едва-ли не больше, нежели въ личностяхъ, бьющихъ въ глаза своею блестящею одаренностью. Повторяю: если бы ихъ не было, литература перестала бы существовать. Они имѣли безповоротныя привязанности и безповоротныя вражды; они и любили, и ненавидѣли одинаково беззаветно и страстно. Тогдашняя литература какъ-то сама собой подѣлилась на два лагеря; причемъ не допускалось ни смѣшеній, ни компромиссовъ, ни эклектизма. Говорятъ, что это было односторонне; но лучше ли было бы, если бы существовала разносторонность — въ этомъ позволительно усомниться. По крайней мѣрѣ довольно странно представить себѣ Бѣлинскаго, отъ времени до времени понюхивающаго съ Булгаринымъ табачокъ. Во всякомъ случаѣ, если это и была односторонность, то она спасала литературу отъ податливости. Ежели и въ наши дни тяготяніе къ дому терпимости составляетъ, по мнѣнію нѣкоторыхъ, язву, которая подтачиваетъ лучшія основанія литературной профессіи, то можно себѣ представить, чтѣ было бы, если бы это тяготяніе существовало — тогда?

Къ счастью, тогда была замкнутость — явленіе, конечно, не особенно плодотворное, но охранявшее литературный декорумъ и положившее начало нѣкоторымъ литературнымъ преданіямъ, на которыя не безъ пользы можно ссылаться и нынѣ. Право, не безъ пользы.

Коршуновъ пробавлялся почти исключительно рецензіями. Да болѣе любезнаго сердцу дѣла и подыскать было невозможно, потому что въ то время въ отдѣлѣ критики и библіографіи сосредоточивалась вся жизнь литературы. Пименъ не былъ „критикомъ“, но рецензентъ изъ него вышелъ отличный: цѣпкій, обладавшій фразой и умѣвшій прятать концы въ воду. Тогдашнія рецензіи были своего рода руководящія статьи, имѣвшія предметомъ не столько разбираемую книгу, сколько высказъ по ея поводу совершенно самостоятельныхъ мыслей. Краткость не была въ числѣ достоинствъ этихъ статей, но за то въ нихъ всегда что-нибудь „проводилось“. Разумѣется, очень часто (даже болѣе чѣмъ часто) проводимое, благодаря безчисленнымъ покровамъ, подъ которыми оно скрывалось, было понятно только членамъ „кружка“, но — случайно — оно могло проникнуть и далѣе. Я заранѣе соглашаюсь, что теперь ни на одну изъ этихъ статей никто не сошлется, что имъ суждено покоиться безмятежнымъ сномъ въ тѣхъ толстыхъ томахъ, гдѣ онѣ увидѣли свѣтъ; но иногда все-таки сдается, что не безслѣдны онѣ были. Въ свое время нѣкто надо ними задумывался; въ свое время онѣ производили въ человѣческихъ душахъ извѣстное наслоеніе, и притомъ періодически и все въ одну и ту же сторону. Что нынче онѣ совсѣмъ, совсѣмъ не нужны — это безспорно, но тогда...

Не надо забывать, что тогда совсѣмъ другое было. Движенія имѣли меньше простора, но за-то они были, такъ сказать, по-неволѣ приурочены, такъ что область ангельская рѣзко отличалась отъ области аггельской. Журналовъ и книгъ было меньше, но между ними не было межеумковъ, которые сегодня кажутъ кукишъ въ карманѣ, а завтра рабобѣдствуютъ. И хоть я не буду утверждать это навѣрное, но кажется, что и читатель мало-по-малу



узнать, въ чемъ заключается секретъ тѣхъ безконечныхъ баснословій, которыми отличалась литература того времени.

Нѣчего и говорить, что Коршуновъ былъ бѣденъ какъ Ирѣ. Тогдашній журнальный гонораръ очень мало походилъ на нынѣшній, да сверхъ того и самое поле литературной дѣятельности было до крайности ограничено. Трапеза, предлагаемая однимъ или двумя органами печати (изъ наиболѣе распространенныхъ, потому что прочіе сами едва дышали), была слишкомъ скудна, чтобъ напитать всѣхъ желающихъ. Поэтому тѣ, которые почерпали средства къ жизни только въ литературномъ ремеслѣ, положительно бѣдствовали. Коршуновъ былъ бѣденъ и тощъ отъ недостаточнаго и худого питанія, но онъ не только не жаловался на это, а просто, кажется, забывалъ, что существуетъ впроголодь. Его волновало совсѣмъ другое: невозможность высказаться.

Цензура того времени была строгая и притомъ разнообразная, разбросанная по всевозможнымъ вѣдомствамъ. Я не говорю, чтобъ цензорѣ были люди жестокіе, но они сами постоянно находились какъ бы на скамьѣ подсудимыхъ, потому что въ ихъ сторону отовсюду направлены были стрѣлы. Ежели прибавить къ этому, что влѣдствіе такой разбросанности цензуры всякій (даже не цензоръ по профессіи) вычеркивалъ изъ корректуры или изъ рукописи все, чтѣ ему лично приходилось не по вкусу, то ясно будетъ, какъ мудрено было проскользнуть.

Пишущая братія это знала, и потому всякій замахивался какъ можно шире, въ предвидѣніи, что ежели три четверти и будетъ выброшено, то все-таки хоть что-нибудь возвратится петронутымъ. Даже Булгаринъ не пренебрегалъ этимъ приѣмомъ, потому что и въ отношеніи къ нему цензура была пелицепріятна. Конечно, никто не считалъ его „разбойникомъ пера“, но такъ какъ и онъ могъ провраться, то, слѣдовательно, и изъ-за него могла выйти „исторія“. Сверхъ того, онъ былъ бѣльмомъ на глазу, потому что подписывалъ писателей противоположнаго лагеря, и стало-быть въ то же время подписывалъ и цензуру, яко виновную въ слабомъ смотрѣніи. Цензоръ Крыловъ всѣмъ безразлично говорилъ: „я никакъ не желаю, чтобъ мнѣ изъ-за васъ лобъ забрили!“ Это было очень похоже на шутку; но какая ужасная шутка! Когда Мусинъ-Пушкинъ былъ назначенъ попечителемъ учебнаго округа, то многіе цензорѣ содрогались при одномъ напомниманіи объ немъ и зачеркивали всегда двѣ-три строки лишнихъ. Они усиливались попасть ему въ мысль, но вмѣсто того часто попадали на гауптвахту, откуда, какъ извѣстно, недалеко и до рекрутскаго присутствія. Это былъ тотъ самый Мусинъ-Пушкинъ, которому нѣкогда профессоръ Горловъ посвятилъ свой курсъ политической экономіи, и въ посвященіи упомянулъ о всѣхъ чинахъ, должностяхъ, званіяхъ и орденахъ своего патрона. Вышла почти цѣлая страница, и я помню, что въ школѣ мы эту страницу пѣвали хоромъ на мотивъ „Вѣрую во единого“. Вотъ какой это былъ строгій человѣкъ, что даже несомнѣнно либеральный партизанъ принципа *laissez passer, laissez faire* — и тотъ, какъ могъ, ублажалъ его. Чтѣ же мудренаго, если корректура возвращалась къ автору не только изъязвленная и вся облитая красными чернилами, какъ кровью, но и доведенная почти до степени бормотанія. Въ тогдашнее время эти цензурныя проказы назывались „окошками въ Европу“.

Вотъ въ какомъ щекотливомъ положеніи находилась литература и какую изумительную школу обизывались пройти ея служители! Нынче все это замѣнено предостереженіями и арестомъ книгъ и журналовъ, что, конечно, несравненно удобнѣе.

И вотъ, все, что не могло прорваться въ печать, высказывалось въ интимныхъ собесѣдованіяхъ, имѣвшихъ чисто кружковый характеръ. Замкнутость и общія невзгоды удивительно какъ сближали людей. На эти бѣдныя и скудные вечера такъ и тянуло. И несмотря на то, что почва для собесѣдованій имѣла характеръ чисто-отвлеченный, и что, благодаря общему единомыслію, критики почти не существовало — все-таки скуки не чувствовалось. Участники расходились съ этихъ вечеровъ поздно, восторженные, полные ежелью не намѣреній, то какой-то сладчайшей музыки. И будочники (городовыхъ тогда не было) не только не хватали ихъ, но добродушно улыбались, словно понимали, что эти люди совсѣмъ занапрасно терпятъ муку мученскую отъ своего начальства, которое, въ свою очередь, такую же муку мученскую терпитъ отъ своего начальства (это была цѣлая лѣстница). Да, тогдашніе будочники ничего не знали ни о подрываніи авторитетовъ, ни о потрясаніи основъ, о чемъ нынче всякій полчаса безъ малѣйшаго затрудненія на бобахъ разведетъ.

О, будочники и всѣхъ сортовъ квартальные добраго стараго времени! да оскудѣтъ рука моя, если она напишетъ недоброе слово объ васъ! Миръ и благоволеніе да почіютъ надъ могилами вашими, если вы ужъ достигли пристани, и да удеситерится вашъ пенсіонъ, если вы еще продолжаете пользоваться таковымъ!

Какъ бы то ни было, но Коршуновъ существовалъ. Три четверти этого существованія были поглощены вопросомъ: пройдетъ или не пройдетъ? остальную четверть наполнялъ отвѣтъ: нѣтъ, не пройдетъ. Но иногда случалось нѣчто чудесное: прошло! совсѣмъ прошло! Это была радость; это были тѣ рѣдкіе солнечные, теплые дни, которые по временамъ прорываются и среди сумерекъ туманной петербургской осени.

Да, бывали сладкія минуты, доставляемые и цензурою; но нужно было пройти сквозь цѣлый искусь горчайшихъ испытаній, чтобъ оцѣнить эту случайную минутную сладость. Нынѣшняя печать не знаетъ такихъ минутъ, потому что она свободна.

Наконецъ наступила эпоха возрожденія. Радовались всѣ, а литература — по преимуществу. Изъ сферъ отвлеченныхъ, заоблачныхъ, она сходила на арену дѣйствительности, дѣлалась участницей жизненнаго праздника, будила общество, ставила вопросы и блюла за ихъ рѣшеніемъ. Да, блюла, и даже дѣлала выговоры и замѣчанія. Отовеюду неслись сочувственные отголоски и присылались корреспонденціи, спѣшившія довести до свѣдѣнія блюстителей возрожденія, что

. . . . . лѣсъ проснулся,  
Весь проснулся, вѣткой каждой,  
Каждой птицей встрепенулся,  
И весенней лолонь жаждой..



Литература гордилась этимъ пробужденіемъ, записывала на скрижаляхъ своихъ его признаки и приписывала себѣ инициативу его. Цензура, съ своей стороны, тоже не препятствовала общему веселію, хотя въ государственномъ бюджетѣ по прежнему назначалась соответствующая сумма на заготовленіе красныхъ чернилъ и карандашей. Въ концѣ концовъ веселье до того обострилось, что въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ г. Валентинъ Коршъ объявилъ прямо: „живемъ хорошо, а ожидаемъ—лучше“, и съ этимъ девизомъ переѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ и приступилъ къ редактированію „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“.

Пименъ не то чтобъ порицалъ общее ликованіе, а какъ бы держался въ сторонѣ отъ него. Это многимъ казалось страннымъ, а между прочимъ и мнѣ.

— Помилуй, голубчикъ, — говорилъ я ему: — какъ же ты не раздѣляешь общей радости! Сравни недавнее положеніе русской литературы съ теперешнею почти свободой ея — и ты, конечно, сознаешься, что это ужъ не фантазматорія, а фактъ. Во-первыхъ, литература не имѣетъ надобности прибѣгать къ езоповскимъ аллегоріямъ, а можетъ говорить яснымъ и выразительнымъ языкомъ. Во-вторыхъ, она смѣло вкладываетъ пальцы въ родныя язвы и, не выжидая начальственныхъ по сему предмету мѣропріятій, сама предлагаетъ средства къ врачеванію. Въ-третьихъ, она не только не трепещетъ передъ начальствомъ, но прямо сознаетъ себя силой, съ которой нельзя не считаться... Ужели это не побѣда?

На это онъ отвѣчалъ мнѣ не то уныло, не то загадочно:

— Такъ-то такъ, и я, конечно, вмѣстѣ съ прочими, очень признателенъ начальству за его благосклонную къ литературѣ снисходительность; но, признаюсь, одно обстоятельство тревожитъ меня.

— Чтò же тутъ можетъ тревожить?

— Боюсь я: гаду много въ литературѣ заведется. До сихъ поръ русскіе писатели держались особнякомъ; а если кто изъ нихъ и чувствовалъ въ себѣ поползновеніе къ податливости, то или совѣстился высказываться, или же понималъ, что въ результатѣ этой податливости можетъ быть только грошъ, такъ что, собственно говоря, и компрометировать себя не изъ чего. А теперь съ этой „практической ареной“ — смотри какая скачка съ препятствіями пойдетъ! Изъ всѣхъ щелей бойцы выльзутъ, и всякій непременно будетъ добиваться, чтобъ ему дали возможность товаръ лицомъ показать. Ну, и насрамятъ.

Прежде всего это было несправедливо и даже какъ будто своекорыстно. Гадливость, высказанная Коршуновымъ относительно бойцовъ, выползающихъ изъ щелей, показалась мнѣ до того неожиданной, что въ головѣ моей невольно мелькнула мысль: ужъ не стоитъ ли онъ на стражѣ литературнаго единоторжія? Но не успѣлъ я надлежащимъ образомъ формулировать мой вопросъ, какъ онъ, Пименъ, уже угадалъ его.

— Нѣтъ, я не объ этомъ, — сказалъ онъ совершенно наивно: — я не за кусокъ свой боюсь — Христось съ ними, пускай конкурируютъ! — а за литературу. Право, за литературу!

— Но гдѣ же факты? — воскликнулъ я: — что даетъ поводъ сомнѣваться въ будущемъ нашей литературы?

— И фактами похвалиться не могу — времени для фактовъ еще мало, но имѣю предвидѣніе... Я вижу людей, лица которыхъ должны были бы потускнѣть, а между тѣмъ они сіяютъ. Но мало того, что эти господа не чувствуютъ себя сконфуженными — они, напротивъ, забѣгаютъ впередъ и объ томъ только и думаютъ, какъ бы повычурнѣе лягнуть то, передъ чѣмъ они еще вчера, у всѣхъ на глазахъ, раболѣпствовали. Развѣ это не страшно?

Въ виду подобныхъ предвидѣній споръ, очевидно, утрачивалъ всякую реальную почву, и поэтому возражать было бесполезно. Но, кромѣ того, оставался и еще вопросъ, который въ высшей степени тревожилъ меня: что же онъ, Пименъ, предполагаетъ дѣлать съ собой?

— Неужели же ты бросишь литературу? — спросилъ я.

— Нѣтъ, не брошу, — отвѣтилъ онъ: — во-первыхъ, дѣваться мнѣ нѣкуда; во-вторыхъ чѣмъ же я лучше другихъ? а въ-третьихъ, и новость дѣла меня не страшитъ: стѣбитъ только привыкнуть да изловчиться — и все пойдетъ какъ по маслу. Вѣдь всѣ эти такъ-называемые „жизненные вопросы“ таковы, что, право, любая курица можетъ объ нихъ написать съ три короба руководящихъ статей.

— Да, но вѣдь и статьи въ такомъ случаѣ будутъ куриныя?

— А ты думалъ, что теперь потребуются статьи орлиныя?

Какъ ни странны были эти отвѣты, но они меня успокоили, потому что въ нихъ проглядывала покорность судьбѣ. Надо сказать при этомъ, что въ началѣ эпохи возрожденія Пименъ участвовалъ въ одномъ толстомъ журналѣ, но вскорѣ какъ-то такъ случилось, что журналъ прекратилъ существованіе, и вслѣдствіе этого представилась такая дилемма: или класть зубы на полку, или вступить на арену „живыхъ вопросовъ“. Къ счастью, какъ разъ ксати, въ это самое время нашъ общій другъ, Менандръ Прелестновъ, затѣялъ въ Петербургѣ новую газету и устроилъ при ней Пимена въ качествѣ передовика. Первые шаги Коршунова на этомъ новомъ поприщѣ были, конечно, довольно робки и нерѣшительны, но мало-по-малу онъ сталъ поправляться, поправляться — и черезъ мѣсяцъ такъ изловчился, что уже не оставалось желать ничего лучшаго. Однако, странное дѣло, всякій разъ, когда я принимался за чтеніе Коршуновскихъ статей, меня почему-то такъ и обдавало какимъ-то специфическимъ куринымъ запахомъ...

Тѣмъ не менѣе, несмотря ни на возрожденіе, ни на куриный запахъ статей, Пименъ все-таки не утратилъ старой привычки трепетать. Я помню, однажды онъ принесъ мнѣ статью, смыслъ которой заключался въ томъ, что ежели будочникъ накрылъ вора на мѣстѣ преступленія, и не настолько физически силенъ, чтобы однолично стащить его въ кварталъ, то всякій мимоидущій обыватель немедленно обязывается оказать ему содѣйствіе. Статья была написана горячо, убѣжденно и даже нѣсколько назойливо, то-есть совсѣмъ такъ, какъ приличествуетъ страстно хлохчущей курицѣ. Положеніе слабосильнаго будочника, въ виду грозящей обществу опасности, было избражено такимъ перекатымъ бурмицкимъ слогомъ (*style perlé*), какимъ умѣютъ писать только могиканы сороковыхъ годовъ; напротивъ того, обязан-



ность мимоидущаго обывателя была обрисована кратко и отрывисто, штрихами рѣзкими, почти приказательными. Однимъ словомъ, такъ эта статейка была хороша, умѣстна и благовременна, что я тутъ же не преминулъ поздравить Пимена съ успѣхомъ.

И вдругъ онъ меня поразилъ.

— Хорошо-то хорошо, — сказалъ онъ: — я самъ понимаю, что по нашему мѣсту лучше не надо. Да вотъ въ чемъ штука: пройдетъ, или не пройдетъ?

— Помилуй, любезный другъ! — разгорячился я: — да какое же, наконецъ, имѣешь ты право сомнѣваться въ этомъ! Могу удостовѣрить тебя, что не только пройдетъ, но даже, если позволительно такъ выразиться, пройдетъ *съ удовольствіемъ!*

— А помнишь, Булгаринъ говаривалъ: о дѣйствіяхъ и намѣреніяхъ начальства не слѣдуетъ отзываться не только въ смыслѣ порицанія, *но ниже въ смыслъ похвалы*. Стало быть, содѣйствіе слабосильному будочнику... Но позволю! прежде всего отвѣтъ мнѣ на вопросъ: имѣемъ ли мы право публично заявлять, что бываютъ слабосильные будочники?

— Почему же не заявить?

— Потому что это хотя и отдаленное, но тѣмъ не менѣе все-таки несомнѣнное порицаніе. Кто опредѣлилъ будочника? — квартальный! Кто опредѣлилъ квартальнаго? — частный приставъ! А затѣмъ и пошло, и пошло, Вспомни-ка, какъ объ этомъ въ Булгаринѣ пишется?

— Тѣ Булгаринъ, а теперь...

— Нѣтъ, мой другъ, въ сущности, Булгаринъ отлично понималъ, въ чемъ тутъ суть. Ни порицанія, ни похвалы — вотъ истинный принципъ во всей чистотѣ. Потому что гдѣ есть похвала, тамъ есть ужъ разсужденіе, а гдѣ разсужденіе — тамъ корень зла. Отъ разсужденія недалеко до анализа, отъ анализа — до порицанія. А потомъ пойдутъ несвоевременныя притязанія, подрыванія, потрясанія... Нашему брату-публицисту нужно азбуку-то эту назустъ знать!

— Какія однакожъ у тебя допотопныя теоріи! Разумѣется, осторожность никогда не лишняя, но не слишкомъ ли ужъ ты пересолилъ, голубчикъ? Вспомни, что теперь совсѣмъ другое время, что теперь всякое благонамѣренное указаніе, особливо ежели оно сдѣлано благовременно...

Однако, какъ я ни старался разувѣрить его, онъ такъ-таки и остался при своемъ: пройдетъ или не пройдетъ?

Разумѣется, прошло.

Вообще статьи его не только проходили, но и производили впечатлѣніе, такъ что одинъ статскій совѣтникъ искалъ даже случая познакомиться съ нимъ. Пимекъ самъ рассказывалъ мнѣ объ этомъ замѣчательномъ казусѣ.

— Пришелъ, братецъ, ко мнѣ на квартиру, рекомендуетъ: статскій совѣтникъ Растопыриусъ. „Статьи ваши, говоритъ, превосходны, но чтобъ онѣ окончательно сдѣлались образцовыми, необходимо привести ихъ въ соотвѣстствіе. Нужно, чтобъ вы познакомились съ нѣкоторыми видами и соображеніями, которые поставятъ васъ на настоящую точку. Не сдѣлаете ли вы, говорить, мнѣ честь пожаловать ко мнѣ на чашку чаю?“

Разумѣется, какъ человѣкъ робкій и подверженный начальству, Пимень не осмѣлился ослушаться. Онъ купилъ готовую фрачную пару и пошелъ. Но тутъ произошло нѣчто неслыханное. Когда м-г Растопыріусъ подвелъ его къ м-ше Растопыріусъ, и когда послѣдняя протянула ему ручку, Пимень, вмѣсто того, чтобъ почтительно пожать эту ручку, бросился на хозяйку и обнялъ ее. И затѣмъ тотчасъ же упалъ въ обморокъ. Разумѣется, его немедленно же убрали. На этомъ попытка сближенія съ статскими совѣтниками и кончилась. Мало того: съ этихъ поръ Растопыріусъ даже открыто сталъ называть Пимена неблагонамѣреннымъ.

Но кромѣ вопроса о томъ, пройдетъ или не пройдетъ, было и еще одно слово, которое не сходило у него съ языка.

— Гаду много!—безпрерывно восклицалъ онъ:—гаду! гаду! гаду!

И называлъ по именамъ. Но что всего хуже, я и самъ, по временамъ, становился втуникъ передъ его обличеніями. Дѣйствительно, хотя вполне сформировавшихся, окончательно созрѣвшихъ гадовъ въ то время еще нельзя было указать, но нѣчто намекающее ужъ было. Были, такъ сказать, гады ближайшаго будущаго, заявлявшіе въ настоящемъ только о безконечной податливости. Большинство ихъ копошилось въ газетахъ и, работая изо дня въ день, забывало сегодня, что говорило вчера, и заботилось лишь о томъ, чтобъ выходило бойко и занозисто. По истинѣ, это были совсѣмъ-совсѣмъ легкомысленные люди (но еще не распутные), хотя нѣкоторые изъ нихъ были несомнѣнно талантливы и пользовались извѣстностью.

Признаюсь, этими постоянными напоминаніями о гадахъ Пимень достаточно-таки смущалъ меня, а однажды даже поставилъ въ весьма щекотливое положеніе.

Подобно Пимену, и я, грѣшный человѣкъ, изрѣдка пописывалъ передовыя статейки, но манера у меня была нѣсколько иная. Въ то время какъ Пимень мысленно облеталъ всю Европу и призывалъ во свидѣтельство древнія и новыя законодательства, чтобъ доказать, что будочникъ безъ свистковъ—все равно, что мужикъ безъ портковъ, я ту же мысль проводилъ тонами двумя пониже. Я не прибѣгалъ къ громоздкой обстановкѣ, не блисталъ ученостью, но дѣйствовалъ по преимуществу съ помощью образовъ. Я изображалъ уныніе и безпомощность обывателей, отданныхъ на жертву грабителямъ, живописалъ отчаяніе будочника при видѣ безнаказанно убѣгающаго вора, и этой мрачной картинѣ противопоставалъ другую, болѣе свѣтлую: картину спокойствія обывателей, достигаемаго однимъ введеніемъ свистка. И ежели „серьезныя“ статьи Пимена находили многочисленныхъ сочувственниковъ, то и моя скромная манера имѣла своихъ поклонниковъ. У Пимена былъ статскій совѣтникъ Растопыріусъ (уроженецъ суровой Финляндіи), у меня—статскій совѣтникъ Раскаряка (уроженецъ благословенной Малороссіи), которому, вдобавокъ, уже дано было слово, что къ предстоящей пасхѣ онъ будетъ произведенъ въ дѣйствительные статскіе совѣтники.

И вотъ однажды сидитъ у меня статскій совѣтникъ Раскаряка, и мы мирно бесѣдуемъ. Радуетъ происходящему, а въ будущемъ предаемся сугубой радости. Онъ говорить:

— Но представьте, какія перспективы!



Я отвѣчаю:

— А за этими перспективами еще перспективы! И еще, и еще, и еще! Словомъ сказать, жуируемъ.

Вдругъ вбѣгаетъ Пименъ. Блѣденъ, волосы на головѣ растрепаны, глазныя яблоки вылѣзаютъ изъ орбитъ, ничего не видить... Не видитъ даже статскаго совѣтника Раскаряку, который учтиво всталъ при появленіи его (чутьемъ узнавъ, что вошелъ публицистъ) и застылъ въ позѣ, ясно говорившей о готовности отрекомендоваться.

— Гады! гады! гады! — внѣ себя рычалъ Пименъ, держа себя за голову.

Первая мысль моя была: не прошло!

— Чтѣ такое? чтѣ случилось? — воскликнулъ я, бросаясь къ нему.

— На, читай!

Онъ подаль мнѣ нумеръ только-что начавшей выходить газеты „И шило брѣтъ“. Въ передовой статьѣ шла рѣчь о тѣхъ же самыхъ перспективахъ, о которыхъ мы только-что разговаривали съ статскимъ совѣтникомъ Раскарякою. Выражалось изумленіе передъ безконечностью перспективъ; бросался взглядъ на прошлое и приподнималась завѣса будущаго; ставился вопросъ: выдержать ли наше молодое общество, или не выдержать? Словомъ сказать, всѣ виды и предположенія, сейчасъ проектированные Раскарякою, были изложены почти съ буквальною точностью.

— Чтѣ-жъ тутъ такого... ужаснаго? — изумился я: — не самъ ли ты, не далѣе какъ вчера, въ статьѣ о передачѣ пожарной части въ вѣдѣніе городскихъ думъ...

Но Пименъ ничего не слышалъ и только восклицалъ:

— Ужасно, ужасно! ахъ, это ужасно!

Я привыкъ къ подобнымъ выходкамъ моего друга; но статскій совѣтникъ Раскаряка — не привыкъ. Онъ нѣкоторое время стоялъ въ нерѣшимости, словно прислушивался и соображалъ. И вдругъ онъ позеленѣлъ и какъ-то неприятно заѣрзалъ губами.

— Однако, милостивые государи, въ васъ блохъ-то еще довольно! — процѣдилъ онъ сквозь зубы, и, не подавая мнѣ рукѣ, гордо прослѣдовалъ въ переднюю.

Но чѣмъ же я-то тутъ виноватъ?!

Разумѣется, я не позволилъ себѣ ни одного слова упрека Пимену, но въ глубинѣ души все-таки не могъ не сказать себѣ: такъ-то вотъ мы всегда! Безъ надобности раздражаемъ людей несвоевременными выходками, а послѣ жалуемся, что у насъ „не проходитъ“! А вѣдь отъ жалобъ, какъ извѣстно, одинъ шагъ и до раскаянія...

Къ удивленію моему, я впоследствии узналъ (Коршуновъ самъ признался мнѣ въ этомъ), что точь-въ-точь такія же мысли волновали въ это время и Пимена, и что онъ, немедленно послѣ ухода Раскаряки, уже спохватился и началъ обдумывать на эту тему передовую статью для завтрашняго нумера.

Я съ умысломъ останавливаюсь на этомъ фактѣ, ибо онъ очень назидателенъ. Мы, писатели, вообще слишкомъ легко относимся къ статскимъ совѣтникамъ и подчасъ даже бываемъ склонны подтрунить надъ ними. Мы думаемъ, что статскій совѣтникъ—не важная птица и что отъ нея литературѣ ни тепло, ни холодно. Но, къ сожалѣнію, это мнѣніе заключаетъ въ себѣ самое пагубное самообольщеніе.

Во-первыхъ, нѣтъ въ природѣ субъекта, относительно котораго русскій писатель могъ бы считать себя вполне безопаснымъ. Одни вліяютъ на него непосредственно, подвергая различнымъ непредвидѣностямъ и даже лишая средствъ къ пропитанію; другіе — вліяютъ посредственно, распространяя въ обществѣ слухи, что литература есть вертепъ, въ которомъ безчинствуютъ разбойники пера. Идетъ по улицѣ смѣшной прохожій, а ты, легкомысленный писатель, ужъ и цѣляешься за него! А почему ты знаешь, какую тайну хранить въ себѣ этотъ смѣшной прохожій?!

Во-вторыхъ, что касается специально статскихъ совѣтниковъ, то отнюдь не слѣдуетъ забывать, что каждый изъ нихъ заключаетъ въ себѣ зерно дѣйствительнаго статскаго совѣтника, а дѣйствительный статскій совѣтникъ, въ свою очередь, предполагаетъ въ себѣ зародышъ такого пышнаго цвѣта, одинъ видъ котораго можетъ сразу убить человѣка...

Всѣ эти превращенія нужно предвидѣть, и вмѣсто того, чтобы трунить надъ статскими совѣтниками, гораздо разсчетливѣе ихъ угождать, дабы они, взойдя на высоту величія и славы, вспомнили намъ это. Скажутъ, быть можетъ, что изъ ста статскихъ совѣтниковъ девяносто-девять, навѣрно, такъ и отцвѣтутъ въ этомъ чинѣ—такъ стоитъ ли, дескать, съ ними церемониться? Допустимъ, что и такъ. Но если даже одинъ изъ сотни разовьется какъ слѣдуетъ, то представьте, какое онъ дастъ отъ себя благоуханіе, и какъ это благоуханіе отзовется на литературѣ, смотря по тому, былъ ли расцвѣтшій субъектъ пренебреженъ или угоженъ въ скромномъ чинѣ статскаго совѣтника!

И еще скажу: прежде, нежели приступить къ насмѣшкамъ надъ статскимъ совѣтникомъ, необходимо соразмѣрить свои силы и на всякій случай приготовить приличное отступленіе. Я не порицаю раскаянія, но нахожу, что все-таки лучше вести себя такимъ образомъ, чтобы и раскаиваться было не въ чемъ. Однако мы видимъ, что въ большинствѣ случаевъ (особенно въ газетномъ дѣлѣ) бываетъ совершенно наоборотъ. Иной газетчикъ одинъ разъ сгрубить, въ другой разъ сгрубить, видитъ, что ему сходитъ съ рукъ, а подписка между тѣмъ прибавляется—начнетъ допускать даже прихоти. Все-то ему немило, все не такъ, все надо переимѣнить и даже вверхъ дномъ перевернуть. И вдругъ статскій совѣтникъ начинаетъ когти выпускать. Выпускаетъ-выпускаетъ... хлопъ! Какой, съ Божьею помощью, переворотъ! Въ одно прекрасное утро читатель беретъ въ руки газету, въ надеждѣ, что статскаго совѣтника въ конецъ раскосятъ—и не вѣрять глазамъ своимъ. Оказывается, что въ одну ночь статскій совѣтникъ и выросъ, и похорошѣлъ, и поуменьшѣлъ, и что всѣхъ сомнѣвающихся въ этомъ слѣдуетъ признать людьми неблагонадежными и сокрушить.

Опять-таки повторяю: я и не говорю, что такіе возвраты на путь высокопочитанія неприличны или безсовѣстны. Но спрашивается: зачѣмъ пред-



принимать такіа дѣйствія, въ конечномъ результатѣ которыхъ должна оказаться одна вонь?

Увы! Раскаряка высказалъ горькую истину! Много, ахъ, какъ много водилось за Пименомъ блохъ! Непрерывно его щекоча и покусывая, эти блохи не давали его литературно-публицистическому дарованію развиваться въ томъ благовременномъ направленіи, которое во Франціи извѣстно подъ именемъ оппортунистскаго, а у насъ покуда носить кличку газетнаго легкаго поведенія.

Я знаю впрочемъ, что Пименъ дѣлалъ очень серьезныя усилія, чтобъ быть свободнымъ отъ блохъ. Всю жизнь находясь подъ гнетомъ нужды и зная твердо, что въ легкаго поведенія нѣтъ дѣятельности, онъ затыкалъ себѣ уши, чтобъ не слышать, зажималъ носъ, чтобъ не обонять, и закрывалъ глаза, чтобъ не видѣть. Обезпечивши себя такимъ образомъ, онъ строчилъ довольно свободно и приводилъ въ восторгъ статскаго совѣтника Растопыріуса. Но вдругъ, въ самомъ разгарѣ публицистическихъ затѣй, когда одна перспектива быстро смѣняетъ другую, когда въ нѣкоторомъ отдаленіи уже мелькаетъ чуть не фаланстеръ (были же военныя поселенія!) — его укуситъ „блоха“. Пименъ вскакиваетъ, какъ ужаленный, хватается себя за голову, вопить: „это ужасно! ужасно!“ — и бѣжитъ вонъ изъ дому. И шляется Богъ вѣсть гдѣ (быть можетъ, на томъ самомъ Митрофаніевскомъ кладбищѣ, куда судьба привела его теперь), до тѣхъ поръ, пока „сладкая привычка жить“ не возьметъ верхъ и не загонитъ опять домой за постылый письменный столъ. Тогда онъ опять дѣлался смиренъ, опять начиналъ строчить, и строчилъ до тѣхъ поръ, пока новая „блоха“ не уязвила его...

Такъ и прошла вся эта жизнь...

Правда, что, благодаря усиліямъ, которыя Пименъ постоянно надъ собой дѣлалъ, „блохи“ появлялись, сравнительно, довольно рѣдко; правда и то, что онѣ нигдѣ окрестъ не производили ни малѣйшей пертурбаціи; но въ статскому совѣтнику Раскарякѣ нѣтъ дѣла ни до усилій, ни до пертурбацій; онъ догадывается, что „блохи“ все-таки существуютъ, и говоритъ: „достаточно-таки еще въ васъ блохъ, милостивый государь!“

Я помню какъ Пименъ огорчился, когда нашъ другъ Менандръ Прелестновъ впервые провозгласилъ въ своей газетѣ, что „наше время — не время широкихъ задачъ“ (онъ сдѣлалъ это сгоряча, не предупредивъ Пимена).

— Слушай! читай! нѣ, читай! — восклицалъ Коршуновъ, подавая мнѣ номеръ газеты: — говорилъ я тебѣ, что изъ этихъ „живыхъ вопросовъ“ ничего, кромѣ распутства, не выйдетъ! Куда теперь идти?

Но я уже прежде прочелъ эту статью и, право, не нашелъ въ ней ничего „такого“. Такъ, глупость — надо же объ чемъ-нибудь писать! Поэтому я, насколько могъ, утѣшалъ Пимена.

— Ты преувеличиваешь, мой другъ! — говорилъ я. — Во-первыхъ, Менандръ, открывая вопросъ о непригодности въ наше время „широкихъ задачъ“, этимъ самымъ бросаетъ въ публику такую широкую задачу, надъ разрѣшеніемъ которой закружится не одна голова. Во-вторыхъ, если ты подозреваешь, что Менандръ нарочно пустил фортель, чтобъ „прельстить“, то это

напрасно: онъ просто закидываетъ уду общественному мнѣнію и прочимъ газетчикамъ. Нужны ли широкія задачи или ненужны—это, конечно, бабушка на-двое сказала, но полемика по этому поводу навѣрное возникнетъ и Менандръ будетъ себѣ подѣ снѣю ея „украшать столбцы“. Въ-третьихъ, наконецъ, никто тебѣ не мѣшаетъ въ завтрашнемъ номерѣ написать разъясненіе, какъ слѣдуетъ понимать и т. д.

Но въ горячахъ мои резоны нисколько не утѣшили и не убѣдили его. Признаюсь, теперь, когда я разсуждаю хладнокровно, то понимаю и самъ, что Менандръ дѣйствительно поступилъ неладно. Въ извѣстномъ смыслѣ для него было бы выгодноѣ поставить совсѣмъ противоположный тезисъ, а именно: доказывать, что такъ какъ подробности и мелочи давно всѣмъ опротивѣли, то теперь-то и наступило настоящее время „широкихъ задачъ“. Навѣрное „украшеніе столбцовъ“ было бы достигнуто этимъ путемъ гораздо существеннѣе...

— И отъ кого вышла эта распутная фраза!—волновался Пимень:—отъ Менандра, котораго я считалъ послѣднимъ изъ Могикановъ именно по части широкихъ задачъ („style perlé“—почему-то мелькнуло у меня въ головѣ)! отъ Менандра который зналъ лучшія времена русской литературы! отъ Менандра, котораго всѣ обвиняли въ излишней щепетильности и даже брезгливости! Отъ Менандра, который... нѣтъ, это все онъ, все Гамбетта! Повѣрь, что лавры оппортуниста Гамбетты не даютъ Менандру спать.

Высказавшись такимъ образомъ и не внимая никакимъ убѣжденіямъ, онъ схватилъ шапку и убѣжалъ. Но все-таки, хоть частью, онъ послѣдовалъ-таки моимъ внушеніямъ, потому что на другой день я уже читалъ въ газетѣ „разъяснительную“ статью. Растолковывалось, что вчерашнее предостереженіе имѣло въ виду не тѣ широкія задачи, которыя, дѣйствуя благотворно на умственный уровень общества, тѣмъ самымъ полагаютъ начало полному развитію новыхъ и уже разрѣшенныхъ формъ жизни, но тѣ, которыя, имѣя лишь видъ „широкихъ задачъ“, какъ волкъ въ овчарню, проникаютъ въ публику съ цѣлью произвести въ ней замѣшательство. Статья принадлежала перу Пимена—и тоже... прошла! И что всего замѣчательнѣе—Менандръ сдѣлалъ къ этой статьѣ примѣчаніе, гласившее такъ: „Мы и сами именно такъ и разумѣли наши вчерашнія слова, какъ понимаетъ ихъ нашъ почтенный сотрудникъ. *Ред.*“

Долгое время послѣ того Пимень не казалъ ко мнѣ глазъ: совѣстился. Но вотъ въ одно прекрасное утро онъ прибѣжалъ ко мнѣ свѣтлый и радостный.

— Не прошло!

— Не можетъ быть!

— Не прошло и баста! не прошло! не прошло! не прошло!

— Да Расскажи толкомъ, чтѣ такое случилось?

— Не прошло—вотъ и все! А какую, братецъ, я штуку написалъ! Вѣдь я... ну, просто самъ Растопыріусъ навѣрняка простилъ бы меня за невѣжество, совершенное надъ его женой, и опять пригласилъ бы на чашку чаю! Да, есть Провидѣніе, есть! Рече безумецъ въ сердцѣ своемъ: нѣсть! анъ оно—вотъ оно! Спасибо, спасибо, спасибо старикамъ! прихлопнули! Фу ты!

— Не ежели ты самъ сознаешь, что написалъ „штуку“—зачѣмъ ты ее писалъ?



— Не могу! не понимаю! Газета, братецъ — это дьявольское навожде-  
ніе какое-то! Такъ тебя и тянетъ въ омутъ, такъ и понизываетъ распутствомъ  
насквозь. Одуматься не дадутъ! передохнуть нѣтъ средствъ! такъ и стоятъ  
падъ душой: сейчасъ! сію минуту! пожалуйста оригиналь! Ну, и...

— А Менандръ какъ принялъ это извѣстіе!

— Ёздиль. Да только на извозчиковъ напрасно потратился. Отвѣтили:  
„да послужить сіе вамъ урокомъ, что ежели порицанія не допускаются... безу-  
словно, то и въ похвалахъ надлежитъ избѣгать излишней разнузданности!“

— Вотъ какъ!

— Да, братецъ, ни порицаній, ни похвалъ! Я давно говорилъ: вотъ  
истинный принципъ во всей его чистотѣ!

— Стало быть, ты въ статьѣ допустилъ „излишнюю разнузданность“  
въ похвалахъ?

Пименъ, вмѣсто отвѣта, заалѣлся.

— О, Пименъ! Пименъ!

Начали мы вдвоемъ обдумывать, какимъ бы образомъ устранить на бу-  
дущее время повтореніе подобныхъ казусовъ. Самымъ цѣлесообразнымъ сред-  
ствомъ представлялось совсѣмъ уйти изъ газетной атмосферы. Но куда?—  
вотъ вопросъ. Толстыхъ журналовъ мало, да и тамъ всѣ мѣста заняты, негдѣ  
упасть яблоку. Поступить на частную службу? — и тамъ переполнено до краевъ;  
люди, изъ-за пятисотъ рублей годовыхъ, готовы другъ съ другомъ на ножи...

— Вотъ кабы ты на фортепянахъ умѣлъ, такъ въ тапёры бы можно...  
— рискнуть я пошутить.

— А чтò ты думаешь! важно было бы!

— Знаешь ли чтò! не предложить ли газетчикамъ устроить по вече-  
рамъ... нѣчто въ родѣ фельетоновъ en action? Ты бы, какъ передовикъ и,  
стало быть, человѣкъ солидный, за буфетомъ стоялъ... отлично!

Но Пименъ, вмѣсто отвѣта, только вздохнулъ: знакъ, что онъ начинаетъ  
впадать въ угрюмость.

— Я, братецъ, не только въ тапёры, но даже въ кассиры на желѣзно-  
дорожную станцію не гошусь, — наконецъ вымолвилъ онъ: — пробовалъ я  
это... помнишь, *тогда*? да не выгорѣло! Я двадцать лѣтъ сряду въ литера-  
турѣ вращаюсь, двадцать лѣтъ одною ею живу. И ничего другого не пони-  
маю. Знаю, что изъ моей дѣятельности ничего не выходитъ, а все тянусь, все  
думаю: а вотъ погоди. Сны какіе-то наяву вижу — такъ и проходитъ день за  
днемъ. Это умственное цыганство до того въѣдается, что нужно именно что-  
нибудь совсѣмъ чрезвычайное (вотъ какъ *тогда*), чтобъ человѣкъ пришелъ  
въ себя. Но если онъ и пойметъ, что вся его жизнь есть не болѣе, какъ без-  
конечная цѣпь пустяковъ — чтò пользы въ томъ? Ну, пойметъ, и только. Ахъ,  
вѣдь у насъ даже „своего мѣста“ нѣтъ, того „своего мѣста“, куда всякій  
бѣжитъ, когда его постигнетъ бѣда! Вотъ я, напримѣръ. Особенными талан-  
тами природа меня не наградила; я не генералъ въ литературѣ, а простой  
солдатъ. Но вѣдь и солдатъ, если выслужилъ срокъ, вправѣ воротиться въ  
„свое мѣсто“ и тамъ забыть о солдатствѣ. А куда пойдетъ солдатъ-литера-  
торъ? Литературное ремесло имѣетъ свойство до того оболванивать человѣка,  
что онъ вездѣ, кромѣ литературы, представляетъ только лишній ротъ. И у

меня отецъ и мать есть (овецъ духовныхъ въ смоленской епархіи пасутъ и волною ихъ питаются, — прибавилъ онъ въ скобкахъ), да зачѣмъ я къ нимъ пойду? Во-первыхъ, и и тамъ буду все объ своемъ поскудствѣ тосковать и бѣгать по помѣщикамъ, нельзя ли гдѣ газетки почитать; а во-вторыхъ, меня будетъ ежеминутно точить мысль, что я лишній ротъ, каковыхъ въ моей семьѣ не полагается. А ужъ какъ мнѣ опостылѣло литературное ремесло, если бы ты зналъ! такъ опостылѣло! такъ опостылѣло!

Пименъ въ волненіи нѣсколько разъ прошелся по комнатѣ.

— Иногда вся внутренность горитъ, — продолжалъ онъ: — саднить, поеть, сосеть, не знаешь, куда дѣваться отъ тоски. Если бы слезы можно было выжать, легче бы было, да негдѣ ихъ взять. Нѣтъ, никогда этого не бывало! никогда, даже въ самые горькіе дни плѣненія вавилонскаго не знали такой мертвенной тоски, такого холодного отчаянія! „Наше время не время широкихъ задачъ“ — этимъ все сказано! Тутъ и скудоуміе, тутъ и распутство, и желаніе сказать нѣчто пріятное... Ахъ!

— Слушай! да надо же выходъ найти!

— Оставаться по прежнему въ вертепѣ — вотъ и выходъ. Тянуть безконечную канитель невѣдомо объ чемъ, распинаться невѣдомо по поводу чего, поучать невѣдомо чему, преслѣдовать невѣдомо какія цѣли, жить въ постоянномъ угарѣ, упразднить мысль и залѣплять глаза пустословіемъ, балансировать между „съ одной стороны нужно сознаться“ и „съ другой стороны нельзя не признаться“ — вотъ удѣлъ современнаго литературнаго солдата! Другого ничего не выдумаешь. И когда, послѣ такого-то трудового дня, начнешь на сонъ грядущій припоминать, что было — ну, хоть убей, ничего не припомнишь! Чувствуешь только усталость физическую, и затѣмъ обрывки, винегретъ — и ничего больше. Даже для сновъ настоящаго матеріала нѣтъ.

Онъ отеръ потъ, выступившій на лбу, и остановился передо мной.

— Патроны наши, — сказалъ онъ: — тѣ, на сонъ грядущій, хоть счетомъ барышей отъ розничной продажи могутъ заняться, а мы?

Но тутъ онъ окончательно разсердился.

— Мы-то, мы-то, скажи, изъ-за чего себя нудимъ?

Да, были „блехи“ у Пимена. Но чѣмъ пышнѣе расцвѣтала пресса, чѣмъ либеральнѣе становились ея замашки, тѣмъ смиреннѣе и какъ-то унылѣе становился мой другъ. „Блехи“ скрывались одна за одной и наконецъ пропали совсѣмъ. Онъ не ерошилъ волосъ, не восклицалъ въ тоскѣ: „ахъ, это ужасно!“ а неумоимо и безропотно строчилъ съ утра до вечера, не чувствуя ни удовольствія, ни омерзѣнія...

Менандръ ступедался. Не успѣвъ совладать съ „разнузданностью въ похвалахъ“, онъ до того раздражился своими „наглыми“ успѣхами попасть въ тонъ минуты („все это одно крокодилово притворство!“ говорилъ про него статскій совѣтникъ Растопыриусъ), что вынужденъ былъ уступить мѣсто другимъ болѣе своровистымъ дѣятелямъ. Сначала являлась либеральная газета „Чего изволите?“, затѣмъ — и еще болѣе либеральная: „И шило брѣветъ“. Но



Пименъ до того уже потерялъ нюхъ, что не могъ отличать степеней либерализма, и безразлично работалъ то тутъ, то тамъ.

Онъ почти совсѣмъ пересталъ ходить ко мнѣ; я же посѣщалъ его довольно часто и всегда заставлялъ за работой.

— Не помѣшалъ ли я?—спросилъ я его однажды.

— Нѣтъ, какая помѣха! Работа такого сорта, что на всякомъ мѣстѣ можно точку поставить! Было бы пристойное количество „строчекъ“, а объ остальномъ, то-есть о противорѣчіяхъ, неясностяхъ и даже пошлостяхъ, я давно уже не забочусь. Все равно, читатель сжуётъ.

— Объ чемъ же ты пишешь? все, чай, о перспективахъ?

— Нѣтъ, о перспективахъ писать теперь ужъ чересчуръ широко. По нашему, это называется „расплываться“. Нынче мы больше по части патріотистики и пламени сердець, къ которымъ, ради оживленія столбцовъ, пристегивается и взнуздываніе. Вотъ, на примѣръ, я написалъ статью: „Гдѣ корень зла?“—хочешь, прочту?

— Нѣтъ, ужъ не надо! Ахъ, Пименъ, Пименъ! зачѣмъ ты это пишешь?

— Какъ сказать, зачѣмъ? знаю грамматику, синтаксисъ, учился правописанію, умѣю разставлять знаки препинанія—вотъ и пишу. Неужто же, обладая такими сокровищами, оставлять ихъ втунѣ?

— А знаешь ли, чтѣ я замѣтилъ. Прежде, бывало, хоть ты и не подписывался подъ статьями, а я все-таки узнавалъ твою манеру. Прочтешь и скажешь: вотъ это Коршуновъ писалъ. И даже отгадаешь: а вотъ это словечко Менандръ лично отъ себя вклеилъ! А нынче, какъ ни стараешься угадать—всѣ статьи на одинъ манеръ пишутся!

— Это у насъ новая метода завелась, съ тѣхъ поръ, какъ отъ передовика ничего, кромѣ правописанія, не требуется. Чтѣбъ всѣ какъ одинъ человѣкъ. Выгодно это, голубчикъ. Во-первыхъ, публика читаетъ и думаетъ: стало быть, однакожъ у нихъ есть что-нибудь за душой, коли они такъ спѣлись! а во-вторыхъ—дешево.

— Это почему?

— А потому что если однажды данъ извѣстный шаблонъ, то нѣтъ нужды дорожить сотрудничествомъ той или другой личности. Всякій встрѣчный можетъ любую статью написать, все равно какъ свадебныя приглашенія. Важнѣе всего — аккуратность, чтѣбъ не задерживать типографію. Поэтому и передовики нынѣшніе присмирѣли: знаютъ, что мѣсто свято пусто не будетъ. Прежде мы унирались, растабарывали объ убѣжденіяхъ, а нынче этого ужъ не полагается.

— Однако, некрасивое ваше положеніе!

— Покуда еще ничего, можно терпѣть, а вотъ въ ближайшемъ будущемъ... Я, на примѣръ, покуда еще не стѣсняюсь, и почти совсѣмъ *туда* не хожу: покажешься на минуту, сдашь чтѣ слѣдуетъ—и былъ таковъ. А скоро, пожалуй, и прихоти заведутся: придется различныя виды и соображенія выслушивать. А еще того горше: вечера для обмѣна мыслей устроить, да съ отставными полководцами, да съ „дипломатами“, да съ разсказами изъ народнаго быта... Вотъ когда худо-то будетъ! Придется самолюбіе хозяйки

дома щекотать, выслушивать полководческое фрондерство и въ антрактахъ освѣжаться протухлыми побасѣнками!

— А развѣ есть ужъ признаки, предвѣщающіе что-нибудь подобное?

— Есть. На меня ужъ и теперь косятся, что мало разговариваю. На дняхъ я тамъ былъ — сама выбѣжала, „Вы, говорить, Коршуновъ?“ — Я, говорю. „Ахъ, какой вы нелюбезный!“

— Съ чего-жъ это она?

— Стало быть, разговоръ былъ. Въ Аспазіи она къ нашему Периклу готовится — ну, и принимаетъ участіе. Да, терпять меня покуда, любезный другъ! но только терпять. А такъ какъ и ангельскому терпѣнію предѣлъ есть, то по-неволѣ спрашиваешь себя: что будетъ, когда этотъ предѣлъ настанетъ? Разумѣется, стану просить милости. Не гождусь въ передовики — можетъ быть, къ „намъ пишутъ“ опредѣлять, или „Таинства мадридскаго двора“ переводить велятъ. Все равно какъ въ домѣ терпимости: сперва, гостей занимать заставляють, а потомъ, какъ розы-то отцвѣтутъ, начнутъ въ портерную за пивомъ посылать.

До этого однако не дошло, хотя мнѣ самому не разъ приходилось слушать отзывы: „ахъ, какой непріятный у Коршунова характеръ!“ И не только Аспазія, но и самъ Периклъ отзывался такъ. Пименъ имѣлъ даже по этому поводу объясненіе, но, къ счастью, успѣлъ доказать, что до его „характера“ никому никакого дѣла нѣтъ. Я убѣжденъ однакожъ, что едва-ли бы онъ доказалъ это, если бы у него не было кой-какой опоры въ прошломъ. Ради этого прошлаго его, очевидно, щадили, ибо какъ ни „разносторонни“ современные дѣятели политики и литературы, но есть еще ниточка (очень тоненькая), которая связываетъ ихъ съ прошлымъ. Вотъ когда и они сойдутъ со сцены, то на ихъ мѣсто придутъ „новѣйшіе“ дѣятели — этихъ ужъ ничто не будетъ связывать. Тогда, натурально, Коршуновыхъ выметутъ помеломъ.

Изрѣдка впрочемъ и Пименъ оживлялся, и именно въ тѣхъ случаяхъ, когда у него накоплялся запасъ анекдотовъ о Периклахъ. Главное горе Перикловъ заключалось въ томъ, что они вѣчно были въ поискахъ за идеєю, которую впрочемъ безразлично называли и идеєю, и фортелемъ. Какую бы идею начать проводить? на какой бы фортель подняться? — вотъ задача, которую предстояло разрѣшить. Читатель капризенъ, и однообразныя статьи надоѣдаютъ ему. Однообразіе можно допустить только въ исключительныхъ случаяхъ. Вотъ, напримѣръ, во время войны — ахъ, какая розничная продажа была! Но разъ исключительныя обстоятельства кончились, надо подниматься на фортель. И не одинъ фортель, а даже нѣсколько таковыхъ не худо найти. — Какъ вы, напримѣръ, насчетъ либерализма полагаете? а? хорошо? Съ Богомъ, начинайте-ка рядъ статей! Или насчетъ святости подвига? а? вѣдь подвигъ-то, батюшка, очищаетъ человѣка, даетъ его жизни смыслъ? Тиснемте-ка статейку... а? Главное, дремать не нужно, да почаще оглядываться кругомъ. Да вотъ и еще тема... мирные успѣхи! По возвращеніи съ поля брани, это даже самое подходящее дѣло... въ носъ бросится — а? Эту штуку пять лѣтъ хлебай — не расхлебашь! Начать хоть съ желѣзныхъ дорогъ... или нѣтъ, это ужъ старо! Просто начнемъ съ земледѣльческой промышленности! „Россія — страна земледѣльская“ ...это хоть тоже старо, но виѣтъ



съ тѣмъ и всегда ново, потому что Россія, дѣйствительно, страна земледѣльческая; стало быть, какъ ни вертись, а этой темы не минешь! Не въ томъ бѣда, что мы земледѣльцы, а въ томъ, что мы нашъ продуктъ въ зернѣ отпускаемъ... а? Отсюда, прямой выводъ: заводить маслобойни, винокурни, мельницы—главное, мельницы! А когда съ земледѣльческою промышленностью покончимъ, можно и за горнозаводскую промышленность взяться: рельсы, паровозы, пароходы, желѣзо листовое и прокатное, гвозди... Нужна ли покровительственная система, или не нужна... а? А потомъ и до рубля доберемся... Ахъ, этотъ рубль! сколько публицистическихъ усилій, сколько полемики потрачено, чтобъ онъ настоящимъ рублемъ смотрѣлъ, а онъ все на полтинникъ смахиваетъ! Придется, пожалуй, и пословицу: „взглянулъ—словно рублемъ подарилъ“ говорить такъ: взглянулъ, словно полтинникомъ подарилъ! Да, надо, надо какъ-нибудь этому горю помочь! И поможемъ, съ Божьей помощью... да! А наконецъ, когда наговоримся досыта, можно и заключенище сформулировать: впрочемъ—тутъ чтѣ бы мы ни говорили, мы знаемъ заранѣе, что наши слова все равно что къ стѣнѣ горохъ... а? какъ вы думаете? хорошо будетъ? а?

Но какъ ни любопытны были эти анекдоты, а настоящей веселости въ нихъ все-таки не было. И самъ Коршуновъ повидимому сознавалъ это, потому что, истощивъ свой запасъ, онъ неизмѣнно заканчивалъ одною и тою же угрюмою фразой:

— И всѣ эти фортели я обязываюсь, съ Божьею помощью, развить!

Такимъ образомъ онъ промаячился года три сряду.

Одно было недурно: Коршуновъ получалъ хорошій гонораръ за свои работы. Но лишнихъ денегъ у него все-таки не бывало, потому что „свое мѣсто“ поглощало навѣрное половину заработка.

Да, и у Коршунова было „свое мѣсто“, которое довольно часто напоминало ему себя. Отецъ Пимена былъ старъ и добывалъ мало, да и овцы, которыхъ онъ пасъ, имѣли волну скудную. А семья была большая: семь дочерей при одномъ сынѣ, Пименѣ. На этого сына былъ сначала расчетъ, что онъ, по крайней мѣрѣ, хоть дьякономъ будетъ, а онъ вдругъ ускользнулъ. И долгое время, покуда Пименъ бѣдствовалъ, едва зарабатывая на хлѣбъ лично для себя, между нимъ и отцомъ шла ожесточенная полемика. Отецъ ужъ пріискалъ сыну невѣсту и намѣтилъ дьяконское мѣсто, но сынъ бунтовалъ. Дѣло доходило до жалобъ и просьбъ о высылкѣ по этапу, вслѣдствіе чего Пименъ скрывался, не имѣя постоянного пристанища. Но наконецъ Пимену посчастливилось. Заработокъ его увеличился, и онъ первыя же „лишнія“ деньги послалъ домой. Тогда его оставили въ покоѣ.

Въ „своемъ мѣстѣ“ смекнули, что, несмотря на странное занятіе, Пименъ все-таки добытчикъ, и, разумѣется, рѣшились пользоваться этимъ. Онъ чаще и чаще началъ получать отписки съ родины, и каждая неизмѣнно заключала въ себѣ напоминаніе объ деньгахъ. То сестру выдаютъ замужъ и надо готовить приданое, то коровушка пала, то милость Божья пристигла, хлѣбъ градомъ выбило. Коршуновъ вытягивался въ нитку, чтобъ удовлетво-

рять этимъ требованіямъ, самъ же постоянно нуждался. Разумѣется, онъ понималъ, что единственно на этихъ денежныхъ соображеніяхъ и держатся кровныя связи, но чувствовалъ ли онъ по этому поводу сердечную боль—это сказать трудно. Вообще онъ упоминалъ о домашнемъ очагѣ рѣдко и сдержанно, и никогда не порывался въ побывку домой, говоря, что пріѣздъ его только прибавитъ лишній ротъ въ семьѣ.

Но, кромѣ кровной связи, имѣлъ ли Пименъ какую-нибудь вольную сердечную привязанность? Ощущалъ ли онъ, хотя въ молодые годы, то блаженное таеніе сердца, которое ощущаетъ всякій юноша въ періодъ весенняго расцвѣтанія? Увы! эти вопросы даже въ голову никому не приходили — до такой степени своеобразною казалась личность Коршунова. Ходили, правда, анекдоты о яко бы любовныхъ его похожденіяхъ, но всѣ очень хорошо понимали, что это только анекдоты, скорѣе служившіе къ подтвержденію противнаго. Вообще на него смотрѣли какъ на чловѣка, для котораго вопросъ о сближеніи половъ составляетъ нѣчто совсѣмъ постороннее, его не касающееся. Даже когда возникъ такъ-называемый женскій вопросъ — и тутъ онъ уклонился, несмотря на то, что этотъ вопросъ стоялъ на чисто теоретической почвѣ. Иногда впрочемъ, замѣчая, что онъ ужъ черезчуръ утрируетъ въ этомъ смыслѣ, я невольно нападалъ на мысль, что причина этого явленія заключается не столько въ холодности темперамента, сколько въ непреодолимой застѣчивости. Повидимому онъ слишкомъ настойчиво говорилъ себѣ, что такъ ужъ сложилась его жизнь. Бываютъ люди, которымъ на роду суждено глубокое и горькое заточеніе, и онъ принадлежалъ къ числу этихъ людей. Просто было почти нелѣпо вообразить его себѣ любящимъ и любимымъ. Пименъ, смотрящій въ книжку, Пименъ съ перомъ въ рукахъ — вотъ настоящій Пименъ. Но Пименъ тающій, палимый страстью къ женщинѣ, Пименъ, шепчущій признанія любви и просвѣтленный увѣренностью въ взаимности — помилуйте, это какое-то баснословіе, это почти клевета!

Точно также было и по части дружбы. Пименъ вращался исключительно въ литературной средѣ, гдѣ во взаимныхъ отношеніяхъ примѣшивается очень значительная доля рационализма. Я не отрицаю, что связи вслѣдствіе этого становятся болѣе прочными, но думаю, что въ то же время онъ пріобрѣтаютъ окраску исключительно дѣловую и совершенно утрачиваютъ тотъ ласкающій элементъ, который такъ присущъ инстинктивной дружбѣ. Бываютъ однакожъ минуты, когда чловѣкъ имѣетъ право быть малодушнымъ, когда онъ чувствуетъ непреодолимую потребность жаловаться, роптать, проклинать, не соображая, глупо это или умно, полезно или бесполезно — и вотъ въ эти-то минуты ему необходимо, чтобъ дружеская рука сняла хоть часть того бремени, которое давитъ его. Ничего подобнаго Коршуновъ положительно не зналъ: онъ малодушествовалъ, жаловался и проклиналъ — въ пространство.

Онъ не былъ настолько силенъ и одаренъ, чтобъ составить около себя кружокъ, а слѣдовательно не могъ создать для себя и искусственной дружбы. Онъ самъ былъ по природѣ поклонникомъ, страстнымъ и беззавѣтно преданнымъ, но поклонниковъ не имѣлъ и пользовался только благосклоннымъ сочувствіемъ. Сверхъ того, составъ кружка, которому онъ былъ преданъ, часто мѣнялся; люди вымирали и исчезали, а наконецъ кружокъ и совсѣмъ распался.



Приблизившись къ старости, Пимень очутился въ невѣдомой средѣ, окруженный незнакомыми людьми, и все-таки вынужденный работать съ ними. Эти насильственные сближенія до того изнуряли его, что нерѣдко онъ буквально ходилъ какъ потерянный.

Таковы были кровныя и вольныя связи Пимена. Совокупность ихъ составляла мученическое существованіе, хотя видимыхъ пытокъ и не было. Дома онъ видѣлъ голыя стѣны квартиры; внѣ дома — видѣлъ деревянныхъ людей. Развѣ можно представить себѣ пытку болѣе злостную?

И вотъ, онъ умеръ. Умеръ въ одинъ день съ первой гильдіи купчихой Пулхеріей Конопатчиковой, которая спокойно и непостыдно отошла въ вѣчность, окруженная заботливыми попеченіями законныхъ наслѣдниковъ. Пимень же и умеръ словно украдкой, такъ что о смерти его узнали отъ квартирной хозяйки, которая прежде всего побѣжала въ участокъ, а потомъ ударилась за деньгами въ литературный фондъ, потому что въ послѣднее время Коршуновъ почти совсѣмъ не работалъ.

На кладбищѣ громко говорили, что купчиха Конопатчикова оставила шести сынамъ — каждому по двадцати-пяти тысячъ, и тремъ дочерямъ — каждой по десяти. Да старшему сыну отказала лавку, а Божіе благословеніе раздѣлила между всѣми поровну. Все это и батюшка въ своей проповѣди упомянулъ не въ осужденіе усопшей, но въ похвалу. Чтò же оставилъ послѣ себя Пимень?

Страшно сказать, но ничего яснаго. Человѣкъ жилъ, неутомимо трудился, и по мѣрѣ того, какъ его трудъ приводился къ окончанію, онъ тутъ же и улетучивался.

Вотъ я сказалъ, что Пимень нѣкогда участвовалъ въ творествѣ извѣстныхъ наслоеній, которыя, быть можетъ, и не прошли безслѣдно. Но кто же разберетъ, чтò въ этихъ наслоеніяхъ принадлежитъ ему и чтò другимъ атомамъ общей рабочей массы? Да и кому охота возвращаться къ этимъ забытымъ наслоеніямъ, а тѣмъ болѣе разбираться въ нихъ?

Даже историкъ русской литературы и общественности — и тотъ не отыщетъ Пимена, потому что надъ рабочею массою всегда рѣшетъ какое-нибудь выдающееся имя. Этому имени — и честь, и слава, и поклоненіе. И слава, и страданія, и подвигъ — все достойно вмѣнится ему въ сугубую похвалу. А Пимену даже по истинѣ мученическая его жизнь ни во что не вмѣнится, потому что объ ней нигдѣ не упоминается и она нигдѣ не оставила слѣдовъ своей крови.

Я помню, онъ мнѣ говорилъ: „когда я умру, то на памятникъ моему надобно написать: литература освѣтила ему жизнь, но она же напоила ядомъ его сердце“. Да, это надпись хорошая и вполне согласная съ истиной, но вопросъ въ томъ, будетъ ли когда-нибудь памятникъ на его могилѣ?

Допустимъ однакожъ, что памятникъ — ужъ прихоть. Гораздо проще другой вопросъ: долго ли мы, схоронившіе Пимена, будемъ ощущать, что смерть его оставила послѣ себя пустоту? долго ли воспоминаніе объ немъ будетъ жить между нами?

Онъ жилъ — и умеръ... Благо умершимъ!

## Старческое горе

или

### НЕПРЕДВИДѢННЫЯ ПОСЛѢДСТВІЯ ЗАБЛУЖДЕНІЙ УМА.

(Разсказъ.)

Про Каширина всѣ говорили: „вотъ истинно милый человѣкъ!“ А нѣкоторые прибавляли: „это человѣкъ свѣтлаго ума, любезный, преданный дѣлу и замѣчательно интересный; однимъ словомъ, человѣкъ, знакомствомъ съ которымъ слѣдуетъ гордиться“. Люди самыхъ противоположныхъ лагерей сходились въ любви къ Каширину и въ признаніи его достолюбезныхъ качествъ. Съ своей стороны, и онъ всѣхъ любилъ, со всѣми здоровался и всякому имѣлъ сказать что-нибудь пріятное. И всегда это пріятное выражалось съ такою сердечностью, какъ будто оно было адресовано исключительно тому лицу, къ которому обращалось, а вовсе не представляло собой банальной фразы, которую можно примѣнить ко всякому встрѣчному. И всякому представлялось (особливо самолюбивымъ людямъ), что это не была съ его стороны только ловкость, а именно интимное выраженіе достолюбезныхъ свойствъ его природы.

Словомъ сказать, хотя Филипу Филипычу (такъ зовутъ Каширина) перевалило за пятьдесятъ, но онъ рѣшительно не помнитъ, чтобъ до послѣднихъ непредвидѣнныхъ невзгодъ существованіе его было когда-нибудь омрачено продолжительнымъ и существеннымъ огорченіемъ.

Какимъ образомъ явился Филипъ Филипычъ на сцену жизни и откуда, „изъ какихъ“ онъ былъ родомъ — никто объ этомъ достовѣрныхъ свѣдѣній не имѣлъ, самъ же онъ очень ловко уклонился отъ вопросовъ на эту тему. Въ дѣйствительности онъ былъ родомъ изъ-подъ Пронскаго города, сынъ мелкопомѣстнаго помѣщика, и даже доднесь у него живетъ въ тѣхъ мѣстахъ тетка Агаѣя Ивановна, старая дѣвица, въ пользу которой Каширинъ отказался отъ своего родового наслѣдства. Наслѣдство это, по старому крѣпостному счету, заключалось въ трехъ мужеска поля душахъ, при двадцати-пяти десятинахъ земли. Когда состоялась крестьянская эмансипація, то за души выдали деньги, которыя Филипъ Филипычъ взялъ себѣ, а землю, съ находящеюся на ней ветхой усадьбой, съ движимымъ имуществомъ, съ лѣсами, водами, рыбными ловлями и прочими угодами, предоставилъ тетенькѣ Агаѣѣ Ивановнѣ. Съ своей стороны, Агаѣя Ивановна, въ знакъ благодарности, ежегодно присылала ему къ Рождеству двухъ замороженныхъ индѣекъ, каковаго презента онъ впрочемъ всегда ожидалъ съ большимъ страхомъ, потому что боялся, чтобъ кто-нибудь изъ „друзей“, провѣдавъ объ этомъ, не заговорилъ „въ шутиломъ русскомъ тонѣ“ о славномъ и знаменитомъ родѣ Кашириныхъ.

Воспитаніе Филипъ Филипычъ получилъ, по своему времени, хорошее, и собственно съ момента поступленія въ казенное заведеніе начиналъ свою



историческую жизнь. Вѣроятно отецъ его былъ тоже нрава достоподобаемаго и чувствовалъ себя хорошо въ роли ласковаго теляти—и это въ значительной степени помогло молодому Каширину. Благодаря этому обстоятельству, богатый сосѣдъ (онъ же и любитель просвѣщенія) приглубилъ маленькаго Филію и сначала воспиталъ его съ своими дѣтьми дома, потомъ помѣстилъ на свой счетъ въ университетскій пансіонъ, откуда онъ перешелъ въ московскій университетъ, и наконецъ, умирая, завѣщалъ своему питомцу небольшой капиталъ. Впослѣдствіи, когда молодые потомки богатаго барина пошли бойко по службѣ, то и они помогли Каширину. Филипъ Филипычъ поддерживалъ эти связи, но не только безъ навязчивости, а даже болѣе нежели съ скромностью. Смолоду онъ даже скрывалъ объ этомъ обстоятельствѣ отъ своихъ „друзей“, хотя друзья очень хорошо понимали, что у него есть гдѣ-то „рука“, благодаря которой онъ преуспѣваетъ на бюрократическомъ поприщѣ. Впрочемъ онъ очень аккуратно посѣщалъ своихъ патроновъ и патронессъ въ дни семейныхъ и торжественныхъ праздниковъ и изрѣдка являлся къ нимъ, по приглашенію, запросто отобѣдать. Иногда „коренные“ друзья, прогуливаясь съ Филипомъ Филипычемъ по Невскому, видали, какъ какая-нибудь высокопоставленная дама дружески кивала Каширину изъ коляски, и онъ, почтительно отдавая поклонъ, краснѣлъ. И ежели эти „друзья“ были литераторы, то они очень остроумно по этому поводу подшучивали надъ Каширинымъ; но ежели „друзья“ были бюрократы, то они задумывались и крѣпко сжимали счастливцу руки. Сверхъ того, раза два-три въ годъ бывали такіе случаи, что сами патроны и патронессы (древо стараго добраго барина оказалось многовѣтвистымъ) сами назывались къ своему интересному *protégé* на „вечерокъ“ и привозили дѣтей съ гувернантками. Въ такіе дни онъ покупалъ печенія къ чаю, конфектъ, фруктовъ, шампанскаго, курилъ въ квартирѣ духами, облакался во фракъ, спускалъ на окнахъ драпри, чтобъ не видно было съ улицы свѣта, и строго-на-строго приказывалъ швейцару (онъ жилъ въ четвертомъ этажѣ, но всегда въ такомъ домѣ, гдѣ былъ заведенъ швейцаръ) отнюдь не пускать „друзей“. Патроны, патронессы, ихъ дѣти и гувернантки кушали чай, конфекты и фрукты, выпивали по бокалу шампанскаго, хвалили квартиру Каширина и находили, что у него очень „мило“. Онъ же старался быть почтительно-гостепріимнымъ (но безъ всякаго искаательства), предоставлялъ въ распоряженіе гувернантокъ и дѣтей *ріано мѣсаніке* (для этого собственно онъ его и приобрѣлъ), а дамамъ показывалъ альбомы съ фотографическими карточками, кипсеки и платокъ, подаренный Гарибальди одному изъ его друзей, а отъ послѣдняго перешедшій къ нему. Вообще онъ былъ безконечно сіяющъ и любезенъ, хотя внутренно и мучился, чтобъ кто-нибудь изъ литературныхъ „друзей“ не пронюхалъ о ширшествѣ и не положилъ его въ основаніе разсказовъ болѣе или менѣе юмористическаго свойства.

Въ университетѣ Каширину удалось слушать лекціи Грановскаго, тогда только-что начавшаго свою воспитательную дѣятельность. Это положило неизгладимую печать на всю его жизнь: дало ему вкусъ къ изящному и—что важнѣе всего—утвердило въ намѣреніи неуклонно идти по стезѣ честности и благородства. И онъ шелъ по этой стезѣ до конца, и очень глубоко скор-

бѣлъ, видя, какъ нѣкоторые изъ его товарищей, тоже ученики Грановскаго, поступали на службу, „прибытка ради“, въ московскую гражданскую палату и тамъ находили себѣ успокоеніе подъ сѣнью „крѣпостныхъ дѣлъ“. Самъ же онъ всегда выбиралъ службы самыя благородныя, съ легкимъ фронтдирующимъ оттѣнкомъ (фронтировать не служа онъ не могъ, потому что не имѣлъ достаточно обезпеченныхъ средствъ къ жизни), а именно: сначала поступилъ на службу въ вѣдомство „Предвкусенія свободъ“, потомъ, когда благородство изъ этого вѣдомства перешло въ вѣдомство „Плаваній и Внезапныхъ открытій“, то и онъ, вслѣдъ за нимъ, перешелъ туда же, и наконецъ, когда времена окончательно созрѣли, онъ окончательно утвердился въ вѣдомствѣ „Дивидендовъ и Раздачъ“. Наверное онъ попалъ бы и въ преобразованное судебное вѣдомство, яко наиблагороднѣйшее и несмѣняемѣйшее, если бы ко времени введенія реформъ не почувствовалъ себя состарѣвшимся и обрюзгшимъ.

То же живое слово Грановскаго воспитало въ немъ и наклонность къ литературѣ. Собственно говоря, самъ онъ не былъ литераторомъ, но перевелъ однакожъ, съ кѣмъ-то вдвоемъ, статейку для „Отечественныхъ Записокъ“ временъ Бѣлинскаго и, кромѣ того, изобрѣлъ два-три счастливыя выраженія, которыми и воспользовались литераторы настоящіе, сдѣлавшіеся впоследствии знаменитыми. Сверхъ того, онъ въ особенности любилъ непропущенныя цензурой статьи или хотя отдѣльныя мѣста изъ нихъ, и страстно коллекционировалъ ихъ. Вообще онъ съ молодости охотно искалъ общества литераторовъ и былъ всегда испытаннымъ и вѣрнымъ ихъ другомъ, хотя многіе изъ нихъ отплачивали за эту дружбу легкомысленнымъ предательствомъ. Въ сороковыхъ годахъ съ талантливостью какъ-то фаталистически соединялась склонность къ перемѣнничеству и даже немного къ вѣроломству. Каширинъ очень часто и больно страдалъ отъ этого, но, къ чести его должно сказать, никакія личныя огорченія не заставили его отвернуться отъ литературы, а тѣмъ менѣе мстить ей. И когда учрежденъ былъ литературный фондъ, то онъ за особенную себѣ честь поставилъ быть однимъ изъ его учредителей и печальниковъ.

Вообще все существованіе Филипа Филипыча имѣло подкладку несомнѣнно гуманную и либеральную. Хотя же онъ и не высказывалъ своего либерализма велухъ, но при случаѣ такъ характерно произносилъ: „гм“ и даже: „эго!“ — что въ умѣ сколько-нибудь прозорливаго собесѣдника не могло оставаться никакихъ сомнѣній насчетъ душевнаго его настроенія.

Каширинъ прожилъ жизнь тихо и аккуратно. Занимая по службѣ мѣста благородныя и снабженныя хорошимъ содержаніемъ, онъ не только не нуждался, но всегда жилъ вполне прилично. Онъ не прижимался съ деньгами, но и не расточалъ оныхъ. Имѣя обширный кругъ знакомыхъ, гдѣ всегда видѣли его съ удовольствіемъ, онъ почти не жилъ дома, и это значительно сокращало его расходы. Говорили, будто онъ копилъ про черный день; но ежели это и была правда, то во всякомъ случаѣ присовокупленія его были самыя умѣренныя. Главный расходъ его составляли: квартира, одежда и сигары, и эти статьи были доведены у него до самой безукоризненной респектабельности. Затѣмъ онъ держалъ при себѣ приличнаго лакея, непременно изъ



яѣмцевъ. Никогда онъ дома не обѣдалъ, и, проработавъ утромъ за казенными бумагами, исчезалъ до поздней ночи, заходя домой только на короткое время, чтобъ переодѣться. Обѣдать любилъ преимущественно въ семейныхъ домахъ, гдѣ можно было сказать что-нибудь любезное хозяйкѣ дома, но не отказывался изрѣдка отобѣдать и въ „кабачкѣ“, въ кутящей компаніи, причемъ самъ пилъ очень умѣренно, но платилъ свою часть наравнѣ со всѣми и даже уплачивалъ иногда за какого-нибудь *riche-assiett'a*, которыхъ всегда бываетъ немало между собутыльниками. Еще особенность: бумажникъ Каширина всегда бывалъ изобильно снабженъ деньгами, и между кредитками непременно выглядывали двѣ-три крупныхъ. Это было тоже своего рода право на респектабельность.

Начальство отдавало Каширину справедливость, а нѣкоторыхъ изъ начальниковъ онъ даже имѣлъ честь считать въ числѣ своихъ друзей. Въ особенности онъ чувствовалъ себя счастливымъ, когда у департаментскаго кормила стояло начальство либеральное. Въ такія времена онъ называлъ департаментъ своею семьей, позволялъ себѣ ходить на службу въ коротенькой жакеткѣ и входилъ въ „кабинетъ“ безъ доклада, съ сигарой въ зубахъ. Но и начальство *не-либеральное* не особенно смущало его, потому что онъ обладалъ однимъ драгоценнѣйшимъ качествомъ, которое всегда выручало его. Это качество было написано на его фizioноміи и выражало собой готовность выслушать и исполнить, слегка окрашенную готовностью „доложить“. Начальники либеральные въ особенности цѣнили эту послѣднюю готовность и пользовались ею не безъ пользы для себя. Начальники *не-либеральные* болѣе всего напирали на первыя двѣ готовности, но иногда, замѣтивъ, что гдѣ-то, въ уголку, скромно мерцаетъ еще какая-то робкая готовность, вдругъ осѣнялись мыслью: а что, не послушать ли, что имѣетъ этотъ фалалей доложить? И тогда Каширинъ докладывалъ. Докладывалъ внятно, вразумительно, точно жемчугъ низалъ, такъ что не было никакой возможности не понять. И бывали примѣры, что, по выслушаніи, начальники—самые закоснѣлые—исправлялись.

Самую загадочную сторону жизни Каширина представляли его отношенія къ женскому полу. Достоверно было извѣстно, что онъ любилъ женское общество, искалъ его, и вслѣдствіе этого преимущественно посѣщалъ семейные дома. Женщины тоже повидимому любили его общество, что можно было заключить уже по тому одному, какъ расцвѣтали лица знакомыхъ дамъ при встрѣчѣ съ нимъ. Но справедливость требуетъ сказать, что въ этомъ расцвѣтаніи гораздо яснѣе проглядывало простое чувство благосклонности, довѣрія и дружбы, нежели стремленіе къ секретному потрясенію семейныхъ основъ. Да и самъ онъ, всѣмъ своимъ поведеніемъ, какъ бы свидѣтельствовалъ, что ему дорога только дружба и довѣріе женщинъ. Не говоря уже о томъ, что онъ былъ скроменъ какъ могила, ничто ни въ его манерахъ, ни въ голосѣ, ни во взглядѣ не представляло повода для игривыхъ догадокъ. Онъ никогда не зачашалъ въ одинъ и тотъ же домъ и никогда не показывалъ, что между семейными домами, которые онъ посѣщаетъ, ему больше по душѣ тѣ, во главѣ которыхъ стоятъ красивыя хозяйки. Казалось, что и *la belle madame* Растопыри, и хорошенькая *madame* Карноухова, и добродушно-безобразная Мат-

рена Ивановна Стрекоза равно ему милы. Онъ одинаково усердно посѣщалъ и красивыхъ, и некрасивыхъ, и одинаково старался снискивать ихъ довѣріе, благосклонность и дружбу. Иногда эти дамы, даже въ присутствіи мужей, шопотомъ сообщали ему свои маленькія тайны, и мужья отнюдь не формализировались этимъ, ибо знали, что Каширинъ — „другъ по преимуществу“. Большою частью онъ рассказывалъ дамамъ о своихъ друзьяхъ-литераторахъ, о томъ, что Бѣлинскій и въ преферансъ игралъ съ тѣмъ же пыломъ страсти, съ какимъ писалъ критическія статьи; о томъ, что Тургеневъ каждое утро моетъ лицо въ трехъ водахъ; о томъ, что Гончаровъ спитъ до двухъ часовъ дня и т. д. И дамы внимали этимъ рассказамъ съ удовольствіемъ, потому что это были дамы интеллигентныя, либеральныя. Очень возможно, что въ минуты особеннаго сердечнаго тайнія онъ и побаловывалъ его за интересно проведенные часы, но навѣрное онъ поступалъ такъ безъ всякой примѣси увлеченія и съ тѣмъ, разумѣется, что въ будущемъ это ихъ ни къ чему не обязываетъ. По крайней мѣрѣ именно такимъ образомъ злые языки объясняли загадочное отсутствіе любовнаго элемента въ жизненной обстановкѣ Каширина. „Это такая по части женскихъ немощей подлая душа, — говорили они: — что дамочка и ахнуть не успѣетъ, какъ онъ уже, въ скромной роли недостойно облагодѣтельствованнаго, продолжаетъ прерванный разговоръ!“ И это было весьма возможно. Ибо нѣтъ ничего удобнѣе и пріятнѣе, какъ обожатель, который съ женскою благосклонностью не только не сопрягаетъ никакихъ обязательствъ, но даже никогда ни о чемъ не поминаетъ, и только скромно и преданно ждетъ.

Но существовала и другая легенда о томъ же предметѣ. А именно, говорили, будто у Каширина имѣется въ заднихъ комнатахъ кухарка Амалія, которой онъ платитъ нѣсколько болѣе нежели обыкновенной кухаркѣ, и которая, въ одно и то же время, занимается приготовленіемъ для него утренняго кофе и смотреть за его бѣльемъ. И будто бы онъ придумалъ эту комбинацію въ видахъ экономіи, по примѣру отставныхъ чиновниковъ, которые, получая ограниченный пенсіонъ, не могутъ тратить много на свои удовольствія. Эту легенду впрочемъ пустили въ ходъ друзья-литераторы, и потому солидные люди, не останавливаясь на ней, прямо относили ее къ области беллетристики.

Какъ бы то ни было, но отношенія Каширина къ женской немощи такъ и остались неразгаданными.

Однако холостая жизнь и сопряженная съ нею бездомовица не остались безъ вліянія на Каширина. Отъ всей его фигуры такъ и разлило старой дѣвой. И чѣмъ дальше онъ придвигался къ старости, тѣмъ замѣтнѣе становилось это. Привычка быть всегда среди людей (или, по крайней мѣрѣ, въ гостяхъ) выработала въ немъ особаго рода щепетильность, которая подъ конецъ сдѣлала бесѣду съ нимъ чрезвычайно однообразною. Дамочки любятъ скромныхъ обожателей, но въ то же время онъ не прочь и отъ того, чтобы отъ времени до времени колѣнопреклоненія ихъ были пересыпаемы какою-нибудь милою словесною гнусностью. Поэтому, когда онъ, рассказавъ весь запасъ анекдотовъ, начиналъ рассказывать ихъ вновь, то онъ потихоньку вздыхали и находили, что онъ какъ-то чересчуръ ужъ мало слѣдитъ за вѣкомъ.



Время шло впередъ и вносило оживляющее, реформирующее начало и въ сферу анекдотовъ. Требовался анекдотъ сильный, возбуждающій, щекочущій чувственность (даже Матрена Ивановна — и та не избѣгала общихъ законовъ прогресса), а Каширинъ все продолжалъ рассказывать о томъ, какъ онъ, въ 1845 году, ловилъ съ Аполлономъ Майковымъ пискарей въ Парголовокомъ озерѣ. Сверхъ того, съ лѣтами онъ слегка ожирѣлъ, вслѣдствіе хорошей пищи, а это тоже имѣло не совсѣмъ хорошее вліяніе на избобрѣтательность ума. Онъ сталъ приобрѣтать особыя, свойственныя одинокому человѣку привычки, съ трудомъ отказывался отъ тѣхъ или другихъ удобствъ, наблюдалъ извѣстные часы, началъ лѣниться, любить халатъ и т. д. Сказать ли правду — иногда онъ даже задумывался: а что, если бы предположеніе о кухаркѣ Амаліи привести въ исполненіе? То заманчивое и вполне экономическое предположеніе, въ которомъ Амалія представлялась кумулирующею двѣ должности...

Со времени окончанія университетскаго курса, разъ поселившись въ Петербургѣ, онъ уже не покидалъ его, и только однажды въ нѣсколько лѣтъ позволилъ себѣ коротенькую экскурсію за границу. Провинціи онъ боялся какъ огня, и даже командировокъ не бралъ, потому что всюду чаялъ встрѣтиться съ тетенькой Агаѳеей Ивановной. Неоднократно, бывшіе его „благодѣтели“ приглашали его погостить на лѣто въ свое великолѣпное Пронское имѣніе, но онъ постоянно уклонялся отъ этихъ любезныхъ приглашеній, и именно изъ-за той же Агаѣи Ивановны. Казалось, если бы она умерла, это во многомъ развязало бы Филипу Филипычу руки: онъ сталъ бы и командировки брать, и ѣздить на лѣто въ гости къ высокопоставленнымъ друзьямъ. Но, съ другой стороны, если Агаѣя Ивановна умретъ, то послѣ нея неминуемо останется имущество, и по этому случаю его, конечно, будутъ разыскивать, яко законнаго наслѣдника. А этого онъ боялся пуще всего, потому что тогда не только всѣмъ будетъ извѣстно, что онъ владѣлецъ двадцатипяти десятинъ земли (это-то, пожалуй, и теперь многіе знали), но всѣ получатъ право говорить объ этомъ гласно, не стѣняясь, начнутъ его поздравлять и т. д.

Выше было сказано, что Каширинъ избѣгалъ говорить о своемъ происхожденіи. Съ лѣтами эта странность не только не ослабѣвала, но приобрѣтала все болѣшую и болѣшую силу, и всего больше страдала отъ этого тетенька Агаѣя Ивановна. Съ одной стороны, Филиппъ Филипычъ отлично понималъ, что тетенька нимало не виновата въ томъ, что она существуетъ. По временамъ онъ даже съ теплымъ чувствомъ припоминалъ, какъ, въ дѣтствѣ, она кормила его, тайно отъ отца, едобными лепешками. Но, съ другой стороны, ему становилось досадно, когда онъ ловилъ себя на этихъ воспоминаніяхъ. Ему хотѣлось совсѣмъ-совсѣмъ забыть и объ тетенькѣ, и обо всемъ „прошломъ“. Не имѣя возможности производить свой родъ отъ Рюриковичей, онъ съ любовью останавливался на гипотезѣ, въ которой представлялъ себя явившимся въ пространство и времени изъ чего-то въ родѣ пѣны морской. Поэтому, когда однажды тетенька, сколотивши деньжонокъ, собралась-было навѣстить „милаго Фили“ въ Петербургѣ, онъ очень серьезно этимъ встревожился. Мысль, что она пріѣдетъ въ третьемъ классѣ, въ затасканномъ заячемъ салонѣ, что онъ долженъ будетъ, по долгу родства, встрѣтить ее

на дебаркадерѣ, что его могутъ при этомъ *увидѣть* и что во всякомъ случаѣ лакей Готлибъ несомнѣнно выразить глубочайшее изумленіе при видѣ столь мало аристократической старухи, не давала ему спать. И онъ въ первый разъ въ жизни рѣшился вполне серьезно и даже рѣзко разъяснить милой тетенькѣ, какого рода характеръ должны имѣть ихъ отношенія на будущее время.

Тѣмъ не менѣе, хотя Каширинъ съ лѣтами и утрачивалъ прежнюю упругость и покладистость, которая дѣлала его особенно достолюбезнымъ, но все-таки онъ отнюдь не могъ жаловаться на судьбу. Знакомство у него было обширное, и онъ могъ черпать въ этомъ морѣ безъ опасенія быть назойливымъ. Конечно, у него не было такихъ друзей, которыхъ мысль постоянно стремилась бы къ нему, которыхъ сердце болѣло бы объ немъ, но все-таки были люди, которые видѣли его съ удовольствіемъ. Эти люди, быть можетъ, не особенно замѣчали его отсутствіе, но, встрѣчаясь съ нимъ, непремѣнно и совершенно искренно восклицали: „а! вотъ и онъ!“ Начальство тоже аттестовало его способнымъ и достойнымъ, и всякій разъ, когда имѣлось въ виду что-нибудь серьезное, непремѣнно заводилась рѣчь и объ Каширинѣ. Онъ всегда былъ на очереди и зналъ объ этомъ, хотя въ этомъ отношеніи надъ нимъ тяготѣлъ какой-то фатумъ. Слухи о томъ, что ему предстоитъ „постъ“, ходили часто и держались долго и упорно, но въ концѣ концовъ дѣло всегда какъ-то сводилось на нѣтъ. Такимъ образомъ онъ дослужился до очень крупнаго чина и все-таки не пошелъ дальше второстепенной должности. Это, разумѣется, довольно больно щекотало его самолюбіе, но онъ умѣлъ превозмогать себя, и исторія обыкновенно кончалась тѣмъ, что Филиппъ Филиппычъ дня три, четыре послѣ этого высиживалъ въ домашнемъ карантинѣ, на бульонной порціи, но потомъ попрежнему являлся въ департаментъ для полученія присвоеннаго ему содержанія.

Впрочемъ, несмотря на эти маленькія непріятности, Филиппу Филиппычу грѣхъ было роптать. Служба у него была легкая, благородная, хорошо оплаченная, одна изъ тѣхъ службъ, по поводу которыхъ говорятъ: умирать не надо. Урочныхъ работъ не было, и всѣ занятія главнымъ образомъ заключались въ томъ, что онъ былъ членомъ множества комисій и во всякой умѣлъ заявить себя съ пріятной и полезной стороны. А это еще болѣе расширяло кругъ его знакомства и, стало быть, разнообразило и его ежедневный общенный тепп.

Какъ бы то ни было, все время такъ-называемаго сезона Каширинъ не только жилъ въ свое удовольствіе, но даже не примѣчалъ, какъ время летитъ.

За то лѣтомъ онъ скучалъ, особенно съ тѣхъ поръ, какъ почувствовалъ приближеніе лѣтъ зрѣлости. Знакомые разъѣзжались; комисіи прекращали занятія; въ департаментъ чиновники являлись неаккуратно и слонялись точно на бивакахъ; Петербургъ казался пустымъ. Когда Каширинъ былъ молодъ, онъ поочередно разъѣзжалъ по знакомымъ, которые ютились въ ближайшихъ къ Петербургу дачныхъ мѣстностяхъ и у которыхъ онъ гостилъ по нѣскольку дней. Но съ годами онъ приобрѣлъ привычки, которыя не легко мирились съ разъѣздами и бивачной жизнью, и въ то же время утратилъ легкость и не-



стомчивость, необходимы для пользованія лѣтными удовольствіями. Онъ уставалъ во время прогулокъ, безъ особенной готовности принималъ участіе въ катаньяхъ на лодкахъ и въ чухонскихъ таратайкахъ, и вообще понималъ, что быть гостемъ на дачѣ даже у близкихъ людей стѣснительно. Поэтому лѣто сдѣлалось для него сезономъ трактирныхъ обѣдовъ и желудочныхъ разстройствъ, какъ прямого послѣдствія этихъ обѣдовъ. Вечеромъ онъ обыкновенно отправлялся въ увеселительное мѣсто: по праздникамъ—въ Павловскъ, по буднямъ—преимущественно въ Демидронъ. Тутъ онъ былъ увѣренъ встрѣтить ежели не коренныхъ своихъ знакомыхъ, то ихъ дѣтей. И такова была въ немъ потребность общества, что онъ не только не брезговалъ молодыми людьми, но даже старался „быть съ молодыми молодымъ“, и вслѣдствіе этого охотно принималъ видъ милаго старичка-мерзавца, и по временамъ отпускалъ скромную гнѣзность насчетъ атуровъ дѣвицы Филиппо. Аллеи Демидрона оглашались громкимъ и сочувственнымъ хохотомъ „дѣтей“, внимая которому, Филиппъ Филипычъ выступалъ горделивой походкой индѣйскаго пѣтуха, отнюдь не подозревая, что въ ближайшемъ будущемъ ему окончательно предстоитъ сдѣлаться каплуномъ.

Впрочемъ эти скромныя гнѣзности представляли въ общемъ обиходѣ его жизни исключеніе. Онъ былъ вынужденъ одиночествомъ, потребностью общества и необходимостью стоять на одномъ уровнѣ съ молодежью. Съ наступленіемъ сезона Каширинъ забывалъ объ нихъ и начиналъ съ самымъ серьезнымъ видомъ переливать съ пустого въ порожнее.

И вдругъ все это безмятежіе, созданное цѣною такихъ усилій и такъ зрѣло и строго со всѣхъ сторонъ обдуманное и комбинированное, разомъ рухнуло.

Выше было сказано, что Каширинъ былъ либераль. Либерализмъ этотъ былъ смиренный, не особенно требовательный, и состоялъ въ томъ, что онъ тихое житіе предпочиталъ житію тревожному. Кромѣ того, онъ любилъ почитать „книжку“ и думалъ, что это „ничего“; по временамъ задавалъ себѣ вопросы: „за что? почему?“ и когда не находилъ на нихъ отвѣта, то грустилъ. И еще нерѣдко онъ останавливался на мысли: „что изъ сего произойдетъ?“ и когда, по соображеніямъ его выходило, что ничего хорошаго произойти не можетъ, то опять-таки грустилъ. И эти вопросы, и эту грусть онъ считалъ вполне безопасными, ни для кого не соблазнительными, и въ качествѣ человѣка интеллигентнаго даже полагалъ, что человѣку, кончившему курсъ наукъ, невозможно безъ нихъ обойтись. Разумѣется, однакожъ, со всѣмъ этимъ либеральнымъ арсеналомъ онъ обходился съ крайнею осторожностью, дабы не ввести простодушныхъ людей въ соблазнъ, а подозрительнымъ людямъ не подать повода къ предположеніямъ о потрясаніяхъ и попираніяхъ. Сверхъ того, какъ извѣстно уже, въ его существованіи большую роль играла склонность къ литературѣ, и онъ имѣлъ слабость не считать ее ни распространительницей моровыхъ повѣтрій, ни складомъ ядовитыхъ веществъ, ни разбойничьимъ притономъ.

Съ такимъ умѣреннымъ, осторожнымъ и отчасти грустящимъ міросозерцаніемъ онъ прожилъ всю жизнь и не имѣлъ причинъ жаловаться, чтобъ это сколько-нибудь ему повредило при прохожденіи должностей. Начальники

тоже знали его за чиновника откровенно-либеральнаго; но такъ какъ они и сами были откровенно-либеральныя, то не видѣли никакого ущерба для дѣла въ томъ, что человекъ, безпрекословно выполняющій мѣропріятія и преднамѣренія, по временамъ груститъ. Правда, что иногда начальство, грозя пальчикомъ, называло его „амарантовымъ“ (не краснымъ — нѣтъ!), но называло такъ шутя и любя. Да и онъ зналъ, что это дѣлается „шутя“, и ежели краснѣлъ при этихъ наименованіяхъ, то краснѣлъ не отъ угрызеній совѣсти, а именно только отъ внутренняго ликованія.

И вдругъ времена созрѣли. Выбралась минута, когда всѣ эти вопросы и грусти встали предъ Каширинымъ въ совершенно непредвидѣнной имъ безобразной наготѣ. Минута, въ продолженіе которой весь его скромный жизненный обиходъ пролетѣлъ передъ его вспугнутою мыслью, въ видѣ безконечнаго и сплошнаго преступленія. Минута, въ продолженіе которой онъ долженъ былъ ознакомиться съ истиной, что „такъ нельзя“, узнать, что присутствованіе въ комисіяхъ „не терпѣть суеты“, и что пользованіе дивидендами и грусть по этому поводу суть вещи несовмѣстимыя. Минута, въ которую онъ долженъ былъ убѣдиться, что для либеральной грусти нѣтъ возврата, что она ничѣмъ не смывается, не заглаживается: ни раскаяніемъ, ни твердымъ намѣреніемъ впредь идти веселыми стопами, и что слѣдовательно...

Главное во всемъ этомъ переполохѣ заключалось для Каширина въ томъ, что онъ долженъ былъ отъ А до Z пересмотрѣть свой бюджетъ и большинство его статей подвергнуть радикальной переработкѣ.

Надежнѣйшею доходною статьею этого бюджета представлялась пенсія; затѣмъ, къ счастью, онъ не только не истратилъ оставленнаго ему пронскимъ благодѣтелемъ капитала, но и сдѣлалъ въ теченіе многолѣтней службы нѣкоторые сбереженія. Эти сбереженія были не весьма значительны, но все-таки нѣчто представляли. Въ итогѣ общій годовой доходъ образовалъ сумму приблизительно въ три съ половиною тысячи рублей. На эти деньги предстояло жить изо дня въ день, поддерживая себя на высотѣ той респектабельности, которая вошла уже въ его привычки и — что еще важнѣе — служила самымъ прочнымъ основаніемъ заведенныхъ имъ связей.

За приведеніемъ въ ясность цифры годового дохода, само собою разумѣется, послѣдовало подробное разсмотрѣніе расходныхъ статей бюджета.

Остаются ли ему при прежней квартирѣ (онъ платилъ за нее, съ отопленіемъ, девятьсотъ рублей въ годъ, а съ швейцаромъ и дворникомъ и всю тысячу рублей), или переѣхать на новую, болѣе соответствующую его нынѣшней финансовой силѣ? Этотъ вопросъ Каширинъ, почти не думая, рѣшилъ въ пользу старой квартиры. Здѣсь онъ жилъ больше пятнадцати лѣтъ, и въ теченіе этого длиннаго періода времени успѣлъ устроить свое гнѣздо такъ, что оно отвѣчало всѣмъ причудамъ стараго холостяка. Какъ человекъ отъ природы солидный, онъ и въ молодости неохотно перемѣщался съ квартиры на квартиру; теперь же самая мысль о переѣздѣ представлялась ему ненавистною. По особенной случайности, и хозяинъ дома, въ которомъ жилъ Филиппъ Филиппычъ, тоже былъ человекъ солидный и исконный домовладѣлецъ, воздерживавшійся отъ надстроекъ и перестроекъ и дѣлавшій на квартирантовъ лишь „христіанскія“ надбавки (Каширинъ однакожъ помнилъ время,



когда онъ за эту самую квартиру платилъ только четыреста рублей въ годъ). Съ своимъ домовладѣльцемъ Филиппъ Филиппычъ даже близко сошелся, обѣдывалъ у него и проводилъ за пулькой вечера. Разстаться съ нимъ представлялось какъ бы измѣною. Сверхъ того, каждый шагъ въ этой квартирѣ напоминалъ ему что-нибудь пріятное и даже памятное. Вотъ здѣсь ему подали конвертъ, извѣщавшій его о награжденіи орденомъ св. Анны 2-й степени (это былъ первый полученный имъ орденъ, помимо всякихъ петлицъ и даже помимо св. Станислава вторыхъ); вотъ на томъ мѣстѣ онъ получилъ извѣстіе о назначеніи его членомъ общаго присутствія, а вотъ тамъ самъ директоръ вручилъ ему (лично для этого пріѣзжалъ!) звѣзду Станислава 1-й степени, причемъ выразилъ увѣренность, что Каширинъ и впредь будетъ лучшимъ украшеніемъ вѣдомства Дивидендовъ и Раздачъ. Въ этой квартирѣ онъ сосредоточилъ тысячу бездѣлушекъ, которыя съ такимъ тщаніемъ собиралъ въ теченіе цѣлой жизни; здѣсь хранились разные сувениры, вышитыя подушки, коврики, подаренные дамами; этою квартирой онъ гордился, когда у него разъ или два въ годъ собирались знакомыя дамы, слушали ріаномѣсаніе и кушали конфеты, фрукты и мороженое. И вдругъ — разстаться съ этимъ дорогимъ, излюбленнымъ гнѣздомъ!.. Никогда!

И такъ, вотъ первая статья расхода въ тысячу рублей (почти треть всего доходнаго бюджета), которую ни подъ какимъ видомъ урѣзать нельзя.

Вторая статья — лакей Готлибъ. Готлибъ, яко нѣмецъ, получалъ съ вѣдой четыреста восемьдесятъ рублей въ годъ, а съ праздничными выходило даже нѣсколько болѣе пятисотъ рублей. Расходъ этотъ оказывался несомнѣнно непосильнымъ. Ежели на мѣсто Готлиба нанять Ивана или Прохора, то, конечно, это обойдется рублей на двѣсти дешевле, но за то, во-первыхъ, отъ Прохора навѣрное будетъ вонять, во-вторыхъ, онъ непременно будетъ ходить въ гости въ барскихъ брюкахъ и сюртукахъ, въ-третьихъ, станетъ постепенно пропивать господское бѣлье, въ-четвертыхъ, изъ квартиры-игрушечки сдѣлаетъ свинной хлѣвъ. Въ результатъ окажется убытокъ, вдвое болѣйшій противъ того, чего стоитъ самъ Прохоръ со всѣми своими потрохами. Ежели же нанять не Прохора, а Амалию, то еще бабушка на-двое сказала, дешевле ли она обойдется, нежели Готлибъ, особливо если Амалия... Хотя же онъ, при почтенныхъ своихъ лѣтахъ, и надобности существенной не находилъ въ женскомъ уходѣ, но вѣдь съ другой стороны... Но предположимъ, что онъ и устоитъ противъ искушенія — кто же однако поручится, что одинъ фактъ пребыванія Амалии въ его квартирѣ не подастъ повода для безчисленныхъ и притомъ незаслуженныхъ анекдотовъ? Вотъ если бы онъ держалъ дома обѣдъ, и Амалия могла совмѣстить въ своемъ лицѣ и кухарку, какъ это водится у отставныхъ чиновниковъ, населяющихъ Колтовскія — ну, тогда...

О, вопросы о выѣденномъ яйцѣ! о, мучительнѣйшіе, горчайшіе изъ всѣхъ вопросовъ человѣческаго существованія! Какимъ тяжелымъ гнетомъ лежите вы на этомъ бѣдномъ человечествѣ, которое получаетъ какихъ-нибудь три тысячи пятьсотъ рублей въ годъ и обязывается обрядить и пріютить на нихъ свою голову! И сколь неспособнѣйшимъ еще гнетомъ вы должны лежать на томъ человечествѣ, которое на тотъ же предметъ располагаетъ не болѣе какъ 20 — 30 копѣйками въ день!

Въ концѣ концовъ дѣло Готлиба было выиграно, и такимъ образомъ расходъ по двумъ первымъ статьямъ составилъ полторы тысячи рублей въ годъ.

Статья третья: прачка. Каширинъ былъ и самъ по себѣ чистолютецъ, но, сверхъ того, онъ до извѣстной степени и обязанъ былъ быть чистолютецкимъ. Нельзя проводить большую часть дня въ гостяхъ и въ то же время не представлять собой образца самой щеголеватой опрятности. Ежели знакомые радушно принимаютъ у себя и кормятъ обѣдами и ужинами, ежели жены ихъ удостоиваютъ знаками довѣрія и дружбы, то по малой мѣрѣ эти люди вправѣ ожидать, чтобъ предметъ этого радушія и дружбы носилъ чистое и благоуханное бѣлье. Каширинъ понималъ это, и потому никогда не тратилъ на прачку, духи, губки и прочія туалетныя принадлежности менѣе трехсотъ рублей въ годъ. Объ немъ говорили, что отъ каждой части его тѣла пахнетъ особенными духами, и онъ гордился этимъ. Онъ гордился, что на всемъ тѣлѣ у него ни пятнышка, ни прыщика, что лысина на его головѣ не лоснится и не отлиываетъ желтизною, а имѣетъ видъ матово-бѣлой поверхности съ легкимъ розовымъ оттѣнкомъ, что ни на щекахъ, ни на носу у него нѣтъ непріятныхъ синихъ жилокъ, что бакенбарды его щегольски расчесаны вѣеромъ, а усы и подбородокъ тщательно каждый день выбриты. Могъ ли онъ думать о сокращеніяхъ по этой статьѣ теперь, когда потребность въ людскомъ радушіи и дружбѣ дѣлалась для него болѣе нежели когда-нибудь необходимою?—Разумѣется, не могъ! Напротивъ того, теперь-то именно и предстояло напрячь всѣ свои силы къ тому, чтобъ ни зрѣніе, ни обоняніе радужныхъ амфитріоновъ ни на минуту не были оскорблены по его поводу.

Итого—по тремъ статьямъ—тысяча восемьсотъ рублей.

Статья четвертая: одежда и обувь. Здѣсь Каширинъ надѣялся достигнуть существенныхъ сбереженій. Обыкновенно онъ заказывалъ платье у Шармера, и не видѣлъ причины отказаться отъ этой фирмы и на будущее время. Но до сихъ поръ онъ былъ по истинѣ беззастѣнчиво расточителемъ относительно одежды. Онъ освѣжалъ свой костюмъ каждый сезонъ и даже въ домашнемъ неглижѣ позволялъ себѣ прихотливое разнообразіе. Вслѣдствіе этого у него образовался громаднѣйшій запасъ платья, очень мало ношеннаго, о которомъ онъ рѣдко вспоминалъ и которое висѣло въ шкафу безъ всякаго употребленія. Теперь наступило самое время утилизировать этотъ запасъ, и все, что можно, пустить въ ходъ. Но какъ онъ ни старался сократить свои расходы по этой статьѣ, все-таки оказывалось, что безъ четырехсотъ рублей въ годъ вполне респектабельнымъ человѣкомъ остаться нельзя (прежде онъ тратилъ на этотъ предметъ не менѣе чѣмъ полторы тысячи рублей). Съ пониженіемъ этой цифры начинается та рубрика людей, которая извѣстна подъ именемъ: *Notmes déclassés*. Это люди въ панталонахъ съ осыпавшимися конечностями, въ сюртукахъ съ лоснящимися и прорванными локтями, въ сапогахъ, напоминающихъ своей формой рыбу камбалу. Попасть въ эту рубрику... ужасно! ужасно!

Нѣтъ, лучше смерть, чѣмъ жизнь поносна!

Конечно, есть люди, которые и въ пиръ, и въ мѣръ, и въ утро, и въ полдень, и въ вечеръ являются въ одномъ и томъ же пиджакѣ, но...



Итого: двѣ тысячи двѣсти рублей.

Статья пятая: экипажъ. Къ экипажу Каширинъ и прежде прибѣгалъ довольно рѣдко. Смолоду онъ приучилъ себя къ мысли, что моціонъ необходимъ, а внослѣдствіи привычка къ чужимъ обѣдамъ еще болѣе укрѣпила его въ непреложности этой истины. Всѣ знакомые были убѣждены, что Каширинъ ходитъ пѣшкомъ не изъ скарденности, а по принципу, и въ то же время, понимая, что онъ не имѣетъ средствъ содержать собственный экипажъ (онъ и самъ не скрывалъ этого), даже одобряли въ немъ ту инстинктивную гадливость, которая заставляетъ респектабельнаго человѣка лишь въ крайнихъ случаяхъ прибѣгать къ извозчику. Но, увы! Каширину перевалило за пятьдесятъ; онъ чувствовалъ припадки одышки и началъ припадать на одну ногу... Это значительно усложнило дѣло. А сверхъ того и обычныя петербургскія ненастья, которыя, въ силу пословицы: „гдѣ тонко, тамъ и рвется“, вдругъ предстали передъ Филипомъ Филипычемъ во всей своей безразсѣтности... Словомъ сказать, какъ ни изворачивайся, а безъ двухсотъ рублей по этой статьѣ обойтись нельзя.

Итого: двѣ тысячи четырехста рублей.

Статья шестая: расходы мелочныя. Они неуловимы, но несомнѣнны. Недаромъ они заслужили названіе расходовъ общежитія по преимуществу; недаромъ расходы самыя существенныя очень часто ступеваются передъ ними. Изъ-за расходовъ этой категоріи люди отказываютъ себѣ въ правильномъ питаніи, впадаютъ въ неоплатные долги, разоряются. Всѣ эти Берты, Сюзеты, Эмилиі—все это расходъ мелочной, расходъ общежитія, не подходящій ни подъ какую рубрику солиднаго домашняго бюджета. Но и помимо Бертъ нельзя, напримѣръ, отказать себѣ въ удовольствіи съѣздить отъ времени до времени въ театръ, особенно къ французамъ. Это предохраняетъ отъ одичалости и, сверхъ того, даетъ прекрасное содержаніе для *conversations de société*. А если ѣздить въ театръ, то не сидѣть же гдѣ-нибудь въ дешевыхъ мѣстахъ, когда половина залы наполнена знакомыми. Затѣмъ нельзя, встрѣтившись на улицѣ съ пріятелемъ, направляющимъ стопы свои въ ресторанъ, не войти съ нимъ вмѣстѣ и чего-нибудь не съѣсть. Нельзя не отвезти дорогой именинницѣ или новорожденной конфетъ. Наконецъ, обѣдая каждодневно въ людяхъ, невозможно, отъ времени до времени, не дѣлать маленькихъ подарковъ прислугѣ. Ибо въ противномъ случаѣ какой-нибудь хамъ будетъ захлопывать дверь у васъ передъ носомъ, будетъ снимать съ васъ пальто совершенно такъ, какъ бы сдиралъ кожу, будетъ въ вашемъ присутствіи ковырять въ носу, наконецъ, подавая за обѣдомъ блюдо, будетъ толкать въ плечо, чтобъ не зѣвали, брали скорѣе. Ахъ, эти мелочныя расходы! Очень рѣдко ихъ принимаютъ въ расчетъ, но кто же не знаетъ, какую роль они играютъ въ человѣческомъ существованіи! Спросите любого лакея (хама!!), получающаго пятнадцать рублей въ мѣсяцъ жалованья, и тотъ скажетъ, что изъ нихъ десять уйдутъ „такъ, между пальцевъ“. Обыкновенно на выручку тутъ приходятъ случайныя доходы, но у Каширина таковыхъ не предвидѣлось, и онъ волей-неволей долженъ былъ занести эту статью въ свой бюджетъ въ цифрѣ строго определенной. Долго онъ колебался между четырьмя и пятьюстами рублей, и

наконецъ вынужденъ былъ сознать, что менѣ чѣмъ пятью стами рублями и думать извернуться нельзя.

Итого: двѣ тысячи девятьсотъ рублей.

Статья седьмая: сигары. При одной мысли объ этой статьѣ Филиппъ Филиппычъ побѣдился, и ему даже показалось, что въ кабинетѣ его уже запахло папиросами. Дѣло въ томъ, что онъ выкуривалъ не менѣ двухъ сотенныхъ ящичковъ въ мѣсяцъ, платя за сотню отъ 15 до 20 рублей, что составляло въ годъ расхода болѣе четырехсотъ рублей. Цифра громадная, особенно въ виду того, что свободныхъ суммъ въ доходномъ бюджетѣ остается всего шестьсотъ рублей. Тѣмъ не менѣ, она являлась до такой степени необходимой и даже неизбѣжной, что Каширинъ рѣшился просто не думать объ ней. Онъ занесъ ее расходомъ и махнулъ на все рукой.

Свободной суммы осталось всего-на-все двѣсти рублей, и вотъ тутъ-то выступилъ во всей безобразной наготѣ:

### ОБЪДЪ!!!

О правильномъ, ежедневномъ обѣдѣ Каширинъ, конечно, уже не помышлялъ: онъ понималъ, что карьера его, какъ прихлебателя, не только не кончилась, но, такъ сказать, вступила въ новый и острый фазисъ. Однакожъ возможны случаи, когда, несмотря на обширность круга знакомыхъ и ихъ радушіе, самый изворотливый прихлебатель можетъ найтись въ необходимости отъ времени до времени отобѣдать на свой собственный счетъ. Таковы случаи болѣзненныхъ припадковъ, которые въ послѣднее время повторялись съ Каширинымъ очень нерѣдко; затѣмъ случаи проливного дождя, бурь, градобитій, моровыхъ повѣтрій, непріятельскихъ вторженій и т. д., когда даже чувство приличія не позволяло являться къ обѣду „запросто“ (могутъ сказать: вотъ до чего проголодался человѣкъ, что даже среди грома и молній разнюхалъ, что готовится на кухнѣ). Наконецъ и такіе случаи возможны, что придется обѣдать къ Оомѣ Оомичу, и вмѣсто обычнаго привѣтствія: „пожалуйте! кушать накрыто!“ — услышишь, что Оома Оомичъ „приказали долго жить“. Знакомые же у Каширина все были такіе, которые болѣе или менѣ склонялись къ закату дней; слѣдовательно убыль въ ихъ рядахъ была даже естественна. Вотъ Петръ Петровичъ съ утра до ночи кашляетъ, а Лукерья Ивановна сказывала, что и съ ночи до утра никому покою кашлемъ не даетъ; Лука Лукичъ постоянно на плечо жалуется; Иванъ Ивановичъ одну ногу волочить; Семень Семенычъ — съѣсть тарелку супа и запыхается, словно семь верстъ пробѣжалъ. Можно ли, въ виду этихъ немощей, рассчитывать на вѣрный обѣдъ? Ряды стариковъ рѣдѣютъ и будутъ рѣдѣть... а ихъ дѣти? Можно ли предполагать, что они будутъ поддерживать родительскія традиции? Увы! они и теперь поглядываютъ на Филиппа Филиппыча исподлбья — точно хотятъ сказать: однакожъ, братъ, апетитъ у тебя! — что же будетъ тогда, когда одышки, параличи и ревматизмы, одержавъ побѣду и одолѣніе надъ старыми орлами, развяжутъ руки этимъ выглядывающимъ исподлбья орлятамъ?

Но этого мало — а лѣто? Лѣто попрежнему Дамокловымъ мечемъ виситъ надъ головой Каширина, — лѣто мертвое, голодное, требующее во что бы то ни стало обѣда на собственный счетъ! Прежде, когда онъ вкушалъ отъ



дивидендовъ и когда бюджетъ его представлялъ избытокъ, этотъ экстраординарный расходъ не особенно тревожилъ его; но нынѣ, когда въ бюджетѣ предвидѣлось всего двѣсти рублей...

— А вѣдь съ двумя стами рублями, пожалуй, не обернешься! — мучительно размышлялъ Филиппъ Филипычъ: — если на лѣтнее время да на непредвидѣнные случаи положить только пять мѣсяцевъ въ году, то-есть полтора ста дней, то и тогда, считая по два рубля за каждый обѣдъ... Не въ греческую же кухмистерскую, въ самомъ дѣлѣ, идти!

Во всякомъ случаѣ, доходный бюджетъ оказывался исчерпаннымъ безъ остатка. Съ грѣхомъ пополамъ концы сводились съ концами, но стоило явиться малѣйшей случайности, чтобъ равновѣсіе нарушилось и произошелъ мучительный скандалъ. Передъ Каширинымъ стояло своего рода Прокустово ложе, въ которомъ онъ обязывался ожидать заката дней своихъ, не шевелясь и даже не позволяя себѣ черезчуръ свободного вздоха.

Въ первый разъ въ жизни ему сдѣлалось жутко.

На первыхъ порахъ Каширинъ однакожъ не только не ощутилъ никакой перемены, но даже какъ бы вошелъ въ моду. Никто не заперъ передъ нимъ дверей, а всякій, напротивъ, спѣшилъ выразить ему свое сочувствіе. Посыпались вопросы: „какимъ образомъ? почему?“ и, главное, „за что?“ На вопросы эти Филиппъ Филипычъ отвѣчалъ скромнымъ мычаніемъ, не позволяя себѣ критики, но въ то же время предоставляя каждому измѣрить всю глубину его невинности. Въ виду этой скромности, симпатіи, разумѣется, еще болѣе усилились. Тайный совѣтникъ Стрекоза недоумѣло шевелилъ густыми бровями и не то уныло, не то неодобрительно покачивалъ головой; статскій совѣтникъ Растопыря растерянно спрашивалъ себя: „куда же мы, наконецъ, идемъ?“ Что же касается до второстепенныхъ чиновниковъ вѣдомства Раздачь, то они даже рѣшили прямо протестовать, устроивъ въ честь Каширина обѣдъ, и только по внимательномъ обсужденіи послѣдствій этой демонстраціи отложили приведеніе ея въ исполненіе до болѣе благоприятнаго времени.

Дамы тоже приняли дѣятельное участіе въ этихъ симпатіяхъ. Онѣ наперерывъ другъ передъ другомъ зазывали Каширина къ себѣ, заставляли каждаго кушанья брать по два раза и вообще чествовали.

— Въ четвергъ у насъ будетъ Каширинъ. Душка! вы пріѣдете? — говорила Марья Ивановна, приглашая Анну Петровну.

— Каширинъ? Это не тотъ ли Каширинъ, который...

— Ну, да, Каширинъ... тотъ самый Каширинъ, который высоко держалъ знамя... конечно, вы слышали?

Такіе знаки вниманія очень тронули Филипа Филипыча; однакожъ у него не закружилась отъ нихъ голова и онъ продолжалъ вести себя съ замѣчательнымъ тактомъ. Онъ не только не жаловался на неблагодарность начальства, но даже оправдывалъ его. *Начальство не могло иначе поступить.* Но и онъ, съ своей стороны, *не могъ поступить иначе.* Онъ не пожертвовалъ своими убѣжденіями и сохранилъ свое достоинство — а это главное. Ему предстоялъ къ будущей пасхѣ чинъ тайнаго совѣтника, но онъ сказалъ себѣ,

что лучше на всю жизнь остаться дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ, нежели выпустить изъ рукъ знамя, которое онъ въ теченіе всей жизни высоко держалъ. Въ свое время онъ былъ нуженъ — и всякій кличъ во всякое время и на всякомъ мѣстѣ находилъ его готовымъ и способнымъ. Теперь обстоятельства перемѣнились; потребовались люди иного закала, онъ сдѣлался ненужнымъ — онъ понимаетъ это и не ропщетъ. Возьмите вотъ этотъ сюртукъ; сегодня онъ новъ, фасонистъ — и его носятъ съ удовольствіемъ; завтра въ немъ продрались локти — и его бросаютъ. Знамя, которое онъ высоко держалъ, оказалось несоотвѣтствующимъ требованіямъ времени — онъ созналъ это и спряталъ знамя въ карманъ. Но онъ надѣется, что спряталъ его не навсегда и что наступитъ моментъ, когда начальство наконецъ оцѣнитъ. Скоро ли этотъ моментъ наступитъ — онъ не знаетъ, но вѣрить, глубоко вѣрить, что пѣсня его далеко не спѣта. Тогда онъ вынетъ знамя изъ кармана и опять начнетъ высоко держать его. Притомъ же ему время и отдохнуть. До сихъ поръ онъ безъ устали трудился; теперь — пора и ему узнать, что такое свобода. Чувство свободы, *mesdames*, — это такое чувство... ахъ какое это чувство! Все равно что послѣ длинной-длинной зимы въ первый разъ выѣхать, въ теплый апрѣльскій вечеръ, на Елагинъ Островъ, на *pointe*! Вотъ это какое чувство! Дышется полной грудью, а мысли такъ и плывутъ, все свѣтлыя, радостныя мысли. А главное, на немъ не лежитъ теперь никакихъ обязанностей, такъ что онъ всего себя можетъ посвятить своимъ друзьямъ. Притомъ же онъ имѣетъ вполнѣ обезпеченный кусокъ, а потому и въ матеріальномъ отношеніи особеннаго стѣсненія не предвидитъ. Вообще онъ больше доволенъ, чѣмъ огорченъ, и ежели кто-нибудь будетъ по этому случаю ощущать угрызенія совѣсти, то, конечно, не онъ...

— А Богъ когда-нибудь всѣхъ разсудитъ! — смиренно прибавлялъ онъ въ заключеніе.

Съ трогательнымъ изумленіемъ внимали „чины“ этимъ разумнымъ рѣчамъ и отъ полноты души восклицали: „вотъ истинный христіанитъ!“ А дамы и дамочки къ сему присовокупляли: „*ma chère! il est sublime d'abnégation!*“

— А мнѣ такъ сдается, что мы съ вашимъ превосходительствомъ еще послужимъ! — обнадеживалъ его тайный совѣтникъ Стрекоза, ласково похлопывая по колѣнкѣ.

На что Каширинъ, съ своей стороны, отвѣтствовалъ:

— Что касается до меня, то не могу и не имѣю надобности скрывать: я всегда готовъ.

И съ этими словами предлагалъ *madame* Стрекозѣ руку, чтобъ вести ее въ столовую.

Словомъ сказать, со всѣхъ сторонъ на него сыпались приглашенія и напоминанія, а ежели онъ манкировалъ, то и нѣжныя упреки.

По счастливой случайности, въ это же критическое время ему повезло и въ преферансѣ. Какъ будто сама судьба охраняла его крыломъ своимъ. Имѣя обыкновеніе каждый день, по возвращеніи домой, записывать свой проигрышъ или выигрышъ, онъ къ концу перваго мѣсяца свободы сосчиталъ, что остался по картамъ въ барышѣ на семьдесятъ-одинъ рубль сорокъ-пять копѣекъ. Стало быть, надежда на случайныя статьи дохода еще не ис-



чезла. Составляя свой бюджет, онъ понималъ, что существуетъ особая и очень существенная статья: „занятіе картами“; но такъ какъ онъ не зналъ, какъ ее сосчитать, доходомъ или расходомъ, то и предпочелъ лучше не упоминать объ ней вовсе. Теперь же оказывалось, что это статья несомнѣнно доходная и что ежели на будущее время взглянуть на нее серьезнымъ окомъ, то... Это такъ его ободрило, что онъ почти свѣтло взглянулъ въ лицо будущему и тутъ же включилъ въ свой доходный бюджетъ новую статью: „Отъ занятія картами 800 руб.“, добавивъ впрочемъ въ скобкахъ: „доходъ не окладной“.

Словомъ сказать, ничего въ его обиходѣ, казалось, не измѣнилось, и только утро сдѣлалось какъ будто нѣсколько длиннѣе. Прекращеніе обязательной ходьбы въ департаментъ оставило за собой пустоту, которую онъ наполнялъ лишь съ трудомъ. Онъ ходилъ изъ комнаты въ комнату, внимательно перечитывая газеты (одну онъ выписывалъ самъ, другую ему обязательно сообщалъ домовладѣлецъ), свистѣлъ, напѣвалъ, даже вертѣлъ ручку на ріано-мésanique, чего прежде съ нимъ никогда не бывало. Но болѣе всего его выручала такъ-называемая „писанная“ литература. Въ нашемъ интеллигентномъ обществѣ во всякое время ходятъ по рукамъ таинственныя и до брайности либеральныя „записки“ и „проекты“. То статскій совѣтникъ Растопыря пуститъ въ ходъ „И мою ленту“; то тайный совѣтникъ Стрекоза потихоньку показываетъ знакомымъ „Мой посильный вкладъ“; то преста-рѣлый „Опытный сановникъ Чимпандзе“ излагаетъ кратко „А мое мнѣніе — все истребить и симъ способомъ прекратить дальнѣйшее распространіе язвы“. По временамъ появится и изъ провинціи какой-нибудь выходецъ съ лона природы и тоже по секрету докладываетъ свою „капельку“. И въ каждой изъ этихъ „лентъ“ высказывается: вотъ это — прекратить, а вотъ это — развить. И въ каждой авторъ попеременно то иронизируетъ, то содрогается, то предается сладкимъ упованіямъ. И каждая „капелька“ читается съ жадностью, служитъ предметомъ нескончаемыхъ разговоровъ „потихоньку“, во свидѣтельство, что руссійское свободомысліе, подобно досто-славному курилкѣ, не умираетъ. Каширинъ предавался чтенію подобныхъ записокъ съ увлеченіемъ. Онъ чутьемъ пронюхивалъ о существованіи чего-нибудь новенькаго въ этой области и непременно доставалъ. Наглотавшись вольно-мыслія, онъ смѣло глядѣлъ въ глаза предстоящему обѣду „въ гостяхъ“, зная напередъ, что тема для собесѣдованія готова. А ежели при этомъ появлялись въ газетахъ еще какія-нибудь неожиданныя производства и назначенія, то разговоръ достигалъ размѣровъ такого преступнаго дерзновенія, что нѣкоторые изъ присутствующихъ даже наматывали себѣ на усь...

Покончивши съ утромъ, онъ выходилъ въ четыре часа на Невскій и прогуливался, стараясь при этомъ какъ можно меньше припадать на ногу. По временамъ заходилъ куда-нибудь съ визитомъ и узнавалъ новости дня, причемъ непременно обнаруживалось нѣчто до того изумительное (и смѣшно, и больно!), что съ языка его невольно срывалось: „да куда же мы, въ самомъ дѣлѣ, идемъ!“ Въ шесть часовъ, предварительно переодѣвшись, онъ у кого-нибудь обѣдалъ и во время обѣда разсуждалъ о мѣрахъ, предлагаемыхъ въ только-что прочитанной „запискѣ“ земскаго дѣятеля Пафнутаева. Разсуж-

далъ солидно и умно, и притомъ стараясь, чтобъ Пафнутьевскія мысли были понятны даже для дамъ. Послѣ обѣда, если устраивалась пулъка, то садился за преферансъ, причемъ держалъ карты такъ, чтобъ любопытствующій Растопыря не могъ видѣть его игру. Ежели же пулъка не составлялась, то отправлялся въ театръ или же въ другой знакомый домъ, гдѣ, по его соображеніямъ, хозяинъ долженъ былъ быть отъ тоски, въ ожиданіи, не зайдетъ ли кто на огонекъ. Здѣсь немедленно дѣлалось распоряженіе о привлеченіи другихъ партнеровъ; затѣмъ развѣртывались столы, и вечеръ незамѣтно проходилъ среди возгласовъ: „пассъ“, „куплю“, „семь безъ козырей“ и т. д. И въ заключеніе ужина, а за ужиномъ, разумеется, новое изложеніе Пафнутьевскихъ идей...

Въ этомъ пріятномъ круговоротѣ прошелъ весь зимній сезонъ. Подъ конецъ Каширинъ такъ возгордился, что порою ему даже думалось, что начальство уже сознало свою ошибку и что не сегодня, такъ завтра къ нему прискачетъ изъ департамента курьеръ съ запечатаннымъ конвертомъ. Однако дни проходили за днями, а курьеръ не пріѣзжалъ. Это въ одно и то же время и изумляло, и пугало его. Изумляло потому, что, перечисляя въ своемъ умѣ персоналъ вѣдомства Дивидендовъ и Раздачъ и отдавая впрочемъ каждому должное, онъ по справедливости находилъ, что въ этомъ департаментскомъ букетѣ онъ представлялъ собою цвѣтокъ, по малой мѣрѣ не уступавшій, въ смыслѣ красоты и благоуханія, прочимъ, стоящимъ у источника дивидендовъ, цвѣткамъ. Пугало — потому что для человѣка, всю жизнь игравшаго дѣятельную роль въ извѣстномъ дѣлѣ, не можетъ быть ничего страшнѣе, какъ мысль: „а что, ежели обо мнѣ забыли?“

Разуждая по совѣсти, онъ не могъ не придти къ убѣжденію, что хотя онъ и отлично-достойный цвѣтокъ, но что цвѣтковъ приблизительно такой же красоты и такого же благоуханія все-таки существуетъ въ природѣ больше чѣмъ достаточно. Что, слѣдовательно, пѣтъ ничего легче, какъ составить во всякое время какой угодно департаментскій букетъ. Возьми Иванова, Ѳедорова, Гаврилова, перемѣшай ихъ съ Перерепенкой, Козулей и Ухвертовымъ, а въ середину, для красоты, воткни что-нибудь подушистѣе — и букетъ готовъ. Сначала, быть можетъ, онъ будетъ благоухать нѣсколько робко, но чѣмъ дальше, тѣмъ сильнѣе и смѣльѣе. Гавриловы, Ухвертовы и Козули на то и созданы, чтобъ соответствующимъ образомъ благоухать подъ начальственнымъ руководствомъ. Но этого мало: всего важнѣе то, что они растутъ рѣшительно вездѣ, на всякомъ мѣстѣ, такъ что стѣбитъ только протянуть руку, чтобъ сорвать Ѳедорова или Перерепенку, совершенно равносильныхъ Козулѣ и Иванову. Поэтому, когда по какимъ-нибудь причинамъ Ухвертовъ выбываетъ изъ букета, то немедленно на его мѣстѣ появляется Гавриловъ, который уже давно пробивался тутъ же, гдѣ-то подъ мочалкой, обвивающей букетъ, но его покуда не примѣчали.

Филиппъ Филиппычъ долженъ былъ сознаться, что все это вполне вѣрно и безспорно, и что даже онъ самъ, во времена своего департаментскаго благополучія, открыто проповѣдовалъ теорію безпрепятственной замѣны Ивановыхъ Ѳедоровыми — и наоборотъ. Себя онъ, разумеется, выключалъ тогда изъ этого оборота, такъ какъ думалъ совершенно искренно, что лично онъ благоухаетъ



особо и несравненно; но теперь, за неприбытіемъ курьера съ запечатаннымъ конвертомъ, въ его голову начали западать на этотъ счетъ сомнѣнія. Чтò, ежели и онъ принадлежитъ къ тому безчисленному сонмищу Ивановыхъ, Ѳедоровыхъ, Гавриловыхъ и проч., которые непримотливо прозябають при всякомъ проѣздѣ шляхъ и съ которыми можно поступить по вдохновенію, то-есть или воспользоваться ими, какъ составною частью букета, или просто сорвать, понюхать и бросить?

Оставалось впрочемъ въ запасъ одно утѣшеніе: Ивановы и Гавриловы — люди безцвѣтные, индифферентные, а онъ — завѣдомый либераль. Слѣдовательно, когда либеральныя начинанія восторжествуютъ, то безъ него не обойтись... Но тутъ его мысль какъ-то сама собою останавливалась, словно встрѣчала какое-то совѣмъ забытое соображеніе. Чего онъ однакожъ желаетъ? Торжества либерализма? Но развѣ либерализмъ уже не торжествуетъ? развѣ того, чтò есть — мало? развѣ желать либерализма большаго и сугубаго не значитъ просто-на-просто желать разнузданности страстей?

То-то вотъ оно и есть...

Онъ началъ взвѣшивать и соображать, и, какъ человѣкъ солидный, не замедлилъ придти къ убѣжденію, что все, чтò требуется, уже есть, и что дальнѣйшія ожиданія свидѣлствуютъ лишь о прихотливой затѣйливости нетвердаго ума. Слѣдовательно онъ былъ *тогда* неправъ. И тогда былъ неправъ, когда, по поводу того или другого назначенія, испускалъ фрондирующее мычаніе, и тогда, когда, по поводу какого-нибудь административнаго мѣропріятія, либерально восклицалъ: „эге!“ А ежели онъ былъ неправъ (теперь онъ уже сознавалъ это не токмо за страхъ, но и за совѣсть), то чтò же мѣшаетъ ему исправиться, воссоединиться, сжечь „знамя“ въ печкѣ, однимъ словомъ, раскаяться? Но тутъ его мысль опять прерывалась, и притомъ безъ всякихъ объяснительныхъ мотивовъ, самымъ оскорбительнымъ образомъ.

— Ну, нѣтъ, mon cher! — говорилъ онъ себѣ съ ироническимъ злорадствомъ: — шалишь! Теперь твоему раскаянію ужъ не повѣрятъ... не такъ-то просто! Теперь хоть ты источники слезъ пролей — и тогда скажутъ, что это крокодиловы слезы!

Подумавши это, онъ однакожъ слегка покраснѣлъ и даже тревожно оглянулся вокругъ, какъ бы опасаясь, чтобъ Пафнутьевъ не сдѣлался свидѣтелемъ его маловѣрія.

Какъ бы то ни было, но не ѣдетъ департаментскій курьеръ... да и не пріѣдетъ!!

Какъ нарочно, лѣто въ этомъ году выдалось изъ ряда вонъ скучное. Наиболѣе короткіе знакомые, словно сговорившись, разѣхались раньше обыкновеннаго, и вдобавокъ кто за-границу, кто въ дальнюю деревню, такъ что всякая надежда около кого-нибудь пощечиться исчезла безвозвратно. Каширинъ вспомнилъ, что гдѣ-то на Пескахъ, въ Слоновой улицѣ, живетъ титулярный совѣтникъ Каверзневъ, у котораго онъ когда-то воспринималъ отъ купели сына. Чуть-чуть было онъ не рѣшился направить свои стопы къ нему: пріѣхалъ-моль къ крестному сыну запросто хлѣба-соли отвѣдать, но подумалъ немного и отложилъ свое намѣреніе. Не потому, чтобъ онъ былъ

прихотливъ насчетъ ѣды, но потому, что апетитъ покуда еще не одержалъ побѣды надъ совѣстливостью.

Волей-неволей пришлось коротать время одному. Скука была страшная, пожирающая; день, и безъ того длинный, въ одиночествѣ казался нескончаемымъ. Съ трудомъ успѣвъ сбыть утро, какъ уже со страхомъ помышляешь о предстоящемъ вечерѣ. Каширинъ началъ усиленно играть на piano-ménage и ежедневно переигрывалъ по нѣсколько разъ всѣ пьесы репертуара. На его несчастье, и Пафиутьевъ временно умолкъ, такъ что и рукописныхъ „лептъ“ не оказывалось. Въ этой крайности онъ предпринялъ ходить къ Доминику, гдѣ часа полтора или два просиживалъ въ бильярдной, наблюдая за чудесами клапшtosовъ и карамболей; но и тутъ случился скандалъ. Такъ какъ Филиппъ Филипычъ ничего не потреблялъ, а слѣдовательно и не расплачивался, то послѣ нѣсколькихъ посѣщеній гарсоны стали перешептываться между собой, подозрительно кивая въ его направленіи. И вотъ однажды, когда онъ уже взялся за ручку двери, чтобъ выйти на улицу, одинъ изъ гарсоновъ подошелъ къ нему и учтиво пригласилъ заплатить за сѣдненный пирогъ. Каширинъ пирога не ѣлъ (онъ даже, по изнѣженности своей, не понималъ, какъ можно что-нибудь ѣсть у Доминика), однако протестовать не рѣшился, вынулъ гривенникъ и заплатилъ. Но, разумѣется, съ тѣхъ поръ къ Доминику ни ногой.

Однако надо же было что-нибудь выдумать, чтобъ убить время. Однажды, прочитавъ въ газетѣ, что молодая французенка ищетъ поступить компаньонкой къ пожилому холостяку или вдовцу, онъ отиравился по адресу. Разумѣется, онъ желалъ только провести время, но оказалось, что „вдовецъ“ ужъ нашелся и повидимому даже поладилъ. Такъ что когда Каширинъ явился, то посѣщеніе было принято совѣмъ въ другую сторону, и вслѣдствіе этого превратнаго толкованія онъ „едва унесъ ноги“.

Тогда онъ обратилъ вниманіе на нянекъ и боннъ, и это дѣйствительно на время развлекло его. Какъ вдругъ въ газетѣ „Краса Демидрона“ появилась такого рода статья:

### НОВЫЙ ДОНЪ-ЖУАНЪ.

„Недавно появился въ Петербургѣ особаго рода цѣнитель женскихъ красоть, который избралъ предметомъ своихъ любострастныхъ наблюденій нянекъ и боннъ. Прочитавъ въ газетахъ объ ищущихъ мѣста нянекахъ, онъ является по адресу, и ежели находитъ молодую особу по своему вкусу и притомъ безъ покровителей, то безъ церемоній предлагаетъ послѣдовать за нимъ въ трактиръ, на что нѣкоторыя, по неопытности, и соглашаются. Но не всѣ. Такъ, напримѣръ, на дняхъ этотъ господинъ удостоилъ своимъ посѣщеніемъ дѣвицу Р. (11-ая рота Измайловскаго полка, 417, согласна въ отъѣздѣ), особу весьма бойкую и замѣчательно-красивой наружности, но едва началъ онъ формулировать свое предложеніе, какъ изъ-за ширмъ выскочилъ нашъ репортеръ Помойкинъ (находившійся, впрочемъ, тамъ съ цѣлями, заслуживающими всякой похвалы) и, въ свою очередь, предложилъ любострастному Донъ-Жуану прослѣдовать внизъ по лѣстницѣ—

Кувыркоть, кувыркоть...



„Что послѣдній и выполнилъ при общемъ хохотѣ высыпавшихъ изъ квартиръ на шумъ жильцовъ. Къ сожалѣнію, г. Помойкинъ, впопыхахъ, не любопытствовалъ узнать фамилію этого господина, но примѣты его таковы: достаточно старъ, волосъ на головѣ мало, лысина содержится опрятно, бакены вѣромъ, одѣтъ прилично и даже щеголевато, употребляетъ духи, на одну ногу припадаетъ. Нѣкоторые изъ жильцовъ дома № 417 увѣряютъ, что видѣли его въ казначействѣ получающимъ пенсію.

„Предостерегаемъ воспитательницъ нашего молодого поколѣнія и убѣждаемъ ихъ оставаться неуклонно на высотѣ своего призванія. А вы, господинъ Донъ-Жуанъ! подумали ли вы, какую преступную игру вы предприняли и на кого обратили ваши взоры, исполненные любовнаго огня?“

Послѣ этого ему оставалось и еще одно развлеченіе: отыскивать по объявленіямъ пропавшихъ собакъ, но для такой забавы у него былъ уже черезчуръ большой чинъ.

Обѣдать онъ чаще всего ходилъ въ Лѣтній садъ, и, разумѣется, старался употребить какъ можно больше времени на выполнение этого обряда. Но четыре тощихъ блюда съѣдались съ обидною быстротою, и къ семи часамъ Филиппъ Филиппычъ не безъ страха примѣчалъ, какъ подкрадывается къ нему вечеръ. Въ былое время онъ сладилъ бы съ вечеромъ легко: закатился бы въ Демидронъ — и дѣло съ концомъ; но при теперешнемъ положеніи бюджета Демидроновъ не полагалось, и онъ волей-неволей возвращался домой, гдѣ въ качествѣ развлечения его ожидалъ чай съ филиповскимъ калачемъ.

Пробовалъ онъ раньше спать ложиться, но выгоды отъ того не получилъ, потому что чѣмъ раньше ложился съ вечера, тѣмъ раньше просыпался утромъ.

Къ довершенію всего, чортъ принесъ изъ Полтавской губерніи Растопырю. Пріѣхалъ Растопыря одинъ, безъ жены, и сейчасть же отъявился къ сердечному другу. Каширинъ, впопыхахъ, было-обрадовался, думалъ: Растопыря — онъ гостепріимный! Но Растопыря былъ тоже себѣ на умѣ; какъ ввалился, такъ сейчасть же объявился:

— Я, дружище, въ Петербургъ всего на недѣлю пріѣхалъ. Утромъ — въ департаментъ и по дѣламъ буду хлопотать, а обѣдать и вечеромъ провести — къ тебѣ!

И вотъ, вмѣсто того, чтобъ на счетъ Растопыри малороссійское салотѣсть, онъ же долженъ былъ на собственные деньги ежедневно брать у Палкина два рублевые обѣда и выслушивать, какъ изнѣженный Растопыря, упиная за обѣ щеки, нѣтъ-нѣтъ да и замѣтитъ: „воля твоя, а отъ супа чѣмъ-то воняетъ!“

Наконецъ наступилъ августъ и вечера потемнѣли. Поились дожди, пестануло холодомъ, сыростью, улицы утонули въ грязи. Скука и одиночество начали давить еще сильнѣе. Но, увы! все это безвременье происходило только въ Петербургѣ. Въ провинціи, напротивъ того, судя по газетнымъ корреспонденціямъ, давно не задоминали осени столь благодатной, благоухающей, волшебной. И никогда въ Парижѣ, на водахъ и морскихъ купаньяхъ кочки не предъявляли такого роскошнаго декольтѣ и не бывали такъ увлекательны. Петербуржцы съѣзжались безпримѣрно туга, а тѣ, которые пріѣз-

жалъ, требовали времени для приведенія въ порядокъ своихъ логовищъ и занимались переборками и разборками съ медленностью по истинѣ возмутительной. Наконецъ къ концу сентября кое-какъ все уладилось.

Каширинъ ринулся въ сезонный круговоротъ съ увлеченіемъ и страстностью человѣка, который долго и безнадежно терпѣлъ. Прежде всего онъ побѣждалъ къ Растопырѣ, который сейчасъ же накормилъ его самымъ свѣжимъ саломъ и очень любезно вспомнилъ, съ какимъ радушіемъ Филиппъ Филиппычъ лѣтомъ угощалъ его раковымъ супомъ и телятиной съ огурцомъ.

— И чѣмъ это отъ супа воняло—право, даже и теперь понять не могу! —прибавилъ онъ однакожъ въ заключеніе.

Потомъ Каширинъ направился къ археологу-библіографу Скорбному-Головану, который обѣдать не далъ, а сообщилъ, что ѣздилъ лѣтомъ въ Испанію, такъ какъ узналъ, что тамъ скрывается собственноручно писанная Барковымъ и доселѣ никому неизвѣстная трагедія, которую, послѣ долгихъ и изнурительныхъ поисковъ, и приобрѣлъ, уплативъ за нее половину своего имѣнія. Потомъ по очереди отобѣдалъ у Птицыныхъ, Бердяевыхъ, Карнауховыхъ, Чистосердовыхъ, Чертополоховыхъ и прочихъ кассационныхъ, апелляционныхъ и дивидендныхъ чиновъ. Послѣдняго посѣтилъ Стрекозу, и притомъ посѣтилъ церемонно („отъявился“), въ воскресный день, потому что, признаться, началъ опасаться этого сановника, который съ минуты на минуту ожидалъ производства въ дѣйствительные тайные совѣтники. Попрежнему въ этомъ высокопоставленномъ домѣ пахло какимъ-то специфическимъ запахомъ, смѣсь пастилы, амбрѣ и старческихъ огрѣховъ; попрежнему лицо хозяина отливало коричневымъ, почти гнѣднымъ цвѣтомъ и попрежнему Стрекоза принялъ Каширина съ благожелательною снисходительностью, то-есть пожалъ обѣ руки, поцѣловалъ въ лобъ и даже подарилъ ему кдлосъ „исполинской“ ишеницы, привезенный изъ саратовскаго имѣнія.

— Ну, а какъ ваше „знамя“? по старому?—любопытствовалъ, въ заключеніе, маститый старецъ, проникательно заглядывая въ глаза Филиппу Филиппычу.

— Гдѣ ужъ... какое теперь знамя!—нѣсколько смущенно отвѣтствовалъ послѣдній.

— То-то! теперь надо это оставить!—наставительно изъяснилъ Стрекоза:—конечно, на всякій случай терять изъ вида не слѣдуетъ, но теперь... Ну, такъ милости просимъ напередки по старому, а сегодня обѣдать не прошу, потому что еще разбираемся: не знаю и самъ, чѣмъ Матрена Ивановна накормитъ меня.

Такимъ образомъ въ этотъ день Каширинъ былъ вынужденъ отобѣдать въ рестораиѣ. Но все-таки онъ былъ затѣячу верстъ отъ мысли, что обѣдъ, съѣденный имъ въ прошлый сезонъ, передъ отъѣздомъ семейства Стрекозы въ Саратовъ, былъ послѣднимъ его обѣдомъ въ этомъ домѣ.

Казалось, все вошло въ прежнюю колею; однако проникательный чловѣкъ уже въ самомъ началѣ сезона могъ подмѣтить, что въ отношеніяхъ „кружка“ къ Каширину завелась какая-то загадочная трещина, на которую



покажѣтъ еще трудно прямо указать, но которая существуетъ уже несомнѣнно.

Начать съ того, что положеніе Каширина, какъ человѣка, пострадавшаго за „знамя“, настолько уже для всѣхъ опредѣлилось, что „интересоваться“ имъ не было никакого повода. Даже сама *la belle madame* Растопыря поняла, что странно какъ-то, по прошествіи цѣлаго года, продолжать хвалиться передъ публикой: „вотъ тотъ самый Каширинъ, который высоко держалъ знамя и за это приказомъ отъ такого-то числа, мѣсяца и года ввергнуть въ безсрочную меланхолію, съ пенсіей въ размѣрѣ половиннаго оклада содержанія и безъ участія въ дивидендахъ“. Увы! мы столько съ тѣхъ поръ пережили, и въ это время столько знаменъ было изъято изъ употребленія и столько людей ввергнуто въ меланхолію, что, право, было даже нелѣпо смотрѣть на Каширина какъ на какой-то выдающійся пунктъ. Послѣ Каширинскаго знамени было знамя Разгильдяевское, послѣ Разгильдяевского—Разуваевское, и еще, и еще... Кто знаетъ нашу склонность къ знаменамъ, тотъ пойметъ, что недостатка въ этомъ отношеніи быть не могло, также какъ не могло быть недостатка и въ мѣрахъ по ввергнутію носителей этихъ знаменъ въ меланхолію. Такъ что, въ виду этихъ послѣдующихъ событій, Филиппъ Филипычъ, съ своимъ старенькимъ истрепаннымъ знаменемъ, представлялся уже чѣмъ-то въ родѣ „отставного козы барабанщика“.

Во-вторыхъ, чтò касается до меланхоліи, то и она, сама по себѣ взятая, т.-е. лишенная просвѣта въ будущемъ, скоро утомляетъ. Мы слишкомъ практическіе люди, чтобъ долго интересоваться „явунями“, и пострадавшій человѣкъ имѣть право на наше вниманіе лишь потолику, поколику его окриляетъ надежда воспрянуть. Но вотъ прошелъ уже цѣлый годъ со времени ввергнутія въ меланхолію, а съ Филипомъ Филипычемъ не только не произошло перемѣны къ лучшему, но даже самъ онъ иногда откровенно признавался, что ничего отраднаго впереди не предвидитъ. Стало быть, въ будущемъ онъ способенъ только пользоваться услугами друзей, а не оказывать таковыя, одолжаться, а не одолжать. А это дѣлало его похожимъ на тѣхъ назойливыхъ субъектовъ, съ шаблонными просительными письмами въ рукахъ, которые вѣчно о чемъ-то кланчаты (по словамъ — на бѣдность, а въ сущности — на выпивку), и ужъ, конечно, никому удовольствія доставить не могутъ.

Въ-третьихъ, наконецъ, заграничный курсъ упалъ до нѣльзя, а цѣна на съѣстные припасы соотвѣтственно поднялась. Въ такихъ условіяхъ по-неволѣ начнешь разсчитывать и роптать, что при домашней трапезѣ постоянно присутствуетъ лишний ротъ, и притомъ такой, отъ котораго однимъ саломъ не отдѣлаешься. Этотъ ротъ потребуетъ и лишней ложки борща, и лишней галушки, и лишняго куска жаренаго, и лишней рюмки вина. А сосчитайте-ка все — выйдетъ мало-мало рубль серебромъ каждый разъ.

Такова была эта трещина, которой покуда никто еще не сознавалъ, но которая непремѣнно и въ очень недалекомъ будущемъ должна была оказаться.

Сверхъ того, въ этомъ кружкѣ всему давалъ тонъ Стрекоза, и потому когда на вопросъ, почему Филиппъ Филипычъ въ такое-то воскресенье не обѣдалъ у его превосходительства, онъ, нѣсколько застыдившись, отвѣчалъ, что не получилъ еще приглашенія, то большинство „друзей“ задумалось. Ибо Стре-

коза слыть за челоуѣка проицательнаго и дѣйствительно былъ таковымъ. Одинъ Скорбиный-Голованъ не задумался и продолжалъ относиться къ Каширину съ возрастающею задумчивостію, но посѣщать археолога-библіографа было не особенно лестно, потому что въ домѣ его царилъ безконечная неурядица. Самъ онъ сидѣлъ въ кабинетѣ и штудировалъ Баркова, а жена вѣсьма и каждому жаловалась, что, благодаря этому занятію, стало совсѣмъ невозможно жить, потому что даже маленькія дѣти — и тѣ до такой степени при-страстились къ сквернословію, что иначе не говорили другъ съ другомъ, какъ тирадами изъ Барковскихъ трагедій. И вдобавокъ у Скорбиныхъ-Головановъ подавался какой-то совсѣмъ неестественный обѣдъ, состоящій изъ молока, растительныхъ веществъ и до нельзя заносеннаго холоднаго ростбифа, который очевидно зажаривался однажды на всю недѣлю.

Тѣмъ не менѣе, начало сезона все-таки прошло благополучно. Кстати же появилась въ обращеніи новая рукописная „записка“, авторомъ которой былъ уже не Пафнутьевъ, а отставной корнетъ и нынѣ земскій дѣятель Голубятниковъ. У Голубятникова было страшное орудіе — иронія; съ этимъ-то орудіемъ онъ напалъ на Пафнутьева. Все, что Пафнутьевъ утверждалъ, Голубятниковъ отрицалъ — и наоборотъ. И къ довершенію всего обѣ записки были либеральныя и обѣ возбуждали въ „обществѣ“ страстный перенолохъ. Пользуясь этою сумятицей, Каширинъ очень ловко эксплуатировалъ ее, лакомясь то у Растопыри, то у Чертополоховыхъ, то у Птицыныхъ и проч., и всѣхъ убѣждая отложить окончательное рѣшеніе возбужденныхъ „вопросовъ“ до тѣхъ поръ, когда со стороны Пафнутьева послѣдуетъ отвѣтъ, въ которомъ онъ, конечно, во всей полнотѣ разъяснитъ сущность Пафнутьевскихъ идей.

Но Пафнутьевъ медлилъ отвѣтомъ, и въ половинѣ сезона трещина начала обнаруживаться. Сначала она показывалась понемногу, потомъ — рѣзче и рѣзче. То свойство, которое Каширинъ приобрѣлъ вмѣстѣ съ отставкой и вслѣдствіе котораго онъ оказывался рѣшительно неспособнымъ кого-либо „одолжить“, вдругъ вышло наружу во всей наготѣ. Никто прежде не задавалъ себя вопроса: „съ какой стати этотъ челоуѣкъ повадился къ намъ обѣдать?“ Теперь же этотъ вопросъ формулировался какъ-то самъ собою и притомъ одновременно у всѣхъ. Всѣ поняли, что отъ Филипа Филипыча ждать нечего, а стало быть и кормить его незачѣмъ.

А рядомъ съ этимъ вопросомъ рождался и другой: не занять ли у него денегъ?

Прежде всѣхъ рѣшился на эту попытку Растопыря, и въ первый же разъ, какъ Филипъ Филипычъ пришелъ къ нему обѣдать, онъ отвелъ его въ сторону и, отважно хлопнувъ по плечу, сказалъ:

— А что, дружище, не дашь ли ты мнѣ тысячку рублей на нѣсколько дней перехватить?

— Гдѣ? — какъ-то нескладно спросилъ Каширинъ, какъ будто не понимая, въ чемъ суть.

— Гдѣ? чудакъ, братецъ, ты! ну, у себя или у меня... гдѣ хочешь!

Но Каширинъ уже понялъ и только растерянно глядѣлъ на своего амфитріона.

— Обѣдать! — крикнулъ Растопыря, и хотя впослѣдствіи ни однимъ



намекомъ не укорилъ друга, но съ тѣхъ поръ въ отношеніяхъ ихъ начала замѣтно вкрадываться холодность.

За Растопырей послѣдовали: Чертополоховъ, Бердяевъ, Чистосердовъ и проч., и со всѣми повторилась одна и та же сцена. Каширинъ никому денегъ не далъ и у всѣхъ остался обѣдать. Но что всего прискорбнѣе, онъ долженъ былъ отказать въ подобной же просьбѣ хорошенькой мадамъ Карнауховой, которая еще наканунѣ, сидя съ нимъ рядомъ за обѣдомъ, пожала ему ногу своей ножкой.

Каширинъ не могъ не знать, что этого ему никогда не простятъ, но онъ словно одеревенѣлъ и продолжалъ посѣщать „друзей“ попрежнему. Къ довершенію всего онъ съ самаго начала сезона такъ счастливо игралъ въ преферансъ, что это наконецъ дѣлалось неприлично. Общее мнѣніе было таково, что онъ подсматриваетъ въ карты, и вслѣдствіе этого Растопыря началъ свои карты прятать подъ столъ. Но если бы даже признать за вѣрное, что въ данномъ случаѣ никакой фальши не было, а дѣйствовало одно счастье, то и тогда эти постоянные выигрыши были просто неприличны. Сегодня три рубля, завтра пять рублей—въ мѣсяцъ-то сколько этихъ рублей набѣжитъ!

Словомъ сказать, видимо подготавлилось что-то натянутое, ежели не явно враждебное. Всѣ замѣчали это, одинъ Каширинъ продолжалъ не замѣчать: до такой степени онъ уже освоился съ ролью прихлебателя. Напротивъ того, онъ легкомысленно радовался, что статья бюджета: „занятіе картами“ все больше и больше тучнѣетъ, и что, быть можетъ, недалеко ужъ время, когда онъ, при ея пособіи, приобрететъ себѣ еще одинъ билетъ внутренняго съ выигрышами займа (два онъ уже имѣлъ).

Но время шло, а вмѣстѣ съ нимъ все яснѣе и яснѣе обозначалась разъ намѣченная трещина. Однажды Филиппъ Филипычъ пришелъ къ Растопырѣ обѣдать (Растопыря былъ закадычный другъ, и потому весьма натурально, что онъ же долженъ былъ открыть враждебныя дѣйствія), и вдругъ оказалось, что одного прибора недостаетъ. Разумѣется, приборъ потребовали, но хозяинъ почему-то счелъ долгомъ обратиться къ Каширину (какъ будто именно для него-то и не доставало прибора), сказавъ:

— Ну, для тебя какъ-нибудь потѣсимся... старый дружище!

Въ этотъ же день случилось и другое происшествіе. Лакей, подавая ветчину съ горошкомъ, толкнулъ Филипа Филипыча въ плечо, какъ бы попуждая его не медлить. Между тѣмъ не далѣе какъ недѣлю тому назадъ, онъ далъ этому лакею рубль, и потому поведение его не могло не показаться загадочнымъ. Стало быть, Растопыри не очень-то стѣсняются въ выраженіи мнѣній о своемъ другѣ, ежели даже рублевая подачка не дѣйствуетъ на хамово отродье!

А вслѣдъ затѣмъ и третье происшествіе. Когда, послѣ обѣда, раскинули столы для преферанса, то хозяинъ подаль карты Бердяеву, Чертополохову и Птицину (четвертую взялъ самъ), а Каширину карты не далъ, сказавъ:

— Ты, дружище, не сердись, что тебя не сажаю. Въ послѣднее время ты началъ такъ часто выигрывать, что, признаться, ужъ тяжелеенко стало.

Однако Филиппъ Филипычъ и тутъ смолчалъ, и даже нѣсколько времени

повертѣлся около madame Растопыря. Но подѣ конецъ не выдержалъ и ушелъ домой.

Сцены болѣе или менѣе такого же содержанія повторялись и въ другихъ домахъ. Каширинъ чувствовалъ, что роль его дѣлается болѣе и болѣе невыносимою, и все-таки не рѣшался порвать. Однажды, переходя черезъ улицу къ подѣзду Карнауховыхъ, онъ собственными глазами убѣдился, что хорошенькая madame Карнаухова, стоявшая у окна (еще у него мелькнуло въ головѣ: вѣрно выглядываетъ своего гусара, корнета Стрекозу!), увидѣвъ его, вдругъ отпрянула; а когда онъ черезъ минуту позвонилъ, то прислуга, отворившая ему дверь, съ смущеннымъ видомъ отвѣтила, что барыня нездорова и кушать не будутъ. Выйдя послѣ этого на улицу, онъ нарочно остановился у ближайшаго угла, чтобъ наблюсти, и увидѣлъ, что вслѣдъ за нимъ къ подѣзду подлетѣлъ гусаръ Стрекоза, а черезъ четверть часа поползли: Чистосердовъ, Растопыря, Чертополоховъ и самъ Карнауховъ, очевидно всѣ четверо изъ департамента. И всѣ вошли въ подѣздъ и больше не выходили.

Но этого мало: къ полному своему огорченію онъ убѣдился, что про него начинаютъ распространять клеветы. Однажды прибѣжалъ къ нему Скорбный-Голованъ, въ состояніи безпримѣрной восторженности, и долго ничего не могъ объяснить толкомъ, а только безпорядочно махалъ руками и восклицалъ:

— Подлецъ Растопыря! подлецъ! подлецъ! подлецъ!

Причемъ смѣшивалъ фамилію Растопыря съ фамиліей одного изъ дѣйствующихъ лицъ Барковскихъ трагедій, что съ виѣшней стороны выходило даже совсѣмъ неприлично.

Успокоившись однакожъ, онъ разсказалъ, что Растопыря распускаетъ о Каширинѣ самые ядовитые слухи. Говорить, что Филиппъ Филиппычъ потихоньку беретъ у него изъ ящика сигары, прячетъ въ карманъ и уноситъ домой; что однажды la belle madame Растопыря видѣла, какъ онъ положилъ кусокъ ветчины между двумя ломтями хлѣба и тоже препроводилъ въ карманъ; что онъ, Каширинъ, не довольствуется тѣмъ, что выпиваетъ за столомъ вдвое противъ другихъ, но что неоднократно лакей Степанъ подстерегалъ, какъ онъ ходилъ въ буфетный шкапъ и тамъ выпивалъ рюмку за рюмкой; что однажды, на смѣхъ, въ бутылку изъ-подъ хересу налили керосину, и онъ, Каширинъ, вышилъ не сморгнувъ, и только въ теченіе всего вечера отплеывался и время отъ времени вполголоса произносилъ: „ахъ, подлецы!“ что самъ Растопыря, замѣтивъ однажды, что Каширинъ съ особенною умильностію взглядывалъ на бутылку съ мадерой, и, желая убѣдиться въ справедливости лакейскихъ показаній, спряталъ бутылку за оконныя драпри (но такъ, чтобъ Каширинъ видѣлъ это), и дѣйствительно, черезъ два часа бутылка оказалась порожною...

Каширинъ былъ возмущенъ до глубины души, потому что онъ рѣшительно ничего подобнаго не дѣлалъ.

Но вѣсто того, чтобъ принять эти слухи только къ соображенію, онъ оказался настолько неразсудительнымъ, что вздумалъ объясняться. Когда онъ явился съ этимъ къ Растопырямъ, то самого Растопыря не было дома, а madame Растопыря приняла его особенно весело, какъ будто знала, о чемъ пойдетъ рѣчь. И дѣйствительно, все время, покуда онъ, одну за другой, изла-



галъ свои претензіи, она безъ умолку хохотала, такъ что онъ наконецъ остановился и спросилъ:—Что же тутъ смѣшного?

— Ха-ха! какой вы уморительный! — отвѣтила милая хозяйка, и вновь залилась веселымъ смѣхомъ.

Тогда онъ скромно напомнилъ ей, что было время, когда она не смѣялась и когда онъ... Но „красавица“, не прекращая хохота, съ такимъ наивнымъ любопытствомъ взглянула ему въ лицо, что онъ просто оторопѣлъ.

— И такъ, я долженъ изъ этого заключить... — началъ-было онъ, но тутъ воротился домой самъ Растопыря и не далъ докончить фразу.

Ту же претензію онъ изложилъ и Растопырѣ, который выслушалъ его съ участіемъ, но не только не отрекся, а, напротивъ, сейчасъ же повинился и, въ заключеніе, даже обнялъ его.

— Ну, прости, дружище! виновать! не буду! — утѣшалъ опъ Каширина: — не слѣдовало, ахъ, не слѣдовало мнѣ этого говорить! знаю, что не слѣдовало! Другъ вѣдь ты! старый... дружище!

Но тутъ же впрочемъ присовокупилъ:

— Признайся однако, голубчикъ, вѣдь было-таки немного! Хереску-то изъ-подъ драпри... хватилъ-таки малость!

При этой непредвидѣнной выходкѣ, сопровождавшейся неудержимымъ смѣхомъ милой хозяйки, Каширинъ почувствовалъ, что онъ холодѣетъ. Онъ съ инстинктивнымъ ужасомъ взглянулъ на своихъ „друзей“, какъ будто передъ нимъ стояла страшная голова Медузы, а не посконное рыло начиненнаго галупками полтавскаго обывателя.

— За что вы меня... ненавидите? — вырвалось наконецъ изъ его измученной груди.

А между тѣмъ времена все зрѣли да зрѣли, а наконецъ и совсѣмъ созрѣли.

Въ одно прекрасное утро одно заслуживающее довѣрія лицо (можетъ быть, даже самъ Стрекоза), встрѣтивъ Растопырю (Растопыря, какъ ловкій полтавецъ, съумѣлъ пріютиться въ трехъ вѣдомствахъ и по всѣмъ тремъ получалъ присвоенное содержаніе, такъ что чиновники въ шутку называли его „трижды подчиненнымъ“), предложило ему слѣдующій краткій вопросъ:

— Кстати! вѣдь вы, кажется, знакомы съ *господиномъ* Каширинымъ?

Растопыря смутился и началъ бормотать что-то невнятное. Не отрицалъ, но и не утверждалъ, говорилъ, что онъ никогда не былъ особенно близокъ... что притомъ давно ужъ предположилъ... и что наконецъ онъ сейчасъ же, сію минуту...

— Смотрите? какъ бы не тово... — послѣдовалъ доброжелательный совѣтъ.

Растопыря прибѣжалъ домой—точно съ цѣпи сорвался. И такъ какъ это произошло именно въ четвергъ, когда у него собирались къ обѣду пріятели, и время уже близилось къ половинѣ шестого, то онъ, какъ говорится, и рвалъ, и металъ. Призвавъ *madame* Растопырю, объявилъ ей, что присутствіе въ ихъ домѣ Каширина долше терпимо быть не можетъ; потомъ началъ топтать ногами, бѣгать по комнатамъ, кричать, вопить:

— Вонъ его! гнать его! гнать! гнать! гнать!

И вдругъ въ ту самую минуту, когда пароксизмъ его гнѣва достигъ высшей степени, онъ очнулся и увидѣлъ, что въ дверяхъ стоитъ Филиппъ Филиппычъ, какимъ-то образомъ ухитрившійся упредить распоряженіе объ отказѣ ему отъ дома.

Каширинъ былъ блѣденъ, щеки его тряслись, зубы стучали. Шатаясь, воротился онъ въ переднюю, безъ помощи лакея надѣлъ пальто и вышелъ на лѣстницу. Тамъ онъ встрѣтилъ Чертополохова, который при видѣ его сухоутивно приложился къ шляпѣ, но руки не подалъ, потому что, какъ оказалось въ послѣдствіи, въ это же утро и у него былъ разговоръ съ Стрекозой по поводу знакомства съ *господиномъ* Каширинымъ.

Очутившись на улицѣ, Филиппъ Филиппычъ нѣсколько минутъ не могъ сообразить, чтò такое съ нимъ произошло. Мимо него прошли: Бердяевъ, Чистосердовъ и наконецъ Шилохвостовъ, новая звѣзда, только-что взшедшая на горизонтѣ Дивидендовъ и Раздачъ. И они, конечно, имѣли такой же разговоръ, потому что тоже ограничились формальнымъ поклономъ безъ рукопожатія. Но Каширинъ все еще находился въ туманѣ и передъ глазами его инстинктивно рисовалась освѣщенная столовая Растопыри, столъ, обремененный закусками, около которыхъ столпились гости и посреди ихъ гостепріимный хозяинъ ораторствовалъ:

— Разумѣется, въ виду этого, я вынужденъ былъ употребить героическія мѣры...

— Конечно! конечно!—воскликали гости, за исключеніемъ впрочемъ Шилохвостова, который въ эту минуту разрѣшалъ въ своемъ умѣ вопросъ, отречется ли онъ, подобно сему, и отъ Растопыри, когда очередь дойдетъ и до него!

— Ахъ! онъ намъ такъ надоѣлъ!—сентиментально присовокупляла съ своей стороны *la belle madame* Растопыря.

Однако привычка прихлебательства взяла-таки свое, и Каширинъ безсознательно побрѣлъ по направленію къ квартирѣ Скорбнаго-Голована.

Но тутъ его ужъ окончательно добили. Скорбный-Голованъ бросился къ нему со слезами, обнялъ, замочилъ ему губами щеки и даже слегка порывалъ у него на груди. Но въ заключеніе крикнулъ:

— Миша! Петя! Катичка! Милочка! Марейнька! Зиночка! идите! идите сюда!

И когда молодое поколѣніе Скорбныхъ-Головановъ собралось, то археологъ-библіографъ, указывая Каширину на невинныхъ дѣтей, возопилъ:

— Вотъ! уже шесть человѣкъ на-лицо, а мы съ женой еще молоды! Судите сами, голубчикъ, могу ли я? Я знаю, что я малодушенъ и отчасти даже вѣроломный, но могу ли я... скажите, могу ли?!

Каширинъ ничего не отвѣтилъ на эти изліянія и сейчасъ же вышелъ. На этотъ разъ онъ уже совершенно отчетливо понялъ, что и Скорбный-Голованъ имѣлъ утромъ разговоръ.



Каширинъ долго пролежалъ больной, и во все время болѣзни ни одна душа не освѣдомилась объ немъ. Наконецъ ему полегчало, и первая мысль, представившаяся его уму, была та, что прошлое безповоротно рухнуло и что впереди предстоитъ лишь полное и безнадежное отчужденіе. Надъ его существованіемъ прошла какая-то до нелѣпости жестокая случайность, которая наполнила его душу инстинктивнымъ страхомъ. Онъ никогда ничего подобнаго не предвидѣлъ, а потому и приготовиться не могъ. Онъ даже и теперь не понималъ, а только чувствовалъ, что сдѣлалось что-то жестокое. Къ несчастію, отставка не надоумила его, не заставила подумать о подготовкѣ иной обстановки, которая могла бы выручить въ случаѣ измѣны „друзей“. Онъ по крайней мѣрѣ всю послѣднюю половину жизни провелъ какъ человѣкъ касты и, несмотря на полученные уроки, остался вѣренъ ей. Эта каста, ограниченная въ численномъ смыслѣ, отличается, сверхъ того, зависимостью, какъ главною характеристическою чертою, и это дѣлаетъ ее легко-доступною для всякаго рода колебаній. Нигдѣ не бываютъ такъ часты измѣны, какъ тутъ. Но этого-то именно и не примѣтилъ Каширинъ, и вотъ теперь измѣна разразилась надъ нимъ чѣмъ-то неслыханнымъ, передъ чѣмъ блѣднѣли и ступшевывались всѣ заботы о респектабельности и равновѣсіи бюджета.

Погрязши въ кастѣ, онъ растерялъ всѣ постороннія связи и даже къ новой русской литературѣ относился довольно индифферентно. Не порицалъ прямо, но находилъ, что она не даетъ плодотворныхъ Пафнутьевскихъ элементовъ. Съ бывшими пронскими своими патронами онъ тоже разстался (весьма впрочемъ дружелюбно), да врядъ ли они и могли быть ему полезными въ данную минуту. Они жили за границей и, — въ чаяньи, что когда-нибудь ихъ опять помянуть — фрондировали; объ отечествѣ же вспоминали лишь по поводу туго высылаемыхъ оттуда доходовъ.

И вдругъ онъ вспомнилъ вновь, что на Пескахъ, на Слоновой улицѣ, въ пяти-оконномъ деревянномъ домикѣ, существуетъ чиновникъ Каверзневъ, у котораго онъ нѣкогда воспринималъ отъ купели старшаго сына...

Воспоминаніе это оживило его, ибо по мѣрѣ того, какъ здоровье его возстановлялось, въ немъ просыпалась и жажда общества. Въ заботахъ объ ея удовлетвореніи онъ очень вѣрно сообразилъ, что по праздникамъ и не очень выдающіеся чиновники пекутъ пироги и приглашаютъ къ своей трапезѣ друзей. Поэтому хотя и не безъ нѣкоторой борьбы, но въ первое же воскресенье онъ купилъ фунтъ конфетъ для крестника и, какъ только пробилъ три часа, отправился на Пески.

Титулярный совѣтникъ Каверзневъ былъ чиновникъ очень маленькій и очень смиренный. Занимая мѣсто помощника столоначальника, онъ едва сводилъ концы съ концами, да и то благодаря тому, что имѣлъ даровую квартиру въ домѣ тестя, отставнаго коллежскаго асессора Монументова, когда-то завѣдывавшаго департаментскими курьерами и сторожами, а нынѣ проживавшаго на пенсіи въ крошечномъ мезонинѣ того же дома. Каверзневъ женился всего пять лѣтъ тому назадъ и имѣлъ ровно пять человѣкъ дѣтей. Человѣкъ онъ былъ не особенно блестящихъ способностей, но покорный, безгранично преданный семьѣ и удивительно добрый. Жена у него была молоденькая, тоже до крайности добрая и очень симпатичной наружности особа,

хотя частые роды уже успѣли сообщить ей лицу утомленное и слегка зачтенное выраженіе. Вообще это было семейство согласное, жившее душа въ душу, въ полномъ отчужденіи отъ живого міра, но не тяготившееся этимъ отчужденіемъ.

Когда Каширинъ пришелъ, въ первой комнатѣ, служившей одновременно и столовой, и залой, былъ уже накрытъ столъ. Въ углу, на особомъ столикѣ, стояла совсѣмъ готовая закуска и водка, а въ воздухѣ носился пріятный запахъ начинки. Каверзневъ самъ выбѣжалъ отворить дверь, потому что ожидалъ къ обѣду друга своего, Косача. Увидѣвъ передъ собой Филина Филипыча, онъ слегка смутился, однакожъ понялъ, что посѣщеніе такого чиновнаго гостя приносить ему величайшую честь. Суетясь и забѣгая впередъ, онъ проводилъ гостя въ гостиную, гдѣ сидѣли въ ожиданіи обѣда: жена Каверзнева, старикъ Монументовъ и помощникъ экзекутора Здобновъ. Оба послѣдніе тоже нетерпѣливо ждали Косача, чтобъ приступить къ водкѣ, и при видѣ нежданнаго гостя ощутили то самое чувство, которое должны испытывать человѣкъ, уже поднесшій ко рту рюмку и вдругъ убѣждающійся, что, благодаря какому-то проказливому волшебству, содержимое мгновенно исчезло изъ рюмки.

— А я сегодня вышелъ прогуляться, да и надумалъ: дай-ко крестнаго сынка провѣдаю! — началъ Филипъ Филипычъ. Онъ предположилъ было прямо сказать: „дай-ко у крестнаго сынка за-просто хлѣба-соли отвѣдаю!“ — но почему-то это не вышло.

Затѣмъ онъ потребовалъ, чтобъ ему показали дѣтей. Старшенькаго, Бориньку, какъ крестника, онъ поцѣловалъ и перекрестилъ, сказавши при этомъ: „вотъ такъ!“, прочихъ — только перецѣловалъ. Въ заключеніе вынулъ изъ шляпы коробку съ конфетами и подарилъ крестнику, присовокупивъ:

— Подѣлись съ братцами и сестрицами, да смотрите, не обижайте другъ друга!

Эта церемонія длилась съ четверть часа и къ концу ея прибылъ Косачъ, молодой малый, служившій въ томъ же департаментѣ помощникомъ регистратора. Всѣ вздохнули легче, потому что думалось, что съ окончаніемъ церемоніи цѣлованія дѣтей Филипъ Филипычъ снимется съ мѣста. Но онъ не уходилъ. Прошло еще съ четверть часа, а онъ отыскивалъ все новыя и новыя темы для разговора. Говорилъ исключительно онъ одинъ; хозяева отвѣчали односложными словами и вымученными улыбками, какъ это всегда бываетъ съ людьми, которые совсѣмъ ужъ собрались ѣсть и не знаютъ, какъ проводить человѣка, остановившаго ихъ, такъ сказать, на ходу; гости же просто-на-просто удалились въ уголъ, и если бы Каширинъ не заглушалъ себя самъ, то навѣрное услышалъ бы, какъ старикъ Монументовъ въ полголоса выговаривалъ Косачу:

— А все по твоей милости, вѣтрогонъ! гдѣ о сю пору шатался?

Прошло еще четверть часа. У всѣхъ лица подернулись усталостью, вытянулись и даже словно похудѣли. Къ запаху начинки присоединился запахъ гарн: подгорѣлъ пирогъ. Старшій сынъ Боринька стучалъ въ столовой посу-



дой, къ чему его очевидно поощрялъ Монументовъ, молчаливо, но несомнѣнно приглашая:

— Стучи, батюшка, стучи!

Наконецъ, видя, что надобно же когда-нибудь рѣшиться, Каширинъ, слегка зардѣвшись, сказалъ:

— А знаете ли что! вѣдь я къ вамъ безъ церемоній! Иду и думаю: дай-ко я у крестнаго сына за-просто хлѣба-соли отвѣдаю!

Только тогда Каверзневъ внимательнѣе взглянули въ лицо Филипу Филипычу и замѣтили изнуреніе, которое произвели въ немъ послѣднія проишествія и болѣзни. Они поняли добрыми своими сердцами, что, должно быть, на этого человѣка большое горе обрушилось, если онъ рѣшился идти къ нимъ не въ качествѣ посажнаго или крестнаго отца, а на правахъ простого гостя. И одновременно у обоихъ вырвалось восклицаніе:

— Ахъ, ваше превосходительство!

Ихъ лица просіяли; Каверзневъ стремглавъ побѣжалъ въ кухню, гдѣ распорядился, чтобъ супъ и пирогъ поставлены были на столъ, и въ то же время пошелъ въ кондитерскую за шмандткухеномъ; что же касается до Людмилы Петровны (такъ звали жену Каверзнева), то она инстинктивно подала Каширину руку, которую послѣдній очень галантно поцѣловалъ. Замѣчательно, что онъ почти мгновенно оправился отъ своего смущенія и немедленно почувствовалъ себя совсѣмъ хорошо, какъ будто дѣло сдѣлалъ. Даже гости повеселѣли, словно у всѣхъ была одна мысль: слава Богу! хоть какой-нибудь да конецъ!

Обѣдъ прошелъ великолѣпно, и Филипъ Филипычъ очень серьезно сдѣлалъ честь своему крестному сыну. Конечно, эту фду нельзя было сравнить съ фдою у Растопыри (одно сало возможно ли позабыть!), ни тѣмъ паче съ фдою у Стрекозы — ну, да вѣдь тѣ обѣды неозвратно канули въ вѣчность, и слѣдовательно... Вотъ только вина было маловато: одна бутылка медаку на всѣхъ. Правда, что Монументовъ восполнялъ этотъ недостатокъ, вставая послѣ каждой перемѣны изъ-за стола и проглатывая рюмку водки; но это-то именно и подтверждало, что медаку въ этомъ домѣ придавалось особое значеніе, и что, стало быть, обходиться съ этимъ напиткомъ надлежало съ осторожностью. Зато шмандткухень произвелъ рѣшительный фуроръ между дѣтьми, и хотя Каширинъ не ѣлъ его, но внутренне долженъ былъ сознаться, что давно не видалъ такихъ счастливыхъ дѣтскихъ лицъ.

Послѣ обѣда составила пухля по одной сотой копѣйки, и когда Филипъ Филипычъ выразилъ сомнѣніе, что при такой цѣнѣ пожалуй не изъ чего будетъ за карты заплатить, то Каверзневъ поспѣшилъ его успокоить, сказавъ, что „у насъ, ваше превосходительство, карты дешевенькія, въ клубѣ по три гривенника покупаемъ, а онѣ между тѣмъ только слава, что распечатаны, а все равно что новыя“. И дѣйствительно, когда подали карты, то Каширинъ очень любезно сознался, что онѣ „даже лучше, чѣмъ новыя“.

Играли: Монументовъ, Здобновъ и Каширинъ; хозяинъ и Косачъ отказались, говоря, что они хоть и играютъ, но неохотно и только чтобъ не разстроить партіи. Монументовъ очень наивно поглядывалъ на чужія карты, и Здобновъ, зная эту привычку его, пряталъ свои карты подъ столъ; этому же

примѣру, послѣ двухъ-трехъ ремизовъ, послѣдовалъ и Филиппъ Филиппычъ. Оба мѣстныхъ партнера играли до чрезвычайности прижимисто; напротивъ, Каширинъ рисковалъ и, какъ всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, извлекалъ изъ своего риска пользу. Въ результатѣ онъ оказался въ выигрышѣ 85 копѣекъ, изъ которыхъ 30 уплатилъ за карты, а остальные 55 принесть домой.

День былъ проведенъ, и Каширинъ остался доволенъ имъ. Но впереди дней предстояло еще много — надо было и объ нихъ подумать. Сначала онъ совѣстился и ходилъ къ Каверзневымъ только по праздникамъ, въ будни же сидѣлъ дома и обдумывалъ планъ сочиненія. Сочиненіе это предполагалось озаглавить такъ: „Имѣй уши слышати — да слышать!“ , а содержаніе его должно было заключать въ себѣ, во-первыхъ, оправданіе образа дѣйствій „пишущаго эти строки“ и, во-вторыхъ, указаніе нѣкоторыхъ небезполезныхъ мѣръ, которыя, не останавливая правильнаго и разумнаго развитія дивидендовъ, въ то же время полагали твердыя преграды для обнаружившагося въ семъ вѣдомствѣ стремленія къ излишествамъ. Но такъ какъ это была матерія сухая, то понятно, что она въ скоромъ времени наскучила Каширину, вслѣдствіе чего онъ попробовалъ забѣжать къ Каверзневымъ и въ будни, и тоже остался доволенъ, хотя очень хорошо замѣтилъ, что на второе блюдо подали говядину совсѣмъ вываренную. Наконецъ, понемножку да помаленьку, онъ началъ учазать, и не успѣли Каверзневъ встать въ оборонительное положеніе, какъ онъ уже сдѣлался у нихъ домашнимъ человѣкомъ и постояннымъ гостемъ. Однажды онъ даже рискнулъ отобѣдать и у Здобнова (и отобѣдалъ), но тотъ обошелся съ нимъ до такой степени иронически, что въ самомъ зародышѣ уничтожилъ всѣ попытки къ установленію начетистыхъ отношеній дружества.

Для Каверзневыхъ это былъ своего рода бичъ. Ежели трижды подчиненный Растопыря имѣлъ основаніе жаловаться на паденіе вексельнаго курса и вздорожаніе съѣстныхъ припасовъ, то тѣмъ болѣе право на эти жалобы могъ предъявить Каверзневъ. Со счетами въ рукахъ онъ могъ доказать, что Каширинъ обходится ему отъ 15-ти до 18-ти рублей въ мѣсяцъ — гдѣ ихъ взять? Сверхъ того, Каширинъ постоянно выигрывалъ въ карты, и этимъ отвадилъ отъ Каверзневыхъ Здобнова и Косача. Даже старикъ Монументовъ началъ прятаться отъ него и требовалъ, чтобъ ему приносили обѣдъ въ мезонинъ. Изъ человѣка безконечно добраго Каверзневъ, въ какихъ-нибудь два-три мѣсяца, сдѣлался угрюмымъ и раздражительнымъ. Людмила Петровна хотя наружно улыбалась, но внутри у нея тоже все клокотало. Эти простые и добрые люди смотрѣли на своихъ дѣтей и со страхомъ думали: „Каширинъ все съѣстъ!“ Однажды они рѣшились на крайнюю мѣру: съѣли вареную говядину до обѣда, а за обѣдомъ подали пустой супъ и макаронны; но Каширинъ и этого не понималъ, или, лучше сказать, не хотѣлъ понять. Къ довершенію всего, дѣлаясь съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе наглымъ, Филиппъ Филиппычъ и дѣтямъ пересталъ возить гостинцы, такъ что и они вознегодовали.

Надо было быть очень робкимъ и очень дисциплинированнымъ, чтобъ столько времени выносить терзанія, которыя выпали на долю Каверзнева. Мало того, что Каширинъ отобѣдалъ и опивалъ его, но въдобавокъ Здобновъ и Косачъ открыто смѣялись надъ нимъ...



— Онъ тебя и со всѣми твоими потрохами купить и продать можетъ, — говорили они: — а ты его шмандткухенами кормишь!

Онакожь и для самой беззавѣтной заботы бываютъ предѣлы, дальше которыхъ идти некуда. И вотъ, дойдя до этихъ предѣловъ, Каверзневъ рѣшился.

Однажды, когда Каширинъ всего меньше думалъ о разрывѣ и даже рассчитывалъ, что на будущее время ему и лѣтомъ будетъ нескучно, онъ получилъ по городской почтѣ письмо, въ которомъ прочиталъ слѣдующее:

„Ваше превосходительство!

„Милостивый государь!

„Съ стѣсненнымъ сердцемъ я приступаю къ настоящему письму, но, помилуйте! я человѣкъ недостаточный и притомъ семейный! Я очень хорошо понимаю, что посѣщенія вашего превосходительства приносятъ намъ честь, но ограниченность состоянія и въ семь не дозволяетъ намъ наслаждаться, какъ бы того душевно желали. И притомъ, ваше превосходительство! постоянно выигрывая въ карты, вы тѣмъ самымъ изволили отворотить отъ нашего семейства давнихъ и преданныхъ друзей, кои будучи тоже состоянія недостаточнаго, не въ силахъ онаго перенести, хотя бы и желали.

„Ваше превосходительство! клянусь повторительно: съ стѣсненнымъ сердцемъ пишу настоящее письмо! Но взойдите въ положеніе угнетеннаго отца и мужа и съ свойственнымъ вашему превосходительству великодушіемъ простите пріемлемой мною смѣлости!

„Съ чувствами глубочайшаго высокопочитанія и несомнѣнной преданности имѣю честь пребыть

„Вашего превосходительства,

„Милостивый государь!

„покорнѣйшій слуга

„Илья Каверзневъ“.

Къ удивленію, Филиппъ Филиппычъ отнесся къ этому письму довольно спокойно. Повидимому его скорѣе удивило не содержаніе письма, а его безсвязность и редакціонные недостатки. Онъ всегда утверждалъ, что нынѣшнее поколѣніе „не умѣетъ писать“ — и вотъ доказательство на-лицо.

— И это помощникъ столоначальника нацарапалъ! — воскликнулъ онъ съ горечью: — такіе ли въ наше время помощники бывали!

Я знаю, что рассказъ мой дошелъ до того кульминаціоннаго пункта, за которымъ необходимо слѣдуетъ катастрофа, а потомъ и естественное ея разрѣшеніе. Настоящіе художники-беллетристы именно такъ и поступаютъ: сначала постепенно завязываютъ узелъ, а потомъ постепенно его развязываютъ. Поэтому ничего нѣтъ мудренаго, что и читатель, избалованный этими развязываніями, ждетъ отъ меня, что я поступлю съ Каширинымъ рѣшительно, то-есть или женю его, или сдѣлаю пьяницей, или, наконецъ, совсѣмъ уморю.

Ничего подобного и однакожь не сдѣлаю по причинамъ вполне уважительнымъ. Во-первыхъ, я не имѣю претензіи быть художникомъ и ничего „изъ головы выдумать“ не могу; во-вторыхъ, я прошу принять во вниманіе, что герой моего разсказа — старикъ, и въ силу одного этого условія не представляетъ достаточныхъ элементовъ для завязываній и развязываній. Поэтому, и желая оставаться въ согласіи съ истиной, я говорю прямо: какимъ образомъ Филиппъ Филиппычъ вышелъ изъ своего послѣдняго огорченія и перенесъ ли при этомъ какую-нибудь душевную или нравственную ломку — не знаю. Не знаю, потому что мой герой такъ быстро послѣ этого исчезъ съ петербургскаго горизонта, что я даже не могъ услѣдить за нимъ.

Знаю впрочемъ, что онъ поселился въ Пронскомъ уѣздѣ, въ крохотномъ имѣньицѣ, нѣкогда великодушно уступленномъ имъ тетенькѣ Агаѣ Ивановнѣ.

Лѣтомъ прошлаго года, находясь по дѣламъ въ Пронскомъ уѣздѣ, я случайно попалъ туда въ такое время, когда собирался мировой съѣздъ. Въ качествѣ почетнаго мирового судьи прибылъ и Каширинъ. Узнавъ, что я литераторъ, онъ благосклонно пожелалъ со мной познакомиться, а наконецъ затащилъ меня и въ свою усадьбицу. По наружности это былъ старикъ бодрый и даже щеголеватый. Одѣтый по лѣтнему, въ легонькую визитку, бѣлый жилетъ и таковыя же брюки, онъ скорѣе походилъ на завсегдатая павловскихъ или петергофскихъ садовъ, нежели на обывателя пронскихъ палестинъ. Особенной словоохотливостью онъ не отличался, но, справедливо предполагая, что все, относящееся до русской литературы, должно интересоваться меня, очень любезно разсказалъ мнѣ больше сотни анекдотовъ про Грановскаго, Бѣлинскаго, Некрасова, Тургенева и другихъ литературныхъ корифеевъ сороковыхъ годовъ, и въ заключеніе, вздохнувъ, прибавилъ:

— Да, было, было все это; было — и прошло!

Даже о пойманномъ Майковымъ въ Парголовокомъ озерѣ пискарѣ не умолчалъ и тоже прибавилъ:

— Да, поймалъ пискаря, да такъ съ пискаремъ на всю жизнь и остался!

Усадьба у него оказалась очень хорошенькая, и, судя по его разсказамъ, онъ серьезно намѣревался устроить изъ нея нѣчто въ родѣ „виллы“ и съ этою цѣлью треть всей земли обратить подъ садъ. Здѣсь я познакомился и съ тетенькой Агаѣей Ивановной; старушкѣ было подъ восемьдесятъ, но она сохранила всѣ зубы, всѣ волосы и почти юношескую остроту зрѣнія въ соединеніи съ замѣчательной подвижностью.

— Теперь только я жить начала! — сказала мнѣ эта милая женщина, окидывая безконечно-любящимъ взглядомъ своего безцѣннаго племянника.

Филиппъ Филиппычъ радушно выводилъ меня по всѣмъ комнатамъ дома, который онъ почти весь заново перестроилъ, и, благодаря петербургской мебели, ухитрилъ очень удобно и красиво. Въ одной изъ комнатъ мы застали за работою Палагею Семеновну, дѣвицу высокаго роста, „разсыпчатую“, съ привлекательными формами тѣла и притомъ совсѣмъ пучеглазую, о которой Каширинъ сказалъ просто:

— А это моя Палагея Семеновна!

И затѣмъ она ни за обѣдомъ, ни за чаемъ не появлялась; быть можетъ,



впрочемъ, это случилось только потому, что она „стыдилась“ посторонняго человѣка, такъ какъ не разъ Агаѣя Ивановна, положивъ на тарелку самый лучшій кусокъ (цупочекъ, стегнушко), отдавала подачку прислугѣ, говори:

— Снесите это Палагеюшкѣ!

Обѣдомъ Филииъ Филипычъ накормилъ меня отличнымъ, причемъ безпрестанно и онъ, и тетенька понуждали: „кушайте!“ Очевидно онъ жилъ на свои три тысячи шестьсотъ рублей паномъ. Охотно хвалился наливками, которыя были дѣйствительно превосходны, но скорбѣлъ, что никакъ не можетъ добиться такого сала, какое ѣдалъ въ Петербургѣ у Растопыри.

Повидимому онъ всемъ простилъ и даже про Растопырино вѣроломство воспоминалъ безъ горечи. Съ нѣкоторыми изъ бывшихъ друзей онъ исподволь возобновилъ сношенія и даже удостоился очень лестнаго письма отъ Стрекозы, которому послалъ въ презентъ удивительно выкормленнаго индюка. — „Превосходнѣйшаго вашего индюка мы скушали, писалъ маститый сановникъ, — въ сообществѣ извѣстныхъ вамъ пособниковъ, укрывателей и попустителей, и такъ оказался хорошъ и соответствующъ предназначенной ему роли, что не тоюо желудочнаго обременѣнія, по съѣденіи, не ощутили, но даже какъ бы небольшое облегченіе“. Что же касается Каверзнева, то Каширинъ каждый годъ къ Рождеству посылалъ ему цѣлую груду поросятъ, гусей и куръ.

Въ Пронскѣ же Филипу Филипычу было суждено встрѣтиться и съ Пафнутьевымъ, что пролило еще болѣе сіяющій свѣтъ на его существованіе. Къ сожалѣнію, я не могъ познакомиться съ Пафнутьевымъ, потому что онъ былъ въ это время въ отсутствіи. Но Каширинъ сообщилъ мнѣ, что ежели сочиненіе его „Имѣяи уши слышати—да слышать!“ значительно подвинулось впередъ, то именно благодаря Пафнутьеву, въ которомъ онъ нашелъ драгоцѣннѣйшаго для себя сотрудника.

Послѣ обѣда онъ попытался прочесть мнѣ первую (вѣроятно и единственную) главу этого сочиненія. Первую страницу прочелъ бойко; на второй, подъ вліяніемъ изобильно принятой пищи и лѣтнаго зноя, языкъ его началъ слегка залетаться, а на третьей онъ какъ-то вдругъ и незамѣтно уснулъ. Я вышелъ на цыпочкахъ изъ кабинета и направился къ Агаѣѣ Ивановнѣ, но и она спала; потомъ толкнулся къ Палагеѣ Семеновнѣ, но и ее нашелъ спящею. Все въ домѣ и около дома дремало, дремало, дремало; даже большой бохинхинскій пѣтухъ — и тотъ пересталъ интересоваться курами. Тогда и я, выбравши въ гостиной кресло помягче, протянулъ ноги и тоже моментально заснулъ.

А въ восемь часовъ, напившись чаю, уѣхалъ отъ Каширина и больше его не видалъ.

## Дворлнская хандра.

И прїѣхалъ въ деревню, чтобъ поселиться въ ней навсегда. Ъхалъ и совѣмъ не затѣмъ, чтобъ просвѣщать, распространять здравыя понятія о платежѣ недоимокъ, устранять неурожаи и вообще способствовать улучшенію быта; не затѣмъ, чтобъ принять дѣятельное участіе въ распоряженіи земскими деньгами, и ужъ, конечно, не затѣмъ, чтобъ производить опыты по части сельскаго хозяйства. Просто чувствовалась потребность живо имѣть гробъ — вотъ я и прїѣхалъ.

Эта потребность была очень сильная, почти страстная. Но что всего страннѣе — она загорѣлась во мнѣ совѣмъ не потому, чтобъ я прикончилъ какіе-то счеты съ жизнью, чтобъ я сдѣлалъ какое-то свое дѣло, а именно потому, что я ровню ничего не начиналъ и никакихъ у меня счетовъ назади не было. Умственное лустодомство удивительно какъ утомляетъ. Оно всегда сопряжено съ безпорядочною сутолокой, которая загромождаетъ жизнь разнообразнымъ цѣпкимъ хламомъ и самымъ предательскимъ образомъ вводитъ въ заблужденіе. Благодаря этой сутолокѣ, долго, очень долго думаетъ человѣкъ, что онъ вращается среди дѣйствительныхъ интересовъ, и даже представляетъ себя силою, дѣйствующимъ лицомъ. И вдругъ его словно освѣтитъ, перешибетъ пополамъ. И начнетъ ежемгновенно, неотступно, назойливо, и во снѣ, и наяву, представляться одно: гробъ! гробъ! гробъ!

Я ѣхалъ однакожъ не безъ опасеній. Я думалъ, что гробъ дастся не разомъ и что съ прїѣдомъ моимъ начнется хотя и въ другомъ вкусѣ, но все-таки сутолока. Со стороны домохозяевъ возникнутъ требованія разъясненій, распоряженій и прочія сельскохозяйственныя приставанія; со стороны мужиковъ — явятся поползновенія по части такъ-называемаго сліянія, въ которыхъ сыграютъ свою роль и вопросъ о пьянствѣ, и вопросъ о грамотности, и вопросъ о ссудосберегательныхъ кассахъ. И въ заключеніе, какъ наидѣйствительнѣйшій символъ сліянія — ведро водки. Со всѣмъ этимъ, думалось мнѣ, придется вести борьбу, покуда наконецъ не воцарится настоящее безмолвіе, изъ котораго выдвинется настоящій гробъ. Но, къ моему благополучію, всѣ эти опасенія оказались преувеличенными.

Нынѣшняя деревня — не та, въ которой кишатъ ревизскія души, а та, которую представляетъ собой помѣщичья усадьба — истинный кладъ для гробоискателя. Въ нынѣшней деревнѣ вы не встрѣтите ни малѣйшей суеты, ни тѣни сельскохозяйственныхъ заботъ и волненій, а слѣдовательно — никакихъ вопросовъ и сомнѣній. Есть, разумѣется, уголки, въ которыхъ и донынѣ ютятся выжиги и „колотятся изъ послѣдняго“, но это исключенія. Общій характеръ — тишина и уныніе, которыя я назвалъ бы самоотверженіемъ, если бы при этомъ не приходило на мысль представленіе о выкупныхъ свѣдѣтельствахъ. Урокъ дня, то-есть то, что нужно для пропитанія, отопленія и проч., исполняется какъ-то самъ собой, въ опредѣленный часъ, безъ шума, безъ бѣготни. Прежде стонъ, бывало, стоялъ и надъ застольными, и надъ скотнымъ и птичнымъ дворами; нынче — благодать. Не только въ стѣнахъ помѣщичьего дома, но и на дворѣ — ни звука, кромѣ такъ-называемыхъ



голосовъ природы: завыванья вѣтра, шума деревьевъ, чириканья и карканья птицъ, лая собакъ и т. п. Изрѣдка доносится, правда, съ поселка (ежели онъ недалеко) хлопотливое галдѣніе ревизскихъ душъ, но и оно не нарушаетъ обязательной для всѣхъ (и живыхъ, и мертвыхъ) гармоніи голосовъ природы, а, напротивъ, только дополняетъ ее и сливается съ нею. Можно (особливо ежели требованія комфорта довести до минимума) провести цѣлый день не слышавши звука человѣческаго голоса и самому не издавши такового. Ходить, думать, глядѣть въ окно и даже, по возможности, не читать. И лишь на самое короткое время зажигать огонь. Для человѣка одинаковаго и притомъ перешибленнаго пополамъ—это своего рода купель силоамская, приводящая за собой исцѣленіе отъ всѣхъ недуговъ.

Усадьба у меня старинная. Господскій домъ—громадный, выстроенный изъ такого отличнаго лѣса, что и теперь все вполне исправно. Просторно, пропастъ воздуха и тепло. Когда-то, на красномъ дворѣ, рядомъ съ домомъ, было нагромождено множество всякаго рода службъ, но нынѣ всѣ эти постройки снесены отчасти по ветхости, а преимущественно за ненадобностью. Лѣтомъ, на этихъ „нарушенныхъ“ мѣстахъ растутъ непролзныя массы крапивы и репейника, зимою — изъ-за снѣжныхъ наносовъ виднѣются неправильныя кучи ломанаго кирпича и мелкаго мусора. Въ сосѣдствѣ съ ними, но нѣсколько подаль, словно монументъ, свидѣтельствующій о благополучномъ переходѣ отъ крѣпостныхъ порядковъ къ вольнонаемному труду, стоитъ небольшой, сложенный изъ тонкаго лѣса скотный дворъ, въ которомъ помѣщаются двѣ коровы, двѣ лошади, ломаный инструментъ и прочій приличествующій вольнонаемному труду сельскохозяйственный инвентарь. Впереди дома—цвѣточный (когда-то) садъ, съ запущенными дорожками, покато спускающійся къ рѣчкѣ; сзади дома—паркъ, настоящій паркъ, съ старинными могучими деревьями, которыхъ шумъ даже человѣку, далеко не одержимому мизантропіей, можетъ внушить мысль о гробѣ. Внизу, по теченію рѣчки — небольшая мельница, у зіяющей двери которой вѣчно торчитъ засыпка, не знающій куда дѣваться отъ праздности, такъ какъ, за общимъ оскудѣніемъ, помолецъ наѣзжаетъ рѣдео, да и то налегкѣ.

Понятно, что при такой внутренней обстановкѣ пріѣздъ мой не могъ вызвать никакой особенной суматохи. Я написалъ, что явлюсь тогда-то, и въ назначенное время все было готово къ моему пріему. Печи истоплены, стѣны и потолки обметены, полы вымыты, мебель разставлена въ старинномъ порядкѣ, даже обѣдъ изготовленъ. „Распоряженій“ до такой степени не потребовалось, что когда я снялъ шубу (дѣло происходило въ половинѣ февраля), то мнѣ оставалось только сказать, что *покуда* мнѣ ничего не нужно. Домочадцы, встрѣтившіе меня, разошлись по своимъ угламъ; я слышалъ, какъ хлопнула сперва одна дверь, потомъ другая, третья, все глуше и глуше — и вдругъ я остался одинъ... И въ этой свѣтлой, большой и хорошо натопленной залѣ очутился лицомъ къ лицу съ гробомъ...

Точно также не потребовалось никакой борьбы и по части „сліянія“. Еще на желѣзной дорогѣ одна сосѣдка по вагону, добродушная помѣщица, узнавши, что я намѣреваюсь возобновить порванную связь со старыми „пра-  
хами“, сочла долгомъ предупредить меня:

— Нынче, батюшка, отъ мужичка благодарности не спрашивайте. Равнодушные какіе-то они стали: ни помощи, ни привѣта. Все — на деньгахъ. Сколько слѣдуетъ ему по условію — получилъ и шабашъ. Спасибо — не ждите.

Такъ, въ самомъ дѣлѣ, и оказалось. При самомъ въѣздѣ моемъ въ крестьянскій поселокъ (давно ли я былъ тутъ „въ отца мѣсто“?), я сейчасъ же убѣдился, что мое появленіе ни въ комъ ничего не пробудило. Ни благодарныхъ воспоминаній, ни отрадныхъ надеждъ, ни даже изумленія. Мужики, пилившіе у своихъ избъ дрова (въ этой мѣстности преобладаетъ дровяной промыселъ), на мгновеніе приподняли головы, очевидно потому, что вниманіе ихъ было привлечено топотомъ мчавшихъ меня лошадей, и опять принялись за свое дѣло. Я опасался сниманія шапокъ, поклоновъ (иногда даже въ воображеніи моемъ мелькали радостныя улыбки) — ничего не бывало! Точно муха передъ ними пролетѣла. И мужики показались мнѣ какіе-то новыя. Прежніе были восторженные, слезоточивые; нынѣшніе — равнодушные, зачерствѣлыя. Прежній мужикъ всѣми внутренностями тянулъ къ барскому дому: нынѣшній — даже по надобности проходя мимо господской усадьбы, совершенно ее игнорируетъ, словно это не притягательное мѣсто, а только вѣхъ на пути. Бабы, качавшія на мірскомъ колодцѣ воду — и тѣ не оторопѣли при моемъ внезапномъ появленіи, не оставили своего занятія, а только безучастно проводили глазами мои сани. И отлично. Всѣ предположенія насчетъ „сліяній“ и ссудо-сберегательныхъ кассъ устроились разомъ. Не будетъ поцѣлуевъ, но не будетъ и подкузmlеній — ничего. Даже на традиціонное ведро водки повидимому расходовъ не потребуется. Прекрасно, прекрасно, прекрасно.

Но у меня вертѣлось въ головѣ еще одно опасеніе: я полагалъ, что возвращеніе въ домъ предковъ вызоветъ лично во мнѣ чувство умиленія. Воскреснутъ въ памяти забытыя дѣтскія игры, встанутъ передъ глазами, какъ живыя, любезныя сердцу лица. Очевидно, это должно населить гробъ хотя и призраками, но все-таки помѣшаетъ ему быть настоящимъ гробомъ. Однако и тутъ обошлось благополучно. Чтобъ покончить разомъ съ этимъ опасеніемъ, я тотчасъ же обѣжалъ весь домъ и останавливался въ каждой комнатѣ, стараясь припомнить. Вотъ маменькина комната и въ ней длинный столъ, за которымъ она обыкновенно раскладывала изъ мѣдныхъ тазиковъ по банкамъ варенье; этотъ столъ и теперь стоитъ на старомъ мѣстѣ и на поверхности его еще сохранились кружки, свидѣтельствующіе о пребывавшихъ тутъ нѣкогда банкахъ съ вареньемъ; и сама маменька, словно живая, сидитъ вонъ на томъ кожаномъ креслѣ и держитъ въ рукахъ серебряную ложку... Вотъ папенькинъ кабинетъ (теперь онъ мой) и въ немъ небольшой четырехугольный столъ съ разрисованною на верхней доскѣ шашечницею, передъ которымъ покойный, сидя въ обитомъ кожей вольтеровскомъ креслѣ, читывалъ „Московскія Вѣдомости“... Вотъ дѣвчья, въ которой лѣтомъ толпа горничныхъ, обѣдленныхъ массажи мухъ, съ утра до вечера чистила ягоды, горохъ, грибы и проч., а зимой, тоже съ утра до вечера, раздавалось жужжаніе веретенъ... Вотъ дѣтская въ противоположность другимъ комнатамъ, узенькая, низенькая, въ которой обитало великое множество клоповъ... По-



вторую: я обѣжалъ все это и множество другихъ комнатъ (вотъ тутъ была спальня дѣдушки, когда онъ пріѣзжалъ въ деревню „въ гости“; вотъ тутъ рядомъ — спальня его „сударки“, передъ которой подличалъ и ходилъ на заднихъ лапкахъ весь домъ; вотъ тутъ жилъ когда-то дяденька „буянъ“, котораго въ хорошія комнаты не пускали и который ѣдалъ изъ одной чашки съ собакой Трезоромъ; вотъ тутъ ютились тетеньки-сестрицы, къ которымъ я бѣгивалъ тайкомъ за мятными пряниками; вотъ тутъ поймали Генріету Карловну съ учителемъ Василиемъ Ивановичемъ и т. д.) — и, о чудо! — никакого умиленія не ощутилъ! Возвратился въ залъ, посмотрѣлъ въ окно — оттуда виднѣется рѣка, въ настоящее время скованная льдомъ, и опять-таки никакого умиленія! Кабинетъ, дѣтская, рѣка — все имена нарицательныя, которыя такъ и остались нарицательными. Отчего это? оттого ли, что самыя воспоминанія, сопряженные съ этими нарицательными именами, не заключаютъ въ себѣ ничего умилительнаго, или оттого, что человѣкъ, перешибленный пополамъ, самъ по себѣ дѣлается недоступнымъ для чувствъ умиленія, такъ какъ между его дѣтствомъ и старчествомъ легла цѣлая пустота, которая поглотила все безъ остатка, кромѣ страстнаго желанія обрѣсти гробъ.

Какъ бы то ни было, но я понялъ, что гробъ найденъ и что отнынѣ начинается существованіе, въ которое не вторгнутся ни сельскохозяйственные доклады, ни „сліянія“, ни умиленія. Я наскоро пообѣдалъ, надѣлъ халатъ и немедленно почувствовалъ себя спокойно, безмолвно, почти-что мертво!..

Впрочемъ мнѣ все-таки не удалось лечь въ гробъ сразу. По обыкновенію, сейчасъ послѣ пріѣзда, пришелъ отрекомендоваться сельскій батюшка. Но и онъ оказался какой-то сосредоточенный, однословный, угнетенный, угрюмый, точно только затѣмъ и пришелъ, чтобъ посмотрѣть, какъ я улягусь въ гробу, а онъ меня потомъ отпѣвать начнетъ.

— На жительство... совсѣмъ? — началъ онъ словно нѣхотя.

— Да, совсѣмъ.

— Великое это слово... „совсѣмъ“!

Я махнулъ головой въ знакъ согласія.

— Просторно вамъ здѣсь однимъ будетъ!..

— Да, комнатъ много.

— Хозяйствовать не станете?

— Нѣтъ.

— И не надо!

Разговоръ на минуту прервался.

— Жизнь здѣсь... — началъ онъ опять.

— Я не для „жизни“.

— А коли не для „жизни“, такъ настоящее мѣсто — здѣсь! Да... именно, именно здѣсь!

Онъ какъ-то тоскливо взглянулъ на меня, покачалъ головой, потомъ посмотрѣлъ на буфетный шкафъ и продолжалъ:

— Вотъ ежели въ этомъ разѣ водка... спаси Богъ!

— Не потребляю. А вы?

— Спаси Богъ!

Опять молчаніе.

— Въ паркахъ — шумъ отъ вѣтровъ; опять же вороны гнѣзда вьютъ... Ставни по ночамъ стучать будутъ! Проржавѣли, поди, петли-то...

— Не знаю, не спрашивалъ.

— Оторопь возьметъ, оторопь! Главное — ставни на ночь плотнѣе за-  
пирать!

— Прежде запирали; конечно, будутъ и теперь запирать.

— Ну, съ Богомъ!

Онъ подаль мнѣ руку и исчезъ... „Чтожъ! оторопь такъ оторопь — тѣмъ лучше“, подумалось мнѣ. Она будетъ напоминать мнѣ прошлое: вѣдь я всю жизнь, если сказать по правдѣ, ничего кромѣ оторопи и не испытывалъ...

Впоследствии я узналъ, что здѣшній батюшка — отличнѣйшій человѣкъ. Водки не пьетъ дѣйствительно, устроилъ въ селѣ школу, въ которой безвозмездно учить крестьянскихъ дѣтей; съ мужичками живетъ въ ладахъ, читаетъ имъ по воскресеньямъ краткія поученія о томъ, како благоугодити Господу, и за свадьбы беретъ по-божески, не придираясь. Вообще обстановку имѣетъ скромную, почти бѣдную. А смотритъ онъ угнетенно, потому что жена у него — франтиха и сластѣна ежемгновенно его точитъ. То упрекнетъ, что онъ не по-людски одѣвается, „ходитъ словно мельница крыльями машетъ — то-ли дѣло у насъ въ городѣ уланьы стоять!“, то ставитъ ему въ вину, что онъ кануны соблюдаетъ: „все у него либо преподобнаго Мартиніана, либо подѣ Тимофея-мученика!“ А онъ ей въ отвѣтъ: „ты бы, дура, прежде смотрѣла!“

Меня на минуту заняла мысль: каково-то ему, человѣку скромному и повидимому даже чѣмъ-то проникнутому, жить въ селѣ Лисья-Ямы, въ норѣ, на цѣпи, съ глазу-на-глазъ съ попадѣй-сластѣной и франтихой? И онъ на цѣпи, и она на цѣпи... Она скалитъ зубы и скачетъ, и онъ скалитъ зубы и скачетъ. И оба благодарятъ Провидѣніе, что у каждаго цѣпь настолько коротка, что не пускаетъ ихъ загрызть другъ друга. Этимъ и процвѣтаетъ семейный союзъ.

Если кто думаетъ, что вслѣдъ за этимъ вступленіемъ появится на сцену дворовая дѣвица (плодъ секретной любви покойнаго папеньки) и затѣмъ произойдетъ интереснѣйшее кровосмѣшеніе, или что изъ-подъ куста выпорхнеть породистая помѣщичья дочка и подастъ поводъ къ цѣлому ряду пріятныхъ сценъ, съ робкими поцѣлуями, трепетными пожатіями рукъ, трелями соловья и проч. — тотъ пусть не читаетъ дальше этихъ признаній.

Ничего этого не будетъ: во-первыхъ, потому, что ничего подобнаго не было въ дѣйствительности, а во-вторыхъ, и потому, что я поставилъ себѣ задачей писать о гробѣ, только о гробѣ.

Мысль объ этомъ приличнѣйшемъ, по настоящему времени, убѣжищѣ давно уже шевелилась во мнѣ и наконецъ вполне созрѣла по слѣдующему очень характерному случаю.

Не очень давно тому назадъ умершему прославленному человѣку нужно



было отыскать приличное „послѣднее убѣжище“. Разумѣется, пошли переговоры съ кладбищенскими властями, и вотъ во время этихъ переговоровъ матушка-игуменья нѣкоего знаменитаго монастыря, на который указалъ знаменитый покойникъ еще при жизни, такимъ образомъ рекомендовала свой товаръ:

— У насъ на монастырскомъ кладбищѣ — очень хорошо. Тишина, порядокъ, просторъ. И зимой-то придешь посмотреть — залюбуешься, а лѣтомъ, какъ распускаются деревья — точно въ раю! И не вышелъ бы! Совѣтую.

И видя, что слова ея производятъ благопріятное впечатлѣніе, присовокупила:

— И еще тѣмъ у насъ хорошо, что для всѣхъ состояній такса установлена — по-божески! кому чтѣ требуется. И богатые люди, и средняго состоянія, и бѣдные — всѣхъ милости просимъ! И перваго класса мѣста, и второго, и третьяго — все распредѣлено, смотря кому какъ. Поближе къ благодати — и плата выше; подальше отъ благодати — и плата понижается. За церемоніаль плата особенно, и тоже по состоянію. Есть большая служба, есть средняя служба, есть и малая. Большое освѣщеніе, среднее и малое. Также и насчетъ поминовений. Нудить никого не нудимъ, а кто какъ любить, такъ для себя и выбираетъ. Созѣтую.

Вотъ тогда-то и блеснула у меня въ головѣ мысль: именно мнѣ это самое и нужно. Но такъ какъ всѣ эти неудобства я могъ получить хозяйственнымъ образомъ, то-есть у себя, въ своемъ собственномъ кладбищѣ, то ясно, что для меня былъ прямой расчетъ воспользоваться этимъ преимуществомъ. Тамъ, думалось мнѣ, я все найду: и мѣсто первѣйшаго класса (безвозмездно), и свой собственный готовый гробъ; а чтѣ касается до церемоніала, то навѣрное тамошняя самая большая служба будетъ стоить вдвое дешевле, нежели здѣшняя самая малая.

Сверхъ того, мнѣ хотѣлось умереть безъ тревогъ, постепенно, и буде возможно, то естественною смертью. Я — человѣкъ предразсудочный и притомъ робкій; мнѣ все кажется, что если я буду продолжать „соваться“, какъ совался до сихъ поръ, то существованіе мое навѣрное пресѣчется самымъ неожиданнымъ и притомъ злокачественнымъ образомъ. Я знаю, что это страхъ ложный (на тѣхъ же похоронахъ знаменитаго человѣка одинъ изъ моихъ друзей, служацій въ департаментѣ Возмездій и Воздаяній, указывая на громадную толпу, окружавшую гробъ, — сказалъ мнѣ: „въ обществѣ говорить, будто бы мы не допускаемъ передовыхъ людей естественною смертью умирать — вотъ вамъ блестящее опроверженіе этой гнусной клеветы!“), но чтѣ же дѣлать, если онъ до того присущъ мнѣ, что я освободиться отъ него не могу? Тогда какъ ежели я заблаговременно переселюсь въ „свой собственный гробъ“ — навѣрное всякій страхъ напрасной смерти пройдетъ самъ собою, за немѣнимъ пищи. „Соваться“ мнѣ тамъ — незачѣмъ, да и департаментъ Возмездій и Воздаяній будетъ далеко... Никто и не увидитъ, какъ я изнюю, пропаду самымъ естественнымъ образомъ!

Съ любовью и не торопясь прилаживался я къ своему гробу и, признаюсь, не безъ удовольствія говорилъ себѣ: какъ это однако хорошо, что у меня свой собственный гробъ есть! Надоѣло „слоняться“, „соваться“ и во-

обще производить свойственный досужему человѣку дѣйствіа — взилъ, юркнулъ въ свой собственный гробъ и пропалъ въ немъ. А у другихъ, у „недосужихъ“, и этого нѣтъ. Вотъ онъ ѣдетъ зимникомъ по рѣкѣ, передъ самыми окнами моего дома, съ возомъ на мельницу — онъ и радъ бы юркнуть, да недосужно ему. И у него, пожалуй, есть свой собственный гробъ, тамъ на селѣ; но это такой гробъ, въ которомъ не постепенно умирать, а ежесекундно и безъ отдыха жить надо. Во-первыхъ потому, что онъ, обитатель этого гроба — ревизская душа, а во-вторыхъ потому, что жизнь сама по себѣ, помимо его воли, помимо разумнѣя, даже помимо инстинктовъ самосохраненія, впилаась да и не отпускаетъ его.

Какая это жизнь — это другой вопросъ. Я по крайней мѣрѣ увѣренъ, что въ эту самую минуту онъ глядитъ на мой гробъ и думаетъ: „вотъ гдѣ настоящая-то жизнь!“ И всегда онъ такъ думалъ: и тогда, когда я „совался“ и „пламенѣлъ“, и теперь, когда я, истомленный „сованіями“, исподволь прилаживаюсь къ гробу. Всегда онъ завидовалъ моей тоскѣ и моимъ изнываніямъ, называлъ ихъ жировыми и говорилъ: „хоть бы недѣлку такъ-то пожить!“

Я изнываю отъ тоски, отъ неудовлетворенной жажды поступковъ, наконецъ отъ стыда, а онъ думаетъ: „вотъ оно, хорошее-то житье!“ И думаетъ правильно, потому что его-то собственное житье ужъ таково, что даже суздальскимъ богомазамъ, этимъ присяжнымъ изобразителямъ адскихъ мученій — и тѣмъ не найти красокъ, чтобъ достойнымъ образомъ воспроизвести это житье!

Собственно говоря, только это вѣчно-присущее сравненіе между его гробомъ и моимъ и напоминаетъ ему обо мнѣ. Во всемъ остальномъ — ему до меня дѣла нѣтъ. Ни совѣтовъ ему моихъ не нужно, ни сочувствія. Въ томъ дѣлѣ, которое сопровождаетъ его жизненную агонію, я никакихъ поученій дать ему не могу, да и онъ самъ эти поученія встрѣтитъ съ нетерпѣніемъ, скажетъ: „уйди! не мѣшай!“ Что же касается до сочувствія, то и тутъ послѣдуетъ тотъ же отвѣтъ: „уйди! не мѣшай!“ Онъ не приметъ его за иронію только потому, что вообще ничего непрямого, инсказательнаго не разумѣетъ, а просто-на-просто подумаетъ, что мое сочувствіе есть обыкновенное интеллигентное „сованіе“, только на этотъ разъ ужъ совсѣмъ неумѣстно примѣненное. „И безъ тебя тошно — а ты лѣзешь!“

Да, лучше ужъ не „соваться“, а сидѣть смирно въ своемъ собственномъ гробу и потихоньку умирать. Слава Богу! папенька съ маменькой, накапавшая тальки да овчины, да прижимая къ рублю кофѣйку, наколотили такъ достаточно, что даже всеокрушающая рука времени не успѣла уничтожить всего. Угли дома не отгнили, потолокъ не повалился, полы не перекосились — чего еще нужно! А главное, никто не мѣшаетъ, никто даже не подозрѣваетъ, что въ этомъ гробу кто-то копошится. Много такихъ гробовъ разбросано по окрестности, и о большинствѣ даже неизвѣстно, чьи они и шевелится ли въ нихъ кто-нибудь. И стоятъ они, постепенно чернѣя и осѣдая, подъ вліяніемъ времени и непогодъ. Пройдетъ еще одно поколѣніе — даже гробовъ не будетъ, а просто-на-просто будутъ торчать почернѣвшіе, безглазые черепа.

При моемъ душевномъ настроеніи это было чрезвычайно удобно. Мнѣ



именно нужно было исчезнуть такъ, чтобъ никто не отыскалъ. Я машинально повторялъ про себя старинное мудрое реченіе: „мертвые срама не имутъ“ — и мысль, что нашлось наконецъ убѣжище, въ которомъ ничто не наститнетъ меня, приводила меня въ восхищеніе.

Замѣчательная особенность: вотъ онъ, тотъ самый, который идетъ за возомъ на мельницу, онъ не только не понимаетъ моего недуга, но даже меня, человѣка изнемогающаго, считаетъ за привередника. Можетъ быть, ему некогда разбирать, сколько постыднаго сорнаго налета насѣло на жизнь, но можетъ быть и то, что его обычный *modus vivendi* ужъ таковъ, что самая способность что-нибудь различать притупилась. Ежели у человѣка съ младенческихъ пеленокъ единственный способъ передвиженія состоитъ въ томъ, что его перетаскиваютъ съ мѣста на мѣсто за волосы, то, конечно, онъ будетъ ощущать при этомъ физическую боль, но все-таки врядъ-ли пойметъ, что этотъ способъ передвиженія ненормальный. Ненормальный — для кого? Вотъ для нихъ, для тѣхъ, которые худо ли, хорошо ли, а ползутъ-таки на собственныхъ ногахъ — можетъ быть! Но для него — онъ нормальный, потому что иначе какъ же могло бы случиться, чтобъ тасканіе за волосы совершалось среди бѣла дня, у всѣхъ на виду, и ни у кого бы не перевернулось сердце при этомъ зрѣлищѣ!

Такъ-то и тутъ; не понимаетъ онъ да и только. Но быть свидѣтелемъ этого непониманія, видѣть, какъ оно расплзлось по всѣмъ жизненнымъ тропинкамъ и заполонило вселенную — ужасно! Въ сущности, это собственно только и ужасно. Съ моимъ личнымъ, частнымъ недугомъ я, пожалуй, довольно легко бы совладѣлъ, а вотъ этотъ общій и частью даже чужой недугъ — онъ-то именно и составляетъ ту непосильную гирю, которая заставляетъ человѣка осѣдать все глубже и глубже, покуда онъ не очутится лицомъ къ лицу передъ отверстымъ гробомъ.

Почему чужой недугъ претворяется въ свой собственный и даже пуще гнететъ — это отчасти объясняется бѣльшимъ или мѣньшимъ досужествомъ. Досужество даетъ человѣку возможность развѣртывать перспективы, отыскивать связующіе элементы. А какъ только начинается чувствоваться связь между собою и „остальнымъ“, такъ тотчасъ же дѣлается невыносимо больно. Горы чего-то пелыханнаго, какой-то безразсвѣтной мглы начинаютъ надвигаться со всѣхъ сторонъ и давить, и давить безъ конца. Чтобъ вынести эти горы на своихъ плечахъ, надо быть или очень сильнымъ, или — очень нахальнымъ. Робкимъ и слабымъ — не остается ничего больше, какъ исчезнуть.

Я устроился сразу и отлично: надѣлъ халатъ и замолчалъ. Комнатъ — цѣлая анфилада; можно ходить взадъ и впередъ до усталости. Ходишь и молчишь; даже въ головѣ настоящихъ мыслей нѣтъ, а мелькаетъ что-то неопредѣленное. Отрывки старыхъ возжелѣній, звуки... Прислуга является ко мнѣ рѣдко, въ опредѣленные часы, чтобъ сказать, что подано кушать или принести стаканъ чаю. Были попытки завести разговоръ о томъ, что сегодня съ утра мжица мжить, или о томъ, что нынѣшнюю зиму волковъ до ужаса много, въ деревнѣ днемъ по улицѣ бѣгаютъ; но такъ какъ съ моей стороны поощреній не послѣдовало, то и эти неважные разговоры улеглись сами собою. Когда-то я интересовался вопросомъ объ одиночномъ заключеніи и даже

съ жаромъ доказывалъ, что это — самый благородный способъ отмщенія нарушенной правды, потому, дескать, что онъ дастъ нарушителю возможность примириться съ самимъ собою. Вотъ какой я былъ... филантропъ! Какъ бы то ни было, но эта старинная предилекція, должно быть, и сказалась теперь. Я нашелъ для себя именно одиночное заключеніе — разумѣется, смягченное анфиладою комнатъ и возможностью во всякое время нарушить обрядъ молчанія.

Только принесетъ ли оно съ собою примиреніе? разсѣетъ ли мглу, которая такъ и виситъ надо мною, несмотря на вѣшній свѣтъ и просторъ? — вотъ въ чемъ вопросъ.

Покажѣть однако я чувствую себя очень хорошо. По крайней мѣрѣ та страшная мысль, что я ничего не могу, ничего не знаю, что я — пятое колесо въ колесницѣ, которая разбила мою жизнь, уже не терзаетъ меня такъ неотступно, какъ прежде. Имѣя впереди только гробъ, мнѣ не пужно ни мочь, ни знать, а тѣмъ больше претендовать на званіе пелишияго колеса: я и колесницы-то никакой не вижу. Какъ хотите, а это выигрышъ. Мнѣ нужно одно: чтобъ молчаніе, объемлющее меня, не нарушалось ни единымъ призывомъ къ жизни. Мнѣ такъ довольно всякихъ „не могу“, „не знаю“, и понятіе о нихъ до того отождествляется въ моихъ глазахъ съ понятіемъ о жизни, что всякое напоминаніе о послѣдней представляется напоминаніемъ о первыхъ.

Но одиночество и само по себѣ имѣетъ втягивающую силу. Оно напечатываетъ думы, не имѣющія ничего общаго съ думами живыхъ людей. Что-то совершенно особенное; не скажу, чтобъ фантастическое или безсвязное, но никогда не кончающееся и притомъ доступное для безконечныхъ видоизмѣненій. Думы плывутъ безостановочно, сами собой, не береда старыхъ ранъ и не смущая тревогами будущаго. Для человѣка, перешагнувшаго пополамъ и имѣющаго за плечами цѣлое бремя всевозможныхъ „сованій“, одно воспоминаніе о которыхъ заставляетъ краснѣть — это до того хорошо, что всякій перерывъ, всякое вѣшнее вторженіе кажется несноснымъ, тяжелымъ. Думается, что еслибы среди этого одиночества вдругъ появился свѣжій человѣкъ съ цѣлымъ запасомъ вѣстей изъ міра живыхъ — это не только не заинтересовало бы, но скорѣе даже огорчило бы меня. Я слушалъ бы только машинально, изъ приличія, но внутри у меня кипѣла бы все та же неясная работа безконечно тянущихся представленій, звучала бы все та же струна. Это бываетъ съ людьми, которые серьезно освоились съ одиночествомъ, да еще съ людьми, которыхъ поразила сильная мысль, что-то въ родѣ откровенія. Вся обыденная жизнь проходитъ мимо этихъ людей, какъ бы не прикасаясь къ нимъ. Есть одна свѣтящаяся точка, въ которую неизмѣнно впередъ ихъ взоръ, и этой одной точки совершенно достаточно, чтобъ наполнить ихъ существо до краевъ.

Однимъ словомъ, одиночество должно оказать мнѣ великую услугу: оно спасетъ меня отъ жизни. Умирать хотя и заживо, но во-время — не только необходимо, но и полезно, поучительно: я на этомъ стою. Я знаю, что вообще достойнѣе и сообразнѣе съ человѣческимъ назначеніемъ говорить: „благо живущимъ!“ Но знаю также, что бываютъ такіа изумительныя обстановки, въ



которыхъ и умѣстнѣе, и приличнѣе говорить: „благо умирающимъ и еще большее благо—умершимъ!“

Ничего не знать, ничего не мочь, быть пятымъ колесомъ въ колесницѣ, при всякомъ удобномъ случаѣ слышать: „не твоего ума дѣло!“ —развѣ подобными признаками можно характеризовать какое бы то ни было общественное положеніе?

Я охотно допускаю, что „смертный“ по природѣ самолюбивъ и склоненъ къ самоумнѣнію, но вѣдь отпоръ этому самоумнѣнію даетъ сама жизнь или, лучше сказать, свободный процессъ ея. Этотъ процессъ, самъ по себѣ, каждый ставитъ на свое мѣсто, для каждого очерчиваетъ извѣстное пространство, за предѣлы котораго переходить не полагается. Для чего же понадобилось, независимо отъ неминусовой жизненной оцѣнки, заранѣе встрѣчать человѣка словами: твой умъ безсиленъ, дряблъ, неумѣстенъ?

И какимъ изумительнымъ логическимъ путемъ можно было дойти до построенія такой отчаянной теоріи, которая убиваетъ жизнь въ самомъ зародышѣ и, слѣдовательно, даже тѣхъ жалкихъ практическихъ результатовъ, которыхъ отъ нея ожидаютъ, въ сущности, дать не можетъ?

Право, это совсѣмъ не такой праздный вопросъ, какъ можетъ показаться съ перваго взгляда, и есть не мало людей, которыхъ самая постановка его терзаетъ безмѣрно. Разумѣется, и его можно разрѣшить сразу, безъ дальнѣйшихъ оговорокъ, юркнувши въ гробъ; но, во-первыхъ, какъ я уже сказалъ выше, не у всякаго есть въ распоряженіи *удобный* гробъ, а во-вторыхъ, говоря по совѣсти, развѣ гробъ — разрѣшеніе?

Говорятъ, что покуда имѣется на-лицо, съ одной стороны, цѣлая масса людей, у которыхъ нѣтъ времени обратиться съ какимъ бы то ни было запросомъ къ самимъ себѣ, а съ другой — достаточное количество индивидуумовъ, которые преднамѣренно чуждаются мерцаній совѣсти и не чувствуютъ отъ этого ни малѣйшаго ущерба—до тѣхъ поръ не представляется даже повода принимать въ соображеніе, что существуютъ какія-то бродячія единицы, разбросанныя по лицу земли, безъ опоры, безъ связи и умирающія отъ боли, каждая въ своемъ углу. Этого мало: на общественномъ рынкѣ пользуется неограниченнымъ кредитомъ цѣлая философская система, которая прямо утверждаетъ, что все существующее уже по тому одному разумно и законно, что оно существуетъ...

Я знаю, что эта философія никакихъ практическихъ разрѣшеній не даетъ и что, вдобавокъ, ее всего приличнѣе назвать заплечною; но попробуйте-ка протестовать противъ нея! Попробуйте сломить это желѣзное кольцо, которое отъ начала вѣковъ сдавило человѣка и заставляетъ его фаталистически вертѣться въ пустотѣ! Увы! старинная мудрость завѣщала такое множество афоризмовъ, что изъ нихъ, камень по камню, сложилась цѣлая несокрушимая стѣна. Каждый изъ этихъ афоризмовъ утверждался на костяхъ человѣческихъ, запечатлѣнъ кровью, имѣетъ за собой цѣлую легенду подвижничества, протестовъ, воплей, смертей. Каждый изъ нихъ поражаетъ крайнею несообразностью, прикрытой ради приличія какой-то пошлою мѣткостью,

но взгляните въ эту пошлость поглубже, и вы наѣрное увидите на дѣйствительный мартирологъ.

Эти легенды воплей, этотъ мартирологъ — развѣ они не представляютъ достаточнаго фундамента, на которомъ какой угодно безсодержательный афоризмъ можетъ безспорно утвердить свое право на существованіе?

Вотъ отъ чего заплечная философія процвѣтаетъ: у нея имѣются сзади цѣлыя массы жертвъ. Но, кромѣ того, ужасная сама по себѣ, она дѣлается еще болѣе ужасною въслѣдствіе того, что прежде всего вторгается въ домашній, будничный обиходъ человѣка, становится на стражѣ его удобствъ и привычекъ, и только тогда, когда уже видитъ силу сопротивленія окончательно сломленною, погубляетъ и душу. Отъ этого встрѣчается много людей, даже не чуждыхъ умственной гастрономіи, которые не только не мечутся отъ тоски при произнесеніи заплечныхъ афоризмовъ, но и не чувствуютъ ни малѣйшей неловкости. Жизненный процессъ у этихъ людей раскалывается на двѣ половины: въ одной матеріальная гастрономія, въ другой — гастрономія умственная, и ежели нѣкоторое время обѣ эти гастрономіи живутъ какъ бы отдѣльною жизнью, то обыкновенно дѣло все-таки оканчивается тѣмъ, что онѣ до того перепутываются, что утрачивается всякое мѣрило для опредѣленія, гдѣ кончается одна и гдѣ начинается другая.

Я долго, слишкомъ долго руководился этой заплечной философіей, прежде чѣмъ мнѣ пришло на умъ, что она заплечная. Будучи тридцатилѣтнимъ балбесомъ, я, какъ ни въ чемъ не бывало, выслушивалъ афоризмы въ родѣ: „выше лба уши не растутъ“, „по Сенькѣ шапка“, „знай сверчокъ свой шестокъ“ и не только не находилъ тутъ никакого мартиролога, но даже восхищался ихъ мѣткостью. Да и время тогда было совсѣмъ особенное. То было время, когда люди безсмысленно глядѣли другъ другу въ глаза и не ощущали при этомъ ни малѣйшаго стыда; когда самая потребность мышленія представлялась презрительною, ненавистною, опасною: поневолѣ приходилось прибѣгать къ афоризмамъ, которые хоть по наружности представляли что-то похожее на продуктъ мышленія.

Наконецъ циклъ заплечной философіи истощился, поставивъ самихъ приверженцевъ своихъ лицомъ къ лицу съ глухой стѣной. Почувствовалась потребность въ иныхъ девизахъ, не столь мѣткихъ, но за то болѣе снисходительныхъ. Эти девизы явились, и мы всѣ, наперерывъ другъ передъ другомъ, бросились на встрѣчу имъ. То было время всеобщихъ „сованій“. Насталъ моментъ, когда всѣхъ освѣтило солнце откровенія, когда представлялось, что чаша горечи переполнилась до краевъ и что заплечный мастеръ задохнулся въ ней. Я заметался вмѣстѣ съ другими, но не отъ боли, а отъ тысячи неопредѣленныхъ порывовъ, которые вдругъ народились въ моей груди и потянули меня на просторъ. Все мое существо, казалось, очистилось, просвѣтлѣло; новая кровь катилась по жиламъ, и ради этой новой крови, ради ея сладкихъ волненій, я готовъ былъ забыть даже недавнее заплечное прошлое. „Зоветь!“ — раздавалось со всѣхъ сторонъ, и хотя чудо призванія заставляло себя ждать, но признаки, позволявшіе угадывать сердцемъ его близость, чуялись всюду...

Я вышелъ на призывъ очень бойко. Написавши на знамени: „ничто чело-



вѣческое мнѣ не чуждо“, я искренно увѣровалъ, что воистину вступилъ въ область этого „человѣческаго“. Я жаждалъ жить, и въ особенности жаждалъ „участвовать“. Но, несмотря на эту страстную жажду, нельзя сказать, чтобъ я былъ черезчуръ требователенъ и нетерпѣливъ. Напротивъ, практика заплечной философіи уже настолько вѣлася въ меня, что я не только инстинктивно чувствовалъ, но даже *понималъ*, что „вдругъ“ — невозможно.

„Не вдругъ!“ — повторялъ я на всѣ лады, и повторялъ совершенно съ тѣмъ же энтузіазмомъ, съ какимъ выкрикивалъ и другой свой девизъ: „да здравствуетъ обновленіе!“ Представлялось, что слова: „не вдругъ“ — ничего не останавливаютъ, а только спасаютъ. И въ то же время хотѣлось уберечь дѣло обновленія отъ вліяній дурного глаза, выхолить его на славу. Я зналъ, что у него множество ненавистниковъ, и вознамѣрился побѣдить ихъ терпѣніемъ и даже покладливостью. Пусть знаютъ, пусть видятъ, твердилъ я, что мы ничьихъ интересовъ не затрогиваемъ и желаемъ лишь одного, чтобъ никто не потерялъ и чтобъ всѣ выиграли! Мнѣ не приходило на мысль, что, твердя слишкомъ часто одно и то же „не вдругъ“, я наконецъ могу при немъ одномъ и остаться. Нѣтъ, я этого не боялся, потому что былъ слишкомъ увѣренъ въ живучести своего порыва. Я вообще въ то время ничего не боялся: ни самоотверженно лѣзть впередъ, ни предусмотрительно кричать: „не вдругъ!“

Къ чему я тогда ни примазывался! въ какомъ „хорошемъ“ дѣлѣ ни предлагалъ своихъ услугъ! Всѣ тогдашніе вопросы были моими личными, кровными вопросами. Я пламенѣлъ не только общею идеей гласности и устности (это была тогдашняя всеобщая панацея), но и всѣми ея деталями, и вездѣ предъ-являлъ искренность, расторопность, готовность, радость. Утромъ я просыпался съ словами: „сегодня намъ предстоитъ быть участниками новой радости, которая должна ознаменовать и упрочить наше молодое обновленіе“; ночью — мой первый сонъ начинался словами: „радость, которая еще сегодня утромъ составляла только предметъ гаданій нашихъ, свершилась“... Мои восторги были не только искренни, но и до того разнообразны, что я положительно не успѣвалъ съ ними во всѣ мѣста, куда они меня влекли, хотя быстрота моихъ мельканій по лагерю радостей и надеждъ была по истинѣ изумительна. И за всѣ эти мельканія я ничего не требовалъ, кромѣ счастья быть свидѣтелемъ общаго обновленія и скромно сознавать, что я тутъ былъ, медъ-пиво пилъ...

Я торжествовалъ и — что всего хуже — принялъ мое торжество за нѣчто серьезное. Дѣйствительно, на первыхъ порахъ мои „созанія“ не только не встрѣтили отпора, но катились впередъ, отъ станціи до станціи, словно по покатости. Въ лагерѣ радостей и надеждъ меня ожидали только объятія и сочувственные улыбки. Я уже не говорю о второстепенныхъ дѣятеляхъ обновленія — эти положительно не могли нагордиться другъ другомъ, какъ половые Палкинаго трактира въ ту минуту, когда хозяинъ пригласилъ француза-повара — но даже въ средѣ самихъ „строителей“ все говорило о ласкѣ, о поощреніи, о благосклонномъ снисхожденіи. Правда, что въ этомъ снисхожденіи чувствовался оттѣнокъ чего-то похожего на изумленіе, но именно это — то оттѣнокъ мы впопыхахъ и просмотрѣли. Если бы мы спохватились вовремя, то убѣдились бы, что тутъ скрывается нѣчто во всякомъ случаѣ загадочное. Что собственно послужило поводомъ для этого изумленія: размѣры

ли нашего слабоумія, разыгравшагося до рѣзвости, или гадливое опасеніе, что вотъ и это рѣзвищеся слабоуміе, чего добраго, предъивитъ какія-то требованія?

Наконецъ однако мы надоѣли. Года два сряду мы любовались другъ другомъ, на третій — любоваться было уже нечѣмъ. Мы весь свой багажъ разбросали разомъ и ничего не сумѣли подобрать, такъ что очутились совсѣмъ съ пустыми руками. Все измѣнилось кругомъ насъ: спресь на наши услуги вдругъ понизился до минимума, снисходительныя улыбки превратились въ откровенно-кислосладкія; одни мы не измѣнились и продолжали выказывать назойливѣйшую готовность идти въ огонь и въ воду. Тогда, чтобъ отдѣлаться отъ насъ, потребовалось употребить насильство...

Что было потомъ — лучше не вспоминать. Скажу одно: человѣку, который гордо шелъ въ храмъ славы и вмѣсто того попалъ въ хлѣвъ — и тому едва-ли пришлось испытать столько горечи. Ошибки маршрута, особливо въ такихъ мѣстностяхъ, гдѣ и храмъ славы, и хлѣвъ стоятъ рядомъ, не представляютъ еще особенно мучительной неожиданности: но замѣна вчерашняго лихорадочнаго „сованія“ сегодняшнимъ оцѣненіемъ, это — болѣе, нежели неожиданность: это цѣлый переворотъ. Нить жизни порвана, привычки нарушены, всѣ планы, всѣ стремленія, все, чѣмъ жилъ человѣкъ — все разомъ упразднено. Сколько жгучаго презрѣнія долженъ почувствовать человѣкъ къ самому себѣ въ минуту совершенія этого переворота! Вѣдь онъ все тотъ же: дѣятельный, преданный, одушевленный — и вдругъ... За что?

За что! поймите, какая масса безпомощности, самоуничженія, напрасныхъ укоровъ, безсильнаго ропота слышится въ одномъ этомъ вопросѣ!

Съ перваго раза нельзя даже понять, что такое случилось. „Выше лба уши не растутъ!“ „Знай сверчокъ свой шестокъ“... опять! Опять эта постылая, ненавистная „мудрость вѣковъ“! Въ бывалое время она входила въ одно ухо и выходила въ другое; теперь — она хлещетъ по щекамъ! Все лицо горитъ, весь организмъ трясется. „Пятое колесо въ колесницѣ“ — кто первый выдумалъ это чудовищное сравненіе? „Ничего не знаю“, „ничего не могу“ — кто возвелъ эти ужасныя слова въ доктрину? Куда бѣжать, куда провалиться отъ этихъ заплетенныхъ афоризмовъ? Объ „сованіяхъ“, конечно, нечего и думать; но куда бѣжать?

И вотъ на-встрѣчу выдвигается... гробъ!

Отлично, отлично, отлично.

Теперь самое существенное, это — довести мысль до той степени неопредѣленности, при которой она совпадаетъ съ жужжаніемъ. И затѣмъ — позабыть. Погрузиться со всѣмъ прошлымъ и настоящимъ на самое дно, такъ чтобъ выкарабкаться оттуда было нельзя, если бы даже и пришла въ голову блажь опять лѣзть на встрѣчу стариннымъ сованіямъ.

Какъ я уже сказалъ выше, виѣшняя обстановка съ самаго начала удивительно какъ благопріятствовала этому погруженію. Но чѣмъ дальше, тѣмъ лучше. Нѣтъ ни проществій, ни даже простого благорастворенія воздуха — ничего такого, что вызвало бы попытку выйти изъ гроба. На дворѣ замѣ-



чаются, правда, признаки весны, но не той свѣтозарной, зажигающей весны, о которой повѣствуется въ книжкахъ, а какой-то мокрой, сонливой, кислой. Тяжелыя сѣрыя тучи повисли надъ домомъ, поселкомъ и паркомъ и съ утра и до ночи сѣютъ на землю мокрый снѣгъ. Съ 1-го марта подулъ съ юго-запада вѣтеръ, но настоящаго тепла не принесъ, а только сырость да слякоть; иней, одѣвавшій паркъ узорчатою одеждою, сползъ, и деревья стоятъ голыя и беспорядочно хлещутъ по воздуху отяжелѣвшими вѣтвями; дорога исковеркалась и побурѣла; рѣка покрылась полыньями; въ саду снѣгъ источило словно червоточиной и по мѣстамъ обнаружилась взбухшая земля; люди ходятъ мокрые, иззябшіе, хмурые; деревня совсѣмъ почернѣла. Говорится въ сказкахъ о жаворонкахъ, о волшебныхъ метаморфозахъ воскресенія природы, но ни жаворонковъ, ни воскресенія нѣтъ, а есть унылая картина неопратнаго превращенія твердаго черепа зимы въ непролазныя хляби весны. Только вѣтрены суетливѣе прежняго хлопочутъ вокругъ гнѣздъ и неистовымъ крикомъ какъ бы возвѣщаютъ, что одна тоска, зимняя, кончилась, и началась другая тоска, весенняя.

Что же касается до происшествій, то я заранѣе рѣшилъ устраняться отъ нихъ и потому даже наблюденій никакихъ не дѣлаю. Иногда впрочемъ я подхожу къ окошку, гляжу на поселокъ, но особеннаго любопытства не ощущаю. Тамъ во множествѣ кишатъ черныя точки, погруженныя въ вѣчную страду. Кишатъ—и только. Борются—и не сознаютъ борьбы; устраниваютъ, ухищиваютъ—и не могутъ дать себѣ отчета: что и зачѣмъ? И не хотятъ знать ни высихъ соображеній, ни высихъ интересовъ, кромѣ впрочемъ одного, самаго высшаго: интереса ѣды. Конечно, я понимаю, что въ этомъ-то интересѣ и сила вся, но странная вещь! — какъ только я наталкиваюсь на него (а не натолкнуться—нельзя), такъ тотчасъ же чувствую неодолимое желаніе обойти, замаять. Разумѣется, впрочемъ, такъ обойти, чтобъ никто этого не замѣтилъ...

Вообще я долженъ сознаться, что меня всегда гораздо сильнѣе трогаль вопросъ о недостаткѣ такъ-называемыхъ „свободъ“, нежели вопросъ о недостаткѣ ѣды. Ёда—вещь неизмѣнная (трудно даже вообразить: какъ это нѣтъ ѣды!), а я воспитанъ въ традиціяхъ красивыхъ линий и интересовъ исключительно спекулятивнаго свойства. Конечно, я не чуждъ и представленія о безкормицѣ, но не „такой“. Вмѣстѣ съ Генрихомъ IV я охотно желаю всѣмъ и каждому курицу въ супѣ, но именно курицу, а не ржаной хлѣбъ, хотя бы и безъ примѣси лебеды. Сверхъ того, я могу довольно легко представить себѣ и трагическую сторону безкормицы, но именно трагическую, красивую: вопли, стоны, проклятія, голодную смерть, а не обрядовое голоданіе, сопровождаемое почтительно сдерживаемымъ урчаніемъ въ животъ и плаксивую суетою, направленною въ одну точку: во что бы то ни стало оборониться отъ смерти.

Тѣмъ не менѣе, иногда мнѣ сдается, что—будь у меня, вмѣсто множества высихъ интересовъ, только одинъ, самый высшій—навѣрное меня не грызла бы такая бѣшеная тоска. Очень возможно, что она замѣнилась бы болью еще болѣе жестокой, но у этой боли существовала бы реальная подкладка, на которую я могъ бы сослаться съ увѣренностью быть понятымъ. А

теперь, съ своими „свободами“, куда я пойду? Съ какими глазами покажусь я вотъ хоть на этой почернѣвшей отъ мужицкаго тука улицѣ, на которой день-деньской все кипать, все кипать?

Поэтому-то я и не выхожу изъ гроба, и не наблюдаю ни надъ тѣмъ. Нѣтъ у меня нужной для этого подготовки. Однакожъ это не мѣшаетъ мнѣ утверждать по совѣсти, что хотя мои „вышніе интересы“ — и не „самые вышніе“, но все-таки они — не прихоть, не фанаберія, а дѣйствительная и стенищая боль сердца. И эта боль тѣмъ несносиѣ щемить меня, что я обязываюсь глотать свою отраву безмолвно и въ одиночку.

Однажды впрочемъ я соблазнился и чуть-было совѣмъ не выпрыгнуть изъ гроба. Вотъ по какому случаю. Пришелъ сельскій батюшка, весь встревоженный, и сообщилъ мнѣ, что на селѣ случилось происшествіе.

— Появился мужичокъ одинъ, изъ фабричныхъ, — рассказывалъ онъ: — нашъ онъ, коренной здѣшній, да не по здѣшнему рѣчь ведетъ. Говорить: рука Божія якобы не надъ всѣми равно благостно и равно пощечительно простирается, но нѣмъ угубжаетъ преизбыточно, а другихъ и отъ малаго немилостивѣя отстраняетъ...

— Воля ваша, батюшка, а тутъ что-то не такъ! — усомнился я.

— Ну, да, конечно, онъ, по своему, по-мужицкому, объясняетъ, а редакцію-то эту ужъ я...

— Понимаю. Чтѣ жъ дальше?

— То-то вотъ: какъ въ этомъ разѣ поступить?

— То-есть, какъ же такъ поступить?

— Дать ли дѣлу ходъ или такъ оставить?

— Батюшка! помилосердуйте!

— Признаться, я и самъ... Только вотъ мужички обижаются... Кабатчикъ, значить... въ личную себѣ обиду принялъ — ну, и прочихъ взбунтовать!

Я заинтересовался и пошелъ на село. Передъ волостнымъ правленіемъ волновалась небольшая кучка народа, изъ которой неслись смутные крики. Но не успѣлъ я дойти до мѣста судбища, какъ приговоръ уже былъ объявленъ и приводился въ исполненіе: виноватаго „стегали“. Здоровенный мужичина самъ снялъ съ себя портки, самъ легъ и самъ кричалъ: „честной міръ! господа честные! простите! не буду!“ А впослѣдствіи я, сверхъ того, узналъ, что только благодаря предстательству батюшки дѣло кончилось такъ легко и что не будь этого предстательства — кабатчикъ непременно бы настоялъ, чтобъ возмутителя его спокойствія отослали въ станъ.

Я возвратился домой и, признаюсь, нѣкоторое время чувствовалъ себя изрядно взбудораженнымъ. Помилуйте! Я ужъ совѣмъ-было началъ „погружаться“, а вмѣстѣ съ тѣмъ и самое представленіе о розгахъ уже стало помаленьку заплывать, и вдругъ... Да, братъ, „выше лба уши не растутъ!“ — машинально повторилъ я, и чуть-чуть не задохся вслѣдъ затѣмъ — до такой степени весь воздухъ, которымъ я дышалъ, казалось мнѣ, провонялъ, прогутахъ...

Объ чемъ собственно шла рѣчь? — объ ѣдѣ. Кажется, предметъ общепонятный и общедоступный, а между тѣмъ честной міръ рѣшеніемъ своимъ



засвидѣтельствовалъ, что и дѣла ему до него нѣтъ, что онъ не желаетъ даже, чтобъ его беспокоили подобными разговорами. Чтѣ означаетъ этотъ фактъ? То ли, что міръ хотѣлъ „уважить“ кабатчика? или то, что въ его представленіи вопросъ объ фдѣ сформулировался такъ: фшь, чтѣ у тебя подѣ носомъ?

Какъ бы то ни было, но отъ мысли, что заправскій узелъ все-таки тамъ, на посѣлкѣ, никакъ не уйдешь. Какъ ни взмывай крыльями вверхъ, ни стучи лбомъ объ землю, какъ ни кружись въ пространствѣ, а посѣлка все-таки не миновать. Тамъ настоящій пупъ земли, тамъ—разгадка всѣхъ жизненныхъ задачъ, тамъ — ключъ къ разумнію не только прошедшаго и настоящаго, но и будущаго. И нужно пройти туда... но какъ же туда пройти, коль скоро тамъ только одно слово и произносится внятно: „стегать“?!

Во всякомъ случаѣ, кто не можетъ вмѣстить посѣлка, тотъ лучше пусть и не прикасается къ нему. Потому что иначе къ прежнимъ высшимъ мотивамъ тоски пришлось бы прибавить еще новый, самый высшій...

Такъ я и поступаю, то-есть стараюсь поступать. Я не хочу тоски, а хочу жить въ гробу безъ прошлаго, безъ будущаго, даже безъ настоящаго. Да, и безъ настоящаго, хотя это и кажется на первый взглядъ нелѣпнымъ. Я убѣжденъ, что можно до такой степени убить въ себѣ чувство жизни, что самая реальная, осязательная дѣйствительность — и та не то что *покажется*, а воистину сдѣлается призрачною, неувидимою. Стѣны будутъ двигаться, полъ начнетъ колебаться подѣ ногами. Галлюцинація получится полная, но въдѣ только она и можетъ привести за собою настоящее, заправское забвеніе.

Чтобъ достигнуть этого результата, необходимо прежде всего отучиться отъ настоящихъ человѣческихъ мыслей и замѣнить ихъ другими, полу-человѣческими. Во-первыхъ, это засвидѣтельствуетъ о несомнѣнномъ поворотѣ въ сторону благонамѣренности, а во-вторыхъ удивительно какъ помогаетъ жить, то-есть умирать. По началу, разумѣется, встрѣтятся затрудненія, но извѣстные механическіе приемы мигомъ упростятъ дѣла. Такъ, на-примѣръ, настойчивымъ повтореніемъ вслухъ первой попавшей подѣ руку бессмыслицы можно разбить какую угодно мысль.

Къ тому же у каждаго человѣка есть на-готовѣ цѣлый запасъ исторій, которая преимущественно шекочутъ его животненные инстинкты, и потому нравятся. Несмотря на крайнюю несложность содержанія, эти исторіи имѣютъ то драгоцѣнное качество, что ихъ, по желанію, можно обставлять новыми и новыми деталями, вслѣдствіе чего онѣ никогда не кажутся ни заношенными, ни исчерпанными. Таковы, на-примѣръ, исторіи любовныя. Какое свѣтозарное облако можно соткать по такому простому поводу, какъ столкновеніе двухъ существъ, изъ которыхъ одно называется мужчиною, а другое — женщиною! и какими яркими, разнообразными колерами будетъ это облако отливать! Или другой примѣръ: процессъ личнаго обогащенія; и его тоже можно всякими огнями освѣтить. И сто тысячъ — богатство, и милліонъ — богатство, и сотня милліоновъ — богатство. Затѣмъ: сначала идетъ процессъ накопленія (какой отличный случай для внимательства элемента „чудеснаго“), потомъ — процессъ распредѣленія... то-есть на себя, на свои собственныя нужды, а отнюдѣ не... По истинѣ, можно до такихъ компликацій дойти, что сразу и не справиться съ ними! И еще примѣръ: исторіи сельско-хозяйственныя.

Самъ-другъ, самъ-семъ, самъ-двѣнадцать — какое разнообразіе! А съ другой стороны — цѣна продуктовъ можетъ быть — рубль, а можетъ быть — грошъ. Какъ тутъ быть? Но-неволя приходится рыться въ воспоминаніяхъ объ экономическихъ обѣдахъ (эти воспоминанія не только можно, но и должно освѣжать какъ можно чаще). Словомъ сказать, является цѣлый міръ мыслей, думъ, представленій, не весьма цѣнныхъ, полу-человѣческихъ, но способныхъ воспринимать всякую произвольную деталь. Благодаря этому свойству, не успѣешь и оглянуться, какъ образуется громадный клубокъ, передъ которымъ цѣлыя поколѣнія будутъ стоять въ изумленіи, покуда не придетъ „невѣжа“ и не скажетъ: „наплевать!“

Но когда-то это еще случится, а покамѣстъ ресурсъ все-таки есть. Я очень серьезно отнесся къ этой программѣ и рѣшился во что бы ни стало ее осуществить. И вотъ стѣны вокругъ меня зашатались, полъ заколебался подъ ногами... Проблески стариннаго стыда, воспоминанія о высшихъ вопросахъ, представленіе о посѣлкахъ — все исчезло. Остались только зеленые круги въ глазахъ, какъ неизбежное послѣдствіе болѣзненной усталости.

Я знаю, мнѣ скажутъ, что это срамъ. Да, это срамъ, отвѣчу я, и даже высокой пробы; но онъ освобождаетъ меня отъ прошлаго, а въ данномъ случаѣ только это и требуется.

Я уже начиналъ совсѣмъ утрачивать чувство дѣйствительности, какъ нечаянный случай снова возвратилъ меня къ нему. Привязался ко мнѣ старикъ Дементычъ съ „докладомъ“: время-де погребъ набивать льдомъ. Нѣсколько дней сряду я только мычалъ въ отвѣтъ: а! гм! Наконецъ онъ по-видимому испугался и почти во все горло проскандовалъ свой вопросъ.

Вотъ по этому-то ничтожному поводу и завязался у насъ разговоръ.

— Отъ Ивана Михайлыча человѣкъ на мельницу пріѣзжалъ; спрашивалъ, давно ли вы въ усадьбу пріѣхали? — доложилъ Дементычъ.

— Отъ Ивана Михайлыча! помню! какъ же... помню, помню! да неужто онъ живъ? — встрепенулся я.

— Живы-съ.

— Да вѣдь ему ужъ *тогда* было подъ-семьдесятъ — помнишь?

— Много имъ годовъ. А все до послѣдняго время здоровы были. Только въ прошломъ году, отъ несчастьевъ отъ этихъ, словно кабы...

— Отъ какихъ несчастьевъ?

— Да съ молодыми господами что-то подѣлалось. Да и Марья Ивановна, дочка ихняя, померла. Теперь живутъ самъ-другъ съ младшей внучкой... въ родѣ какъ убогонькая она... Поѣдете, что-ли, провѣдать?

— Конечно, конечно... Какъ-нибудь... съѣзжу!

Дементычъ ушелъ, а я началъ припоминать. Это было лѣтъ двадцать тому назадъ, въ самый разгаръ моихъ „сованій“. Иванъ Михайлычъ ужъ и тогда былъ старикъ старый. Какъ сейчасъ вижу его: длинный, прямой, худощавый, но ширококостный и плечистый, съ головой, остриженной подъ гребенку и украшенной окладистой сѣдой бородою, вѣчно въ застегнутомъ на всѣ пуговицы черномъ сюртукѣ солиднаго покроя. Самъ лично онъ не



„совался“ — года не позволяли — по сердцемъ и мыслью былъ неотлучно съ нами (насъ было такъ довольно). Мы были молоды, а онъ, казалось, вдвое моложе насъ. Онъ воодушевлялъ насъ, вселялъ въ насъ бодрость и вѣру, — въ насъ, которые и сами были всецѣло сотканы изъ бодрости и вѣры! Въ его старческомъ сердцѣ словно цвѣтъ какой-то загадочный распустился; въ его старческихъ глазахъ — искрилось пламя. Никакихъ сомнѣній онъ не допускалъ, а тѣмъ менѣе — прониц, къ которой былъ даже строгъ. И радовался такою безмѣрною радостью, какою можетъ радоваться только острожникъ, выдержавшій безконечно долгій искусь, утратившій всякую надежду на освобожденіе и вдругъ, волшебствомъ какимъ-то, очутившійся на волѣ. И мы чувствовали на себѣ силу этой радости и окружали старика всевозможными знаками уваженія. Чудно было видѣть, какъ сильный лучъ свѣта вдругъ освѣтилъ могильную плиту, но вмѣстѣ съ тѣмъ и необыкновенно отрадно. Казалось, плита поднялась и дала выходъ совсѣмъ новому, сильному чловѣку, который не зналъ, какъ надышаться, наглядѣться, наликоваться. Конца края его ликоваію не было, потому что этотъ ожившій, согрѣтый лучомъ мертвецъ создавалъ перспективы за перспективами, одна другой радостнѣе, лучистѣе...

Въ то время у него была дочь, еще довольно молодая. Красива ли была она, или дурна, мнѣ какъ-то никогда не удавалось замѣтить; но я помню, что въ этой семьѣ всемъ было и уютно, и свѣтло, и тепло, и какъ-то особенно легко. Должно быть, оттого, что въ ней царствовали какой-то удивительный ладъ. Всегда большой наплывъ постороннихъ — и ни малѣйшей суетоки, всегда немолчный говоръ — и никакого надоѣдливаго шума. Домъ этотъ служилъ средоточіемъ не потому, что туда можно было во всякое время уйти отъ нечего-дѣлать, а потому, что всякій надѣялся освѣжиться въ немъ. Удивительное дѣло, сколько тогда матеріала для безконечныхъ бесѣдъ было — нынче этого даже представить себѣ нельзя! Точно все родились вновь и на каждомъ шагѣ обрѣтали совсѣмъ новые предметы, нужные, животрепещущіе, настоятельные. Да и дѣйствительно, много было и животрепещущаго, и настоятельнаго, да вотъ пришло что-то загадочное, чего и ждать, казалось, было нельзя, пришло и подкосило...

Впослѣдствіи, когда всемъ мѣстнымъ „сованіямъ“ (я забылъ сказать, что жилъ въ то время въ деревнѣ, гдѣ собственно и сосредоточивалась тогдашняя кипучая дѣятельность) былъ положенъ крутой и внезапный конецъ, я бросился вонъ изъ деревни и ухалъ „соваться“ въ другія мѣста. А Иванъ Михайлычъ остался на мѣстѣ, и хотя цвѣтокъ, случайно распустившійся въ его сердцѣ, завялъ значительно, но все-таки онъ продолжалъ заботливо охранять его корень, въ чаянн, что опять проглянутъ лучи и согрѣютъ его. Повторяю: въ качествѣ острожника, почувствовавшаго просторъ полей, онъ сдѣлался наивенъ какъ юноша, и какъ юноша же былъ доступенъ только впечатлѣніямъ радости и надежды. Я лично уже не видѣлся съ нимъ, но отъ постороннихъ слыхалъ, что онъ точно такъ же, какъ и я, какъ и все мы, не одинъ разъ расцвѣталъ и не одинъ разъ увядалъ. Надежда — вещь слишкомъ привязчивая, чтобъ могла легко и скоро превратиться въ стыдъ. Но годъ или два тому назадъ Ивана Михайлыча постигло двойное несчастіе: сперва

умерла дочь, а потомъ случилось что-то загадочное съ внуками, которыхъ онъ вырастилъ и на которыхъ не могъ надѣяться. По словамъ Дементьича, въ самое короткое время его такъ свернуло, что отъ прежняго бодрого и физически-сильнаго старика осталась одна развалина. Теперь онъ живетъ вдвоемъ съ уцѣлѣвшею внучкой; оба думаютъ объ одномъ; оба чувствуютъ себя раздавленными и оба боятся проговориться другъ передъ другомъ. Именно только благодаря этой осторожности ихъ жизнь еще кое-какъ виситъ на волоскѣ. Никто къ нимъ не ѣздитъ, да и некому: тѣ, которые когда-то составляли ихъ кругъ, давно ужъ разсыпались и ушли неизвѣстно куда. Вотъ я — воротился, вспомнилъ, что у меня случайно уцѣлѣлъ свой собственный гробъ, а другіе — гдѣ? Ужели все еще „суются“ и питаются пощечинными надеждами!

Воспоминанія эти встревожили меня. Съ недѣлю я не упоминалъ объ Иванѣ Михайлычѣ: все надѣялся, что какъ-нибудь обойдется. Въ моемъ безмолвіи всякая непредвидѣнность, всякій выходъ изъ предѣловъ программы не на шутку пугали меня. Конечно, я ни подъ какимъ видомъ не могъ освободиться приличнымъ образомъ отъ визита къ Ивану Михайлычу, но зачѣмъ же снѣшить? И я не знаю, чѣмъ бы это кончилось, если бы не пришелъ ко мнѣ на выручку Дементьичъ, который въ одно прекрасное послѣ-обѣда доложилъ, что закладываютъ лошадей.

Я ѣхалъ съ замираніемъ сердца, словно ожидая, что мнѣ придется увидѣть нѣчто даже худшее, нежели гробъ. Сиротливо раскинувшись по обѣимъ сторонамъ дороги родная равнина, обнаженная, расхищенная, точно послѣ погрома. При взглядѣ на эти далекія, оголенные перспективы, не рождалось никакой мысли, кромѣ одной: гдѣ же тутъ пріютъ? кто тутъ живетъ? зачѣмъ живетъ? въ какихъ выраженіяхъ проклинаетъ часъ своего рожденія? Я никогда не былъ панегиристомъ старыхъ порядковъ, но можно ли было представить себѣ даже во снѣ, что на смѣну прошлому придетъ такое настоящее? А сколько было радостей-то! сколько надеждъ! Ахъ, эти радости! есть же такіе углы въ Божьемъ мірѣ, гдѣ онѣ не оживляютъ, а только отравляютъ существованіе!

Наконецъ проѣхали перелѣсокъ (я не узналъ его: тутъ прежде былъ хорошій, старинный лѣсъ), и изъ-за снѣжныхъ сугробовъ вынырнула усадьба Ивана Михайлыча. И прежде она была не изъ нарядныхъ, а теперь и вовсе глядѣла разореннымъ вороньимъ гнѣздомъ. Почернѣла, даже словно сгорбилась. Я осторожно подъѣхалъ къ заднему крыльцу (нарядное было заколочено и дорогу къ нему занесло снѣгомъ), и въ бывшей дѣвичьей былъ встрѣченъ Юліей Петровной, внучкой Ивана Михайлыча.

Это была дѣвушка болѣзненная, маленькаго роста, горбатенькая. Лицо у нея — блѣдное, почти прозрачное, и эта прозрачность сообщала ему по временамъ свѣтящіяся точки. Смѣсь дѣтскаго и преждевременно состарѣвшагося поражала въ этомъ лицѣ: глаза смотрѣли совсѣмъ по-дѣтски, восторженно, какъ-то вдаль, дальше предмета непосредственно стоящаго передъ глазами, а на вискахъ и на лбу ужъ легли старческія тѣни. Даже голосъ ея звучалъ двойственно: въ общемъ онъ напоминалъ неустановившіеся голоса переходной эпохи 12—13-лѣтняго возраста, но по временамъ (даже слыш-



комъ часто) въ немъ прорывались такіе дряхлые звуки, что, слыша ихъ, вы невольно представляли себѣ цѣлую раздавленную жизнь.

Приняла она меня прилично, хотя и не особенно радушно. Можетъ быть, долгая строго-удиненная жизнь ужъ отъучила ее отъ той привѣтливости, которою нѣкогда, казалось, были пропитаны даже стѣны этого дома.

— Дѣдушка васъ ждетъ, — сказала она, подавая мнѣ руку.

— Онъ здоровъ?

— Здоровъ, но не надо его волновать. Конечно, при встрѣчѣ послѣ долгой разлуки нельзя обойтись безъ воспоминаній, но есть предметы — вы меня понимаете? — которыхъ положительно не слѣдуетъ касаться. Онъ и безъ того слишкомъ объ нихъ помнить.

Я нашелъ Ивана Михайлыча въ столовой. Передо мной стоялъ прямой и длинный старикъ, до того худой и обнаженный отъ мускуловъ, что даже кости у него, казалось, усохли. Блѣдно-сѣрая голова, словно мхомъ поросшая волосами, ничѣмъ бы не отличалась отъ головы мертвеца, если бы изъ глубокихъ глазныхъ впадинъ не выглядывали двѣ свѣтящіяся точки. Увидѣвъ меня, онъ протянулъ ко мнѣ свои длинныя, худыя руки.

— Приѣхали?... куда?... ха-ха! — привѣтствовалъ онъ меня.

Я бросился къ нему, и вдругъ внутри у меня что-то нахлынуло, закипѣло, защемило. Я не ждалъ отъ него смѣха... Ужасная это, ужасная боль! Я весь вспыхнулъ, затрясся и, мучительно надрываясь отъ боли и въ то же время какъ бы усиливаясь освободиться отъ нея, крикнулъ:

— Ну, да, въ гробъ, въ гробъ, въ гробъ!

Казалось, эта выходка поразила его. Онъ взялъ мою руку; одною рукою держалъ ее, а другою гладилъ, какъ бы желая успокоить.

— Ну, дайте я на васъ посмотрю! — сказалъ онъ, подводя меня къ окну, и затѣмъ, внимательно осмотрѣвши, прибавилъ: — все въ порядкѣ. Теперь рассказывайте. А впрочемъ, чтожъ я! прежде познакомьтесь. Юлія — внучка моя. Теперь она у меня одна...

Онъ спохватился и не кончилъ.

— Рассказывайте, рассказывайте! — повторилъ онъ.

Мнѣ всегда казалось, что я могу рассказать очень многое. Длинная жизнь, вся до краевъ наполненная „сованіями“ — есть, кажется, что поразсказать. Но теперь, при этомъ, такъ сказать, ультиматумъ, я вдругъ сталъ втушикъ. Не то чтобъ я позабылъ или застыдился — нѣтъ, этого не было. Напротивъ, какъ нарочно, вся моя жизнь, со всѣми деталями, пронеслась въ эту минуту предо мной; а что касается до стыда, то, право, онъ не могъ дѣлать никакого диссонанса въ домѣ, гдѣ и безъ того все говорило о стыдѣ. Нѣтъ, просто показалось нелюбопытнымъ, ненужнымъ.

— Рассказывать-то, вѣрно, нечего... ха-ха! — засмѣялся онъ.

— Пожалуй что такъ, — согласился я.

— Это, сударь, бываетъ, особливо въ такихъ углахъ вселенной, гдѣ по части благочинія черезчуръ благополучно. Вспоминаешь-вспоминаешь и все какъ-то около одного предмета вертишься: около вывѣски съ надписью: „Управа благочинія“ ... ха-ха!

— Дѣйствительно, это воспоминаніе господствуетъ...

— Такъ-то господствуетъ, что вотъ я еще въ восемьсотъ-четырнацатомъ году (восемьдесятъ-восемь лѣтъ, сударь, мнѣ!) началъ надеждами горѣть и потомъ все горѣлъ, все горѣлъ, а ежели начать рассказывать... Плюхи да плюхи, на каждомъ шагу плюхи... вотъ мерзость какая! Ну, дѣлать нечего, давайте смотрѣть другъ на друга и молчать. Юлія! ты у меня умная: скажи, вѣдь молчать—лучше!

— Да, дѣдушка, лучше.

— Я и говорю: лучше... ха-ха! Только я вотъ еще что говорю: молчаніе — вещь обоюдоострая; иногда оно помогаетъ забывать, а иногда — жжетъ, бередитъ. Точно вотъ слезы, которыхъ не можешь выплакать, или стыдъ, который, хочешь не хочешь, а долженъ глотать. Такъ ли, господинъ надеждоносецъ... ха-ха!

Я прислушивался къ его смѣху, и мнѣ положительно дѣлалось неловко. Хохочущій старикъ—право, это цѣлая трагедія. Какую нужно необъятную боль, — чтобъ добраться до дна старческой дремоты, разбудить всѣ скопившіяся тамъ боли, перебрать ихъ одну за одной и обострить—до хохота!

— Что касается до меня, — сказала я: — то я во всякомъ случаѣ полагаю, что молчаніе цѣлесообразнѣе. Съ помощью его мы извлекаемъ свой личный стыдъ изъ публичнаго обращенія и перестаемъ служить посмѣшищемъ. Я, собственно, ради молчанія и воротился въ деревню.

— А вы изъ стыдящихся?—вдругъ прервала меня Юлія Петровна и такъ пристально взглянула на меня, что я невольно сконфузился.

— Она у насъ стыдящихся не одобряетъ, — съ своей стороны пояснилъ Иванъ Михайлычъ.

— Не одобряете? но что же дѣлать, если результатъ всей жизни выражается словами: довольно жить? — возразилъ я.

— Она такихъ результатовъ не признаетъ. Не понимаетъ, что для насъ, старыхъ надеждоносцевъ... если мы и къ такимъ результатамъ приходимъ... и то ужъ заслуга... ха-ха!

Старикъ захохоталъ такимъ горькимъ и продолжительнымъ хохотомъ, что Юлія Петровна встревожилась.

— Дѣдушка! оставьте этотъ разговоръ! онъ васъ волнуется! — обратилась она къ нему.

— Мудрая, а не въ силахъ понять, что у насъ другого разговора не можетъ быть! Ты говоришь: волнуется, а я, напротивъ, утверждаю: развлекаетъ, позволяетъ занимательно провести время... Такъ ли, соседъ?

— Не знаю, право...

— Нѣтъ, навѣрное. Вотъ, напримѣръ, я говорю: какъ начиналось — и чѣмъ кончилось! Восклицаніе, кажется, не особенно мудрое, а между тѣмъ оно облегчаетъ меня! И я очень радъ, что есть человѣкъ, который меня пойметъ и вмѣстѣ со мной постыдится... Такъ вѣдь?

Онъ взглянулъ мнѣ въ глаза и ласково потрепалъ рукой по колѣнѣ.

— Еслибы я молчалъ — эта мысль глода бы мои внутренности, шла бы за мной по пятамъ. А теперь, сдѣлавши изъ нея составную часть *causee-rie de société*, я все равно что отнялъ у нея всякое значеніе. Оттого-то я и повторяю: какъ начиналось и чѣмъ кончилось... ха-ха!



— Да начиналось ли?

— То-то вотъ... Она впрочемъ, умная-то моя, не сомнѣвается. Не только „начиналось“, а началось, говорить, и не вчера, а отъ начала вѣковъ. И придетъ, несомнѣнно придетъ! Юля? вѣдь такъ?

— Такъ, дѣдушка, придетъ.

— Она и на насъ, стыдящихся, какъ-то особенно смотритъ. Нѣчто въ родѣ Закхеевой смоковницы въ насъ видитъ... ха-ха!

— Дѣдушка, я никого не осуждаю! Я говорю только...

— Что нужно вѣрить?

— Нужно, дѣдушка.

— И что есть люди, которые не падаютъ духомъ?

— Есть.

— Аминь!

— Аминь,—повторила Юлія Петровна.

Всѣ умолкли, а старикъ понурилъ голову, словно задремалъ. Черезъ минуту однакожъ онъ вновь встрепенулся и взглянулъ въ окно. Небо было ясно, и на краю небосклона разливался тихій свѣтъ вечерней зари.

— Сколько разъ, въ былыя времена, — словно про себя прошепталъ Иванъ Михайлычъ: — я провожалъ глазами эту зарю и говорилъ себѣ: завтра я опять увижу ее тамъ на востокѣ.

— А теперь?

— А теперь говорю: сейчасъ она потухнетъ, и затѣмъ начнется ночь...

— Дѣдушка!

— Да, ночь... и навсегда! Ни надеждъ, ни „насъ возвышающихъ обмановъ“... ничего, кромѣ ночи!

— Нѣтъ, дѣдушка, этого не будетъ!

Я оглянулся и умилился. Глаза Юленьки горѣли; лицо ея было все какъ въ лучахъ; даже въ голосѣ слышались мощныя, звонкія ноты.

— Заря опять придетъ, — продолжала она, — и не только заря, но и солнце!

Старикъ махнулъ рукой вмѣсто отвѣта.

— Есть добрые, не падающіе духомъ! есть! И они увидятъ солнце, увидятъ, увидятъ, увидятъ! — повторила она.

Иванъ Михайлычъ быстро повернулся и протянулъ мнѣ руки.

— Ну, прощайте! — сказалъ онъ: — тяжело! Говорить мы ни объ чемъ не умѣемъ, а только умѣемъ раздражать себя... Тяжелы эти повторенія старой сказки объ упованіяхъ! Не ѣздите ко мнѣ... не нужно! Не затѣмъ мы живемъ, чтобъ заниматься causeries de société... Будемъ изнывать каждый въ своемъ углу... Довольно.

## Больное мѣсто.

### I.

Уныло доживалъ вѣкъ старикъ Разумовъ въ родномъ своемъ городѣ Подхалимовѣ. Пять лѣтъ тому назадъ онъ пріѣхалъ сюда, покончивъ счеты съ долготѣнной службой, купилъ домикъ въ Проломной улицѣ, устроилъ, ухитилъ себѣ гнѣздо на славу, и думалъ: „вотъ теперь-то начнется настоящій покой!“ И дѣйствительно, „покой“ начался, но не совсѣмъ тотъ, на который разсчитывалъ Разумовъ. Начался „покой“ одиночнаго заключенія, подавляющій, преисполненный безразсвѣтной мглы, тотъ „покой“, который, однажды захвативъ человѣка, окружаетъ его непроницаемой стѣной, безъ дверей, безъ оконъ. Сидитъ человѣкъ за этой стѣной и ни о чемъ другомъ не мыслить, кромѣ того, что и въ немъ самомъ, и внѣ его все кончилось.

Несмотря на свои шестьдесятъ лѣтъ, Разумовъ былъ старикъ бодрый, румяный и сильный. Начавши трудную жизненную карьеру съ должности писца въ подхалимовскомъ земскомъ судѣ, онъ не погрязъ въ безымянной массѣ подъячихъ, но сумѣлъ выдѣлиться изъ нея настолько выгоднымъ образомъ, насколько это возможно для человѣка, у котораго нѣтъ иной опоры, кромѣ замѣчательной дѣловой цѣпкости, споспѣшествуемой не менѣе замѣчательною выносливостью хребта. Разумѣется, въ его возвышеніи большую роль игралъ случай, который далъ Разумову возможность сначала „понравиться“, а потомъ сдѣлаться „необходимымъ“, но и собственной его заслуги было все-таки не мало. Трудно безъ особенно счастливаго случая выбраться изъ подъяческой тьмы въ излучины воинствующей бюрократіи, но еще труднѣе не потеряться въ нихъ и не развратиться. И высокой похвалы заслуживаетъ тотъ, кто не до конца погубить при этомъ „разсужденіе“, а ограничится только тѣмъ, что покорить его, поставить въ предѣлы.

Разумовъ вышелъ въ отставку съ хорошей пенсіей и съ чиномъ тайнаго совѣтника, но не совсѣмъ по своей охотѣ. Напротивъ, это случилось въ самую цвѣтущую пору его бюрократической дѣятельности, когда онъ всего менѣе ожидалъ, что услуги его скоро ужъ не понадобятся. Разумовъ никогда не занималъ вполнѣ самостоятельнаго мѣста, но какъ второстепенный дѣятель онъ былъ незаменимъ. Это была своего рода неуязвимая департаментская репутация, передъ которою спасовалъ даже отважный генераль-маіоръ Отчаянный. Цѣлая свита угрюмыхъ сановниковъ прошла передъ нимъ въ продолженіе его многолѣтняго жизненнаго искуса, и каждый изъ нихъ неизмѣнно начиналъ съ того, что сулилъ ему въ перспективѣ преисподнюю. Но онъ понималъ, что стоять на твердой почвѣ, и не страшился. Тридцать-пять лѣтъ сряду ничего не страшился и только изрѣдка жаловался на боль въ поясницѣ. И вдругъ, совсѣмъ неожиданно, почувствовалъ, что почва, которую онъ считалъ неподвижною, начинаетъ шевелиться подъ нимъ. И точно: недолгѣ пришелъ деликатный тайный совѣтникъ Губошлеповъ (по странной игрѣ случая, несмотря на свою чисто русскую фамилію, онъ назывался Ва-



силій Карлычъ), и безъ угрозъ, въ два слова, пресѣкъ жизнь, передъ которою въ недоумѣніи остановился самъ генераль-маіоръ Отчаянный.

— Какой это такой пономарь ко мнѣ давеча представлялся?—спросилъ онъ въ самый день своего вступленія въ должность, пораженный высокою и какъ-то чересчуръ ужъ сановитою фигурой Разумова.

Ему доложили, что это былъ дѣйствительный статскій совѣтникъ Разумовъ, чиновникъ опытный, неустойчивый и даже въ нѣкоторомъ родѣ незамѣнимый по своей части.

— У меня нѣтъ „незамѣнимыхъ“!—кратко отрѣзаль Губошлеповъ, и тогда же порѣшилъ въ сердцѣ своемъ положить конецъ служебному поприщу Разумова.

Нельзя сказать, чтобъ Губошлеповъ былъ золъ, но несомнѣнно, что внутри его царствовали постоянныя сумерки. Эти сумерки помогали ему отравлять жизнь подчиненныхъ, не подвергая при этомъ самого себя никакимъ запросамъ со стороны совѣсти. Онъ принадлежалъ къ той породѣ бюрократовъ, которые думаютъ, что бюрократическій омутъ только тогда освѣщается, когда сидящій на берегу рыболовъ отъ времени до времени закидываетъ въ него уду и ловкимъ движеніемъ руки подсѣкаетъ суетящуюся въ омутѣ рыбную бѣль. Чтò оказывалось въ результатѣ этой подсѣчки: безобидная ли плотва, или вороватая щука—это было для него безразлично. Онъ за результатами не гнался, а просто-на-просто выполнялъ обрядъ. Изъ этого неумнаго занятія онъ выработалъ совершенно неумную доктрину, которая, къ удивленію, въ извѣстныхъ сферахъ однакожъ создала ему цѣлую репутацію. По крайней мѣрѣ, когда въ бюрократическомъ мірѣ шла объ немъ рѣчь, то все какъ будто понимали, объ комъ и объ чемъ они говорятъ. „Этотъ человѣкъ съ душкомъ! у него—система!“—вотъ мнѣніе, которое сложилось объ немъ въ сознаніи каждаго чиновника, и мнѣніе это онъ, конечно, старался всеми мѣрами поддержать.

Я всегда говорилъ, и теперь утверждаю: существуетъ цѣлый замкнутый міръ, въ которомъ такимъ словамъ, какъ на примѣръ: „мысль“, „система“, не дается почти никакой цѣны. Есть выраженія, которыя правятся только потому, что они таинственно-заманчивы, хотя внутренній смыслъ ихъ всегда остается неразгаданнымъ. Въ результатѣ получается смѣшеніе, и то, что въ средѣ обыкновенныхъ смертныхъ зовется глупостью, въ этомъ странномъ мірѣ получаетъ названіе „идеи“, а то, въ чемъ трудно усмотрѣть что-нибудь, кромѣ пустопорожности, украшается именемъ „системы“. Этотъ особенный міръ пародился впрочемъ недавно, какъ поправка и улучшеніе тому міру, который ни „идей“, ни „системъ“ не зналъ, а зналъ только „ежовыя рукавицы“. Но дѣйствительно ли онъ принесъ улучшеніе—на это я положительнаго отвѣта дать не могу. Думаю однакожъ, что простыя, безхитростныя „ежовыя рукавицы“ имѣли на своей сторонѣ преимущество прямоты и откровенности, и что вообще помѣщеніе такихъ, на примѣръ, словъ, какъ: „идея“, „система“ и т. п. въ словари, которые, въ видахъ общественной безопасности, должны отличаться безусловною ясностью, представляетъ совсѣмъ не обезпеченіе, а скорѣе угрозу.

Какъ бы то ни было, но въ одно прекрасное утро Губошлеповъ, заки-

нувъ въ подвѣдомственный ему омутъ уду, вытащилъ оттуда Разумова. Рыбина оказалась большая, даже рѣдкостная, но не настолько впрочемъ, чтобъ такой доктринеръ рыболовства, какъ Губошлеповъ, могъ затрудниться, какъ насчетъ ея поступить.

— Вы, кажется, выслужили право на пенсію?—молвилъ онъ однажды Разумову послѣ того, какъ покончилъ съ нимъ обычное объясненіе.

Разумовъ покраснѣлъ, точно его вдругъ по затылку ударили. Ему показалось, что стѣны Губошлеповскаго кабинета начинаютъ шататься и самъ онъ какъ будто скользить.

— Выслужилъ-съ, —отвѣтилъ онъ однако довольно твердо.

— А при этомъ, ежели чинъ тайнаго совѣтника при отставкѣ... гм?... — продолжалъ тайный совѣтникъ Губошлеповъ, но безъ жестокости, а именно только съ поляѣйшимъ „неразсужденіемъ“. — Полный окладъ пенсіи и... чинъ тайнаго совѣтника... гм? И такъ, до свиданія... любезный коллега!

Губошлеповъ очень развязно протянулъ ему руку, и старикъ Разумовъ почтительно прикоснулся къ ней концами своихъ похолодѣвшихъ пальцевъ.

Въ этотъ день Разумовъ возвращался домой совѣзмъ пустой, точно внутренности изъ него вынули. Не то чтобъ онъ жаловался или негодовалъ, а какъ будто никакъ не могъ вспомнить что-то очень нужное, и въ то же время потерялъ способность воспринимать ощущенія. Онъ шелъ обычной дорогой, безошибочно поворачивая въ тѣ самыя улицы и переулки, куда слѣдовало, но дѣлалъ это совѣзмъ машинально. Проходя мимо знакомой колбасной лавки, онъ, какъ всегда, зажалъ носъ, но сдѣлалъ это лишь инстинктивно, а не потому, чтобъ его поразила окружающая лавку смрадная атмосфера. На одномъ переходѣ, гдѣ обыкновенно протекалъ грязный ручей, онъ сдѣлалъ обычный прыжокъ, хотя на этотъ разъ, благодаря какому-то исключительному стеченію обстоятельствъ, никакого ручья въ этомъ мѣстѣ не было. И при этомъ онъ все время нервно шевелилъ губами, такъ какъ ему казалось, что онъ ведетъ бесѣду съ какимъ-то воображаемымъ пріятелемъ и что разговоръ ихъ состоитъ изъ слѣдующихъ немногихъ, но назойливо повторяемыхъ фразъ:

— Глупо-то какъ! — говоритъ онъ, Разумовъ, впрочемъ безъ злобы, а съ какимъ-то наивнымъ изумленіемъ.

— Умнаго нѣту! — вторитъ ему воображаемый пріятель.

— Нѣтъ, ты пойми: глупо-то какъ! — опять настаиваетъ онъ.

И такъ далѣе.

Въ этой мысленной бесѣдѣ онъ дошелъ до Лиговки, и только тутъ, задѣвши ногой за перила моста, очнулся на минуту. Но, увидѣвши себя въ знакомой мѣстности, опять тронулся въ путь.

— Мухи не обидѣлъ! — вдругъ мелькнуло у него въ головѣ. — Мухи, мухи не обидѣлъ!

И ему показалось, что вся окрестность разомъ повторила это восклицаніе. И извозчикъ, ѣдущій порожнякомъ, и мальчишка, катящій ручную тележку съ беремемъ пустыхъ бутылокъ, и лавочникъ, высунувшійся изъ подвала. Всѣ смотрятъ на него, всѣ изумленно качаютъ головами и въ одинъ голосъ вопіютъ:

— Мухи не обидѣлъ! мухи, мухи не обидѣлъ!



Въ такомъ полубодрственномъ положеніи дошелъ онъ наконецъ до своей квартиры и дернулъ за звонокъ.

— Въ горлѣ... — прохрипѣлъ онъ отворившей ему дверь прислугѣ: — въ горлѣ... воды бы! да Ольгу Аѳанасьевну поскорѣ сюда...

Принесли воды; прибѣжала Ольга Аѳанасьевна.

— Вотъ, сударыня... и уволили насъ! — произнесъ онъ, выпивъ залпомъ два стакана воды.

Ольга Аѳанасьевна сразу не поняла, но и ей показалось, что стѣны дома шатаются и что она начинаетъ куда-то опускаться, скользить...

— Уволили... совѣтъ... въ чистую! — повторилъ онъ, вразумительно отекаяивая каждое слово, чтобъ она поняла.

— Чтѣ же ты сдѣлалъ? — какъ-то изумленно воскликнула она.

## II.

Гаврило Степанычъ Разумовъ женился поздно, когда ужъ ему было лѣтъ подъ сорокъ. Ни молодости, ни такъ-называемаго періода страстей у него не было; всю жизнь онъ прожилъ степенно, по-старчески оглядываючись. Ни тогда, когда у него была одна своя голова на плечахъ, ни послѣ, когда онъ обзавелся ужъ семьей — ни разу онъ не почувствовалъ поползновенія выйти изъ намѣченной колеи, „рискнуть“. Собственно говоря, это была не жизнь, а тиски, съ которыми онъ, съ самой бурсы, до того свыкся, что даже не чувствовалъ ихъ давленія. Содержаніе этого существованія было полумистическое и въ то же время совершенно рутинное. Ничего у Разумова не было ни самостоятельнаго, ни собственнаго, ему принадлежащаго; все исходило изъ какого-то загадочнаго произволенія и все туда же возвращалось; причеъ на немъ, Разумовѣ, оставалась однакожъ отвѣтственность за это загадочное и не отъ него зависящее. И мысли, и дѣйствія, и желанія его — все кружилось вокругъ этого загадочнаго и, безъ разсужденія принимая тѣ готовыя формулы, которыя оно предлагало, въ нихъ однѣхъ находило для себя питаніе. Въ зрѣлыхъ лѣтахъ такую всепроникающей формулой явилась служба и сопряженное съ нею „дѣло“.

Разъ прилѣпившись къ „дѣлу“, разъ взявши на себя обязательство выполнить его „по сущей совѣсти“, Гаврило Степанычъ почувствовалъ жизнь свою до краевъ наполненною. Онъ былъ нечестолюбивъ и, кажется, даже не понималъ честолюбія. Не потому, чтобъ, искушенный рядомъ жизненныхъ обидъ, онъ смирился передъ мыслью, что маленькимъ людямъ положенъ и маленькій предѣлъ — нѣтъ, онъ ни о какихъ предѣлахъ не думалъ, а просто шелъ, не обинюясь, по той колесѣ, на которую поставила его судьба, и старался только о томъ, чтобъ поступать по „сущей совѣсти“, разумѣя подъ этимъ: какъ приказано. Повышенія и награды хотя и настигали его, но въ установленномъ порядкѣ, а не потому, чтобъ онъ искалъ ихъ; даже „необходимъ“ онъ сдѣлался не за какія-нибудь „потворства начальственнымъ страстямъ“ (что въ чиновничьемъ быту не рѣдкость), а просто потому, что лучше другихъ „вникалъ“, лучше другихъ умѣлъ неясному мельканію начальственной мысли найти связное и ясное выраженіе.

Онъ дѣлялъ только „дѣло“, мыслилъ только объ „дѣлѣ“ и въ этомъ „дѣлѣ“ умѣлъ находить матеріалъ для безчисленнаго множества вопросовъ, взглядовъ, соображеній и т. д. Онъ гордился этимъ и изрѣдка даже говорилъ: я служу только „дѣлу“. Было даже удивительно, какъ „дѣло“ приковывало его къ себѣ, охватывало его всего, совершенно независимо отъ своего содержанія, а только потому, что оно „дѣло“. „Дѣло“ раскрывалось передъ его умственнымъ взоромъ съ самымъ неожиданнымъ разнообразіемъ подробностей, съ безчисленными микроскопическими развѣтвленіями, изъ которыхъ, въ свою очередь, выбѣгали другія микроскопическія развѣтвленія; однимъ словомъ, со всею суматохою своеобразной трупной жизни. И онъ не успокоивался до тѣхъ поръ, пока все эти подробности и развѣтвленія не укладывались по своимъ мѣстамъ, пока трупная суматоха не уюмонялась и „дѣло“ не представлялось достаточно выясненнымъ для того, чтобы можно было изъ трупныхъ посылокъ вывести логическія трупныя заключенія. Тогда онъ пускалъ „облупленное яичко“ въ ходъ и принимался за препарированіе другого трупа, стоящаго на очереди.

Есть на Руси великое множество людей, которые повидимому отказались отъ всякой попытки мыслить и которымъ однакожь никакъ нельзя отказать въ названіи мыслящихъ людей. Это именно тѣ мистики, которыхъ жизненный искусъ заранѣе осудилъ на разработку тезисовъ, бросаемыхъ извнѣ, — тезисовъ, такъ сказать, являющихся на арену во всеоружіи непререкаемой истины. Они не анализируютъ этихъ тезисовъ, не вникаютъ въ ихъ сущность, но умѣютъ выжать изъ нихъ все логическія послѣдствія, какія они способны дать. Это люди несомнѣнно умные, но умные, такъ сказать, за чужой счетъ, и являющіе силу своихъ мыслительныхъ способностей не иначе какъ на вещахъ, не имѣющихъ къ нимъ лично ни малѣйшаго отношенія.

Хотя такого рода занятія въ большинствѣ случаевъ оказываются до крайности изнурительными, но Гаврило Степанычъ даже отъ этого не страдалъ, благодаря своему желѣзному организму, закаленному еще съ дѣтства бурсацкимъ воспитаніемъ. Сухой, широкоплечій и мускулистый, онъ не зналъ ни хворости, ни даже усталости, тѣмъ больше, что однообразно-регулярный образъ жизни былъ одною изъ коренныхъ привычекъ, пріобрѣтенныхъ имъ не зависимо отъ какой-нибудь предвзятой мысли, а просто потому, что онъ даже понятія не имѣлъ о развлеченіяхъ, а тѣмъ менѣе о прихотяхъ. Только разъ въ жизни онъ почувствовалъ что-то похожее на радость — это именно тогда, когда состоялся его переводъ изъ Подхалимова въ Петербургъ — но это случилось уже такъ давно, что пріятное раздраженіе, произведенное этимъ переводомъ, безъ труда утонуло въ представленіи о „дѣлѣ“ и объ той „сущей правдѣ“, потребность въ которой глубоко коренилась въ его съ дѣтства дисциплинированной природѣ.

Однако, приближаясь къ сорока годамъ, онъ началъ испытывать, что въ существованіи его есть какой-то пробѣлъ. Не то чтобы онъ почувствовалъ пустоту холостого одиночества, но явилась смутная потребность внести въ жизнь извѣстный распорядокъ, который обезпечивалъ бы отъ неправильностей, неизбѣжныхъ при холостомъ существованіи. Или, лучше сказать,



чтобъ въ квартирѣ чувствовалось присутствіе заботливой руки, которой только однажды нужно дать направленіе, чтобъ жизненная обстановка разъ навсегда вылилась въ извѣстную форму, въ которой и установилась бы прочно и незыблемо. Холостой человѣкъ хоть изрѣдка, но все-таки долженъ промыслить о себѣ; долженъ кому слѣдуетъ растолковать, распорядиться насчетъ своего жизнестроительства, а это неминуемо отнимаетъ у „дѣла“ время и, слѣдовательно, наноситъ послѣднему ущербъ. Напротивъ, женатый человѣкъ можетъ разомъ освободиться отъ всѣхъ мелочей, особливо ежели выборъ будетъ сдѣланъ безъ претензій на связи и блескъ. Гаврило Степанычъ довольно долго задумывался надъ этимъ шагомъ, но потребность выйти изъ безхозяйственности заговорила наконецъ такъ настоятельно, что нужно было покончить съ этимъ вопросомъ. И вотъ онъ принялъ рѣшеніе, одно изъ тѣхъ готовыхъ рѣшеній, которыя имѣютъ за себя достоинство исконной общепризнанности.

У сослуживца его, Аѳанасія Ивановича Негропонтава, отца многочисленной семьи, была дочь Ольга, дѣвушка уже не первой молодости (ей было въ то время подъ-тридцать) и не красивая, но кроткая, разумная и настолько самостоятельная, что послѣ смерти матери она много лѣтъ завѣдывала всѣмъ хозяйствомъ у вдоваго отца. На ней-то и остановилъ Разумовъ свой выборъ. Въ одинъ изъ рѣдкихъ воскресныхъ вечеровъ, когда онъ позволялъ себѣ, въ видѣ „экетры“, оставить „дѣло“, онъ, безъ особенныхъ приготовленій и предварительныхъ ухаживаній, улучилъ минуту, когда Ольга Аѳанасьевна была одна, и совершенно спокойно и разсудительно сообщилъ ей о своихъ намѣреніяхъ.

— Словомъ сказать, съ матеріальной стороны вы будете по возможности обезпечены. Только, можетъ быть, вамъ скучненько съ старикомъ покажется?—заклучилъ онъ, какъ бы желая послѣднею фразой смягчить черезчуръ ужъ разсудительный тонъ своего любовнаго объясненія.

Но Ольга Аѳанасьевна даже не поняла этой тонкости. Такъ давно, въ домѣ старика отца, она была со всѣхъ сторонъ окружена стариками, что, казалось, совсѣмъ даже не имѣла понятія о томъ, что существуетъ различіе между старостью и молодостью.

— Какой же вы „старикъ“?—молвила она, взглянувъ ему прямо въ глаза.

— Нѣтъ, голубушка, старикъ я, — подтвердилъ онъ: — я отъ природы старикъ — это нужно правду сказать. Никогда у меня никакихъ этакихъ „эпизодовъ“ въ жизни не было...

— А ежели не было, то тѣмъ и лучше, — отвѣтила она, выражая этимъ косвенное согласіе на сдѣланное предложеніе.

— Ну, вотъ и слава Богу! стало быть, теперь только родительскаго благословенія испросить надо!

Само собой разумѣется, родительское благословеніе не замедлило, и черезъ мѣсяцъ „молодые“ были объявчаны.

Гаврило Степанычъ не ошибся: выборъ его дѣйствительно оказался чрезвычайно удачнымъ. Его жизнь потекла невозмутимо спокойно и до послѣднихъ мелочей правильно. Правда, что эта правильность была черезчуръ

ужь однообразна, но вѣдь, въ сущности, ему ничего другого и не нужно было, кромѣ однообразія. Утромъ онъ проводилъ время за „дѣломъ“ въ департаментѣ, и, по возвращеніи домой, былъ увѣренъ, что обѣдъ не заставитъ его дожидаться; вечера проводилъ дома, отдавая себя всецѣло тому же „дѣлу“. Покуда онъ въ кабинетѣ „занимался“, Ольга Аванасьевна тутъ же сидѣла съ работой и изрѣдка они обмѣнивались замѣчаніями. Этого было вполне достаточно, чтобъ поддерживать между ними дружественную связь, главное основаніе которой лежало, по мнѣнію Гаврилы Степаныча, совѣмъ не въ разговорахъ о „постороннихъ“ предметахъ, а въ томъ, чтобъ мужъ, яко глава, добывалъ необходимыя средства и чтобъ дома, благодаря заботливости жены, было уютно, не голодно и тепло.

Черезъ три года Ольга Аванасьевна родила мужу сына, котораго называли Степаномъ. Гаврило Степанычъ уже совѣмъ было-потерялъ надежду на потомство, и вдругъ... Съ этой минуты жизнь его какъ бы раздвоилась, и онъ впервые почувствовалъ, что съ нимъ случилось что-то въ родѣ „эпизода“. Даже женитьба не произвела въ немъ такого волненія, такого сладкаго и въ то же время щемящаго избытка счастья, который заставляетъ опасаться, что чаша не чересчуръ ли наполнена. Между новымъ объектомъ жизни—сыномъ—и старымъ объектомъ—„дѣломъ“—сразу установилась прочная связь, и хотя старый объектъ уже не господствовалъ надъ жизнью, а только служилъ новому объекту, но тѣмъ болѣе явилось причинъ ухаживать за „дѣломъ“ и употреблять всѣ усилія, чтобъ закрѣпить за собой навсегда этотъ единственный источникъ, обеспечивавшій благоденствіе семьи.

Никогда, ни прежде, ни послѣ, Гаврило Степанычъ не былъ такъ счастливъ, такъ бодръ и такъ дѣятеленъ. Болѣе дѣтей у Разумовыхъ не было, и хоть Гаврило Степанычъ по временамъ позволялъ себѣ дѣлать женѣ укоры въ безплодіи, но очевидно онъ дѣлалъ это въ видѣ шутки, а втайнѣ былъ даже доволенъ, что у него имѣется только одинъ объектъ, на которомъ всецѣло сосредоточивалась вся его нѣжность. Однимъ словомъ, на немъ повторилось обычное въ старческой сферѣ явленіе. Какъ будто природа, всегда скупая относительно стариковъ, случайно поступилась въ пользу его одною изъ своихъ заветныхъ тайнъ и, освѣтивши теплымъ лучомъ его существованіе, опять и навсегда закрыла доступъ въ лоно свое. Понятно, какъ глубоко онъ долженъ былъ дорожить этой уступкой.

### III.

При отставкѣ матеріальныя средства Разумова, конечно, значительно сократились. Хотя Гаврило Степанычъ и получилъ хорошую пенсію, но все-таки она далеко не равнялась полному окладу содержанія, которымъ онъ пользовался, состоя на службѣ. Сверхъ того, на службѣ и кромѣ штатныхъ окладовъ все что-нибудь прилипаетъ къ рукамъ усерднаго чиновника: то полугодовые и годовые оклады, даваемые въ награду, то остаточныя, распредѣляемыя между чиновною братіей къ Рождеству, и т. п. Благодаря этимъ экстреннымъ подачкамъ, жизнь шла своимъ чередомъ, — жизнь впрочемъ скуп-



ная и строгая, все благополучіе которой заключалось въ томъ, что съ истеченіемъ года какимъ-то чудомъ сводились концы съ концами. Но впереди и того не предвидѣлось, а стало быть нечего было и думать объ этомъ, чтобъ вести прежній образъ жизни. Надо было прежде всего оставить Петербургъ и поселиться въ провинціи.

Но онъ былъ не одинъ, у него былъ Степа, которому къ этому времени минуло четырнадцать лѣтъ и который прошелъ ужъ четыре класса гимназіи. Чтобъ не произошло въ его ученіи неизбежной при переводѣ въ провинціальную гимназію ломки, предстояло разстаться съ нимъ, а это было самое не-сносное. Онъ уѣдетъ, а Степа останется въ Петербургъ... Только тогда, когда эта горькая перспектива съ полною ясностью предстала передъ нимъ — только тогда Гаврило Степанычъ понялъ, какое ужасное злодѣйство обрушилось на его голову по манію Губошлепова. До сихъ поръ онъ даже не представлялъ себѣ, чтобъ могъ пройти хоть одинъ день, въ который онъ бы не видѣлъ Степу. Онъ и прежде не имѣлъ времени особенно заниматься съ нимъ, баловать его, но чувствовалъ непреодолимую потребность каждую минуту сознавать, что сынъ тутъ, подлѣ него. И эта потребность покаймѣсть была удовлетворена. Поэтому, когда онъ понялъ, что скоро наступитъ моментъ, который прекратитъ разъ навсегда возможность наслаждаться чувствомъ „ощущенія близости“, то внутри его все словно заматалось и загорѣлось.

— Губошлеповъ! чтѣ такое... Губошлеповъ? — безотвязно стучало въ его головѣ. — Есть ли въ немъ человѣческое естество? есть ли внутренности? чтѣ тамъ таятся, въ этихъ загадочныхъ, словно прокопченныхъ глубинахъ? есть ли у него „домъ“, друзья, близкіе? любить ли его кто-нибудь, любить ли онъ самъ кого-нибудь, или просто такъ... существуетъ? Мыслить ли онъ? ощущаетъ ли радость, горе, физическую боль? питается ли? или надѣнетъ съ утра вицъ-мундиръ и скрежешетъ зубами? Ахъ... Губошлеповъ!

Что-то есть ужасное, неумолимое, неотразимое въ этихъ людяхъ, у которыхъ смолоду какъ бы прокопчены внутренности. Ни разсужденія, ни чувства, ни даже самыхъ простыхъ человѣческихъ порывовъ. Ни силы, ни слабости. Стоять они, какъ гильотина, посередь дороги: кто посильнѣе — тотъ проходитъ мимо нея и плюетъ; кто послабѣе, того она захватываетъ и обезглавливаетъ. Воплощенное безстрастное неразуміе — вотъ настоящій сатана! Ахъ... Губошлеповъ!

Зачѣмъ? чтѣ случилось? чтѣ нужно было доказать? для чего понадобилось растоптать всѣ привязанности человѣка, всѣ его привычки, всю жизнь? Чтѣ такое? чтѣ такое? Ахъ, Губошлеповъ!

Разумовъ, блѣдный, ходилъ взадъ и впередъ по кабинету и не могъ оторваться отъ назойливыхъ вопросовъ. Губы его вздрагивали, внутри жгло, во рту чувствовалась сухость, глаза машинально перебѣгали съ одного предмета на другой, какъ бы всматриваясь, дѣйствительно ли привычная обстановка еще существуетъ и стоитъ на своемъ мѣстѣ. Въ заднихъ комнатахъ уже хлопотала Ольга Аоанасьевна, приступившая къ сборамъ; до слуха Гаврилы Степановича долеталъ стукъ заколачиваемыхъ ящиковъ, возня перетаскиваемыхъ сундуковъ. Степа уныло бродилъ по комнатамъ, съ заплаканными гла-

зами, точно не зналъ, куда дѣваться отъ тоски. Но Гаврило Степанычъ ничего не слышалъ и не видѣлъ и все повторялъ:

— Губошлеповъ! Чтѣ такое... Губошлеповъ?

Но задачу эту такъ и пришлось оставить неразрѣшенною.

Рѣшено было: Степу оставить на попеченіи семьи Негропонтовыхъ, а самимъ ѣхать въ родной городъ Подхалимовъ, гдѣ у Гаврилы Степаныча жилъ еще двоюродный братъ, Акимъ Семеновичъ Коловратовъ, семидесятилѣтній старикъ, занимавшій мѣсто протоіерея въ кафедральномъ соборѣ.

Съ Коловратовымъ Гаврило Степанычъ оставался въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ, хотя въ теченіе своей тридцатилѣтней петербургской службы былъ на родинѣ всего одинъ разъ, а именно, женившись, ѣздилъ въ Подхалимовъ отрекомендовать роднымъ молодую жену. Коловратовъ гордился Разумовымъ, а съ тѣхъ поръ, какъ послѣдній получилъ чинъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника, титуловалъ его не иначе какъ „ваше превосходительство“, и внутренно называлъ даже „вельможей“. И когда однажды Гаврило Степанычъ, въ отвѣтъ на черезчуръ прозрачный намекъ на это вельможество, написалъ: „посмотрѣлъ бы ты, какъ сей знатный вельможа, съ женою и сыномъ, при одной женской прислугѣ, въ четвертомъ этажѣ, во дворѣ, въ четырехъ небольшихъ покойчикахъ ютится, то, чаю, не высокое бы о такомъ вельможествѣ понятіе возымѣлъ“, то Коловратовъ не только остался при прежнемъ убѣжденіи, но даже слегка попенялъ своему другу: „хотя скромность твоя приносить тебѣ довольную честь, но позволь тебѣ, ваше превосходительство, замѣтить, что между присными и близкими и прямое изложеніе вещей не можетъ почестъя нескромностью“. Вообще между друзьями шла довольно оживленная переписка. Разумовъ, желая пріизобиловать въ духѣ своего друга, ставилъ въ письмахъ теологическіе и нравственные вопросы. Коловратовъ же, по силѣ возможности, откликаясь на эти вопросы, въ свою очередь, возлагалъ на Разумова ходатайство по нѣкоторымъ нуждамъ мѣстной епархіи, и такъ какъ Разумову, вслѣдствіе связей въ среднемъ чиновничьемъ мірѣ, почти всегда удавалось успѣвать въ этихъ ходатайствахъ, то мнѣніе объ его силѣ и вельможествѣ все больше и больше укрѣплялось въ Подхалимовѣ, преимущественно впрочемъ въ кругу церковниковъ.

Коловратову уже было за семьдесятъ и онъ больше двадцати-пяти лѣтъ состоялъ кафедральнымъ протоіереемъ. Человѣкъ онъ былъ вдовый и бездѣтный, и послѣ смерти жены принялъ къ себѣ въ домъ свояченицу съ дочерью Аннушкой. На Аннушкѣ (въ описываемую эпоху ей минуло тринадцать лѣтъ) онъ, такъ сказать, сосредоточилъ послѣдніе лучи своего потухающаго сердца. Въ свою очередь и она заботливо ухаживала за дѣдушкой, и, несмотря на избалованность, общалась сълѣтаться современемъ отлично, серьезно дѣвущкой. Жили они въ просторной квартирѣ большого соборнаго дома, жили дружно, не огорчая другъ друга и вполне удовлетворяясь тѣми скромными радостями, которыя выпадаютъ на долю людей, живущихъ, такъ сказать, за предѣлами общей жизни. Онъ былъ уже настолько ветхъ, что въ свободное отъ церковныхъ службъ время большею частью дремалъ въ старинномъ вольтеровскомъ креслѣ, предаваясь „приличествующимъ сану размышленіямъ“ и изрѣдка пересчитывая „Часы Благотворенія“. Хозяйствомъ же и вообще всѣмъ



домомъ завѣдывала свояченица, женщина пожилая, смиренная и молчаливая. Очень возможно, что оба эти потускнѣвшія подъ бременемъ лѣтъ существованія незамѣтно потонули бы въ пучинѣ унынія, еслибы не освѣщала ихъ неугомонная рѣзвость Аннушки. Она одна представляла жизненный принципъ среди этихъ молчаливыхъ стѣнъ, одна приносила туда звукъ и движеніе. Даже преосвященный любилъ ласковаго и живого ребенка и шутя отзывался объ отношеніяхъ къ ней Коловратова: „старый да малый союзъ заключили — оба вопіють: помози!“

Коловратовъ не безъ горестнаго изумленія узналъ объ отставкѣ Разумова, хотя фраза въ письмѣ послѣдняго: „и при семъ пожалованъ чиномъ тайнаго совѣтника“ до извѣстной степени смячила его огорченіе. Самъ преосвященный, выслушавъ разсказъ объ этомъ, сказалъ: „да, чинъ не малый“; но черезъ минуту однако присовокупилъ: „но необходимо при семъ имѣть въ виду, что нынѣ великое тайныхъ совѣтниковъ изобиліе, а посему и надобность вѣроятно не во всѣхъ видится“. Какъ бы то ни было, но Коловратовъ началъ дѣлательно готовиться къ приему родственника и друга; а такъ какъ Гаврило Степанычъ просилъ о присканіи ему небольшого дома, на покупку котораго ассигновалъ прикомпленные на черный день пять тысячъ рублей, то скоро и это порученіе было выполнено.

Разумовъ пріѣхалъ въ Подхалимовъ въ одинъ изъ холодныхъ январскихъ дней, какъ разъ передъ сумерками. Старый протопопъ, который съ утра въ этотъ день недомогалъ, сидѣлъ въ просторномъ креслѣ, обращенный лицомъ къ западу, и слѣдилъ за потухающимъ солнцемъ. Когда Разумовъ подошелъ къ нему, онъ молча указалъ ему на подернутый блѣдно-розовымъ сіяніемъ западъ и старческимъ, разслабленнымъ голосомъ загбѣлъ: *Свѣте тихій*. И, дойдя до стиха: *Видѣше свѣтъ вечерній*, склонилъ голову на грудь и сказалъ:

— Да будетъ, друже, и вечеръ жизни твоей подобенъ сему тихому свѣту вечернему! Аминь.

Всѣ были въ волненіи; Гаврило Степанычъ тяжело дышалъ, Ольга Аванасьевна полегоньку всхлипывала, Аннушка разливалась рѣкой. Только старая свояченица молчаливо хлопотала въ сосѣдней комнатѣ за самоваромъ. Затѣмъ друзья обнялись и повели бесѣду. Нѣсколько разъ у Коловратова былъ на языкѣ вопросъ: „какая причина?“ однако онъ воздержался и только замѣтилъ:

— Одно неудобство усматриваю: вель ты доселѣ жизнь умственную, а у насъ въ этомъ отношеніи недостаточно. Какъ бы не впасть въ уныніе!

На чтѣ Гаврило Степанычъ отвѣтилъ:

— Ничего! все въ свое время найдетъся, а можетъ и дѣло какое набѣжить. Вотъ, Богъ милостивъ, съ устройствомъ покончимъ, а потомъ...

Онъ какъ-то растерянно оглядѣлся кругомъ, какъ бы ища: чтѣ же потомъ?

— Главное, думать объ этомъ не для чего, — продолжалъ онъ слегка дрогнувшимъ голосомъ. — Думай не думай, а стараго не воротись. На новомъ мѣстѣ надо и жить по новому. И то сказать: подъ шестьдесятъ катитъ — въ эти года не „дѣло“, а спокой нуженъ!

Съ недѣлю прожилъ Гаврило Степанычъ въ соборномъ домѣ, а потомъ переехалъ на Проломную улицу, въ собственное гнѣздо. И съ этихъ поръ началось для него то унылое существованіе, на которое однимъ почеркомъ пера осудилъ его деликатный тайный совѣтникъ Губошленовъ.

Устроившись дома, Гаврило Степанычъ сдѣлалъ официальные визиты губернатору и прочимъ „начальникамъ частей“, не потому впрочемъ, чтобъ заискивать, а потому, что, по мнѣнію его, того требовалъ этикетъ. Сверхъ того, быть можетъ, втайнѣ онъ дѣлалъ предположенія и насчетъ небезполезности указаній, которыя можетъ подать „молодымъ людямъ“ его умудренная долготѣною службой опытность. Все, дескать, послужу: если прямо нельзя, такъ хоть совѣтъ подамъ. Однако въ этомъ отношеніи онъ грубо ошибся. Подхалимовскіе правители были люди хотя и молодые, но необыкновенно бойкіе; поэтому они не знали ни препятствій, ни затрудненій, въ совѣтахъ нужды не чувствовали и при этомъ были совершенно искренно убѣждены, что такъ-называемыя „законныя основанія“ только стѣсняють, а никакой опоры не даютъ. Никому изъ нихъ не только не пришло на мысль полюбопытствовать у пріѣзжаго заматерѣлаго бюрократа, какъ смотреть на тотъ или другой предметъ въ бюрократическихъ сферахъ Петербурга, но большинство даже не понимало, какіе тутъ могутъ быть „предметы“, и просто-на-просто стѣснялось, объ чемъ говорить съ этою новою личностью—очевидно „не нашего общества“. А главное, изобиліе тайныхъ совѣтниковъ было такъ для всѣхъ очевидно, что никто даже не задумался надъ тѣмъ, что въ Подхалимовѣ сдѣлалось однимъ тайнымъ совѣтникомъ больше. И притомъ такимъ тайнымъ совѣтникомъ, который долженъ былъ существовать на полторы тысячи рублей годового пенсіона.

Пришлось оставить всякія мечты о бесполезныхъ совѣтахъ, отказаться отъ знакомствъ въ высшихъ губернскихъ сферахъ и ограничиться тѣснымъ кружкомъ церковниковъ. Но сфера эта такова, что церковничій день совершенно идетъ вразрѣзъ съ днемъ обыкновенныхъ смертныхъ. Поэтому даже въ тѣ дни, когда Гаврило Степанычъ бывалъ „въ гостяхъ“, у него все-таки оставалась пропасть порожняго времени, которое онъ не зналъ куда дѣвать и чѣмъ наполнить.

Это бездѣйствіе мучило его. Съ тѣхъ поръ какъ онъ уѣхалъ изъ Петербурга—словно вотъ ножомъ отрѣзало. Исчезло „дѣло“, около котораго вращалась вся жизнь, которое въ одно и то же время и изнуряло, и питало. Еслибы спросить его по совѣсти, въ чемъ заключалось это „дѣло“, онъ наврядъ-ли нашелся бы что отвѣтить на этотъ вопросъ. Это было какое-то рѣшето, сквозь которое процѣживалась жизнь цѣлой массы чиновниковъ—и ничего болѣе. Процѣживаясь, эти люди не оставляли никакихъ слѣдовъ своего личнаго пребыванія въ этихъ клѣточкахъ, хоть и выходили изъ нихъ искалѣченными и ни къ чему другому неспособными. „Дѣло“ составлялось изъ множества отдѣльныхъ клочковъ; нѣкоторые изъ нихъ задерживались въ памяти, въ качествѣ анекдотовъ, другіе — немедленно же улетучивались; но общаго впечатлѣнія, связности, во всякомъ случаѣ не существовало. Да и самыя клочки, послужившіе основаніемъ „дѣлу“, въ большинствѣ носили фантастическій характеръ, не имѣли ни между собою связи, ни точекъ сопри-



косновенія съ заправскою жизнью. Тѣмъ не менѣе они все-таки представляли матеріалъ для обязательной работы, и это въ значительной степени выкупало ихъ непривлекательность. Нѣтъ нужды, что человѣкъ калѣчился, кружась въ пустотѣ, и терялъ всякую самостоятельность — все-таки онъ хоть какъ-нибудь истрачивалъ свой день, а сверхъ того и получалъ пропитаніе.

Съ Разумовымъ случилось именно то, что бываетъ со всякимъ чиновникомъ, которому, послѣ долговременнаго подневольнаго коритѣнія, приходится жить на свободѣ. Онъ не понималъ этой свободы, а, напротивъ, слишкомъ хорошо понималъ, что ему нечего дѣлать. Куда ни обращалъ онъ свою мысль — все оказывалось или несподручнымъ, или неприступнымъ. Читать — но въ шестьдесятъ лѣтъ и чтеніе утрачиваетъ свою привлекательность. Да и какъ читать, что читать человѣку, который, съ тѣхъ поръ какъ вышелъ изъ семинаріи, до того былъ поглощенъ переборкою „ключковъ“, что даже свободной минуты не имѣлъ, чтобъ заглянуть въ книгу. Смолоду и онъ читывалъ, но вѣдь съ тѣхъ поръ матеріалъ для чтенія прошелъ сквозь такое множество превращеній, что, игнорируя эту послѣдовательную переработку, почти неизбѣжно было стать втупикъ. Недаромъ же разсказывали про генералъ-маіора Отчаяннаго, который, по выходѣ изъ кадетскаго корпуса, не читавъ ни одной книги, вдругъ набрелъ на „Исторію Государства Россійскаго“, и такъ былъ ошеломленъ вольномысліемъ, въ ней заключающимся, что испарпалъ краснымъ карандашомъ всѣ двѣнадцать томовъ и прислалъ ихъ въ департаментъ съ резолюціей: „сообразить и доложить съ справкою, какому оный Карамзинъ наказанію подлежитъ, а также и о цензорѣ Бирюковѣ“. И только тогда успокоился, когда Разумовъ (къ нему въ отдѣленіе этотъ „ключокъ“ попалъ) объяснилъ, что Карамзинъ былъ тайный совѣтникъ и пользовался милостію монарховъ. Самъ Гаврило Степаннчъ не разъ смѣялся, разсказывая это происшествіе, а вотъ теперь то же самое повторилось и надъ нимъ. Попробовалъ онъ почитать, взялъ въ публичной библіотекѣ книгу — и не повѣрилъ глазамъ своимъ. Точно вотъ возвратился изъ полувѣкового путешествія, въ продолженіи котораго жилъ гдѣ-то затертый льдинами, и вдругъ узналъ, что Карла X нѣтъ и въ поминѣ, а на его мѣстѣ чуть не Гамбетта сидитъ. Кто этотъ Гамбетта и какъ это онъ вдругъ... вѣдь онъ, поди, напакостить!

Предсказаніе Коловратова исполнилось: въ самое короткое время Разумовъ не зналъ, куда дѣваться отъ унынія и скуки. Только лѣтомъ, во время ба-никуль, онъ расцвѣлъ, потому что въ это время въ Подхалимовъ пріѣхалъ въ побывку Степа. Однако и тутъ не обошлось безъ горькихъ замѣтокъ. Хотя и отецъ и сынъ попрежнему безпредѣльно любили другъ друга, но не въ природѣ вещей было, чтобъ Степа всего себя отдалъ старику-отцу. Этого впрочемъ и прежде не было, когда Разумовы всей семьей жили въ Петербургѣ. И тогда Гаврило Степаннчъ видѣлъ сына довольно рѣдко и былъ доволенъ тѣмъ, что „чувствовалъ“ близость его. Но вѣдь тогда существовало „дѣло“, которое сдерживало его отцовскія чувства, а теперь была свобода, пользуясь которой, онъ, конечно, готовъ былъ всякую минуту жизни посвятить своему дѣтищу. Но этого-то именно и не понималъ Степа и продолжалъ отдавать отцу столько же времени, какъ и прежде.

Степа былъ молодъ и его влекло къ молодому. Онъ охотно уходилъ къ Коловратовымъ, куда привлекала его Аннушка. Даже дома онъ предпочиталъ проводить время скорѣе съ матерью, нежели съ отцомъ, потому что мать не выпытывала, не „говорила“, а молча гладила по головѣ и любовалась имъ. Да, наконецъ, объ чемъ „говорить“ и зачѣмъ „говорить“ у себя, въ своемъ домѣ, въ кругу родныхъ! Тѣмъ и хорошъ „свой“ домъ, что въ немъ можно и говорить, и молчать, и веселиться, и скучать, и умины вещи, и глупости дѣлать. А присутствіе Гаврила Степановича именно въ этомъ смыслѣ и стѣсняло. Онъ спрашивалъ, выпытывалъ, „говорилъ“...

Видѣлъ все это старикъ Разумовъ и, конечно, былъ далекъ отъ обвиненій. А все-таки... Болѣло, ахъ, болѣло его старческое сердце, и съ каждымъ днемъ все глубже и глубже погружался онъ въ пучину той безразсвѣтной пустоты, на которую обрекло его одиночество.

#### IV.

Когда, возвращаясь, послѣ объясненія съ Губошлеповымъ (кончившагося его отставкой), домой, Разумовъ представлялъ себѣ, что вся природа, взирая на него, вопіетъ: „мухи не обидѣлъ!“ — онъ былъ правъ только отчасти. Онъ смѣшивалъ двѣ различныя вещи: свое личное отношеніе къ „дѣлу“ и то, что составляло содержаніе этого „дѣла“. То-есть, онъ думалъ, что если онъ дѣлаетъ „дѣло“ по „сущей совѣсти“, то этимъ самымъ и содержанію дѣла придается характеръ „сущей совѣсти“. Или еще точнѣе: онъ прямо предполагалъ, что „дѣло“ и „сущая совѣсть“ суть понятія, другъ другу вполне отвѣчающія, другъ безъ друга невысказанные.

Эта точка зрѣнія принадлежала не ему одному; она искони была и продолжаетъ быть достояніемъ большинства. Существуютъ извѣстныя понятія и представленія, которыя возникаютъ словно загадочнымъ произволеніемъ и сразу становятся прямо, колеблемо, дѣлаясь исходными точками дальнѣйшаго жизнестроительства. Высшая польза должна быть предпочитаема пользѣ частной, высшій интересъ долженъ тяготѣть надъ частнымъ интересомъ — вотъ тезисы, за которыми надлежитъ идти. Справедливѣе этого, конечно, нельзя себѣ ничего представить, особливо ежели есть на-готовѣ вполне ясное опредѣленіе, что такое высшая польза, высшій интересъ. Но такъ какъ для громаднаго большинства людей подобныя опредѣленія только подразумеваются („такъ быть должно“) и такъ какъ это большинство произноситъ извѣстныя выраженія, не уясняя критически ихъ содержанія, то естественно, что отсюда должно проистекать великое множество недоразумѣній.

Въ массѣ „клочковъ“, которые ежедневно перебиралъ Разумовъ, было достаточно такихъ, которые для однихъ оканчивались нравственной обидой, для другихъ — матеріальнымъ ущербомъ. Конечно, эти ущербы и обиды, въ мнѣніи Разумова, прикрывались представленіемъ о „вышемъ интересѣ“ („такъ быть должно“), но бѣда состояла въ томъ, что онъ принималъ это представленіе на вѣру и даже не пытался анализировать его составныя части.



Едва-ли впрочемъ слова эти значили что-нибудь больше простого „приказанія“.

Во всякомъ случаѣ онъ былъ вполне добросовѣстенъ, думая и говоря, что служить „дѣлу“ *по сущей совѣсти*. Но вѣдь рядомъ съ его добросовѣстностью могла существовать и другая добросовѣстность, которая тоже, съ своей точки зрѣнія, имѣла основаніе считать себя правою. Вотъ этого-то онъ и не принималъ въ расчетъ. Разумѣется, если бы онъ могъ, на основаніи твердыхъ данныхъ, опровергнуть эту *другую* добросовѣстность, то онъ обѣлилъ бы себя вполне; но онъ не опровергалъ, а просто отвергалъ. И даже пожалуй не отвергалъ, а просто-на-просто, ни о чемъ „постороннемъ“ не думалъ, а выполнялъ свои обязанности „по сущей совѣсти“.

Можно было бы предложить, что онъ наизвѣстно остерегается опредѣленій, чтобъ не войти въ разладъ съ самимъ собой и не очутиться въ положеніи человѣка, сознающаго, что ему приходится или покориться, или сжечь корабли и затѣмъ погибнуть. Есть много людей, которые поступаютъ такимъ образомъ, то-есть стараются „не думать“, потому что размышленіе приводитъ иногда за собой такіе неожиданные и трагическіе выводы, съ которыми ужиться нѣтъ возможности. Но Разумовъ и тутъ поступалъ опять-таки вполне искренно: онъ „не думалъ“, потому что незачѣмъ думать („такъ быть должно“). Это „недуманіе“ было не вынужденное, а составляло одну изъ составныхъ частей той „сущей правды“, которой онъ такъ искренно всю жизнь поклонялся.

Отсутствіе ясныхъ опредѣленій помогало ему быть жестокимъ, хоть жестокость не лежала въ его природѣ; оно затемняло въ немъ представленіе о силѣ наносимыхъ обидъ, хотя лично никто такъ чутко и участливо не относился къ слову „обида“, какъ онъ. Всѣ знали его за человѣка добраго, сердечнаго и притомъ безмѣрно осторожнаго въ частныхъ сношеніяхъ. Но незнавшіе—нерѣдко случалось—кляли его и настойчиво утверждали, что онъ, именно онъ—внушитель тѣхъ бѣдъ, которыя обрушивались надъ ихъ головами. Онъ самъ навѣрное больше всѣхъ удивился бы, если бы ему удалось слышать такіе отзывы.

Но онъ ничего не слышалъ и продолжалъ поступать по „сущей совѣсти“. Бывали, конечно, минуты, когда и на него наносило вѣтромъ что-то въ родѣ трупнаго запаха и когда онъ по-неволѣ задумывался. Въ такія минуты онъ выходилъ изъ-за письменнаго стола, къ которому считалъ себя прикованнымъ, безпокойно шагалъ взадъ и впередъ по кабинету, какъ бы подъ вліяніемъ ощущеній физической боли, и старался припомнить тотъ „высшій интересъ“, который на сей предметъ полагается. И, разумѣется, въ концѣ концовъ припоминалъ и... успокоивался.

Однажды однакожъ и съ нимъ былъ „случай“. Ходила къ нему на домъ нѣсколько дней сряду какая-то просительница, упорно добиваясь личнаго свиданія; но такъ какъ онъ, поступаая по сущей совѣсти, просителей у себя на дому не принималъ, то, конечно, эту женщину не допустили до него. За всѣмъ тѣмъ она добилась-таки своего, и въ одно утро, когда Гаврило Степанычъ выходилъ изъ дома на службу, она, встрѣтивъ его на крыльцѣ, крикнула ему въ догонку: „сатана! сатана! сатана!“ Это ужасно, до крови его

оскорбило, однакожъ онъ не бросился на обидчицу и даже никому не пожаловался. И только тогда успокоился, когда, по приходѣ въ департаментъ, потребовалъ „дѣло“ и убѣдился, что это не онъ, а генераль-маіоръ Отчаянный. Онъ же только выполнилъ „по сущей совѣсти“.

Ольга Аонасьевна гораздо болѣе его взволновалась этимъ происшествіемъ и даже въ первый разъ въ жизни горько жаловалась на мужа, что онъ такое дѣло оставилъ „такъ“. И всѣ Негропонтовы, Аргентовы, Беневолентскіе, Птицины — всѣ въ одинъ голосъ вторили Ольгѣ Аонасьевнѣ и доказывали Гаврилѣ Степанычу, что ни одинъ изъ нихъ не оставилъ бы этого дѣла „такъ“.

— Мать-съ! — отвѣчалъ обыкновенно на эти докучки Разумовъ: — мать-съ, а материнскія чувства какъ намъ судить?

Очевидно, что внутренне онъ даже сочувствовалъ этой женщинѣ, хотя въ то же время былъ совершенно искренно убѣжденъ, что помочь ей нельзя, что это не будетъ „по сущей совѣсти“. Тамъ не менѣе, онъ былъ очень доволенъ, что могъ въ свое оправданіе сказать: „это генераль-маіоръ Отчаянный, а не я!“ Хотя, въ сущности, въ Отчаянномъ гнѣздилась только инициатива, а онъ, Разумовъ, обставилъ эту инициативу „законными основаніями“.

Поэтому и по выходѣ въ отставку онъ ни разу не почувствовалъ потребности подвергнуть свое прошлое изслѣдованію, хотя обиліе досуга и давало ему полную возможность сдѣлать это. Онъ былъ такъ убѣжденъ, что „не обидѣлъ мухи“, что иногда ему становилось даже совѣстно. Это какъ-то не въ натурѣ русскаго человѣка — прожить вѣкъ, никого не обидѣвши. Предполагается, что ежели ты никого не обижаешь, то это значитъ, что ты — слабосильная, ничего незначащая дрянъ, которую всякій можетъ обидѣть. И что, стало-быть, ты — „дуракъ“, „разиня“, „рукосуй“ и т. д. И дѣйствительно, Гаврилу Степанычу даже въ разговорахъ съ близкими не всегда охотно обращался къ своему прошлому: до такой степени ему было ясно, что, въ сущности, онъ тамъ никакой другой роли не сыгралъ, кромѣ роли „рукосуя“.

Но одинъ-на-одинъ самъ съ собою онъ припоминалъ. И что всего хуже — припоминалъ именно, какой онъ былъ „фoфантъ“ и „разиня“, какія кровавыя обиды онъ принималъ, сквозь какой жестокий искутъ прошелъ. Начиная съ статскаго совѣтника Недотыки (которому ему первоначально удалось „понравиться“ и который положилъ начало его чиновничьему подвижничеству) — это была цѣлая картинная галерея. Одинъ генераль-маіоръ Отчаянный чего стоилъ! Онъ и теперь, двадцать-пять лѣтъ спустя, метался передъ Разумовымъ какъ живой, потрясая эполетами, угрожая указательнымъ пальцемъ, брызжа слюной и колебля департаментскія стѣны криками: „сейчасъ же!“, „сію минуту!“, „немедленно!“, „не выходя изъ присутствія!“ . Даже въ Подхалимовѣ, въ Проломной улицѣ, Гаврилѣ Степанычу казалось при этомъ воспоминаніи, что весь его домъ трясется и стонетъ отъ неестественныхъ начальственныхъ празднословій. Какъ онъ переносилъ все это? какъ не разнесло ему въ то время голову отъ этого крика? какъ онъ... Но что же „какъ“? — переносилъ, и все тутъ.

А то былъ еще дѣйствительный статскій совѣтникъ Зильберггрошъ —



этотъ не кричалъ, а каждымъ словомъ, каждымъ движеніемъ явиль. Говориль—шипѣль, глядѣль—обливалъ презрѣніемъ. Прощдиль сквозь зубы слово и взглянетъ: а хочешь, я тебя сейчасъ ногтемъ раздавлю? Иногда нарочно посреди доклада остановить и задумается. „Гм... такъ вы говорите: „а посему я полагаю... это, то-есть, я... я... А почему вы думаете, что я такъ полагаю?“ И потомъ засмѣется загадочно, беззвучно, ехидно... „Ну, скажете, ступайте: до завтра, можетъ быть, и надумаетесь!“ Такъ и уйдешь, бывало, ни съ чѣмъ, и потомъ живешь цѣлый день между смертью и жизнью... А завтра онъ, ни слова не говоря, возьметъ и подпишетъ.

А Лихошерстовъ? а Ненаѣдовъ? а баронъ Доброѣзій?

Одинъ Байбаковъ генераль оставилъ послѣ себя добрую память, потому что былъ лѣнивъ, въ департаментъ не ходилъ, а принималъ у себя на дому, въ одномъ нижнемъ бѣльѣ. Но и тотъ чортъ знаетъ гдѣ руки держалъ...

При этихъ воспоминаніяхъ, несмотря на старческое малокровіе, щеки Разумова загорались краской стыда; онъ бралъ себя руками за голову, затыкалъ уши и закрывалъ глаза, чтобъ не видѣть и не слышать.

И въ результатѣ всей этой свиты воспоминаній — отставка и сладкое убѣжденіе, что не обидѣлъ мухи... Ахъ, фофантъ! ахъ, ротозѣй!

А онъ-то старался, усердствовалъ! Уловлялъ самыя непредвидимыя движенія души, усиливался угадать самыя безпардонныя мысли, просиживалъ ночи, подыскивая для нихъ „законныя основанія“... Дуракъ! дуракъ! дуракъ!

По милости его, Зильбергрошъ даже умницей прослылъ. Онъ, Разумовъ, самъ собственными ушами слышалъ, какъ въ его присутствіи нѣкоторый оберъ-тузъ сказалъ Зильбергрошу: „очень-очень остроумно и даже, можно сказать, ехидно вы, Карлъ Адамычъ, махинацію эту подвели!“ А кто подвелъ махинацію? кто взлелѣялъ ее въ ночной тишинѣ? онъ подвелъ! онъ взлелѣялъ! онъ, Разумовъ! А Зильбергрошъ за нее похвалу получилъ!

Разумѣется, всѣ эти припоминанія и ретроспективные ропоты Гаврило Степануи допускать только внутренно, но однажды не вытерпѣлъ и проговорился даже Ольгѣ Аѳанасьевнѣ.

— Не такъ бы намъ въ ту пору поступать надо было!—сказалъ онъ, напомнивъ ей нѣсколько дѣйствительно характерныхъ случаевъ прошлаго.

— А какъ же бы ты поступилъ?—удивилась она.

— А такъ бы вотъ... купилъ бы листь гербовой: просить, молъ, такой-то, а о чемъ...

— А потомъ куда бы ты пошелъ?

— Ну... куда? Мало-ли... слава Богу, не клиномъ свѣтъ сошелся! То-то вотъ мы съ тобой смиренны ужъ очень, вею жизнь къ сторонкѣ жались да твердили: ахъ, какъ бы не задѣтъ кого да не обидѣтъ! Вотъ насъ за это...

— Ахъ, другъ мой! другъ мой!

Сказавши это, Ольга Аѳанасьевна грустно покачала головой, и послѣ того разговоръ на эту тему уже не возобновлялся.

„То-то вотъ и есть, что клиномъ сошелся!“—мелькнуло у него самого въ головѣ. До такой степени клиномъ, что вотъ теперь, когда онъ, по манію

тайнаго совѣтника Губошленова, пущенъ въ пространство, онъ не знаетъ, куда приклонить голову. Онъ не только чувствуетъ себя непригоднымъ къ какому бы то ни было настоящему дѣлу, но даже беспокоится, куда бы ему „идти“ въ тотъ урочный часъ, въ который онъ, состоя на службѣ, имѣлъ обыкновеніе „уходить“ въ департаментъ. Онъ переноситъ изъ комнаты въ комнату свою скуку, слоняется, смотритъ въ окно, брызжитъ и каждую минуту чувствуетъ, что онъ даже въ своемъ собственномъ домѣ лишний, мѣшаетъ.

И все-таки повторяю: ежели онъ и винилъ въ чемъ-нибудь свое прошлое, то совѣтъ не въ томъ, что кого-то когда-то обидѣлъ, придавилъ, обездолилъ, а, напротивъ, скорѣе въ томъ, что онъ именно никого, *даже мухи* — не обидѣлъ...

## V.

Во всякомъ случаѣ приходилось подчиниться насущнымъ результатамъ этого прошлаго и уживаться съ насильственной праздною, имъ завѣщанною. И дѣйствительно, послѣ первыхъ трехъ лѣтъ „спокоя“, Разумовъ настолько смирился, что даже обуревавшая его скука бездѣятельности мало-помалу улеглась. Онъ еще не дошелъ до признанія нормальности своего положенія, но мало-помалу утрачивалъ силу противодѣйствія и дѣлался неспособнымъ роптать. И въ то же время онъ началъ очень быстро дряхлѣть.

Жизнь его была кончена—въ этомъ нельзя было сомнѣваться. На-лицо оставался только пенель, подъ которымъ не только ничего не вспыхивало, но и не тлѣло. Собственно говоря, ему предстояло не жить, а быть лишь зрителемъ, какъ жизненный процессъ мало-помалу ослабѣваетъ и меркнетъ въ его организмѣ. Вотъ и сегодня что-то ослабло и притупилось, а тамъ, глядишь, изъ-за угла сторожить и еще нѣмочь. И такимъ образомъ идетъ день за день, безъ всякой надежды на просвѣтъ, все къ разрушенію, исключительно къ разрушенію. Ужасно обидно это сознаніе безповоротности, безсилія, особливо ежели въ прошломъ не было ни тепла, ни свѣта, ни страсти, ни радости, ничего, кромѣ „сущей совѣсти“. Ахъ, эта „сущая совѣсть“!

Но подлѣ него ютилась другая жизнь, молодая, только-что начинающаяся, и мысль старика не могла оторваться отъ этой жизни. Существовали данныя, которыя сообщали этой мысли тревожный, гнетущій характеръ. Нельзя сказать, чтобъ личныя качества Степы возбуждали неудовольствіе или порицаніе; напротивъ, Гаврило Степанычъ зналъ навѣрное, что это юноша честный, трудолюбивый и притомъ до крайности кроткій, любящій, сердечный. Но въ самомъ воздухѣ носилось что-то такое, что именно эти-то качества дѣлало несостоятельными, что могло грубо прикоснуться къ этой чувствительной, нѣжной натурѣ, обидѣть и затереть ее.

Когда Гаврило Степанычъ раздумывалъ объ этомъ, то по временамъ ему приходило на мысль что-то новое, неожиданное. А именно, онъ чувствовалъ, что въ эти тревожныя думы, повидимому посвященные исключительно настоящему, врываются какіе-то смутные отголоски изъ его чиновническаго прошлаго. Словно далекій, чуть слышный стукъ или неопредѣленное напоми-



наніе, въ родѣ того, какое иногда испытывается при чтеніи книги. Помнится, что гдѣ-то когда-то затрогивался извѣстный предметъ, но гдѣ и когда—не доищешься. Только случайность можетъ раскрыть кроющуюся тутъ связь и иногда раскрываетъ ее очень трагически.

Но покамѣстъ явленіе это выразилось еще не настолько рѣзко, чтобъ заставить его серьезно вдуматься въ него. Поэтому Разумовъ всѣ свои тревоги сосредоточилъ только на тѣхъ случайностяхъ, которыя, такъ сказать, вытекали исключительно изъ личнаго положенія его сына. Онъ чувствовалъ потребность знать его жизнь изо дня въ день, и потому требовалъ, чтобъ сынъ какъ можно чаще и подробнѣе писалъ объ себѣ и о своихъ знакомствахъ. Разумѣется, Степа выполнялъ это требованіе аккуратно. Письма его, искреннія и подробныя, перечитывались по нѣскольку разъ; комментировалось каждое слово; обсуждался каждый шагъ, особливо ежели онъ возвѣщалъ о новомъ знакомствѣ; угадывалось, нѣтъ ли какой нужды, которую пріятно было бы по мѣрѣ силъ удовлетворить. Во всякомъ случаѣ, общее впечатлѣніе получалось довольно успокоительное: Степа жилъ въ надежномъ семействѣ, занимался отлично и обычнымъ порядкомъ переходилъ изъ класса въ классъ. Ужъ три года минуло съ тѣхъ поръ, какъ Гаврило Степанычъ вышелъ въ отставку; въ это время Степа два раза гимназистомъ побывалъ на каникулахъ въ Подхалимовѣ, и въ оба раза родители не нарадовались на него. Въ третій разъ онъ пріѣхалъ студентомъ университета. Жизнь широко растворила двери передъ юношей, — жизнь, напоминавшая о томъ, что наступила пора обязательной самостоятельности, пора необходимости промыслить о себѣ самому. Старый отецъ умилился, но сердце его забилося еще тоскливѣе. — Жизнь! что такое жизнь? — съ тревогою спрашивалъ онъ себя поминутно и чувствовалъ какой-то панической страхъ, когда, послѣ многихъ безсильныхъ потугъ, приходилъ къ убѣжденію, что онъ никакого сколько-нибудь обстоятельнаго отвѣта на этотъ вопросъ дать не въ состояніи.

Свою собственную жизнь онъ, конечно, могъ себѣ растолковать, *но развѣ такая жизнь прилична его сыну?* Его личная жизнь исчерпывалась словами: „повинны бѣша работѣ“. Встарину и всѣ такъ жили. Жизнь сразу вкладывалась въ извѣстныя рамки и незамѣтно изживалась до тѣхъ поръ, пока клубокъ до послѣдняго вершка не развертывалъ намотанную на него нитку. Послѣдній вершокъ нитки истраченъ — и отъ человѣка ничего не осталось, совсѣмъ ничего: ни словъ, ни дѣлъ. Бывали, конечно, и встарину исключенія, случались и тогда катастрофы, но большинство не знало ихъ. Большинство такъ мало ждало отъ жизни, что и опасеній имѣть не могло: немного лучше, немного хуже — вотъ и все. Такова была и его жизнь; но развѣ Степа на то рожденъ и воспитанъ, развѣ на то въ него положили всю душу, всѣ чаянія, чтобъ онъ съ такимъ же тупымъ терпѣніемъ тянулъ ляжку, какъ и отецъ, какъ и *все*? Нѣтъ, это было бы и несправедливо, и обидно.

Притомъ же онъ зналъ, что съ тѣхъ поръ многое измѣнилось, что нынче даже пельзя безсрочно оставаться въ однѣхъ и тѣхъ же рамкахъ, во-первыхъ, потому, что это прямо свидѣтельствуетъ о неспособности, а во-вторыхъ, и потому, что нынче, болѣе нежели когда-либо, даже самыя скромныя существованія находятся подъ угрозой чего-то непредвидѣннаго, самыя пищенскія по-

желанія — и тѣ рискуютъ увидѣть себя разбитыми, растоптанными. Это послѣднее „знаменіе времени“ онъ испыталъ на собственной шкурѣ. Чтѣ такое онъ былъ? — ползущій червь! Въ чемъ заключались его пожеланія? — въ томъ, чтобъ оставаться ползущимъ червемъ, покуда само собой не оскудѣетъ его скромное, ползущее существованіе. Однако и этому нищенскому требованію не суждено было осуществиться. Почему не суждено было? какимъ образомъ? — вотъ этого-то онъ и не могъ себѣ разъяснить, хотя чувствовалъ, что *нынче* — иначе не можетъ и быть.

Ему представлялась по этому поводу какая-то недѣлая суматоха, которая однихъ тонить, другихъ — выбрасываетъ на поверхность. Безмысленно, безразсечно, безъ всякаго плана. Но ежели даже его нищенски-старческое существованіе сдѣлалось жертвой этой суматохи, то какая же будущность ожидаетъ существованіе молодое, нетронутое, неизломанное, такое существованіе, которое по самой полнотѣ своей должно предъявлять къ жизни требованія неизмѣримо болѣе широкія и рѣзкія? И чтоже! вотъ въ эту-то загадочную суматоху, въ самый ея развалъ именно и вступилъ его сынъ. Какъ теперь поступить? какой совѣтъ ему дать? съ какимъ напутствіемъ поставить его передъ раскрытыми настежь дверьми жизни?

Когда слова: „совѣтъ“, „напутствіе“, мелькнули въ его головѣ, онъ почувствовалъ, что тотъ неясный стукъ прошлаго, который и прежде по временамъ застигалъ его врасплохъ, начинаетъ слышаться явственнѣе и явственнѣе, что выдѣляются изъ тьмы нѣкоторыя очертанія, которыя беспокоятъ, отнимаютъ у мысли ея обычное безмятежіе. Однакожъ и на этотъ разъ дѣло ограничилось одною смутною тревогой. Проблески появились, освѣтили случайно тотъ или другой уголокъ картины и опять утонули. Существенный результатъ отъ этихъ проблесковъ получался только одинъ: какъ ни надумывался Гаврило Степанычъ, какой совѣтъ высказать сыну — ничего придумать не могъ. Много зналъ онъ „совѣтовъ“, полны карманы ихъ были у него, но не рѣшался онъ выговорить *эти* совѣты. Сказать сыну застарѣлое общее мѣсто было совѣстно, а сказать что-нибудь дѣльное и дѣйствительно полезное — онъ не могъ, потому что не зналъ, чтѣ по нынѣшнему времени считается полезнымъ и дѣльнымъ. Можетъ быть, подлость. Такъ онъ и промолчалъ.

Притомъ же, какъ только молодой студентъ явился въ Подхалимовъ, Гаврило Степанычъ сейчасъ же замѣтилъ, что онъ значительно измѣнился противъ предшествующаго года. Въ немъ проявилась небывалая прежде живость, пылкость, почти-что восторженность. На первый разъ эта восторженность имѣла, такъ сказать, педагогическую окраску: онъ гордился своими гимназическими успѣхами, ни объ чемъ такъ охотно не говорилъ, какъ о „наукѣ“, нѣкоторыми учителями восторгался, о другихъ отзывался чуть не съ презрѣніемъ (не правилось, ахъ, какъ не правилось это Гаврилѣ Степановичу: а ну, какъ узнаютъ!), и заранѣе предвкушалъ лекціи университетскихъ профессоровъ. Но кто можетъ поручиться, что онъ и впослѣдствіи удержится на той же педагогической почвѣ, то-есть будетъ исключительно восторгаться „наукой“ и съ тѣмъ же усердіемъ „учиться“ въ университетѣ, съ какимъ „учился“ въ гимназій? Кто поручится, что онъ не увлечется сна-



чала—товариществомъ, а потомъ пожалуй и тѣмъ, что на языкѣ современныхъ бѣлыхъ нигилистовъ извѣстно подъ именемъ „мечтаній“ и „заблужденій“? Предостеречь ли его? сказать ли ему, что мечтанія — пустяки, а заблужденія—пагубны?

Конечно, *по своей совѣсти*, Гаврило Степанычъ не могъ одобрить ни мечтаній, ни заблужденій. Вся его прошлая служебная дѣятельность представляла самое непререкаемое доказательство этого неодобрения. У него была незыблемая точка зрѣнія на эти предметы, и этой точкой зрѣнія онъ навѣрное не поступился бы никому. Спрашивается однакожь: какимъ путемъ онъ къ ней пришелъ? — Увы! онъ пришелъ къ ней эмпирически, даже не подозревая, что идетъ рѣчь о какой-то точкѣ зрѣнія, и только уже въ концѣ своей служебной карьеры догадался, что въ основаніи его дѣятельности лежалъ такъ-называемый принципъ. Но вѣдь тогда онъ ужъ состарился (хотя и смолоду никогда не былъ молодъ) и въ убѣжденіяхъ своихъ больше руководствовался изреченіями: „плетью обуха не перешибешь“ и „выше лба уши не растутъ“. Молодость же, а особенно молодость свѣжая, невымученная, могла имѣть и иную точку зрѣнія и руководствоваться совсѣмъ другими изреченіями. Какимъ образомъ доказать, что правильна старческая, а не молодая точка зрѣнія? Гдѣ найти поддержку своему старчеству, кромѣ посконнаго уличнаго благоразумія, къ которому юность обыкновенно относится нѣсколько пренебрежительно, свысока? Имѣетъ ли она право относиться такъ высокоумно къ мудрости вѣковъ? — конечно, не имѣетъ, но то-то и есть, что имѣетъ-ли, не имѣетъ-ли, дѣло не въ томъ, а въ томъ, что относится она такъ, и ничего съ этимъ не подѣлаешь. И, наконецъ, эти „мечтанія“ и „заблужденія“ —не представляютъ ли они тѣхъ неизбѣжныхъ, фаталистическихъ спутниковъ, безъ которыхъ самое представленіе о молодости не можетъ считаться правильнымъ?

Какъ ни кинь—все клинь. Но допустимъ даже, что онъ, старикъ Разумовъ, съумѣетъ съ непререкаемою очевидностью доказать сыну, что „мечтанія“ —пустяки, а „заблужденія“ — пагубны; убѣдитъ ли онъ? Не предпочтетъ ли Степа его *очевиднымъ* доказательствамъ неочевидныя внушенія своего молодого темперамента? „Ахъ, убьется! убьется!“ день и ночь — мучительно твердилъ себѣ Гаврило Степанычъ и молчалъ...

Ясно, что задача была ему не подъ силу и что, въ извѣстномъ смыслѣ, осьмнадцатилѣтній, еще не успѣвшій прикоснуться къ жизни Степа былъ неизмѣримо сильнѣе, нежели онъ, старый, умудренный опытомъ старикъ.

А Степа между тѣмъ, нимало не подозревая отцовскихъ тревогъ, беззавѣтно и полною грудью пилъ ароматъ молодости, посреди котораго онъ виталъ, словно окутанный лучистымъ облакомъ. Подобно отцу, онъ былъ нѣсколько дикъ съ чужими, но въ кругу близкихъ давалъ полную волю своей общительности, искренности и восторженности. Въ его присутствіи Гаврило Степанычъ весь сіялъ, хотя это не мѣшало ему потихоньку вздыхать. Ольга Аванасьевна не выражала своей радости, но все ея существо освѣщалось улыбкой. Даже старикъ Коловратовъ — и тотъ отдыхалъ подъ его говоръ, хотя и не всегда похвалялъ его юношеское дерзновение.

Но, разумѣется, самымъ сочувственнымъ для него существомъ въ этой

средѣ была Аннушка. Ей минуло шестнадцать лѣтъ, ему восемнадцать, и между обоими сверстниками сразу образовались самыя искреннія товарищескія отношенія. Могло ли изъ этихъ отношеній выродиться когда-нибудь что другое — ни онъ, ни она объ этомъ не думали. Находясь почти безмѣнно вмѣстѣ, они чувствовали себя хорошо, счастливо — и этого было покамѣстъ достаточно. Никакихъ „трепетовъ“ они не ощущали, никакія нескромности не смущали ихъ воображенія. Все въ нихъ еще дышало тою раннею молодостью, когда чувственный инстинктъ спитъ, а ежели по временамъ и пробуждается, то не сознаетъ себя.

Бесѣды ихъ были нескончаемы; говорилъ впрочемъ исключительно онъ, а она только слушала. Ей было нечего сказать, тогда какъ въ его головѣ, несмотря на относительную скудость гимназической подготовки, сложился ужъ цѣлый, разнообразный міръ. Этотъ міръ былъ для нея не только новъ, но и заманчивъ. Онъ говорилъ порывисто, страстно, волнуясь. Иногда въ рѣчахъ его слышалась и искусственность — ясно, что онъ подражалъ манерѣ облюбованныхъ учителей — но безъ этой искусственности развѣ можно себя представить истинную молодость? Аннушка инстинктивно повторяла его слова, усваивала его приемы, и въ скоромъ времени у нихъ образовался даже цѣлый условный языкъ. Иногда они проговаривались на этомъ условномъ языкѣ при старшихъ, и это возбуждало общій наивный смѣхъ, впрочемъ не обидный, а только свидѣтельствовавшій, какой непочатый родникъ нѣжности жилъ въ этихъ потухающихъ сердцахъ.

Никто не вмѣшивался во взаимныя отношенія молодыхъ людей — до такой степени они были для всѣхъ ясны. Только Ольга Афанасьевна, яко женщина, разрѣшала себѣ втайнѣ строить какіе-то планы относительно будущаго, но и она помалчивала, потому что Гаврило Степанычъ навѣрное пугнулъ бы ее за нихъ. Вообще, отказавшись отъ намѣренія напутствовать сына при вступленіи въ жизнь, старикъ Разумовъ рѣшился предоставить его самому себѣ. Чѣмъ больше онъ вглядывался въ Степу, тѣмъ больше убѣждался, что онъ твердо пойдетъ по избранной имъ *честной* дорогѣ. Только что стоять въ концѣ этой дороги?

## VI.

Но въ слѣдующую же зиму Гаврило Степанычъ совсѣмъ неожиданно былъ взволнованъ до глубины души. Негропонтовъ писалъ, что съ Степой творится что-то мудреное: „скучается, чуждается близкихъ, даже къ ученію повидимому, охоту теряетъ“. Къ этому извѣстію присоединился и еще одинъ тревожный признакъ: Степа, который дотолѣ писалъ часто и, такъ сказать, любилъ изливать въ письмахъ душу, началъ писать рѣдко и какъ-то черезчуръ ужъ форменно. Тщетно старался старикъ Разумовъ узнать причину этой рѣзкой перемѣны: Степа настойчиво уклонялся отъ разъясненій, а изъ Негропонтовыхъ никто и самъ не могъ уразумѣть, что случилось. Нѣсколько разъ Ольга Афанасьевна предлагала мужу послать ее въ Петербургъ, но Гаврило Степанычъ упорно отклонялъ эти предложенія: имъ вдругъ овладѣлъ безотчетный страхъ. Онъ чувствовалъ, что почва опять колеблется подъ его но-



гами, что впереди стоит какая-то неотразимая и совсѣмъ новая обида, которая окончательно подорветъ его жизнь, подорветъ непремѣнно, неизбежно... И подѣ влияніемъ чувства самосохраненія онъ всячески отдалялъ рѣшительную минуту.

— Успѣемъ! — отговаривался онъ женѣ: — еще дождемся! вѣдь только радости ползкомъ ползутъ, а горе да бѣда всегда вскачъ на встрѣчу летятъ. Настигнутъ.

Одновременно съ этимъ замѣчена была переменѣ и въ обращеніи Аннушки. Она по старому была ласкова съ Ольгой Аванасьевной и даже, пожалуй, крѣпче нежели прежде жалась къ ней, но относительно Гаврилы Степановича сдѣлалась значительно сдержаннѣе. Неохотно отвѣчала на его вопросы, какъ-то принужденно здоровалась, встрѣчаясь съ нимъ, избѣгала смотрѣть ему въ глаза. Долго Разумовъ не обращалъ на это вниманія, но наконецъ и ему сдѣлалось ясно, что тутъ скрывается что-то недоброе. Вспомнилось при этомъ, что Степа постоянно переписывается съ Аннушкой, что прежде она охотно дѣлилась получаемыми ею извѣстіями, а теперь при-молкла, скрываетъ.

— Такъ вотъ онъ гдѣ, узелъ-то! — догадывался старикъ и рѣшился во что бы ни стало выяснить это дѣло.

— Степа продолжаетъ переписываться съ тобой? — спросилъ онъ однажды Аннушку.

— Пишетъ.

— Прежде ты дѣлилась съ нами его письмами, а теперь скрываешь... отчего?

— Ахъ, дядя! не всегда вѣдь удобно.

— Что же однако онъ пишетъ тебѣ?

— Да ничего особеннаго... Вообще...

— Вотъ ты говоришь теперь: „ничего особеннаго“, а сейчасъ сказала: „неудобно показывать“. Если бы ничего особеннаго не писалъ — какое же неудобство показать?

— Ахъ, дядя! точно вы меня въ допросъ взяли!

При словѣ „допросъ“ Гаврилу Степановича болѣзненно вздернуло.

— Не допрашиваю я тебя, а прошу! — продолжалъ онъ какъ-то особенно мягко, взявши ее за руку. — Прощу! прошу! прошу!

Она слегка поблѣднѣла и какъ будто заколебалась. Наконецъ изъ глазъ ея хлынули слезы; она вырвала руку и стремглавъ выбѣжала изъ комнаты, почти крича:

— Не могу! не могу! не могу!

Послѣ этой сцены старикъ серьезно задумался. До сихъ поръ у него была возможность истолковывать происшедшую въ сынѣ переменѣ случайностью, но теперь онъ положительно зналъ, что случайности нѣтъ, а есть какой-то фактъ, который отъ него скрываютъ. А при этомъ и прошлое... Положительно изъ этого прошлаго выдѣлялись все болѣе и болѣе ясныя очертанія... „Ахъ, горе! великое, вижу, горе упадетъ на мою сѣдую голову!“ говорилъ онъ самъ съ собою, но никому не жаловался, такъ какъ съ дѣтства былъ дисциплинированъ въ школѣ терпѣнія. Даже съ Коловратовымъ избѣ-

галь говорить, хотя послѣдній съ самаго начала предлагаль обстоятельно допросить Аннушку.

— Нѣтъ, зачѣмъ! — отвѣчалъ онъ на эти настоянія: — свое тамъ у нихъ... намъ прикасаться не слѣдь...

Такъ прошло цѣлое томительное полугодіе. И безъ того безмолвный, домикъ Разумовыхъ окончательно погрузился въ оцѣпенѣніе. Старики сидѣли каждый въ своемъ углу, а ежели и сходились въ урочные часы, то вздыхали и избѣгали говорить. Послѣ „допроса“ Аннушка сдѣлалась еще сдержаннѣе; продолжала посѣщать Разумовыхъ, но молчала. Иногда Гаврило Степанычъ подстерегалъ ея взглядъ, устремленный на него съ такимъ любопытствомъ, какъ будто она разсматривала диковину.

Постоянно видѣть себя въ разобщеніи отъ всего живого и въ то же время быть вынужденнымъ глотать въ одиночку какія-то загадочныя предчувствія — вотъ настоящій скорбный путь. И около кого сосредоточены эти предчувствія? — около сына!.. Дни и ночи проводилъ Разумовъ въ бесплодныхъ отгадываніяхъ, дни — ходя безцѣльно изъ комнаты въ комнату, ночи — ворочаясь съ боку на бокъ. И все его преслѣдовала одна и та же страшная въ самой своей неясности мысль: чтѣ такое? чтѣ случилось?

— Ахъ, хоть бы смерть! вотъ кабы смерть!

И онъ инстинктивно начиналъ перебирать свое прошлое по мелочамъ; но чѣмъ больше предавался этой переборкѣ, тѣмъ меньше поводовъ находилъ установить свою прикосновенность къ тревожившей его задачѣ. Нѣтъ, никого онъ не обидѣлъ! Напротивъ, его обидѣли, его вытолкнули на старости лѣтъ въ пространство, надъ нимъ насмѣялись, его растоптали, разбили, а онъ...

— Мухи не обидѣлъ! — въ тысячный разъ повторялъ онъ, усиливаясь разсѣять и успокоить наплывавшія со всѣхъ сторонъ сомнѣнія.

И все-таки онъ выдержалъ: не умеръ и даже не заболѣлъ. Чувствовалъ только, что жизнь сдѣлалась какъ бы несообразностью, что теперь самое время было бы умереть, да вотъ смерти нѣтъ. Съ этимъ чувствомъ и дождался лѣта.

Въ урочное время Степа вновь появился въ родительскомъ домѣ.

По наружности онъ не измѣнился. Онъ крѣпко обнялъ мать при свиданіи и такъ же, какъ и прежде, приласкался къ отцу. То-есть, *почти* такъ же. „То да не то“ — почувалось Гаврилъ Степанычу, — но кто же знаетъ? — можетъ быть, именно потому и почувалось, что онъ уже самъ себя заранѣе предрасположилъ къ подозрѣніямъ.

— Скажи пожалуйста, чтѣ такое? — обратился онъ къ сыну вскорѣ послѣ пріѣзда.

— Чтѣ именно?

— Ну, да самъ знаешь... точно впервой слышишь!

— Ахъ... *это!* Пустяки... такъ...

— Затосковаль, учиться пересталъ... на курсъ-то перешелъ ли?

— Разумѣется, перешелъ.

— Ну, и слава Богу; а то было я...

Однакожь дома видали Степу довольно рѣдко. Ужъ черезъ часъ послѣ пріѣзда онъ убѣжалъ къ Коловратовымъ и остался тамъ весь вечеръ: то же



повторялось и въ слѣдующіе дни. Степа приходилъ домой почевать, а днемъ оставался на глазахъ лишь самое короткое время и затѣмъ исчезалъ. Только издали видаль Гаврило Степанычъ, какъ онъ ходитъ съ Аннушкой въ крошечномъ садикѣ при Разумовскомъ домѣ.

— А вѣдь Степа-то совсѣмъ насъ обросилъ! — сказали онъ однажды Ольгѣ Аванасьевнѣ.

— Чтò же ему съ нами сидѣть? — удивилась она.

— Все-таки. Годъ не видались, пріѣхалъ — можно бы минуту отцу удѣлить!

— Ахъ, Гаврило Степанычъ! Гаврило Степанычъ! а ты умѣй смотрѣть на него да радоваться!

Но старикъ не удовлетворился этимъ объясненіемъ и, спустя нѣкоторое время, опять присталъ къ женѣ.

— Вижу я! вижу! — говорилъ онъ, шагая въ волненіи по комнатѣ.

— Чтò же ты видишь?

— Все вижу и все... понимаю!

— Старики мои — это они тебя взбудоражили.

— Нѣтъ, не старики, а вообще... Не по прежнему онъ... нѣтъ въ немъ этого... прежняго! Бывало, хоть и на минутку пріѣхитъ-повернется, а сейчасъ видишь!

Такъ и остался Гаврило Степанычъ при своемъ убѣжденіи и вѣрилъ этому убѣжденію, потому что его подсказывало ему ревнивое отцовское чувство. Вотъ и ничѣмъ, кажется, не обнаруживаетъ Степа охлажденія, а видитъ отцовскій глазъ убыль, чувствуетъ вѣщее отцовское сердце утрату. „Не по прежнему!“ „не тотъ!“ — болѣзненно ноетъ все нутро отцовское.

Догадывался ли Степа, какое горе точитъ отца? Вѣроятно догадывался, судя потому, что онъ и самъ старался, какъ могъ, усилить внѣшнія выраженія ласковости. Но даже и эти усилія замѣчалъ Гаврило Степанычъ и ихъ истолковывалъ не къ своей выгодѣ. „Прежде и не старался, а хорошо выходило“, твердилъ онъ себѣ: „бывало, пріѣхитъ, повернется — сейчасъ видишь!“

Конечно, Степа могъ бы сказать въ свое успокоеніе, что противъ такой странной логики ничего не подѣлаешь; но, въ сущности, это была логика вѣрная.

Однажды вечеромъ вся семья собралась у Коловратовыхъ. Гаврило Степанычъ, котораго неразгаданное горе сдѣлало въ послѣднее время молчаливымъ, на этотъ разъ охотно поддерживалъ общую бесѣду. Дѣло было за чаемъ, и молодые люди присутствовали тутъ же. Старикъ Разумовъ, какъ говорится, расходился, и такъ какъ у него на первый планъ все-таки выступали служебныя воспоминанія, то понятно, что они же главнымъ образомъ и теперь составили канву для разговора. Рассказывалъ онъ, какъ два раза чуть съ ума не сошелъ: въ первый разъ — отъ крика генераль-маіора Отчаяннаго, во второй — отъ ехидства Зильбергроша.

— Чтò за человѣкъ былъ этотъ Зильбергрошъ — даже представить себѣ трудно! — объяснялъ Разумовъ: — глядитъ, бывало, на тебя и постепенно зеленѣетъ, даже губы у него начинаютъ трестись. Такъ, ни отъ чего. Просто, видѣть равнодушно не могъ человѣка, которому онъ можетъ вредъ сдѣлать: какъ, молъ, я до сихъ поръ его не раздавилъ?

Во время этихъ разсказней Степа нѣсколько разъ удивленно взглядывалъ на отца, но расходившійся старикъ не замѣчалъ этихъ взглядовъ и продолжалъ:

— И сколько онъ награды, этотъ Зильбергротъ, получилъ — и все изъ-за меня! Всѣ эти мѣропріятія — кто ихъ обнатурилъ, съѣтилъ, кто имъ ходъ и осуществленіе далъ? — все я! Я ночей не досыпалъ, куска не доѣдалъ, а онъ... награды получалъ! Однажды самъ главноначальствующій, при мнѣ, въ моемъ присутствіи, его благодарилъ — и хоть бы онъ пикнулъ! Хоть бы слово вымолвилъ: вотъ-молъ, ваше сіятельство, сотрудникъ мой!

Гаврило Степанычъ жаловался долго, пространно и въ то же время безплодно, заднимъ числомъ. Выходило жалко и нелѣпно. Несмотря на это, въ старческомъ кругу Коловратовыхъ настолько привыкли къ этому безобидному переливанію изъ пустого въ порожнее, что и теперь, какъ всегда, слушали Разумова съ снисходительною внимательностью. Поощренный этимъ, онъ не замедлилъ, конечно, перейти и къ перечисленію самыхъ мѣропріятіи, причемъ, разумѣется, самоувѣренно приписывалъ себѣ ежели не инициативу, то осуществленіе.

— Вѣдь *они* — какъ! говорилъ онъ: — вождельніе у нихъ есть — это точно; но ни словесности, ни подготовки, ни соображеній, ни законныхъ основаній — ничего этого нѣтъ! Все это онъ на тебя валишь. Придетъ, крикнетъ: хочу! — а ты ужъ и статью подыщи, и въ приличную форму облеку — все ты! Можетъ быть, онъ и вождельнія-то своего не понимаетъ — и опять-таки ты! Объясни ему досконально, чего онъ желаетъ, да полегоньку, смотри — не то онъ, того и гляди, обидится! Онъ одно-два слова цыркнетъ, а ты ему цѣлое соображеніе сейчасъ выложи, какъ и что!.. Да съ улыбочкой, словно и самъ недоумѣваешь: такъ ли, дескать, я, ваше-ство, понялъ? Ну, какъ не такъ! разумѣется, такъ!

И за примѣрами ходить недалеко. Такую-то мѣру — чай, помните? — это все онъ, Разумовъ, выхолилъ. А вотъ такую-то какъ, чай, забыть! — и эту стрѣлу онъ же, Разумовъ, пустилъ. И вотъ эту. Словомъ сказать, гдѣ ни копни въ департаментъ — вездѣ онъ свой слѣдъ оставилъ, вездѣ подъ всякой дѣловой обложкой его рука сохранилась!

Да и случаи у него бывали — истинно диковинные случаи. Былъ случай такой-то, а еще вотъ какой, и наконецъ третій — еще курьезнѣе. Путали его, сильно путали, и такъ, и эдакъ провести старались, но онъ вездѣ вывертывался, вездѣ выходилъ побѣдителемъ!

— Ну, да вѣдь и то сказать, и побѣждать въ ту пору было легко, потому что сила на нашей сторонѣ была, — заключилъ онъ: — какъ ни измышлай, какъ ни извивайся въюномъ, а противъ силы...

Но онъ не кончилъ, потому что въ эту самую минуту два стула съ шумомъ отодвинулись отъ стола. Это были стулья, на которыхъ сидѣли Степа и Аннушка. Оба разомъ молча встали и направились въ другую комнату.

— Что же! и чай не допили? — крикнулъ имъ вслѣдъ Гаврило Степанычъ.

— Не нужно! — сухо и не оборачиваясь, отвѣтилъ Степа.

Разумовъ понялъ, что ораторское увлеченіе его обратило въ бѣгство сына, и въ головѣ его мелькнуло: „ахъ, такъ вотъ оно что!“ Во всякомъ слу-



чаѣ это сухое „не нужно!“ облило его какъ ушатомъ зоды. Разказы о временахъ чиновническаго подвижничества оборвались, и весь остальной вечеръ прошелъ тускло, почти безмолвно.

Назадъ возвращались всѣ Разумовы вмѣстѣ. Гаврило Степанычъ, идя дорогой, обдумывалъ, объясниться ли ему съ Степой, или нѣтъ. Ежели объяснить — пожалуй и узнаешь, да еще хуже будетъ; ежели не объясниться... но что же можетъ быть мучительнѣе тайны, которая легла между отцомъ и сыномъ! Вотъ ужъ сколько мѣсяцевъ онъ изнываетъ подъ игомъ этой тайны — неужто и впередъ такъ будетъ? Мало, видно, страданій на его долю послано, мало насильственной праздности, мало одиночества, старческихъ недуговъ — нѣтъ, нужно прибавить къ этому что-то неслыханное, неизъяснимое, что разомъ погребло всѣ старческія упованія, что въ одинъ мигъ затушевало всѣ перспективы, кромѣ одной: перспективы могилы...

— Хоть бы смерть... ахъ, кабы смерть!

Наконецъ онъ предпочелъ-таки объясниться, чѣмъ продолжать пить отраву капля по каплѣ.

— Что ты такъ вдругъ изъ-за стола вышелъ? — обратился онъ къ Степѣ.

— Я?... такъ... я — ничего...

— Нѣтъ, ты не ничевокай, а говори прямо: разговоръ мой тебѣ не понравился?

— Я, папенька... ахъ, папенька, право бы, я на вашемъ мѣстѣ не вспоминалъ... — съ трудомъ проговорилъ Степа.

— Объ чемъ не вспоминалъ?

— Объ *этомъ*...

— А! такъ вотъ оно что! То-то я... Скажи пожалуйста, что же въ моемъ разговорѣ тебѣ не по нутру?

— Ахъ, папенька, развѣ я могу!

Гаврило Степанычъ горько усмѣхнулся и съ минуту помолчалъ.

— Нынче, молодые люди... — началъ-было онъ, но, какъ бы что-то вспомнивъ, поперхнулся и продолжалъ давленнымъ голосомъ: — такъ, значить, ты... пре-зи-ра-ешь?

— Ахъ, нѣтъ! Паненька! умоляю васъ! оставьте! оставьте этотъ разговоръ! Я не буду... я былъ глухъ! это не мое дѣло! я никогда, никогда ничѣмъ не выражу!

— Стало быть, во всякомъ случай... ты не одобряешь? — безжалостно настаивалъ Гаврило Степанычъ.

— Паненька! ради Бога!

— Да вѣдь я же *по сущей совѣсти* поступалъ! Выслушай, разсуди, пойми! *По сущей совѣсти*!

## VII.

Объясненіе это однакожъ не раскрыло сердецъ, а, напротивъ, какъ будто заперло ихъ. Старикъ Разумовъ былъ подавленъ и въ то же время чувствовалъ себя глубоко оскорбленнымъ. Онъ относился къ Степѣ безъ раздраженія, но церемонно, какъ бы боясь навязываться; Степа, съ своей стороны, въ присутствіи отца сидѣлъ опустивши глаза. Ко всему этому, Ольга

Анастасьевна, не понимая, въ чемъ суть, и думая, что Гаврило Степаннчъ, по-старчески, почувствовалъ оскорбленннмъ свое авторское самолюбіе, приставала къ Степѣ, чтобъ „онъ попросилъ у напеньки прощенія“, и это выходило тѣмъ нехлѣбѣе, что иногда она надобдала съ своими приставаніями въ присутствіи самого старика Разумова. Въ первый разъ въ жизни разсердился на нее Гаврило Степаннчъ.

— Все ума была, — выговорилъ онъ: — а вотъ теперь, какъ до настоящаго дѣла дошло, такъ и ума не стало. Только досада беретъ, на вашу дурью породу глядя!

Умолкла Ольга Анастасьевна, а за нею умолкъ и весь домъ, словно мгла опустилась на всѣ эти бѣдныя существованія. Мало-по-малу Гаврило Степаннчъ сталъ избѣгать встрѣчь съ сыномъ и чаще прежняго началъ уходить къ Коловратову, убѣдившись напередъ, что ни Степы, ни Аннушки нѣтъ въ соборномъ домѣ. Онъ ни объ чемъ подробно не рассказывалъ Коловратову, но старики чутъемъ понимали другъ друга. Старый протопопъ смотрѣлъ потухающими глазами въ потухающіе глаза своего друга и угадывалъ, что тамъ, въ этомъ потухающемъ сердцѣ, завязывается великое, неутолимое горе.

— Худо? — не то спрашивалъ, не то соболизновалъ онъ.

— Жить тяжело, — подтверждалъ Разумовъ.

— Смиряться!

— Да вѣдь смиренію-то срокъ полагается. Отстрадалъ, искупилъ — вотъ и конецъ. А тутъ гдѣ конецъ найдешь? Жизнь-то ужъ написана — какъ ты ее по новому, новыми словами напишешь? Погубилъ бы себя — такъ и погибель твоя не нужна!

Старики временно умолкали, вторя другъ другу покачивающимися головами.

— Вотъ говорятъ, трудно нынче молодымъ людямъ жить, — снова начиналъ Разумовъ: — а старикамъ развѣ легче? Вотъ и моя жизнь: вся до тла сгорѣла, и тлѣть-то повидному нечему — такъ нѣтъ, живи, мучься!

— Спокою духъ просить, а по обстоятельствамъ выходить иное... Помнишь, когда ты пріѣхалъ, сумерки наступали, я на вечернюю зарю тебѣ показывалъ? — припоминалъ Коловратовъ.

— „Видѣвши свѣтъ вечерній“... — горько-иронически усмѣхался Разумовъ.

— Да, думалось тогда, а вотъ не привелось...

— То-то, друже, что не всякому безъ печали до этого „свѣта вечерняго“ дожить приводится. Вотъ и я въ то время вмѣстѣ съ тобой мнилъ, что меня „тихій свѣтъ“ осіялъ, анъ замѣсто того...

Нескончаемо велись эти разговоры, какъ нескончаема была и печаль, ихъ породившая. Гаврило Степаннчъ чувствовалъ, что они не врачуютъ, а пуще растрavляютъ его раны; но все-таки ему легче было растрavлять себя въ обществѣ стараго друга, нежели изнывать дома, одинъ-на-одинъ съ давящей мглой, которая казалось, такъ и ползла на него изъ всѣхъ угловъ. Дома онъ чувствовалъ себя глубоко несчастливымъ. Ольгу Анастасьевну онъ щадилъ, боялся высказать ей, какая бѣда его постигла, такъ что подѣлиться горемъ было рѣшительно не съ кѣмъ. Онъ сидѣлъ въ своемъ углу и молчаливо да-



вился своимъ горемъ. „Неужто же все... вся прошлая жизнь?“ думалось ему: „неужто нѣтъ въ этой жизни ничего... смягчающаго!“ Разумѣется, самъ-то онъ очень хорошо понималъ, что „смягчающаго“ и даже вполне „оббляющаго“ въ его жизни было очень много, что вездѣ въ этой жизни наткнешься или на Отчаяннаго, или на Зильберггроша, или, по малой мѣрѣ, на „такъ водится“. Онъ понималъ даже, что это была совѣсть не какая-нибудь необыкновенная жизнь, что „всѣ“ такъ жили, „всѣ“ той дорогой шли... Иногда онъ „по всѣмъ вѣдомствамъ“ перелеталъ мыслью и находилъ, что, въ сущности, вездѣ одно и то же. Вездѣ все то же „дѣло“ дѣлалось, да и теперь дѣлается, только формы, можетъ быть, разныя. И на службѣ, и въ частной жизни. И самъ Степа, если доживетъ до поры самостоятельности, тоже будетъ это самое „дѣло“ дѣлать, въ какую бы пору ни прятался отъ него, какими бы замысловатыми названіями ни прикрывалъ свою „новую“ дѣятельность. Атмосферу надо измѣнить, всю атмосферу—вотъ тогда, можетъ быть...

— Такъ это! именно все такъ!—заключалъ онъ обыкновенно.—Ничѣмъ „особеннымъ“ попрекнуть я себя не могу... А впрочемъ и то сказать: не въ томъ дѣло, что я правъ, а правъ ли, разправъ ли—какъ его-то въ этомъ увѣришь?

Старъ онъ—вотъ въ чемъ настоящая-то бѣда, да еще въ томъ, что въ его положеніи старость есть синонимъ отчаянія. Ни обновить, ни погубить себя—ничего онъ не можетъ. Нѣтъ у него силы для жертвы, а главное—не нужна, не нужна его жертва. Онъ долженъ сидѣть на берегу моря; въ глазахъ его налетитъ ураганъ и разевирѣнѣютъ волны, въ глазахъ его будутъ бороться и погибать пловцы, а онъ осужденъ безплодно метаться на своемъ мѣстѣ и испускать стоны. Кто услышитъ эти стоны, да и кому они нужны? Въ этомъ закружившемся сплошномъ вихрѣ, въ этомъ громадномъ стонѣ цѣлой природы какое назначеніе можетъ имѣть его безсильный старческій стонъ? Старикъ! ты лишній! ты мѣшаешь! — вотъ чтó слышится ему среди гвалта и волеи разгорѣвшейся сѣчи, той неумолимой, беспощадной сѣчи, въ которой и прошлое, и настоящее, и будущее, кажется, соперничаютъ другъ съ другомъ въ жестокости. Ринется ли и онъ въ эту сѣчу? съ чѣмъ?!

Нѣтъ у него ни настоящаго, ни будущаго; есть только прошлое, но съ этимъ прошлымъ идти некуда. Если бы это было прошлое органическое, исторически объяснимое, онъ все-таки имѣлъ бы основаніе выйти съ нимъ на арену. Правъ ли онъ былъ бы, или неправъ—это вопросъ особый, но, защищая это прошлое, онъ защищалъ бы нѣчто *собственное*, пережитое, пережитое. Но такого прошлаго у него не было: его прошлое было случайное, не собственное, *приказанное*... Не ясно ли послѣ этого, что онъ дѣйствительно лишній и можетъ только мѣшать?

Но чтó всего хуже—онъ узналъ объ этомъ только вчера, и узналъ не самъ собой, а случайно. А до тѣхъ поръ онъ былъ совершенно убѣжденъ, что и съ его прошлымъ прожить можно. Опочить отъ дѣлъ, погрузиться въ покой, безмятежно испустить духъ, устремивъ глаза въ потухающую вечернюю зарю и напѣвая: „Свѣте тихій“. И точно: свѣтъ просіялъ для него, но не тихій, а зловѣщій, и просіялъ... черезъ сына. Онъ думалъ, что сынъ — утѣха, а вышло, что онъ — просіяніе. Какимъ-то проклятымъ образомъ пере-

плелись эти два совѣтъ несомнѣнныя понятія, и нѣтъ возможности распутать ихъ. И утѣха, и просіаніе — какой адъ! Ахъ, нѣтъ, нѣтъ! Утѣха, утѣха, утѣха!

Слышишь ли ты это, Степа! Подсказываетъ ли тебѣ сердце, что какое бы громадное несчастье ни придавило тебя, это же самое несчастье во сто кратъ, въ тысячу кратъ тяжелѣйшимъ молотомъ придавить безпомощную голову твоего отца! Нѣтъ у этого отца ни настоящаго, ни будущаго, нѣтъ даже прошлаго, но вѣдь и въ : мѣ человѣкъ-обрывкѣ трепещетъ сердце... Тобой полно это сердце, тобой, однимъ тобой!

Вотъ она, старуха-просительница: пришла Богъ вѣсть откуда, почувавъ бѣду; шаталась по улицамъ, стучалась во все двери, не знала, гдѣ голову приклонить, терпѣла, ждала... и дождалась-таки! Крикнула ему вслѣдъ: „сатана! сатана! сатана!“ Вотъ сколько любви могутъ вмѣщать въ себѣ эти тлѣющія отцовскія и материнскія сердца!

Высказать ли все это Степѣ? — нѣтъ, не нужно. Словами и за одинъ присѣсть нельзя это выразить: выйдетъ несвязно, беспорядочно, непослѣдовательно. Многіе годы нужно это рассказывать, исподволь, постепенно наводить человѣка. Да и повода теперь для такой исповѣди нѣтъ. Съ чего вдругъ взбудоражился, старикъ? кто тебѣ мѣшаетъ жить... живи! Глотай въ молчаніи послѣднюю обиду, которую облюбовала для тебя судьба! Но не ропщи, не стони... о, жалкій, безпомощный старикъ!

Вотъ что думалось Разумову. Это были совѣтъ новыя мысли, но онѣ до такой степени охватили его, что, казалось, заслонили отъ него весь остальной міръ. Что-то жестокое пронзало его сердце всякій разъ, какъ онъ встрѣчался съ сыномъ, до того жестокое, что напоследокъ онъ началъ даже желать, чтобъ вакантное время поскорѣе прошло. Не того онъ боялся, что „просіаніе“ доканаешь его, а того, что оно его замучитъ; а эти мученія, быть можетъ, отразятся и на самомъ виновникѣ „просіанія“. Что нужды, что снѣвъ далъ ему казнь — пусть онъ остается для него утѣхой, въ которой не примѣшивается ни капли горечи. Когда онъ уѣдетъ, равновѣсіе, можетъ быть, восстановится. Конечно, отравы „просіанія“ не прекратитъ своей разъѣдающей работы, но хорошо ужъ и то, что источникъ этой отравы не перестанетъ ежеминутно напоминать о себѣ: вотъ я, который растопталъ твою жизнь! И имя ему попрежнему будетъ одно: утѣха, утѣха, утѣха!

Даже Ольга Аѳанасьевна смутно поняла, что у Гаврилы Степаныча нехорошо на душѣ и что этому нехорошему оказывается нечуждымъ Степа. Поэтому, когда наступилъ конецъ августа, то обычныхъ выраженій горести, предшествующихъ разставанію, почти-что не было. Въ часъ отъѣзда старикъ Разумовъ смотрѣлъ мрачнѣе обыкновеннаго; Ольга Аѳанасьевна принужденно улыбалась и напоминала, какъ бы не опоздать на поѣздъ; самъ Степа чувствовалъ себя неловко и торопился. Одна Аннушка горько и долго плакала, но Гаврило Степанычъ почти съ ненавистью смотрѣлъ на эти слезы.

Съ нѣкотораго времени онъ не влюбилъ Аннушку: онъ чувствовалъ, что Степа ничего не скрываетъ отъ нея. Слѣдовательно, ежели Степа представлялъ собой „просіаніе“, то она представляла — „укоръ“. Этого укора, идущаго не кровнымъ путемъ, Разумовъ совѣтъ не понималъ. Онъ помнилъ, съ какимъ волненіемъ она однажды отвѣтила ему: „не могу! не могу! не мо-



гу!“ — и навсегда запечатлѣлъ въ своемъ сердцѣ этотъ фактъ, какъ выраженіе досаднаго оскорбленія. Не ей судить, не ея ума дѣло. Именно одну досаду производило ея вмѣшательство.

Какъ бы то ни было, но съ отъѣздомъ Степы въ маленькомъ домѣ Разумова установилось сравнительное спокойствіе. Хотя Гаврило Степанычъ замѣтно опускался и хирѣлъ, но мысль его уже не столь исключительно сосредоточилась на „просіаніи“, а чаще и чаще отклонялась въ сторону „утѣхи“. Что-то „утѣха“ наша теперь въ Петербургѣ дѣлается? Легко ли ей живется? тепло ли? удобно ли? кто приласкаетъ, согрѣетъ, приголубитъ ее? — ежечасно вопрошали другъ друга старики.

### VIII.

Не прошло однакожь мѣсяца, какъ Гаврило Степанычъ получилъ изъ Петербурга слѣдующее письмо:

„Дорогой и добрый другъ!

„Есть вещи, которыя заставляютъ меня глубоко страдать и о которыхъ „говорятъ при мнѣ, нimalo не стѣсняясь. Иные съ похвалою, другіе — болѣе нежели съ порицаніемъ. И то, и другое несносно. Когда я оскорбляюсь, то мнѣ возражаютъ, что это до меня не касается и что стоитъ только „совѣмъ порвать“, чтобъ относиться къ этого рода вещамъ съ такою же „объективностью, съ какою относятся къ нимъ и другіе. Но я не могу. Я „слишкомъ слабъ, слишкомъ люблю. Для меня безконечно дороги воспоминанія о неистощимой нѣжности, которая вездѣ и всегда сопровождала меня — какъ я порву съ ними? Для чего вы такъ любили, такъ холили меня? „Для чего изнѣжили мое сердце? Можетъ быть, я и устоялъ бы, порвалъ бы, „что-ли, а теперь — не могу. Простите меня. Я знаю, какъ мое письмо поразитъ васъ, знаю, что отъ меня на васъ падетъ послѣдній ударъ — и все-таки не могу. Тоскливо, горько; сердце рвется на части. Не могу, не могу. „Выдержите ли вы?

„Прощайте! Цѣлую ваши руки, — тѣ руки, которыя никогда не протягивались ко мнѣ иначе, какъ съ ласкою. Прощайте. Передайте мамашѣ, „что моя послѣдняя мысль будетъ принадлежать ей. И вамъ, мой дорогой, „безцѣнный отецъ.

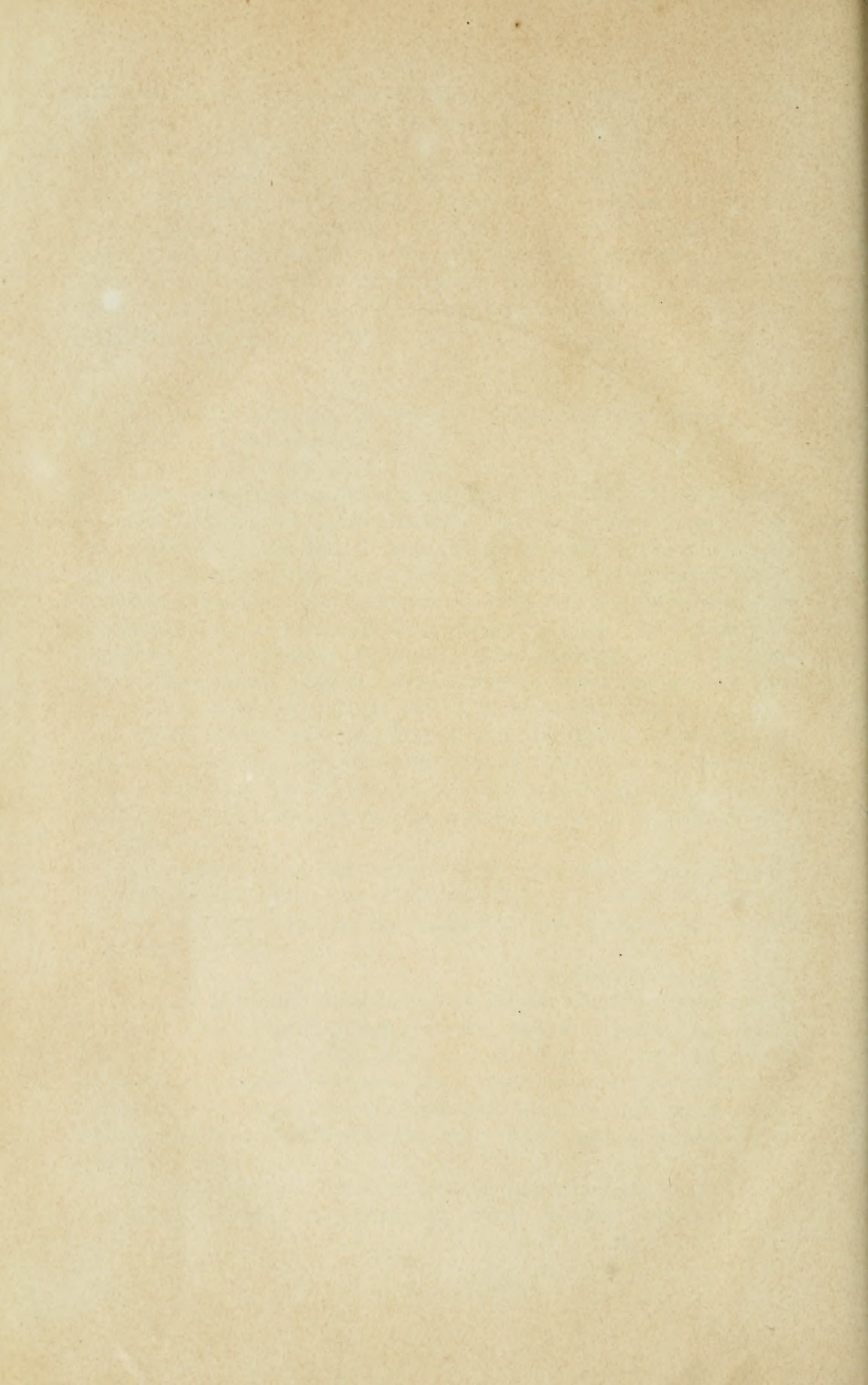
„Степанъ Разумовъ“.

Прошло болѣе часа послѣ полученія письма. Старикъ Разумовъ продолжалъ сидѣть въ своемъ креслѣ, устремивъ неподвижные глаза на фатальный листокъ, лежащій на письменномъ столѣ. Казалось, что, застигнутый впечатлѣніемъ паническаго страха, онъ до такой степени утратилъ жизненную энергію, что уже не можетъ собственнымъ усиліемъ выбиться изъ оцѣпенѣнія. Наконецъ въ кабинетъ вошла Ольга Афанасьевна и, увидавъ письмо Степы, прочитала его.

— Что ты такое сдѣлала? — въ ужасѣ вскрикнула она, сама не понимая, къ кому обращенъ ея вопросъ — къ живому человѣку или къ трупу.







PG  
3361  
S3  
1889  
t.6

Saltykov, Mikhail Egrafovich  
Sochineniia

PLEASE DO NOT REMOVE  
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

---

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

---



